

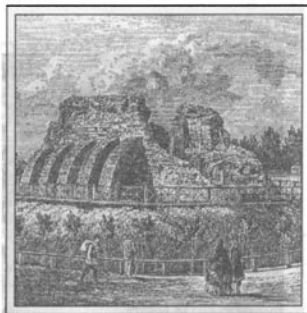
Анатолий Макаров
❧
КИЕВСКАЯ
старина в лицах
XIX век
❧



АНАТОЛИЙ МАКАРОВ



**КИЕВСКАЯ
СТАРИНА
В ЛИЦАХ
XIX век**



ПРАВИТЕЛИ КИЕВА

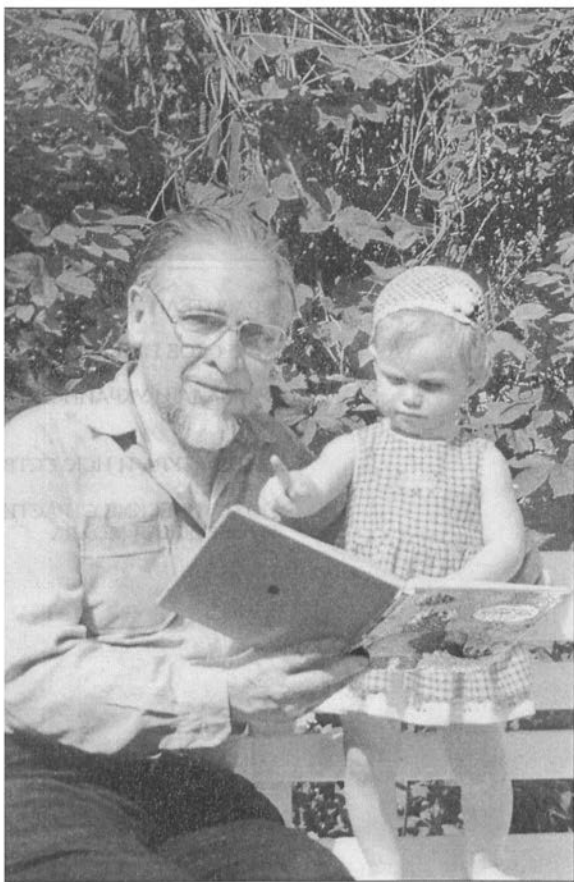
КИЕВСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

**ГРОМАДА И УКРАИНСКИЙ
КЛУБ**

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ
И ГОРОДСКАЯ МОЛВА**

ЦЕРКОВЬ



Автор и его внучка Лиза

АНАТОЛИЙ МАКАРОВ

КИЕВСКАЯ
СТАРИНА
В ЛИЦАХ
XIX век

Киев
Издательство «Довіра»
2005

Предлагаемая вашему вниманию антология — продолжение труда писателя и культуролога Анатолия Макарова, начатого в его предыдущей книге «Малая энциклопедия киевской старины», которую наше издательство выпустило в позапрошлом году. Она вошла в список бестселлеров Украины за 2002 г. и удостоена Художественной премии «Киев» им. Евгена Плужника, учрежденной мэрией нашего города.

В антологию вошли предания о легендарных киевских типах («антиках»), выдающихся исторических личностях, героях городской молвы. Здесь же можно найти немало забавных, анекдотичных и необычайных повествований из жизни старого Киева.

Эти пестрые рассказы создавались в разных культурных средах. Они неоднородны и по форме, и по содержанию. Смешное здесь соседствует с трагическим, возвышенное с ничтожным, необыкновенное с обыденным. Иначе говоря, в этой книге отразилось все многообразие киевской бытовой культуры XIX века.



ОТ АВТОРА

Занимательные истории, были и небылицы, городские предания и «речения» знаменитых киевлян — неотъемлемая и весьма существенная часть киевской старины.

Наши материалы заимствованы из мемуаров XIX и начала XX века, из художественных произведений и старой периодики. Изначально автор не помышлял о создании антологии киевского городского предания. Выписки делались «про запас», «на всякий случай», в расчете использовать ту или иную «историю» в очередной статье или очерке. Но время шло, коллекция росла, пришлось ее упорядочить, систематизировать материалы, размещая их по темам, эпохам, именам. Так возникла эта антология.

Тексты подаются без переделок, в первозданном виде (на русском и украинском языках), с обозначением сокращений (троеточия в квадратных скобках) и с точными ссылками на источник. (Все это необходимо, поскольку старые журналы и книги доступны не всем, и доведись кому процитировать текст по этой книге, он может сделать это, не опасаясь обратных переводов, замаскированных пересказов, скрытых пропусков и исправлений).

Время от времени нам случается выйти за календарные рамки столетия. Особенно в тех случаях, когда речь идет о тонкой материи городского предания. На протяжении XIX века в Киеве рассказывали старинные легенды о чудотворных иконах местных церквей, о лаврских подвижниках и знаменитых церковных иерархах XVII—XVIII столетий. Из уст в уста передавались сказания о древних киевских князьях, королях и царях, о старой Киево-Могилянской академии и ее профессорах, о знаменитых разбойниках, древние и новые былички о ведьмах, колдунах, чертах и т. д. В число таковых органических компонентов киевской памяти XIX века входят также «истории» о Г. Сковороде, П. Румянцеве-Задунайском, святителе Павле Тобольском, императрице Екатерине II. Некоторые из них приводятся и в этой книге, хотя по времени относятся к XVIII веку. И наоборот, включенные в наш текст городские предания о корифеях украинской сцены, некоторых художниках и писателях касаются событий, «календарно» принадлежащих XX веку, но по сути завершающих картину культурной жизни XIX столетия. Думаем, что читатели не будут за это в претензии. Тем более что мы предлагаем им не исторический труд, а сборник побасенок о Киеве и киевлянах.

Значительную часть наших «пестрых рассказов» составляют старинные анекдоты. Однако они понравятся не всем теперешним любителям этого жанра.

В старые времена побасенками или анекдотами называли многие разновидности городского предания — короткие рассказы о необычайных происшествиях, слухи о неповторимых поступках выдающихся людей, дарованиях, чертах характера, эпизодах их личной жизни. Старинные сборники анекдотов часто вообще лишены юмора. Умение подмечать нечто неповторимое, оригинальное ценилось тогда выше способности смешить и забавлять. В старину не проводили границ между за-

нимательной историей, забавной характеристикой («чертами») общеизвестного лица, броским афоризмом, сплетней, странным слухом и явной небылицей, побасенкой, — с одной стороны, — и забавной юмористической миниатюрой, которую мы называем теперь анекдотом. Анекдот (в форме «смешной» миниатюры) отмежевался от всех прочих занимательных и остроумных миниатюр в более поздние времена, под конец XIX века. (Так, 1886 г. в Москве вышла книга графа Григория Милорадовича о своем знаменитом предке, в названии которой уже фиксируется разделение анекдотов и «черт» — «Анекдоты и черты из жизни графа Милорадовича»). В наше время никто уже не «спутает» афоризм с юмористической миниатюрой, просто занимательную историю с анекдотом. Нам, людям конца XX и начала XXI века, еще понятно, что между ними много общего, родственного, но со временем эти и другие разновидности исторического предания подвергнутся еще большому обособлению, а некоторые из них вообще изгладятся из человеческой памяти. Кто, например, помнит теперь, что такое «черты выдающихся деятелей», а так когда-то назывались целые сборники, подборки и книги анекдотов о Суворове, Милорадовиче, русских царях.

Устные предания, попав на страницы мемуаров и различных публикаций, получили название литературного анекдота, хотя литература чаще всего служила только «крышей», временным пристанищем для бродячих юмористических сюжетов. Название «литературный анекдот» чаще всего говорит лишь о том, что та или иная побасенка сумела избежать забвения потому, что была зафиксирована печатно. Лишь незначительная часть литературных анекдотов действительно имеют литературную природу и представляют собой плоды вдохновения газетчиков-хроникеров, писателей-юмористов, эстрадных куплетистов и актеров разговорного жанра.

Пока не появилось радио, телевидение, все эти рассказы и побасенки, выдумки и сплетни, предания и анекдоты играли весьма заметную роль в жизни города. Каждый слой населения имел свой «фольклор», соответствовавший его интеллектуальному уровню и художественным вкусам. Общепонятные, совершенные по форме образцы способствовали общению людей на общегородском уровне, становились всеобщим достоянием.

В этом издании хотелось бы показать литературный анекдот таким, каким он некогда был, со всеми его жанровыми и стилистическими особенностями, не подстраиваясь под теперешние вкусы, как это делают некоторые современные публикаторы, полагая, что старинные анекдоты должны так же развлекать и смешить читателя, как и современные.

Остроумие литературного анекдота прежних времен трудно сопоставимо с привычным для нас фольклорным юмором прежде всего в интеллектуальном, идейно-смысловом плане. Он создавался не только для досуга и не только для игры слов. В каждом настоящем литературном анекдоте есть нечто нужное для понимания смысла жизни вообще или какой-нибудь определенной исторической эпохи. Они сохранили для нас образы многих уже забытых людей, — простых и выдающихся, умных и глупых, добрых и злых. Их силуэты едва различимы в туманной дали времени. О них давно никто не помнит, их уже не хотят знать ни историки, ни писатели. И тем не менее у каждого из них — свое место в многофигурной панораме прошлого.

Героями городских преданий нередко становились и известные исторические

деятели. О них мы знаем «почти все». Однако внимательный читатель нередко находит в посвященных им анекдотах обильную пищу для ума. Многие запечатленные здесь подробности историческая наука не в силах ни опровергнуть, ни подтвердить, читатель поневоле становится историком, выбирая из «пестрых историй» правдоподобные на его взгляд детали и рассматривая их на фоне той или иной «исторической картины».

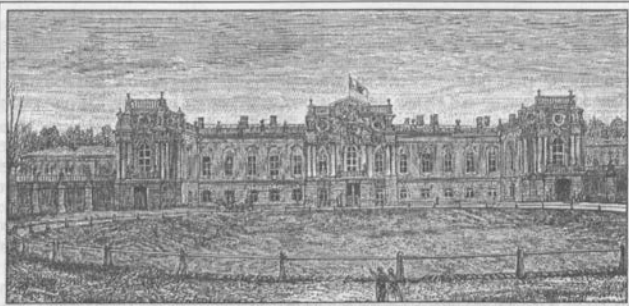
В правдивости анекдотического предания сомневаться не приходится, но в отдельных случаях могут встречаться неточности и даже нарочитые искажения фактов. Всему верить нельзя, но в целом эти побасенки «вполне историчны», т.е. верны правде своего времени, его духу, созвучны его настроениям.

Профессиональные историки литературные анекдоты не любят. Они им мешают, разрушают наработанные схемы. Какой-нибудь «реакционер» вопреки исторической логике может оказаться глубокой, масштабной личностью, а «прогрессивный деятель» — едва ли не «выродком», несносной особой с отвратительным характером. В общеизвестные события молва нередко «вплутывает» совершенно «не нужные» и «сбивающие с толку» подробности, и тогда, казалось бы, «окончательно выясненные» факты начинают требовать дополнительных пояснений. Людей, привыкших видеть решение сложных вопросов в однозначном их истолковании, все это, естественно, раздражает, восстанавливает против «побасенок», «досужих толков» и анекдотов. Но с другой стороны, прав и классик европейской анекдотической историографии Талеман, утверждающий, что ни одно печатное историческое сочинение не дает полного представления об освещаемых им событиях в силу своей неизбежной тенденциозности. Официальный историк стремится внушить своему читателю, как надо понимать то или иное явление, тогда как история, рассказанная в лицах и бытовых подробностях, показывает, как и что на самом деле думали и чувствовали участники исторических событий, не ожидая ничьих указаний и не задумываясь над тем, «правильно» или «неправильно» они воспринимают происходящее. Мысль историка неизменно ограничивается рамками умозрительных схем, а анекдот или занимательная история остается живым источником исторического знания, правдивым свидетельством вкусов и умонастроений, ошибок и прозрений.

Важно не только то, что думаем мы о прошлом. Необходимо знать, как воспринимались исторические события их современниками. Иначе говоря, тому, кто хочет заглянуть в подлинное, а не измышленное прошлое, без подобных «побасенок» не обойтись.

Автор благодарит своих издателей Тамару Петровну Гуменюк и Ларису Федотовну Соловьеву за участие в судьбе этой книги и за умение превращать литературный текст в маленькое полиграфическое событие.

Вместе с тем благодарю научного сотрудника Музея истории г. Киева Ольгу Николаевну Друг, директора Музея М. Булакова Анатолия Петровича Кончаковского и председателя существующего при музее Клуба любителей книги Михаила Андреевича Грузова, щедро поделившихся своими иконографическими материалами.



ГЛАВА ПЕРВАЯ



ПРАВИТЕЛИ КИЕВА

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ

Граф П.А. Румянцев-Задунайский

Князь М.И. Кутузов

Граф М.А. Милорадович

Д.Г. Бибииков

Князь И.И. Васильчиков

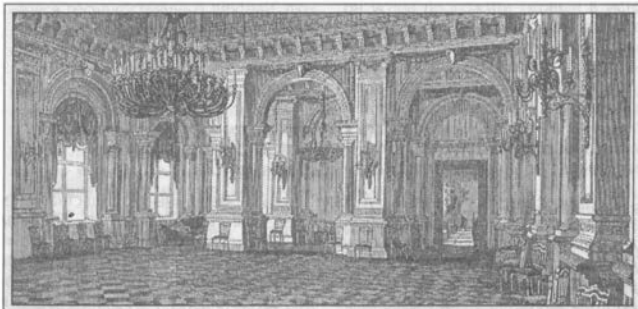
А.П. Безак

М.И. Чертков

А.Р. Дрептельн

Граф А.П. Игнатьев

М.И. Драгомиров



АВГУСТЕЙШИЕ ГОСТИ И ВЕЛЬМОЖИ

Екатерина II
Генералиссимус А.В. Суворов
Гетман Украины граф К.Г. Разумовский
Государственный канцлер
князь А.А. Безбородко
Фельдмаршал князь А.А. Прозоровский
Александр I
Николай I
Александр II
Александр III

ЧИНОВНЫЕ ЛЮДИ

Н.Э. Писарев
Губернатор И.И. Фундуклей
Вице-губернатор А.П. Баумгартен
Князь Ф.В. фон Остен-Сакен
Генерал Н.Н. Муравьев-Карский
Командант А.В. Аносов
Полицейстер Б.Я. Гюббенет
Полицейстер В.И. Максимович
Пристав Михайлов и другие мздоимцы

ИЗ ЖИЗНИ КИЕВСКИХ ЧИНОВНИКОВ И «МИЛИТЕРОВ»

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ

Первые киевские военные губернаторы ведали в основном армейскими делами. Киевская губерния существовала только на бумаге. Левобережной Украиной правили гетманы или Малороссийская коллегия, самими киевлянами — выборные войты, бурмистры и ратманы.

Но даже в те времена киевские губернаторы существенно отличались от обычных военачальников. В них видели доверенных лиц русского правительства, присматривавших за сборами налогов, работой мещанского суда, действиями городских властей, за порядком в Киеве и его благоустройством.

Со временем сфера деятельности киевского магистрата сужалась, а власть генерал-губернатора возрастала и распространялась на многие сферы гражданской жизни. К концу XVIII века она достигла такого значения, что без одобрения «начальников края» не могло решиться ни одно важное для города дело. В начале XIX века генерал-губернаторы контролировали магистрат, полицию, торговлю, губернскую администрацию, городской бюджет, занимались обустройством города и даже призреванием бедных. Вне их власти оставались лишь учреждения, подчиненные имперским министерствам, департаментам или управлениям (например, Киевскому округу путей сообщения, удельному ведомству, Синоду и местной конси-

стории). Вершины могущества генерал-губернаторская власть достигла в 1848 году, когда после разгрома Кирилло-Мефодиевского братства царь поручил своему верному сатрапу Д.Г. Бибикову управление также и Киевским учебным округом.

Одновременно с расширением функций и полномочий киевских генерал-губернаторов происходило и расширение контролируемых ими территорий. Если в петровские времена они чувствовали себя полновластными хозяевами лишь на Печерске и в Старом Городе, то к середине XIX века в их власти находился огромный Юго-Западный край империи, который по своим размерам не уступал иным крупным государствам Европы. Киевский военный губернатор фактически был наместником царя и входил в круг наиболее влиятельных лиц в государстве.

Разумеется, в создании этой мощной «сатрапии» у юго-западных рубежей империи интересы самого Киева, а тем более Украины, не играли никакой роли. Составленный из трех губерний (Киевской, Волынской и Подольской) Юго-Западный край был по сути колониальной территорией, и тем не менее киевляне извлекали из этого некоторую пользу, поскольку цари редко доверяли управление столь важным регионом случайным лицам, и их наместниками в Киеве назначались обычно выдаю-

щиеся государственные деятели, люди с хорошим образованием и большим опытом.

Об уровне политического мышления присылаемых сюда царских сановников свидетельствует то, что уже в XVIII веке среди них нередко встречались люди, высоко ценившие украинскую культуру и успехи киевского просвещения. Таким был, например, первый киевский военный губернатор Дмитрий Михайлович Голицын, прославившийся впоследствии как глава Верховного тайного совета, стремившийся ввести в России конституционную монархию английского типа. В Киеве он оставил по себе память прекрасной церковью Николы Слупского на Печерске, построенной во вкусе эпохи украинского Барокко. Он же возобновил и благоустроил древнюю Китаевскую пустынь, проложил кратчайший путь с Печерска на Подол по краю Крещатого яра (теперешний Владимирский спуск). Ему приписывают и реконструкцию Андреевского спуска. Позже, будучи членом Верховного совета, он охотно вникал в дела и нужды Киева, а в своих письмах к киевлянам демонстрировал хорошее знание украинского языка.

В XIX веке большим другом киевлян показал себя Михаил Андреевич Милорадович. Он гордился своим «малороссийским» происхождением. В его время в Царском дворце, служившим тогда генерал-губернаторской резиденцией, часто звучала украинская речь. На балы наряду с русскими и польскими дворянами приглашались войт, бурмистры и ратманы в магистратских мундирах, а их жен и дочерей Милорадович просил являться в украинских костюмах. За свое недолгое пребывание в Киеве

он успел проложить первый в истории города бульвар на Липках и вселить новосозданную Киевскую гимназию в лучшее жилое здание — Кловский дворец.

Но, пожалуй, самым удивительным царским сатрапом был Михаил Иванович Драгомиров, происходивший, как и Милорадович, из украинских дворян Черниговщины. Он правил в неподходящее для проявления украинских симпатий время (1898–1903), но это его не останавливало. Пользуясь своим особым положением при дворе, популярностью в армии, славой великого стратега и героя Балканской войны, Драгомиров открыто благоволил украинскому культурному движению. В городское предание он вошел как «тайный Никодим украинства» (т. е. его единомышленник и пособник).

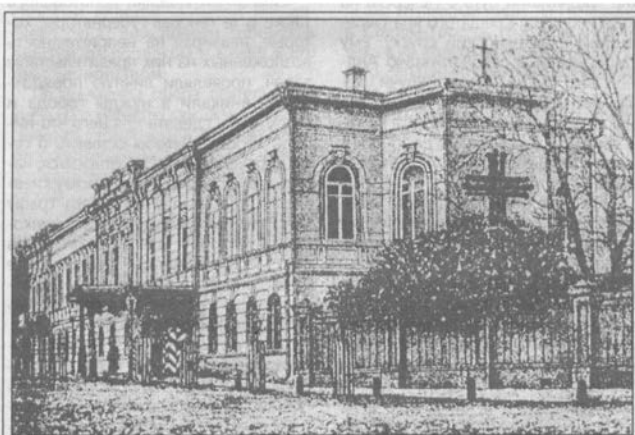
Симпатией киевлян пользовались также и те генерал-губернаторы, которые, невзирая на неприглядность возложенных на них правительством задач, проявляли личную порядочность, вникали в нужды города и стремились сделать для него что-нибудь хорошее, чтобы оставить о себе добрую память. Это относится, например, к самому знаменитому киевскому губернатору XVIII века графу П.А. Румянцеву-Задунайскому, полководцу Кутузову, для которого Киев стал местом почетной ссылки после проигранного аустерлицкого сражения, князю И.И. Васильчикову, князю А.М. Дондукову-Корсакову.

Даже если эти люди и впрямь были исключением среди имперских сановников, само их присутствие на страницах киевской истории свидетельствует о разнообразии психологических нюансов, традиций и политических тенденций в деятельности

высшей администрации Киева, о которой до недавнего времени было принято говорить как о некоем беспросветном царстве реакции и мракобесия. Под наработанный нашими историками стереотип генерал-губернатора трудно «подогнать» не только уже перечисленных деятелей, но даже таких, казалось бы, заурядных царских служац, какими были, скажем, Левашов, Безак или Чертков.

Не так-то просто оценить и деятельность самого известного киевского са-

трапа Д.Г. Бибикова. При его энергичном содействии совершались наиболее значительные преобразования городской жизни первой половины XIX века. В то же время этот безусловно талантливый администратор действовал в полном соответствии с имперской политикой кнута и окрика свыше. И поэтому нет ничего удивительного в том, что в городском предании он остался не великим преобразователем, а всего лишь ретивым царским служакой, «Бибиком».



Дом киевских генерал-губернаторов на Левашевской (теперь Шелковичной) улице. Не сохранился. Литография XIX в.

ГРАФ П.А. РУМЯНЦЕВ- ЗАДУНАЙСКИЙ

Граф Яетр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796) — сын денщика Петра I, его приближенного и порученца, а впоследствии генерал-аншефа, правителя Малороссии (1738–1740) и посла в Турции. Мать — дочь знаменитого государственно-го деятеля времен царя Алексея Михайловича, руководителя Малороссийского приказа боярина Артамона Матвеева. Будущий полководец провел детство в Украине, учился у домашнего учителя, воспитанника Черниговского коллегіума Тимофея Семятовича. В 14 лет определен на службу в русское посольство в Берлине. Несколько месяцев учился в Шляхетском сухопутном корпусе, откуда его изгнали за необузданный разгул. Перешел в армию, и в 19 лет был уже капитаном. Отличился как начальник кавалерии в Семилетнюю войну в битве под Гросс-Егерсдорфе. После ликвидации гетманства в Украине в 1764 году назначен генерал-губернатором Малороссии. С началом русско-турецкой войны в 1768 году командовал сначала Второй резервной, а потом и Первой действующей армией. 7 июля 1770 года в битве при Ларге при 25-тысячном русском войске разбил 80-тысячный турецкий корпус, а вслед за тем при Кагуле (21 июля) одержал победу над вдвесьтеро сильнейшим неприятелем и встал в ряд первых полководцев XVIII века. В 1771 году перенес военные действия



за Дунай, где также прославился удачными военными действиями и победами, приведшими к заключению Кючук-Кайнарджийского мира. За выдающиеся заслуги удостоен фельдмаршальского жезла и наименован графом Задунайским. Императрица предложила ему «въехать в Москву на триумфальной колеснице сквозь торжественные ворота», но он отказался. После войны вернулся в Малороссию, где продолжил политику активной русификации (введение «общерусских порядков»), чему немало способствовало распространение на Малороссию в 1782 году «учреждения о губерниях». В результате царских пожалований и личных приобретений в руках графа оказались громадные богатства, но при всем этом сам он жил скромно, нимало не заботясь об удовольствиях и роскоши. Своей резиденцией он избрал имение Ташань в Киевской губернии. Единственной страстью дряхлеющего вельможи бы-

ли парки. Молва приписывает ему создание двух первых английских садов в Восточной Украине — в Ташани и Вишенках.

Современники считали его величайшим человеком своей эпохи. Поклонником его полководческого таланта был прусский король Фрид-

рих Великий. В высших кругах ходили слухи, будто граф Петр Александрович — внебрачный сын Петра Великого, унаследовавший гений родителя. Граф Завадовский построил в его честь храм и поклонялся бронзовому изваянию Румянцева как божеству.

В 1811 г. была напечатана книжка «Анекдоты, объясняющие дух фельдмаршала графа П.А. Румянцева-Задунайского». Кто был ее издателем — неизвестно, но в этой книжке приведено, между прочим, следующее любопытное сведение:

«Граф Румянцев, возросший в Малороссии*, был столь привязан к своей родине, что всегда, встретив одноземца, старался облагодать его всеми силами, и до того прославился своею любовью к Малороссии, что каждый уроженец ее, приехав в Петербург, почитал гр. Румянцева лучшим своим покровителем. Иногда, услышав малороссийское произношение, от коего не мог отучиться совершенно, радовался подобно дитяти...»

Приведенная черта характера Румянцева, конечно, не выдуманная, и указывает, что в 25-летней административной деятельности Румянцева в Малороссии** имела свою долю значения и любовь к этому краю.

Может быть, этим следует объяснить и неосуществившийся план Румянцева о заведении в Малороссии школ и богаделен. Екатерининские генерал-губернаторы таких вопросов в своей деятельности обыкновенно не возбуждали.

(219, 390).

**Его отец, любимец Петра I, Александр Румянцев назначен правителем Украины в 1738 г. и оставался на этой должности два года. Детство будущего полководца прошло в Украине, и сам он до известной степени, так сказать, «украинизировался». Во всяком случае Петру Александровичу был не чужд «местный патриотизм» и чувство землячества, что особенно проявилось в годы его правления Киевским наместничеством. Он настолько преуспел в нобилизации своих «земляков», что петербургским властям пришлось вычеркнуть из составленных им списков нового украинского дворянства несколько тысяч сомнительных претендентов. Чувство землячества придавало его государственной деятельности характерный либеральный оттенок, хотя в целом он оставался типичным имперским сановником времен Екатерины II.*

***Румянцев стоял во главе украинской администрации после упразднения гетманства в 1764 г.*

В одной рукописной повести А.М. Маркевича (1790—1865), издателя «Дневных записей» его деда, Якова Маркевича, мы встречаем следующее место:

«В час досуга он (одно лицо повести) забавляя его милость (другое лицо пове-

сти), рассказывая, например, великолепное путешествие императрицы Екатерины через Новгород-сверское наместничество, как принимал ее величество гр. Румянцев, как жил он в своих готических замках в Вишенках и Ташани, как мыши стели у него (Румянцева) 20 тысяч ассигнаций, как в разговоре называл он всех — батюшка, как одного простодушного просителя уверяли, будто граф любит, чтобы его называли так же, и какой ответ получил от графа проситель на это фамильярное приветствие; как граф любил по окончании обеда сидеть часа по два за столом, часто к большому затруднению собеседников, как спросил он однажды у г. Жоравки (Ивана Тимофеевича, генерального есаула и члена малороссийской коллегии*): «Скажите, батюшка, какая самая выгодная промышленность в Малороссии?» И как тот ответил: «Быть опекуном, ваше сиятельство», как портной Заика просил чина и как фельдмаршал потребовал, чтобы он сшил ему, не снимая мерки, мундир».

Нет сомнения, что все приведенные здесь подробности взяты Марковичем из рассказов лиц, знавших Румянцева, т.к. Маркович всю жизнь прожил около Глухова и в молодости своей, конечно, знал много современников знаменитого правителя Малороссии. (220, 80—81).

**Малороссийская коллегия учреждена 10 ноября 1764 г. вместо гетманского правления. Всеми украинскими делами занимались назначенные чиновники во главе с Румянцевым, который с момента появления своего в Глухове 7 апреля 1765 г. и до введения губерний в 1782 г. был фактически непровозглашенным гетманом Украины, поскольку обладал теми же полномочиями, что и его предшественник К. Разумовский.*

Румянцев — великий, славный и сильный производил при жизни большое впечатление на своих современников, поэтому о нем сохранилось много отзывов, мнений и впечатлений.

По словам Лесницкого*, Румянцев «быстрейший имел бег мыслей... Читал одним взглядом не строки, но периоды и целые страницы, и вдруг содержание их и резолюцию сказывал или своею рукою надписывал».

(250, 17—18).

**Майор Лесницкий служил в личной канцелярии Румянцева.*

В общем, императрица осталась недовольна краем /Малороссией/, находившемся в заведывании Румянцева /.../ Еще на пути /в Киев/ заметила ему однажды, что дороги в этом крае плохи*, на что фельдмаршал ответил:

— Государыня! Ваши украинские подданные слишком бедны для того, чтобы я мог взять на себя чрезмерно их притеснять в то время, когда они должны испытывать только счастье лицезреть свою государыню.

(227, 98).

**Успеху его административной деятельности в Украине мешало недоброжелательное отношение к нему всесильного фаворита императрицы Потем-*

кина, «давно враждовавшего с Румянцевым и желавшего выставить свои заслуги в выгодном свете, тратившего на управление вверенных ему губерний громадные суммы и прилагавшего все старания к тому, чтобы Румянцев был лишен средств, необходимых для приведения Киева в надлежащий вид». (Левбединцев А.Г. Русские государи в Киеве. — К., 1896. — С. 99).

Осталась недовольна императрица и Киевом. Ее поразила невзрачный вид зданий, грязные и дурно пахнущие улицы. Она находила, что в Киеве постройки вообще в плохом состоянии и лишены всякого изящества. Ей досадно было видеть, что в Киеве не позаботились о тех украшениях, которые приготавливались к ее приезду в городах менее значительных. /Фавориту/ Мамонову было поручено дать почувствовать графу Румянцеву неудовольствие императрицы.

Мамонов исполнил это щекотливое поручение с возможной осторожностью и намеркнул фельдмаршалу, что государыня ожидала найти Киев в лучшем состоянии. Румянцев, как рассказывает в своих записках сын Мамонова, почтительно и терпеливо выслушал замечания и ответил:

— Скажите ее величеству, что я фельдмаршал ее войска, что мое дело брать города, а не строить их, а еще менее — их украшать.

Императрица, узнав об этом ответе, сказала:

— Он прав. Пусть же Румянцев продолжает брать города, а мое дело будет их строить.*

(227, 99).

*Возможно, после этого разговора появился первый генеральный план строительства Киева, разработанный Шуваловым. Наряду с варварской идеей уничтожения Подола (вместе с ненавистной императрице системой магистратского управления по Магдебургскому праву) в этом плане были верно угаданы и некоторые реальные тенденции развития города: намечены, например, будущие кварталы жилищной застройки между крепостью на Печерске и р. Лыбедью. В XIX веке этот район застроился и получил название — Новое Строение.

Учиться ему помешала его пылкая в юности натура, требовавшая и стремившаяся к физическим наслаждениям и удовольствиям. Но в зрелые годы, когда Румянцев переброял и вполне наслаждался чувственными удовольствиями, он вел очень уединенную жизнь в своих малороссийских имениях, чуждаясь общества, и любил заниматься серьезным чтением. «Любя чтение, — говорит Бантыш-Каменский, — Румянцев даже под шум военных бурь посвящал оному большую часть. «Вот мои учителя, — говорил Румянцев, указывая на книги».

(250, 18).

Часто в простой одежде, сидя на пне, удил он рыбу. Однажды приезжие отыскивали в саду кагульского героя*, чтобы

посмотреть на него, и обратились к Румянцеву с вопросом, где бы увидеть графа.

— Вот он, — сказал ласково Румянцев, — наше дело города пленить да рыбу ловить.

(325, 53—54).

**Кагульский герой — победа в битве при Кагуле в 1770 г. принесла Румянцеву европейскую славу.*

В богато убранном дворце графа в нескольких комнатах стояли простые дубовые стулья.

— Если великолепные комнаты, — говорил он, — внушают мне мысль, что я выше кого-либо из людей, то пусть простые стулья напоминают, что и я такой же простой человек, как все.

(325, 54).

Граф Румянцев очень любил курить из глиняных трубок; назначенный к нему в армию во время турецкой войны один чиновник по дипломатической части задумал угодить ему, захватив для него целый ящик таких трубок, но не позаботился уложить их. Фельдмаршал очень обрадовался, потому что трубок у него оставалось немного*, и приказал раскрыть при себе ящик, а когда увидел одни обломки, то, рассердясь, сказал, указывая на свое сердце: «Тут-то много», а потом на голову: «Да здесь нет».

(325, 54).

**Глиняные трубки были дешевы и хрупки, никто особенно не заботился об их сохранности.*

Супруга графа Румянцева, зная непостоянство своего мужа, по случаю какого-то праздника послала в армию к нему подарки, в числе которых было несколько кусков на платье его любезной. Задунайский, тронутый до слез, сказал о супруге:

— Она человек придворный, а я — солдат; ну право, батюшки, если бы знал ее любовника, послал бы тоже ему подарки.

(325, 54).

Он чувствовал приближение смерти и не хотел бороться с ней, до самой потери сознания он не позволял оказывать себе медицинскую помощь. По словам врача, бывшего при нем последние часы, он «с величайшею досадою сорвал» поставленный пластырь, «противился и был неупросим» ко всем медицинским средствам. 6 ноября впал в летаргию, а 8 числа «в 9 ч. полуночи скончался спокойно».

(250, 16).

Румянцев умер от удара 8 декабря 1796 года, на 72-м году от рождения. По смерти, когда открыли его кабинет, то нашли в его бумагах пакет с надписью: «Относящееся лично до меня». Думали, что это

завещание, но, открыв, нашли два письма: одно было от императрицы, которая предлагала ему сан гетмана малороссийского; второе заключало скромный отказ Румянцеву и просьбу это достоинство заменить званием генерал-губернатора.

После его смерти были найдены многочисленные доказательства его благотворительности и щедрости; пенсии, которые он давал втайне бедным, доходили до 20 тыс. руб. в год.

(325, 54).

Потемкин много неприятностей причинил Румянцеву, но последний никогда не жаловался на это, а единственно только избегал говорить о нем. Когда до Румянцева дошло известие о его смерти, то великодушный герой не мог удержаться от слез.

— Чем удивляетесь вы? — сказал он своим домашним, — Потемкин был мне соперником, но Россия лишилась в нем усерднейшего сына.

(325, 53).

Граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский был высокого роста, стан имел стройный, величественный, отличался превосходной памятью и крепким сложением, не забывал никогда, что читал и видел, не знал болезней, семидесяти лет от роду делал в день по 50 верст верхом, не уставал, вел жизнь в лагере как простой солдат, вставал по утрам на заре и, несмотря на строгость военной тогдашней дисциплины, не делал никого из подчиненных несчастными, а только трунил над сибаритами и лентяями.

Так, однажды, обзоревая на рассвете свой лагерь, заметил офицера, отдохнувшего в халате, начал с ним разговаривать, взял его под руку, вывел из палатки, прошел мимо войск и потом вступил вместе в шатер фельдмаршальский, окруженный генералами и штабом.

Делами своими занимался сам, без помощи секретаря; сам распечатывал бумаги и читал свои письма и бумаги. Обыкновенно он ничего не подписывал в присутствии своего секретаря, чтобы на досуге со спокойным духом перечитать написанное.

(325, 53).

О браке отца Румянцева существует следующее предание.

Когда заслуги отца Румянцева при дворе Петра Великого стали заметны и последний сделался любимцем царя, то один из вельмож предложил руку своей дочери и тысячу душ в приданое. Румянцев, как известно, был бедняк, сын небогатого костромского дворянина. Осчастливленный подобным предложением, Румянцев бросился к ногам царя и спрашивал согласия на брак, от которого зависело все благополучие его жизни. Подняв Румянцева, Петр спросил:

— Видел ли ты невесту и хороша ли она?

— Не видал, — отвечал Румянцев, — но говорят, что она недурна и неглупа.

— Слушай, Румянцев, — продолжает государь, — баду я быть дозволяю, а от сговора удержишься. Я сам буду на бале и посмотрю невесту; если она действительно достойна тебя, то не стану препятствовать твоему счастью.

До 10 часов вечера ожидали царя, и, полагая, что какое-то важное дело поме-

шало ему сдержать слово, начали танцевать; но вдруг Петр явился в дом невесты своего любимца, увидел ее, стоя в дверях в толпе любопытных зрителей, и, сказав про себя довольно громко: «Ничему не бывать», уехал. Хозяин и жених были чрезвычайно огорчены этим неприятным событием.

На другой день Румянцев с печальным видом явился к царю.

— Нет, брат, — произнес царь, лишь только увидел его, — невеста тебе не пара и свадьбе не бывать, но не беспокойся, я твой сват. Положись на меня, я выватаю тебе гораздо лучшую, а чтоб этого вдале не откладывать, приходи вечером, и мы поедем туда, где ты увидишь, правду ли я говорю.

В назначенное время государь отправился с Румянцевым к графу Матвееву.

— У тебя есть невеста? — спросил Петр, когда Матвеев вышел ему навстречу. — А я привез ей жениха.

Неожиданное предложение привело графа в большое замешательство, тем более, что он считал Румянцева как бедного дворянина недостойным руки своей дочери. Государь тотчас оттадал мысль Матвеева.

— Ты знаешь, — произнес он, — что я его люблю и что в моей власти сравнять его с самыми знатнейшими.

Нечего было делать графу, пришлось соглашаться на желание такого свата. Девятнадцатилетняя дочь, графиня Марья Андреевна была объявлена невестой Румянцева.

Существует другое предание про эту свадьбу. Бывши еще в девушках графиня Матвеева была замечена Петром I, и однажды Петр из ревности, рассердись на нее в Екатерингофе, телесно наказал ее на чердаке из своих рук и вскоре после того, против желания ее родителей, выдал за неимущего дворянина Румянцева.

После свадьбы Румянцев был произведен в бригадиры с пожалованием ему нескольких деревень.

(325, 56—57).

/Назначение сумасшедшим и возвращение в прежнее звание/

Следующий анекдот относится к позднему времени, когда Румянцев был генерал-губернатором киевским, курским, харьковским и еще какой-то губернии.

При учреждении, кажется, Курской губернии Румянцев сам открывал губернию, с обычной торжественностью таких случаев. В собрании лиц, бывших при этом торжестве, находились в числе других богатый откупщик Переверзев и помещик князь Шаховский, бывший подчиненный Румянцева и известный ему с хорошей стороны. У них были какие-то личные неудовольствия. Переверзев несколько раз подходил к Шаховскому, пользуясь удобным случаем, и говорил ему какие-то колкости. Это заметили соседи; Шаховский старался сдерживаться, но видно было, что он то бледнел, то краснел. Наконец терпение Шаховского истощилось, и вдруг среди большого собрания значительных чинов раздается звук громкой пощечины. Все присутствующие пришли в ужас. Шаховский казался совершенно погибшим.

В эту минуту раздался голос Румянцева:

— Боже мой! Какой несчастье! Бедный Шаховский сошел с ума! Иначе быть

не может... Я знаю этого прекрасного человека с давних пор. Ради Бога, доктора, скорее! Пусть ему помогут!..

Явились доктора, мнимому больному отворили кровь, увезли домой, и Румянцев, обратясь к доктору, убедительно просил позаботиться о спасении «этого достойного человека, которого потеря будет очень чувствительна обществу».

Переверзев в глазах всех как бы покрыт позором. Должно прибавить, что он пользовался самой скверной репутацией, и все были довольны, когда дело приняло такой оборот.

Прошло два месяца мнимого лечения, и Шаховский, будто бы выздоровевший, приехал к Румянцеву. Сильно чувствуя сделанное ему благодеяние, он со слезами благодарил его. Румянцев ободрял его, и только дружески заметил:

— Вы, конечно, чувствуете ваш проступок... Ведь хорошо, что я здесь оказался, а иначе, подумайте, что могло бы с вами быть. Пусть это вам будет уроком. (73, 67).

/Конфуз с посмертной славой/

Монумент графа Петра Александровича поставлен не на том самом месте, где лежит его тело: расположение церкви* как-то помешало. Бюст его из белого мрамора изображает грозный вид постоянного победителя; он держит в руке булаву, под ним золотыми литерами: «Внемли, росси! Пред тобою гроб Задунайского». Какая жалкая суета в храме Божиим и против алтаря! Задунайский весь здесь умер: пред Богом нет гетманов: все рабы Господни.

(101, 266).

**Румянцев был погребен в Успенском соборе Печерской лавры.*

/Поклонение гению Румянцева/

Что Румянцев был человеком оригинальным, умным и хорошим, может служить доказательством необыкновенная преданность, любовь и уважение людей, близких к нему /.../

Но особенно трогательной была приверженность к Румянцеву графа Завадовского. Он так же, как и Безбородко, служил в канцелярии Румянцева, был очень близок к нему и рекомендован им императрице Екатерине II как способный и исполнительный человек. Занимая высокое положение при дворе, Завадовский никогда не забывал Румянцева. По словам Гельбига, привязанность Завадовского к Румянцеву была столь велика, что он, «несмотря на приманку, которую могла иметь для него служба при дворе, не хотел расставаться с благодетелем». /.../ Завадовский страдал за Румянцева, когда последнему угрожали какие-либо неприятности при дворе или по службе. В 1793 г., еще при жизни Румянцева, Завадовский пишет Воронцову:

«Похвалюсь тебе, друг мой, добрым делом. Лет несколько работали и отливали по моему заказу бронзовую большую статую фельдмаршала Румянцева... Вышла прекрасно в отделке, и образ его довольно похож. Я не хотел выставлять оную на-

показ всем, чтоб не протоковали укоризною, а отпразднать в мою малороссийскую деревню, где приготовлен для нее храм, чтобы воздвигнуть памятник благодарности моей к благодетелю».

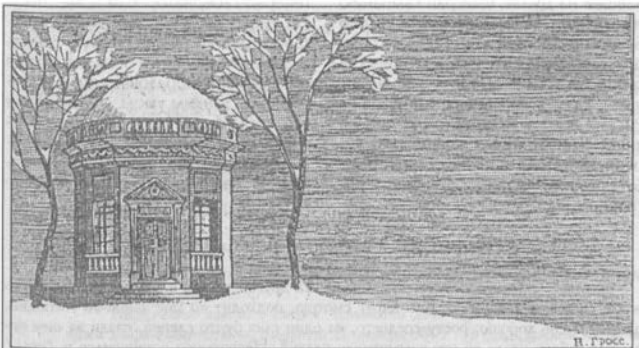
В другом письме 1800 г., уже после смерти Румянцева, Завадовский, описывая свою жизнь в деревне (Ляличи в Малороссии) Воронцову, прибавляет:

«Есть и садовые погожие строения, а паче храм благодарности, в котором преклоняюсь ежедневно статуе благодетеля моего графа П.А. Румянцева, изображающей похожим лицом и дела его».

Князь Шаликов так описывает этот храм Румянцеву:

«В круглой с куполом колоннаде на сером мраморном пьедестале помещалась во весь рост бронзовая фигура Румянцева. Он изображен в римской одежде, с открытою головою. Шлем повешен на сучке пня, на который присел герой, чтобы отдохнуть после бессмертного труда своего. У левой ноги его шит с его гербом и надпись: «Non solum apertis». В руке у него фельдмаршальский жезл. На подножии изображены его деяния: Кагул с грозною батареею и проч. Сказывают, — добавляет Шаликов, — что хозяин никогда с покрытой головою не подходит к нему».

(250, 29).



Парковый павильон XVIII в. Рис. 1915 г.

КНЯЗЬ М.И. КУТУЗОВ

Михаил Илларионович Кутузов-Голенищев, светлейший князь смоленский (1745—1813), воспитывался в Артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе. При императоре Александре I — военный губернатор Петербурга, инспектор войск в Финляндии, командовал русскими войсками в сражениях против Наполеона, но после поражения под Аустерлицем находился в опале, занимая пост киевского губернатора (1806—1808). В 1808 году направлен в Валахию для содействия князю Прозоровскому в действиях против турок. Не сработался с ним и был назначен военным губернатором в Вильно. Получив начальство над армией, действовавшей на Дунае, выиграл кампанию и заключил необходимый для России Бухарестский мир, за что был награжден графским титулом. Бородинская битва доставила ему чин фельдмаршала, а после изгнания французов из России Кутузова удостоили титула князя смоленского. Скончался 16 апреля 1813 года в силезском городе Бунцлау, перевезен в Петербург и погребен в Казанском соборе.



Участвуя в русско-турецких войнах конца XVIII — начала XIX ст., Кутузов хорошо знал украинскую жизнь. Неоднократно бывал в Киеве. Будучи киевским военным губернатором, жил в Печерской крепости, в генерал-губернаторском доме (ныне ул. Январского восстания, 29) и оставил среди горожан добрую память о себе. Он обладал обширным для его времени образованием и замечательно тонким умом. «Обращение его, когда он хотел, — писал его биограф, — могло быть очаровательным, наружное спокойствие он сохранял даже в самые критические минуты».

/Из рассказа киевского сторожила 1872 г./

На другой день я опять на берегу, опять возле своих уд для раков. Как вдруг смотрю, подходит ко мне какой-то господин, одетый очень хорошо, росту среднего, на один глаз будто слепой, сзади за ним огромная собака несла во рту камышовую палку*. Незнакомец остановился и /стал/ с любопытством рассматривать, как я, переходя от одной уды к другой, собирал

подсадкою вцепившихся раков. Наконец, спросил, как меня зовут, и, получив ответ, что зовут меня Ванькой, погладил меня по голове и сказал: «Молодец, Ванюша!» и дал мне гривенник. Расспросил, куда я деваю раков и, узнав, что отношу матери, а та варит уху (вынимает раков и засыпает пшеном — так мы и имеем два вкусных блюда — раков и раковый суп), воскликнул: «Браво, Ванюша, браво, молодец!» и пошел дальше берегом. Отошел от меня шагов на 20, поднял камушек и со всего размаху бросил в воду, собака бросилась искать камень на дне и, вынырнув через несколько минут с камнем в зубах, подала его своему хозяину. А вокруг него уже собралась порядочная кучка мальчишек. Я тоже бросил свои уды и пристал к толпе. Все мы окружили незнакомца и стали просить еще бросить камень в воду. Он уважил нашу просьбу, снова кинул камень, снова собака стремглав бросилась за ним в воду и, вытаскив его, снова подала хозяину.

Когда он пошел дальше берегом, сопровождаемый толпою мальчишек, я опять пошел к своим удам. Вдруг подходит ко мне киевский бургомистр Скородуб и спрашивает:

— Что тот господин с тобою так долго разговаривал и что он дал тебе, вынув из кармана?

Я рассказал ему все, как было.

— А знаешь ли ты этого господина? — спросил бургомистр.

— А почему мне его знать? Бог его знает! — ответил я.

— Так знай же, что это киевский военный губернатор Кутузов, — сказал бургомистр, и заметив, что я оробел от такого известия, прибавил: — И не бойся, Ванюша, он ведь весьма добрый человек. Как пойдешь домой, то Расскажи матери, что ты удостоился говорить с таким важным человеком.

(297)

**Бамбуковую трость.*

/Из письма М. И. Кутузова к дочери Елизавете из Киева 27 мая 1807 г./:

Лизанька, решаюсь, наконец, порядком тебя пожурить; ты мне рассказываешь о разговоре с маленькой Катенькой*, где ты ей объявляешь о дальнем путешествии, которое ты намереваешься предпринять и которое все мы предпримем, но желать не смеем, тем более, когда имеем существа, привязывающие нас к жизни**. Разве ты не дорожишь своими детьми? И какое бы несчастье постигло меня в старости!

Позволь мне по крайней мере тебя опередить, чтобы там рассказать о твоей душе и приготовить тебе жилище.

(399, 342).

*Катенька — внучка Кутузова, впоследствии публикатор его писем в журнале «Русская старина».

** Навязчивые мысли о смерти одолевали дочь Кутузова после смерти ее мужа графа Тизенгаузена, умершего 20 ноября 1805 г. в французском плену от ран, полученных во время сражения при Аустерлице.

Когда М.И. Голенцев-Кутузов, будущий князь Смоленский, еще в маленьком чине стоял с полком в Пирятине, он познакомился с семьей Александровичей и стал часто бывать на их хуторе Великая Круча (ныне село). Ему приглянулась красивая Ульяна, взаимно его полюбившая, и он хотел на ней жениться; но возлюбленные ничего еще не говорили родителям, как вдруг Ульяна опасно заболевает. Все лечения ничего не помогали, и мать в отчаянии дала обет, что если дочь выздоровеет, то останется всю жизнь девственницей.

Ульяна выздоровела, вместе с этим возросла взаимная любовь молодых людей. Когда мать объявила Ульяне, чему обязана она, по ее мнению, спасением от смерти, они было призадумались, но вскоре любовь превозмогла другие чувства, и они просили у родителей благословения на брак.

Мать отговаривала, боясь кары Божьей, но потом не препятствовала счастью любимой дочери. Уж был назначен день свадьбы, как вдруг невеста заболевает горячкой. Жених был в страшном отчаянии и принимал все меры к спасению несчастной невесты — она не умерла, но поразивший ее паралич сделал ее калекою навеки. Все видели в этом перст Провидения.

Хотя Кутузов все настаивал на совершении брака, но несчастная Ульяна решительно не захотела «завязывать ему свет». Она стала постоянно молиться и сохранила к любимому человеку тихую святую привязанность и добрую память до последних дней своих (+ 1836 г.). Кутузов постоянно с ней переписывался; когда же Ульяна Ивановна умерла, то приказала положить в гроб под голову письма к ней Кутузова.

(374, 782—783).



Опоры ограды XVIII в. в Царском саду. Фото 1920-х гг.

ГРАФ М.А. МИЛОРАДОВИЧ

Граф Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825) происходил из старинного украинского дворянского рода, основанного выходцами из Сербии братьями Михаилом и Гавриилом. Сын наместника Малороссии. Зачислен сержантом в гвардию, в Измайловский полк, с 9 лет. Обучался в университетах Кенигсберга, Геттингена и Страсбурга. Вернулся в Россию в 1787 г. и произведен в прапорщики. При Екатерине II дослужился до капитанского чина. Павел I произвел его в полковники, а в 1798 году пожаловал в генералы и назначил шефом мушкетерского полка, входившего в армию Суворова во время Итальянского похода. Проявил необычайную храбрость и подлинный дар полководца. Заслужил дружбу Суворова и вошел в число военных, пользовавшихся большой популярностью в армии, в народе и при царском дворе. После смерти Суворова воевал под началом Кутузова. Его победы зимой 1806 года способствовали освобождению Молдавии и Валахии от турок и принесли ему славу «спасителя Бухареста». В 1810–1812 гг. занимал пост киевского генерал-губернатора. Во время Отечественной войны 1812 года, писал Н. Лесков, за ним



окончательно укрепилась слава «народного русского героя». В 1818–1825 годах — военный губернатор Санкт-Петербурга. На войне ни разу не был ранен. Убит выстрелом Каховского во время восстания декабристов на Сенатской площади.

Правление Милорадовича в Киеве составляет одну из самых ярких страниц в истории его быта и нравов. К сожалению, оно было недолгим, а память о блистательных балах и шумных гуляньях того времени затмили трагические события войны 1812 года. Анекдоты о славном генерале собрал и издал в 1886 году его родственник, украинский этнограф и историк граф Г.А. Милорадович, но ему удалось разыскать всего один анекдот о киевском периоде жизни своего предка, который мы и воспроизводим первым в нашем собрании.

Устойчивый домашний быт тяготил Милорадовича. Его характер требовал движения, перемен, ежечасной смены впечатлений.

Многие, посещая его в Киеве, где он жил в царском дворце, замечали, что мебель, картины и статуи бывали у него беспрестанно переставляемы с одного места на другое.

Когда у него спрашивали о причине этих перемен, он отвечал:

— Войны не будет... Мне скучно, я вею все передвигать в доме. Это меня занимает и тешит.

(263, 45).

Отец Милорадовича, генерал-поручик и наместник черниговский был человек нрава крутого и сурового. Мотовство сына, в то время уже капитана гвардии, сильно огорчало его. Все увещевания и угрозы старика были тщетны: сынок кутил, как говорится, напропалую. Наконец, промотавшись в пух, приехал в отпуск.

Отец при посторонних принял его с распростертыми объятиями, но потом повел в свой кабинет и там высек, говоря, что он наказывает не капитана гвардии императрицы, а своего блудного сына.

(43, 107).

Милорадович, быв военным губернатором в Киеве, дал казенной палате предложение: что завтра, по случаю такого-то торжественного дня, обязан, по званию своему, сделать угощение и дать бал*, а денег не имеет, чтоб отпустить 10 тыс. рублей.

Не исполнено.

(140, 287).

*На устройство в «высокоторжественные дни» официальных балов и банкетов в доме генерал-губернатора отпускались из казны специальные средства, но Милорадович любил принимать гостей с такой роскошью, что никаких дотаций не хватало, и он вечно был в долгах.

Образование Милорадовича было самое поверхностное, несмотря на то, что юные годы свои он провел за границей и учился сначала в Кенигсбергском университете, а потом в Геттингене, в Страсбурге и в Метце. В последнем городе он изучал военные науки. Проведя несколько лет за границей, Милорадович даже не усвоил себе там основательного знания иностранных языков и по-французски всю жизнь говорил с самыми грубыми и забавными ошибками.

Возвращаясь в Россию, Михаил Милорадович имел большой успех в обществе в качестве красивого, ловкого танцора и веселого и остроумного собеседника. Общество наше тогда не было очень требовательно. Да если вспомним Онегина, то и в позднейшие времена у нас

*Кто по-французски совершенно
Мог изъясняться и писать,
Слегка мазурку танцевать
И кланяться непринужденно,
То про такого свет решил,
Что он умен и очень мил* —*

Следовательно, понятно, что милое невежество графа не помешало ему в свете.
(238, 152).

*Писатель цитирует стихи Пушкина не совсем точно.

Д.Г. БИБИКОВ

Дмитрий Гаврилович Биби́ков (1792—1870) родился в Москве. Герой Турецкой и Отечественной войны 1812 года. Потерял руку под Бородином. С 1825 по 1835 г. — директор департамента внешней торговли. Киевским генерал-губернатором назначен 29 декабря 1837 года. В самом Киеве появился в начале 1838 года, который и принято считать началом, так называемой «бибиковской эпохи» (1838—1852). Основную свою задачу видел в активной русификации вверенной ему Юго-Западного края (Малороссии) и в борьбе с «польским влиянием». В 1852—1855 гг. — министр внутренних дел. Попад при новом царе Александре II в опалу, Биби́ков примкнул к так называемым «старорежимным людям» и играл некоторую роль в правой оппозиции, открыто выражавшей свое недовольство политикой реформ, проводимой правительством.

Многим преобразованиям и нововведениям Киев 1840—1850-х гг. обязан энергии и инициативе Д.Г. Биби́кова, но несмотря на это в глазах киевлян он остался живым воплощением самых отвратительных черт николаевского режима, его казарменного духа, казенщины и фанфаронства. В свое время по городу ходило множество толков о волокитстве и амурных похождениях «Биби́ка», о его грубости, невежестве и хамстве. Дурная молва досаждала ему, и он всячески



старался заглушить ее какими-то другими, более благоприятными для него разговорами. Неуклюжая официальная пресса в лице недавно организованных «Киевских губернских ведомостей» в этом деликатном деле едва ли могла ему помочь, но многоопытный правитель не оставил своего плана и для осуществления его пригласил в свой дом (официально в роли «наставника» племянника-студента Сипягина) знаменитого киевского остроуслова, писателя Виктора Аскоченского (1818—1879). Обедая и ужиная каждый день за столом правителя, Виктор Ипатьевич разносил по городу слухи, сплетни и «истории» о забавных выходках и «странностях» своего патрона. В его апартаментах в генерал-губернаторском доме собирались городские остряки. Попал сюда и известный тогда в Киеве рассказчик анекдотов, поэт Т.Г. Шевченко. Правда, на тот раз вечер не удался, так как Шевченко начал читать (в доме Биби́кова!) свои запрещенные произведения, и Аскоченский поспе-

шил прекратить вечеринку. Установить источник происхождения огромного количества киевских анекдотов о Бибикове не представляется уже возможным, но так или иначе задуманное им дело удалось. Наряду с неприятными слухами о нем стали рассказывать множество апологетических анекдотов, где его самодурство выглядело не таким оскорбительно грубым, как это было на самом деле, а отвратительным выходкам сатрапа приписывалось своеобразное остроумие. Анекдотический близнец гене-

рала легко вписался в хронику жизни города и удостоился звания «киевского антика». Реальный Бибилов зорко следил за похождениями своего анекдотического двойника и всячески заботился о его репутации «сатрапа с человеческим лицом». В истории Киева Бибилов был последним крупным сановником, сознательно использовавшим анекдот как для своего личного прославления, так и для поднятия престижа имперской власти, не пользовавшейся в Украине особой популярностью.

Отец Бибилова, кажется, был полковником гвардии.

Я знал мать Бибилова. В 1833 г. она была старушкой в Москве. Была матерью пяти генералов и в большом почтении. Она была небольшого роста, но, должно быть, была редкой красавицей: огромные блестящие и умные глаза, бронетка с румянцем во всю щечку и в старости очень стройная. Это была старинных русских бар благодетельная барыня, делать добро было для нее долгом, и она делала его много и разумно.

Она была строгая мать — тоже по старине.

Бибилов был уже генералом, когда, приехав в Москву к матери, поцеловал руку и сел без позволения. По старине это считалось оскорблением родителей, и мать не затруднилась сказать:

— Дмитрий, кто тебе позволил сесть? А как я прикажу дать тебе 100 розг?

Дмитрий вскопчил, просил прощения и сказал:

— Маменька, я буду смиренно лежать, только вы высеките своими ручками, а я впредь не буду.

(390, 386).

Бибиловы Дмитрий, Илья и Гаврила Гавриловичи садили в Петербурге: первый за гордеца, второй — за игрока и третий — хвастуна. Князь Меншиков говорил, что из Бибиловых: один надувается, другой продувается, а третий — других надувает.

(44, 560).

Бибилов был хорош тем, что лениво подписывал бумаги, никогда их не читал, у себя в кабинете не держал, ни одной резолюции не делал и всеми бумагами распорядилась канцелярия.

В канцелярии было три секретаря: полицейский, судный и хозяйственный; они были и докладчики. Порядок был такой: получалось 500, 600 и более конвертов на одной почте. В получении расписывался дежурный чиновник, приносил ко мне, распечатывал другой чиновник и проверял номера конвертов с бумагами, я помечал

день получения и на серьезных делах резолюции. Бумаги поступали к регистратуре, который, записав номер и содержание, раздавал секретарям. Они составляли ответы, а Бибиков подписывал их, не читая.

Вот и все занятия генерал-губернатора. Спрашивается, что же он делал, сидя один в кабинете? Постоянно читал. Книгопродавец Исаков обязан был высылать все романы, выходящие на французском языке. Газеты Бибиков получал очень многие французские без цензуры, которые читал сам, польские — просматривал Андреевский и, сделав кой-чему перевод, докладывал. Русские журналы и газеты получались все, но Бибиков не читал ни одного, читал я и, найдя скоромное или рутальное — особенно Сенковского — я прочитывал Бибикову.

(390, 389).

Бибиков до такой степени увлеклся враждою ко всякому прогрессу и свободомыслию, до такой степени был уверен в могуществе своей партии в Петербурге и в бесконечно милостивом расположении к нему Николая, что в своих цинических речах к студентам публично позволял себе отзываться неодобрительно об образе мыслей наследника престола Александра Николаевича и его приверженцев:

— Вы думаете, господа, — говорил однажды Бибиков, беседуя сократически* с собранным в своей квартире университетом**. — Вы думаете, что скоро в Петербурге воцарится разнузданность мысли. Далеко еще до этого, да едва ли когда придет время такого лица и едва ли ему позволят делать, что вздумается. Он может либеральничать сколько угодно, а дела пойдут своим чередом, основанном на пережитом местном опыте. «Что немцу и француз пользително — то русскому смерть».

(379, 189).

*Беседуя сократически — т. е. задавая вопросы и отвечая на них.

**Т. е. с профессорами университета.

Из речи Бибикова 8 мая 1851 г. перед киевским дворянством:

«В 1838 г., приехав сюда, я застал в каждом уезде, в каждом местечке демократические общества, даже в учебных заведениях, в Бердичеве, в женском пансионе; все эти общества стремились к одному: чтоб уничтожить все законы, все дворянские права и привилегии, весь общественный порядок благоустроенного гражданского общества; одна консистория, которой имени не назову, дошла до того, что проповедовала, будто Иисус Христос не есть Сын Божий, Матерь Божия — простая женщина, а Папа — шарлатан. Я преследовал их со всею злостью, которая во мне находится, и истребил их в самом начале».

(194, 120).

Бибиков терпеть не мог либералов, а потому и был в почти открытой вражде с гр. Киселевым*. В 1843 году он подал государю записку, в которой, описывая все гибельные (?) последствия управления министерством государственных имуществ графом Киселевым, в заключение выразил так:

— Государь, верьте мне, Киселев готовит вам 1792-й год французской революции.
(44, 555).

**Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872) — во время войны 1812 г. — адъютант М.А. Милорадовича, а потом и флигель-адъютант Александра I. Будучи командующим Второй армии дружески общался с будущими декабристами. Министр государственных имуществ в правительстве Николая I (1837—1856). Первый сановник, открыто говоривший царю о необходимости уничтожения крепостного права. Слыл либералом и имел большое влияние на наследника престола, будущего царя-освободителя.*

/Провинившийся сатрап/

Однажды Бибиков приехал в Лавру в выходной день, когда литургия еще не кончилась, а шел царский молебен, который по обычаю того времени отправляли до литургии. Митрополит стоял посреди церкви на амвоне, а Бибиков стал у клироса на коврике направо и, в ожидании обеда, начал болтать с приехавшими с ним двумя сестрами-барышнями, графинями Пален. Филарет долго поглядывал недовольно на Бибикова и, увидев минуту, когда тот обернулся, со строгим и укоризненным видом погрозил ему пальцем. Бибиков перестал болтать, но с того времени неваляло митрополита, хотя в присутствии его всегда юлил и заискивал перед ним.

Кроткий и незлобивый Филарет и не подозревал о настоящем отношении к нему генерал-губернатора и всегда прекрасно о нем отзывался, приписывая все случившиеся недоразумения и неприятности интригам влиятельного тогда правителя канцелярии Бибикова, известного Писарева.*

(227, 213—214).

**Слышано от одного весьма почтенного киевского старожилы. — Прим. автора.*

Бибикова спросили:

— Какая польза от чрезмерно широких улиц в городах?

— Невозможно делать баррикады, — ответил предусмотрительный палач поляков.
(115/А, 15).

Он /Бибиков/ никому из подчиненных не подавал руки, а когда кому-нибудь из тех людей, которые непосредственно не зависели от него, хотел сделать своего рода милость, то подавал ему один палец. Дмитрий Гаврилович был настоящий сатрап; с этой точки зрения он и смотрел на всех и на все.

(286, 181).

В Юго-Западном крае существовала целая армия частью мелкопоместной, а частью только беспоместной (чиншевой), но и

бездомной шляхты. Гордясь своим шляхетским происхождением, пользуясь многими сословными привилегиями и свободой от податей и повинностей, шляхтич презирал земледельческий и промышленный труд, предпочитая толкаться около магната /.../.

Припомним слова, сказанные Д.Г. Бибиковым в его прощальной речи к помещикам Киевской губернии 8 мая 1852 года: «Когда я приехал, застал здесь, что все были дворяне: помещик ехал в карете — дворянин, кучер на козлах — дворянин, лакей за каретой — дворянин, сторож — дворянин, в кухне стряпал дворянин, подавал барину сапоги дворянин, и когда он, рассердясь, хотел взыскать с него, тогда служитель отвечал ему: «Не имеешь права, я тебе равен...».

(142, 26—27).

Как-то ему /Бибикову/ донесли, что такой-то вот уездный маршалок /предводитель дворянства/, по происхождению поляк, носит бороду и усы. Когда он явился на зов к генерал-губернатору, Бибилов вышел к нему и, указав на его лицо рукой, сказал:

— Что это такое?

Подав знак адъютанту, который тут же вынес и прочитал приказ, по которому запрещалось носить бороду, а невоенным и усы; подав другой знак — вышел солдат с барабаном, посадил на него пана маршалка и по-солдатски обрил его. После чего Бибилов явился снова и сказал маршалку одно лишь слово:

— Прощайте.

(286, 184).

Хоча /Бібікова/ називав поляків «неправною нацією» і старався при кожній нагоді наводити на них страх та душити всякі прояви польського патріотизму, та проте «волів товариство польське, ніж російське, а урядників, навіть високих, брав дуже в гори.* Університетських професорів і президентів різних судів запрошував лише в гальові /святкові — ?/ дні і їх засаджувало до карт у передпокою. В кожному поляку шукав поперед усього «бугтовщика», але коли переконався, що в данім чоловіці нема до сього ґрунту, був чемний, услужний і ласкавий.

Але се не припняло йому під сердиту хвилю говорити, що мусить переробити польську суспільність і вигнати з неї панські забаганки:

— Ви привикли їздити по шість пар коней на одного шляхтича, а я доведу вас до того, що вас шість шляхтичів буде їздити одним конем.

З тим усім, твердить Бобровський, племенної ненависті до поляків у Бібікова не було, а поступав він так, як поступав, тільки керуючись миколаївською абсолютистичною доктриною. Пізніше, коли побувши короткий час міністром внутрішніх справ, був віддалений і у Олександра II погав у неласку, перенісся на жите до Дрездена, де й помер 1870 року. Тут він радо схилявся з поляками, яким по 1863 році робив навіть деякі послуги і не одному емігрантові улепивши поворот до краю та царське помилування.

(421, 23).

*Другие мемуаристы не подтверждают благосклонности Бибилова к полякам.

Говорить на раутах /Бибилова/ допускалось только на государственном или на дипломатическом, т. е. французском, языках.

Случайное произнесение польского или украинского слова каралось тут же беспощадно и глумливо. В незаданной еще заметке Лесков приводил тому два примера.

Однажды некая польская графиня перелистывала в библиотечной гостиной акварельный кипсек* художника Михаила Макаровича Сажина. Рисунки изображали древности юго-западной Руси. Каждая акварель была вклеена в альбом с каллиграфическими подписями, сделанными так искусно, что их нельзя было отличить от печатных.

— Mon general, est-ce que c'est drouque? — спросила титулованная гостя проходившего мимо властительного хозяина.

— Non, madame, c'est pisse! — не моргнув глазом, отпарировал последний.

В другой раз какой-то очень светский польский граф, в качестве «души общества», развеселив всех рассказанными им пустяками, при прощании жеманно начал извиняться в том, что слишком много «напшикнул» («naprzykrzac sie», по-польски значит надоест).

— Ничего, — казарменно срезал старого болтуна «Бибики», — здесь сейчас окна открывают.

(231, 151–152).

* Кипсек — альбом, богато иллюстрированное издание.

** Генерал, это печатно? (Польское слово употреблено на французский манер).

*** Нет, мадам, это писано.

Между киевлянами ходит предание о приеме, сделанном новым начальником края почти в начале своего управления одному просителю из местных магнатов. За буквальную достоверность рассказа не ручаемся, но он очень характерен...

— Vort Excellence! Q'ai l'honneur...* — начал магнат.

— Что вам угодно? — перебил его начальник.

— Vort Excellence...** — начал опять представлявшийся и снова был прерван словами:

— Что вам угодно? Я говорю по-русски.

— Mais...*** але я не говорю... не умею по руску.

— А на каком же языке вы объяснитесь с вашими русскими крестьянами?

— А то мы с тыми хлопами говорим их мужицким языком, — отвечал один из представителей так называемой интеллигенции в крае****.

— Ну и со мною говорите тем же мужицким языком: я такой же русский, как ваши крестьяне, и говорю так, как говорят они, — возразил изумленной интеллигенции представитель русского правительства в русском крае.

(461, 24).

* Ваше превосходительство! Имею честь... — (франц.).

** Ваше превосходительство... (франц.).

*** Но... — (франц.)

**** Шульгин намекает, что вся интеллигенция Киева находилась в 1830-х гг. под сильным польским влиянием. Доля правды в этом есть, но в целом анекдот имеет шовинистический, антипольский характер.

Бибиков по доносу исправника Пионко был недоволен на одного польского графа, который казался исправнику подозрительным, потому что любил толковать о политике. Бибиков захотел взять графа «на глаза» в Киев, но для ареста его никаких вин против графа не оказалось. Тогда его пригласили в Киев, дабы «Доставить ему удовольствие читать все газеты, какие получались в доме генерал-губернатора». Граф жил в Кieve не под арестом, а только «читал газеты». Положение его было пресмешное, и это всех тешило.

(236, 25).

/Бибиковская награда поляку-славянофилу/

Наприкінці 1830-х років — на початку 1840-х років розквітає пишним цвітом публіцистична, критична й белетристична праця Грабовського* /.../

Але трапився один факт, що колодою ліг на життєвому й літературному шляху Грабовського. Письменник втрачає впевненість в собі і в людях, а до деякої міри і в своїх попередніх принципах. Це було під час контрактів 1843 року. Гурток русофілів на чолі з Грабовським (згадуються прізвища К. Свидзинського, кс. Ігн. Головінського, Германа Головінського, Ю. Шимановського) на нараді ухвалив клопотатися перед владою про дозвіл видавати польською мовою в Києві урядовий часопис «Slovianin» /.../ Грабовський склав листа на адресу правителя канцелярії генерал-губернатора Бібікова — Писарева, а звідти його викрав ад'ютант Бібікова гр. Ю. Струтинський і оповістив публіку, що була присутня на контрактах /.../

Польському громадянству, що відданна з цікавістю й напруженням дивилосся на тупцювання русофільського гуртка коло російської влади, на цей раз остаточно урвався терпець. Почали шукати винуватців. Приятелі Грабовського (Свидзинський, Ю. Шимановський), що дали свою санкцію, мовчали. Все обурення виливається на голову Грабовського /.../ Словацький просто називає Грабовського зрадником /.../

Підприємство Грабовського з часописом серед громадянства наготувало йому трагічну зустріч, а в канцелярії Бібікова закінчилося анекдотично смішно. Бібіков, почувавши себе ображеним тоном листа, сказав: «Дурак! Он считает себя умнее меня», а згодом, подумавши, запитався, а хто автор листа, і здобувши відповідь, що поміщик, у нагороду за лояльність та зичливість запропонував Струтинському: «Объяви ему, что у меня в Радомысле есть вакансия на исправника, буде пожелает».

(83, 235—237).

*Грабовский Михаил (1804—1863) — писатель, представитель «украинской школы» в польской литературе. Автор повестей и рассказов из украинской жизни и нескольких книг критики, эссеистики и публицистики. Родился и жил на Волыни. Оказал огромное идейное влияние на молодого П. Кулиша. В 1857 г. переселился в Киев. Приобрел усадьбу в начале Андреевского спуска по соседству с русским писателем А.Н. Муравьевым. Принимал участие во всех его мероприятиях по благоустройству знаменитого киевского урочища и реставрации Андреевской церкви. Гостями его киевского дома были А.К. Толстой и Л. Жемчужников.

В 1837 г. Бибииков был переименован из тайных советников в генерал-лейтенанты и назначен киевским военным губернатором и вольным и подольским генерал-губернатором.

В одной из вверенных ему губерний открылась эпидемия, к прекращению ее с необыкновенною ему энергиею приняты меры, и зараза вскоре прекратилась.

Два молодые врача особенно отличились самоотвержением и искусством в покровении пораженных этой болезнью. Бибииков приехал в Петербург, представил их к наградам: одного к 2 тыс. десятин земли, а другого к 20 тыс. руб. денег. Государь, по настоятельной просьбе Бибиикова, дал первому испрашиваемую награду, но второму, несмотря на все убеждения генерал-губернатора, вместо 20 тыс., назначил только 7 тыс. рублей. Это очень огорчило Бибиикова, и он, получив высочайшее повеление о награде семью тысячами в предписании своем тому месту, где служил отличившийся врач, написал, что, по ходатайству его, государь император назначил тому врачу в награду 20 тыс. рублей. Разумеется, что об этом точно донесли государю, и от Бибиикова потребовалось объяснение. Вот его ответ:

«Отвечая в Петербург, я сказал этому врачу, что, хорошо зная государя, я непременно исходатайствую ему в награду 20 тыс. рублей. Мне было бы только показать этому врачу, что я обманул его ожидание и не в силах был исполнить обещанное, а потому к пожалованным семи тысячам я добавил собственных 13 тыс. и тем поддержал мнение, что Бибииков знает своего государя».

На этом письме его величество написал:

«В этом ответе я узнаю Бибиикова».

(44, 553).

/Таинственный житель Киева/

Во время политических волнений в Австрии в 1848—1849 гг. дежурный штаб-офицер управления киевского генерал-губернатора, майор Михаил Дмитриевич Поздняков по распоряжению генерал-губернатора Бибиикова неоднократно был командирован по делам службы на австрийскую границу.

В одну из таких командировок городничий представил ему странного арестованного. Это был приличный на вид старик с длинною седою бородою и отпущенными чуть ли не до плеч волосами, в пенсне, в ветхом крестьянском армяке, в кармане которого найдена книга на английском языке «Король Лир» Шекспира. Человек этот не имел никакого вида /паспорта/ и при допросе назвался бродягой, не помнящим родства.

На все просьбы майора Позднякова открыть свое звание и положение старик отвечал отказом и просил в виде особой милости отправить его в Киев, к генерал-губернатору, которому он откроет, кто он такой и с какими намерениями сюда прибыл.

Испросив разрешение, дежурный штаб-офицер доставил старика в Киев и представил генерал-губернатору Бибиикову. Бибииков обратился к старику с вопросом:

— Кто вы такой?

— Простите, ваше превосходительство, если я вам не отвечу на ваш вопрос в присутствии постороннего лица, — ответил старик, намекая на присутствие при свидании Позднякова.

Бибиков гордо возразил на это:

— У меня нет секретов от моего дежурного штаб-офицера, отвечайте на мой вопрос!

— Я Тизенгаузен.

— Как Тизенгаузен? — воскликнул Дмитрий Гаврилович, отступая в изумлении, — декабрист?

— Да, декабрист! Не веришь? Ощурай на затылке шрам от раны, полученной в 1812 году в сражении, где и ты участвовал.

Бибиков коснулся рукой головы старика и, удостоверившись в справедливости его слов, обнял и расцеловал!

— Фома неверный! — сказал покачив головой Тизенгаузен. — Ну, что ж думаешь, — продолжал он, — отправляй в тюрьму, закуй и бей кнутом, ведь я беглый каторжник.

— Садись-ка лучше вот здесь, со мною, на диван, любезный друг, — успокаивал старика Дмитрий Гаврилович, — и расскажи, какими судьбами ты очутился здесь?

— Соскучился, тоска изгрызала сердце и душу иссушила... Ведь 20 с лишним лет, как мы уже там... Пойми, терпения не хватало, хотелось детей увидеть, а там что будет. Собрался и пошел... Что было, не спрашивай, хорошего немного, ведь дочери мои, ты знаешь, при дворе, принять боялись, хотя я видел их мельком, невзначай ... узнал, что им нехудо, рукой махнул, ну и пошел, пошел... Куда ж идти, как не к тебе, товарищ старый, родственник и друг. Прими и сделай, что тебе Господь на ум положит. В руки твои отдаю судьбу мою, казни или милуй, мне все равно, ведь жить осталось недолго.

— Но что мне с тобой делать, что мне с тобой делать, друг, — повторял в раздумьи Бибиков. — Попросить царя? Но бежав из Сибири, ты совершил снова преступление и снова подлежишь наказанию. Кто знает, как взглянет государь на это, тем более, что он о вас не хочет даже слышать. Лучше, я думаю, дожидаться его приезда сюда; здесь я лично могу просить его за тебя, а до того времени ты будешь жить у моего дежурного штаб-офицера, ко мне же приходи по вечерам. Только знай, что перед самим приездом государя я должен буду посадить тебя в крепость.

Тизенгаузен от всей души поблагодарил Бибикова, и старые друзья долго беседовали, вспоминая о прошлом, одинаково близком обоим, о капризных ударах судьбы, разведившей их так жестоко.

Спустя несколько времени /в 1850 году/ император Николай Павлович прибыл в Киев.

Осмотрев войска и город, государь принял обед у генерал-губернатора. Выбран минуту, когда государь находился в милостивом настроении духа, Бибиков рассказывал ему о побеге и прибытии в Киев Тизенгаузена и стал просить его о помиловании старика.

— Разве ты не знаешь, что я запретил просить о помиловании декабристов? — возразил гневно монарх.

— Государь, — сказал Бибиков, — я осмеливаюсь просить вас вопреки вашему запрещению и прошу потому, что беглый декабрист — мой родственник. Я обещал ему ваше помилование, и если он не достоин его, то накажите меня, злоупотребившего вашим именем. Руку свою я потерял за царя и отечество, а теперь преклоняю свою

голову перед вами, делайте с нею что хотите. Я виноват, велите снять ее, но я действовал вашим именем, зная, что вы и в гнев справедливы и милостивы.

— Нет, Дмитрий Гаврилович, такую голову не снимают, а целуют, — сказал государь и поцеловал его, — пусть будет по-твоему. Если ты обещал ему помилование моим именем, то пусть он и будет помилован! Завтра ты мне покажешь его, где он у тебя.

— В крепости, государь.

— Ну, и прекрасно, в крепости я и увижу его, — сказал, развеселившись Николай Павлович, а теперь пойдем к хозяйке.

На другой день император, осматривая крепость, подошел к каземату, где временно был помещен Тизенгаузен, взглянул на него в открытую дверь, покачав головой, промолвил:

— Несчастный!

Выходя из каземата, спросил Бибикова:

— А что, никто об нем не знает здесь?

Бибиков отвечал:

— Никто не знает, ваше величество, кроме меня и дежурного штаб-офицера.

— Смотрите же, чтобы и впредь никто не знал о нем, — сказал вполголоса государь.

Бибиков молча поклонился.

По отъезде Николая Павловича Тизенгаузен поселился в Киеве и жил на средства Бибикова в скромной квартире над Днепром, никому неизвестный, даже полиции, которой было сообщено, что ему позволяется жить, не объявляя своего имени.

Спустя два года он умер на берегу Днепра с английской газетой в руках, взятой накануне у генерал-губернатора.

(227, 237—243).

Бибиков рано поступил в гусары, постоянно был адъютантом, не был пьяницей, не был картежником, но всю жизнь была поклонником хорошеньких женщин.

Наук не знал никаких, говорил по навыку по-французски и по-немецки, замечательно недурно говорил по-русски, но писать не умел ни на одном языке; по-русски до того плохо знал грамоту, что не умел строки написать без руководства.

Случалось иногда, что он просил взять перо и писать под его диктовку. Ходя по комнате, он диктовал, но что диктовал: «поселику», «так как сей», «таковой же» и прочее. Разумеется, пишешь свое.

— Кончили?

— Кончил.

— Прочтите, поставьте, где следует «ъ». Потрудитесь расставить запятые и прочие знаки.

— Поставил.

— Да поставьте хорошенько.

— Да я ставил, когда писал.

— Ну, вот еще рассказывайте, ни один литератор не ставит знаков, когда пишет, а расставляет после, для чего же вы уверяете меня.

Написанная мною под диктовку записка служит оригиналом, и Бибиков после списывает и посылает, как свое сочинение.

Однажды я сошкольничал и под его диктовку писал две записки: одну, что должно писать, а другую слово в слово, что диктовал Бибииков, последняя преуморительная. (390, 387).

Арифметики Бибииков совершенно не знал, насили я приучил его переводить целые хотя числа с ассигнаций на серебро, например, 100 рублей, а промежуточные так и не выучился.

Когда мне случалось складывать в уме дроби, Бибииков никогда не мог не улыбнуться, а когда мне приходилось сказать итог двух дробей разных знаменателей, то он серьезно смеялся.

Я готов держать пари хоть на правую руку мою, что он до смерти не верил, что можно сложить $1/2$ с $1/3$. (390, 388)ʔ.

В музыке он ценил технику играющего, но ее не понимал. Живопись богомазов* более всего нравилась Бибиикову. Швейцар его заказал портрет своего генерала богомазу Кленцдинскому в Киеве, и тот нарисовал его яркими красками и золотом, а главное, усы и бакенбарды отделил по волоску, как пишут часто на образах. Случайно Бибииков увидел этот портрет, долго смотрел на него и не мог оторваться, а потом уверял меня, что лучшей работы он не выдывал. Бибииков знал свое слабое понятие в искусствах и при посторонних никогда не пускался в рассуждения, разве вычитает какое-нибудь мнение или подслушает его у того, кому доверяет. Тогда толкует, но всегда коротко и неохотно. (390, 388).

**Богомазами называли иконописцев-ремесленников.*

Бибииков и его жена были очень скуты. Барыня большого света, где не принято было заниматься хозяйством, она сама, заказывая обед, назначала точное количество всякой провизии и даже число яиц для всякого кушанья, но этого никто не знал из посторонних, кроме, конечно, меня. Софья Сергеевна однажды меня удивила, когда, разговаривая наедине со мною, она до самой подробности означила базарную цену всякой безделицы: говядины, круты, муки, масла, яиц и даже цену соли. Все это было совершенно верно. Когда я изъясил свое удивление, она много смеялась и говорила, что ее нельзя надуть ни в чем. Она ясно и верно означила мне, сколько и чего потребно для каждого кушанья.

Одевалась она весьма прилично и в парадных случаях — богато. На званом балу можно было видеть на ней бриллиантов, жемчугов на несколько тысяч, но была до крайности бережлива; платья, сшитые 5 лет назад для придворных балов, у нее были как вчера сшиты. (390, 293).

Бибииков уважал богатство. В Киеве был чрезвычайно дельный губернатор Перевезев, но он был беден. Секретарь канцелярии графа Воронцова, коллежский советник Иван Иванович Фун-

дуклей был назначен вице-губернатором в Житомир. Лишь только Бибииков узнал, что Фундуклей очень богат, сейчас же предложил ему губернаторство в Киеве /.../

Обязанный давать в высокотожественные дни обеды или балы, которые обходились в 500 рублей, Бибииков дня за два до праздника, сам или через меня, упросит Фундуклея дать вместо него обед или бал, и Фундуклей, усердно нюхая табак, отвечает: «Хорошо-с». Даст прекрасный обед или бал, причем в уборной дамам предоставлялись перчатки, башмаки, духи и прочее. Все смотрят на Ивана Ивановича как на гостя, забывают, что он хозяин, а бал оживлен и весел.

Таким образом Фундуклей дарил Бибиикову несколько тысяч в год*.

(390, 393—395).

**Устраивая официальные балы в «высокотожественные дни» за счет Фундуклея, Бибииков присваивал деньги, отпускаемые казной на эти дорогостоящие мероприятия.*

В приемные дни собирались нищие салоппицы, отставные солдаты. Бибииков всегда великодушно при публике приказывал: «Дайте помощь бедным», и при этом отдавал мне ключ от стола с деньгами. Зная болезненную скудость Бибиикова, я раздавал по 3 копейки и вообще соблюдал, чтобы не выйти из бюджета 2-х рублей. Раз мне не было времени и он поручил Позняку, майору, раздать помощь бедным и дал ему ключ. Позняк раздал до 10 рублей. Бибииков сильно поморщился и долго вспоминал со мною, как Позняк глупо распорядился, и более уже не поручал ему оказывать помощь.

(390, 388—389).

/Газета/ «Улей» откуда-то вырезал довольно характеристические анекдоты об известном Бибиикове, бывшем генерал-губернаторе Юго-Западного края.

Бибииков будучи генерал-губернатором был в то же время и попечителем Киевского учебного округа. Приехав однажды в канцелярию округа, он остался весьма недоволен замеченным беспорядком.

На пути к выходу, собираясь сделать выговор правителю канцелярии, он заглянул за один шкаф, где к удивлению своему увидел в струнку вытянувшегося чиновника, спрятавшегося от ревизии.

— Ты что за птица? — грозно спросил Бибииков.

— Сорока, ваше высокоблагородие, — в испуге прошептал чиновник.

— Что, сорока? — сдерживая улыбку переспросил генерал-губернатор.

— Точно так. Иван Павлович Сорока.

— На этот раз, — заливаясь неудержимым смехом, сказал Бибииков, обращаясь к правителю канцелярии, — вас спасла сорока, но в другой раз при таких беспорядках вас и ворона не спасет*.

(150).

**Этот анекдот является, очевидно, вариацией известного сюжета о посещении Николаем I какой-то канцелярии в Петербурге. Впрочем, можно предположить, что бегство от грозного начальства в то время было типичным*

явлением и нечто подобное могло случиться как в Петербурге, так и в Киеве. Но самое удивительное то, что 21 января 1881 г. газета «Киевлянин» получила послание от самого «героя» анекдота. И, конечно, с «опровержением». Газета писала:

«По поводу перепечатанного из газеты «Улей» в № 6 «Киевлянина» анекдота о генерал-губернаторе Бибикове, в котором было рассказано, как чиновник Иван Павлович Сорока спас канцелярию попечителя округа от гнева Д. Г. Бибикова, мы получили от г. Сороки следующее письмо:

«М.Г.! Я служил в канцелярии попечителя Киевского учебного округа с 1848 по 1860 год и смею уверить редакцию, что Дмитрий Гаврилович Бибиков во все время управления Киевским учебным округом не был в канцелярии попечителя Киевского учебного округа ни разу. Калл. Совет. Иван Павлович Сорока».

Читая однажды донесение ковельского исправника, Бибиков никак не мог прочесть фамилии, которая изображалась какими-то иероглифами.

— Вызвать немедленно по эстафете на его счет ковельского исправника, — приказал он правителю канцелярии, не менее его известному Е. Писареву.

Через несколько времени ему докладывают, что ковельский исправник прибыл.

— Хорошо, позовите его сюда, — приказал он. — Кто это подписал? — показывая подпись на донесении, спросил он оторопевшего исправника.

— Я ваше высокопревосходительство.

— Я спрашиваю по фамилии.

— N-ский.

— Хорошо, можешь ехать, — приказал Бибиков.

С тех пор N стал подписывать свою фамилию очень четко, не желая скакать 1100 верст в оба конца на почтовых и платить еще за эстафеты.

(150).

Кроме своего положения по службе Бибикив уважал богатство в других, бедных — нашего брата, он глубоко презирал. В нем крепко было убеждение, что бедный создан в службу богатому и что достоинства и способности пригодны только для возвышения богатого. Раз я спросил Бибикива, правда ли, что когда он управлял таможенными, то один господин разругал его, и тогда ему дали место.

— Правда, — отвечал. — Это было так. В приемный день в Питере является ко мне отставной майор, представляет документы и просит место. По справке оказалось, что он пьяница, в следующий приемный день он явился, я отдал ему документы и сказал ему: «Нет вакансии». Он просил, я отказал. В следующий день приходит майор и просит место, я опять отказал ему. Следующий — опять приходит майор, меня рассердило, я пострадал его, что пошло за полицией и окончательно запретил приходить. Майор помолчал и громко сказал.

— Будь ты проклят, безрукий урод, чтоб не было тебе ни на сем, ни том свете, ни дна ни покрывки, — и хладнокровно пошел.

Я приказал заготовить определение его к должности и в первый приемный день приказал призвать его. Увидев его, я подал ему определение и сказал при всех:

— Господин майор, вот вам место, вы пьяница, но если будете пить, то безрукый урод, которому нет ни дна ни покрышки, оставшейся рукою вас задупит. Прощайте.

Он и теперь хорошо служит полковником и перестал пить.

— Отчего же вы дали ему должность, когда он разругал вас?

— Когда человек решается ругаться, то это доказывает крайнюю степень отчаяния.

Много характерных анекдотов я мог бы рассказать о Бибикове, но для очерка довольно и этих.

(390, 390).

Раз Бибинову вздумалось зайти в общую ученическую квартиру 2-й гимназии. Дежурным надзирателем в тот день был высокопарнейший надзиратель Софроний Семенович Гриценко. Обойдя помещение квартиры, Д.Г. обратился к нему с нотацией насчет замеченных беспорядков в дорожках и прибавил в заключение:

— Слышите ли вы?

Гриценко следовало безмолвно поклониться в ответ или ответить по-солдатски: «Слушаю-с, ваше высокопревосходительство!» — и делу конец. Но у Софрония была неужемая страсть к риторике; его утوراдило прибавить: «Слушаю, ваше высокопревосходительство, с уважением!»

— А разве ты можешь слушать меня без уважения? — закричал генерал, сильно напирая на помертвевшего от страха надзирателя. Тот — шаг назад, а Бибиков — два вперед, да загнал беднягу в самый угол, так что дальнейшее отступление стало невозможным.

— В эту ужасную минуту, — рассказывал потом Софроний Семенович, — я завидовал существованию ничтожного мышюнка, готов был спрятаться в мышиную норку, провалиться сквозь пол, исчезнуть с лица земли.

(442, 24).

Бібіков справді знав трохи не все, що робиться не тільки в місті взагалі, а й у сімейному житті. Задля цього найвищою мірою розвинуте було шпигунство.

На пошті перчитувались листи і вихідні і вхідні, із них робилися виписки не тільки політичного характеру, а й про найінтимніші сімейні справи; поліція теж збирала всякі плітки про різні сім'ї від кухарів, льокаїв, куховарок, покоївок, — і про все доповідали генерал-губернаторові, а він із задоволенням хвалився, надто полякам, що йому відомо навіть те, що в кого вариться до обіду.

Ще знання хатнього життя городян він довів одного разу на прикладі професора Орнатського*. Якійсь студент, що був незадоволений з нього й знав його скупість**, підкинув йому анонімного листа із загрозою підпалити його будинок. Орнатський якось дізнався, хто був автор цього листа, й поскаржився на нього Бібікову. Однак Бібіков залишив скаргу Орнатського без уваги, а заходивсь коло нього самого, бо дістав відомості про його стосунки до своєї куховарки***. Тиск на нього з цього боку був такий нестерпучий, що він мусив звільнитися з

університету, продати будинок (на розі Шулявської та Великої Васильківської) і вийхати з Києва.
(205, 181).

**Орнатский Сергей Николаевич (1806–1884) — профессор-юрист Киевского (1835–1843), Харьковского (1846–1848) и Московского университетов.*

***В своей «Записке» О. Новицкий отмечал, что Орнатский из-за скупости не общался даже со школьными товарищами Неволыным и Богородским, но при этом «бытовая скупость не помешала Орнатскому бесплатно преподавать межевые законы воспитанникам Киевской школы землемеров» (Из прим. автора).*

****Непонятно, о чьей кухарке здесь говорится: бибиковской или профессорской? Однако ясно, что Орнатский каким-то образом вторгся в сферу амурных дел генерал-губернатора, за что и был наказан. Про подобные случаи сведения счетов Бибиковым пишут и другие мемуаристы.*

Как-то раз несколько семейных и неженатых профессоров отправились за город в лес по почтовой в то время Житомирской дороге, пили там чай, закусили и ночью, при луне возвращались домой. Шли пешком, двое-трое из них, в том числе старший Тихомандрицкий, спели несколько русских песен.

На следующий день от Бибикова поступил приказ всем профессорам явиться к нему*. С ректором Траутфеттером во главе все являются, и Бибиков торжественно объявляет, что минувшей ночью кое-кто из профессоров, возвращаясь с гулянки, на городской околице пел по дороге песни. Ни в этих песнях, ни во всем поведении профессоров не было ничего непристойного и предосудительного. В чем же дело? Бибикову просто хотелось показать, что ему известно все, что происходит в городе и за городом. Других причин к тому, чтобы собирать профессоров, не было никаких.
(286, 183).

**С 1848 г. Бибиков был также и попечителем Киевского учебного округа, т. е. прямым начальником профессоров университета и учителей гимназии.*

Все перед ним трепетали — и студенты, и дети. Вследствие его неимоверной строгости студенты, кадеты и гимназисты держали ухо остро и была удивительная тишь и благодать в учебных заведениях. Всякий проступок против дисциплины строго наказывался. Если, например, студент-медик встречался с Бибиковым на улице и был не в форме, без пуговиц или растоптут и не давал удовлетворительного объяснения, Бибиков говорил: «Иди к ректору и скажи ему, что я ссылаю тебя фельдшером в N-ский полк на 3 месяца». Если студент был словесник, то Бибиков ссылали его в уездный город писцом в уездный суд на несколько месяцев; если провинившийся был математик, то его ссылали учителем арифметики к кантонистам, положим, в Кременчуг Полтавской гу-

бернии, на 2 или 3 месяца. Студенты препровождались к месту ссылки под конвоем жандармов; от начальства той местности, куда ссылался провинившийся, требовалось, чтобы оно извещало еженедельно о поведении студентов. Если случались волнения в университете, Бибиков приходил в университет, прямо входил в кружок студентов, требовал, чтобы они сознались в своей вине и прислали бы к нему 2-х или 3-х человек выборных, с которыми он мог бы побеседовать о случившемся. Его речь к студентам была удивительно красноречива и убедительна; когда он видел, что его речь успокоительно влияла на студентов и что не нужно никаких карательных мер, он говорил: «Господа! Всеми тому, что я вижу и слышу от вас, я не могу придавать большого значения и очень удивляюсь, что можно было волноваться такими пустяками; я прощаю вас и думаю, что в другой раз вы будете осмотрительны», и брал с них слово, что в последующее время не случится больше никаких казусов. В своих беседах и речах, обращенных к студентам, Бибиков часто употреблял пословицы и остроумные выражения.

(352, 553).

/.../ Вспоминая прошлое из студенческого быта, не могу умолчать, что за несколько лет до моего поступления в университет, во времена генерал-губернаторства и попечительства известного Д.Г. Бибикова последнее обстоятельство — исполнение студентами для себя иных обязанностей службы — послужило поводом к одному анекдоту, действительно случившемуся с киевским студентом.

Случай этот не лишен характеристичности и интереса, почему привожу его, как мне о нем рассказывали.

Однажды студент, как сидел у себя в квартире в стареньком платье, надев форменную студенческую фуражку, побежал в соседнюю лавочку за хлебом к чаю. Спешит назад с булкой в руке. Откуда ни возьмись — навстречу мчится Бибиков в фазетоне. Что делать?.. Уйти невозможно. А Бибиков заметил уже издали видную фуражку с синим околышем на голове человека в штатском костюме. Подзывает. Подошел студент. «Беда, — думает, — пропал!». Да, к счастью, нашелся, и беда миновала.

— Что это!? — грозно произносит Бибиков, вскидывая огненными глазами на студенческую фуражку и злосчастный статский сюртучок молодого человека.

— За хлебом ходил в лавочку для господ студентов, — отвечает бойко, хоть в пятках душа, студент выдавая себя за слугу студентов и будто не понимая, на что намекает Бибиков своим вопросом, показывает булку, которую держал в руках.

Бибиков пытливо смотрит в глаза.

— А фуражка? — спрашивает.

— С поспешности, схватил барскую! — был ответ студента, продолжавшего играть роль лакея. — Виноват!

— Смотри! Дам я тебе в другой раз ходить в барской фуражке за хлебом! — грозно проговорил Бибиков, погрозил пальцем. — Ступай!

Не слыша от радости земли под ногами и в то же время дрожа от страха при мысли: «А вдруг воротит Бибиков!», пошел студент без оглядки спешным шагом домой. Только войдя в комнату, бледный от волнения, вздохнул он свободно и рассказал товарищам о случившейся с ним катастрофе.

Без сомнения, генерал-губернатор догадался, что студенческий лакей — само-

званец и сам барин-студент. Но он любил и ценил всякую оригинальность и находчивость, где виден ум и смелость, и ради них многое прощал, за что в противном случае задал бы жару. И в этом случае находчивость выручила студента из беды. А то полетел бы в учителя городского училища просвещать юношество глухой провинции, — на курьерских по казенной подорожной.

(31).

Как относился Бибииков к студентам и гимназистам? Как-то раз два-три студента устроили ночью дебош в доме терпимости. Бибииков скликает в университет всех студентов и прилюдно учиняет им такое «назидание»: «Вы можете ходить к барышням, но не должны учинять буйства».

(286, 184).

Многим, я думаю, памятна следующая история из студенческой жизни того времени (1840-х гг. — А.М.). Один студент, которого сам генерал-губернатор отправил в карцер в сопровождении квартального, сумел рассказами о горьком положении, которое ждет его во все время пребывания в карцере, смягчить сердце исполнителя законов и приказаний и упрorosил его перед карцером заехать в трактир, но там жестоко отплатил ему за мягкосердие. Именно: напоив его, он сам преобразился в квартального, а на своего бесчувственного стража надел свое платье и в таком виде доставил его в университет при письменном официальном приказании запереть в карцер. При этом сторожу, которому он сдал на хранение квартального под своим именем, внушил, что студент, попавший в карцер, — мономан и всегда выдает себя за какого-то квартального. Понятно, какая комическая сценка произошла, когда квартальный пропался в карцере.

Многие сильно интересовались судьбою того и другого лица, когда началось разбирательство этого дела, и напряженно следили за всем до самого его окончания. (Генерал-губернатор Бибииков, кажется, простил обоим).

(1).

Недаром тогдашняя студенческая молодежь (речь идет о 1840-х гг. — А.М.) слыла буйною. Ее не волновали политические идеалы, а поводом к толкам о буйстве служили слухи о ночных похождениях после изрядного товарищеского кутежа.

...То разбивали обход, следивший за благочинием, то разносили до основания дом терпимости, то к утру жители какой-нибудь части города с любопытством и недоумением читали перемешанные вывески: на пансионе болталась вывеска со словами: «Через сие место ход воспрещен», на кабаке красовалась такая же с надписью «Благородный пансион», тут же рядом над колбасной лавкой явилась вывеска с не совсем точным обозначением мастерства: на ней был нарисован ребенок, лежащий в колыбели, а над ним надпись: «Сих дел мастер Иван Потапов».

Очень редко полиции удавалось ловить зачинщиков этих затей. Однажды студент-медик К-ий, здоровый и сильный атлет, отличавшийся постоянно в подобном рода похождениях, попался в руки правосудия. Разумеется, донесли об этом

Бибикову, и на утро К-ий уже стоял в передней попечителя (с 1848 г. генерал-губернатор заведовал и учебным округом. — А.М.), ожидая своей участи. Попечитель не замедлил явиться и, подавая студенту донесение о нем полиции, строго проговорил:

— Читай!

К-ий, прочитав наскоро и сообразив что-то, подал назад молча бумагу.

— Понял? — спросил его попечитель.

— Понял.

— Что же здесь сказано?

— Здесь донесено, — без запинки отвечает студент, — что обход был пьян и напал на меня, а потому я должен был защищаться.

— Читай громко, — прервал его Бибилов, подавая ему снова бумагу.

Виноватый вятно читает: «Студент К-ий разбил обход в пьяном виде, состоящий из 5 человек» и т. д.

— Дай сюда, — Бибилов сам читает бумагу и находит в ней тот же смысл.

Улыбнулся он этой догадке студента и, сделав приличное внушение, простил его, а полицейстеру приказал потолковее писать свои донесения.

(405).

Говоря о гимназисте Быковском, я забыл упомянуть и о его родном брате-студенте, высоком, толстом комике и весельчаке. Его очень любил генерал-губернатор Бибилов. Расскажу подробно один факт из жизни старшего Быковского.

Это случилось в драматическом театре. Из Петербурга приехала на гастроли знаменитая драматическая актриса Кравченко. На первом представлении театр был полон. Кравченко играла бесподобно. В ложе генерал-губернатора сидела госпожа Красовская*, за которой очень ухаживал Бибилов, теперь бывший в отсутствии. Быковский, вызывая актрису, вместо «Кравченкова» громко крикнул: «Красовская!» Весь зал подхватил: «Красовская! Красовская!» С красавицей сделалось дурно и она уехала и пожаловалась Бибилову. Бибилов вспыхнул и велел полицейским доставить к нему Быковского живым или мертвым, но те не могли его найти в Киеве нигде: Быковский как будто провалился; прямо со спектакля он уехал в ближайшее к Киеву местечко Бровары на свадьбу к своему товарищу, т. к. был приглашен. Прошло два дня, а Быковского не было. Бибилов горячился ужасно, ругал полицию; наконец, на третий день захватили в жидовской балагуле** Быковского, возвращавшегося из Броваров, и, как он был, немного подвыпиныши и в растрепанной одежде, потащили к генерал-губернатору. В это время у него был управляющий подольской казенной палаты, которого Бибилов всячески ругал и пушил за взятки, называя его подлецом, говорил, что он скомпрометировал даже его самого тем, что он, Бибилов, допустил его быть управляющим в Каменде-Подольском.

Увидя входившего Быковского, Бибилов сказал ему:

— И ты такой же скотина, как этот мерзавец!

Быковский наипочтительнейшим образом расшаркался и, подавая управляющему руку, серьезным голосом произнес:

— Позвольте познакомиться с вами, почтеннейший коллега!

При этом он скорчил такую гримасу, что Бибиков расхохотался и прогнал Быковского прочь.

Тем дело о происшествии в театре и закончилось.
(352, 580–581).

* Дочь известного генерала, героя Отечественной войны 1812 г. начальника расквартированного в Киеве штаба Первой армии А.И. Кравоского.

** Балагула — дешёвый междугородний транспорт, напоминающий дилижанс и обслуживавшийся евреями-кучерами.

В воспоминаниях А.А. Солтановского, отрывки из которых печатались в нашем журнале 1892–1894 гг., есть рассказ об одном эпизоде, относящемся к жизни Киева в 1846 г., когда всеильный генерал-губернатор Д.Г. Бибиков явился с громовою речью в охрану личности женщины. Дело было так.

Среди киевского купечества славилась в то время красотою и институтским образованием девица Б. Бибиков, как известно — ценитель изящного, не оставил без своего внимания красавицу Б. И ради нее бывал по субботам в церкви Матери Божьей Скорбящей. Девица Б., имевшая обширное знакомство между студентами и среди них находившая обыкновенно кавалеров на танцевальных вечерах и в клубах, возгордилась ухаживанием такой особы: проезжая по улицам, она перестала отвечать на поклоны влюбленной в нее молодежи, на вечера отказывалась вовсе танцевать со студентами, предпочитая военных, особенно близких к Бибикову, а также чиновников его канцелярии. Несколько сот студентов согласились наказать ее. Узнав от студента Сипягина, племянника Бибикова, что последний в ближайшую субботу обещал Б. приехать в церковь, они поодиночке накануне вручили священнику этой церкви записочки и деньги, прося каждый отслужить молебен за спасение Марии (кажется, так было ее имя). Священник принимал записки, не читая; хотя его удивило, что студенты сделались вдруг набожными огулом, но прочитавши затем одну, другую записочку, не нашел ничего предосудительного и успокоился. Явилась вся знать, явилась Б., примчался с адъютантами Бибиков. Священнику подали целый ворох записок, и начинается бесконечное чтение этих записок, все — за спасение Марии. После прочтения шпук 20, все взоры обратились на Б. Бибиков позвонил от злобы. Еще несколько десятков записок — и девица упала в обморок; ее вынесли и уложили в карету. Бибиков начал строгое расследование, распек священника, но только всего и узнал, что скандал этот устроен студентами; виновников и зачинщиков не обнаружили. Спустя несколько дней Бибиков собрал в торжественный университетский зал всех профессоров и студентов и сократическим способом, задавая студентам вопросы и большею частью сам решая их, прочел им лекцию о том, какова должна быть нравственность благовоспитанного юноши... Можно пошлать в доме терпимости; можно тихонько, не компрометируя предмет своей страсти, понежиться с ним в саду под кустиком или в будуаре, особенно с замужними дамами, — но компрометировать публично даму или девицу — это верх безнравственности, и служит доказательством грубых, необразованных нравов, которые не могут быть терпимы в управляемом им учебном округе и университете, о воспитан-

никах которого он всегда лестно отзывался перед своим и общим благодетелем, государем Николаем Павловичем. Конечно, в семье не без урода, заключил Бибилов. Но — вдруг возвысил он тон до высшей степени — если попадет такой урод, то он даст честное и твердое слово, что быть такому или фельдшером, или носить белую ленту через плечо*. Для своего времени все это очень характерно.

(69, 11–13).

*Т. е. быть в солдатах.

Під його безпосередньою опікою і в його домі жив його сестрінок /небіж, син сестри/ Сіп'ягін, студент, що завжди був верховодом у всіх найголовніших авантюрах студентів. Поліція мусила повідомляти вуйка /Бібікова/ про се, але, зрозуміло, завжди зменшувала вину сестрінок й його товаришів. Вуйко лаяв з уряду і з обов'язку опікуна, але потім сміявся сердечно.

Раз кільканадцять панців у товаристві Сіп'ягіна вибралося до Броварів, першої станції за Дніпром, на якусь гулянку, а вертаючи п'янені були на мості зупинені службовим поліцейським, щоб з'ясувати, хто вони такі. Хоча поліцейський зробив це з обов'язку, п'яні студенти серед ночі вкинули його в ріку. На щастя, бідолаха врятувався, а винуваті дістали по дев'ять годин карцеру. Коли б у кого з них було знайдено найневинніший віршик Міцкевича або навіть нецензурний вірш Пушкіна, то, певно, не викрутився б від каземату або Кавказу!

(38, 283).

Отличительными свойствами всех предначертаний и мероприятий Д.Г. Бибилова по устройству края были: широта и смелость замысла, глубина взгляда, обнаруживавшего истинно государственный ум, патриотическая цель, быстрота и решительность действий, твердое и ничем неколебимое выполнение однажды задуманного. Но платя дань времени, как могучий и сильный характер, он выбирал нередко для выполнения своих намерений такие формы и способы, которые в известной среде прославили его имя как варвара или необузданного сатрапа, не ценившего в грош никаких гражданских и человеческих прав, когда дело шло о достижении им своих целей. С другой стороны, в среде русского общества и населения, помимо частных нареканий, ни одно имя главного начальника края не пользовалось такою популярностью, как имя Дмитрия Гавриловича; об нем толковали по-своему простые мещане и даже крестьяне; и всюду был известен генерал об одной руке. Доброе по природе сердце его удерживало его в пределах справедливости в тех случаях, когда он, по-видимому, давал место той злости, на которую сам в себе указывал... Но перевесившая сила воли влекла его нередко к мерам крайним, а изобретательный ум давал им такие оригинальные формы, которые усугубляли полагаемое на виновных наказание и приводили их в страх и трепет.

(66, 540).

Генерал-губернатор Бибилов старался поддерживать престиж полиции. Одного помещика, послушавшегося распоряжения станционного пристава* относительно починки дороги, Бибилов велел привести в Киев с жандармами и прочел ему такое наставление: «Знаешь ли ты, какое значение име-

ет становой пристав? Становой пристав есть мой представитель, а я представитель Государя Императора».

(246, 82–84).

**Становой пристав — начальник уездной (сельской) полиции.*

В большой актовой зале университета после торжественного молебствия собраны были воспитанники киевских гимназий. Вошел генерал-губернатор в сопровождении более 30 предводителей дворянства трех губерний, съехавшихся тогда в Киев. Все это было одето в полную мундирную форму. Началась странная команда ученикам: «Ложись, вставай, спи, храпи, садись». Когда все эти приказания без слов, послушно, как одним человеком, выполнены были целою массой молодого поколения, генерал-губернатор обратился к предводителям дворянства и, устремив на них свой, многим памятный, гипнотизирующий взгляд, сказал: «Смотрите, вот что значит повиновение, и вот как я учу детей ваших! Довольны вы?» И вся эта масса шитых мундиров в безмолвии отвесила низкий поклон перед оригинальным наставником в повиновении.

(66, 544).

Все классы 1-й гимназии очень враждовали между собой и отстаивали друг у друга первенство. Например, ученики 3-го класса не хотели уступить превосходства 4-му, бились, дрались и не просто кулаками, а коромыслами и даже кочергами. Драки были ожесточенными, кровь лилась ручьями, и какой-нибудь юноша, идя впереди других с окровавленным лицом, говорил: «Хотя и нос разбит, но наша взяла — мы победили!» Такие драки часто оканчивались повреждением спины, ребер и выбиванием зубов. Раз такого рода драка закончилась плачевно: несколько учеников были изувечены, ребра поломаны, зубы выбиты, носы расквашены и все лица покрылись опухольями; этих пострадавших отвезли в больницу, находившуюся во 2-м пансионе 1-й гимназии на Эспланадной улице. Такой случай нельзя было скрыть от генерал-губернатора Бибикова. Бибиков приказал собрать две гимназии — 1-ю, в которой было 300 человек учащихся, и 2-ю, в которой было 600 гимназистов, и велел всем собраться на площади возле здания 1-й гимназии; три пансиона этой гимназии пришли в только что сшитых курточках, а гимназисты 2-й — в новых мундирах. 1-я гимназия стояла с левой стороны, 2-я справа. Из кадетского корпуса приехала телега, нагруженная чем-то и покрытая войлоком. Каждый подумал, что привезли, вероятно, розги, и обучавшие гимназистов маршировке унтер-офицеры должны будут произвести расправу. В назначенное время (это было ранней осенью, в воскресенье) Бибиков подъехал в фээтоне; мы выпрямились, как самые бедовые солдаты. Он встал во весь свой рост, левой рукой облокотился на плечо своего кучера (правая была у него оторвана ядром во время войны) и громко крикнул: «На чем стоишь, там ложись!» Все легли, и у всех промелькнула мысль, что сейчас будет всеобщая порка, но Бибиков в другой раз громко крикнул: «Храпи во всю мочь!» и началось ужаснейшее храпение 900 душ. Третий раз Бибиков крикнул: «Тришь по земле!» и тут началось катание гимназистов по голой земле, а перед тем за полчаса прошел дождь и

земля была мокрая, так что одежды гимназистов были ужасно перепорчены. Затем Бибиков крикнул: «Смирно! Умрите и будьте безмолвны!». Каждый остановился в такой позе, в какой был; тогда он обратился к начальству обеих гимназий со следующими словами: «Вот как надо дрессировать мальчишек и доказывать им, что они должны безапелляционно исполнять приказания начальства; неслепо так распускать мальчишек!»

Сел и уехал. Кто пострадал от этого? Директора и инспектора гимназий да родители своекоштных учеников 2-й гимназии, потому что платья учеников обеих гимназий были окончательно перепорчены — изорваны и изгажены грязью.

(352, 553—554).

Нашу церковь* как находящуюся в Липках посещали лица высших сословий, которые жили преимущественно в Липках. Появились новопріезжие две дамы, две сестры П. Желая пользоваться их общением, начал посещать нашу церковь генерал-губернатор Бибиков. Вот по поводу этих посещений наш добродушный директор-артиллерист принялся приводить наш внешний вид в порядок. Прежде всего нас остригли, затем начали строить так, чтобы линии голов были верны. Директор бегал, пригибался чуть не до земли, чтобы видеть чистоту линий; затем быстрые вопросы: кто спереди, кто сзади, кто справа, кто слева. Бибиков, разумеется, нас не видел, мы же видели и его, и его свиту, в которой состоял даже один поэт Аскоценский — в синем фраке с металлическими пуговицами. К нам в пансион даже дошло его поэтическое посвящение двум П., напечатанное на голубой бумажке золотом.

А вот когда нас увидал Бибиков, тогда мы и почувствовали его обращение. Он остановил нас, идущих целым пансионом до 100 человек, заметил у одного ученика не застегнутую одну или две пуговицы на куртке. Остановил нас всех и закричал, что «второй раз я тебя здесь выпорю, ежели что случится».

Нам всем стало стыдно за него.

(80, 62—63).

** Домовая церковь Первой киевской гимназии в Кловском дворце.*

Дмитро Гаврилович Бібіков, колись поручик, що втратив ліву руку в битві під Бородіном, у ту пору сивий уже, не без огади*, «вмів бути приемним і дотепним, коли хотів, особливо в жіночій товаристві, але ще частіше був лютим, брутальним і безсердечним. Як чоловік се був розпустний цинік, як урядовець — сатрап, що не знав інших границь своєї власті, як тільки волю царя, та сей був далеко і свято вірив у велику пожиточність** свого слуги, який раз-у-раз доносив йому про неспокій у завідуваній провінції. Жонатий, він не жив із жінкою, яка пробувала в столиці ніби для виховання дітей***; у Києві він не в'язався нічим****.

Крім хвилиних інтриг з акторками, /у спогадах Т. Бобровського. — А.М./ названо чотири пані, що за чергою або й рівночасно були його любовницями.

Були се пані Писарева, жінка управителя його канцелярії, панна Красовська, дочка генерала, росіянка, і дві польки: графиня Емілія Потоцька Мечислава, котра

не жила з мужем і своїми жалобами склонила Бібікова, що велів вивезти його в глиб Росії, ***** і Октавія Свейковська*****, панна, сестра попередньої.

Ведучи таке життя, Бібіков був дуже вибачний на всякі вибрики своїх підвасних, чи то урядників чи студентів, коли ті вибрики оберталися в сфері жінок, карт та гуляток. Зате не знав пробачення у випадках із політичною закраскою.

(421, 23).

* Холений.

** Полезнасть.

*** По запискам личного секретаря Бибикова Стогова видно, что жена генерал-губернатора часто наведывалась в Киев и подолгу жила здесь.

**** Его ничто не сдерживало.

***** Такой власти Бибиков не имел. Потоцкого сослали по приказу царя.

***** В киевской мемуарной литературе сестры Эмилия и Октавия называются Швейковскими.

/История с графом Потоцким/

/В 1845 или в 1846 году/ во время кон-
трактов П/отоц/кий встречал в театре и в концертах семейство покойного полковника польских войск П/овал/о-Ш/вейковско/го, состоявшее из матери и двух красавиц дочерей /.../. За старшей дочерью приволакивался генерал-губернатор, и не смотря на то, что ему было больше 60 лет и не имел одной руки, он, как говорили, нравился красавице и своими манерами и своими чудными глазами, горевшими, как два раскаленных угля, и своим богатырским ростом, и статной фигурой. Конечно, она не могла рассчитывать на брак с Бибиковым: у него в Петербурге была жена и два взрослых сына, кажется, в Петербургском университете. П/отоц/кий со-
брал о семействе Ш/вейковс/ких справки и в один прекрасный день явился к ним. Доложили Ш/вейковс/кой-матери /.../. Ш/вейковс/кая поспешила любезно встретить его. П/отоц/кий прямо объявил ей, что ему понравилась старшая дочь ее, и он намерен на ней жениться на следующих условиях: 1) венчаться спустя неделю /.../; 2) невесте сейчас назначается 300 тыс. руб., но если она родит ему сына, то еще миллион /.../. Невеста встретила его на другой день согласием на брак /.../. В Тульчине Мечислав держал /ее/ взаперти в своем великолепном палаце /.../. Наконец она родила ему сына. Она этого ждала, чтобы получить миллион и бросить мужа /.../. Около полудня он выехал на несколько дней в свои херсонские имения. Графиня сейчас послала нарочного, чтобы лошади были готовы /.../. С ре-
бенком и кормилицей на подставных лошадях она быстро понеслась в Киев и на следующий день поручила себя и сына покровительству генерал-губернатора Биби-
кова /.../. Граф, узнавши о побеге жены, сейчас помчался вслед за нею, прибыл в Киев ночью, часа 2 спустя после приезда государя, и остановился в гостинице про-
тив крепости, подле плац-парадного поля*. Государь остановился в крепости**. На
другой день часов в 8 государь показался из ворот крепости на прекрасном белом коне, с многочисленной блестящею свитою, и стрелой помчался к войскам, распо-
ложенным на плац-парадном поле. Государь со своим конем, казалось, срослись,
слились в одно. Прекраснее картины скачущего всадника, какую изображал собою

государь, трудно себе и представить. Вся свита терялась при нем. Никто не умел так ездить верхом, как государь Николай Павлович. Войска встретили государя генерал-маршем и громким продолжительным «Ура!»

Объехав войска и поодоровавшись с ними, государь со свитой остановился под самым балконом гостиницы. Войска стали проходить церемониальным маршем. Разбуженный музыкой и «ура» граф Потоцкий***, накинув на себя халат, надел свой классический светлого цвета цилиндр на голову, закурил крепкую американскую сигару и расположился на балконе, опираясь на перила и сверху рассматривая государя и свиту, находившихся у его ног. Был ветер и дул прямо с крыши гостиницы на государя и свиту. Едкий дым американской сигары прямо несся в нос и глаза Николаю Павловичу. Государь оглянулся во все стороны, ища дерзкого, осмелившегося курить подле него. Оглянулся государь раз, оглянулся нетерпеливо другой, наконец ваглянул вверх.

— Что это за мерзавец? — указал он на П/отоц/кого Бибикову.

— Это, ваше величество, владелец Тульчина, граф П/отоц/кий. Он не повинуется закону, не признает над собой никакой власти, — отвечал генерал-губернатор.

— Посадить его, как он есть сейчас, в крепость! — повелел государь.

Бибиков распорядился. Засуетились жандармы, и П/отоц/кого в халате, в открытых дрожках жандарм повез в крепость /.../. После обеда государь с Бибиковым и Орловым, рассмотрев прошение графини П/отоц/кой, повелел немедленно П/отоц/кого сослать на жительство в один из восточных городов /.../.

(380, 77–83).

* Имеется в виду гостиница Заведения искусственных минеральных вод, помещавшаяся в одном из флигелей (очевидно, правом) Царского дворца. Упоминающийся далее балкон, свидетельствует о том, что в то время это каменное строение имело второй (возможно, деревянный) этаж.

** Николай Павлович останавливался обычно в генерал-губернаторском (собственно городском) доме. — Прим. ред.

(Исправляя ошибку автора, редактор «Киевской старины» имеет в виду дом вне крепости, т. е. в черте города, на Липках. «Собственно городским домом» в середине XIX века называли Контрактный дом, принадлежавший магистрату, а потом — думе).

*** По недосмотру редакции «Киевской старины» фамилия графа приведена здесь полностью.

/Ще одна версія історії з Мечиславом Потоцьким/

Ще одного Потоцького, Мечислава з Тульчина, силуетку* подає Бобровський. Женатий у перше з Дельфіною Комарівною, звислою коханкою Зигмунта Красівського, розвівся з нею, бо два рази родила йому монстри, хоч обоє родичі були незвичайно вродливі. В 1844 році оженився з Ємлією Свейковською, дочкою Каєтана Свейковського**, бузшого полковника війська польського, якого Бобровський називає «ostatnim pieczeniarem wielkiego tonu na Ukrainie»***. Сей шлюб був дуже голосний у Києві, йому зраду не хотіли вірити. «Звісна гордість, скнарність, захланність та дволичність графа якось

не дозволяли сьому вірити, тим більше, що тон дому, репутація родичів і саме поведження панни не виключали можливості обминення сакраменту (тобто, що можна було б і так купити панну), жертвуючи досить грубу суму, а на се граф міг собі дозволити, бо в заграничних банках мав мільони готівки, а в краю величезні маєтки і був звісний як ласун на жіноцтво. Та, мабуть, обчислився, що шлюб дешевше доведе до цілі. Родичі одержали обіцянку досмертної пенсії з умовою, щоб не показувалися у дочку, а панні обіцяно 2 мільони, коли буде мати сина. Всі на разі були вдоволені, та ненадовго.

Граф мав усталену репутацію злого сина, злого брата і свояка, злого мужа, злого обивателя, злого поляка і недоброго чоловіка, а панна вийшла також із такого дому, як батьківський, та й сама не була взірцем чесноти. Протягом року вмер її батько, натомість її уродився сподіваний потомок, та вона, посварившись з мужем нібито з приводу його виховування /сина/, нічно втекла від мужа і подалась під опіку Бібікова. За його посередництвом зажадала від мужа аліментів і одержала її дорогою адміністраційною.

Тим часом гр. Мечислав особисто наразився цареві Миколі, звівши і викравши в часі маневрів баронову генералову Меллер-Закамельську, на яку, мабуть, сам цар гострив собі зуби. Микола розсердився, заохану пару зловили, баронову вернули її мужові, а гр. Мечислава вислано до Вороніжа.****

(421, 36–37)

* Силуэт.

** В киевской мемуарной литературе упоминается как К. Повало-Швейковский.

*** Дармоедом большого света в Украине (польск.).

**** По свидетельству того же Бобровского, графиня Эмилия прожила бурную жизнь. После переезда Бибикова в столицу, сестры Швейковские также направились туда. Здесь они оказались в центре внимания золотой молодежи и пользовались довольно двусмысленной репутацией. Графиня Эмилия была арестована за какие-то неосторожные высказывания и в заключении лишилась рассудка. Октавия вернулась в Киев и продолжила свои амурные похождения. Один из ее романов увенчался похищением ее кн. Любомирским, потом она была замужем за старым и богатым ловеласом полковником Корбе, после его смерти вышла за некоего Базилевича.

/Похождения графини Потоцкой/

В Киеве она жила весьма роскошно. Ее рысики, экипажи, ее бархат, кружева и бриллианты в соединении с необыкновенной красотой и молодостью всем кружили головы. Бибиков бывал у нее по нескольку раз в день; и все говорили, что он пользуется ее благосклонностью. Но она особенно любила инспектора Первой гимназии С.К*. Это действительно была красавец-мужчина в полном значении этого слова. Статный, высокого роста, довольно плотный, с черными искрящимися глазами и великолепными волосами цвета воронова крыла, которые падали ему на плечи прекрасными кудрями; он пользовался благосклонностью всех замужних дам и доводил до безумия девиц. Однаж-

ды в своем одноэтажном доме на Липках графиня сидела в окне, а подле нее за портьерой, никому с улицы не видимый, сидел Бибиков.

В это время после полуденных занятий возвращался с портфелем из гимназии С. К. Он поклонился графине и, поняв указание ее глаз, не заговорил с нею и пошел дальше.

Графиня не выдержала:

— От таких кудрей можно с ума сойти! — вырвалось у нее невольно.

— У кого это такие кудри? — спросил Бибиков.

— Да у С.К.; он сейчас прошел из гимназии и поклонился.

Вечером С.К. получил приказ Бибикова явиться к нему в 8 утра обстриженным по-солдатски, под гребенку; иначе завтра же его обстригут у генерал-губернатора на барабане.

И этим дело не окончилось. Хотя по настоянию П/отоц/кой он вознаградил его директорским местом в Киеве, но вскоре сосватал его на дочери председателя палаты и перевел директором Нежинского лицея.

(380, 84—85).

**Имеется в виду известный в свое время педагог Егор Павлович Стеблин-Каменский, враждавший благодаря своим родственным связям в кругу киевской аристократии. Едва ли заслуживает доверия утверждение мемуариста, что он сделал свою карьеру благодаря покровительству графини Потоцкой. Исследователь истории просвещения в Нежине Г.В. Самойленко отзывался о нем как о выдающемся педагоге, оставившем добрую память о своем инспекторстве и директорстве в местной классической гимназии. Он, пишет историк, «развивал в своих воспитанниках честность, правдивость, аккуратность, любовь к ближнему». Очевидно, восторги графини Потоцкой по поводу кудрей Стеблина-Каменского были той искрой, которая упала на почву давно зревшего недовольства генерал-губернатора поведением и образом мыслей либерального инспектора.*

КНЯЗЬ И.И. ВАСИЛЬЧИКОВ

Князь Илларион Илларионович Васильчиков (1805—1862) — сын кн. И. Васильчикова, председателя Государственного совета и Комитета министров при Николае I, киевский генерал-губернатор с августа 1852-го по ноябрь 1862 г. Хотя он назначен был в Киев еще при императоре Николае I, его управление краем считалось современниками образцом генерал-губернаторского либерализма. Даже недоброжелатели из консервативных кругов не могли не видеть в нем человека в высшей степени порядочного и добросовестного. Он стремился прежде всего к тому, чтобы общество не боялось власти, а уважало ее, и ради достижения этой несбыточной в условиях России либеральной мечты позволял себе такие поступки, которые многим киевлянам, пережившим суровые бибиковские времена, казались необыкновенными. Он послал свою дочь не в закрытый дворянский пансион, а в общедоступную Фундуклеевскую гимназию, приказал посадить ее за одну парту с дочерью подольского ремесленника и спрашивать строже других. Князь позволял себе «вне рабочего времени» разъезжать по городу с визитами, сидя на козлах и собственноручно управляя экипа-



жем, устраивать в своей резиденции литературные и музыкальные вечера и делать многие другие необычные для царского сатрапа поступки.

Популярности либерального губернатора много способствовала и общественная деятельность его жены, княгини Екатерины Алексеевны (1818—1869), возродившей никому не нужное в бибиковские времена киевское благотворительное общество и сумевшей поставить его работу на деловую основу. Она же способствовала основанию еврейской больницы в Киеве, организации общедоступного женского образования, возрождению древних традиций монастырской жизни. Известны также ее симпатии к украинскому языку и украинским литераторам.

Однажды он /князь Васильчиков/ встретил гимназиста, говорит Шульгин, в расстегнутом мундире. Расстегнутый мундир почитался с месяц тому назад уголовным преступлением. Князь знал это.

— Зачем вы расстегнулись? Ну, если встретит вас генерал-губернатор, с вас строго взыщут.

Гимназист, не звавший с кем говорил, застегнулся, но ответил:

— Теперь не то, что было. Наш князь очень добр и, наверное, простит.
(406, 292—293).

Когда в Киеве строился через Днепр замечательной архитектуры каменный, на шести устоях мост, из-под которого, сказать мимоходом, река собиралась не раз уйти в сторону, то хищение казенных денег достигло таких баснословных размеров, что велено было произвести дознание, но оно ничего не открыло, и немудрено: строителем был немец*, считавший себя почему-то родственником императрицы Александры Федоровны. Но слухи не умолкали; тогда государь послал своего флигель-адъютанта, князя Васильчикова, доискаться истины.

Васильчиков, не въезжая еще в Киев, был встречен на мосту строителем, который подал ему пакет; в этом пакете лежал отчет о постройке моста и двести тысяч рублей банковских билетов.

Васильчиков принял пакет и немедленно отослал его государю. Следствие, произведенное им, обнаружило кражу на миллион, но инженер отделался тем, что прослужил три года на Кавказе без лишения чина, деньги же остались при нем.
(52, 623—624).

**Неясно, о ком именно из руководителей строительства идет речь. Кто величается здесь «строителем»? Как известно, автором проекта и строителем сооружения был английский инженер Ч. де Виньольт, но никаких махинаций и корыстных ухищрений за ним не наблюдалось. В свое время упоминаемые нами воспоминания А. Бутковской подверглись суровой критике за некомпетентность и фантастичность сообщаемых сведений.*

Надо объяснить, что у нас в Киеве и еще ранее здесь, в Петербурге, называли «добрым мальчиком» добрейшего из людей, князя Иллариона Илларионовича /Васильчикова/, а для этого надо сказать кое-что о всей его физической и духовной природе.

Он был человек большого роста, с наружностью сколько представительной, столько же и симпатичной. Преобладавшей его чертой была доброта, но какая-то скорее пассивная, чем активная. Казалось, что он очень бы желал, чтобы всем было хорошо, но только не знал, что для этого сделать, и потому более об этом не беспокоился... до случая. Физиономия его хранила тихое спокойствие его доброй совести и пребывала в постоянной неподвижности; и эта неподвижность оставалась такою же и тогда, если его что-нибудь особенно брало за сердце, но только в этих последних случаях что-то начинало поднимать вверх и оттопыривать его верхнюю губу и усы. Это что-то и называлось «добрым мальчиком», который будто бы являлся к услугам князя для того, чтобы не затруднить его нужными при разговоре движениями.

Речи князя были всегда сколь редки, столь и немногословны, хотя при всем этом

их никак нельзя было назвать краткими и лаконическими. В них именно почти всегда недоставало законченности, и притом они отличались совершенно своеобразным построением. По способу их изложения я могу им отыскать некоторое подобие только в речах, которые произносил незнакомец, описанный Диккенсом в «Записках пиквикского клуба».

Оригинальный спутник книжного Топмена, как известно, говорил так:

— Случилось ... пять человек детей... мать... высокая женщина... все ела седелки... забыла... три... дети глядят... она без головы... осиротели... очень жалко.

Как надо было иметь особый навык, чтобы понимать этого оратора, так была потребна сноровка, чтобы резюмировать и словесные выводы, и заключения князя. Но по самому характеру героя Диккенса, надо полагать, что этот путешественник говорил часто и скороговоркою, между тем как наш неспешный добросердечный князь всегда говорил повадно, с оттяжкой, так чтобы добрый мальчик успевал управляться над его молодецкими усами. При том же он, говоря по-русски, как барич начала девятнадцатого века, оснащал свою речь избранным простонародным словом, которое у него было «стало быть» или иногда просто «стало». На этом «стало» порою все и становилось, но целостность впечатления от этого нimalo не страдала, а напротив, к всеобщему удивлению, даже как будто выигрывала. Это «стало» было в своем роде то же, что удивляющая теперь петербургских меломанов оборванная нота в новой опере «Маккавей»: ее внезапный обрыв красивее и понятнее, чем самая широкая законченность по всем правилам искусства.

— Сделайте... стало... — говорил князь, отмахивая слегка рукою, и искусные в разумении его люди знали, что им делать, и выходило хорошо потому, что все знали, что он думал и чувствовал только хорошо.

(233, 90–91).

Она /княгиня Екатерина Алексеевна Васильчикова. — А.М./ тогда была в каком-то удивительно напряженном христианском настроении, которое было преисполнено благих намерений; но всем этим намерениям, как большинству всех благих намерений великосветских патронесс, к сожалению, совсем недоставало одного: серьезности и практичности, без коих все эти намерения часто приносят более вреда, чем пользы... Это что-то роковое, вроде ироники судеб /.../.

Княгиня была известна в Киеве как филантропка. Под ее покровительством Киев ознакомился со всеми приемами совершенной общественной благотворительности; при ней там пошла в ход лотереи, концерты, балы, маскарады и спектакли в пользу бедных. Словом, при ней и благодаря ей, «широко развилась» вся та *sui generis* «христианская» благотворительность, которая во многих своих чертах в наше время получила уже должную критическую оценку, но однако и до сих пор практикуется обществом, потерявшим сознание о прямых путях истинного христианского милосердия*.

Одновременно с заботами о благотворении посредством учреждения различных общественных забав княгиня получила большое влечение к улучшению нравов и распространению христианской веры. Здесь она была даже, кажется, оригинальнее и смелее всех великосветских патронесс Петербурга, что, может быть, следует приписать ее первенствующему и в некотором отношении полновластному положению

в Киеве, который с любопытством и с некоторого рода благоговейным недоумением смотрел на затеи «своей княгини».

После целибата, царствовавшего в генерал-губернаторском доме в бибикивское время**, появление там женщины, не отказывавшей себе в удовольствии дать обществу почувствовать ее присутствие, влияние ее было очень заметно, и прежде всего оно вызывало в дамском кругу довольно сильную ей подражательность.

С виду все это, пожалуй, как будто походило на что-то живое и даже очень полезное, но потом многие начали понимать и толковать об этом иначе; но не в этом дело: благотворения и морализация были так сильны, что даже из «магдалинского приюта» для *кающихся* проституток одно время было признано полезным выдавать «магдалинок» замуж за солдат. Этим путем хотели «не допустить псу возвратиться на свою блевотину». Княгиня принимала самое теплое участие в устройстве этих браков и даже давала невестам приданое, имевшее для солдатиков свою притягательную силу. Они женились на «магдалинках», конечно, всего менее заботясь о глубине и искренности их раскаяния, «лишь бы получить сто рублей и кое-что из одежды». Затем, разумеется, утешив княгиню актом бракосочетания и воспользовавшись тем, чем каждый из супругов считал удобным для себя воспользоваться, они сепарировались и расходились «кийждо во свояси...». Анекдоты при этом случались самые курьезные. «Псы» опять возвращались на свою блевотину, но только саморазврат заменялся развратом «по согласу», с мужнего позволения. Словом, по иронии судьбы над аристократическою неумелостью и непониманием, «последняя бышла горше первых». Бывали случаи, что супруг-солдат с самого своего свадебного пира сам отпускал свою новобрачную супругу к одному из шаферов, в числе коих бывали «люди благородные», принимавшие на себя шаферские обязанности, чтобы «быть на виду», угождая княгине участием в ее гуманных затеях.

Женатых таким образом солдатиков трудно строго и винить за то, что они так охотно сбывали с рук полученных ими избалованных жен. Куда ему, бедняку, в его суровом положении, *такая жена*, с ее отвычкою от всякого тяжелого труда и с навывком ко всякому «баловству».

Солдатик, женившийся на проститутке всего чаще по инициативе начальства, желавшего доставить субъекта, нужного для предположенной княгинею «магдалинной свадьбы», подчинялся своему року и брал то, что ему на что-нибудь годилось, а жену, обвыкшую «есть курку с маслом и пить сладкое вино», сидя на офицерских коленях, пускал на все четыре стороны, из которых та и выбирала любую, т. е. ту самую, с которой она была больше освоена, и где она надеялась легче заработать сумму, какую обещала платить мужу, пустившему ее «по согласу».

Таковы были «иронические» результаты этой игрушечной затеи сентиментальной и мечтательной морализации, которая, впрочем, довольно скоро надоела, и с нею покончили.

(233, 73–75).

*Правительство Николая Павловича смотрело на частную благотворительность, как на занятие весьма сомнительного свойства, скрытое масонство, проявление недовольства официальным попечительством о нуждающихся и немощных. Дамское благотворительное общество при Бибикове формаль-

но существовало, но бездействовало. Княгине Васильчиковой пришлось начинать все заново. Фактически она заново основала дамскую благотворительность в Киеве.

******Как уже отмечалось выше, целибата (безбрачия) в доме Бибикова не было.

/.../ Во время Крымской войны в Киеве была встреча Курского ополчения. Генерал-губернатор кн. /Васильчиков/ поручил профессору Шульгину составить речь. Встреча была устроена у крещальни святого Владимира. Генерал-губернатор должен был сказать: «Наши предки на сем святом месте приняли веру, которую идете вы защищать» и т. д.

Князь /Васильчиков/ имел поговорку «стало быть». Надеясь на память, он не дал себе, должно быть, труда хорошо усвоить речь и, встретив ополченцев, начал говорить так: «Ваши предки...». Спохватившись, он как бы включает здесь себя, поправился: «Стало быть, ваши предки... Стало быть... стало быть...».

Тут окончательно он смеялся и, повторив несколько раз свою поговорку, махнул рукой и крикнул к досаде стоявшего тут автора: «А впрочем, здравствуйте, ребята!» (242, 184–185).

/Князь на козлах экипажа/

3 мая 1862 году князь и княгиня праздновали свою серебряную свадьбу, впрочем, очень скромно, в семейном кругу. В числе немногих к обеду приглашен был и я*, а после обеда они оба предприняли поездку в свою загородную дачу по Житомирскому шоссе с Сережей и младшей дочерью. Пригласили и меня. Князь сел на козлы править лошадьми, подле себя усадил меня. Так я и проехал с ним по городу. На возвратном пути, желая возможно ближе подвезти меня к дороге на Подол**, князь таким же образом, усадивши меня с собою на козлах, провез по Старому Киеву до здания присутственных мест, где я и распростился с ним, глубоко благодарный за такой необычный знак внимания и расположения ко мне.

С глубокой горестью я оплакал кончину этого достойного, незлобивого человека. Князь в октябре, присутствуя на работах на этой самой даче и оставшись в свирепую погоду довольно долго на воздухе, простудился, получил злокачественную жабу в горле и скончался 12 ноября 1862 года.

(41, 516).

*Автор воспоминаний, учитель Первой гимназии Н. Богатинов, служил наемным репетитором при сыне князя Васильчикова и потому считался в его семье «своим».

**К Андреевскому спуску, близ которого в доме Флоровского монастыря и жил тогда автор записок.

А.П. БЕЗАК

Безак Александр Павлович (1800—1868) воспитывался в Царско-сельском лицее. С 1819 года — на военной службе. Участник Турецкой войны 1828 года и Польской кампании 1831 года. С 1848 по 1856 г. — начальник штаба по управлению генерал-фельдцейхмейстера (артиллерийского управления). Во время Крымской войны руководил артиллерийским департаментом. В 1860—1865 гг. — генерал-губернатор Оренбургского края. В 1865—1868 гг. — киевский генерал-губернатор. «Отличился» в умиротворении вверенных ему юго-западных губерний (т. е. в гашении последних очагов разгромленного польского восстания и русификации края). Но как в приуральских степях, так и в Юго-Западном крае его большой организаторский талант проявлялся в мирных, административно-хозяйственных делах. И прежде всего в строительстве железных дорог, со-



единивших Киев с Одессой и Курском. В те времена паровозы, как и корабли, носили личные имена. Первые машины Дж. Стефенсона назывались «Ракетой» и «Королем Георгом». Первый паровоз (рабочего поезда), прибывший на киевский пассажирский вокзал, носил имя «Безак». Безаковской киевляне называли также улицу, ведущую к вокзалу (ныне — Коминтерна).

/Взятка генерал-губернатора своему подчиненному/

Возьмите любой губернский город, в нем, вероятно, вы найдете не менее пяти нотариусов. В пространных их конторах вы увидите много разного люда, пришедшего совершить или явить то доверенность, то условие, то купчую, то закладную и т. д. Вот весь этот народ со всего города и из губернии шел тогда /в 1860-е гг./ в гражданскую палату для изъяснений надобности и решительно наполнял все помещения палаты, неотступно требуя совершить как можно скорее представленный акт. К этому следует присовокупить, что при крепостной части в палате состоял один только надсмотрщик с несколькими писцами /.../ Все они /.../ не могли быстро справляться, а потому являлась медленность в совершении актов, а главное, развелись подачки или взя-

точничество /.../ Обычай благодарить надсмотрщика, кажется, с давнего времени пустил свои глубокие корни.

/.../ Надсмотрщик киевской палаты привез /.../ генерал-губернатору Безаку за-свидетельствованную для него доверенность. Безак, достав из стола три рубля, начал давать их надсмотрщику, но тот, отказавшись, быстро удалился*. Безак, как оказывается, не любил комедии**, крайне рассердился и велел тотчас догнать над-смотрщика и сунуть ему за шиворот денгги.

Так выразился Безак***.

(180, 523).

* Чиновник не посмел взять взятку от самого генерал-губернатора.

** Т. е. лицемерия.

*** Иными словами — в этом поступке выразился его характер.

По присаде в Киев /викарий/ Порфи-рий /Успенский/ еще застал там генерал-губернатором Безака. «Эта персона, — пишет он, — в высокаторжественные дни являвшийся в Киево-Софийский собор к шпачному разбору и подходивший к кресту в не очень чистых перчатках, не был благочестив, а дома любил любоваться живыми безбородыми картинками*, лежа на кушетке. Когда он умер, тогда любопытные спросили, что же стало с помпадура-ми его**, и получили лаконический ответ: «Помпа лопнула, а дуры остались».

(400, 520).

*Завуалированный намек на порнографические фотокарточки.

**Помпадуры — фаворитки или содержанки.

Александр Павлович Безак был небольшо-го роста человек, в парике, весь покрашенный, наружность имел суровую, гово-рил всегда серьезно, отрывисто. Он производил на всех впечатление неблагоприят-ное. Вступив в должность, Безак тотчас же стал вникать во все отрасли управле-ния, читать дела и знакомиться со всяким разумным человеком, не обращая внима-ния на чины и звания. Сразу почувствовалась во всех делах рука дельного адми-нистратора, и везде начала сказываться деятельность умного человека.

(118, 30)

Безак охотно допускал на хозяйственные места мошенников.

— Ибо, — как неоднократно говорил он мне, — я допускаю их потому, что они люди умные и ловкие, и всякое дело, какое я им поручу, они сделают хорошо, а если при этом и украдут, то ведь у нас без этого нельзя.

(118, 37).

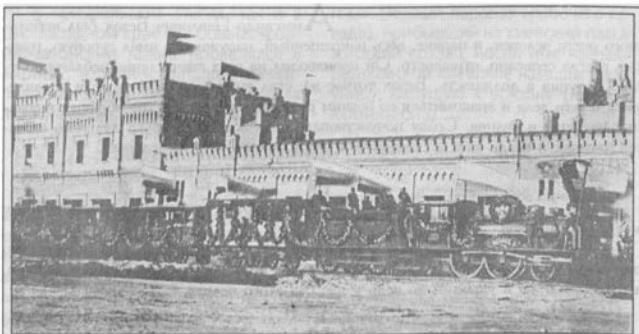
Короленко згадує приїзд до Рівного 1867 року генерал-губернатора О. Безака — «завзятого русифікатора, який залишив по-

гане враження після себе своєю мізерною губернаторською поведінкою. Проїжджаючи по вулиці попри гімназійну огорожу, він вискочив із своєї карети, накинувся на одного спантелеченого гімназиста, схопив його за вухо й наказав своєму жан-дармові негайно його арештувати за те, що задивлений у губернатора хлопчик забув скинути перед ним шапку. В уяві молодого Короленка цей губернатор був символом усієї самодержавної Росії.

(273, 288).

У 60-х роках генерал-губернатор Правобережної України Безак подавав проект, щоб синод, в цілях скоршого «обрусення края», усе правобережне українське духовенство переніс до губерній московських, а натомість щоб перенесено на Україну духовенство з Московщини. Сю ідею піддав йому митрополит київський Арсеній Москвин, що 16 років сидів на київській кафедрі (1860–1876), а сей останній запозичив її у відомого ідеолога московської церковної політики митрополита московського Філарета Дроздова. Під підозріння взято було увесь духовний стан на Україні і наказано, аби в проповідях не торкалися «посторонніх предметів».

(244, 207).



*Первый железнодорожный состав у Киевского вокзала. На паровозе надпись «Безак».
Фото 23 августа 1868 г.*

М.И. ЧЕРТКОВ

Михаил Иванович Чертков (1829—1905) родился в Варшаве в семье шталмейстера двора И.Д. Черткова и баронессы Е.Г. Строгановой. В 1848 г. окончил Пажеский корпус и определен корнетом в лейб-гвардии конный полк. Участник венгерского похода и Крымской войны. В чине полковника состоял флигель-адъютантом при Александре II (1855—1856). Осенью 1857 г. сопровождал императора в его заграничной поездке. Участник кавказской войны. За отличия в сражении под Ведено награжден Георгием 4-й степени. В 1860 г. получил чин генерал-майора и назначен в свиту императора. В 1861 г. в связи с ожидавшимися волнениями бывших крепостных крестьян, которые к весне 1863 г. должны были перейти на положение временнообязанных и подписать выкупные документы, назначен воронежским губернатором. Применил войска при подавлении бунтов в своих родовых поместьях, имениях отца, брата и других воронежских помещиков. Способствовал созданию в Воронеже женской Мариинской гимназии и учреждению первой городской публичной библиотеки. В 1864 г. генерал был направлен в другую «горячую точку» империи — на должность волынского военного губернатора. В 1868 г. произведен в генерал-лейтенанты и стал наказным атаманом Войска Донского. В начале Русско-турецкой войны находился в свите им-



ператора, но, когда в Болгарии потребовалось присутствие кн. А.М. Дондукова-Корсакова (его готовили в кандидаты на болгарский престол), Черткову пришлось покинуть действующую армию и отправиться в Киев, чтобы временно исполнять обязанности бывшего генерал-губернатора. Его правление краем (1877—1881) ознаменовалось беспрецедентным в истории киевского генерал-губернаторства семейным стилем руководства. Киевляне утверждали, что всеми делами заведует генерал-губернаторша Ольга Ивановна и во всех трудных делах искали ее покровительства. Чертков ни в чем не перечил супруге и испытывал к ней особые чувства. История этой супружеской пары необычна для своего времени и в какой-то мере действительно романтична. Ольга Ивановна Гулькевич-Глебовская (1840—1912) происходила из еврейской семьи, принявшей православие. В июне 1857 г. в местечке Махновке Бердичевского уезда Волынской губернии состоялся ее брак со

штабс-ротмистром А.В. Верещагиным. После венчания он подал в отставку и молодые переселились в родовое имение — село Репное под Воронежем. В 1858 г. родился сын Василий, но семейное счастье отставного ротмистра продолжалось недолго. Его жена-красавица приглянулась неженатому генерал-губернатору и восприемником двух последних детей Ольги Ивановны был уже генерал-майор Чертков. После его назначения в Волынь она развелась с Верещагиным и вскоре величалась «атаманшей». Подобные браки в те времена были в большой моде. Сам император имел вторую, «неофициальную» семью и многие из его приближенных — тоже. В Киеве на Чертковых смотрели как на «героев». «Романтический образ» красавца-аристократа, боевого генерала, обитающего в императорских чертогах посреди великолепного Царского сада (генерал-губернаторский дом поначалу оставался за выжившим в Болгарию князем Дондуковым-Корсаковым) запечатлен на страницах известного в свое время романа Н. Ланской «Лавры и терния». Сама Ольга Ивановна блистала в большом свете, а в Киеве прославилась необыкновенно пышными общественными гуляниями, устраиваемыми с пропагандистскими целями — для демонстрации единения монархии с народом перед лицом угрозы революции, особенно ошутимой в неспокойном Киеве. Прославилась она и своим непомер-

ным сребролюбием, готовностью участвовать в разного рода сомнительных делах, спекуляциях и махинациях. Поневоле втягивался в них и Чертков. Он утратил былую популярность и запятнал свое имя административными злоупотреблениями. Как отмечает В. Ковалинский, «причиной его увольнения с поста генерал-губернатора (или лучше сказать, одной из причин. — **А.М.**) была покупка им в Кагарлыке красивейшего замка и имений Трошинских: по указу Александра II администраторам запрещалось приобретать имения в своих губерниях, чтобы не было соблазна использовать служебное положение». По другим источникам, причиной отставки явилось сопротивление конституционным реформам своего августейшего покровителя. После удаления из Киева в 1881 г. назначен членом Госсовета, а с восшествием на престол нового царя-консерватора вновь пошел в гору. В 1883 г. Чертков произведен в генералы от кавалерии. В 1901 г. старого вояку вновь посылают в горячую точку — он служит варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа. Умер в Баден-Бадене на третий день после провозглашения русской конституции — 19 октября 1905 г. Похоже, безобидная царская конституция играла в жизни Черткова какую-то роковую роль: она лишила его генерал-губернаторства в 1881 г. и окончательно доконала в 1905 г.

/22.12.1880/ Назначается теперь членом /Государственного/ Совета киевский генерал-губернатор Чертков. Относительно его великий князь /Константин Николаевич/ спросил:

— Не глуп ли он?

Государь ответил:

— Совсем не глуп. Беда только в том, что он исполнен строгановской спеси.* Я не могу оставить его генерал-губернатором, так как он не может переварить мысли о посланной мною в Киев сенаторской ревизии.** Между ним и сенатором Половцевым*** происходят чуть ли не ежедневные столкновения.

Между тем вовсе уловить его я не хочу.

(308, 16).

*Мать Черткова — баронесса Строганова. — Прим. авт.

**Сенаторская ревизия 1880 г. имела политический характер. Для обсуждения собранных ревизорами материалов царь собирался созвать выборных представителей со всех концов России и таким образом создать первый русский парламент. Среди консерваторов, препятствовавших либеральным намерениям монарха, оказался и Чертков.

***Сенаторскую ревизию в Киевскую губернию возглавлял юрист и историк права сенатор Половцев, ставший вскоре государственным секретарем.

Мой приезд в Киев совпал со временем ухода генерал-губернатора М.И. Черткова и губернатора Н.П. Гессе* /.../ Было это вскоре после знаменитой ревизии сенатора Половцева /.../ Ревизия эта и имела последствием уход указанных лиц, причем выяснилось все то зло, которое причинено было киевлянам не М.И. Чертковым, а супругой его Ольгой Ивановной. До настоящего времени** киевские старожилы, вспоминая эту ревизию, вспоминают и двухстишие местного остряка, произведшее фурор. Вот это двухстишие:

Ольга избавила Киев от половцев.

Избавит ли Половцев Киев от Ольги?

(467, 17).

*После перемен 1881 г. киевским генерал-губернатором стал новороссийский генерал-губернатор А.Р. Дренгельн, а губернатором — одесский градоначальник С.Н. Гудим-Левкович. Как это ни странно, оба они скончались скоропостижно, на людях и в самый неподходящий момент. Дренгельн — перед началом парада в честь 900-летия Крещения Руси, а его губернатор — в публичном доме.

**Цитируемая книга журналиста С. Ярона вышла в 1910 г.

/Демагогические арабески Черткова/

Студенческий клуб* был закрыт, но студенты еще более стали волноваться. Отправлена была депутация к университетскому начальству. ректор и попечитель не приняли депутатов; тогда они пошли к генерал-губернатору Черткову. Здесь у них с Чертковым, как мне тогда передавал один из депутатов (Наум Львов, умерший в Париже несколько лет спустя), произошла в таком роде беседа:

— Чего хотите, господа? — спросил Чертков.

— Мы хотим избавиться от административного произвола, — отвечала депутация.

- Как прикажете это понимать?
 — А так, чтобы жандармы и полиция не имели права арестовывать кого вздумается.
 Тогда Чертков воскликнул:
 — Ах, господа!.. Таков закон! Двуглавый орел!.. Мы все должны ему повиноваться.
 А потом прибавил:
 — Я в этом крае генерал-губернатор, а жандармы и меня могут арестовать!
 (95, 310).

**После закрытия в 1877 г. студенческой столовой, где заправляли деятели киевского «Конституционного кружка», сходки перенесли в студенческий клуб, который просуществовал также недолго.*

Наше помешкання* зробилося тоді особливо привабливим для жандармів. Тут, на думку київської адміністрації, був корінь українофільства й нигілізму. А київський генерал-губернатор Чертков /.../ під час репресій 1881 року прямо заявив: «український вопрос окончится только тогда, когда я с корнем уничтожу эту хибарку на углу Кузнецкой и Жилианской улиц», киваючи на наше помешкання.
 (14, 122).

**Дом проф. Антоновича.*

/Не виновен — изгнать, виновен — сослать/

Возвратился /в Киев/ из путешествия Антонович. Он провел более трех месяцев на Кавказе, где производил раскопки. Едва приехал в Киев, тотчас был призван попечителем. /Попечитель/ Антонович /проф./ Антоновичу объявил решительную волю киевского наистаршего Держиморды — Черткова. Воля этого фельдфебеля такова: чтобы Антонович уходил по-добру по-здорову из Киева, если он не хочет, чтобы его взяли и вывезли отсюда силою. Чертков грозит в случае обнаружения добровольного желания перейти в другой университет, потребовать, чтобы министр /народного просвещения/ сделал это. Антонович-попечитель очень любезен и внимателен к профессору Антоновичу. Чертков передавал о какой-то слухе, что Антонович-профессор дает три тысячи руб. на «Землю и волю»*. А когда попечитель сказал: «Но есть ли какие-либо факты, это подтверждающие?», Чертков ответил: если были бы факты, то он посадил бы Антоновича на скамью подсудимых.
 (174/А, 560)

**Подпольная организация революционеров-народников.*

/Все проблемы от... талантов/

Нынешний генерал-губернатор Чертков из-мудрецов этого стия /ретроградского/. Недавно он уволил из института /благородных девиц/ учительницу Класовскую, жену гонимого учителя военной гимна-

зани. Когда он требовал увольнения, говоря, что и муж ее неблагонамерен и состоит в связи с неблагонамеренными людьми, инспектор института заметил, что по отношению ко всем поименованным людям* следует подходить осмотрительно: ведь это все талантливые люди, прибавил:

— Талантливы они-то талантливы, но я хочу сбить всех этих талантливых людей, чтобы быть мне спокойным.

(174/Б, 34)

**Речь идет об учителях военной гимназии (Беренштаме, Цветковском, Кловоском, Житецком) и Второй гимназии (Юркевиче, Науменко и Тумасове), славившихся на рубеже 1870—1880-х годов опасными радикалами.*



О. И. Чертова

/Чертков и университеты/

Передают отзыв этого непосредственного потомка Сергея Сергеевича Скалозуба /Чертова/ о князе Дондукове, своем предместнике, и о себе:

— Князь хвалился, что он был студентом университета. Я же, слава Богу, в университете никогда не был.

Ну, не напоминает ли этот Михайло Иванович Чертков своего деда по матери* Сергея Сергеевича Скалозуба, который говорил Хлестовой:

Я вас обрадую: всеобщая молва.

Что есть проект насчет музеев, школ, гимназий:

Там будут лишь учить по-нашему: раз-два;

А книги сохранят так: для больших оказий.

(174/Б, 34—35)

**Намек на принадлежность Чертова к аристократическим кругам, надбскурантизмом которых и смеялся Грибоедов в приводимых автором стихах.*

/Самодур-самородок/

Кто видел Чертова, кто всмотрелся в его оловянные бычачьи глаза, в которых горела свирепость, но искор ума не видно, тот скажет без колебания: да, это есть настоящий государственный Держиморда. Нужно было русскому народу тысячелетие воспитываться в глубоком политическом рабстве, чтобы выплодить, выкохать, воспитать такого административного самодура.

Каков поп, таков и приход.

(174/А, 537)

А.Р. ДРЕНТЕЛЬН

Александр Романович Дрентельн (1820—1888) генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Происходил из древнего дворянского рода. Командовал лейб-гвардии Измайловским полком и Первой гвардейской дивизией. В 1872—1877 гг. — командующий войсками Киевского военного округа. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. В 1878—1880 гг. — шеф жандармов и главный начальник III отделения собственной его величества канцелярии. В 1880 году назначен членом Государственного совета, временным одесским генерал-губернатором и командующим войсками Одесского военного окру-



га. С 1881 по 1888 год — киевский генерал-губернатор. Один из лидеров правых сил. Вошел в историю как ультрареакционер и гонитель украинского театра.

Однажды киевский генерал-губернатор Дрентельн приехал в казармы одного из батальонов Печерской крепости, осмотрел помещения, прошел на кухню и потребовал пробу солдатской пищи.

Кашевар, как ни старался зачерпнуть щей со дна погуще, но пища оказалась без навару и очень жидкой.

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство, — лепетал перепуганный батальонный начальник, пытаясь найти предлог для оправдания.

— А вы вот что, полковник, — перебил его генерал, — титул мой употребляйте пореже, а щи варите погуще. (13, 205).

/Суровая педагогика в доме Дрентельна/

В другой раз генералыша* приняла меня**,нося на руках своих младенца своего. Случилось, малютка, увидев на стене картину, протянул к ней ручонку свою. А мать ударила его по руке /.../ Я спросил Марию Александровну:

— Почему вы ударили младенца по ручке?

— Потому что с сей поры приучаю его не желать чужой собственности, — ответила она.

Ответ удивил и уладил меня.
(411, 344).

*Жена корпусного командира, а впоследствии киевского генерал-губернатора Дрентельна.

**Епископа Порфирия Успенского.

З приводу перебування трупи /М. Старицького в 1882/1883 рр./ у Києві я мушу сказати кілька слів /.../ Спектаклі були гарно обставлені; декорації та чудесний хор справляли на публіку таке враження, що вона, набиваючи щодня театр, робила щоразу овації артистам. Але разом з українськими виставами треба було грати і російські водевілі (адміністративна вимога), і їх грали актори російські, уже від антрепренера російського (тоді був Савін). Звичайно, щоб це коштувало не дуже дорого антрепренерові, вони обставлялись абияк, грали також чи не вихідні актори. І от раз поставили вони водевіль «Ямщики», грали його добре, так добре, що публіка, дякуючи, свистала. Таку непристойність до російських акторів уряд прийняв за демонстрацію з боку українського громадянства, і діло дійшло до генерал-губернатора Дрентельна.

Дрентельн викликав до себе М.П. Старицького і поставив йому таке питання:

— Почему это у вас в театре публика свистит русским пьесам, а вашим хохлацким аплодирует?

— Від того, ваше високопревосходительство, що погано грають, — відповів М.П. Старицький.

— А, значит, ваши лучше играют?

— Думаю, что лучше!

— Ну так пусть ваши артисты сыграют ту же самую пьесу, которую играли русские, а я посмотрю, будут ли свистеть?

Розуміється, після такої розмови нічого було довго думати, а треба було грати. І водевіль «Ямщики» був обставлений найвизначнішими тоді українськими силами. М.А. Кропивницький грав старосту, одного ямщика Василя грав я*, Стопку — М.К. Заньковецька і т.д. Крім того, брали участь в кінці водевіля весь хор і танцюристи. Розуміється, що театр тріщав від оплесків, і Дрентельн повинен був упевнитися, що свист був не демонстративний, а заслужений.

Але ... щоденні доноси про овації робили своє діло. Коли після останньої вистави публіка дійшла до екстазу і почала розносити акторів вулицями додому з гучними криками й оплесками, генерал-губернатору Дрентельну донесли, що трупа ця небезпечна, що вона викликає сепаратистичні демонстрації і сіє крамолу. Дрентельн, як родовитий російський «патріот», алякався за цілість Російської держави і звелів не пускати української трупи до Києва на гарматний постріл. З того часу, 1883 року, українській трупі були заборонили грати в усьому київському генерал-губернаторстві, а воно складалось з Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, Поділля та Волині.

І ця заборона лежала гнітом на українському театрі 10 літ.
(356, 19—21).

*Садовский Н.К.

У 1883 році генерал-губернатор Дрентельн, вислужуючись перед «божою милістю імператором всеросійським», заборонив українські вистави у всьому Південно-Західному краї.

«Никаких Кропивницких и Заньковецких не допущу на пушечный выстрел в Киев», — таку дику резолюцію наклав київський топтгін на петиції.

Микола Лисенко і Михайло Старицький теж ходили до генерал-губернатора. Під час короткої аудієнції останній цілком одверто пояснив свою «лінію»:

— В России могут играть. Там это только театр. А здесь, в Киеве, это политика.
(241, 261).

У Києві в ті часи був генерал-губернатором генерал Дрентельн, який забороняв грати в його генерал-губернаторстві. Коли в Петербурзі гриміла слава про гру українських артистів, то в той час прибув до Петербурга генерал Дрентельн. Петербурзькі українці порадили Кропивницькому звернутися до генерала, щоб він нарешті дозволив українцям виступати в Києві. Кропивницький пішов на прийом до генерала Дрентельна і потім оповідав про зустріч з ним таке:

— Дуже радий вас бачити! — сказав генерал Дрентельн, стискаючи мені руку.

— Ось, ваше високопревосходительство, Петербург не Київ...

— Дуже, дуже радію за вас! — перервав генерал. — Чув, чув про ваші успіхи! Ось тут і залишайтеся, а в Київ вам їздити нема чого...

— На півдні мої родичі...

— Досить. І чути нічого не хочу! Даруйте! Ви ще напівдороги до Києва, а вже студенти вбираються в баранячі шапки, натягають вишивані сорочки, облачаються в широчезні шаровари і галасують: «Ми!.. Іде наш батько!» Це не годиться! Я цього дозволити не можу!

(268, 12).

Марко Лукич /Кропивницький/ брав участь в якомусь благодійному вечорі і читав «Чернеця». На вечорі був Дрентельн*. На останні слова: «І за Україну молитись чернець пошкандибав» Дрентельн зло-радно промовив:

— Напрасно, Москва ее уж давно съела.

(358, 44).

*Очевидно, это было еще во время пребывания Дрентельна на посту ко-мандующего КВО в 1870-х гг.

/Співучий психоз князя і лють Дрентельна/

У Києві правив «удільний князь» в особі грубіяна-фельдфебеля генерал-губернатора Олександра Дрентельна /.../ Без скре-

готу зубів, без скаженої пісні Дрентельн не міг чути слова «українець»; українське слово або пісня виводили його з рівноваги. Але як на заість йому Київ був тоді немов хворий на якийсь співучий психоз. Мій «палацовий хор», як його називав Лисенко*, не був, по правді, нічим особливим. Співали по домах, садочках, на вулицях, на Володимирській гірці, на Дніпрі, над Дніпром, в Царському саду, а навіть під самим носом Дрентельна, в так званій Маріїнській році коло царського палацу**. Дрентельн міг тільки пінитись зі злості, бо такої сили, щоб що стихію згнати, не було.

(387, 423).

**Автор цих строк, киевський адвокат Федор Стерня, організував любительський хор, сходившийся на Кудрявської вулиці в парку на усадьбі Київської обсерваторії или в домі проф. астрономії Фабрициуса.*

***Имеється в виду Маринський парк.*

Когда к А.Р. /Дрентельну/ являлись с просьбами, ходатайствами и жалобами, он всегда внимательно выслушивал просителей /.../. Несколько менялась картина, когда А. Р. вызывал кого-либо к себе, при этом надо заметить, что такие вызовы большей частью имели место по серьезным поводам /.../.

Обыкновенно Р.А., выходя из кабинета, быстро направлялся к «обвиняемому» и, справившись о фамилии, принимался разносить. Вступление было горячее, речь сопровождалась угрозами, генерал страшно кипятился; и, заканчивая обвинительный акт, который он произносил, шагая из угла в угол по обширной приемной, останавливался наконец перед «обвиняемым» и, смотря на него в упор, произносил: «Ну, что скажете?», после чего спокойно, не перебивая, уже выслушивал объяснения /.../. Здесь кстати будет привести два-три случая таких вызовов, как наглядное доказательство, насколько А. Р. был идеально честен и справедлив*.

Один из таких случаев произошел со мной**.

Скончался комендант киевской крепости генерал Гудима, с которым я, как его хороший знакомый, довольно часто встречался. Это был очень добрый, симпатичный человек, и я, написав некролог, посвятил покойному несколько прочувствованных строк. Должен сознаться, что в некрологе я хватил несколько через край. Так, наряду с личными воспоминаниями, характеризовавшими покойного, я поместил и следующий факт, сообщенный мне подчиненными Гудимы. Какой-то юный офицер, в пьяном виде учинивший дебош, был арестован и представлен коменданту, который, по обыкновению, стал читать ему отеческие наставления о вреде пьянства, нередко ведущего к преступлениям. Во время чтения наставлений Гудима заметил, что офицер стащил со стола какую-то лежавшую там ассигнацию и не меняя тона, продолжал:

— Пьянство может вас довести до того, что вы, за отсутствием денег, способны будете и на кражу.

От последних слов офицер сразу пришел в себя, бросился к ногам Гудимы и, прося прощения, дал клятву никогда больше не пить. Комендант простил, а офицер сдержал слово и в дальнейшей службе вел себя образцово.

Это-то сообщение и было причиной приглашения меня для объяснений к начальнику края. В приемной встретил меня дежурный адъютант Папа-Афанасопуло.

— Да и достанется же вам сейчас от генерала! — сказал он мне. — Ваш некролог о Гудиме прямо возмущил его.

Через несколько минут А.Р. вышел из кабинета и, подойдя ко мне, строго спросил: — Как фамилия вора? В русской армии вор! У меня на службе вор! Как фамилия? Кто вам сообщил об этом факте? Фамилии сообщников и немедленно! В 24 часа вышло из пределов края, если не назовете!

Долго еще говорил А.Р., шагая из угла в угол по приемной и, снова повторив «в 24 часа вышло», остановился передо мной и, как будто несколько успокоившись, спросил:

— Ну, что скажете?

Я до того растерялся, что мог только сказать:

— Позвольте, ваше превосходительство, три дня срока, в 24 часа собраться не успею!

— Не успеете! Сегодня же вышло, если не назовете фамилии вора, служащего в русской армии.

— Даю честное слово, что фамилии его я не знаю.

— А фамилии сообщивших этот факт знаете?

— Знаю.

— Назовите!

— Ваше превосходительство, личность моя в вашей власти, но бесчестным не буду, я их не назову.

Не успел я произнести последних слов, как А.Р. совершенно другим тоном, почти ласковым и, слегка улыбаясь, сказал:

— Садитесь, пожалуйста!

Этой переменной тона я был до того поражен, что не сразу сел. Мне показалось, что со мной говорит не тот человек, который за несколько минут властно и резко угрожал мне высылкой из Киева, а совершенно другой, мягкий, ласковый, любезный.

— Посидите, нам надо как-нибудь выйти из положения, я приглашу редактора.

Переговоры с редактором также ни к чему не привели и А.Р. обратился ко мне с предложением напечатать опровержение с указанием, что офицер был из запасных и к коменданту попал случайно, по ошибке. Когда я уходил, А.Р., протягивая мне руку, улыбнулся и сказал:

— А хорошо, что вы не назвали фамилий офицеров, показал бы я вам, как передавать для печати такие факты!

На другой день опровержение было напечатано, и А.Р. вполне этим удовлетворился. (467, 107—109).

*Такая характеристика едва ли уместна по отношению к бывшему шефу жандармов, тонителю украинской культуры и инициатору первых еврейских погромов в Одессе и Киеве.

**Здесь цитируются мемуары сотрудника газеты «Киевлянин» С. Ярона.

У генерала Дрентельна, як солдати казали, генерала «Кренделя», було стільки того товщу і таке велике черево, що він своїми

короткими руками не міг до власної ширінки дістати. При нагоді при «смотрах» що роль виконував який-небудь з солдатів, за що діставав 3 крб. грошей.
(78, 78).

/Городской юродивый Паний предрекает смерть Дрентельна/

Было 15 июля 1888 года. В Киеве происходило великое торжество — празднование 900-летия Крещения Руси. К этому же времени было приурочено и открытие памятника гетману запорожских козаков Богдану Хмельницкому. С самого утра все главные площади и улицы были переполнены народом и войсками. Был выставлен парад войск и на площади перед памятником Богдану Хмельницкому. С минуты на минуту ожидалось прибытие на парад начальника края генерала А.Р. Дрентельна и других высокопоставленных особ.

Вдруг неожиданно перед фронтом войск появляется блаженный Паний* с горшком каши в руках. Полиция засуетилась, но не дерзнула удалить его насильно, т.к. юродивого старца знал весь Киев и все благомыслящие относились к нему с большим уважением, а потому полицейские чины стали просить его уйти отсюда.

— Уйду, уйду, душечки, сейчас уйду, — отвечал блаженный, и вслед затем со всей силы бросил горшок с кашей на площадь. Горшок разлетелся вдребезги, а блаженный убежал за цепь войск и скрылся в толпе.

Нечего было делать, пришлось полиции убрать черепки и кашу, т.к. медлить было некогда: вот-вот начальство нагрянет.

Между тем начальник края генерал Дрентельн почему-то медлил с выездом из дома. Лошадь давно уже была подана, но он, сильно взволнованный, ходил все взад и вперед в своем помещении. Он сам не мог понять причины такого загадочного тревожного состояния. Однако оно все росло.

— Что бы, кажется, не дал сейчас за то, чтобы не ехать на торжество, — так говорил он своей жене. — Такая тоска, такая тяжесть на душе. И сам не знаю, что делается со мной. Однако время ехать. Я и так уже опоздал...

С этими словами он простился с женой, вскочил на лошадь и помчался в сопровождении адъютантов на парад. Когда он достиг того места, где блаженный разбил горшок с кашей, с ним сделалось дурно. И он свалился с лошади и тут же скончался.

При отъезде генерала Дрентельна на торжество супруга его также начала сильно волноваться. Ей никогда еще не приходилось видеть мужа в таком угнетенном настроении духа. А потому, чтобы успокоить себя, она и сама решила ехать на торжество. Немедленно был подан экипаж. Но в то время, как генеральша стала садиться в экипаж, перед крыльцом появляется о. Паний с новым горшком каши. Полиция пыталась было удалить его, но он сердито запротестовал:

— Отстаньте! Я сам уйду сейчас. Дайте только поминуть раба Божьего Александра! — и с этими словами снял с себя шапку, перекрестился, взял ложку каши и произнес:

— Упокой, Господи, новопреставленного раба Божия Александра!

Совершив это, он немедленно удался на свой обычный подвиг юродства, а генеральша отправилась на торжество и на пути встретила носилки с телом мужа.

Этот поразительный случай прозорливости блаженного старца Паисия немедленно стал известен всему Киеву и запечатлелся в памяти многих навсегда. (124, 95–97).

**Знаменитый в свое время юродивый монах Лавры Паисий (в миру Прокопий Григорьевич Яроцкий (1821–1893) считался преемником великого городского юродивого Ивана Босого.*

В марте 1888 года исполнялось 50-летие служения в офицерских чинах начальника края А.Р. Дрентельна. По сему случаю он удостоился высочайшего рескрипта и ордена Андрея Первозванного /.../

Недолго прожил А.Р. после своего 50-летнего юбилея. 15 июля в Киеве праздновалось 900-летие Крещения Руси, и праздник этот был омрачен горестным событием: во время объезда войск в 9.30 часов утра А.Р. Дрентельн внезапно скончался на верхней площадке между памятником св. Владимира и Михайловским монастырем. Весть эта, разлетевшаяся с быстротой молнии и поразившая всех, вызвала всеобщую печаль. Явилась даже мысль отменить праздник, устраивавшийся городом для прибывавших славянских гостей, но обер-прокурор Святого Синода К.П. Победоносцев заявил, что, искренне соболезнуя о горестном событии, он не находит возможным отменить программу празднества, имеющего громадное значение для всего славянского мира, празднества, равному которому нет в нашей истории /.../ Обед состоялся, но многие из приглашенных, пораженные внезапно постигшим их горем, не сочли возможным присутствовать на обеде /.../. По случаю внезапной кончины А.Р. 16 июля состоялось экстренное заседание думы, единогласно постановившей «поставить на месте кончины всеми любимого начальника края мраморную плиту с соответствующей надписью» /.../

Постановление думы о постановке памятника на месте кончины А.Р. состоялось, как я уже сказал, на другой же день после его смерти, но проект памятника был утвержден министерством внутренних дел только год спустя, и освещение последовало 14 июля 1889 года. На памятнике имеется следующая надпись:

«Место кончины Александра Романовича Дрентельна, упавшего с лошади от апоплексического удара во время объезда войск на параде по случаю празднования 900-летия Крещения Руси 15 июля 1888 года», а на другой стороне: «Сооружен Киевской городской думой по постановлению ее 16 июля 1888 года».

(467, 115).

ГРАФ А.П. ИГНАТЬЕВ

Граф Алексей Павлович Игнатъев (1842–1906) — киевский генерал-губернатор (1889–1897). Окончил пажеский корпус (1859) и академию генерального штаба (1862). В 1864 г. — командир эскадрона его величества, с 1865 г. — флигель-адъютант. В 1873 г. назначен командиром кавалергардского полка, в 1881 — начальником штаба гвардейского корпуса. Иркутский генерал-губернатор (1885–1889). С 1896 г. — член Госсовета, один из лидеров правых сил. Генерал-адъютант при царе с 1905 г. Убит террористом в Твери. Отец известного совет-



ского военного дипломата, генерала А.А. Игнатъева, написавшего популярные в свое время мемуары «Пятьдесят лет в строю» (1958).

/Умиротворение генерал-губернатора/

Тем временем накануне гастролей труппы Н. Садовского в Киеве в /1893 или 1894 г. — А.М./, я* разослал артистам повестки, чтобы на такое-то число августа прибыть в Киев. А теперь нужно было подумать, как бы студенческая молодежь не наделала вреда**, имея в виду, что эти два представления*** должны были идти в Киеве в августе, когда вся молодежь уже в сборе. Про это мы переговорили с М.П. Старицким и решили, что нужно пустить агитацию. ¹⁰

У него были свои контакты с украинским студенчеством. У меня тоже было несколько знакомых, и вот я собрал их и попросил, чтобы они сделали так, чтобы не то что овазии, но даже и горячей встречи не было. Они долго не соглашались, но когда я сказал, что от этого зависит судьба украинского театра в Киеве, они пообещали зажать свое сердце в кулак и смирить свои порывы. Про это же самое поговорил со своими знакомыми Михаил Петрович, и дело как-то уладили...

Наконец настал долгожданный час. После десятилетнего запрета труппа будет играть в Киеве /.../. Одного я боялся, что молодежь не выдержит и взорвется овазией, тогда пиши пропало... Наступил вечер представления в оперном театре, публики полным-полно. Вся галерея набита студенческой молодежью. В ложе генерал-губернатора сам граф /Игнатъев/ с женою. Поднялся занавес, и представ-

ление началось. Кончилось первое действие, занавес опустился; прозвучали легкие аплодисменты партера, а галерея молчит. Граф Игнатьев стоит в ложе и хлопает, за ним хлопает партер, ложи, а галерея молчит! «Молодцы, — подумал я, — прекрасно держат слово».

После третьего действия граф появился за кулисами. Я встретил его и представился. Он рассыпался в комплиментах и высказал свое возмущение публикой.

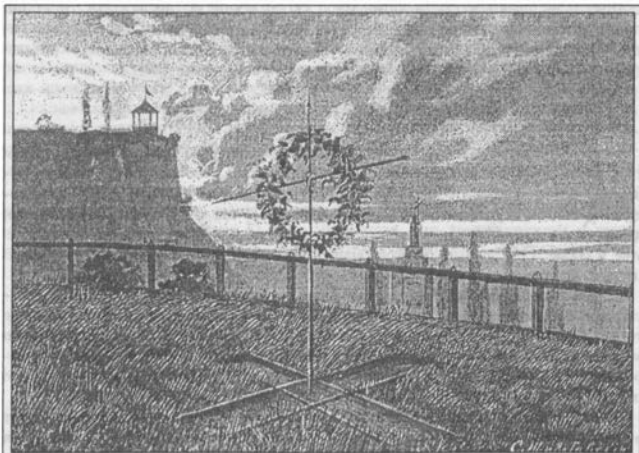
«Помилуйте, что это за публика! Такая чудная игра, такой удивительный ансамбль — и вдруг такой прием! Мне просто до боли досадно! Я сам все руки отбил, вызывая».

(356, 126—128).

**Здесь цитируются мемуары Н. Садовского.*

***В 1883 г. украинские спектакли в Киеве и во всем Юго-Западном крае запретили в связи с бурными оациями, устраиваемыми студентами украинским актерам.*

****В помещении Литературно-художественного общества намечались представления пьес «Чорноморці» и «Не так стало, як задалось».*



Памятный знак на месте смерти генерал-губернатора А.Р. Дренгельна.
Рис. С. Животовского. 1888 г.

М.И. ДРАГОМИРОВ

Михаил Иванович Драгомиров (1830—1905) родился под Конотопом. Происходил из украинского дворянского рода. Генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Закончил военную академию (1856). Служил в генеральном штабе и был профессором тактики в военной академии. В 1869—1876 гг. — начальник штаба Киевского военного округа. В Русско-турецкую войну 1877—1878 гг. командовал 14 пехотной дивизией, которая первой переправилась через Дунай около г. Систова. Ранен на Шипке. В 1878 г. назначен начальником Николаевской академии генерального штаба, в 1889-м — командующим войсками Киевского военного округа. Киевский генерал-губернатор с 1898 по 1903 год.

Служа в Киеве, генерал сблизился с деятелями украинской культуры и всячески способствовал им. Н. Садовский называл его в своих мемуарах «тайным Никодимом украинства». Впрочем, в украинстве Драгомирова ни для кого никакой тайны не было. Он проводил в жизнь определенную политику правительства царя Александра III, направленную на смягчение жестких гонений предыдущего цар-



ствования против украинской культуры. Эту же политику укрепления авторитета русского самодержавия в кругах «украинства» и противодействия его увлечению культурной политикой Австро-Венгрии продолжил он и на посту киевского генерал-губернатора.

Военный писатель. Печатался в «Военном сборнике» и «Русском инвалиде». Отдельными изданиями вышли «Очерки австро-прусской войны 1866 г.», «Солдатская памятка» (1890), курсы тактики (1872), «Опыт руководства для подготовки частей к бою» (1885—1886), «Разбор романа «Война и мир» (1895), «Жанна д'Арк» (1898), «Дуэли» (1900) и др.

Драгомиров и украинское культурное движение

Коли київським генерал-губернатором призначено було широко відомого і поза військовими сферами генерала Драгомирова, то в українців з'явилась надія, що через нього можна буде здобути від царсько-

го уряду якої-небудь, хоч мінімальної, полегкості для українського слова, хоч яких-небудь змін в законі 1876 року. Треба сказати, що тоді у всіх свідомих українців програмою чи гаслом було — скасування цього ганебного закону, і всі зусилля, всі заходи направлені були на це.

Драгомиров, коли був професором Академії генерального штабу в Петербурзі, вчив якихось військових наук і царя Олександра III, як той ще був наслідником престолу. Будучи людиною розумною і талановитою, Драгомиров так заімпонував цьому тутому самодержавцеві, що він увесь час свого царювання ставився з повагою й увагою до нього, хоч Драгомиров часто-густо як «ліберал» проявляв свою індивідуальність всупереч установленим традиціям самодержавного урядування, яких ревно дотримувався і навіть зміцнював Олександр III.

Але Драгомиров, хоч був справді людиною ліберальною, разом з тим був і «хитрим малоросом», і свою українську індивідуальність проявляв тим, що іноді на смотрах новобранців-українців уживав в промові до них декілька українських приказок.

У своїй військовій окрузі він дозволив солдатам співати українських пісень і навіть через офіцерів пропагував їх, але в приказі мотивував це «хитромудро» тим, що це швидше прив'яже новобранця-українця до військової служби, зменшить самотність від суму за домівкою і підійме військовий дух армії.

Покійні В. Антонович та П. Житецький, до яких часом, ще до свого генерал-губернаторства, Драгомиров заїздив на «вареники та горілку з ковбасою», звернулися до нього з проханням, щоб він ужив у Петербурзі заходів, аби скасувати або хоч полегшити закон 1876 року.

Вони підказували йому, що в так званому Юго-Западному краю, підвладному Драгомирову, де поляки як численна й міцна поміщицька класа проводять потроху свої політичні тенденції, треба дати змогу розвиватися місцевому «русскому» елементу, який успішніше боротиметься з польською пропагандою, ніж російський уряд.

Результатом заходів Драгомирова було справді малесеньке полегшення для українського слова. «Киевской старине» нарешті дозволено було друкувати на своїх сторінках українську белетристику.

(451, 227—228).

Найактивніше нам, українцям у Києві, змішалося за небіжчика генерал-губернатора М.І. Драгомирова. Кожен з нас був певний, що коли кого-небудь безпричинно арештують, то проф. В. Антонович чи П. Житецький, приятелі Драгомирова, виручать.

Драгомиров /.../, хоч не був активним українцем, але, безперечно, мав великі українські симпатії, з якими не крився ніколи, а хитромудро, наскільки дозволяло йому високє становище, проводив їх у життя. Він /.../ напосівся, щоб солдати співали українських пісень, виклопотав «Киевской старине» дозвіл на друкування української белетристики; клопотався про дозвіл на видання науково-популярних книжок на українській мові для народу й, страшенно обурювався, що уряд душить український культурний рух.

Пам'ятаю, що коли в 90-х роках українці врядали в Петербурзі святкування ювілею Д. Мордовця і запросили на те свято М.І. Драгомирова, що саме тоді приїхав до Петербургу, то він ухилився, сказавши:

— Мені як світському, придворному генералові треба на це височайшого дозволу, а вони там змішали «єдинодушє» з «єдинообразієм»* і хотять всі народи Росії підвести під один ранжир.
(452, 16).

*Игра слов: если корням слова «єдинообразія» придасть украинское значеніе, то получится нечто вроде «всеобщего оскорбления».

Ще до знайомства з Драгомировим мені відомо було, що він приятелював з В.Б. Антоновичем і І.С. Левицьким, а від Володимира Боніфатійовича довідався, як виникла у них традиція справляти пампушки з часником. У Драгомирова була звичка повідомляти, коли він думає прийти до В.Б. Антоновича. На візити до професора він дивився як на приємний відпочинок від служби та всякого роду прийомів різних людей. Раз якось Драгомиров заїхав до Антоновича зовсім несподівано і застав усю сім'ю за пампушками з часником. Запропонували і Драгомирову покуштувати ці пампушки. Драгомирову вони страшенно сподобались. А тому, що їх було дуже багато, то призначили для пампушок окремий день, коли мав прийти і Драгомиров. З того часу установились традиційні пампушки з часником, і коли Драгомиров мав заїхати до Антоновича, то писав до нього: отоді-то прибуду до вас на пампушки, або: прохаю прийти до мене на пампушки в такий-то день і годину. До пампушечної компанії потроху приєднались: М.В. Лисенко, П. Житецький, В. Беренштам і я. Був такий звичай, що на пампушки запрошувались не більше двох душ гостей, але таких, що на всякий випадок, краще слід було познайомити їх з Драгомировим, як начальником краю. Ця політика взаємно розумілась, на ділі ж Драгомирову ніхто ніколи не докучав проханнями. А якщо вже звертався, то це означало, що іншого виходу не було, і Драгомиров негайно виконував прохання.

Дякуючи таким взаємостосункам, усі почували себе нічим не зв'язаними і не зобов'язаними, а збирались як близькі знайомі, довго сідали, довго розмовляли і ніби всі відпочивали від усяких справ своїх.

Довгі бесіди велись, як звичайно, в світлиці або в кабінеті за шклянками столового білого та червоного вина, не обмежуючи себе нічим, аж до скидання шортків та мундирів.

(184, 157).

/Схиляння перед Драгомировим/

/.../Якось з Єлисаветтраду ми приїздили з усією родиною до Києва, батьки повели мене з сестрою до нього /Павла Житецького/. В цей час він був напівпаралізований. Сидів у кімнаті за своїм столом, — фігура імпазантина з великою білою бородою. Розмов, звичайно, не пригадую, крім того, що Житецький оповідав, як у нього був знаменитий Драгомиров, генерал-губернатор Київської округи, герой війни 1878 року з турками. Це був великий слуга імперії, близький до царського двору, але стихійний українець. Про нього збереглося багато анекдотів. Цей візит, видно, дуже імпував Житецькому:

— Ось тут він сидів, на цьому самому кріслі, де сидите ви, — говорив він батькові.
(462, 299).

Такі люди, як Антонович і Драгомиров, дуже заслуговують на те, щоб позаписувати про них і ті анекдотичні пригоди, які бували з ними, і які перш над усе їх же самих найкраще характеризують.

До речі будь сказано, що Драгомиров дуже добре говорив по-українськи, не цурався народних звичаїв і був українським патріотом, наскільки можливо було виявляти це в його урядовому стані. Іноді, наприклад, він сам редагував які-небудь папери, що надсилалися редакцією «Киевской старины» в «Главное управление по делам печати» або до міністра внутрішніх справ. Папери такі, звичайно, направлялися з Петербурга на рішення київського генерал-губернатора, і Драгомиров писав свою думку з питань давно уже йому відомих в деталях. Отак непомітно допомагав Драгомиров українським справам і поодиноким українським діячам, коли треба було.

Дякуючи допомозі Драгомирова, «Киевская старина» одержала дозвіл друкувати оповідання українською мовою.

(184, 158).

Медаль-унікум

На другий день Різдвяних свят були ми у Драгомирова на чергових пампушках з часником. Драгомиров хоча й був генерал-губернатором, але жив у будинку командуючого військом Київської округи. Будинку цьому віддавав він перевагу з двох причин: перша — через дорогу прехороший Маріїнський парк; друга — кабінет у нього такий великий, просторий, світлий та гарний, що Драгомиров не хотів з ним розлучатися.

За пампушками В.Б. Антонович розповів, що тижнів 2–3 тому був він у митрополита і прохав його дати для копіювання золоту велику медаль-унікум, яку знайшли в стіні Лаврської церкви у вітварі, коли там робився ремонт. В стіні зроблена була ніша, і там знайшлося чимало срібних та золотих грошей та одна велика золота медаль з часу Володимира Святого. Митрополит допустив Антоновича оглянути оді старовинні речі, але видати медаль для вироблення копії рішуче відмовився.

Можє, б я і не звернув на цю подію особливої уваги, але ж вона окреслилась настільки, що варто розказати про це.

Приблизно через тиждень після розмови про загану медаль я був у Володимира Боніфатійовича. Сиділи ми в кабінеті і вели бесіду. До кабінету увійшла прислуга і сказала:

— Прийхав митрополит.

— Митрополит?! — здивувався Антонович, а за ним і я.

— Так, митрополит, — підтвердила покоївка.

Ми обидва пішли в прихожу, а покоївка вийшла через парадні двері на вулицю. Через 2–3 хвилини одчинилися двері, і в прихожу увійшов митрополит, а слідом за ним монах, який допоміг митрополиту зняти кожуха.

Коли ми перейшли в кабінет, то митрополит заговорив:

— Вы меня простите, профессор, что я не дал вам медали для снятия копии...

Извините меня, но я усомнилася, что вы профессор, а потому и не решился доверить такую ценность... Вчера был у меня генерал-губернатор Драгомиров и сделал мне выговор за мое к вам недоверие... Мне, говорит, стыдно за вас, за митрополита киевского, что вы так отнеслись к ученому и всеми уважаемому профессору Антоновичу.

— Ничего, ничего, Ваше высокопреосвященство!.. — говорил Антонович, а сам, видно было, настільки почував себе ніяково, що не знав, що й робити.

— Так вот я и решил, — говорил митрополит далі, — самолічно явиться к вам. Извиниться перед вами и вручить интересующую вас медаль для снятия с нее копии...

— Спасибо, спасибо!.. Очень вам благодарен, — повторював Антонович, приймаючи від митрополита медаль-унікум.

(184, 166—167).

В поліцейському участку

Раннього ранку професор Антонович проходив через Софіївську площу в Києві і звернув увагу на двох робітників, які стояли біля пам'ятника Хмельницькому і гаряче сперечалися. Дуже швидко суперечка перейшла в бійку /.../ З'явився поліцейський, а на його свисток прибув другий, розборонили розлютованих робітників і повели їх до до поліцейського участка, а професора Антоновича запросили туди ж таки як свідка для складання протоколу «за нарушение тишины и спокойствия». Антонович пішов.

В участку черговий помічник пристава почав писати протокол, а городові розказували йому, як було діло.

Коли протокол був складений, помічник пристава звернувся до Антоновича з запитанням:

— Ти грамотний?

— Грамотний.

— Підписатись під протоколом можеш? Підпишуй тут. — Черговий показав пальцем місце для підпису і додав: — Напиши подробно свое звання, ім'я, по батькові і свою адресу — де живеш, щоб можна було доставити тобі повістку, коли мировий суддя призначить діло до розбору, — розумієш?

— Розумію, — відповідав Антонович і, прихилившись до столу, почав писати: «Професор Київського імператорського університету свят. Володимира, дійсительний статський совітник Володимир Бонифатійович Антонович, живущий в г. Києві, по Жиланський...»

— Що ти там так довго пишеш, — незадоволено проговорив черговий помічник пристава, і додав: «Що ти? Титулована якась особа, чи що?» — потягнув до себе ще не зовсім підписаний протокол і почав читати вже написане.

Черговий хутко підвівся з місця, поклонився і, догідливо посміхаючись, промовив: — Простіть, ваше превосходительство, що ми насмілились потривожити вас... Накажете унічтожити протокола?..

— То вже ваше діло, — сказав Антонович і запитав: — Можна йти?

— Как вашему превосходительству угодно будет; задерживать не смеем... Простіте, ради Бога!

— Нічого, нічого! — промовив Антонович і пішов з участка.

Того ж таки дня, о 5 годині надвечір, помічник пристава прибув до Антоновича на квартиру і умовляв його не робити йому нічого поганого по службі, бо у нього велика сім'я і він боїться лишитись без служби.

Антонович запевнив помічника пристава, що він ні про що але і не думає навіть, але помічник пристава не зразу заспокоївся, а ще приходив до Антоновича разів два, і знову повторяв свою просьбу, пояснюючи:

— Нам, ваше превосходительство, хорошо известно, что вы личный друг господина генерал-губернатора, и стоит вам сказать ему одно слово, как такой человек, как я, погибнет сразу... Я должен был сначала осведомиться, кто вы, должен был попросить вас сесть, а я ничего этого не сделал и даже грубо повелся с вами... Будьте великодушны, ваше превосходительство...

— Даю вам слово, что ничего худого вам не буде. Служить собі спокійно і не думайте більше про оце! — ще раз запевнив помічника пристава профессор Антонович. (184, 167–168).

На щастя кийських українців, Василь Дементич /Новицький/* був чомусь не до смаку командуючому військами М.І Драгомирову, котрого тут уважали за українофіла. Генералові Новицькому було добре відомо, що Драгомиров приятелює, та й ще здавна, з такими відомими українофілами, як проф. В. Антонович і П. Житецький. Він знав, що генерал Драгомиров буває в гостях у того й другого, а також і їх запрошує до себе. А зачепити генерала Драгомирова при його ласці у царя і впливах у Петербурзі — це ризикувати власною шкурою /.../

Завдяки генералові Драгомирову не міг Новицький і во мною нічого вдіяти, ** бо я був на військовій посаді***, а військового не могла поліція й жандарми ні арештувати, ні, навіть трусити без дозволу на те військового начальства. Намагався Василь Дементич здобути цей дозвіл, але дарма.

Одного разу, коли я мешкав вже в кадетському корпусі (1893 р.), **** привозить мені джура командуючого військами запрошення на обід до генерала Драгомирова. В призначений день і годину я, одягнений в нову парадну форму і навіть у рукавичках, виходжу у вітально командуючого військами. В ідальні вже зібралася вся родина господаря, а коло столика з горілками і закусками стоять генерал Драгомиров і його помічник генерал Троцький. Коли я підходив до них, здіймаючи рукавичку, то генерал Драгомиров звернувся до генерала Троцького і, показуючи на мене, голосно говорить:

— Вот видите, он даже в перчатках, а Василий Дементич так беспокоится о нем.

Ось у такий спосіб генерал Драгомиров і мене попередив, і генералові Новицькому послав зась.

(78, 123–124).

*Василий Дементьевич Новицкий (1839–1907) — начальник Киевского губернского жандармского управления (1878–1903). Происходил из дворян Псковской губернии. В годы молодости был товарищем Драгомирова по Дворянскому полку и по Военной академии генерального штаба. Встречались они и на Балканской войне.

***Автор мемуарів Н. Галин піддержував зв'язь з М. Драгомановим і М. Ковалевським, брав участь в нелегальній діяльності.*

****Автор служив військовим врачом, працював головним хірургом і консультантом Київського госпітальєра.*

*****Некотре час Н. Галин служив там врачом.*

Хорова поема «Іван Гус», як відомо, не була дозволена царською цензурою до друку, і Микола Віталійович надрукував її у Львові.

У самий розпал підготовки до хорової подорожі підійшов довгожданий ювілей Михайла Петровича Старицького.

Подарунком-сюрпризом вірному другові-побратиму на ювілейному вечорі і став «Іван Гус». Було ризиковано виконувати заборонену річ, та батько запевняв усіх, що ювілей проведено буде «в сімейному колі, серед своїх».

Важко передати, що робилось в залі, коли загриміло гнівне Тарасове:

*Кругом неправда і неволя
Народ замучений мовчить,
І на апостольським престолі
Чернець годований сидить.*

/.../Здається, двічі чи тричі хор повторював «Івана Гуса». Але на другий день батько прийшов на співанку з добре нам відомою ухмылкою.

— І була ж мені, хлопці, «головомайка» від Драгомирова! Викликав мене пан генерал-губернатор та як напуститься: «Ви, — каже, — раз би проспівали і зійшло б, а то на «біс» — біс вас поплутав. Стару поговорку забули: «Крути, та не перекрутуй», а ви ж перекрутили. От і донесли на вас». — «Та я ж, кажу, ваше превосходительство, співав про папу». — «А хоч би й про маму, — кричав генерал, — я й сам папу того люблю, як заношу в п'ятці. А раз цензура...» Ще добре, — вже всерйоз закінчив батько, — що то не Новицький. З жандармським полковником жарти погані. Враз пошле годувати блошиць на Лук'янівку*.

(241, 161–162).

**Имеется в виду Лукьяновская тюрьма.*

Мода на українців /у Петербурзі 1886–1887 років. — А.М./ була велика. Нам /українським акторам/ часто влаштовували вечірки. Покликав нас на обід до себе і Михайло Іванович Драгомиров. Він тоді завідував Академією генерального штабу. Я часто бачив його в театрі.

Ходив він завжди оточений молоддю, розмовляв українською мовою, розповідав анекдоти. Чув я, як він доводив, ніби Кропивницький неправильно співає: «Ой, хто до кого, а я до Параски, бо у неї чортма штанив, а в мене запаска», — і проспівав цю пісню по-своєму, і замість «чортма штанив, а в мене запаска» ужив інші слова, що їх навести мені соромно.

От і Драгомиров зацікавився нами, як завжди цікавився він тим, хто в моді. Ко-

ли потім він був генерал-губернатором київським, то вже ніколи не цікавився нами, навіть у театрі не був ні разу.*
(358, 46).

** Неприязненный тон высказываний П.Саксаганского про Драгомирова объясняется датой публикации его мемуаров: 1935 год — начало «сталинской эры». Сравнительно с тем, что писалось тогда про царских сановников, эти выпады актера звучали довольно мягко.*

Генерал-губернаторский либерализм

Генерал-губернатор Михаил Иванович Драгомиров отрицал любые суровые меры против студентов. Это была, очевидно, единственный генерал, к которому молодежь относилась с явной симпатией. Далеко за пределы Киева распространился слух про один случай. Киевский гражданский губернатор, желая высужиться, послал Александру III телеграмму: «Драгомиров уже несколько дней беспробудно пьет».

Генерал-губернатор* немедленно получил царскую записку с предупреждением, что пора перестать пить, и телеграфировал в ответ: «Третий день пью за здоровье вашего величества».

Но неутомимый гражданский губернатор на этом не успокоился. Вместе с попечителем учебного округа сообщил царю, что Драгомиров не обращает внимания на студенческие выступления, которые уже перерастают в демонстрации против правительств. Александр III предложил своему пьяному генералу пресечь беспорядки. Драгомиров послал к университету драгуна и телеграфировал в Петербург:

«Докладываю вашему величеству, что по моему приказу около университета расположена часть драгун. Армия на позиции, пушки выставлены, врага нет».
(86, 38–39).

**В текст мемуаров Г. Григорьева вкралась ошибка: Драгомиров был генерал-губернатором не при Александре III, а при его сыне Николае II. Доносы ж писал не гражданский губернатор, а шеф жандармов Новицкий.*

Генерал Драгомиров явился /в камеру разгромленной в 1898 г. социал-демократической организации. — А.М./ окруженный свитой своих адъютантов. Сопровождал его генерал Новицкий. В камеру Драгомиров вошел в своей генерал-адъютантской шапке. Свита шапки сняла.

— Вы студент? — спросил меня генерал.

— Студент.

— Какого факультета?

— Юридического.

— Вот и видно, что вам нечего делать!

Этим мудрым изречением и закончился наш диалог.*
(59, 131).

**В «философской автобиографии» Н. Бердяева, также сидевшего тогда в*

Лукьяновской тюрьме по тому же делу, визит Драгомирова подан в ином свете. Представ перед студентами, генерал произнес якобы целую речь об общественных процессах: «Генерал Драгомиров вошел с жандармским генералом и прокурором. Он сказал нам целую речь, из которой мне запомнились слова: «Ваша ошибка в том, что вы не видите, что общественный процесс есть процесс органический, а не логический, и ребенок не может родиться раньше, чем на девятом месяце». Жандармский генерал, который терпеть не мог Драгомирова и делал на него доносы, очень подозрительно на него посмотрел». (Бердяев Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. — М., 1991. — С. 121). Текст К. Василенко звучит убедительнее и правдоподобнее, чем процитированные строки Бердяева, но, впрочем, от Драгомирова можно было ожидать чего угодно, в том числе и либеральных речей перед арестованными студентами.

/В кривом зеркале революционной пропаганды/

Об одном из первых лиц в армии /Драгомирове/ передавались самые компрометирующие сведения.*

Эта фигура являлась предметом всеобщих насмешек. Говорили, что он был большим дурак. Помню, приводилось даже мнение авторитетных знатоков военного дела (указывали чуть ли не на Мальтё), будто самый переход через Дунай совершался столь удачно единственно потому, что план переправы был чересчур глупо сконструирован. Место для переправы было выбрано там, где ни один благоразумный полководец никогда не решился бы устраивать переправы, и потому-де турки были застигнуты врасплох.

Таким образом, выходило, что глупость, переходящая всякие пределы, глупость, достигавшая до границ виртуозности, принесла неожиданно хорошие результаты. (95, 307).

*Сведения, сообщаемые известным мастером киевского конспиративного дезинформационного центра народников-радикалов Вл. Деботорием-Мокриевским, представляют собою типичную пропагандистскую фальшивку, сфабрикованную и запущенную в оборот им самим и его приятелями. Перед нами любопытный образчик политического навета. Никто ничего подобного про Драгомирова не говорил. К мнению генерала прислушивались стратеги всех европейских армий. Ложь подпольщиков не имела успеха в обществе и распространялась среди них самих.

Драгомиров, увіковічений відомим малярем Репінім у популярному образі «Запорозькі пишуть лист до турецького султана» — людина стихійно запорозької вдачі, — дав інституткам гумористичний наказ не вітати його поклонами та реверансами, але, затримавшись, «зробити фронт» по-військовому й усміхаючись, проводити його очима. Сам же він відповідав дівчатам, «віддаючи шану», також по-військовому.*

Цей наказ робив чимало клопоту інституткам і виховному персоналові. Рухатись, ходити, кланятись, вітатись, танцювати тощо вчили докладно: 6 годин тижнево. Учителькою тих мистецтв була панна Атамонова, бувапа балерина. Але ж ані вона, ані жодна вихователька не знали, як воєнки вітають своє начальство. У ті містерії були

втаємничені тільки дві особи на цілий інститут. Так званий «солдат», що його наймення знав тільки Господь Бог. Він мав завдання опалювати інститутські печі й був старий військовий інвалід. Другий — керівник господарської частини — демісонований полковник кірасирського полку Артур Олександрович Унгер. З Петербурга дали йому змогу — так говорили його вороги — керувати державним господарством, щоб він полагодив своє особисте.

Полковник давнив острогами, виблискував одностроем і враз здобув собі симпатії в інститутках, бо зліквідував ненависний червоний кисіль, глиняні кухлі на чай, навіть усім гідкі аж до морської хвороби — котлети. Натомість на інститутських столах з'явилася дичина, печені курчата, овочі й, замість «тупого» чаю з молоком, біла кава, подавана у пристойних філіжанках. Тож і в цій «драгомирівській випадку» мусив пан полковник сповнити важливе завдання.

На півгодина перед вечірньою кавою провадили інститутки до зали. Ставили в ряд, далеко одну від одної, щоб було видно цілу постать, як на танцях. Класна дама скромно сідала в куток, а посеред зали блищав, як на військовому параді, полковник і, як на військових вправах, командував: «Здрівля желаю, дівчи! Смирно! Равнение напра-во!.. Правое плечо вперед!» тощо.

Сміху була повна зала. Мудрість ця не для інститутки, але ж новий учитель не трапив терпеливості і не гнівався на неадар, бо ж, здається, його самого ці вечірні вправи з гарнесьонькими панночками бавили більше, ніж інститутки.

Однак спиртний полковник мав іще іншу приємність, бо Драгомиров щиро сміявся, довідавшись про його педагогіку, та й висловив йому подяку за «взірцеве муштрування амазонок».

Та й самі «амазонки» дістали від галантного можновладця по півфунта добрих шоколадок у гарних бомбаньєрках. «Бо, — як сказав Драгомиров, — не по чарці ж горілки їм давати за ревність!»

(185, 68).

**В этом случае, как и во многих иных, Драгомиров подражал своему кумиру — Суворову. В свое время князь Италийский затеял подобную клоунаду по поводу рабского подражания царя Павла Петровича прусским военным порядкам. Драгомиров пародировал воинствующий шовинизм своего времени, как бы ненароком забывая о чувстве меры и доводя всеобщее увлечение армейской выправкой до абсурда.*

Знаменитая драгомировская телеграмма

Про его чудачества ходили по России бесконечные слухи и анекдоты, между которыми самой характерной была история с телеграммой, посланной Александру III: Драгомиров, запам'ятовав день 30 августа — именин царя, — спохватился лишь 3 сентября и, чтобы выйти из положения, сочинил такой текст: «Третий день пьем здоровье вашего величества. Драгомиров», — на что Александр III ответил: «Пора и кончить. Александр»*.

(129, 53).

**Здесь мы имеем дело с первоосновой, исходной моделью целой серии анек-*

дотов о телеграмме Драгомирова к царю. Случай с телеграммой имел место в годы царствования Александра Александровича. При нем (в 1889–1894 гг.) Драгомиров был в Киеве командующим КВО. Лишь на четвертый год после смерти своего венценосного друга (в 1898 г.) Драгомиров стал киевским генерал-губернатором. Об этом стоит напомнить, т. к. в большинстве вариантов этого сюжета с телеграммой Драгомиров именуется начальником края, каковым он в то время не был.

По освяченні поставлених в Чернігові разом двох пам'ятників — царям Олександр II і Олександр III, на урочистому обіді, після всяких офіційних тостів і промов, М. Драгомиров, своїм звичаєм добре підписиши, почав, плаутаючи язиком, говорити в такому тоні:

— От ви, панове, поставили пам'ятники, правда поганенькі, двом імператорам... Царю Освободителю, незабутньому Олександрові II, що освободив селян, ввів знамениту реформу судових інституцій, завів самоурядування земське й сільське і т. д. Одним словом, відновив Росію... І я розумію, що він заслужив на пам'ятника... Ну, а що зробив його синок, Олександр III? Він усе те поруйнував...

Присутні завмерли з переляку, а губернатор Андрієвський, щоб перервати Драгомирова, наче ненароком, перевернув свою шклянку з вином і, скочивши, шарпнув навмисне обрус так, що тарілки з брязкотом посипалися з стола додолу.

Всі повскакували, і тим скінчився обід. Драгомирова відвели на двірці до поїзду, а Андрієвський зібрав на пораду присутніх, архиєрея та вищих чинів, щоб обміркувати, що робити?

На нараді постановили, що цього не можна замовчати і треба швидше попередити міністра, бо жандармський полковник все одно донесе. Нарada скінчилась тим, що губернатор Андрієвський того ж дня поїхав у Петербург.

Через якийсь час викликано до Петербурга і київського генерал-губернатора Драгомирова.

Що там було — невідомо, але всім було відомо, що Драгомиров людина дуже розумна й хитра і що його у високих сферах дуже поважають і рахуються з ним, то він якось викрутиться.

Так і сталося.

З Петербурга Драгомиров поїхав у свій маєток Конотопського повіту на Чернігівщині, і губернатор, як завжди, вийшов на двірці його стрінути.

На запитання Андрієвського: «Як здоров'я генерал-губернатора, як йому їздити до Петербурга?» — Драгомиров, заклавши руки назад, відповів:

— Дякую, в Петербурзі наказано мені вам руки не подавати!

Сів у екіпаж і поїхав у свій маєток.

Андрієвський мусив покинути посаду чернігівського губернатора.

(452, 17–18).

Іншого разу Новицький доніс на Драгомирова, що той допустив «недозволений лібералізм», замінивши адміністративне покарання двом курсисткам на вдвоє менше, ніж студентам. Довідавшись також і про цей донос, Драгомиров закликав негайно до себе Новицького і прийняв його в самій

лише нічий сорочці та пантофлях, держачи в руці кілька різок. Повернувшись до генерала спиною і піднявши одною рукою сорочку, а другою протягуючи Новицькому різки, Драгомиров сказав:

— Що ж, провинився, генерале, провинився! Прошу посікти мене різками!
І Новицькому залишалося тільки кулею вилетіти за двері.
(200, 255–256).

Та, розуміється, обвинувачення Драгомирова в «лібералізмі» було недоречним щодо такого відданого царського сатрапа /.../ Його справжню відданість царському ладу цілком характеризує, наприклад, такий дійсний факт. Під час одного значного заворушення в Києві серед робітників залізничних майстерень ротний командир викликаної проти заворушників піхотної роти, не чекаючи наказу зверху, сам віддав наказ стріляти в беззбройний натовп. Рота дала три залпи, внаслідок чого було поранено чотири робітники.

Почувши про це від вице-губернатора барона Штакельберга, Драгомиров закричав:
— Відчислити негайно ж ротного командира від командування!..

Коли ж барон почав був виправдовувати командира роти тим, що нібито робітники перші поранили камінням одного з солдатів, Драгомиров розлючено перебив:

— Та не за те відчислити, що без розпорядження зверху віддав наказ стріляти, а за те, що не навчив свою роту стріляти. За три залпи — всього чотирьох поранено!..

Але, очевидно, справа була не в тому, що солдати погано стріляли, а в тому, що більшість з них не хотіла стріляти в беззбройних людей і вистрелили вгору.*

(200, 257).

**Автор цитуємого документального роману Е. Кротевич утверждать, что Драгомиров «хотел стрелять в безоружных людей» и сердился на солдат за то, что они этого не сделали. При этом он ориентируется на четкие предписания соцреализма, кого и как следует изображать, исходя из принципа политической целесообразности. Очевидно, барон Штакельберг понял причины гнева генерал-губернатора лучше, чем советский писатель.*

Драгомировский стиль правления

В Киев приехала штаб-офицерская вдова искать работу и определить двух сыновей — мальчиков 8–9 лет — в гимназию. Кто-то посоветовал ей обратиться по поводу службы в киевскую городскую управу. Разговаривать ей пришлось с членом управы Снежко. Принял он вдову любезно, место пообещал, но на таких условиях, что вдова — женщина молодая, гордая — дала «отцу города» пощечину. Затем она послала в редакцию «Жизнь и искусство» письмо, в котором просила заклеймить позором гнусное поведение члена управы.

Редактор вызвал к себе вдову и объяснил ей, что напечатать письмо он не может по цензурным условиям /.../

Снежко был богатый и влиятельный человек. Группа торговцев и городских заправил, таких же рвачей, как и он, но только помельче, собралась провести его в новом составе думы в городские головы. Избрание Снежко головою означало, что

хозяйство города попадет целиком в руки недобросовестных людей. И два сотрудника газеты — думские репортеры А. И. Куприн и М. Н. Киселев — решили заняться расследованием случая с вдовой /.../

Куприн написал новое письмо, вдова переписала его и, по совету Куприна, отправила М.И. Драгомирову...

В Киеве у Драгомирова были сложные, запутанные и подчас совершенно комического характера отношения с местными властями /.../ Недолюбливал Драгомиров и значительную часть городской управы, считая большинство ее членов мошенниками, спекулянтами.

Советуя вдове отправить письмо генералу Драгомирову, Куприн не сомневался, что генерал поможет вдове получить службу, и в то же время каким-то способом щелкнет негодяя по носу, но никто не ожидал, что генерал сделает из письма такое острое блюдо.

Генерал, получив письмо, приказал вызвать к себе Снежко на прием.

В огромной белой с золотом зале стояли в ожидании выхода генерала многие видные лица города, представители отдельных ведомств, некоторых национальных общин и просто деловые люди.

В определенный час в зал из кабинета вышел в сопровождении адъютанта невысокий, полный человек в военном сюртуке с генерал-адъютантскими погонами, с темным волевым лицом, серыми жесткими глазами и черными крашеными усами.

Он обошел всех дам, отпустил их, стал обходить мужчин. Подойдя к Снежко, генерал сказал:

— Илья Андреевич, ко мне поступило письмо, но, очевидно, по недоразумению. Мне кажется, что письмо это должно было быть направлено вам... Куда ж я его девал?.. Ага, вот оно... Прочтите его, пожалуйста, и мы выясним, кому оно адресовано.

Член управы развернул письмо, и строчки запрыгали перед его глазами.

— Тут, ваше превосходительство... — начал он говорить, но генерал прервал его.

— Вы читайте, и читайте вслух, — заговорил он. — Говорить будете потом... Читайте не про себя. Так, так... Громче, громче, я плохо слышу.

Снежко читал письмо громким, напряженным голосом. Руки его, державшие письмо, дрожали. Он видел близко от себя круглое лицо генерала, его крашенные усы, крепкие, прокуренные, желтые зубы, закусившие твердый снежно-белый мундштук папиросы /.../

— Читайте, читайте, — приказал генерал, когда ему показалось, что Снежко готов остановиться, и Снежко впивался глазами в проклятые строчки ненавистного письма... Он дочитал до конца и хотел крикнуть, что все это ложь, клевета, но правда прочитанного была так бесспорна, так очевидна и неотразима, что она раздвинула его.

— Ну вот видите... — услышал он сипловатый басок генерала. — Письмо никакого отношения ко мне не имеет. Оно целиком обращено к вашей особе. Возьмите его и... можете идти.

Перед Снежко расступились, и он прошел к двери как по коридору /.../

А в это время в зале генерал, оглянувшись кругом, спросил:

— Дамы, кажется, все ушли? — И от его двух-трех соленых солдатских словечек вся приемная грохнула почтительным и веселым смехом.

О том, как Снежко читал письмо вдовы у генерала, стало известно всему городу. В гласные думы он был избран, но о кандидатуре его в городские головы или в члены управы теперь нечего было и думать. Постепенно он отошел от думской деятельности и погрузился в коммерческие дела. Вдова получила место в Киевском отделении петербургского ломбарда. Место было не хуже думского, может, даже и лучше: в отделении ломбарда платили по столичным ставкам.

(174, 75—81).

Насколько /городской голова/ С.М. /Сольский/* боялся не только свиданий с начальником края /Драгомировым/, но даже и переговоров по телефону, видно из следующего факта, которому я был свидетелем.

В кабинете С.М. шло обсуждение какого-то серьезного вопроса. Является экзекутор и докладывает С.М., что его просит по телефону начальник края. С.М. растерялся, изменился в лице, застегнул свой вицмундир на все пуговицы, перекрестился и тогда только подошел к телефону, вытянувшись в струнку. Всю эту картину многие видели, но сделали вид, что ничего не заметили. Прошло несколько минут, С.М. возвратился бледный и со слезами на глазах сообщил, что от города требуется какая-то новая ассигновка. А часто бывало и так: дума уполномочивает С.М. обратиться к начальнику края с каким-нибудь ходатайством. Ждут гласные.

— Ну что, Степан Михайлович, согласился? — спрашивают его по возвращении, хотя по грустному лицу уже видно, что дело не выгорело.

— Ничего не вышло, он по обыкновению показал мне комбинацию из трех пальцев, и с этим я удалился.

Такой же случай имел место как-то на вокзале, куда С.М. по поручению думы явился к начальнику края с ходатайством о снятии эспланады**. Хотя С.М. за свою покорность и безобидность и получил название «Уважай Уважич», но это публичное оскорбление /от генерал-губернатора/ так сильно на него повлияло, что он, возвратившись с вокзала в городскую управу, разрыдался и заявил своим товарищам по службе, что вынужден отказаться от должности.

Большого труда стоило убедить его оставить свое намерение...

(467, 77).

* Степан Михайлович Сольский (1835—1900) — профессор Киевской духовной академии (1861—1900), общественный деятель, киевский городской голова на протяжении многих лет. Его портрет кисти художника И.Ф. Селезнева украшал актовый зал Городской думы. Автор многих исследований по истории религии и церкви, в том числе «Библейское мировоззрение в жизни древнерусского народа».

** Зона отчуждения, пустое пространство перед крепостью.

Куприн знал Драгомирова еще со времен своей службы в 46-м Днепровском полку в Проскурове, куда Драгомиров приезжал делать инспекторские смотры. Впоследствии Куприн показал его в «Поединке» в роли корпусного командира. По рассказам Александра Ивановича /своим киевским/ знакомым, Драгомиров после смотра рот, удалив из строя офицеров и унтер-офицеров, шел

вдоль фронта, подходил то к одному, то к другому солдату, клал ему на плечи руки и спрашивал, глядя солдату в глаза:

— Брат, кто тебя обидел?
(174, 78).

Он нередко высказывал, с каким равнодушием принимал всякие сочинявшиеся о нем небывлицы.

— Обстрелялся, обтерпелся и совершенно освоился, — говорил он. — Какой бы вздор ни измысливали про меня, я отношусь к нему совершенно спокойно; ну, хоть бы, положим также, как к тому, если бы мне сообщил кто-либо, что вчера в Берлине целый день лил проливной дождь.

(8, 338—339).

Сам я, говорил он, — всегда, еще с молодых лет был отменным сторонником печати, очень люблю «блудить пером» и, как большой поклонник литературной среды — писателей, корреспондентов, рецензентов — словом, людей пера, — всегда охотно водил с ними знакомство, что дало мне возможность изучить /их/ среду. С течением времени я убедился в том, что в этом деле надо быть очень осторожным. Нередко видел я, как легко можно натолкнуться на всячину: под маской литератора, настоящего труженика, порядочного человека того и гляди подвернется шушера, которая, ввязавшись в благородное литературное, писательское дело, норовит через него ловить рыбу в мутной воде.

Приходится сожалеть, когда видишь, насколько мразь вмешалась в ряды деятелей печати; она стремится обделявать свои делишки, сводить счёты с врагами, изливая на них в злобе свою месть, вводя вообще в это дело столько грязи, что не оберешься. Отчего же не заняться писательством, думает иной из них: тут, смотришь, двойная польза — и врага можно во всякое время окатить помоями и построчные получить, — а бумага все стерпит.

(8, 664).

Драгомиров читал газеты неохотно, предпочитая философскую литературу, в особенности французских классиков. Они были у него в большом почёте; газеты же через несколько минут исчезали со стола в корзину для бумаги.

(394, 86).

АВГУСТЕЙШИЕ ГОСТИ И ВЕЛЬМОЖИ

С 1495 по 1843 год Киев, подобно многим иным ремесленно-торговым городам Европы, жил по законам Магдебургского права, самостоятельно решал все свои хозяйственные и административные проблемы, не испрашивая на то позволения ни у польских королей, ни (позже) у русских царей. Правители Литвы, Польши, а впоследствии и России, подтверждая старинные права города на самоуправление, как бы заключали обоюдовыгодную сделку между монархией и демократией и тем самым несколько ограничивали свою власть в пользу народного представительства. Великие князья Литвы и польские короли смотрели на это как на обычное для европейских государств установление, берущее свое начало в традициях Римской империи, но русские государи с трудом мирились с «холопским самоуправством» и стремились его обуздать*, что отнюдь не способствовало любви киевлян к русской монархии. Особенно возмутило и оскорбило их отношение к «Магдебургии» Екатерины II, которая заставила военного губернатора Воейкова изодрать в клочья протокол выборов неугодного ей войта и навязать городу своего ставленника, киевского прокурора. Такие истории случались и в России, и никого там не удивляли, но киевляне к подобным вещам не привыкли. Во время зимовки в Киеве на пути в Крым в 1787 году императрица столк-

нулась с отчужденностью горожан. Эту накапливавшуюся годами антипатию не смогли преодолеть ни блеск двора, ни пышные приемы, ни щедрые подарки и награды, ни даже устроенное Екатериной народное гуляние на свой день рождения — с фонтанами вина и водки и выставленными для ублажения толпы жареными быками. В этом городе, как говорила сама императрица, она постоянно ощущала как «слабнут пружины» ее власти. К тому же визит Екатерины II в Киев совпал с введением здесь монастырских штатов (т. е. с закрытием части монастырей и отчуждением церковных имений), что настроило против нее многих горожан. По местному преданию, дело дошло до открытой демонстрации ненависти к царице: монахи уже закрытого Межигорского монастыря, чтобы не дать ей возможности полюбоваться райскими красотами своих садов, предали огню древнюю обитель. Говорили, будто среди поджигателей были престарелые казаки-запорожцы, сводившие счеты с царицей за разгром Сечи. Иные предполагали, будто поджог организовал князь Потемкин, чтобы насолить своему недругу киевскому правителю Румянцеву.

Екатерина II и киевляне расстались врагами. И отправляясь в Крым, царица уже вынашивала план уничтожения ненавистного ей Киево-Подола и переселения мещан поближе к Пе-

черской крепости (в долину реки Лыбеди). Разразившаяся вскоре Турецкая война не позволила ей воплотить свой коварный замысел. Перепланировка города осуществилась после ее смерти, в XIX веке, когда никому уже не приходило в голову настаивать на уничтожении Подола.

Историки давно заметили, что отношение киевлян к русским монархам зависело от взглядов последних на местное самоуправление. К будущему императору Павлу I они питали большую симпатию за то, что во время своего путешествия в Европу в октябре 1781 г. он проявил большой интерес к Магдебургскому праву и значительную часть проведенного в Киеве времени потратил на изучение киевской системы самоуправления и чтение жалованных грамот, хранившихся в магистрате. На пышном банкете в здании самого магистрата великий князь говорил о преимуществах избирательной системы и обещал вернуть Киеву уничтоженные его матерью древние права. Угодный городу царь правил недолго, а воцарение его сына горожане встретили довольно прохладно, и не только потому что царь-отцеубийца не мог импонировать патриархальному благочестию Подола, но главным образом оттого, что при восшествии на трон он заявил о своем намерении оставить все, как было при «бабушке», т. е. при Екатерине II, которую киевляне считали главным врагом их «Магдебургии».

Николай I, решивший не обновлять, не реформировать, но окончательно

уничтожить устаревшие учреждения, основанные на Магдебургском праве, также не мог рассчитывать на симпатии киевлян, но он в какой-то мере искупил свою вину, включив Киев в число городов, составлявших предмет неустанных забот правительства. Невиданные дотоле масштабы строительства, перепланировка и благоустройство центральных улиц, появившиеся на них прекрасные здания и архитектурные ансамбли настолько поразили киевлян, что среди них еще долго ходили слухи о каком-то особом благорасположении правительства к их городу и даже о намерении царя перенести сюда столицу империи. Сам Николай I, невзирая на унаследованное им от «бабушки» Екатерины украинофобство, умудрился прослыть благодетелем Киева и удостоился величественного монумента, воздвигнутого на собранные думой средства. По сути Николай I был последним царем, вошедшим в городское предание. К правившим после него русским монархам киевская молва проявляла полное равнодушие. О них говорили у нас не больше и не меньше, чем в других городах империи, и каких-то особых мнений о их личных достоинствах и характере правления не высказывали.

После отмены магдебургских прав киевская молва на время отошла от большой политики. Место монархов в анналах городских преданий заняли профессора университета, церковные иерархи, городские головы и генерал-губернаторы.

**Вводя магистраты в русских городах, царь Петр сводил их значение к роли казенных учреждений: он ограничивал выборные должности, сам назначал руководство. Новые русские магистраты имели мало общего со старинными украинскими.*

ЕКАТЕРИНА II

Екатерина II Великая (1729—1796) — российская императрица (1762—1796), немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. В России с 1744 г. С 1745 г. — жена наследника престола Петра Федоровича, будущего императора Петра III. Свергла его с престола в 1762 г. с помощью гвардии. Провела реорганизацию Сената, секуляризацию земель (1763—1764), реформировала систему школьного образования, упразднила гетманство в Украине (1764). В результате двух проведенных ею русско-турецких войн (1768—1774 и 1787—1791) Россия и Украина окончательно укрепились на берегах Черного моря. Екатерина провела также три раздела Польши (1772, 1793 и 1795). За свои заслуги перед Россией удостоилась имени Великая (до нее Великим называли только царя Петра Алексеевича, а после нее ни один царь не удостоивался этого наименования).

Переписывалась с Вольтером и другими французскими просветителями. Писала пьесы, издавала сатирические журналы, автор автобиографических «Записок».

К Украине относилась враждебно, усматривая в ней не союзную казачью державу, а лишь колонию Российской империи. Она умела пользоваться талантами образованных украинцев, служивших при ее дворе на важных государственных постах и участвовавших в русской культурной жизни, но само население Украины считала



дикими «детьми природы». Очевидно, такая позиция позволяла ей порабощать украинское крестьянство, раздавать украинские земли иностранцам и своим дворянам, преследовать украинский язык как средство культурного общения, навязывая Киевской академии, украинской церкви и киевским книгоиздателям русский язык.

Ее поездка в Киев и далее в Крым в 1787 г. была одной из самых дорогостоящих затей петербургского двора. Велено было поставить по 550 лошадей на каждую станцию. Потемкину отпущено около четверти миллиона рублей на постройку путевых дворцов. Заготовлено 200 саней с кибитками, оббитыми зеленым сукном, 56 колясок, оббитых желтой кожей, 3 дорожных кареты с меховыми мешками для ног — для послов трех великих европейских держав (австрийского — графа Кобенцеля, французского — графа Сегюра и английского — сэра Фицгерберта). Екатерина выехала из Царского села 7 января 1787 г. при 17-градусном морозе. 29 января в 12 часов дня цар-

ский поезд достиг Броваров, где в путевом дворце ее встретил киевский губернатор генерал-поручик С.Е. Ширков. После обеда царица пересела из общего экипажа, в котором ехала всю дорогу в компании с фрейлинами и приглашенными собеседниками, в парадную двухместную карету и благополучно переправилась через Днепр при громких салютах пушек Печерской твердыни. У Наводницкой пристани у первых триумфальных ворот ее встретил городской войт со всеми членами магистрата и «Товариществом золотой корогвы» (конницей городской армии). У вторых триумфальных ворот на огромной площади перед крепостью (в районе пересечения теперешней ул. Кутузова и Наводницкой) царицу встречало все высшее чиновничество города, дворянство и горожане. Отсюда и до Святых ворот Лавры стоял шпалерами Днепровский пехотный полк под командованием кн. М.М. Дашкова. Царица остановилась в Царском дворце, построенном еще Елизаветой Петровной, и прожила здесь, скучая и негодую на серую провинциальную жизнь, более трех месяцев.

Куда спешила Екатерина, покидая свой дворец в Царском селе в январскую стужу, что она ожидала увидеть в Киеве среди зимы? Возможно, в преддверии новой войны с Турцией она желала встретиться здесь с австрийским императором и польским

королем. (Последний действительно приезжал к ней в Киев, а разговор с императором произошел значительно позже, в Белозерске под Херсоном). Возможно, она представляла себе киевскую жизнь гораздо более привлекательной. Так или иначе она пробыла в Киеве до дня своего рождения (21 апреля по ст. ст.). Раздала по этому случаю множество орденов, чинов и богатых подарков, обошедшихся ей в 50 тысяч руб. и сожгла перед дворцом великолепный фейерверк на 40 тысяч рублей. (Всего на путешествие двора в Крым было истрачено 4 миллиона рублей!). Для народа на старой Плацпарадной площади было устроено богатое пиршество со множеством длинных столов, заставленных блюдами с жареной говядиной, белым хлебом и лакомствами. Между столами стояли огромные чаны с вином, пивом и медом. На следующий день, 22 апреля, двор во главе с царицей расположился на судах придворного флота и отправился в дальнейшее путешествие уже водным путем. Первую остановку сделали неподалеку за Киевом у древнего села Витачева, где, сидя за ужином с иностранными послами, царица говорила об украинцах как о наивных «детях природы», счастливых «дикарях», не испорченных еще цивилизацией и о прочих нелепых измышлениях, рожденных в голове этого тонкого, многоопытного, но неразборчивого в средствах политика.

Тотчас по приезде императрицы /Екатерины II/ в Киев тогдашняя полиция распорядилась, чтобы жители сидели смирно по домам и не смели собираться перед дворцом во время выездов государыни. За мотив пустоту на улицах, она, как говорят, сказала:

— Верно, адевший народ меня не любит, что не вижу его пред собою.

К счастью, кто-то из приближенных доложил императрице настоящую причину

этого. Государыня сделала строгий выговор полиции и после сего народ уже повсюду провожал ее несметными толпами.

(23, 542—543).

«Киев, — писала императрица Циммерману, — по своему положению есть место совершенно живописное. От прежнего великолепия остались одни церкви. Четыре части города, находящиеся на горе и на долине, весьма обширны, но очень худо застроены. Однако давно уже сей город не имел столь большой нужды в хороших квартирах, как во время моего в нем пребывания. Число разных приезжих народов весьма велико. Трудно отплатить, что их привлекло в Киев, ибо нельзя полагать, чтобы все они обманути были некоторыми газетами, которые из всей силы оповещали будущее мое коронование в Тавриде или здесь, о чем я никогда не думала».

И в самом деле, съезд был громадный. Тут были сыновья Ираклия, царя грузинского, множество знатных лиц с отдаленнейших концов Европы, депутаты персидские и лезгинские, киргизы и калмыки. «Боже мой, — восклицает принц де Линь, — какая суматоха, сколько алмазов, золота, кавалерий и лент! Сколько цепей, чалм и красных колпаков, мехами обшитых и острокопечных! Они принадлежат лезгинам, которые приехали депутатами, так, как и многие другие обитатели границ Великой стены китайской, также с границ Персии и Византии.

Это немного поважней, чем несколько депутатов парламента, или чины какого-нибудь маленького городка, приезжающие за 20 миль в почтовой карете в Версаль сделать из себя глупое представление. Людовик XIV позавидовал бы сестре своей Екатерине II. Сыновья кавказского царя Ираклия, которые находятся здесь, доставили бы ему больше удовольствия, нежели пять или шесть старых кавалеров ордена св. Людовика».

(227, 101—102).

Екатерина писала Салтыкову: «Ежедневно здесь /в Киеве/ гостей пребывает, не только от окрестных, но и от всех подсолнечных народов. Лишь назовите народ, а мы предъявим вам в лицах. Сроду я столько не видывала, хотя привыкла видеть наций разных. У нас здесь четыре графа д'Эспань, князья имперские без счета, поляков тьма, англичане, американцы, французы, немцы, швейцарцы. На многих страницах имена их не перечтешь; сроду столько иноязычных не видала, даже и киргизы, и те здесь ошутились, и все сие по киевским хижинам живет и непонятно, как уменшается».

Барону Гримму она же писала: «Пол Польши съехалось сюда. Приехал испанский гранд, принц Нассаунский и еще один испанец, по фамилии Миранда. Все они, когда разъедутся, скажут, что не стоило приезжать».

Странен здешний город: он весь состоит из укреплений да из предместий, а самого города и до сих пор не могу доискаться; между тем, по всей вероятности, в старину он был, по крайней мере, с Москву».

В другом письме к Гримму сказано: «Щевалье Ламет сегодня прощался. Я думаю, что ему и всем приехавшим сюда иностранцам приходилось не раз расканиваться в том, что они предприняли это путешествие, потому что, прежде всего, город отвратителен: они с трудом могут продовольствоваться в мерзайших клетушках. Кроме того, большая часть их приехала, по-видимому, чтобы служить мне компаньей, тогда как меня

уверяли, что целью их было увидеть меня. Обманувшись в своем намерении, они разошлись. Но тем не менее какая толпа! Я никогда не видала ничего подобного!» (227, 103—104).

22

марта началась Страстная неделя, а с нею опять временно прекратились куртаги, эти обычные маленькие собрания во дворце, на которые приглашались только самые приближенные лица, где императрица, отбросив всякий этикет, блистала и кокетничала своим умом и остроумием.

На этих собраниях велись беседы о впечатлениях дня, рассуждали о литературе, шутили и смеялись друг над другом; разговоры о политике не допускались, разве только в веселом и шутиливом тоне. Государыня называла Россию своим маленьким хозяйством. «Как вы находите мое маленькое хозяйство? — спрашивала она на одном из киевских куртагов иностранных посланников. — Не правда ли, что оно по немногу устранивается и увеличивается? Я небогата, но, кажется, что и то малое, чем владею, приходит не в дурное положение?»

Играли в карты, в шахматы, лото.

Немало оживления в общество вносил остроумный и забавный Лев Александрович Нарышкин, неизменный любимец императрицы.

Принц де Линь рассказывает о нем: «Однажды опер-штаммейстер Нарышкин, столь же замечательный по любезности, как и по живости своей, пустил посреди нас волчок, у которого голова была больше его собственной.

После жужжания и высоких скачков, очень нас позабавивших, волчок разлетелся с ужасным свистом на три или четыре части, прокатился между императрицей и мною, зацепил двух наших соседей и осколком ударил в голову принца Нассауского, который два раза отворял себе кровь». Случай этот не оставил в принце неприятных воспоминаний /.../ С наступлением Страстной недели эти развлечения уступили опять место посту и молитвам. Во дворце снова поставили походную церковь. (227, 115—116).

День бракосочетания великого князя Александра Павловича, именно 3 сентября 1793 года, ознаменован был многими монаршими милостями, в том числе и наградами чиновников по разным ведомствам. Между последними судье киевского совестного суда коллежскому советнику Полетике был пожалован орден св. Владимира, но в рескрипте ему о том вместо «коллежского» он наименован «статским советником». Получив этот рескрипт, Полетика представил его в губернское правление и требовал объяснить ему по установленному порядку этот чин. Не имея указа от сената о пожаловании Полетики в статские советники, губернское правление затруднилось в исполнении его требования и вошло с представлением в сенат, испрашивая его разъяснения. Когда наконец обстоятельство это через генерал-прокурора представлено было на рассмотрение императрицы с значением того, что Полетика наименован в рескрипте статским советником по ошибке, — государыня Екатерина II сказала:

— Государи не ошибаются, и ошибки их должно принимать за истину. (446, 144).

ГЕНЕРАЛИССИМУС А.В. СУВОРОВ

Александр Васильевич Суворов (1729 или 1730 — 1800). Всемирно известный полководец. Родом москвич. Военную службу начал капралом в 1748 г. Участник Семилетней войны, русско-турецких войн 1768—1774 и 1787—1791 годов. В 1796—1797 гг. командовал русскими войсками в Украине. В Тульчине написал свою знаменитую книгу «Искусство побеждать». Значительная часть жизни и



боевой деятельности полководца связана с Украиной.

Находясь во время путешествия Екатерины II на юг в 1787 году в Киеве, Суворов встретился во дворце с французским полковником Ламетом, будущим деятелем революции*. Видя незнакомое лицо иностранца, Суворов подошел к нему и спросил отрывисто:

— Откуда вы родом?

— Француз, — отвечал Ламет, несколько изумленный и неожиданностью, и томном вопросе.

— Ваше звание? — продолжал Суворов.

— Военный, — отвечал Ламет.

— Чин?

— Полковник.

— Имя?

— Александр Ламет.

— Хорошо! — сказал Суворов, кивнув головой, и повернулся, чтобы идти. Ламета покорило от такой бесцеремонности. Он заступил Суворову дорогу и, глядя на него в упор, стал в свою очередь задавать тем же тоном вопросы:

— Вы откуда родом?

— Русский, — отвечал несколько не сконфуженный Суворов.

— Ваше звание?

— Военный.

— Чин?

— Генерал.

— Имя?

— Суворов.

— Хорошо! — заключил Ламет.

Затем они оба расхохотались и расстались приятелями.
(79, 250).

**Александр Ламет (1760—1829) — известный деятель французской революции. Депутат от дворянства в Генеральных Штатах 1789 г. Президент военного комитета, реформатор французской армии. В молодости — участник американской войны за независимость.*

Расскажу здесь примечательный случай, сохранившийся в памяти наших побережан*. На рассвете понедельника, в который Екатерина отплыла из Канева**, наши /прохоровские/ священники в облачении и все прохоровцы собрались торжественно у Днепра на Белой Косе, но утренний дождливый туман не дал им ни себя показать, ни разглядеть царственной флотилии. В то утро больше, чем в обыкновенные понедельники, приставало челнов и дубов на прохоровский берег. На одном челноке был Суворов, обрызганный дождем, он вбежал в топившуюся хату казака Ковадевского и спросил себе «поснедать». Бывалый казак (про которого все говорили, что он ходил и в гайдамаках) узнал своего гостя и побежал уведомить сельское начальство. Но русский богатырь, перекусив наскоро казацкой «стравы», положил хозяйке под секрет три серебряные монетки и скрылся в тумане.

(251, 40—41).

**Автор воспоминаний М.А. Максимович называет «побережанами» жителей левого берега Днепра у села Прохоровки напротив Канева.*

***Описываемые события происходили в конце апреля 1787 г. во время знаменитого путешествия царицы в Крым.*

ГЕТМАН УКРАИНЫ ГРАФ К.Г. РАЗУМОВСКИЙ

Кирилл Григорьевич Разумовский (1728—1803) — последний гетман Украины XVIII века. Родился в с. Лемеши Черниговской губернии в семье простого казака Григория Розума. Вырос благодаря своему старшему брату Алексею Разумовскому, фавориту императрицы Елизаветы Петровны. После ее воцарения в 1742 г. привезен вместе с матерью в Петербург. В 1743 г. отправлен братом инкогнито в Германию для получения образования. Проучился там два года. Посетил Францию и Италию. В 1745 г. вернулся в Петербург, а на следующий год 18-летний граф назначен президентом Петербургской Академии наук. Сама императрица высватала ему в жены свою внучатую сестру Е.И. Нарышкину. В 1750 г. провозглашен гетманом Украины. В 1751 г. поселяется в ее тогдашней столице Глухове, окружает себя пышным двором, создает театр, музыкальную школу. Во время его правления Украина вновь обретает автономные права. Из нее выводятся русские войска, население получает некоторые налоговые льготы, гетман общается с русским правительством через Коллегию иностранных дел. Добившись первых успехов на государственном поприще, К. Разумовский покидает Украину, живет в Петербурге при дворе, перепоручив все дела учителю и наставнику своих юных лет Г.Н. Теплову, тайно предававшему украинские интересы



ради собственной наживы и карьеры. В 1762 г. К. Разумовский присоединяется со своим Измайловским полком к заговору Екатерины, с которой всегда поддерживал дружеские отношения и в которую был немного влюблен. Казалось бы, ее победа открывала перед ним и Украиной еще большие возможности. Но дни украинской автономии были уже сочтены. Несмотря на дружеские отношения с гетманом, новая императрица и ее окружение вынашивали планы колонизации и русификации Украины. Интригам Теплова и его единомышленников был дан ход. К. Разумовского обвинили в намерении сделать гетманство наследным и закрепить его за своим родом. В 1764 г. Екатерина вынудила гетмана подать в отставку и в награду за послушание преподнесла звание

генерал-фельдмаршала, хотя за всю свою жизнь он не был ни в одном сражении. Огорченный экс-гетман покинул Россию и жил некоторое время за границей. В 1771 году умерла его же-

на, и он переехал на постоянное жительство сначала в Петровско-Разумовское под Москвой, а потом в бывшую свою гетманскую резиденцию — г. Ба-турин, где и умер в 1803 г.

Получив гетманское достоинство, /граф Кирилл Розумовский*/ посетил Киев. Префект киевской духовной академии, иеромонах Михаил Козачинский, желая польстить графу, поднес ему в великолепном золоченом переплете сочиненную им фантастическую генеалогию, в которой род Розумовских выводил от знаменитой и древней польской фамилии Рожинских.

— Что это такое? — спросил Кирилл Григорьевич.

— Родословная вашего сиятельства, — отвечал Козачинский, низко кланяясь.

— Моя родословная? — с изумлением произнес Розумовский, развертывая, — но каким образом она сделалась такой толстой?

— Род вашего сиятельства происходит от знаменитых князей Рожинских.

— Ба! Ба! Почтенный отец, что за сказки вы мне тут рассказываете, — с улыбкой сказал граф, — моя родословная не так длинна. Мой отец, храбрый и честный человек, был простой казак, моя мать — дочь крестьянина, тоже честного и хорошего человека, а я, по милости и щедротам ее императорского величества, моей государыни и благодетельницы, граф и гетман Малой России, в ранге генерал-фельдмаршала. Вот вся моя родословная. Она коротка, но я не желаю другой, потому что люблю правду больше всего. Затем, почтенный отец, прощайте.

С этими словами Розумовский повернулся спиной к сконфуженному Козачинскому**.

(27/А, 79).

*В украинской и русской традициях эта фамилия пишется по-разному. В первом случае — Розумовський, а во втором — Разумовский. В старые времена в русских литературных источниках можно было встретить оба варианта.

**Панегирик профессора философии Киевской академии иеромонаха Мануила (Михаила Козачинского) был написан в марте 1745 г. на латинском, польском и староукраинском языках и имел необычайно длинное и витиеватое название в стиле барокко, что в то время воспринималось уже как анахронизм и вызывало снисходительные улыбки.

В отличие от автора «Истории Малой России», откуда заимствован этот рассказ, В. Аскоченский не находил в стихах известного академического стихотворца ничего «конфузливое», поскольку, на его взгляд, Козачинский стремился доказать «не столько древность рода Розумовских, сколько то, что истинное благородство человека составляют заслуги и любовь к добродетели». (Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем Академиею. — Т. 2. — К., 1856. — С. 505).

Можно полагать, эта нелестная для поэта притча вышла из стен самой Академии, где у него было немало врагов и недоброжелателей, готовых сде-

лать «историю» из любого его промаха. Нам кажется, истинным героем сюжета является не Козачинский, который в данном случае не совершил ничего «анекдотического», а скорее гетман К. Разумовский, взявшийся на традиционное барочное произведение по-новому и высказавшийся о нем в неприличном для Киева просветительским вкусе.

Огромный деревянный яготинский дом, окруженный парком в полтораста десятин с закругленную рекой, представлял удобное и вполне барское помещение.

История этого дома очень занимательна. Он был построен в Киеве гетманом Кириллом Григорьевичем Разумовским, на Печерске, в одной из лучших местностей над Днепром. Приезжает однажды к бывшему гетману киевский комендант и докладывает ему, что на лето ожидается многочисленные войска, направляемые через Киев в Турцию, и просит позволения назначить в доме Разумовского временный постоя, наравне с другими обывателями. Кирилл Григорьевич изъявляет согласие, но потом раздумался; пишет приказ в Яготин, чтобы немедленно выслали в Киев три тысячи подвод и столько же крестьян с топорами. В несколько дней дом был разобран и перевезен в Яготин. Не правда ли, оригинальный способ избавиться от постоя? Дом, как был, так и поставлен в Яготине, а место в Киеве и флигеля Разумовский подарил Трошинскому. Усадьба эта принадлежит теперь инженерному ведомству*.

(364, 173—174).

*В кн. «Київ. Провідник», вышедшей в 1930 г. под редакцией Ф. Эрнста, можно увидеть фотографию одного из упоминаемых Селецким флигелей бывшей усадьбы Разумовского (с. 470). Впоследствии на этом месте по ул. Январского восстания был воздвигнут один из корпусов монументального жилого дома завода «Арсенал» (арх. И. Каракис).

Как-то дворецкий доложил К.Г. Разумовскому, что один из гостей сильно заподозрен в похищении уже шестого серебряного прибора.

— Так узнать, где он живет, и послать ему еще шесть приборов, чтобы у него была наконец ровно дюжина, — решил Разумовский.

(136, 335).

Племянница К.Г. Разумовского, графиня Софья Осиповна Апраксина, заведовавшая в последнее время его хозяйством, неоднократно требовала уменьшения огромного числа прислуги, находящейся при графе и получавшей ежемесячно более двух тысяч рублей жалования. Наконец она решилась подать Кириллу Григорьевичу два реестра о необходимых и лишних служителях. Разумовский подписал первый, а последний отложил в сторону, сказав племяннице:

— Я согласен с тобою, что эти люди мне не нужны, но спроси их прежде, не имеют ли они во мне надобности? Если они откажутся от меня, то тогда и я, без возражений, откажусь от них.

(136, 335).

Раз главный управляющий с расстроенным видом пришел к Разумовскому объявить, что несколько сот его крестьян бежали в Новороссийский край.

— Можно ли быть до такой степени неблагодарными! — добавил управляющий. — Ваше сиятельство истинный отец своим подданным!

— Батяка хорош, — отвечал Разумовский, — да matka-свобода в тысячу раз лучше. Умные хлопцы: на их месте я тоже ушел бы.
(136, 338).

В богатом кабинете Разумовского в резном изящном шкафе из розового дерева свято хранилась пастушеская свирель и простонародный кобеняк, который он носил в юности. И когда дети его, забывшись, высказывали аристократические претензии или чересчур гордо обращались с низшими, Разумовский в присутствии их приказывал камердинеру отворить шкаф, говоря:

— Поддай-ка сюда мужицкое платье, которое было на мне в тот день, когда меня повезли с хутора в Петербург; я хочу вспомнить то время, когда пас волов и кричал: «Цоп, цоп!»
(136, 341–342).



*И. Мартос. Надгробие гетману
К. Разумовскому в Батурине.
Мрамор. 1803—1805 гг.*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАНЦЛЕР КНЯЗЬ А.А. БЕЗБОРОДКО

Александр Андреевич Безбородко (1746—1799) родился в с. Стольном под Черниговом в семье генерально-го писаря Андрея Яковлевича Безбородко. Начальное образование получил под непосредственным руководством отца. Учился в Киевской академии. Служил в канцелярии малороссийского генерал-губернатора П.А. Румянцева. В 1767 г. назначен членом генерального суда. В 1769 г. перешел в армию и принял участие в Турецкой войне в качестве начальника нежинского, лубенского, миргородского и компанейского полков. Впоследствии перешел в армию Румянцева, сражался в знаменитых битвах при Ларге и Кагуле. Отличился при штурме Силистрии. Одновременно исполнял обязанности начальника походной канцелярии фельдмаршала. В 1774 г. назначен полковником киевского малороссийского полка. В 1775 г. рекомендован императрице Екатерине и вскоре заведовал собственными ее делами. Проявляя необычайные дарования и огромное трудолюбие, киевский полковник вскоре возвысился до высших чинов, стал графом, вице-канцлером, гофмейстером. В последние годы правления Екатерины оттеснен на второй план фаворитом П.А. Зубовым, что, впрочем, спасло его от репрессий со стороны императора Павла, жестоко мстившего всем любимцам своей матери. Новый царь возвел Безбородко в княжеское достоинство и назна-



чил государственным канцлером. Однако Безбородко не успел проявить свои гениальные дарования до конца. Будучи холостяком, князь-канцлер завещал все свое огромное состояние брату, графу Илье Андреевичу с тем, чтобы тот непременно учредил на свой счет Лицей в городе Нежине. Это заведение, носившее имя Александра Андреевича Безбородко, оказало огромные услуги просвещению в Украине. При знаменитом екатерининском сановнике существовал кружок украинской интеллигенции. Самого его одно время считали автором «Истории руссов», проникнутой духом украинофильства. Таковы парадоксы истории.

При желании граф Александр Андреевич вполне мог считать себя киевлянином. В студенческие годы он жил, по обыкновению состоятельных «академиков», на частной квартире на Подоле. Потом неоднократно останавливался здесь или на Печерске во время своих деловых поездок.

К приезду царицы Екатерины II в Киев в 1787 г. неподалеку от Царского дворца в районе теперешней Бан-

ковой улицы была создана резиденция для имперского министра иностранных дел с роскошно обставленным домом и огромным садом с оранжевыми. И поскольку таковым министром в то время значился граф АА Безбородко, то он и считал, что усадьба

предназначалась лично ему в частное владение, в подтверждение чему вскоре появились и официальные документы. Так что после смерти вельможи в усадьбе водворился его брат, основатель Нежинского лицея граф Илья Андреевич Безбородко (1756–1815).

/Александр Андреевич / Безбородко обладал всеобъемлющим, проницательным и необыкновенно гибким умом /.../ Граф Сегюр так отзывался о нем: «Безбородко в теле толстом скрывает ум тончайший» /.../ Память у него была необъятная. Рассказывают, что в бытность его в /Киевской/ академии товарищи делали над ним странные испытания: лишь только он засыпал, они будили его и спрашивали: когда случилось такое-то или такое из давних происшествий? — и Безбородко в просонках отвечал им без ошибки. В искусстве вести переговоры никто не мог с ним сравниться. В 1791 г., после смерти Потемкина, сам вызвавшись окончить в Яссах мирные переговоры, он успел уговорить Юсуф-Пашу к уплате 15 миллионов пиастров за военные издержки, — статья, на которую более всего не соглашался турецкий главнокомандующий. Когда уже трактат был подписан, Безбородко, разорвав бумагу, сказал: «Русская императрица не имеет нужды в турецких деньгах; ей драгоценны только права ее и честь подданных». Великая Екатерина вполне одобрила такой смелый и решительный поступок своего полномочного, изумив бескорыстием своим побежденную Турцию».

(23, 275).

Необыкновенная память и изумительная находчивость сделали его чудом при блестящем дворе Екатерины. Рассказывают, что однажды Безбородко, получив словесное приказание от самой государыни написать одну важную бумагу, за другими занятиями, требовавшими немедленной работы, забыл исполнить монаршую волю. При первом же докладе императрица велела Безбородку прочитать то, что он написал по ее приказанию. Безбородко, нисколько не смущаясь, достал бумагу из своего портфеля и твердым голосом, без малейшей заминки прочитал то, что следовало изготовить. Императрица, выслушав доклад и изъявив согласие, потребовала бумагу к подписи. Но как же она изумилась и как смешалась находчивый секретарь, когда она увидела чистый, неписанный лист бумаги.

(23, 271–272).

Безбородко очень любил свою родину — Малороссию и покровительствовал своим землякам. Приезжая в Петербург, они всегда являлись к канцлеру и находили у него ласковый прием. Раз один из них, коренной хохол, ожидая в кабинете за креслом Безбородко письма, которое тот тотчас писал по его делу к какому-то влиятельному лицу, — ловил мух и, неосторожно размахнувшись, вдруг разбил стоявшую на пьедестале дорогую вазу.

— Ну что, поймал? — спросил Безбородко, не переставая писать.

(136, 157).

ФЕЛЬДМАРШАЛ КНЯЗЬ А.А. ПРОЗОРОВСКИЙ

Князь Александр Александрович Прозоровский (1732–1809) происходил из старинного рода ярославских князей. Окончил Пажецкий корпус. С 10 лет зачислен в гвардию солдатом. Участник Семилетней войны. Ранен в битвах под Грос-Егерсдорфом (1757) и Цорндорфе (1758). В 1765 г. получил звание генерал-майора. Во время Турецкой войны командовал авангардом армии генерал-аншефа кн. А.М. Голицына. С 1775 г. — командующий войсками в Крыму. С 1780 г. — наместник орловский и курский. С 1782 г. — генерал-аншеф. С 1790 г. — сенатор и главнокомандующий войсками Москвы, Белоруссии и Смоленской губернии. Руководил арестами и следствием над знаменитыми масонскими деятелями — Новиковым, Лопухиным и др. При императоре Павле попал в опалу, понижен в звании и отправлен в Смоленск командиром дивизии. С января 1797 г. и до августа 1807 г. в отставке. Возвращен в армию в звании фельдмаршала и с началом в 1808 г. новой Турецкой войны назначен главнокомандующим русской армии. Умер в армейском лагере на Дунае. По завещанию, похоронен в Успенском соборе Печерской лавры. В 1816 г. тело фельдмар-



шала перезахоронили в ц. Александра Невского в склепе под его домом на Печерском форштате, который он завещал для устроенного на его средства Инвалидного дома (обширная усадьба князя располагалась в районе теперешних улиц Н. Раевского, Патриса Лумумбы, Ивана Кудри). С расширением Новой Киевской крепости прах фельдмаршала перезахоронили (в 1841 г.) еще раз — в новой башне Васильковских укреплений, которая за пять лет до этого события, по указу царя, стала называться Прозоровской (на теперешней ул. Щорса). Обширная площадь за Васильковскими рогатками тоже называлась Прозоровскою (теперь — пл. Леся Украинки). В честь фельдмаршала получила свое название и теперешняя ул. Эспланадная.

Дочь московского генерал-губернатора князя Михаила Никитича Волконского Анна Михайловна была за московским же генерал-губернатором князем Прозоровским, необразованным, но правдивым чуда-

ком. (Он оставил капитал для сооружения над своим прахом церкви в Киеве; при постройке там Киевской крепости склеп перенесен под одну башню) /.../

С нею был трехдневный летаргический сон, и уже собирались хоронить ее, как она стала оказывать признаки жизни. Чудак-муж имел привычку беспрестанно говорить «сиречь». Видя, что жена движется, вместо радости он воскликнул:

— Сиречь не к добру!

Она после долго жила и была статс-дамой при Марии Федоровне*.

(130, 204).

**Жена Павла I.*

Не мрамор, не бронза служат украшением его гробнице: он оставил по себе нетленный памятник, достойный христианина, заветав построить в Киеве каменный дом для 60 престарелых воинов, которые содержатся в довольстве из доходов его имения. Однажды в то время, когда он начальствовал милицією в Киеве, разговор обратился к философии XVIII века.

— Я не знаю иной философии, кроме Христовой! — сказал фельдмаршал, и в этой фразе прекрасно выразилась душа его.

(130, 205).

Московский генерал-губернатор князь Прозоровский, следовавший дело известного Новикова, арестовал последнего с особенной торжественностью. Придавая этому событию важное значение, Прозоровский с гордостью и самодовольством рассказывал К.Г. Разумовскому о тех мерах, которые были приняты им для ареста Новикова.

— Вот расхвастался, — отвечал Разумовский, — словно город взял: старичонка, скрюченного гемороидами, схватил под караул! Да одного бы десятского или будочника послал за ним, тот бы и притащил его.

(136, 329—330).

АЛЕКСАНДР I

Александр I Благословенный (1775—1825) — российский император (1801—1825). Старший сын Павла I. В начале своего правления проводил умеренно либеральные реформы. В 1805—1807 гг. участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807—1812 гг. сблизился с Наполеоном. Провел успешные войны с Турцией (1806—1812) и Швецией (1808—1809). После Отечественной войны 1812 г. возглавил антифранцузскую коалицию (1813—1814). Один из организаторов Венского конгресса (1814—1815) и Священного союза европейских монархов.

С Киевом Александра Павловича связывали особые отношения. Он воспринимал вечный город на Днепре сквозь призму романтических переживаний. В 1816 г. после Венского конгресса навестил сгоревшую Москву и тут же отправился на поклонение киевским святыням. К городской переправе через Днепр он прибыл 7 сентября в 4 часа пополудни, но в город въезжать не спешил, дожидаясь темноты. Целые три часа он пробыл против Наводницкой пристани в Красном трактире (позже — ресторан Резанова на теперешнем Гидропарке), молился и любовался прекрасным видом на город и Лавру. Лишь с наступлением темноты, в 7 часов вечера, переправился через реку. Военным и гражданским властям было запрещено встречать его, т. к. считалось, что он прибыл в город не как государь, а



как частное лицо, паломник. Лишь у Святых ворот Лавры его приветствовал митрополит Серапион с соборными старцами и огромная толпа горожан. Колокольня и весь монастырь были освещены сальными плошками. Царь предстал перед киевлянами в конно-егерском мундире и в сопровождении духовенства, державшего в руках большие горящие белые свечи, проследовал в Великую лаврскую церковь. У дверей ее он отдал шпагу генерал-адъютанту Уварову, и войдя в нее, положил традиционный пилигримский троекратный земной поклон перед древней чудотворной иконой Успения Богородицы. После обряда поклонения император отправился через ярко иллюминированный Печерск к дому Оболенского, находившегося возле Царского дворца. Посе-

литься в самой резиденции Александр Павлович не решился, поскольку боялся «прилипчивой болезни», от которой вымерли все пленные саксонцы, помещавшиеся здесь во время войны. (Еще в конце XIX ст. на горе за Кирилловским монастырем указывали на так называемую «саксонскую могилу»). Правда, во дворце жил корпусный генерал Раевский со своей семьей, и, судя по запискам кн. И. Долгорукова 1817 г., жил прекрасно, однако подвергать царя риску все же не решились. Во все время пребывания в Киеве Александр Павлович вел себя необычно. Киевляне устраивали в его честь балы и приемы, а он не то что прятался от людей, но всячески ограничивал свои контакты, большую часть времени проводил, как истинный богомолец, в молитвах, на балах почти не танцевал и за столом ни к чему не притрагивался, поскольку постился, иногда, отвечая на тосты, подносил к губам бокал шампанского. Лишь 8 сентября на приеме у гостеприимного митрополита Серапиона царь-постник отведаль редкой рыбицы вырезуба и «пирожка частицу».

Вечером того же дня состоялся тайный визит царя к лаврскому схимонаху Вассиану. О чем они говорили наедине до полуночи и в чем исповедовался царь, никто не знает. Очевидно, Вассиан наложил на Александра Павловича суровую епитимию и отказал ему в благословении после исповеди (уж не в убийстве ли отца, императора Павла, каялся тогда царь?!). Какие-то тайные детали этого визита знал митрополит Серапион, но в своих записках он не стал распространяться на этот предмет и только отметил, что «вопреки церковному обычаю, но не правилам, государь на этот раз только исповедовался, не при-

общаясь после того святых тайн». 10 сентября состоялся смотр войск на огромном поле за Золотыми воротами (между ними и тем местом, где теперь университет). 11 сентября царь осматривал Печерскую крепость и Подол, где посетил Академию, а на следующий день, помолившись в подземной церкви у пещеры св. Антония, прямо из Лавры отбыл в Белую Церковь.

Киев произвел на императора Александра неизгладимое впечатление, и именно здесь он решил отметить первый, пятилетний юбилей Отечественной войны 1812 г. Как предполагали современники, на эту мысль его навело странное совпадение: полководец Кутузов, ставший главным вершителем всей кампании, был назван в честь св. Архистратига Михаилом, и город Киев, в котором он служил генерал-губернатором перед войной, также находился под покровительством св. Архистратига. Согласно этой «мистической географии», отметить первый юбилей 1812 года «следовало» не где-нибудь, а именно в Киеве, который всю войну стоял вроде бы в стороне от военных действий. Этой странной логики никто впоследствии не придерживался, но Александр Павлович сделал все по-своему, и в апреле 1817 г., т. е. к пятилетней годовщине начала войны, в Киев в дар Михайловскому монастырю был прислан драгоценный образ св. патрона города — копия с луврской картины Рафаэля, написанная на доске из чистого золота и усыпанная множеством бриллиантов и хризолитов. Из Софийского собора икона была торжественно перенесена в Михайловский монастырь викарием Иринеем Фальковским в сопровождении всего киевского духовенства. Этот крестный ход и составил основную программу первого юбилея 1812 года.

Сам император появился вновь в городе лишь 6 сентября 1817 г. и наконец решил остановиться в Царском дворце. Сведений об этом визите почти не сохранилось. Известно только, что 7 сентября был дан генералитету парадный обед во дворце, а 8 сентября, помолившись в Лавре и отобедав в своей резиденции, царь выехал в Белую Церковь. 11 сентября он вернулся, вновь принимал ки-

евское начальство за обедом, после чего в 2 часа дня спешно покинул Киев. Случилось так, что это был его последний визит в вечный город, к которому он питал какие-то особые, мистически окрашенные чувства. Преждевременная смерть царя Александра Благословенного помешала этим чувствам проявиться более отчетливо и оставить после себя зримый след.

В 1816 году Киев осчастливлен был посещением государя императора Александра Павловича, возвращавшегося со славою умиротворителя Европы со знаменитого Венского конгресса. Древняя столица владык России снова облеклась в праздничную одежду, дабы достойно встретить желанного гостя. Дворянство поспешило дать великолепный бал и город горел в торжественных иллюминациях /.../

На этом бале одна из дам, кажется, графиня Браницкая, просила у государя позволения взять одно перо из султана его шляпы. Когда получено было на это высочайшее согласие, то минуты через две не осталось у шляпы ни одного пера. (Соблюдено И.И. Рушковский, который был тогда секретарем Дворянского депутатского собрания).

(23, 480; 550).

Сего же дня в три часа по полудню дано знать иеросхимонаху Вассияну /бывшему в Академии Вавиле/, что князь Волконский будет у него вечером часу в восьмом. Пробыло 8 часов, и ожидаемый князь Волконский так тихо входит в келию старца слепого, что даже послушник не заметил, а узнал уже тогда, когда гость, взявши его за плечо, выслал вон, а сам, поспешнейше входя в чулан Вассияна, приветствует:

— Здравствуйте, батюшка!

Ответ обыкновенный, а потом уверен будучи прежде о посещении Волконским:

— Прошу сесть, ваше сиятельство!

И хозяин садит на первейшее место гостя, предоставляя ему свои права, а гость садится ниже, отдавая первенство хозяину.

Вассиян: Женаты ли вы, ваше сиятельство?

Гость (скоро): Женат.

— Давно ли женаты?

— Двадцать лет.

— Имеете детей?

— Имею.

— Давно ли служите государю?

— Давно.

Вассиян: Благодарение Господу Богу, что государь император удостоил Киев и

Лавру своим посещением. Да, вчера государь был в Лавре и всех обрадовал своим благочестием и своею кротостью.

Гость: Да он здесь.

Вассиан: В Киеве?

Гость: Он у вас.

Тут Вассиан (как он мне сам лично рассказывал) спрашивает мнимого Волконского:

— Где же государь, ваше сиятельство, в Лавре, или еще будет?

И пределом неизвестности было слово, сказанное Вассиану ко уху:

— Я Александр. Благословите меня. Еще в Петербурге наслышался о вас и пришел поговорить с вами. Благословите меня.

— Я, — рассказывает Вассиан, — хотел поклониться, но государь, не допуская, целует только руку, говоря: «Поклонение принадлежит одному Богу. Я человек, как и прочие, и христианин. Исповедуйте меня, и так, как всех вообще духовных сынов ваших».

Сими словами началось совершение исповеди.

В 11 часов, после долгих разговоров, между которыми император сказал: «При первом вступлении моем в Лаврскую церковь такое благоговение наполнило мою душу и такие чувствования прониклись, что могу вам с Павлом сказать «бых аще в теле, или аще кроме тела, не вем. Бог весть», — спросил: «Кто в Лавре более других заслуживает внимание?» И как Вассиан отвечал, что по митрополите наместник первейший, то государь спрося об имени наместника, велел сказать послушнику позвать наместника к Волконскому, ожидающему его у Вассиана. Когда же явился наместник и, узнавши государя, хотел отдать ему должностное поклонение, то его государь не допустил говоря: «Благословите как священник и обходитесь со мною как с простым поклонником, пришедшим в сию обитель искать путей ко спасению, ибо все дела мои и слова принадлежат не нам, а имени божию, научившему меня познавать истинное величие».

В 12 часов государь изволил выйти от Вассиана и из Лавры, запретив наместнику сопровождать его до ворот и сказав, что завтра рано будет в пещерах.

(135, 116—117).

НИКОЛАЙ I

Николай I (1796–1855) — российский император (1825–1855). Третий сын императора Павла I. Вступил на престол после подавления восстания декабристов. Декларировал идеи преобразования страны, но на деле проводил охранительную, реакционную политику, сделавшую Россию пугалом в глазах всей Европы. При нем бюрократия процветала, была организована политическая полиция (жандармерия), введена суровая цензура, расширены права дворянства и усилен гнет крепостничества. Николай Павлович выступил лидером того идеологического движения, которое, исходя из очевидной мысли о своеобразии исторического пути России, пришло к псевдоисторической доктрине «официальной народности», провозглашавшей три основы русской самобытности — православие, самодержавие и народность. В период своего могущества император Николай подавил Польское восстание (1830–1831) и революцию в Венгрии (1848–1849). Крымская война стала суровым испытанием жизнеспособности созданной им государственной системы. Современники утверждали, что, осознав свою беспомощность в борьбе с антирусской коалицией, император покончил жизнь самоубийством, приняв яд.

Николай Павлович понимал стратегическое значение Киева для его геополитики. Он строил здесь огромную, самую большую и самую мощную во



всей России крепость, которая должна была стать опорным пунктом и крайним оборонительным рубежом русской армии в будущей большой войне с Турцией и Европой, начало которой, по преданиям и прогнозам, должно было совпасть с четырехсотлетием падения Константинополя, т. е. начаться в 1854 г., что и случилось на самом деле. Если бы союзники Турции не разгадали план Николая Павловича и, повторив ошибку Наполеона, двинулись с Юга в глубь России, на Москву, исход всей кампании должен был бы решиться под стенами Киева. Но этого не случилось, и затраченные царем сотни миллионов рублей на строительство киевской твердыни, пропали даром. Не сделав ни одного выстрела по неприятелю, Новая Киевская крепость была со временем отдана под склады, а потом многие ее сооружения продали на слом.

Частые поездки царя по делам крепостного строительства помогли ему понять, что Киев — это не только крепость и один из главных центров православия, но и центр жизни огромного Юго-Западного края (Восточной Украины), точка пересечения многих культурных, политических, экономических и религиозных влияний. Николай Павлович стремился усилить русское присутствие во всех сферах киевской жизни, придать городу чисто русский архитектурный облик, сделать его виднейшим университетским городом России. Многие киевляне, видя, как преобразился Киев за время правления царя Николая, считали его величайшим благодетелем города, забывая о всех иных, часто роковых, последствиях его «отческих забот». История отношений этого царя с вечным городом на Днепре еще не написана, но уже сегодня ясно, что он является одной из самых активных и заметных фигур в истории Киева 1830–1850-х годов. Без его участия не обходилось ни одно более-менее значительное дело тех лет. Приводим подробную справку историка-монаха Вл. Зноско о поездках этого монарха в наши края:

«Государь Николай Павлович был в Киеве 15 раз, а в святой Лавре около 30 раз /.../

В первый раз он посетил Киев в 1816 г., будучи еще великим князем.

Во второй раз посетил по воцарении с 23 по 26 июня 1829 года.

В третий раз — с 31 мая по ...июня 1830 г.

В четвертый раз — в сентябре 1832 г.

В пятый раз — 10–11 сентября 1835 г.

В шестой раз — 14 августа 1837 г. /.../ 16 августа государь выехал из Киева.

В седьмой раз — 10–12 августа 1840 г.

В восьмой раз — 19 сентября 1842 г.

В девятый раз — в 1845 г. Прибыв 22 мая вместе с вел. князем Константином Константиновичем, он следующий день посвятил осмотру некоторых учреждений. 24 мая, в день празднования Вознесения, был в Софийском соборе на литургии, оттуда заехал на квартиру, а затем — в Лавру /.../ Приложившись к св. мощам, государь взял благословение у митрополита и отбыл в Петербург.

В десятый раз государь посетил Киев проездом и пробыл в Киеве и Лавре семь часов. /Когда это было, автор не указал. — А.М./.

В одиннадцатый раз — 8 сентября 1847 г. Он предполагал приехать в 6 часов вечера, а неожиданно приехал в 6 часов утра. Подъехав к Святым лаврским воротам, государь Николай Павлович вышел из экипажа и направился с сопровождавшим его генерал-адъютантом Орловым к Великой церкви. Двери последней по случаю раннего времени оказались закрытыми. Обширный лаврский двор и особенно преддверие церкви были переполнены спящими богомольцами, собравшимися сюда к предстоящему празднику Успения богоматери /.../ По случаю раннего времени приезда государя не заметил почти никто ни из монастырской братии, ни из жителей Печерска /.../

В двенадцатый раз — 21 сентября 1850 г. /.../ 25 сентября в половине 11 утра государь отбыл из Киева /.../ 13 сентября 1851 г., в четверг, в 7 часов вечера государь император Николай Павлович с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами приехал в Киев. Так как было уже темно, и притом государь в этот день

следовал по Житомирскому тракту (из Луцка), то заезжать в Лавру ему было поздно и не по дороге, и он проехал прямо на квартиру в доме военного губернатора. На следующий день, 14 сентября, по случаю праздника Воздвижения, высокие путешественники слушали в Лавре литургию, совершенную митрополитом Филаретом. Затем в 10 часов был смотр войскам на Эспланадной площади, откуда государь проследовал в Софийский собор, а оттуда в Михайловский монастырь, затем осматривал город, вновь возводимые крепостные и другие постройки и Арсенал. 15 сентября государь с великими князьями выехал в 12 часов дня на смотр войск в Елисаветград.

19 числа /19 сентября 1851 г./, в 12 часов дня Николай Павлович вернулся в Киев один, без великих князей. В 2 часа пополудни, в сопровождении генерал-губернатора и военных инженеров, он осматривал крепостные работы и от новых, ныне Никольских, ворот прошел пешком через двор инженерной команды и мимо лаврских конюшен, помещавшихся подле Никольского монастыря (так называемого Малого Николая) в Военный собор (Большого Николая). /-/ Из Военного собора государь направился к Аскольдовой могиле, которая по предположениям местного начальства предназначалась к срытию, т. к. через это место должны были проводить шоссейный спуск к мосту. Государь приказал провести шоссе мимо Аскольдовой могилы, сохранив существующее кладбище, из которого начали было уже вывозить покойников. Затем Николай Павлович продолжал осмотр крепости и цитадели до половины четвертого. В половине четвертого государь сел в экипаж и в сопровождении свиты инженеров и город-



Императрица Александра Федоровна

ских властей отправился на квартиру /-/ 20 сентября, утром, государь неожиданно посетил Лавру и без всякой встречи вошел в соборную церковь, где шла литургия /-/ принял благословение от митрополита и отправился в дальнейший путь в Петербург.

В 1852 г. император Николай Павлович в последний раз посетил дорогой его сердцу Киев незадолго до начала войны с Турцией, приведшей к несчастной Крымской кампании, уложившей государя в безвременную могилу. Николай Павлович прибыл в Киев с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами 5 октября, в воскресенье, в 11 часов утра по тракту из Николаева. В час пополудни государь был в Лавре. Там он посетил митрополита и, беседуя с ним наедине, в его покоях, был крайне угрюм и невесел.

О посещениях царем Николаем Киева сложено множество историй и преданий. Возможно, эта справка поможет нашим читателям разобраться в степени их достоверности.

Прибыв 22 мая /1845 г./ вместе с великим князем Константином Константиновичем, он /император Николай I/ следующий день посвятил на осмотр некоторых учреждений. 24 мая, в день праздника Вознесения, был в Софийском соборе на литургии, откуда заехал на квартиру, а затем — в Лавру. Так как государь никого не предупредил о своем посещении, то неожиданный приезд его всполошил всю братию, которая в то время трапезовала. Заметив приближение государя, все засуетились: кто застилает ковры, кто облачается, кто зажигает свечи. Но вот государь вошел в церковь. Посмотрел крутом, видит — никого нет, один только старик-монах зажигает паникадило.

Государь взяв старика под локоть и сказал:

— Оставь, не надо.

Монах не оборачиваясь и полагая, что ему говорит кто-нибудь из послушников, не знаящих еще о приезде государя, толкнул Николая Павловича локтем и сердито проговорил:

— Тебе ніхто не питає, іди прочь! Сам знаю, що треба.

Государь улыбнулся и пошел далее. Старик пришел потом в ужас, когда ему сказали, что ответ его был обращен к царю.

(123, 160).

Государь пробыл три дня в Киеве. Замечательны слова, сказанные им дворянам при их представлении.

— Я знаю, — сказал он, — как трудно управлять вами, господа! Лучший губернатор моих великороссийских губерний в здешнем крае может быть только посредственным, но каждый посредственный ваш губернатор там будет лучшим!

(256, 450—451).

Утром в этот день /воскресенье, 24 сентября 1850 г. — А.М./ император слушал в Лавре литургию, которую служил митрополит /Филарет/. По окончании обедни государь милостиво беседовал с митрополитом и между прочим в разговоре сказал:

— Служение ваше прекрасное, только прикажите диаконам не горланить.

Нужно заметить, что в ту пору в Лавре иеродиаконом был Антоний, и до сих пор, вероятно, памятный многим киевским старожилам.* Голос у Антония был громкий, но несколько резкий. Про этого Антония остряли, что провозглашенное им в Лавре многолетие было слышно однажды на высочайшем смотре войск в Белой Церкви. Конечно, в царском присутствии Антоний особенно постарался отличиться своим голосом, но резкий тембр его, как мы видели, не понравился государю. Чтобы предупредить повторение такого случая на будущее время, митрополит сделал предписание следующего содержания:

«Государь император в высочайшем присутствии при совершении божественной литургии 24 сентября изволил изъявить милостивейшее одобрение соборного служения. Вместе с тем его величество, заметив весьма неприличный крик иеродиакона Антония, изволил приказать мне удерживать вообще диаконов от неумеренного возвышения голоса при священнодействии. Духовный собор Лавры имеет объявить иеродиаконам сию высочайшую волю к должному и неперемennomu исполнению».

Вследствие такого предписания митрополита со всех иеродиаконов Лавры взята подписка не возвышать при священнослужении голоса.

(123, 161–162).

**См. о нем также в разделе, посвященном митроп. Филарету, где приводится отрывок из «Владычного суда» Н. Лескова.*

/Ранжирование духовенства/

В 1853 г. император Николай Павлович, едучи в Севастополь, по случаю открытия Севастопольской войны, на три дня остановился в Киеве и посетил Лавру и Киево-Софийский собор, уже отремонтированный по высочайшему распоряжению. В Лавре император остался недоволен тогдашним архиdiaконом Антоном, который неистовым голосом возгласил Царское многолетие, а в соборе поразил его протоиерей Дубиницкий, рост которого был меньше двух аршин. Прикладываясь к кресту после многолетия, император приказал немедля удалить неистовавшего диакона, а для служения в Софийском соборе избрать священнослужителей, представительных по росту. Строгий царский приказ был исполнен. Архиdiaкон Антоний был переселен в Преображенскую пустынь. А отец Дубиницкий — в Киево-подольскую Притиско-Никольскую церковь, и с того времени в состав соборного причта вошли весьма рослые священники: Н. Оглоблин, В. Каменский и М. Богданов.

(295, 5).

В 2,5 часа пополудни /19 сентября 1851 г./ в сопровождении генерал-губернатора и военных инженеров он /император Николай I/ осматривал крепостные работы и от Новых, ныне Николаевских, ворот прошел пешком через двор инженерной команды и мимо лаврских конюшен, помещавшихся подле Николаевского монастыря (так называемого Малого Николая) в военный собор (Большого Николая). Осмотрев собор, государь сказал встречавшему его настоятелю: — Хороший собор... Надобно его возобновить...

Затем, показав на почерневший от времени иконостас, спросил, кто его строил, на что протоиерей отвечал:

— Гетман Мазепа, ваше величество, в 1690 году.

Государь сказал:

— Здесь его проклинают, здесь же за него молятся, дабы Бог простил его.

Потом, заметив протоиерею, что в соборе на стенах находятся иконы, и народ стоит к ним тылом, велел снять их оттуда и поставить ближе к иконостасу и в алтаре. (123, 160–161).

/Памятная доска литературному анекдоту/

Николай Павлович вместе с тем спас для /Николаевского/ монастыря примыкающую к нему Аскольдову могилу. Там в небольшом круглом храме на стене прикреплена металлическая доска, на которой значится нижеследующее:

«Императору доложили, что храм Аскольдовой могилы начинает сдвигаться и потому необходимо церковь разобрать... Николай I на это ответил: «Никакой опасности не грозит, надо немного исправить и церковь должна существовать».

Так она с тех пор благополучно и существует в течение 71 года...

(195, 187).

/Полицейская этика/

Как кажется, к посещению /царем Киева/ 1850 года относится следующий рассказ умершего несколько лет тому назад председателя Киевской археографической комиссии М.В. Юзефовича, напечатанный в «Русском архиве» 1870 г. (стр. 1007):

«Не помню, в котором году, во время бытности государя в Киеве, генерал-губернатор получил от наместника Галиции графа Стациона уведомление об открытии им следов тайного общества, ветви которого проникли и в наши западные области. Стациона просил однако ж проследовать дело тайно, потому что австрийское правительство решило дать время обществу как можно более развиться и привлечь к себе как можно более людей злонамеренных, чтобы потом разом покончить с ними. Генерал-губернатор доложил царю. Государь вскричал:

— Боже тебя сохрани держаться этой подлой политики. Уничтожай зло в самом начале, а не старайся увеличивать число жертв».

(227, 236—237).

На следующее утро (по прибытии в Киев) 17 августа 1837 года, в день храмового лаврского праздника Успения Богоматери, согласно данному митрополиту Филарету обещанию, государь /Николай Павлович/ слушал в Лавре торжественную литургию. По окончании богослужения митрополит просил государя удостоить его высочайшего посещения.

Государь вышел из храма в 11 часов и, проходя по Лаврскому двору в митрополичьи покои, обратил внимание на обычный обед для нищих и богомольцев, устраиваемый Лаврою ежегодно в этот день еще со времен преподобных основателей Лавры Антония и Феодосия Печерских по их завещанию. Осведомившись об этом, государь пожелал попробовать той же пищи, которая была предложена народу. Ему поднесли хлеба на деревянной тарелке, деревянную ложку, кислых щей и пшенной каши с молоком. Отведав принесенной трапезы, государь похвалил вкус ее и сказал:

— Очень рад, что соблюдается древность. Желая, дабы и впредь святые предания святых отцов наших были сохраняемы нерушимо в наставление современникам и в поучение потомства...*

Царский прибор в память этого посещения сохраняется и теперь в лаврской ризнице. (123, 159—160).

*Пожелание царя не осуществилось. Киевская знать и все иное «избранное общество» не желало общаться со своими бедными «братьями во Христе» даже в дни лаврских торжеств.

/Царь, лекарь-правдолюб и лихой фельдфебель/

К одному из посещений Николаем Павловичем Киева относится любопытное воспоминание отставного военного фельдшера Я.И. Л-ко, записанное г-ном Лоначевским и помещенное в «Историческом вестнике» 1887 года (III, с.671—675).

Рассказ Л-ко вряд ли достоверен во всех своих подробностях; весьма возможно, что память изменяла старому николаевскому служаке, и он припутал в своем рассказе к тому, что было на самом деле, и кое-что слышанное в другом месте. Но для нас этот рассказ-предание интересен тем, что он живо рисует как самого императора Николая, так и те злоупотребления, которые так часто и обильно совершались от его имени, с которыми он энергично, но почти бесплодно боролся всю свою жизнь и которые набросили темные пятна на светлые стороны его царствования.

«В старину, — рассказывает Л-ко, — в киевском военном госпитале были совсем не те порядки; не то что казенного добра не цуждали: — у царя, мол, много денег, — как рассуждали тогда, — и тысячами загребали в свои карманы казенные денежки, а и солдатским грошем не брезговали, ото рта больных урывали... И все это было у них шито-крыто, один другого бережет и покрывает, потому известно, все одним миром мазаны.

Много ли, долго ли такие дела творились, только попадись в госпиталь какой-то докторишка, самая, знаете, что ни на есть мелюзга. Назначили его каким-то, как говорится, исправляющим должность наимладшего помощника при самом младшем докторе. Послужил он там некоторое время, потрудился, а на таких, знаете, всегда взваливают наибольшие работы. Скоро он до подлинности разузнал все эти ихние порядки, и как только разузнал, так и возмутился: «Я, — говорит, — не могу, я царю присягал». И все, знаете, в таком роде. Стали его урезонивать, да научать в свою науку. А он ничего этого не принимает, да все свое: «Я, — говорит, — не могу, я царю присягал». Тогда посмеялись над ним и сказали: «Коли не можешь, так и не надо». Вскоре после этого они его и сплавляли, это у них делалось живо. Вот этот самый докторишка на свободе и описал все, что только творится в госпитале, до наименьших подробностей описал. Не знаю, уж какими путями, только это его описание и дошло до государя, до самого императора Николая Павловича. А государь в это время собирался в Киев; так он никому ничего не сказал и держал все в величайшей тайне; хотел сам все проверить, ни на кого не полагаясь.

Приезжает это государь в Киев. Везде, во всех учреждениях приготавливаются, все трепещут; покойник, знаете, строг был ко всем этим неправдам. Так вот везде и пошла такая чистота и переборка, что упаси Господи! Известно, трепещут.

Более всего было этой чистки в госпитале. Подкатил сюда государь. А здесь все так вычистили, что один блеск. Подъехал. Тротуары все белым песочком высыпаны, двери настежь, перед дверью все начальство тоже блестит, вытянулось в струнку, и не шевелится ни один. Старший доктор подлетел с докладом. Государь выслушал молча, смотрит на генерала так серьезно, строго. Затем вошел в переднюю дверь и пошел по коридору, минуя все двери, все прямо, прямо, да там же в конце была лестница, а под лестницей чулан, запертый на ключ. Государь остановился.

— А что здесь? — спросил.

Ему что-то там лепечут.

— Отпереть.

Все так и похолодели. Ищут ключа, да никто не вспомнит, у кого и где ключ от чулана.

— Ну! — молвила государь и бровью двинул.

Так сразу у всех и память явилась, вспомнили, у кого и где ключ, мигом открыли. А там было навалено кучами платье и белье, в котором обыкновенно держали больных. Для ревизии, знаете, у них было все, как следует быть, хорошее и исправное. К приезду государя все это повынимали из шкафов, а в чулан свалили все, в чем больные были обыкновенно.

Как посмотрел государь в чулан...

— Что это?

Все так и замерли, — лепечут:

— Обноски, грязное белье...

А там все такое грязное, рваное, словом, одна мерзость.

— Когда это сняли?

— Позавчера... — отвечают.

Так сразу и признались. Покойному государю, коли он бывал в грозе, никто не мог солгать. Такая уж у него сила была и в глазах, и в голосе такая сила; глаза были строгие, строгие, голос такой был могучий! Против своей воли повинисься, хоть бы потом за это и на виселицу. Самолічно осмотрел государь весь этот хаам в чулане, а там всей этой нечисти, грязи! Осмотрел и хоть бы слово! Все еще лучше ужаснулись: уж коли молчит, так быть грозе великой.

Приказал вести себя в аптеку.

А там-то все эти бутылочки, ящички, ярычки; просто загляденье одно! И не посмотрел, а потребовал аптечные книги. Подали.

— Покажите, сколько в наличности хины.

Показали в книгах итоги, а там все эти цифры выведены четко да красиво.

— Покажите хину.

Посмотрел, взяв на ладонь, растер пальцами, попробовал на язык и процедил сквозь зубы:

— Не слишком же горька ваша хина.

Все и помертвели. А там была не хина, а так, какая-то дрянь, которую давали вместо хины.

Из аптеки идет в палаты к больным, и все за ним, бледные такие, как будто приговоренные уже. Все больные в чистом белье, лежали на чистеньких постелях, как куколки; а некоторые выдоравливающие вытянулись в струнку... Государь прошел и не взглянул, только у последней койки вдруг остановился. Там стоял выдоравливающий. Государь к нему и говорит:

— Разденься.

Тот разделся и стал голый во фронт.

А у него все тело расцарапано. Государь спросил:

— Виши искушали?

— Так точно, ваше величество, — так и отрапортовал.

— Когда чистое белье дали?

— Третьего дня, ваше величество.

— А в том долго был?

— С месяц будет, ваше величество.

Государь ни слова, и не взглянул ни на кого, пошел дальше. А госпитальные-то все, что на смерть приговоренные, что на пороховом ящике, коли огонь подкладывают: вот-вот взорвет, и всему конец. Когда бы хоть взрывало скорей, так нет, государь ходит не спеша; только вид у него, знаете, такой строгий, строгий.

Вошли на кухню. Там тоже чистота и порядок во всем. Дело было к обеду. Все изготовили, что есть наилучшего: суп куриный для трудных, хлеб белый, хлеб черный, все хоть на выставку. Но уж видно пошло им на несчастье. Взял государь белый хлеб и разломил пополам. А там таракан!... Этакий, знаете, тараканище в одной половинке так и чернеет весь. Государь строго взглянул на старшего доктора, тот и онемел. Государь ткнул ему в руки половинку с тараканом и спросил:

— А это что?

А тот ни гласу ни послушания; и глазами уж не хлопает, а так в бессмыслии пребывает. Государь смотрит на него строго и ждет ответа. Старший доктор эту самую половинку и сунул в руки помощнику своему; впал, знаете, в полное безмыслие. Помощник, как только увидел в своих руках таракана, так и сам вдруг задрожал и впал в безмыслие, да и сунул эту половинку хлеба третьему, кто был у них помладше. Третий, чуть только попал к нему в руки проклятый таракан, тоже задрожал и впал в безмыслие. Только и ходит таракан из рук в руки, и все от него как шальные делаются.

Государь Николай Павлович, видя такое их всех безмыслие и безгласие, чего терпеть не мог, поморщил лоб и грянул:

— Да что же это такое!?

Все так и окаменели, просто истуканами поделались, и не дышит никто, и сердце уж не бьется.

Но тут неожиданно вышел необычайный случай.

В кухне был там один отставной фельдфебель, что порции раздавал; этакий мущина могучий, огромный, усища седые, вся грудь в крестах, в медалях всяких, на лбу шрам от турецкой сабли. Так вот, когда таракан стал переходить из рук в руки, от старшего к младшему, так попал после всех и к этому фельдфебелю. Государь в это самое время спросил:

— Да что же это такое!?

Вот фельдфебель тотчас и отчеканил:

— Изюм, ваше императорское величество!

Да с этими словами выковырнул пальцем таракана, и прямо себе в рот. Только и видели, как таракан затрещал на зубах у фельдфебеля. Сам государь Николай Павлович пришел в удивление от такой его смелости. Посмотрел на него пристально и спрашивает, да уж без грозы:

— Какой же это изюм?

— Сладкий, ваше императорское величество, — громко и отчетливо отпарировал фельдфебель, проглотив изюм.

И что же вы думаете? Все заметили, как гроза у государя стала проходить. Вскоре после этого он вышел садиться в экипаж, начальство выстроилось на улице, ждет своей участи. Государь посмотрел на них и сказал строго:

— Скверно, гадко!

Сел в коляску и тогда спросил:

— А старик этот где?

— Я здесь, ваше императорское величество, — ответил фельдфебель, выскакивая из-за начальнических спин.

— А ты у меня смотри, — сказал государь, погрозив пальцем, — смотри, чтобы впредь хлеб был без сладкого изюма: может и повредить...

— Рад стараться, ваше императорское величество!

Рассказывают еще, что после этого государь потребовал к себе и того докторишку и сказал ему царское спасибо, да еще прибавил и царское слово:

— Знай же и помни, что один маленький честный человек в силах ниспровергнуть в прах сотню чаибольших негодяев.

(227, 247–256).

/Гонения на киевские каштаны/

В Киеве каштаны появились лишь около 150 лет назад*, а их родина — Балканы /.../История даже сохранила весьма курьезный факт, связанный с одной из первых попыток произвести массовые посадки каштанов в Киеве.

Весной 1842 г. в городе ожидался приезд Николая I. Генерал-губернатор Бибиков приказал в честь коронованного гостя проложить новую улицу (нынешний бульвар Шевченко**) и обсадить ее необычными для Киева того времени деревьями — каштанами, специально выращенными для этого в местном ботаническом саду.*** Пригнали солдат, спешно выполняли все предусмотренные работы, своевременно посадили деревья по обеим сторонам проспекта, протянувшегося в длину на несколько километров. А в ночь накануне приезда царя все каштаны столь же поспешно выкопали и выбросили. Оказывается, гонец, направленный накануне в Житомир, где находился тогда Николай I, привез известие, что во время рапорта о приготовлении в Киеве к его приезду у восседавшего на лошади монарха появилась гримаса недовольства. Гонцу показалось, что это совпало как раз с тем моментом, когда речь шла о каштанах. Это было вполне достаточно, чтобы встревоженный губернатор переменил решение. Так и не довелось тогда каштанам украсить новопроложенную киевскую улицу. В течение одной ночи измученные подготовительными работами солдаты заменили их на тополя. Лишь на соседней с новым проспектом аллее Киевского ботанического сада удалось сохранить небольшое количество каштанов, а часть выброшенных саженцев стала трофеями киевских садоводов-любителей, которые унесли их в свои усадьбы. От этих деревьев и возникла вся многочисленная теперь семья киевских каштанов.**** На главной аллее Ботанического сада Киевского университета и теперь еще растут свидетели того печального случая.

(127, 183).

*Есть основания предполагать, что каштаны появились в Киеве не в 1820-х годах, как пишет здесь ботаник, а несколько раньше: в конце 1770 — начале 1780-х гг.

**Бульвар возник задолго до описываемого приезда царя, в 1830-х гг. Как пишут историки, он «впервые упоминается в 1834 г. как Бульварное шоссе».

***С этим трудно согласиться, т. к. сам университетский Ботанический сад был заложен в 1839 году, выращенные здесь саженцы к весне 1842 г. достигли бы всего двухлетнего возраста и к высадке на бульваре едва ли бы годились. Скорее всего, саженцы брались из питомников местных садоводов, а сам каштан был к тому времени хорошо известен в городе.

****Утверждение довольно странное, если сам автор писал (в 1973 г.), что каштаны появились в Киеве «около 150 лет назад», т.е. — в начале 1820-х гг.

/Н.В. Лысенко о Николае I/

Побував батько й у старому Некрополі. Тут, на знаменитому аристократичному кладовищі /Олександрівсько-Невської лаври/, де під мармуровими янголами спочиває «цвіт» Петербурга: князі і графині, світські леви і левити, знатні коточки з крикливими титулами — його увагу привернув один незвичайний пам'ятник.

— Уявіть собі молодого офіцера, ще зовсім юнака, — розповідав він, — Підмостив під голову ківер, розтягнувся на весь зріст і, недбало накинувши наопаши шинель, безтурботно заснув. Так сплять тільки діти і воїни. Як опинився серед великосвітської знаті цей безіменний офіцер? Чому скульптор відтворив його у такій своєрідній позі?

— Не пам'ятаю вже, скільки простояв я біля пам'ятника, намагаючись розгадати його таємницю, коли оце поруч зі мною опинився маленький, висохлий, мов мумія, дідок з білою, розкішною бородою. Я навіть здригнувся від несподіванки. Виявилось — кладовищеньський сторож. Тримався він з гідністю, як і належить сторожу таких високопоставлених мертвих душ, і тільки не в міру червоний ніс видавав в ньому ретельного прихильника зеленого зм'я.

— Що, пане, діяв тебе за живе наш офіцер? При мені й ховали. А пам'ятник, пане мій хороший, не простий. За велінням Миколи I, самого імператора, поставлений. Скажу тобі, — перейшов на шепіт кладовищеньський гном, — неспроста все це. Неспроста /.../

Батько пообіцяв «на чай», і дідок з бородою міністра розповів сумну історію сплячого офіцера, історію, що, видно, давно вже стала у цього вірного слуги Бахуса постійним джерелом прибутку.

/.../ Служив в імператорській гвардії молодий офіцер. Вийшло якось так, що день він провів на муштрі, до півночі засидівся у гарненької фрейліни, своєї нареченої, а звідти прямо у царські покої. Нічого не поробиш — служба! Прийшов, значить, його час. Під ранок сон таки поборов бідолаху. І треба ж, щоб Микола у цю годину пустився у свій обід. Як завжди у таких випадках, він у своїх м'яких чобітках рухався по-хизацькому, безшумно, готовий у будь-яку мить накинутись на свою жертву. В одній з бічних кімнат цар і натрапив на сплячого офіцера. Офіцер прокинувся зненацька, підняв голову і, побачивши нерухомі, холодні, як смерть, очі Миколи, знову впав на ківер. Як несамовитий, не тямлячи себе від шаленої люті, Микола накинувся на офіцера. Та ні крики, ні штурхани не могли вже розбудити гвардійця. За кілька хвилин придворний лікар констатував смерть від паралічу серця. Роками тренував Микола свій страшний погляд, яким він так гордився, перед

яким трепетало все живе. Та вбити, на смерть повалити людину одним поглядом йому вдалося вперше. І дуже задоволений собою, він наказав на страх і в науку іншим відтворити офіцера сплячим — таким, яким він застав його на посту.

(241, 109—111).

Готовились к заложению университета, ожидали царского приезда. И было уже все готово. /.../ Наконец 10 октября, в четверг, поздно вечером государь /Николай Павлович/ прибыл в Киев, и тогда же спросил у генерал-губернатора: «Во сколько обойдется здание университета?» Граф Гурьев, сменивший собою графа Левашова, уволенного в июле за обиду фельдмаршала Сакена, не нашлся сказать государю правды, что смета еще не окончена или он не знал о том, и отвечал наобум: «Семь миллионов!»

— Это все равно, что нуль! — сказал государь. — И я университета не закладываю.

Таким образом граф Александр Дмитриевич Гурьев своим экспромтом лишил Киев великолепного торжества /.../ А по сделанной после того смете вышло вдвое меньше и большую часть той суммы университет имел у себя готовую, в разных фондах.

(253, 57).

/8 миллионов — мальчишкам?!

При выходе /из рекреационной залы пансиона Киевской гимназии. — А.М./ государь приказал попечителю /Брадке/ прийти к нему /в дом генерал-губернатора графа Гурьева. — А.М./ через час. Тот просил как особой милости дозволить привести университет хотя к его дому и показать хоть в окошко царя, столь долго ожидаемого*. На это император Николай весьма милостиво изволил сказать:

— Нет, не на улицу, а приведи их всех ко мне в комнаты, я очень рад их видеть.

Вследствие такого соизволения попечитель собрал всех профессоров, чиновников и студентов университета в приемную залу государя, где все они и предстали пред своего монарха после принятия его величеством английского посланника. Тон, с которым обратился государь к профессорам университета, исполнен был благости и милости /.../

После принятия университета государь удостоил Бадке получасовую частную аудиенцией, которую начал тем, что сумма 8 миллионов для здания университета по смете архитектора Беретти так высока, что он должен отложить закладку. Бадке счел себя обязанным доложить его величеству, что если архитектор Беретти и сказал графу Гурьеву в разговоре, что сметочисление на здание университета могло бы простираться до 8 миллионов, то это не основано ни на каких расчислениях, ибо смета еще не кончена; вероятно, Беретти сказал это в том намерении, чтобы убедить графа Гурьева принять меры к сокращению справочных цен, которые местным начальством по приказанию Беретти сделаны несоразмерно высокие /.../ На вопрос государя, во сколько могла бы обойтись постройка, он отвечал, что об этом, по имению еще сметы, нельзя судить, но что он полагает, что во всяком случае дороже трех миллионов или трех с половиной не обойдется /.../ и что университет имеет более полутора миллионов собственно на этот предмет уже назначенных сумм /.../

12 октября, обедая в Александрии (близ Белой Церкви у графини Браницкой), государь между прочим сказал о том же предмете:

— От меня требуют 8 миллионов на построение зданий университета. Не знаю, что они хотят строить на эти деньги. Я у них увидел только несколько учащихся мальчишек и, не располагая жертвовать на сие такой суммы, отказал им в деньгах. (227, 191—195).

**Университет размещался тогда недалеко от резиденции генерал-губернатора, в частном доме на углу теперешних улиц Суворова и Иванова.*

/Царь в роли детектива/

Еще в 1837 г., осенью во время посещения Киева государем /Николаем Павловичем/ три студента из поляков наклеили на здании университета пасквиль в стихах /.../ Делу этому придали особенную важность, и государь, посетив институт казеннокоштных студентов, где были собраны все студенты университета, высказал там много негодования и был в таком раздраженном состоянии, что поразил всех своим гневом. /.../ Затем его величество, переведа дух, изволил спросить, сколько студентов налицо, и пошел осматривать нас, глядя каждому в глаза. На беду, в первом ряду взгляд его остановился на одном косоглазом студенте, и тут произошла следующая сцена:

Государь: Смотри мне прямо в глаза.

Студент молча смотрит.

Государь: Ты не смотришь на меня, ты не смотришь мне в глаза?

Студент молчит.

Государь: Как твоя фамилия?

Студент: Хонский.

Государь: Откуда?

Студент: Из Минска.

Государь: Видно, что не русский, поляк, совесть нечиста, не можешь смотреть в глаза русскому царю.

/.../ В другое время, может быть, попечитель /Е. фон Брадке/ и осмелился бы доложить его величеству, что студент кос и не может смотреть прямо, но в то время государь был так раздражен*, что все окружавшие его тряслись со страху, и ни у кого не достало смелости объяснить государю причину, по которой Хонский, несмотря на все желание, не мог смотреть ему прямо в глаза.

(365, 28).

**В это время шло расследование по делу нелегальной организации польских студентов.*

Поводом к усиленным занятиям университетского начальства по части студенческой наружности послужило последнее в бытность мою в университете посещение государя /Николая Павловича/ *. В том же здании казеннокоштных студентов** нас выстроили стройными рядами, строго осмотрели нашу одежду и приличнейших поставили в первый ряд. Государь вошел

и довольно ласково поздоровался с нами, мы ему прокричали очень удовлетворительно: «Здравия желаем, ваше императорское высочество!» Государь прошел по рядам, видимо, остался доволен нашей наружностью и отправился осматривать дортуары***. В это время один из студентов задней шеренги, кривоногий и весьма непривлекательной наружности, стал в первый ряд, чтобы ближе видеть государя, в полной уверенности, что смотр окончен. Но государь, возвратясь из дортуаров, стал нас осматривать вновь и с негодованием остановился на кривоногом студенте.

— Как твоя фамилия? — спросил государь.

— П., — отвечал отрывисто студент.

— Откуда?

— Из Чернигова, — еще отрывистее отвечал П.

— Болван! — грозно сказал император и, обратившись к сопровождавшему его наследнику, **** прибавил: — Какие неотесанные, не умеют отвечать.

Выступление П. в первую шеренгу имело важные последствия: для осмотра университета был вновь прислан министр народного просвещения, который жил в Киеве более недели /.../ К Уварову водили студента П. как замечательную личность, обратившую на себя внимание государя. Вскоре после отъезда министра в ведение попечителя отпустили 5 тысяч рублей ассигновками, с тем, чтобы он давал для студентов танцевальные вечера, назначали в университет учителей танцев, фехтования и верховной езды.

(367, 152).

**Описанная здесь история произошла 11 августа 1840 года.*

***«До 1842 г., — пишет М. Чалый, — институт /помещение для студентов, обучавшихся на деньги государства. — А.М./ помещался в доме Бухтеевой напротив Института благородных девиц (нынешняя квартира гражданского губернатора)» /т. е. на левой стороне теперешней Липской улицы, на углу с Институтской/. «Дом Бухтеевой, — продолжает он, — состоял из главного двухэтажного корпуса, деревянного флигеля для эконома, другого для субинспектора Троцкого и небольшого фруктового сада» (Чалый М. Воспоминания // З именем святого Владимира. — Т. 1. — С. 203).*

****Дортуары — спальные комнаты.*

*****В августе 1840 года Николай Павлович посетил Киев вместе с цесаревичем Александром Николаевичем, объявленным тогда женихом принцессы Гессен-Дармштадской, впоследствии императрицы Марии Александровны, в честь которой Царский дворец в Киеве стал именоваться Мариинским.*

/Гимназии первого и второго сорта/

Хорошее впечатление произвели /в 1843 г./ на государя ученики 1-й гимназии, чистенькие, умеющие себя прилично держать, и с манерами светского общества; в 1 гимназию в то время поступали по преимуществу дети местных дворян.

Взглянув на учеников 1 и 2 гимназий, из которых последняя комплектовалась по преимуществу сыновьями бедных чиновников, государь сказал:

— Какая, однако, разница между теми и другими!

(227, 217).

АЛЕКСАНДР II

Александр II Освободитель (1818—1881) — российский император (1855—1881). Старший сын Николая I. Осуществил Великую реформу (отмена крепостного права в 1861 г.) и ряд иных важных реформ (земскую, судебную, военную и др.). После Польского восстания (1863—1864) перешел к реакционному внутреннему курсу, вступив в 1870-х годах в активную борьбу с революционным движением. На его жизнь совершен ряд покушений (1866, 1867, 1879, 1880). 1 марта 1881 г. убит в Петербурге народо-вольцами. Женат (с 1841 г.) на принцессе Гессен-Дармштадской Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии, — в православии Марии Александровне (1824—1880), которая сыграла в свое время видную роль в культурной и общественной жизни Киева. Благодаря ее инициативе была возобновлена старая царская резиденция с дворцом и парком, на месте Плац-парадной площади разбит прекрасный Дворцовый сквер, получивший в дальнейшем название Мариинского. Мариинским называли в честь нее и сам царский дворец, который она обустроила на свой вкус при помощи французских декораторов. Из Петербурга были доставлены мебель, утварь и картины. Императрица часто выступала посредницей в делах киевлян в столице. Она люби-



ла останавливаться в киевском дворце вместе с детьми осенью, на обратном пути из Крыма в Петербург и подолгу жила здесь, находя утешение от невзгод семейной жизни. Сам Александр Николаевич не изъявлял такого тяготения к семейному очагу и любимому городу своей супруги. Он предпочитал общество княжны Е. М. Долгорукой (княгини Юрьевской), с которой был связан узами неофициального брака с 1866 г. После кончины императрицы Марии в 1880 г. он заключил с княгиней Юрьевскойmorganaticкий брак. В Киеве он появлялся довольно часто — в основном на учениях и смотрах войск, готовившихся к войне на Балканах.

Как я живо вспоминаю царственную чету, которую так верноподданически встречал Киев осенью 1857 года. Помню чудный лик царя-освободителя /Александра Николаевича/, отуманенный в это время думой о великом деле отмены крепостного права. Помню симпатичный и кроткий образ его царственной супруги, о горячих молитвах которой говорили тогда в Киеве* /.../. Помню и дворянский бал в гимназии**, на который я смотрел с улицы и о котором на другой день я слышал критические замечания от профессора Деллена.

Устроители-де, говорил он, не справлялись со вкусами и привычками императора: попросил он перед обедом рюмку старки, но таковой не оказалось; привык он к чашке желтого чая после обеда, но и такового не было.

Как все эти мелочи запечатлелись в молодой памяти!

(351, 176).

**Царская чета прибыла в Киев после коронации в роли богомольцев, чтобы просить у небес благословения на предстоящее правление. Во всяком случае так истолковывали этот визит киевские мемуаристы прошлого века.*

***В доме Первой киевской гимназии, которая накануне переселилась на теперешний бульвар Т. Шевченко.*

Кажется, в 1857 году Киев посетил государь император Александр II и пробыл здесь 5 дней. Он был восторженно встречен всеми сословиями /.../. Народ ходил по всем улицам и высматривал, куда поедет государь, приветствуя его громким «Ура!» На Институтской улице, когда государь выходил из Института благородных девиц, народ окружил его экипаж, выпряг лошадей, сам двинул его руками и покати. Никакая полиция не могла унять восторга народа, который исходил от всей души и чистого сердца.

В то время Первая гимназия, со всем составом трех пансионов, была переведена в здание кадетского корпуса, тогда освободившееся; это здание состояло из четырех этажей, а перед ним находился обширный плац. Живущие там гимназисты составляли интернат; были и полупансионеры, которые ходили в гимназию только на лекции, а жили дома.

В этом здании Первой гимназии дворянство Киевской губернии решило устроить прекрасный бал и помещение для государя на время его пребывания в Киеве. Комнаты, предназначенные для его величества, были обтянуты шелковыми материями. Губернский предводитель дворянства, граф Мадейский, прислал свою чудесно разнообразную мебель, очень изящную: была и золотая, и черного дерева с перламутровой инкрустацией; удивительно сделанные диванчики красиво перемеживались с пуфами и другою мебелью. Прислута была в роскошных царских ливреях, с аксельбантами, в чулках и туфлях с перламутровыми пряжками. Зал был двухцветный, и мы, сидя в своих комнатах на 4-м этаже, наблюдали из окон, что делалось в зале, и любовались таццами.

Было столько угощений, что мы только облизывались: мороженое, различные фрукты, конфеты, всевозможные напитки — оршады, лимонады; все это в изобилии предлагалось публике.

При входе государя императора все закричали: «Ура!», «Винат!» и «Слава!» Да-

мы и девицы были удивительно красиво и модно одеты, в прекрасных балльных платьях и декольтированы. Государь со всеми милостиво разговаривал и очень долго беседовал с некоторыми из дворян, присутствовавшими на празднике. Оркестр Лопухина из 60 человек под управлением Пфейфера играл самые модные танцы Штрауса.

Танцы открылись полонезом, в котором участвовал сам государь; он шел в первой паре с княгиней Васильчиковой, во второй паре — князь Васильчиков с графиней Мадейской, затем генералы, полковники тех войск, которые находились в Киеве, предводители дворянства и другие гости. Полонез Шопена, прекрасно оркестрованный Пфейфером, замечательно хорошо подходил к такому торжественному моменту. Государь император с полчася любовался танцующими. Дирижировал танцами молодой князь Любомирский, прекрасный танцор и в особенности прекрасный музыкант.

(352, 571—572).



Императрица Мария Александровна, в честь которой Царский дворец в Киеве назван Мариинским

В ожидании прибытия государя /императора Александра II/* члены /Губернского правления/ находились в присутствии, а канцелярские чиновники в смежных комнатах и прихожих. Один из канцелярских, старавшихся стать в ряды прочих, оказался в крайне неряшливом виде и несоответствующем костюме**, не знали, что с ним делать и порешили запереть его в шкаф, в котором он и просидел до окончания торжественного посещения.

Глубокая тишина, водворившаяся при входе государя, была нарушена стоявшим у дверей присутствия вахмистром правления, отставным унтер-офицером, который молодецки произнес:

— Здравия желаю, Ваше императорское величество!

На что и удостоился получить ответ:

— Здравствуй, молодец.

(193, 28).

*Речь идет о посещении Губернского правления 22 сентября 1859 г.

**С воцарением Александра II лицам, служившим по гражданскому ведомству, и студентам было дозволено носить мундиры только в случае официальных приемов, праздников и собраний. Консерваторы носили их по-прежнему ежедневно, а либералы являлись на официальные торжества в сюртуке или даже в косоворотке.

АЛЕКСАНДР III

Александр III (1845–1894) — российский император (1881–1894). Второй сын Александра II. Организатор контрреформации в России. Проповедовал идеал патриархально-отческого самодержавия, искренне верил в мессианское призвание России, ненавидел интеллигенцию западноевропейской закваски, либералов и прогрессистов. Западные художественные вкусы сменились при нем на «истинно русские», что было заметно как в быту, так и в искусстве, литературе, архитектуре и философии. Будучи по сути русским националистом, царь интересовался культурными традициями других народов, населявших империю. Это проявилось, например, в том, что он заметно смягчил ограничения, наложенные на украинскую литературу, прессу и театр его отцом Александром Николаевичем. В условиях зреющего военного конфликта с Австрией было уже опасно притеснять украинское население, ожесточать его насильственной русификацией, тем более что в империи Габсбургов украинцы давно пользовались правами культурной автономии и проявляли лояльность к властям. Многоопытный стратег и личный друг царя генерал М.И. Драгомиров советовал ему перенять австрийский опыт в отношении к украинскому населению России и кое в чем действительно преуспел. Были позволены театральные представления на украин-



ском языке, стали печататься украинские книги, легализовалась деятельность украинских громад. В Петербурге состоялись гастроли украинской труппы, и царь почтил два ее спектакля своим посещением. Он «изволил беседовать» с артистами и одарил их подарками. В то же время поощряемое правительством русское национальное искусство энергично расширяло свои сферы влияния за счет «местных традиций». Показательно в этом отношении строительство Владимирского собора в Киеве. В его росписях пресса усматривала начало возрождения русской религиозной живописи. Но создавался этот памятник русского национального духа почему-то не в России, а в Украине, не в Москве, а в Киеве.

Сам Александр Александрович с киевской жизнью был мало знаком.

В первый раз он посетил Киев 5 сентября 1869 года, будучи наследником

престола. Вместе с супругой Марией Федоровной (1847–1929) (до замужества — датской принцессой Дагмарой) он остановился в доме генерал-губернатора на Институтской ул. и на следующий день, посетив Лавру, выехал для прогулки на пароходе в Китаев, где состоялось многолюдное праздничное гуляние. 7 сентября он присутствовал на смотре войск в военных лагерях на Сырце и, вернувшись в город, проведая своего доброго знакомого, писателя А.Н. Муравьева в его усадьбе за Десятинною церковью (теперь территория Исторического музея). Писатель стал гидом своих августейших гостей в их дальнейшей прогулке по киевским достопримечательным местам. Они посетили Софийский собор, Михайловский монастырь, Десятинную и Андреевскую церкви. На этом первое знакомство наследника престола с Киевом закончилось. 8 сентября он отбыл из города.

Во второй раз он посетил Киев вместе с отцом 21 апреля 1877 г.

Последнее его посещение состоялось 16 августа 1885 г. С ним приехало все августейшее семейство. На вокзале кн. Н.В. Репнин преподнес царице букет белых роз. Супруга генерал-губернатора М.А. Дрентельн также поднесла цветы. 18 августа царь присутствовал при наведении военными саперами понтонного моста через Днепр в рекордно короткий срок — всего за 24 минуты. Царь прошел по нему на левый берег и поблагодарил солдат за отличную работу. 19 августа после маневров на Сырце, парадного обеда во дворце и концерта в городском театре царская семья покинула Киев. Киевлянам визит царя запомнился лишь по необыкновенно суровым мерам предосторожности, предпринятым полицией. В первый день им вообще запретили выходить на улицу, и многие «сомнительные» жители города подверглись временному аресту без всякого суда и следствия. Просто «на всякий случай».

В 1885 году состоялось посещение Киева их величествами государем императором Александром III с августейшей супругой Марией Федоровной и наследником цесаревичем, ныне благополучно царствующим государем Николаем II. Приезд их высочеств состоялся 16 августа (после свидания государя в Кремле с австрийским императором) /.../.

За два дня до прибытия их величеств начальником края А.Р. Дрентельном было издано обязательное постановление, за нарушение коего угрожала строгая ответственность, но при этом была высказана уверенность, что киевляне, движимые сознанием верноподданнического долга, сами будут стремиться к поддержанию всюду порядка.

Привожу это обязательное постановление потому, что оно на киевлян произвело тягостное впечатление: население сошло себя обиженным высказанным как бы недоверием к нему администрации. Не менее обидным показалась населению набранная по инициативе А.П. Томары общественная стража, выстроенная по всему пути следования их величеств от вокзала вплоть до дворца. На фуражках стражников прикреплены были буквы О.С. (общественная стража)*. Этой стражей точно отделяли царя от населения, и хотя их величества проехали от вокзала в откры-

том екіпажі при восторжених кликах народу, но народу цього було сравнительно мало, що тільки і можна було пояснити строгістю адміністрації. Коли на другий день прибуття їх величеств адміністрація убедила в своїй помилці і народ допускався всюди вільно, радости і ликованню населення не було границ. Говорили, що побудительной причиною к отмене строгих распоряжений адміністрації послужило высказанное государем в день приезда удивление, что на улицах отсутствует население.

(467, 130—131).

**В Киеве XIX века к полицейским мерам «поддержания общественного порядка» еще не привыкли и считали их проявлением «реакции».*

До Києва приїхав цар Олександр III. Це була велика подія для міста, що так чи інакше відбивалася на житті кожного, навіть і приватної особи.

М.В. Лисенко був зв'язаний з установою імператриці Марії, бо викладав музику в Інституті шляхетних дівчат/ і йому було доручено влаштувати концерт для царського вшанування. Велика морока, бо треба було вимудрувати програму, відповідну умовам, достойну з музичного боку і не обминати, при нагоді, своєї українськості.

Концерт вийшов добре, виконання мистецьке; всі ним були задоволені. Царю, видно, сподобалася кантата «Б'ють пороги», що виконував її великий хор у національному вбранні і кращі солісти опери. Цар демонстративно плескав і тим надав ентузіазму всім слухачам. Миколу Віталійовича покликали в царську ложу і висловили йому подяку.

Коли другого дня свої розпитували його про враження, він тільки махнув рукою, як увільняючись від нудоти.

— А цариця, — додав він веселіше, — гарненька жінка і дуже привітна в поведінці.

(298, 368—369).

Цар Олександр III теж побажав подивитися на гру своїх вірогідданих «хохлів»^{*}. Йому показано було «Назара Стодолю» і водевіль Старицького «Як ковбаса та чарка». Кажуть, ніби дивлячись на останній, самодержець реготав так, що аж фотель рипів під 10 пудами його ваги. В усякому разі провідні артисти були запрошені до царської ложі, де до них ласкаво звертався цар. Легенда оповідає, ніби він запитав українських артистів про їхні бажання і ніби Заньковецька відповіла від імені товаришів, що вони бажали б мати змогу грати повсюди у себе «на Півдні», не виключаючи й Києва. Міністр імператорського двору граф Воронцов-Дашков написав з цього приводу до Дрентельна, але той відповів, що, маючи на увазі державні інтереси, він не вважає за можливе дозволити українські вистави в Києві. І ніби Олександр III, довідавшись про це, сказав дружині:

— А знаєш, Машенько, не пускає Олександр Романович хохляцьких акторів до Києва!

На цьому справа і закінчилася. Із імператорського кабінету провідні українські артисти дістали по персню з досить дешевими камінцями.
(223, 147–148).

**Имеются в виду гастроли труппы М. Кропивницкого в Петербурге в зимний сезон 1886/1887 гг.*

Слава* лізла по щаблях все вище та вище і нарешті з палаців і салонів перейшла до царського двірця. Сам цар Олександр III, видимо, під впливом оповідань, захотів подивитися на трупу з Назарета**. М.К. Кропивницький був запрошений до контори імператорського театру, і тут йому заявили, що його величність хочуть бачити трупу і що треба вибрати таку штку, щоб вона була недовга й не коротка, щоб була драматична і комічна, щоб не стомила його величності і щоб мала гарну обстановку й костюми.

На відповідь давалось кілька днів. На раді, яку зібрав на цей случай М.Л. Кропивницький, вирішили більш-менш підходящу під такі бажання п'єсу Т. Шевченка «Назар Стодоля», а щоб уже його величність насміялась шцертъ, наприкінці поставити водевіль: «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка» М.П. Старицького /.../ Адміністрація театральна підшукала задля цього спектаклю підходяще приміщення. На Мойїї була зала «Демут». У цій залі була невеличка сценка, яку зараз побільшили, зробили царську ложу і взагалі привели в порядок. Коли все було готове до вистави, нас оповістили, на коли призначається цей спектакль і де зала. Нарешті настав цей день, і всі ми, стримуючи в душі якийсь незрозумілий страх, а особливо М.Л. Кропивницький, бо він зроду був полохливий, а особливо перед великими мира цього, — поїхали складати, як то кажуть, останній іспит на акторський докторат /.../ Панство почало прибувати, все в шитих золотом мундирах, з зашішаними орденами грудьми, з золотими соняшниками на плечах і в білих рукавичках, а панни й пані в білих сухих цюнайдорожчих, усяких фасонів. Звізди на грудях, широкі стьожки через плече, військові форми всяких кольорів, — усе заповнило партер і ложі /.../

Водевіль скінчили. І не встигли ми вийти за лаштунки після вивозу, як перед нами знов з'явився /петербурзький градоначальник/ генерал Грессер і гучно мовив:

— Господа артисты и артистки, к государю! — Ми осмілюсь були просити дати нам змогу передягтися, але генерал стояв на своєму: — Все, как есть, так и идите! Прошу! Прошу!

І, розуміється, в цім слові «прошу» чулося друге: «поки чество просятъ». Що було робити, треба було скоритися грізному генералові. І от всі ми, з замазаними фарбою обличчями, по яких ще котилися піт від танців, рушили перед очі його величності.

Я на ходу одірвав-таки вуса і кинув, а М.Л. Кропивницький як був на сцені у лисій, як коліно, перуці, в однім чоботі на одній нозі і в червоній панчосі на другій, смиренно почимчикував до царської ложі. Хай читач тепер собі намалює картину руху нашого і візьме на увагу, що йти треба було через залу, повну ще панства, яке ждало од'їзду царя. «Аки тати, с понижшими головами», йшли ми один по одному через залу, цікавлячи вельможне панство, яке усміхалось привітно нам, хитаючи головами, а ззаду йшов грізний Грессер, який те й робив, що настановляв нас:

— Прошу господ артистов отвечать только на вопросы государю.

Нарешті ця кумедна процесія пройшла людний майдан панства і опинилась біля дверей царської аванложі. Тут генерал Грессер пройшов у двері, а ми почали рівнятися для зустрічі. Поруч стала М.К. Заньковецька, за нею я. Ліворуч — Г.П. Затиркевич, за нею П.К. Саксаганський, М.А. Кропивницький посередині, далі Максимович і інші.

Двері в царську кімнату були відчинені, і перед нашими очима вся залита яскравим електричним світлом, заставлена чудовими рослинами була царська аванложа. Коли ввійшов генерал Грессер, цар спиною до нас стояв і про щось розмовляв з царицею і присутніми.

— Артисты, ваше величество, — промовив генерал Грессер.

Цар, почувши слово «артисты», раптом повернувся до нас лицем. Це була величезна на зріст людина з плечима в косий сажень і не дуже довгою обкладистою русою бородою, трохи лисуватий з лоба. Він тихо підійшов до дверей, і мені через щось у цей мент адалося, що душа М.А. Кропивницького швидко-швидко побігла спершу в п'яти, а потім в червону панчошу, звідкіля прожогом полинула в рідний край по дорозі в благодатний Бобринець.

Цар, лагідно й ласкаво ухмяляючись та крутячи правую рукою вуса, почав нерішуче, немов би вишукуючи слова, з чого почати, промовив:

— Гм... Я очень много слышал о вашей игре, господа, гм... а сегодня я убедился, что это действительно превосходно; в особенности ... последнее — лихо! Благодарю!

Ми всі нахилили покірно голови.

— Где играли? — звернувся він до М.К. Заньковецької.

У неї, видимо, від ляку теж душа сховалась у п'яти, і вона мовчала.*** Бачачи, що треба ж комусь дати відповідь на царське питання, я осмілюся і промовив за неї:

— На юге, ваше императорское величество.

Він глянув на мене і привітно хитнув головою

— Так, на юге. — А вы тоже на юге? — звернувся він до Г.П. Затиркевич, та теж, видимо, вирядила свою душу до Прилуки, бо мовчала.

— Так точно, ваше императорское величество, — почувся голос Саксаганського у відповідь.

Душа М. А. Кропивницького долетіла вже до Бобринця.

— Вы? — звернувся цар до нього, і мов з далекого степу, задихаючись від шпаркого утьоку, душа його пробриніла тихим голосом:

— На юге, ва... ваше... — Благо голос обірвався, бо, видимо, душа його вже вскочила в хату і хутко зачинила за собою двері.

— Та-а-к. Ну, а скажите, — звернувся цар до М.К. Заньковецької, — мне кажется, что это трудно в одно и то же время танцевать и петь.

І знову відповіді нема, немов язик «прильне к гортани».

Бачачи, що сценічна пауза вже пройшла, а відповіді Марія Костянтинівна не дає, я рішився відповісти за неї, хоч у голові майнула думка: ну, як скаже: «не тебе питаю». Що буде, то й буде, рішив я і промовив:

— Привычка, ваше императорское величество.

Цар ще раз на мене глянув, хитнув головою і додав:

— Так, — привычка! Очень-очень хорошо вы играете, господа. Спасибо!

Він привітно хитнув головою і відійшов. Цариця, що весь час теж недалеко стояла, привітно усміхаючись, хильнувши трошки головою, теж одійшла.

Ми всі, низько уклонившись їм, пішли за лаптушки тією ж дорогою, що й сюди йшли.

Так скінчився царський спектакль.

(356, 40–47).

**Слава трупы Кропивницкого, гастролировавшей в Петербурге в зимнем сезоне 1886 г.*

***Садовский имеет в виду высокую миссию украинского театра, пропагандировавшего в Петербурге новые принципы сценического искусства — принципы демократизма, народности и верности национальным культурным традициям. Украина, породившая такой театр, сравнивается с Назаретом, давшим миру Мессию. В более отдаленные времена Запорожье называли в Украине Палестиной — рыцарским форпостом обороны христианской веры от ее врагов.*

****С.М. Дурилин в кн. «Мария Заньковецкая» пишет, что артистка не испугалась царя, а просто возмутилась тем, как ее пригласили к нему, чувствовала себя оскорбленной и не отвечала принципиально.*



Приятное знакомство. Из жизни городских парков.

ЧИНОВНЫЕ ЛЮДИ

Н.Э. ПИСАРЕВ

Николай Эварестович Писарев (1806–1884) — правитель канцелярии генерал-губернатора, правая рука Бибикова. Слыл взяточником и интриганом. После перехода Бибикова на должность министра внутренних дел отправился за ним в Петербург.

Получил пост олонечского губернатора, что открывало перед ним перспективу блестящей столичной карьеры, но и на новом месте службы в Петрозаводске не оставил своих старых киевских привычек. После случившегося с ним громкого скандала уволен со службы.

Писарев був під управою Бібікова дійсним хазяїном провінції. Він справді «адміністрував», а душею сеї адміністрації було якнайхитріше організоване підкупство. За все треба було платити; кожний і при всякій нагоді мусів оплатитися Писареву. Не тільки всякі звання в адміністрації та поліції, але навіть у судівництві й школі /всі/ залежали від генерал-губернатора. Отже, кожне прохання щодо посади, кожний, хто мав справу з адміністративними інстанціями, опинявся в руках Писарева і мусив платити.

За посаду исправника або директора гімназії платили 500–600 руб., за посаду судді — 300–600 відповідно до заможності повіту, де той аванс мав бути визисканий. Навіть нещасливої посади вчителя повітової школи годі було одержати дарма, хоч там не було поля для визиску.

Хоча нагляд над адміністрацією скарбових дібр належав губернаторам, у Києві при своїх його собі Писарев, а оскільки ті скарбові добра не були ще злюстровані, то їх віддавали в адміністрацію особам, яких уряд вважав «пенними»; з цього джерела тягнув Писарев великі доходи, бо кожний адміністратор мусив йому оплачуватися; я сам знав таких, що, вносячи до каси по 3000 руб. уставленої для них аренди, платили Писареву по 1000 або й більше руб. щороку, щоб відволотки остаточно злюстрацію.

Справи конфіскації з уряду належали до /відома/ генерал-губернатора, а так само справи відкупів (пропінації) та контрабанди, в кінці до нього надсилалися так само справи утисків селян через дідичів, а всі ті справи давали Писареву багато жниво.

(38, 23).

При Бибикове состоял правителем канцелярии некто П/исаре/в, человек весьма умный, необыкновенно деланный, к которому Бибиков имел полную, слепую доверенность. Пользуясь своим положением, он управлял губерниями и в действительности был настоящим генерал-губернатором, а Бибиков носил только одно звание.

Злые языки прибавляли, что Бибиков имел связь с женой П/исаре/ва, урожденной Г., славившейся своей красотой. Даже ходили в то время анекдоты.

П/исаре/в не был бескорыстен и позволял себе брать взятки. Когда он слишком уже неосторожно предался взяточничеству, и Бибиков узнал о том, то сказал П/исаре/ву:

— Послушай, о тебе дошли до меня гадкие слухи.

— Какие, ваше высокопревосходительство?

— Говорят, ты взятки берешь.

— Это все выдумки людей, мне завидующих. Мало ли что говорят, — всему нельзя верить. Например, мне говорят, что вы, ваше высокопревосходительство, находитесь в преступной связи с моей женой. Я этому не верю. И вы прекрасно делаете, если подобно мне не будете верить слухам, распространяемым на мой счет.

Бибиков должен был замолчать, а П/исаре/в по-прежнему стал думать о своем обогащении всеми непозволительными средствами. Впрочем, П/исаре/в получила славное возмездие за свои гнусные поступки. Впоследствии сделанный по протекции Бибикова губернатором N-ской губернии, он в губернском городе во время божественной литургии, совершаемой архиереем в какой-то царский день, в самой церкви, в присутствии всех, получил пощечину от какого-то отставного чиновника казенной палаты. После такого оскорбления он был уволен со службы.

(255, 60—61).

Из Киева он /польский писатель граф Генрих Ржевуский. — А.М./ писал князю П.Д. Черкасскому, что город и весь Юго-Западный край в большом недоумении по причине смещения г. П/исаре/ва (правителя канцелярии генерал-губернатора Д.Г. Бибикова), потому что во время могущества этого господина известно было по крайней мере, кому нужно было давать, а теперь неизвестно кому (само собою разумеется, что Д.Г. Бибиков не мог быть причастен к взяточничеству правителя своей канцелярии, который хотя и назначен был когда-то губернатором, но вскоре карьера его оборвалась каким-то службым скандалом).

(53, 586—587).

Учитель математики, а потом и директор Немировской гимназии/ Дельсаль, зная, что место исправника в то время давало дохода от 8 до 12 тыс. и что за него, кроме ежегодной арендной платы в 500 руб., правителю канцелярии подольского губернатора и губернскому правлению нужно было сейчас внести Писареву тоже 500 руб., продал последние золотые украшения с камнями своей жены и отправился в Киев. Писарев принял его в своем кабинете весьма милостиво, но объявил, что теперь вакантных мест исправников не имеется. Дельсаль стоял во время представления у порога подле столика, покрытого клеенкой. Против дверей на противоположной стене висело огромное зеркало, в котором отражался и Дельсаль, и бывший подле него столик. Писарев, разговаривая с Дельсалем, ходил по комнате от Дельсалья к зеркалу и обратно, и когда Писарев направился к зеркалу, то в нем было видно каждое движение Дельсалья. Последний, предупрежденный опытными приятелями, вынул из мундира 500 руб. и положил на столик под клеенку. Увидев это в зеркале, Писарев стал вдруг припоминать, что, ка-

жеться, скоро очиститься одню место исправника, но наверное он не поминит. Пусть Дельсаль явиться завтра в 11 часов, тогда он прикажет навести точные справки. Это значит, что Писарев хочет удостовериться, положены ли полностью 500 руб. На следующий день он объявил Дельсально, что в самой Виннице через три недели очистится вакансия исправника, и ему будет предоставлено это место /.../. Но вот истекли три недели, а назначения нет. Вот пронеслись слухи о переводе из Киева в Петрозаводск Писарева. Дельсаль помчался в Киев. Писарев объявил, что он почти уже сдал свое управление и теперь от него ничего не зависит. Дельсаль попросил возврата 500 руб. Писарев накинулся на него с угрозами отдать в солдаты, сослать в Сибирь и пр., но Дельсаль с истерическими движениями кинулся на колени, объявив, что теперь ему и смерть не страшна, т. к. эти 500 руб. — последние ресурсы его семьи. Писарев притих, отпер бюро и возвратил ему 500 руб.

На эти деньги Дельсаль у правителя канцелярии учебного округа Л-ва купил место инспектора в Немирове.

(382, 421–422).

Жив у Бердичівським повіті якийсь Венедикт Бентковський, завзятий здириця селян та картьяр; про нього невідомо звідки пішла слава, що перепродує фальшиві банкноти. Бердичівський ісправник, бажаючи приподобитись пану генералові /Писареву/, згадав йому про се. Бентковському наказано з'явитися до Писарева. Ледве той натякнув щось про сю чутку, аж ось Бентковський, не в тім'я битий, виймає з кишені пачку асигнат і мовить:

— Я й не догадувався, по що пан генерал покликав мене. Ось маю при собі пару тисяч рублів і складаю їх пану генералу до переглянення; коли там найдеться хоч одна фальшива асигната, то без суду і права вишлете мене на Сибір.

І купив собі спокій.

(421, 25).

/Ганебний фінал великого шахрая/

Нагарбані таким робом капітали за зничаем російських урядників /Писарев/ складав у банку на ім'я жінки, з дому Вішневської /.../. Та вона закинула собі з нього, покинула його і з любовниками розтратила ті гроші.

Сам Писарев разом із Бібіковим 1852 р. подався із Києва до Петербурга, де в якійсь пиятиці йому вибили око. Коли Бібіков став міністром, зробив його губернатором Олонейської губ., де також допускався страшних здірств, за що його бито по пиді; в кінці попав під суд і під судом умер в Петербурзі.

(421, 25).

ГУБЕРНАТОР И.И. ФУНДУКЛЕЙ

Иван Иванович Фундуклей (1804–1880) родился в Нежине в семье грека-купца, разбогатевшего на торговле табаком и составившего себе огромный капитал на винном откупе в Одессе. Обычно Фундуклея представляют неким сибаритствующим выдвигенцем, на самом же деле он прошел долгий и трудный путь от самых низших должностей по почетного места в Государственном совете империи. Начал служить с 7 лет, и в 1811 г. занял место подканцеляриста в почтовом департаменте. В 1818 г. служил в канцелярии Комитета министров. С 1819 г. — в канцелярии по приему просьб на высочайшее имя. И лишь в 1831 г. получает более-менее заметное место чиновника по особым поручениям при новороссийском генерал-губернаторе светлейшем кн. М.С. Воронцове. Проницательный наместник по достоинству оценил многоопытность и деловитость своего подчиненного и выхлопотал ему в 1838 г. место волынского вице-губернатора. Согласно преданию, это неожиданное назначение и дальнейшие успехи Фундуклея были связаны с огромным наследством, полученным им после смерти отца. Прослышав о богатстве и щедрости волынского вице-губернатора, киевский наместник Бибииков также поспешил позаботиться о будущем «многообещающего» чиновника, после чего его перевели в Киев на весьма заметное



место гражданского губернатора (1839–1852). Но как бы там ни было, Фундуклей на самом деле заслужил уважение своими деловыми и душевными качествами. Он действительно немало потрудился для Киева и киевлян, проявил себя покровителем науки и образования. Наладил в городе таможенную службу, улучшил содержание арестантов в тюрьмах. После небывалого наводнения 1845 г. организовал систему помощи пострадавшим (в их распоряжение был отдан Контрактовый дом на Подоле, выдавались ссуды на восстановление усадеб). Сам губернатор содержал за свой счет несколько больших семейств, нуждавшихся в поддержке. Также за его деньги впервые замостили Андреевский спуск и поставили (в 1843 г.) один из фонтанов тогдашнего киевского водопровода, использующего влагу источников надкрещатикских гор. Киевляне называли этот фонтан «Иваном» в честь

Ивана Ивановича Фундукля или просто «Фундуклеевским». За его средства, под его руководством и при его непосредственном участии было издано несколько книг археологического, исторического и статистического характера о Киеве. В 1849 г. его избрали почетным членом Киевского университета и членом-корреспондентом нумизматического общества. В 1850 г. — членом Петербургского археологического и Императорского русского географического общества. Он был действительным членом Одесского общества истории и древностей.

Спасая чиновника Попова от суда и каторги за растрату, он выкупил у него построенный на казенные деньги каменный двухэтажный дом (на углу теперешних улиц Б. Хмельницкого и Пушкинской) с тем, чтобы тот немедленно возместил обнаружившуюся недостачу, саму же совершенно не нужную ему усадьбу он со временем пожертвовал для обустройства в ней первой общегородской женской гимназии нового типа (открытой для детей всех сословий). Это произошло несколько лет спустя после его отъезда из Киева на новое место службы в Варшаву. Оказалось, что киевляне хорошо помнили и по-прежнему любили своего бывшего губернатора, стремившегося как-то смягчать тяготы николаевского режима и новую гимназию называли в его честь Фундуклеевской.

Достоинство проявил себя И. Фундуклей и в деле кирилло-мифодиевцев. Во время их ареста генерал-губернатор Бибииков был в отъезде и, полу-

чив приказ об обыске и задержании Н. Костомарова, губернатор сделал все от него зависящее, чтобы предупредить ученого об опасности. К сожалению, усилия либерального губернатора не имели успеха и участь заговорщиков сложилась самым печальным образом.

В 1869 г., когда городские и имперские власти активно занялись благоустройством Киева, одна из центральных улиц была названа Фундуклеевской (теперь — Б. Хмельницкого). В 1872 г. Фундуклей был избран почетным гражданином Киева.

Эти почести оказывались Фундуклею при жизни и свидетельствовали о большой симпатии горожан к своему бывшему начальнику. После губернатора-праведника Петра Прокофьевича Панкратьева и Ивана Ивановича Фундукля им не довелось видеть столь выдающихся людей во главе города.

Оставив Киев, долгое время служил в администрации Царства Польского: с 1852 г. заседал в Варшавском департаменте сената, с 1855 служил генеральным контролером Царства Польского и председательствующим в Высшей счетной палате. С 1865 г. — вице-председатель госсвета Царства Польского. И здесь Фундуклей стремился совмещать административную работу с научной и просветительской: под его руководством и при его содействии были изданы исследования об истории народного хозяйства Польши и о ее лесах.

В последние годы жизни (1967—1880) заседал в Государственном совете в Петербурге.

Отец его был целовальником и потом откупщиком в Херсонской губернии. Это был громадной толстоты человек, добряк, хлебосол, но никогда не обедал с гостями, а ел простую пищу целовальника. В

кабинете его на видном месте висели: красная рубаха, пестрые портки, поддевка и простой зипун с дегтярными сапогами, шапка и рукавицы крестьянские. Старик не стыдился прежней своей одежды и, показывая всем, говорил: «Не должно забывать, чем человек рожден и чем был». Старик заведением приказал платить подати за мещан Елисаветграда, а сын оставил неприкосновенным дом и одежду старика.

(390, 293—294).

/Порядний губернатор й інтриги провокатора/

Тоді, як прийшов до Києва наказ арештувати Костомарова та інших, у Києві не було генерал-губернатора Бібікова, то тимто справою мусив орудувати губернатор Фундуклей. Обшуки і арешти тоді справляла поліція серед ночі. Може, й справді Фундуклей, видавши накази про арешт Костомарова і знаючи, що справа ця станеться лише вночі, натякнув декому про те а людей сторонніх і сподівався, що вони за цілий день встигнуть остерегти Костомарова, а він улаштується, як ліпше прийняти небажаних гостей серед ночі.

Не так сталося!

Можна не змагатися проти думки Костомарова, що Фундуклей в п'ятницю ранком 28 березня прохав Михайла Юзефовича побачитися з Костомаровим і, переказавши йому, щоб прийшов до Фундуклея і тоді б то, з ока на око, він може б і остеріг Костомарова.

Привод покликати Костомарова був у Фундуклея добрий. Перед тим ще він дав Костомарову переглянути свою працю «Описание Киева». Юзефович і заходив до Костомарова, але, не заставши його в господі, тим і вдовольнився /.../

Чому Юзефович не доложив рук, щоб безпримітно справити бажання Фундуклея, чи тому, що справді не знав-не відав, що тієї ночі буде в Костомарова обшук, чи, хоч і знав, та не хотів або не наважився натякати?

Небіжчик Дмитро Пильчиков висловлював мені свою певність, що Юзефович добре відав, нащо Фундуклей кличе Костомарова, але не хотів, хоч би манівами, натякнути Костомарову.

— Юзефович, — казав мені Пильчиков, — тямив, що коли Костомаров довідається про неминучий обшук, то зараз переховає де-небудь або погальніть свої папери, що доводять існування потаємного товариства політичного, і тоді донос Петрова стане брехнею.* Коли ж вийде напaki, то тоді Юзефович перед сторонніми людьми, що знають Костомарова, винуватиме останнього, що /той/ не послухався і не пішов одразу до Фундуклея.

На таку думку наводить поведіння Юзефовича перед самим обшуком і одразу після нього.

(181, 8—9).

*Юзефович был фактически соучастником Петрова, т. к. тот подал свой донос сначала ему, как помощнику куратора, а он посоветовал ему отдать его не жандармам, а попечителю Траскину (своему начальнику), чтобы оба они могли продемонстрировать бдительность и засвидетельствовать свою решающую роль в разоблачении заговора.

Иван Иванович Фундуклей остался холостым. Был немножко выше меня ростом, брюнет, круглолицый, в лице его было что-то женское, старушечье, но крепкого сложения и даже весьма мускулист. Он был некрасив, но имел до крайности привлекающее добротою лицо. Фундуклей не имел дара слова, был крайне молчалив, очень умен и обладал необыкновенною силою. Раз под Липовцем загрязала его коляска — ничего не могли сделать, — бились, бились, и хотели ехать в селение за волами и людьми. Иван Иванович спросил, в чем дело? Ему сказали, что хоть бы одно переднее колесо выручить из ямы. Фундуклей взялся рукою за конец оси и освободил коляску. Все изумились. (390, 294).

Он был отличный стрелок, и никто не слышал, чтобы Фундуклей играл на фортепиано, а знали только, что ему постоянно приходили ноты по почте. Раза два ночью с улицы слышала я его замечательную игру.

Иван Иванович говорил, кажется, на всех языках Европы, но никто не мог заставить его говорить ни на каком, кроме русского, и только с иностранцами он объяснялся на их родном языке.

Отличный знаток живописи и обладатель замечательных картин Иван Иванович никогда не говорил об искусстве. (390, 294).

Он много делал добра, много помогал бедным, но как-то так, что это было незаметно. Бибиков давал по 3 копейки с шумом, с эффектом, а Фундуклей, казалось, никому не давал, но я сам раз видел, как к нему пришла бедная благородная вдова, старушка, и показала ему требование уплатить 300 руб. долгу. Фундуклей, проходя мимо, сунул ей в руку 300 руб., и никто не заметил кроме меня, а старушка приняла их без удивления, должно быть, не в первый раз. (390, 294).

Губернаторский дом был без мебели и неопрятен. Фундуклей на свой счет поправил дом, с дозволения министра финансов, без пошлины выписал превосходную мебель из Парижа и подарил городу.

Он все делал как-то незаметно, не заискивал в Бибикове, ни разу не унижался, как губернатор, даже отстаивал твердо свои права против капризов генерал-губернатора, но все это так тихо, ровно, без волнения. (390, 395).

Жалование свое Иван Иванович отдавал на канцелярию, а правителю ее платил 12 тыс. рублей в год, и тот не брал взяток.

У Фундуклея в канцелярии заведовал полицейскою частью и паспортами весьма способный чиновник Попов. Это был крошечный человек, весьма плешивый, с загнутым вверх носом, но умный и способный. Мы прозвали его Сократом. Этот

Сократ начал строить большой каменный дом и уже подвел под крышу. Вдруг оказывается, что у Сократа недостаток казенных денег 20 тысяч. Фундуклей, зная, что Попов не пьет, не играет, спросил: «Где деньги?». Сократ признался, что он выстроил на них дом, надеясь выручить более и пополнить.

Фундуклей признал /его/ поступок только неосторожным, внес за Попова деньги, оставил его на службе, а дом взял себе. Этот дом Иван Иванович достроил и пожегтовал его для женской Фундуклеевской гимназии.

(390, 395).

Прежнего гражданского губернатора И.И. Фундуклея / очень хвалил / чиновник канцелярии гражданского губернатора /, потому что он не брал жалования, которое отдавал чиновникам своей канцелярии, часто приглашал чиновников к себе на обед, и, наконец, для всякого чиновника, пришедшего утром с докладом, был открыт буфет и давали завтрак. /.../ в Киевском генерал-губернаторстве взяточничество было слабее /чем в иных местах/, потому что богатые помещики назначали полицейским чиновникам годовые оклады. Такой оклад уплачивался и с имений Фундуклея; когда последний назначен был киевским губернатором, управляющий прекратил выдачу, но Фундуклей приказал возобновить ее, говоря: «Если богатые помещики не будут платить полиции, то она будет получать средства от воров».

(390, 394).

/Губернаторская уха/

Вскоре произошел со мной пресмешный случай. И.И. Фундуклей около года назад жил в Киеве, назначенный тамошним гражданским губернатором, но доброе его внимательное расположение ко мне от того нисколько не изменилось: он взял с меня слово, когда бы я ни приехал в Киев, днем или ночью, все равно, непременно остановиться в его квартире (дом Радзевича). Для меня была назначена особая комната, по счастливому расположению своему приспособленная так, что в нее входили особым ходом, не тревожа прочей прислуги.

Однажды вечером я получил от Фундуклея эстафету. Он писал, чтобы я приезжал к нему тотчас же по весьма важному делу, а чтобы в поездке своей я не встретил препятствий со стороны губернатора*, то прилагал к нему письмо, в котором просил его отпустить меня в Киев.

Я терялся в догадках, какая во мне может быть важная надобность Фундуклею, но пошел к генералу и подал ему письмо.

Прочтя его, Лашкарев спросил:

— Что у вас за дела с Фундуклеем?

— Не понимаю и сам, зачем я ему понадобился.

— Поезжай.

В ту же ночь я отправился в Киев и утром застал Фундуклея за чаем.

После обычных приветствий я спросил его:

— Чем могу служить вам, Иван Иванович?

Почесав по своей привычке затылок и лукаво усмехаясь, Фундуклей отвечал:

— А вот погоди, братец! Поди, отдохни с дороги, а я съезжу в губернское правление, а там после и потолкуем.

Так я и сделал; завалился на диван и проспал до самого обеда. Узнав, что Фундуклей уже вернулся из присутствия, я пошел к нему и сделал вопрос: «К чему я нужен?» С тем же почесыванием в затылке и той же лукавой улыбкой ответил:

— Ты знаешь, братец, что натошак я не рассуждаю. Вот пообедаем, потом и поговорим.

Сели за обед, разговор шел весьма обыкновенный, так сказать, обыденный; о цели моего вызова ни полслова.

Встали из-за стола, прошли в гостиную /.../ подали трубки и кофе. Я повторил свой вопрос. Фундуклей с обычным почесыванием затылка и все той же лукавой улыбкой спросил:

— А что ты ел сегодня за обедом?

Такой вопрос удивил меня. Заметив мое удивление, Фундуклей продолжал:

— Да! Скажи мне, что ты ел за обедом?

— Как что? Уху...

— Стой! А что было в ухе?

— Какая-то рыба?

— Кхэ, кхэ! Не узнал своей землячки!

— Какой землячки?

— Да стерляди!

Тут только я понял причину моего вызова. Зная гурмандизм Фундуклея, я привез ему из Казани пятичетвертную замороженную стерлядь. Мой Иван Иванович пришел в восторг. Такой величины рыбы он, живя все на юге России, еще не видал и, несмотря на то, что она была заморожена, следовательно много утратила своего вкуса, говорил, что он вкусил «пищу богов».

В Днепре водятся стерляди, но очень мелкие, тощие, и то попадают не часто. Накануне рыбак принес Фундуклею, как редкость, нечто похожее на волжскую стерлядь. Фундуклей вспомнил привезенную мной стерлядь и захотел пойманную рыбу непременно разделить со мной. Тотчас же была отправлена ко мне эстафета, и приготовлен сюрприз, который совершенно не удался. В чем-то рыбном я никак не мог признать стерлядь, о чем Фундуклей очень горевал.

(256, 463—464).

**Автор записок, Н.И. Мамаев, служил адъютантом при житомирском губернаторе генерале Лашкареве.*

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР А.П. БАУМГАРТЕН

Александр Павлович Баумгартен закончил Александровский (Царско-сельский) лицей, научную подготовку получил за границей. Служебную деятельность начал в 1878 г. товарищем председателя Киевской палаты уголовного суда. Киевский вице-губернатор с 1880-го по 1893 год. 13 лет на одном месте для такого талантливого и образованного чиновника было не совсем нормально... Что-то мешало его продвижению по службе, и острые на язык киевляне прозвали его «вечным вице-губернатором».

Поддерживал близкие отношения с общественными деятелями города и стремился поднять авторитет официальной губернской газеты за счет

улучшения ее «Неофициальной части». С этой целью в 1881 г. пригласил на должность ее редактора видного педагога, историка и этнографа Алексея Александровича Андриевского, который начал публиковать в ней ценные исторические документы и исследования о киевской старине. Материалы, найденные им в архивах губернского управления, вышли впоследствии в 10 томах. Баумгартен был одним из основателей знаменитой Рубежовской колонии для малолетних преступников.

В 1893 г. назначен подольским губернатором, но вскоре заболел и вернулся в Киев на лечение. Умер в 1895 г. и похоронен на Аскольдовой могиле.

Высоко поддерживая престиж губернской власти, А.П. Томара вносил некоторую сухость и холодность в свои отношения с подчиненными, но все эти качества сглаживались теплотой сердца, мягкостью характера и общительностью его помощника вице-губернатора А.П. Баумгартена. Первый везде и во всем поспевал, а последний всегда везде опаздывал, иногда по самым нинным причинам, формально ссылаясь на то, что он занят был серьезным делом или чтением «Правительственного вестника».

В действительности же его задерживало и отвлекало от занятий участие в общественных и обездоленных.

Оказывая помощь, он никогда не интересовался узнать, кого он благодетельствует.

Однажды пришел в его квартиру молодой, бедно одетый человек и рассказал ему, что состоя на морской службе в Одессе, он упал с мачты, сломал руку и, пролежав в больнице, потерял место, а потому просит оказать ему содействие к получению места на днепровских проходах.

Александр Павлович дает просителю рекомендательное письмо. Через 8–10 дней молодой человек приходит в форме капитана парохода и сердечно благодарит его за полученное место.

— Очень рад, только я вас совсем не знаю и не понимаю, когда для вас писал письмо.

Наполняя карманы разными прошениями во время исполнения должности губернатора, Александр Павлович за многих бедных сам уплачивал паспортные пошлины, говоря в досаде:

— Денег не имеют, а еще едут за границу.
(193, 40—41).

/Баумгартен и соборные легенды/

Пока что расскажу здесь, как творились так называемые соборные легенды.*

В те дни, да и много спустя, говорили не только в Киеве, но доходила молва и до Питера о том, как чудесно явилась киевскому вице-губернатору Александру Павловичу Баумгартену и проф. А.В. Прахову Богоматерь в абсиде Владимирского собора. Об этом необычайном случае говорилось устно, писалось в письмах, писались об этом брошюры и умело распространялись, где следовало, попадали в высокие места.

Дело было еще в самом начале соборных работ, так сказать, в первые дни творения, когда там еще не было ни одного из художников и витал лишь дух Адриана Викторовича Прахова, вернувшегося перед тем из Петербурга и Москвы, где он сумел заинтересовать «сферы». В Абрамцеве увидел он впервые и пришел в восторг от васнецовской «Богоматери», что была там в маленькой новой церковке. Стал бредить во сне и наяву, как бы заполучить Васнецова в киевский собор.

Вот тогда-то летом** собралась позавтракать некая теплая компания с А.В. Праховым у тогдашнего киевского вице-губернатора, как его иногда звали, «вечного вице-губернатора» А.П. Баумгартена. Александр Павлович не был Сперанским, но был добродушный человек, большой *bon vivant*, его любили.*** Компания позавтракала, выпила, поболтала о том, о сем и разошлась. Остались вдвоем сам хозяин и прекрасный его собеседник — Прахов****, которого как бы осенила внезапная мысль поехать в собор сейчас же, не откладывая в дальний ящик, вместе с Александром Павловичем, который тогда был назначен председателем комитета по окончанию Владимирского собора.

Сказано — сделано, поехали, вошли в собор.

Дело было праздничное, работ там не было, собор был пуст и нем.***** Перед ними предстала алтарная абсида во всей своей первоначальной неприкосновенности.

Прахов в каком-то вдохновенном экстазе обращается к Баумгартену и говорит:

— Вы ничего не видите, Александр Павлович?

Тот отвечает:

— Нет, не вижу ничего.

Тогда Прахов, осененный свыше, обращает внимание Александра Павловича на таинственную линию, проходящую по абсиде сверху вниз, извиваясь по воплуттой стене. Он видит сейчас не только эту линию, но линия в глазах его преобразается в формы, воодушевление нашего ясновидца растет. Он видит уже контуры несущейся по небу Богоматери.

Адриан Викторович допытывается, видит ли то же Александр Павлович. Увы! Тот ровно ничего не видит. Однако недаром он светский человек и старый служа-



Дом киевских гражданских губернаторов на углу теперешних Институтской и Липской (не сохранился)

ка, он знает, что в его положении, после веселого завтрака трудно что-нибудь видеть, особенно «духовным оком», но увидеть что-то надо.*****

Между тем Адриан Викторович в тех случаях, когда он страстно чего-то желает, желает до боли, до спазмов в желудке, не останавливается ни перед чем.***** Он с еще большим воодушевлением продолжает внушать своему спутнику им видимое, и тот, не желая долее быть заподозренным в каком-то постыдном невежестве, спешит уверить Праксова, что вот теперь он видит ясно, отчетливо.

Адриан Викторович в восторге. Он предлагает тут же составить протокол. Сам делает рисунок абсиды с чудесным предугаданием. Рисунок прилагается к протоколу. Жмут друг другу руки и, довольные каждый по-своему, расстаются.

Вот с чего пошла в свое время популярная легенда о том, как «явилась» будущая васнецовская Богоматерь. (282, 165—166).

* Предлагаемый фрагмент воспоминаний Нестерова — типичный образчик поспешной и не всегда добросовестной «переоценки прошлого» в условиях политического террора 1930-х гг. Склонные к конформизму деятели культуры стремились доказать, что они всегда критично относились к самодержавию и церкви. Примеру многих следовал и Нестеров.

** Нестеров никогда не видел составленного по поводу чуда Праксовым и Баумгартеном «протокола», где прямо сказано, что дело было не летом, а 4 января 1885 года. Эта и другие грубые ошибки говорят о том, что он слы-

шал о чуде какие-то отдаленные толки и сплетни и никогда серьезно не вникал в суть дела.

*** С Баумгартеном Нестеров, конечно, был знаком: художник приехал в Киев в 1890 г., а «вечный вице-губернатор» уехал на новое место службы в 1893г., но впечатления юных лет со временем поблекли и в годы работы над мемуарами старый художник представлял его себе как пошловатого любителя легкой жизни, что противоречит известным фактам и сведениям других мемуаристов.

**** Едва ли Прахова можно назвать «прекрасным собеседником» Баумгартена. Между ними были натянутые, конфликтные отношения.

***** Святки начинались 24 декабря и продолжались до Богоявления 6 января по ст. ст.

***** Реминисценция иронически-разоблачительного стиля советских атеистических брошюр. В обязанности вице-губернатора, и тем более светского человека, вовсе не входило соучастие в фабрикации ложных чудес.

***** Странное утверждение. И в самом деле, почему Прахову «до спазмов в желудке» захотелось вынудить вице-губернатора на дачу ложных показаний? Прахов никогда не был «истово верующим» или церковным ортодоксом. Что же им двигало на сей раз? Неужели алкоголь, как утверждает Нестеров?

КНЯЗЬ Ф.В. ФОН ОСТЕН-САКЕН

Князь Фабиан Вильгельмович фон дер Остен-Сакен (1752–1837) — генерал-фельдмаршал, участник многих войн. Отличился в сражениях против Наполеона 1812–1814 гг. После взятия Парижа назначен его губернатором и заслужил доверие и уважение среди горожан. После войны командовал Первой армией, расположенной в Украине. С 1818 года — член государственного совета. Император Николай I в день своего коронавания прислал Сакену маршальский жезл. В 1831 году князь решительно подавил все очаги начавшегося польского восстания в Украине, за что получил княжеский титул. Жил в усадьбе Сперанского на углу теперешних ул. Липской и Институт-



ской, с правой стороны, в которой после его смерти помещался Институт благородных девиц, а после его поселения в собственном здании — квартира киевских гражданских губернаторов. Похоронен у церкви Рождества Богородицы на Дальних пещерах в Лавре.

Фельдмаршал /Остен-Сакен/ скрывает с твердостью, сколько его огорчает уничтожение армии* и поступок против него в сем отношении сделанный /военным министром Чернышевым. — А.М./. Так, например, на днях пил он за обедом за здоровье всех россиян, по обыкновению своему, и к сему присовокупил:

— И врагу моему Чернышеву желаю по возможности быть полезным отечеству нашему.

На днях также пришедши к нему с докладом, я застал его сидящим под окном в адьютантской комнате.

— Мне здесь приятно, — сказал он. — Я люблю смотреть на рабочих. — (У него в то время перестраивались ворота заново с улицы на двор). И пославши рабочим 5 рублей, он присовокупил: — Скажи мне, Николай Николаевич, не удивительно ли это в самом деле? Другим строят триумфальные ворота при торжественном въезде, а мне для выезда.
(271, 364).

*Первая армия, которой командовал, расформирована весной 1835 г.

Главкомандующий Первой армией фельдмаршал Остен-Сакен, командир киевской крепостной артиллерии, хромой, ходивший всегда на костылях, генерал Арнольд и митрополит киевский /Евгений/, дожившие до глубокой старости, каждый вечер аккуратно собирались по очереди друг у друга играть в карты.

Излюбленная игра их была известная в старину «три листика» по самой маленькой.

Играли они однажды у Сакена, в тот вечер, когда у него был ординарцем некий Гуддари.

Подвели итог выигрышу, и оказалось, что митрополит проиграл хозяину пять копеек ассигнациями.

— Получить извольте! — сказал Сакен.

Митрополит порылся в карманах, но ничего не нашел. Он стал просить Сакена подождать долг до следующего вечера, потому что не захватил с собой денег. Вспыльчивый Сакен тут же начал упрекать преосвященного в том, что тот всегда умышленно забывает взять с собою деньги, чтобы потом как-нибудь уклониться от уплаты проигрыша.

— В карты играть без денег не садятся, — внушительно и горячо заметил восьмидесятилетний старик столетнему старцу*. — Нельзя надеяться на снисходительность партнеров...

Но делать было нечего, пришлось митрополиту остаться должником главнокомандующего. На другой день Сакен, не дождавшись вечера, послал Гуддари к митрополиту за долгом. Приходит он и докладывает, что его сиятельство приказал получить с его высокопреосвященства пять копеек, проигранные им вчера.

— Вадорный он, братец, человек!.. — сказал митрополит, вручая посланному требуемую сумму. — Нате, отнесите ему, пусть богатеет... Он только картами, как жетсы, и живет... До вечера не мог подождать!..

Когда Гуддари передал эти деньги Сакену, тот самодовольно улыбнулся и радостно проговорил:

— Так-то вернее!

Митрополит в игре был счастливее и Сакена и Арнольда. Это ужасно раздражено обоих, хотя проигрыш почти никогда не превышал пятачка.

Эти столетние** игроки часто спорили, бранились и, рассердившись, расходились, не окончив партии. На другой день они, как ни в чем не бывало, вновь сходились и опять спорили, бранились и расходились и опять спорили, бранились и расходились.

От старости они впадали уже в младенчество.

(454/А, 88—91).

*Автор сильно преувеличил возраст игроков: если бы даже дело происходило в 1837 г., когда умер Остен-Сакен, последнему было бы 85 лет, а владыке 70, но никак не 100.

**Непонятный в данном случае смысловой оттенок слова «столетний». Очевидно, некогда оно имело еще и дополнительное значение — «ветхий», «престарелый», «отживший свой век».

Тих был вечер славной жизни Сакена: /.../ Он любил слушать чтение газет и журналов; жаловался приближенным только на чувственную им слабость в ногах (его водили под руки с 1835 года); твердо помнил давно прошедшие события и забывал новейшие. За последним обеденным столом, данным им для почтеннейших особ в Киеве в торжественный день тезоименитства государя императора (6 декабря 1836 г.), фельдмаршал спросил об умершем уже генерале: «Где Яшивиль?»* Я его не вижу». Он предложил в этот день три тоста: первый — за здравие государя, второй — за здравие россиян и чтоб войны не было. (27, 552).

*Яшивиль Леван Михайлович (1768—19.04.1836) происходил из грузинского княжеского рода. В 1786 г. окончил Артиллерийский и инженерный шляхетский кадетский корпус. Службу начал на Русско-турецкой войне 1787—1791 гг. Участвовал в штурме Измаила

(1790) и других знаменитых битвах. Участвовал в заговоре против императора Павла. Отличился в антинаполеоновских кампаниях 1805 и 1806—1807 гг. С 1808 г. — генерал-майор. Во время Отечественной войны 1812 г. командовал 4-й артиллерийской бригадой, произведен в генерал-лейтенанты. Участник взятия Парижа в 1814 г. Генерал от кавалерии с 1813 г., генерал от артиллерии с 1819 г. Командующий артиллерией Первой армии с 1816 по 1832 г. В 1836 г. ушел в отставку по болезни. Жил в Киеве. Дружил с Остен-Сакеном и митрополитом Евгением. Его портрет кисти Д. Доу помещен в Зимнем дворце, в галерее героев 1812 г.



Князь Ф.В. Остен-Сакен. Дружеский шарж.

ГЕНЕРАЛ Н.Н. МУРАВЬЕВ- КАРСКИЙ

Николай Николаевич Муравьев-Карский (1794–1866) — известный русский военачальник, участник войны 1812 г., воевал на Кавказе, командовал экспедиционным корпусом, направленным Николаем I в 1833 году для поддержки турецкого султана в его борьбе с восставшим правителем Египта Мегметом-Али. В 1834–1835 гг. — начальник штаба Первой армии, дислоцированного в Киеве. С 1854 г. — наместник Кавказа. В 1855 г. вверенные ему войска взяли турецкую крепость Карс и в честь одержанной победы назван Муравьевым-Карским. Брат известного писателя Андрея Николаевича Муравьева, декабриста Александра Муравьева и усмирителя Польского восстания 1863 г. Михаила Муравьева, прозванного Вешателем.



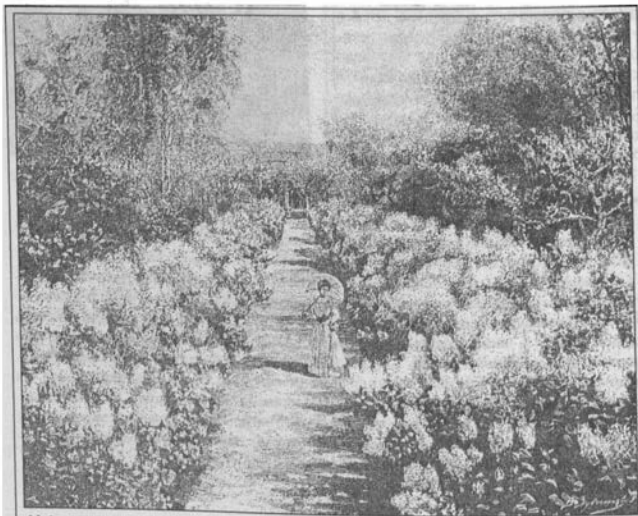
В его мемуарах содержатся ценные сведения о жизни Киева 1830-х гг.

Ведя обширную переписку по своим собственным вне службы делам и со своими друзьями, он /генерал Н.Н. Муравьев-Карский/ имел привычку по получении какого-либо письма, немедленно отмечать на нем номер и число дня получения, и по порядку этой нумерации отвечал на каждое, не перебивая очереди. Случилось однажды в бытность его главнокомандования на Кавказе, что он получил письмо от какой-то фрейлины, написанное ею по поручению императрицы Александры Федоровны, но по какому делу, не знаю. Прошло довольно уже времени, когда Наталья Григорьевна случайно спросила его, отвечал ли он на это письмо, узнала, что он еще не отвечал, «потому-де, что очередь не дошла до него». Вот каков был царедворец.

(53, 573).

Несдурна была также и слышанная мною царедворческая его /генерала Н.Н. Муравьева-Карского/ выходка во время красносельских маневров, когда государь Николай Павлович, желая, как тогда рассказывали, испытать стратегическое искусство Н. Н. Муравьева, разделил войско на две половины, из которых поручил одну Николаю Николаевичу, а сам стал во главе другой и маневры кончились тем, что первый из них окружал государеву армию и чуть ли не загнал ее в болото. Говорят, будто государь долго питал скрытую злобу к нему за это дело; если так, то жаль, что подобного рода мелочи могли помрачать душу этого царя.

(53, 573).



Майские гулянья в городских парках.

КОМЕНДАНТ А.В. АНОСОВ

Генерал Алексей Васильевич Аносов (1822—1906) — колоритная киевская фигура конца XIX — начала XX ст. Окончил Михайловское артиллерийское училище. Служил в артиллерии. Во время Балканской войны — начальник 9-й артбригады, участник обороны Шипки, в 1890—1899 гг. он служил комендантом Киевской крепости и запомнился горожанам своей доброжелательностью и искренним стремлением преодолеть изолированность крепостного Печерска от общегородской жизни. Именно при нем между новым корпусом Арсенала и Никольскими воротами была разобрана часть крепостной стены, засыпан ров и через образовавшуюся брешь проложены рельсы городского трамвая, символически и фактически объединившего дотоле автономный крепостной Печерск с другими районами Киева. На месте огромного пустыря, тянувшегося от Военно-Николаевского собора до самой цитадели, он создал в 1895—1899 гг. общедоступный парк (теперь парк Вечной славы). Эта зеленая зона воспринималась как естественное продолжение нагорных киевских парков на приднепровских склонах, что также способствовало преодолению устоявшихся представлений о якобы чуждой го-

роду имперской крепостной зоне на Печерске. Время отмечалось в саду постоличному — выстрелом пушки в полдень. Популярности сада способствовали аттракционы и спортивные площадки для детей и молодежи. Здесь устраивались спортивные и военизированные игры. Вскоре после создания парка Аносов стал членом Александровского комитета о раненных в Петербурге, а дума, нашедшая в его лице союзника в обустройстве запущенного при военных властях Печерска, назвала новый парк Аносовским городским садом. (Горожане называли его также Комендантским). Перу Аносова принадлежала книга «Беседы старого начальника с новобранцами» (1898). Колоритной фигурой любимца старого Киева заинтересовался писатель А. Куприн. Он записал рассказы киевлян о генерале и использовал их в повести «Гранатовый браслет». Аносов выведен здесь под его собственной фамилией, что дает основания полагать, что на сей раз писатель строго придерживался фактов, не вдаваясь, как в «Яме», в слишком смелые домыслы. Приводимые здесь миниатюры представляют собой литературные вариации городских преданий о знаменитом коменданте.

Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колеба-

ний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позовут».

За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира.

— Шпиона я не только расстреляю, — сказал он, — но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу.

И сказал он это так просто и почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальству своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того, чтобы самого расстрелять, оставили в покое.

(209, 203).

В войну 1877—1878 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то, что был мало образован или, как он сам выражался, кончил только «медвежьего академью». Он участвовал в переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; его ранили один раз тяжело, четыре — легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову.

Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев:

— Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, — это майор Аносов. (209, 203).

— Дедушка, скажите откровенно, — попросила Анна, — скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?

— Как странно, Анночка: боялся — не боялся. Понятное дело — боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуля для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвостун. Все одинаково боялся. Только один весь от страха раскиснет, а другой себя держит в руках. И видишь: страх остается всегда один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает; отсюда и герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть ли не до смерти /.../ То было на Шипке, зимой, уже после того, как меня контузило в голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился.

(209, 214—215).

С /Балканской/ войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой /.../ Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края* живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника и ему дали пожизненное место коменданта в г. К/иеве/ — должность более почетную, чем нужную в целях государствен-

ной обороны /.../ Он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г. К/иеве/.

(209, 214).

**Судя по авторской датировке, Куприн имеет в виду тогдашнего генерал-губернатора Новороссии — А.Р. Дрентельна, заведовавшего тылами русской армии во время Турецкой войны, а в 1881 г. назначенного начальником Юго-Западного края. Но реально в деле назначения Аносова киевским комендантом в 1898 г. мог принимать участие не скончавшийся в 1888 г. Дрентельн, а весьма влиятельный в высших сферах генерал Драгомиров, форсировавший в 1877 г. Дунай и впоследствии (в 1898–1903 гг.) занимавший пост киевского генерал-губернатора. Здесь скатывается купринский «ахронологизм» — его склонность произвольно переставлять даты и факты: Аносов получил назначение в Киев не в 1880 г. (или, как он пишет, «по истечении двух лет мирной службы»), а спустя 10 лет — в 1890 г. Отсюда и вся эта путаница с генерал-губернаторами и свидетелями переправы Аносова через Дунай.*

В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться.

Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы.

(209, 204).

Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас:

— А ведь чисто взял до, черт возьми! Точно орех разгрыз.

По театру разносился сдержанный смех, но генерал даже не подозревал этого: по своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим соседом своими впечатлениями.

(209, 204).

По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со своими хрипящими мопсами, посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем посажен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за бравый, хотя и противозаконный поступок. Иногда начинал распекавать, крича так, что его бывало слышно и на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких перерывов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он платит за

него. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолюстья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, довольствуется из солдатского котла. Анусов немедленно распоряжался, чтобы бедняге носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот шагов.

(209, 204—205).

Сам он когда-то был женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Еще до войны жена сбежала от него с прозжим актером, пленяя его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал послал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было /.../

— Первое время, — /рассказывал он/, — был как бешеный. Если бы увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил Бог от лишнего пролития крови. И, кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Выучный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь... Нет! Все к лучшему.

(209, 205; 218).

По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем со вмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, — черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечного терпения и поразительной физической и нравственной выносливости.

(209, 203).

ПОЛИЦМЕЙСТЕР Б.Я. ГЮББЕНЕТ

Борис Яковлевич Гюббенет (1828—1898) — популярный киевский полицмейстер XIX века. Уроженец Лифляндской губернии. Учился в частном пансионе. В 1845 г. — унтер-офицер кирасирского полка принца Вильгельма прусского. Участник Крымской войны. В 1861—1866 гг. — чиновник особых поручений при командующем Оренбургского отдельного корпуса. В 1866—1882 гг. — киевский полицмейстер. В 1874 г. произведен в чин действительного статского советника. Типичный служака николаевской выучки, не лишенный однако чисто немецкой добросовестности. Ушел в отставку после первого в Киеве еврейского погрома, спровоцированного имперскими властями в отместку за убийство царя Александра II. Гюббенет не принял участия в этой позорной авантюре, сославшись на серьезную травму ноги, полученную во время беспорядков. Остаток жизни провел в Петербурге, похоронен в Александровской лавре.

В свое время о полицмейстере Гюббенете по городу ходило немало за-



Полицмейстер Б.Я. Гюббенет. Дружеский шарж.

бавных рассказов и анекдотов, и как писал один из мемуаристов, если бы кому-то вздумалось записать их, то получилось бы «довольно интересная и веселая книжка». К сожалению, этого не случилось, и о былом великолепии юмористических преданий о пресловутом лифляндце мы можем ныне только догадываться.

...Он всегда был очень любезен, с посетителями предупредителен, а с дамами — джентльмен; по характеру это был человек добрый и отзывчивый; к недостаткам его я отношу тщеславие и честолюбие: при выездах (всегда в паре, в корню и пристяжке), — герой, гордо стоявший в пролетке, на вечерах — всегда во всех регалиях и с лентой через плечо. (467, 17).

Гюббенет считал себя выдающимся полицеймейстером, никого и ничего не боявшимся, хотя киевляне были совершенно другого мнения; к нему относились благодушно и не считали способным на какие-либо энергичные действия; знали, что дальше криков и трехэтажных выражений он не идет и что ума он недалекого. Когда в Киеве наступило смутное время и все администраторы разъезжали в каретах, окружив себя для безопасности эскортом казаков, сделал то же и Гюббенет, развезая уже не в пролетке, а в карете. С целью объяснить ему, что он человек совершенно безобидный и может быть вполне спокоен, т. к. на него никогда никакого покушения не будет, к карете его была прибита табличка с надписью крупным шрифтом: «Ты не мучь казаков — мы не бьем дураков!»

(467, 19).

До якого крайнього цінізму доходили репресії з боку місцевої адміністрації може показати такий яскравий факт: щоб кийські українці не дуже захоплювались національним убранням, а заодно й українськими ідеалами, кийський поліцеймейстер Гюббенет видав наказ, щоб усі професійні й зареєстровані повій носили тільки українське вбрання. Ця поліцейська витівка ні до чого, звісно, не привела.

(14, 130).

А что Б.Я. напрасно мучил казаков, видно из следующего. Он был большой ловелас, как-то раз в карете, сопровождаемый казаками, он вздумал заехать к какой-то даме полусвета и, чтоб скрыться от любопытных, оставил карету в расстоянии нескольких домов от места жительства дамы, сам же отправился пешком. Прошел час, два, Б.Я. увлекся, забыв совершенно о карете, но прохожие, увидев знакомую карету и расположившихся вокруг нее казаков, пришли почему-то к заключению, что где-то вблизи происходит обыск и в момент, когда Б.Я. стал приближаться к своей карете, столпилось уже несколько сот человек! С большим трудом удалось ему рассеять эту толпу, заверив ее, что никаких особенных событий не произошло и что все благополучно.

(467, 18—19).

Б.Я. не прочь был от веселого времяпрепровождения с основательными возлияниями, но выпившим я его никогда не видал.

Ресторатор Дьяков, о роли которого в Киеве мне еще придется говорить, происходил из крестьян и потому ежегодно 19 февраля устраивал большой обед*, на котором всегда низменно присутствовал Б.Я. Гюббенет. После официальных тостов и весьма содержательных речей по поводу значения празднуемого события, обыкновенно переходили на тосты по адресу присутствовавших. Одним из гостей был предложен тост за Гюббенета, и Б.Я., не желая оставаться в долгу, произнес приблизительно следующую речь:

— Господа! Знаете ли, кто сейчас говорил? Это человек, которого я знаю давно, знал тогда, когда его звали Степкой, знал, когда звали Степаном, когда его уже величают не только по имени, но и по отчеству. Я предлагаю тост за того, кто был

ничтожеством, мальчишкой, за того, кто был у меня на посылках, а теперь человеком стал, ура!

Все присутствовавшие были до того сконфужены, что не могли и рта открыть, и «ура» Б.Я. вышло... единогласным.

О положении «Степки», человека весьма уважаемого, трудом добившегося известности, и говорить нечего.
(467, 19).

** 19 февраля 1861 г. — день опубликования манифеста об освобождении крестьян.*

Как ни наивен был Б.Я., но в затруднительном положении он умел выходить сухим из воды. Мне рассказывали о следующем факте: в бытность генерал-губернатором А.М. Дондукова-Корсакова сильно проказничали в Киеве некоторые молодые люди, в том числе и сын А.М., студент. Дебоши этой компании обращали на себя внимание, но полиция затруднялась прибегать к крутым мерам из опасения навлечь на себя недовольство генерал-губернатора, если будет обижен его сын; привлекать же к ответственности остальных членов компании, оставляя в стороне генерал-губернаторского сына, было еще более неудобно. При таких условиях полицмейстеру было внушено А.М. Дондуковым-Корсаковым: не щадить его сына, если тот будет скандалить, а забирать в участок, как и всякого скандалиста. Вскоре после этого распоряжения доложили как-то Гюббенету, что молодой Дондуков в одном из ресторанов находится в нетрезвом виде и бушует. Не исполнить приказа начальника края нельзя, арестовать же его сына /Б.Я./ не решался.

Взяв с собою двух новичков околоточных надзирателей, не знавших в лицо молодого Дондукова, Гюббенет указал на него через окно ресторана, приказав арестовать и препроводить в дворцовый участок.

Часа через три Гюббенет приехал будто бы случайно в участок и, узнав, что по его приказанию арестован молодой человек, оказавшийся генерал-губернаторским сыном, распорядился немедленно его освободить и затем стал перед ним извиняться в самых лестных выражениях, сваливая вину на грубых надзирателей; для большей правдоподобности Б. Я. счел нужным при рапорте начальнику края доложить, что сын его был арестован «по ошибке», о чем отец в свою очередь сообщил сыну, будучи, конечно, весьма доволен находчивостью Гюббенета.

(467, 19—20).

Б.Я. относился весьма строго к своим подчиненным. Как-то раз зимой, отправляясь в 9 ч. утра на рапорт к начальнику края и зная, что пристав дворцового участка Кедрин любит поздно вставать, остановился у участка, в то время помещавшегося по Левашевской улице в доме Ивенсона, и приказал позвать пристава. Пристав был еще в постели, но быстро вскочил, накинул сверх нижнего белья теплое пальто, одел глубокие калоши и, схватив фуражку, выбежал на крыльцо. Б. Я. заметил одеяние Кедрина и, желая его наказать за поздний утренний сон, пригласил пройти с ним, чтобы поговорить о се-

рзанных делах. Прогулка длилась больше часа и когда Кедрин вернулся домой — у него зуб на зуб не попадал. Случай этот имел для Кедрина печальные последствия: он проболев больше месяца.

Вообще Б.Я. любил «накрывать» своих подчиненных и за малейшие нарушения строго взыскивал; в выражениях он никогда не стеснялся и, хотя носил немецкую фамилию, это не мешало ему постоянно пускать в ход отборную русскую ругань; его примеру следовало и большинство его подчиненных.

(467, 20).

Насколько Б.Я. был честолюбив, я убедился из следующего: получив чин действительного статского советника, он всем заявлял, что отныне он только исправляет должность полицмейстера, ибо в таком высоком чине даже по закону нельзя быть полицмейстером, что ниже достоинства этого чина. Заказав себе пальто на оранжевой подкладке*, Б.Я. ежедневно, отправляясь на прогулки, поручал пальто городовому, на обязанности которого лежало нести пальто так, чтобы подкладка была наружу. Если городской по неопытности или нечаянно складывал пальто так, что подкладки не было видно, начиналась площадная ругань, замечания о непонимании подкладки, и такому «нарушителю дисциплины» за оказанное непочтение генералу приходилось иногда подвергаться аресту, впрочем непродолжительному.

(467, 20).

*Такая подкладка была на шинелях генералов. В табели о рангах это военное звание соответствовало званию действительного статского советника.

Честолюбие Б.Я. особенно сказалось при выходе его в отставку. Как сейчас помню полученную мною от него записку: «По серьезному делу прошу вас немедленно ко мне пожаловать».

Канделярия полицмейстера помещалась в то время по Владимирской улице в доме Рахманинкова*, недалеко от нашей редакции**. Через несколько минут я был в кабинете Б.Я.

— За что вы обидели старика? Что я вам дурного сделал? — такими словами встретил меня Б.Я. и показал газету.

Я ничего не понял.

— Читайте, — продолжал он со слезами в голосе и подчеркнул помещенную мною в газете заметку буквально следующего содержания: «И. д. киевского полицмейстера Борис Яковлевич Гюбенет уволен по прошению от должности с производством в тайные советники».

Я решительно недоумевал:

— Да ведь эту заметку, Борис Яковлевич, я поместил с ваших слов, ведь вы мне об этом вчера сообщили.

— Сообщил, но не так. Я сообщил вам, что я переведен в тайные советники и согласно прошению уволен со службы, а вы поместили совершенно наоборот; ведь это для меня не все равно. Прошу вас, успокойте старика, исправьте ошибку.

Просьба Б.Я. была мною немедленно исполнена, и на другой день в газете бы-

ла помещена записка, вполне удовлетворившая старика, о чем он с благодарностью меня уведомил.

(467, 21).

**Дом на углу улиц Владимирской и Льва Толстого, где ныне помещается ректорат университета.*

***Редакция «Киевлянина» помещалась в доме на углу Кузнецкой и Шулявской (теперь Антоновича и Льва Толстого).*

Б.Я. отличался странностями. Так, обыкновенно все полицеймейстеры, которых я знал, принимали у себя в управлении приставов, которые являлись к нему с рапортами, а затем ездили с докладами к начальнику края и губернатору. Гюббенет по утрам приставов у себя не принимал, а собирались они у здания городской думы, где Гюббенет по пути к высшему начальству останавливался для выслушивания репортеров. Нечего прибавлять, что эта процедура собирала по утрам у здания думы массу любопытных. Нередко Гюббенет отправлялся из дому пешком, заглядывая по дороге на Бессарабский базар, где покупал провизию и затем по Крещатику отправлялся к думе. По дороге его сопровождали околотошные надзиратели и когда сопровождавших собиралось уж очень много, то он их разгонял, нередко пуская в ход трехэтажные выражения.

(467, 21–22).

ПОЛИЦМЕЙСТЕР В.И. МАКСИМОВИЧ

Василий Иванович Максимович (1755—1825) — первый киевский полицмейстер XIX века, украинский чиновник старой формации, брат деда первого ректора киевского университета М.А. Максимовича. Начал службу в 1769 г. в переяславской полковой канцелярии. Служил в присутственных местах Курска и других городов до 1790 г. Некоторое время жил на покое и занимался хо-

зяйством в имении своего отца Ивана Леонтьевича Максимовича, бывшего бубновского сотника, основателя родового поместья Максимовичей в с. Прохоровке. В середине 1790-х годов служил переяславским исправником, а с 1799—1801 гг. — киевским полицмейстером. Последние годы вновь посвятил сельскому хозяйству. Умер 1 июня 1825 г. на отдыхе в Пятигорске.

В те годы жили на Сутое два бывшие правителя Малороссии, единственные тогда русские фельдмаршалы: Разумовский и Румянцев. Василий Иванович /Максимович/ посещал обоих, развеселяя их своим остроумием.

Бывшему гетману /К. Разумовскому/ каждую весну на подставных тройках доставлял он в Яготин живого осетра, по старому обычаю прохоровскому*; бывшего же наместника /Румянцева/ лакомил часто поднепровскою дичью своей охоты, ястребиной и псовой.

За это ташанский помещик /Румянцев/ не раз благодарил Василия Ивановича учтивыми письмами (1792—1794), а владелец Яготина /Разумовский/ прислал ему однажды венскую карету, запряженную четвериком дюжих волов. В первое же воскресенье Василий Иванович явился в Яготин в венской карете на этом самом четверике. Граф захохотал от этой выходки и потом стал изъясняться, что у него в Яготине одни только англазированные лошади.

— Это ничего, ваше сиятельство, — сказал Василий Иванович, — я ездил бы и на куzych.

Такой ответ позабавил графа, и четверо отличных коней были прибавкою к венской карете.

Между тем сделался он переяславским исправником. Генерал-губернатор /киевский/ Александр Андреевич Беклешов, проезжая через Переяслав, очень полюбил распорядительного исправника. И перевел его сперва в Богуслав комиссаром, а в 1799 г. в Киев полицмейстером, и летом того же года исходатайствовал ему чин

надворного советника, прямо из титулярных**. В этом чине он и вышел в отставку в 1801 г., после чего жил спокойно в Прохоровке.
(251, 44–45).

*Речь идет о ральце — старинном обычае подношения начальству /в данном случае — бывшему гетману/ подарков на Рождество и Пасху.

Повдоряляя его с этой монаршею милостью письмом из Петергофа от 1 июля 1799 года, Александр Андреевич /Беклешов/ шутиливо прибавил на этом письме: «Теперь уже нечего бояться, что топтать стану ногою: сам стал пан*, и надевай какой хочешь кафтан!»**** /Прим. авт./

***Полученный Максимовичем чин давал ему права дворянства.

****Очевидно, Беклешов знал, что его любимцу поступил на службу только ради нобилитации и, получив дворянство, не замедлит снять мундир ради «кафтана». Так оно и произошло.



Обход торговых рядов на рынке санитарным врачом и приставам. Рис. 1887 г.

ПРИСТАВ МИХАЙЛОВ И ДРУГИЕ МЗДОИМЦЫ

В подтверждение того, насколько взяточничество и вымогательство было присуще киевской полиции в 1880-х годах, я приведу некоторые факты, выяснившиеся при рассмотрении в судебной палате в 1886 г. дела пристава подольского участка Михайлова.

Идет по улице скот; специально назначенные городовые загоняют его во двор участка, а затем берется выкуп.

Забирает пристав у торговца водку в большом количестве.

— Обидно, — говорит торговец.

— Не бойся, — отвечает пристав. — Бутылки назад пришло.

В участке находилась кружка с надписью «Для бедных», за всякую справку брались деньги в кружку, а затем их забирал г-н Михайлов.

Обвиняемый на вопрос «Почему брали?» пренаивно отвечал:

— Я потому брал, что не желал быть выскочкой среди своих товарищей, все брали и я брал, да кроме того, я не хотел обижать обывателей, приносящих подарки.

Идет пристав по базару, а за ним городовые с мешками и наполняют их рыбой. Когда приставу приносили счет от какого-нибудь торговца, он поражался и говорил:

— Да ты с ума сошел, разве ты не знаешь, что пристава не платят!

Особенно памятно мне показание старообрядного священника на Подоле.

— Я, — говорил он, — давал приставу за то, что он позволял мне молиться в старообрядческом молитвенном доме. Бывало встретит. «Что, молишься», говорит. — «Молюсь». — «Нельзя!» Даю десять рублей. — «Ну, молись, — говорит. — Я не придиричив».

И сей Михайлов состоял приставом подольского участка в течение десяти лет, и все сходило ему безнаказно, пока в 1882 году, когда обывателям «стало уже невмоготу», пристав вследствие полученных жалоб, не был уволен и предан суду. Впрочем, еврейство и старообрядство в то время составляли самый главный и чуть ли не единственный источник обогащения как низшей, так и средней администрации.

(467, 30).

...Главный доход полицейским чинам составляли евреи.

Единственный пристав, который утверждал, что для него «несть алина и иудея» и что все население его участка пользуется равноправием, был пристав Подольского участка г-н Михайлов. И действительно, его воеводство, которому прошло уже много лет, до сих пор еще сохранилось в памяти подолжан: о том, что он брал с евреев, говорить не стану, ибо это настолько вошло в обычай, что уподоб-

лялось закону, но г-н Михайлов находил, что ему одинаково дороги как евреи, так и русские, и потому и те и другие должны служить для него источником дохода. С евреев Михайлов брал наличными деньгами, с русских торговцев — товарами.

Но как брал? «Обворожительно!» — как поется в какой-то оперетке. Бывало выйдет в базарный день на рынок, а за ним следом — запряженная в одну лошадь повозка, и до тех пор, пока повозка эта не наполнялась доверху разными продуктами, живностью, зеленью и пр., пристав обходил всех торговков; только заметив, что повозка полна, он уходил, все же не преминув захватить уже в руки какого-нибудь громадного гуся или «иногогородного» петуха.

И делалось это до того открыто, что столь частое путешествие пристава «на базар и обратно» не могло в конце концов не обратить внимания на себя высшего начальства, и судьба Михайлова окончилась довольно плачевно. Он был предан суду за взяточничество, мздоимство, лихоимство, вымогательство и пр. И предан суду в такое время, когда все эти обвинения местным населением вовсе не считались преступными, до того оно было приучено к «даянню». Оно только не могло примириться с непосильным крупным «даванием».

(467, 31).

Малые чины /полиции/ пользовались и другими способами обидательства евреев. Ежегодно в праздник кушей евреи устраивали во дворах на несколько дней шалаши, крытые соломой, где и проводили почти все время. Устраивались эти шалаши в значительном количестве в Подольском и Плоском участках, где проживает большинство евреев. Додумались надзиратели полагать с каждого еврея-хозяина по три рубля за разрешение устраивать куши.

— За что вы собственно берете три рубля? — спрашивали надзирателя.

— За разрешение устройства кушей, — отвечал он улыбаясь.

— Какое же значение имеет ваше разрешение?

— Моел? А... во избежание пожара.

(467, 29).

О захватах городских земель в 1880-х годах мне много приходилось слышать и особенно это практиковалось на окраинах, где на городской земле воздвигалась масса построек; нельзя сказать, чтобы это делалось самовольно, ибо разрешения на постройки давались местными околоточными надзирателями на весьма выгодных условиях; кто знает, заглянет ли в такую глушь член городской управы, рассуждали власти, а тут есть возможность и заработать и доброе дело сделать. Насколько этот способ захвата городской земли для построек практиковался в Киеве, видно из следующего: в местности возле Кирилловской больницы околоточный надзиратель Антифеев разрешил 150 построек на городской земле, и вот, чтобы почтить память своего благодетеля, благородные граждане увековечили его имя и назвали новый поселок «Антифеевка», под каковым названием местность и фигурирует официально*.

(467, 13).

*Поселок Антифеевка занимал часть Татарки и Юрковицы. Теперешняя ул. Старая поляна в начале XX века называлась Антифеевской.

Хотя штат служащих на Юго-Западных железных дорогах был весьма значительный, но по фамилиям знали преимущественно тех, которые служили в отделе материальной службы. Лицам этим очень завидовали, т. к. они вели в Киеве широкий образ жизни, не стесняясь в средствах. Начальник этой службы К-ий нажился до того, что оставив службу, переехал на родину, где приобрел несколько домов. Помощник его З. славился в Киеве своими кутежами, из коих многие обходились ему дороже, чем получавшееся им годовое содержание. Всем было ясно, что в отделе этом процветает ваяточничество, но это никого не удивляло, как и взяточничество в полиции, хотя в последней оно оправдывалось ничтожным жалованием, чего на Юго-Западных железных дорогах не было.

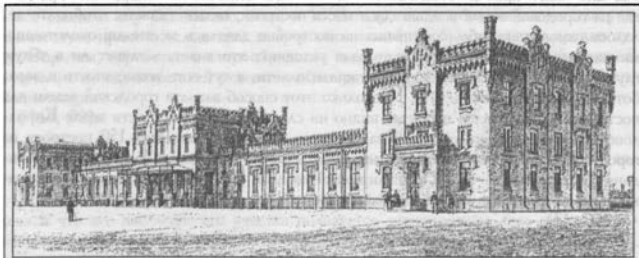
Общее внимание обратили на себя кутежи компании, почти ежедневно собиравшейся в Шато-де-Флер. В составе этой компании были исключительно служащие в материальном отделе при участии г.г. поставщиков, но вопросом об источниках, дающих возможность прокручивать ежедневно сотни рублей, железнодорожное начальство не интересовалось.

Для характеристики порядков в материальном отделе приведу следующий анекдот. Является к делопроизводителю подрядчик и, передавая заявление с приличным приложением, просит ускорить доклад по делу.

— А марку? — заявляет делопроизводитель...

— Марку я уже дал, — пренаивно отвечает подрядчик. Оказалось, что /.../ делопроизводитель имел в виду марку на заявлении, а подрядчик понял, что надо дать Марку (имя одного из воротил в отделе).

(467, 206—207).



Первый киевский железнодорожный вокзал.

ИЗ ЖИЗНИ КИЕВСКИХ ЧИНОВНИКОВ И «МИЛИТЕРОВ»

/Три месяца в пути/

При разборе 8 ноября /1880 г./ в киевском мировом съезде дела по обвинению аптекаря Фромета в нарушении строительного устава* обнаружено, что дело это, отправленное 5 мая из старокиевского полицейского участка к мировому судье 5-го участка, получено судьей 7 августа, т. е. находилось в пути три месяца. Не шибко же ходят полицейские рассылные, если на то, чтобы пройти шагов 500—600, им нужно 90 дней!.. (119).

**В связи с нарушением подрядчиком строительных правил рухнул почти достроенный флигель при доме Фромета (на углу теперешнего бульвара Шевченко и ул. М. Коцюбинского).*

/Рассказ С.Ю. Витте о «Святой дружине»/

В то время, когда я жил в Киеве, произошли некоторые выдающиеся политические события, и самым главным из этих было 1 марта 1881 года.

В этот день вечером я был с моею женою в театре и помню, что одна знакомая, госпожа Меринг, которая находилась в соседней ложе, сказала: «Получена телеграмма, что император убит».

Я сейчас же покинул театр, написал моему дяде Фадееву, который жил в это время в Петербурге, письмо, в котором чувство преобладало над разумом. Мысль этого письма заключалась в том /.../, что с анархистами надо бороться их же оружием. Следовательно, нужно составить такое сообщество из людей, безусловно порядочных, которые всякий раз, когда со стороны анархистов делается какое-нибудь покушение или подготовка к покушению на государя, отвечали бы в отношении анархистов и тем же самым, т. е. предательски и так же изменчески их убивали бы. Я писал, что это единственное средство борьбы с ними, и думал, что это отвадило бы многих от постоянной охоты на наших государей.

Через несколько дней после того, как я послал это письмо, получил от моего дяди Фадеева ответ, в котором он мне сообщил, что мое письмо /.../ в настоящее время находится на столе у императора Александра III и «ты, я думаю, будешь вызван» — писал мне дядя. И действительно, через некоторое время я получил телеграмму от нового министра Воронцова-Дашкова (а тогда он занимал временно

пост начальника охраны его величества в Гатчине, потому что по вступлении своем на престол первое время император Александр III поселился в Гатчине), что он просит меня приехать в Петербург.

Я приехал в Петербург, был у Воронцова-Дашкова /.../. Он меня спросил: «А что, вы от того, что написали, не отступаете?». Я отвечал: «Нет, — это мое убеждение». Тогда он представил меня флигель-адъютанту (который оказался гр. Шуваловым) и сказал мне, чтобы я отправился с Шуваловым в его дом /.../ Как только я вошел в кабинет, Шувалов вынул Евангелие и предложил мне принести присягу в верности обществу, которое было уже организовано по моему письму и которое было известно под именем «Святой дружины». Вся организация общества была секретная, так что мне не сообщали, как это общество было организовано, а только сказали, что я буду главный для Киевского района, и что надо образовывать пятерки, и одна пятерка не должна знать других пятерок; так, например, я должен образовывать пятерку, и каждый член этой пятерки должен в свою очередь образовывать новую пятерку и т. д. Таким образом, это было секретное общество вроде тех сообществ, которые существовали в средние века в Венеции и которые должны были бороться с врагами и оружием, и даже ядом.

Отнестись критически ко всему этому я не мог и дал присягу. Меня снабдили некоторыми шифрами, некоторыми правилами и некоторыми знаками, по которым можно узнавать, в случае надобности, членов сообщества. Я отправился в Киев /.../

По всей России распространилось много слухов о существовании этого общества и о том, что туда направилась всякая дрянь, которая на этом желала сделать себе карьеру, это общество в самый короткий срок сделалось «притчей во языцех» — вот вследствие всего этого я и почувствовал необходимость выйти из этого скверного, в конце концов, по меньшей мере смешного, если не грязного и гадкого дела. Поэтому я написал графу Воронцову-Дашкову письмо такого содержания: что вот тогда-то я написал письмо моему дяде, а мой дядя передал это письмо через него государю, и что это послужило основанием для образования обще-



Чиновники Киевского губернского управления. Фото 1912 г.

ства «Святой дружины», что эта «Святая дружина» обратилась теперь в крайне короткий срок, в течение какого-нибудь полугода, в самое по меньшей мере смешное, если не постыдное учреждение, что я быть в таком положении не могу; а с другой стороны, раз уже дал присягу,

то не считаю себя вправе выйти из этого общества, чтобы не поступить некорректно. Поэтому я предлагаю следующее: чтобы список всех членов, которые этому делу служат по долгу и чести, а не из-за каких-нибудь лицемерных видов, чтобы этот список всех членов, составляющих это общество, был опубликован в «Правительственном вестнике» и других газетах. А также, чтоб и цель была опубликована: так как в этом случае имена всех этих лиц станут известны анархистам и революционерам, то, конечно, эти последние направятся прежде всего на всех нас, а поэтому я уверен, что масса лиц, даже, вероятно, большинство, — не пожелает участвовать в обществе и откажется от того, чтоб их фамилии были опубликованы; таким образом, общество это очистится от всех дурных элементов. Затем в письме я предупредил графа Воронцова-Дашкова, что буду ждать ответа месяц, а если через месяц не получу, то буду считать себя выбывшим из общества.

Прошел месяц, я ответа не получил, а потому отослал ему все документы, которые были у меня по этому обществу, а также все знаки, шифры и т. д. Тем эта смешная история — постольку, поскольку я в ней участвовал, — и кончилась».

(64, 103–109).



Николаевские ворота Новой Печерской крепости — главный въезд в николаевскую твердыню.

Для уловления крамольников на юге России «Священной дружиной» была организована особая инспекция, резиденцией которой избран Киев. Во главе южного района был поставлен некто В. Киевлянин по рождению, сын крупного местного домовладельца, В. окончил курс нежинского юридического лицея и некоторое время исполнял должность судебного следователя в одной из южнорусских губерний. Скомпрометированный по одному делу, В. вынужден был покинуть службу в судебном ведомстве /.../.

С появлением «Священной дружины» В. снова на поприще политического сыска. Его «прошлое», услащенное чисто героическими вымыслами его, правду сказать, недюжинной фантазии, сразу завоевало ему видное положение среди близоруких руководителей дружины, и В. оказался во главе добровольной политической полиции, охранявшей устои государственности на юге.

Взбалмошный и задорный по натуре, В. первым делом обратил свое внимание на учащуюся в Киеве молодежь и большую часть имевшихся в его распоряжении денежных средств употребил для операций исключительно в этой среде.

По инициативе В. в Киеве был открыт ресторан, куда всячески заманивалось студенчество и другие киевляне, коротавшие свои вечера, а иной раз и утренники в процветавших тогда в Киеве ресторанах и пивных. Весь штат администрации вновь открытого ресторана состоял из агентов дружины, руководимой В. Главной приманкой для посетителей тенденциозного кабака был не только широкий, но и прямо-таки навязываемый кредит.

Как выше было сказано, государственная полиция была во враждебных отношениях со «Священной дружиной», и киевская жандармерия, во главе которой стоял тогда умный генерал Новицкий, сумела осведомить кого следует о сути гостеприимного питейного убежища. Студенчество и бездомная киевская молодежь с утра до ночи заполняли залы провокаторского ресторана. Заведомо осведомленная публика валом валла в измышленное В. учреждение и мигом использовала открытый ей широкий кредит.

С оскудением центральной кассы «Священной дружине» пришлось ликвидировать и киевское предприятие. В. снова оказался не у дел.
(82, 622—623).

Несколько оригинальных, иногда карикатурных фигур! Вот каков, например, обычно гордо выступавший по Крецатику чиновник, без тени смущения выставивший на своих визитных карточках: «Статский советник Блюм. Киевский почтовой иллюстратор». При встрече со знакомыми он имел милое обыкновение говорить: «А... вы еще живы!» Привычку эту он бросил только после того, как, по словам Лескова, один болезненный и мнительный человек на такое приветствие тут же, на Крецатике, около самой почты, ответил ему несколькими ударами своей увесистой трости.
(231, 143).

Недавно в Киеве (помнится, в 1830 г.) было землетрясение. Много, разумеется, об нем толковали в народе, как о новости самой любопытной. Между прочим один офицер спросил у солдата, пришедшего со смены:

- Слышал ли ты землетрясение?
 - Никак нет, ваше благородие! — отвечал воин.
 - Что ж ты спал в это время?
 - Никак нет-с, ваше благородие: я стоял на часах.
- (138, 155).

В 1840-х годах в Италии происходили события, в которых главную роль играл папа Пий IX. Все тогдашние газеты наполнялись исключительно известиями о действиях папы; он служил темой и для раз-

говоров в высшем обществе, причем его обыкновенно называли Пий-неф*. На вчерне у Д.Г. Бибикова присутствовавшие сообщали друг другу последние новости, полученные из Италии, и беспрестанно упоминали о Пий-неф. Находившийся в числе гостей известный фронтовик, командир четвертого пехотного корпуса генерал Чаадаев, вслушавшись в разговор, сказал с азартом:

— Только и слышу о Пиневе; куролесит да и только! Эта шельма должно быть русский, по фамилии слышно: Пинев. Конечно, русский, подлец! Что государь его не вытребует; отдал бы мне, я его бы продернул! Забыл бы о революциях! (136, 373—374).

**Так звучит по-французски имя папы Пия девятого.*

/Наглость «милитеров»/

До чего тогда, перед Крымскою войною, было офицерство и какие они себе позволяли выходки, достойно вспомнить. Вскоре этому, вероятно, не будут верить.

Раз приехал, например, в Киев офицер Р. (впоследствии весьма известный человек) и вдруг сделал себе блестящую репутацию тем, что «умел говорить дерзости». Это многих очень интересовало и офицера нарасхват зазывали на все балки и вечеринки. Он ошалел от успехов и дошел до наглости невероятной. Один раз в доме некоего Г-на он самым бесцеремонным образом обругал целое собрание.

Г. собрал к себе на вечеринку друзей и пригласил Ра-цкого. Тот ошастливил, приехал, но повдню и, не входя в гостиную, остановился в дверях, оглянул всех в лорнет, произнес: «Какая, однако, сволочь!» и уехал... Никем не побитый!

Последним финалом его пошлых наглостей было то, что однажды в Кинь-Грусти, стоя в паре в горелках с известною в свое время г-жею П-саревую*, он не тронулся с места, когда его дама побежала; ту это смутило и она спросила его:

— Почему же вы не бежите?

Ра-цкой отвечал:

— Потому, что я боюсь упасть, как вы.

Тогда его выпроводили, но только по особому вниманию Бибикова, который был особенно предупредителен к этой даме.

Другой бедовый вонитель был артиллерист Кле-аль. Этот больше всего поражал тем, что весьма простодушно являлся в «лучшие дома» на балы совершенно пьяный, хотя, впрочем, он и трезвый стоил пьяного. До чего он мог довести свое бесцеремонностью, свидетельствует следующий случай. Раз, танцую в доме Я.И. Пена, Кле-аль полетел вместе со своею дамою под стол. Его оттуда достали и стали оправлять. Хозяин был смущен и заметил офицеру, что он уже слишком весел, но тот не сконфузился.

— Да, — отвечал Кле-аль, — я весел. Это моя сфера. Впрочем, здесь так и следует, — и в сию же минуту, не ожидая возражения, он добавил:

— Скажите, пожалуйста, мне говорили, будто тут есть какой-то г. Бе-ти, — все говорят, что он будто ужасный дурак, но отлично, каналья, кормит. Вот я очень хотел бы сделать ему честь у него поужинать.

Хозяин смеялся, потому что Бе-ти стоял тут же возле, но Бе-ти сейчас же пригласил этого шалуна на свои вечера, что и служило к их оживлению.
(237, 52–53).

**Н. Лесков «сократил» эту фамилию так, что сразу видно — «Писарева» — жена управляющего канцелярией генерал-губернатора, фаворитка Бибикова.*

У совершенствованию /.../ каламбуров у нас способствовали преимущественно армейские офицеры и восточные люди, создавшие целую серию дамских каламбуров и острот, довольно невинных, но не совсем удобных для многих церемонных гостиных.

Некоторые из них однако пользуются до сих пор успехом в приказничьих клубах. Как например:

— Какая прекрасная икра! — говорит за закуской аппетитная купеческая барышня.

— Сударыня, я смею думать, что ваши икры много прекраснее и вкуснее, — отвечает армейский каламбурист и возбуждает, правда, конфуз барышни, но и смех общества.

Или в танцах:

— Найдите рифму на слово зеркало.

— Ваше рыло исковеркало, — подсказывает бойкий кавалер.

(128).

Кораблекрушения в Липовецком уезде Киевской губернии

Вступивший /в 1866 году/ в должность /киевского/ губернатора свиты его величества генерал-майор Эйлер издал 24 декабря циркуляр по статистическому комитету, в котором /.../ между прочим писал следующее: «/.../ Предписываю на будущее время соблюдать непременно чистоту в наружной форме таблиц, ведомостей и прочее, причем отсутствие сведений /.../ не отмечать двумя нолями, потому что очень часто при переписке небрежно поставленные кавычки принимаются за цифру 11 или 4, как это случилось в Липовецком уезде: в ведомости № 27, о замечательных происшествиях, случившихся в уезде, в рубрике кораблекрушений показано четыре случая».

(104, 112).

/Неисправимый меломан/

Официально сезон в опере заканчивался в последний день Масленицы, большей частью в феврале. Первая неделя Великого поста напоминала траурное похмелье: все зрелища и увеселения были запрещены. Такой же порядок сохранялся на 4 и 7 неделях. И, надо сказать, «предержащие власти» неуклонно следили, чтобы не было нарушений сурового правила.

Помню случай, когда мой знакомый, молодой чиновник Володя Пасечник, получив наградные «за отменную работу», решил, по его словам, «пустить пыль в гла-



Крепостные стены николаевских времен, опоясывающие Лавру



Главный проектировщик Новой Печерской крепости граф К.И. Опперман

за» и купил на Масленой граммофон. Вальсы, модный кек-уок, камаринские и гопаки гремели по вечерам в течение всей недели. Но вот раздались знакомые звуки и в понедельник. Пасечник достал граммофонные иголки «нового типа», напоминавшие увесистые гвоздики и дающие мощный звук, прорывающийся смело на простор сквозь двойные зимние рамы. Веселые мотивы вскоре прекратились, — они дошли до слуха постового. Чиновник получил строгое внушение. Но человек он был с хитрецой. На другой вечер граммофон снова работал на прежней мощности. Рассерженный постовой посетил нарушителя, но ничего поделать не мог: исполнялись церковные хоры, «божественная музыка».

— Да... Песнопения можно, — умиротворенно произнес низовой представитель власти, послушал некоторое время и направился к выходу.

В последующие дни из окна молодого чиновника пробивались отрывки из литургии, мощное «Верую», а затем кек-уок, матчиш, между ними «Отче наш»...

(85, 119–120).

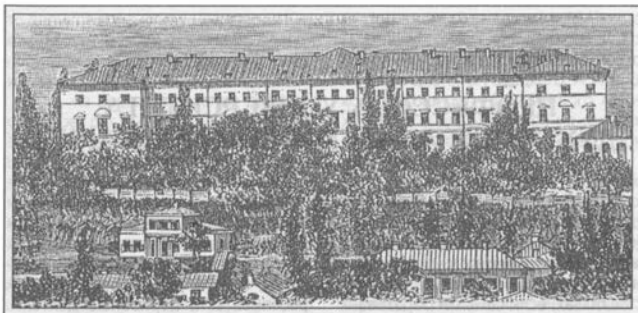


ГЛАВА ВТОРАЯ



КИЕВСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПРОФЕССОРА
УНИВЕРСИТЕТА,
ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
И СЕМИНАРИИ
И.К. Абламович
Архимандрит Феофан Авсенов
Архиепископ Антоний Амфитеатров
Я.К. Амфитеатров
Г.И. Бойков
Архиепископ Иннокентий Борисов
А.П. Вальтер
И.И. Велдинский
С.С. Гогоцкий
Е.С. Горский
Х.Я. Гюбенет
А.К. Деллен
Н.М. Дубницкий
С.Ф. Зенович
Н.Д. Иванишев
Архиепископ Евсевий Ильинский
В.А. Караваев
А.А. Козлов
Н.И. Костомаров
Н.Т. Костырь
Архиепископ Смарагд Крыжановский
Я.И. Крышинский
М.А. Максимович
А.П. Матвеев
Ф.Ф. Меринг
К.-В. Мерц
Епископ Иустин Михайлов
Архиепископ Димитрий Муретов
К.А. Неводин
В.А. Незабитовский
И.Я. Нейкирх
А.И. Селян
И.М. Скворцов
Епископ Иеремия Соловьев
А.И. Ставровский
Э.-Р.Э. Траутфеттер
П.А. Троицкий
Архиепископ Иринаей Фальковский
И.П. Хрущов
В.Ф. Цых
В.П. Чехович
Ф.С. Шимкевич
Ф.Ф. Эгардт
В.Я. Яроцкий



АДМИНИСТРАЦИЯ
КИЕВСКОГО

УЧЕБНОГО ОКРУГА

А.С. Траскин

Князь С.И. Давыдов

Н.И. Пирогов

И.Г. Михневич

Князь А.П. Ширинский-Шихматов

М.В. Юзефович

М.К. Сыгучов

УЧИТЕЛЯ

А.Ф. Андрияшев

Ф.А. Беляев

М.Ф. Берлинский и Г.А. Петров

П.Н. Бодянский

П.И. Гедуэн

В.П. Девьен

П.Н. Иеропес

А.П. Иноземцев

О.Ф. Иогансон

Т.И. Присток

Д.Н. Ревуцкий

К.А. Рёгаме

П.Е. Роштин

В.К. Смоленский

Ф.А. Токарский

Е.К. Трегубов

К.И. Фридман

М.К. Чалый

Н.Т. Черкунов

СТУДЕНТЫ

УЧЕНИКИ

ПРОФЕССОРА УНИВЕРСИТЕТА, ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ И СЕМИНАРИИ

Знание и вера в старые времена шли у нас рука об руку. Еще в середине XIX века ученый представлялся киевлянам человеком в монашеской рясе. Да и как иначе мог он выглядеть в их глазах, если самыми образованными людьми в городе были священники и редко кто из них не имел высшего академического образования. Первые киевские журналы — «Воскресное чтение» (1837—1912) и «Труды Киевской духовной академии» (1860—1918) издавались силами духовенства на епархиальные деньги.

Трудно сказать, какое именно (светское или духовное) образование давала своим выпускникам старая Киевская академия. Во всяком случае полученных знаний хватало, чтобы стать по желанию епископом или министром, дипломатом или губернатором, художником или композитором. Секрет универсальной подготовки выпускников академии состоял в том, что она формировала не только ум, но и душу учащегося, прививала вкус к многотрудной и добродетельной жизни, самосовершенствованию и чисто христианскому бескорыстию. И этого оказывалось достаточно для успеха во многих сферах жизни.

В понимании киевлян старого времени учительство было неразрывно связано с наставничеством, а слово «научить» означало также и обратить человека к добру, направить на путь праведный.

Венцом академического образования и наукой наук считалось богословие. Преподавали его не светские люди, а учителя-монахи, часто архимандриты, епископы — видные философы, писатели, церковные деятели. Символично и то, что с давних времен в роли учителей академии нередко выступали духовные светочи украинского народа — Мелетий Смотрицкий, Кирилл Транквилион-Ставровецкий, Лазарь Баранович, Иннокентий Гизель, Иоаникий Галятовский, св. Дмитрий Ростовский (Туптало), Стефан Яворский, Иннокентий Борисов, архимандрит Феофан (Авсенов), Памфил Юркевич.

Киев настолько привык к высокому учительству и наставничеству старой академии, что когда появилось высшее учебное заведение нового, чисто светского типа, не ставившее целью воспитание юношества в христианском духе, киевляне и в его профессорах видели проповедников неких «европейских идей». Возникновению такого взгляда способствовало также то, что многие профессора 1830—1840-х годов действительно были настроены в духе романтического мессианства. Первый ректор киевского университета Михаил Максимович, составив курс лекций по литературе, поспешил в академию на Подол, чтобы получить благословение на его чтение от ректора-архимандрита Иннокентия Борисова. В этом было неч-

то великое и символичное: старая Киево-Могилянская академия благословляла новых деятелей культуры и их новый центр в Украине.

В то же время появление профессоров без ряс вызывало любопытство. Университетские ученые оказались в центре всеобщего внимания. Перед ними открылись двери лучших домов и аристократических салонов. Киевляне внимали их речам, перенимали их вкусы и нравы. О них рассказывали сотни занимательных историй и анекдотов.

Благодаря живому интересу киевлян к университету профессора и студенты его выдвинулись на самое видное место в городском фольклоре XIX века, успешно соревнуясь в популярности с архиереями, генерал-губернаторами, артистами и вельможами.

Со временем большая часть университетского и академического фольклора изгладилась из памяти города, но кое-что сохранилось в пересказах и записях — в мемуарах, дневниках, письмах современников. Особенно богаты

«историями» воспоминания М. Чалого, П. Селецкого, А. Солтановского, А. Романовича-Славатинского, В. Авсеенко, М. Старицкого, В. Радецкого, А. Лотоцкого, А. Кошица, Н. Флоринского, А. Чижевского и др. Благодаря их записям мы проникаем в глубинные сферы культурной жизни Киева.

Не стоит искать в анекдотах каких-то полных, а тем более исчерпывающих характеристик деятелей киевского просвещения. Здесь много неточностей, субъективных суждений и намеренно искаженных, карикатурных характеристик. Многие выдающиеся ученые вообще не оставили следа в университетском фольклоре, иные пользовались как бы повышенным его вниманием. Вообще полагаться на документальную достоверность анекдотов не стоит. И тем не менее, где, как не в них, сохранилось столько живых черт и ярких подробностей о прежней университетской жизни, где еще можно найти столько выразительных портретов и бытовых подробностей?!

И.К. АБЛАМОВИЧ

Игнатий Карлович Абламович (1787–1848) происходил из польских дворян. Окончил Виленскую семинарию (1806), преподавал химию и физику в Минской гимназии (1808–1810), учитель Виленской гимназии (1813–1817). В 1818 г. послан в

Западную Европу для усовершенствования знаний, где учился 6 лет. Учитель физики в Волынском лицее (1827–1834) и ординарный профессор физики в Киевском университете (1834–1837). Умер в Киеве во время эпидемии холеры в 1848 г.

Профессор Абламович в молодости подавал большие надежды... но не удовлетворил нисколько богатым ожиданиям... И на кафедре, и в обыкновенном быту он являлся одним из самых скучных говорунов, чтобы не сказать больше. Положительного из его лекций /по физике — А.М./ слушатели ничего не выносили: он говорил на кафедре обо всем, кроме своего предмета. Странная говоротливостъ языка увеличивалась в нем вместе с годами неповоротливостъю ума и развитием тела. Он был в полном смысле грозою для своих знакомых и для всех студентов: он ловил на улице встречного и поперечного и по нескольку часов задерживал его своими рассказами; поэтому каждый, завидя его издаека, уходил как от чумы. Выйдя в отставку, ничем не занятый, для удовлетворения своей страсти к рассказам, Абламович занимал на целый день извозчика, разъезжал без цели по городу и отводил душу в беседе с этим извозчиком. (460, 139).

Бывший профессор физики в Кременецком лицее, долгое время путешествовавший на счет Виленского университета по Европе, а по закрытии лицея переведенный в университет св. Владимира, Абламович, по выходе в отставку в 1839 г. навсегда поселился в Киеве. Кто не знал в начале 40-х годов этого антика?*

Проводя весь день на улице, «эмерит»** только спал в своей квартире. Излюбленным местом его пребывания был мост (где ныне Никольские крепостные ворота)***: тут он обыкновенно стоял, облокотившись о перила, окруженный толпой студентов, редкий из которых, проходя по мосту, не был оставлен словоохотливым стариком. Собрав таким образом довольно молодую аудиторию, профессор начинал свои нескончаемые рассказы и анекдоты, длившиеся до тех пор, пока призывной звонок на лекции не прерывал их до следующего дня. А ему, как очевидцу французской революции 1830 г. и затем польской, было о чем порас-

сказать, и молодежь слушала его с большим интересом. Да и наружность «эмерита» была внушительна: он сохранил и свой профессорский костюм (suknia akademicka), и остаток длинных волос, когда-то обильно рассыпавшихся по плечам, и даже свою традиционную трость.

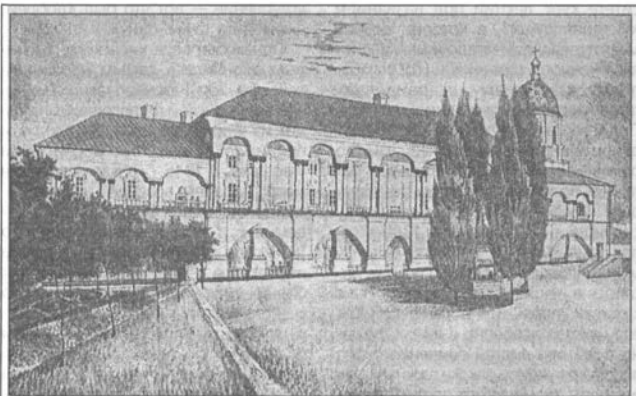
Оставшись один на мосту, физик подзывал извозчика и за четвертак велел ему ехать на Подол. Но едва тот тронется с места, — «Стой! Стой!» — кричит профессор: знакомый попался ему навстречу. Сидит себе на дрожках и балагурит добрых полчаса; потом, проехавши немного, опять останавливает возницу и таким образом едет на Подол добрых два часа, да оттуда почти столько же, а там и обедать пора. Если случилось ему залучить кого-нибудь в квартиру, то гость в другой раз не скоро к нему заглянет.

(438, 128—129).

*Антик — античный скульптурный портрет. Здесь — классически завершенный тип, неподражаемо яркая личность.

**Эмерит — заслуженный человек, живущий на покое и получающий специальную пенсию (нечто вроде теперешнего персонального пенсионера).

***Никольские ворота сохранились и находятся теперь за надземным павильоном станции метро «Арсенальная».



Старый академический корпус Киевской духовной академии. 1820-е гг.

АРХИМАНДРИТ ФЕОФАН АВСЕНЕВ

Архимандрит Феофан (в миру Петр Семенович Авсенеv) (1811/1812—1853) родился в семье священника Воронежской губернии. В 1829—1833 гг. учился в Киевской духовной академии. Тогдашний ее ректор, знаменитый писатель и философ архимандрит Иннокентий (1800—1857) назначил пригласнувшегося ему талантливого выпускника преподавателем немецкого языка и истории немецкой литературы. С 1836 года Авсенеv читает психологию. В 1839 году получает звание экстраординарного, а с 1845 года — ординарного профессора. Одновременно (с 1839 г.) читает в университете курс лекций под названием «История души», в которых особое место уделялось загадочным явлениям «ночного сознания» (сомнамбулизму, магнетизму, ясновидению, предсмертным состояниям и пр.). Поддерживал дружеские связи с будущими кирилло-мефодиевцами. Его размышления о подсознательных явлениях во многом определили взгляды Т. Шевченко на роль и природу сновидений. Для киевлян 1840-х годов само имя Авсенева было синонимом философа. «Молва о нем, — писалось в некрологе 1853 г., — росла с каждым годом. Для посетителей Киева (говоря особенно о лицах духовного звания) видеть смиренного философа считалось так же важным, как и видеть знаменитого проповедника киевского* /.../ Весь мысль, весь



углубление — вот что был «добрейший» Петр Семенович».

Однако карьера киевского мыслителя окончилась самым неожиданным образом. Разочаровавшись в новой европейской философии, он уходит из университета (в 1844 году) и принимает монашество под именем Феофана. В 1846 г. с благословения митр. Филарета возведен в сан архимандрита, читает философию в Академии и с этого времени вплоть до 1850 года исполняет обязанности ее инспектора. Очевидно, митрополит Филарет готовил всеми уважаемого ученого-мистика и архимандрита-аскета к должности ректора, но этим планам не суждено было сбыться. Академические круги не одобрили стремления Авсенева примирить богословие с философией и подвергли

его лекции ожесточенной критике. В 1850 году, разочарованный и в университетских, и в академических кругах архимандрит Феофан, ссылаясь на состояние здоровья, подал в отставку. В Петербурге, куда он бежал из Киева, ему предлагают место священника при русском посольстве в Риме, где он неожиданно и умирает от чахотки. Похоронен на римском кладбище у ворот святого Петра рядом с могилой художника Карла Брюллова.

В уходе и смерти Авсенева было нечто символическое, роковое. После него Академия претерпевает ряд изменений. И едва ли те изменения были к лучшему. Вместо умершего да-

ровитого Я. Амфитеатрова на кафедру церковного красноречия назначается скромный бакалавр Фаворов. Место самого Авсенева занял только что окончивший курс И. Руднев. Вместо назначенного владыкой в Тулу блистательного Дмитрия Муретова ректором становится непопулярный родич киевского митрополита архимандрит Антоний.

Но труды ушедших не пропали даром. Со временем зазвучали громкие голоса их талантливых учеников. Список выпускников академии 1851 г. украшали имена таких известных впоследствии деятелей, как П. Юркевич, И. Малышевский, З. Сольский, Ф. Лебединцев.

** Речь идет о ректоре Академии Иннокентии Борисове, которого (по свидетельству графа М.Д. Бутурлина) в конце 1830 — начале 1840-х гг. называли «современным Златоустом» Киева.*

/Мнение о Канте/

/Студент/ Аллопол Иванovich /Ковалевский/ рассказывал о любви его /Авсенева/ к философии, о преданности своей науке, о глубине его мышления. «Уж верно, не ошибусь /говорил он/, если скажу, что отец Феофан и стоя на проскомидии поминает и молится о Канте и других философах».

(40, 662).

/Полуночное пение профессора/

Развлечения незабвенного профессора нашего состояли в игре на гуслях, соединенной с пением его и друзей его каких-либо духовных песнопений, в дружеской беседе с сослуживцами и в редких выходах в светское общество Киева.

Жившие в верхнем этаже над его комнатами студенты почасту наслаждались после вечерних молитв слушанием мелодической игры Петра Семеновича, сопровождаемой пением. Иногда собирались к нему молодые бакалавры академии, засиживались далеко за полночь: но хозяин, радушно принимавший гостей и предлагавший им разное угощение, за зеленый стол не садился*; он брал в руки книгу, садился под окно, и если была весенняя или летняя пора, отворив его, смотрел

на небо, или слушал пение соловьев в садах, либо торжественный гул лаврского колокола, в 12 часов ночи приглашавшего иноков к молитве.
(420, 117).

*Т. е. не играл в карты с гостями, хотя и не препятствовал им делать это.
— А.М.

/.../Его лекции были столь интересны, что студенты академии боялись проронить из них хоть одно слово. И как профессор нам говорил очень приятно, но довольно тихо, то слушатели постепенно приподнимались со своих мест, наклоняли к нему головы через парты и часто до того одушевлялись его беседами, что по самому телу пробегал как бы электрический огонь. В глубоком раздумье и молчанье расходились мы от лекций психолога и философа нашего /.../ У студентов же университета одушевление к лекциям Авсенева простиралось, рассказывали, до того, что нередко, в знак особенного почта любимому наставнику, выносили его из аудитории на руках, на его профессорском кресле.
(420, 116—117).

Рассказывали, что Петр Семенович имел намерение вступить в жизнь семейную и думал иметь подручного жизни дочь одного из купцов киевских. Но это намерение профессора почему-то не состоялось. Вероятнее всего потому, что не купцам было предпочесть ученость капиталам, так как ту особу, которую думал Петр Семенович взять за себя, скоро выдали за богатого купца. Чтоб не остаться навсегда в скучном и неопределенном положении старого холостяка, а более по религиозному настроению своей нежной души, профессор Авсенов, будучи уже в чине статского советника, вступил в монашество.
(420, 118).

С став монахом, отец Феофан усердно занялся чтением святой Библии, которая и его философским лекциям сообщала более света и теплоты. Раз говорил он студентам:

— Друзья мои! 15 лет посвятил я на чтение произведений лучших мыслителей человечества, но как сожалею теперь, что св. Библию читал доселе весьма редко! Поверьте мне, все лучшее, все цветы, вся роскошь, какие обретаю я в творениях философских, почерпнуты из этого богатого родника — Святой Библии.

Наши Четы-Миниен он весьма любил и называл их богатыми источниками душеведения. А о писаниях подвижнических отзывался, что все лучшее в немецких психологах почерпнуто из бесед преп. Макария В., из «Лествиды» преп. Иоанна и других*.
(420, 118).

* Речь идет о подвижниках Макарии Воронежском (святителе Митрофане [1627—1703]) и Иоанне Лествичнике, игумене Синайской обители, жившем в VI или VII веке, авторе знаменитого руководства к иноческой жизни «Лествица райская», изданного в Венеции в 1531 г.

По его понятиям, та жестокая болезнь /сумасшествие/ есть в руках промысла Божия страшная, но спасительная мера к врачеванию души от язвы греха. Большею частью сильные страсти, в особенности страсть гордости, повергают человека в сумасшествие. Но случалось от сумасшествия многим выздоравливать. И что замечали в них? Замечали людей совершенно изменившихся к лучшему в духовном отношении, людей, сделавшихся глубоко благочестивыми и нравственными. /.../ При отходе от сей жизни у помешанных возвращается ясное теоретическое и практическое сознание, и тогда они так хорошо припоминают всю свою жизнь, так глубоко осознают свои ошибки и прегрешения, так искренне в них каются, что подлинно надобно удивляться, как из видимого, страшного для человека несчастья происходит высочайшее его благо — вечное спасение души.

(420, 115—116).

Нравственную философию свою Петр Семенович построил решительно на началах христианских. Будучи сам высокой нравственности, ее возвышая над всем, ставил выше науки и искусства, и в философии, истории старался открыть следы божественных начал нравственных.

Так, рассуждая однажды, почему и каким образом Китай при устарелости форм государственной жизни своей мог просуществовать самостоятельным государством от глубокой древности и до начала наших дней, профессор указывал явное исполнение обетования Божия над послушною пятой заповеди нации китаийской.

Известна глубокая почитательность китайцев не только к родителям, но и к старшим. За эту-то почитательность Господь, говорил профессор, награждал целый народ тем благословением, каким Он обещал наградить каждого послушного сына, послушную дочь, почитательных братьев и сестер, говоря: «Долголетен будешь на земли».

(420, 114).

Когда в «Современнике» за 1847 год появилась злая статья Литтре об успехах новейшей физиологии, где сочинитель рассуждал, что будто бы разумных целей в мире нет и учение о целях ума божественного, или о конечных причинах, будто бы окончательно пало, /.../ отец инспектор /Феофан/, знавший, что студенты выписывают «Современник», призвал к себе их и вот что сказал:

— Молоко кормилицы, бессознательно для младенца входя в плоть и кровь его, отражает в нем и душевные ее свойства. Так, друзья мои, и мысли, нами слышанные в юности, незаметно для нас самих входят в духовный организм наш. После и рады бы мы были от них отказаться, но бываем не в силах. «Современник» проповедует материализм и безбожие. Советую же вам его не читать. Хотя бы мысли его кому и не нравятся теперь, но впоследствии иные из вас могут увлечься ими!

Выслушав мудрое наставление уважаемого профессора, мы перестали выписывать «Современник».

(420, 120).

/Сожжение Штрауса/

Сохранился следующий рассказ, который подтверждается документами. В 1845 году он /Авсеньев/ взял для прочтения из университетской библиотеки книгу Штрауса «Жизнь Христа» на немецком языке. Авсеньев, читая это произведение, был глубоко возмущен некоторыми взглядами автора его, и однажды был так раздражен некоторыми выводами Штрауса, что оба тома этого сочинения бросил в топившуюся печь*. От книги остались одни обгорелые остатки. Авсеньев внес в библиотеку следуемые 7 руб. 92 коп. за книгу, но ректор потребовал от него объяснений по поводу того, куда делось это сочинение, к тому же еще и запрещенное. Авсеньев счел неудобным объяснить ректору, что он сжег это сочинение в припадке раздражения или не желая вводить других в соблазн его чтением. Он ответил:

«Читая однажды поздно ночью это самое сочинение за столом при свечке и, имея перед собой обе оные части /книги/, я нечувствительно погрузился в крепкий сон. Пробужден быв от него смрадом, я увидел свечку, павшую на стол и раставившую и вещи кругом ее — тетради, книги — или тлеющими или горящими в огне, и в числе последних оба тома упомянутого сочинения. Заставши только одни малые обгоревшие остатки, я случайно сохранил их между обгоревшими вещами и теперь честь имею представить при сем в доказательство, что упомянутые оба тома подлинно сгорели, т. к. по ним можно еще следить страницы сего сочинения.

Бывший преподаватель университета иеромонах Феофан.

16 декабря 1845 года».

Рассказ этот передавал нам также покойный О.М. Новицкий, бывший сослуживец Авсеньева.

(376).

**Раздражение философа-теолога вызывало то, что Штраус полностью отрицает божественную природу Христа, изображая его просто как выдающегося человека.*

/О восторге курицы/

Однажды отец Феофан /Авсеньев/ на лекции в университете, проводя /.../ параллель между духовным и чувственным бытием, задался вопросом: «Что значит, что, когда режут, например, курицу, она так сильно трепещется и бьется?» И разрешил это тем, будто не страх смерти и боль от резания приводит ее в такое состояние, а какое-то чувство восторга, что вот она (курица), назначенная в пищу человека, через процесс питания обратившись в соки организма существа высшего, телесно-духовного, переходит из своего чувственного животного бытия в высшее... и что она предвкушает здесь как бы сладость того состояния, которого, по слову апостола, чаеет вся тварь: *яко и сама тварь освободится от работы испления в свободу славы чад Божиих.*

Мысль эта, сама собою оригинальная и в своем роде завлекательная /.../, скоро из стен аудитории разнеслась и сделалась известною, кому следовало знать, и наконец самому высокопреосвященному Филарету. Последний, воспользовавшись случаем, когда собрались к нему начальствующие и профессора академии монаше-

ствующие и другие попросту на домашний обед, завел речь о предметах, близких к сказанному, и наконец поставив вопрос как раз такой же самый, каким задался отец Феофан, вдруг обратился к последнему /.../

— А потому я вот что тебе скажу по-моему, не философско-метафизическому, а простому рассуждению. Если нам, монахам по уставу, не положено употреблять в пищу курицу, а только яйца, то этим самым, по моему, и не дано знать, что чувствует курица, когда ее режут, и в какой восторг приходит она от представления /.../ будто бы переходит в какое-то высшее бытие... А сказать прямее: разве животные назначены были изначально в пищу человеку?! А ведь, по твоему толкованию, это необходимо следовало бы... Пока мир не изменится и пока он во зле лежит, то тварь и должна быть жертвою работы и истления... Какой же здесь для твари, следовательно, и для твоей курицы, восторг? /.../ Постарайся же изменить высказанное тобою перед студентами мнение, представить его не более как в значении парадоксальности и неуместной софистики, которые как нельзя более справедливо уподобить куриной же слепоте.

(58, 168–170).

/Философ в рясе/

Архимандрит Феофан замечателен как увлекательный философ. Когда он читал свои лекции в университете св. Владимира, то его уроки, особенно по психологии, так увлекали студентов, что его после лекции выносили на руках на подъяе.

Я видел его проповедующим в Киево-Печерской лавре. Он был очень худой, сильно близорук, носил очки. Вид его был симпатичный.

Замечателен Авсенов еще и тем, что с его поступления в начальники миссии архимандрит стал носить не фраки и сюртуки, а рясы. Феофан первый заявил при назначении его в миссию, что он примет назначение в Рим только тогда, когда ему позволит носить бороду и монашеское одеяние.

Доложили об этом императору Николаю I. Император Николай I пожелал, чтобы ему лично представили Феофана, и после беседы с ним заявил свое соизволение на оставление рясы за начальниками Римской миссии.

(447, 404).

/Философический путь в загробный мир/

Прибыв летом 1851 года в Рим на данное ему настоятельское место при нашей посольской церкви, он в следующем году, ко дню Пасхи, почувствовал близость смерти и готовился к ней как истинный христианин, хотя впрочем он уже давно был приготовлен к ней.

Он скончался в глубоком размышлении: и можно бы дерзнуть подумать, что начатый здесь ряд его мыслей продолжался неизменно там.

(134, 8–9).

АРХИЕПИСКОП АНТОНИЙ АМФИТЕАТРОВ

Антоний Амфитеатров (в миру Яков Гаврилович Амфитеатров) (1814/1815–1879) — из когорты церковных деятелей, называвшихся «филаретовцами» (племянники владыки и мужья племянниц). Учился в калужском духовном училище и в Киевской духовной академии (1836–1839). В 1840 г. дядя-владыка постриг его в монахи под именем Антония. Это произошло 12 сентября, а 14 сентября он уже иеродиакон, 15-го — иеромонах. Столь же стремительной была его карьера и на учебно-педагогическом поприще: звание бакалавра он получает сразу по окончании академии, 19 июля 1841 г. — назначение на должность инспектора семинарии. В 1845-м возведен в сан архимандрита и назначен ректором семинарии. Его «Догматическое богословие православной церкви» (1848) было единственным печатным учебником по богословию для семинаристов. По нему же учились и студенты академии. В 1849 г. Антоний служит в Петербургской консистории, но столичная жизнь чем-то не устраивала его, и в 1850 г. он возвращается в Киев. В январе 1851 г. назначается ректором Киевской академии. На этой должности он остается до начала 1858 г., когда умирающий владыка-дядя добивается его назначения епископом чигиринским и викарием киевским. Указ последовал 1 марта 1858 г., а хиротонисали его (30 марта) те же еписко-



пы, что погребали митр. Филарета. Несмотря на явную опеку дяди, племянник не отличался ни угодничеством, ни лестью, ни искательством званий и должностей. Об этом говорит и то, что со смертью Филарета карьера Антония не закончилась. Пробыв год викарием, он в октябре 1859 г. выезжает из Киева на Смоленскую кафедру, а в 1866 г. становится архиепископом казанским. Отличался суровым характером, руководил подчиненным ему духовенством по старинке, грозно, но всегда заботился о его интересах, в первую очередь материальных.

Его чувство благодарности к дяде проявилось прежде всего в стремлении увековечить память этого действительно великого человека. За два года до своей кончины митрополит Филарет настойчиво просил племянника записывать все его рассказы о прошлом

и тщательно сохранять записки для будущего биографа. На протяжении многих лет Антоний собирал и обрабатывал материалы, касавшиеся жизни и деятельности великого владыки, и только в 1866 г. передал собрание документов своему духовному сыну Сергию Василевскому. Так появилось уникальное трехтомное исследование (арх. Сергей Василевский. Высокопреосвященный Филарет, в схимонашестве Феодосий (Амфитеатров), митрополит киевский и галицкий и его время. — Казань, 1888). Впрочем, суммы, завещанной Антонием, оказалось недостаточно не только на печатание этих трех томов. Еще до их выхода, продолжая работать над монографией про Филарета, Василевский издал в 1885 г. два тома аналогичного сочинения про его племянника.

Дядю и племянника ожидала разная судьба. Филарет остался в памяти Киева идеалом доброго пастыря, горожане называли его «добрым дидусем». Его суровость хранителя заветов церковной старины сполна возмещалась и уравновешивалась глубоким христианским состраданием к человеческим слабостям. Он воевал с пороками своего времени, но никак не с их носителями. Антоний заим-

ствовал у своего великого дяди нетерпимость к чуждым православному учению новшества, но при этом не проявлял душевной чуткости, человечности, снисходительности к слабостям ближнего. Филарет был врожденным праведником, а его племянник — всего лишь реакционно настроенным церковником. Показательно, что напечатанная в ж-ле «Всемирная иллюстрация» по поводу его смерти заметка была похожа скорее на пасквиль, чем на некролог.

При этом владыка Антоний не был лишен и привлекательных черт. Он помогал, чем мог, своему неудачливому однокашнику по академии Аскачскому, давал средства на издание его книг. Как и многие выпускники Киевской духовной академии, Антоний презирал деньги и не помышлял о материальных благах. Духовное завещание владыки, напечатанное в шестой книжке «Киевских епархиальных ведомостей» за 1880 год, заканчивается такими словами:

«Денег у меня по смерти не искать, т. к. по обету иноческой нестяжательности я их не сберегал, а какие имел, то употреблял на текущие нужды, на пособие родным и нищим и другие дела благотворения».

Сам крайне аккуратный в преподавании, он (инспектор семинарии Антоний. — А.М.) не смотрел равнодушно на пропуски уроков или на опаздывание на уроки со стороны наставников. Он имел обычай расхаживать по коридору, по обеим сторонам которого были двери в классы, дотеле, пока последний преподаватель не уходил в класс.

— Совесть ходит по коридору, — выражались о нем по этому поводу сослуживцы.

Следует добавить, что в своих заявлениях, предложениях, требованиях он был тем настойчивее, что знал, как и другие, что его всегда поддержит дядя-митрополит, имевший к нему полное доверие. Даже ректор семинарии, каким был тогда Евсевий (впоследствии экзарх Грузии), человек более мягкий и снисходительный, находил иногда нужным уступать строгим требованиям инспектора, которого впрочем уважал. (13/А, 11).

Рассказчики /студенты академии. — А.М./ представляли даже некоторые обычные приемы и манеры Антония, выражение его лица и походку. Во всех этих отношениях прилагалось к нему понятие об особенной, до изысканности, аккуратности в держании себя, во внешнем одеянии и вообще, по представлению и выражению малороссийскому, о чем-то *вельможено-панском* — в смысле гонора и повелительности.

(56, 92).

Ректор /семинарии/ Антоний, впоследствии архиепископ казанский, заступивший место Евсевия Ильинского, был совсем иного права человек. Строгий исполнитель монашеского обета, бодрый духом, слабый и желчный телом, он не мог переносить спокойно ученических шалостей, щегольства и некоторой светскости во внешних манерах, вместо коих он желал видеть в семинаристах и привить им дух монашества, безусловную скромность, смирение и низкопоклонство, — добродетели, менее всего возможные в пылом юношеском возрасте /.../ Как начальник семинарии он омрачил свою славу тем, что ввел в употребление так называемую современниками «правленскую баню», т. е. сечение в правлении розгами учеников низшего отделения семинарии за трубочурение, пропуск уроков и церковных служб.

(330, 204—205).

Не затруднялся Антоний часто исключать из семинарии, и притом не только в конце года, но и среди учебной трети, особенно тех, кои ему просто почему-то не нравились. Так, например, ученику Иустину Шереметьинскому он сказал публично в классе:

— Мне твоя физиономия не нравится, — увольняйся! — и исключил среди трети. По такой же причине он раза два исключал из семинарии ученика Павла Соколовского, но так как он состоял в хоре митрополита Филарета, то последний опять принимал его в семинарию по прошению.

Свою жестокость к предназначенным к исключению или к внесению в третий разряд он оправдывал следующим странным убеждением, которое нередко высказывал пред учениками в классе:

— Пером и рукой начальника владеет сам Бог, — и при этом, зажмурив глаза, опускал карандаш на список, и на чью фамилию он попадал, тот заносился в третий разряд* или был исключаем, смотря по тому, что требовалось в данном случае.

Одному из исключенных, поступившему юнкером в кавказскую армию и пришедшему к Антонию объясниться по поводу безвинного исключения из семинарии, он, прогоняя его вон из приемной, сказал:

— Ступай вон, негодяй! Чтобы тебя первая пуля чеченца не минула, — что и сбылось.

(330, 205—206).

*В классных журналах списки учеников составлялись в соответствии с успеваемостью учеников, которых разделяли на разряды. В последний, третий, входили наименее успевающие.

Я.К. АМФИТЕАТРОВ

Яков Косьмич Амфитеатров (1801–1848) родился в с. Высоком Кромского уезда Орловской губернии в семье причетника, ставшего впоследствии священником. В 1819–1825 гг. учился в Орловской семинарии, увлекался математикой и философией, мечтал стать священником в родном селе и заниматься сельским хозяйством. Однако, по настоянию его дяди калужского епископа Филарета (впоследствии митрополита киевского), семинарское правление направило его на учение в Киевскую духовную академию. Окончил 4-й курс (в 1829 г.) со степенью магистра богословия и словесных наук, оставлен в академии бакалавром. Преподавал на кафедре церковной словесности и проявил большой риторский талант. Слыл в Киеве «вторым Левандой» и пользовался славой реформатора церковного красноречия. Как вспоминал впоследствии В. Аскоченский, новый проповедник Киевской академии «заговорил просто, но какая бывала бездна мысли и чувства в этой простоте». В 1835 г. занял кафедру всеобщей словесности Киевской духовной академии. В этом же году завершил работу

над первым томом своей гомилетики. Завершенная работа в 2-х томах — «Чтения о церковной словесности, или Гомилетика» вышла в свет в 1846 г. Печатали свои «Беседы» в «Воскресном чтении», издаваемом с 1837 г. при духовной академии. Отдельною книгою они были изданы в 1847 г. Повести и рассказы Я. Амфитеатрова печатались в ж-ле «Маяк». В 1853 г. появилась книга переведенных им «Писем И. Златоуста к диаконисе Олимпиаде».

В первую неделю Великого поста 1848 г. Я. Амфитеатров совершил традиционное внутригородское паломничество по святым местам и посетил пещеры Лавры. Возвращаясь домой, в Братский монастырь, простудился и умер. Похоронен в Выдубицком монастыре, где, как пишет Л. Проценко, до 1951 г. можно было увидеть с северной стороны Георгиевского собора памятник с надписью: «Здесь погребено тело ординарного профессора Киевской духовной академии Якова Кузьмича Амфитеатрова, род. в 1801 г., сконч. же 8 июня 1848 г. Аще живем, аще умираем, Господи есмы (Рим. 14, 18)». К сожалению, могила этого «киевского антика» утеряна, а само имя его забылось.

Амфитеатров редко являлся в обществе. Он всегда чувствовал себя неловко там, где люди говорят для того только, чтобы не молчать и где задушевная мысль является странною и эксцентрическою. Оставаясь для приличия на какие-нибудь полчаса, он незаметно уходил к своим пенатам /воспитанникам/ и заводил с ними умный и оживленный разговор.

Чувство изящного, широко развитое богатой душой Амфитеатрова, заставляло его любить музыку, но только не итальянскую, не ту, которая является в наших светских романах, а музыку простую, народную, где поет сама душа под аккомпаниман животрепещущего слова.

Но больше всего утешали скорбную душу его песнопения нашей православной церкви. Самые простые напевы погружали его в умиление, и оставался он неподвижным, прислушиваясь внутренним слухом к высокой мелодии, неудовимой никаким контрапунктом.

(22, 263).

Сам познав нужду во всей ее тяжелой ноте, Амфитеатров любил благодетельствовать беднякам, лишенным всякого вспоможения. Но благодетельствуя, он крепко не жаловал излишней благодарности, и с досадой отворачивался от того, кто решался приступить к нему с изъявлением признательности. Зато как он радовался, если видел, что благодеяние его не пропадает даром, что поднятый им из бедности и нищеты оправдывает его надежды и желания!

— Спасибо тебе, голубчик, — говорил он такому бедняку, — я знал, что из тебя будет прок!

Вот и вся для него награда!

(22, 262).

Гомилетические произведения Амфитеатрова, относящиеся к эпохе его молодости, значительно разнятся от тех, которые писал он уже в пору зрелого мужества.

Обладая счастливым даром обнимать предмет поучения разом, всеми способностями своей души, он в первые годы своего проповедничества позволял себе иногда уноситься в область фантазии и некоторого мистицизма. Чуден, невыразимо обаятелен был мир видений, открываемый вдохновенным служителем евангельской истины! Теперь уже нет этих поучений и бесед: ибо Амфитеатров по мере того, как возрастал и укреплялся в священном деле проповедания Слова Божия, сам истреблял большую часть своих творений, а выпросить их для переписки почти не было никакой возможности.

— Читай Димитрия Ростовского, читай св. Златоуста, что тебе мои проповеди! — так бывало отвечал он иному неотступному почитателю его таланта.

(22, 255).

Эта любящая, эта прекрасная душа с грустью отказывалась от счастья супружеской жизни. Обремененный немощами и неизлечимой болезнью, Амфитеатров умер, как и был, одиноким.

Напрасно в дружеских откровенных беседах советовали ему приискать себе достойную спутницу жизни — он упорно и с грустной иронией отказывался от этого:

— Эх! — говорил он в таких случаях. — Что я за сумасшедший, чтоб заставить какую-нибудь бедняжку терпеть мои немощи, мои болезненные капризы! Мне одному дал их Бог; один и понесу я их до могилы.

(22, 263—263).

Появление «Маяка» вызвало нашего ученого /Я. Амфитеатрова/ на новую литературную деятельность. Умное, строго христианское и чисто русское направление этого журнала* возбудило во всех благонамеренных людях живое участие; по просьбе издателя Амфитеатров согласился поступить в число его сотрудников. Не считая себя впрочем ни беллетристом, ни приносящим литературой, он начал помещать в «Смеси» «Маяка» небольшие статьи, заимствуемые из простонародного быта, под названием «Простоволосые». Наконец, в 1844 году появилась в этом журнале большая повесть «Левка Долина», подписанная так: «Писал Афанасий Иванов, самовидец». «Кто такой этот Афанасий Иванов?» — спрашивали литературные аристократы, изумленные высоким талантом неизвестного киевлянина, глубокой и многосторонней наблюдательностью, добротою, живостью и какою-то наивностью чувства, силою воображения и необыкновенною меткостью и картинностью рассказа. Тогда еще преследовали эту речь, которая в таком совершенстве явилась после в рассказах Григоровича и Тургенева; тогда этот язык некоторые журналы, без милосердия наводнявшие нашу литературу иностранными фразами и дикими оборотами речи, называли «мужицким», но публика не всегда слушается журнальных говорунов, не всегда подчиняется литературному их деспотизму.

Неизвестный Афанасий Иванов заинтересовал собою всех; в литературных кружках образовались партии, как водится, одни до небес превозносили, другие отзывались с пренебрежением об этом оригинальном произведении Амфитеатрова.

(22, 257—258).

**Петербургский журнал «Маяк» (1840—1845) был одним из первых украинских журналов, издаваемых в России на русском языке. Издание отличалось «чисто русским», т. е. консервативно-патриотическим характером. Вместе с тем в нем печатались и лучшие украинские писатели того времени (Т. Шевченко, Н. Костомаров, Г. Квитка-Основьяненко, П. Гулак-Артемовский и др.).*

Г.И. БОЙКОВ

Григорий Иванович Бойков — профессор словесности и латинского языка в Киевской духовной семинарии с 1829 г. После смерти от холеры в 1830 г. учителя Илария Новицкого взял на себя еще и преподавание его предмета — гражданской истории. Один из бывших учеников се-

минарии, прот. П. Марковский вспоминал, что Бойков не был выдающимся педагогом, его «трудно было понять, так как он всегда старался говорить в октаву и невнятно». Он вошел в городское предание как колоритная личность, большой оригинал и «антик».

Профессор латинского языка, под конец службы Бойков, — красавец собою и обладавший громадною физическою силою, он почему-то боялся крыс, а еще более женщин, при встрече с коими на улице старался переходить на противоположную сторону. Зная в совершенстве латинский язык и имея превосходную память, он напивался, как говорится, до чертиков и умер от белой горячки.

При этом он /Бойков/ был близорук и нюхал табачок. Подходя к семинарской калитке, он снимал картузик и держал его в руке. Раскланивался со всеми встречаемыми, а также и с торговками, имевшими здесь, под семинарской оградой, свои рундуки, перенесенные в 1860-х годах на торговую площадь около Льва*. Пришедши в класс, Бойков обыкновенно вынимал из кармана и закладывал между пальцами носовой платок, табакерку, список учеников и карандаш, а по окончании урока, как только послышится звонок, он немедленно оставляет аудиторию и поспешно уходит задом из класса, раскланиваясь со своими слушателями на обе стороны. Через каковую свою поспешность, соединенную с близорукостью, он однажды захватил со стола вместе с табакеркою и платком также чернильницу, которую опрокинул в шапку и тем премного распотешил учеников. (330, 182).

**Имеется в виду толкучка у восстановленного в 1980-х гг. фонтана Льва или Самсона возле киевского Гостиного двора на Подоле.*

Степень познания учеников он /Бойков/ определял довольно оригинальным способом, отмечая в списке против каждого ответы или рядом единиц с плюсом, — самая лучшая отметка того времени, или рядом нулей. Бывало, спросит: такой-то! Ученик выходит на середину класса, побли-

же к столу, за которым сидит или стоит профессор. Бойков приближается к нему, осматривает кругом: во что одет, как стоит и, всматриваясь в лицо, спрашивает:

— Это не родственник тебе такой-то, что учился у меня тогда-то?

— Да, родственник! — отвечает робко спрошенный.

— Ну, хорошо, ступай на место. Он был у меня эминент. И ты будешь эминент*, — и ставит ему ни за что ни про что ряд единиц с плюсом. Другому же, на подобный ответ, говорит:

— Ступай, дурак, на место. И он (знакомый или родственник спрашиваемого) у меня был в третьем разряде, и ты будешь в третьем разряде... — И ставил ему в списке ряд нулей /.../

При столь своеобразном способе оценки ученических познаний, стоявших в тесной связи с доброю или дурною памятью профессора, выходило в заключение то, что очень прилежные ученики нередко попадали в третий разряд, а ленивые и бездарные в первый, что всегда почти и обнаруживалось на экзаменах. Ректор, бывало, в недоумении спрашивает Бойкова о причинах, почему такой-то записан в третий разряд, когда отвечал на экзамене не хуже перворазрядных? В разрешение недоумения Бойков по обыкновению подходит к ученику, осматривает его кругом с головы до ног и затем, поворотившись к ректору, говорит с видом удивления:

— Не понимаю, как он попал в третий разряд, он у меня эминент, ваше высокопреподобие!
(330, 183).

**Превосходный, лучший ученик.*

Между учениками Бойкова было немало таких, которые отлично знали латинский язык и нередко указывали на погрешности товарищей при ответах профессору, внимание которого было ослаблено или потемнено состоянием невменяемости.

Среди таких особенно наблюдательностью отличался ученик Березницкий, почему Бойков всегда имел его в виду, и если замечал, что Березницкий покачивает головою, то сейчас сердился на него и кричал:

— Ты чего качаешь головою? Думаешь, я не знаю, что он врет? Давай мне Цицерона, давай Тита Ливия, давай... давай... Самого черта давай, так не проведет меня!

(330, 183).

Общительность и простота в обращении Бойкова с воспитанниками /семинарии/ доходили до того, что, когда он был экономом в семинарии, некоторые из казеннокоштных учеников заходили к нему ради выпивки стаканчика чайку или рюмочки водки, за которою он их и посылал.

Любителей дарового угощения набиралось немало, некоторые же охотники до выпивки надоедали ему до того, что при всей своей снисходительности и добродушии он должен был им отказывать, за что обиженные делали ему разные пакости.

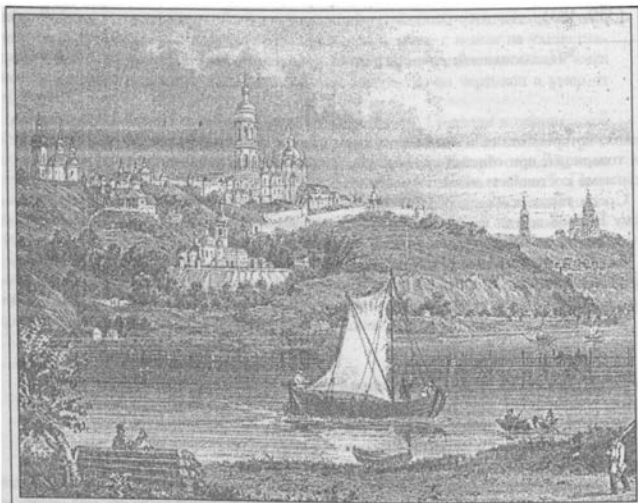
Так, ученик Александр Дейнекин, рассердившись на Бойкова за то, что он отказал ему в выпивке, и зная трусливую натуру его, отомстил ему за это таким об-

разом. Однажды вечером Бойков по какой-то надобности вышел из своей квартиры, забыв запереть ее на замок. Дейнекин, подкарауливавший его, моментально вошел в спальню Бойкова и улегся под его кроватью. Через несколько минут Бойков воротился и, ничего не подозревая, лег спать. Не успел он вздремнуть, как почувствовал, что его кровать вместе с ним поднимается вверх. Испугавшись, Бойков вскочил с постели и убежал во двор в чем был, наделавши шуму. Вслед за ним незаметно впотьмах вышел Дейнекин и скрылся. Когда об этом приключении узнали поутру семинаристы, то вскоре некоторые из них пришли его проводить и расспросить Бойкова о случившемся. После них пришел Дейнекин с выражением удивления и сказал:

— Это вас Бог хотел наказать за то, что вы отказали мне как-то в рюмочке водки, — помните. Дайте же хоть теперь. Выпьем за ваше здоровье.

И вышли.

(330, 184–185).



Вид на Лавру с левого берега Днепра. Литография 1850-х гг.

АРХИЕПИСКОП ИННОКЕНТИЙ БОРИСОВ

Иерарх-философ архиепископ Иннокентий (в миру — Иван Алексеевич Борисов) (1800—1857) — сын елецкого приходского священника. Воспитанник Орловской духовной семинарии, выпускник 1 курса (1849—1823) Киевской духовной академии. Ее первый магистр. С 1823 по 1830 г. живет и преподает в Петербурге — сначала в семинарии, потом в духовной академии. С 1826 г. доктор богословия. Возведен в сан архимандрита и назначен инспектором. С 17 августа 1830 г. — ректор Киевской духовной академии и ординарный профессор богословия.

В 1836 г. ректор Иннокентий подал идею создания первого в истории Киева журнала. Он должен был издаваться при Киевской духовной академии силами ее профессоров и иметь (в пику иным, слишком «легкомысленным» с точки зрения киевлян, столичным изданиям) специфичное духовно-нравственное направление. Первыми сотрудниками журнала «Воскресное чтение» стали: философ и педагог И. Скворцов, молодой богослов, будущий ректор Димитрий Муретов, литературно одаренный проф. риторики Я. Амфитеатров, любимец киевского студенчества философ-мистик П. Авсеев и др. Идею религиозного журнала поддержал и митр. Болховитинов. Первый номер «Воскресного чтения» появился в 1837 г. (уже после смерти владыки Евгения) и имел 100 подписчиков. 3 октября 1837 г.



Иннокентий назначен епископом чигиринским и викарием Киевской епархии (1837—1841) (указ об увольнении с должности ректора последовал лишь в октябре 1839 г. по инициативе недолголюбивавшего его нового митрополита Филарета), затем — епископом вологодским (1841—1842) и харьковским (1842—1848). Умер в Одессе, в сане архиепископа херсонского (1848—1857).

Автор ряда популярных в свое время сочинений, в которых обнаруживается стремление к сближению богословия с философией. Новации Иннокентия не всегда находили сочувствие в церковных и академических кругах. Невежды обвиняли его в отходе от православного учения, но люди знающие высоко ценили заслуги Иннокентия именно в области богословия. По словам Антония Амфитеатрова, он сокрушил весьма популярный тогда среди студенчества акаде-

мии рационализм и способствовал возрождению в обществе интереса к учению православной церкви. О самих богословских лекциях своего академического учителя Антоний отзывался как о «богословском философствовании или философском богословствовании». Впрочем, впоследствии академия публично покаялась в недопонимании того, чем был занят ум великого богослова. В выпущенной в 1869 г. к 50-летию юбилею реформированной академии официальной исторической записке по этому поводу писалось: «Было даже время, когда Иннокентия как проф. богословия упрекали в увлечениях, в

излишней смелости его богословско-философских созерцаний и вообще оригинальности. Есть предания, что сам Иннокентий в сознании своих увлечений вытребовал в свое время от студентов и сжег часть записанных ими его лекций, и что написанные некоторыми из студентов под прямым влиянием лекций Иннокентия курсовые сочинения были заподозрены в неправомыслии, с лишением даже авторов их ученой степени».

Особое влияние на умы современников имели «Лекции» Иннокентия Борисова и его монография «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа».

Он /Иннокентий Борисов/ проездом в Петербург в Св. Синод в 1852 г. остановился в Киеве, обедал у митр. Филарета и посетил Киевскую академию. Мы, студенты 16 и 17 курсов собраны были в зале, куда Иннокентий вошел в сопровождении начальства и академической корпорации /.../ Архиепископ Иннокентий не производил какого-то сильного впечатления своим внешним видом. На портретах его изображают очень интеллигентным, красивым, с оттенком некоторого изящества на лице. Ничего подобного в Иннокентии не было. Лицо его было простое, похожее по типу на /лица/ простых крестьян, жителей Орловской губернии, какой он действительно и был уроженец. Руки его были не выхоленные, как у многих архиереев, но, напротив, красные, поросшие волосами. Преподавая нам благословение, Иннокентий в то же время вполголоса разговаривал с начальством, что на нас действовало неприятно, потому что мы привыкли от митрополита Филарета получать благословение с полным вниманием к тому, что нам преподавалось. Иннокентий от природы ли или от привычки говорил в нос. Он так влиял на своих учеников, что многие из них старались подражать ему в произношении, даже копировали и усваивали его почерк, это впоследствии время от времени повторялось в Киевской академии даже в 15 курсе...

Михаил Филаретов, впоследствии архимандрит Филарет, ректор Киевской академии, затем епископ рижский, не будучи студентом курсов, бывших при Иннокентии и не слушав его лекций, поставил себе правилом подражать Иннокентию в выговоре. Было довольно смешно, когда Филарет, обладавший открытым голосом, хорошим произношением, вдруг вспомнив, что нужно ему подражать Иннокентию, начинал говорить в нос и копчил тем, что навсегда испортил свой отличный и открытый русский выговор. (447, 129–130).

Ректор духовной академии в Братском монастыре на Подоле был архимандрит Иннокентий, обещавший уже тогда стать на

ту точку церковного красноречия, которая впоследствии приобрела ему имя современного Златоуста. Дар этот он выказал в надгробном слове экспромтом весною 1836 г. при похоронах артиллерийского генерала кн. Яшвиля. Свидетели рассказывали мне, что он весьма эффектно сделал паузу в своей речи, во время которой последовал залп из орудий, и затем продолжал, указав на эту почесть как на последнюю житейскую дань военным заслугам покойника отчеству.
(53, 587).

Кстати, чтоб не пропал анекдот. Сидели однажды в академической зале Иннокентий с Павским особняком, разговаривая о чем-то. Один из сочленов, глядя на них, сказал вполголоса:

— Вот, сидят наши *неологи*...*

— Да, брат, не олухи, — отвечал Павский несколько громче.
(252, 45).

**Неологи — в данном случае ироническое наименование новаторов, новых богословов.*

Второе Иннокентиево письмо, писанное около 1 ноября 1834 г., относится к первоизданному «Обозрению преподавания наук в университете св. Владимира», напечатанному в типографии Киево-Печерской лавры. Я издал его по образцу каталогов Московского университета, т.е. in 4-to, на русском и латинском языках /.../ Получив первую корректуру, разумеется, на серой бумаге, отправил ее к ректору академии /Иннокентию/ по его желанию /.../ Ответ был следующий:

«Виноват, давеча и в ум не вошло отправить к вам сей свиток. Не худое для пошества свидетельство о состоянии лаврской типографии в XIX столетии. Подумаешь, что напечатано на другой день по выходе из Киева Баття /.../»

Что же касается до киевского книгопечатания, то надо заметить, что латинский шрифт, которым набраны были «Praelectiones» 1834 г., был тот самый, которым печатались в Лавре еще знаменитые «Панегирики» академического префекта и учителя философии Михаила Козачинского — Елизавете Петровне 1744 года! /.../

Иннокентий, будучи ректором академии с 1830 года, видя тогдашний застой в искусстве книгопечатания лаврского /.../ порывался не раз учредить свою академическую типографию по давнему на то праву, но ему не было владычняго на то разрешения ни от Евгения, ни от его преемника Филарета; и это смущало ректора, стремившегося к усовершенствованию книжного дела.

(252, 47—49).

А.П. ВАЛЬТЕР

Александр Петрович Вальтер (1817–1889) родился в Ревеле в дворянской семье обрусевших выходцев из Германии. Окончил Ревельскую гимназию (1835) и медицинский факультет Дерптского университета (1841), где слушал анатомию у Н.И. Пирогова. Работал в военном госпитале в Петербурге и направлен для завершения образования в Берлин и Вену. В 1843 г. по рекомендации Н. Пирогова определен адъюнктом в Киевский университет. С 1847 г. — ординарный профессор анатомии. Руководил строительством Анатомического театра и заведовал его работой. В целях антропологических исследований собрал большую коллекцию славянских черепов. (Впоследствии подарил ее бывшему своему прозектору, краковскому антропологу Коперницкому). В 1848–1861 гг. — заведующий хирургическим отделением городской больницы. Вальтер обладал строптивым характером, любил острую шутку, вел деятельный, подвижный образ жизни. В академической среде его недолюбливали. В 1867 г., когда исполнилось 25 лет его практической деятельности, на ученом совете университета он не был избран на следующее пятилетие и в возрасте 50 лет уволен в отставку. В скандальную историю вмеша-



лось министерство просвещения, и по его настоянию Вальтер занял должность сверхштатного профессора анатомии (1867–1872). С 1871 г. заведовал хирургической клиникой университета. Издавал журнал «Современная медицина» (1860–1881). В 1860–1870 гг. выступил в киевской прессе пропагандистом здорового образа жизни и спорта. Благодаря его статьям в 1860-е годы были открыты первые киевские общественные катки для конькобежцев. Но прижиться в Киеве Вальтеру все-таки не удалось. В 1874 г. он переезжает в Варшаву, где еще 15 лет служит медицинским инспектором городских больниц. В душе этот строптивый профессор-изгнанник остался киевлянином. В своем завещании он (немец!) писал: «Хочу быть похороненным на русской земле вблизи родного Киевского университета». Похоронен в Киеве.

Я профессора Вальтера не знал, в Киеве его уже не застал и если упоминаю, то с целью привести замечательное завещание, им оставленное. Вот оно: «Сыновьям моим я ничего завещать не могу, прошу их не марать нашего имени безнравственными делами и усердно служить России и ее Государю».

(467, 25).

Возможность курьезного процесса. 10 марта скончался муж акушерки Розворович, голова которого лет 10 тому назад была продана профессору Вальтеру за 500 руб*. 12 марта тело Розворовича было предано земле, причем семья покойного отказала, несмотря на формальный договор, в выдаче головы.

По слухам, из курьеза этого явится процесс о взыскании головы Розворовича. (156/А).

**В своем Анатомическом театре Вальтер собрал большую коллекцию черепов. Для нее, очевидно, и была куплена голова Розворовича, чем-то заинтересовавшая ученого.*

К этому знакомству следует добавить /.../ профессора анатомии Вальтера, к которому я* приносил собираемые мною в оврагах черепа и кости вместо визитных карточек. Этот Вальтер имел злой язык, насмешливый, остроумный, он знал замечательно хорошо свой предмет и при этом умом и лицом был похож на Вольтера, как мы с графом де Бальменом и прозвали его.

(112, 209).

**Цитируются воспоминания художника Л. Жемчужникова.*

И.И. ВЕЛЕДНИЦКИЙ

Иван Иванович Веледницкий — профессор словесности семинарии. В мемуарах протоиерея П. Марковского упоминался как профессор, принимавший вступительные экзамены в 1829 г. Преподавал риторику и всеобщую историю. Уволен за пьянство около 1836 г. По сведениям В. Аскоченского (Киев с его древнейшим

училищем Академиею. — Ч. 2. — К., 1856. — С. 486), в Киевской духовной академии приблизительно в это же время в нижнем арифметическом классе преподавал некто Иосиф Веледницкий, который позже был священником в с. Стайках Киевского уезда и умер в 1848 г. Возможно, это был брат или родственник профессора.

Профессор /семинарии/ Иоанн Веледницкий, уволенный около 1836 года, был прейнттересный субъект своего времени. Первоначально преподавал он риторику, из коей ему почему-то особенно нравились баллады*, и об них он трактовал почти в течение всего курса, за что ученики и прозвали его «балладой».

Язык у него был несвободен: начальные буквы своей речи он много раз усугублял (повторял); при ответах в классе ученики нередко передразнивали его, стараясь подражать ему в заикании, в особенности тогда, когда он приходил в класс выпивши, что узнавалось по заткнутой за пояс книге (хотя вообще он был человек солидный, никогда в классе не смеялся и на уроки ходил аккуратно). Когда дело дошло до хрип, ** то Веледницкий задал ученикам письменное упражнение на тему: «Безумие, в сию ночь душу твою истяжут от тебе...», повторивши три раза: бе-бе-бе. В насмешку один из учеников написал в своей тетрадке текст так, как говорил профессор — «бебебезумие». Веледницкий на следующем уроке вынул из кармана принесенную им эту тетрадку и спросил ученика, зачем он трижды написал «бе-бе-бе», когда следует писать всего один раз так: «Бебезебезумие». При этом сам повторил свою ошибку несколько раз и вызвал тем всеобщий хохот. (329, 108–109).

*Баллада — излюбленный жанр эпохи романтизма.

**В античной риторике — краткий анекдот об остроумном поступке великого человека или его поучительном высказывании, афоризме.

Задавши однажды урок о тропах и фигурах, он /Веледницкий/ вызвал в классе к ответу заика — ученика Симеона Ле-

видкого и спросил его, заикаясь сам: «Quid est fffigura?», тот ответил, заикаясь: «Fffigura est...» Веледницкий взбеленился и стал бранить: «Как ты, этакый бестия, вздумал смеяться надо мной! Вот я тебя запишу в журнал, вот я тебя потащу к о. ректору!...» Товарищи вступились за беднягу Левицкого и объяснили профессору, что это не насмешка, а природный недостаток.

(329, 110).

После риторики Бургия Веледницкий преподавал всеобщую историю Шрека /.../ Особое внимание он уделял изобретению стекла и открытию пурпурной краски, о коих трактовал тоже почти целый курс. Выслушивание уроков у него производилось чрезвычайно комично и не иначе, как по вопросам, не забегая вперед. Раскроет, бывало, ученический список и спрашивает по порядку: «Такой-то сскажите, нинне бежала ли там ссособака?» (Это по поводу открытия собакою пурпуровой краски). Ученик: «Бежала собака». — «Хххорошо! И нинне делала она ччего-нибудь?» Ученик: «Однажды бежала собака и что-то делала». — «Хххорошо, ооочень хорошо!»

Всеобщий хохот и продолжение в том же вкусе по вопросам.

(329, 110).

Когда речь шла о какой-нибудь войне и кто-либо из учеников любопытствовал знать, кто был полководцем в этом сражении, Веледницкий обыкновенно отвечал: «Дддурак! Ты бы еще захотел знать: кто там был капралом, а кто фельдфебелем? Молчит Шрек, и тебе не надо знать!»

(329, 110).

/Пример самообладания/

Пришедши на урок, Веледницкий никогда не садился, а всегда спрашивал и преподавал ходя или стоя, держась руками за спинку стула, но однажды, будучи в состоянии невменяемости /т. е. сильно пьяным. — А.М./, не удержался на ногах и сел. Все обратили внимание на это небывалое обстоятельство и, толкая друг друга, шепотом передавали: «Сів! Сів!...»* Веледницкий вскочил со стула, как ошпаренный, ударил себя несколько раз рукой по лбу и уже более никогда не садился в течение целого курса.

(329, 110—111).

*Языком общения в семинарии XIX века по-прежнему оставался украинский.

/Вразумление митрополита/

В классе он /Веледницкий/ спрашивал учеников всегда в таком порядке, как они стояли в списке, а не в разбивку из всех трех разрядов, как практиковали другие наставники. В один раз спросит бывало не более 3—4 человек, так что следующие 3—4 ученика готовились к ответу на следующий класс и т. д. Понятно, что классные ответы получались всегда удовлетворительные, а на экзаменах, на коих ректор имел обыкновение спрашивать вразбив-

ку по всему учебнику и из всех разрядов, на отвечающих находил столбняк. Нередко однако случалось второразрядным ученикам отвечать на экзамене лучше перворазрядных; когда ректор обращался к Веледницкому за объяснением причин такой непонятной метаморфозы, на что тот преспокойно бывало отвечает:

— Ваше высокопреподобие, не нарушайте порядка, заведенного мною в классе, ученики будут отлично отвечать.
(329, 111).

/Пьяный профессор и «батарея» «на Шулявщине»/

Во все времена водилось у нас подсказывание урока плохо знающим, но при Веледницком эта профессия имела особый оттенок, и специалисты по этой части, или суфлеры, как их величали, располагались преимущественно на задних скамьях или, как у нас тогда выражались, «на Шулявщине», — где ученики под скамьями и спали, и в карты играли, а чтобы профессору было не видно, что там делается, ученики складывали поверх скамей, особенно в зимнее время, всякую одежду и книги в связках, называя эти приспособления «батареями». Зайти профессору «на Шулявщину» было неудобно, по той причине, что к обоим стенам класса примыкали плотно скамьи, и только посередине имелся тесный проход, через который неудобно было также выходить и ученикам на середину класса для ответа, а потому спрошенный должен был, по приказу профессора, становиться на своей скамье так, чтобы его было видно всему классу, и в таком положении отвечать урок.

Так как на задних скамьях усаживались большей частью ученики плохо учившиеся и ленивцы, то при их ответах суфлеры были крайне необходимы, а исполняли они свою трудную, при вышеописанных условиях и предосторожностях со стороны профессора, роль таким образом: приседали на полу за отвечающим так, чтобы из-за «батареи» не видно было профессору головы, суфлер начинал читать в голос урок по книге, спрошенный же должен был только молча шевелить губами, а когда следовало остановиться, тогда суфлер дергал своего автомата за ногу и тот переставал шевелить губами.

Но однажды произошла следующая комичная сцена: окончив чтение урока, суфлер забыл дернуть стоявшего на скамье автомата, а, может быть, проделал это и нарочно, потехи ради, и тот продолжал шевелить губами, чем возбудил всеобщий хохот в классе, совершенно непонятный для профессора, который, находясь почти всегда в хмельном состоянии, был так нагло и дерзко обманываем.

(329, 112—113).

Состоя профессором, Веледницкий был также и библиотекарем семинаристов. За получением книг из библиотеки семинаристам назначено было являться ежедневно только по четвергам, после уроков. Из книг, предназначенных для чтения, Веледницкий чаще всего давал «Золотые части», которые так опротивели всем, что никто не хотел их брать и в руки, а тем более читать. Если же ученик просил другую книгу, то он должен был сказать ее название, что ставило учеников словесности** в немалое затруднение, а потому они обращались большей частью к философам и богословам***, как более сведущим людям, за советом, какую бы им взять из библиотеки книгу для чтения.

И вот однажды Иван Гаевский (известный потом учитель и инспектор бурсы киевopoдoльcкoй) посоветовал ученику словесности Федору Шереметинскому, с которым вместе квартировал и был репетитором его братьям, попросить у Веледницкого следующие книги: 1) «Путешествие Телемака», 2) «Дело в шляпе» и 3) «Твердость под картузом». Не подозревая насмешки, Шереметинский является в библиотеку и говорит Веледницкому:

— Пожалуйте мне книгу «Путешествие Телемака».

— Дурак, — пробормотал тот.

— Так пожалуйста «Дело в шляпе».

И опять — «дурак».

— Так пожалуйста «Твердость под картузом».

И еще — «дурак»?

— А как твоя фамилия?

Шереметинский, поняв, что попал впросак, быстро скрылся и более никогда за книгами не являлся.

(329, 114).

**Украинцам в тексте автора.*

***В 1830-х гг. отделением словесности называлось низшее (начальное) отделение семинарии.*

****Ученикам высших отделений семинарии.*

С.С. ГОГОЦКИЙ

Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий (1813–1889) родился в семье кафедрального протоиерея в Каменце-Подольском. Его отец закончил в свое время Киевскую академию и читал в ней курс древнееврейского языка. Будущий философ учился в Подольской духовной семинарии (1827–1833) и в Киевской духовной академии (1833–1837), где в 1836–1837 гг. слушал лекции по философии молодого мыслителя с традиционным для Киева религиозно-мистическим оттенком Петра Авсенева. В 1837–1839 гг. С. Гогоцкий преподавал в академии польский и немецкий языки. С 1842 г. — философию. С 1845 г. читает этот же предмет в Киевском университете, куда перешел на параллельную работу из КДА вслед за Орестом Новицким. Митрополит Филарет пытался удержать его от этого шага, но Гогоцкий ссылался на семью и маленькое жалование. Жена его Евдокия Ивановна, известная впоследствии общественной деятельницей (не в пример мужу) либерального направления, была дочерью богатого купца и городского головы Ходунова, но получила небольшое приданое.

С 1848 г. Гогоцкий — доцент кафедры истории, новой философии и философии нравоучительной Киевского университета. В том же году стал экстраординарным профессором Киевской духовной академии. В



1850 г. «крамольную» кафедру философии в университете ликвидировали, но зато академия удостоивает его звания ординарного профессора по классу философских наук. В 1851 г. он становится ординарным профессором педагогики в университете и занимает эту кафедру до 1854 г. После ухода Гогоцкого из академии в 1851 году лекции по философии читает его ученик, только что окончивший курс, а впоследствии знаменитый философ П. Юркевич. Уйдя из университета и академии, Гогоцкий некоторое время работал цензором. Преподавал педагогику в пансионе графини Левашовой (1854–1860) и историю в кадетском корпусе (1857–1861). В 1862–1863 гг. — декан историко-филологического факультета университета. Автор многих трудов по философии, истории церкви, культуры, педагогики. Историки философии выделяют среди них «Философский лексикон» в 4-х томах (К., 1857–1873) как «беспрецедентную по

пытку создания философской энциклопедии» (Огородник И.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. — К., 1997. — С. 50).

Отношения консервативного Сильвестра Сильвестровича со своей женой Евдокией Ивановой, слывшей в Киеве неисправимой либералкой, послужили темой для многих городских преданий и анекдотов. Очевидно, киевляне сильно преувеличивали идейные расхождения в семье Гогоцких. При всем своем консерватизме профессор не был реакционером. Он поддерживал вполне «ради-

кальное» увлечение Евдокии Ивановны делами женского специального и общего образования. После смерти родича Герцена, профессора Селина, возглавил комитет по устройству Высших женских курсов в Киеве (в глазах тогдашнего обывателя — дело сомнительное, если не сказать «крамольное»). В 1878—1880 гг. — председатель педагогического совета курсов, преподавал на них педагогику и психологию. Курсы считались частным учебным заведением, и их «хозяином» был именно он, Гогоцкий.

Заседал факультетский совет, на котором присутствовал и профессор С.С. Гогоцкий, издавна известный своими публицистическими выпадами против украинофилов /.../ Перед самым началом заседания историко-филологического факультета Котляревский наклонился через стол к Владимиру Бонифатьевичу и спрашивает так, чтобы все слышали:

— А не знаете ли вы, В.Б., кто написал последний донос на некоторых профессоров (и в том числе и на Антоновича)?

— Нет, этот донос анонимный, — отвечает ему Антонович.

— Так-то, так, — отвечает Котляревский, — да я думаю, что тут не обошлось и без нашего старичка.

А Гогоцкий, услышав это, и делая вид, что до него ничего не дошло, говорит:

— Как у меня болят зубы — даже ничего от боли не слышу.

(26, 280).

С.С. Гогоцкий читал педагогику в весьма засаленном сюртуке и в сорочке, манжеты которой не имели запонок и связаны были веревочками. И вот, выступая в таком виде перед студентами, проповедовал:

— Педагог не должен быть смешон, он должен быть одет не роскошно, но прилично.

И ничуть не был похож на... С.С. Гогоцкого.

(26, 281).

Лекций его я совсем не помню, вернее сказать, из всего курса помню только одну фразу: говоря о том, что личность самого воспитателя имеет большое значение в деле воспитания, почтенный профессор выразился, между прочим, таким образом: «Педагог должен быть одет не с роскошеством, но с изяществом» — при этом привстал на кафедре и с благодушной улыбкой оглянул свой собственный узенький фрак (мне почему-то казалось, что в таких фраках расчетливые наследники должны класть в гроб опочивших род-



А.И. Гогоцкая

стенников), свой серенький с мелким узорчиком жилет и свой бисерный шпурок к часам...

(3, 264).

Педагогику читал нам Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий, — семинариста-гелертера. Высокий и неповоротливый, скупой одетый, он был человек большой эрудиции и редкого трудолюбия. Но из его дебелого, деревянного ума выходила какая-то мертвая, обезличенная наука: таков был его знаменитый философский лексикон; таков был и курс педагогики, который мы обязаны были слушать, но слушали редко. В этом курсе психологического не было ничего.

Помню я, например, что, говоря о обязанностях домашнего наставника, он подчеркивал, что тот не должен беспокоить

своего хозяина просьбами об уплате гонорара, но должен был терпеливо ждать, когда патрону заблагорассудится уплатить его. Ну, и учили же мы эти великие истины как-нибудь...

(351, 170).

Покойный Сильвестр Сильвестрович, — пишет о Гогоцком в письме в Киев архимандрит Митрофан (Флоринский), магистр 6 курса Киевской академии, — в наш курс мало уроков читал по философии. Ходил к нам в класс не более, как на 20 минут. Лекции были отрывочны и кратки. Особенно любил говорить о Шеллинге и Гегеле /.../ Лекциями его мы были весьма довольны и сожалели, что кратки. Покойный всегда, бывало, только обещал:

— В следующий урок, господа, я вам объясню пространнее.

Но не исполнял обещания. Спешил сам получить степень.

(416, 8—9).

Помню еще, что перед экзаменом Сильвестра Сильвестровича я никак не мог достать его записок и пошел без приготовления. Мне попался первый вопрос: понятие педагогики как науки и разделение ее на части. Пришлось излагать свое собственное понятие /.../ Я начал импровизировать вроде того, что так как воспитание обнимает стороны физическую, умственную и нравственную, то сообразно тому и педагогика делится на три части... Тут почтеннейший Сильвестр Сильвестрович, слушавший меня с обычной благодушно-иронической улыбкой, прервал замечанием:

— Это все вы рассказываете по здравому смыслу, а вы бы рассказали по моим запискам.

Я выразил сомнение, может ли существовать разногласие между здравым смыслом и записками ученого профессора — и экзамен благополучно закончился.
(3, 264).

Тут /в університеті/ на деяких кафедрах сиділи тоді такі недолугі раритети, що прямо годились би для кунсткамери. Згада-ти хоча б професора філософії Сильвестра Сильвестровича Гогодького, старезного худорлявого діда з пергаментним лицем мумії, викопаної з давнього кладовища. Це був справжній тип схоластика-метафізика XVIII ст., якимсь дивом законсервованого до нових часів. На його лекції студенти заходили тільки для забавки. Ступити професор на кафедру, упирься очима в стелю, ткне туди вказівним перстом і почне викладати таку трансцендентну метафізику, що й мухи з нудьги помирають.

Ніхто його не поважав, а професори його навіть побоювались, бо знали, що цей старець-філософ одержимий був недугом доносництва, навіть писав доноси на власну дружину Авдотью Іванівну, коли та видавала часопис «Киевский телеграф», до участі в якому закликали деяких лібералів, між іншим й українців.
(464, 268).

*Авдотья Ивановна Гогоцкая — известная в Киеве «либералка». В 1860 г. занималась созданием воскресных школ. В 1865 г. открыла начальную школу с ремесленным уклоном, преобразовавшуюся впоследствии в женское ремесленное училище. В 1875—1876 г. издавала газету «Киевский телеграф». Одна из учредительниц высших женских курсов в Киеве. Умерла в 1888 г.

Заходив к нам также ранними утрами профессор Гогоцкий, супруг нашей издательницы. Редакция /«Киевского телеграфа»/ была в первом этаже. Он стучал в окно моего кабинета, длинный, худой, настоящий призрак. Я открывал окно, и начиналась философская беседа. О газете своей жены профессор имел смутное представление, но считал ее страшно вредной. «Я кому следует, об этом уже писал и искренно был бы рад, если б ее закрыли»*. (166)

*В описываемое время редакция газеты находилась на Бибиковском бульваре. Последним ее редактором был писатель И. Ясинский, с которым и приходил побеседовать философ. С 1874 г. в газете выступали известные украинские социалисты — М. Драгоманов, Н. Зибер, Ф. Вовк, С. Подолинский. Сами сотрудники газеты перед ее закрытием в 1876 г. увлекались идеями коммунизма и образовали в редакции нечто вроде коммуны.

Е.С. ГОРСКИЙ

Егор Семенович Горский — учитель немецкого языка, библейской и цер-

ковной истории в Киевской духовной семинарии.

Жил Горский в доме Чеснока по Фроловской улице, в квартире, выходившей окнами на улицу против семинарской церкви. Летом здесь (между Фроловским монастырем и семинарской церковью) скоплась масса богомольцев, и вот один из семинаристов, питавший за что-то злобу против Горского (Александр Бордычевский), устроил ему следующую сцену.

Подождеши к одной кучке богомольцев, он спросил их:

— Люди добрі, чи бачили ви коли мавпу, чи ні? Як не бачили, то йдіть подивитися. Он вона сидить у вікні. А як хочете, щоб вона з вами заговорила, то махайте руками й кажіть: «Акиш, акиш!» — то вона встане й буде з вами говорити, бо вона вчена.

А Горский в это время действительно сидел у открытого на улице окна и смотрел на прохожих. Богомольцы подошли гурьбой к окну и начали всматриваться Горскому в лицо, он стал сердиться и, заикаясь, кричать, чтоб отошли прочь.

— І... серце, дивись, дивись, ще й сердиться, бісова тварина!

— А зовсім похожа на чоловіка, — отозвалась другая из баб.

А Бордычевский с компаншей себе подобных смотрят из-за угла, да за бока берутся от смеха, что вполне удалась эта злая шутка.

(330, 186—187).

Учитель Егор Семенович Горский преподавал первоначально библейскую, а затем церковную историю в 1-м отделении философского класса и немецкий язык /.../ По безобразию своему Горский походил более на обезьяну, чем на человека, страдал слюнотечением и сильно заикался, чем поселял всеобщее отвращение к своей персоне. Это однако не мешало ему питать самые нежные симпатии к красавице дочери своего квартирного хозяина, и когда однажды она пришла в семинарскую церковь со своими родителями и доктором, впоследствии женившимся на ней, то Горский не замедлил подойти к ней с почтением и приветом, от коих она тут же впадала в обморок.

(330, 185).

Уволился Горский из семинарии по следующему случаю: семинаристам, привыкшим отвечать уроки за скамьею при пособии тетрадки и подсказывания, весьма не понравилось то, что Горский, желая из-

менить этот заведенный порядок вещей, начал вызывать учеников для устных ответов на кафедру; судили, рядили и все сговорились не отвечать профессору. Горский пожаловался на упорство учеников ректору, которому, по приходу в класс, они доложили, что не могут учиться и отвечать Горскому потому, что он так неразборчиво преподает, что ничего решительно нельзя понять и вместо устной разумной передачи лекций он постоянно читает ее по какой-то странной синей тетрадке.

Желая удостовериться в справедливости протеста, ректор предложил Горскому объяснить ученикам урок, имеющий быть заданным на следующий день. Горский, не ожидавший этого и никогда серьезно не готовившийся к уроку, пришел в такое замешательство, что решительно ничего не мог рассказать толком, а только плевал на свою заветную тетрадку и, усиленно заикаясь, произносил какие-то бессвязные, возбуждавшие смех звуки.

После этого ректор сказал Горскому:

— Ничего нет удивительного, если ученики вам не отвечают; при таком преподавании мудрено что-нибудь усвоить.

Горский, не могший перенести такого конфуза, вскоре подал прошение об отставке. (330, 186)

Х.Я. ПОББЕНЕТ

Христиан Яковлевич Гюббенет (1822–1873) — уроженец Лифляндии, дворянин. Брат знаменитого киевского полицмейстера. Окончил Рижскую гимназию (1841) и медицинский факультет Дерптского университета (1844). В те годы был образцовым студентом, серьезно относящимся к науке, и при этом лидером своих товарищей-буршей, президентом их рижского союза. В 1847 г. получил звание врача и был рекомендован министром народного просвещения гр. С.С. Уваровым адъюнктом на кафедру государственного врачеведения медицинского факультета Киевского университета. В конце этого же года по поручению киевского генерал-губернатора организовал специальное холерное

отделение в городской больнице. С 1848 г. служил одновременно и ординатором в Киевском военном госпитале. В 1851 г. — экстраординарный профессор теоретической хирургии. Участник обороны Севастополя. Произвел множество операций. Как хирург пользовался в свое время такой же славой, как и его соратник по Севастополю Н. Пирогов. В 1857 г. вернулся в Киев и возглавил университетскую хирургическую клинику. Во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. — уполномоченный Русского общества попечения о раненых (Красного Креста). В 1860–1869 гг. — председатель Общества киевских врачей (основано в 1840 г.). Член многих европейских и отечественных научных обществ.

Профессор Гюббенет, как говорят, был недурной хирург и во время Севастопольской войны принес очень много пользы; он много сделал операций и, говорят, довольно удачных. Но он был человек невероятной немецкой глупости. Известно, что немецкая глупость есть глупость особого рода. По-немецки можно быть глупым и одновременно довольно дельным человеком и довольно умным в сфере той специальности, которой немец себя посвящает.

Когда император Александр II после вступления на престол как-то раз был в Киеве и зашел в университет, то ему представляли профессоров; в числе других профессоров представлен был ему и Гюббенет. Тогда император Александр II, который всех звал «на ты», говорит ему:

— Ты брат здешнего полицмейстера?

Гюббенет страшно обиделся и сказал императору:

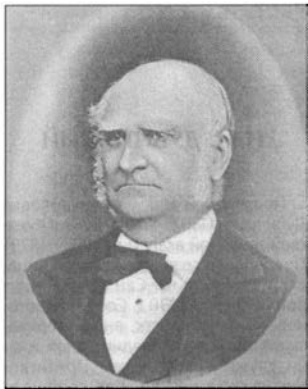
— Ваше императорское величество, не я его брат, а он мой брат.

Государь очень смеялся, но ничего ему на это не отвечал.

(64, 143–144).

А.К. ДЕЛЛЕН

Александр Карлович Деллен (1814–1882) родился в семье учителя в г. Доблен близ Митавы. Окончил Дерптский университет в 1836 г. С 1837 г. — учитель рижской гимназии. С 1839 г. — адъюнкт по кафедре греческой и римской словесности в университете св. Владимира. С 1840 г. — экстраординарный профессор, с 1850 г. — и. о. ординарного профессора. В 1857–1862 гг. занимал также должность директора Первой гимназии. В 1864 г. защитил докторскую диссертацию и утвержден в звании ординарного профессора римской словесности и древностей. В 1867 г. вышел в отставку. С 1867 г. и до самой смерти — ординарный профес-



сор по кафедре римской словесности в Харьковском университете.

Издал «Краткий исторический очерк древней греческой литературы» (К., 1851), комментарии к произведениям Горация, Тацита, Теренция, Ювенала, а также ряд исследований на латинском и немецком языках.

Деллен /.../ был живой, весьма симпатичный и весьма снисходительный ко всем человек, бойко и скоро говоривший по-русски, хотя часто с ошибками, над которыми смеялся вместе со всей аудиторией. Раз он употребил слово халат вместо палатка. Когда ему объяснили различие этих слов, он хохотал над собой и не мог успокоиться до конца лекции. (381, 244–245).

До какой степени он /Деллен/ был добр, видно из такого случая.

Однажды учителя словесности из немировской гимназии Р-цкого назначили преподавателем латинского языка в одну из киевских гимназий. Латинский язык у него пошел плохо. Присутствующие на испытании профессора университета постановили сделать Р-кому замечание и поручили это дело Деллену. Последний пригласил к себе Р-цкого напоил его чаем, деликатно высказал несколько советов, вообще похвалил его преподавание и на прощание расцеловал его. (379, 187).

Н.М. ДУБНИЦКИЙ

Протоиерей Никита Михайлович Дубницкий (1802–1879) учился в Киевской духовной академии (1825–1829). Преподавал греческий язык в Киевской семинарии. Сан священника принял летом 1830 г. Состоял протоиереем в Черкассах, вновь вернулся в Киев и до последних дней жизни служил настоятелем Притиско-Никольской церкви. Как сообщают «Киевские епархиальные ведомости», в 1867 г. он соорудил при ней

на средства прихода часовню (пристройку) в память «чудесного спасения» царя от покушения на него 4 апреля 1866 г. Избирался подольским благочинным. Пользовался большой популярностью среди горожан. Отпевали его в Притиско-Никольской церкви 9 протоиереев и 7 священников. Речь над гробом произнес знаменитый киево-софийский кафедральный протоиерей Н. Флоринский.

Преподаватель греческого языка Никита Дубницкий, впоследствии протоиерей, хорошо знал свой предмет, но был мужиковат в обращении с учениками и в разговорной речи употреблял всегда малороссийский язык. Из семинарии Дубницкий назначен был уездным протоиереем и смотрителем бursы в Черкассах, где впервые завел такой порядок, чтоб ему звонили во все колокола, когда он шел в собор. Из Киева по этому поводу ему писали: «Ваши черкасские колокола слышны у нас в Киеве».

(330, 221).

Из Черкасс Дубницкий был переведен смотрителем в Киево-Софийскую бурсу, а отсюда настоятелем Притиско-Никольской церкви /.../ Любил Дубницкий говорить импровизации и однажды, изъясняя евангельское сказание о ловитве рыб, остановился слишком долго над разрешением вопроса: почему апостолы вытянули именно 153 рыбы, а не более и не менее? Почему не 100, не 90, не 80, не 70 и т. д. Заинтересованные слушатели сосредоточили все свое внимание, ожидая, как разрешит столь мудреный вопрос проповедник. И вдруг слышат в ответ:

— Потому, что столько угодно было Богу!

(330, 221).

С.Ф. ЗЕНОВИЧ

Степан Федорович Зенович (1779–1856) — воспитанник Виленского университета. С 1814 г. — учитель химии, минералогии и геогнозии в Волынской гимназии. В 1834 г. назначен ординарным профессором химии в Киевский университет. С 1837 г. — декан II отделения философского факультета. В 1839 г. вышел в отставку. Стремился к философскому осмыс-

лению научных знаний. Автор неопубликованного сочинения о новом взгляде на науку, посланного в Академию наук в виде проекта, и философского письма графу Генриху Ржевусскому на эту же тему, напечатанного в Вильно в 1851 г. Среди его бумаг остались неопубликованными несколько исследований по истории Польши.

Для старого университета характерным був такий «професор», як Зенович, що керував кафедрою хімії в 1837 р.; він вивчав «феномен чувствениости» й «шестое невидимое начало — душу», і подав в Академію наук безглуздий трактат — «О необходимости изменения общих оснований всех наук, всех теорий и систем с показанием на их место новых» (347, XI).

Нередко заходив ко мне старий професор бывшего Кременецкого лицей Зенович, добродушний старичок, займавшийся хімією і некогда сочинивший какую-то теорію о сотворении мира посредством электричества и магнетизма; он имел слабость проповедовать ее кстати и некстати всякому встречному и поперечному* (189, 475).

*В отличие от цитируемого выше советского автора, автор цитируемых записок Н. Костомаров не находит в космогонии своего друга Зеновича ничего «бессмысленного», намекает на ее атеистический привкус и удивляется смелости старого профессора, открыто проповедовавшего в Киеве подобные теории.

Н.Д. ИВАНИШЕВ

Николай Дмитриевич Иванишев (1811–1874) родился в Киеве, учился в Киевской духовной семинарии, закончил Петербургский педагогический институт. С 1840 г. профессор истории права Киевского университета. В 1863–1865 гг. — его ректор. Один из основателей Киевской архео-

графической комиссии при канцелярии киевского генерал-губернатора. Сотрудничал с ней с 1843 по 1865 г. Редактировал ее издания. Занимался археологией, в 1845 г. руководил раскопками кургана Перепятихи, на которых Т. Шевченко работал художником.

Его /профессора Н.Д. Иванишева. — А.М./ никогда не покидала мысль об оппозиции, всегда стоящей за ним и зорко следившей за каждым его шагом. Эти опасения оппозиции отравляли все его ректорство и, может быть, были одной из причин его перехода на службу в Варшаву. Контингент оппозиции составляли мы, советские юнцы*, к которым от времени до времени приставали и некоторые старшие члены совета. Известна была шутка Иванишева:

— Я похож на Сатурна и отличаюсь от него только тем, что тот поедал своих детей, а меня поедает мой.

Оппозиция в самом деле была неугомонная и старалась обратить в смешную сторону всякое предложение ректора, как бы симпатично оно ни было. Я помню, как было осмеяно весьма хорошее предложение ректора организовать постоянные публичные лекции, к которым киевская публика показывала несомненный интерес. (350, 182).

**Советской молодежью названы тут молодые профессора, входившие в университетский совет. Ядро оппозиции начала 1860-х годов составляли тогдашние «юнцы»: Демченко, Сидоренко, Рененкамф, Романович-Славатинский и Цехановский.*

Иванишев був, без сумніву, дуже здібний і учений, свої предмети /поліцейське, торговельне та міжнародне право. — А.М./ викладав добре, але скептичний і саркастичний, не тільки студентів не захоочував до праці, але насмішками відштовхував їх від неї. Пам'ятаю, як один із знайомих мені студентів пішов був до Іванишева, просячи в нього вказівок до написання дисертації на медаль, власне визначеної на тему з міжнародного права.

— Нащо вам медаль? Пощо вам писати про міжнародне право, коли се жодне

право, а фікція? — відповів професор та насміявшись та не порадивши нічого, відправив його ні з чим та знеохотив до праці, яка хоч, може, й не була варта медалі, та все-таки була б піднесла знання та ум студента. Отже, не було /в Іванишева/ ані іскорки святого вогню.

(38, 276).

Когда Шевченко был арестован по обвинению в политической неблагонадежности, то его, разумеется, следовало бы показать исключенным из службы /в Археографической комиссии/ по распоряжению начальства. Это было бы правильно, и Д.Г. Бибилов, конечно, не имел никакого повода скрывать этого, а тем менее кого-то бояться. Но профессор Иванишев захотел сбуффонничать в бибиловском роде и, как рассказывали, устроил следующую потеху. Будучи делопроизводителем комиссии, состоявшей при генерал-губернаторе, Иванишев доложил Бибилову, что «Шевченко стал ужасно манкировать занятиями, и не только не является на службу, но, по слухам, дошел до такой дерзости, что будто даже уехал без спроса из города».

Бибилов рассмеялся и спросил:

— Неужто он смел уехать, никому не сказавшись?!

— Да, ваше высокопревосходительство, не сказавшись, — отвечал серьезно Иванишев.

Тогда и Бибилов перешел к тону серьезному.

— Что же с ним за это следует сделать по закону? — спросил он Иванишева.

А тот, продолжая комедию, отвечал:

— По закону его за неявку к должности и за самовольную отлучку следует исключить из службы.

— Ну, так и поступить по закону, — отвечал серьезно Бибилов.

Иванишев в этом роде и составил оглашенное ныне «Киевскую старину»* определение, которое подписали все члены комиссии, и между ними Ставроградский, бездарно излагавший студентам историю, и Александр Иванович Селин, рассказывавший с кафедры анекдоты и стяжавший себе славу либерала, кажется, более по его свойству с покойным А.И. Герценом.

Такова, как мне помнится по рассказам, история смехотворного определения комиссии об исключении Шевченко со службы. Недостойное серьезных людей определение это было сделано солидными учеными Киевского старого, «благонадежного» университета не для чего иного, как ради генерал-губернаторской потехи...

(236, 25—26).

*Цитируемая заметка Н. Лескова была откликом на публикацию документа об увольнении Шевченко в ж-ле «Киевская старина» (1882. — №3).

АРХИЕПИСКОП ЕВСЕВИЙ ИЛЬИНСКИЙ

Евсевий Ильинский (в миру Алексей Ильинский) (1809–1879). Уроженец Курской епархии. Учился в Киевской духовной академии в 1831–1835 гг. Как студент академии известен сочинением «Кто был первый митрополит киевский?», напечатанным в первом томе «Собрания сочинений студентов Киевской академии». Преподавал в Петербургской духовной академии. Ректор Киевской духовной семинарии с 1840 по 1845 год. Впоследствии ректор Литовской духовной семинарии, переведенной из Жировиц в Вильну. В 1849–1851 гг. — ковенский епископ, ви-



карий Литовской архиепископии, в 1851–1858 гг. — епископ подольский, в 1858–1877 гг. — архиепископ карпатинский и хакетинский, в 1877–1879 гг. — архиепископ тверской.

Не любил Евсевий и строго преследовал тех учеников, кои, пропуская уроки, придумывали для своего оправдания лживые причины. Придет бывало в класс, посмотрит в журнал и спрашивает записанных в нем:

- Такой-то, почему позавчера не был в классе?
- Ездил с тетенькой в Лавру помолиться угодникам.

Евсевий покачает головой и говорит:

— Послушай, я тебе расскажу историю о воре, который молился св. Николаю о том, чтобы тот помог ему украсть лошадей, за что обещал поставить большую свечу. Лошади украдены и упланы далеко, далеко! Почитая себя вне опасности, вор стал раскаиваться в данном обещании и порешил наконец уже не ставить свечи. Как вдруг слышит, за ним погоня! Вор опять возмолился св. Николаю, который и заговорил к нему:

— Бросай лошадей и прячься поскорей вон в тот скелет подошедшей скотины.

Вор соскочил с лошадей, отогнал их прочь, а сам улегся в скелете. Но как от падали несло страшным зловонием, которого нельзя было стерпеть, то вор и говорит:

— Ух! Как же тут смердит!

А св. Николай ему в ответ:

— Так мне и твоя свеча смердит!

— Такова и твоя молитва, — закончил Евсевий, — ты ученик и должен быть в классе, когда учатся все, а для молитвы есть свое время. (330, 198).

С другим учеником, Владимиром Малицким, Евсевий за непочтительность к себе проделал презабавную сцену.

Малицкий, состоя на полуказенном содержании, не имел права на получение казенной одежды, собственная же у него состояла из одних заплата. А между тем он не чужд был франтовства и ухаживания за прекрасным полом, для какой цели одолжался более приличной одеждой у своих квартирных товарищей. Нарядившись однажды в какой-то высочайший цилиндр, в чужую одежду и с чужим зонтиком в руках, он отправился в Братский монастырь для свидания с знакомками*. Возвращаясь из Братства с двумя мещаночками, Малицкий завидел, что навстречу ему едет ректор и, не желая уронить себя в глазах спутниц, Малицкий не снял шляпы, поравнявшись с Евсеем, делая вид, будто не узнал его. Евсевий, подождав Малицкого к экипажу и продолжая тихо езду, начал ему читать выговор за грубое и непочтительное отношение к своему начальству. Разговаривая таким образом, Евсевий провел Малицкого через две улицы. С шляпой в руках, и как была грязь, то Малицкий совсем выпачкал чужую одежду, каковой, после этого, никто уже ему не стал одаживать. Малицкому же стыдно было показаться и на глаза тем мещаночкам после такой конфузии.

Через несколько дней после этого Евсевий пришел на урок греческого языка, вызвал Малицкого на середину класса, велел ему снять с себя засаленную шинель, в которой он постоянно ходил за неизменным приличного сюртука и брюк, и сказал:

— Видите, какой оборванец и голыш, а за мещанками таскается по грязи в чужой одежде и при встрече с начальством конфузится отдавать должное почтение и привет! Я нарочно пришел сюда с намерением обличить публично неблаговоспитанность и неблагопристойность вашу в лице Малицкого и тем предостеречь вас от подобных предосудительных поступков.

После этой сцены Малицкому и прохода не было от насмешек товарищей. (330, 200—201).

**Перед порталом Божоявленского собора Братского монастыря в выходные и праздничные дни собиралась вся подольская молодежь. Это было место встреч влюбленных и смотрин городских невест. Для прогулок по аллеям Братского монастыря одевалась лучшая праздничная одежда. Подобную же роль в жизни высших кругов исполняла Сретенская церковь у Сенной площади. В определенные дни недели здесь собирались девушки из «лучших домов» города, желавшие стать невестами киевских чиновников, офицеров и поместных дворян.*

Насколько Евсевий был добр и снисходителен к слабостям и шалостям воспитанников, можно судить по следующему примеру. В семинарии был Петр Черняк, ученик очень способный, но и большой проказник, весьма часто попадавший в разных шалостях инспектору Антонию /Амфиотрову/, человеку весьма строгому, взыскательному и любившему обо всем случившемся в семинарии доводить немедленно до сведения ректора. Евсей, шадивший людей способных, часто прощал Черняку его шалости, но однажды рассердился не на шутку и начал распекать Черняка, что называется, на все лады, угрожая ему даже исключением, ежели не исправится. Черняк, выслушав нотацию до конца, подо-

шел близко к Евсевию, упал перед ним на колени и так жалобно стал смотреть ему в глаза, не говоря ни слова, что тот наконец рассмеялся, плюнул и сказал:

— Ты не Черняк, а Чертык! Ступай вон и впредь не попадайся!
(330, 196).

Не менее забавные сцены проделывал Евсей и в других случаях. Так, после экзаменов, когда переписывались набело списки, он воспрещал письмоводителям семинарским выпускать в канцелярию кого-либо из учеников, интересовавшихся преждевременно знать, кто переводится и кто оставляется на повторительный курс или исключается из семинарии, и нередко за это дававших посулы. А чтобы канцеляристы под разными благовидными предлогами и сами не выходили из канцелярии, пока не окончат списков и не сдадут их в правление, Евсей обыкновенно присылал им в достатке все необходимое: чай, сахар, булки, хлеб и квас.

Контролировал же он их таким образом. Часов в 10 или 11 ночи подходит к канцелярии, стучится тихонько в дверь и, изменивши голос, говорит сам или заставляя говорить первого попавшегося ученика:

— Братику, братику, одчини!

Канцелярские молчат. Через несколько минут опять стучится:

— Братику, братику, одчини! Куплю козирьок Жукова*.

— Или собі до чортowego батька із своїм табаком: прийде ректор, то буде нещастя, а табаку в нас свого є ще цілого півхвунта, — отвечает какой-нибудь канцелярист.

Обожаемый еще минут десять, Евсей опять стучится:

— Братику, братику, одчини, півштофа горілки принесу!

Против столь сильного искушения, бывало, не устоит письмоводитель Роман Пономаревский и отвечает:

— Перше принеси, тоді пущу!

Пошел Евсей, наполнил бутылку водой, возвратился к затворенным дверям канцелярии и, стуча смелее прежнего, говорит:

— Братику, братику, одчини, — вже прийіс горілку. — И в доказательство истинности своего обещания, начинает щелкать пальцами по бутылке.

Засыпав знакомый звон стекла, Пономаревский идет отворить просителю таинственную дверь, в которой вместо мнимого «братика» с полуштофом появляется Евсей с вопросом:

— А что у вас списки готовы уже?

— Нет, ваше высокопреподобие, — отвечает оробевший и удивленный письмоводитель.

— А кто это к вам сейчас передо мною стучался?

— Не знаем, ваше высокопреподобие!

Евсей усмехается, кивает головой и уходит с новым напоминанием никого не выпускать и поскорее кончать работу.

За такие и подобные выходки Евсея прозвали семинаристы «полковником», что вполне пла́к к его статной и осанистой фигуре.

(330, 201—202).

*Козирек Жукова, картуз Жукова — пачка лучшего отечественного табака, производившегося петербургским фабрикантом Жуковым.

В.А. КАРАВАЕВ

Владимир Афанасьевич Караваев (1811–1892) родился в купеческой семье в Вятке. Окончил Казанский университет (1831). В 1832–1834 гг. работал ординатором в петербургском военно-сухопутном госпитале. В 1834–1836 гг. предпринял поездку за границу для усовершенствования в хирургии в Берлинском и Геттингенском университетах. В 1836–1838 гг. работал в Дерпте под руководством Н.И. Пирогова. С 1838 г. — доктор медицины. С 1841 г. — экстраординарный профессор хирургии в Киевском университете. Организатор и первый декан медицинского факультета (1843–1847). В 1844 г. основал в Киеве первую в России клинику глазных болезней. С



1844 по 1882 гг. здесь было принято 74 тысячи больных и сделано 8 тысяч операций. С 1865 г. — ординарный профессор.

Большой популярностью в Киеве пользовался знаменитый хирург Владимир Афанасьевич Караваев, гордость и слава университета св. Владимира; о нем можно смело сказать, что он первый прославил имя университета и его медицинского факультета.

Особенной популярностью В.А. пользовался в среде простого народа; к нему являлись больные со всех самых отдаленных концов России. И несмотря на столь выдающуюся известность, В.А. выделялся своей скромностью и простотой. Когда в 1881 году исполнилось 50-летие со времени окончания В.А. университета и затеяно было «празднование» столь знаменательного события, В.А. просил это празднование «провести тихо» и ограничиться только принесением ему поздравлений на квартире его, что и было исполнено. В 1886 году исполнилось 50-летие служения заслуженного профессора русской науке и русскому обществу, и юбилей знаменитого хирурга предлагалось ознаменовать особым торжеством, но В.А., по свойственной ему скромности, этого не пожелал; все же число адресов от университетов и разных обществ было громадно. Само торжество ограничилось обедом, устроенным в честь юбиляра, а равно и учреждением стипендии его имени.

Впоследствии Шулявская улица, на которой долгое время жил в своем доме Владимир Афанасьевич Караваев, была переименована в Караваевскую.
(467, 25).

Караваев был известен также и за границей. Я не знаю, как это случилось, так как подробностями я не интересовался и никого не расспрашивал, но он был вызван в Париж для снятия катаракта у кого-то из семьи императора Наполеона III.
(64, 143).



Отдых богомольцев в Святом месте. Фрагмент с литографии В. Тимма. 1862 г.

А.А. КОЗЛОВ

Алексей Александрович Козлов (1831–1901) родился в Москве. Сын помещика И.О. Пушкина (дальнего родственника великого поэта) и крестьянки. Окончил Первую Московскую гимназию (1856) и историко-филологический факультет Московского университета, увлекался идеями социализма, дружил с деятелями революционного подполья. В 1866 г. арестован по подозрению в участии в заговоре и покушении Каракозова на царя Александра II, но был оправдан и выпущен на свободу. В 1876 г. приглашен на должность приват-доцента в Киевский университет, где читает историю философии. С 1884 г. — ординарный профессор. В 1886–1887 гг. издает первый в России философский журнал «Философский трехмесячник». В основе философских воззрений Козлова ле-



жал панпсихизм, т.е. признание духовной субстанции как единсущного в себе бытия. Исповедовал волюнтаризм и аморализм, но до ницшеанских крайностей не доходил. В последние годы жизни сосредоточился на проблемах религии и осуждал ошибки прежних лет. В связи с тяжелой болезнью оставил Киев и в 1887 г. возвратился в Москву. Умер в Петербурге.

/Божья кара/

Козлов часто говорил, что Господь Бог «ушиб его за грехи»*. Что именно он разумел под своими грехами, об этом он прямо не говорил, но несомненно, что в этих случаях он уже принципиально отвергал ту самозаконную волю к жизни, которую он, подобно Ницше, ставил прежде в основу своих жизненных утверждений /принципов/**.

(17, 48).

*В 1886 г. Козлова постиг апоплексический удар, правая часть тела оказалась парализованной и он мог передвигаться по комнате только с чужой помощью.

**До своей болезни Козлов выступал против ханжеской морали современного ему общества, но при этом запатентовал окружающих своей склонностью

к философскому аморализму и волюнтаризму (проще сказать — своеволию и самодурству). Особенно любил он порассуждать о необходимости введения моногамии (многоженстве) в современном обществе.

/Благословение страданиям/

Болезнь сильно изменила его моральный облик и развила в нем ту философскую религиозность, которая столь явственно обнаружилась у него в последние годы жизни.

Сам он, оглядывая свою жизнь в целом, видел в своей болезни «Божью кару», благодетельную для него по своим последствиям и даже по тем страданиям, с которыми она была связана.

— Благословенны будьте страдания! — часто вырывалось у него в минуты раздумья. (17, 33).

/Предусмотрительность философа/

С годами он становился осторожнее и предусмотрительнее. Эта предусмотрительность проявлялась у него в забавных мелочах.

Так, например, одним из проявлений этой предусмотрительности было обыкновение Козлова в бытность его профессором в Киеве ходить всюду с большим кожаным саквояжем. Эта привычка имела довольно своеобразное основание в политическом прошлом Козлова. Дело в том, что его арест* произошел так неожиданно, что Козлов был застигнут совершенно врасплох, причем он не мог взять с собою даже смену белья. Поэтому после выхода из тюрьмы Козлов долгое время, считая для себя возможными какие-нибудь новые неожиданности в том же роде, носил всегда с собою смену белья и кое-что из самого необходимого.

Этот мешок интересовал многих киевлян, хорошо знавших «профессора с большой седой бородой и огромным мешком».

(17, 48—49).

* В 1866 г. по делу Караковского, покушавшегося на жизнь царя.

/Рассуждения философа о собаках и котах/

Козлов ненавидел всякого рода великосветский тон и лоск, английскую чопорность и т.п. Он с ненавистью и иногда довольно грубо отзывался о дамах, катающихся в ландо со своими собачками, об амазонствующих «лэди», как чистокровных, так и российского происхождения, об английских и русских «лордах» с их догами и ньюфаундлендами и другими аксессуарами меццанского барства. При этом Козлов переносил свое озлобление даже и на представителей собачьей породы.

— Все эти «Плутоны» и «Вальтоны», «Фиришки» и «Минишки», — говорил Козлов, — необычайно точно отражают дрянные свойства своих хозяев и хозяек и вообще легко очеловечиваются.

С этой точки зрения он предпочитал всегда кошек как животных более независимых и чуждых человеческих свойств. Из собак же симпатизировал простым дворовым «жучкам».

(17, 52).

Человек, знакомый с Козловым поверхностно, слушая его саркастические и подчас злостные отзывы о различных литературных веяниях и направлениях, а в особенности носящих окраску альтруистического морализма, мог принять его за человека злобного и неспособного к чувствам любви и сострадания. Но в действительности это было не так. В отношениях с людьми Козлов был на редкость незлобив и при этом поразительно нечувствителен к злобным выходкам, которые иногда направлялись против него.

Вообще он ненавидел проповедь любви в чем бы она ни проявлялась, — в «толстовстве» или философской этике, — сам же, восхваляя жестокость и безжалостность, был преисполнен бесконечного добродушия и отзывчивости.

(17, 55).

Н.И. КОСТОМАРОВ

Николай Иванович Костомаров (1817—1885) — выдающийся историк, писатель, общественный деятель. Внебрачный сын помещика и крепостной. Закончил Харьковский университет (1836). В 1844—1845 гг. работал учителем в гимназиях Ровно и Киева. Адъюнкт-профессор Киевского университета с лета 1846 г. Один из основателей Кирилло-Методиевского братства. В 1847—1856 гг. жил в ссылке в Саратове. В 1859—1862 гг. — профессор Петербургского университета. Вместе с Кулишем и др. основал ж-л «Основа» (1861—1862). Автор ряда фундаментальных исследований по истории Украины, повестей, драм и сборников стихотворений.

Впервые Киев посетил в 1844 г. Летом 1845 г. получил должность учителя истории в Первой гимназии. Жил сначала где-то в Старом Городе, потом вместе с этнографом Афанасием Маркевичем — на Крещати-



ке. После деловой поездки в декабре 1845 г. поселился в гостинице на углу Бессарабской площади (теперь здесь №29 по ул. Крещатик), из которой переехал на квартиру в доме Сухоставских напротив этой гостиницы (теперь №52 и 54 по Крещатику). Став профессором университета, перебрался снова в Старый Город и поселился на ул. Рейтарской. Перед арестом жил в новом доме на Трехсвятительской ул. (№14) возле Андреевской церкви, с чудесным видом на Подол, Днепр и заднепровские дали.

/Хуторянская идиаллия на Крещатике 1840-х годов/

1 февраля 1846 года моя мать приехала в Киев, и с тех пор начался для меня иной род домашней обстановки. Вместе с матушкой я поселился на Крещатике в доме Сухоставской. Через несколько домов, на противоположной стороне, в той самой гостинице, куда я прибыл на праздник Рождества по возвращении с продажи моего имения*, квартировал Тарас Григорьевич Шевченко, приехавший тогда из Петербурга в Малороссию с намерением поселиться здесь и найти себе должность. Узнавши о нем, я познакомился с ним и с первого же раза сблизился /.../ Нередко мы про-
сидивали с ним длинные вечера до глубокой ночи, а с наступлением весны ча-

сто сходились в небольшом садике Сухоставских, имевшем чисто малорусский характер: он был насажен преимущественно вишнями; было там и несколько колод пчел, утешавших нас своим жужжанием.
(189, 475).

**Гостиница эта, как пишет сам Н. Костомаров, располагалась на углу Крещатика и Бессарабской площади.*

Николай Иванович Костомаров был любимейший учитель всех. Не было /в Первой гимназии/ ни одного ученика, который не слушал бы его рассказов русской истории /.../ Николай Иванович никогда никого не спрашивал, никогда не ставил баллов, — даже месячные баллы ставили мы сами, — и надо правду сказать, — добросовестно. Уроки Николая Ивановича были духовные праздники. Его урока все ждали.
(80, 59–60).

/Скептик, не удостоенный чуда/

Во время вакаций я ездил в Дивногорский монастырь, расположенный в чрезвычайно красивой местности над Доном /.../ В меловой горе, выше леса, которым обросла ее подошва, есть пещера, выкопанная в виде коридора; начало ее, по преданию, относится к XVII веку. Настоятель, показывая мне эту пещеру, рассказал мне, что на Троицын день в Киево-Печерской лавре было чудесное видение: во время обедни явилась Богородица за престолом и осенила народ крестным благословением. Говорили ему об этом богомолки, недавно прибывшие из Киева, и уверяли, что сами были в церкви и видели явление Богородицы.

Я объяснил ему, что сам на первый день Троицы был у обедни в Лавре и, однако, не видел Богородицы.

— Значит, Господь не сподобил вас увидеть чудо, а женщины его увидели, — сказал настоятель.
(189, 472–473).

Після опиту Фундуклей хотів посадити Костомарова в фортецю, доки вирядять його до Петербургу, але Пінхоржевський ні за що на то не приставав, і от університетського професора закинули в арештантську темну хату, чи як її звичайно називають — «кутузку» при поліції, де перебувають арештовані волоцюги. П'яниці, дрібні злодії і взагалі ледаця з вуличного простонароддя.

«Кутузка» — звичайна річ — гідше за всякий смітник! Це кубло бруду, блощидь, всякої нечисті й смороду.

Начальник тієї «кутузки», одержавши серед ночі такого «гостя», як професор, засоромився і зглянувшись над Костомаровим, прислав йому в «кутузку» чисту постіль.

(181, 10).

Из Киева присылали /во время следствия 1847 г. — А.М./ в III отделение разные вырезанные части моих бумаг и в том числе университетские лекции; это были места, которые, по взглядам местных властей, возбуждали сомнение в моей благонамеренности. По поводу одного такого места, соблазнившего генерала Дубельта, он призвал меня в канцелярию и, указывая на мое писание, говорил:

— А ваши лекции, мой добрый друг, хороши! — вишь, какие завиральные идеи! Читали бы им (студентам) грамматику да арифметику, а то занесли им какие премудрости!

(189, 483).

Другого дня /після арешту/ прийав туди /до кутузки/ поліцеймейстер Гаяткін і позволив собі нечуванним робом глаумитися з арештованого Костомарова:

— Сьогодні, — каже він, — здається, було призначене ваше весілля? Мабуть, вам отут не так приємно перебувати, як би перебували в господі з молодію жіночкою.

Та з цими словами повернувся й швидко пішов геть.

(181, 10).

/Дивацтва Костомарова/

1.

У 1871 р. Костомаров завітав до Києва після довгих років розлуки з цим містом. Стара (тоді, правда, ще не стара) громада радісно і шанобливо зустріла почесного гостя. Зупинився Костомаров на помешканні у Володимира Антоновича. Влаштовано там офіційну громадську вечерю. Було чимало людей. І треба було трапитись, що на вечері було подано індики. Побачивши це, Костомаров голосно заявив, що цю страву він обожнює і що їсти її не доводилось вже давніть. І вся увага приїжджого гостя звернута була цілий вечір не на присутніх, не на промови на честь його, а на цього самого індики. Справа закінчилась тим, що Антоновичеві довелося поночі викликати до Костомарова лікаря.

2.

По перебуванні у Києві гостя повезли пароходом до Корсуня. Костомаров, якому вперше доводилося їхати Дніпром, був захоплений подорожжю. Розглядав мальовничі береги. Згадував ті або інші історичні факти, пов'язані з ними. І раптом чогось змінився, засумував. Почали його розпитувати, і виявилось, що він загубив якось свою хусточку, звичайнісіньку хусточку до носа. Смуток продовжувався до того часу, поки Варварі Іванівні Антонович не прийшло до голови запропонувати професорові свою хусточку. Цим подарунком Костомаров був надзвичайно втішений, він все витягував її з кишені, поглядав на неї... А між тим лікарів, що завітав до нього у Києві з приводу захоплення індики, Костомаров дав 25 карбованців, — гонорар дуже великий, як за тих часів.

(221, 121).

Н.Т. КОСТЫРЬ

Николай Трофимович Костырь (1818–1853) родился в дворянской семье в с. Чернятине Махновского уезда Киевской губернии. Окончил Первую киевскую гимназию (1835) и Киевский университет (1839). Талантливый студент обратил на себя внимание профессора Максимовича. По окончании учения Совет университета избрал его и. о. обязанности адъюнкта по кафедре русской словесности, т. о. он стал первым преподавателем университета из среды его питомцев. После ухода из университета

по болезни Максимовича Костырь как его адъюнкту поручено было преподавание истории древней русской литературы, теории поэзии, драмы и прозы. Защитил магистерскую (1845) и докторскую (1850) диссертации. В 1851 г. из-за размолвок и столкновений с сослуживцами Костырь перешел из киевского университета в харьковский, где читал эстетику и историю русской литературы. Как в Киеве, так и в Харькове, в доме Костыря устраивались студенческие литературные вечера и дебаты.

В 1844 г.* Николай Трофимович /Костырь/ блистательно защитил свою магистерскую диссертацию и удостоен степени магистра**, хотя утвержден в этой степени только через год.

На диспуте я не присутствовал, находясь уже на службе, но у меня сохранилось письмо одного моего приятеля, в котором описан этот диспут. Помещаю некоторые отрывки.

Первое возражение сделано Максимовичем по поводу неважной грамматической ошибки в диссертации. Препарились довольно долго. Наконец, Костырь сказал:

— Чтобы прекратить этот пустой спор, я соглашусь, что это ошибка, хотя в душе никогда с вами не соглашусь /.../.

Давал возражения и наш историк Ставровский. Наговорил он, по своему обыкновению, много пошлостей, вовсе не идущих к делу.

Костырь: Я вам, Алексей Иванович, говорю о поэтическом, об изящном, а вы мне толкуете о скотах и лошадях.

Таким образом, мучили нашего Костыря два часа. Он горячился и задыхался от негодования, а когда Максимович снова пристал со своими указаниями на разные места диссертации, что вот это для меня непонятно и прочее, Костырь спросил его:

— Читали ль вы, Михаил Александрович, мою диссертацию?

Максимович: Нет, не читал.

Костырь: Оттого для вас и непонятно, а там все объяснено. Да вот, например, вот это место.

Затем кинулся к диссертации, открыл одно превосходное место, поднес к самому носу Максимовича и прочел. Все это проделал так быстро, что тот не успел ничего возразить.

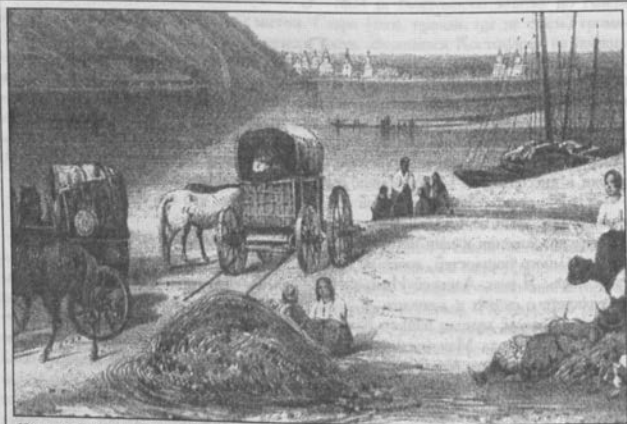
Когда Федотов-Чеховский сделал было тоже какое-то замечание вроде того, что диспутант не слушает оппонента, а прерывает его, не давая ему высказаться, Костырь сказал:

— Не ваше дело: на то есть декан, а не вы.

После короткого совещания членов факультета декан Нейкирх поздравил Николая Трофимовича магистром.
(430, 242—243).

**Так написано у автора.*

***Н. Костырь защищал диссертацию «О значении Жуковского и Батюшкова в русской литературе».*



На перевозе через Днепр. Фрагмент литографии М. Сажина. 1840 гг.

АРХИЕПИСКОП СМАРАГД КРЫЖАНОВСКИЙ

Архиепископ Смарагд (1794–1863; по другим данным — 1796–1863) (в миру Александр Петрович Крыжановский) родился в семье священника в с. Великая Березянка (по другим источникам — Великая Бородянка) Тарашанского уезда Киевской губернии. Окончил Киевскую (1815) и Петербургскую (1819) духовные академии, после чего принял монашество. В 1821 г. приглашен в Киев на место ректора семинарии и, как выразился автор его некролога в «Киевских епархиальных ведомостях», «оставил по себе память начальника преимущественно почительного о казеннокоштных воспитанниках» (т. е. бурсаках-сиротах). Читал богословие. В ноябре 1823 (по другим источникам — 1824) г. произведен в архимандриты. Ректор киевской семинарии и настоятель Выдубецкого монастыря (1826–1828). В мае 1828 г. перемещен в вифанскую семинарию. 8 сентября 1829 г. назначен ректором КДА. Довольно успешно сотрудничает с владыкой Евгением Болховитиновым.

27 августа 1830 года назначен ректо-



ром Петербургской академии. 20 сентября 1831 г. наречен во епископа рижского. Впоследствии занимал кафедры нескольких епархий — Полоцкой (1833–1837), Могилевской (1837–1840), Харьковской (1840–1841), Астраханской (1841–1844), Орловской (1844–1858) и Рязанской (1858–1863). Духовный писатель.

Архиепископ Смарагд был натурой одаренной и весьма противоречивой. Отзывы о нем современников часто расходятся. «Личность его, — писал один из исследователей, — многими порицается, но многими и восхваляется».

Он был в ученом отношении человеком умным, но имел какой-то угловатый характер, иногда делал выходки, неприличные архиерейскому сану, за что и переводили его из одной епархии в другую. Много о нем рассказывали странных анекдотов. Говорят, что он любил брать взятки и оставил значительный капитал; говорят также, что он собственноручно расправлялся с провинившимися священниками; несмотря, однако ж, на это, духовенство Орловской епархии сожалело о его выбытии, потому что после своей расправы не удалял священников от их приходов, чтобы семейство их не вводить в нужду.

В лице Смарагда виден был тип еврейского происхождения, и сам он говорил: — Дед мой был еврей, отец иерей, а я архиерей.* (360, 36).

*В 1878 г. в 11-й книжке ж-ла «Древняя и новая Россия» эта же присказка архиепископа Смарагда приводилась в несколько ином виде: «Мой отец был еврей, бабка с голоду жевала порей, отец мой иерей, а я архиерей». При этом редакция полагала, что еврейство Смарагда вымышленное и упоминается здесь только для рифмы, так сказать, ради красного слова. Однако вскоре в редакцию пришло письмо от известного впоследствии одесского археолога и историка Л.С. Машиевича (1843—1915), который утверждал, что за рифмой присказки стоит вполне реальный факт. Его отец, 83-летний старец-священник, помнил еще «Смарагда по Киеву, а также отца его и брата». «Этот отец Смарагда, — писал Машиевич, — был священник, «выкрещенный» из евреев. В старину было еще много «таких» священников, особенно во времена унии в Польше, и всем выкрестам давали фамилию Крыжановский (kry'z — крест)». (Древняя и новая Россия. — 1979. — №2).

Ректор /.../ Смарагд человек бездарный, но кичливый, простотою обращения прикрывавший монашескую гордость, презиравший всех и особенно науку; умевший артистически падать перед митрополитом* и не позволивший никому идти с ним рядом; неопытный диник, не заботившийся о приличиях в служении** до того, что никто не мог угодить ему; он толкал кого ни попало и дергал диаконов за волосы.

Преподавая богословие, он только критиковал положения автора и мнения других: и то не так, и тот дурак, а как? — об этом ни слова. Только ни к селу ни к городу с самохвалством вспоминал о своем прохождении академического курса.

— Ведь у меня вышло 20 апробированных задачек!*** — всегда говорил он, оканчивая свое самохвалство. (329, 330).

*Если речь идет о митрополите Е. Болховитинове, то Смарагд мог вполне искренне преклоняться перед этим ученым владыкой.

**Богослужение в церкви.

***20 благословенных владыками церкви сочинений.

Я.И. КРЫШИНСКИЙ

Яков Иванович Крышинский (1796–1836) родился в Сумах, окончил Харьковский коллегиум и духовную академию в Петербурге (1817–1821). В 1821 г. назначен бакалавром всеобщей словесности и

французского языка в Киевскую духовную академию. С мая 1828 г. — ординарный профессор словесных наук. Любимый профессор студентов. Умер от чахотки. Похоронен на Щекавицком кладбище.

Редкий знаток словесности, внимательно следивший за ходом современной литературы, он терпеть не мог надутых, высокопарных выражений, которыми наполнялись тогда все беллетристические произведения подражателей Марлинского. Но вместе с тем он нещадно смеялся и над подъяческим, по его выражению, слогом, убивающим живую, свежую мысль. Кипевшая тогда борьба романтизма с классицизмом была любимой темой резких замечаний наблюдательного профессора, который последователей того и другого направления находил и среди слушателей своих.

— Между вами, господа, — говорил он, — есть своего рода классики и романтики. Первые можно угадать в их сочинениях по длинным периодам, выполненным под политуру, и по любимым их словам: *сей, оный, таковой, подобный и вышеозначенный*. Другие любят уноситься в туманную даль, плавать по безбрежному океану, разоблачать девственную природу.

(22, 180).

М.А. МАКСИМОВИЧ

Михаил Александрович Максимович (1804—1873) — выдающийся украинский ученый. Происходил из старинного украинского дворянского рода. Окончил Новгород-Сиверскую гимназию (1819) и природоведческое отделение философского факультета Московского университета (1823), служил библиографом в университетской библиотеке, составителем гербария, преподавал прикладную ботанику и садоводство в Земледельческой школе и естественную историю в Благородном пансионе. В 1827 году защитил магистерскую диссертацию, адъюнкт (1829) и ординарный профессор по кафедре ботаники (с 1833-го) Московского университета. Сотрудник литературных журналов конца 1820 — начала 1830-х гг. В 1834 году перемещен на кафедру русской словесности новооткрытого киевского университета с сохранением звания ординарного профессора. Стал первым его ректором. В 1835 году оставил должность ректора ради преподавательской и научной работы. В 1840 году издал первую книгу альма-



наха «Киевлянин». В январе 1841 года ушел в отставку по состоянию здоровья. Возобновил преподавание в 1843—1845 гг., после чего поселился на хуторе Михайлова Гора около Прохоровки под Каневом. В 1850—1860 гг. активно занимался литературной и научной работой. 6 сентября 1871 г. в Киеве по инициативе историко-филологического факультета университета торжественно отмечен 50-летний юбилей литературной деятельности Максимовича. В том же году избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Член многих научных обществ.

Максимович, как сказано, явился в Киев преподавать русскую словесность. Такой скачок от ботаники и зоологии в наше время крайней специализации наук может показаться научным авантюризмом. В те времена было не то; профессора часто преподавали науки, не имеющие между собою ничего общего, потому что образование получалось и требовалось энциклопедическое. Но, разумеется, менее даровитые, чем Максимович, не дости-

гали ни в одной науке силы и мастерства. Относительно Максимовича надо заметить, что он, переходя из Москвы в Киев, совершенно перешел и к другой специальности, оставив первую: посвятил себя исключительно словесности и литературе, покинув естествознание.

(66, 99).

Начал он преподавание в сентябре 1834 года и, не надеясь на себя, отправился со своею вступительною лекциею к знаменитому Иннокентию (тогдашнему ректору Киевской академии), желая получить от него благословение и напутствие на преподавание новой для него науки. На другой день Иннокентий прислал ему рукопись со следующей своей одобрительной рецензией: «Возвращаю отрывок будущего прекрасного здания... Сам св. Владимир не усомнился бы одобрить его к изданию в свет».

(66, 100).

Бывши в Московском университете профессором ботаники и перешедши в Киевский университет профессором русской словесности, он не был еще вполне готов для преподавания этого предмета; и история русской словесности не была еще разработана. Ему приходилось много трудиться, чтобы приготовить свои лекции; но, прочитавши то, что приготовлено, принужден был сказываться больным, чтобы иметь досуг подготовиться далее. При таком положении он не был в состоянии усидчиво заняться и должностью ректора, в то время довольно многосложною, и потому вынужден был уволиться от этой должности под видом болезни.

(285, 12).

А.П. МАТВЕЕВ

Александр Павлович Матвеев (1816—1882) — выдающийся акушер, гинеколог и детский врач. Окончил Московский университет (1841). Профессор Киевского университета

(1844), декан медицинского факультета (1862—1865), ректор университета в 1861—1871 и в 1875—1878 годах. Автор одного из первых отечественных курсов по акушерству (К., 1861).

Хлебосольный ректор Матвеев

Это был типический орловский дворянин и спортсмен, для которого охота и рыбная ловля, цветы и фрукты были важнейшей стороной жизни.

Человек очень даровитый, он был знатоком и отличным преподавателем своего предмета, но дельным ректором он быть не мог, т. к. был ленив и бежал от дела. При нем правила секретари.

Но зато Матвеев был очень приятен и вполне русский хлебосол: угощать товарищей было его слабостью. Я помню, как после заседаний совета к нему на Тарасовскую улицу, где охраняли его медведи и волченята, собирался чуть ли не весь персонал университета, начиная от приват-доцентов и оканчивая настоятелем университетской церкви. Столы ломились под тяжестью яств и наливков, и мы пили и ели на славу. Черта эта, конечно, очень почтенная, но ее мало, чтобы быть хорошим ректором, обязанности которого были очень тяжелы для такого сибарита, как Матвеев, который дремал и похрапывал на заседаниях совета.

(350, 196).

Ф.Ф. МЕРИНГ

Фридрих Фридрихович (или Федор Федорович) Меринг (1822—1887) родился в семье городского врача в г. Дона близ Дрездена в Саксонии. Учился в Дрезденской медицинской академии (1840—1841) и Лейпцигском университете (1841—1845). С 1845 г. заведовал больницей в имении графа Сперанского в с. Буромке Золотоношского уезда Полтавской губернии. В 1849 году работал в Петербурге вместе с Н.И. Пироговым. В 1851 г. защитил докторскую диссертацию в Дерптском университете и приглашен в Киевский университет в качестве адъюнкта на кафедру частной патологии и терапии (1853—1857 гг.). В 1855 г.

Меринг руководит госпитальной терапевтической клиникой, а в 1857 г. назначен экстраординарным профессором по кафедре частной патологии и терапии в университете. Весной 1856 г. командирован вместе с профессором Алферьевым в действующую Южную армию для борьбы с тифом. С 1858 г. — ординарный профессор. С 1864 г. — директор терапевтической клиники при университете.

Легендарная личность, о которой некогда ходило множество преданий, слухов и анекдотов. Одна из улиц, проложенных на бывшей его усадьбе в центре города, названа Меринговской (теперь ул. М. Заньковецкой).

Судебную медицину /в университете/ читал нам Федор Федорович Меринг — превосходный практический врач, ловкий деятель, најивший большое состояние, что не мешало ему быть превосходным профессором /.../ Человек большого ума, он думал, что выгоднее и полезнее быть добрым и приветливым. Очень скоро он овладел Киевом настолько, чтобы быть общим любимцем. Кого только ни лечил он, кому только не помогало его редкое искусство!

Несмотря на свой лейпцигский русский язык, судебную медицину он читал нам настолько интересно, что мы с удовольствием ходили в анатомический театр, чтобы слушать его лекции.

Уроженец маленькой Саксонии, он настолько обрусел и свылся с нашим простором, что когда бывал за границей, то жаловался, что ему там тесно и душно. Он там скучал по русскому квасу, который ему нравился больше немецкого пива.

(351, 169).

/.../ Когда граф Коцебу жил в Одессе, он однажды заболел, и довольно сильно; из Киева выписали доктора, известного профессора Меринга, который прописал Коцебу лекарство и, между прочим, рекомендовал ему следующий странный способ лечения.

Коцебу, как истый немец, привык распределять свой день по часам и минутам, и вот в течение дня один час или полтора он катался со своей женой в коляске по городу. Когда граф Коцебу заболел и его начал лечить Меринг, то большой очень настаивал, чтобы ему можно было час-полтора кататься. Профессор же Меринг находил катание это для графа Коцебу нездоровым до тех пор, пока у него не пройдут некоторые явления. И вот как компромисс Меринг предписал ему следующее.

В генерал-губернаторском доме (в сущности, как я говорила, это — целый дворец) есть небольшой крытый двор. Кучер с выездным лакеем запрягали коляску, как следует для выезда, коляска эта останавливалась во дворе, затем выходил граф Коцебу со своей женой, садился в коляску, и положенное число времени (1—1,5 часа), вместо того, чтобы ездить по городу, они стояли во дворе в этой коляске, запряженной лошаадьми, и это считалось катанием по городу.

Когда впоследствии в Киеве, познакомившись с Мерингом, я спросил его, зачем он велел так делать, то Меринг ответил, что 1) граф Коцебу сам считал невозможным изменить свой образ жизни; 2) и он, Меринг, считает, что вообще когда люди находятся в известных летах, то самое вредное для них — изменять образ жизни; те люди, которые живут, как заведенные часы, обыкновенно живут гораздо дольше, нежели те, которые вдруг изменяют свой образ жизни; очень часто случается, что, изменив свой образ жизни, они не выдерживают и умирают.

(64/А, 367).

В конце концов постепенно Меринг приобрел такую громадную медицинскую практику, что, можно сказать, на юге считался медицинским светилом. Его постоянно приглашали на все консилиумы, и клиника его в Киевском университете считалась отличной; в этой клинике доктора приобретали массу знаний. Вообще как профессор и как медик Меринг пользовался большой известностью. Он составил себе очень большое состояние.

Но составил он себе состояние не столько платою за лечение и консилиумы, сколько иным путем, а именно: он всю еврейскую бедноту лечил даром; никогда не брал с них денег; никогда не отказывал этим бедным евреям, и если были тяжело больны, то ездил лечить их в их бедные еврейские лачуги. Вследствие этого Меринг приобрел громадную популярность среди низшего класса евреев, и для того, чтобы его отблагодарить, евреи постоянно указывали ему различные дела, покупку различных домов, имений и пр., относительно которых можно было предполагать, что они могут быть перепроданы на выгодных условиях. И вот Меринг, руководствуясь советами этих евреев, которых он знал множество, благодаря своей обширнейшей бесплатной практике, постоянно покупал и продавал различные имения и вообще недвижимость. И в сущности состояние он нажил именно на этих операциях.

Так, в Киеве в мое время, т. е. в 80-х годах, дом Меринга находился на главной улице — Крещатике, — за домом шел громадный парк, который поднимался вплоть до Липок. Прежде он купил это место, вероятно, по-десятинно, — в мое время оно расценивалось уже по саженьям, а теперь, вероятно, это место ценится по аршинам. В настоящее время это место уже разобрано, проведены улицы, и на этом месте Меринг должен был нажить очень много денег. Кроме этой покупки, этой аферы, у него много было других различных афер по части имений.

(64, 141—142).

Сам Меринг был почтеннейший человек: он пользовался общим уважением не только в Киеве, но и во всем Юго-Западном крае. В Киеве же, можно сказать, его знала каждая собака. Ездил Меринг в фаэтоне на двух страшных клячах. Запряжены в фаэтон эти клячи были по целым дням, так что они еле-еле двигали ногами. Когда вдали появлялся фаэтон в виде балдахина, запряженный двумя клячами, то все уже знали, что это едет Меринг.

Как-то раз по случаю болезни моей жены Меринг приехал ко мне. Входит он и улыбается. Я спрашиваю:

— Почему, Федор Федорович, улыбаетесь?

— Какой, — говорит, — со мной произошел сейчас случай... (Он говорит с немецким акцентом). Мой кучер, — говорит, — заболел, и вот я взял кучером другого человека, который мне служит, — садовника. Вот, — говорит, — мы поехали, вдруг кучер испугался и кричит мне: «Барин, барин, лошади несут». Тогда я смотрю, а лошадь обернула голову, смотрит на меня и смеется. Так, — говорит, — лошади показались смешно, что ее кучер испугался.

И действительно, как они могли понести, когда еле-еле ноги тащили?
(64, 142–143).

У этого Меринга была странная болезнь, от которой он и умер. Про свою болезнь он сам говорил, что это — так называемая «слоновая нога». Заключалась она в том, что нога все время пухла и пухла, и наконец сделалась гораздо толще самого Меринга. Между тем, по мере того, как нога эта пухла, сам Меринг постоянно худел. За несколько дней до своей смерти, лежа в постели, он описывал мне эту болезнь самым хладнокровным образом, как будто бы был даже доволен, что сумел так хорошо ее определить, и предвещал, что ему остается жить только несколько дней.

(64, 143).

Умер Федор Федорович Меринг в октябре 1887 года; смерть его явилась не только горем его семье, но и всего киевского населения. При отпевании Ф.Ф. было произнесено много речей, из которых особенно выделялась речь киевского раввина Цукермана, охарактеризовавшего покойного как друга человечества, после смерти которого Киев осиротел. Отпевание, на котором присутствовал и еврейский хор, исполнявший похоронные псалмы, было выдающимся. Киеву впервые пришлось видеть отпевание при участии православных священников, лютеранского пастора и раввина*; это было лучшим и наглядным доказательством безграничной любви к Ф.Ф. всего киевского населения без различия вероисповедания.

(467, 164–165).

*В начале XX века, когда С. Ярон писал свои воспоминания, киевляне уже успели забыть, что подобные похороны с участием всех вер и церквей происходили 100 лет назад, когда на кладбище у Кирилловского богоугодного заведения предавали земле другого любимца киевлян — губернатора П. Панкратьева.

К.-В. МЕРЦ

Карл-Вильгельм (Эдуард Вильгельмович или Карл Осипович) Мерц (1810 — начало 1850-х гг.) — преподаватель технологии, сельского хозяйства и лесоводства, отставной поручик прусской службы. Родился в 1810 году во Франкфурте-на-Одере. Учился в Меглинской сельскохозяйственной академии в Пруссии, завещал (в 1832 г.) фермой Белорусского экономического общества под Ви-

тебском. С 1834 года при содействии попечителя Брадке — адъюнкт университета св. Владимира (с условием скорейшего овладения русским языком). Считал себя академиком, поскольку окончил академию в Пруссии и требовал звания профессора. В 1849 г. новый попечитель учебного округа отстранил Мерца от преподавания в университете. Умер в Киеве в начале 1850-х годов.

Был, кажется, на 2-м отделении философского факультета профессор агрономии немец Мерц, который мог читать писаное по-русски, но не понимал ни одного слова на этом языке. Для него кто-то перевел на русский язык и отлитографировал чью-то агрономию. Мерц по ней и читал, и если на полуслове его заставлял колокольчик, возвещавший окончание лекции, он оканчивал ее полусловом, проводя посредине слова черту сверху вниз карандашом, и следующую лекцию начинал окончанием слова. Например, одна лекция оканчивалась началом слова *земле*, а следующая начиналась окончанием этого слова *делие*.

Лекция Мерца никто не посещал из его обязательных слушателей, но аудитория его часто бывала очень полна и только к концу лекции пустела до последнего человека.

Дело в том, что студенты разных факультетов, приходя ранее начала своих лекций, собирались к Мерцу в аудиторию и там кто писал, кто читал; одни входили, другие выходили, но Мерц этого не замечал, не смея оторвать глаз от тетрадки, чтобы не потерять строки.

Раз ректор Траутфеттер заглянул в его аудиторию к концу лекции, но никого из слушателей не нашел, один Мерц громко читал по тетрадке, восседая на кафедре. (381, 245–246).

Мерц во что бы то ни стало хотел быть утвержден адъюнктом по занимаемой им кафедре. Как на доказательство своих прав он ссылался на «вексели-счетливы в Берлине и Риге», т. е. на прогоны, выданные ему при вызове в Россию. В Россию же он был вызван военным губернатором Белоруссии князем Хованским, который хотел учредить там сельскохозяйственное учили-

ще. Так как Мерц в своих познаниях по русскому языку успехов не оказывал, чтения же его пользы никакой не приносили, то вступивший в управление Киевским учебным округом генерал-губернатор Д.Г. Бибилов предложил Мерцу вместо службы в университете занять место учителя немецкого языка в одной из гимназий округа. На это предложение попечителя Мерц отвечал отказом. Считая себя обиженным и обиженным, он жаловался министру, грозя опубликовать столь несправедливый образ действий против него и т. д. В своей докладной записке министру он просил утвердить его «сельским профессором», при этом Мерц имел неосторожность написать и составить свою записку собственноручно. Записка Мерца послужила ему во вред, так как после прочтения его прошения, познания его в русском языке не могли уже подлежать никакому сомнению. Вслед за этим он был вовсе уволен со службы /.../

О Мерце сохранилось предание как о человеке задорного характера. В 1843 году Подольская часть г. Киева сообщила в университет, что против Мерца возбуждено дело о нанесении побоев отставному прапорщику Никитину. Чем это дело кончилось, неизвестно.

(157).

Другой профессор-немец читал: «У рыб семь зуб», но, заметив улыбку на устах у слушателей и поняв, что сделал ошибку, поправился: «У рыбов семь зубов». Опять видя неладное сочетание, еще раз поправился: «У рыбей семь зубей».

(381, 245).



Въезд в Старый город у Золотых ворот. Фрагмент литографии В. Тимма, 1858 г.

ЕПИСКОП ИУСТИН МИХАЙЛОВ

Иустин Михайлов (в миру Яков Евдокимович Михайлов) окончил Орловскую семинарию. Учился на Первом курсе реорганизованной Киевской академии (1819—1823), сокурсник Ивана Борисова, впоследствии знаменитого церковного мыслителя и писателя архиеп. херсонского Иннокентия. Преподавал богословие в академии. Ее инспектор в 1826—1828 гг. Ректор Киевской духовной семинарии с 1828 по 1835 г.

Поводом к увольнению с этой должности послужило то обстоятельство, что в 1833 г. в Днепре утонуло пять семинаристов, ехавших домой на каникулы лодкой (это было тогда самое дешевое средство передвижения), а в 1834 г. — три. Ректора обвинили в слабом надзоре за воспитанниками и перевели в другую семинарию, а на его место назначили более взыскательного педагога — Иеремию Соловьева. Впоследствии



епископ костромской (1845—1850) и владимирский (1850—1863). Уволился с занимаемой должности по состоянию здоровья и жил на покое в монастыре в Боголюбове, а потом во Владимире. Умер в ночь с 16 на 17 марта 1879 г.

Из благодарной памяти к незабвенному моему наставнику, ректору Иустину, еще добавлю слово: это был земной ангел, никогда не сердившийся; в случае проступков, он с благодушным назиданием прощал виновного с памятным изречением:

— Исправься, иди с Богом.

Это его изречение, в том же смысле, повторялось между /моими/ товарищами /по семинарии/, да и после, по днесь, повторяется с любовью. Должно быть, он знал истину, что дар прощать выше дара исправлять виновного наказанием.

Да будет ему там /на небе/ так легко, как легко было и радостно слушавшим его научение здесь /на земле/.
(257/А, 881).

Ректор семинарии и уездного училища* был архимандрит Иустин (Михайлов) /.../ По телу, душе и уму красавец, in stricto sensu** — бронеет, с длинными, густыми, выходящими волосами. Говоря, он как будто отчеканивал каждое слово, — внятно, последовательно, внушительно, занимательно, мерно, без запинки. /Семинаристы/ слушали его, боясь перевести дыхание, чтобы не пропустить какое-либо слово. Это был словесный, приятнейший орган. Когда оканчивалась его лекция, оканчивалась и наша утеха и отрада. Он выдавал по богословию собственноручные листки на латинском языке, с текстами — на славянском. Записки мои у меня хранятся и теперь как отрадное воспоминание бывшего доброго***. (257/А, 880—881).

*В описываемое здесь время (1829 г.) Киевская семинария все еще помещалась вместе с уездным духовным училищем в одном доме, сохранившемся на набережно-Крещатицкой ул., 41, называвшемся тогда бурсою.

**Конкретно говоря, точнее (лат.).

***Доброго, бывшего (старослов.).

Ректор Иустин Михайлов /.../ был очень добрый человек, снисходительный начальник и толковый преподаватель. Современники передают, что при нем на Спасской улице, в доме Левицкой, семинаристы затеяли устроить домашний спектакль, в котором, в числе других, участвовали в женских ролях Максим Кустовский и Симеон Бобровиц. Когда об этом лицедействе было донесено ректору Иустину, то он распорядился арестовать всех участников игры в тех костюмах, в какие они будут наряжены, и представить к нему.

В поимке артистов участвовал и кучер ректора, знаменитый Куземка, у которого гу-ба была рассечена копытом почти до самого уха, и когда ему нужно было говорить, то он прежде стискивал ее рукой, а затем уже говорил. Этот-то Куземка собственноручно и притащил Кустовского и Боровица пред лицо ректора в женских костюмах.

Когда вышел к ним Иустин, то не узнал своих питомцев и спросил Куземку:

— Ты зачем привел сюда этих шлюх?

— Это Максим Кустовский и Боровиц, ваше высокопреподобие, — самодовольно объяснил Куземка.

Сделав виновным строгий выговор и определив им классную эпитимию, Иустин прогнал их вон и пригрозил исключением, если они или кто-нибудь другой из семинаристов вадушают повторить что-либо подобное.

Пользуясь снисходительностью и добротою Иустина, семинаристы безбоязненно посещали не только театр, который был там, где теперь Европейская гостиница, но и часто отправлялись на прогулки и кутежи за Днепр — на лодках. Такому своеволию был положен конец после того, как утонуло однажды семь душ учеников*. За такое плохое смотрение Иустин был удален от ректуры и долгое время не был производим в епископский сан.

(330, 187—188).

*А в воспоминаниях прот. П. Марковского об этом говорится иначе. См. выше биографическую справку об И. Михайлове.

АРХИЕПИСКОП ДИМИТРИЙ МУРЕТОВ

Архиепископ Димитрий (в миру Климент Муретов) (1807—1883) родился в с. Лучинском Рязанской губернии в семье дьякона. Поступил в Киевскую духовную академию в 1831 г., где привлёк к себе пристальное внимание ректора Иннокентия Борисова, увидевшего в нём своего преемника. По его совету Климент принял монашество, будучи ещё студентом, и по окончании курса в 1835 году оставлен в академии бакалавром по кафедре догматического богословия. В 1837 г., минуя экстраординатуру, стал ординарным профессором богословия. В 1838—1841 годах — инспектор КДА. Ректор академии с апреля 1841 по декабрь 1850 года. В мемуарах протоиерея Н. Флоринского содержится указание на то, что Димитрий Муретов имел прямое отношение к организации странноприимницы знаменитого юродивого Ивана Босого в доме под Андреевской церковью и еженедельно по четвергам занимался ее делами. Киевская духовная академия воспитывала в своих питомцах отношение к деньгам как орудию сатаны. Многие ее выпускники прославились своим бессребреничеством, но даже среди них Д. Муретов пользовался славой великого подражателя Христа в его подвиге добровольной бедности. Горожане называли Муретова по имени ру-



ководимого им монастыря «братским архиереем» и вкладывали в это выражение некий символический смысл. В марте 1851 г. хиротонисан в епископа Тульской епархии (1851—1857). После смерти Иннокентия Борисова стал его преемником на кафедре архиепископа херсонского и одесского (1857—1874, вторично — 1882—1883). Здесь вышел на покой и поселился в Безюковом монастыре. Вновь посетил Киев в 1869 г. во время празднования 50-летия Киевской духовной академии. А 1876 г. приезжал сюда на похороны митрополита Арсения. В том же, 1876 г., был отозван с покоя и назначен архиепископом ярославским (1874—1876), а потом волынским (1876—1882). В 1882 г. погребал киевского митрополита Филофея и тогда же переведен из Житомира вновь в Одессу, где и умер 14 ноября 1883 года.

Помнящие доселе архимандрита Братского монастыря Димитрия киевляне говорят, что он поражал и наружностью сво-

ею: отец Димитрий росту был высокого, брюнет, с большими выразительными глазами; волосы на голове имел густые, бороду большую и окладистую. Подлинно нельзя было не любоваться на отца Димитрия, особенно когда он священнодействовал /.../ В наше время, когда были мы студентами академии, отца Димитрия в народе киевском звали не иначе, как *Братский архиерей*.

(417, 414).

В 1845 году император Николай Павлович был дважды в Киеве. Первый раз он прибыл 22 мая /.../ В 3 часа он посетил с великим князем /Константином Николаевичем/ Софийский собор, где в присутствии митрополита /Филарета/ в мантии, встречу делал ректор академии, архимандрит Димитрий (Муретов), впоследствии известный архиепископ херсонский /.../

Димитрий, высокого роста, брюнет, имел очень представительный вид. Говорят, что государь, идя от колокольной в собор, обратил на Димитрия внимание и спросил Бибикова, кто это. Бибиков отвечал, что это ректор местной академии. «Бравый архимандрит», — произнес государь.

(227, 219).

/.../ Одна госпожа (я ее всегда видел подобно мне поджидавшей отца Димитрия для благословения) низенького роста особенно надоела ему своим ухаживанием за ним, которое даже со стороны нельзя было не заметить: кроме благословения, она и при богослужении старалась быть у него на глазах, становясь впереди всех, решалась даже разговаривать с ним, просить его благословения чем-либо. И он ее благословил: дал ей икону, изображавшую искупление преподобного Антония Великого дьяволом...

(39, 422).

Говорили нам старшие студенты, что при Антонии* стол /питание учащихся/ стал лучше, чем какой был при Димитрии /Муретове/, и передавали нам, что раз старшие из студентов решились заявить ректору Димитрию, что их плохо кормят, и что они просят улучшить стол для них. Димитрий, по рассказам, выслушав жалобу на плохой стол, спросил их:

— Что, вы приехали сюда учиться или кормиться?

Они отвечали:

— Учиться.

— Ну, так и учитесь. А с голоду не умрете... Мы даем вам лучший стол, чем какой вы имели дома.

Авторитет ректора Димитрия был так велик у студентов, что они покорно выслушали от него довольно суровый ответ на их просьбу и не посмели более настаивать перед ним, чтобы по возможности улучшить их стол.

(306, 65).

*Т. е. при преемнике Муретова, ректоре Антонии Амфитеатрове.

Весьма значительно в нем как профессоре всестороннее знание не только своего предмета, но и других, не относящихся к

его кафедре. Когда какой-либо из наставников академии не мог быть на уроке по болезни или другим каким обстоятельствам, ректор заменял его в классе сам. /.../ Студенты изумлялись огромной учености профессора-ректора; каждый предмет читал он так, как бы это был предмет собственной его кафедры. Нам же, студентам последнего выпуска, Димитрием завершено (1845—1849 гг.), приходилось также удивляться многосведущему уму нашего ректора при производстве им наших полугодовых и годичных испытаний.

Тогда в ректоре-экзаменаторе видели мы, кроме высокого богословия, также великого философа, и математика, и физика, и астронома, и историка.

(417, 414—415).

Сам же отец ректор не хотел сдавать в печать свои академические чтения по глубокому смирению своему.

Рассказывали, что многократно просил его об отпечатывании лекций киевский митрополит Филарет. И ради послушания только ему ректор Димитрий начал было печатать лекции свои по каноническому праву в журнале «Воскресное чтение». Но напечатал немного.

Из послушания также первосвятителю напечатал отец Димитрий первый том своих проповедей.

(417, 419).

/На юбилее 50-летия Духовной академии/

После церковного священнослужения происходил торжественный акт в академическом зале /.../ Митрополит Арсений прочитал высочайший указ о праздновании юбилея академии и потом сказал, что жертвует от себя в пользу академии 10 тысяч рублей /.../ Прочие архиереи, по очереди вставшие и преподносившие от себя иконы в благословение академии /.../ произносили краткие речи и говорили, чем кто из них жертвует академии /.../ В особенности между приветствиями архиереев академии замечательны были слова, сказанные херсонским архиепископом Димитрием Муретовым:

— В то время, как сослужители мои являются со своими приношениями академии, я скорблю, что пришел к ней с пустыми руками*, но утешаюсь, что и моего меду капля тут есть.

Слова эти тронули всех, знавших, что Димитрий, кончивший курс при ректоре Иннокентии Борисове и бывший после него сам ректором этой академии, привнес ей учеными трудами большой вклад в богословскую науку, приведенную после него в систему /.../

Замечательно, что этот великий богослов, не печатавший своих сочинений, не имел степени доктора богословия, тогда как младший товарищ его архиепископ Антоний Амфитеатров получил эту степень за составленное им руководство по богословию для семинарии.**

Когда некоторые спрашивали Димитрия, почему он не напечатал своего руководства по богословию, он отвечал, что ему не было о том приказано от высшего начальства.

(360, 332—333).

*У Муретова, как всегда, не было денег: все свои средства он раздавал нуждавшимся.

**Автор этих строк преподаватель Черниговской семинарии Иосиф Самчев-

ский, хорошо знавший жизнь духовных учебных заведений, намекает на то, что Антоний Амфитеатров получил звание доктора богословия только потому, что был племянником митрополита Филарета. Это мнение не совсем справедливо.

Что касается его отношения к экзаменуемым студентам, это были отношения истинного отца к детям. Не говоря о снисходительности о. ректора к ответам слабым, довольно упомянуть о его мягком отношении к студентам, вовсе не отвечавшим на экзаменах.

— Скажите мне о философии греческого Платона, — предложил ректор вопрос экзаменуемому по истории философии студенту С.

Когда сей мало занимавшийся науками студент ничего не сказал на предложенный вопрос, ректор заметил ему:

— Вы думаете проучиться в академии можно даже так, чтобы и о Платоновой философии даже не ведать.

Но никаких нареканий на бедняка-студента за его незнание от ректора затем не последовало.

Другому студенту на том же экзамене пришлось говорить о мегарской школе учеников Сократовых, и вот наш друг И.А.К. начал:

— Мегарики...

Подумав продолжал:

— Мегарики...

И затем после продолжительной паузы снова:

— Мегарики... — и затем замолчал.

— Что же мегарики? — улыбувшись спросил отец ректор. — Должно быть их философия так трудна, что вы ни слова не можете о ней промолвить. Довольно! (417, 415).

В бытность свою инспектором академии он /Димитрий Муретов/ как-то в поздний вечер нашел на академическом дворе подгулявшего где-то и совсем свалившегося с ног студента.

Молча поднял он его с земли, взял под руку, привел в номер и, пропустив в слегка приотворенную дверь, быстро скрылся. Проспавшись, виновный рад был сквозь землю провалиться, а своеобразный цензор студенческих нравов и не звал его к себе. (415, 709).

Мы слушали последний читанный им курс, который был даже не вполне окончен из-за последовавшего назначения его епископом тульским. Он был тогда во цвете сил и развития, во всеоружии учености /.../ Мы живо помним эту высокую, могучую и привлекательную фигуру с роскошной, как смоль, черной бородой. Ровно в 10 часов мерным как размаху памятника шагом, проходил он из своей квартиры, с другого конца двора, в давно знакомую ему аудиторию. Подойдя спокойно и ровною поступью к кафедре и прослушав молитву, он всходил на кафедру за стол, но сделал легкий в обе стороны поклон, раз или два молча проходил по классу, а затем раздалось в его классическое: «Ну-с, мы теперь подходим...» или «Хотя, либо: с другой стороны». И —

лилась живая, все более и более усиливающимся и расширяющимся потоком, полная ума и знания речь. Привычным, мерным шагом движется колоссальная фигура взад и вперед между двух рядов превратившихся в слух студентов; сильный, тугой бас его /.../ раздается в виде непрерывного, то ослабевающего, то усиливающегося рокота или гула, которого однако каждый звук явственно слышится на всей линии движения и на неизменных поворотах. Ни на минуту не остановится дивный лектор, ни на одном слове не запишется и не поправится, и никакой у него неточности, ни обмолвки, но самым тщательным образом обработанная речь /.../ В руках у него ни книжки, ни тетрадки, ни какого-либо клочка бумаги, а между тем лекция переполнена подчас ссылками, цитатами, выдающимися свидетельствами, и все это, от слов до цифр, страниц, приводится с поразительной точностью по памяти. А лекции тогда были двухчасовые; и так от звонка до звонка, три и четыре раза в неделю, а иные курсы и каждый день. /.../ Признаемся, что во всю нашу жизнь мы не слышали ничего совершеннее этих чтений /.../ Полную цену чтением архиепископа Димитрия мы узнали лишь тогда, когда на стуле, на который он никогда не садился, воссел маленький ростом, слабый здоровьем и голосом, рыжеволосый и вдобавок пришепетывавший доктор богословия архиепископ Антоний Амфитеатров и, разложив по столу книги и тетради, начал трактовать о таинствах, прерываясь, поправляясь и заглядывая попеременно то в книги, то в тетрадь. Это был отличный администратор, прекрасный человек, недоожинного ума и знаний, но слушать его после Димитрия не было ни малейшей охоты. И явился он точно для того, чтобы отнять собою исповинское обаяние профессора Димитрия.

(415, 708).

Его помнит вся Россия за его необыкновенную отзывчивость к нуждам человеческим; при этом он был крайне нерасчетлив. Получая сравнительно большое содержание в Академии и как настоятель — от Братского монастыря, Димитрий не только не собрал ничего, но нередко на другой же день по получении жалования нуждался в нескольких рублях. Его великой душе был совершенно чужд какой бы то ни было расчет; он давал, не ведая, кому дает, на что дает и сколько дает; он отдавал все. Об отказе не было и помину, потому что /келийник его/ Семенych вполне разделял взгляд на этот счет своего патрона, который говорил: — Если просит кто, стало быть, очень нуждается, и ему необходимо дать.

Потому-то Семенych самым добросовестным образом докладывал отцу ректору о каждом, решительно каждом посетителе.

(332, 90—91).

Так как в распоряжении отца ректора часто не было ни копейки, то для удовлетворения посетителей он должен был частенько прибегать к займам. Займы эти производились через посредничество Семенychа у монастырского эконома* или другого кого и были так значительны, что едва-едва прикрывались следуемой настоятелю из монастырской кружки долей. В редких случаях кое-что наличностью попадало к отцу ректору в его красного дерева конторку, которая никогда не запиралась и из которой мальчуганы-певчие таскали деньги.

Когда кто-то заметил отцу Димитрию, что деньги следует запереть, он улыбнулся и ответил:

— Ведь деньги в настоящее время, как вода и воздух, всякому нужны, даже детям нужны. Могу ли я записать то, что каждому нужно?
(332, 90—91).

**Т. е. эконома Братского монастыря, при котором находилась Академия.*

Его благотворительность не знала границ /.../
Еще в бытность архиепископа Димитрия ректором академии мы видели, как приходили к нему и выходили от него особенно по субботам*, десятки не простых только уличных нищих, но и других бедных людей. Все большое содержание его уходило на них и нередко, не имея чего дать, он брал деньги взаймы у своих келейников. Раз приходит к нему какой-то военный и, назвавшись полковником, просит взаймы 1000 рублей, заявляя, что от этого зависит судьба его и его семьи. Не входя ни в какие расспросы, добрый архимандрит прошел молча в кабинет, вынес оттуда толстый сверток и, подавая просителю, сказал:

— Извините, полковник; ей, нет у меня такой суммы, а вот, сколько нашел, прошу принять.

В свертке было 600 рублей, но ни их, ни полковника он уже больше не видал.
(415, 710).

**По старинной традиции в Киеве на Подоле вплоть до 1880-х годов происходили «субботники», когда в дом богатого «гражданина» мог явиться за помощью любой нуждающийся прямо с улицы, т. е. дверей не запирали.*

В Туле к преосвященному Димитрию приходит какая-то мещанка и просит у него взаймы 2 рубля. Пошарил он в карманах — пусто, в столах — тоже. Пошел к келейнику, к другому, во всем архиерейском доме не нашел двух рублей. Спрашивает он мещанку:

— Да на что тебе, матушка, два рубля? (Думая, нельзя ли как-нибудь иначе ей помочь).

— Да вот, отец ты мой, — говорит она ему, — муж у меня помер. Горе мое горькое! Гроб-то кой-как сколотили, яму роют тож, да вот поп за похорон два целковых запросил, и иначе, говорит, и хоронить не стану. Я его просить, а он насупит: да у меня говорит, мать моя, у самого семеро ребятишек, тоже хлебушка просят... Займи! Да где же занять-то? Вот и пришла к тебе. Коровушку-то как продам, всех оделять буду, и тебя не забуду... Право слово!

— Право, матушка, теперь денег у меня не случилось, — отвечал ей пастырь добрый. — Да ты, однако, не беспокойся, иди домой, я сам буду хоронить твоего мужа.

И тотчас послал сказать священнику, что сам будет на вынос, служение и отпевание.

Приехал, поднял покойника от лачуги и в церковь проводил: служил всенощную, на другой день обедню, сказал поразительное своею умиленностью слово, и совершил отпевание, проводил гроб на кладбище и пригласил собравшихся во множестве священников к себе на поминальный обед.

Во все время владыка не проронил слова о случае, по которому отпел бедняка. Только по окончании обеда, отпуская сослуживших ему иереев, он подошел к приходскому /священнику/ и кротко подал ему два рубля. Тот рад был сквозь землю провалиться, но владыка всунул ему в руку два рубля, кротко говоря:

— Видите ли, я служил по доброй воле, а вы ведь тем живете; жалованья вам не дают, откуда же взять?

(415, 711).

В недавнее уже время приходит к нему какая-то вдова и просит пособия.

— Право, не случилось теперь у меня денег, — отвечает высокопреосвященный Димитрий. — Не зайдете ли как-нибудь?

В это время подают ему пакет с деньгами от какого-то семейства, в котором он недавно хоронил, и он, не вскрывая пакета, отдал его вдове со словами:

— А вот Бог на ваше счастье посылает.

Вдова выходит и вскрывает пакет; в нем оказалось 300 рублей. Пораженная суммой, о которой ей в голову не приходило, она возвращается к архиепископу, объявляет случившееся и отдает обратно пакет, заявляя, что такой суммы она не смеет взять.

— Ну что ж, — отвечает он ей. — Это значит Господь на ваше счастье посылал. Возьмите! — И с этими словами оставляет растерявшуюся вдову.

(415, 712).

Уезжая на епископство в Тулу, преосвященный Димитрий по пути раздал все имевшиеся при нем деньги; и только счастливая случайность — встреча его со знакомым протонереем — вывела его из критического положения путешественника без денег...

При управлении преосвященным Димитрием Волынской епархии, богатой архиерейскими доходами, он не переставал нуждаться, и по смерти его (1883 г.), кроме двух ряс, у него ничего не осталось.

(332, 92).

Нельзя умолчать еще об одном случае. Во время восстания населения в Одессе против евреев* преосвященный Димитрий /Муретов/ не побоялся вступить в толпу и остановить погром, за что после иудеи поднесли ему Библию на еврейском языке с приличной надписью**.

(449, 405).

* Речь идет о еврейском погроме в Одессе в 1881 г.

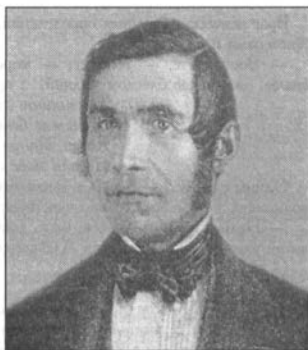
** Т. е. подобающей случаю надписью.

Будучи архиепископом в разных епархиях, Димитрий щедро наделял неимущих своими пожертвованиями и однажды заложил свой бриллиантовый крест за 300 руб., чтобы этой суммой дать пособие одному бедному семейству.

(360/А, 332).

К.А. НЕВОЛИН

Константин Алексеевич Неволин (1806—1855) родился в семье священника в г. Орлове Вятской губернии. Окончил Московскую духовную семинарию в 1827 г. и в следующем году в числе лучших выпускников командирован для обучения юридическим наукам в Петербургский университет (где обучался также древним и новым языкам), а в 1829 году — за границу, в Берлинский университет к знаменитому юристу Савиньи. С 1832 г. работал в специальной юридической комиссии по составлению Свода законов. В 1835 году назначен ординарным профессором энциклопедии права в Киевском университете. После смерти В. Цыха избирается ректором (1837—1843). В результате конфликта с попечителем кн. С. Давыдовым и его помощником М. Юзефовичем в



1843 г. перешел в Петербургский университет, где служил до самой смерти. При нем (весной 1842 г.) Киевский университет переселился с Печерска в собственное здание на Владимирской улице. Друзья и сослуживцы уважали Неволина за незаурядный административный талант. Автор обширной «Энциклопедии законоведения» в двух томах, изданной в Киеве в 1839—1840 гг. и трехтомной «Истории российских гражданских законов» (СПб, 1851).

Ректор Неволин/ ни разу ни к одному студенту не заговорил по-человечески. Настошсья, бывало, в приемной, пока он выйдет из своего кабинета, выхватит из рук прошение, заглянет в него вскользь и, проедев свою обычную фразу: «В свое время будет объявлено!», юркнул и исчезнет за дверью своего кабинета.

Носился между студентами слух, что когда родная мать его — пономарица, прийдя из Вятской губернии в Киев на богомолье, хотела повидаться со своим чиновным сыном, то он не допустил ее к себе, выслав через лакея ассигнацию, как нищей.

(429, 198).

Ректор Неволин, говорит предание, предложил /соискателю докторской степени. — А.М./ Красову* вопрос:
— Что такое нязицное?

Враг всяческих научных определений, восторженный поэт отвечал одними лишь примерами и сравнениями:

— Вообразите, — говорит, — море во время бури, нависшие над пропастью скалы, озаренные блеском молний, ... прочтите стихотворение Пушкина:

*Ты видишь деву на скале
В одежде белой над волнами.
Когда, бушующая в бурной мгле,
Играло море с берегами.*

Одним словом, — сказал в заключение Красов, — прекрасного определить невозможно. Его можно только чувствовать.

— Нельзя же, г-н Красов, быть доктором чувствительности, — заметил с ядовитой улыбкой Константин Алексеевич /Неволин/ и тем заключил трения.
(433, 263–264).

**В.И. Красов (1810–1854) — известный в свое время поэт, друг Н. Станкевича и В. Белинского. Окончив в 1835 г. Московский университет, работал учителем в Черниговской гимназии и и. о. адъюнкта Киевского университета (1837–1839). После провала по защите докторской диссертации в 1838 г. покинул Киев.*



Благородный пансион Первой гимназии на углу улиц Лютеранской и Шелковичной. Не сохранился. Фото 1920-х гг.

В.А. НЕЗАБИТОВСКИЙ

Василий Андреевич Незабитовский (1824–1883) родился в г. Радомысле Киевской губернии в семье канцеляриста. Окончил киевскую Вторую гимназию и юридический факультет университета (1846). Служил помощником столоначальника в Киевской палате гражданского суда, учителем законоведения во Второй гимназии. Профессор Нежинского лицея князя Безбородко (1848–1853), адъюнкт

(1853–1858), экстраординарный профессор (1858–1862), ординарный профессор (1862–1883) по кафедре международного права Киевского университета, декан юридического факультета (1863–1865, 1870–1873, 1876–1879), избирался проректором и исполнял обязанности ректора. В 1884 г. в Киеве вышло посмертное «Собрание сочинений» выдающегося юриста.

/Юрист-отшельник/

Человек в истинном значении этого слова, Незабитовский всегда жаждал истины и простоты, разума и красоты. А что находил он среди сложившихся условий современной культурной жизни? Он находил в ней такие черты и явления, под влиянием которых в его благой и кроткой душе сложилось горькое, проникнутое скорбью мировоззрение о господстве над миром «кулака», хитрости и лукавства, о том, что эти темные силы заправляют всеми делами мира — отношениями частных лиц, государств и народов.

Вот почему он так жаждал вырваться из окружающих его условий и на лоне природы успокоить свою благу эстетическую душу. Чернорабочим, с лопатой в руках он в свободное от университетских занятий время работал на своем хуторе, чтобы под его дубами и березами найти тихое пристанище под конец своей труженической жизни.

В последние годы этой жизни, обманутый людьми и цивилизацией, он страстно полюбил природу и относился к ней с умилением, можно сказать, гетевским пантеизмом; о нем также можно сказать, что он «говор древесных листьев понимал и чувствовал трав прозябанье».

Но это стремление сделаться отшельником под конец своей жизни не было плодом неудовлетворенного личного самолюбия, как это было с Иванिशевым, или индифференцизма к интересам человечества и родной страны. Личного честолюбия и самолюбия Незабитовский почти не имел; к интересам человечества и родной страны он был всегда очень чуток и внимателен.

(134, 474).

И.Я. НЕЙКИРХ

Иван Яковлевич Нейкирх (1803—1870) родился в семье часовых дел мастера в небольшом городке Тальсене в Курляндии. По смерти отца служил «мальчиком» (слугой) в пивной лавке. При содействии директора частного пансиона Карла Деллена поступил в 18 лет в 5 класс Миттавской гимназии. Зарабатывал на жизнь уроками ученикам младших классов. Проявил огромные способности к изучению языков. Окончил Дерптский университет. Совершенствовал свои знания в качестве университетского стипендиата в Германии, Швейцарии и Италии.

Защитил диссертацию на степень доктора философии в 1834 году в Лейпциге и был рекомендован русскому министру народного просвещения графу С.С. Уварову знаменитым филологом Германом как кандидат на место профессора греческой словесности и древностей в открытом тогда университете святого Владимира, куда и был приглашен в 1837 году. Проработал здесь до самой отставки в 1868 году. Несколько раз избирался проректором и 6 раз — деканом историко-филологического факультета.

Как человек вообще, Нейкирх прежде всего обращал на себя внимание каждого своею удивительною редкою честностью и правдивостью, прямодушием, простотою и истинною гуманностью в обращении /.../. Слушатели Нейкирха очень хорошо знали, что никакое знакомство с ним, никакие ходатайства самых даже близких к нему, любимых или уважаемых им людей ничего не помогут, если испытуемый имел слабые познания. Тому самому слушателю своему, который накануне веселился у него на вечере и считался другом его семейства, он преспокойно поставит единицу, спросив его и строже, и подольше, если этот друг его дома плохо знает язык или предмет /.../

Случилось однажды, что Нейкирх, преподававший одно время географию в частном мужском пансионе, записал спрошенному им ученику известный балл, потом всю дорогу думал, не ошибся ли он, подошедши уже до самой квартиры своей, он припомнил некоторые подробности ответа мальчика — и воротился в заведение, чтобы исправить отметку.

(134, 485—486).

Рассуждал однажды Иван Яковлевич на вечере у своего приятеля-профессора между прочим о величине киевской университетской площади сравнительно с площадью берлинской. Разошлись около полуночи. Приятель-профессор уже лег спать. Вдруг в квартире его раздается звонок. Иван

Яковлевич возвратился из дома, чтобы сказать, что он немного ошибся в своем сравнении: по справке, которую он сделал, дошедши домой, оказалось, что площадь берлинская на несколько сажень меньше киевской университетской.

(126).

Покойный профессор университета св. Владимира по кафедре греческой словесности Нейкирх был родом из Остзейского края. По-русски он говорил правильно, хотя было видно, что русский знал более теоретически, чем практически. Иными словами, он говорил *слишком правильно*.

Между бывшими студентами Нейкирха сохранился следующий анекдот. Однажды на одном экзамене Нейкирх спросил у студента, будет ли иметь место такой-то грамматический оборот при известной конструкции греческой фразы. Студент немного подумал и ответил: «Не будет», в том смысле, что такой оборот не будет уместен. Нейкирх немного подумал и сказал: «Будет». Студент подумал, что слова Нейкирха относятся к его ответу и стал возражать. Тогда Нейкирх сказал: «Не то будет, что будет, а то будет, что довольно!»

Этим он хотел сказать студенту, что он окончил его спрашивать.

(158).

Нейкирх был страшно сухой и пунктуальный немец; чтение его отличалось необыкновенною сухостью и почти одной номенклатурой писателей, их сочинений и предметов старины. Чтение древностей и литературы греческой происходило на латинском языке; греческих классиков Нейкирх тоже переводил на латинский язык. К русским объяснениям он редко прибегал по той причине, что хотя и изучил русский язык грамматически, но в живом разговоре боялся перед аудиторией сделать ошибку в ударении или сочетании слов.

(379, 187).

Ознакомившись с образом жизни, нравами и обычаями своих сослуживцев /по винницкой гимназии/, я пришел к убеждению, что люди эти не по мне, что частые вечера с картами, ужинами, с выпивкой и пошлыми разговорами /.../ служили не отдыхом после учительской тяжелой работы, а еще большим утомлением, с головною болью впридачу /.../ Недаром наш достойнейший классик, И. Я. Нейкирх, напутствуя нас на службу, твердил нам:

— Игра в карты — смерть науки!

(437, 345).

Добрый, попечительный, любящий отец, Нейкирх был всеми любим и глубоко уважаем в своей семье; жена и дети гордились им /.../ Не держа при своих детях ни бонн, ни гувернанток, он сам занимался их воспитанием и образованием.

Понимая великую важность для развития пробуждающегося ума дитяти наглядного ознакомления его с окружающим миром, Нейкирх ежедневно, в часы обычных своих прогулок по городу брал с собою то того, то другого из своих детей и с гомерическою простотою и наивною объяснял им до мельчайших подробностей все, что только встречал по пути, что только затрагивало любопытство дитяти, и с

этой целью менял места своих прогулок, предпринимал прогулки загородные, даже отдаленные. Так, однажды он пешком ходил со своим сыном в Житомир. Для физического развития своих детей Нейкирх обладал разными принадлежностями гимнастики и заставлял упражняться в ней детей, сам подавая в том пример, учил их плавать и т. п.

(134, 486).

Чтобы привести дитя к собственному сознанию пользы или вреда известного поступка /.../ Иван Яковлевич действовал не столько теоретическим толкованием или убеждением, сколько наглядным примером. Вот как поступил он, когда заметил в своем 12-летнем сыне стремление курить.

Не говоря ни слова, он купил трубку, хороший чубук, 1/2 фунта табаку и прочие принадлежности курения и в виде сюрприза все это подарил своему сыну. Мальчик с торжеством бросился к табаку и с гордым чувством своего равенства со взрослыми принялся курить с азартом до одурения.

Покурил он так день, другой, а затем сам бросил трубку и табак, опротивевшие ему до последней крайности.

(126).

Роскоши Нейкирх не любил, но иметь известный комфорт считал необходимым. Умел жить всегда по своим средствам, доставляя себе, а преимущественно своему семейству разного рода, сообразно со своими средствами, развлечения и удовольствия, устраивал скромные вечеринки и т. п. Предисловие к *Dichterkanon** под заглавием: «Ein Abend aus einem harmlosen Leben»** представляет верную идилическую картину скромной жизни Нейкирха в Киеве, нарисованную им самим.

/.../ Скончался Нейкирх 3 октября 1870 года. Смерть его была также тиха и покойна, как и его жизнь. Не теряя сознания почти до последних минут, он изредка в небольшом бреду вспоминал о своей поездке за границу в юношеские годы, беседуя сам с собою (и что замечательно, — почти исключительно по-русски) об Италии, ее храмах, дворцах, саркофагах египетских царей и т. п. И умирая, завещал своему сыну передать его последний поклон отсутствующим детям, товарищам, друзьям и знакомым, а над могилой вместо всяких памятников посадить простой дуб.

(134, 487—488).

**Dichterkanon* (нем.) — стихосложение.

***Вечер из безбедной жизни.*

А.И. СЕЛИН

Александр Иванович Селин (1816—1877) родился в купеческой семье в Твери в 1816 году. Окончил местную гимназию и при содействии писателя Лажечникова поступил в Московский университет (1836 г.) на казенное содержание. В 1841—1843 гг. совершил двухлетнее путешествие по странам Западной Европы, знакомясь с музеями Германии, Италии, Австрии, Франции, Англии и Швейцарии. В 1845 году назначен и. о. адъюнкта по кафедре русской словесности Киевского университета и в течение 32 лет преподавал историю рус-

ской литературы. С 1852 года — доктор славянской филологии. С 1854 года — ординарный профессор. Преподавал во Второй гимназии (1851—1852), в Институте благородных девиц (1846—1848 и 1853—1856), кадетском корпусе (1854—1863). С 1863 года и до самой смерти — декан историко-филологического факультета. Начальство относилось к Селину несколько настороженно, поскольку он был женат на сестре А. Герцена. (Некоторые современные исследователи родство Селина с Герценом считают «легендой»).

В нем /Селине/ слились /.../ впечатления суровой, деспотической и вспыльчивой природы отца с мягкостью и нежностью кроткой и доброй матери. Оттого он был добр, нежен, чувствителен /.../, но с другой стороны, он способен был иногда вспыхнуть, дойти до крайнего раздражения как говорится, совершенно выйти из себя. В несколько минут он мог перейти через все эти ступени /.../ Бывало, экзаменуя студента, он мпновенно выйдет из себя от одного неловкого его слова и, ударив экзаменуемого по руке, вскрикнет: «Что вы!»... или «Друг мой, что вы вздор мелете! Вы ничего не знаете, подите...». Но студент продолжает говорить и через минуту или две тот же Селин вскрикнет в восторге: «Браво! Прекрасно! Правда!» (134, 595).

Сядет он /студент Московского университета Селин. — А.М./ у растворенного окна, возьмет гитару и начнет распевать под аккомпанемент этого нехитрого инструмента, столь любимого народом, любимые народные песни; чаще всего он любил петь из только что вышедшей тогда в свет оперы «Аскольдова могила» известную песню «Как в старину жилали наши деды и отцы». Товарищи-студенты, вообще весьма любившие Селина, нападали на него за его песни в такой поздний час, но он не слушал их брани и криков и продолжал за любезными песнями далеко за полночь. (134, 590).

Восторженный и увлекающийся в юные годы своей жизни Селин остался почти таким же и до последних минут. Уже на шестом десятке своей жизни во время посещения Киева знаменитым трагиком Олдриджем он восторгался художественною игрою американского артиста, как едва ли восторгался кто-либо даже из молодых студентов-поклонников Олдриджа. Селин не пропустил ни одного представления, в котором участвовал этот артист, участвовал в овациях, которые делали ему молодые люди, читал в честь его публичную лекцию и т. п. /.../.

Впоследствии способности Селина увлекаться, до крайности во всем, в речах и поступках, составляли как бы его натуру. Так, например, то он окунается в проруби Днепра в 20-градусный мороз в январе месяце*, то выпарится в горячей русской бане... И жестоко же платится он за эти крайности: одна из них довела его до тифа, из которого он едва-едва выскочил /.../ Другая повергла его в ту тяжкую болезнь, которая, несмотря на все усилия опытейших врачей, на лечение за границу /.../ свела его в могилу.

(134, 396—397).

*Среди «киевских граждан» (мастеровых, купцов и мещан Подола) существовал обычай окунаться в священную воду на Богоявление (6 января), что в иные времена воспрещалось полицией, и ныряльщики отводились в участок.

«Краснобайство, например Селина, — говорит один из его слушателей (Авсенко), — не знало пределов, он сидел совершенно шутом на кафедре, кривлялся, скалил зубы, закатывал глаза — одним словом изображал актера, срывавшего рукоплескания с александринских верхов*. С кафедры лилась разнузданная болтовня о Малороссии, о Польше, о Мицкевиче, о Погодине и т. п.» /.../.

Производимое на слушателей лекциями Селина впечатление можно уподобить действию музыки: слушать его — наслаждение какое испытываешь в музыкальном концерте. Подобно ловкой игре виртуоза, лекции эти действовали на душу сильно, но безотчетно и даже бесследно: их трудно было воспроизвести, изложить последовательно на бумаге.

(433, 269—271).

*Т. е. галерки.

В 40—50-х гг. преподаватели университета и более интеллигентные русские люди лучшего круга киевского общества собирались по вечерам друг у друга послушать между прочим превосходное чтение или какой-нибудь известной классической пьесы, или пьесы новой, только что вышедшей в свет или даже еще нигде не напечатанной, но наверно имеющейся уже у Селина. На этих то soirées littéraires* он читал трагедии Шекспира, драму «Опричник», ходившую еще только в рукописи и т. п.

Понятно почему умный, образованный, прекрасно говоривший на нескольких ино-

странных языках (на французском, итальянском, немецком) с прекрасными манерами, ученый профессор Селин был тогда непременным членом некоторых кружков киевского высшего общества. В то время интеллигентный круг общества чисто русских людей в Киеве был сравнительно немногочислен и подавляем интеллигенцией польской. По сознанию еще живых людей этого русского круга киевского общества, значение Селина, польза, принесенная им здесь русскому делу, несомненны. (134, 594).

* Литературные вечера.

Лекции /Селин/ читал по запискам, не меняя их десятилетиями, отчего они давно пожелтели и побурели. Студенты должны были копировать их по оригиналу и заучивать слово в слово, поскольку беда ждала того, кто на экзамене захотел бы пересказывать их собственными словами. Научное содержание их было самым убогим, а вся сила заключалась в экловенции, в фразеологии, и когда студент на экзамене начинал ответ не с той фразы, какая стояла в записках, Селин сердился, прерывал: «Не так! Не то!», с видом отчаяния поднимал руки в небо, кричал: «О, дебри!», наконец хватал студента за ладьяны и если ненароком отрывал пуговицу, то это было для студента спасением. Профессор вдруг оставлял тон возмущенного олимпийца, плаксивым голосом просил прощения: «Простите, мой друг, я вам причинил ущерб!» и, не спрашивая дальше, ставил студенту 4 и отпускал с Богом. Говорили, что некоторые слабодухие, идя на экзамен, специально слабо пришивали пуговицы, в надежде, что они им пригодятся. (464, 271).

/Селин зарапортовался/

Спустя год /в 1852 г./ проф. Селин защищал диссертацию на степень доктора. Дмитрий Гаврилович /Бибиков/ как попечитель пригласил на диспут директрису института* с целой плеядой пепиньерок**. Во время ученых прений докторант, по своему обыкновению, зарапортовался, сказав что-то не совсем приятное для слуха дам. Когда после диспута Бибиков подошел к директрисе и спросил, довольна ли она диспутом, она отвечала, что если бы она предвидела, что здесь будут говорить о таких неприличных вещах, то она ни за что не взяла бы с собою девиц. Дмитрий Гаврилович это замечание замотал себе на ус*** и, спустя неделю, когда Лазов поднес ему к подписи бумагу, спросил:

— Что это?

— Представление г-ну министру об утверждении в докторской степени проф. Селина.

— А кстати. Что, он преподает еще где-нибудь, кроме университета?

— Во Второй киевской гимназии читает русскую словесность.

— Долой его оттуда — он мне там детей попортит.

— Кого прикажете на его место назначить?

— Найдите сами, — отвечал генерал.

Идучи после доклада домой, Лазов встретился на Крестьянке с инспектором Второй гимназии Гренковым.

— Что нового? — спрашивает его инспектор.

— Есть и для вашей гимназии новость: велел найти учителя словесности. Не знаете ли вы кого-нибудь из желающих?

Так как Гренкову было известно о моем /М. Чалого/ желании, то он и указал на меня, и я получил перевод /из Немировской гимназии/ в Киев.

Божественный Александр Иванович /Селин/ не мог мне простить своего увольнения. Узнав от Лазова, что Бибииков якобы сам меня назначил на его место, ученый муж был уверен, что я какими-то путями пролез к генерал-губернатору и добился перемещения.

— Пролез, — прошипел профессор.
(436, 18–19).

* 25 июля 1851 г. начальницей института назначена Екатерина Дмитриевна Голубцова.

**Пепиньерки — младшие воспитательницы, помощницы классных дам в Институте благородных девиц. Обычно они избирались (по две на класс) из казеннокоштных воспитанниц с их собственного согласия.

***Бибииков не мог не реагировать на предостерегающие сигналы, поступавшие по поводу поведения или образа мыслей Селина, поскольку профессор был ближайшим родичем главного на то время врага империи А. Герцена, — он был женат на его сестре. Подобная история случилась в 1830-х годах и с проф. Иванисевым, на «неприличность» речи которого жаловался митрополит Филарет, но лояльность Иванисева ни у кого не вызывала сомнения, и он легко вышел из неприятного для него положения. С Селиным случилось иначе, хотя его трудно назвать жертвой бибииковских репрессий.

/Німці чи українці?/

Павло Гнатович /Житецький/ встиг написати «Описание Пересопницкой рукописи» й «Очерк звуковой истории малорусского наречия». Цей другий твір, виготовлений на рідкому дозвіллі, в години, украдені од учительської праці, од сну, од відпочинку, мусив одчинити заповіді, такі бажані, такі вимріяні двері професорського ходу університету — мусив бути магістерською дисертацією Павла Гнатовича /.../

Але коли справа дійшла до формальних переговорів, то декан історично-філологічного факультету, професор російського мовознавства німець Селін*, чи як його звали, «божевільний Сильмон» просто заявив Житецькому від імені Ради університету, що кафедра російського мовознавства в університеті Київському не для нього, Житецького, як «уроженця Малороссии», на цій кафедрі професорувати можуть коренні росіяни, або німці, і в жодному разі не «малоросси».

(223, 155).

*Неточности в авторском тексте: Селин не был немцем и преподавал не языковедение, а литературу.

И.М. СКВОРЦОВ

Иван Михайлович. Сковрцов (1795–1863) родился в семье церковного причетника в г. Арзамас Нижегородской губернии. Окончил нижегородскую семинарию и Петербургскую духовную академию (1817), где обратил на себя внимание ректора Филарета (впоследствии знаменитого московского митрополита). Назначен наставником в Киевскую академию, преобразованную в 1818 году в семинарию, где Сковрцов преподавал философию, математику и физику. С 1819 года — бакалавр реформированной академии, а с 1823 года — ординарный профессор по кафедре философии. Доктор богословия с 1833 года. Сотрудник и один из редакторов основанного в 1837 году первого киевского журнала «Воскресное чтение». В 1820 году — рукоположен священником Владимирской церкви на Печерском форштаде. Говоренные им здесь проповеди напечатаны в 1833 году. В 1834 году, не оставляя академии, занял кафедру богословия в новооткрытом университете. С 1850 года преподает здесь также логику и психологию. В 1845 году уволился из Академии, уступив кафедру философии подающему надежды моло-

дому философу Авсенеу, но продолжал читать в академии безвозмездно по 1 лекции в неделю на произвольные темы. Эти философские беседы прекратились лишь в 1849 году, когда Сковрцов занял должность кафедрального протоиерея Софийского собора, где в его обязанности входило произнесение проповедей. Оставил преподавание в университете в 1859 году.

Последние годы жизни посвятил редактированию «Киевских епархиальных ведомостей» и организации в Киеве женского духовного училища, для временного помещения которого уступил свою квартиру в доме для соборных священнослужителей, отдал в ее пользу свой докторский оклад, редакторские и писательские доходы.

Взыскательного профессора и сурового протоиерея-моралиста студенты побаивались и не любили. «Конфликт отцов и детей» в киевском его варианте отразился в «Дневнике» протоиерея, печатавшемся после его смерти в «Трудах Киевской духовной академии». Забытый церковный мыслитель высказывает здесь немало глубоких суждений и с горечью отмечает, что молодежь отдаляется от идеалов веры.

Студент /университета/ Тулуб, юноша небольших способностей, страшно самолюбивый и честолюбивый, старался всеми способами выделиться и выдвинуться среди товарищей; он ухаживал за всеми профессорами, ввешал сам себя в Костомаровское дело и наконец на исповеди перед Паскою смутил бедного старика Сковрцова, объявив, что посредством чтения Еван-

гений и апостольских деяний и серьезных размышлений пришел к заключению, что Спаситель был только благочестивый пророк и учитель веры, на котором почивала благодать Божия, но что он не был Бог, что никакие чудеса невозможны, что евангелисты и апостолы измышляли чудеса для лучшего распространения христианства.

Два дня беседовал с ним Скворцов и к удовольствию своему сделал его опять верующим, и затем особенно благосклонно стал к нему относиться, часто приглашал его к себе в дом для духовных беседований.

О неверии Тулуба и чудном скором его обращении заговорил весь университет и город. Тулубу только того и нужно было. Он стал рассказывать и в глаза говорить Скворцову, что святая молитва его, Скворцова, более на него подействовала, чем его вполне убедительные доказательства и что он, Тулуб, имел затем сонное видение, которое вполне и навсегда сделало его верующим. Этими выходками он добился того, что его назначили учителем одной из киевских гимназий, — преимущественно, делаемое только одним протеже, которого не утомлялись первые из окончивших курс кандидатов.

Тулубу никогда бы не пришло в голову объявить себя неверующим; но сам Скворцов подал ему мысль, опровергая в аудитории положения Штрауса, направленные против чудес и божественного естества Спасителя мира.

(381, 243—244).

Предсмертная болезнь Скворцова была непродолжительна. Видно, что телесный организм его был уже сильно ослаблен прежними трудами. Зато дух оставался бодрым, и приближение смерти не смущало философа-христианина.

— Что же, — говорил он глубоко опечаленным его болезнью своим детям, — смерть дело обыкновенное!

По поводу их молитвенных желаний выздоровления ему, он сказал:

— Молитесь обо мне и просите для меня, чего хотите, а моя молитва одна: «Да будет воля твоя».

(134, 610).

Старик Скворцов /.../ читал в университете богословие безжизненно и скучно. Половина часовой лекции проходила в перекличке, а на лекцию собиравшиеся оба отделения философского факультета и юридический факультет. Отсутствующим ставились *азики**; но так как Скворцов и сквозь очки не видел хорошо, то часто вместо отсутствующего *азик* приходился присутствующему. На окончательных испытаниях эти *азики* играли большую роль, т. к. ими Скворцов хотел сконфузить студентов, не посещавших его лекций.

Впрочем, присутствующий всегда на окончательных испытаниях по богословию митрополит Филарет принимал сторону сконфуженных, одобрял их ответы, настаивал на хороших отметках и заставлял Скворцова упрятывать книжицу с *азиками*.

(134, 243).

*От латинского слова *assidere* — присутствовать. «Книжица с «азиками» — журнал посещаемости лекций. «Азики» — отметки о прозюлах.

ЕПИСКОП ИЕРЕМИЯ СОЛОВЬЕВ

Иеремия Соловьев (1799—1884) — сын причетника с. Георгиевского Ливенского уезда Орловской губернии. Окончил Орловскую духовную семинарию в 1819 г. В 1819—1824 гг. служил инспектором в севском духовном училище. В 1823 г. принял монашество и в 1824 г. поступил в Петербургскую духовную академию. По окончании курса служил в ней преподавателем. В 1830 г. возведен в сан архимандрита и назначен инспектором Киевской академии. Педагогических талантов не проявлял, но, как отмечает один из мемуаристов, он «был истый монах, добрый и умный». Ректор Киевской семинарии с 1835 по 1839 г. После назначения в октябре 1837 г. Иннокентия Борисова киевским викарием временно исполнял обязанности ректора духовной академии. Это продолжалось два года, и после указа об увольнении преосвященного Иннокентия от должности ректора (10 октября 1839 г.) Иеремия наконец занял его пост. В марте 1841 г. архимандрит Соловьев назначен викарием киевской митрополии, и



снова по иронии судьбы — на место Иннокентия Борисова. (Освободившееся место ректора академии 24 апреля того же года занимает архимандрит Димитрий Муретов). В 1843—1849 гг. И. Соловьев — епископ кавказский и черноморский (с кафедрой в Ставрополе), в 1849—1850 гг. — епископ полтавский и перяславский, в 1850—1857 гг. — епископ нижегородский. С июня 1857 г. жил на покое.

После Иустина ректором /семинарии/ был Иеремия Соловьев, человек довольно ограниченных способностей, недалеко-видный начальник и плохой наставник. Ученики его недолюбливали и прозвали его ханжой, потому что он принимал к себе всяких юродивых и других известных семинаристам пройдох и шарлатанов. Догматического богословия он почти не читал, а преподавал в классе катехизис Петра Могилы. Желая слышать что-либо новое и интересное от преподавателя богословской науки /.../ ученики иногда пытались делать Иеремии возражения, за которые и были производимы в дураки.

Так однажды ученик Терентий Грицинский спросил Иеремию:

— Что Бог делал до сотворения мира?

Тот отвечал ему по-малороссийски:

— Батоги плав на таких дурнів, як ти.

(330, 188–189).

На экзаменах /Соловьев/ заставлял богословцев писать на доске Символ веры и молитву Господню, и беда, бывало, тому, кто напишет малую букву там, где следует быть большой:

— Ты еретик, ты вольнодумец, это грех!!!

(330, 189).

Прислуги себе Иеремя /Соловьев/ не нанимал, и келейником у него был ученик Онисим Рыбальский, впоследствии игумен Оптиной пустыни /.../ Письмоводительские обязанности несли сами ученики, владевшие хорошим почерком, за что пользовались льготами и снисхождением семинарского начальства при переводе из класса в класс, хотя уроки они посещали весьма редко. Письмоводителям этим часто сходили с рук такие шалости и проказы, за которые рядовой ученик мог бы подвергнуться весьма строгому наказанию.

Так, некто из них, Роман Пономаревский, сыграл с Иереимею такую комедию. Перед великопостными заговинами, желая возвеселиться со други своими, он накупил разной живности, в том числе и поросенка, которого предполагалось ночью, как уснет начальство, заколоть и изжарить на кухне и который поэтому был до поры до времени снесен и заперт в семинарской зале, под которой внизу как раз приходилась молитвенная комната Иереими. Читая молитвы на сон грядущий, Иеремя был приведен в смущение шумом и стуком, раздававшимся над его головой от беготни поросенка. Не зная, в чем дело, он послал своего келейника узнать, что там делается. Тот подошедши к двери, стал прислушиваться, но все казалось тихо, потому что поросенок, засыпавши стук в коридоре и чье-то приближение к двери, инстинктивно притих. Не успев келейник сойти вниз и доложить Иереими, что в зале ничего не слышно, как поросенок принялся опять бегать и шуметь, пока его не взяли оттуда на заклание.

Иеремя же, заподозрив действие нечистой силы, на другой день окропил зал святой водой.

(330, 192–193).

А.И. СТАВРОВСКИЙ

Алексей Иванович Ставровский (1811 или 1809—1882) родился в семье священника Новгородской губернии. Окончил Новгородскую духовную семинарию и Главный педагогический институт (1836). И. о. адъюнкта по кафедре русской истории и статистики Киевского университета с 1836 года. В 1842 году защитил магистерскую дис-

сертацию и избран экстраординарным профессором. Один из организаторов музея древностей в университете (его директор с 1838 по 1854 гг.). Проводил раскопки в Киеве и его окрестностях. Преподавал в Институте благородных девиц (1840—1852) и кадетском корпусе (1852—1857). После выхода в отставку (в 1866 г.) жил в Остре.

Ставровский задавал для семестральных сочинений очень удивительные темы. К сожалению, не могу привести их здесь в точности, но знаю, что когда я раз в шутку сказал товарищам, будто Ставровский задавал сочинение: «О пользе Европы» — никто не подумал, что я говорю в шутку. (4, 258).

В 1843 году не известно по какому побуждению Алексей Иванович /Ставровский/ перед началом семестра заявил в совете, что он прочтет студентам 4 курса историю французской революции, должно полагать, ради снискания популярности, которой ему не удавалось добиться прямым путем. Читать историю великой революции 1789 года в русском университете 40-х годов для всякого другого, более даровитого профессора, было бы делом весьма рискованным /.../. Он /Ставровский/ ручался за свою удивительную способность даже изложение истории французской революции опошлить и сделать невыносимо скучной.

На первую лекцию Алексея Ивановича собралось множество слушателей: студенты всех факультетов, особенно специалисты по части революций, поляки, побросав свои аудитории, сошлись слушать «революцию». Предусмотрительное начальство, узнав о таком «движении» молодежи, поспешило само придти послушать, не внушаются ли юношеству вредные мысли /.../.

В университет пожаловал г-н попечитель /.../ Князь /Давыдов/ увидел толкотню и давку; к нему подскочил полковник — инспектор студентов.

— Что это? — обратился к нему попечитель.

— Революция, ваше сиятельство! — брякнул полковник, вытянувшись в струнку.

Князь было смутился. Но кто-то из студентов тотчас же успокоил его, доложив, что это не революция, а история французской революции.

— А-а-а! История... — промывчал вполголоса князь.

Послушав лекцию, его сиятельство пришел к убеждению, что в чтении профессора нет ничего революционного.

(433, 260–262).

Не удовольствуясь курсом всеобщей истории, Ставровский читал нам еще науку, по собственным его словам, им самим изобретенную, именно «теорию истории». Под таким заглавием она красовалась и в печатном расписании факультетских чтений. Я была на первой лекции этой *sciencia puova**; профессор совершенно ошеломил меня живописностью метафор — то он сравнивал историю с голой женщиной под прозрачной дымкой, сквозь которую, т. е. дымку, проникает пылкий взор историка, то строил какую-то необычайно сложную машину, наподобие шарманки, объясняя пораженным слушателям, что вал означает человечество, зубцы за которые он задевает — события, рукоятка, которая его вращает, — уж не помню что, чуть ли не самого профессора. От дальнейшего слушания «теории истории» я уклонился.

(4, 257).

**Новой науки.*

Кафедру всеобщей истории разделял с Шульгиным профессор Алексей Иванович Ставровский /.../ Семинарист и потом воспитанник бывшего Главного педагогического института, он получил степень магистра всеобщей истории за диссертацию под заглавием — «О значении Средних Веков в рассуждении к новейшему времени». Говорят, покойный Грановский, когда хотел потешить своих друзей, извлекал из особого ящика эту удивительную книжицу и прочитывал из нее избранные места.

(4, 257).

Ставровский был очень добрый человек. На своих экзаменах /по русской истории/ он был очень снисходителен. А когда был ассистентом по другим предметам, мы всегда рассчитывали на его поддержку. Вызывались всегда двое. Один, взяв билет, садился к окну обдумывать, пока отвечал предыдущий. Ставровский украдкой обыкновенно подсовывал ему конспект или подходящую книгу, взятые у студентов.

Особенно усердно помогал он нам на экзаменах по богословию, которые происходили в актовом зале, при торжественной обстановке, в присутствии викарного архиепископа Антония /Амфитеатрова/, автора толстой книги «Догматическое богословие», которую мы должны были зубрить.

Ставровский держал перед собой эту книгу, отыскивал в ней то, что нужно было идущему к окну, и передавал за спиной ему книгу. Экзамен проходил блестяще, и Антоний, благословляя нас на прощание, благодарил за то, что мы так хорошо усвоили его произведение.

(423, 43–44);

Э.-Р.Э. ТРАУТФЕТТЕР

Эрнест-Рудольф Эрнестович Траутфеттер (1809–1899) родился в Миттаве (теперь — Елгаве в Латвии). Закончил Дерптский университет (1831). Преподавал там же ботанику и заведовал университетским ботаническим садом (1833–1835). В 1835–1838 гг. служил младшим помощником директора Ботанического сада в Петербурге. В 1838–1850 гг. — профессор Киевского университета. 1847–1859 — ректор. С 1841 по 1852 г. был также директором университетского ботсада. В 1859 г. вышел в отставку и с 1860 по 1864 г. занимал место директора Горьгорецкого земледельческого института. В 1864–1875 гг. — директор Петербургского ботанического сада.



Член-кор. Петербургской АН (с 1837 г.). Занимался географией растений и описанием ареалов растений в Европе. Впервые описал некоторые виды растений. Его огромный гербарий вошел в состав гербария Петербургского ботанического сада. В свое время был лучшим знатоком русской флоры.

Новицький в своїй «Записці», зазначаючи вченість Р.Е. Траутфеттера, його лагідність та гостинність, а також заслуги щодо організації університетського ботанічного саду в Києві, не так високо ставить його як ректора. «Справляючи ректорську «службу», проф. Траутфеттер надто захоплювався формалізмом». «З цього приводу, — оповідає Новицький, — Віталій Яковлевич Шульгін висловивсь одного разу про Рудольфа Ернестовича так: «Коли б Бібіков звелів йому підпалити університет, він не вагався би ні трохи і виконав би цей наказ» /.../ Тим часом проф. А.А. Романович-Славатинський у своїх спогадах малює Траутфеттера просто-таки як ідеального ректора. (Вестник Европы. — 1903. — №3. — С. 187–189). (205, 181).

П.А. ТРОИЦКИЙ

Петр Алексеевич Троицкий — профессор Киевской духовной семинарии. Начал службу в 1835 г. профессором словесности, психологии и логики, в последние годы был ее ректором и вышел на пенсию в 1857 г. Его лекции по догматическому богосло-

вию пользовались большой популярностью среди киевской молодежи и привлекали в аудиторию не только учеников семинарии, но и студентов академии. Самого Троицкого горожане называли «киевским философом Платоном».

/Профессор/ Петр /Троицкий/ часто журил этого /келейника/ Симеона за то, что, подметая кабинет, он убирал с сором разные необходимые заметки на клочках бумаги, падавшие иногда со стола на пол, и нередко говаривал ему:

— Послушай, Симеон! Ну рассуди логически, что здесь мешают тебе эти бумажные клочки, которые ты преждевременно отсюда уносишь? Ведь согласишься, что между ними есть очень нужные для меня.

Кто-то передал этот разговор семинаристам, и они стали звать келейника не иначе, как «Симеон Логический», чем он очень гордился.

(330, 217).

Живо припоминается еще вступительная речь Петра /Троицкого/, сказанная экспромтом ученикам богословского класса в 1857 году. Пришедши на первый свой урок, Петр, после обычной молитвы, вдруг обратился к бывшим философам* с вопросом, которого они менее всего могли ожидать:

— Вы зачем здесь? Это класс не ваш, это класс богословский! Чего вы сюда пришли?

Понятно, все недоумевали молча.

— Вы молчите? Так я буду отвечать за вас на мой вопрос: вас привел сюда ваш разум, ищущий Богопознания! Бедный разумишко, затерявшись в заблуждениях, искал по всей земле совершенного добра...

(330, 219).

* «Философами» называли учеников предпоследнего курса. Философию читал им обычно инспектор семинарии. Ректор читал богословие на последнем курсе. И слушали его «богословы».

Выходя же из урока в такую пору, когда другие наставники занимались уже в классе, Петр нередко в коридоре наталкивался на учеников, кои уходили домой украдкой или, не желая сидеть на уроке, бесцельно шаялись по разным закоулкам до звонка, и между прочим однажды наткнулся на ученика философии Афанасия Недельского, ушедшего от урока принопамятного о. Даниила Смолодовича. Остановив его, Петр спросил:

— Ты куда?

— Иду воды пить наверх.

Петр взял его за рукав, «творил дверь и, вталкивая в класс, произнес:

— Иди, пей воду живу; экая живность!

(330, 218).

Преподавая догматическое богословие, Петр упражнял учеников и в изъяснении священного писания Ветхого и Нового завета, которое принято было за неизменное правило читать и на уроках остальных наставников при входе их в класс, после молитвы св. Духу, причем чтец, очередной, должен был рассказать содержание и смысл прочитанного. На уроке Петра случилось прочитать ученику Аф. Недельскому притчу о Богатом и Лазаре; по окончании чтения Петр спросил:

— О чем?

— О богаче, — ответил чтец.

— О чем? — переспросил Петр.

— О богаче, — повторил Недельский.

— О дураке! — произнес сердито Петр и сам начал изъяснять смысл и содержание притчи столь резко и глубокомысленно, что у юных слушателей исторглись слезы умиления.

(330, 220).

АРХИЕПИСКОП ИРИНЕЙ ФАЛЬКОВСКИЙ

Викарий киевский Ириней (в миру Иоанн Иоакимович Фальковский) (1762—1823) родился в семье сельского священника Полтавской губернии, назначенного настоятелем церкви на русских императорских винницах в венгерском городе Токае. В детстве служил причетником при отце. Учился в токайском римско-католическом училище, Пресбургской и Пештской гимназиях, Киевской академии (1783—1784). Пострижен в монахи в 1786 году. С 1784 г. по 1804 г. преподавал в Академии математику, архитектуру, поэзию, философию и богословие. В 1803—1804 гг. — ректор Академии. В 1807—1811 годах — епископ чигиринский и викарий киевский. В 1812—1813 годах — архиепископ смоленский. С 1813 года — снова викарий Киевской епархии. В городское предание Киева вошел не только как один из самых образованных иерархов своего времени, ученый и книжник-оригинал, но и беспокойный для властей епископ, упорно боровшийся за древние права и самобытные установления украинской церкви. Особое впечатление на общество произвело

его выступление против введенного в начале XIX века обыкновения награждать священнослужителей светскими орденами. Его отказ от «кавалерии» произвел большой скандал и доставил много хлопот митрополиту Серапиону и Синоду. Споры о ношении орденов велись среди киевских иерархов и позже. В 1856 году митрополит Филарет получил орден святого апостола Андрея Первозванного, что послужило толчком к новой дискуссии в кругу его приближенных (в частности, между наместником Лавры Иоанном и ректором КДА Антоном Амфитеатровым). Одни утверждали, что орденская лента — «петля дьявола» для священника, другие исходили из того, что отличия необходимы для поднятия престижа православных священников среди мирян. Сам Филарет надел орден несколько раз и вернул его в казну в обмен на деньги, которые пожертвовал на Лаврский странноприимный дом (гостиницу для богомольцев). Обязательное ношение орденов при богослужении было отменено лишь в 1885 году.

/Отказ Ириней Фальковского от кавалерии/

29 апреля /1811 г./ митрополит /Серапион/ через секретаря консистории послал при своем письме к викарию епископу Иринее высочайший рескрипт и знаки ордена святой Анны 1 класса, полученные накануне.

Возвратившись, секретарь донес, что Ириней отрекается принять орден, не при-

ния конверта и не распечатал его. Вечером митрополит сам поехал к викарию Иринею, отрекающемуся принять орден, с увещанием оставить упорство свое. Но Ириней остался при своем мнении. И митрополит, испушав у него чашку чаю, отъехал восвояси. Через день митрополит опять сездил к викарию для посещения его, яко больного, и говорил ему о принятии кавалерии. 10 мая в день рождения великой княгини Екатерины Павловны молебствие отправил епископ Ириней без возложения недавно пожалованной ему кавалерии*.
(425, 445).

**Ириней надел на себя светский орден лишь через год, 12 марта 1812 г. по случаю назначения его епископом смоленским.*

/Меры против пьянства/

Резолюция викария Ириней 12 июля 1820 года:

«Поселику все нижепрописанные 4 человека (послушники Киево-Михайловского монастыря) побеждают страстью невозддержания и пьянства, то призвать их всех в присутствие и притвердить им крепчайше, дабы они для побеждения сей весьма худой страсти непременно решались добровольно ежедневно полагать 100 земных поклонов, как в церкви по 100 и по 200, не стыдясь немало людей, а паче надеясь за то похвалы первее от самого Бога, а потом от всех ангелов и человеков, так же по своим келиям полагали бы столько же и побольше поклонов, а молитву Иисусову или «Святый Боже» читали бы на каждый час по 100 раз или и более».
(51, 218).

/Оплошность просветителя/

Мы слышали от одного из местных священников анекдот. Преосвященный Ириней пожелал как-то показать братии Киево-Михайловского монастыря довольно редкое и интересное небесное явление. Для этого он установил как следует телескоп в своей беседке-обсерватории, закрыл стекло и отправился отдать распоряжение братии, чтобы она собралась для наблюдения. Братия собралась. Преосвященный предварительно объяснил подлежащее наблюдению явление и затем продолжал каждому поочередно подходить к телескопу.

Первым подошел настоятель монастыря.
— Дивна дела Господня, ваше преосвященство, — сказал он спустя несколько минут, оставляя пост наблюдателя и уступая место ризничему.

— Дивна дела Господня, ваше преосвященство, — сказал в свою очередь ризничий, уступая место казначею...

То же самое проделал и каждый следующий астроном. Подходит последним один из послушников.

— Дивна дела Господня, ваше преосвященство, — говорит он, отходя от телескопа и отвешивая преосвященному низкий поклон, — только... в трубу-то ничего не видно.

Оказалось, что преосвященный Ириней, увлекшись предварительным объяснением, забыл снять крышку со стекла.

(51, 95).

Сей достопамятный архипастырь, в то время еще иеромонах, был тогда в Киевской академии «учителем богословия и сме- шанной математики и надзирателем математических классов».

Своею любовью к физико-математическим наукам он возбуждал ее и в других.* Памятником тому служат два «Киевские месяцеслова» на 1798 и 1799 годы», со- чиненные в Академии киевской и напечатанные (в типографии Ака- демии киевской при Киево-Печерской лавре). Вычисления в этих «Месяцесловах» сделаны разными академическими учителями и учениками (в том числе Яковом Кай- дановым и Вас. Ризенком), проверены самим Иринеем. Замечу, что еще перед тем сочинен был Иринеем «Стенной месяцеслов» на 1796 год, который Академия по- слала к Н.Н. Багтышу-Каменскому в Москву, где он и напечатан за 36 руб. 50 коп. Желательно, чтобы кто-либо из киевлян составил подробную биографию преосвя- щенного Ириния, которую сам он уже начал.

(251, 48).

**Говоря это, Максимович имел в виду своего отца, который учился в Ки- евской академии у Фальковского «между прочим физике и архитектуре» и нашел свое призвание в технологии и механике. Служил на Шостенском по- роховом заводе инженером и архитектором.*

Ириней пользовался большой славой в Академии и любовью своих слушателей, которые до того привязаны были к нему, что очень многие старались усвоить себе даже почерк его, который очень красив и четок, хотя и сжат. Замечательно также, что почти всякий из его воспитанников отличал- ся математическими познаниями. Это был (по словам Филарета, архиепископа чер- ниговского) человек с дарованиями необыкновенными и сведениями разнообразными. Оставшаяся по нем библиотека хранится в Киево-Михайловском монастыре...

(45, 277).

Консистории он, по-видимому, недолюбо- ливал. /.../ В ней заседали тогда преимущественно архимандриты и игумены ки- евского монастыря, а в канцелярии царило великое взяточничество.

Во время одной из своих поездок в чигиринскую свою паству преосвященный Ириней при выходе из какой-то церкви остановился перед картиной страшного суда, который в числе грешников, идущих в ад, нарисованы были и лица некоего чвана и мырже про- стого звания. Указывая на картину, преосвященный спросил у стоявшего здесь дьячка:

— Что это?

Простодушный дьячок не затруднился отвечать:

— Киевская дикастерия.*

Ириней прослезился и прекратил дальнейшее испытание.

(50, 715).

**Дикастерия — архаическое название консистории (административного управления епархии). В качестве викария Ириней был начальником той са- мой консистории, которая экзаменуемому дьячку казалась адом.*

Живой, обыкновенный человек рано в нем похоронен, — вместо него жил человек, возрожденный и одухотворенный аскетизмом /.../ О родных он не упоминает, друзей и людей близких он не имел; но всюду ищет он человека и делает для него добро, не оставляя для себя почти ничего.

Когда он умер, от него, при его питании кашцей, осталось около 2000 ассигнаций и ни одной ценной вещи, кроме массы книг /.../

Раз правление Михайловского монастыря постановило купить для выездов его щуг в 6 лошадей. Он ответил:

— Сей щуг мог бы быть надобен разве для моего преемника. Я же в случае крайней какой надобности могу выезжать парюю каких-нибудь лошадей.

(50, 715).

/Необычайный духовный подвиг епископа-интеллектуала/

Уволившись из академии, И. Фальковский посвятил себя службе и домашним «аскетическим» упражнениям/

«Ето видно из тех домашних записок, в которых И. Фальковский несколько лет делал замечания на каждый день: сколько полагал он поклонов (по правилу 100, но иногда 200 и 500), какое читал правило, т. е. какие каноны и акафисты, какие духовные книги и проч. Записывал и дни своих недугов.

Из этих заметок замечаем, что некоторые книги и статьи этого /духовного/ рода прочтены им по несколько сот раз /.../

В конце рукописи № 620 переписано «S.P.I. Chrysostomi praesensis ad Theodorum lampus II» на 6 страницах и в конце следующая заметка: «Прочитано сие латинское слово 374 раза, с 14 апреля 1764 г. по 4 ноября 1813 г.». Затем «Увещание от отца духовного к чаду духовному по исповеди грехов» подписано так: «Прочтено сие увещание 363 раза, с 25 мая 1804 г. по 4 ноября 1813 г.». В Михайловском монастыре есть рукопись Ириней (№ 71) «Чин присяги архиерейской». В конце замечено, что присяга читана от 6 марта 1807 г. до 29 апреля 1823 г. (т. е. по день смерти Ириней) всего 814 раз. В Псалтире на греческом и латинском языке, принадлежавшей библиотеке того же монастыря, замечено, что до конца 1818 г. она прочитана Иринеем 120 раз, а до 22 апреля 1823 г. всего 334 раза. О Священном писании вообще известно, что оно читано было им ежедневно.

Он переписывал своим чистым и ясным почерком не только свои сочинения (иногда по несколько раз), но и книги печатные и рукописи чужие — не потому, конечно, что таких книг собственных иметь не мог или не находил переписчиков, а потому, что не хотел никогда быть праздным.

(424/А, 306).

Ириней все так же бегает, как заяц, тупит глаза в землю, как сурок, и от измешенной дикости в поступках чрезвычайно страшен...* Он говорил проповедь своего собственного рукоделая... а я слушал его со вниманием, но повторением беспрестанным одних и тех же слов, в числе которых чаще всего твердил он «дела таковые» /.../ Я проворчал от себя на счет его по-

учения: «Такие суть дела, ужасные дела!», обратился к мощам^{**}, приложился к ним и поехал домой.
(102, 287).

**Из всех отзывов об Иринее самое неприязненное принадлежит кн. И. Долгорукову. Он вообще не воспринимал схимничества, и просвещенный аскет, каковым был Фальковский, мог показаться ему верхом нелепости. Этим, очевидно, и объясняется неприязнь писателя к знаменитому викарию. В то же время ему удалось воспроизвести живые черточки характера епископа.*

***Мощи св. Варвары в Михайловском соборе.*

Более всего он старался возбудить в монашествующих охоту и любовь к чтению. Библиотека Киево-Михайловского монастыря во время его настоятельства успела значительно обогатиться рукописями, новыми книгами и периодическими изданиями /.../

Но что он мог сделать этим путем не только в большей части невежественной, но нередко не знавшей даже русской грамоты и названий предметов обыкновенных?

Раз преемник его Афанасий, во время обедни заметив, что на дворе дождь, послал принести ему *калоши*. Отправился сам отец ризничий и прямо в кабинет, потом в спальню. После некоторого разглядывания, заметив ботинки, он схватил их со словами: «Оце ж вони — *холоши*!», и пустился было уходить обратно, но когда келейник переспросил его о том, что именно нужно, указав при этом на стоявшие в передней *калоши*, он с неудовольствием заметил: «Та це ж черевики! Які ж вони *холоши*?»
(50, 769).

В отношениях его к начальствовавшим над ним владыкам едва слабыми штрихами отмечены расположение и покровительство митрополита Самуила, гнев и прощение митрополита Иерофея, отсутствие неладов с митрополитом Серапионом и полное отчуждение от митрополита Евгения. Последний не менее Иринея славился умом и ученостью, а между такими лицами в нашей епархии редко существовали добрые отношения /.../

Когда митрополит Евгений, как гласит предание, возвратил Иринею присланный ему этим последним в день именин Евгения кулек вин, с намеком на одолевавшую когда-то его страсть, Иринею перестал являться к нему по делам и сноситься с ним письменно.

Когда наступил в Михайловском монастыре храмовый праздник и приехал митрополит для служения, Иринею не вышел к нему, не принял его и после обедни, сказавшись больным. В день именин своих он снова не принял Евгения, приезжавшего с поздравлениями; не принял и тогда, когда тот заехал к нему проститься перед отъездом в Петербург.

(50, 715–716).

/Епископ-тюремщик/

Становясь сам в роль судьи, пресвященный Иринею отправлял эту священную и трудную обязанность с величайшего осто-

рожностью /.../ Приводил он к покаянию и исправлению монастырскую братию монастырскими же средствами, преимущественно *земными поклонами* /.../ Но братия давно привыкла к этому средству, и оно мало уже действовало на нее; приходилось употреблять более сильные, специфические средства, назначались: лишение на несколько дней вареной трапезной пищи, уменьшение кружечного подела, временное запрещение священнослужения, даже «умеренное сечение батоном или плетью». Но многие и этим не исправлялись. Тогда, по выражению Ириней, оставалось «одним одно» — затвор, проще карцер.

Но «чернечая» природа только глумилась над этим, по-видимому, несомнительным средством. Местом заключения служила темная комнатка под колокольнею с небольшим просветом на главный вход («святые ворота»). Товарищи заключенного нередко рекомендовали его перед богомольцами как затворника. И если был молодой — простодушные богомольцы обыкновенно удивлялись ревности мнимого подвижника; если же пожилой, то подходили к просвету карцера, с благоговением смотрели на импровизированного затворника и, прося молитв его, полагали перед ним деньги, ладан и масло.

Ириней терялся, недоумевал, чем унять проказников. Вышел даже такой случай. Один из них умер в затворе. Ириней устроил карцер у северо-восточного угла своего настоятельного дома, в саду и всегда с готовностью сам служил заключенным, говоря, что так как ему никогда не приходилось послужить заключенным в темнице, то он рад послужить хоть своим заключенным.

Приходилось, наконец, содержать иных братий «под крепким караулом», «в оковах»,сылать куда-либо в заштатный монастырь, а наконец просто пускать в свет, изгоняя навсегда из обители, как пущен был в свет феноменальный иеродиакон Мефодий, который, пройдя все виды пороков и наказаний и будучи всегда пьян, вышел однажды в стихаре, надетом наизнанку, а в другой раз не сдержал даже своей естественной нужды.

(50, 694—696).

Жизнь его полна любопытных подробностей и особенностей. Самая кончина его примечательна. В последние годы особенно жил он уединенно и нелюдимо в Михайловском монастыре, трудясь непрестанно и «побеждая» (как говорил он) «последних внутренних врагов своих». В 1823 г., 29 апреля, ждали его на служение в Михайловской церкви, но он долее обыкновенного оставался в своем кабинете. Заглядывая в окна из сада, видели, что он все еще читает. Наконец, келейник, войдя к нему, осмелился тронуть его ногу; и тогда узнали, что Ириней давно уже сидел мертв, склоняясь над развернутой Библией и как бы все еще углубленный в пророчества Иезекииля.

(251, 48).

И.П. ХРУЦОВ

Иван Петрович Хруцов (1841—1904) — потомственный дворянин. Камер-юнкер (с 1873 г.) и камергер (с 1885 г.). Окончил Курскую гимназию, учился в Московском и Петербургском университетах (последний окончил в 1862 г.). Ученик слависта профессора И.И. Срезневского. Продолжал образование в университетах Лейпцига, Базеля и Цюриха. В 1870—1877 гг. — приват-доцент Киевского университета. Читал историю древнерусской лите-

ратуры. С 1878 г. — служил в Петербурге чиновником министерства народного просвещения. В 1896—1899 гг. — попечитель Харьковского учебного округа. В 1899—1904 гг. — член Совета Министерства народного просвещения. В бытность свою в Киеве Хруцов много способствовал учреждению Исторического общества Нестора Летописца. Первые заседания общества происходили в его квартире. Со-стоял первым его секретарем.

Одновременно с Антоновичем поступил в наш университет доцент русской словесности Иван Петрович Хруцов, который был потом харьковским попечителем. Это был настоящий хлыщ, воспитанный в аристократических традициях, зять сенатора Поленова (про что сам же и сообщил студентам чуть ли не в первую лекцию), всегда расфранченный, надушенный, с манерами салонного завсегда-франта, с безупречным французским прононсом /.../ Иногда, бывало, целый час проходил в простой болтовне ни про то, ни про это, или в насмешках слушателей над незадачливым профессором.

— Расскажите, Иван Петрович, — просят, бывало, его, — как вы как-то усомнились в битии Божиим?

— О, да, было со мною такое несчастье, да спасибо ma tante графиня Z. навела меня на путь истины, — и далее идет долгий рассказ про то, как это произошло. А то как-то мой товарищ, насмешливый полтавец, спросил его, не его ли пращур — майор Иван Хруцов, бывший в XVIII ст. нижинским полковником?

Иван Петрович так и засиял.

— Вот как! Полковником в Малороссии? Я и не знал этого. Наверно, мой, ибо все мои предки занимали высокие посты. А чем же отличался этот мой предок?

— А тем, что его «за здирственные прихоти» скинули с места и немилосердно били батогами.

— О, нет, нет, — замахал руками Хруцов, — у меня никогда не было в роду таких полковников.

Аудитория помирает со смеха.

(464, 268).

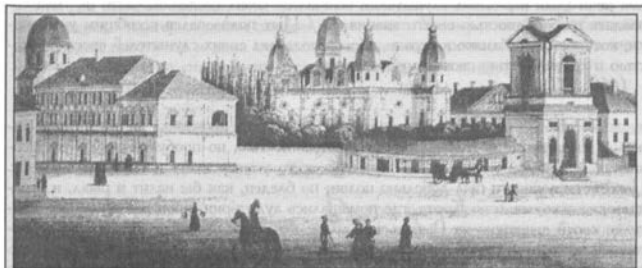
Як природжений аристократ Хрущов зара-
зу ж не злюбив Антоновича за його демократичну простоту і вважав його за яко-
гось плебея. Одвідавши його з візитом, Хрущов жалівся в професорській лекторії:

— Этот Антонович решительно компрометирует звание профессора: он живет в
какой-то жалкой халупе и сам отпирает дверь посетителям, не имея для этого при-
личной прислуги...

А то раз Антонович зайшов чогось до Хрущова й застав в нього значних гос-
тей, з якими той вів розмову по-французьки. Як ввічливий господар, Хрущов хотів
вести в розмову й нового гостя і кожну французьку репліку подавав йому в
російському перекладі. Той спокійно приймав це, не подаючи й виду, що не потре-
бує перекладача, та якось і сам встав в загальну розмову на тій же мові. Хрущов
аж очі виричав з дива.

— Владимир Бонифатиевич! Что я слышу! неужели и вы говорите по-француз-
ски? Вот уж чего я не ожидал!

(464, 272).



Винная лавка у стен Духовной академии (между академическим корпусом и колокольной) —
излюбленное место пирушек студентов на Подоле. Фрагмент литографии 1840-х гг.

В.Ф. ЦЫХ

Владимир Францович Цых (1805–1837) — сын майора православного вероисповедания, родом венгра или чеха. Окончил Екатеринославскую гимназию (1822) и филологический факультет Харьковского университета (1825). Служил учителем и инспектором в Харьковском институте благородных девиц (1831) и преподавателем всеобщей истории в университете (1831–1832). В 1833 году получил степень магистра и звание адъюнкта, а на следующий год приглашен экстраординарным профессором всеобщей истории в университет святого Владимира. (На то самое место, которого добивался через своих

петербургских друзей и покровителей Н. Гоголь). Одновременно назначен членом училищного комитета и визитатором частных учебных заведений Киева. В 1835 году становится ординарным профессором, деканом I отделения философского факультета и проректором университета. В 1836 году избран ректором. Пользовался всеобщим уважением горожан. Внезапная его смерть потрясла все киевское общество. На похороны явились высшая власть края, члены университетской и академической корпораций, обряд погребения совершил знаменитый ректор Киевской духовной академии архимандрит Иннокентий.

Цых был одним из лучших преподавателей всеобщей истории в России /.../ Бойко владея языком, в плавной одушевленной речи Цых передавал слушателям всю массу своих сведений, часто не умея совладать с громадностью своего знания /.../ Цых пользовался всеобщим уважением, которое было близко к страху, ибо он подавала своим слушателей свою ученость и громадностью своего преподавания. (460, 127).

Смерть его произвела на всех самое тяжелое впечатление не только своею неожиданностью, но пробуждением у всех сознания о тяжелой потере в его лице для всего университета и всех его знавших. Цых по наружности был довольно полон, но бледен, как бы налит и рыхл, и страдал одышкою; из дома Корта, где помещались аудитории, иной раз он не мог дойти до своей квартиры на Рыбальской улице без того, чтобы несколько раз не остановиться на пути для восстановления дыхания. Несмотря на свою болезненность лицо его выражало какую-то душевную мягкость и сердечность и вообще было в высшей степени симпатично; самая улыбка его благодушная. (285, 11).

Он мне очень понравился, и я* поручил ему тотчас по прибытии массу дел, которые он на себя охотно принял /.../. Цых во всех своих действиях был откровенен и прям; все, что он говорил, было ясно и чуждо двуязычия. Возложенное на него дело исполнял осмотрительно и быстро. Я все больше к нему привязывался, и отношения наши приобретали характер взаимного доверия. Он стал раскрывать передо мною свое внутреннее состояние и признался, что уже много лет не приступал к Святым Тайнам, не желая самого себя презирать как притворщика, но в то же время, чтоб не подавать соблазна, никогда не позволял себе выражать свое мнение об этом предмете. Между тем заметно было, что, несмотря на видимое здоровье, он чем-то страдал и не хотел в том сознаться. Как ни приглашали его к обеду, он ни за что не являлся; за чаем тоже не ел ничего. Стали следить за ним, и оказалось, что никто и никогда не видел, чтоб он ел. Зато он пил много чаю и ни в какой час дня от него не отказывался. Перед Страстной неделей, однажды вечером сидел он у нас, и мы довольно долго оставались одни. Он стал говорить о религиозных предметах. Сильное возбуждение чувствовалось в его словах. В нем живо пробудилось чувство греховности, и он искренне жаждал утешения в религии, но вера еще не давалась ему. В понедельник на Страстной неделе узнал я, что Цых строго говест, а в четверг встретился мне университетский священник, и я спросил его про Цыха. Оказалось, что он говел и причащался, и на исповеди так горячо и искренне каялся, что сам священник пришел в умиление. В субботу на Страстной неделе он пришел ко мне весь радостный и говорил только о религиозных предметах /.../. В дни Пасхи я ехал с поздравлением к генерал-губернатору, как встретился мне профессор Новицкий, остановил меня и, рыдая, объявил, что Цых только что скончался /.../. Смерть его была легка; в последние минуты он радостно повторял, что охотно расстается с жизнью и исповедывал твердую веру в Господа и Спасителя. Тут узнали, что уже несколько лет он не мог ничего есть (его от всего рвало), что он долго лечился от этой болезни, но безуспешно. Смерть Цыха была незаменимою утратою для университета /.../. Похороны его показали, как ценили его и вне университета. Епископ Иннокентий сам выразил желание отпевать его со своим духовенством; к отпеванию явились генерал Ридигер со своим штабом и все власти. Университет был глубоко опечален; один профессор и один студент, произносившие речи, едва могли окончить их от волнения, и до сих пор еще в университете помнят и ценят Цыха.

(49, 283—284).

*Автор цитируемых записок — попечитель Киевского учебного округа Е. Брадке.

/Сон Цыха/

Быстрое возвышение и внезапная смерть Цыха ему самому выразились чувственно во сне, какой он имел незадолго до смерти, и который он рассказывал, между прочим, фон Брадке и Новицкому. Во сне ему представилось, что он взошел на вершину лаврской колокольни, но эта колокольня рухнула, а с нею и он низвергся на землю и ушибся насмерть.

(285, 11—12).

В.П. ЧЕХОВИЧ

Венедикт Павлович Чехович (1804–1862) родился в семье священника на Волыни. Воспитанник Волынской духовной семинарии. В 1827 г. окончил Киевскую академию и оставлен в должности бакалавра по кафедре физико-математических наук. С 1834 г. — ординарный профессор. С 1837 по 1846 г. преподавал физику в Киевском университете (с 1839 г. преподавал еще и физическую географию), потом вновь вернулся в академию. В 1842–1850 гг. преподавал физику в Институте благородных девиц и за свои труды получил в награду золотые часы с цепочкой от царицы Александры Федоровны. Знал латинский, греческий, польский и французский языки. Действительный

член Временной комиссии для разбора древних актов.

Охотно сотрудничал с властями. Помогал им в подавлении польского революционного движения. В 1831–1832 гг. состоял при киевском ордонанс-гаузе (разбирал бумаги арестованных). В 1832 г. — переводчик в комиссии военного суда над мятежниками. В 1838 г. — член секретной комиссии для расследования о тайных обществах. За все свои труды в царских застенках не получил никакого вознаграждения. (Ему не выплатили даже жалования). Секретарь по внутреннему правлению Духовной академии (1853–1857). Секретарь цензурного комитета при академии (1857–1862).

/Красноречивый отказ/

Венедикт Павлович нам, студентам /академии/, преподавал математику и физику. Последнюю читал в отдельном кабинете и показывал нам опыты. Он был очень благородный и честный учитель и знаток своего предмета /.../

Невольно припоминается один случай из его жизни. В Киевской духовной академии в это время издавалось «Воскресное чтение», основанное ректором Иннокентием (Борисовым). Статьи для печатанья составляли лица, состоявшие на преподавательских кафедрах в академии. Некоторые неохотно писали свои статьи, особенно не желал ничего помещать на страницах «Воскресного чтения» Венедикт Павлович.

Когда сослуживцы стали настаивать, чтобы он непременно написал статью для журнала, Венедикт Павлович написал «Похвалу молчанию» и затем больше никогда ничего не писал. Зато его «Похвала молчанию» стоила по своему содержанию весьма многих статей о разных предметах, составленных другими. (448, 239).

Ф.С. ШИМКЕВИЧ

Федор Спиридонович Шимкевич (1802–1843) — выдающийся киевский филолог. Родился в Могилеве (на Днепре) в семье священника. В 1812 г. семья Шимкевичей, спасаясь от французских оккупантов, эвакуировалась в Воронеж, где будущий филолог закончил духовную семинарию (1823), после чего поступил в Киевскую духовную академию. Его увлечение филологией (еще будучи студентом он знал 12 языков) нашло поддержку со стороны митрополита Евгения Болховитинова. По окончании академии молодой ученый защитил диссертацию на звание магистра и был зачислен бакалавром (преподавателем) немецкого языка. Одновременно он исполнял обязанности помощника библиотекаря. Эта работа оставляла много свободного времени для научных занятий, и Шимкевич занялся составлением «Корнеслова русского языка», в котором стремился определить самобытную основу русского языка и отделить от нее все посторонние заимствования. Исчерпав все имевшиеся в Киевской академии материалы, Шимкевич, не задумываясь, оставляет в 1834 г. Киев, едет в Петербург, устраивается столоначальником в хозяйственном департаменте МВД и продолжает свои научные изыскания. Обычно Шимкевич долго не задерживался на одном месте. Накопив денег, он тут же бросал работу и, пока хватало сбережений, цели-



ком погружался в свои исследования. Проработав над «Корнесловом» более 10 лет, ученый добился выдающихся результатов, и в 1840 г. при содействии Востокова представил Академии наук отчет о проделанной работе, обзор собранных материалов и общий план сочинения. Академия присудила ему половину Демидовской премии для окончания сочинения, а неизвестный благотворитель — значительную субсидию. Преодолев постоянно преследовавшую его нужду, тяжело больной Шимкевич с новыми силами взялся за дело, и в 1842 году его труд наконец-то увидел свет. Сочинение имело такое название: «Корнеслов русского языка, сравненный со всеми главными славянскими наречиями и 24 иностранными языками» (в двух томах). Успех был огромный, книга быстро исчезла с прилавков магазинов. Ею заинтересовались в высших кругах и при дворе. Автору была предоставлена материальная помощь, его взял под личную опеку наследник престола вел. кн. Александр Николаевич. Он же приста-

вил к больному ученому лейб-хирурга, однако дни его жизни были сочтены. Умер в Петербурге 3 апреля

1843 г. и похоронен на аристократическом кладбище Александро-Невской лавры.

Одно перечисление языков, которые в большей или меньшей мере должен был знать составитель «Корнеслова» /библиотекарь духовной академии Ф. Шимкевич/, способно поставить в недоумение всякого читателя. Вот одни только славянские наречия: богемское, болгарское, боскийское, верхнедузацкое, виндское, далматское, краинское, краотское, литовско-русское, люненбургское, моравское, нижне-дузацкое, польское, рагузское, сербское, силезское, словенское, словацкое, украинское, церковное и штирийское. А вот иностранные языки: английский, арабский, армянский, англосаксонский, валахский, валлийский, венгерский, голландский, готский, греческий, грузинский, датский, еврейский, эстонский, зырянский, исландский, испанский, итальянский, кельтский, лапландский, латинский, латышский, литовский и два его наречия (древнепрусское и самогитское), молдавский, нижнесаксонский, норвежский, немецкий, персидский, санскрит, татарский, тибетский, турецкий, финский, шведский, эстонский, не говоря уже о местных наречиях, существующих в разных губерниях и уездах нашей обширнейшей в свете империи /.../

Почувствовав приближение смерти, Шимкевич пригласил к себе священника; пришел И.С. Ладинский. Увидев на груди его магистерский крест, Шимкевич, перевернув мыслью в счастливое время своей молодости.

— И я, батюшка, магистр богословия, — сказал он /.../

Шимкевич просил написать духовное завещание. Смело можно сказать, что с той поры, как пишутся завещания, едва ли было подобное: все имущество состояло в небольшом количестве книг и в рукописях собственного его сочинения.

Это было завещание гения филологии.

(22, 134—136).

Ф.Ф. ЭРГАРДТ

Федор Федорович Эргардт (1828–1895) родился в Одессе. Окончил Ришельевскую гимназию (1843), Ришельевский лицей (1847) и Киевский университет (1848–1853). Служил ординатором в больнице Кирилловских богоугодных заведений (1855–1861). С 1857 по 1889 г. занимал кафедру судебной медицины в уни-

верситете святого Владимира. В 1859 г. — экстраординарный, а с 1860 г. — ординарный профессор. С 1862 года — также заведующий судебно-медицинским отделением Киевского военного госпиталя. Декан медицинского факультета (1865–1868 и 1875–1883 гг.). Выдающийся судебно-медицинский эксперт.

Популярность Федора Федоровича в среде студентов-юристов и медиков была значительна, благодаря главным образом тому, что профессор Эргардт постоянно выступал в суде в качестве эксперта по всем выдающимся уголовным процессам, что и привлекало в суд большинство его слушателей. Экспертизы Ф.Ф. представляли всегда значительный интерес, и в этом отношении имя его пользовалось большой известностью не в одном только Киеве /.../.

В частной жизни Ф.Ф. был большой оригинал: всегда в неряшливом костюме, независимо от того, куда он являлся, всегда кричащий, безразлично — будь то на улице, в гостинице или в суде, никогда не стеснявшийся высказывать свое мнение о лицах открыто, Ф.Ф. относился хладнокровно ко всяким на него нападкам, не придавая им никакого значения и с упорством шел к раз намеченной им цели, что особенно проявлялось в его общественной деятельности. Одно время имя Ф.Ф. приобрело известность по поводу изобретенной им особенной колодки для обуви. Как ни нападали на Ф.Ф., как ни смеялись над ним, называя его даже «сапожником», но Ф.Ф. с гордостью указывал преспокойно на вывески сапожников, где имелась надпись: «Колодки по системе профессора Эргардта», и его несколько не смущало, что рядом с нарисованным сапогом было написано «профессора».

(467, 169–170).

В.Я. ЯРОЦКИЙ

Яроцкий Василий Яковлевич (1824—1897) родился в дворянской семье в г. Кузнецке Томской губернии. Окончил Главный педагогический институт в Петербурге. В 1846 году защитил диссертацию на звание магистра греческой словесности и определен адъюнктом по кафедре истории и литературы славянских наречий в Киевский университет. Экстраординарный

профессор с 1856 года. С 1854 года по 1862 год преподавал также русскую литературу в Институте благородных девиц. В 1862 году командирован с научной целью в славянские земли Пруссии, Австрии и Турции. В 1864—1875 годах — секретарь историко-филологического факультета. Председатель библиотечного комитета. Вышел на пенсию в 1875 году.

Монстр № 3 — это был доцент по кафедре «славянских древностей» старикан Яроцкий. Про его лекции в мое время между студентами ходил такой характерный анекдот, очевидно снятый с натуры: профессор тяжело взгромоздился на кафедре и сонным голосом начал лекцию, роняя слово за словом: «Славяне (какой-то не в меру усердный слушатель записывает: «славяне») или древние предки наши (студент зачеркивает «славяне» и пишет «древние предки наши») жили (тот записывает «жили») или обитали... (тот зачеркивает «жили») и пишет «обитали». И так, заменивши каждое слово синонимом, продолжает: «На берегах Дравы и Савы, которые впадают, или вливают воды свои, или же просто сказать, втекают»...

У студента терпение лопается и он с досадой кричит: «Да ну же: «В Дунай!» — «В Дунай», — спокойно соглашается профессор. (464, 270).

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА

А.С. ТРАСКИН

Александр Семенович Траскин (1805—1855) — генерал-майор свиты его императорского величества, попечитель Киевского учебного округа (1846—1848). Происходил из дворян Казанской губернии. Окончил пажеский корпус в 1822 г. Служил в гвардейском генеральном штабе. Отличился при подавлении восстания декабристов на Сенатской площади. Участник войны с Турцией. Член комиссии по расследованию холерного бунта на Сенной площади в Петербурге 22 июля 1831 г. и комитета для назначения по всей империи стратегических пунктов. 1833—1834 гг. был заведующим телеграфной линией от Петербурга до Кронштадта. С 1834 г. — флигель-адъютант императора, член Совета военной академии генерального штаба. В 1838 г. стал начальником штаба войск Кавказской линии и Черноморья. С 1842 г. — генерал-майор, начальник штаба отдельного кавказского корпуса. В 1844 г. назначен состоять в свите им-



ператора. В 1845 г. уволен в отпуск для лечения. С 19 января 1846 г. — попечитель в Киеве с оставлением в свите императора. Принимал участие в арестах кирилло-мефодиевцев в 1847 г. Впоследствии — харьковский губернатор.

Пришло время, когда лишь военных генералов признавали способными к тому, чтобы руководить какими-нибудь государственными делами, не исключая и высших учебных заведений. От них ожидали прежде всего то, что всюду будет внедрена военная дисциплина под девизом: «Не смей рассуждать, а исполняй, что приказано». И в Киевский учебный округ назначили куратором военного полного генерала Траскина, полного впрочем не рангом, а тем, что он был необычайно тучен. Это был чуть ли не шар на небольших под-

порках вместо ног и небольшим шариком сверху вместо головы. Не удивительно, что он был такой шарообразной формы; он и сам, кажется, подчинялся тогдашнему военному девизу: «Не смей рассуждать», а приказов от министра было немного, так что и работать приходилось немного. Все его внимание, все его заботы были сосредоточены на том, чтобы еда у него была роскошная и самая вкусная, изготовленная по французским меню; он ежедневно записывал это меню, и ничто не шло у генерала так аккуратно, как эти записки. Кому посчастливится раздобыть эти гастрономические записки, тот будет иметь лучший материал к биографии Траскина*. При таком кураторе, разумеется, канцелярия его не утратила ни своего веса, ни своего характера. В университете едва ли не главным распоряжением куратора был приказ дежурному субинспектору записывать профессоров, которые опаздывали на лекции. Субинспектор стоял за углом коридора с бумагой и карандашом в руке, и если профессор задерживался хоть на 2 минуты сверх позволенных 10 минут, сразу же отмечал: «NN пришел на лекцию на 12 минуте». Сам куратор в университете не появлялся.

(286, 181).

**Обыкновение собирать меню обедов и составлять из них альбомы было распространено в аристократических кругах Петербурга XIX в.*

/Подкопы генералов под систему просвещения/

По выходе из военной академии А.С. Траскин провел первоначальную службу свою в военном министерстве. С молодых лет он отличался чудовищной толщиной. Лукулловский стол, вино и женщины составляли главную задачу его жизни. Серьезного образования он не имел; светский лоск, буфонство и французский язык сделали его домашним человеком в семействе военного министра Чернышева, который женил толстяка на красавице — побочной дочери князя Куракина, но она скоро умерла. В 1842 г. в чине полковника Траскин назначен начальником штаба на Кавказ, но так как комплекция его не переносила тамошнего климата, то он просил министра о переводе в более умеренную полосу, и вот Александр Семенович — попечитель Киевского учебного округа, — к великому неудовольствию Бибикова, который еще раньше задался целью соединить в своей особе управление учебным округом с генерал-губернаторством. Так, еще в 1845 г., сдав кн. Давыдова в сенат, он рассчитывал получить желаемое, но министру Уварову на сей раз удалось отстоять обычный порядок управления учебным округом через попечителя, на пост которого по протекции Чернышева и назначен генерал-майор Траскин /.../. Обнаружение Кирилло-Мефодиевского братства повлекло за собой увольнение попечителя Траскина /.../. По увольнении Траскина управление округом перешло, наконец, к начальнику края Д.Г. Бибинову. Случилось это в 1848 году, памятным не для одной России.

(437, 8—9).

По ходатайству и рекомендации князя Чернышева выбор /попечителя Киевского учебного округа. — А.М./ остановился на генерал-майоре Траскине, служившем прежде на Кавказе в армии. 29 марта

1846 г. университет был уведомлен о назначении этого лица, совершенно неподготовленного к новой должности ни по образованию, ни по воспитанию, и отнюдь не соответствовавшего ей по своим привычкам, хотя он был человек, как говорят, не без дарований /.../ Люди, обязанные службой часто являться к новому попечителю, заставляли его за энциклопедическим словарем; генерал откровенно признавался, что выискивает значение мудреных названий наук, особенно по медицинскому факультету; он чувствовал необходимость хотя бы приблизительного знакомства с этой терминологией, чтобы не попасться в смешной просак. Но это было еще самое лучшее из занятий нового попечителя. К счастью, в жизнь университета он вмешивался мало.

(66, 320).

Толстый-претолстый Траскин, которому едва ли приставало быть попечителем, ввалился в класс /Нежинской гимназии. — А.М./ С трудом взобравшись на кафедру, он предложил нескольким ученикам несколько вопросов по разным предметам, остался доволен их ответам, и ревизия кончилась.

(349, 184).

Кіевська Мисль.

Випуск 17. 17 октября 1911 г. № 51. Принадлежит к № 287.

КЪ СТОЛѢТІЮ 1-й ГИМНАЗІИ ВЪ КІЕВѢ.

(Мисль — Императорская Александровская гимназія)



Н. В. Стороженко,
высшій директор 1-й гимназіи.



Адамъ Станковскій Ржевскій,
Кіевскій губернский жорникъ, основатель
и первый директор гимназіи.



А. Н. Терещенко,
высшій инспектор 1-й гимназіи.

Юбилейная публикация в газете «Киевская мысль» к столетию Первой гимназии с портретами мецената-фундатора А. Ржевского (в центре), директора Н. Стороженко и попечителя А. Терещенко. 1911 г.

КНЯЗЬ С.И. ДАВЫДОВ

Князь Сергей Иванович Давыдов (1793–1878) — попечитель Киевского учебного округа с 1838 по 1845 год. Происходил из дворян Нижегородской губернии. Участник войны 1812 г. Уволился с военной службы в 1825-м и в 1827 г. поступил в министерство финансов. Был витебским и гроднен-

ским вице-губернатором, правителем Белостокской области (1833–1835), минским губернатором (1835–1838). Назначен попечителем Киевского учебного округа 5 декабря 1838 г. Отозван из Киева в 1845 г. в связи с назначением в сенаторы. Впоследствии — вице-президент Академии наук.

Князь Давидов був людина лагідна, непретензійна, однак як аристократ надто ледача. Йому було важко відвідувати університет, гімназію, пансіон. Якщо інколи приходив до університету під час іспитів, то хіба що з нудяти; іспити його не цікавили; він сідав на студентську лаву і на клаптику паперу малював олівцем голівки. А малював він дуже добре, як видно по тих зразках, що іноді він їх залишав на лаві, на якій сидів.

(205, 175–176).

Хвалился князь /попечитель Давыдов/ перед киевской аристократией, что ему лично известны все студенты, но на самом деле он знал только две студенческие фамилии: Вернадского и Пухальского. Гуляет, например, попечитель в Царском саду со своими знакомыми; встречается студент и делает фронт.

— А, здравствуй, Вернадский! — приветствует он любезно юношу.

Встречается другой:

— А, здравствуй, Пухальский!

— Неужели, ргпсе, вам известны фамилии всех студентов? — удивляется гуляющая с ним дама.

— О, да, — отвечает за князя его супруга. — Он знает всех молодых людей. Они у нас, как дети, мы постоянно с ними!

Если на беду попадался навстречу еще один студент, то князь или старался его не заметить, или называл Вернадским /.../

История с Денисом Подпиружниковым во время царского посещения университета навела Дмитрия Гавриловича /Бибикова/ на мысль — в ожидании нового посещения — заставить князя выучить фамилии студентов: это было перед высочайшим приездом в Киев императора Николая Павловича в 1841 г.

За две недели до царского приезда нас начали собирать по вечерам в институтскую залу, ставили в ряды, а князь ходил между рядами в сопровождении инспектора и учил фамилии, повторяя каждую по несколько раз. Но память его не слушалась: едва он успевал пройти один ряд и перейти к другому, как уже решительно не помнил ни одной фамилии, возвратясь к первому. Пробившись таким манером недели полторы, его сиятельство бросил свои упражнения в мнемонике, да так и остался при двух фамилиях: Вернадского и Пухальского.

(434, 497).

Был где-то попечитель /Давыдов/ на именном обеде. Там в присутствии генерал-губернатора стали говорить о похождениях студентов в ночное время, особенно казеннокоштных. Не засажая домой, прямо из гостей, едет князь в институт. Мы жили уже в новом здании на 4 этаже. На лестницах не оказалось ни одной лампы. Пробираясь впотьмах до студенческих камер, он не раз спотыкался и падал. Затем, преодолев все трудности восхождения на высоту, врывается в первую попавшуюся камеру и там не находит никакого кутежа, ни даже преферанса, а только один лирический беспорядок: раздетые студенты лежали с книгами в руках, кто на полу, подложив под голову латинский лексикон или логарифмы, кто на сдвинутых комодах или на окне, все однако были заняты делом, а не кутили, как на них насматывались.

Нашумевши вволюшку за беспорядок, попечитель вошел в другую камеру, но там не нашел уже ни одного человека: все разбежались и попрятались в сторожку, кто в чем был, оставив на полу зажженную свечу.

— Чья свеча? Признавайся! — закричал князь, завидев одного студента, успевшего одеться и вернуться в камеру.

— Моя, ваше сиятельство! — отвечает студент.

— А, твоя? — озял князь. — В солдаты!

— Помилуйте, ваше сиятельство, за что же в солдаты?

— В солдаты! В солдаты! — свирепствовал князь, выходя из камеры. Когда, обошедши все камеры, где успели все привести в порядок, попечитель сходил вниз по освещенным уже лестницам, мой приятель, Фердинанд Лыщинский, поддерживая князя под руку, не переставал умолять его о пощаде.

— Нет, брат, не выкрутишься, — говорил уже шутливым тоном попечитель, — будешь солдатом, будешь!

— Ну, Бог с вами, ваше сиятельство, — сказал с притворным отчаянием Фердинанд, — я вам жизнь спас, а вы меня в солдаты...

— Что ты говоришь? Когда же ты мне жизнь спас?

— Когда я был в первом благородном пансионе гимназистом — забыли? Вы, сходя с лестницы, поскользнулись, и если бы я вас не поддержал, то вы ушиблись бы до смерти.

— Друг мой! — умилился князь, трепля по румяной щеке Фердинанда, — ты не будешь солдатом. Приходи завтра ко мне обедать!

(434, 497).

Н.И. ПИРОГОВ

Николай Иванович Пирогов (1810—1881) — знаменитый хирург, попечитель Киевского учебного округа с 1858 по 1861 гг. Родился в Москве, в дворянской семье. Закончил медицинский факультет Московского университета в 1828 г., после чего до 1832 года учился в специальном профессорском институте при Дерптском университете. Защитил докторскую диссертацию и в 1833 г. командирован для усовершенствования за границу. С 1836 по 1844 гг. — профессор хирургии при Дерптском университете, с 1844 г. — профессор Петербургской медико-хирургической академии, директор Анатомического института при ней (с 1846 г.). С 1847 г. — академик. Участник обороны Севастополя. В 1856 г. согласно прошению, по болезни и домашним обстоятельствам уволен от службы в академии и 2-м военно-су-



хопутном госпитале. И в сентябре того же года назначен и. о. попечителя Одесского учебного округа. С января 1858 г. — попечитель в Киеве. Ушел в отставку 13 марта 1861 г. В том же году утвержден мировым посредником Винницкого уезда Подольской губернии. Работал в системе министерства народного просвещения. В 1866 г. подал в отставку и до конца своих дней занимался врачебной практикой в больнице при своем имении.

Натянутые отношения, возникшие между попечителем /Н. Пироговым/ и генерал-губернатором /Васильчиковым/, не предвещали ничего доброго.

Наконец интриги обострили эти отношения еще более. По представлению князя Васильчикова он был уволен в отставку*.

Предусматривая такой исход своей педагогической деятельности, Пирогов заблаговременно приготовил себе приют, купивши имение подле Винницы, а как только получил отставку, в ту же минуту сдал должность своему помощнику Михневичу и засел в лаборатории заниматься химическим разложением почвы своего села Вишня. Недели две его положительно никто не мог видеть. С раннего утра он отправлялся в лабораторию и совершенно отрешался от окружающей его среды. Факт этот из жизни нашего знаменитого ученого напоминает отчасти один из фактов биогра-

фии величайшего современного нам гения Пастера: в самый день свадьбы его по-
шли искать в лабораторию, чтобы напомнить ему, что он женится.
(443, 74–75).

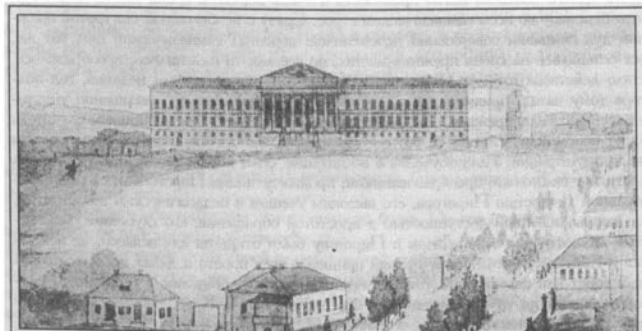
***Деятельность Пирогова была парализована волнениями студентов-поляков.*

Что же касается медицинской помощи, оказываемой Пироговым страждущему человечеству, то 2/3 пациентов его были евреи, страстные любители лечения. Два дня в неделю, определенные им для приема больных, от 8 ч. утра до 8 ч. вечера были посвящены бесплатной практике. Обширное entr'e первой гимназии с его широкими лестницами, ведущими на второй этаж, в эти два дня было переполнено евреями всех возрастов и полов. Слепые, хромые, изувеченные и расслабленные — все обращались к знаменитому врачу, и всем им, без различия звания и состояния, был оказываем, смотря по болезни, более или менее продолжительный осмотр. Нам не раз приходило в голову, обещал ли Н.И. в эти дни, и мы дивились, какая необыкновенная сила воли и энергии была нужна человеку для такого самоотверженного подвига. Сколько христианского милосердия и любви вмещала в себе эта великая душа, заключенная в таком невзрачном теле!
(443, 67).

Назначение в 1858 г. попечителем Киевского учебного округа Николая Ивановича Пирогова, как по мановению волшебного жезла, переменяло весь облик гимназии. Кто не был свидетелем-очевидцем этого знаменательного перерождения гимназии, тот с трудом поверит, чтобы личность одного человека могла произвести в очень короткое время такую колоссальную перемену во всем гимназическом строе. Сразу с необычайной быстротой прежний дух гимназии совершенно переменялся: персонал гимназический был тот же, все оставались на своих прежних местах, но все как-то изменилось, преобразилось, стало действовать иначе. Телесные наказания, которые еще так недавно, год-полтора тому назад, применялись в слишком широких размерах, совершенно уничтожились, исчезло прежнее, довольно грубое обращение с воспитанниками; учителя вдруг вспомнили, что они не ротные командиры, а педагоги, и ученики вверены им не для муштровки, а для обучения и воспитания. Этот поразительный результат был достигнут не столько преобразованиями, произведенными Пироговым, сколько обаятельной личностью Пирогова, его высоким ученым и педагогическим авторитетом, его необыкновенной доступностью и простотой обращения, его глубоким уважением к личности человека. Двери к Пирогову были открыты для всякого, не исключая и гимназиста, и великий ученый принимал всех просто и давал всякому просимый совет или наставление. Этому легкому и частому общению с Пироговым способствовало еще то обстоятельство, что он, приехав в Киев, поселился в здании гимназии, где в настоящее время канцелярия попечителя округа.

Вспоминания о легком доступе к Пирогову, об его удивительной простоте, мягкости и внимательном отношении ко всем, обращавшимся к нему, нельзя не упомянуть добрым словом покойную первую жену Пирогова, которая отличалась редкой

добротой, гостеприимством, теплым радушием и сердечным отношением к гимназистам, часто приходившим в квартиру Пирогова по тем или другим делам и посещавшим его сыновей, живших там же. Пирогов бывал в гимназии очень часто, причем он появлялся не в вицмундире, при орденах, а в своем обычном черном, длинном балахоне-пальто, без всякого предупреждения входил в тот или иной класс, садился или рядом с учителем, или рядом с учеником на скамью и, прослушав урок, уходил из класса столь же тихо, как и входил в него. Иногда Пирогов во время своего посещения классов сам предлагал вопросы ученикам, беседовал с учителем, и все это делал так просто, что не вызывал ни тревоги, ни смущения в учениках. Видели мы его также часто, почти каждую службу, в гимназической церкви, через которую он проходил незаметно и становился обыкновенно в алтаре. Вообще, во время нашего пребывания в гимназии нам очень часто приходилось видеть Пирогова и любоваться его уминым, добрым и серьезным лицом. Такою обаятельною была для нас, воспитанников гимназии того времени, личность покойного Пирогова. (116, 599—600).



Университет первых лет его существования. Вокруг пустынной университетской площади домики профессоров. На Бульварной улице — первые тополя бульвара.
М. Сажин. Рис. 1840-х гг.

И.Г. МИХНЕВИЧ

Иосиф Григорьевич Михневич (1809–1885) родился в с. Локачи на Волыни в семье священника. Окончил Волынскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию (1833). В 1836–1839 гг. — профессор философии. В 1839 г. перешел на службу в систему народного просвещения и получил должность профессора Ришельевского лицея в Одессе. С 1859 г. — помощник попечителя сначала Киевско-

го, а потом и Варшавского учебных округов. В свое время пользовался большой известностью как философ-шеллингианец, придававший громадное значение божественному откровению. Философии он учился у ректора Иннокентия Борисова, и в свою очередь, как полагает историк украинской философии Д. Чижевский, он читал в Одессе философию будущему мыслителю-космисту Н. Федорову.

Помимо своей учебно-воспитательной деятельности, /исполняющий обязанности попечителя Иосиф Григорьевич/ Михневич оставил по себе добрую память гуманным обхождением с подчиненными /.../ Едва ли не единственный человек из служащих в округе остался недоволен кротким обхождением Михневича — это экононом общей ученической квартиры при 2-й киевской гимназии, штабс-капитан Ильин. Был у него единственный 11-летний сын, который, насмотревшись на часто повторяющиеся в Киеве пожары, захотел это зрелище видеть вблизи. Залез он между сложенными на черном дворе дровами, построил из сухих щепок домик и поджог его, а сам убежал в квартиру, сел на подоконнике и стал выжидать, пока загорятся дрова /.../ К счастью, дворник, заметив дым, успел погасить начавшие гореть дрова.

Зовет отца Михневич и делает ему внушение.

— Ну что? — спрашиваю Ильина, — хорошо вас пробрал Михневич?

— Помилуйте, Михаил Корнеевич, какой это начальник? Прихожу к нему, сделал, как следует, у порога фронт, а он: «Прошу садиться». Фу, ты, Господи! Да на что это похоже?! Не понимаю. Уж коли ты виноват, то с тобой церемониться не следует, пробрать тебя следует так, чтоб в пот бросило. А то — прошу садиться! Ну что за начальство? Извините, я этого не понимаю.

(443, 77–78).

КНЯЗЬ А.П. ШИРИНСКИЙ- ШИХМАТОВ

Князь Александр Прохорович Ширинский-Шихматов начал службу в 1830-х гг. на Черноморском флоте, затем оставил армию и служил чиновником по особым поручениям при попечителе Московского учебного округа. С 1854 г. — директор Третьей московской гимназии, с 1857 — помощник попечителя, а с 1861 г. — попечитель Виленского учебного округа. Деятельный сотрудник начальника края, усмирителя польского восстания М.Н. Муравьева. Обруситель и борец с «польским влиянием». Упорно насаждал русские народные школы в Литве и Белоруссии. Открыл первую в России училищную семинарию в г. Молодечно Виленской губернии. Пережил личную драму (все

его дети одновременно умерли от скарлатины). Ушел в отставку в 1864 г., но в том же году был вновь призван на службу и послан попечителем в Киев. Будучи начальником Киевского учебного округа, пытался искоренить реформистские идеи Н.И. Пирогова и навязать новый верноподданический стиль воспитания и обучения. К деятелям украинской культуры относился враждебно, и они отвечали ему тем же. В 1867 г. переведен попечителем в Московский учебный округ. В 1874—1880 гг. — товарищ министра народного просвещения. В 1880—1884 гг. — сенатор. Президент Московского общества испытателей природы. Писал рассказы и очерки. Умер в 1884 г.

Одну курйозну історію, пам'ятаю, час-
тенько згадувала Ольга Петрівна Косач.

Чутки про надзвичайну побожність попечителя /Ширинського-Шихматова/ дійшли до директора житомирської рабинської школи Ардаліона Калістратова*, який проінохав, що відкрилась вигідна вакансія директора кам'янецької гімназії.

Пройдисвіт і авантюрист, яких мало, Калістратов поїхав до Києва нібито для лікування якоїсь застарілої хвороби.

Тут він найняв поблизу будинку, де жив благочестивий князь, підвальне приміщення. Заів дружба з монахом Печерської лаври, в якого випросив на цей час Біблію печерського друку в старій шкіряній обкладинці. Ту частину кімнати, яку добре було видно з вулиці, перетворив на справжню келію: влаштував аналой, покритиши його парчею, всю стінку заставив іконами, понавішував лампадок. На «полювання» виходив щодня зранку. У будь-яку пору чатував на вулиці свою жертву. Ну а на мисливця і звір біжить. Як тільки з'являвся князь, Калістратов тут же спускався до своєї святої келії, на жевріюче вугілля кидав добру пригорщу ладану і падав на коліна перед аналоєм, де лежала знаменита печерського друку Біблія.

Проходячи мимо відкритого вікна, князь щоразу з задоволенням вдихав улюблений аромат ладану. Подумав було, що покійник, та десь на третій день не втримався і, присівши, побачив «святого чоловіка» у всій його красі. Через кілька днів князь примитив цю саму людину і в університетській церкві. «Святий» всю службу простояв на колінах і клав земні поклони. Князь зацікавився братом по вірі, став розпитувати, що то за особа і звідки вона з'явилась. Зібрався навіть нанести візит таємничому «святому», аж тут лакей доповів, що до нього прийшов директор житомирської рабинської школи. Князь, як водиться, запросив директора до свого кабінету, пізнав свого «святого» і одразу пригорнув до грудей, вигукуючи в екстазі:

— Я вас знаю! Я вас розумію! Я вам співчуваю!

Закінчилась справа тим, що спритний пройдисвіт був таки призначений директором училищ Подільської губернії, а згодом за свою невдачу тримісячну службу в Кам'янці-Подільському адобув собі в Петербурзі, за протекцією того ж князя, кругленьку пенсію.

(241, 64–65).

**Похожениям этого своеобразного киевского деятеля посвящен очерк историка Киева Владимира Щербина «Говорский та Каллистратов. З киевского життя 60-х років XIX ст.». Впрочем, в отличие от демократической публики в кругах киевского духовенства, А.П. Каллистратов был уважаем. «Киевские епархиальные ведомости» охотно публиковали рекламные сообщения о напечатанной им в честь освобождения крестьян иконе Спасителя. А такой строгий ревнитель общественной морали, как викарий Порфирий Успенский, поместил в 8-м томе своих дневников письмо Каллистратова с проникновенной оценкой пения патриаршего хора.*

Ширинський-Шихматов не відзначався ні вченістю, ні навіть повагою до науки, зате на всю Росію славився своєю фанатичною побожністю. В молодості — гурман, душа розкішних бенкетів, п'яних оргій, ласий до гарненьких дівчат як з «вищого», так і з «нижчого» світу, Ширинський-Шихматов, втративши у Вільно за кілька днів всіх своїх чотирьох дітей (померли від скарлатини), сприйняв це як кару Божу за свою бурхливу молодість, став каятись, поститись, замолювати свої гріхи перед негасимими лампадами.

У всьому «не божественному» (а «не божественними» були, звичайно, Пушкін, Пирогов, Толстой і Менделєєв, вся художня література і природознавчі науки) ввижався йому сам обер-сатана з усім своїм штатом. Він скоротив до мінімуму викладання новітньої літератури в гімназіях. Ось як характеризується Ширинський-Шихматов в лібрето «Андріапіади»*:

*Гоголя сожигатель,
Дарвина ионитель,
Сеченова истребитель,
Островского притеснитель.*

Якби це було в його волі, то, напевно, заборонив би викладання всіх предметів, крім «закона божого». Така людина у царській Росії була в різний час попечите-

лем Віленського, Московського і Київського /учбових/ округів і вважалась видним авторитетом у питаннях народної освіти!
(241, 62–63).

*«Андриашада» — пародийная «оперка», созданная членами Киевской громады.

/Сожжение басен Глебова/

Князь нисколько не стеснялся дать мне как заведующему книжным складом народного училища*, где хранились еще 500 экземпляров «Басек» Глебова**, приказание все до единого экземпляра этих «Басек» сжечь, как вредное издание, которое не должно иметь места в народном училище, что и было исполнено мною. Только ради смеха я оставил на память себе одну эту, истинно смехотворную книжечку, читая которую на исковерканном мало-российском языке, нельзя не смеяться.
(42, 236).

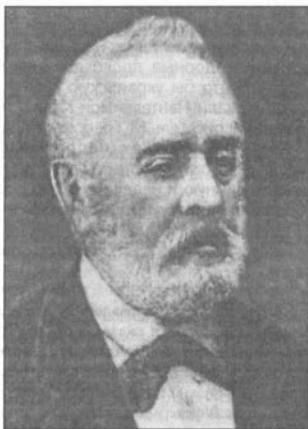
*Автор записок — известный киевский консерватор, бывший учитель Первой гимназии Н. Богатинов.

**«Басни» Глебова были напечатаны как книга для чтения для народных школ на украинском языке по указанию «украинофила», помощника попечителя М.А. Тулова.

Он был усерден к церкви и богомолен, но до ханжества у него не доходило. Отставной моряк, он производил впечатление человека доброго и приятного. Достаточно было всмотреться в его открытую физиономию, чтобы вполне довериться ему. Я не знаю, как он правил округом, но к университету и профессорам он относился корректно.
(350, 203).

М.В. ЮЗЕФОВИЧ

Михаил Владимирович Юзефович (1802–1889) родился в с. Сотникове Пирятинского уезда. Его предки были выкрестами, позже — дворяне. Родственник В. Тарновского (старшего). Его дядя, Д.М. Юзефович — герой 1812 года. Окончил благородный пансион при Московском университете (1819). Юнкер Чугуевского уланского полка (1822), участник Турецкой войны 1827–1828 гг. За боевые заслуги получил орден св. Владимира 4-й ст. и звание ротмистра (1828), участник Персидского похода (адъютант генерала Раевского) и подавления Польского восстания (1831). После ранения в правую ногу не мог далее оставаться в строю, но продолжал служить в Чугуевском полку. В 1839 г. вышел в отставку в чине майора и в 1840 г. назначен инспектором казенных училищ Киевского учебного округа. С 1843 по 1858 г. — помощник киевского попечителя. Исполнял обязанности попечителя Киевского учебного округа в 1845–1846 гг. С 1844 г. — почетный член Временного комитета для разбора древних актов. Основатель Центрального киевского архива при университете. В 1857–1889 гг. — председатель Киевской археографической комиссии. Член-основатель Юго-Западного отделения Географического общества. Он же — инициатор его закрытия как «сепаратистской организации» украинской интеллигенции. Один из организаторов пер-



вой публичной библиотеки в Киеве, председатель комитета по сооружению памятника Богдану Хмельницкому. После его открытия удостоен чина действительного статского советника. Писал статьи, брошюры, печатал стихи. Издал несколько томов «Архива Юго-Западной России». В его доме были собрания («пятницы») киевской интеллигенции. Похоронен на Аскольдовой могиле. В свое время был знаком с Пушкиным, написал о нем прекрасные воспоминания. Поддерживал близкие отношения с кирилло-мефодиевцами, но уже тогда играл двусмысленную роль в общественной жизни города, определяя меру своего либерализма в соответствии со вкусом и пожеланиями властей. Согласно с преданиями, предупредив Н. Костомарова об обыске, забрал у него «на сохранение» часть секретных документов, которые тут же передал следственной комиссии. В связи с кампанией усиленной ру-

сификации изменил своим симпатиям к украинскому движению. Распространял вздорные провокационные слухи, будто бы украинскую культуру выдумали Пантелеймон Кулиш и польский писатель М. Грабовский по наущению польских подпольных кружков, чтобы посеять смуту и расколоть единую и неделимую Россию. Составил записку об угрозе украин-

ского сепаратизма, которая легла в основу Эмского указа 1876 года, положившего начало ожесточенным преследованиям украинской прессы и театра. В Киеве Юзефовича не любили и рассказывали о нем злые издевательские анекдоты. Говорили, будто он грубый, невежественный солдафон и прочее. Но не всему этому следует верить.

/Свидетельство Н. Костомарова/

/.../ Напившись чаю, я отправился в свою комнату, но не успел раздеться, как вошел ко мне помощник попечителя учебного округа Юзефович и сказал: «На вас донос, я пришел вас спасти; если у вас есть что написанного, возбуждающего подозрение, давайте скорее сюда».

За свои бумаги в кабинете мне нечего было бояться, но я вспомнил, что в кармане моего наружного пальто была черновая, полуизорванная рукопись того сочинения о славянской федерации, которую еще на святках я сообщил для переписки Гулаку*. Я достал эту рукопись и искал отня, чтобы сжечь ее, как вдруг незаметно для меня она очутилась в руках моего мнимого спасителя, который сказал: «Soyez tranquille, ничего не бойтесь». Он вышел и вслед затем вошел снова, а за ним нахлынули ко мне: губернатор, попечитель, жандармский полковник и полицмейстер. /.../ Меня привезли в квартиру губернатора и сказали: «Вы знаете Гулака?» — «Знаю», — отвечал я. — «Он сделал на вас донос, явился в III отделение собственной его величества канцелярии и представил рукопись, в которой залагалось о будущем соединении славян». — «Я не знаю этой рукописи», — сказал я. Но черновая рукопись, взятая у меня помощником попечителя, предстала предо мною в обличии моих слов: улика была налицо. Меня отправили в подольскую часть и посадили в отвратительной, грязной комнате, поместивши меня с двумя полицейскими солдатами. (189, 481).

**Рукопись сочинения Н. Костомарова «Книги буття українського народу» — идейной программы Кирило-мефодиевского общества.*

Гадають, що Фундуклей, не сподіваючись може на Юзефовича, подав звістку Залеській, щоб вона остерегла Костомарова. На лихо собі й Україні, Микола Іванович і тут загаявся і пішов до Залеської вже ввечері; не заставши її в господі, не скотив дожидатися, доки вона вернеться, бо й на думку йому не впадало, нащо клякала його Залеська!..

Безсечний і огорчений сподіванням шлюбом, вернувся він до господи і раював з старою ненею!... Аж ось о годині одинадцятій уночі прибігає до нього Юзефович і каже: — На вас донос зроблено! У вас буде обшук. Коли що маєте — зразу ж знищити. Костомаров схопився, швидше витяг статут товариства і хотів його знищити. Юзе-

фович ментом вирвав у нього з рук ті папери і, промовивши: «Нехай вони будуть у мене», побіг з хати. За кілька хвилин після цього в квартиру до Костомарова прийшли: губернатор Фундуклей, куратор Траскін, жандармський генерал Білоусов і поліцеймейстер Голяткін з своїми урядниками, зробили обшук, забрали Костомарова і повели до Фундуклея.

Фундуклей покликав його до свого кабінету, дав йому цигару, потім сам вийшов, а його там замкнув. Під замком сидів Костомаров, аж поки не прийшли голова канцелярії генерал-губернатора Писарев і комендант Київської фортеці Пінхоржевський. Тоді покликали Костомарова в залу.

Писарев взяв його на допит.

— Гулака ви знаєте? — спитав він у нього.

— Знаю! — відповів Микола Іванович.

— А які у вас з ним стосунки?

— Дуже добрі, приятельські.

— А проте він подав на вас донос III відділенню і подав при доносі рукопис, статут товариства: ось і список його. Чи можете ви дати слово честі, що не відаєте про цей рукопис?

Костомаров остільки знав Гулака, що був певен, що Гулак не може зробити доноса; знав, що оригінал статуту не в Гулака, а в «надежных» руках Юзефовича; тим-то не вагаючись відповів:

— Можу!

— А гляньте, що це таке? — з цими словами Писарев показав йому писаний власною його, Костомарова, рукою той самий статут, що взяв у нього Юзефович на схованку, говорячи: «Не бійтесь!»

Немов громовина та, приголомшив Костомарова навіки несподіваний зрадливий вчинок Юзефовича! Костомаров зблід, затремтів, не встояв на ногах і впав на стілець. (181, 9—10).

Помощником попечителя был отставной гвардеец Юзефович, оставивший по себе весьма нелестную славу, о чем уже неоднократно писали. Об этом гвардейском руководителе просвещения ходило в свое время несколько очень характерных рассказов.

Рассказывали о посещении императором Николаем киевского университета, кажется, в начале 50-х годов. В актовом зале выстроились во фронт все профессора в мундирах. Попечитель округа представлял всех. Когда дошла очередь до флангового, император, помнивший его по гвардейским смотрам, выразил свое удивление:

— А, Юзефович! И ты в ученые попал? (423, 19).

Об этом «ученом» рассказывали такой анекдот. Вступив в должность помощника попечителя, он осматривал университет и существовавшие тогда обще квартиры студентов.* В этих квартирах он остановился в комнате для занятий, посмотрел на потолок и решил:

— Здесь нужно повесить большую лампу. Но постарайтесь, чтобы она пришлась на самой середине потолка.

Профессор математики прислужился и объяснил, что нужно провести две диагонали и на пересечении их будет центр.

— Ну, так закажите сделать эти диагонали на мой счет, — распорядился Юзефович.
(423, 20).

**Общежитие казеннокоштных студентов в здании университета.*

В университетских помещениях ему показывали кабинеты физический, зоологический, орнитологический и другие. Сначала он интересовался всем. Потом, когда дело дошло до геологии, палеонтологии, нумизматики, ему стало скучно, и он проходил дальше мимо затворенных дверей кабинетов, причем ректор только пояснял, что помещается за этими дверями. Между прочим, он упомянул о гербарии.

Юзефович остановился и приказал, чтобы к следующему его приезду разыскали его герб и показали ему.
(423, 20–21).

Юзефович, отставной уланский ротмистр, сохранил в звании /помощника/ попечителя приемы военного человека, эскадронного командира. Питомец Московского благородного пансиона, он был человек не без образования, человек салона — прекрасного французского языка. В 20-х годах он вел знакомство с Пушкиным и другими литераторами того времени, и сам был человек не без литературных наклонностей. Его стихотворения печатались в альманахах того времени и переписывались деревенскими барышнями в их альбомы.

Вращаясь в университетском профессорском кругу, он налету хватал всякие знания, которых в действительности не имел, в чем иногда и попадался.

Рассказывают, что однажды был диспут на степень магистра русской словесности, защищалась диссертация о Батюшкове.

Когда кончились возражения оппонентов, сидевший около Юзефовича проф. Костыр, нередко подтрунивавший над ним, сказал:

— А дефендент не упомянул о драмах Батюшкова!

Юзефович, услышав и желая порисоваться своими глубокими сведениями, смело и громко сказал:

— Отчего вы, г-н дефендент, не разобрали драм Батюшкова, которых он так много написал?

Se non e vero, e ben trovato*: во всяком случае, это — эпизод, характеризующий смелость экс-гусара и его эрудицию.

(349, 184).

**Это неправда, но хорошо сказано (итал.).*

Яким способом з поручика саперів* він зробився наперед інспектором наукового округу, а потім помічником куратора, се вже його секрет. Улецувався та підлизувався Бібікову, приятелював, навіть посто-

ячився з Писаревим, аж видрався на посаду помічника. Та зробитися куратором йому таки не вдалось, хоч і бажав цього дуже. Коли я ще був учеником гімназії, в його питаннях при екзаменах та в його промовах нас дивувала його ігноранція та грубіянство, з яким він на наших очах зневажав наших нещасних учителів, а коли зробився помічником куратора, — то й професорів. Та одного я ще не можу забути, а саме того, що він, сам українець, своїми доносами викликав у Києві так звану «справу українців київського університету», якої жертвою впали Шевченко, Куліш, Костомаров.

(38, 233).

**Юзефович служив в молодості уланом, а не сапером.*

/«Симпатичний» провокатор/

Коли настав новий цар /Олександр II/, то й Юзефович пішов у кут, оселився постійно в Києві і видавав себе за ліберала. В ту пору тулився до польського товариства /.../ Говорив, що соромиться належати до «Малоросії», а нас, поляків, вихваляв та величав та остаточно втерся до нашого товариства, в чім допомагав йому Михайло Грабовський, що був із ним у приятельських зносинах і формально накидував його своїм знайомим. Толкував пан Михайло сю свою слабкість до Юзефовича тим, що «ся цікава птвичка, про все можна з ним говорити, ні перед яким питанням не жохнеться. Oh, il a le courage de la betise!» (він мав відвагу глупоти).

/.../ По році 1863 напала на нього шалена ненависть до поляків, яких знав ліпше, ніж інші росіяни. Перестав нам кланятися і почав по-давньому робити загальні доноси на польську суспільність — із уподобання, певно, та й надії, що одержить офіційну посаду обрусителя. Коли цього не сягнув, кинувся до публіцистики в «Киевлянинне» та «Московских ведомостях», писав про нас і проти нас, вдаючись у вигадки й часто фальшуючи факти. Тепер, хоч уже постарів, живе у Києві як голова партії, що стоїть на сторожі як «польської», так і «української» інтриги, і все в хвилях, які вважає «критичними», практикує тихі або голосні доноси не лише проти поляків, але й проти своїх земляків українців.

(38, 233—235).

/Вчений шахрай грабує невченого шахрая/

Посвоячений в Писаревим (його брат був жонатий з рідною сестрою пані Писаревої) /Юзефович/ посідав таке велике довір'я у Писарева, що той, укриваючи плоди своїх здириств, купив на його ім'я маєтність (мабуть, Бориспіль за Дніпром). Титулярний дідич почав так енергійно поводитися у маєтку, як коли б був дійсним паном і лишався глухим до всіх нагадувань /пана/ дійсного. Сей витягнув справу перед суд Бібікова, і той признав маєтність Юзефовичеві, а для Писарева визначив сплату. Та дуже треба сумніватися, чи дістав яку сплату Писарев, бо Юзефович усе мав репутацію задовженого і неакуратного.

(38, 235).

М.К. СЫЧУГОВ

Инспектор Киевского университета
в 1840-х гг. Полковник в отставке.

Один из популярных героев студенческого юмористического фольклора.

При устройстве помещения для казенно-коштных студентов в новом здании /университета/, нужно было над каждой камерой прибить таблички. По поводу сего нехитрого дела также состоялось заседание членов полиции, без участия, впрочем, педелей.

— Я полагаю, господа, — начал полковник /инспектор Сычугов/, — над каждой камерой подписать «занимательная комната», № такой-то.

— Нет, — возразил Гудима, — этак писать нельзя. Так говорится, например, о книге, что она занимательная, а комнате сказать /так/ неудобно.

— По моему мнению, — отозвался друтой субинспектор Троцкий, — следует написать «занимающаяся комната».

— Что вы, что вы, Порфирий Петрович, — осадил его полковник, — разве комнаты будут заниматься — занимаются студенты.

Толковали-толковали, да так и оставили вопрос о табличках открытым, его разрешил ректор, велел написать над каждой камерой: «Комната для занятий», № такой-то.

(434, 12).

Два раз в год инспектор обязан был представлять попечителю кондуктные списки студентов, составляемые по известной форме с разными рубриками, долженствовавшими охарактеризовать нравственный облик каждого субъекта.

Раз с приближением срока подачи списков полковник /М.К. Сычугов/ собрал совет из субинспекторов и педелей под своим личным председательством. Заседание происходило в канцелярии инспектора /.../ Лучшими отметками под рубриками: «характера тихого», «откровенного», «веселого» и т. п. воспользовались студенты весьма неприглядных свойств: или неразвитые и пустые шалопаи, или назойливые болтуны и поддипалы; худшими: «скрытого», «подозрительного», «строптивого», — самые лучшие юноши, с виду необщительные и молчаливые, вечно занятые своим делом, или не терпевшие неправды и несправедливости и не скрывавшие этого.

— Студент А. — провозглашает инспектор, — какого ему?

— Откровенного, я полагаю, — отозвался один из членов.

— Помилуйте, Порфирий Петрович, как можно «откровенного», — возразил

полковник, — я ему несколько раз приказывал остриться, а он до сих пор ходит с патлами. Влепить ему «подозрительного»!

А то и физиономия иного студента не понравится или педель наслетничает, не получив гривенника на табак, — пиши ему: «скрытного»! Так легко и скоро определялись наши характеры.

(434, 501).

А вот другой факт крайнего невежества /инспектора университета/ г-на полковника /М.К. Сычугова/.

В /учительском/ институте была порядочная библиотека для пользования казеннокоштных студентов; но так как ею распоряжались сами же студенты, то книги часто зачитывались и исчезали бесследно. Узнавши о таком беспорядке, попечитель предписал инспектору произвести ревизию. Способ проверки наличности книг был такой: полковник, держа в руках каталог, громогласно провозглашает название и № сочинения, а студенты разыскивают книгу и показывают ему.

— Сочинение Гумана! — выкрикивает инспектор.

После долгого искания ему докладывают, что такого сочинения в студенческой библиотеке никогда не бывало; но полковник и слышать не хотел, думая, что книга утеряна.

— Ищите, ищите! — говорит. — Верно, зачитали да и толкуете, что ее никогда не было... Коли в каталог записана, значит должна быть.

— Да позвольте, г-н полковник, взглянуть какое там точное заглавие этого сочинения — может, ошибка переписчика.

По справке оказалось, что в каталоге значится: De nature humane Цицерона, а наш гвардеец сделал из него Гумана.

(434, 501).

Причисленный к гвардейскому корпусу М.К. Сычугов был человек не злой, но без всякого почти образования. Очувтившись волею судеб в ученой среде профессоров и студентов, он не знал, как ему быть. Будучи в ударе, полковник любил иногда беседовать со студентами, причем часто попадался впросак.

— Что вы читаете, г-н Вернадский? — спрашивает он студента, заедавшего какие-нибудь зразы с кашей французским романом.

Студент молча подает ему книгу.

— А, это сочинение я давно читал... когда еще учился в университете, — говорит полковник, взглянув на заглавие.

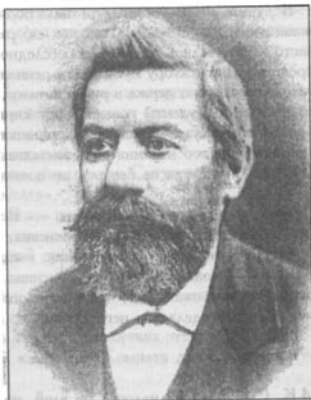
Хотя мы все знали, что наш инспектор ни в каком университете не был, да и романа того тогда еще не было на свете, но, не желая портить ему хорошего расположения духа, молчали, значительно переглянувшись.

(434, 500).

УЧИТЕЛЯ

А.Ф. АНДРИЯШЕВ

Алексей Фомич Андрияшев (1826—1907) родился в Золотоношском уезде Полтавской губернии, в зажиточной казацкой семье. Окончил Переяславскую духовную семинарию и Киевский университет (1850). Работал учителем законоведения в Черниговской гимназии. В 1860—1862 гг. — инспектор Первой киевской гимназии, в 1863—1890 гг. — ее директор. Вместе со статс-секретарем К.К. Гротом организовал первое в России убежище и училище слепых детей (в Киеве). Занимался пчеловодством. В 1902 г. организовал на свои средства школу Общества южнорусского пчеловодства, основанного им в 1897 г. С 1904 г. школа перешла в собственное помещение и стала называться «Боярская школа пчеловодства имени Алексея Фомича Андрияшева». По сведениям В. Ковалинского, издал более 200 названий общедоступных «народных» книг общим тиражом более 2 млн экз. С 1864 г. начал выпускать «Киевский народный календарь», который вытеснил с



киевских прилавков «Бердичевский календарь», составляемый монахами бердичевского кармелитского монастыря. Общий тираж календарей Андрияшева доходил до полутора миллионов экземпляров. С 1867 по 1876 г. редактировал общедоступную двухнедельную газету «Друг народа».

Видную роль в мире педагогическом играл в Киеве директор первой гимназии Алексей Фомич Андрияшев. Познакомился я* с ним по следующему поводу: один из моих приятелей прислал ко мне мальчика лет десяти с просьбой пристроить его где-нибудь с учебном заведении, т. к. он очень способный, но родители его бедны, и при неудаче ребенка ждет печальная судьба. Слышал я от многих, что А.Ф. Андрияшев очень любит детей и относится к ним

с истинно отческой любовью. Я решил отправиться к А.Ф. и изложить ему свое ходатайство.

— Приведите завтра же мальчика, — был краткий ответ А.Ф. — Его проэкзаменуют, и я постараюсь, чтобы он был принят.

На экзамене по русскому языку ребенок, очутившись в непривычной для него обстановке, оробел, плохо ответил, и учитель поставил ему двойку. О печальном результате испытания я сообщил А.Ф., который, позвав мальчика, стал его утешать, ласково с ним беседовать, и когда заметил, что от этих ласк он приободрился, взял со стола первую попавшуюся книгу и предложил мальчику читать. Началось чтение бойкое, осмысленное, и А.Ф. после двух-трех вопросов, на которые последовали удовлетворительные ответы, с видимым удовольствием сказал мальчику:

— Ступай домой и скажи, что ты принят в гимназию.

Прощаясь со мною, А.Ф. заметил:

— С детьми надо уметь обращаться, их надо любить, а этого-то достоинства у некоторых наших учителей не имеется.

Неоднократно мне впоследствии приходилось слышать, что А.Ф. многих воспитанников выучал: как беда, вроде неудачной отметки или строгого наказания за какую-нибудь шалость — сейчас же к А.Ф., который всегда являлся ходатаем «за своих детей», как он называл учеников гимназии.

(467, 70–71).

**Из воспоминаний киевского журналиста С. Ярона.*

«Народний» календар, що видавався з великою помпою, аж ряснів від кострубятих, безглузких висловів, помилок, перекручених та «відкрити». Пам'ятаю, батько* задля сміху іноді показував гостям андріяшевський календар 1866 року, єдиний, мабуть, календар в світі з листком за 31 лютого (!). Окремі перли календаря я, коли ще ходив у гімназистах, навіть вписав у свій рукописний збірничок курйозів та анекдотів.

Ось один з шедеврів. У статті «О погоде» написано: «Если бы земля вся состояла из одного вещества, например, железа, и если бы на ней не было ни гор, ни долин, ни рек, ни озер, ни моей, ни лесов, ни городов, ни людей, — словом, чтобы земля была чем-нибудь вроде голого железного мяча, то с помощью средств, которыми владеют ученые, можно было бы высчитать распределение на ней тепла».

(241, 66).

**Композитор Н.В. Лысенко.*

У своїй газеті «Друг народа» Андріяшев, захиляючись від люті, нападав на «місцевий патріотизм» українців. /.../

Полеміка з мракобісом і русифікатором Андріяшевим таки порядком приїлась друзям Драгоманова, і на «вічі» (драгомановці збирались то у Старицького, то у Лисенка) було твердо вирішено нанести йому остаточний нищівний удар.

Задумано — зроблено. За кілька вечорів (треба думати веселих, бо, згадуючи

ті вечори років через сорок, батько, траплялося, сміявся до сліз) склали програму і текст опери-сатири. Вся «сіль» її була у зовсім несподіваному вживанні популярних серед публіки мелодій відомих італійських опер.

Андріяшев (баритон) співав свої слова на мотив партії Віолетти (колоратурне сопрано).

*Орден мне дадут на шею
И субсидию в карман,
Орден, орден, крупный орден
И хоть тысячу в карман.*

Але не орден, а конфуз ждав невдачу — автора календаря. Про це й співалося в «самокритичній» арії Андріяшева.

*Календарь наш осмелял,
Нету правды на земле.
Тридцать первое сыскали
В распрямленном феврале! /.../*

Паламар Радкевич (тенор) виконував свою партію на мотив любовної мелодії Альфреда з тієї ж «Травіати» і т. ін. Вийшло дошкульно, дотепно і дуже смішно. Уривки з опери часто виконувались у домашніх концертах.

(241, 67–68).

Кінець кінцем над Андріяшевим став сміятись весь Київ. Гімназисти старших класів, побачивши здалеку директора, наспівували арієту Андріяшева на мотив мого в той час романсу «Хуторок»:

*Я рижинный елей
Из бобра добывал,
Из французского «что» —
Русский «хвост» создавал.
Я подарком почтил
Губернатора дочерь
И стерпел, как за то
Указали на дверь.*

Гімназистів за андріяшевський «Хуторок» скопом відправляли в карцер, але спів не припинявся і там.

Не гадала київська братія, що сатира-жарт завершиться драмою. Андріяшев таки помстився, пустив у хід всі свої зв'язки, і Драгоманову довелося піти у відставку, а потім емігрувати за кордон.

(241, 68).

/.../Учитель історії київського дівочого інституту Андріяшев /.../, як оповідав М. Лисенко, так перелякався царя Олександра II, що не міг і слова вимовити, а коли цар звелів йому продовжувати лекцію, то замість «Імператриця Катерина заключила з турками мир», загнувшись проминирив:

— Амператорина Катериця заключила з мирками тур.

Щоб не розсміятися, цар, сякаючися в хусточку, швидко вийшов з класи.

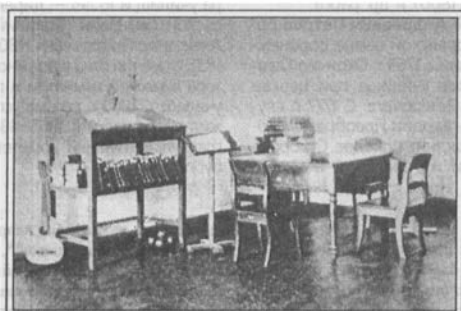
(451, 49).

Ф.А. БЕЛЯЕВ

Федор Алексеевич Беляев (1804–1864) уроженец Харьковской губернии. Окончил академию художеств. Преподавал рисование и чистописание в киевской Первой

гимназии (1836–1864) и Институте благородных девиц (1838–1850). Первый учитель художника Николая Ге и скульптора Пармена Забелло.

Среди товарищей по гимназии Н.Н. Ге особенно выделялся способностями к рисованию, которым занимался под руководством учителя Ф.А. Беляева с особенной любовью. «Когда я получил золотую медаль в Академии художеств, — говорит он в своих воспоминаниях, — я заехал в Киев к Ф.А. Беляеву, своему учителю рисования. Для меня этот человек самая близкая душа. Он мне сказал грустным голосом: «Я знал, что ты будешь художником. Я тебе не говорил этого, я боялся тебя соблазнить. Нет большого горя, как быть художником!» (352, 322).



Комната для занятий в студенческом корпусе Киевской духовной академии. Фото 1870-х гг.

М.Ф. БЕРЛИНСКИЙ и Г.А. ПЕТРОВ

Максим Федорович Берлинский (1764–1848) родился в с. Новая Слобода Путивльского уезда Курской губернии в семье дворянина (владельца двух крестьянских душ). Учился в Киевской академии (1776–1786) и учительской гимназии в Петербурге (1786–1788). Один из первых учителей Киевского главного народного училища (с 1799 г.). В 1809 г. — и. о. директора и после преобразования училища — учитель русской словесности в «гимназийском отделении». С 1809 по 1833 гг. — учитель Киевской гимназии. В 1833 г. назначен ее инспектором и в том же году вышел в отставку. Выдающийся исследователь истории Киева. Автор «Краткого описания Киева» (1820), «Истории города Киева» (1800) и др. работ.

Григорий Андреевич Петров родился в дворянской семье Воронежской губернии в 1763 г. Окончил Главное немецкое училище при церкви св. Петра в Петербурге. С 1777 г. служил в лейб-гвардии Преображенского полка. Участник походов Суворова в Молдавию и Валахию в 1790 г. В



М. Ф. Берлинский

1793–1794 гг. — старший адъютант в штабе генерал-поручика А.Я. Леванцова. В 1796 г. — директор училищ Воронежской губернии и в том же году уволен из армии в чине премьер-майора. В 1819–1835 гг. — директор Киевской гимназии и училищ Киевской губернии. Всего Петров прослужил 58 лет, из них 39 лет в звании директора училищ и 16 лет — директором киевской гимназии. Старший его сын, Александр Григорьевич (1800–1897), в 1835 г. сменил отца в должности директора киевской гимназии и губернских училищ. С 1860 г. весьма успешно служил в цензуре и в 1865–1885 гг. возглавлял цензурный комитет в Петербурге.

Первое свое посещение направил я* в гимназию. Я нашел значительное, но совершенно запущенное здание**, в котором едва можно было взобраться по прежней парадной лестнице, ведущей во второй этаж; до того она была близка к разрушению. Комнаты никогда не топились, и сохранился похвальный обычай не мести их, даже ради приезда начальника. Учителя и воспитанники сидели попросту в бараньих шубах, и при входе моем первые сняли их, чтобы показать мне, что они в мундирах. Эти учителя с длинными, вскло-

ченными волосами, и многие из старших учеников небритые, имели довольно дикий вид. В числе длитых бород некоторые еще находились в младшем классе, и я узнал, что многие уже 8 лет в нем оставались и при этом промышляли извозничьим ремеслом, а также состояли в услужении в лавках и мастерских и посещали гимназию раза два в месяц, не имея при том другой цели, кроме добродушного удовольствия пощеголять на праздниках в гимназическом мундире. Директору*** и инспектору**** вместе взятым, было 150 лет отроду*****; первый из них весьма достойный, но ни по дарованиям своим, ни по здоровью неспособный человек; второй вполне непригодный, хотя еще бодрый. В числе учителей было несколько даровитых личностей, но все без исключения исполняли свои обязанности как тяжелое ремесло. Уездное училище, находившееся в том же помещении, отличалось тем же складом: инспектор, старый, но еще вполне свежий человек лет 60-ти, пользовался славою человека, привыкшего ничем не брезговать со стороны учеников. Простой ли белый хлеб или бутылку вина и водки — все принимал он с должною признательностью, и часто летом прерывались классы, чтобы доставить детям укрепляющее, телесное упражнение посредством обработки его сада.

Я крепко взмылил голову учителям и предъявил им ясно и подробно мои требования, и при этом приказал топить в классах и приготовить сметы для исправления здания /.../.

(49, 272).

***Прибывший в Киев новый попечитель учебного округа Е.Ф. Брадке.

****Киевская гимназия помещалась в Кловском дворце.

*****Г. Петрову.

*****М. Берлинскому.

*****В 1833 г. Петрову и Берлинскому «вместе взятым» было 139 лет.

П.Н. БОДЯНСКИЙ

Павел Николаевич Бодянский (1857–1922) родился в семье священника в Подольской губ. В 1881 г. окончил историко-филологический факультет Киевского университета. Преподавал историю в киевских гимназиях. С 1887 г. — в Первой гимназии. С 1907 г. — ее инспектор. Автор нескольких печатных исследований по истории Древнего Рима и России.



Инициатор некогда популярных шашечных турниров по переписке.

Очень разочаровал меня историк Бодянский («Бужан») из известной семьи русских ученых. Урок его меня увлечь не мог. Бодянский, войдя в класс, требовал открыть тетради для хронологии и диктовал даты. Вслед за этим требовалось открыть учебники. «Считайте, восьмая строка сверху от слов: «Генрих IV после Каноссы...» Нашли? Вычеркивайте пять строк, кончая словами: «Его преемником был Генрих V». После этого начинались вызовы. «Скажите, Лескевич, годы правления Карла Великого». Лескевич, задумавшись: «772–821». — «Ничего подобного, — 768–811! Хронологию не учили. Садитесь — два. Дашкевич! Битва при Гастингсе? Год?» Дашкевич отвечает мгновенно: «1166». Бодянский ворчит: «Ну, не совсем так: 1066. Но видно, что учили». Лескевич ошибся на несколько лет. Дашкевич на целый век. Но Лескевич угадывал, имея представление об эпохе, и угадал довольно точно. Дашкевич зубрил. Но... он учил хронологию.

(15, 84).

П.И. ГЕДУЭН

Петр Иванович Гедуэн (около 1800—1862) — учитель французского языка в Первой гимназии в 1838—1862 гг. Француз по происхождению. В 1838 г. сдал экзамен в Киевском университете на звание учителя французского языка. Русское подданство принял в 1841 г. Преподавал в Институте благородных девиц (до 1842 г.), в Первой гимназии — с 1838 г. В звании учителя французского языка утвержден в 1843 г. и

проработал в гимназии до 1862 г. С 1838 по 1852 гг. безвозмездно преподавал французский язык в гимназии графини Левашовой.

В 1842—1862 годах содержал один из лучших частных мужских пансионов Киева, который по учебной программе соответствовал уездным училищам и состоял из трех классов. В 1854 г. в нем жило 43 воспитанника из дворян, 12 преподавателей наук, 3 учителя искусств и 3 надзирателя.

Преподавателем французского языка был Гедуэн, который прожил в Киеве и преподавал французский язык в Первой гимназии около 40 лет. Он имел собственный пансион для богатых молодых людей, за содержание которых брали большие деньги — 600—700 руб., с музыкой и французским языком.

Гедуэн очень плохо говорил по-русски. Его русский язык состоял из множества гадко выговариваемых польских, немецких и русских исковерканных слов. Например, он говорил:

— Если я тебе, мальчику, зеро полеже, то сам черт не перележе!

Он был очень правдивый человек и верил всему тому, что ему говорили молодцеватые и дерзкие ученики.

Гедуэн заставлял писать с русского на французский язык различные переводы. Эта работа всегда сопровождалась различными хитростями, чтобы переводы были удачны.

Переводы делались порядочно знающими французский язык поляками; писались они на длинной полоске белой толстой бумаги и помещались в левом рукаве куртки, а на конце этой полоски привязывался шнурок, который пролегал в левый рукав и протягивался по левой ноге под панталонами. Когда ученик писал свой перевод на доске, то левая нога была согнута, он вытягивал исписанную полоску из рукава и смело переписывал французские фразы. Гедуэн же в это время спрашивал урок — спряжение правильных и неправильных глаголов, потом подходил к пишущему на доске, — тот выпрямлял свою левую ногу и кусочек бумаги скрывался в левом рукаве куртки.

(352, 558).

Раз Бобровников* задумал подшутить над Гедуэном: он принес в класс хорошенькую, бронзированную чернильницу и поставил ее перед учителем. Гедуэн в этот день был в хорошем расположении духа, поставил точки в журнале тем ученикам, которых хотел спросить, спросил лучших учеников класса и каждому поставил по «5»; спросивши урок, он пошел к тем, которые писали на доске переводы, и одобрительно отозвался об их работе; в это время Бобровников подбежал к кафедре, чистым платком махнул по журналу, — и все знаки и баллы, поставленные Гедуэном, исчезли: он приготовил очень искусно чернила из березового угля, так что когда написанное высыхало, то стояло слегка ударить платком, и на бумаге ничего не оставалось — чернила исчезали. Гедуэн, вернувшись от доски, хотел поставить кому-то двойку за перевод, вдруг видит журнал совершенно чистым. Ни одной отметки, ни точек, — не осталось в журнале и помину от них. Он так рассердился, что, шатаясь, выбежал в учительскую и в этот день больше не возвращался в класс. Бобровников, как только убежал Гедуэн, приняв свою чернильницу с удивительными чернилами и заменил их обыкновенными, после погрозил всему классу и сказал: «Не смейте говорить, что он меня спрашивал и что я это сделал ему в пику! Говорите, что я все время сидел на месте и вел себя хорошо». Явился /инспектор/ Пристюк, взял перо и написал на отдельной бумажке слова: когда чернила немного подсохли, он махнул своим шелковым платком, как сделал это Бобровников, но его платок только запачкался. «А, я понимаю, — сказал он, — я эту шутку хочу разъяснить».

Через два дня явился Гедуэн, суровый, сердитый. Он начал ставить разные знаки в журнале, опять из той же новой чернильницы чернилами Бобровникова, а потом проверять переводы и выученные стихи, написанные наизусть по-французски. Внезапно приходит Пристюк: увидя новую чернильницу, он схватил ее, написал несколько слов на бумажке новыми чернилами и, когда они подсохли, махнул платком, и на бумажке ничего не осталось. Пристюк встал, позвал Бобровникова и сказал ему: «Я тебе покажу, как обманывать! Я тебе всыплю 150 розгачей! Я доведу до сведения попечителя о твоих мерзких поступках! Ты будешь изгнан из гимназии и сослан на Кавказ! Повоюй там с черкесами!»

Но Бобровникова на Кавказ не сослали, а когда через Киев шли войска драгун, гусар, улан и кирасир, чтобы занять места по назначению, в Крыму — в Севастополе, он с другими великовозрастными товарищами поступил в драгуны. Впоследствии все они стали храбрыми героями и борцами за славу своего Отечества. (352, 558—560).

*Гимназист, прославившийся в свое время в Киеве всевозможными проделками и шалостями.

В.П. ДЕВЬЕН

Виктор Петрович Девьен /или Де-вьен/ (около 1829–1863) — учитель естественных наук. Из дворян Эстляндской губернии. Окончил Петер-

бургский главный педагогический институт (1851), служил учителем математики в черниговской гимназии и в Первой гимназии Киева (1852–1863).

Учитель Девьен, по-видимому, обруселый француз, был самого добродушного нрава. Он преподавал естественную историю в младших классах и физику в старших. Все естественные предметы преподавались им практически. Например, зоология — на коллекциях всевозможных насекомых (бабочек, жуков, мух и т. д.). От своих учеников, уезжавших на каникулы, Девьен требовал собирать редких насекомых и готовить коллекции, затем советовал, как делать для них ящики, какие пробки и булавки нужны для накалывания насекомых, объяснял, каким спиртом или эфиром лучше умерщвлять то или другое насекомое, чтобы оно не портилось и не теряло своей окраски, говорил, где и какое редкое насекомое можно достать на юге, севере или востоке и т. д.

Девьен всегда выражал восторг, если видел насекомое, не принадлежащее к данной местности. По его инициативе мы изучали мастерства: слесарное, столярное, токарное, и все это применялось к изготовлению предметов разного вида коллекций по физике. В классах физики он предлагал физические аппараты своей выдумки, причем приходил в восторг, если кто-либо из учащихся придумывал свой аппарат для физических опытов.

Так, один ученик гимназии, когда проходили отдел о сложных блоках, которые называются полиспастами, применил 60 блоков в одном целом и наглядно показал, что мельчайшее движение одного блока передается чрезвычайно быстро всем остальным. Все эти блоки были удивительно искусно выточены и отполированы самим учеником. Этот полиспаст остался в физическом кабинете гимназии, и все ему удивлялись.

Другой ученик представил аппарат, доказывающий силу электричества от трения стекла меховым предметом. Это производилось таким образом: брались 4 латинских лексикона Кронберга, складывались по два вместе, между ними вкладывалось большое стекло, которое опиралось краями о лексиконы, а под стеклом помещались вырезанные из папиросной бумаги фигурки и шарики из сердцевины бузины. Когда терли по стеклу куском меха, то электричество передавалось находящимся под стеклом предметам, и они прыгали и танцевали.

Больше всего смешило Девьена предположение того же ученика, что если бы выстроить большой зал со стеклянным потолком и поместить туда людей в легких

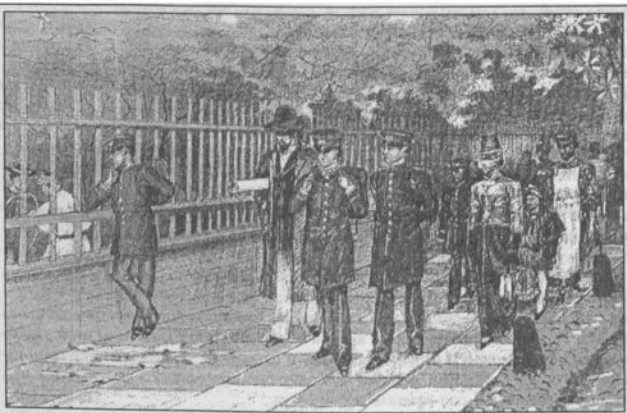
пробковых одеждах, стеклянный же потолок усиленно натирать мехом, то люди стали бы подниматься к потолку, прыгали бы и танцевали, как бумажные фигурки; и, таким образом, на практике пришлось бы испытать действие электричества.

Все ученики ужасно смеялись, а Девьен пожимал ученику руку и очень благодарил за такое открытие в области электричества.

Девьен ввел в обыкновение делать экскурсии и составлять коллекции по зоологии. Для этого мы собирали ужей, ящериц, лягушек, закупоривали их в банки со спиртом, и если кто из высшего начальства приезжал из Петербурга или Москвы в Киев и посещал Первую гимназию, то /ему/ всегда показывали предметы занятий учеников. Девьен умел хорошо делать чучела, научил и нас этому, у нас были лисицы, зайцы, орлы, копчики и даже большой журавль; все это гимназии ничего не стоило, т. к. все делалось учениками на свой счет /.../ Ученики хорошо знали ботанику, зоологию, некоторые даже и минералогию /.../

Девьен был самый любимый преподаватель гимназии. Нам всем он был очень дорог и памятен. Он был уволен из киевской Первой гимназии, как говорили, за неуважение к начальству; все мы негодовали за такое несправедливое отношение к Девьену, особенно на помощника попечителя Юзефовича, который, как бывший военный, выслал его из Киева в 24 часа, но, как говорили, Девьен сейчас же получил место учителя в Житомирской гимназии /.../.

(352, 546—548).



Начало учебного года. Учитель и ученики по дороге в гимназию. Рис. XIX в.

П.Н. ИЕРОПЕС

Историк культуры г. Нежина Г.В. Самойленко называет Иеропеса Христофором Николаевичем, а некогда учившийся у него А. Романович-Славатинский — Павлом Николаевичем. Он родился около 1790 г. в г. Трикалии в Фессалии (Малая Азия). Обучался «еллино-греческому» языку в гимназиях Фессалоники и Смирны, изучал произведения «многих древних писателей в прозе и стихах», естественные науки и богословие. В 1819 г. переселился из Смирны в Триест, где служил учителем «еллино-греческого языка», откуда, по одним

сведениям, его пригласили в 1822 г. на место учителя греческого языка в Таганрогскую коммерческую гимназию, а по другим, — он поступил на службу в нежинское Александровское греческое училище и одновременно преподавал в Гимназии высших наук кн. Безбородко. В 1830-х гг. служил в киевской Первой гимназии, а с 1841 г. — во Второй гимназии. Вышел на пенсию в 1851 г. (По иным источникам, в 1843–1849 гг. он работал инспектором лицея князя Безбородко и Нежинской гимназии и вышел на пенсию в 1849 г.).

На уроках /греческого языка/ учитель Христофор Николаевич Иеропес, выходец из Греции, иногда пускался в филологические тонкости. Однажды он стал превозносить богатство русского языка в сравнении с греческим:

— По-гречески слово «родить» для всех людей и животных одно. И человек — родил, и собака — родил, и свинья — родил. А по-русски говорят: собака — окотенилася, корова — опоросилася, свинья — отелилася. Очень, очень богаты русский язык.

(471, 31).

Он был человек совершенно необразованный и круглый невежда... Рассказывали, что однажды, председательствуя на экзаме-не по географии, вызванному к ответу ученику он сказал:

— Начерти Африку и поставь все города Испании.

И это весьма могло быть.

(349, 176).

А.П. ИНОЗЕМЦЕВ

Андрей Петрович Иноземцев (1824–1858) — учитель словесности и истории в Первой гимназии. Происходил из купцов. Окончил Лубенское уезд-

ное училище (1836) и Киевский университет (1849). Преподавал в Первой гимназии (1849–1858) и в Институте благородных девиц (до октября 1852 г.).

Единственным отрадным воспоминанием за эти три года я* обязан покойному учителю русской словесности А.П. Иноземцеву. Это была даровитая личность, к сожалению, рано унесенная смертью. Отличный знаток русского языка, человек с правильным и тонким литературным вкусом, А.П. был совсем не на том месте в гимназии, где воспитанники состояли из поляков и малороссов, не только не умевших правильно говорить по-русски, но даже не способных отделаться от нерусского акцента. Бывало, он чуть не плакал с досады, когда, например, ученик, скажет: «Помочу перо», и в целом классе не найдется ни одного, кто мог бы его поправить. Мне сдается, что самая смерть Иноземцева — от разлития желчи — была подготовлена скукой провинциального прозябания и возни с поголовно добропорядочно бездарностью.

(2, 422).

**Автор воспоминаний, писатель и публицист В.Г. Авсеенко, учился сначала в Первой петербургской гимназии. Среднее образование завершал в Киеве в 1855–1859 годах. Нравы киевской школы произвели на него мрачное впечатление.*

Иноземцев преподавал историю всеобщую и русскую, русскую и общую словесность /.../ Его называли «наш замечательный Перикл», «наш Демосфен», «наш замечательный Солон». Когда мы изучали басни и стихи, он заставлял самих учеников писать басни и стихи, соблюдая все правила стихосложения и размеры /.../ Не забуду никогда, какое большое впечатление произвело на учащихся заданное в классе сочинение — написать басню, приняв за образец Крылова, Лафонтена и Хемницера; тема для басни должна быть самостоятельно выбрана каждым пишущим. Наверху работы выставлялось фамилия ученика. Когда проходил час заданного сочинения, Иноземцев собирал их и прятал в лично ему принадлежавший шкафчик, а после перемены приносил работы в класс и говорил:

— Ну, посмотрим, какие вы Крыловы, Лафонтены и Хемницеры /.../

Нас было 23 человека; все басни учитель читал по очереди и все они были па-

родиями на басни Крылова и Хемницера. Дошла очередь до ученика Мельникова, и он начал читать так:

*«Кот и муха»
Однажды кот раззявил рот,
А муха в рот ему влетела...*

— И что дальше? — спрашивает Иноземцев.

— А дальше читайте правоучение.

И прочел:

*Всякое дитя большое, садясь за стол,
Чтобы не замараться,
Должно всегда салфеткой завязаться.*

В классе раздался гомерический хохот.
(352, 545–546).



Народный учитель подготавливает ученика к поступлению в городское училище. Литография 1830-1840 гг.

О.Ф. ИОГАНСОН

Оскар Федорович Иогансон (1858 — не ранее 1914) — уроженец Риги. Звание учителя немецкого языка получил в 1882 г., преподавал в украинских городах. С 1893 г. — в Пер-

вой киевской гимназии. Писал романсы, куплеты и драмы. К. Паустовский и Н. Михайлов вспоминали о нем в своих мемуарах с большой симпатией.

Немецкий /в Первой гимназии/ преподавал Оскар Федорович Иогансон. Он увлекался музыкой — сочинял музыкальную пьесу «Дух токайского вина». Он приходил и читал нам что-нибудь вслух, обычно комическое. Читал по-русски, потом задавал уроки и покидал класс. (15, 84).

Уроки немецкого языка были интереснее французских. Не потому, что Оскар Федорович Иогансон был образцовым преподавателем, а потому, что на этих уроках мы иногда занимались вещами, далекими от немецкого языка. Чаще всего Оскар Федорович давал нам переписывать партитуру своей оперы «Дух токайского вина».

Иогансон был венец, пожилой и нервный. В класс он приходил с деревянной ножкой, отпиленной от стула. Когда беспорядок достигал недопустимых размеров, Иогансон хватал ножку от стула и начинал изо всей силы колотить по столу. Мы сразу приходили в себя.

Иогансон был знатоком и любителем музыки. Он собирался стать композитором, но какая-то несчастная история в его жизни помешала ему в этом, и он с отвращением занялся преподаванием.

(304, 172).

Учился я у него отвратительно, — вспоминает литератор Н.П. Михайлов/, — среди множества «единиц» и «двоек» попадаются изредка «четыре» и «пять». Это за стихи. О.Ф., сам поэт, композитор, человек талантливый, ценил и поощрял творчество. С шестого класса я бросил учить немецкий язык, но моя дружба с О.Ф. не уменьшилась, но, напротив, окрепла. (15, 479).

/Потерянная опера/

Однажды, когда я был уже в шестом классе, Иогансон потерял в трамвае рукопись своей оперы. Это был единственный

экземпляр. Он напечатал об этом объявлении в газетах. Но никто оперу не возвращал. Целую неделю Иогансон не приходил в гимназию, а когда пришел, мы его почти не узнали — он посерел, и желтая его шея была замотана рваным шарфом. В этот день на уроке Иогансона стояла глубокая тишина.

— Ну вот, юноши, — заговорил Иогансон, — все кончено! Эта опера была делом всей моей жизни. Я становился молодым, когда писал ее. С каждой страницей с меня слетало по несколько лет. Да! Это было так! То была музыка счастья. Я писал только о нем. Где оно? Всюду! В том, как шумит лес. В листьях дуба, в запахе винных бочек. В голосах женщин и птиц. Везде и всюду /.../ Все это было в моей опере. Все! Я надеялся, что умру спокойно, если увижу ее на сцене венского театра. Может быть, думал я, мой друг, старый поэт Альтенберг, придет и сядет, как медведь, в бархатное кресло, и слеза появится у него на глазах. Это было бы для меня лучшей наградой. А может быть, эту музыку слышала бы та, что никогда не верила в мои силы...

Иогансон говорил, рассматривая свои худые пальцы. Он будто охмелел от горя. Он всегда говорил немного пышно и театрально, но сейчас мы этого не замечали. Мы сидели потупившись /.../

В тот же день по всем классам гимназии пронесся призыв: «Найти оперу! Найти ее во что бы то ни стало!» /.../

Поиски начались. Мы опрашивали кондукторов трамваев, обходили базары. Мы рылись у торговцев в оберточной бумаге. Наконец на Лукьяновском базаре опера была найдена.

Увидел ее один гимназист восьмого класса у торговли салом. Торговка жаловалась, что бумага не годится для обертки — чернильные строчки отпечатываются на сале, и покупатели сердятся. Поэтому в рукописи не хватало всего трех страниц. (304, 172—174).

Т.И. ПРИСТЮК

Тимофей Иванович Пристюк (родился в 1822 г.) окончил Киевский университет в 1844 г. Служил в Винницкой (потом она стала называться Белоцерковскою) гимназии учителем математики (1844—1848). В 1848 г. — учитель математики во Второй гимназии, с 1849 г. — в Первой гимназии Киева и в Институте благородных девиц. В 1853—1856 гг. — инспектор чер-

ниговской и житомирской гимназий. С 8 февраля 1856 г. — инспектор киевской Первой гимназии. С 16 июня 1857 г. — также и. о. ее директора. 31 октября 1857 г. назначен и. о. директора немировской гимназии (утвержден директором 23 марта 1860 г.). В 1860—1864 гг. — директор училищ Волынской губернии. С 1864 г. — служил в Варшавском учебном округе.

В мое время директоров и инспекторов переменялось несколько: Петров, Любимов, Гренков, Пристюк, князь Дабижка.

/.../ Все эти лица были большие драчуны и секли учеников розгами, исключая Петрова и Дабижка, которые были против телесных наказаний. Особенно был жесток Пристюк, который любил наказания розгами, сам присутствовал при сечении и всегда приговаривал:

— Жарь, жарь, жарь сильней!..

И когда ученики не плакали, не визжали и не кричали, он вырывал у секущих розги и кричал:

— Пошел вон, мерзавец, я вычту из твоего жалования целковый! Позвать сюда Ивана Халявку!..

Взрослых учеников секли особенно жестоко, давали минимум 100 розг враз. Эта операция всегда совершалась по субботам, после обеда, в комнате-гардеробной; там стояла длинная скамейка, ученики вызывались по алфавиту: малец и великовозрастный, и так по очереди весь состав наказуемых, которых было 12—15 человек. Великовозрастные ученики убеждали мальцов, что криком ничего не поможешь, а нужно быть спартанцем и храбрым, ложась на скамейку, засунуть руку в рот и кусать ее, и тогда будешь храбрецом и героем между товарищами. Это ужасно возмущало Пристюка, а в детях возбуждало охоту к терпеливому перенесению всяких мучений. Для разнообразия великовозрастные товарищи иногда разрешали мальцам кричать и визжать, что есть мочи; это они исполняли очень усердно, так что визг раздавался на улице, и проходившие тут старухи-нищие крестились и говорили:

— Мученики... Чтоб их мучители кипели в аду в горючей смоле!

(352, 539—541).

Д.Н. РЕВУЦКИЙ

Дмитрий Николаевич Ревуцкий (1881–1941) родился в Черниговской губернии. Окончил Киевский университет (1906). Преподавал словесность в гимназии В. Науменко. В 1918–1923 гг. — преподаватель Киевского музыкально-драматического училища им. Н. Лысенко, в 1923–1934 гг. — сотрудник Этнографической комиссии УАН, в 1938–1941 гг. — старший научный сотрудник Института украинского фольклора АН УССР. Погиб при зага-

дочных обстоятельствах в декабре 1941 г. в оккупированном немцами Киеве. Автор многих исследований по истории украинской музыки. Составил сборник народных песен «Золоті ключі». Дружил и сотрудничал со своим бывшим учеником по гимназии В. Науменко, поэтом-академиком М.Т. Рильским, который посвятил ему одну из своих знаменитых «Вечірніх розмов», печатавшихся в газ. «Вечірній Київ» в начале 1960-х годов.

Якось один гімназист під час уроку потайно рисував карикатуру на Дмитра Миколайовича («дружний шарж» за новітнім висловом). Він так захопився своєю роботою, що й не помітив, як за його спиною опинився оригінал портрета, заглядаючи в рисунок. Бідолашний художник хотів швидко схвати папірець у парту, але Дмитро Миколайович серйозно сказав йому: — Будь ласка, коли закінчите, то дайте мені цей рисунок. Я колекційну карикатури на себе. (346, 653).

К.Л. РЕГАМЕ

Казимир Людвигович Регаме (1859—1907) — учитель Первой гимназии, сын учителя этой же гимназии Людвиг Регаме. Окончил Первую гимназию (1879) и историко-филоло-

гический факультет Киевского университета (1883). Преподавал географию, историю и французский язык (с 1883 г.). Преподавал также в духовной академии.

К.Л. Регаме, учитель французского языка, — такая светлая и прекрасная личность, что не моему слабому перу, не с моим знакомством с его жизнью, писать его характеристику. Всегда спокойный, ровный, он умел внушить к себе уважение. За все 7 лет, что я его знал, он ни разу не позволил себе прибегнуть к жалобе, записям в журнале и т. п. репрессиям. «Поссоримся, господин такой-то», — говорил он, и только! /.../ Я за все время ни разу не помню, чтобы он возвысил голос, кричал, раздражался, а мы не раз давали к этому повод. Бывало, сидя на задней парте в углу с приятелем, я во время перевода заведу спор на любимую, отвлеченную тему, а потом, в старших классах, о философии. К.Л. заметит это и заставит замолкнуть отвечающего. В классе воцарится гробовая тишина, в которой резко раздаются наши несдержанные голоса.

— Позвольте и мне присоединиться к разговору? — спросит К.Л. — Ах, какой вы Мефистофель, г-н Михайлов, соблазняете Лопухина!

И, право же, становится так неловко и неприятно, как никогда в других подобных случаях.

(265, 472).

П.Е. РОЩИН

Петр Емельянович Рошин родился около 1826 г. в семье чиновника. Окончил петербургский Главный пе-

дагогический институт (1853). Учитель математики в Первой киевской гимназии (1853–1857).

По вторникам и пятницам у Рошина собиралось очень много знакомых, спорили и рязили о житейских делах; все, бывавшие у него оставались очень довольны такими беседами. Но на Петра Емельяновича пошлн доносы, начальство говорило о нем, что он вредный преподаватель, оказывает вредное влияние на воспитанников, беседует о Боге, трактует вкривь и вкось христианское ученье, что он ужасный атеист и т. д. Эти неправдивые мнения о Рошине увеличивали его адептов, а вместе с тем люди гадкие и лживые распространяли нехорошие и гнусные мнения о Рошине, что подало повод иным настоячиво требовать у попечителя того времени, князя Васильчикова, бывшего в то же время и военным генерал-губернатором в царствование Николая Павловича, чтобы Рошина удалили из гимназии. И генерал-губернатор Васильчиков приказал Рошину уехать из Киева в Таращу уездным учителем.

На это приказание Васильчикова П.Е. отвечал, что он поедет в какое угодно место, где он может приносить пользу, но так как в Таращу он назначен в наказание, а он не сознает себя виновным, то он туда не поедет, а останется в Киеве; если же его насильно увезут, то насильно он не будет сопротивляться.

Получив такой ответ, Васильчиков навел справки о Рошине в педагогическом институте и получил следующий ответ оттуда:

«Рошин очень хороший человек, хороший математик и прекрасный преподаватель». Жена князя Васильчикова, очень развитая женщина, с добрым сердцем, узнав всю историю Рошина, очень упрекала своего мужа, что недобрые люди подтолкнули его на неблагоприятное дело, просила его убедительно прекратить это дело и оставить Рошина в покое.

(352, 549–550).

В.К. СМОЛЕНСКИЙ

Вацлав Казимирович Смоленский родился в 1813 г. в Подольской губернии, католик. Служил чиновником в канцелярии киевского дворянского депутатского собрания (1837–1844) и в палате государственных имуществ

(1845–1848). Эконом Первого благородного пансиона при Первой киевской гимназии с 1848 по 1862 гг. Позже — надзиратель той же гимназии. Ту же должность занимал и в Чернигове (1865–1876).

Я раньше выразился, что нас хорошо кормили. Хозяйством Первого пансиона заведовал эконом Смоленский (он был поляк); ему помогала его родная сестра, пожилая уже девушка Текля. Все учащиеся любили ее ужасно за ее добродушный нрав; она никогда злобно и грубо не отзывалась об учащихся, а мы ее всегда называли «Матка Бозка Ченстоховска», она же нас всегда крестила и просила не сравнивать ее с Богородицей.

Как хорошо нас ни кормили, но молодежь от 12–15 лет всегда имела хороший аппетит. Когда кто-нибудь замечал, что «Матка Бозка Ченстоховска» направлялась в кладовую за какой-нибудь провизией, то сейчас собиралась кучка проголодавшихся во главе с Бобровниковым, подходили к ней, и Бобровников начинал ее захваливать, говорил, что она попадет в рай за доброту к сиротам-детям, родители которых очень далеко, и что ее доброта всем известна, что все молятся о продлении ее жизни. Когда же она, умиленная этими словами, расцветала радостной улыбкой и благодарила Бобровникова за то, что он хорошо ее понимает, и она это ценит, компания проголодавшихся не дремала, пользовалась случаем и, если видела кадушку с маслом и черный хлеб, то одни запускали руки в масло и наполняли им тут же стоявшие кувшины, другие хватали крутые, большие хлебы под мышку, а третьи тащили яблоки, сушеные сливы, наполняли карманы всем этим добром и, крикнув Бобровникову: «Годі! Гайда!», выбегали из кладовой с удивительной быстротой, а бедная госпожа Смоленская испускала крик ужаса и неистово вопила:

— Северин, Северин! Ратуй! Грабят разбойники!

Мы же все спокойно усаживались в один из кардеров, и дележ производился удивительно справедливо. Мальцы поощрялись великоозрастными на такие подвиги, которые говорили им, что они будущие казаки и славные бойцы. А Смоленский в это время бежал к директору и сообщал, что «проклятые лайдаки» ограбили кладовую. Пристук говорил:

— Я их допеку, я их разнесу, будут они у меня визжать под розгами!

Но иногда забывал выполнить обещанное.

(352, 541–542).

Ф.А. ТОКАРСКИЙ

Федор Антонович Токарский родился в 1815 г. в Черниговской губернии. Окончил Киевский университет в 1841 г. Служил учителем в Нежинской и Черниговской гимназиях. Учитель матема-

тики (1850—1858) и комнатный надзиратель (1856—1858) Первого благородного пансиона Первой киевской гимназии. В 1858 г. назначен инспектором Каменец-Подольской гимназии.

Токарский, старый математик, каждого ученика делал своим крепостным, дающим ему известный доход. Он говорил своим ученикам:

— Ты плохо учишься и должен брать уроки у меня!

За каждый урок он получал по два рубля; требовалось также, чтобы все ученики, приезжая с каникул после Рождества и Светлого праздника, привозили ему из дому мзду за оказываемую им помощь в математике. Он брал все: ветчину, колбасы, паски, брал головами сахар, фунтами чай, банки варенья, и чем больше получал от ученика, тем выше баллы ставил на экзаменах.

Родители, чтобы дети лучше учились, дарили ему портсигары, сигары, табак и даже кто-то подарил несколько дюжин игральные карты. Излишнюю провизию Токарский продавал нашему же эконому Смоленскому, с тем условием, чтобы во время завтрака получать себе от него ветчину или что-либо подобное для удовлетворения желудка.

(352, 544—545).

Е.К. ТРЕГУБОВ

Елисей Куприянович Трегубов (1848–1920) — учитель истории в коллегии Павла Галагана, в гимназии В. Науменко и других учебных заведениях. Член Старой громады, активный участник украинского культурно-

го движения, один из организаторов украинского книгоиздательского дела в Киеве, заведовал конторой ж-ла «Киевская старина». Его жена, Антонина Трегубова, была родной сестрой жены И. Франко Ольги Хоружинской.

/Класик анекдотичної географії/

Географію викладав нам /учням гімназії В. Науменка. — А.М./ у молодших класах Єлисей Купріянович Трегубов, аматор, сказати б, «анекдотичної» географії. Він розповідав нам про те, як в англійських броварнях плавають два чоловіки у величезному казані з пивом, збираючи шумовиння, вражав учнів раптовими реченнями на кшталт такого: «Славетна Англія також і своїми мопсиками з чорними носами». (Це, можливо, і гімназична вигадка). А проте був милий чоловік і непоганий учитель. Пізніше я дізнався, що Є.К. Трегубов був визначним учасником київської «Громади» і людиною, близько зв'язаною з Іваном Франком.
(339, 38–39).

К.И. ФРИДМАН

Карл Иванович Фридман родился около 1807 г. в купеческой семье. Окончил Юрьевский /Дерптский/ университет. Работал столоначальником в Лифляндской казенной палате (1830–1831). В 1836–1838 гг. — комнатный надзиратель низшего ок-

лада в благородном пансионе при Первой гимназии в Киеве, с 1836 г. — учитель латинского языка в Киево-Печерском уездном дворянском училище (с оставлением в должности надзирателя благородного пансиона).

Об этом невежливом и безобразном господине ходил такой анекдот: вышел он однажды на балкон в халате и красной феске с «китицей». Сидит и курит трубку. Возвращаются с базара крестьяне*. Один из них обратился к другому, указывая кнутовищем на Фридмана, с такой речью:

— Он бач, яка малпа (обезьяна) сидить, та ще й люльку пихкає, бісова віра.

Фридман вскакивает, начинает кричать и топтать ногами, а крестьянин ему:

— Грр, грр! Бач злюча, бісова малпа!...

Я несколько не сомневаюсь в истине этого анекдота и не удивляюсь простакам, принявшим сего ученого мужа, говорящего на трех языках, со включением еврейского жаргона**, за обезьяну — сходство с шимпанзе поразительное. Замечательно, что этот урод пользовался особенным благоволением начальства и имел в Липках обширный круг аристократического знакомства.

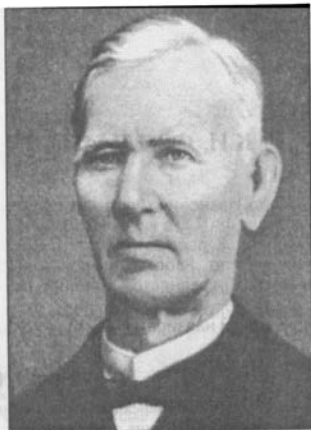
(432, 122).

*«Училище, — пишет мемуарист, — помещалось тогда на Печерской базарной площади в деревянном одноэтажном доме с мезонином и палисадником. Сам смотритель жил в мезонине».

**Фридман был выкрестом. Свободно говорил на иврите, немецком, французском и латинском языках.

М.К. ЧАЛЫЙ

Михаил Корнеевич Чалый (1816–1907) закончил Новгород-Сиверскую гимназию и Киевский университет (1844). Преподавал словесность в гимназиях Немирова, Киева и Белой Церкви. В 1859 г. познакомился с Т. Шевченко во время его последнего приезда в Киев. В 1861 г. принимал участие в организации похорон поэта в Украине. Произнес речь над гробом Т. Шевченко в Киеве. В 1882 г. вышла его книга «Життя і твори Тараса Шевченка», в 1897 г. — собранные им письма поэта. Член редколлегии ж-ла «Киевская старина» с первых



дней его существования. Опубликовал в нем свои «Воспоминания» (1889, 1892–1895).

/М. Чалый о себе/

— Отчего тебе так сильно захотелось быть диаконом? — спросил один благодушный владыка своего келейника, посвятив его в диаконы.

— Помилуйте, ваше преосвященство, — всякий человек хочет быть диаконом, — отвечал келейник.

Если бы меня спросило начальство: отчего мне захотелось сделаться «старшим учителем», то я бы ему ответил, что всякий человек хочет быть старшим, а как младший учитель тоже человек, то и он желает быть «старшим».

(437, 346).

Перший раз попав я на річні збори /Літературно-артистичного/ товариства, де обговорювався бухгалтерський звіт за минулий рік, а потім перейшли до обговорення програми діяльності. По кожному питанню прохав слова Чалый і так остобісів усім, що й сказати трудно.

Головою був тоді артист Соловцов; він різними тонами і на різні лади прохав Чалого передати право голосу ще кому-небудь, але Чалый був людиною невимомною і прохав слова ще частіше.

Збори потроху розходились: хто пішов грати в карти, хто пив чай, хто закусував, хто засів у читальні, і зала засідання майже зовсім спустіла. Сидів тільки на

предсідательському місці Соловцов, біля нього члени правління, а в першому ряду стояв Чалий і говорив до них. За спиною у Чалого було душ, може, з 10, не більше, а спочатку було присутніх до 50 осіб.

Коли засідання скінчилося, я підійшов до Чалого, познайомився з ним і, серйозно співчуючи, сказав:

— І чого Соловцов вівся до вас? Говорили ви гарно, по-діловому і цікаво.

Чалий зараз же обняв рукою мене за плечі, був, видимо, задоволений моїми словами і повів мене в буфет. Там ми закусували, розмовляли, пили чай і говорили далі, або, вірніше, Чалий говорив, а я слухав.

Цілий вечір до глибокої ночі просидів я з Чалим і все його слухав, та все думав: «І коли то він набалакається?» Але балачкам Чалого не було кінця.

(184, 145).

/П'ять годин балачки за шість карбованців/

Між іншим, він сам сказав мені, що тільки раз і набалакався досхочу в Одесі.

Коли він приїхав до Одеси, то виявилось, що й там є літературно-артистичне товариство. Чалий подав заяву, щоб стати його членом. Там без зайвих формальностей, як члена Київського товариства, прийняли одразу. Чалий вніс належну плату, а ввечері був уже на засіданні, і якраз попав на річні збори, як і в Києві.

— Хоч і 6 рублів заплатив, але ж і набалакався! П'ять годин говорив, ей же Богу! — закінчив Чалий з видимим задоволенням.

(184, 145—146).

Н.Т. ЧЕРКУНОВ

Николай Трофимович Черкунов (1844–1905) — учитель географии Первой гимназии. Родился в 1844 г. в семье военного врача. Окончил естественное отделение физико-математического факультета Киевского университета в 1865 г. Работал учителем естественной истории и географии в Холмской гимназии, а с 1870 по 1905 год — в Первой киевской гимназии. С 1 мая 1900 г. преподавал географию в институте благородных девиц. Написал несколько учебных пособий по географии и естественной истории.

Основал в своем доме частный географический музей. На собственные средства и при содействии друзей и учеников собрал свыше 3100 экспонатов. В часы приема (в воскресные и праздничные дни) в музее происхо-



дила географическая игра на конфеты и премии. За 30 выигрышей (правильных ответов) ученик получал в виде премии книгу.

Скоропостижно скончался в Петербурге 10 июля 1905 г. Современному читателю известен как один из персонажей автобиографической повести К. Паустовского, где он назван почем-то Черпуновым.

Кто из посещавших киевскую Первую гимназию не помнит Н.Т. Черкунова? Маленький, седой, в застегнутом сюртуке (тогда учителя ходили во фраке), он производил сначала странное впечатление. Он преподавал географию /.../

Иногда он ошарашивал ученика неожиданным вопросом. Например, меня он как-то раз спросил: «Кому полезен град?» На что надо было ответить: «Стеколыщикам». Н.Т. очень ценил такие ответы /.../.

Если ученик шалил на уроке, играя каким-нибудь предметом, то последней отнимался у него и поступал в коллекцию Н.Т. И чего только не было в этой коллекции, вплоть до маленькой галочки!

Заговорив об этом, не могу не вспомнить прекрасной географической и этнографической коллекции Николая Трофимовича. Мы, ученики, по его приглашению, часто ходили к нему осматривать эти коллекции. Но я лично не любил туда ходить. Понимал я эти коллекции тогда слабо, а электрической машины, живого хамелео-

на и мертвых, но страшных на вид, жуков боялся ужасно. Н.Т., видимо, не был особенно доволен моим равнодушием, т. к. я был его лучшим учеником.

(265, 469—470).

Своеобразную фигуру представлял собой Николай Трофимович Черкунов — преподаватель географии, автор географической игры-лото. Дома у него был целый музей, который охотно посещали гимназисты. Он казался старым холостяком, обросшим волосами, седыми и длинными. Из этой копны волос глядели огромные светло-голубые глаза, глаза совы при дневном освещении. Это был фантастический гном.* Говорил он тихим голосом для избранной группы учеников. Остальные занимались, чем хотели. Камчатка пела хором:

Черкунов, Черкунов
Ходит дома без штанов
А на улице зато
Одевает он пальто.

(15, 84).

**Мемуары Н. Андиферова писались в 1945—1950 гг., позже образ учителя-чудака воспроизвел в автобиографической повести другой его ученик — К. Паустовский. Образы обоих мемуаристов схожи меж собою: у первого он напоминает гнома, у другого доброго сказочника; живущего в мире прекрасных иллюзий.*

/Из записок ученика Первой гимназии/

Май. Сегодня нас распустили на каникулы. Не успели нам выдать аттестации, как мы шумной толпой высыпали из гимназии. Все спешили домой. Я шел быстро. Незаметно подхожу к домику Николая Трофимовича Черкунова, нашего любимого учителя географии. «Зайду, — думаю, — проститься: завтра еду в деревню». Звоню. — «Дома Николай Трофимович?» — «Дома, дома», — раздается ласковый голос из другой комнаты. Николай Трофимович очень обрадовался; у него можно было всегда видеть учеников, которым он показывал свои коллекции и занимал их разными играми. Он очень любил детей и готов был проводить с ними целые дни. Николай Трофимович показал мне новых тропических бабочек с острова Явы, Борнео и других жарких стран. Все стены музея были увешаны географическими картами. В витринах виднелись изящные японские и китайские вежди из слоновой кости, модели разных животных, иностранные монеты, коллекции камней, яиц, птичьих чучела и другие редкости. Я с особенным вниманием слушал рассказы Николая Трофимовича о его дальних путешествиях. «Теперь сыграем в шашки», — сказал мне Николай Трофимович, и мы начали играть. Первый раз я выиграл, второй — проиграл, а затем опять несколько раз выиграл. С каждым новым выигрышем откладывалось в мою сторону несколько конфет. Собираюсь домой, прощаюсь с Николаем Трофимовичем и выхожу на улицу. Не успел я пройти и нескольких шагов, как служитель догнал меня и попросил вернуться. «Вы выигрыш забыли», — сказал мне

Николай Трофимович. Не взять выигрыша, значило обидеть старого учителя и я, краснея и стесняясь, забрал конфеты. Удивительно ласков и приветлив был всегда Николай Трофимович ко всем.

(239, 67–68).

Географию преподавал в мое время Н.Т. Черкунов. Он прекрасно знал свой предмет, и не только книжно, но и по собственному опыту, изъездив чуть ли не весь земной шар, так что имел возможность воочию видеть и изучить нашу землю с ее обитателями.

Каждое почти лето Николай Трофимович предпринимал далекое путешествие в чужие края с научной целью изучения дальних стран. Из своих многочисленных путешествий он привозил коллекции насекомых, минералов, редкие экземпляры птиц и т. п. Он составил мало-помалу настоящий естественно-исторический музей, заполнявший всю его квартиру, которую он занимал в нижнем этаже гимназии, у пансионской столовой.

Две или три комнаты были заставлены столиками, на которых под стеклянными колпаками красовались редкие экземпляры природы неорганической и живой. Н.Т. был, таким образом, не только географ, но и естествовик, живо интересовавшийся всеми областями природоведения.

Мы все помним добрейшего Николая Трофимовича, постоянно окруженного своими питомцами, которые заменяли ему собственных детей, которых у него не было, так как он оставался всю жизнь неженат, а жила при нем только старушка-мать. Н.Т. особенно близко был к пансионерам, среди которых у него были свои любимцы. Этих-то любителей он имел обыкновенно вечерами, после чаю, призывая к себе с небольшими группами и знакомить их с богатыми своими коллекциями. Кроме того, Н.Т. устраивал географические игры, причем он дарил удачно игравших разными лакомствами. Не раз случалось и мне бывать в заветной квартире Н.Т., заключавшей в себе столь много интересного для пытливого детского ума. Как память о Николае Трофимовиче (уже покойном) сохранились у меня две или три книжечки его учебника географии.

(398, 463–464).

Географ з мене вийшов слабій. Але вина в цьому гімназія. Хоч я мав завжди найкращі оцінки з географії, знали ми все більше загальні речі, бо учитель був властиво дуже добрий: справжній географ і великий подорожник, що об'їздив світ, зібрав у себе в хаті дуже багато дивних речей з Африки, з Азії і в цій маленькій музеї запрошував часом тих учеників, яких вважав гідними того. Розглядати музей було дуже цікаво. Але цей учитель, старенький Черкунов, був і великим дидактом. Сам він написав цікаві книжки з географії, але ми вчили її, ніби бавлячись у якусь дивну гру: великий папір — і на ньому в різних графах були написані географічні відомості. На цій таблиці ми, так би мовити, грали з ним в «лотерею». Ідея добра: зробити з науки щось цікаве і привабливе для дітей. Але знали ми через це всі небагато. Головним чином те, що він нам оповідав.

Маленький, досить повний, з великою білою бородою, він походив на гнома. Він був зовсім самотній. Тримався дуже правих поглядів. Говорячи з батьком, він дивувався і обурювався, як він міг обрати предметом своїх дослідів таку негативну тему, як гайдамаччина!*

Князь Черкунова був сумний: вийшовши вже у відставку, він поїхав до Петербурга і там помер в готелі, а обслуга довідалась про те тільки через тиждень. Ми моволі згадуємо про нього, бо серед моїх гімназійних вчителів це була чи не найоригінальніша постать, і коли не на знання географії, то на наш загальний розвиток він, безперечно, мав добрий вплив.

(462, 260).

**Отец автора мемуаров, Яков Николаевич Шульгин, напечатал в 1890 г. в ж-ле «Киевская старина» «Очерк Кошовщины».*

/Вода из реки Лимпопо/

На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой. На каждой бутылке была наклейка. На наклейках кривым старческим почерком было написано: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо», «Вода из Средиземного моря».

Бутылок было много. В них была вода из Волги, Рейна, Темзы, озера Мичиган, Мертвого моря и Амазонки. Но сколько мы не разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково желтая и скучная на вид.

Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мертвого моря. Нам хотелось знать, действительно ли она такая соленая. Но пробовать воду Черпунов не позволял.

Низенький, с длинной, почти до колен, серой бородой и узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и прозвище у него было «Черномор».

Черпунов всегда притаскивал на уроки всякие редкости. Больше всего он любил приносить бутылки с водой. Он рассказывал нам, как сам набирал нильскую воду около Каира.

— Смотрите, — он взбалтывал бутылку, — сколько в ней ила. Нильский ил богаче алмазов. На нем расцветала культура Египта. Марковский, объясни классу, что такое культура.

Марковский вставал и говорил, что культура — это выращивание хлебных злаков, изюма и риса.

— Глупо, но похоже на правду! — замечал Черпунов и начинал показывать нам разные бутылки. Он очень гордился водой из реки Лимпопо. Ее прислал Черпунову в подарок бывший его ученик /.../

Черпунов вскоре умер /.../ Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, говоря нам о плодотворной силе воображения, неожиданно спросил:

— Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей?

— Ну, как же! — отвечали мы. — Великолепно помним.

— Так вот, могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водопроводная вода. Вы спросите, зачем Черпунов вас обманывал? Он справедливо полагал, что таким путем дает толчок развитию вашего воображения. Черпунов очень ценил его. Несколько раз он упоминал при мне, что человек отличается от животного способностью к воображению.

(304, 86, 94).

СТУДЕНТЫ

В это бибиковское время студенческая форма соблюдалась строжайшим образом. За расстегнутый крючок, за незастегнутую пуговицу иногда исключали из университета, казеннокоштных медиков отдавали в фельдшера, а словесников — в учителя приходских школ. В праздничные и табельные дни мы должны были быть в мундире, при треуголке и шпаге.

Я помню, как однажды Григорий Матвеевич Цехановецкий в храмовый праздник Михайловского монастыря пошел в церковь в студенческой шинели, под которой было статское платье. Зоркий глаз /инспектора/ Гальберга подметил это ужасное преступление, и нашего милого Цехановецкого педели вывели из церкви, отвезли в полицию, откуда, по увольнении из университета, с жандармами отправили в Нежин.

Два случая со мной пополняют эту иллюстрацию.

В начале мая мой отец выслал за мной лошадей, на которых я собрался ука-
зывать в Голыцы. Счастливый и довольный, в студенческой фуражке набекрень и в длинных волосах, с которыми не хотелось расставаться ради лохвицких бары-
шень, я отправился на прогулку в чудный городской сад, по главным аллеям ко-
торого прогуливался с киевскими красавицами, до которых был большой охот-
ник наш грозный попечитель*. Педель** донес инспектору о моем непристой-
ном поступке: меня на несколько суток посадили в карцер, где привели мою ше-
велюру в надлежащий вид и снабдили казенной фуражкой, тщето просил я о
помиловании, указывая на то, что мои лошади стоят без фуража, а кучер — без
провизии /.../

А вот и другой случай.

Светлый праздник — чудесное весеннее время; захотелось посмотреть на народ-
ное гулянье. В мундире и при шпаге — неудобно. Дай-ка надену одну треуголку,
шинель прикроет студенческий сюртук***. Так я и сделал. Но скоро попался, и
несколько праздничных дней просидел в карцере.

Таковы были нравы и обычаи доброго старого студенческого времени: свежо пре-
дание, а верится с трудом.

(351, 174–175).

*Т. е. генерал-губернатор Бибиков, занимавший должность попечителя Ки-
евского учебного округа с 1848 года.

**Педель — помощник инспектора.

***Своеволие студента заключалось в том, что вместо положенного для
праздничных дней мундира он надел сюртук (пиджак) и отказался от па-
рдной студенческой шпаги.

Надзор за своекоштными студентами* был очень строг и проникал в их жилище, наблюдая за образом жизни, за родом занятий. Один /инспектор/ Тальберг чего стоил, а ему помогали в надзоре за бытом своекоштных студентов четыре помощника — Савицкий, князь Баратов, Отшинский, Герасимов и целая компания педелей, между которыми мы особенно боялись Семена Прилуцкого — правая рука Тальберга — от которого ничто не могло укрыться, а он насквозь видел все, что делали студенты.

Домик его был на Васильковской улице, недалеко от Троицкой церкви; а мы однажды играли на бильярде на пиво в гостинице «Франкфурт», в отдаленной части Крешатики. Ну, как было видеть нас отдаленному глазу Прилуцкого? Однако же он видел и на другой день донес Тальбергу, и мы с головами, больными от пива, переселились в карцер.

(351, 175).

** До Крымской войны студенты разделялись на своекоштных (живущих на свой счет) и казеннокоштных, обучавшихся за счет государства и бравших на себя обязательство проработать положенный срок там, куда поилот их по распределению (в провинциальных училищах, гимназиях или врачебных в армейских госпиталях).*

/Арест словарей/

В конце светлого праздника Пасхи, в апреле 1847 г., разразилась над его /Костомарова/ бедною головою гроза. Костомаров и преподаватель рисования в университете Шевченко внезапно были арестованы и внезапно отправлены в Петербург. Увезены также и некоторые студенты словесного факультета, в том числе из более известных в последующее время студенты 4-го курса Посяда и Маркевич. Никто из нас не знал, какая причина такого ужасного несчастья с любимым нашим профессором, у которого мы собирались присутствовать на венчании, так как в городе ходил слух о его женитбе. Рассказывали всякие небылицы, но никто не знал настоящей правды. Переполюх был общий и постоянно поддерживался обысками у студентов. Усердие тогдашних суб-инспекторов не знало меры, а один даже до того отличился, что отобрал при обыске у одного студента все его книги и в том числе лексиконы; и все это представил на благоусмотрение начальства. Говорили, однако, что начальство не похвалило такого усердия не по разуму и велело возвратить книги по принадлежности.

(10, 577).

/Попечительская облава на студентов/

Наш попечитель Траскин переведен губернатором в Харьков, а на его место назначен киевский генерал-губернатор Бибииков — гроза того времени. Он был облачен званием попечителя, оставаясь в то же время генерал-губернатором. Вскоре по вступлении в должность попечителя Бибииков собрал нас в парадной университетской зале и объявил, что переполнение университета людьми «разных сословиев» вредно, и что правительство решило со-



Курсистка на Золотоворотской улице, где находилось медицинское отделение Высших женских курсов.

кратить число студентов. С этой целью назначен был комплект для всех факультетов, кроме медицинского, всего в 300 человек/.../ Нам объявили, что в университете могут оставаться только те, которые в точности и беспрекословно подчиняются правилам.

Начались исключения из университета

та за незастегнутую пуговицу и за всякое несоблюдение формы. Десятки студентов, преимущественно «фруксов» (новичков) были удалены из университета. Процесс увольнения был крайне прост. Стоило только Бибикову, гуляя на Крещатике, встретить студента не в порядке, и дело было кончено. Попечитель спрашивал, как фамилия, и велел идти к инспектору получить свои документы.

Встречались и курьезы вроде следующего. Бибиков, гуляя в Царском саду, заметил издали двух студентов, расстегнутых, и начал звать их к себе, но студенты предпочли обратиться в бегство. Сад был окружен городовыми. Несмотря на то, студенты, переодевшись в костюмы рабочих, живших в саду, благополучно выбрались из засады. Так и не разыскали преступников.

(10/А, 98).

На самые безнравственные и крупные шалости, буйства и кутежи Бибиков смотрел сквозь пальцы и наказывал снисходительно общим всему университету предостережением на словах, выговором на словах виновных и редко карцером. Но несоблюдение формы, дисциплины, чинопочитания наказывалось жесточайшим образом.

Так, ограничилось наказание выговором за уголовный и варварский поступок шести студентов. Все они вели роман с молодой и красивой, но очень бедной чиновницей, муж которой получал, кажется, пять рублей в месяц жалования. Два человека у нее столовались и квартировали, другие четыре приходили к товарищам распивать чай и кутить. Кутила с ними и чиновница, а по праздникам и муж ее. Вдруг студенты узнали, что чиновница приглашается другими аристократами-студентами в номера и ходит туда для заработка. И что важнее всего — осмивает их перед аристократами, называя их беспятниками. Они, заняв соседний номер, сквозь просверленную дырку лично удостоверились в преступности и измене чиновницы. Не долго думая, на следующий день за вечерним чаем они подняли ей юбки и рубашу и обнаженным седалищем поместили на трубу самовара, у нее оказались опаленными некоторые части тела, и она несколько месяцев прохворала.

Студенты обязаны /были/ на свой счет ее вылечить и подверглись одному только выговору.

(379, 189).

/.../ Общий, господствующий тон в среде /студентов/ юристов отличался тривиальностью и грубостью, напоминавшей собой скорее бурсу, чем университет. Не странно ли, например, было слышать раздававшиеся из конца в конец по институтским залам, из уст в уста дикие уличные клички, которыми юристы наделяли друг друга: *бык, кнур, бугай, поросенок, муха, куцый, козлик, Танька* (имя известной в то время проститутки), *гадюка* и т. п. Несмотря однако ж, на всю свою грубость, клички очень метко попадали в цель /.../ (429, 208).

Особенно торжественно производился /в университете/ экзамен из богословия, назначавшийся прежде всех других. На экзамене этом нередко председательствовал сам митрополит Филарет — низянский и дряхлый старичок — присутствовал всегда епископ Антоний, автор догматического богословия, которое мы порядочно вызубривали, а иногда бывал и инспектор студентов. Мы иногда довольно высокомерно относились к присутствующим чинам церкви, позволяя себе давать иронические ответы на их ортодоксальные вопросы.

Так, однажды казеннокоптный филолог, — имени его не помню, но помню, что он прекрасно играл на скрипке, — на вопрос Антония: «Что значит имя Ной?» отвечал: «Да я вашей халдейщины не знаю».

Помнится, за это /инспектор/ Тальберг отправил его в карцер. (351, 171).

/О студенческих беседах, застольях, компаниях/

Шекотливых вопросов в этих беседах не затрагивали. В них молодые, пытливые головы обсуживали наиболее интересные для них вопросы науки, личность своих профессоров, своих нравонаблюдателей. Газет и журналов читали тогда мало, и потому о политических и социальных вопросах вовсе не рассуждали. Часто горячие споры сменялись шутками, смехом и школьными выходками. Старые студенты нередко и теперь с улыбкою припоминают, как в этих собраниях один студент читал, подражая голосу и манерам профессора, лекцию, которая начиналась словами: «Господа, в поле дуб стоит, а под дубом казак сидит; — он про степь и казацкую долю поет...».

Помнят также одушевленную лекцию о римских банях, прочитанную другим студентом /.../ Читалась в этих собраниях поэма о подвигах одного из нравонаблюдателей, написанная гомерическими гекзаметрами. (460, 199–200).

Одному окончившему курс семинарии во время самых экзаменов представился самый благоприятный случай занять хороший приход, предоставленный за девушкой, священнической сиротой. Для этого нужно было семинаристу заблаговременно обручиться с невестой.

Отложить обручение на после экзаменов опасно; могли найтись охотники и отбить у него завидную пару. Бросить же экзамены и ехать к невесте, конечно, невозможно.

В таких критических обстоятельствах бедняк-семинарист, не видя иного исхода, обратился с просьбой к великодушному Семеничу* быть его заместителем при об-



Богоявленский монастырь на Подоле с так называемым «новым корпусом» Киевской духовной академии.

ручении. Семеныч без вышних рассуждений согласился; отправился к чужой невесте, объяснил ей затруднительное положение, в котором находился ее жених; побил с нею поклоны, подарив ей первый поцелуй жениха, и привез обрадованному жениху обручальное кольцо.

Современному читателю такое обстоятельство, как обручение с подставным лицом, пожалуй, может показаться неправдоподобным. Какая девушка согласилась бы на такое дело?

Если на свадьбах за отсутствием настоящих родителей фигурируют «посаженные», то почему не допустить, чтобы за отсутствием настоящего жениха при обручении фигурировал подставной. В нынешнее время, правда, такие вещи не практикуются более. Теперь иные времена и иные нравы.

(332, 215—216).

**Помощник эконома, известный в городе комиссар духовной академии Александр Семенович Дорогановский.*

/Студенты-вредители/

Печально закончилась 1847 г. Киев посетил страшная гостья — холера. Смертность была ужасная /.../ Каждый день приносил тысячи жертв. Рассказывали, что по Васильковской улице почти непрерывно тянулись погребальные процессии. Студенты и все учащиеся в учебных заведениях были отпущены по домам. Мы однако, казеннокоштные, все остались в Киеве и, можно сказать, несмотря на страхи, которые доносились до нас в виде слухов из города, не унывали. Удивительное дело молодость! Сидя в своих камерах,



Старый («учебный») корпус Киевской духовной академии после перестройки в конце 1860-х гг. Фото 1979 г.

мы проводили время довольно весело, в шутках и в диспутах, словно не случилось ничего особенного. Выходили в город очень редко, а по ночам даже не пытались путешествовать, так как в простом народе распространялись нелепые слухи, вышедшие, по всей видимости, из какого-либо кабака, до того распространились, что по тропинке из обсерватории, шедшей по широкому валу, где ныне Подвальная улица, было не совсем безопасно ходить ночью, не рискуя подвергнуться нападению каких-нибудь гуляк.

В декабре все уже утихло, и киевская жизнь вошла в обычную колею, а мы, прогулявши почти два месяца, приступили к полугодичному экзамену.

(10/А, 96).

Время нашего новоселья как раз совпало с открытием медицинского факультета. На первом этаже устроен был анатомический театр в круглой зале под костелом, а человеческие трупы для секций сохранялись в подвале. Стало быть, кроме сырости, порча воздуха, которым нам приходилось дышать, еще усилились от разложения трупов. А простодушные жители Подола распускали слух, что студенты режут по ночам людей и прячут в университетских подземельях. Подвалы в их воображении представлялись какими-то пещерами, о каких говорится в сказках о разбойниках-людоедах.

Жители же прилегающего к университету квартала — «Нового строения» — несколько смягчали такой чересчур строгий приговор подолян сынам Эскулапа, утверждая, что студенты режут не людей, а жидов.

Распространению такой нелепости весьма много способствовало изолированное положение университетского здания, вокруг которого в то время на большое расстояние не было никакого жилья. Так что в темные осенние ночи небезопасно было проходить запоздалому студенту, хотя и вооруженному, совершенно впрочем безвредной шпажонкой. Были случаи грабежа, и раз чуть не случилось убийство, жертвою которого едва не сделали те же самые медики, которых подозревали в каннибальских наклонностях.

(434, 508).

Когда мы /летом 1885 г./ рассматривали пышную структуру Печерской колокольни к нам незаметно подошла какая-то по-мещански одетая русская женщина*. Она поняла, что мы путешественники и стала непрошено рассказывать нам про колокольню, какой с нее красивый вид. Но чтобы взобраться наверх, сказала она, нужно иметь, билет от коменданта крепости и архимандрита Лавры. Мы спросили — почему, а наш непрошенный чичероне ответил, что какие-то студенты (все подозрительные люди, конечно же, студенты!) как-то поднялись на колокольню и начали оттуда рисовать крепости и прочее.

(29, 261).

*В оригинале — «кацапка».

/Студенты и театр/ (начало 1840-х гг.)

А театр с очаровательной актрисой, дочерью антрепренера Рыкановского! Сколько наслаждения доставлял он нетребова-

тельному вкусу нашему. А «ученица славной Тальони», легкая, как Сильфида, танцовщица Адель, со своей очаровательной «лезгинкой»! /.../ И как мы волновались и шумели, когда от начальства вышел приказ не ходить студентам в «рай»*. Где же нам, беднякам, с четвертаком в кармане, восседать в креслах рядом с аристократией? Но несмотря на такое воспрещение и угрозы полковника**, мы и тут ухитрялись надуть соглядатаев: в институте*** имелось несколько партикулярных шинелей; подымеешь воротник выше ушей, да еще и щеку подвяжешь белым платком — и никакой фискал-педель тебя не узнает, никакая гончая собака-Гудима**** не нанохает; а если каким-нибудь образом и узнают — невелика беда посидеть несколько часов в карцере.

(434, 511).

*«Рай» — раек, галерка в театре.

**Инспектор университета полковник в отставке М.К. Сызучев.

***Имеется в виду Педагогический институт при университете, в котором учились казеннокоштные студенты.

****Гудима — один из помощников инспектора университета.

/Благочестива фікція/

Духовні студенти /академі/ — священники та ченці, що жили в інтернаті ізолювано од інших студентів, на верхньому поверсі, поруч з студентськими дортуарами, — акуратно відвідували церковну службу і навіть по черзі брали участь в тій службі. Решта студентів теж обов'язана була ходити до Бразької церкви. Тут для цього було з правого боку огорожено місце, але студенти виконували свій обов'язок недбало. Щоб не дратувати старенького ректора єпископа Сильвестра, що був майже сліпий, спеціально для цього улажували студенти таку фікцію. Коли він на всенощній службі ходив кругом по церкві кадити і переходив через студентську загороду, присутні студенти ставали по його шляху шпалерами, і старенький єпископ дуже тишився з пильності студентів до дому Божого, бо бачив лише ближчі постаті та не добавав порожнього місця за ними. Це спосіб остільки став побутовим явищем, що виконувало його кожного разу автоматично, без попередньої умови та без найменшого глуму.

(244, 110—111).

Наклонностью к пьянству и буйству отличались также и /семинарские/ певчие, а особенно басы митрополичьего хора, из коих ученик богословия Константин Троцкий, пришедший однажды в класс в пьяном виде, повстречался в коридоре с /ректором/ Иеремией /Соловьевым/, наговорил ему грубостей с угрозами, за что ректор приказал связать его служителям и снести в карцер.

Дорогой он во всю глотку ревел ирмос: «безумное веление злочестивого мучителя люди поколеба».

(330, 191).

УЧЕНИКИ

С каждого поступающего в гимназию пансионера /в 1840—1850-х гг./ вималась большая серебряная и маленькая чайная ложка и дюжина салфеток для стола.

Большая часть учащихся в 1-м пансионе должна была иметь крепостного человека, с неперменным условием, чтобы он знал какое-либо ремесло, был столяр, токарь, слесарь, портной и т. п. Приблизительно то же самое вималось во 2-м и 3-м пансионе; хотя и не у каждого ученика было по крепостному человеку-ремесленнику (были и такие, которые приезжали без таких крепостных людей), но количество всех пансионеров было больше 300 человек. Администрация пансионеров имела в виду из всего числа крепостных образовывать рабочие дворы, которые были бы поселены в обширном дворе 1-й гимназии и занимались бы ремонтом всего, что было необходимо для пансионеров и самого здания гимназии. Им платили умеренную плату для взноса оброчных статей помещикам.

(352, 236—238).

Воспитанники /пансиона/ должны были вставать в 5 1/2 часов, и дядьки при этом ходили и звонили в большой колокол. /Надзиратели/ Демар и Мессонье приходили очень рано, стаскивали одеяла и кричали:

— Малыш-красавица, тру-ту-ту, вставайте!

Некоторые из учеников бросали в них сапогами, но они не обижались на это. Мессонье останавливался перед теми, которые спали крепко, и говорил речь на французском языке, в которой говорилось, что «спать крепко хотя и приятно, но надо вставать. Посмотрите на меня, какой я аккуратный» и т. д.

На это ему отвечали:

— Пошел к черту!

Он не понимал и спрашивал:

— Qu'est-ce, que c'est шпорты? Je ne comprend pas*.

(352, 238).

*— Что такое, к черту? Не понимаю (франц.).

/Хоры зубрежников/

Пятый надзиратель был поляк — Жи-линский*, самый ненавистный, иезуитоподобный, всех оскорблявший и с презрением относившийся к русским, причем, однако, и ему тоже доставалось от нас; он ходил всегда в изящном парике, и на этом-то парике все нами вымещалось.

Каждый класс пансиона имел большую комнату; лампы в то время наливались подсолнечным маслом, которое по вечерам очень тухло горело, хорошо поевшие /гимназисты/ любили подремать над книгами. Жилинский же подходил к нам со связкой ключей и бил нас ими по затылку.

Приготовление уроков на следующий день требовалось всегда громкое, и Боже сохрани, кто молчит; при таком порядке мы всегда плутовали: так как французы /надзиратели/ не знали русского языка, то мы иногда повторяли все одни и те же слова громким голосом, например, из географии Ободовского: «О климате Европы, о климате вообще, о климате Европы, о климате вообще, о климате Европы, о климате вообще...» с различной интонацией, пять и шесть раз, а сами в это время делали папиросы.

Ученики разнообразили свое приготовление уроков разными шалостями. Иные ученики так увлекались своими уроками, что не замечали, что вокруг них делается, а другие в это время обкладывали их бумагой и зажигали ее, так что загорались штаны, и когда они чувствовали это, то бежали с громким криком к надзирателю жаловаться. (352, 538).



**Гиларий Никодимович Жилинский происходил из дворян Киевской губернии. Православный. Окончил Каневское уездное дворянское училище (1832). Комнатный надзиратель 1-го благородного пансиона Первой киевской гимназии с 1844 по 1871 г. Преподавал также арифметику в училище графини Левашовой (1863—1869).*

/Жестокие нравы Первой гимназии/

Наступил долгожданный день. Инспектор, преподаватель математики Чирьев (прозвище — «Куб»), ввел меня в мой класс*. Впечатления были так сильны, что я до сих пор могу разместить по партам всех 48 учеников 5 класса 2-го отделения** /.../

Физноомия класса мне не понравилась. Лица казались грубыми и ординарными. Меня посадили на единственное свободное место на последней парте в углу, «на камчатке». Товарищи насмешливо поглядывали на меня, но бить не били. В этой толпе я чувствовал себя безнадежно одиноким.

Я зашел в класс Мити (он поступил в 6-й).*** На меня набросились парни, подняли и, зацепив поясом за гвоздь, повесили на стене рядом с грифельной доской. Пояс растегнулся, и я упал при общем хохоте. Митя меня не смог защитить.

Впечатление первых дней были очень тягостны. Меня потрясала площадная брань

моих товарищей, брань, которую я едва понимал, но то, что я понимал, вызывало во мне непреодолимое отвращение. Сальные анекдоты, рассказы о распутных похождениях, — все это было так ново и так ужасно.

Прошло много времени, прежде чем я понял, что все это может как-то странно уживаться не только с возбужденными умственными интересами, но и с относительной нравственной чистотой.

(15, 83).

**Автор воспоминаний, Н. Анциферов, поступил в гимназию в 1904 г. сразу в 5 класс. Ему было 15 лет. До этого он учился у домашних учителей и каждый год сдавал экзамены в Первой гимназии экстерном.*

***Второе отделение 5 класса теперь называется просто 5-Б классом. В наше современное понятие о норме с трудом укладываются 48 учеников в одном классе. В те времена это никого не смущало.*

****Митя Наващин — сын знаменитого профессора-ботаника — также учился сначала у домашних учителей вместе с Н. Анциферовым и детьми проф. А.Ф. Фортунатова. Человек загадочной судьбы. Перед Первой мировой войной составил себе огромное состояние на финансовых операциях в Сибири. В 1920-х гг. служил в советском торгпредстве, стал «невозвращенцем». Возможно, служил в советской разведке и погиб в Париже при загадочных обстоятельствах.*

В наше время* часто говорят об ужасном упадке дисциплины в школах. Когда я вспоминаю дисциплину в своей /Первой киевской/ гимназии, я должен сказать, что сомневаюсь, была ли она тогда лучше современной. На уроке математики (преподавал Варсонофий Николаевич Иванов) совершенно невозможно было следить за объяснениями.

Помню, как учитель толковал нам задачу о курьерах, отправленных: один из С.-Петербурга в Москву, другой в обратном направлении. И вот класс под дирижерское маханье рукой удалого В. Бурчинского хором шептал: «Курьеры, курьеры, курьеры!», пока дирижер не вскочил на парту и не закричал при дружном хохоте класса: «Тридцать тысяч одних курьеров!»

Однажды тот же Бурчинский, сопровождаемый аплодисментами товарищей, вышел на спину того же Варсонофия Николаевича. Такое же бесчинство творилось и на уроках физики Извекова, у которого постоянно, ко всеобщему удивлению, не удавались опыты.

(15, 95).

**Мемуары писались в основном в 1945—1950 годах.*

/Знакомство с «хульным бесом»/

В Мотовиловке* как-то вечером я гулял с Сашей Поповым. У него завязалась ссора с мальчишками. И я ясно услышал, как один из них пригрозил ему, что он побьет его мать. Эта угроза показалась мне чудовищной. Бледный, с дрожащим голосом я обратился к Саше:

— Ты слышишь, этот скверный мальчишка грозит побить твою мать.

Саша был смущен и ничего мне не сказал, а к моему удивлению только махнул рукой /.../

Вскоре, однако, я услышал эту брань отчетливее и понял, что речь идет не о битье, а о чем-то постыдном. Но о чем? Не о той ли тайне, которая связана с рождением человека? Теория аиста меня уже не удовлетворяла. Я задумался над словом «целомудрие», встречавшимся в романах. Посмотрел в словаре Брокгауза и Ефрона, в котором привык искать ответы на возникавшие вопросы. В найденной статье мне попался новый термин — «рас-тление», и я шел от термина к термину и начал догадываться...

Разгадка потрясла меня. Разоблаченная тайна глубоко оскорбила во мне достоинство человека и на всю жизнь бросила тень. Помрачился мой идеал брака /.../

Так закончилось мое отрочество в нашей чистой, уютной и нарядной квартирке в Десятинном переулке,** в окружении книг, птиц, монет, рыцарей.*** (15, 84).

*В те времена — дачный поселок под Киевом.

**Н. Анциферов жил с матерью-вдовой в последнем доме на правой стороне переулка над самыми ярами.

***Малолетние приятели Н. Анциферова играли с вырезанными из бумаги фигурами рыцарей.

/«Хульный бес» в Первой гимназии/

Площадная брань и сальные анекдоты были /в 1 гимназии/ не всем по душе. Первый ученик Анатолий Жмакин, самый сильный в классе, застенчивый добряк, не блиставший ни умом, ни талантом, трудолюбивый и скромный, всем помогавший, так же, как и я, ненавидел «хульного беса», дарившего в классе. Эту черту знали товарищи и мучили Жмакина всякой похабщиной, как Алешу Карамазова, доводили его до ярости и тогда рассыпались во все стороны, боясь его могучих кулаков.

Первые месяцы моего пребывания в гимназии были отравлены «хульным бесом». Особенно ужасало меня то, что такие гимназисты, как Вышомирский, исключительно начитанный, с острым умом, с большими способностями, не отставал от других в сквернословии и сальных разговорах.

Я как-то высказал ему свое удивление.



Гимназист в трактире

— А что же тут плохого, Анциферов? Раз эти вещи существуют, их нужно называть так, как они называются.

Я тогда, сознавая всю правоту своего протеста, не нашелся ему возразить, не знал еще, что вещи окрашиваются отношением к ним, и не только окрашиваются, но и меняют свою сущность. И популярная у нас брань и все связанные с нею слова относятся к безлюбивому общению полов, относятся не к миру Эроса, а к миру Приапа, а этот мир потребовал особой терминологии.
(15, 85–86).

/Спасительный мат/

Погром /1905 года/ длился несколько дней. К нам заходил сосед по дому (знакомый еще по Умани) Михаил Фаворов.* Он рассказал, что громилы приняли его за еврея (он был смугл и черноволос) и хотели избить. Его спасла матерная брань: «Ну, нет, это не жид, это наш!» — ругали громилы и оставили его в покое.

Не очень лестный вывод для русского человека.
(15, 103).

* Возможно, сын священника, крестившего автора мемуаров.

/«Научная» ругань гимназистов/

В Мотовиловке Саша /Попов/ и я держались обособленно от дачников, наших сверстников. Здесь были дети профессора Флоринского /.../ — лощеные франты, презрительно поглядывавшие на нас. И вся их компания нарядных девиц и благовоспитанных кавалеров была нам весьма антипатична. Мы называли их «аристократами» и обменивались руганью, с употреблением латинских слов *sus** и *stultus***, которые тогда звучали для нас очень свежо.
(15, 60).

*Свинья (лат.).

** Дурак (лат.).

Один взрослый ученик седьмого класса киевской гимназии по фамилии Шварц (сын зубного врача Адама Шварца и брат известного в Киеве акушера Александра Адамовича Шварца) не стерпел придиричivosti учителя и ударил его при всем классе. За это Бибинов велел его высечь перед собранием всех учеников 2-й гимназии, и приказание это было исполнено через солдат, и притом так, что молодой человек лишился чувств (помнится, ему дали 200 ударов), а потом он был забрит в солдаты и послан в отдаленную местность, где и находился очень долго.
(232, 193).

Пребывание в четвертой камере* особенно памятно по следующему происшествию: окна этой камеры были как раз напро-

тив Второй гимназии, которая тогда /в 1853 г. / помещалась в здании нынешнего военно-окружного суда.** И из этих окон, поэтому, хорошо можно было разглядеть, что совершалось во дворе этой гимназии, а разыгрывалась там сцена, которой я и теперь не могу забыть.

Ученик одного из средних классов, Шварц, сын известного киевского дантиста, оскорбил действием учителя немецкого языка. Постановлено было подвергнуть его жестокой каре — чуть ли не сквозь строй прогнать. В гимназию явился Юзефович, собраны были все ученики, чуть ли не целый взвод солдат, и Шварца подвергли жесточайшему телесному наказанию, после которого он был отдан в солдаты. Такие сцены никогда не забываются: они наносят молодой душе такую глубокую рану, что рубец остается на всю жизнь.

(349, 633).



Сон во время занятий

*Четвертой комнате отделения казеннокоштных студентов на 4 этаже университета.

**Теперь Дом технической информации на углу бульвара Шевченко и Владимирской.

Розга, вообще, в глазах гимназистов не считалась тогда позором. В нашем классе были «старики», не учившие никогда уроков, ежедневно получавшие единицы, грубившие учителям и почти каждую субботу подвергавшиеся порке, да еще в усиленной пропорции. При этом они не издавали ни одного крика и возвращались после экзекуции в класс с победоносным видом. Мы, малыши, побаивались их и смотрели на них с почтением, как на героев. (423, 26—27).

Тогда /в 1840—1850-х гг. / не запрещалось сидеть более двух лет в одном классе. Когда я поступил в первый класс /Второй гимназии/, я застал там братьев Алексеевых. Это были рослые ребята. Старший уже несколько лет брил бороду. Вероятно, они просидели лет по шесть в этом классе. В следующих низших классах тоже довольно было таких, которым жениться пора.

Эти господа никогда не учили уроков, не выполняли письменных работ и с презрением смотрели, как учитель ставил им в журнал единицы и нули. Очевидно, они хотели доказать и родителям и начальству полную бесполезность своего пребывания в гимназии. Надоели им и гимназические стеснения, и порка, которой они под-

вергались почти каждую субботу, и они рвались на волю. В своей скучной праздности они только и занимались измышлением разных пакостей против учителей и гимназического начальства. А за ними тянулись и малыши, частью из озорства, а главным образом из боязни перед этими «героями», от которых нередко получали порядочные трепки.

Как я уже упоминал, с грозным учителем Ковалевским проделали в первом классе такую гадость: к дверным косякам вершка на два от пола прибили небольшие гвозди и между ними протянули крепкую бечевку. Ковалевский, входя в класс, зацепился и грохнулся на пол. Поднявшись с окровавленным лицом, он вышел, угрожая нам жестокой карой. Но один из героев подбежал к двери, быстро вырвал гвозди, снял бечевку и эти следы преступления выбросил в окно. Минуты через три явилось начальство, начались грозные допросы, но на все был один ответ: господин учитель упал, потому что поскользнулся. Так мы и избавились от всякой кары. А главная цель была достигнута: урока не было.

Иногда для достижения этой же цели зимой на горячую печку бросали перед уроком что-нибудь жирное. По классу разносился невыносимый утар. Учитель, войдя в класс, спешил выйти. Наши головы трещали, и мы тоже бежали за ним. Цельный час шло проветривание класса, а мы в это время весело бежали по двору.

Когда «немец» или «француз» входили в класс, мы всегда читали молитву, но не установленную коротенькую «Преблагий Господи...», а заводили длинное чтение псалма «Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей...» и Символ веры. Читали медленно, с умилением и усердно крестились. В этом чтении проходило около четверти часа.

(423, 30–31).

«Старики» проделывали иногда и более

крутые подвиги.

Был у нас предобродушнейший учитель Хильчевский. Ученики пронюхали, что у него есть особая странность: он не выносил вида и жужжания хрущей (майских жуков). Его и прозвали Хрущом. Приходя в класс, Хильчевский обыкновенно выдвигал ящик учительского стола и сидел, опираясь на этот ящик. Ученики принесли в платках кучи хрущей и перед уроком наполнили ими ящик. Отодвинув ящик, Хильчевский вскакивал совершенно бледный и приказывал скорее выкинуть из окна ненавистных ему насекомых. Возня эта происходила долго, и часть урока пропадала, — «что и требовалось доказать», как говорилось у нас в конце геометрических теорем.

(423, 32).

Был ученик Бобровников, который сидел пять лет в одном классе, — его секли иногда и не по субботам. При наказаниях он подходил к Пристюку и просил: «Позвольте мне первому, а то я стою в последнем ряду, мне же некогда». Даже Пристюк махнул на него рукой. Бобровников впоследствии говорил, что если бы счесть все удары розог, полученные им в киевской Первой гимназии, и превратить их в рубли, то он был бы богатым банкиром.

(352, 541).

Ученики всеми силами старались отплатить своим мучителям за это битие. Они портили им платье. Например, шубы смазывали салом или дегтем, калоши ненавистных учителей прибывали к полу гвоздями, потом самым нежным голосом просили позволения помочь им надеть калоши; получив позволение, подводили учителя к калошам, надевали их на ноги, а калоши, прибитые к полу, не давали возможности двигаться, и учитель при первом же движении вперед падал и больно ушибался (калоши же от дырок пропадали); поднявшись, учитель схватывал половую щетку и начинал избивать ею направо и налево, правых и виноватых.

Во время ужасной гололедицы дети с притворным уважением предлагали таким учителям, например Машинскому, опереться им на плечи, чтобы проводить их по льду; учитель, подкупленный их вежливостью, опирался смело о подставленное плечо, но тут-то и происходило самое интересное: ученик как будто спотыкается, в это время дает «подножку» учителю, тот падает, разбивает колени и не приходит в гимназию недели три.

(352, 543—544).

/Гимназист-бешкетник Грицько Лисчак/

Переміщений /після вигнання з Першої гімназії за бешкетництво. — А.М./ батьком /поміщиком Лисчаком. — А.М./ на Поділ у Третю гімназію, хлопець звідтіля незабаром був вигнаний за чисто хуліганський вчинок. Квартирував він тут на Покровській вулиці в якогось викладача, що жив на першому поверсі недалеко від жіночої гімназії. І от Гриць пішов у заклад усього на пляшку пива з своїми товаришами-гімназистами, які жили напроти нього, що він виплатить з вікна і перебіжить зовсім голий через вулицю до них саме в той час, коли будуть розходитись додому гімназистки старших класів. І він виграв заклад, викликавши страшенний переполох серед бідних дівчат, які приймали його за божевільного.

Можливо, й тепер жирні «баранці» старого Лисчака зарадили б справі, коли б не вмшлася начальниця гімназії, якась впливова графиня. І на цей раз хлопця звільнили з так званим новим білетом без права вступу в будь-яку школу. Але за гроші тоді дійсно все можна було затушувати — і вочибілетний Гриць побував ще в двох приватних гімназіях, в реальній і в комерційній школах. Та звідусіль він виїздив за подібні ж витворення.

(200, 51).

Тарабарский язык

/.../Самым простым типом тарабарщины может служить приставка к словам частицы *хѣр*. Сохранился об этом следующий анекдот.

На печке сидят два школяра и учат заданный урок. Возле «лавы» на низком круглом стуле сидит отец и шьет сапоги; на стене висит ременный батиг*.

Мальчикам надоско читать: бра, гра, дра... И вот один тихонько говорит другому: — Хведоре, давай будем говорить по-німецьки, щоб батько не розібрав.

- Давай.
- Хер-Іван?
- Хер-чого?
- Хер-ходім?
- Хер-куди?
- Хер-на двір.
- Хер-за чим?
- Хер-покурить.

Отец, услышав их разговор, сказал:

— А он, хер-батіг* хер-висить.

Дети смешались:

— Є, хер-зна!

И опять принялись за зубрежку /.../

Происхождение малорусской тарабарщины нам не известно, но можно предположить, что творцами ее были «школяры», начинающие науку грамоты со старинного тарабарского букво- и слогосложения.

(279, 111—112).

*Батиг (укр.) — кнут.

/Цезарь и варенье/

Латынь, в отличие от пушкинских времен («латынь из моды вышла ныне...»), снова вошла в моду в классических гимназиях. Преподаватель латинского языка был у нас свирепый, и я, бывало, приходил к бабушке «умытый слезою».

— Что, снова латынь? Ну, садись, садись, гостем будешь.

Голос у бабушки был вроде сердитый, а глаза ласково улыбаются. Понт меня пахучим, настоящим на травах, чаем, угощает «секретным» ореховым вареньем.

— Очень полезно оно, Остап. Такое варенье даже Цезарю твоему не снилось. (241, 42).

/Гимназическая базаровщина/

А третий /знакомый/ был пансионер Огранович, тоненький, как тросточка, высокий, с почти белыми глазами, и в веснушках. От него пахло фосфором. Он увлек меня в коридор, потом в гимназический сад и сказал:

— Я тебя разовью. Тобой стоит заняться. Хочешь пососать?

Он протянул мне спичку с серной головкой.

— А зачем?

— Чтоб быть умнее. Без фосфора нет разума. Ты знаешь, что Бога нет?

По временам я знал, что Бога нет, а по временам сомневался и допускал его бытие. «Бог его знает», может быть, он и есть. Я молчал.

— Видишь ли, — продолжал Органович, — его нет, это доказано учеными. Мир произошел от тяготения друг к другу химических элементов. И на первый раз

я тебе мог бы дать прочесть «Крафт унд штюф» некоего Бюхнера*, если ты знаешь по-немецки.

Передо мной, одним словом, был Базаров, каким я сам был недавно...
(471, 63).

*Знаменитая в свое время книга немецкого вульгарного материалиста Бюхнера «Материя и сила».

У 1880-х роках українофілість було майже модою. Молодь наділа народні вбрання, говорила народною мовою, мріяла про українську газету, український журнал, український театр.

Покійний Дедков збитувався в одному своєму романі з привоуду українофілів:

«— Чому ти, Петре, не їси ковбасу? — запитують гімназиста.

— Як я можу їсти ковбасу, — відповідає той, — якщо наша Малоросія пригнічена?»
(48, 153).

/Юные святотатцы/

Нас /гимназистов/ интересовали пещеры /.../ В узких темных коридорах, вырубленных в грунте, по правой стороне, одна за другой шли гробницы с дощечками и именами святых /.../ Верующие богомолцы прикладывались к ним /мощам/, целуя кумач, и клали сверху медяки на свечи угоднику.

Вот эти-то медяки и были предметом наших вождлений. Но как украсть их? Обычно процессию паломников сопровождал какой-нибудь монах со свечой (в пещерах было темно). Люди крестились, молились, а потом нагибались и целовали мощи. Вот тут-то мы и придумали трюк. Нагнувшись к мощам и делая вид, что мы их целуем, мы набирали в рот несколько медяков, сколько он мог вместить. Отойдя в сторону, мы выплевывали деньги в руку и прятали в карман.

Брр! До сих пор не могу вспомнить без отвращения! И на что только не способны мальчишки!

Из пещер мы выходили с карманами, набитыми деньгами, и сразу закупали пирожных, папирос и очень весело проводили время.

Вот каким босячем мы были! Несколько позже монахи наконец сообразили, в чем дело. Нас, гимназистов, они вообще перестали пускать в пещеры, а уж если пускали, то следили в оба.

(63, 25).

Наступил 1905 год. Надвигалась первая революция. Молодежь была начинена динамитом. Мы собирались в кружки на квартирах товарищей, читали нелегальную литературу, разносили по рабочим кварталам листовки и прокламации, слушали зажигательные речи ораторов. В Киеве взбунтовались саперы. Мы ходили с кружками по городу, собирая для них деньги. Возле еврейского базара в толпу стреляли войска. Было много раненых и убитых.

Время было такое, что если гимназист 5 класса умирал, например, от скарлати-

ны, то вся гимназия шла за его гробом и пела: «Вы жертвою пали в борьбе роковой!» Взрослые покачивали головами и растерянно уговаривали нас «подумать», «не спешить», «беречь себя» и пр. Но, в общем, что с нами делать! Тетка моя приходила в ярость.

— Мало того, что ты босяк, выгнанный из всех гимназий, — говорила она, — так ты еще хочешь, чтобы всех нас арестовали из-за тебя?

(63, 51).

Джон Пріпс із Лондона, інакше Припаяй,
Окрасу становив гімназії тієї,
Де вчився автор строф, розкиданих у край,
Сказавши просто — я*. Усі дарунки феї
Моргани мав той Джон: в п'ятнадцять літ гультяй,
Розпусник і штукар, на все проворний злеє,
Як міг би мовити полтавський наш Марон**
Це був шекспірівський — в мініатюрі — Джон***.
Одного разу він, зайшовши до крамниці,
Де господиною товста була «мадам»,
З товаришами взявся, як той казав, різвиться,
Або — по-їхньому — «чинити тарарам»;
Був там і гімназист на прізвисько Тупиця.
На нього вгнівавшись, Джон Пріпс гукнув: «К чортам!» —
І в бочку, де були найшкірніші оселеді,
Всадив нещасного під регіт, як ведеться.
Так веселилася та «молодь золота»,
Що читачам моїм лиши в імені знайома.
Моя гімназія була, бач, не проста,
А ліберальністю й гуманністю відома,
Приватна й дорога. Отож, було, зроста
Паня чи купчення, розбещене удома,
А як навчатися йому приспіє час,
То ніжний батенько везе його до нас****.

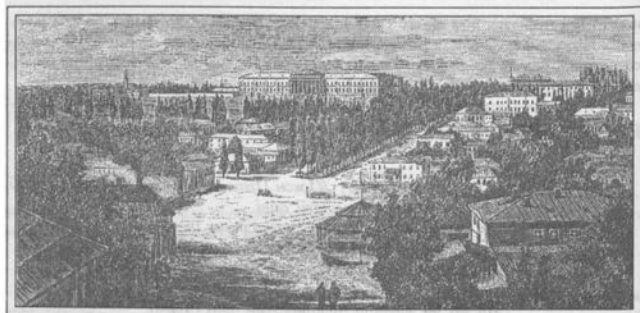
(343, 102).

*М. Рыльский учился в частной гимназии В. Науменко, куда принимали детей богатых родителей. Нравам этой «золотой молодежи» (в городе их называли «намуговцами») и посвящен приводимый нами отрывок из поэмы «Прогулка в молодость».

**Марон — Вертилий Марон; полтавский Марон — Копляревский, который говорит про Энея: «...удавсь на все зле проворный». — Прим. авт.

***Сер Джон Фальстаф — персонаж Шекспира, гуляка, развратник, обжора, гениальный вратель. — Прим. авт.

****Такую же резкую оценку дает Рыльский нравам гимназии В. Науменко и в автобиографических записках.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

**УКРАИНСКИЙ
БЫТ КИЕВА**

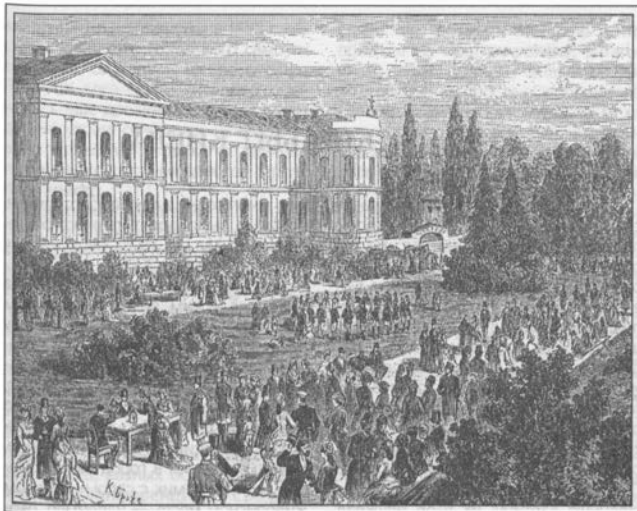


**ГРОМАДА И
УКРАИНСКИЙ
КЛУБ**

**СТАРАЯ
ГРОМАДА**
В.Б. Антонович
Н.В. Лысенко
М.П. Старицкий
М.П. Драгоманов
Я.Н. Шульгин
Е.Х. Чикаленко
В.И. Щербина

**МОЛОДАЯ
ГРОМАДА**
Н.И. Михновский

**КИЕВСКОЕ
УКРАИНСТВО**



УКРАИНСКИЙ БЫТ КИЕВА

В 1862 г. один из авторов кулишевской «Основы», рассказывая о своей поездке по Украине, отмечал, что украинцы того времени вроде бы не очень любили Киев. «Не доезжая Киева, — писал он, — по ю сторону Днепра, я встречал много селян-украинцев, которые попасали своих лошадей и волов. По моему наблюдению, их нисколько не привлекал Киев, который так величественно раскинулся по горам, прославленным историческими преданиями и поэтическими сказаниями южнорусского народа. Они даже не смотрели на эту величественную картину; их взор блуждал где-то далеко, искал степей малонаселенных, искал лесу уединенного и, казалось, с удовольствием останавливался на безлюдной местности». Автор записок считал этот странный феномен закономерным, поскольку в Киеве была одна жизнь, а вокруг него совсем другая, и, казалось, никаких точек соприкосновения между ними не существовало: «Украинец знает, что жизнь в городах — не его жизнь, — там ему не место; там его на каждом шагу ограничивают, стесняют, там ему надо извратить, изломать себя, чтобы жить. Украинец любит степь, оттого что только там для него просторно и привольно; никто там не скажет: «Здесь тебе не место!» Может быть, он уже не раз бывал в Киеве; быть может, память его полна рассказов о его чудесах, редкостях; но он знает, что

ему многого не дадут посмотреть, и, пожалуй, выпроводят из иного общественного места... Из-за чего же ему интересоваться?» (278, 39).

Для украинца середины XIX века Киев был чужим, почти заграничным городом, где жили непонятные ему люди. После продолжительной европеизации и русификации он превратился в типичный губернский центр, маленький уголок России на краю украинских степей. Сам лидер украинской оппозиции П. Кулиш, конечно, мечтал вернуться в город своей юности, купить «домик с садом» в самом живописном месте, — например, около Лавры (206, 87), но долго колебался и в конце концов купил хутор подальше от этого опасного для украинской души города. «А что касается Киева, то извини, — писал он И. Хильчевскому в 1867 г., — едва ли есть на свете город хуже! Вот хоть бы ваши газеты, да Бог с ними! Про такую гадость и вспоминать не стоит» (206, 87).

Не спешили в Киев и другие деятели украинской культуры. В 1850-х и в начале 1860-х гг. здесь не было ни одной украинской общественной организации, которая способствовала бы развитию национальной мысли. Заметными вехами в денационализации Киева стали русификация в 1817—1819 г. бывшей Киево-Могилянской академии (все преподаватели были изгнаны, а на их место присланы выпускники Петербургской духовной

академии) и ликвидация в 1835 г. системы киевского городского самоуправления, благодаря которому в начале XIX века среди киевлян сохранялись еще древние культурные традиции, украинский язык, национальный патриотизм и даже небольшое полуказацкое, полумещанское городское войско.

Разрушенная Екатериной II, Александром I и Николаем I украинская культурная среда начала тюремного возрождаться лишь с появлением киевской Громады (1859, а в других источниках — 1861 г.) — полулегальной организации молодых киевских интеллектуалов, которая стала подлинным генератором общественной жизни города второй половины XIX века. Без её участия не обходилось ни одно крупное начинание и в сфере науки, и в книгопечатании, в организации музеев, разных обществ и товариществ, конференций и съездов. Громадовцы активно писали для первой неофициальной городской газеты «Киевский телеграф» (1859—1876), способствовали успешной деятельности «Юго-Западного отдела Русского географического общества» (1873—1876) и, наконец, основали первый местный украинский журнал — «Киевскую старину» (1882—1906), который являлся неофициальным органом их организации.

Но энергия и энтузиазм самой Громады не могли заполнить того вакуума в сфере культурной жизни Киева, который образовался в результате многолетней русификаторской политики имперской власти. Безжалостно вырванная из киевской почвы украинская культурная традиция с трудом возрождалась на ней вновь. Между «европеизированным» Киевом и патриархальным, хуторянским украин-

ством того времени возникло нечто похожее на противостояние, антагонизм, и преодолеть эту тенденцию было совсем не просто. Особенно на уровне обывденной жизни, быта, межличностных отношений. Денационализированные киевляне тех лет гордились своими «европеизированными» обычаями, а ярые «украинофилы», чтобы как-то выделиться на этом фоне, выдавали себя за «простых селян». В городе их называли «галушниками». Как говорил Н. Садовский, эти галушники-патриоты «сидели целый век на печи и мерили весь национализм, свой и чужой, только горилкой, галушками и варениками, и кто больше выпьет горилки и съест галушек и вареников, тот был, на их взгляд, украинцем». И если кто-нибудь вообще отказывался пить, то слышал в ответ: «Как! Украинец и горилку не пьет?! Чудеса! Какой же ты украинец?» (356, 29). На шумных и людных улицах галушники обычно не жили и селились где-нибудь на окраине, «с краю», в живописном местечке с садиком и лужком. Во всем придерживались «селянских обычаев» и вечно ворчали на горожан, что у них «все не так, как надо».

Этот «шароварный», или, как тогда говорили, «этнографический» тип украинца можно было встретить даже в среде громадовцев. Здесь он воплотился в колоритной фигуре Василия Курлюка, отчего и само это явление среди интеллигенции именовалось «курлюковщиной». «Василь Ильич Курлюк, — писал Г. Житецкий, — был искренне убежденным украинцем, как говорят теперь, «этнографического типа или убеждения», который в своем понимании дела ограничивается лишь внешней его, презентативной, стороной. Этот Курлюк, про

которого говорили, что он никогда не умывался, не знал гребешка, и ходил всегда «в народной манере», грязный, — любил к тому же волочиться за барышнями» (115, 25). Десятки таких курлюков гуляли в те дни по Крещатику и в Царском саду, сея среди киевлян представление об украинофилах как о неисправимых чудаках или неряшливых «селоках», с которыми «нормальному» городскому человеку трудно найти общий язык. Даже либеральный и вполне благосклонный к украинофильству «Киевский телеграф» вынужден был подать на своих страницах фейлетон на «хлопоманов», терпеливо объясняя им, что патриотическая бравада вовсе не способствует популярности украинских обычаев в городе и даже компрометирует их в глазах горожан. А. Рудковский писал в 1864 г. по этому поводу так:

«Говорят, Париж, а Париж — столица мод. Да ну вас, господа, с Парижем! Что он против нашего? Да более ничего, как муха. Вспомните лишь нашу украинскую соломенную шляпу, которая не раз красовалась на Подоле, на Крещатику и по другим улицам, а потом про шаровары, сапоги, дубинки и проч. /.../ Да и мало ли преимуществ имеет наша мода перед парижской. Возьмите для примера нашего свиткомана — так прелесть что такое. А дубинкомана — еще лучше; так и кажется, что это рыцарь темных ночей. А про самогономана и говорить нечего /.../ Никто не смеет не согласиться, чтобы оказывать предпочтение своему перед иностранным. Но только всякое платье, которое надеваете вы на себя, должно бы сохранять благообразный вид, а не носить его в таком виде в городе, в каком носят его крестьяне в деревне. Поло-

жение крестьянина нельзя сравнивать с положением свиткомана, потому что первый возится с черной работой, а второй наоборот. Да и крестьяне, приезжающие в праздничные дни в город, всегда заботятся о чистоте и опрятности своего национального костюма. Между тем сделайте наблюдение над свиткоманом, в каком иногда виде он является в общество? /.../ Некоторые из них нарочно смазывали сапоги дегтем и являлись в общество, так сказать, душить дам, уверяя, что «се треба, бо так робили наші діди й прадіди» /.../ Все сочувствуют тому, что родина мила сердцу, но она мила лишь по своим хорошим видам, мыслям, по землякам, по воспоминаниям, по песням, по нраву и по быту, но ничуть по дубинам, свиткам, дегтю, тывке, сапогам, махорке и сильно выразительным глаголам» (353).

Вживание украинства в новую урбанистическую среду было процессом довольно сложным (за внешней «европеизацией» Киева стояла его упорная русификация) и противоречивым (поскольку идеология хуторянства уже отжила свой век и плохо усваивала новые идеи). Второе поколение городских украинофилов выросло в атмосфере противостояния и отчуждения. Официальные власти нередко прибегали к политике компроматации украинофильских кругов в глазах горожан. (Так, например, в середине 1870-х г. киевский полицейстер Гюббенет велел проституткам появляться на улицах только в украинских национальных костюмах). Странания официальной пропаганды приносили свои плоды, и попытки украинцев возродить свои национальные бытовые традиции многими верно-подданически настроенными киевлянами часто воспринимались насто-

женно, если не враждебно. «Мое поколение, — писала дочка М. П. Старицкого Людмила Старицкая-Черняховская, вспоминая 1880-е гг., — особое поколение: мы были первыми украинскими детьми /в Киеве/. Не теми детьми, которые вырастают в селе, в родной атмосфере стихийными украинцами, — мы были детьми городских, чьи родители впервые с пеленок воспитывали сознательными украинцами среди враждебного окружения. Таких украинских семей было немного; все другие дети, с которыми нам приходилось постоянно встречаться, были русифицированными барчуками. В то время среди русской квазиинтеллигенции Киева /.../ утвердилось недоброжелательное отношение ко всему украинскому, и особенно к самим «украинофилам»; в лучшем случае к ним относились иронично, как к «блаженным» или чудакам /.../ Мы говорили по-украински, и родители всюду обращались к нам по-украински; часто нас одевали в украинскую одежду. И, конечно, и тем и другим мы обращали на себя общее внимание, а вместе с тем и — шутки, глумление, насмешки, презрение. О, как много пришлось испытать нашим маленьким сердцам горьких обид, незабываемых... Помню, как с сестрою гуляли мы в Ботаническом саду, конечно, в украинской одежде и говорили между собой по-украински. Над нами стали смеяться, вышла гадкая сцена: дети, а заодно и такие же разумные бонны и няньки начали издеваться над нами, над нашей одеждой, над нашим «мужицким» языком. Сестра вернулась домой, заливаясь слезами /.../ Моих слез не видел никто: яростное, волчье сердце было у меня; но, помню, как ночью, когда все вокруг спали, вспо-

минала я, бывало, происшествия дня и думала, думала... И такая страшная, такая хищная ненависть ко всем угнетателям родного слова и люда поднималась в сердце, что страшно теперь и вспоминать...» (385, 47).

Тем не менее именно этому, второму, поколению «городских украинцев» суждено было пережить не только конфронтацию со старым русифицированным Киевом, но и торжество первых побед над ним. Леся Украинка, А. Крымский, А. Вербицкий, Н. Вороной, М. Жук, А. Архипенко, К. Малевич, А. Экстер и многие другие подняли украинскую культуру на новый уровень достижений, придали ей европейский блеск и звучание. В начале XX ст. в Киеве окончательно сформировались украинская историческая, этнографическая и искусствоведческая школы, возникли современные направления в литературе, живописи, архитектуре, украинская пресса представляла уже серьезную конкуренцию русской, блистательный национальный театр очаровал обе северные столицы и сам Киев. Деятели украинской культуры инициировали создание первого киевского городского музея и приступили к собиранию и изучению выдающихся памятников национального искусства. Возможно, наибольшим их достижением стало создание в Киеве в 1907 г. Украинского научного товарищества, которое основатель его, проф. М. Грушевский, считал третьей (после книжников Ярослава Мудрого и Киево-Могилянского коллегиума) Киевской академией. В «Записках» товарищества (1908—1918) сотрудничали Б. Гринченко, В. Иконников, И. Каманин, Д. Багаллий, Н. Биляшевский, А. Лазаревский, А. Лобода, Ор. Левицкий, В. Щербина и многие другие выдаю-

щиеся ученые. На бытовом уровне существования украинской культуры большую роль играл «Украинский клуб» и Троицкий народный дом Киевского товарищества грамотности, которые способствовали вращению украинства в обыденную городскую жизнь и придавали ему своеобразный национальный колорит. Именно здесь вырабатывались такие формы воспитания, отдыха и общения, которые позволяли вчерашним «украинофилам» чувствовать себя «кровными киевлянами» и сохранять свою культурную самобытность, не рядясь в свитки и шаровары.

Киев начала XX ст. уже невозможно было представить без украинских газет, театров, выставок, книг, школ, собраний, гуляний и вечеров. Киев и украинство вновь объединились. От

прежней их конфронтации мало что осталось (конечно, речь идет не об официальной сфере). Киев обновился и возродился. Теперь уже — в роли центра духовной жизни украинского народа, столицы всей Украины. «Мы, — писал в 1913 г. публицист газ. «Рада» С. Пригара, имея в виду городскую интеллигенцию, — полюбили Киев, мы обвыклись в Киеве, мы с гордостью взирали, как Киев рос на наших глазах /.../ И вот он /.../ уже третья столица. Третья, очевидно, после Петербурга и Москвы...» (317).

Здесь нет никакого преувеличения. Киев действительно стал третьим центром империи — столицей украинского народа. Позади осталась трудная дорога от губернского центра к столице страны, стоящей на пороге национального возрождения.

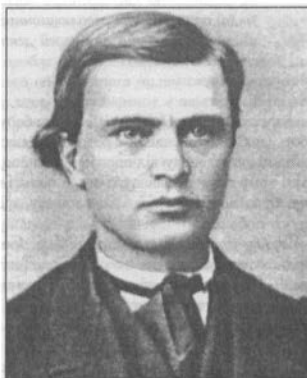


Троицкий народный дом, где помещался первый в Киеве украинский стационарный театр Н. Садовского. Фото начала XX в.

СТАРАЯ ГРОМАДА

В. Б. АНТОНОВИЧ

Владимир Бонифатьевич Антонович (1834—1908) — выдающийся украинский историк, общественный деятель. Происходил из польских дворян Киевской губернии. Окончил Одесскую вторую гимназию (1850). Учился на медицинском (1850—1855) и историко-филологическом факультетах (1855—1860) Киевского университета. Преподавал латинский язык в Первой гимназии, всеобщую историю в кадетском корпусе (1862—1863, 1864—1865). Работал в канцелярии генерал-губернатора (1863—1870), состоял главным редактором во Временной комиссии для разбора древних актов (1863—1880). В 1870 г. удостоен степени магистра русской истории и определен доцентом по кафедре русской истории в университет. Доктор русской истории и ординарный профессор с 1878 г. В 1880—1883 гг. — декан историко-филологического факультета. С 1872 г. — заведующий муноц-кабинета. Член-учредитель общества Нестора Летописца (с 1881 г. — его председатель). Член многих научных об-



ществ. Основатель так называемой киевской школы в украинской историографии. Среди его учеников и последователей были такие выдающиеся историки, как М. Грушевский, Д. Багалий, А. Андриевский, Ф. Вовк, В. Ляскоронский, И. Павловский, В. Щербина, М. Довнар-Запольский и др. Один из основателей и долгое время идейный лидер киевской Старой громады.

Наше помешкання /будинок В. Антоновича/ зробилось тоді особливо привабливим для жандармів. Тут, на думку київської адміністрації, був корінь українофільства й нігілізму. А київський генерал-губернатор Чертков* трохи пізніше, під час репресій 1881 року, прямо заявив, киваючи на наше помешкання: «Український вопрос окончится только тогда, когда я с корнем уничтожу эту хибарку (хатку) на углу Кузнечной и Жилианской улиц». Через те

постійні труси, слідкування та підкидання різних киджалів і всякої іншої січної зброї у двір до нас було звичним явищем.

Ми вже знали ці витівки жандармів і щовечора оглядали двір: коли що знаходили, підбирали й викидали геть на вулицю через паркан.

(14, 122).

**Речь идет о гонениях на украинофилов в конце царствования Александра II. Во времена его преемника внимание охранки переключилось в основном на радикально настроенную часть оппозиции. Полуплеменная киевская Громада, отвергавшая революционный путь развития, получила несколько больше возможности для своей деятельности.*

Віконниці біля вікон з вулиці також щовечора зачинялись; отож тільки-но зберуться було до батька гості чи товариші в роботі (в більшості члени Громади) й посідають щось робити, як ось починає трохи згодом помаленьку відчинятись віконниця з вулиці. Та даремно. У нас про це знали і тому завжди завішували ще вікна і в батьковій кімнаті, і вікно в другій кімнаті, що було проти дверей його кабінету, щільними занавісками, через які трудно було щось побачити.

У нас тоді була за прислугу М. С. Єгорова. Пригадую одного разу десь коло 10-ї години вечора вона як закричить: «Дивіться, дивіться, сіпака (жандар) знов заглядає!» І справді в вікні, що було якраз проти дверей батькового кабінету, я побачила погруддя з широкою фізіономією, яка, очевидно, дуже силикувалась почути батькову розмову. У нас саме тоді був і Михайло Петрович /Драгоманов/, з яким батько готував до друку «Історичні пісні».

Про це було швидко повідомлено їх, і батько, підійшовши до вікна, крикнув: «Що вам треба?» Але жандар, одійшовши від вікна, спокійно шпадируючи по тротуару, не звертав на це жодної уваги, ніби то не до нього була мова.

Таке шпигунство провадилось майже завжди. Жандарі, чи як звикли ми їх називати, — «сіпаки», навигипередки старались догодити своєму начальству і особливу уважку майже щовечора дерлися в вікна. Як батько, так і Михайло Петрович, остільки звикли до цього, що майже не звертали жодної уваги, хоч бували часи, коли все це дуже нервувало батька.

(14, 122–123).

Ранком, аби о якій порі, хоч би навіть об 11 годині, можна було бачити Володимира Боніфатієвича в його звичайнім хатнім убранні, себто напіводягненого — в чоботах навипуск, в старому літньому пальті поверх м'якої, звичайно вишиваної, сорочки, причому він завше тушкувався — йому холодно було в тім убранні, проте він не охоче скидав його, зодягаючи крохмальну сорочку та триковий піджачний костюм найпростішого крою та кольору. Так, напівубраний, перебував В. Б. звичайно до обіду або ж поки не було потреби виходити на місто, бо тоді вже мусив брати і крохмальну сорочку, і краватку, і піджачну пару.

(249, 296).

Зовнішній вигляд Антоновича був справді дуже непримітний: невисокий на зріст, з невеликими вусами, худорлявий, вбрання притерте, на ногах завжди поморщені чоботи, на шиї рябенький шарфик, на голові кругленька низенька шапочка. Говорить тихо, усім поступається дорогою на пішході. Одні вважали його за оправника книжок, інші — за столяра, а дехто — за кравця, але за професора не хотів визнавати ніхто, навіть київський мітрополит. Тож і не дивно, що життя професора Антоновича таке багате на всякі пригоди та непорозуміння*.
(184, 174).

**Мемуарист нескотько упрощає проблему, и все сводит к внешности Антоновича. «Опрощение» ученого далеко от простого чудачества, в нем отражалось его стремление к народному идеалу и презрение к панству. Как последовательный народник он хотел быть демократом не только по своим убеждениям, но и в самой жизни, в мельчайших деталях своего быта.*

Оповідь про перший візит п. Левицького до В. Б. /Антоновича/ була не менш цікавою /.../

Увійшовши до хати, він побачив малих професорських дітей в українському вбранні і одного з них із звичайнісіньким коником-свистуном у роті. Повернувшись додому, він розповів свої враження товаришеві-студентові і той так само здивувався.

— Та як, — перепитував все товариш Левицького, так-таки і зовуться професорові діти: одне «Івась», а друге «Гаяя» ?

— Так і зовуть!...

— Та ну бо! Що ти кажеш...

— Та кажу ж тобі, що так!

— І коника, кажеш, держить у роті дитина і свистить?

— Держить і свистить...

Товариш здвигнув тільки на це плечима.

(76).

Винниченко ще в 1908 чи 1909 році, будучи в Києві, хотів відвідати проф. Антоновича, щоб дістати якісь матеріали з історії України. Він взяв у місті візника і приїхав на ріг Жиланської й Кузнечної вулиць, де жили Антоновичі. У тому ж будинку мешкала й Малиш-Федорець і була в приятельських взаєминах з родиною Антоновичів. Винниченко взяв з собою чималеньку валізу. Побачивши, що за парканом якийсь старичок копає грядку, Винниченко запитав:

— Слухайте, скажіть, будь ласка, чи дома професор Антонович?

Старичок відповів:

— Дома, дома, заходьте.

Винниченко тоді до старичка:

— Візьміть чемодан.

Старичок бере чемодан і несе до хати за Винниченко. Принісши, поставив. Потім

Винниченко вийняв 20 копійок, сунув йому в руку. Старий подякував, сховавши гроші до кишені. Тоді Винниченко просить покликати професора.

— Професор перед вами, — почув відповідь і трохи не провалився кризь землю від несподіванки, просячи вибачення. А Антонович, усміхаючись, додав:

— Але грошей не віддам, бо праця мусить бути оплачена.

(454, 12).

Візит князя Радзивіла

Коли проф. Антонович був молодим, то приятелював з деякими польськими магнатами, в тому числі із князем Радзивілом. Коли Антонович видрукував в 60-ті роки свою сповідь в «Основі», то польські магнати одвернулись од нього й перестали вважати його за свого. Це тяглося до кінця життя Антоновича. Тільки дехто з великих польських панів поділяв думки Антоновича і підтримував з ним свої відносини. З князем Радзивілом Антонович не бачився довгі роки, та й не сподівався ніколи з ним бачитись. Отже, князь Радзивіл, заїхавши до Києва, згадав про свого давнього приятеля В. Б. Антоновича і приїхав до нього з візитом.

Сам Антонович одімкнув Радзивілу двері і впустив його в прихожку, але спершу вони один одного не пізнали.

— Професор Антонович дома? — запитав Радзивіл.

— Дома, — відповів Антонович.

Радзивіл увійшов до прихожії, підставив Антоновичу спину, щоб той зняв з нього верхню одежину, і коли роздягнувся, промовив:

— Там у мене в кареті стоїть скринька, піди і принеси мені!

Антонович приніс.

Радзивіл одімкнув скриньку, дістав звідти цитку, причесався перед дзеркалом і сказав:

— Доложи професору Антоновичу, що приїхав до нього князь Радзивіл.

— Я професор Антонович, — промовив Володимир Боніфатійович.

Яка після цього настала цікава сценка, читач і сам може уявити собі без мого опису. (184, 169).

Приїхавши /1881 року/ до Києва /щоб вступити до університету/ і переночувавши в якомусь готельчику коло двірця, ми з Тарковським пішли до проф. В. Антоновича, знаючи, що він встає рано, а того дня не мав іти до університету, бо була неділя.

Власний дерев'яний партеровий із мезоніном дімок Антоновича, що стояв, та й досі, мабуть, стоїть на розі Жилинської та Кузнечної вулиць,* видався нам найкращим в тому кутку Києва, бо навколо були самі якісь халупинки; тепер той дім Антоновича сам здається халупкою в порівнянні з величезними будинками-хмародерами, що його тепер оточують.** Ми подзвонили на передньому ході з Жилинської, але, даремно прождавши якийсь час і не рішаючись дзвонити вдруге, зайшли з Кузнечної вулиці в ворота.

В дворі, у садочку, ми побачили невеликого чоловіка з заступом в руках, який мені дуже нагадав наших холянських селян-уніатів /.../ — довге волосся, голена бо-рода і маленькі підстрижені вуса. Ми певні були, що то двірник, і спитали в ньо-

го, чи вдома пан професор Антонович і чи можна його бачити? Він відповів, що вдома і що він зараз нас впустить від Жилианської вулиці. Яке ж було наше здивування, коли цей двірник, впустивши нас у велику залу, всю завішану гетьманськими портретами, і попросивши сісти, сказав:

— Я до ваших послуг, Антонович.

Зняковівши і прохаючи в неясних виразах вибачення, я подав йому картку від л-ра Михалевича, в якій той просив Антоновича поставитись до мене з таким же довір'ям, як і до нього. Проф. Антонович, прочитавши її, запропонував нам закурити. Сам, запаливши цигарку, усміхаючись сказав, що він звик до того, що його ніхто за професора не приймає, і розповів, як недавно на розкопках він зайшов до священника і як попадає продержала його в кухні з годину, поки панотець не напиє чаю.

Видно йому подобалось ставити людей в таке ніякове становище, бо інакше він би зразу рекомендувався як професор, і тоді ніяких непорозумінь не було б. Потім нам оповідав Лисенко, що одного разу київський професор-медик, недавно признаний, оглянувши Антоновича, як пацієнта, сказав йому:

— Ти, мабуть, голубе, випиваєш дуже? Яке твоє заняття, чим живеш?

— Я служу в університеті, — відповів Антонович.

— За педеля (служу університетського)?

— Ні, я читаю лекції, я Антонович.

Натурально, що професор-медик був у страшенно ніяковім становищі.

(451, 105—106).

** До наших дней дом не сохранился.*

*** Не совсем ясно, что автор имеет в виду, поскольку в этом районе старая застройка не превышает пяти этажей.*

«Налякав»

На пішході біля будинку Антоновича лежало декілька деревин, привезених з лісного складу для якогось ремонту. Сам Антонович вештався у своєму палісаднику і з поливайки поливав квітки, як це він робив дуже часто. На розі вулиці стояв поліцейський, якого Антонович раніше не бачив; мабуть, це був новий поліцейський.

— Ей ти, старічок! — гукнув на нього поліцейський, — прибери з пішхода дерево, а то воно проходом заважає.

— Добре! — відповів Антонович.

— Прибери зараз же, сію минуту! — вже строго наказав поліцейський, наближаючись до будинку.

— Ось поллю квіти і зараз приберемо, — одпрошувався Антонович.

— А, ти такий! — заговорив грізний поліцейський. — Ну, так я зараз же доложу професору! — і поліцейський рішуче підійшов до парадних дверей і простягнув руку до дзвінка, але не давонив, а тільки лякав.

Антонович мусив кинути своє поливання, пішов у двір і мобілізував двірню, з якою і переніс дерево на подвір'я.

(184, 169—170).

Київське свинство

Володимир Боніфатійович ішов з університету додому по Кузнечній вулиці; будинок його був на розі Жилинської і Кузнечної. На пішохіді притишив його околочний надзиратель і прохав бути понятим. Біля околочного стояв уже один чоловік — високий, дебелий і нагадував собою тип лавошника.

Околочний повів їх у ворота. На подвір'ї, куди вони прийшли, сперечалися між собою дві перекупки — бублейниці і продавщиця сала.

У бублейниці був син — 9-літній хлопець, який кинув на підсвинка поліңце і перербив йому задню ногу. Продавщиця сала, якій належав підсвинок, підняла бучу, викликала поліцію для складання протоколу і, не перестаючи лаятись, твердила, що вона за такого підсвинка і на сотні рублях не помирється.

Околочний запропонував понятим оглянути підсвинка й оцінити його. Поняті пішли до хлівця, і Антонович думав собі: «Як же його цінять, якщо я зроду не купував і не продавав свиней і зовсім не знаю, які на них ціни». Та, подивившись на другого понятного, заспокоївся, рішивши, що це, на вигляд, людина практична і може подолати труднощі.

Так воно й вийшло. Практичний понятий зиркнув на підсвинка і сказав:

— Карбованців шість коптуе...

Антонович не сперечався, а так собі сказав, аби не виявляти своєї непрактичності:

— А може, оцінимо його в сім карбованців?

— Та, пожалуй, можна і сім, — згодився практичний понятий.

Прийшли, сказали, і околочний записав це до протоколу.

Продавщиця сала, почувши, що поросля оцінили в сім карбованців, так і накинуплась на понятих, а найбільше на Антоновича, як на людину вже немолоду:

— Оце оцінюдики, оце поняті, вік прожив, а підсвинка оцінює в сім карбованців. Де ж твої очі, бісова недотепа стара....

— Замовчи, не лайся! — крикнув околочний, дописуючи протокол.

— Як же його не кричать, не лаятись, коли поняті, коли стара людина і робить оцінку в сім карбованців... Пфу на вашу голову! Добрі поняті, нічого сказати! Не бійсь, свого підсвинка не цінував би так.

Протокол був дописаний і його почали підписувати поняті, а околочний стежив, щоб було написано ім'я, по батькові, звання, фами́лія і адреса. Читаючи те, що написав Антонович, околочний надзиратель підвівся з свого місця і бойко промовив:

— Извините, ваше превосходительство, что я осмелился побеспокоить вас.

— Нічого, — одповів Антонович і запитав: «Уже все?»

— Все, ваше превосходительство.

Антонович пішов з двору до воріт, а околочний промовив напівголосно до перекупки:

— Что ты наделала? Да тебе и в Сибири места не будет! Знаешь ли ты, кого ты ругаешь?

Перекупка не стала довго ждати. Вона вже сама побачила, що з лайки виходить недобре діло. Уже ж околочний недурно витягся в струнку та ваяв під козирок... Не городовий, а околочний, якого теж величають — ваше благородіє...

Перекупка догнала Антоновича, забігла поперед його, пуцнула на коліна і забалакала:

— Простіть мене, ваше сіятельство! Простіть мене, дурну, нерозумну бабу! Не засилайте мене в Сибір.

— Та Бог з вами, тільки не лайтеся так, як ви лаєтесь, — відповідав Антонович.

— Так не пошлете в Сибір, не пошлете?

— Та ні, не пошлю, тільки не лайтеся, кажу...

Перекупка схопилась і побігла до околочного:

— Ось тобі Сибір! — сказала вона, показуючи околочному дулю.

Чим далі закінчилася вся оця справа, Антоновичу не було відомо.

(184, 160—161).

По дорозі до Могильова

Антонович зібрався /на розкопки/ і вирушив з Києва пароплавом. Прибувши на пароплав, він піднявся на верхню палубу і звідти оглядав околиці міста.

На палубі була вже публіка і теж милувалась красотами Києва. Між панством вертівся посередині молодий чоловік, мабуть, недавній студент, і, показуючи рукою на одну гору, говорив:

— Он там, на тій горі, було проведено археологічні розкопки — там знайдено дуже багато цікавих предметів.

І молодий чоловік почав називати, що саме знайдено при тих розкопках, і перелічував такі речі, які жодним чином не могли трапитись ні в Києві, ні поблизу Києва, а лише іноді попадаються на берегах Чорного моря, а далі ніде вже зустрінути їх не можна.

Антонович вислухав «лекцію» молодого чоловіка і, не бажаючи залишити несвідому публіку в неправдивому тумані, заговорив, звертаючись до молодого чоловіка:

— Ту розкопку, про яку ви говорите, я трошки знаю, а через те дозвольте мені дещо додати до сказаного вами.

— Пожальуйста.

Антонович звернувся до зацікавленої публіки і почав говорити:

— При розкопках дійсно знайдено отакі-то речі, а отакі-то не могли бути знайдені, бо вони завезені до нас з Греції, і даліше їх не знаходять, як на прибережжі Чорного моря; що ж до знайдених предметів...

— Дозвольте, — перебив молодий чоловік, спостерігши, що всі його відомості спростовуються, — ви говорите, що ті розкопки трохи знаєте, а я вам скажу, що знаю їх не трохи, а сам присутній був, коли професор Антонович вибирав ті речі з землі... розумієте?

Антонович замовк. Покликання на його авторитет зовсім обеззброїло його. Володимир Боніфатійович пішов мовчки вниз у каюту. А два асистенти його зостались на палубі.

Коли Антонович зник, молодий чоловік звернувся до одного з асистентів Антоновича і голосно та самовпевнено запитав його:

— Кто этот старичок?

— А вы разве не узнали его?

— Нет, я его не знаю.

— Как так?! Это же профессор Антонович, который в вашем присутствии производил те раскопки, о которых вы сейчас рассказывали, — пояснив ассистент.

Настала черга тяжко засоромитись безтактній молодій людині. Молодик теж, як і Антонович, пішов з палуби вниз, ліг на ослоні, укrywся своїм пальтом і так пролежав до першої пристані; коли ж пароплав зупинився, то він хутко зійшов на берег і назад не повернувся.

Після цього Антонович знову вийшов на верхню палубу; зацікавлена публіка оточила його і слухала вже правдиву лекцію з археології.

(184, 162—163).

Сповідь

Один із ректорів Київського університету запросив до себе всіх професорів і об'явив їм, щоб вони подали йому посвідчення про те, що одговілись. Таке «предписаніє» надійшло до нього від міністра освіти. В. Б. Антонович пішов говіти до своєї приходської Троїцької церкви*.

Настоятелем церкви був тоді недавно призначений молодий священик, здається, академіст.

Коли Володимир Боніфатійович підійшов до нього на сповідь, то батюшка після належних запитань проказав йому такі слова:

— Не п'янствуй, не крадь, не бери прикладу з своїх гірших товаришів і, повернувшись додому з роботи або з шинку, не лаяйся, не бий ні жінки, ні дітей, а поводи себе так, як належить доброму християнинові, як поучає нас Святе письмо і наші наставники...

Коли сповідь кінчилась, Антонович попрохав батюшку написати йому посвідчення про гоніння і завтра, після причастя, віддати йому.

— На чие ім'я? — запитав батюшка.

— На ім'я професора тутешнього університету Володимира Боніфатійовича Антоновича.

Батюшка знітився, але хутко оговтався, злегка вклонився Антоновичу і промовив: — Простіть, ваше превосходительство, що я прийняв вас за майстрового і вичитав вам не підходяще для вас поученіє.

— Нічого, нічого! — одповів Антонович.

Другого дня, коли Володимир Боніфатійович прийшов причащатись, то почував себе не зовсім добре: батюшка при кожній нагоді поглядав на нього, неначе силувався навіки запам'ятати його обличчя або збирався сказати йому що-небудь.

(184, 159—160).

* Троїцькая церковь на углу Большой Васильковской и Жиланской улиц снесена в 1950-х гг.

Якось Антонович захворував і пішов до знаменитого в Києві лікаря, з яким знайомий не був. Лікар одразу почав з ним на «ти», уважно оглянув і вирішив, що це має бути шведц, і, знаючи вдачу тієї верстви («пьян, как сапожник»), запитав його:

— А ти, брате, того, випиваєш?

Бідолашний Антонович відповів, що зовсім не п'є. Тоді лікар здивувався:

— А чим же ти займаєшся?

— Я професор Київського університету — Антонович...

Лікар ледве не зімлів: перед ним була вже прославлена людина. Він страшенно вибачався, а після негайно ж поїхав візитом до Антоновича.

(462, 229).

Володимира Боніфатійовича я бачив у нас у хаті, коли збиралася, певно, управа «Загальної організації» /.../ Був це вже зовсім старий чоловік, голений, з невеликими вусами, з шапкою білого волосся. Виглядав дуже мило, просто, вбраний був у дуже скромний костюм і чомусь мав дуже широкі штани /.../ Його простота, відсутність елегантності, якої він з своїх демократичних почуттів не допускав, призводила до безлічі анекдотів.

Яксь поважна пані, почувши про славу Антоновича, пішла на його виклад. І коли чепурина пані побачила цього простого на вигляд чоловіка, подумала собі: «І що він доброго може сказати?» А після оповідала: «Як зачав він говорити, я все забула, і слухала так, що ні одне слово для мене не пропало...»

(462, 229).

Пам'ятаю, під час однієї бесіди з ним з

тої нагоди В.Б. розповів нам таке:

«Одного разу після однієї такої /піднадзornoї/ справи й неприємностей, з нею сполучених, я захворів і мусив покласти в ліжко. Родина заходила мене лікувати, але ж ліки мало мені допомагали, хвороба затяглася, і ось, щоб не втомлювати мене, не давали мені книжок для читання. Нарешті покликано лікаря, що виявив себе дуже влучним і дотепним. Добре розпитавши мене, той лікар не тільки не заборонив мені читати книжок, а навпаки — раїв читати, особливо те, що до впадоби. Мені дано твори Гейне, що здавна подобались мені своєю щирістю та глибиною думки, і за днів кілька я почав одужувати».

Отже, тим способом виявилось, що найкращі ліки для людей, відданих науці, то книжка, яка і в даному разі допомогла оздоровленню пацієнта.

(249, 301).

Приятелі

Знав я на своєму віку двох високоблагородних людей — Володимира Боніфатійовича Антоновича та Олексія Сергійовича Шкляревського*: один був професор історії, а другий — професор медицини. Ці два професори були між собою ніжні, наче пара закоханих. Антонович говорив про Шкляревського:

— Нема кращого лікаря, як Олексій Сергійович Шкляревський: він видатний і як медик, і як людина.

А Шкляревський говорив про Антоновича так:

— Володимир Боніфатійович — це рідкісна людина і як професор, і як чоловік.

Так ставились оці професори один до одного, але відвідували один одного дуже рідко. Антонович не хотів турбувати Шкляревського як людину, занадто обтяжену пацієнтами. Він мав сухотку спинного мозку і більшу частину свого віку

пролежав у ліжку. А Шкляревський не турбував Антоновича своїми візитами через те, що ніколи нікуди не виїздив.
(184, 152).

**Алексей Сергеевич Шкляревский (1837—1906) — сын дворянина Черниговской губернии, окончил медицинский факультет Московского университета (1866), совершил стажировку в патанатомии в университетах Германии и Австрии (1866—1869). Приват-доцент (1869) и ординарный профессор (1877) Киевского университета. В 1884 г. вышел в отставку по состоянию здоровья. Занимался частной врачебной практикой, читал публичные лекции, печатал прекрасные рецензии на художественные выставки, высоко отзывался о реализме передвижников. В частности, его перу принадлежит непревзойденный анализ образа Христа в живописи Крамского («Христос в пустыне»). Выйдя в отставку, жил в Киеве, Одессе, Ялте и Виннице.*

Якось звернувся Антонович до Шкляревського за порадою: що його робити від безсоння, бо наркотики приймати він не хотів, а безсоння зовсім обезсилювало його. Шкляревський уважно розпитав Антоновича, над чим він зараз працює, а потім перевів розмову на інші теми. Так вони погомоніли годин дві, але Шкляревський про хворобу Антоновича зовсім забув і не згадував про неї. Та краще я передам цю історію словами самого Антоновича:

«— Збираюся я додому, подаю руку, прощаюся, а Шкляревський каже мені:

— Чи ви оцей німецький журнал знаєте? — і подає мені два примірники німецького гумористичного журналу.

— Ні, не знаю, — кажу я, зиркнувши на обкладинку.

— Я дуже раю вам переглянути оцей журнал, він дуже цікавий, тільки сердечно прохаю вас перечитати увесь текст і розповісти мені його зміст, бо сам не маю жодної спромоги перечитати його, хоч і тримаю журнал біля себе.

Узяв я чисел 5 того німецького журналу і пішов додому, думаючи: ніяково мені не виконати прохання, мушу читати журнал. Прийшов додому, ліг в ліжку та й почав розглядати його. Розглядаю, читаю — сама дурниця /.../ Казна-що! /.../ За перший вечір розглянув і перечитав я лише двоє чисел, і так зморився, що не зчувся, як і заснув. Другого дня розглянув троє чисел, а третього — ще двоє і на четвертий день пішов з докладом до Шкляревського. Розказав йому про все прочитане, а він вислухав і тоді запитав мене:

— Що ж, після цього читання заснули ви?

— Заснув, — кажу я, — і аж тоді тільки зрозумів, що це і були мої ліки, а не що інше.

З тиждень ще читав я німецький журнал, і аж тоді тільки Шкляревський сказав мені:

— Ви дуже перевтомилися, від того і безсоння. Киньте усю роботу та йдьте куди-небудь на село, і хвороба ваша сама пропаде.

Я так і зробив. Як тільки скінчилися студентські екзамени, зараз же виїхав в Чернігівщину на археологічні розкопки і дуже швидко відчув себе цілком здоровою людиною з добрим апетитом і з добрим сном.

Отак-то лікував мене Шкляревський, і не раз. Дуже він гарна і тямуща людина: ні рецептів не пише, ні ліків не признає, а виліковує».
(184, 153—154).

В.Б. Антонович у професора медицини

З Московського університету перевівся до університету Київського професор медицини — здається, Образцов. Про нього говорили кияни, що він хороший лікар з усіх шлункових хвороб. Саме в цей час у професора Антоновича було розширення шлунка, незважаючи на те, що він ніколи багато не їв і багато не пив нічого. Крім того, і любимий його лікар проф. Шкляревський жив у той час в Одесі. З цієї причини Володимир Боніфатійович вирішив звернутись за медичною допомогою до новоприбулого в Київ професора-медика.

Коли Антонович увійшов до кабінету Образцова, то лікар зиркнув на нього і запитав:

— Що болять?

Антонович розповів, а Образцов написав рецепт і, віддаючи Антоновичу, промовив:

— Будешь принимать эти пилюли по три раза в день перед едой... Соблюдай строгую диету, а главное — воздержись окончательно от спиртных напитков и пива.

— А болезнь моя разве от напитков? — запитав Антонович.

— В значительной мере...

— Не может быть... Я почти не пьющий.

— Чем занимаешься?

— Служу.

— Где?

— В университете.

— Какою несешь службу?

— Читаю лекции, — мусив пояснити Антонович.

— Вы, может быть, профессор Антонович?

— Да.

— Слышал я о вас, слышал... Прошу извинить.

Образцов забрав свій рецепт, велів Антоновичу роздягнутись, оглянув його уважно, вислухав, призначив зовсім інші ліки і відпустив, додавши:

— Прошу не гнеться на мой прием. К приключениям вашим прибавилось еще одно. Я своим коллегам-медикам визиты сделал, и о вас слышал, и даже много... До свиданья, Владимир Бонифатиевич!

Протягом двох тижнів проф. Образцов навідувався на квартиру до Володимира Боніфатійовича, і за цей час цілком поставив його на ноги, рішуче відмовившись від пропонованого йому гонорару.

(184, 165—166).

Одного разу, в часі лекції з археології, що викладалась в приміщенні університетського археологічного музею, на третьому поверсі університету, пояснюючи історію кам'яного та бронзового віків, В. Б. показав нам надзвичайно цікаву річ — створку з двох шматків каменю з штучно видовбаними поглибленнями, щоб виливати в них бронзові окраси з майстерними візерунками.

Пояснюючи нам уживання цього предмета в роботі, В. Б. додав, що ту річ, вельми оригінальну та цікаву, він здобув на базарі в м. Казані. Очевидячки, В. Б. хотів тим підкреслити, як народ мало розуміється на таких речах, які, однак, надавчійно цінні для науки.

Саме тоді з кола студентів почулось питання:

— А дорого ви дали за неї?

Володимира Боніфатієвича наче осмалює од такого слова: він якось смутно усміхнувся, а потім дуже поважно промовив, що надаремно задають йому такі питання:

— Ми перевіряємо науку і набуваємо речі з науковою метою, а не для забавки.

І знов продовжував лекцію, що хутко скінчилась. Минуло кілька днів. Не пам'ятаю, з якого приводу я був на другому поверсі в університеті і стрів В.Б.; по-здоровкавшись зі мною, він сказав з видимою стривоженим обличчям:

— Якщо студентам не подобаються мої лекції з археології, я можу їх припинити.

Почувши це, я спитав:

— Чому ви так думаєте, Володимире Боніфатієвичу? Оскільки я знаю, студентство вельми задоволене з ваших викладів і їх припинення було б для нас великою втратою.

— Але ж в мене питались на минулому викладі, чи дорого я дав за камінну формочку для бронзових речей.

— Ну то було просто якесь шалене питання, і той студент найменше мав намір образити вас, ані пошуткувати.

Бачучи, проте, що все це хвилює В. Б., який ішов працювати до свого нумізматичного кабінету, та промовивши до нього кілька заспокоїливих слів, я поспішив до аудиторії, де зустрів того самого студента З-а, що озвався на лекції з тим несподіваним питанням, насварив його за те і порадив піти перепросити В. Б. за той вибрик, що сильно образив його. Студент З. цілком погодився з моєю порадою, заарав же пішов і з сердечним каяттям пояснив, що ті слова вихопилися з нього якось цілком несподівано і випадково і щиро перепросив за те.

Розуміється, В. Б. задовольнився цим, заспокоївся і продовжував свої виклади з тою самою енергією і охотою.

(249, 300).

Студентським екзаменам Антонович не надавав ніякого значення, він говорив: «Можна нічого не знати і на екзаменах проскочити, і навпаки — можна досить порядно знати предмет і на екзамені провалитись».

Раз якось Антоновичу стало відомо, що студенти переглянули екзаменаційні білети і поробили на них позначки, тобто понаколювали голкою по одній, по три дірочки по кутках білетів. Наколки означали зміст білета в залежності від того, наскільки вгорі чи внизу. Дірочка одна чи дві або три. Професор почав екзаменувати студентів, які досить жваво вибирали собі білети з умовленими позначками. Один студент був дуже близькозорий і через те не міг добре запримітити кількості дірочок. Витягнувши не такого білета, якого йому хотілося, студент зніяковів:

— Господи професор, — заговорив він, — дозвольте мені перемінити білета.

Антонович не мав ні найменшої надії, що схвильований студент потрапить на бажаного білета, тому прихилився до нього і тихо запитав:

— Вам скільки дірочок?

Студент поблід:

— Т...три! — ледве промовив він.

— Вгорі чи внизу?

— Внизу...

Антонович висунув йому помічений білет, і студент пішов обдумувати його.

(184, 173—174).

Ніколи Володимир Боніфатійович не відхиляв прохання студентів прочитати їм приватно лекції з тих питань, які з університетської кафедри трактувати було незручно. Щодо таких прохань Антонович лише запитував:

— Коли і де?

Йому давали адресу, і Антонович акуратно з'являвся в призначений час і читав лекції. Таке читання не раз відбувалося в тісній та душній хатині якого-небудь студента або десь на самому кінці міста, але Антонович на те ніколи не звертав ні найменшої уваги. Були випадки, коли в призначений для лекції день і час була яка-небудь негода — завірюха або літом злива, що й слухачі не приходили, а професор приходив і цим ставив у ніякове становище своїх слухачів, які після того ніколи вже не зважали на погоду. До того ж Антоновича не доводилось чекати — він швидше прибував на 5 хвилин раніше, але не пізніше, і своїм прикладом дисциплінував молодь.

(184, 172—173).

На приватні лекції Антоновича не раз з'являлась поліція, робила неприємності всякі і йому, і слухачам, але це зовсім не заважало Антоновичу продовжувати лекції на іншій вулиці, в іншій квартирі, аж поки не кінчався намічений курс.

Так, наприклад, лекції «Про козацькі часи на Україні», які згодом були видруковані в Галичині без підпису автора, читались на моїй квартирі по Жилинській вулиці. Коли на одну з лекцій прибула поліція і жінка моя подала Антоновичу писульку: «Між нами є неприємний гість», Антонович перечитав записку і продовжував лекцію далі, нібито нічого не знаючи, але характер вислову змінив. Коли лекція скінчилась, поліція переписала аудиторію, починаючи з професора, а тим часом аудиторія зробила складчину і піднесла поліції, яка зараз же заспокоїлась. Та по суботах (день лекцій) приходив околочдочний, щоб одержати 10 карбованців, аж поки я не заявив йому, що лекції вже скінчились.

(184, 173).

Вперше я побачив В.Б. Антоновича на приватних викладах з історії козацтва в роках 1889—1890. Історія національно-громадських рухів українських ще не могла викладатися з університетської кафедри, і виклади ті відбувались таємно — спершу в помешканні Василя Никодимовича Вовка-Карачаєвського (на Мало-Володимирський вул.), а після в помешканні міської школи (по обіді, коли школярі розходились) десь в районі Дмитровської вулиці, — в тій школі вчителювала дружина українського поета Мусія Степановича Кононенка (псевдонім — М. Школиченко) /.../

Дуже дивно, що досить часті і численні збори ті не було викрито, — пояснюється

це великою дисциплінованістю відвідувачів всяких нелегальних зборів. Один лише раз заскочив поліціант на збори в школі пані Кононенкової. Вглянувши несподіваного слухача у дверях, В.Б., не міняючи тону і темпу свого викладу, поволив влучно перевів мову на археологічні знаходи, почав показувати на карті місця археологічних стоянок, — то було умовлено, що в такому, як стався, випадку, лектор читатиме реферат для підготування слухачів до майбутнього археологічного з'їзду.

Господиня запросила того гостя до ідальні свого помешкання в тому ж будинку та, частуючи його вином, пояснила, що професор підготував своїх співробітників до участі в археологічному з'їзді, який мав за кілька місяців відбутися. Коли на прощання поліціант дістав у руку червінця, то залишився з усього того інциденту дуже задоволений, і справа на тому стала.

Це було на останньому чи передостанньому викладі курсу. Так колись — та й не дуже давно — українці здобували історичну освіту.

(244, 169—170).

Скрипка Сарасате

Вийшовши з будинку «Киевского купеческого собрания», я побачив В. Б. Антоновича, який переходив з Олександрівської вулиці на Хрещатик. Нам було по дорозі. Коли я привітався з Антоновичем, він запитав мене:

— Де це ви були?

— На концерті знаменитого Сарасате*.

— Що ж сподобалось вам?

— Скрипаль зачарував усіх; навіть діти переживали якийсь особливий настрій /.../

Говорив я з жаром, з запалом, бо ще був переповнений свіжим враженням. А коли скінчив свій довгий монолог, Антонович лагідно посміхнувся і промовив:

— Отже, я дивлюся на скрипку інакше... По-моєму, скрипка не що інше, як відомої форми дерев'яний ящик, на який натягнено скручені баранячі кишки, а скрипаль водить по ним пасмом кобилячого хвоста.

Я зацікавився од здивування.

Через хвилину Антонович додав:

— Музика для мене взагалі не існує... Я її не розумію, а особливо скрипку**.

(184, 170).

* Сарасате Пабло-Мартин (1844—1908) — испанский скрипач и композитор.

** Очевидно, речь идет о типичном для народников отрицании эстетики социальных верхов. Наиболее ярко такое идеологизированное отношение к искусству проявилось в толстовстве, а позже — назойливом политиканстве однопартийного режима.

Коли в 1879 р., згідно з постановою генерал-губернатора Черткова, домовласники повинні були держати двірників, і поліція вимагала цього і від Антоновича, то він відповідав, що такий двірник в нього давно є, і що він сам виконує обов'язки двірника; поліція мусила з цим погодитись.

(36, 122).

Коли я спиняюсь думкою на особі В.Б. Антоновича, мені мимоволі згадується один епізод трагікомічного характеру з діяльності Антоновича як археолога.

Було це в 1882 чи 1883 році за археологічного візиту в Москві. Для цього візиту Антонович заготовив, як результат своїх розкопок в Україні, колекцію черепів, не менш десяти, і модель могили. Модель зроблено так, що верхня частина здіймалась, і тоді було видно, що на самім споді могили лежав зроблений з воску мрець у позі відповідно до похоронного ритуалу. Черепи і модель могили запаковано у дві скриньки, цілком нові, викрашені зеленою фарбою.

І от одного разу, коли я прийшов до Антоновича, то побачив його дуже засмученим; він сказав, що в нього минулої ночі злодії викрали обидві скрині з черепами та моделлю могили і що він просто не знає, що йому робити. Я залишив його в цій душевній депресії. Коли другого дня я прийшов до нього, він вийшов назустріч веселий, приємно посміхаючись, і зараз-таки розказав, що все залишилось — і черепи, і модель; злодії недалеко від його садиби на пустовищі порозбивали скриньки і очевидячки перелякалися, побачивши, що в скриньках сховано, і навіть залишили самі скриньки цілісінькі. Оповідючи про цю подію, Антонович посміхаючись закінчив, що він тепер незапечений від злодіїв, бо вони його вважатимуть за чарівника, що знається з нечистою силою і котрого небезпечно зачіпати.

(36, 122).



Дом кн. Мещерского по Рогнединской ул., где в конце XIX в. помещалось Литературно-художественное общество.

Н. В. ЛЫСЕНКО

Николай Витальевич Лысенко (1842—1912) — основоположник новой украинской музыки, композитор, пианист, дирижер. Родился в с. Гриньки на Полтавщине. Вся его творческая жизнь связана с Киевом и кругом киевских деятелей, посвятивших себя возрождению украинской культуры. В 1852—1855 гг. учился в пансионах Вейля и Гедуэна, в 1855—1859 гг. — в харьковской гимназии. В 1864 г. закончил физико-математический факультет Киевского университета и на следующий год защитил диссертацию на степень кандидата естественных наук. На этом научная карьера Лысенко закончилась. Давнее пристрастие к музыке привело его в 1869 г. в Лейпцигскую консерваторию. Там, в Германии, написал он в 1868 г. первое своё значительное произведение — «Заповіт» на слова Т. Шевченко и издал «Збірник українських пісень». В Киев вернулся в 1869 году уже известным композитором. Музыкальную деятельность совмещал с работой в Киевской громаде — принимал участие в подготовке «Словника української мови» (известного впоследствии по имени его последнего редактора как «Словник Грінченка»), в работе Юго-Западного отделения Российского географического общества. В 1874—1876 гг. обучался композиторскому искусству у Н. Римского-Корсакова в Петербургской консерватории. Преподавал в частных музыкальных школах, училище



Русского музыкального общества, Института благородных девиц. В 1904 г. создал первую в Восточной Украине музыкально-драматическую школу с украинским языком преподавания (ул. Большая Подвальная — теперь Ярославов Вал — № 15, дом не сохранился). В 1918 г. на её основе возник Музыкально-драматический институт. В 1905 г. (вместе с А. Кошицем) основал музыкальное общество «Боян». Один из руководителей киевского Литературно-артистического общества. В 1908—1912 гг. — председатель правления «Украинского клуба». Современники, в том числе и М. Рильский, считали, что «распоряжение правительства о закрытии этого клуба обострило тот сердечный недуг, который и свел нашего композитора в могилу». Устраивал ежегодные Шевченковские концерты. В хорах Лысенко получали профессиональную выучку выдающиеся

музиканти — К. Стеценко, П. Демуц-кий, Я. Яциневич, О. Лысенко і др. В Музикально-драматической школі Лысенко учились будучі композитори Л. Ревуцкий, А. Кошиц, певец М. Мишиша, режиссер Н. Терещенко і др. У Лысенко ежегодно учились свыше 200 учеников, — занимались в нескольких смен, с 9 утра до 12 ночи. Первые украинские музыкально-драматические произведения композитора — оперетта «Чорноморці» (1872) и опера «Рздвяна ніч» (1873) — были поставлены силами Киевской громады в помещении начальной школы сестер Линдфорс против городского театра на теперешней ул. Б. Хмельницкого, 21. Оперы «Утоплена» (1883), «Наталка Полтавка» (1889) и «Енеїда» (1911) ставились уже на профессиональной сцене Театра Н. Садовского. Со временем само имя Лысенко стало символом украинской культуры в старом Киеве. Его похорони превратились в

грандиозную демонстрацию сторонников украинской культурной автономии. «Таких похорон, — вспоминал Н. Садовский, — Киев еще не видел, и может, и не увидит. Это были похороны, которыми вся Украина отдавала последнюю дань уважения своему прославленному кобзарю. Людей собралось не менее ста тысяч. Все улицы, начиная от /Владимирского/ собора, откуда двигалась процессия, и все те, где она проходила, были так плотно заполнены людьми, что, казалось, можно было ходить по головам. Сидели на крышах, деревьях. Студенты создали живую цепь по обеим сторонам процессии. Один лишь хор, что не переставая пел «Святой Боже», насчитывал тысячу душ».

Композитор жил в разных местах Киева, но дольше всего — на ул. Рейтарской, 19 (1888—1894) и на ул. Саксаганского, 95 (1898—1912), где теперь Музей Н. В. Лисенко.

Микола Віталійович був природжений артист-композитор, уся його натура була артистична. Він завжди витав десь в іншому для нас, але реальному для нього світі. Лице його міняло вираз через кожну хвилину — то була внутрішня робота його мислі, його мрій. Через це саме він завжди ніби дивувався всьому, що йому говорили, бо все сказане було для нього новим, несподіваним.

— Миколо Віталійовичу, завтра у нас засідання* — ви не забули про це?

— Засідання — невже? — щиро дивувався Микола Віталійович, і тут же додавав: — Ах, засідання. Так, так, завтра засідання... Ні, я не забув.

— На дворі дощ, та ще й добрий, — говориш Миколі Віталійовичу, роздягаючись в прихожій.

— Дощ! Невже? — дивувався Микола Віталійович, хоч сам був побризканий дощовими краплями. — А я оце був на балконі і мене побризкало... На дворі дощ, правда, правда.

І так його дивувало все. І це не була штучність, не була не увага до зовнішнього оточення, а було ніби два Миколи Віталійовичи: один духовний, артистичний, а другий — просто звичайна людина. Артист настільки переважав людину, що забувала сама людина і всі людські інтереси, дріб'язки та життєва проза.

А що це так, то може бути підтверджено фактом із життя Лисенка.

Колись переходили вони з однієї квартири на іншу. Дружина композитора все перевезла і почала поратись в новій квартирі, а чоловіка просила розібрати в кабінеті старої квартири всі ноти і впорядкувати по-своєму, щоб тоді не ремствував, якщо не знатиме, де, що і куди покладено. Микола Віталійович зачинився у своєму кабінеті і почав перебирати ноти.

Проходить година, друга, третя, а Лисенко не з'являється на новій квартирі.

Сім'я пообідала без нього, уже й вечір незабаром, а Миколи Віталійовича нема.

Натомлена перевезенням речей дружина мусила йти на стару квартиру і вияснити, що трапилось з ним.

Коли прийшла і відчинила в кабінет двері, то побачила таку картину: Микола Віталійович сидить посеред кімнати на підлозі, обклався з усіх боків нотами і розігрує пальцями по паркету, бо піаніно і рояль були вже перевезені. І така гра тривала годин шість.

— Миколо, Бога бійся! Чому ти додому не йдеш? Уже ми пообідали давно, і обставились...

— Обставились... Невже?.. Хіба я не дома, не у себе?

— Та ми ж на нову квартиру переїхали.

— На нову квартиру?.. А я й забув про це!

(184, 141—142).

**Речь идет о работе совета Общей украинской беспартийной организации.*

А в буденному житті цей музикант і діяч був часом дивним, незвичайно розсіяним, а в чисто практичних справах безпорадним. Микола Віталійович мав звичку, коли до нього щось говорили, відповідати: «Та не може бути!»

Одного разу, в «незапам'ятні» часи, одна його учениця, дуже з себе гарна, зустріла його на вулиці і радісно повідомила:

— Миколо Віталійовичу, я виходжу заміж, знаєте за кого: за Д-го? (людина прaviх поглядів).

— Та не може бути, за таку сволоч? — сказав по щирості в своїй задумі і за хвилину прокинувся від своїх слів. Але слово вже вискочило, і про цей анекдот оповідав весь Київ по десятих роках.

(462, 302—303).

Захоплений у сферу музичної творчості, Микола Віталійович часто бував розсіяним. Свою увагу у розмові з людьми він звичайно виявляв приналежним йому «та неже?»

Одна не дуже вже молода, але високопоставлена в суспільстві панна оповіла йому серед зібраного товариства:

— Я виходжу заміж: Н. освідчився мені.

— Та неже? — оповів Микола Віталійович зі співчутливим і зацікавленим виразом.

Панна дуже образилась.

(298, 347).

Про сивого митця химери та капризи
 Любили родичі його розповідати.
 Раз яюсь на селі, у літній вечір сизий,
 Прибувши варіант цікавий* записати,
 Він речі геть свої повикладав з валізи, —
 Нехай, моляв, собі де хочуть, то й лежать!
 І всю валізу ту Вкраїни зіллям ніжним
 Набив — васильками**, маруною*** та пижмом****.

*Композитор вписував в селах и изучал украинские народные песни.

**Васильки (укр.) — базилик (ароматическая трава).

***Маруна (укр.) — *Pyrethrum parthenium* (лат.) — пиретрум девичий, маточная трава, ромашка девичья (ароматическая трава).

****Пижмо (укр.) — пижма (ароматическая трава).

(343, 93).

/Заочне замилювання/

Влітку року, либонь, 1902-го вирушив мій батько* в традиційну ще з студентських років, останню в житті своєму, мандрівку по Україні. Подорожували кінями, на возі з наметом, на кшталт циганських, — і досі мені в очах стоїть той віз, що глибоку й гостру цікавість і заздрість будив у хлоп'ят...

Микола Віталійович на запрошення приїхав до Романівки, зачарував, як завжди, всіх своєю граціозною ласкавістю та елегантною простотою — і охоче заліз під циганське шатро. Потім розказували, сміючись, подорожани, ніби композитор, не вилазячи й не виглядаючи з-під шатра, весь час, так би мовити, на віру милувався околицями краєвидами, примовляючи своє улюблене: «Чудово!»

(344, 294).

* Отец поэта, Таддей Розеславович Рыльский (1841—1902), известный в свое время этнограф, культурный деятель, член Старой громады, был другом Н. Лисенко-младшего. После смерти отца Максим Рыльский, поступив в Первую киевскую гимназию, жил в семье композитора.

/Лицарська присвята й відро горілки/

Світанок зустрів їх /студентів Миколу Лисенка та Михайла Старицького. — А. М./ на Володимирській гірці, на крутому дніпровому схилі.

— І покаляси ми, — гадував Михайло Петрович, — жити для народу багатостраждального, збирати його пісні, вивчати його слово, допомагати йому і знаннями своїми, і любов'ю. Не один раз підносило нас, донизу кидало життєве море, та клятви тої ми не порушили.

А почалося усе в Жовтний, і зовсім не так, як уявлялося. Наші побратими приїхали з Києва на вакації з ніг до голови в національному вбранні — темно-брунатних

Походи — це чудова ілюстрація до тодішніх настроїв демократичної молоді. Справа в тому, що горезвісне жандармське III відділення царської канцелярії містилося недалеко від «Соляного городка». Учасники хору продовжували співати чи не під самими вікнами грізної установи. Репертуар пісенного хору підбирався заздалегідь. Співали «Заповіт», «За Сибиром сонце сходить», «Стеньку Разіна». Спереду походу з «щитом» (офіційним гербовим папером) виступали Лисенко і Паскалов, по черзі диригуючи хором. Це вражаюче видовище — сотні юнаків з «Заповітом» біля III відділення на Літєйному.

— На Невському, — згадував батько, — нас, звичайно, зупинили столичні держиморди. Тоді ж то і вступив в силу наш стратегічний план. Все розігрувалось, як по нотах. За нашою командою весь хороний натовп, як одна людина, тут же, заповнюючи брук і тротуари, щосили затягував «Боже, царя храни». Любо було бачити, що коїлось в ці хвилини з «духами» (поліцаями). Вилупивши очі, піднявши руки під «козирьок», вони, закам'янівши, стояли, як стовпи, до того часу (хор старався на всю міць), поки виконувався гімн.

(241, 102—103).

* *Выставочный центр в Петербурге.*

Почали про нас /хор Лисенка у Петербурзі 1876 р. — А.М./ в газетах писати. Словом — прославилися. Навіть візники стали пізнавати. Привів мене дідок один в «Соляний городок». Дістаю дрібні гроші, щоб розплатитися, а він: «Дуже дякуємо, пане Лисенко, але гроші мені з вас наче й совісно брати. Нещодавно слухав ваш хор. Молодці. По-нашому співують. З душею. Дуже вам за спів вдячні». Упертий такий дідок: «Ви, каже, не сумнівайтесь, я собі з другого пана здеру», — а від моїх грошей відмовився. Такий він, мій перший і, здається, єдиний гонорар за «Соляний городок».

(241, 104).

Хорові українські концерти Лисенкові /у 1860-х роках/ ваблять однаково усіх. Та лихий час уже настав для тих українських концертів /.../ Дійшло до того, що взагалі саме слово українське в квіжці, в пісні стали вважати як «підозрінне», а далі його й зовсім заборонено, навіть у піснях справді зовсім «невинних». Країні утиски виявились однак не зразу: ще на початку 1864 року в Києві (26 лютого) в пам'ять Т. Шевченка відбувся такий артистичний вечір: дано було «Наталку Полтавку» і при ній два дивертисменти — «Чумацький табір» і «Вулиця» (відповідне оточення на кону для співання хорових пісень); на афіші стояло, що хором і оркестром «будет дирижировать Николай Витальевич Лисенко».



Золотий жетон лауреата Киевского литературно-артистического общества, вручений в 1898 г. композитору Н. В. Лисенко

ко»; у другій же половині того самого 1864 року, коли подано було програму Лисенкового концерту на розгляд відповідній цензури, київський уряд поставив умову орудареві того концерту, щоб текст усіх пісень, що мали виконуватись, був у перекладі. Мені не траплялось бути на тім концерті, але люди, «віри гідні», казали, нібито справді з тим концертом була така okazія: пісенька «Дощик, дощик капає дрібенький, я ж думала, я ж думала, запорожець, ньенько» явилася в перекладі французьким (одна пані переклала текст пісеньки мовою французькою) /.../

Тоді в театрі межі слухающою громадою зчинився невгамовний сміх, гомін... Отже, в дальшому французький текст залишили; нібито сама поліцейська влада, присутня на концерті, заборонила співакам співати далі по-французькому.

Це щось анекдотичне... Але говорили, що дійсно так було.

(322, 97—98).

Коли мені доводиться чути різноголосі думки про Лисенка-композитора, про Лисенка-піаніста, я завжди пригадую слова однієї людини, що неприхильно ставилась до Лисенкових фортепіанних композицій, вбачаючи в них еклектизм, неорганічну мішанину українських елементів із запозиченням із західноєвропейської музики, — а проте казала:

— Произведения Лысенко для рояля — кашница, но они замечательны, когда их исполняет автор.

На котромусь з таких концертів /в Українському клубі/, коли Микола Віталійович грав з одним досить популярним у Києві скрипацем якусь сонату (не пам'ятаю, чию), до мене підійшов один знайомий* і промовив невдоволено:

— І навіть скрипаль заважає Миколі Віталійовичу?

Гадаю, отже, — і це не тільки моя думка, — що лише обставини особистого життя та громадська, громадянська «установка» його діяльності не дали Миколі Віталійовичу зробити кар'єру власне піаніста-віртуоза.

(340, 294).

**Лев Йосифович Юркевич (Рыбалка) (1883—1919), сын опекуна М. Рыльского И. В. Юркевича, любитель-виолончелист, член Украинской социал-демократической рабочей партии, которого в свое время остро критиковал В. Ленин.*

Постава й розучування опери «Енеїда» йшли під його /Лисенка/ доглядом, і це, ніде правди діти, страшенно гальмувало виставу, бо небіжчик був та, мабуть, і всі вони, композитори, страшенний педант. Тільки щось трохи не так — годі, вертай назад і починай спочатку. Педантизмом своїм він просто вимучував і акторів, і оркестру.

Бувало, призначив репетицію на 11 годину, я ще сплю, а Микола Віталійович вже з'явився до театру о 9-й годині й посилав по мене, щоб я прийшов.

— Що, Миколо Віталійовичу?

— Що ж це за порядки? Нікого немає!

— Та репетицію ж призначено на 11 годину, а тепер тільки дев'ять.

— Це чортзна-що за порядки, — промовить було Микола Віталійович і хутко

підє з театру. Як це тяжко було з ним працювати, а все-таки опера пішла. У цїм сезонї вона була, як кажуть, «цвяхом».

(356, 176—177).

Якось влітку сїдали ми в садку і слухали концерт. Коли артистка Файбиш проспівала популярний тоді романс «Айстри», Лисенко спитав мене:

— Що вона співала?

— Та як же, — кажу, — це ж відома ваша річ!

— Ні, — відповідає Микола Віталійович, — я ніколи такого не писав, це не моє.

Справа в тому, що артистка дуже вільно інтерпретувала зміст твору, не рахувалася з авторськими вказівками щодо темпу, динаміки і т. д.

(299, 513).

«Вічний революціонер» написаний влітку 1905 року на дачі в Китаєві. Вранці Микола Лисенко, як і завжди, пішов у ліс «на роботу». Цілий день пробув на своїй улюбленій галявині і повернувшись додому пізно. Привітавшись, збуджено почав ходити по веранді. Нам всім здалося, що він приніс якісь важливі політичні новини (тільки ними й жили в той бурхливий час). Та несподівано для всіх Микола Віталійович підійшов до рояля, різко відкинув кришку і вдарив по клавішах. Незнайомі звуки все росли й міцніли, тривожні, закличні. Та ось у мелодію вплелася слова:

Вічний революціонер —

Дух, що тіло рве до бою,

Рве за поступ, щастя й волю,

Він живе, він ще не амер! /.../

— Не знаю, чи це мияється так авторів, але гімну забезпечене довге життя, — зауважив хтось з гостей. — Ви, Микола Віталійовичу, не пісню, а бомбу створили.

(241, 275—276).

В 1911 році «/Український / клуб» готувався відзначити 50-ті роковини смерті Т. Г. Шевченка. За участю батька була вироблена широка програма Тарасових вечорів з доповідями, читанням віршів, концертами тощо. Готуючи урочистий концерт, Микола Віталійович написав на слова поета В. Самійленка кантату «До 50-річчя з дня смерті Т. Г. Шевченка» /.../

За допомогою батька в залі клубу було влаштовано також виставку, присвячену творчості поета. Все вже було підготовлено до урочистих зборів, коли раптом, майже напередодні, впала, як бомба, на голову батька і всього українського народу самодержавна заборона. За наказом царського міністра внутрішніх справ, всяке громадянське вшанування пам'яті Шевченка на території України було заборонено. Що ж діяти?

З правління клубу влада взяла підписку, що ніяких вечорів чи шевченківських концертів у клубі не буде. /.../

Погромники з «Союза русского народа» Піхно, Савенко, з «Союза архангела Михаила» та інших чорносотених банд, яких було чимало на той час у Києві, відкрили радіо «височайший» заборони.

Та радість їх була передчасною.

Чесне громадянство російське і польське в день пам'яті поета прислало своїх представників до клубу. У присутності правління вони урочисто і мовчки (промови і будь-які виступи були заборонені) поклали вінки до портрета Тараса Шевченка.

Тут трапилась ще одна, радісна для батька, подія. Справа в тому, що на Москову царська заборона не поширювалась. Скориставшись цим, московський гурток українських артистів («Кобзар») та українське громадянство Курська вирішили урочисто відзначити 50-річчя з смерті великого Кобзаря в серці Росії — Москві, а також у Курську.

На запрошення «Комітету по влаштуванню вшанування Т. Г. Шевченка» охоче відгукнулись кращі сили української трупії М. Садовського, солісти московської опери, серед яких була і А. В. Нежданова.

Для участі в концертах батька запросили до Москви і до Курська.

Концерти перетворились для Миколи Віталійовича на своєрідний творчий звіт Москві, Росії /.../ Шевченківські концерти в Москві і Курську надовчичайно підняли настрої батька.

— Хоч і не на рідній Україні, а таки вдалося нам за допомогою російських братів, у сім'ї братній пом'янути Тараса. І добре пом'янути, — поділився він з нами своєю радістю.

З особливою теплотою Микола Віталійович говорив про Нежданову.

Декому з відвідувачів клубу батьків настроїв не сподобався.

— Не слід було вам, українському Бояну нашому, їздити в ту Москву. Хіба не росіяни заборонили Шевченкове святкування? А ви, наш батько, надія наша, до росіян їдете та ще й не нахвалитесь ними, — пам'ятаю, так «відчитував» Лисенка клубний діяч з націоналістичної братії.

— Е, добродію, як вже почали про росіян, то треба до кінця розібратись, — рвучко всім тілом повернувся до нього батько. — Так, так, треба, добродію, добре розібратись, які росіяни заборонили Шевченка і до яких росіян я їздив. Хто визволяв Шевченка з неволі кріпацької? Жуковский і Брюллов — росіяни. Цар російський засилає Тараса в солдати. А хто його вдруге визволяє? Може, українські панки, які від нього відвернулись, мов од прокаженого? Ні, знову-таки петербурзькі друзі — росіяни. Міністр його «великомордія» забороняє Шевченка, а хто співає Тарасові пісні на московській сцені? Нежданова — цариця російської опери. Отаке-то, добродію! А то, землячки, все дзвоните в усі дзвони: росіяни, росіяни, а нема того, щоб подумати, хто з них народу українському справжній ворог, а хто брат рідний!

Батько так розхвилювався, що одразу пішов додому: серце розболілось.

(241, 295—297).

Але не все ладилось в житті Українського клубу. Не раз і Микола Віталійович Лисенко, і навіть уся рада клубу одержували зауваження від таких «цирих» українців, як образений Сергій Єфремов, за те, що на літературних вечорах клубу виступають з декламуванням російських віршів видатні соловцовські актори Скуратов, Неделін та Пасхалова. Та це все були чвари людей, од яких Лисенко завжди відмахувався, як од надокучливих ос.

(201, 185).

Тут варто відзначити одну рису Лисенкової вдачі. Сам Лисенко і вся його родина — дочки й сини — були гарячими прихильниками музики Римського-Корсакова. Коли вийшла «Летопись моей музыкальной жизни» цього останнього, то одна з дочок, пригадую, обурилась такою фразою «Летописи»: «Был у моего ученика Лисенко. Ел малороссийские вареники и слушал его оперу «Тарас Бульба». Не понравилось, т. е. опера, а не вареники» (цитую з пам'яті. — М.Р.). Фраза, помимо того, що гостро розбігалася з оцінкою, висловленою Римським Лисенкові по тій демонстрації опери, мала й справді неприємний присмак. Проте на гієтети самого Миколи Віталійовича до пам'яті російського композитора вона не позначилась ніяк, і саме після прочитання «Летописи» наш музикант якогось вечора грав у колі домашніх з великим піднесенням корсаковську «Шехерезаду».

(344, 298).

Незмінним старостою хору був дрібний службовець управління Південно-Західних залізниць на прізвище Гулак-Артемовський, який заявив, що він родич автора «Запорожця за Дунаєм», і дуже похвалювався цим. Він мав великі козацькі вуса й, навпаки, маленький, так званий другий тенорець. Одного разу хтось зауважив Лисенкові, яка, мовляв, користь для його хору від такого співака, як Гулак, а Микола Віталійович відповів:

— У нього справді дуже маленький голос, зате велика й надзвичайно ніжна любов до нашої пісні.

(201, 47).

Якось, коли вивчали ми «Гамалію», октавіст у відомій фразі «Розвій нашу тугу» (тут октава повинна покрити весь хор і виразити справжню тугу козаків, що сиділи в кайданах у турецькій неволі в Скутарі) не дав потрібної туги. Тоді Лисенко кинув диригентську паличку і закричав:

— Та це ж не дядьки, не дядьки співають панахиду, а запорозькі козаки тужать!.. Розумієте — тужать у турецькій злії неволі!.. Кириле Григоровичу, провадьте далі репетицію, — звернувся він до свого субдиригента Стеценка і, розгніваний, покинув репетицію.

(201, 43—44).

Якось у лютий вечір 1907 року, коли по всьому місту йшли поголовні арешти, на сходах нашого дому затупотіли важкі, ковані залізом чоботи.

— Відкривайте! Поліція!

Поліцаї перекидали все догори дном у їдальні, в кабінеті батька. Зовсім випадково не заглянули вони в мою кімнату, де саме тоді переховувалась солідна партія «нелегалів» /.../

На ранок весь Київ знав про арешт Миколи Віталійовича. Звідусіль посипались протести. Друзі Миколи Віталійовича дійшли навіть до жандармського управління. Там, видно, зрозуміли, що справа може закінчитись політичним скандалом: Лисенко-композитор був широко відомий не лише на Україні, а й у Петербурзі та Москві — і касували наказ про арешт.

— Ось в'язнищо скоштував, — жартував згодом Микола Віталійович, — тепер я стопроцентний підданий його величності!
(241, 283—284).

Це було на початку 1907 року.

Не знати з чого, з якого доносу, київська адміністрація постановила одної чудової зимової ночі заарештувати гуртом усіх українців*, щоб викрити, як, мабуть, думалось їй, колосальну змову. Як надумали, так і зробили — похапали усіх: старого Чикаленка, 71-літню вдову Драгоманова, приїхали і до Миколи Віталійовича — пристав, околоточний, городові, поняті — повна хата. Трус... Родина схвильована: «В чім справа?» Жодної відповіді. «Не беспокойтесь — всё будет разъяснено». А тим часом: «Пожалуйте... Имеется предписание арестовать вас и препроводить в Лукьяновский участок».

— Ну що ж, їхати то й їхати, тільки ось що, панове, — озвався Микола Віталійович до поліцаїв, — ви вже вибачайте, я людина старосвітська і додержую добрих звичаїв. Сядьмо на дорогу, щоб усе добре сідало.

Посідали здивовані пристав та околотки, городові й поняті. Підвівся Микола Віталійович, перехрестився на образи, перехрестився побожно пристав і всі асистенти. Тоді Микола Віталійович попрощався з родиною і скомандував:

— Ну, а тепер з Богом!

І здивовано, і схвильовано вирушали за Миколою Віталійовичем поліцаї. Микола Віталійович їхав з приставом. Мовчав довго пристав, нарешті глибоко зітхнув і озвався:

— Господи, и таких людей арестуют!
(386, 313).

**Аресты деятелей украинской культуры произошли 18 января (по ст. ст.) 1907 г. По сообщению газ. «Рада», в ту ночь были арестованы издатель этой газеты Е. Чикаленко, редактор М. Павловский, зав. конторой М. Синицкий, сотрудники Л. Пахареvский, Гр. Коваленко и Б. Ярошевский, а также Б. Гринченко, Н. Лысенко, К. Стеценко, М. Левицкий, В. Степаненко, Людмила Драгоманова (вдова М. Драгоманова), Леся Украинка, её мать и сестра (Олена Пчилка и Ольга Косач). Людмила Старицкая-Черняховская, С. Шемет, Юркевич, О. Коваленко и др.*

Сам Микола Віталійович у важкі хвилини тримався спокійно, з гідністю, навіть часом жартував.

Пам'ятаю, як після обшуку в 1907 році Лисенка було заарештовано. Привезений до Лук'янівського поліцейського участка, Микола Віталійович зайшов у камеру, привітався з присутніми, подивився на голі нари і сказав:

— Нарешті я хоч тут виспілюсь.

Потім зняв пальто, підклав під голову і ліг.

(262, 575).

Після шевченківського ювілею вороги Українського клубу не вгамувалися. За їхніми настирними клопотаннями та доно-

сами було проведено в клубі ревізію бібліотеки й читальні. І «ревізори» знайшли декілька книжок та газет львівських і взагалі тодішніх закордонних видань, що й стало приводом для закриття царськими сатрапами Українського клубу. І справжній фундатор його Микола Віталійович Лисенко незадовго до своєї смерті змушений був із сумом провести останнє засідання ради клубу.

Та залишилося після закриття чимало клубного майна: книжок, музичних інструментів, спортивних приладів тощо. Близькі друзі Лисенка, прогресивні українські діячі взяли на себе клопотання перед тодішнім київським губернатором Гірсом про відкриття клубу під назвою «Родина», що українською мовою означає «сім'ю». А губернатор, німець Гірс, сприйняв це слово як «батьківщина» і охоче дав свою згоду на відкриття клубу з такою патріотичною назвою. Отож невдовзі після смерті Миколи Віталійовича, в грудні 1912 року, відкрився в тому самому приміщенні по Володимирській вулиці, 42, з тим же майном колишнього Українського клубу новий клуб за назвою «Родина». І на першому засіданні цього клубу було урочисто виконано останній музичний твір класика української музики Миколи Віталійовича Лисенка — одноактну оперу «Ноктюрн».

(201, 186—187).

Під час навчання в /Музично-драматичній/ школі /М.В. Лисенка/ я мав нагоду спостерігати Миколу Віталійовича у діловій обстановці. Тут він завжди був по-діловому зосередженим і навіть ніби суворо вимогливим, а іноді й гнівним, — коли вимагали того обставини /.../ Особливо Микола Віталійович вимагав абсолютної чистоти клавішних інструментів.

Пригадую, що коли в театрі Садовського готувалась нова опера Лисенка «Енеїда»*, я спостерігав, як Микола Віталійович, сівши за театральний рояль, перше, ніж грати, виймав з кишені флакончик одеколону, вмочував хусточку, ретельно протирав клавіші і, обурюючись, говорив:

— І як ота ваша Міна Захарівна (піаністка) може грати на такому брудному інструменті? На ньому можна позбутися пальців.

(176, 625).

*Опера была поставлена в театре Н. Садовского на Большой Васильковской ул., в помещении Троицкого народного дома (теперь здесь Театр оперетты).

Взагалі він завжди турбувався за долю своїх вихованців.* Пригадую один гумористичний епізод. Одна з найулюбленіших його учениць — Поперек, — прийшовши на урок, повідомила Миколу Віталійовича, що виходить заміж. Лисенко зараз же скипів і вчинив їй неймовірний рознос, наче вона зробила щось неприпустиме. Він кричав, що тепер вона кине музику і займеться кухнею, пелюшками і т. ін. Розгублена дівчина, вибравши хвилину, запинаючись, сказала розгніваному вчителю:

— Адже ж ви самі, Миколо Віталійовичу, свого часу одружилися.

Не сподіваючись на таку відповідь, Микола Віталійович на мить зупинився, а потім голосно розсміявся. Весь його гнів миттю зник.
(54, 640).

**Ученики Музыкально-драматической школы.*

Не дуже книжечку /записник/ показуй-те, — /говорив М. Лисенко збирачам фольклору/, — бо охота /в людей/ пропаде до розмови. Через отаку книжечку трапилась зі мною одна пригода на контрактному ярмарку*. Був я тоді молодий, жадібний до пісні. А на контрактному ярмарку, скажу вам, збиралось у ті часи багато кобзарів, лірників з усіх кінців України. Народу біля крамниць, балаганів тьма-тьмуца. Гудуть, мов бджоли в пасіці. Іду від гурту до гурту. Аж тут захопив мою увагу старий сліпець-кобзар. Було щось від Данте Аліґ'єрі в його суворому, бронзовому від степових вітрів і сонця обличчі. «Ой з-за гори, з-за лиману вітер повіває», — тихо наспівував він під сумний акомпанемент кобзи, і ввижалась його одинока постать серед полинного степу Таврії. Сліпий, та зрячий душою. Посвист гострого чайчинного крила, писк ховрашків і гомін далеких хвиль, — все вбирає в пісню /.../ Отаке-то було співання. Дістав я свою книжечку і почав тут же, в натовпі, записувати з його голосу. Старий і не помітив би, та підказали... І одразу обірвалась пісня. Ні степу, ні моря, ні вітру з-за лиману.

— Що ж ти, чоловіче, — запротестував кобзар, — грабуєш у мене джерело прибутку, із рук видираєш мій важкий, сліпими слізьми обмитий хліб! То пісня наша рідна від дідів-запорожців.

— Довго я бився з дідом, — продовжував батько, — аж поки не переконав, що я йому друг, а не суперник. Привів додому, нагодував. Не відмовився старий і від доброї чарки. Тут я проспівав йому по-кобзарському «Про руйнування Січі», імпровізуючи супровід на роялі. Старий заплакав вже від радощів і попрощався, поцілувавшись, «як з братом».

(241, 130—131).

**Так называемые Контракты происходили на Подоле с конца XVIII в. в середине зимы.*

Оригінальний подарунок

У грудні 1903 року громадськість вирішила відзначити 35-і роковини служіння Лисенка рідному мистецтву. За словами сина композитора Остапа Лисенка, їх квартира все більше стала нагадувати поштове відділення: тут була злива привітальних листів і телеграм. Аж ось із привітання, підписаного редактором «Киевской старины», випав лотерейний білет. Усе пояснив лист до редакції: «Прошу шановну редакцію «Киевской старины» прийняти від мене задля ювілею високоповажного М. В. Лисенка оцей білет і щиро побажати виграти на ньому 200 тисяч карбованців».

Це писав Микола Аркас, автор славнозвісної опери «Катерина».

— Ну, і втнув мій тезка, — сміявся Лисенко, — не знаю, що й робитиму з таким капіталом. — І сам себе жартома заспокоював: — Нічого. Оце як налетять видавці-шуліки, все до зернятка розкладають.

(427, 224—225).

Батько мій, хоч теж не терпів релігійного фанатизму і забобонів, навпаки залишався людиною віруючою. До церкви він ходив більше задля співів і не раз повертався додому в супроводі довговолосого хориста, слухача духовної академії, який через короткий час пристав-таки до Лисенкового хору.

— Дивись, Миколо Віталійовичу, — жартувала мати, — покарає тебе Господь: у самого Бога переманюєш співаків.

(241, 196).

Ставлячись досить індивідуально (як майже і всі члени Старої громади) до релігійної справи, Микола Віталійович вважав за певний ритуал на Водохрещі нічого не їсти, поки не вип'є принесеної йому «свяченої» води з Дніпра.

Восени 1892 року у Києві була велика епідемія холери, яка притихла на зиму. І ось у січні 1893 року Миколі Віталійовичу приносять «свяченої» води. Постає питання, чи можна ж пити цю воду, чи «освячення» забиле в ній холерні бактерії?! Правда, можна прокип'ятити воду, бактерії буде знищено напевне, але ж яка вже «святість» у прокип'яченій воді?! І після деякого вагання Микола Віталійович відставляє набір горнятка з «свяченою» і починає із звичайним апетитом снідати. З цим ритуалом пиття «свяченої» води було покінчено назавжди.

(224, 152).

Пам'ятаю літературні й музичні вечори в Китаєві, куди слідом за нами приїжджав з родиною Михайло Старицький, відомий український письменник і драматург, найближчий друг нашої сім'ї, товариш, побратим Миколи Віталійовича з дитячих років. На цих вечорах часто бувала мати Лесі Українки — Ольга Петрівна Косач (Олена Пчілка). Приїжджала і сама Леся. І тоді до пізньої ночі точилися розмови. Батько охоче «звітував» перед друзями, виконуючи свої нові твори, потім наставала черга Старицького. Леся називала такі вечори «змаганням музики і літератури».

(241, 26).

Своїм ім'ям я* зобов'язаний цьому /гоголівському/ образу. Батько якось розповідав мені, що в рік мого народження (1885) він саме працював над сценою «Під Дубно», мавив Гоголем, синами Тараса. «Думали з мамою-небіжкою, гадали: Андрієм не назвем — зрадник, а Остап одразу до душі нам припав». Так я і став Остапом.

(241, 315).

*Фрагмент из воспоминаний Остапа Лысенко.

Не могу не поделиться с тобой еще одним очень курьезным происшествием (хотя это происходило месяца три тому назад, но последний финал произошел недавно)*. Коля Лысенко, как ты знаешь, преподает музыку в Институте благородных девиц и завел он с одной из них шуры-муры, началась между ними переписка любовного содержания. Барышня восторгалась своим 68-летним поклонником (а ей 17), показала и дала прочесть письма Н. В. своему задушевному другу, а сия подруга другому другу, и так письма Н. В. начали читаться всем классом и некоторыми преподавателями и попали к начальнице. И окончилась вся эта история тем, что Н. В. лишился заработка в две тысячи руб. в год. Можно предположить, что и для школы его это не будет полезно.

(114).

**Письмо датировано 15 марта 1907 г.*

Родина Лисенків була гостинна. Скільки не було б людей, всі на цих сходинах /у їхньому домі/ пили чай, їли добрі речі. Було людно і весело. І от несподівано померла дружина Миколи Віталієвича, Ольга Антонівна, народивши дитину. Це знищило цей гарний, милий український закуток /.../ Останній син, Тарасик, був хрещеником моєї матері /.../ Коли Тарасик підріс, мати постійно брала його до себе /.../ Микола Віталієвич часто заходив до своєї куми, і мама, і батько дуже його любили. Але приходив він не один: з ним завжди була його учениця, гарна, висока, огрядна панна... Микола Віталієвич був музикант, поет, і як міг не бути закоханим?! І в нього старого, як колись у Мазепу, заохувались навіть зовсім молоді його учениці. Ми не французи і в інтимне життя наших великих людей не втручаємось, навіть по їх смерті. Але не згадати цей романтичний прояв великого музиканта неможливо...

(462, 302).

/Тюрма не прикрашає людини/

Тяжка праця з постійним горінням виразною рисою проходить через усе життя Лисенка. Зневажливим виразом «панська хвороба» характеризував він лінощі та взагалі ухиляння від праці, од виконання національного обов'язку. І так до самої смерті, а помер він в 70 літ, помер нагло, вповні духовних і фізичних сил.

Духовна сила відбивалась на зовнішньому його вигляді так, що з того вигляду не можна було пізнати вже поважного його віку.

Щоб не давати людям матеріалу для здогадів у цьому напрямі, Микола Віталієвич допускався невинних хитрощів — прикрашував своє посивіле волосся. Всі те знали, але не помічали. Та одного разу — за ніч — «посивів». З якогось дурного приводу його було арештовано та продержано в буцегарні цілу добу. За той час не мав він можливості ужити своїх звичайних косметичних засобів, і земляки, що урочисто проводжали його поворот з буцегарні та ще й збіглися на той випадок до його дому, мали можливість на власні очі переконатися, що Микола Віталієвич «посивів».

З того часу, хоч косметику уживано уже в значно поміркованій кількості, але свіже обличчя, молоді рухи, енергійний вираз очей найліпше виправдовували оті невинні хитрощі.

(244, 190—191).

Характерний був звичайний вислів його обурення з приводу чийогось громадянського переступу чи недбальства:

— І що він собі думає?! — схвилювано вибухав у таких випадках Микола Віталієвич. Він просто не міг уявити собі психології негромадянського вчинку чи нехтування громадянською справою.

(244, 190).

В строго фіксовані дні улаштував Лисенко з іншими музикантами вечори камерної музики, де виконувано переважно твори класиків, зокрема лисенкового улюбленця Бетховена.

Пригадую, до речі, курйоз. Якось за програмою мав виконувати Микола Віталієвич із піаністкою Машір у чотири руки якусь композицію Сен-Санса. Машір чомусь не прибула, і Лисенко натомість програв дві власні речі. Другого дня у рецензії в газеті «Рада» стояло: «Чудові твори Сен-Санса у мистецькому виконанні Лисенка» і т. д. Рецензія підписана була людиною, що вважала і змушувала вважати себе за знавця музики.

(344, 300).

Петербургська громада вирішила пошанувати ювілянта коштовним дарунком і доручила ту справу одному із своїх членів. Сей хороший, щирий українець, великий прихильник Лисенка, як більшість тоді столичних українців, досить культав на українську мову, проте без поради й цензури сам склав і замовив у ювеліра вигравірувати напис на дарунку: «Від петербурзьких земляків М. В. Лисенку за його 35-літню некорисну працю».

Словом «некорисну» хотів у чистоті сердечній та простоті своїй філологічній означити московське «бескорыстную» і сам був після до відчаю доведений, що так негативно оцінив користь праці улюбленого композитора. Але переробляти вже не час було, дарунок з тим одвоєним написом вже поступив до рук ювілянта, який від'їздив того ж дня до Києва.

Тож ми з Стебницьким мали собі місію залагодити враження од такого невисокого рівня літературності петербурзьких земляків, що могла показатися гіршою за нечемність. Але з огляду на добрий настрій Миколи Віталієвича, що, мимо всього, спочивав у Петербурзі од своїх київських клопотів, місію нашу випало нам полагати легко, навіть незалежно од тієї умилювальної гетакомбі екзотичних фруктів, що ми йому коштом од Єлисеїва принесли на дорогу.

Сам Микола Віталієвич прийняв справу дуже добродушно, але фатальний той напис поїхав до Києва, а там його земляки на зуб взяли, і до нас відгук від нього дійшов уже у вигляді анекдота, що дуже невигідно трактував літературність петербурзьких українців.

(244, 191—192).

Приходить кухарка, щоб пані перебрала

рахунок з базару.

Треба прервати розмову.

— Ох, нудота!

— Постій, я порахую, — озивається Микола Віталійович. — Ну, кажіть!

— Масло — 20 копійок, сметана 8 копійок, утка 35...

Микола Віталійович писав і тут раптом спиняється.

— Що за «утка»?

— Ну, утка...

— Не розумію.

— Ну, качка.

— То так і кажіть. Чи то по-вашому не качка зветься?

— По-нашому качка, а по-вашому...

— І по-нашому так!

(298, 328—329).

Микола Віталійович дуже полохливо ставився до стану свого здоров'я. Іноді увечері йому здавалося, що він хворий, що у нього температура тощо. Моментально на сцену з'являвся термометр, поставав навколо серйозний настрій, і хоч навіть по кількох спробах температура не перевищувала нормальної, Ольга Андріївна висловлювала припущення, що термометр зіпсований. Микола Віталійович погоджувався з цим, але настроїв у нього крашав, і він незабаром забував за симптоми хвороби.

(225, 464).

До п'єси «Гетьман Дорошенко» М. В. Лисенко написав знаменитий марш, який так і зветься «Марш гетьмана Дорошенка». Цей марш так пасує до загального враження від самої п'єси і створював такий гіпнотичний настрій, що публіка плакала. Я сам*, граючи, ні разу не міг кінчити ролю без сліз, які мимоволі текли з моїх очей /.../

М. Лисенко, написавши його /марш/ й бачачи, яке враження він справляє на слухача, висловив якось при родичах і при декому з громадянства побажав, що коли він помре, хай цей марш грають на його похороні. Звичайно, це було сказано так, між іншим, не думаючи скоро вмерти, але смерть несподівано скосила його в одну мить. Ще вчора всі ми його бачили веселого, як завжди жартівливого, в театрі за лаштунками, куди він зайшов, так немов прочував, що це він востаннє з нами. Ішла п'єса «Жарт життя» С. Черкасенка, на кону декорації — ганок старовинного панського будинку з колонами. Микола Віталійович вийшов на сцену, глянув на обстановку, сів на ганку між колонами й каже мені:

— Це так я тепер сиджу на сцені, на таких самих ганку, як колись давно, в молодих літах, сидів на ганку батьківського дому на Полтавщині.

Так він трохи посидів, далі попрощався з усіма акторами, що оточили його тут, і пішов дивитися п'єсу далі. А другого дня о 9 годині вранці прийшла звістка,

що його вже немає поміж нас. Ця несподівана звістка всіх нас приголомшила і сумом обгорнула всю Україну.
(356, 186—187).

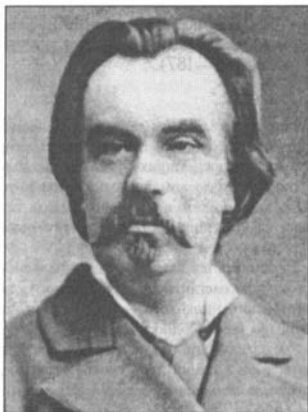
З гостями, з усіма людьми завжди був Микола Віталійович лагідний, ласкавий, витончено чемний. Йому високою мірою притаманна була та риса, що звуть по-російськи «обаятельность». Кажуть, тільки на хорових репетиціях бував він іноді такий грізний та гнівний, що ніби аж довів одного разу до зомління власну свою дружину... На цім місці, може, буде дозволено мені припом'янути, що Микола Віталійович був дуже податний на жіночі чари і сам до кінця життя, срібноголовий чарівник, користувався з великого успіху у жіноцтва, ба й дівочтва.

Тримався він завжди рівно й бадьоро, у концертному залі поводився з трохи старомодною елегантною урочистістю. Одного тільки разу довелось мені бачити його втомленого і похилого — це коли він пізно ввечері вертався пішки додому і певний був, що нема жодного свідка...

А взагалі самовладання і витривалість були у небіжчика дуже великі, і оповідають, ніби в самий день своєї наглої смерті він, тяжко хворий на серце, не зрадив, проте, повсякденної звички і зіскочив біля домівки з трамваю на повний ході...
(344, 298—299).

М. П. СТАРИЦКИЙ

Михаил Петрович Старицкий (1840—1904) — писатель, театральный и общественный деятель. Родился в с. Клищинцы на Черкасщине, рано остался сиротой и воспитывался в семье своих родственников Лысенко. С детских лет — поборник Николая Лысенко, а со временем — его соратник и единомышленник. Учился в Харьковском (1858—1860) и Киевском (1860—1866) университетах. С 1867 г. жил в Киеве. Писал стихи (среди них прекрасные лирические зарисовки киевских ночных пейзажей), прозу, водевили (в свое время огромной популярностью пользовалась его пьеса «Як ковбаса та чарка, то минеться і сварка»). Владеа секретам сценического искусства и зная вкусы широкой публики, умело адаптировал для сцены произведения других драматургов. (Так, благодаря ему пьеса И. Неучая-Левицкого «На Кожум'яках» стала действительно бессмертным шедевром «За двома зайцями»). Один из основателей нового украинского театра. В 1872 г. он вместе с Н. Лысенко создал небольшой драматический кружок и написал сценарии для первых музыкально-драматических произведений своего поборника — для оперетты «Черноморці» и оперы «Різдвяна ніч». С 1883 г. был директором (и заодно меценатом) первой украинской профессиональной труппы М. Кропивницкого, а после его ухода возглавил ее. В 1892—1897 гг. — ди-



ректором и режиссер труппы Н. Садовского. Принимал участие в работе Литературно-артистического общества. Считался лучшим чтением-декламатором Киева, непревзойденным исполнителем стихотворений Т. Шевченко, Леси Украинки и других авторов. Много печатался, его пьесы не сходили со сцен украинских театров, но в силу своей непрактичности и альтеризма умер в нищете.

Был женат на сестре своего поборника Софии Лысенко. Отец известной писательницы Людмилы Старицкой-Черняховской и драматической актрисы Марии Старицкой. В 1898—1904 гг. жил в соседнем доме с Н. Лысенко на нынешней ул. Саксаганского, № 93, на котором установлена его мемориальная доска.

Многие киевляне знали его как заведующая артистического кафе на Лютеранской. В их глазах он был живым воплощением жизнелюбия, артистизма, остроумия и порядочности киевлянина-украинца.

Огрядна, мальовнича, характерно українська постать Михайла Петровича Старицького... Вже своїм зовнішнім виглядом — типовим українським обличчям з довгими вусами, в синій шапці, в синій чумарці з сивою смушевою оторочкою — се була жива реклама українця для того часу, коли все українське було штучно заховуване або само воно соромливо ховалося. Де б не появлялася та характерна постать, на літературних або громадських зборах, чи просто навіть на вулиці, зараз звертала на себе увагу, і чулося звідусюди — «Старицький! Старицький!» (244, 193).

Первое личное знакомство с М.П. Старицким, — /пишет Олена Пчилка/, — произошло уже в этот совершенно определившийся период его украинского авторства*. Это было в Киеве, весной 1865 г.

Я была ученицей уже последнего класса «Образцового пансиона для благородных девиц»** и так как мой брат, Михаил Петрович Драгоманов, был уже тогда женат (и был даже у нас учителем), то меня отпускали из моего полузакрытого заведения к нему в гости по праздникам /.../

У брата и жены его бывало очень много знакомых, товарищей брата и др. Однажды явился в эту скромную, но радушную квартиру на тогдашней Жандармской улице*** и М. П. Старицкий. Мне он показался «приезжим», во всяком случае весной 1865 г. я видела его в первый раз. Его эффектная фигура сразу обращала на себя внимание, к тому же он был в очень красивом украинском наряде (роскошно вышитой сорочке, жупане и пр.)

Михаил Петрович принес моему брату показать свои украинские переводы. Читать их перешли в кабинет. Привлеченная необычайной декламацией, я тоже проникла в кабинет... По окончании чтения гости и хозяин что-то говорили; я слушала, — конечно молча, сидя в сторонке.

— А вам нравятся эти стихи? — спросил меня М. П. Старицкий.

— Да, — ответила я, — они такие необыкновенные.

Оба Михайлы Петровичи рассмеялись. Между тем стихи Лермонтова, Мишкевича, Байрона по-украински в тогашнее время могли показаться «необыкновенными» не только юной «пансионерке», но и представителю более серьезной публики, более знакомой с литературой.****

После этого, когда М. П. Старицкий приносил свои пробы, он шутя приглашал и меня:

— Хотите послушать «необыкновенные» стихи?

(320, 403).

*Поначалу Старицький-гимназист писав стихи по-руськи. Українським письменом він почувствовав себе лише в Києві, на студентській скам'язі.

**Частинне заведення, середнє між Інститутом /благородних девиць/ і позднішими /жінськими/ гімназіями. — Прим. автора — Олени Пчилки.

***Пізніше — Маринсько-Благовещенська, нині — ул. Саксаганського.

****Ранні спроби Старицького на українській мові (переклади, лібретто) відзначалися нарочитою витонченістю та неестественними неологізмами.

за что и подвергались справедливой, а иногда и язвительной критике. Своим наивным высказыванием юная ценительница попала в самую точку, чем, очевидно, и вызвала смех писателей.

В 1866 г. Старицкие поселились уже в одном доме с моим братом /М.П. Драгомановым/, где остались и на другую зиму — 1867-го и 68-го годов. Обе квартиры соединены были даже одним внутренним ходом, так что сообщение между ними было постоянное, — иногда нельзя было даже разобрать, кто к кому приходил, т. к. гости Старицких переходили к нам, а наши переходили к Старицким. Во флигеле того же двора Войцеховского на Жандармской улице жил также в зимний сезон 1866 и 1867 годов Н.В. Лысенко. Так как у Драгомановых было фортепиано, то компания собиралась больше у них. Этому фортепиано было много работы!.. Много на нем играли, много под его аккомпанемент пели!..

По этому поводу у меня невольно встает в памяти одно забавное обстоятельство: под это фортепиано, под его звуки пелась целая шутильная «опера», текст которой касался тогдашней литературной, календарно-издательской злобы дня*, а музыкальные мотивы были подобраны к нему из итальянских опер, очень популярных тогда в Киеве, так как едва ли не впервые гостила тогда в Киеве целый сезон итальянская оперная труппа. Я не знаю, кто именно был творцом этого юмористического текста (на русском языке)***, но в Киеве приписывали его обитателям дома Войцеховского; опера была очень остроумна и приобрела очень большую популярность далеко за пределами Жандармской улицы: ее пели не только на Новом Строе, но и в салонах Липок, по крайней мере, несколько времени спустя, мне пришлось слышать ее (уже на Вольни) от приехавшего из Киева светского гостя Вл. М. Юзефовича***.

(320, 403).

*Речь идет о полемике вокруг первых книг «Киевского народного календаря» А. Андрияшева. Издание готовилось к печати небрежно, в спешке, в нем встречалось немало ошибок и опечаток, в том числе и курьезных. Кроме того, выпуская свой календарь для населения Украины, Андрияшев принципиально игнорировал украинский язык, культуру, обычаи, местные народные традиции и придерживался официальной «общерусской» (русификаторской) линии, что вызывало возмущение многих деятелей культуры, особенно молодых «украинофилов»-громадцев.

**Другие мемуаристы указывают в этом случае на Драгоманова и Старицкого.

***Сын известного деятеля Михаила Юзефовича хоть и дружил в студенческие годы с «украинофилами», не забывал выслуживаться перед начальством и, подобно отцу, умело пользовался методом политической интриги и провокации. Свою карьеру он начал с того, что познакомил с крамольным содержанием «Андрияшевы» посетителей аристократических салонов Липок. Первой жертвой его провокации стал автор острых куплетов к этой «оперетте» М. Драгоманов, которого «за вольнодумство» (проявленное и в куплетах) лишили права преподавания в университете.

Процес перетравлення духовного надбання людства переживається в мові кожного народу болісно та триває довгий час, на протязі не одного покоління, і всюди роля піонерів — тяжка і невдячна. Такими піонерами у нас в 70-ті роки минулого століття були М. Старицький та О. Косач. Їхні переклади з чужих мов були актом /.../ великої відваги, бо коли ще за яких 50—60 літ перед ними, за більш сприятливих умов, зазнав на собі в'длого глузування російський новатор М. М. Карамзін, то вже українські новатори тим більш мали стати об'єктом глузу /.../ М. Старицького мальовано в карикатурах поруч з О. П. Косачевою: перший гатив великим молотом по ковадлі, коб нього молоточком стукала О. П. Косач, а з-під молотків іскрами розліталися різні неподоби «ковані» слова*. Зокрема М. П. Старицькому засвоювано такий переклад відомого монологу Гамлета:

— Бути чи не бути? Ось в чім заковика.

Розуміється, ті перші переклади не були бездоганні, штучних виразів та зворотів було в них досить, але літературне реагування на них мало характер не критики, а нахабних збитків чи — як у наведеному прикладі — чистого наклепу.

(244, 194—195).

**Так тогди называли искусственно сконструированные, необычные слова, неологизмы.*

Нам чудно тепер подумати, що сама думка про переклад «Гамлета» українською мовою адалася сучасникам Михайла Петровича /.../ надто «дерзновенною» і навіть неприпустимою. А це таки було! Ніхто інший, як український (і російський) письменник Данило Мордовець* у пресі підпирав, а може, навіть і сам пустив у світ брехливу вигадку, ніби знамениту фразу Гамлета «Бути чи не бути, от де питання!» Старицький переклав: «Бути чи не бути, от в чім заковика!» (Насправді це місце у Старицького перекладено так: «Жити чи не жити? От в чім річ!») Ніхто інший, як колишній друг Шевченка Микола Костомаров, що писав українські поезії під псевдонімом «Ієремія Галка», а як історик України становить і нині недосяжний візирець, писав взагалі про перекладання класичної спадщини українською мовою: «Лучше оставит всех Байронов, Мицкевичей etc. в покое и не прибегать к насильственной ковке слов и выражений, которые народу непонятны, даже сами произведения, ради которых они куются, народу не понятны и пока не нужны».**

Я підкреслив слова «насильственная ковка». Це саме був той пункт, за який особливо боліче і несправедливо били Михайла Петровича.

Костомаров, чоловік високої освіченості, та й інші його сучасники не могли не знати, що в процесі створення літературної мови неминучий момент «ковальства», тобто вживання слів у ширшому значенні, ніж у народному вжитку, і створення нових слів — для нових понять — згідно з законами мови. Але те, на що мали право, скажімо, Ломоносов та Пушкін, адалося їм, тим друзям — не кажу вже про ворогів, — непростенним злочиним, коли брався до нього Старицький. Тут уже не тільки чудно, але й смішно (а тоді було й страшно!) помислити, які бурі зчинилися навколо кожного нового вірша чи перекладу Старицького, навколо таких звич-

них тепер для нас слів, як «мрія», «темрява», «сутінь», «привабний», «знадливий», «наруга», «байдужість», «невимовний», «учта» і т. д. — слів, з яких частина взята була безпосередньо з народних уст і тільки невідомими зоставались пуристам-критикам, а інші «сковані» були із щиронародних елементів за допомогою цілком правильно взятих суфіксів й префіксів!

Старийкий як реформатор мови — це тема, що чекає ще на сумлінного дослідника. (341, 84—85).

* Мордовец (Мордовцев) Даниил Лукич (1830—1905) — известный прозаик, поэт, историк, этнограф.

** Цитата из статьи Н. Костомарова «Задачи украинофильства» (Вестн. Европы. — 1882. — №2. — Лит. обозрение. — Т.1).

Члени Старої громади/ знову ваялися до постійної праці над українсько-російським словником, що складали гуртом при участі Антоновича, Житецького, Лисенка, Старицького, Ольги Петрівни Косач та інших.

У кабінеті Михайла Петровича /Старицького/ сиділо почесне товариство. Біля столу Ольга Петрівна Косач з гаптом у руках, поруч з нею Михайло Петрович, записуючи признані слова, і навкрузи по кімнаті інші співробітники.

Стали на слові: не знаходять, не погоджуються.

— Але ж на селі якось кажуть на те, — завважує Михайло Петрович, — Людзя*, піди на кухню, поклич сюди Мотрю.

Прийшла Мотря, чи Матрона, як звали називати її, яка вже з десяток років перебуває від часу до часу у Старицьких. Вона спинилася на дверях і без жодної нежовкості прилучається до громадської роботи. Сказала відповідне слово, побалакала з того приводу і пішла.

(298, 358—359).

* Дочь писателя, будущая писательница Людмила Старицкая-Черняховская.

/Юбилей по-запорожски/

Вспомнили, что трудится Михаил Петрович давно — и в 1894 г. устроили его 30-летний юбилей. Этот юбилей был отпразднован в тесном товарищеском круту, быть может, чересчур тесном: решено было отпраздновать юбилей исключительно в круту товарищей, следовательно, без участия дам.*

Не знаю, почему именно к этому празднику, 30-летия литературной деятельности Михаила Петровича, приложен был архаический принцип Запорожской Сечи...** Может быть, это вышло случайно, но многие давние знакомые Михаила Петровича, много лет уважавшие его, были очень огорчены, лишившись возможности принять участие в чествовании уважаемого деятеля. В особенно неприятном положении очутилась я***, т. к. зная о времени юбилея Михаила Петровича, но не зная о слишком частном характере устройства его, я собственно для юбилея Михаила Петровича и приехала в Киев...

Пожалуй, благодаря личному заявлению Михаила Петровича, я могла бы попасть на его юбилей, но добиваться исключения для себя было бы некстати и неловко по отношению к другим дамам, — и я осталась в квартире Старицких, у которых остановилась****. Мое личное поздравление Михаила Петровича в день его «свята» было во всяком случае принесено.
(320, 434).

*Гостьями были только дамы из семьи юбиляра — его жена и дочери. —

Прим. автора.

**Эта архаическая форма дискриминации применялась также и в работе киевской Старой громады, на заседания которой женщины не допускались. Исключение делалось только для Анны Берло, о чем она с гордостью сообщает в своих мемуарах. В свою очередь, дамы из Общества дневных приютов, организованного Громадой, не допускали в свою среду мужчин.

***Олена Пчилка.

****Из этого следует, что юбилей отмечался в клубе или ресторане, а не в доме юбиляра.

У Старицких — весела метушня: збираються до опери. Все там робилося рухливо, весело /.../ Дівчатка /.../ напали на Софію Віталівну* в десятій раз, щоб розказала їм зміст опери «Євгеній Онегін».

Щоб відчепитися від них, Софія Віталівна відповідала так:

— Це нескладна річ: в першій дії Онегін дав дулю Тетяні, а в останній вона йому її повернула.

Михайло Петрович підтвердив, що так воно й є.

(298, 366).

*Жена М. П. Старицького, сестра Н. Лысенко.

/Експромтна сценка/

Лора /Валерія О'Коннор/ увійшла до Старицких в незачинені двері, було так тихо, немов нікого дома. Але в другій кімнаті вона побачила Михайла Петровича і Софію Віталівну, що сиділи тихо в задумі, мовчки дивлячись на неї. Вона, збентежена, підійшла до них. Чи не сталося чого?

— Уяви собі, — журно обізвався Михайло Петрович, — Шекспір не був Шекспір.

— Як так?

— Ми оце прочитали цілу розвідку. Хтось інший під найменням Бекон чи що... Це страшенно сумно: весь вік жити з образом Шекспіра, з цим генієм в його поstattі і його прізвисьці, і раптом — то не Шекспір!

В очах Михайла Петровича десь глибоко за журним поглядом мигтів жартівливий вогник.

Лора почала заспокоювати Михайла Петровича й Софію Віталівну, додержуючи поважного тону, як у дійсному горі. Всі розсміялись.

(298, 371—372).

Вважаючи театр засобом боротьби за свої народомісні прагнення, Старицький, як я дізналася згодом, продав свій маєток, щоб організувати зразкову трупу і тим піднести українське театральне мистецтво*. Не один раз я чула, як Старицький, повний завзяття, казав своїм численним відвідувачам:

— Ми — українські дітячі, ми повинні наочно довести всім нашим друзям, а особливо ворогам української справи, що наш народ вже може посідати і свій театр, і свою школу, і свою власну національну культуру.

Тому так багато витрачав Старицький і грошей і зусиль, щоб підготувати для свого театру все найкраще, не шкодував грошей ні на художників, ні на коштовні тканини для театральних костюмів. Весь час він обмірковував, яке сценічне оформлення краще підійде до вистав, запланованих ним для показу майбутній публіці /.../

Усі ескізи до вистав Михайло Петрович доручав робити найкращим художникам. Він боявся у такому важливому ділі довіритися своєму власному художньому чуттю /.../ Лисенко готував театральний хор.

(402, 43).

**Первой профессиональной украинской труппой в Восточной Украине считалась труппа Григория Аркашенка, которая играла в 1880—1882 гг. В зимний сезон 1882/1883 г. возникла труппа М. Кропивницкого, который в августе 1883 г. передал свои права антрепренера и директора М. Старицкому. Писатель считал свой театр лицом украинской культуры, символом её плодотворного развития. Ради театра он продал свое имение, а полученные средства использовал для безупречного довольствования актеров (они зарабатывали намного больше, чем в других театрах), на прекрасные костюмы и декорации, на содержание большого хора и т. д. Денег у писателя было много, но их хватило ненадолго.*

/Корифей театру проти корифеїв шахів/

Віддавши все своє майно на український театр, Михайло Петрович жив тільки з гонорарів, одержуваних за свої п'єси, жив дуже скромно. Взагалі був у всьому надзвичайно скромною й привітною людиною. Єдиною пристрастю його, крім, звичайно, театру, були шахи, і грав він в них дуже добре. Грав навіть з корифеями шахів у невеличкій кав'ярні, яка містилася внизу на колишній Лютеранській, а тепер вулиці Енгельса. Іноді й вигравав у цих корифеїв. Мав, здається, навіть третю категорію.

(201, 41).

Найбільше прикостей мав М.П. Старицький з приводу своїх драматичних творів. Він добре знав і глибоко розумів сцену — її умови і вимоги, був вправним техніком, але бракувало йому того, що Тургенів називав «видумкою» — щодо сюжету. Тому він досить часто брав сюжети інших авторів, не досить сценічно оброблені, і вони набирали в нього значної сценічної ефективності.

Ся риса його літературної творчості завдавала йому часто і багато неприємнос-

тей, головню якраз тому, що ворожі українству елементи, бажаючи взяти Миколу Петровича за об'єкт своїх нападів, раді були б і штучно утворити якийсь привід до того. Особливо вправлявся у злісних нападах на нього українофобський «Киевлянин» в особі театрального рецензента Александровського, який у своїх рецензіях щодо Старицького допускався навіть обвинувачень у плагіаті.

З цього приводу підняв Михайло Петрович судове оскарження проти Александровського. В тодішньому становищі українства така судова справа мала в собі великі труднощі для сторони ініціативної, бо справа в значній мірі залежала від висновків літературної експертизи, а при загальному неприхильному до українства успособленні експерти з засади не схилялися в бік український, або боялися виявити свої «українські ухили».

Старицькому так і не довелося покарати напасника, і справу закінчено миром, хоч уже згорі ясно, що коли б сей мав би ґрунт під собою, то, за згадуваних умов зовнішньої переваги, не запропонував би миритися.

(244, 193—194).

М. П. ДРАГОМАНОВ

Михаил Петрович Драгоманов (1841—1895) — публицист, историк, фольклорист, экономист и политический деятель. Родился в дворянской семье в г. Гадяче Полтавской губернии. Окончил Киевский университет (1863), с 1864 г. служил в нем приват-доцентом, а с 1870 г. — доцентом. Один из основателей Киевской громады и лидер ее левого, социалистического крыла. В 1875 г. уволен из университета по личному распоряжению царя Александра II. В 1876 г. выехал за границу по поручению Громады для налаживания там свободной украинской прессы. В 1878—1882 гг. издал в Женеве 5 сборников «Громада». С 1889 г. — профессор на кафедре общей истории Софийского университета. Со временем связь Драгоманова со своими единомышленниками в Киеве ослабевала. Громадовцы постепенно отходили от радикализма, некоторые из них, как, например, П. Житецкий, вообще чуждались социалистов и охотно сближались с либерально настроенными представителями царской администрации. В. Антонович получил даже звание действительного статского советника, т. е. гражданского генерала. Круг приверженцев Драгоманова предельно сузился. В 1886 г. произошел окончательный разрыв Драгоманова с Киевской громадой. Киевские культуртрегеры перестали финансировать леворадикальные издания своего бывше-



го единомышленника. В женевский кружок «драгомановцев» входили С. А. Подолинский, Я. Н. Шульгин, М. Ковалевский, Ф. Вовк и др. Он считается первой украинской социалистической организацией. В Галичине среди «драгомановцев» были видные деятели украинской культуры — И. Франко, М. Павлюк и О. Терлецкий. В 1890 г. галицкие радикалы образовали Украинскую радикальную партию (РУП), которая под руководством Драгоманова вела революционную пропаганду. В Восточной Украине после революции 1905 г. «драгомановцы» создали Украинскую радикально-демократическую партию (позже — социалисты-федералисты), имевшую большое влияние на деятельность Центральной Рады в 1917—1918 гг. Судьба Драгоманова трагична: в

СССР он считался «националистом» и «мелкобуржуазным либералом», а за границей многие деятели украинско-

го национального движения осуждали его за якобы чуждые украинскому народу социалистические взгляды.

Драгоманову, як людині з соціалістичними переконаннями, деякі члени Громади, за словами батька /В. Антоновича/, не раз закидали, що, мовляв, радикали зовсім не хотять знати українства, але на це він гостро відповідав, що той не радикал, хто на Україні не визнає українства, як і навпаки, кожний українофіл, що не думався до радикалізму, є нікчемний українофіл. На цьому ґрунті ще до еміграції деякі члени Громади нарікали на Михайла Петровича, що він, мовляв, затіяв «общий кавардак» і хоче перевернути все дотори ногами і скерувати в одне річище і радикалізм і українофілство.

(14, 126).

Не дивачись на принципові розходження в соціально-економічних, політичних і національних питаннях, все ж Громада вважала за свій моральний обов'язок матеріально підтримувати Драгоманова і його видання. Правда, гроші часто посилалися йому /за кордон/ нерегулярно, приходили іноді з великим запізненням (часом, побувавши в декількох осіб, і зовсім не доходили, повертаючись до Громади тільки через місяців три-чотири). Подібне ж було з листами. Тим часом Драгоманов, не маючи ні моральної, ні регулярної матеріальної підтримки, дуже нерував і нарікав на Громаду за недодержання своїх обіцянок та неадаптість не тільки до політичної, а навіть і до видавничої роботи, в гострих виразах докоряв Громаді за дилетантизм, археологічну романтику і лакейську філософію, невідступно рекомендуючи зрештою всякої провідної ролі в пропаганді українства як національно-політичного руху. Такий стан доводив його іноді до неприємності; так, не одержуючи довго від Громади ніяких вістей, він просто заховорів і написав їм листа в різких виразах, що «вони певно з холери помирали».

(14, 131).

Коли ми записувалися у готелі /у Львові/ на картках для приїжджих і задумалися над графою — який наш «характер», тобто заняття, то він /Ф. Вовк/ розказав, що колись Драгоманов у цій графі написав: «Весьма строптивый», що, певне, й було в дійсності, коли судити по його сестрі Олені Пчілці та по оповіданнях його товаришів.

(451, 322).

Зазнайомилась я* з Михайлом Петровичем Драгомановим у Києві р. 1873, коли в нашому помешканні виставлювано «Чорноморський побут» та «Різдвяну ніч». Веселий, чудовий оповідач, дотепний у розмовах, він завжди, нехай коли приходив, ставав душею в товаристві. Його гумор чимало надавав гостроти його розмові. Іронічно усміхаючись, він завсіди скеровував свої жарти в слабе місце людини чи справи. Молодий, непоганий на вроду, вже тоді відомий вчений, Михайло Петрович любив життя.

Траплялося, він захоплено танцював вальс і мав його за найкращий танок /.../ Між Лисенком, тоді молодим музикою, що недавненько закінчив свою музичну освіту в Ляйпцизькій консерваторії, і молодим проф. Драгомановим була якнайтісніша дружба. Вони самі тоді склали багато удвох дуже оригінальний твір, так звану оперету «Андрюшяду»; текст належав Драгоманову, а музику, — складену з різних мотивів найбільш на той час популярних опер («Травиата», «Марта Траваторе» тощо), підібрав Лисенко. Андріяшев — це був інспектор народних шкіл, що з нього був один з найлютіших україножерів (воно правда, й всяка шкільна округа київська, відколи пішов куратор Пірогов, не пасла задніх). Саме під той час Андріяшев видав народного календаря московською мовою і сподівався прислужитись цим своєму начальству. Тільки ж Драгоманов не міг йому цього простити — та й справді, який може бути на Київщині «Народний календар» московською мовою — для кого, для якого народу? Тож в «Андрюшяді» Драгоманов глузує з Андріяшева, змальовуючи його під ту хвилину, як виходить з друку календар.

Прагнучи популярності, Андріяшев збирав у себе по суботах учителів Першої гімназії. Михайло Петрович і змалював саме оту суботу, перипу, як вийшов у світ календар, коли Андріяшев, увесь захоплений надіями, що начальство напевне винагородить урядовця за такий протисепаратистський виступ, співає: «Орден, орден, орден, орден і дві тисячі в карман».

Тільки ж дружина анітрохи не поділяє його мрій і незадоволено співає: «Что, Фомич, так разыгрался, хоть маэстр, а все болван».

Дуже гарно, з правдивим гумором, охарактеризував Драгоманов постаті пригноблених під той час учителів. Вони на цей «чай» ходять наче на службу, побоюючись, щоб часом не прогнівити начальство. Лисенко дав їм дуже цікавий хор цілком у мінорі: «Вот так каждую субботу». Хор той перебивають окремі протести: «Все тот же чай с лимоном, ну хоть бы ром».

Цю «Андрюшяду», твір веселого настрою Драгоманова, повний його особливого гумору, довгий час переховували близькі приятелі М.В. Лисенка Тумасов та Юркевич, правдиві консерватори численних Лисенкових манускриптів. Вона була дуже популярна серед членів Старої громади. Частенько згадують, бувало, громадянин, як мого переслідує київська влада нашу мову, нашу культуру та й закуряться, аж ось Житецький або Русов заспівають котресь соло з «Андрюшяди» й усмішка знову вертається на зажурені обличчя наших громадян.

(243, 75).

**София Линдфорс.*

Драгоманов любив посміюватись над своїми; ще з київських часів відомі його гумористичні віршики, завжди російською мовою. Отже, про батька /автора мемуарів/ він казав:

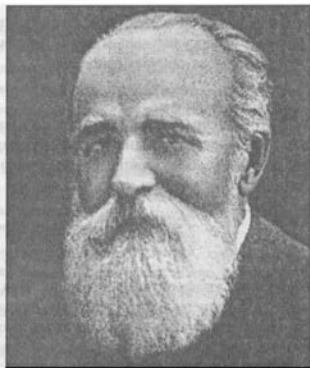
— Ах, какой прекрасный мальчик, Яшечка Шульгин: утром ходит на прогулки, покупает маме булки и бутылки вин... А Лиду хоть кинь.

Ліда, себто Лідія Михайлівна Шішманова, як говорив батько, була вже тоді дуже екзальтована дівчина, захоплювалася музикою, але... убрання своє розкидала часом де попало, і Михайло Петрович мусів його підбирати...

(462, 232).

Я. Н. ШУЛЬГИН

Яков Николаевич Шульгин (1851—1911) — украинский общественный деятель, историк. Сын чиновника особых поручений при киевском генерал-губернаторе Бибикове. Рано стал сиротой. Воспитывался в доме своего дяди, профессора Киевского университета В.Я. Шульгина. Учился во Второй гимназии вместе со своим кузеном, будущим историком Киева Владимиром Щербиною и известным общественным деятелем, последним редактором «Киевской старины» Владимиром Науменко. В 1874 г. окончил историко-филологический факультет Киевского университета, где учился у В. Антоновича и М. Драгоманова. В молодые годы — друг и соратник Драгоманова, его представитель в Старой громаде. В 1879 г. арестован за нелегальную деятельность и сослан на 4 года в Сибирь. По протекции бывшего киевлянина, либерального министра финансов проф. Бунге, устроился контролером Государственного банка в Елисаветграде. Сошелся здесь с другим драгомановцем — Афанасием Михалевичем и прини-



мал активное участие в работе его нелегального кружка. Среди членов этого кружка были также Е. Чикаленко и братья Тобилевичи (будущие артисты Саксаганский, Садовский и Карпенко-Карый). В 1899 г. Шульгин возвращается в Киев и работает учителем словесности в частной гимназии Валькера и Первой гимназии, куда ему, как неблагонадежному, устроиться было не так-то просто. Продолжил работу в Старой громаде, был одним из членов-фундаторов Украинского научного общества в Киеве и активным сотрудником Общества Нестора Летописца. Среди его научных исследований наиболее известен «Очерк Колиивщины», напечатанный в «Киевской старине» в 1890 году.

Молодой Шульгин наследовал после отца 10 или 15 тысяч руб. Он оригинально этим наследством распорядился: отдал его малороссийскому кружку, а этот передал деньги Драгоманову на печатание «Громады» — малороссийских сборников.

Шульгин, отрекаясь от наследства в пользу общего дела, руководствовался следующими убеждениями: деньги, доставшиеся ему, перешли к его отцу от деда. Дед его был интендантским чиновником, скопившим хороший по тем временам капитал по-

средством взяток и казнокрадства. Не приходится ему брать в свою пользу деньги, нажитые предосудительным способом. Для очищения греха праспудев они должны быть употреблены на общественное дело.

(174/Б, 407).

Громада призначила його бути зв'язковим з Драгомановим. Отже, він писав до останнього листи таким способом: лист розрізувався посередині, в одному конверті надсилалась одна половина сторінки, а друга — в іншому. Конспірація, якою можна було збити з пантелику хіба що тодішню поліцію: спробував би хтось цю методу за радянських часів!

(462, 233).

«Евангельский юноша»/

Якийсь час, певно короткий, після закінчення університету, батько ще був у Києві, але десь у 1876 році подався за кордон, де вже був його вчитель Драгоманов /.../ Деякий час батько був у нього близьким співробітником і нічого не шкодував для української справи, а від Драгоманова одержав той титул, з яким і на той світ одійшов: посмертний некролог С. Єфремова, присвячений батькові, носив назву: «Евангельский юноша».

Не знаю, чи так прозвав Драгоманов батька за його вдачу, чи за один тільки чин, який сам за себе говорить: батько одержав у спадщину від покійної матері 12 тисяч карбованців і, відклавши собі на свою подорож за кордон та додаткову науку 2 тисячі карбованців, не менш 10 тисяч карбованців (золотих) оддав Драгоманову, спершу на школи, але за дозволом батька Драгоманов ужив ці гроші на видання «Громади». На той час це була поважна сума, на яку можна було видати не одну книжку...

(462, 231).

Така лагідна, м'яка назовні, але тверда в своєму громадянському поступованні постать Якова Миколайовича Шульгина, що дістав серед ближчого оточення характерну назву «Евангельського юноші», — назву, що символізує безоглядну відданість своїй людині українській справі... Хто знав Я. М. Шульгина, того найбільше вражали дві риси його — працьовитість і скромність /.../ Крім кількох статей в «Киевской старине», решта літературних праць Якова Миколайовича се — безіменні писання, головню в бібліографічному відділі «Записок наукового товариства ім. Т. Шевченка», заховані за криптоніми Л.Ч., що для близьких людей значило «Любчин чоловік». Так навіть літературний псевдонім символізував оту характерну для нього, надзвичайну скромність, постійне заховування свого особистого «я».

(244, 200—201).

В отечестве он держал себя резко с теми, кого считал за негодяев. Один раз он встретился с Ренненкампфом*, этот первый ему поклонился. Ренненкампф — абонапартист**, приятель покойного Виталия Шульгина. Молодой Шульгин ответил ему на поклон словами:

— Я с мазуриками не знаком.

(174/Б, 407).

*Ренненкампф Н. К. (1832—1899) — выпускник Киевского университета, впоследствии его ректор. Один из лидеров киевской реакции, последова-

тель В. Шульгина и Н. Бунге. Совмещал преподавание в университете с деятельностью финансового делка. Его ректорство привело к студенческому возмущению во время празднования пятидесятилетия Киевского университета в 1884 г., когда была предпринята попытка штурма его дома, а в самой ректорской квартире разыгралась ссора между генерал-губернатором Дренгельном и Ренненкампфом и безобразная драка адъютанта начальника края Ф. Трепова с проф. Субботиным.

****Иносказательное наименование монархиста-реакционера.**

/Демократичне виховання паничів/

Хоч були в домі «дівчата», себто служниці, але кожний з нас /дітей/ мусів не тільки сам прибирати своє ліжко, а й кімнату. Батько ж, може з інших мотивів, але теж подавав приклад: не дозволяв служницям доторкатися до свого ліжка, і сам, як людина дуже акуратна, щодня на своєму столі стирив порох: він боявся, що «дівчата» переплутають на столі його папери та книжки. Наше виховання дуже допомогло нам усім пізніше, коли ми опинились без «дівчат» на еміграції.

(462, 237).

Людяність його /Я.М. Шульгина/ виявлялася до жебраків на вулиці. Він завжди їм щось давав, а коли жебрак скидав шапку та кланявся низько, батько так само скидав капелюха й відповідав на поклін. Навіть як не мав грошей в кишені, а жебрак кланявся й прохав, він теж відповідав йому.

Одного разу малим я спитав:

— Чому ти, тату, йому кланяєшся?

— Бо це ж людина!

Але без усмішки не можу пригадати, коли на старість він говорив:

— Дивна річ, як тільки з'являюся на вулиці, всі старці біжать до мене. Правда, я їм завжди даю, але як вони про це здогадуються?

Треба було тільки подивитися на нього, щоб «здогадатись».

(462, 255).

Изящний старичок з белой вымытой бородкой и синими глазами, учитель русской словесности Шульгин отличался одним необыкновенным свойством: он не выносил бессмысленных слов.

Стоило ему услышать бессмыслицу, как он тотчас приходил в сокрушительную ярость. Он багровел, хватал учебники и рвал их в клочки или, сцепив руки, тряся ими перед испуганными гимназистами с такой силой, что круглые его манжеты громко стучали друг о друга. При этом Шульгин кричал:

— Ваc! Именно ваc! Попрошу! Вон! Ваc! Вон!

Припадки эти кончались глубоким изнеможением. То была, конечно, болезнь. Знали это и мы, и все учителя, и надзиратели. Если припадок затягивался, в класс на цыпочках входил /надзиратель/ Платон Федорович и, обняв Шульгина за плечи, вводил в учительскую комнату. Там он отпаивал его валерьянкой.

Вообще же Шульгин был кроткий и безответный старик. Русская литература в

его передаче представлялась примитивной и безоблачной. Отметки он ставил наугад. В младших классах плаксивые и прилипчивые гимназисты легко добивались, чтобы Шульгин переделывал им двойки на тройки, а тройки — на четверки.

Однажды мы писали на уроке Шульгина сочинение на избитую тему «Женские типы в произведениях Тургенева».

Гимназист Гудим, измазанный чернилами, кривляющийся и наглый, неожиданно крикнул:

— Попугай на бульвар прилетели!

Это была одна из тех бессмыслиц, от которых Шульгин приходил в ярость. Припадок начался сразу.

Шульгин схватил Гудима за плечи и начал трясти с такой силой, что голова Гудима стучала об стенку. Потом Шульгин рванул на груди свой форменный скруток. Отлетели и покатались по полу золотые пуговицы.

Матусевич схватил его за руки. Один из нас выскочил в коридор за Платоном Федоровичем.

Шульгин сел на парту, схватился за голову и глухо зарыдал.

Многие из нас, не выдержав этого зрелища, спрятались за поднятыми крышками парт.

Появился испуганный инспектор и Платон Федорович. Они увели Шульгина.

В классе стояла тишина. Со своего места встал Станишевский. Он был очень бледен. Он медленно подошел к Гудиму и сказал:

— Паценок! Вон сейчас же из нашего класса! А иначе — тебе не жить! Ну!

Гудим криво усмехнулся и не двинулся с места. Станишевский схватил его за грудь, рванул к себе и швырнул на пол. Гудим вскочил. Класс молчал.

— Ну! — повторил Станишевский.

Гудим, пошатываясь, прошел к двери. На пороге он остановился. Он хотел что-то сказать, но все мы холодно и враждебно смотрели на него. Гудим выбрал голову в плечи и вышел.

Больше он в классе не появлялся. Да и не мог появиться — законы гимназической морали были беспощадными законами. От них не было отступлений.

Родители Гудима взяли его из нашей гимназии и перевели в реальное училище Валькера, пристанище хулиганов и неучей.

После этого случая Шульгин слег. Он долго болел, но, выздоровев, не вернулся. Врачи запретили ему заниматься преподаванием.

Иногда мы встречали его в Николаевском сквере. Он сидел, опираясь подбородком на костыль, и грелся на солнце. Дети играли у его ног на песке. Мы кланялись Шульгину, но он только испуганно взглядывал на нас и не отвечал на поклоны.

(304, 217—219).

Е. Х. ЧИКАЛЕНКО

Чикаленко Евгений Харлампиевич (1861—1929) — украинский общественный деятель, меценат. Родился в Херсонской губернии в богатой казацкой семье. Учился в Харьковском университете. Крупный землевладелец. Написал и издал серию популярных брошюр о культуре ведения сельского хозяйства. С 1900 г. жил в Киеве в собственном доме на Мариинско-Благовещенской ул., 56. Член Старой громады. Финансировал многие начинания в общественной, политической и культурной жизни Киева. В частности, обеспечивал гонорарами авторов, печатавших в журн. «Киевская старина» художественные произведения. От него поступали средства на издание первой украиноязычной ежедневной киевской газеты «Громадська думка» (потом — «Рада»), финансировал политическую деятельность украинских нелегальных орга-



низаций. Основатель Товарищества украинских прогрессистов (ТУП).

Перед Первой мировой войной и во время нее, опасаясь ареста, менял адреса и жил в Финляндии, Петербурге и в Москве. В 1917 г. вернулся в Украину. В 1918 г. принимал активное участие в политической жизни страны. В 1919 г. эмигрировал, жил в Галичине и в Польше. С 1925 г. — в Чехословакии. Преподавал в Украинской хозяйственной академии в Подебрадах.

Тут варто згадати про батькове відношення до Москви. Помимо приказки: «Тату, лізе чорт у хату! — Дарма, аби не Москва!», яку батько часто наводив як приклад народної мудрості, ще задовго до війни /1914 року/ батько висловив такі приблизно думки: «Німці чехів вивели в люди. Поляки самі вважають познанців за найкультурніших та національно свідомих /.../ Порівняти литовців та латишів під німецьким культурним впливом і тих самих литовців під російським та польським; а ще яскравий приклад — фінські народи: мордва, череміси, зиряни і т. д. під російським пануванням стоять на первісному ступні розвитку» /.../

Під час війни батько, як і більшість київських українців, нетерпляче чекали німців-австрійців, щоб ті «зайняли Україну принаймні по Дніпро».

— Нам не страшно, — казав батько, — щоб німці нас онемеччили, а за економічне визискування вони дадуть нам свою культуру /.../

Під час перебування німецького війська в Києві 1918 року до мене зайшов знайомий і земляк мого чоловіка, офіцер у тій армії. Я представила його батькові і помагала в їхній розмові. Коли той, наслуховавшись десь у російських колах, почав щось про «братерство» москалів і українців, батько з серцем устав і сказав уже по-українськи, не пробуючи боротися з труднощами німецької мови:

— Краще я буду німецьким наймитом, ніж братом москалів! Переклади йому це.

— Knecht! Knecht! — настоював він, коли я шукала за м'якшим виразом. — Sie haben aus den Polen Europaer gemacht!* — тикав він пальцем на здивованого таким вибухом німця.

(450, 640—641).

* Вы сделали из поляка европейца! (нем.)

З редакційних «курйозів» /газ. «Рада»/, про які батько оповідав, згадаю, як він приніс раз писане віршами прохання поета Грицька Чупринки, щоб його прийняли назад до редакції. Не знаю, які були там його функції, чула тільки не раз про неймовірну кількість конфліктів Чупринки з редакторами; його то викидали зі співробітників, то знов приймали, і так безкінечно.

З цього досить довгого віршованого прохання пам'ятаю тільки такі вірші:

*Лийся ніжня мелодія
До Павловського Методія*
Вийся, вийся горда мрія
Для Єфремова Сергія**...*

(450, 638).

* Редактор газети.

** Секретарь газети.

Трусили вони /жандарми у маетку Є. Чикаленка у Кононівці. — А.М./ цілу ніч, не самий тільки дім, але й флігелі /.../ Коли полковник сам з кількома підручними почали переглядати в шафах досить великої бібліотеки книжки і мати спитала:

— Невже ви знайдете час переглянути їх усі?

Він хвастливо відповів:

— Не беспокойтесь, я производил обыск в Ясной Поляне у графа Толстого, тот не такую библиотеку имел.

— Ну, якщо так... — розвела мати руками.

(450, 642).

А раз приніс батько показати, здається, в «Новом времени», або якійсь іншій україножерній газеті якусь дурну, звичайно, анонімну «інтермедію», писану мішаною «малоросейською мовою» про редакцію української газети, якої деякі дійові особи були досить недотепними карикатурами

з життя: в них «видавець», що «все брязжав мідяками в кишені» (батько, очевидно) і зітхав:

— От нема підписчиків!

— Передплатників, — поправляв його редактор, який усе жував бублики (казали, що М. Павловський).

— Все одно, — зітхав видавець, — нема підписчиків, не буде й передплатників, звідки я вам наберу тоді рублів?

— Не рублів, а карбованців!

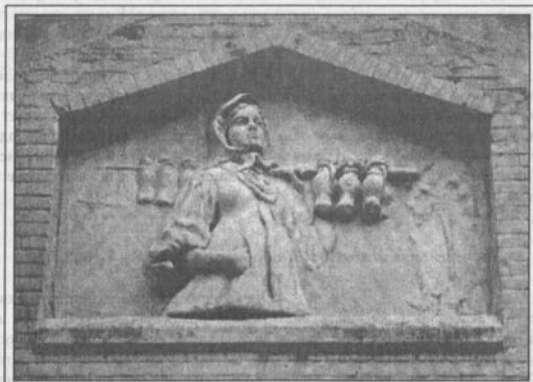
— Все одно: нема рублів, не буде й карбованців! і т. д.

Кінчалася «інтермедія» тим, що чорти з пекла вимітали редакцію мітлами, приказуючи:

— Провалилась ваша «рада», бо ёй було ненада!

Найцікавіше в цій писанині було те, що автор, як казали, був з-поміж «неоцінених згідно своїм заслугам» і ображених бувших співробітників, які легко знайшли доступ до україножерної газети з пасквілями на «Раду».

(450, 638—639).



Т. Руденко. Молочниця. Горельєф на Бессарабском рынке. Бетон. 1910 г.

В. И. ЩЕРБИНА

Владимир Иванович Щербина (1850—1936) — выдающийся историк Киева, архивист, педагог. Родился в семье первых киевских интеллигентов, вернувшихся к своим духовным истокам — к традиционной украинской культуре. Его мать — дочь военного врача и поэта Евстафия Рудыковского, отец — врач Киевского университета. Закончив университет в 1873 г., учился на педагогических курсах в Петербурге (1876). Считался одним из лучших педагогов Киева, долгое время преподавал в так называемой Министерской женской гимназии. Член Старой громады. Сотрудник Киевской

археографической комиссии и Общества Нестора Летописца. Автор многих исследований по истории Киева. Печатался в «Киевской старине», «Записках Наукового товариства у Києві». В советские времена возглавлял Комиссию истории Киева при УАН. 1925 г. избран членом-корреспондентом УАН. Жена Щербины принимала участие в подпольной работе киевских социал-демократов, преследовалась полицией, но сам ученый был к политике совершенно равнодушен, и антиправительственная деятельность жены вообще никак не отражалась на его педагогической и научной деятельности.

Малій на зріст, з невеликою сивою борідкою, він був завжди веселий, привітний і трохи комічний, але коли починав говорити, ставав суворим. Говорив він знаменито і цілком захоплював дівчат /учениць гімназії/, але читав по-своєму: коротко згадуючи про всі історичні події. Він довго зупинявся, наприклад, на «Іліаді» й «Одісеї», на італійському Ренесансі, словом, на питаннях, які могли розвинути дівчат, зацікавити їх. І всі вони дуже любили історика, але історії ніколи не знали. (462, 306).

/Протест проти п'ятйки й порожніх балачок у Громаді/

Він був дуже зацікавлений Україною, про це свідчить його наукова діяльність, його пильна праця над архівами, його інтерес до української історії. Однак його ніяк не можна характеризувати як активного громадського діяча. Звичайно, змолоду він був членом Старої громади, але потім чомусь вийшов з неї. Чому? Скільки я знаю, йому дуже не було до вподоби, що, збираючись за чергою у одного з своїх членів, ця громада мала справжні бенкетти, з

дуже добрими стравами, винами й горілками. Демократично і, я б сказав, аскетично наставленому Щербині це здавалося неприпустимим. А між тим, може, завдяки цим бенкетам поліція ніколи не чіпала Старої громади, і це була чи не єдина українська конспіративна організація, що за все своє існування не знала «провалів». Але певно Щербині, що явно не мав громадської вдачі, не подобалось і те, що там сабагато говорили, а він волів би обходитися короткими діловими розмовами, що в соціальному житті не завжди буває можливе.

(462, 306—307).

/Хатній тиран і його жертви/

Родина Щербини у своєму будиночку з садком на Печерську жила досить замкненим життям. Він мав чотири дочки і був дуже добрим батьком, веселим і милим в родинній обстановці. Любив великі літні прогулянки в околицях Києва /.../ Однак було щось в ньому деспотичне, і часом ці подорожі були тяжкі для дружини і для дітей, але все робилося так, як він хотів.

Як я вже сказав, він був демократичної вдачі. Це виявлялось і в тому, що він з презирством ставився до всяких дівочих прикрас, тим більше до кокетування. Він, певно, ніколи на них не гримав, але скептичні слова, холодний погляд любимого батька відбивали охоту в дівчат іти проти його волі. Дві мої кузини все ж вийшли заміж, одна померла старою дівою, про четверту нічого не знаю.

(462, 307).

/Київські Філімон і Бавкіда/

Дожив Володимир Іванович до 87 років (1850—1936) і помер тихо і спокійно від ослаблення серця. Його дружина, колишня революціонерка, а тоді вже виснажена стара жінка, помирала тоді ж у іншій кімнаті їхнього дому. Не знаю, хто з них помер раніше, але померли вони в той самий день, не знаючи про цю одночасність. Щасливий кінець, як власне щасливе й цікаве було їхнє життя...

(462, 308).

МОЛОДАЯ ГРОМАДА

Н. И. МИХНОВСКИЙ

Николай Иванович Михновский (1873—1924) — украинский политический деятель праворадикального направления. Один из основателей «Братства Тарасовцев». Работал адвокатом в Харькове. Его речь на Шевченковских торжествах 1900 г. в Полтаве и в Харькове, напечатанная под названием «Самостійна Україна», стала программой РУП (Революционной украинской партии). После её раскола организовал в 1902 г. Украинскую народную партию, которая стояла на «самостийницьких позициях». В 1912—1913 гг. — редактор еженедельника «Сніп», издававшегося в Харькове.

Во время Первой мировой войны — подпоручик юстиции, служил в Киевском окружном военном суде. Организатор совещания украинских во-

енных 29 марта 1917 г. Создал Украинский военный клуб им. гетмана П. Полуботка. Сторонник создания регулярной украинской армии. Один из лидеров украинского армейского движения. Член Украинского генерального войскового комитета (УГВК), соперник С. Петлюры за лидерство в военной сфере. Член Центральной Рады. М. Грушевский критиковал Михновского за радикализм, считал его чуждым украинской демократии. В 1918 г. участвовал в создании Украинской демократической хлеборобской партии, приведшей к власти гетмана. После установления Советской власти эмигрировал на Кубань. В 1924 г. вернулся в Киев. Покончил с собой, спасаясь от преследований нового режима.

/Зрадник... В. Короленко, або Занадто «щирі» українці/

Якось, їдучи залізницею, стрівся* в вагоні з В. Г. Короленком. Розговорились. Він почав оповідати, що, оселившись в Полтаві, заінтересувався українським рухом і тепер учить української мови /.../

Але, на жаль, наші занадто «щирі» українці відбили у Короленка охоту до українства.

Недавно, на сектантському судовому процесі в Сумах, де адвокат М. І. Михновський виступав як оборонець, був і В. Короленко як редактор «Русского богатства», що дуже інтересується народним життям.

В кулуарах суду якийсь адвокат, не розпитавшись попереду, звів Михновського з Короленком, бажаючи їх познайомити. Короленко охоче простягнув руку, а Михновський, заклавши свої руки за спину, відповів своїм звичаєм з театральним пафосом:

— Я зрадникам мого народу руки не подаю!

Можна собі уявити, як Короленко був вражений і ображений. Все ж таки! Йому не хотіли потиснути тої руки, яку російське громадянство залюбки готове цілувати...

Мені розказували, що Короленко після того інциденту скаржився своїм близьким:

— Який же я зрадник, коли я ніколи українцем не був? Мати моя полька, батько російський урядовець — русифікатор у спольщенім місті Житомирі; весь свій вік я прожив в Великоросії та на засланні в Сибіру і батьківщиною своєю завжди вважав «русскую литературу».

З того часу Короленко, як кажуть, почав обминати свідомих українців, боячись напоротися на другого Міхновського /.../

Взагалі занадто «ширий» Міхновський раз у раз шкодить українському національному відродженню в Харкові, бо він не приваблює обмосковлених українців до українства, а відякує їх. Досі в Харкові нема жодної української книгарні, не кажучи вже про газету, нема української громади /.../ І в цьому немало завинив М. Міхновський.

(452, 298—301).

**Автор розказа Е. Чикаленко.*

Першу промову /на святкуванні тарасовими роковин Т. Шевченка в 1890-х рр. — А.М./ мав сказати М. І Міхновський, — се був перший в його житті публічний виступ. Почав він, хвилюючись, кількома реченнями, зупинився, підійшов до дверей і безнадійно схилив голову на одвірок.

Так ще тоді не призвичені були люди публічно говорити, що спасував промовець, який після уславився своїм красномовством як адвокат в суді і при різних громадських виступах.

(244, 212).

Через романтичну історію (одбив жінку у свого патрона-адвоката) М.І. Міхновський мусив залишити Київ та перенісся на життя до Харкова. Тут провадив він активну громадську й політичну працю в національному напрямі.

Ім'я його зв'язувано з замахом зірвати пам'ятник Пушкіна*. За часів гетьмана Скоропадського Міхновський зайнявся організацією військових частин українських в протиність московським «добровольческим» формуванням урядовим. Заснував військовий клуб, який містився на Фундуклеївській вулиці. В час більшовизму закінчив життя самогубством, щоб не оддатися в большевицькі руки.

(244, 213).

**Попытка взорвать памятник Пушкину в Театральном сквере Харькова произошла в ночь с 30 на 31 октября 1904 г. Акцию осуществила экстремистская группа «Оборона Украины», в которую входили представители радикального крыла возглавляемой Мишновским Украинской народной партии — известный Никита Шаповал (сам поэт, хотя всю жизнь занимался полити-*

кой), Сергей Макаренко и Александр Шевченко. Последний заложил под памятник динамит, но так неумело, что взрыв лишь слегка повредил пьедестал. Акция вызвала всеобщее возмущение. Заграничный комитет РУП остро осудил эту выходку «михновцев», четко определив её шовинистическую суть: «Ясно, что такое могли сделать только украинские шовинисты, что молятся на все украинское и носят без разбора все русское только потому, что оно русское, а не украинское». Михновский, как отмечает один из мемуаристов, руководил этой акцией и остался доволен ее результатом, во всяком случае, встретившись с террористами на следующее утро в университетском саду, он тут же кинулся их поздравлять и целовать. (Мацюк О. Уривки спогадів і роздумів // Самостійна думка. — Чернівці, 1935. — №4. — С. 282). Подробнее об этом происшествии см. в очерке С.О. Наумова «Замах на пам'ятник О.С. Пушкіну в Харкові», напечатанном в сборнике «Схід-Захід» (Вып. 1. — Харьков, 1998).

/Невдалий журфікс у домі лікаря М. Галіна/

Якось восени 1888 р. я запросив до себе* на вечерю старих громадян** і представників всіх молодих гуртків***. Зібралось чоловіка біля 20, а з старих були: В. Антонович, П. Житецький, Є. Трегубов, В. Науменко, К. Михальчук, Мих. Ковалевський і О. Кониський. П'ятеро перших**** сіло на покуті і не рушає з міста. Кониський осторонь, збоку, не підходячи до них*****, М. Ковалевський, все посміхаючись, товчється поміж молодими*****, а молодь тулиться по кутках*****. Ні вечерея з варениками, ні горілка не викликали бажаного настрою; «старі» сопуть і мовчать, молоді поміж себе шепочуться. Так з тієї вечери, на котру я поклав деякі надії, нічого й не вийшло. Про намір свій я нікого не попереджував. Вже коли почали розходитися, то П. Житецький, прощаючись, каже мені:

— Я догадуюсь, чого ви нас до купи зібрали, але невже думали, що годиться горілку з молоком мішати?*****

*Военный хирург М. Галин жил на Большой Подвальной.

**Старыми городаовцами называли членов Старой громады, которые вели большую культурно-просветительскую работу и избегали любых контактов с революционными деятелями, особенно социал-демократами. На этой почве у них и произошел разрыв с бывшим соратником, одним из fundаторов Громады, социалистом и революционером М. Драгомановым.

***Молодое поколение украинских деятелей считало культурирегерьские методы старых городаовцев устаревшими и отдавали предпочтение политической борьбе.

****В. Антонович, П. Житецкий, Е. Трегубов, В. Науменко и К. Михальчук — fundаторы Старой громады, неперемнные участники её мероприятий и заседаний.

*****А. Конисский часто конфликтовал с лидерами Громады и в конце концов отошел от них.

*****Николай Ковалевский (1841—1897) — единомышленник и сорат-

ник М. Драгоманова, преподавал историю в киевском кадетском корпусе. После разрыва своего учителя и наставника с Громадой также приостановил свое сотрудничество с нею.

***** Молодые радикалы считали старых громадцев оппортунистами, сторонились их, но не разрывали с ними окончательно, принимая участие в их культурных и иных общественных мероприятиях и пользуясь их связями и средствами.

***** Житецкий имел в виду «казацкие обычаи» старых громадцев, в том числе и «вечеринки» с водкой и танцами. Обычные рабочие заседания также оканчивались застольями с выпивкой. «Молоко» же, по мнению Житецкого, — удел малолеток «тарасовцев».

(78, 107).

/Поліцейський в гостях у конспіраторів/

Студентський гурток улаштував роковини Шевченкові нелегально і в обмеженій кількості присутніх, користуючись для того помешканням старших громадян, головні Лисенка та Старихих.

Одного року улаштував він роковини ширшим гуртком присутніх в помешканні церковної школи на Соломенці, де вчителював член семінарської громади Костянтин Вовк. Хоч збори були конспіративні, але упорядники повелися надто недбало /.../ не додержуючи найменшої обережності /.../ Тож, коли більшість гостей розійшлася, а решта співала й випивала, непомітно увійшов до школи поліцаї і слухав. На щастя, бенкет був уже в такому стані, що для політики не було місця. Коли його помітили, то пояснено йому, що святкують іменини учителя школи, обстановка сприяла тому повірити, і страж безпечності прийняв активну участь у бенкеті.

(244,211).

/Тарасівці викривають «ухили» корифеїв театру/

Десять літ Київ не бачив українського театру. Нарешті на прохання М. К. Заньковецької, з огляду на її успіхи в Петербурзі, генерал-губернатор гр. О. Ігнатьєв дозволив трупі Заньковецької дати десять вистав у Києві, а потім додатково ще чотири /.../ Заньковецька своєї трупи не мала, тож трупа Садовського переформувалася на той час на трупу Заньковецької, приїхала під тією фірмою до Києва і грала тут під час великодніх свят 1893 р. В трупі, крім Заньковецької і Садовського, були з жіночого персоналу Затиркевич, Ратмирова, з чоловічого — Мова, Науменко, Васильківський, Загорський /.../

Увесь український Київ, як то кажуть, валом повалив до театру. Публіка приймала артистів дуже сердечно, а виходи на сцену Заньковецької і Садовського зустрічались справжніми оваціями. Дійсно, гра сих двох артистів давала високохудожнє задоволення; «Лимерівна» з Заньковецькою в коронній ролі була художнім шедевром. Але сама трупа не додержувала відповідного ансамблю з ними. Перебої виявлялися головні в шаржові, в вульгарності народних сцен, в особливому підкресленні мужицької простакуватості та мужицької лайки. Для тих, хто ждав од трупи заманіфестування високої художності українського театру, особливо при наявності в трупі таких талановитих сил, прикро було бачити й чути оті згадані ухили.

Серед певної частини старшого громадянства та студентства, особливо останнього, наростало незадоволення грою трупи, і щодалі — все більше.

Вже білязко до кінця гастролей українські елементи з студентських кіруів університету й академії послали до Заньковецької як формальної голови трупи депутацію з зауваженням щодо гри і взагалі національного поводження рядових артистів трупи. На депутатів обрано І. М. Стешенка та мене*.

Досить в житті доводилось мені в бувальцях бувати, але в таких не часто. По-перше, треба було робити фактичний докір людині, до якої я мав чуття особливої поваги як до окраси національного мистецтва; по-друге, і до Садовського мало не це саме мав почуття, і йому прикрасі не було охоти робити, а до того ще відомо було, що сей артист має вдачу гарячу і рішучу, — то може і з сходів спустити. Але, виконуючи доручення, пішли.

Заньковецька і Садовський жили в готелі «Метрополь» біля самого театру. Зустрів нас Микола Карпович і, на наше жадання, попросив Марію Костянтинівну. Тож розмовляли ми з ними двома.

Стешенко мав заслужену репутацію промовистої людини, то й тепер взявся декларувати завдання нашої місії. Зазначив, що київська молодь шкільна щаслива, що бачить незрівнянну гру корифеїв нашого театру, вони піднесли престиж і славу національного мистецтва. Але їхні співробітники показали надто далекими від провідників своїх, — допускаються негідного шаржу, поводяться в культурному осередковій України, наче в якому останньому містечку, підробляючись під смак «галюрки», навіть допускаються великої неохайності щодо самої мови, роблячи помилки, які свідчать, що поза сценою вони української мови не вживають.

— А хіба ви на вулиці говорите українською мовою? — перебив Садовський.

— Розуміється, — одповів Стешенко. — Ніде й ніколи інакше, як по-українськи не говоримо.

— То будете в Сибіру! — із запалом вибухнув Садовський.

— Досі ще за се до Сибіру не попали, то, може, й не попадемо.

Припинена таким способом промова Стешенка перейшла в розмову, в якій обидва артисти виявили велику образу. Всі зусилля дати їм зрозуміти нашу позицію не мали успіху. З тим ми й вийшли. А ввечері в театрі Заньковецька одповіла на наш візит дуже рішучим кроком: не прийняла дарунка, який підношено їй в антракті від українського громадянства.

Усе те було дуже неприємно.

(244, 254).

* Студент Киевской духовной академии А. Лотоцкий.

КИЕВСКОЕ УКРАИНСТВО

/Словникові «Герцоговини»/

Оскільки засідання /словникової/ комісії /Громади/ були дуже бурхливі, нагадуючи, за дотепом Житецького, повстання в Герцоговині, що якраз тоді відбувалося, їх і прозвали «Герцоговинами», самого Житецького, що наводив лад на засіданнях, — Абдул-Пашею, Чубинського — генералом Черняєвим. «Герцоговини» відбувалися по черзі на помешканні у кожного з членів комісії.
(223, 155).

Року 1880, після вибуху в Зимовому паладі в Петербурзі, в загальному правлінні російською державою почали проводити більш-менш ліберальні заходи. Відбилося це і на становищі періодичної преси.

У Києві заснували газету «Труд»; за офіційного редактора-видавця був Г.Т. Корчак-Новицький, але фактичним редактором став О.О. Русов; постійним співробітником у тій газеті став я*. В газеті містили свої статті С.Ф. Русова, Олена Пчілка, член Київської громади Ол. Ів. Лоначевський; прислав одного разу статтю і Костомаров. На «Труд» стали дивитись як на орган українського громадянства. Київська найвища адміністрація, коли були ще в силі постанови 1876 р., скося дивилась на «Труд». Одного разу генерал-губернатор Дрентельн закликав до себе редактора Корчак-Новицького, і між ними сталася така дискусія.

— Вы, — сказав Дрентельн, — захлебываетесь в своём украинофильстве. Вы хотите довести меня до того, чтобы я вашу газету закрыл, но я такой глупости не сделаю. «Голос» и другая газетная братия сейчас на всю Россию поднимала бы шум. Но я вам советую исполнять честно роль редактора газеты.

— Я, ваше превосходительство, — сказав на це Корчак-Новицький, — привык всегда ходить прямою дорогою.

— Я, — відповів Дрентельн, — тоже хожу такою дорогою, но мы с вами что-то не встречаемся.

Але «Труд» мав обмаль передплатників, бо не був щоденною газетою, давав дефіцит, і Корчак-Новицький був примушений припинити видання в червні 1882 року.
(36, 125—126).

*Автор цитируемых воспоминаний — литератор Н. Белинский.

/Політична полеміка на богословському ґрунті/

«Заря» вела повсякчасну боротьбу з газетою «Киевлянин», органом консервативно-націоналістичним, котрий особливо вороже ставився до українства.

Одного разу «Заря» вмістила на своїх сторінках невелику статтю Ол. Лоначевського, члена Київської громади. У тій статті переказано епізод із життя великомучениці Варвари, а саме таке: Варвара, тікаючи від свого батька, її мучителя, перебігла полем, де пасли вівці два пастухи, і сховалась в одну печеру в горі; тоді надбіг її батько, став питатись у тих пастухів за дочку, то один пастух відмовився що-небудь сказати, а другий показав, у яку печеру сховалась Варвара. І от у житті оповідається, що Бог за це обернув пастуха на камінний стовп, а всі вівці його зробилися сараною. Лоначевський, узявши за підставу це оповідання, висловив думку, що доноси — це явище цілком аморальне і що саме небо їм протиниться.

«Киевлянин» узяв до серця цей випадок «Зари» і став в опозицію до погляду Лоначевського. Виник цікавий літературний турнір, бо репліками і та і друга газета по декілька разів обмінювалися; перемога, проте, не зісталась на боці «Киевлянина».

(36, 126).

Ніколи я не бачив стільки киян-українців, як у час відкриття пам'ятника Котляревському в Полтаві. Мама поїхала туди зі мною і сестрою. Мені було тоді 10 років. В поїзді з Києва до Полтави було повно українців, старших і молодших ще тоді членів товариства «Вік» /.../ Сміючись говорили, що якби цей поїзд розбився, припинився б весь український рух. Але це, може, був не тільки жарт.

(462, 300).

На засіданні Наукового товариства /НТШ/ вона /Олена Пчілка/ знов завелась з проф. Перетцем /.../

Коли на виході Перетц висловив думку, що треба вишукувати багатих українців, які піддержували б Наукове товариство грошми, то Пчілка знов уїдливо обізначалась:

— Щоб розвинути діяльність нашого товариства, треба, щоб члени його не працювали по кацапських товариствах, як це робить наш член професор Перетц.

Тоді Перетц, натякаючи на юдофобські статті в /редагованому Пчілкою/ «Рідному краї», відповів:

— Мені здається, що для поліпшення фінансів нашого товариства годилося б «устроить маленький погромчик»...

Вийшла няковість. Пчілка, одягаючись, роздратовано кинула Перетцеві:

— Я вам цього ніколи не забуду.

І, певно, не забуде, тим паче, що Перетц жидівського походження.

(452, 49—50).

Треба розказати ще про одну суперечку Пчілки з Перетцем, свідком якої я теж був.

Обмірковувалося в Науковім товаристві під головуванням проф. Грушевського питання, чи привітати Л. Толстого в день його 80-ліття, чи ні.

Пчілка довго й гаряче стояла на тому, що не треба, бо Толстой не вартий того.

Перетц, навпаки, відстоював думку, що треба привітати і, чи умисне, щоб вколоти Пчілку, чи ненавмисне, вжив у розмові таку фразу: «Хотя мне часто говорят, что я страдаю женского болтливостью».

Пчілка встає і, здержуючи своє роздратування, звертається до Грушевського з такими словами:

— От наш пан професор ніколи собі не дозволив би в присутності дам сказати таку неідеальність, яку сказав, — показуючи на Перетця, — кацапський професор...

Грушевський, переводячи це на жарт, підбиг до Перетця і почав його пошепки заспокоювати, а Стещенко на вухо докоряв Пчілці. Присутні не знали, що їм робити, але швидко Перетц вивів усіх з ніякового становища. Він почав розмову про те, що він тепер студіює українські приказки.

— И есть весьма меткие, например: «Це та баба, що їй чорт на махових вилах черевикі подавав».

На це Пчілка кинула:

— Еге, є дуже влучні, наприклад: «Покірливе телятко дві матки ссе», натякаючи тим, що Перетц працює в Українському науковому товаристві і в російському Товаристві Нестора Лігосця.

Грушевський, боячись, щоб не вийшло чого гіршого, поспішив закрити засідання. (452, 50).



Тип українофіла 1860-1870-х гг.

Пчілка пожалила мене* за те, що «Рада» виступила в сторону жидів проти «Рідного краю»*. Скаржитися, що тепер бойкотують її журнал, що мало хто його передплатує.

Я радий їй зробити з «Рідного краю» або чисто селянський журнал, або родинний, на кшталт російської «Ниви» /.../ Але вона відповіла, що хоче якраз такого журналу, яким він є тепер. Її кортить полеміка. З професором Перетцем завела та-

ку баталію, що публіка й приказки склала: «Пчілку й медом не годуй, а Перцем», або «Пчілка — баба з Перцем».
(452, 39).

**Запис из «Дневника» издателя газеты «Рада» Е. Чикаленко от 25 декабря 1908 г.*

***«Рідний край» — украинский еженедельник, основанный в 1905 г. адвокатом Н. Дмитриевым, писателями П. Мирным и Г. Коваленко. Выходил в Полтаве (1905—1907), Киеве (1908—1914) и Гадяче (1915—1916). С 1908 г. его редактором-издателем была Олена Пчилка.*

Сторонники проекта Шервуда на чолі з членами журі В. Кричевським та М. Біляшевським розвели страшенну агітацію проти проекту Шіюртина, кажучи, що це «канфешка» (цукерка), а не пам'ятник Шевченкові /.../

Дійсно, статура Тараса Григоровича на проекті Шіюртина уявляє з себе поета, що пообідав, випив добре і розлігся з цигаркою в руці на крисі /.../

Комітет каже, що він примусить Шіюртина переробити статуру Тараса, а сторонники Шервуда кажуть, що яка рація примушувати грати симфонію Бетховена людину, яка не знає гамі; що Шіюртина бездара, анальфает у скульптурі і нічого путнього він не зуміє зробити. Але комітет, не зважаючи на протести, викликав Шіюртина для переговорів щодо переробки статури Тараса. Противники, кажуть, вдарилися до... начальства: післали, кажуть, Федора Кричевського в Петербург, агітувати, щоб Академія мистецтв не затвердила проекту, коли його їй передасть Міністерство внутрішніх справ.

Я, сміючись, казав, що «благородное начальство помирить всіх, не дозволить ніякого пам'ятника Шевченкові», але я не сподівався, що українці самі за цим звернуться до начальства».

(452, 445).

/Наївні потомки гетьмана Дорошенка/

В «Правительственном вестнике» напечатано: «В одном провинциальном «Листке»* напечатано было об открывшемся буд-то бы в Лондоне многомиллионном наследстве после гетмана Дорошенко. Основывався на этом известии, многие лица, считающие себя потомками Дорошенко, обратились в Министерство иностранных дел с просьбой о розыскании этого наследства. Запрошенный министерством генеральный консул в Лондоне доносит, что, по наведенной официальной справке, в лондонских банках нет никаких капиталов, оставшихся после гетмана Дорошенко.

Из этого можно заключить, что вся эта история о наследстве Дорошенко является вымыслом».

(171, 82).

**Имеется в виду «Харьковский листок».*



П. И. Житецкий



Г. П. Галаган



В. Симиренко

/Шлюбні обмеження для членів партії/

Щирий і глибокий патріот, людина великих наукових здібностей та знань в ділянці філологічній (був членом-кореспондентом Російської академії наук), він /К.М. Михальчук/ якось незмірковано одружився без почуття національно-громадянської спільності і до того ж повинен був заробляти на хліб на посаді в знаній в Києві пивоварні («Товарищество киевских пивоваренных заводов»), убиваючи весь час свого життя на що тяжку зарібкову працю /.../

Гіркий досвід власного життя був причиною, що коли обмірковувався статут ТУПа*, то Михальчук дуже настоював, аби заведено було до статуту пункт, що заборонив би членам організації братися з неукраїнками... Але, не вважаючи на такий наочний сумнівний приклад, пропозиція та перепала.

(244, 201—202).

* ТУП (Товариство українських поступовців) — Товарищество украинских прогрессистов.

Грушевський нагадує йому /В. М. Леонтовичу/, скільки разів він обіцяв зробити, але нічого не зробив.

Тоді Леонтович каже:

— Ну, от я вам тепер це влаштую. Є чудовий випадок. Після Покрови він /Симиренко/ буде в мене на освяченні дому, то тоді приходьте й ви, панове. Добре, пан професоре?

— Я трохи задалеко живу! — відповів іронічно Грушевський (у Львові). (452, 33).

* Владимир Николаевич Леонтович (1866—1933) — писатель, юрист, земской деятель на Полтавщине, миллионер. Ему принадлежал прекрасный особняк напротив Царского дворца в Киеве. Член Старой громады, ее меценат.

Вместе с Е. Чикаленко издавал газ. «Громадська думка» (1905—1906), журн. «Нова громада» (1906), финансировал издание газ. «Рада», деятельность Украинского клуба в Киеве и многие другие учреждения и начинания. Председатель Общества помощи украинской литературе, науке и искусству. В 1917 г. — член Центральной Рады. В 1918 г. — министр земельных отношений в правительстве гетмана П. Скоропадского. Эмигрировал в Турцию, потом в Югославию и Чехословакию. Умер в Праге.

Благотворительной деятельностью занимался вместе с Е. Чикаленко и В. Симиренко. У последнего был советником и распорядителем благотворительного фонда. В данном случае М. Грушевский обращается к нему как к доверенному лицу Симиренко.

/Керуючий книгарнею журналу «Киевская старина»* з 1899 по 1919 р. В.П. Степаненко/, бувший народний вчитель, родом селянин з Канівщини /.../ працював у книгарні цілі дні і вдома вечорами для поширення книжок до перетомки, до виснаження сил, не хочучи користуватися відпусткою, щоб хтось не наплавив йому рахунків та зносин з покупцями.

Чорнявий, потім шпакуватий, високий, худий, з нервовим обличчям, з глибоко запаленими очима, хворий на табес, не можучи кімнати перейти без костурів, він років 20, можна сказати, невідлучно, безвиїздно просидів у книгарні, віддаючи їй всі сили, всі думки, всі інтереси свої /.../

Можє з природи, а більше через хворобу та втому, він у поведженні з людьми час-то бував нечемивий, непривітливий, що не раз викликало неприємності і скарги на нього.

Пам'ятаю один, власне гумористичний інцидент, що зайняв майже засідання ради /загальної безпартійної української організації, якій належала ця книгарня. — А.М./ Якось зимою зайшов до книгарні приїжджий панок з панєю і почав розглядати книжки, а дама його сидить собі та все носом підтягає. Це сьорбання, очевидно, нервувало Степаненка, і він нарешті так рознервувався, що не видержав і завважив їй:

— Та всякайте-бо, пані, носа!

Пані образилась, а за нею й пан, що зчинив сварку, яка скінчилась тим, що Степаненко загрозив йому своїм костуром. Пан той поскаржився знайомому члену ради, а той вимагав звільнення Степаненка з посади, бо він не привабливе, а розгонить покупців. Подібних випадків траплялося з ним немало /.../ Але я кожного разу обороняв його, доводячи, що не можна звільняти людини, яка тільки й диле, тільки й живе книгарськими інтересами.

(451, 322).

*Книжный магазин «Киевской старины» или просто «Украинский книжный магазин» находился на ул. Безаковской.

А тим часом Олесьницький* з товаришами /перебуваючи в Києві в травні 1912 р. — А.М./ наочно упевнились, що в на-роді нашім є національна свідомість, тільки адалеку її не видно.

Приїхавши до Києва, поїхали вони трамваем до Печерської лаври і, коли під

кінець дороги зостались у вагоні самі, то почали голосно ділитися враженнями й висловлювати свій сум, що Київ зовсім московське місто.

Раптом кондуктор вагону, що пильно прислухався до їхньої розмови, звернувся до них із запитанням — чи не галичани вони? Вони підтвердили і в свою чергу спитали його, по чім він їх впізнав.

— По вимові, — відповів він і спитав: — Чи нема часом між вами Костя Левицького**, голови віденського Українського парламентського клубу?

Вони здивовано спитали — як він знає Костя Левицького?

— А з нашої газети «Рада». Я пильно слідкую за тим, що діється в Галичині і чи виборять українські парламентські посади український університет у Львові.

А далі почав розпитувати про життя українців в Австрії і скаржитись на життя в Росії.

(452, 306—307).



Дом, где размещалась «Украинская книгарня» (книжный магазин ж. «Киевская старина») на Безаковской ул. (Фото 1979 г.)

*Евгеній Олесницький (1860—1917) — галицький громадський діяч, публіцист, член НТШ. Один из основателей галицкой Национально-демократической партии, в 1907—1917 гг. — депутат венского парламента. В 1915 г. — член Общей украинской рады, где сотрудничал с К. Левицким и Н. Василько.

** Кость Левицький (1859—1941) — галицький політик, публіцист, історик, основатель многих культурных и общественных учреждений, почетный член НТШ и «Просвіти», председатель Национально-демократической партии. Депутат австрийского парламента. В 1915 г. возглавил Украинскую главную раду во Львове, со временем — Общую украинскую раду в Вене. В ноябре 1918 г. стал первым председателем правительства ЗУНР. В июле 1941 г. был основателем и председателем Украинской национальной рады во Львове.

/Ощадливий меценат/

Оселившись у Києві, я часто зустрічався з Смиренком на засіданнях редакції «Киевской старины», куди він заходив під кінець року, щоб довідатись, скільки має дефіциту той журнал, бо він з року на рік покривав борги «Киевской старины», а зрідка бував у нього з В. Антоновичем або з М. Лисенком.

Для характеристики вдачі В. Ф. Смиренка розкажу про нього таку рису: раз



Дом на Владимирской ул., №42, где помещался Украинский клуб. (Фото 1979 г.)

сидячи у нього, я помітив, що весь куток в його кімнаті заставлений порожніми коробками від сірників.

— Нащо вам вони? — питаю здивований.

— А чого вони мають пропадати дурно, — відповідає Смирненко, — я за них виміною нові з сірниками...

Нащо вже я ощадний для себе, але мене так вразила ця ощадність людини, що віддає щороку десятки тисяч рублів на українські справи, що я рефлексивно встав і вклонився йому мало не до землі.

(451, 372).

Часом бував на зібраннях і проф. І.В. Лучицький; хоч він був і вчений професор, але такий страшенний «якало», що тільки про себе й говорив, скрізь виставляючи на перший план своє «я». Пам'ятаю, що коли хтось робив доклад про те, що на земському з'їзді І. Шраг, чернігівський адвокат і землець, підняв питання про автономію України, то Лучицький з серцем вигукнув:

— Зовсім не Шраг, а я; ваш Шраг ще без штанив ходив, коли я вже був автономістом-федералістом!

Це викликало усміх на всіх обличчях, бо всі знали, що то дійсно Шраг, а не Лучицький зняв мову про автономію України.

(451, 300).

**Иван Васильевич Лучицкий (1845—1918) — выдающийся историк, проф. всемирной истории Киевского университета, член Старой громады, сотрудник журн. «Киевская старина». Один из основателей Украинского научного общества в Киеве. Автор фундаментальных исследований по истории сельских общин в Западной Европе и в Украине. Печатаł очерки по истории Киева, написанные на архивных материалах.*

Прогресивні балакуни

1.

А то розказують, що коли він /О.Ф. Степаненко/ на початку свого знайомства з М.І. Міхновським зайшов до нього, то той, не маючи часу слухати його, покликав по телефону О.І. Бородаю, який теж славився надзвичайно велеречивістю.

Бородай, приїхавши, сказав, що він спішить, а через те забіг на одну хвилину і навіть пальта скидати не стане.

Міхновський познайомив їх, а сам поїхав в суд. Він у той день виступав як оборонець, а через те пробув у суді майже цілий день. З суду поїхав з товаришами обідати в ресторан і вже ввечері вернувся додому.

Входячи в квартиру, він завважив, що в його кабінеті світиться і там хтось розмовляє. А коли заглянув в кабінет, то надзвичайно здивований побачив, що там посеред кімнати стоїть О.І. Бородай і щось палко доводить Степаненкові, а той сидить з посоловілими очима і вже зовсім спустив вуха.

(452, 143).

2.

Нарада наша* тяглася два дні; вона, напевне, скінчилася б і за один день, якби не було між нами занадто велеречивих суб'єктів.

Особливо вимучив і докопчив усім О.Ф. Степаненко з Харкова. Він по всякому поводу і без powodu говорить, говорить без кінця. Недурно ми прозвали його харківським кулеметом, а д-р М. Левицький з серйозним виглядом заявив, що Степаненко хворий незлічимою хворобою — недержанням мови.

Про цього О.Ф. Степаненка вже склались анекдоти. Кажуть, що раз, будучи в Петербурзі, він виступив з промовою в українському клубі і говорив так довго, що публіка почала гукати: «Годі, буде, довольно!», але він не зважав на це, а все говорив, говорив... Тоді дежурний старшина почав його сіпати за поли, але він, відбиваючись від того руками, все говорив та говорив, і перестав тільки тоді, коли вже вся публіка встала й почала гукати: «Давайте пожарный насос».

(452, 143).

* Съезд ТУП в июне 1910 г. в Киеве.

3.

Почалися Шевченківські дні і по всій Україні служать панахиди, уряджують концерти, вистави, вечерниці для збору грошей на пам'ятник.

У Києві було вже кілька концертів і ще буде. Я беру білети на всі вечірки, але не ходжу ні на одну, бо всі вони упорядковуються по-нашому національному девізу: «Хоч погано, зате довго».

Але скільки не зарікався, а таки пішов 10 березня в /Український/ клуб на вечірку /.../

На Шевченківську вечірку 10 березня /1909 р./ запросили кілька душ кадетів та поляків і урядили вечерю на 100 осіб.

Вечеря почалась тільки в 12 годин, а за вечерю як почали наші говорити, то так тягли, що аж сором було слухати, а старий Михальчук побив рекорд так, що публіка почала розходитися. Садовський поривався сказати йому, як той церковний староста (титар) попові:

— Нате вам, батюшко, ключ від церкви, як кончете, то замкніть церкву.

Я не міг досидіти до кінця і пішов додому, щось коло 3 години ночі, а вечірка ще тяглася годин зо дві.

Ми таки й тут виконали наш національний девіз: «Та й погано ти, дівко, співаєш!» — «Хоч погано, зате довго».

(452, 71—72).



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

ПИСАТЕЛИ

П.А. Андреевский
В.И. Аскоченский
В.К. Вивиченко
Н.В. Гоголь
Б.Д. Гринченко
А.Я. Конисский
М.М. Коцюбинский
А.Е. Крымский
А.И. Куприн
А.Н. Муравьев
С.Я. Надсон
И.С. Нечуй-Левицкий
П.И. Раевский
В.И. Самийленко
Г.С. Сковорода
Леся Украинка
И.Я. Франко
Т.Г. Шевченко

ЖУРНАЛИСТЫ

А.Я. Антонович
П.П. Должиков
В. Н. Доманицкий
А.С. Лашкевич
Д.И. Пикно
В.Я. Шульгин
А.А. фон Юнк

ХУДОЖНИКИ КРУГА ПРАХОВА

В.М. Васнецов
А.В. Прахов
М.А. Врубель
М.В. Нестеров
В.А. Котарби́вский
Братья Сведомские



ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ

А.А. Агин
Н.Н. Ге
И.С. Ижакевич
М.О. Микешин
Н.И. Мурашко
С.И. Светославский
П.А. Скляр
Ф.Г. Солнцев
И.М. Сошенко
Р.Г. Судковский

ТЕАТР

ТЕАТРАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
О.Н. Вересай
М.А. Кропивницкий
Н.К. Садовский
И.К. Карпенко-Карый
П.К. Саксаганский
М.К. Заньковецкая

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ГАСТРОЛИ
УКРАИНСКИХ
АРТИСТОВ

ПИСАТЕЛИ

Характер литературы того или иного общества зависит от господствующей в его среде системы просвещения. До середины XIX в. киевские интеллигенты получали в большинстве своем духовное образование и в акафистах разбирались лучше, чем в элегиях и эклогах. Красноречие церковного проповедника было им ближе, чем остроумие газетного фельетона. И те историки, которые сетуют ныне на «утечку талантов» из Киева в Петербург, почему-то забывают, как воспитывалась молодежь в той же «латиньпольской», а позже духовной академии, где лучшие профессора настраивали студентов против новой культуры и светской литературы. От любимца киевского общества, профессора П. Авсенева они слышали еще в 1840-х гг. такие удивительные речи: «Современник» проповедует материализм и безбожие. Советую вам его не читать. Хотя бы мысли его кому-то /из вас/ и не нравятся теперь, но впоследствии иные из вас могут увлечься ими!» «Выслушав мудрое наставление уважаемого профессора, — вспоминает Н. Флоринский, — мы /студенты/ перестали выписывать «Современник».

Первый киевский журнал — «Воскресное чтение» (1837—1912) издавался при той же духовной академии и носил религиозный характер. С первым киевским научным журналом — «Трудами Киевской духовной академии» (1860—1918) повторилась та же

история. Лишь в 1882 году очередь дошла наконец до первого киевского литературно-исторического журнала «Киевская старина» (1882—1906), в котором печатались авторы, не связанные с церковными кругами. До середины XIX в. шансов стать писателем (в том числе и украинским) было больше у тех, кто обретался в Москве или Петербурге, чем у живших в самом Киеве и дышавших его клерикальной атмосферой, его патриархальными настроениями и романтической ушедшей в прошлое героической старины.

Первый более-менее известный киевский поэт, перешедший с русского на украинский язык, Евстафий Рудыковский, учился в Киевской академии и еще в начале XIX в. писал в стиле барочной поэзии (например, «Крестообразные эпиграммы на день ангела митрополита Серапиона»). Позже, окончив медицинскую академию в Петербурге, вошел в современный литературный мир и стал сочинять украинские басни и сатиры. Очевидно, надо было обладать кипучей энергией и огромным талантом Ивана Нечуя-Левицкого, чтобы победить в себе меланхолическую закваску клерикального образования и увлечься современной культурной жизнью. Он был первым и, пожалуй, последним выпускником Киевской духовной академии, которому суждено было стать великим писателем.

Несколько иными причинами объ-

ясняется отсутствие заметных литературных талантов среди русского образованного общества Киева. Здесь умственно было бы говорить не о внутренней перестройке и переоценке культурных ценностей, а о беспочвенности местной русской интеллигенции, т.е. об отсутствии корней в той земле, на которой она жила. Многие из того, что печаталось в Киеве на протяжении всего XIX века на русском языке не представляет никакого интереса. Кто теперь помнит, скажем, о братьях-актерах Карпенко, которые играли видную роль в киевской культурной жизни, писали стихи, прозу, пьесы, создавали театральные труппы, ставили пьесы на провинциальных сценах. При этом они не догадывались, что после их смерти на их «сочинения» будут смотреть как на ненужный хлам. То же самое можно сказать и об А. фон-Юнке и П. Должикиве, В. Барщевском, В. Аскоченском и др.

Иные русскоязычные авторы (например, К. Сементовский, Ф. Ясногурский, О. Шалацкая) несколько поднимаются над общим уровнем киевского русскоязычного сочинительства, но, увы, читая их неумело написанную и плохо отредактированную прозу, поневоле думаешь, что живи они в более естественной для них культурной среде, как знать, может, и они стали бы вполне пристойными авторами.

Литературная среда начала было складываться в 1840-х годах вокруг Киевского университета, но она быстро выходила и рассеялась в связи с политическими преследованиями ее лидеров — членов Кирилло-мефодиевского братства. Т. Шевченко любил Киев, писал о нем до последних дней своей жизни, но стать киевлянином ему так и не пришлось. Одно время после ссылки Пантелеймон Кулиш также меч-

тал поселиться в Киеве и даже поручил одному из своих знакомых присмотреть для него где-нибудь за Лаврой участок для усадьбы. Однако вскоре он оставил свою затею, поняв, что для писателя, а тем более украинского, это далеко не лучшее место на земле.

В свою очередь и русские писатели неохотно селились в Киеве, где почти до конца XIX века не было ни литературных журналов, ни подобающего большому культурному центру издательства и ни малейшего намека на нормальную литературную среду. Жить в такой добровольной ссылке никому не хотелось.

Были, конечно, и счастливые исключения. Здесь доживал свой век известный поэт пушкинской поры А. Подолинский. Киев был для него родным городом. В своих стихах он вспоминает и днепровские кручи, и Лавру, и легендарную Девич-гору, рисует романтические киевские пейзажи. Устав от ожесточенной литературной борьбы в Петербурге, Подолинский вернулся в Киев, надеясь обрести здесь новые источники вдохновения. И действительно он нашел в Киеве нечто новое, оригинальное. Вышедшие в 1860 г. «Сочинения», свидетельствуют о внутреннем преображении его творчества. Бедные на яркие краски провинциальные будни обострили интерес Подолинского к прозе жизни. Он понял, что поэту не обязательно становиться в позу, острить и иронизировать над обыденной жизнью людей, как это делал Пушкин и его последователи. Будни могут отразиться в поэтическом слове без прикрас и иронических комментариев. Поэт открыл для себя экзистенциальную глубину «частной жизни», а вместе с ней и целый мир еще неведомых русской поэзии переживаний. Сравните цитиру-

емые ниже вроде бы «серовато будничные» стихи Подолинского с красочным «Зимним утром» («Мороз и солнце; день чудесный!») Пушкина, и вы поймете, что это начало новой эпохи в русской лирике. Сюжет тот же, но за ним стоит уже иной мир переживаний, иное мироощущение.

*Ты спишь, а между тем суровый
и угрюмый*

*Меня уже давно томит осенний день,
И этот полусвет и туч нависших тень
Согласны мрачностью с моею скорбной
думой,*

*Мой озавочен ум, тоска в моей крови,
Душа еще больна вчерашнею размовкой;
Зачем же заменил язык, упреков полный,
Привычный нам язык доверья и любви...
Проснись же! Я часы томительно
считаю,*

*Миг пробуждения я с трепетом ловлю,
Чтоб высказать тебе, как много*

*я страдаю,
Как горячо тебя и нежно я люблю...
Иль нет! Пусть долго сон еще тебя
лелеет,*

*Пусть долго этот день на муку
длится мне,*

*Нарушить трез твоих любовь моя
не смеет;*

*Быть может, милый друг, ты
счастлива во сне.*

Подолинский много претерпел от соперничества с гениальным Пушкиным и особенно от насмешек его друзей и эпигонов. Он бежал от них в Киев. И здесь к нему пришла удача. Он победил своего блистательного соперника и создал новую, совершенно «непушкинскую» поэзию, нашел необычный по тем временам подход к явлениям жизни. Поразительно, что эти новаторские стихи написаны в 1851 г. И где? — на самом краю мира русской поэзии — в её дотолее бесплодной «киевской провинции».



А. И. Подолинский

Обычно начало новой, «послепушкинской» поэзии связывают с именем Некрасова. С таким же успехом можно сказать, что начало ей положил старый Подолинский. И сделал он это в Киеве.

Позже поэзия будничных чувств придаст незабываемую прелесть стихам Случевского и Анненского, разовьется в символизме и окончательно воцарится в стихах акмеистов. По иронии судьбы поэзия Анны Ахматовой начинается там же, откуда пришли в русскую лирику новаторские мотивы Подолинского. Но тем не менее Киев не стал родиной новой русской поэзии. Ему досталась роль почтовой станции на её пути. Русская муза ненароком остановилась и переночевала в Киеве, чтобы поутру вновь двинуться в путь.

Старый поэт-новатор А. Подолинский стал живым воплощением перспективности русской поэзии в Киеве. Здесь она не вызывала особого

интереса. Даже Лескову не интересно было знать, чем живет и что пишет старый поэт. «Подолинский, — отмечал он, — кажется, еще жил, но не писал ничего, да про него тогда и позабыли». Такое может быть только в Киеве. Заметили и полюбили пушкинского эпигона, заезжего капитана Н. Арбузова, а Подолинский ...«кажется еще жил»! Лучшей иллюстрации беспочвенности, ненужности, невостремленности трудно придумать!

Самым значительным русским писателем в Киеве XIX в. оказался (опять-таки чисто случайно) Андрей Муравьев. Его «Путешествия по святым местам», написанные в пику пропахшим «западничеством» духом «Запискам русского путешественника» Н. Карамзина, произвели настоящий переворот в умах читающей публики. Открыли ей поэзию православной святости и были очень популярны на протяжении нескольких десятилетий. А. Муравьева читали в разных слоях общества — в царском дворце, в салоне императрицы, и среди торжища, сидя на чурбане подольской «обжорки». Здесь тоже жаждали веры, святости и чуда.

Поселившись после Крымской войны на постоянное жительство в Киеве, А. Муравьев написал еще несколько книг, но и он, как Подолинский, почти всю жизнь провел вне Киева и появился здесь на склоне лет, уже сформировавшимся мастером слова. По сути он был в Киеве «звездой иных миров, иных небес». Как и следовало ожидать, одаренный пришелец не оставил после себя ни последователей, ни сотрудников, ни учеников. О нем скоро забыли, и если бы не Лесков, не скоро б и вспомнили...

Были и такие писатели, которые вроде бы выросли на киевской почве,

но, возмужав, «откочевали» в центры русской культуры — в Москву и Петербург. Таких — десятки. И среди них имена звезд первой величины — Лескова, Куприна, Ахматовой, Паустовского, Булгакова.

Киеву всегда не хватало хорошей русской литературы «собственного изготовления», поскольку он никогда не был русским городом ни по языку, ни по историческому преданию, ни по устроению народной среды, ни по быту и обычаям. Ситуацию с беспочвенностью киевской русской культуры усугубляло еще и то, что старые имперские власти со времен Екатерины II всячески препятствовали распространению среди образованных людей украинского языка, украинских обычаев и культурных традиций. Можно представить себе, что стало бы с киевской литературой, если бы «заговор» кирилломефодиевцев не был раскрыт, и такие мощные дарования, как Т. Шевченко, П. Кулиш и Н. Костомаров со своими единомышленниками влились в культурную жизнь города!..

Борясь с «украинским сепаратизмом», правительство усвоило манеру систематически нивелировать местную культурную среду, лишая ее естественного притока сил. Те выпускники университета и академии, которые были по происхождению украинцами, получали назначения во «внутренние губернии», а на все более-менее привлекательные места в правительственных учреждениях, в гимназиях, вузах и даже церквях присылались люди из России, которых трудно было заподозрить в приверженности к «местному сепаратизму». При царе Николае Павловиче доходило до того, что чиновник из местных жителей получал значительно меньшее жалование,

нежели переведенный сюда на службу из «внутренних губерний».

И тем не менее никакие репрессии и манипуляции не могли остановить естественный процесс формирования киевской культурной среды. После смерти деспотичного Николая Павловича начали возникать украинские полулегальные кружки, салоны, творческие группы и научные общества. Самой удачной творческой структурой оказалась Киевская громада, по образцу которой создавались аналогичные полулегальные товарищества в других городах. Громада выросла на почве киевского университетского образования и занималась теми проблемами, которыми должен был заниматься сам университет, если бы он не был запрограммирован на бессмысленную «унификацию Юго-Западного края». Официальное просвещение сторонилось проблем «местной жизни», и поэтому такие важные дела, как формирование национального языка, литературы, осмысление исторического прошлого Украины и поиски новых путей развития приходилось брать на себя вроде бы частным лицам, создавшим с этой целью полулегальную организацию.

Шестидесятники XIX века (М. Ста-

рицкий, И. Нечуй-Левицкий, Н. Лысенко, Б. Познанский, А. Конисский, М. Драгоманов, П. Житецкий, В. Антонович, И. Карпенко-Карый, М. Кропивницкий, Русовы и др.) именовали себя «украинофилами», а поколение их детей (Лесья Украинка, А. Крымский, М. Вороний, В. Самийленко, Л. Старицкая-Черняховская и др.) назывались уже просто украинцами, украинскими писателями, деятелями украинской науки, украинской сцены. Киев перестал быть русской культурной провинцией. Создаваемая здесь литература, сохраняя некоторые родственные черты с русской, поражала обилием тем, идей и образов, которые тщательно было бы искать у иных писателей Европы.

Эпоха национального возрождения оставила после себя много анекдотов, связанных с именами классиков: Т. Шевченко, И. Нечуя-Левицкого, М. Старицкого, Леси Украинки, М. Кропивницкого — и других известных писателей. Этим анекдотам могло бы быть намного больше, если бы не политические репрессии, приучившие людей не доверять своим мыслям бумаге, и если бы не войны и революции, заставлявшие их топить печи испеченной бумагой.

П. А. АНДРЕЕВСКИЙ

Павел Аркадьевич Андреевский (иногда — Андриевский) (1849 или 1850—1890) окончил юридический факультет Харьковского университета (1870). Работал следователем в Самаре, присяжным поверенным при Киевском окружном суде. В 1878—1879 г. сотрудничал в газете «Киевлянин». 1880—1886 гг. — редактор демократической газеты «За-

ря». (Адрес редакции — Костельная, 4). Затем писал фельетоны в «Киевском слове» А. Антоновича под псевдонимом Игла. Часть его фельетонов вышла в Киеве отдельным изданием. Автор нескольких пьес, с успехом шедших в театрах. Был женат на дочери известного оперного певца и антрепренера Иосифа Сетова (Сетгофера).

/Смерть героя с позволения начальства/

Говоря о Дрентельне, я вспомнил следующий забавный эпизод, который случился в Киеве с номинальным редактором тамошней либеральной газеты «Заря», присяжным поверенным Андреевским, в то время, когда я и Дрентельн жили там /.../

Андреевский был чрезвычайно остроумный человек, но крайне неосновательный и забудлыга /.../ Вот этот самый Андреевский и писал в «Заре» воскресные фельетоны, причем затрагивал всегда кого-нибудь из киевского общества.

В то время в Киеве жил очень почтенный артиллерийский полковник; у него была жена очень красивая, за которой постоянно кто-нибудь ухаживал, и ухаживал с успехом. И вот тогда, между прочими ухаживаниями, имевшими у нее успех, пользовался также успехом и князь Горчаков, который приезжал в Киев и некоторое время там жил*.

Вот этот Андреевский и начал писать роман, в котором изображал жену этого полковника, ее похождения, и лиц, ухаживавших за ней — между прочим того ухаживателя, который именно в то время имел успех (это был князь Горчаков).

Роман совершенно вывел из терпения бедного мужа этой дамы. Полковник пошел к Дрентельну и пожаловался на Андреевского. Тогда Дрентельн приказал позвать к себе Андреевского и говорит ему:

— Правда, что вы пишете в вашем романе, в фельетонах всевозможные гадости о дамах — и дамах порядочных? Так вот, я вам приказываю, чтобы вы этот роман не смели больше писать, чтобы вы этот роман прекратили, а иначе я поступлю с вами так, как вы этого и не ожидаете.

Тогда Андреевский и говорит Дрентельну:

— Ваше превосходительство, вы знаете — я всегда исполняю ваши приказания,

и это ваше приказание я тоже исполню, только я вас прошу: будьте так добры, позвольте, — говорит, — моему герою романа спокойно умереть. Я вам даю честное слово, что в следующем фельетоне он умрет, и этим кончится весь роман.

Дрентельн засмеялся и этого Андреевского прогнал.
(64, 112—113).

**Очевидно, речь идет о дипломате, русском посланнике в Мадриде Михаиле Александровиче Горчакове. Но не исключено, что героем этой светской истории был его отец, престарелый светлейший князь Александр Михайлович Горчаков (1798—1883), однокашник А. Пушкина по Царскосельскому лицейу, знаменитый дипломат и государственный канцлер. Он ушел в отставку в весьма почтенном возрасте в 1882 г. и через год умер в Бадене. В этом случае просьба автора романа: «Позвольте моему герою /.../ спокойно умереть», приобретает особый анекдотический смысл, что и вызвало невольный смех генерал-губернатора.*

В Киеве в 1880-х годах было три места, где собиралось лучшее общество: летом — сад «Шато-де-Флер», а зимой — так называемый дворянский клуб и ресторан Дьякова («Северный», а впоследствии «Метрополь»). В клубе каждый вечер можно было встретить администраторов, чинов судебного ведомства, присяжных поверенных, банковских деятелей и пр. В ресторане Дьякова изредка появлялись те же лица, но завсегдатаями были литераторы, артисты, журналисты, художники и пр.

Постоянные встречи невольно вызывали приятельские отношения между чинами магистратуры, прокуратуры и присяжными поверенными, и отношения эти весьма часто проглядывали при рассмотрении в суде даже самых серьезных уголовных дел с участием присяжных заседателей. Так, товарищу председателя суда В.П. Родзянко, член суда г-н С.Я. Богданов, товарищу прокурора Н.В. Резников и присяжный поверенный П.А. Андреевский, А.Ф. Френкель и Л.А. Куперник (из всех этих лиц в живых остался только А.Ф. Френкель) — все эти лица составляли довольно тесный кружок, что и замечалось при разборе дел в суде /.../

Так, по какому-то делу председательствовал В.П. Родзянко, защищал присяжный поверенный П.А. Андреевский. Допрашивается свидетель. Председатель обращается к защитнику:

- Г-н Андреевский, имеете вопросы?
 - Нет, г-н Родзянко, не имею!
 - Я вам не Родзянко, а председатель!
 - А я вам не Андреевский, а защитник!
- (467, 92—93).

В. И. АСКОЧЕНСКИЙ

Виктор Ипатьевич* Аскоченский (1813—1879) — исследователь истории киевского просвещения, поэт, журналист, хормейстер и музыкант, сочинитель популярных романсов. Родился в Воронеже. Окончил Киевскую духовную академию в 1839 г. Будучи студентом руководил академическим хором (1837—1839). Служил преподавателем (1839—1846), но, убедившись в том, что его характер не позволяет надеяться на успешную академическую карьеру, покинул академию ради многообещающей службы гувернером в доме киевского генерал-губернатора (1846—1849). Числясь воспитателем великовозрастного племянника Бибикова, который учился тогда в университете и в наставлениях не нуждался, Аскоченский неофициально исполнял довольно деликатную роль особо доверенного лица по связям начальника края с киевским обществом. В его обязанности входило распространение благоприятных слухов о генерал-губернаторе. С этой же целью он создал в доме Бибикова небольшой клуб любителей анекдота, через который запускал в городскую среду сочиненные им панегирические «истории» о своем патроне. Покровительство Бибикова позволило ему занять довольно высокий пост в провинциальной администрации. Он служил совестным судьей (и одновременно председателем гражданской палаты) в Каменце-Подольском (1849—1851), но,



как писал автор его некролога в «Киевских епархиальных ведомостях», «при своих сатирических наклонностях и охоте к остроумам на счет кого бы то ни было Виктор Ипатьевич нелегко уживался в среде, в какую попал». Он оставил службу и вернулся в Киев. Жить было не на что. Аскоченский пил и существовал в основном на подачки своего бывшего сокурсника, ректора академии Антония Амфитеатрова. Он руководил хором академии и не стеснялся обедать в студенческой столовой. Ректор Антоний открыл ему доступ к академическим архивам, благодаря чему появились его фундаментальные сочинения по истории Киевской академии (сначала двухтомник «Киев с его древнейшим училищем Академиею» (К., 1856), а потом — не совсем завершенная «История Киевской духовной академии по преобразовании ее в 1819 году» (К., 1863). Пользовался поддержкой митрополита Филарета Амфитеатрова и входил в круг его приближенных. Издавал в

Киеве (1854—1858) и в Петербурге (1858—1877) религиозно-общественный журнал «Домашняя беседа».

В 1840-х гг. печатал в «Киевских губернских ведомостях» очерки о деятелях украинской культуры (А. Веделе, М. Березовском, Г. Сковороде), своем земляке — поэте Кольцове, об украинском языке, который считал исконным и самым древним из восточнославянских. Поддерживал дружеские отношения с Т. Шевченко (на почве модного в то время увлечения искусством анекдота). В 1861 г. откликнулся на смерть поэта в своем журнале статьей «И мои воспоминания про Т.Г. Шевченко». Писал стихи и басни, хотя и не обладал поэтическим талантом. Издал роман «Асмодей нашего времени». Среди учащейся молодежи в свое время была популярна его книга «Краткое начертание истории русской литературы». По ней готовились к вступительным экзаменам в университет.

Асоченский был консерватором и прославился резкими высказываниями по поводу «нынешнего модного прогресса». Даже А. Пушкин был для него не более как «бонтонный рассказчик закулисной жизни так называемого лучшего общества». Основная тема творчества великого поэта, утверждал Асоченский, — «учение сладострастия», а его герои — «незаконнорожденные дети цивилизации» («Домашняя беседа», 1855, № 26). Живя в Киеве, любил выступать проповедником высокой христианской морали и обличителем пороков местной жизни. За дерзкие публичные высказывания личного характера генерал-губернатор кн. И.И. Васильчиков отправил его на гауптвахту, и неизвестно, чем бы кончилась эта история для самого обличителя, если бы по-

клонники нового «пророка» не пришли ему на помощь. Однако вскоре писатель вновь взялся за обличения и над гробом своего умершего единомышленника коменданта киевской крепости Панаева укорял присутствующего на панихиде кн. Васильчикова за пособничество «людям прогресса», а покойного коменданта возносил как «врага модного прогресса».

Воинствующее духовенство и ультраконсервативная журналистика Асоченского привлекли внимание влиятельных петербургских кругов. Вместе со своим журналом он переехал в столицу. (Это, пожалуй, единственный случай «переселения» киевского журнала в Петербург.) И на первых порах пользовался шумным успехом, хотя со временем выяснилось, что консерватизм Асоченского бесплоден, и кроме ругани и высокопарных наставлений, от него нечего ожидать. Снискал посмертную славу реакционера благодаря Т. Шевченко, нелестно отозвавшегося о нем в одном из своих последних стихотворений.

В 1877 г. у писателя проявились первые признаки нервного расстройства. Он был помещен в отделение для душевнобольных Петропавловской больницы в Петербурге, где и скончался, оставив после себя большую семью без средств к существованию. Как писал один его современник, писатель «никогда особенно не заботился о средствах к жизни; жил, можно сказать, нынешним днем, мало заботясь о завтрашнем /—/ готов был делиться с нуждающимися тем, что имел».

В 1882 г. в №1—5 «Исторического вестника» были напечатаны отрывки из «Дневника» В. Асоченского, где можно найти немало интересных подробностей из жизни Киева 1830—1850 годов.

Когда преосвященный Антоний* получил докторство и самый крест докторский и по этому случаю у высокопреосвященного Филарета был обед, один из присутствующих (светских лиц), рассматривая из любопытства крест докторский и, увидев на обратной стороне цитату из слов св. Евангелия, желал знать, какое здесь разумеется изречение.

Аскоченский тотчас подскочил с услугою объяснить и сказал:

— Эти слова следующие: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, но по делам же их не поступайте, ибо говорят они и не делают»**.

Услышав это объяснение Аскоченского, высокопреосвященный Филарет тут же подхватил его:

— А что же ты не досказал, что «Глаголют и врут», точь-в-точь, как теперь ты... И сказать правду, заврался уж больно нестатно.

Чтобы понять значение нестатной выходки Аскоченского, нужно знать, что на оборотной стороне докторского креста написана цитата: Матв. гл. 5, 19, и этот стих читается так: «А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном».

(56, 202).

*Антоний Амфитеатров, племянник митрополита Филарета, ректор Киевской духовной академии с 1851 г. Подробнее о нем см. в гл. «Киевское просвещение».

**Эту дерзкую выходку против церковной элиты Аскоченский мог позволить себе на правах друга, бывшего соученика викария Антония по академии и приближенного самого владыки. К тому же Аскоченский нередко исполнял при Филарете роль шута и ему многое прощалось. В юные годы, будучи еще студентом академии, Аскоченский действительно вольнодумствовал и весьма критически высказывался о жизни и нравах церковных кругов.

В.И. Аскоченский был неудержим в своих словах в присутствии самого даже высокопреосвященного Филарета. И последний по временам любил его остроты и каламбуры, но иногда замечал ему внушительно:

— Ты знаешь, что где-то сказано: «Язык яко бритва», но есть и русское народное выражение: «На такой-то язык нужно бы бритву». А тебе, брат, идет и то, и другое.

(56, 202).

/ Честь полежать под кроватью/

Однажды Виктор Ипатьевич, желая смягчить и сгладить само настроение владыки Филарета, подсунулся было со своим словом /.../:

— Да, ваше высокопреосвященство, и сама история подтверждает, что в здешней Академии был настолько освящен порядок в образе жизни воспитанников, что можно по традициям определить, — кто, когда, в какой камере жил и где была его

койка. Я, например, весь курс помещался в той комнате, и моя койка была на том месте, где почивал, учившись в академии, святитель Димитрий Ростовский.

Владыка, улыбнувшись, сказал:

— Да ты бы хорошенько справился, быть может, и сама-то кровать досталась тебе именно та, на которой почивал святитель Божий?

— Этого-то я не знаю, — отвечал Аскоченский.

— Ну так я тебе скажу: если бы нам с тобою досталось хоть под кроватью-то святителя Божия полежать, и то слишком много бы чести.

(58, 153).

О «непобедимых его дерзостях» рассказывалось тоже много, но всем predominировало сообщение о «стычке его с профессором Серафимом» на лекции по церковной истории.

Дело было так, что профессор после беспристрастного изложения фактов пришел научным путем к достоверному выводу, который изложил в следующих словах:

— Итак, мы ясно видели, что мать наша, святая православная церковь в России, приняв богоучрежденные постановления апостолов, ныне управляется самим Духом святым.

— В генеральском мундире! — отозвался со своей парты Аскоченский.

Профессор смутился и, как бы желая затушевать неуместное вмешательство студента, повторил:

— Самим Духом святым.

Но Аскоченский снова не выдержал и еще громче произнес:

— Да, в генеральском мундире!

— Что ты под сим разумеешь? — спросил его Серафим.

— Не что, а нечто, — отвечал Аскоченский и пояснил, что он разумеет военного обер-прокурора синода Н. Ал. Протасова.

Серафим пошел жаловаться к /ректору/ Иннокентию /Борисову/, но тот как-то спустил это мягко.

(237, 83—84).

О силе Аскоченского говорили много, приводя примеры, что будто еѣ иногда поневоле принимали в соображение бывший в его время ректором /духовной академии/ «русский Златоуст» Иннокентий Борисов и инспектор Иеремия. Достоверного в этом кажется то, что когда инспектор отобрал раз у студентов чубуки и спес их к Иннокентию, то Аскоченский, с его «непобедимой дерзостью» явился к Иннокентию «требовать свою собственность». А когда Иннокентий назвал это нахальством и приказал нагледу «выйти вон», то Аскоченский взял «весь пук чубуков» и сразу все их переломил на колене.

(237, 83).

Все остальное, что касается его легендарной силы, выражалось в таком роде: он все «ломал». Больше всего он ломал, или, лучше сказать, пнул за столами металлические ножи, ложки, вилки, а иногда подсвечники. Делал он это всегда сюрпризом для хозяев, но не всегда к их большому удовольствию.

(237, 83).

Тогда мы были очень молоды и каждый из нас провожал кого-нибудь из существ, заставлявших скорее биться его сердце. Волокитство и ухаживания тогда входили в «расписание часов дня» благопристойного россиянина», чему может служить наилучшим выражением «Дневник Виктора Аскоченского», напечатанный в 1882 г. в «Историческом вестнике». И сам автор этого дневника, тогда еще молодцеватый и здоровый, был среди нас и даже, может быть, служил для многих образцом в тонкой науке волокитства, которую он практиковал, впрочем, преимущественно «по купечеству». У женщин настоящего светского воспитания он никакого успеха не имел и не получал к ним доступа.

Аскоченский одевался щеголем, но без вкуса, и не имел он ни мягкости, ни воспитанности: но был дерзок и груб в разговоре, очень неприятен в манерах.

По словам одного из киевских современников, впоследствии профессора казанского университета, А. О. Яновича, он всегда напоминал «переодетшегося архиепископа». В сияющий день открытия /Цепного/ моста Аскоченский ходил в панталонах рококо и в светлой шляпе на своей крутой голове, а на каждой из его рук висело по одной подольской барышине. Он вел девиц и метал встречным знакомым своим тупые семинарские остроты. В этот же день он, останавливаясь над кручею, декламировал:

...Вот он — Днепр.

Тот самый Днепр, где вся Русь крестилась

И, по милости судеб, где она омылась.

За этими стихами следовало его командирское слово:

На молитву же, друзья:

Киев перед нами!

После все это вошло в какое-то большое его призывное стихотворение, по обыкновению, с тяжелой версификацией и с массою неглагольных рифм. Его муза, под силу ему самому, была своенравна и очень неуклюжа.

О нем хочется сказать еще два слова: дневник этот, который я прочитал весь в подлиннике, имеет характер сочиненности. Там есть даже пятна слез, оросивших страницы, где говорится о подольских купеческих барышнях. Или есть такие заметки: «Я пьян и не могу держать пера в руках», а между тем, это написано совершенно трезвою и твердою рукою...

Вообще надо жалеть, что никто из знавших Аскоченского киевлян не напишет хорошей беспристрастной заметки о тревоженной жизни и трудах этого человека с замечательными способностями, из которых он сделал едва ли не самое худшее употребление, какое только мог бы ему выбрать его злейший враг.

Праху его мир и покой, но его жизненные невзгоды и карьерная игра характерны и поучительны.

(237, 46—47).

/Зашифрованная исповедь Аскоченского/

Род человеческий, — пишет он 28 января 1845 г. /в своем дневнике/, — ужасно как хлопочет о том, чтобы меня женить. Больно не хочется, а впрочем, я не совсем прочь. Только наперед сказать: кроме *существительного** мне нужно — и крепко нужно — *прилагательное***, и ни под

каким предложом и наречием*** я не вступлю в союз**** с одним глаголом*****, если числительного***** не будет на лицо, теперь я уже в таких летах, что междометиями и деепричастиями***** меня не надуеть, и я уже не пишу стихов и не могу питать платонически бессребренной страсти к местоимениям личным***** без притяжательных в среднем роде*****. Это моя житейская грамматика, в непогрешимость которой я верю, как турок в свой алькоран. (19, 537)

* «Существительное» — невеста.

** «Прилагательное» — приданое.

*** «Ни под каким предложом и наречием» — ни при каких обстоятельствах.

**** «Союз» — брак.

***** «С одним глаголом» — на одно лишь честное слово.

***** «Числительное» — наличные деньги.

***** «Междометия и деепричастия» — вздохи, недомолвки и намеки.

***** «Местоимение личное» — «она».

***** «Притяжательное в среднем роде» — богатство.

/Чудо с Аскоченским и редькой/

/Юродивый иеродиакон Феофил/ крайне не любил курильщиков табаку, да и сам не мог выносить табачного дыма.

— Вишь, «чертова зелья» напихались, — строго укорял он своих накурившихся посетителей. — Пришли сюда, в обитель, табачную заразу распространять... Чего доброго завтра и ко сн. Тайнам Христовым с табачником на языке приступите? Уходите от меня прочь! Нет вам моего благословения...

Шел однажды Феофил по аллее монастырского двора с кем-то из преданных ему боголюбивых горожан и нес в горшке редьку с квасом. Навстречу ему попался редактор-издатель журнала «Домашняя беседа» Виктор Ипатьевич Аскоченский. На этот раз он курил сигару и, втянув в себя табачный дым, пахнул его прямо на кушанье Феофила. Блаженный ничего на это не сказал и только пальцем брызнул на него из горшка.

Возвратившись домой, Аскоченский сел обедать, но подавшее блюдо оказалось пропитанным запахом ... редьки. Ничего не подозревая необыкновенного, Аскоченский выплеснул из тарелки содержимое и попросил переменить блюдо. Подали, но опять тот же запах! В раздражении Аскоченский накиннулся на кухарку и домашних, но никто не мог объяснить ему, отчего происходит запах. Подали второе блюдо, — повторилось то же самое. Подали третье — опять неприятный запах редьки.

Вышедши из терпения, Аскоченский отравился к знакомым, но те, приветствуя его, замечают ему, что от него сильно пахнет редькой. Он попросил знакомых дать ему что-нибудь поесть, досадуя при этом на неряшливое приготовление домашнего обеда. Но каково же было его удивление, когда и у знакомых кушанье было пропитано запахом редьки.

Тогда он идет в булочную, покупает там печенье, возвращается домой и начинает пить чай. Но и чай, и купленное печенье оказываются пропитанными запахом тертой редьки.

Проходит день, два, три, — Аскоченский доходит до отчаянья, т. к. все встречающиеся с ним знакомые лица замечают о неприятном от него запахе редьки. Долго доискивался Аскоченский причины этого странного явления и наконец вспомнил свою встречу со старцем Феофилом.

Сознавая неприличие совершенного им тогда поступка, он отправился к блаженному в Китаев, испросил у него прощения и с тех пор неприятный запах редьки совершенно исчез.

(58, 79).

/Два клада Аскоченского/

О кладах мне только известно в смысле литературном. Где-то и у кого-то в Киеве должен сохраниться один очень драгоценный и интересный литературный клад — это одно действительно меткое и остроумное сочинение В. И. Аскоченского, написанное в форме речи, произнесенной кандидатом епископства при наречении его в архiereи. Речь новонарекаемого епископа, сочиненная Аскоченским, не только нimalo не похожа на те речи, какие обыкновенно при этих важных случаях произносятся, но она им диаметрально противоположна по направлению и по духу /.../*

Указывают еще на другой клад, оставленный В.И. Аскоченским в Киеве и находящийся, вероятно, теперь у какого-либо из его киевских знакомых. Это обширное его исследование о тогдашнем состоянии русских университетов, озаглавленное так: «Наши университеты». Ф.Г. Лебединцев** читал эту толстую, листов в 70, рукопись, написанную в 1854 или в 1855 году. В ней Аскоченский с беспощадной резкостью осуждает весь строй университетский и раскрывает недуги профессоров банковского направления***. Рукопись наполнена массою самых неприглядных фактов, обличавших пустоту университетских чтений, грошное либеральничество профессоров и поврежденность нравов студентов и пр. Рукопись шибко ходила по рукам и произвела в ученом и административном мире бурю, кончившуюся тем, что бесшабашного автора как неслужащего дворянина посадили на две недели на гауптвахту при киевском ордонанс-гаузе.

Рассказывали в ту пору, что когда Аскоченский был «приличным образом» доставлен к тогдашнему киевскому генерал-губернатору кн. Васильчикову, последний дал Аскоченскому прочесть ту статью из Свода Законов, которая грозила ему чем-то вроде высылки «в места отдаленные». Аскоченский нimalo не сробел: он прочел статью, положил книгу и улыбнулся.

— Вас, стало, это забавляет? — спросил его добродушный князь Васильчиков. Аскоченский пожал плечами и ответил:

— Не думаю, чтобы кого-нибудь забавляла возможность прогуляться в Сибирь. Мне смешно другое****.

Васильчиков не продолжал разговора и послал его под арест.

В этой записке, по словам Лебединцева, было много очень умного, дельного и справедливого, так что автору было за что посидеть под арестом.

(237, 85—88).

*Лесков намекает на антиклерикальный характер сочинения Аскоченского, написанного им, очевидно, в молодые годы, когда он был вольнодумцем.

****Первый редактор журнала «Киевская старина», киевский знакомый Н. Лескова.**

*****Начало «банковскому направлению» среди киевской профессуры положил хорошо известный Лескову И.М. Визура (1819—1856), который с 1850 по 1856 гг. параллельно с лекторством в университете служил юрисконсультом в коммерческом банке. Позже участие ряда киевских профессоров в различных финансовых предприятиях стало привычной темой для авторов столичных юмористических журналов.**

******Аскоченский иронизирует над тем, что генерал-губернатор защищает «гнездо крамолы» и грозит Сибирью автору сочинения, написанного в верноподданническом духе. Ситуация и впрямь комическая.**

Во второй половине пятидесятых годов, когда печать заговорила свободнее, Аскоченский переехал в Петербург и начал издавать жалкий журнальчик «Домашняя беседа».

Приехал как-то Аскоченский в Киев и навестил моего отца. Встретив очень радушно старого товарища*, отец спросил его:

— Ну что, Виктор Ипатьевич, ругают тебя по-прежнему?

— Да, ругали меня во всю Ивановскую, — ответил со злобой Аскоченский, — и пусть бы продолжали ругать: по крайней мере, я видел бы, что со мной считаются. А теперь, представь себе, они, проклятые, на меня и мой журнал не обращают никакого внимания и не вспоминают о нас ни одним словом.

(423, 4—5).

*** Отец автора мемуаров Хижняков Михаил Михайлович (1808—1875) в молодости был однокурсником Аскоченского по духовной академии. Всю жизнь посвятил Киевской духовной консистории, где дослужился до звания секретаря и чина коллежского советника.**

В. К. ВИННИЧЕНКО

Владимир Кириллович Винниченко (1880—1951) родился в крестьянской семье в с. Веселый Кут Елисаветградского уезда. Учился в Елисаветградской гимназии. В 1899 г. исключен из нее за «мазепинские взгляды», сдал гимназические экзамены экстерном. В 1900 г. вступил в Революционную украинскую партию (РУП), которая стояла на социалистических позициях. Учился (с 1901 г.) на юридическом факультете Киевского университета. В 1902 г. за участие в студенческих волнениях арестован и заключен в Лукьяновской тюрьме. После освобождения исключен из университета как неблагонадежный. В сентябре того же года призван в армию, служил вольноопределяющимся в Киеве, в 5-м саперном батальоне. В 1903 г. дезертировал из армии, бежал в Галичину, где вел активную революционную деятельность против русского правительства, переправлял нелегальную литературу через границу, был арестован, вновь сидел в Лукьяновской тюрьме в Киеве. В 1904 г. освобожден по амнистии. Эмигрировал, основал Украинскую социал-демократическую партию (пре-емница РУП). Много писал и печатался в украинской прессе, добился признания как яркий и оригинальный писатель, затрагивавший в своем творчестве большие социальные и философские проблемы. В 1906 г. нелегально вернулся в Украину. Организовывал крестьянские волнения. Арестован



и в третий раз попал в Лукьяновскую тюрьму. Взят на поруки Е. Чикаленко и бежал за границу. Вернулся в Украину в 1917 г. Член секретариата Центральной Рады. Вел переговоры с Временным правительством об украинской независимости. В 1918 г. вышел из Центральной Рады вместе со своей партией в знак протеста против ее политики. В конце 1918 г. возглавил Директорию. Не найдя общего языка с С. Петлюрой, эмигрировал в Австрию, где создал УКП — Украинскую коммунистическую партию, призванную бороться против «петлюровщины» и белогвардейщины в Украине в тесном контакте с большевистским правительством России. В 1920 г. возвращается из эмиграции в Украину, чтобы «отдать все силы тела и души» делу революции и защиты социализма. Он готов был сотрудничать с деятелями КП(б)У и даже занять пост в украинском советском правительстве, однако его визит в Харьков оказался

непродолжительным. Советские коммунисты не приняли его программы политических преобразований. Ему предложили вступить в ВК(б)У, занять пост председателя Совнаркома и наркома иностранных дел, но в состав политбюро не ввели, что означало отстранение от непосредственного участия в принятии важнейших политических решений. Поняв ситуацию, Винниченко спешно покинул Харьков и выехал за границу. С 1925 г. живет в Париже, а с 1934-го — в небольшом

частном владении в с. Мужен неподалеку от Канн. Всю жизнь сохранял верность социалистическим идеалам. Вступил с новой для того времени идеей мирного сосуществования разных политических систем и сближения идеологий, разделивших после 1917 года Европу на две половины. За отказ сотрудничать с фашистскими оккупационными властями сидел в концлагере.

Его творчество замалчивалось в Украине с 1933 г. до конца 1980-х годов.

/Протест проти релігійних свят/

Якось під Великдень обходили ми всі церкви, навколо яких було стільки народу з свічками, йшли хресні ходи, освітлені були самі церкви й собори. Зрештою опинилися ми над Дніпром, коло пам'ятника Володимира Великого. І тут Винниченко завзято чомусь став танцювати гопака. На якісь соціалістичні теми ми тоді не говорили: було надто весело. А на Винниченка ми дивились не стільки як на соціаліста, як на автора цікавих оповідань, що нас дуже захоплювали.

(462, 292).

Життєвий тоді мав дуже імпозантний вигляд: великий, з довгою густою білою бородою і таким же волоссям на голові; в дому він нікуди не виходив, бо не володів правою рукою і ногою, розум же в нього зостався такий же ясний, широкий, а видатна красномовність і охота поговорити ще наче збільшилися.

Одного разу, коли я зайшов до нього, він запитав мене:

— Не знаєте, що то за Винниченко, що пише такі гарні свіжі оповідання в «Киевской старине»? /.../ Ви його коли-небудь приведіть до мене.

— Та я давно раджу вам познайомитися з теперішньою молоддю...

— З отими соціалістами? Ні, вже змилюйтеся наді мною!

— Та й Винниченко, — кажу, — належить до соціалістичної партії, хоч я вважаю, що по вдачі своїй він швидше анархіст.

— Ну, це ще гірше! Не хочу я знайомитися з ним! Бог з ним! Нам, українцям, не по дорозі з соціалістами.

— Даремно, — кажу, — ви так ставитеся до них. Поки у нас не було соціалістичної партії, то краща, енергійніша молодь наша тікала в російські революційні партії. Згадайте Дебогорія-Мокрієвича, Лизогуба, Стефановича, Кравчинського, Кибальчича, Желябова та й багато інших, бо молодь не може задовольнитися культурно-національною справою. Я хоч не соціаліст, а радю, що у нас вже є українська соціалістична партія, бо тепер молодь наша не буде так денационалізуватися, як досі, а буде працювати на українській ґрунті і для нас не пропаде /.../

— Можливо, воно й так, — каже Житецький, — але я вже застарий, щоб міняти свої погляди і не хочу мати діла з соціалістами.

Так він і не схотів познайомитися з Винниченком.

(451, 328—329).

Микола Садовський іронічно каже, що Винниченко розробив у п'єсі відомий анекдот:

«Гімназист звертається до знайомого лікаря з проханням прищепити йому сифіліс. Лікар, страшенно здивований, але зацікавлений, розпитує, нащо, для якої потреби?»

— Я хочу помститись вчителю математики...

— Але як саме?

— Я заражу нашу покойку.

— Ну?

— А вона тата, а тато — маму, а мама — учителя».

Отже комічне враження робить і остання п'єса Винниченка.

(452, 93).

Якось літом, їдучи з Кононівки в Перешори*, я опинився на день в Києві і зайшов до редакції «Киевской старины», що містилася тоді по Маріїнсько-Благовіщенській вул. в домі ч. 60, де застав тільки секретаря редакції, обов'язки якого замість В. М. Доманіцького виконував на канікулах Ф. П. Матушевський, тоді студент дерптського університету /.../

Прийшовши в редакцію, я зробив запитання, з яким раз-у-раз звертався до секретаря чи до редактора, коли довго там не був:

— Ну, чи ще на з'явився часом геніальний письменник?

Я раз у раз з розпущеною казав, що коли ми не матимем своєї преси, школи, або хоч такого геніального брехуна, як Сенкевич, що розбудить у широких колах національну свідомість, то станемо провансальцями.

На моє запитання Матушевський відповів серйозно:

— Геній, не геній, а новий талановитий письменник! Я, каже, «на сон грядущий» взяв читати оповідання якогось невідомого Винниченка — «Красу і силу», думав швидше заснути, але з перших же рядків захопився і почав голосно читати Єфремову, а як скінчив, то довго не могли ми заснути, розмовляючи про нього. Дійсно талановито написане оповідання, але Науменко** не хоче друкувати цієї, як він каже, «горьковщини», бо жінка його каже, що тоді в порядних родинах не можна буде держати на столі «Киевской старины».

Я взяв рукопис і тут же, не встаючи, прочитав те оповідання з великим інтересом, тим паче, що автора я знав раніше /.../ Я так захопився тим оповіданням, що зараз же пішов до Науменка, який тоді приїхав з хутора, і, хоч з великим напруженням, а таки умовив його надрукувати.

(451, 324—325).

*Усадьба автора, Е. Чикаленко.

**Редактор журн. «Киевская старина».

Н. В. ГОГОЛЬ

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) — классик мировой литературы, до недавнего времени считался русским и украинским писателем, писавшим на русском языке. В 1990-х годах не в меру ретивые киевские просветители, исходя из «языкового признака», объявили гения украинской культуры «иностранным писателем», изучаемым в украинской школе наряду с другими зарубежными авторами. Не вникая в эту ведомственную возню вокруг имени великого писателя, народ Украины по-прежнему любит и читает Гоголя, читает и по-украински и по-русски, не находя в нем ничего «инострannого».

По свидетельству М. Максимовича, Гоголь останавливался у него на Печерске на Николаевской улице летом 1835 г., когда хлопотал о своем назначении в новообразованный университет св. Владимира. Писатель мечтал поселиться в Киеве и преподавать историю в университете. Но он был, к сожалению, никудышным лектором (в Петербургском университете), и, зная это, попечитель Киевского учебного округа Е. Бадке предпочел ему профессора всеобщей истории Харьковского университета Вильгельма



Цыха. Живя у Максимовича, писатель с утра уходил гулять по городу, подолгу блуждал по улицам, отдыхал, лежа на скамейке на паперти Андреевской церкви, разговаривал с киевлянами и затемно возвращался на свою квартиру, счастливый, наполненный яркими впечатлениями. В другой раз, летом 1848 г., писатель останавливался у другого своего знакомого — Александра Данилевского в его доме на Виноградной ул., 14 (теперь тут большой жилой дом под №7).

Гоголь любил Киев, но не часто писал о нем в своих произведениях. В повести «Вий» изобразил он Подол и Киевскую академию. В «Страшной мести» повествуется о событиях на киевских окраинах. Бегло упоминает писатель о Киеве и в «Тарасе Бульбе».

/Гений в роли искателя мест/

Известно, что Гоголь был гениальный писатель, но весьма жалкий ученый. В воспоминаниях Тургенева мы нашли интересную характеристику Гоголя как адъюнкта Петербургского университета в 1835 г.

«Гоголь, — говорит он, — из трех лекций в неделю непременно пропускал две, и когда появлялся на кафедре, то не говорил, а шептал что-то весьма несвязно. Мы все были убеждены, что он ничего не смыслит в истории. На экзаменах он не разевал рта: студентов за него спрашивал И.Р. Шульгин. Понимая весь комизм своего положения, он подал в отставку».

И после такого полнейшего фиаско на профессорском поприще Гоголь все-таки добивался кафедры ординарного профессора истории в университете св. Владимира, надеясь на протекцию Пушкина и ректора Максимовича. В письме своем от 13 мая 1834 г. он просит поэта «похлопотать перед Уваровым о профессорстве в Киеве и для большего эффекта сказать, будто Гоголя застал еще живым». Потерпев неудачу, он разразился сильною бранью на ни в чем не повинных киевских профессоров:

«Ну, какой сволочи набрали в ваш Киевский университет! — пишет он учителю вольнской гимназии В.В. Тарновскому, — жаль бедного Максимовича, что он попал между них. Я сам, было, думал в Киев, да, к счастью, не сошелся с вашим Брадке» /.../ Из переписки Гоголя с Максимовичем мы узнаем, какие советы предлагал автор «Мертвых душ» своему земляку относительно преподавания словесности: «Не сиди над книгами! Говори свое, и то как можно поменьше, лучше всего ты делай со студентами эстетические разборы».

(430, 239—240).

/Опасения инспектора/

Несмотря, однако ж, на блюстителей нравственности и блюстительниц русского слова, «Мертвые души» разлетелись быстрее птиц небесных по широкому царству русскому. Прилетело несколько экземпляров и в древний Киев и дебутировали, разумеется, в университете.

Инспектор* с неудовольствием и даже страхом заметил, что студенты собираются в кружки и что-то с хохотом читают. Сначала он подумал (что весьма вероятно): «Верно, какая-нибудь каналья сочинила на меня пасквиль». Но заместивши, что студенты читают напечатанную книгу, у него от сердца отлегло. И как человек, мало следивший за движением отечественной литературы, и человек, не принадлежащий к банде блюстителей нравственности, то, узнавши, что книга титулуется «Мертвые души» — «должно быть, страшная», — и, махнувши рукою, сказал:

— Пускай их себе читают, лишь бы не пьянствовали да на Кресты окон бить не ходили**.

(455, 63—64).

*Имеется в виду инспектор университета, полковник в отставке М.К. Сыгучов, о котором в свое время по городу ходило множество анекдотов, сочиненных студентами.

**Битье окон и другие хулиганские выходки сопровождали обычно «крестовые походы» студентов — налеты на публичные дома в Крестах на Печерске — в районе теперешней ул. Гайдана (между ул. Суворова и Московской).

/Рецензия из газ. «Киевские губернские ведомости»/

Киевская литература. Мертвые души. Окончание поэмы Н.В. Гоголя. Похождения Чичикова. А.Е. Ващенко-Захарченко. — Киев. В университетской типографии, 1857.

/.../ Что такое эта книга — пародия ли, сатира или ожесточенная критика умершего уже писателя? Иначе и представить себе нельзя решимости оканчивать то, что не имело продолжения... С чувством невыразимого удивления прочитали мы на обертке заглавие сочинения г. Ващенко-Захарченко, с неодолимой тоской пробежали мы на первый раз несколько страниц, находя всюду жалкую и злую пародию на все, что выходило таким прекрасным из-под пера Гоголя /.../ Всякая сцена, выводимая г. Ващенко-Захарченко*, — чистая пародия на ту или иную сцену поэмы Гоголя /.../ Вся душа изныла, изболела от этой бесполовой сумятицы, от этих лиц, которые, как тяжелый кошмар, душили её во все продолжение чтения и разбора книги г. Ващенко-Захарченко.

Задно спасибо нашему маленькому гоголю: он убил Чичикова, убил навсегда, и теперь, Бог милостив! — никто уже после г. Ващенко-Захарченко не захочет гальванически тревожить этот безобразный труп /.../**. (170).

*Ващенко-Захарченко Андрей Егорович — помещик Золотоношского уезда Полтавской губернии.

**Последняя фраза показывает, что наши предки просто не догадывались о возможности появления такого литературного монстра, как постмодернизм, с его страстью к плагиату («цитированию») или «пародированию» и манипулированию («интерпретациям») классическими образами. Переписывание и дописывание классиков, фальсификация их произведений стало среди теперешних «литературных» пачкунов обычным делом.

/Гоголь и модный жилет/

Некто Михольский, провинциальный франт и человек, «тяготевший к аристократии», приехал в 1847 или в 1848 году в Киев для того, чтобы «эпизироваться» перед свадьбой; а один из его знакомых свез его к Михаилу Владимировичу Юзефовичу, который в ту пору ожидал к себе в гости Гоголя и собрал у себя к его встрече молодых профессоров Киевского университета. В числе профессоров при этой встрече были будто бы Павлов и Костомаров.

«Профессора были одеты в новенькие мундиры и в ожидании великого человека переговаривались шепотом». Ожидали его очень долго, а когда Гоголь приехал и «Юзефович побежал его встретить», профессора, сидевшие перед этим, встали и выстроились в ряд».

«Гоголь входил, понунив голову, на нем был темный гранатовый сюртук, и Михольский в качестве франта обратил внимание на жилетку Гоголя. Эта жилетка была бархатная, в красных мушках по темно-зеленому полю, а возле красных мушек блестели светло-желтые пятнышки по соседству с темно-синими глазками. В общем, жилет казался шкуркой лягушки».

Гоголь повел себя перед гостями Юзефовича странно и неучтиво: он не отвечал на поклон «выстроившихся» профессоров и отделивался банальными выражениями, когда Юзефович «бросился представлять ему профессоров, называя их по имени: Павлов! Костомаров!»

Ни одному из тогдашних молодых ученых Гоголь не подарил ни малейшего внимания, но «возарился на жилет Михольского, тоже бархатный и тоже в замысловатых крапинках, но в общем походивший не на шкурку лягушки, а на шкурку ящерицы».

Сосредоточась на жилете Михольского, Гоголь спросил этого франта:

— Мне кажется, как будто я вас где-то встречал... Да я вас встречал... Мне кажется, что я видел вас в каком-то трактире и вы ели там луковый суп».

Затем «Гоголь погрузился в молчание, глядя на жилет Михольского, и вскоре сделал общий поклон гостям и направился к выходу». Профессора только его и видели, но это нимало их не смутило, а напротив, они пришли в самое приятное настроение — стали есть и пить за здоровье Гоголя и кричать ему «многие лета». Причин странной неучтивости писателя никто из профессоров не доискивался, но помещик Михольский открыл причину, и сообщил о ней Иерониму Ясинскому*:

— Это я отравил Гоголю жизнь своею жилеткою, — сказал Михольский и в подкрепление своей догадки представил почтенному писателю следующие соображения.

На другой день после встречи Гоголя с Михольским у Юзефовича к Михольскому «прибежал жидок от портного» и «на милость Бога» просил «уступить» (!) пленивший Гоголя жилет за любую цену. При этом «жидок» рассказал, что «приезжий из Петербурга господин купил себе жилет у Гросса (киевского портного)», но та жилетка только «подобна» той, какую имел Михольский, а между тем «приезжий из Петербурга господин теперь требует: подавай ему точно такую, как эта».

Михольский сейчас же отдал, что «приезжий из Петербурга», про которого упоминал еврей-фактор, есть не кто иной, как Гоголь, и жилета своего ему не уступил, а сказал:

— Хотя ты и Гоголь, а такой жилетки у тебя нет, как у меня!

И хоть он три раза посылаа — я не дал**.

(472, 208—210).

*Известный писатель, киевлянин, написавший, помимо всего другого, и книгу очерков о босяках Царского сада.

**Лесков отрицает достоверность анекдота Михольского на том основании, что в 1847 г. Гоголь в Киеве быть не мог, а с 30 марта Костомаров был арестован. К этому времени, утверждает он, еврейских факторов в Киеве уже не было, а мастерская портного Гросса появилась на Крещатике где-то в 1855 или в 1856 году. Исходя из таких соображений, писатель считал анекдот Михольского «лживым с начала и до конца» и удивлялся, как Ясинский мог ему поверить. При всем нашем уважении к Лескову как знатоку старого Киева нельзя не заметить, что факторство, хоть и потеряло прежний размах, существовало чуть ли не до конца XIX ст., а старые франты могли знать Гросса и до переселения его на Крещатик. К тому же комментатор текста Лескова И.Я. Айзеншток высказывал предположение, что «анекдот, опубликованный Ясинским, отражает какие-то факты действительного пребывания Гоголя в Киеве в мае—июне 1848 года».

Б. Д. ГРИНЧЕНКО

Борис Дмитриевич Гринченко (1863—1910) родился в семье мелкопоместного дворянина на Харьковщине. Учился в реальном училище в Харькове. С 1881 г. учительствовал, работал в Черниговском земстве. С 1902 г. жил и работал в Киеве. Увлекался просветительской деятельностью, писал популярные брошюры, в 1906—1909 гг. возглавлял Киевское общество «Просвіта» (ул. Бульварно-Кудрявская, 10), к работе которого привлек Лесю Украинку и Н.В. Лысенко. Упорядочил собранный Киевской громадой огромный лексикографический материал и издал его в виде «Словаря української мови» в четырех томах (К., 1907—1909). В быту это издание получило название «Словаря Гринченка». Автор первой книги для чтения в школе на украинском языке «Рідне слово» и «Української



Б. Д. Гринченко и И. Я. Франко

граматики». Работал в редакции газет «Громадська думка» (ул. Михайловская, 12) и «Рада» (Ярославов Вал, 6). Один из основателей Украинской радикальной партии (УРП). Художественные произведения Гринченко начали печататься с 1880-х годов. Писал рассказы и повести, пьесы и лирические стихотворения. Переводил Гейне, Шиллера, Гюго, Пушкина. Издавал этнографические сборники, в том числе и сборник украинского народного юмора «Веселий оповідач».

Жил на ул. Марииинско-Благовещенской (теперь Саксаганского), 67 и на Гоголевской, 8, потом — №27.

Коли члени видавництва «Вік»: /.../ були прийняті в члени Старої громади, то їм дуже хотілося провести туди й Гринченка /.../ Особливо клопотався за прийняття Гринченка в Громаду експансивний Лисенко. Він часто на зборах Громади підіймав про це мову, але співчуття мало в кого знаходив, а дипломатичний Науменко пояснював йому, що поки Гринченко не скінчить словника, про це й мови не може бути. Але Лисенко, як страшенний забувко, до незвичайності розсіяний, все забував про це, і зустрівшись з Гринченком, раз у раз починав з ним на цю тему розмову:

— От вам треба б вступити до нас в Громаду. — Або. — Чому ви не вступате в нашу громаду?

Це страшенно обурювало Гринченка. Він знав, що багато громадян, а особливо Науменко, не хочуть його приймати, самому ж йому тоді дуже хотілось стати членом статечної поважної Старої громади.

Одного разу, коли Лисенко по своїй розсіяності запитав, чому він не хоче вступати в Стару громаду, Грінченко, певне, думаючи, що Лисенко умісне хоче його подратувати, вискочив із рівноваги і з серцем вигукнув:

— Не чіпляйтесь до мене з вашою Громадою! Ви самі добре знаєте, що мене там не хочуть, а строїте з себе наївну інститутку!

Засоромлений Лисенко, хоч який був забудько, але з того часу пам'ятав, що Грінченка про те питати не слід.

(451, 309).

Інша /крім Ф. Матушевського. — А.М./ редакційна братія жила собі як поденщики, аби день до вечора, аби побільше дістати гонорару. Коли я* не видержав якось і сказав:

— Люди добрі, як же можна домагатися побільшення гонорару, коли газета дає страшні втрати, треба ж совість мати!

То Грінченко, образившись, кинув мені:

— Я 20 літ робив дурно на користь українського народу, а капіталісти наші, визискуючи той нарід, придбали собі гроші, то повинні вони тепер платити за мою працю як слід.

Ну, що ти йому скажеш на це! Не доведи Господи робити яке-небудь гуртове діло з такими прямолінійними людьми! Грінченко прекрасний робітник, але, мовляв М. В. Лисенко: «Треба, щоб він собі працював на необитаємому острові».

(451, 458).

*Рассказчик — меценат и издатель газеты «Рада» Е. Чикаленко.

А. Я. КОНИССКИЙ

Александр Яковлевич Конисский (1836—1900) родился в малосостоятельной дворянской семье в с. Переходовка под Нежином. Бедность не позволила ему закончить дворянское училище. Служил канцеляристом и готовился к сдаче экзаменов на кандидата прав экстерном. Начал печататься в «Черниговском листке» в 1858 г. Организовывал воскресные школы, участвовал в работе Киевской громады. Писал брошюры для народного чтения и учебники. Налаживал связи с украинскими деятелями в Галичине. Острые выступления в петербургских газетах вызвали обвинения в «малорусской пропаганде». В 1863 г. выслан в административном порядке в Вологодскую губернию. Отбыв ссылку, жил в Воронеже, Екатеринославе и за границей. Возвратился в Киев в 1872 г., занимался адвокатской практикой и сотрудничал в «Киевском телеграфе». Один из основателей Литературного общества им. Т. Шевченко во Львове (1873) и инициатор его преобразования в Научное общество им. Т. Шевченко (НТШ) в 1892 г. С 1878 г. несколько раз избирался гласным киевской думы, где выступал защитником украинской культуры, инициатором ряда проектов, способствовавших украинизации киевской жизни. Как человек более-менее состоятельный финансировал многие общественные



мероприятия, издавал популярные книжки и учебники на украинском языке. Автор фундаментальной монографии «Тарас Шевченко — Грушевский. Хроника его жизни». Как писатель в Восточной Украине при жизни не был известен, но в Галичине он издавался часто и в 1860—1880 годах считался самым значительным украинским писателем. В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» назван «галицим писателем из русских украинцев». В Киеве Конисского знали как общественного деятеля, а его дом на Бибиковском бульваре, 36 в течение многих лет был своеобразным политическим клубом украинской интеллигенции. В домах Старицких, Лысенко, Косачей собиралась в основном творческая интеллигенция, общественные проблемы обсуждались у Конисского.

Почав писати вірші школярем і О. Кониський. Маючи 11 років, написав сатиричну оду на свого заочного учителя-попа; за це хлопця вибили і заборонили віршувати. Незабаром йому втрапив до рук «Кобзар» Т. Шевченка, виданий 1840 року. Кониський переписав цю книжку від руки. В цей час Т. Шевченко був на засланні.

Товариш майбутнього письменника Воронець переписав з «Кобзаря» «Тарасову ніч» і почав читати вголос. У цей час наспів один з учителів і почав страхати, що за таке читання учні опиняться там, де автор віршів. Цього було досить, щоб школярі притїма кинулися переписувати Шевченкові твори і вивчати їх напам'ять.

(290, 151).

/Жертви конспірації/

У той час, коли я увійшов в організоване українське життя* і свідомо брав у ньому участь, О. Кониський відігравав провідну в ньому роль як ініціатор та стимулятор всієї в той час української справи. Його помешкання на Бібіковському бульварі, 36, біля пам'ятника Бобринського /тепер на цьому місці пам'ятник червоному полководцю Щорсу. — А.М./, було осередком українського життя не лише для Києва, але й ще більше — для цілої України. В Києві були й більше та ширше популярні українські куточки, — наприклад, у М.В. Лисенка або у М.П. Старицького, де збиралося багато людей на музичні та літературні сходи, але провідним політичним осередком тодішнього українського життя, так би мовити, політичним мозком його був Кониський /.../

Познайомився я з Кониським досить дивно. Одного разу, так через місяць після того, як я поступив до /семінарської/ громади, Лука** запропонував мені, що поведе мене «до одного чоловіка». Годі було у неговірного Луки допитуватись, коли справа йшла про якусь, очевидно, конспіративну особу. Прийшли ми увечері на Бібіковський бульвар, у так після мені знайомий та пам'ятний дім. Зустрів нас господар привітно, — познайомив мене Лука з ним, але імені його так і не промовив, не сказав мені свого імені і господар, бо, натурально, міркував, що коли йдуть до кого в хату, то мусять знати, до кого саме.

Конспіративна таємничість, яку розвів Лука, спричинилася до того, що мені трудно було розмовляти, не знаючи, з ким, і лише вправний у розмовах господар врятував тяжке моє становище. Зайшла мова про підручники української для початкової школи, і я дуже якраз напався на недоладність українського букваря (видання 1872 р.) О. Кониського (О.К.). Отже авторові довелося віч-на-віч вислухати різку оцінку його книжки. Поставився він до того дуже добродушно, очевидно, зрозумівши конспіративні методи мого чічероне. Коли ми вийшли, я врешті спитав Луку на вулиці, з ким мене познайомив.

— Та се ж О. Я. Кониський, — одловив він мені просто й коротко, лукаво усміхаючись /.../

Почавшись такою комічною пригодою, знайомство наше з Олександром Яковичем Кониським скоро перейшло у близькі, дуже приятні відносини.

(244, 62—65).

*Речь идет о событиях 1890 г.

*** Лука Скочковский — организатор студенческой громады в семинарии, служивший киевской консистории, дяк (учитель) школы при Иорданской церкви (на Кирилловской ул.). Выслан из Киева по доносу церковному начальству о его нелегальной деятельности. Служил священником в Крыму.*

За час мого життя та знайомства з українськими діячами, особливо з письменниками, я завважив, що половина з них, а може, навіть і більше половини занадто високо цінує та ставить свою діяльність і вважає себе гетьманом від поезії або прози, чи взагалі гетьманом в політичних або громадських справах і т. д. До категорії таких діячів треба віднести і О.Я. Кониського. Дуже любив він усякого роду пошани й поклони, підкреслював в розмовах свої заслуги перед Україною і не любив діячів, які, вочевидь, підіймалися в своїй діяльності вище нього.

Один час Кониський підписував свої статті псевдонімом Лепер, і сам же пояснював нам, що це не слід розуміти по-французьки як «батько», бо в Україні є рослина під такою ж назвою — лепер.

(184, 124).

«Старі громадіви» ставились /до Кониського/ по-різному: одні — вороже, інші — цілком байдуже. Звинувачували його в скупості і взагалі в матеріалізмі, і при цьому наводили приклади, що коли посилали його куди-небудь в громадській справі, то Кониський вносив в рахунок витрат не тільки вартість роз'їзду, ночівель, обідів, а навіть вартість цигарок, склянки зельтерської води і т. д.

Ми, молоді, мало звертали уваги на ці вади Кониського, хоча, правда, помічали і самі його бережливість. Так, наприклад, ми помітили, що Кониський увечері подає до чаю завжди або три грецьких копійкових бублики, або три копійкових булочки, незважаючи на те, чи гостей в нього було 5—8 душ, чи одна або дві. Опріч того, він завжди спішив поперед усіх з'їсти одного бублика, а другого клав біля своєї склянки з чаєм, і аж тоді тільки заспокоювався. Знаючи про таку його ваду, ми ніколи не брали бубликів чи булочок, і все виходило гаразд, ніби ніхто нічого й не помічав.

(184, 120).

У Олександра Яковича частенько бували напади грудної жаби. В такі моменти його двірник Василь прибігав до мене, я кидав печене і варене і спішив до Кониського, щоб стати в належній пригоді.

Дуже часто бувало так, що коли я привіз до Кониського лікаря, то він віддавав мені товстого великого пакета і говорив:

— Оце однесіть додому, сховайте гарненько, а тоді й приходьте до мене. У конверті мої гроші. А що з ними по моїй смерті зробити, все те написано в моему заповіті.

Так жили ми лагідно та дружно декілька років.

Одного вечора сиділи ми у Кониського, дискутуючи на різні теми, а потім перейшли на підрахунок відомих нам українців, які свідомо ставилися до національ-

них прав нашого народу і дбали про це так чи інакше. Нас було четверо: Кониський, Антонович, Симиренко (заводчик) і я. Перші троє, як люди далеко старші від мене, пригадували прізвиська свідомих українців та де хто живе, а я олівцем записував те на аркуші паперу. Перебрали усю Україну та Московщину і нарахували всього 74 душі, які розсіялися по цілому світу і втратили між собою зв'язок. Логічним шляхом дійшли ми в розмові до думки розшукати отих розсіяних людей, побачитись з ними і довідатись, як живуть вони своїм українським життям, чи занехали його. Довгенько говорили про це і, нарешті, вирішили порозшукувати тих людей, та ще постаратись скликати їх на з'їзд до Києва*. Симиренко дістав з гамана 1500 крб. грошей на роз'їзди і сказав, що коли буде мало, то він додасть ще.

Незабаром троє із нас поїхало по Україні розшукувати намічених людей: Тимченко поїхав на Поділля, Черняхівський — на Волищину, а я — на Полтавщину, Катеринославщину, Харківщину. А Київську губернію поділили на частки — кому куди зручніше було заїхати під час подорожі.

Коли ми повернулися додому, то список свідомих людей збільшився на 20 осіб. Запрошено було на з'їзд не 74, а 94 душі.

З'їзд відбувся благополучно. Зроблено було цілий ряд усяких постанов, опрацьована коротенька програма діяльності, і ми приступили до обрання виконавчого органу, який наіменували Радою. До Ради увійшли: Науменко, Антонович, Рильський, Михальчук і я, а Кониський в число «радників» не попав**. Це, мабуть, дуже образило його***. Та я, на превеликий жаль, не подумав тоді про це, а гадав собі, що всі ми повинні діяти, працювати і не звертати уваги на те, чи я обраний куди-небудь чи ні. Тим часом збори почали намічати вибори заступників членів ради. Я найіно підійшов до Кониського і з чистою душею і думками сказав йому:

— Олександр Якович, ідьте в заступники і будемо...

— Я!... Мене в заступники?... Спасибі вам! — прошипів, буквально прошипів Кониський і відійшов од мене.

Я зразу зрозумів свою нетактовність, але вже було пізно. Іти та заспокоювати Олександра Яковича було, розуміється, ще більш недоречно. Я страшенно жалів, що Кониського не обрано членом Ради, і не знав навіть, хто і що цимому завадило.

Цього дня увечері одержав я од О. Я. Кониського таку записку: «Милостивий государь, Моисей Степанович! Вы мне должны 200 руб., сейчас мне деньги очень нужны, а потому прошу возвратить их мне немедленно, не ожидая назначенного вам срока».

Я був страшенно здивований тоном одержаної записки і негайно пішов до Кониського. Але він мене не прийняв. Тоді я зайшов до нього на другий день ранком. Кониський зустрів мене дуже холодно: прийняв стоячи і не запропонував сісти, ні в якій розмові не входив, а тільки словесно повторив те, що було написано в записці, і говорив до мене по-російськи /.../

Другого дня увечері приніс я Кониському 100 крб., а другу сотню прохав почекаати два тижні. Але якщо не можна два, то хоч один тиждень. Кониський відповів, що ждати не може, а також не може прийняти і принесеної мною сотні, він прохає негайно повернути йому одразу двісті карбованців. Я вийшов наче обмальований, бо дуже добре знав, що грошей Кониському не треба було взагалі, а тим паче 200 крб., бо за півтори тижні перед цим, коли в нього був напад жаби, я зберігав у себе дві чотири 13 штук виграшних білетів і 17 тисяч крб. готівкою.

З надзвичайними труднощами роздобув я другу сотню у жидів за порукою чотирьох знайомих по службі за 20 % річних і відніс ті гроші Кониському.

Більше у О.Я. Кониського я вже не бував. З того часу він помер для мене назавжди /.../

Не 200 крб., не настирлива вимога цих грошей отруїв душу мою, а сам по собі факт, що в особі Кониського я спіткав таку людину... Я знав, що він скутий, але ж і в гадці не мав, що незадоволення своє він може перенести на грошовий ґрунт. Занадто ідейним я звик вважати Кониського і гадав собі, що ідейне діло для нього завжди стояло вище, ніж справи особисті, грошові. По смерті своїй він і доказав це заповітом, згідно з яким майно і гроші йшли на українські справи. Але ж і наведений мною факт є правда.

(184, 121—124).

**Речь идет о съезде украинских громад, организованном в 1897 г. в Киеве В. Антоновичем и А. Конисским. На нем была создана Общая украинская беспартийная организация, объединившая свыше 20 громад в Украине и в обеих столицах. Она организовала издательство «Вік» и собственный книжный магазин на Безаковской ул., субсидировала издание ж. «Киевская старина», устраивала Шевченковские торжества, вечера, лекции и концерты. Со временем деятельность этой культурно-просветительской организации приобрела политический характер, и в 1904 г. на ее основе образовалась Украинская демократическая партия (предшественница Украинской демократическо-радикальной партии).*

***В I-м томе воспоминаний А. Лотоцкого, изданных в Варшаве в 1932 г., приводится иной список руководства Общей украинской организации: «почетными членами с правом принимать участие в заседаниях Рады избраны Антонович и Лысенко, членами Рады — С. С. Кононенко, Е. К. Тимченко, Т. Р. Рыльский, В. А. Беренштам, Е. Х. Чикаленко и я /А. Лотоцкий/».*

****Это было, действительно, обидно для Конисского, поскольку он был инициатором создания Общей организации, руководил подготовкой съезда, который к тому же состоялся в его доме.*

Родинне життя Олександра Яковича не було щасливе. Оженився він на москвичині*, бувши на засланні у Вологодщині, і сей міжнародний союз не міг бути тривалим для такої, як Олександр Якович, людини, що весь і завше горів інтересами нації. Дружина його Марія Олександрівна мала невеличкий капітал, але й сам Олександр Якович в молоді роки заробляв добре адвокатурою, — диплома він не мав, то приставав у прийоми до уповноваженого адвоката. Знаменитий свого часу адвокат (і польський громадський діяч) В. Д. Спасович казав мені після, що Олександр Якович діставав великі гонорари і зокрема дістав понад 10 тисяч за справу, яку вони удвох переводили.

Переїхавши до Києва, Кониські купили дім та стали тут жити.** Олександр Якович вже не заробляв, оддавався цілковито національно-громадській праці, живучи з ренти.

З родиною розійшовся він, так би мовити, наполовину: жив у тім самім домі, але

окремо, в одній кімнатці, і як дружина, так і діти відвідували його. Врешті вони дім продали, поділилися грошми, і Марія Олександрівна купила інший, менший дім на Благовіщенській вул., де Олександр Якович наймав у неї кімнату. В що пору відносин між ними мали такий вигляд, що, здавалося, справа дійшла до примирення. Але то було тільки на око. Олександр Якович уважав, що його зобов'язання до родини після розділу майна остаточно зліквідовані, і свою частку, якою володів окремо, положивши її в банк на своє ім'я, рішив обернути, по смерті, на українські справи. В сім напередодні склав він заповіт, призначивши мене /О. Лотоцького/ виконавцем своєї духовщини. Сума була, в процентних паперах, невелика — трохи більше 20 тисяч, що знаходилися в Київському кредитному товаристві /.../

Дружина Олександра Яковича не визнавала заповіту його щодо розпорядження грошми /.../ і розпочала позов /.../

Як формальну підставу для уневаження духовщини висувалося спершу те, що нібито свідки підписали її не так, як треба по закону. Далі, в першому засіданні суду в цій справі уповноважений п. Кониської адвокат Є. Левинський додав, що духовницю Кониського не можна затвердити ще й тому, що Кониський був психічно хворий. Таке своє твердження адвокат виводив із змісту заповіту: Кониський, казав він, забув про жінку і дітей, а все своє майно оддав громадським установам та чужим людям, а такий вчинок, на думку адвоката, може зробити тільки психічно хвора людина, яка не дбає про своїх крешних. Другою ознакою психічної хвороби Кониського адвокат вважав його «українофільство» та його «тенденції», які він висловив у своїй духовній /.../

Справа затяглася; нарешті позов пані Кониської суд одкинув, у всіх її домаганнях було відмовлено, але п. Кониська оскаржила постанову суду і перенесла справу до судової палати, яка дотягла справу трохи не до революції.

(244, 177—180).

**Автор хочет сказать, что его жена была русская. В основу его рассказа о семейных неурядицах в доме Конисских положена довольно сомнительная концепция извечной вражды двух народов, двух культур. Очевидно, причина конфликтов в семье писателя заключалась не в этническом происхождении его жены и даже не в её равнодушии к украинскому вопросу, а скорее всего — во вспыльчивости и раздражительности самого Конисского. Это видно, например, из воспоминаний М. Кононенко, который также с трудом выносил тяжёлый характер писателя и в конце концов вынужден был порвать с ним отношения. А ведь Мусий Кононенко для Конисского был не «чужинцем», а соратником и единомышленником!..*

***Имеется в виду усадьба на Бибиковском бульваре, 36. Дом Конисских в «готическом стиле», с (закрытой уже) аптекой на первом этаже (напротив памятника Щорсу) сохранился до наших дней.*

М. М. КОЦЮБИНСКИЙ

Михаил Михайлович Коцюбинский (1864—1913) родился в Виннице в семье чиновника. Закончил Шаргородское духовное училище. В Каменец-Подольском сблизился с народолюбцами, вел революционную пропаганду. В 1886 г. за ним был установлен тайный надзор полиции, который продолжался до самой его смерти. В 1891 г. сдал экзамен на звание народного учителя, учительствовал, работал в филантропической комиссии в Бессарабии и в Крыму. В 1897 г. начинает работу в черниговском земстве (сначала в должности деловода, потом — статистика). В Чернигове Коцюбинский написал лучшие свои произведения. В 1906—1908 гг. состоял председателем черниговской «Просвіти». Из-за болезни несколько раз выезжал за границу. В октябре 1912 г. ездил на лечение в Киев. В январе 1913 г. вернулся в Чернигов, где и умер в апреле того же года.

В Киеве бывал проездом в 1897 г. и останавливался на ул. Ветрова, 15; в 1898 г. — в гостинице «Фундуклеев-



ская» на одноименной ул. (ныне Богдана Хмельницкого) и в гостинице «Англия» на Крещатике. Проездом в Италию в мае 1910 г. писатель встречался со многими деятелями украинской культуры, в частности с Е. Чикаленко, В. Леонтовичем, В. Науменко, Л. Яновской, И. Щитковским, А. Русовым, Н. Лысенко. Посетил редакции киевских журналов и газет, где печатались его произведения («Громадська думка», «Рада», «Рідний край», «Літературно-науковий вісник»). Мемориальная доска писателю установлена на здании бывшей университетской клиники, где он лечился у проф. Образцова зимой 1912—1913 гг.

Ось і новий 1913 рік. Заходжу до Михайла Михайловича привітати його з Новим роком. Там уже сидить Євген Чикаленко і з сміхом розказує гумористичну пригоду з одним талановитим, але не позбавленим людських вад українським поетом. Сталася ця пригода вчора, напередодні Нового року. Пригода романтична, але дуже неприємна, із скандальним кінцем. Досить того, що Чикаленкові довелося з редакційних коштів позатягати роти окологлодкової й деяким хронікерам бульварних листків, щоб справа не набрала розголошу. бо й об'єкт і місце того роману дуже і дуже «не тее-то».

Михайло Михайлович не сміється, він сумний, він схвильований. Справді, якийсь

волоцюга може своїм вчинками, з п'яних очей, отак зганьбити честь українського мистецтва!

— Як це бридко! Як огидно! Як можна дійти до такого стану? Як можна такого допуститися?!

Чикаленко вже шкодує, що оповів цю пригоду, і ми вдвох намагаємося заспокоїти схвильованого Михайла Михайловича.

(247, 169).

По скількох днях захожду до Михайла Михайловича. Потрапив саме після того, як його оглянув проф. Образцов. Бачу — Михайло Михайлович у гарному настрої, сміється, бо його розвеселив професор, і саме ось як.

Оглядав професор, оглядав, слухав, слухав, а Михайло Михайлович і питає:

— Ну що там?

Професор, замість відповісти, витягає з кишені газету, розгортає й починає переглядати. Потім, знайшовши, що йому треба, читає голосно: «Стан здоров'я відомого українського письменника М. Коцюбинського, що лікується тепер у терапевтичній клініці, на думку лікарів, значно покращав» і додає:

— Ось як пишуть у газетах, а газетам треба вірити!

— От такі ті лікарі. Не хотять казати правди, а тільки вигадують щось, щоб потішити хворого. Та й вір їм після цього!

Скаржиться Михайло Михайлович, а в очах у нього видно, проте, надію, що ось уже, може, й додому поїдуть. Та й зима вже на пореломі.

(247, 169—170).

Михайло Михайлович почуває себе дуже нияково. Йому соромно, що не може сам ходити. Ось ми й на візнику. Розмовляти на повітрі абсолютно заборонено. Обкружляли ми коло Володимирського собору, заглянули трохи далі десь до Золотих Воріт. Ну й годі, бо він стомився, та й лікар наказував, щоб не більше 20 хвилин.

Знов лікарня, знов на руках на другий поверх, знов ліжко і знов соромно. Де ж таки, щоб ото люди людину носили на руках! Це навіть не етично. А по дорозі ще й побачив, що на першому поверсі операційна зала. Якого-то там болю зазнають біді хворі люди! А служники тим часом, виходячи з палати, кажуть:

— Такого чемного хворого ми ще не бачили.

(247, 170).

Вперше мені довелося побачити Михайла Михайловича Коцюбинського на Київському вокзалі 28 серпня 1903 року (за старим стилем) перед відходом поїзда до Полтави на урочисте відкриття пам'ятника Івану Петровичу Котляревському. Тоді на пероні зібрався мало не весь цвіт української інтелігенції не тільки з самого Києва, а й Чернігова, Житомира, Вінниці, Кам'янця-Подільського та й з-за кордону — із Львова й Чернівців /.../ Сама подорож на відкриття пам'ятника /.../ впливала піднесено на всіх, особливо на Коцюбинського. Принаймні він так і сипав дотепами: навколо нього весь час, поки й одійшов поїзд, вибухав веселий сміх. Між іншим — саме Михайлові Михайловичу належать слова, що «якби з тим поїздом сталася катастрофа, то загинула б уся крамольна в очах царської поліції українська інтелігенція».

(201, 75—76).

А. Е. КРЫМСКИЙ

Агатангел Ефимович Крымский (1871—1942) родился в г. Владимире-Волынском в семье литератора, педагога и издателя. Закончил Коллегию Павла Галагана в Киеве (1889), Лазаревский институт восточных языков в Москве (1892) и Московский университет (1896). В 1896—1898 гг. находился в научной командировке в Сирии и Ливане. Преподавал восточные языки в Лазаревском институте и арабскую филологию в Московском университете. Автор многочисленных исследований по истории мусульманского Востока, восточных, славянских и др. языков.

С 1918 г. жил в Киеве на Малоподвальной ул., 3. Один из организаторов украинской Академии наук. С 1918 по 1928 гг. — ее неперменный секретарь. Директор Института языкознания (1921—1929). Преподавал в университете. С середины 1920-х годов между ним и М. Грушевским, который с 1924 г. руководил секцией истории Украины Исторического отдела ВУАН, установились тяжелые, конфликтные отношения. Партийные власти умело поль-



зовались их взаимной враждой, и, когда пришел нужный час, добились ухода Крымского с поста секретаря академии. Это произошло в 1929 г., а в 1931 г. и сам их временный союзник в борьбе с выдающимся востоковедом был выслан из Киева в Москву.

Как поэт А. Крымский впервые выступил в печати в 1889 г. Он автор нескольких поэтических книг, писал рассказы и повести. Поддерживал дружеские отношения с Лесей Украинкой, И. Франко и М. Коцюбинским.

Летом 1941 г. тяжело больной академик Крымский, живший тогда на даче в Звенигородке на Черкасщине, за отказ от обязательной эвакуации был арестован, и уже в принудительном порядке, как заключенный, отправлен в Казахстан. Умер в кустанайской тюрьме от общего истощения сил 25 января 1942 г.

Крымському було 30 років, коли на запитання Б. Грінченка, скільки мов він знає, відповів:

«Це не одразу можу однісати, бо я ніколи їх не лічив... Слов'янські — знаю добре всі, разом з літературними наріччями. Само собою розуміється, що дуже добре знаю мертву стару церковнослов'янську. Із класичних мертвих мов дуже добре знаю грецьку і латинську... санскрит. Далі — новогрецьку, французьку, італійську, іспанську, німецьку, англійську, голландську і датську, перську й афганську, старорабаську і новорабаську, сірійське наріччя, давньоєврейську й арамейську (т. зв.

сирську), ассірійську і ефіопську (абіссінську), грузинську, турецьку і татарську, наріччя османське».

(424, 139).

/Для кого закон не писаний/

Десь на перевалі з 1938 на 1939 рік вишов сталінський закон, за яким карали радянських громадян за спізнання або невихід на роботу — кількома роками тюрми. Закон той увійшов у силу вже, а Кримський узяв та й поїхав, нікому про те наперед не сказавши, до своєї Звенигородки. Зчинився переполох у всій Академії наук, в Інституті мовознавства відповідальні працівники розгубилися: учені безпорадно благають президента Академії академіка Ол. Богомольця щось робити, а партійні аж до самого М. С. Хрущова (перший секретар ЦК КП(б)У) достукалися. Та по двох днях тривога вляглася: президія Верховної Ради України, порозумівшись із Калініним у Москві, ухвалила, як казали, аж два спеціальні укази — одним умотивувала виїзд академіка Кримського з Києва до Звенигородки, а другим надала Кримському право не в'язатися тим законом.

Сам Кримський, про це довідавшись, спокійно жартував, що вже йому закон не писаний. (214, 22).

Після так званого звільнення Західної України і Західної Білорусії (1939) відновлено в правах членів Академії наук західноукраїнських вчених — Кирила Студинського, Василя Щурата, Філарета Колессу та Михайла Возняка — і запрошено їх приїхати до Києва. Чекаючи давно вже не бачених гостей, київські академіки готувались гідно показатися перед своїми колегами з колишньої панської Польщі — щоб мати не гірший зовнішній вигляд і не посоромити собою звання академіка Радянської України.

А що ж Кримський? Ані мур-мур. Він і не думає причепуритися — ладен з'явитися й на зустріч як не в ветхому-преветхому ніби костюмі з минулого століття, то просто-напросто в сорочці, невідомо чим підперезаний.

... Після довгих організаційних приготувань і дипломатичних переговорів із самим Агатангелом Євтимовичем вирішено замовити костюм у київському «Індпошиві» (вул. К. Маркса, кол. Миколаївська), щоб з академіка Кримського зробили денді. Довести цей задум до практичного здійснення доручено молодим аспіранткам Кримського — Глафірі Петрівні П. та Марії Федорівні Б.

Та це був лише початок їх нелегкої місії і випробувань. Будучи у змові з кравцем, який брав мірку з Кримського, аспірантки спершу думали, що їхній підопічний так і погодиться надігти такий костюм, який йому замовлять. Коли кравець співнявся пальцем на одному сантиметрі, то Кримський йому диктував додати сантиметрів на 10 більше. І так увесь час, до останнього виміру ширини чи довжини будь-чого. Прийшовши на першу примірку костюма і побачивши, що всюди мірка не його, Кримський забравував костюм і говорити не захотів. Примірок було ще декілька — думалося дівчатам, що вони ось так утовяють старого. Та нічого з того не вийшло — з третього чи, може, й з п'ятого кусня матеріалу був, нарешті, пошитий костюм такий і так, як того сам Кримський зажадав — і непомірно широке все, і невміру довге.

У тому-таки костюмі й на зустріч із західноукраїнськими академіками приїхав Кримський. А він ще й розповів їм, що це, мовляв, не його костюм, хоч і не такий, у який його хотіли вбрати для цієї okazji.

(214, 22).

А. И. КУПРИН

Александр Иванович Куприн (1870—1936) учился во Втором московском кадетском корпусе и юнкерском училище (1880—1890). Служил офицером в Проскурове (теперь Хмельницкий) и Волочиске (1890—1894). Вышел в отставку и посвятил себя литературной деятельности. До 1901 г. жил в Украине, преимущественно в Киеве. С 1901 г. — в Петербурге. Эмигрировал в 1919 г. В 1937 г. вернулся на Родину.

В киевский период жизни печатался в газетах «Киевское слово», «Киевлянин», «Жизнь и искусство». В первой из них напечатал цикл очерков «Киевские типы». (Отдельным изданием вышли в Киеве в 1896 г.) В этих очерках С. Венгеров отмечал «проблески таланта», но в целом они были «слишком беглы, поверхностны и даже несвободны от пряности сомнительного свойства».

Жил на ул. Александровской (теперь Сагайдачного), 4 (в гостинице



«Днепровский порт»), в доме своего друга, журналиста Н. Киселева (ул. Михайловская, 12) и у братьев Каришевых (Александровская, 6).

Жизнь современного Куприну Киселева наиболее полно отразилась в его знаменитой повести «Яма» (1908—1914), хотя (как и у многих писателей) реальные черты окружающей действительности пересыпаны у Куприна множеством художественных домыслов.

С киевскими репортерами 90-х годов — приятелями Куприна — несколько лет спустя я работал в киевских газетах, и они мне рассказывали о Куприне-репортере. Он любил помещать заметки под такими рубриками — «Из записной книжки репортера», «Маленькая хроника»... Часто своими репортерским заметкам Куприн придавал характер зарисовок, сценок и уснащал их диалогами. Секретарь редакции, чиновник от газеты, вычеркивал эти разговоры и спрашивал:

— Когда это кончится? Когда вы, Куприн, научитесь писать?
(174, 81).

Вскоре после отъезда Александра Ивановича в Одессу в редакцию «Жизни и искусства» явился, громыхая костылями, человек с серым, источенным болезнью лицом, в старой заношенной черной, с опущенными полями шляпе и спросил у швейцара, можно ли видеть господина Куприна Александра Ивановича?

— Александр Иванович уехали, — ответил швейцар.

— А скоро придет?

— Неизвестно.

Человек на костылях был обескуражен.

— У кого же здесь можно получить пособие? — спросил он.

— Какое пособие?

— Я его уже несколько месяцев получал от редакции, — объяснил человек.

Швейцар направил посетителя к секретарю редакции.

— Мы никаких пособий не выдаем, — с каменным спокойствием сообщил посетителю секретарь редакции /.../

— Как же не выдаете, когда я получал его через Александра Ивановича? Каждый месяц... 10 рублей. У меня ревматизм, двое детей, жена болеет /.../

Посетителю объяснили, что если он и получал от Куприна деньги, то эти деньги давал Куприн свои, лично ему принадлежавшие, и что редакция никаких пенсий, ни пособий не выдает.

— Первый раз такое вижу, — сказал человек на костылях и стал надевать шляпу. — Значит он мне свои деньги давал? А мне говорил: «Это вам редакция назначила», и я брал...

— Сколько времени выдавал вам Куприн деньги? — спросили посетителя.

— Пять месяцев. — И посетитель повернул к выходу.

Сотрудники быстро собрали между собой несколько рублей, и как-то уже на лестнице стали совать их человеку.

— Что вы, что вы! — возмутился тот. — Ни за что не возьму.

— Да мы не вам, а вашим детям.

— Спасибо, — проговорил человек на костылях, ушел и больше в редакцию не приходил.

(174, 83).

В одну из суббот /семинарист/ Барвинский повел Куприна и /журналиста/ Киселева в Железную церковь на Галицком базаре слушать солиста хора Петрова, но оказалось, что бас Петров — сапожник, пьяница и вор — сидит в Лукьяновской тюрьме за кражу. В тюрьме его хорошо знают, и как только он туда приходит отбывать наказание, его сейчас же берут в церковный хор.

— Вот там-то и надо, в тюрьме, в тюремной церкви, слушать Ивана Поликарповича! — разъяснили прихожане Железной церкви, любители церковных песнопений, Куприну, Киселеву и Философу /Барвинскому/, почтительно называя Петрова по имени и отчеству. — Там, только там... Там он так поет «Тебе Бога хвалим, тебе Господа исповедуем», что все каторжники в кандалах, воры, убийцы падают на колени и плачут... Нет никакой возможности выдержать!

Куприн зажегся идеей спасти талант. Когда Петрова выпустили на свободу, «трио» поехало к нему на квартиру, слушало его и стало убеждать учиться пению.

— Бас-профундо! — восхищенно повторял Барвинский. — Настоящий бас-профундо!

Уже Куприн водил Петрова к учителям пения, уже нашелся профессор, согласившийся бесплатно учить Петрова пению, как вдруг бас-профундо принял участие в новой воровской операции крупного масштаба, попался и сел. Куприн был ошеломлен, обижен, обескуражен... Теперь ему пришлось искать уже не бесплатного профессора пения, а бесплатного (по просьбе Петрова из тюрьмы) защитника по уголовным делам.

(174, 25—26).

За обедом в саду* /репортер/ Мукалов выпил, развеселился и стал разговорчив. Тема разговора — бокс.

— Известно ли вам, что такое нокаут? — обращался он с вопросом то к одному, то к другому соседу.

— Нет, неизвестно, — отвечал сосед.

— Нокаут — это сокрушительный удар, сбивающий противника с ног, — объяснял Мукалов и спрашивал: — Желаете его испытать?

— Нет, нет! — поспешно отвечали ему.

— То-то же! — многозначительно произносил Мукалов.

Но Мукалову не повезало. После обеда с вопросом о нокауте он обратился к Куприну. Куприн ответил, что бокс он изучал, знает его, но нокаута никогда не испытывал.

— Желаете испытать? — со зловеющим видом спросил Мукалов.

— О да!

— Приготовьтесь! — крикнул Мукалов и меньше чем через секунду лежал пластом в двух шагах от Куприна на земле.

К нему все бросились.

— Что с тобой? — с тревогой спросил отец.

Мукалов молчал. Молча и равнодушно смотрел на лица склонившихся к нему друзей. Осторожно потрогал рукой подбородок. Он был цел.

— Это и есть нокаут? — шепотом спросил Мукалов, переводя глаза на Куприна.

— Это и есть нокаут, — подтвердил Куприн.

Мукалову помогли встать, он отряхнул с фисташкового костюма соринки, поднял с травы своего стального коня /велосипед/ и укатил в город, ни с кем не прощаясь. Он один не смеялся. Так все думали. Но это неверно. Отъехав от дачи шагов на сотню, Мукалов повалился от хохота на землю вместе со своим велосипедом, поднялся и, прислонившись к забору, продолжал прыскать и давиться смехом.

(174, 61—62).

*На даче писателя и сотрудника газ. «Жизнь и искусство» М. Киселева.

А. Н. МУРАВЬЕВ

Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874) — русский религиозный писатель, поэт, археолог, камергер двора. Родился в Москве в семье генерал-майора Н. Муравьева, основателя Школы колонновожатых (училище, готовившее штабных офицеров). Родной брат декабриста Александра Николаевича Муравьева, видного русского военного деятеля, полководца Николая Николаевича Муравьева-Карского и другого русского полководца, снискавшего себе сомнительную славу усмирителя Польского восстания 1863 г., — Михаила Николаевича Муравьева. Получил патриархальное домашнее образование под руководством известного писателя и педагога С. Раича (в разное время у него учились также М. Лермонтов и Ф. Тютчев). В 1823 г. поступает на военную службу. До 1826 г. служит в Украине (в Тульчине, под Киевом, Одессе), а также в Молдавии и в Крыму. В 1826 г. берет продолжительный отпуск из армии и поселяется в Москве, где посещает салон графини Зинаиды Волконской. Общается здесь с Пушкиным, Вяземским, Баратынским, печатает стихи в «Северной пчеле». В 1827 г. окончательно выходит из армии и издает поэтический сборник «Таврида».

В 1828 г. сдает экстерном экзамены, получает диплом Московского университета и высочайшим повелением определяется в ведомство Кол-



легии иностранных дел. Во время Русско-турецкой войны 1828—1829 гг. находится при главнокомандующих русских войск фельдмаршалах гр. Витгенштейне и гр. Дибиче в качестве дипломатического чиновника. В октябре 1829 — сентябре 1830 гг. предпринял путешествие в Иерусалим для поклонения Гробу Господню. В 1832 г. вышло его «Путешествие по святым местам в 1830 г.» — книга, сыгравшая огромную роль в русской жизни. Она положила начало новой религиозной литературе, создаваемой светскими писателями и преимущественно для светских людей. Своею славою книга Муравьева на долгое время затмила «Записки русского путешественника» Н. Карамзина и стала одной из самых популярных в России. В 1836 г. к описанию странствий по Востоку присоединяется еще «Путешествие по св. местам русским», где поданы и подробные очерки киевской святыни.

После путешествия по святым местам Востока многое меняется и в судь-

бе самого Муравьева. Он становится религиозным писателем, историком православной церкви, сближается с ее иерархами. Царь определяет его на службу в Синод, где он служит при обер-прокуроре (1833, 1836—1842). Будучи членом Общего присутствия Духовно-учебного правления при св. Синоде, присоединился к оппозиции «двух Филаретов» (митрополитов киевского и московского), протестовавших против реформы церковных школ и требовавших нового, более точного перевода текста Библии. Он всегда и во всем поддерживал духовных лиц и после нескольких столкновений с обер-прокурором Протасовым подал в отставку в 1842 г., после чего вернулся на службу в Министерство иностранных дел и занял пост столоначальника Азиатского департамента (1842—1866).

В 1858 г. А. Муравьев покупает в Киеве на Андреевском спуске напротив Андреевской церкви дом с обширной нагорной усадьбой, примыкавшей к Десятинной церкви (теперь это усадьба Исторического музея). Он разбивает прекрасный парк с фруктовым садом и живет здесь в свободные от службы летние месяцы. В 1866 г. выходит в отставку в чине действительного статского советника (гражданского генерала) и с 1868 г. окончательно поселяется в Киеве, проводя дни в трудах по истории церкви. Гостями в доме Муравьева на Андреевском спуске были поэты Тютчев и Апухтин, придворные лица, посещавшие Киев, царица Мария Александровна и сам наследник престола, будущий царь Александр Александрович со своею женою Мариею Федоровной.

/Два пришедших Андрея/

Был-жил в Киеве боярин Андрей Незваный* в своем доме супротив прекрасной церкви св. Андрея Первозванного. Это известный Андрей Николаевич Муравьев, камергер императорского двора, крупный чиновник в отставке, писатель, у которого говорливости много, а мудрости мало, мужчина весьма высокого роста, светский монах, несносный эгоист, путало духовенства, мой гонитель, фараон и совопросник.
(400, 517—518).

**А. Муравьев поселился в Киеве после Крымской войны, чтобы жить поближе к храму своего св. патрона — св. апостола Андрея, получившего имя Первозванного. В отличие от него, другого пришедшего Андрея (Андрея Муравьева) его недоброжелатели называли Андреем Незванным. Так иронически величает его автор цитируемых здесь и далее записок — епископ Порфирий Успенский, викарий киевский.*

/А. Н. Муравьев глазами его недругов/

Эгоист. Самолюбие у него было необузданное, вовсе не знакомое со смирением и бескорыстным служением ближним и попирающее всех, кто не подчинялся воле его безрассудной.

Давно было: благочестивейшая императрица Мария Александровна* поручила

«ему» написать для нее житие московского митрополита св. Алексея. Он написал его и к своей рукописи приложил разрисованный красками образ сего святителя и чудотворца. Государыня приказала благодарить за сей труд, а он оскорбился на нее за то, что она отблагодарила его не рескриптом, а секретарским изъяснением ему благодарности, и недовольство свое выражал многим и мне.

Вот другой образчик его непомерного самолюбия.

В большом царском дворце с прочими придворными чинами стоял и Муравьев, он ожидал царского выхода. Проходила мимо него великая княгиня Елена Павловна и не поклонилась ему. Что же? На другой день он явился к фрейлине ее высочества Эйлер и жаловался ей на невнимательность к нему Елены Павловны, тогда как она не могла-де не заметить его, превышающего прочих царедворцев целою головою.

Еще сказание о самолюбии Муравьева.

В конце 1849 г. он на пути в Иерусалим свиделся в Бейруте с патриархом Кириллом, ехавшим в Константинополь, и просил его вернуться в святой град, потому что он, Муравьев, намерен там на Голгофе слушать обедню и панихиду по усопшим царям русским. Патриарх не согласился, поставив ему на вид необходимость скорого отъезда своего в Царьград и свое уведомление иерусалимских архиереев, чтобы они соборно отслужили обедню и панихиду. Что же Муравьев? Рассердился на патриарха, ни в чем не повинного, и упрекнул его в холодности к русской державе /.../

Самолюбие *Незванного* было так сильно, что подстрекало его зазывать знакомых, наипаче боярских, к отправляемым в доме его всенощным; и горе было тем, кто не являлся молиться у него Богу: он осыпал их лобзанными упреками. А являлись к нему очень немногие. В Петербурге я, архимандрит, раза два служил ему всенощную в его квартирах, и соучастников в его самочинном домашнем богослужении видел не более трех-четырех, включительно с одною какою-то барынею**.

Подобные самочинные богомолья он затеял и в Киеве. Но когда я узнал про это, позвал к себе угождавшего ему во всем священника Андреевской церкви отца Подвысоцкого и, услышав от него, что *Незванный* не испрашивал на то благословения митрополита Арсения, запретил ему служить у него всенощные, показав ему церковное правило, которым воспрещено всякое *самочинное богослужение* в домах, и погрозил ему епитимиею в случае ослушания. Отец Подвысоцкий объявил ему мое архиерейское решение и перестал священнодействовать в его доме. Но за то *Незванный*, ошетинившись, разгневался на меня так, что до зела рычал, но благословения у митрополита не испросил по своей гордости***.

Кроме непомерного самолюбия, в *Незванном***** была церковная *ревность* не по разуму, которая делала из него *пугало духовенства*. По этой безрассудной ревности своей он не только сыпал выговоры священникам, диаконам и дьячкам, но и жаловался на них архиереям*****. Однажды в Петербурге ему вдумалось идти к утрени в церковь св. Пантелеймона. Пришел он туда ранее церковников и, нетерпеливый, побежал в квартиру дьячка звать его в храм Божий; но тут грозоно встретила его дьячиха и, выругав за нарушение семейного покоя, схватила сапог мужа своего и голенищем ударила его по лицу. Поруганный такою внезапною выходкою бабы, *Незванный* воротился домой, скрежеща зубами.

В другой раз в той же церкви он, стоя в алтаре, заметил, что служащий диакон не причащался. Это взбесило его, и он обжаловал диакона митрополи-

ту. Последовало приказание поставить не причастившегося на поклоны в алтаре у святой трапезы. Эта эпитимия была выполнена, но когда диакон в следующее воскресенье увидел в алтаре грозного Муравьева в час литургии, то подошел к нему перед причастием своим и, кланяясь ему низко, говорил ему:

— Благослови меня, владыко святой, причаститься таин Христовых. Вы запрещаете, вы и разрешаете.

Разумеется, жутко было Незванному от такой неожиданности*****.

В Петербурге же случилось: у митрополита был парадный обед; по окончании его пропресвитер и царский духовник Бажанов и новочеркасский архиерей Иоанн Доброздравов зашли к преосвященному викарию Христофору. Подано им было шампанское. Все они выпили по одной. Принялись за другую. В эту минуту входит впопыхах к ним келейник викария и говорит:

— Муравьев идет к вам, Муравьев!

Услышав это, Бажанов вскочил со стула и юркнул в соседнюю горницу, а преосвященный Иоанн, держа бокал в деснице своей и видя Незванного, громко и насмешливо говорил:

— Писака идет, писака идет!

(400, 517—518).

* Супруга императора Александра II, в честь которой бывший Царский дворец в Киеве назван Маринским. Покровительствовала писателю и была под влиянием его возвышенного пиетизма. Благодаря её помощи Муравьеву удавалось осуществлять многие свои начинания.

** Эти собрания с молебнами в частном доме напоминают собрания немудрых иштундистов. Нечто подобное, как пишет в своих мемуарах Н. Богатинов, происходило в религиозных кружках подольских мещан в 1830-х гг. Правда, о частных богослужениях он не упоминает.

*** Очевидно, А. Муравьев понимал, что стихийные молебные собрания это одно дело, а вот официального разрешения на проведение подобных мероприятий вне церкви митрополит не дал бы ни под каким видом. К тому же в то время среди крестьян на юге Украины ширилось движение иштундистов, объявивших о своей оппозиции к официальной церкви. Вскоре проблема молебнов в частных домах (и без священников!) приобрела в Киеве довольно острое звучание.

**** Ради объективности заметим, что ни один из приведенных здесь викарием киевским случаев не может служить прямым свидетельством «непомерного самолюбия».

***** А.Н. Муравьев прослыл ревнителем строгого исполнения обряда и благочестием добронравия среди духовенства. Светские люди, видя борьбу набожного писателя с поповской ленью и их недобросовестным отношением к богослужению, смеялись над ним, а иерархи, которых он вынуждал братья за исправление церковных порядков, кипели от негодования.

***** Собственно говоря, никакой «неожиданности» в поступке дьякона не было. Его дикая выходка в алтаре во время богослужения только подтвердила факт распущенности церковников и их циничное отношение к таинствам.

/Бдение на смертном одре/

Целую жизнь инспектируя священнодействия, он умер в этих самых занятиях. Накануне смерти он пожелал особороваться. Таинство это во главе других лиц совершал Филарет (Филаретов), бывший викарий уманский, ныне епархиальный архиеп. рижский. Больной во время соборования был уже так слаб, что не подавал голоса, но когда служба была окончена и архиеп. стал разоблачаться, умирающий ко всеобщему удивлению совсем неожиданно произнес:

— Благодарю: таинство совершено по чину.

Таковы были его последние слова на земле.

Этого, как нельзя более отвечающего всегдашнему его настроению, фразой Муравьев окончил свою генерал-инспекторскую службу русской церкви и доказал, что он был один из редких, типических, последовательных и вполне законченных характеров. (235, 30—31).

Покойный А.Н. Муравьев выносить не мог, когда кто-либо из его знакомых спрашивал, который ему год. Большею частью в подобных случаях он говаривал:

— Посмотри сам себе в зубы.

Точно так же Андрей Николаевич не любил, если кто-нибудь осведомлялся про его здоровье. Однажды, страдая рожею, он долго не выходил из дому, почти никого у себя не принимая; оправясь от болезни, впервые вышел он подышать свежим воздухом. Идя по Большой Морской, встретил он своего старого товарища генерал-адъютанта Аль-ского, ехавшего в коляске. Аль-ский, не останавливая экипажа, на лету обратился к Муравьеву с вопросом:

— Что рожа — прошла?

На это Андрей Николаевич, махнув рукой вслед удаляющейся коляске, громко крикнул в ответ приятелю:

— Проехала!

(12, 124).

Сад в усадьбе А. Н. Муравьева считался открытым для всех желающих посетить его, но на самом деле туда допускались лишь избранная публика. Помощник писателя, М. Семенов, показывал как-то сад принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому и тот, увидя подошедшего к ним Муравьева, шутя сказал:

— Какой вы добрый владетель сада, всех пускаете в него, и меня в отсутствие ваше пустили.

(368, 70).

ИЗ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ А. Н. МУРАВЬЕВА

/Обида царя/

В Петербурге перевод моих «Писем о богуслужении» на немецком языке обратил на меня внимание великой княгини Елены Павловны и императрицы, потому что они читали их на Страстной неделе. Тогда и государь впервые сказал мне ласковое слово.

Это было в Великую пятницу; при разъезде из дворца, шуткою он спросил меня, почему я его не жалею? Я сперва смутился и не знал, что ответить, но он продолжал в том же духе:

— Ты, верно, любишь жену мою больше, нежели меня, потому что обносишь меня своими книгами, когда должен мне первому их подносить.

С тех поря свято исполнял сию высочайшую волю.

(270, 56—57).

/Богоугодный подкуп/

Поздно осенью /1832 г./ возвратился я в Петербург /из имения отца под Москвой. — А.М./ и дорогою заехал опять в Юрьевскую обитель. У архимандрита Фотия я застал графиню Орлову, и странный разговор, возникший между нами, был причиною, что я начал соблюдать посты среды и пятка.

Архимандрит спросил меня, соблюдаю ли я их; я ответил, что не имею своего стола. — А как же графиня, — возразил он, — постилась даже в Пруссии за королевским столом?

— Не мудрено, — сказал я, — когда король и графиня отдариваются между собою по-царски. Король — вазами, а графиня рысаками.

Желая по скромности замить этот разговор, графиня обратилась ко мне с шуткой и сказала, будто бы уступает мне весь свой конный завод, по моей охоте к лошадам*. Я благодарил ее в том же шутиливом тоне и уступил ей обратно весь завод за одну только верховую лошадь.

Услышав это Фотий весьма решительно спросил графиню:

— Анна, да разве ты еще не подарила ему лошади?

Смиренная графиня тотчас приступила ко мне, уже не в шутку, а с настоятельною просьбою, чтобы я принял от нее лошадь. Архимандрит воспользовался сим случаем, чтобы предложить мне благодать хотя бы один лишь постный день по пяткам.

Не мог я ему отказать, по совести чувствуя сам, что на сей раз я был как бы подкуплен лошадыю, но мне стало совестно поститься только в пяток, ради корысти, и пренебрегать средою; я начал соблюдать и среду.

Вот так, от простой, по-видимому, шутки произошел добрый навыв.

(270, 28—29).

*Орлова хотела сказать, что если отсутствие чего-то мешает поститься, то это можно как-то исправить.

Жуковский и Пушкин наиболее хвалили мою книгу*. Первый потому, что принимал во мне участие, последний же от того, что чувствовал себя виноватым за эпиграмму, написанную против меня в 1826 году.

Зимой нечаянно встретил я его в Архиве министерства** и не узнал, но он первый ко мне устремился и сказал:

— До сих пор не могу простить себе глупой моей эпиграммы. Я был весьма тронут, когда услышал по окончании войны***, что вы поехали в Иерусалим, и тогда же написал для вас стихи, в таком смысле, что когда цари земные, заключая мир, позабыли святой Град, один лишь безвестный юноша вспомнил о нем и пошел поклониться Гробу Христову.

Я был тронут до слез и благодарил знаменитого поэта за его утешительное слово, которое так прямо вытекало из его благородной души.

Пушкин обещал мне отыскать стихи свои, но сколько не рылся в бумагах, не смог найти их; написать же новые, как бы не подогретые чувствами, было бы странно. Так они и пропали.

(270, 25).

*«Путешествие по святым местам», принесшее автору великую славу.

**Архив министерства иностранных дел.

*** Турецкая война 1828 г.

/О смерти царя Николая Павловича/

За пять дней до его кончины свершилось в Казанском соборе по обычаю Торжество православия, и что же?

Протоиерей, возглашавший громогласно с кафедры сперва вечную память императорам греческим и русским, благодетельствовавшим церкви, а потом многолетие царствующему дому, сбился и внезапно возгласил вечную память Николаю Павловичу. Это поразило всех в соборе, хотя еще никто не знал тогда о болезни государя.

А через пять дней узнали о его кончине.

Как объяснить такие странные случаи?

(270, 73).

/Поцелуй немого восхищения/

Однажды посетил я почтенного родственника, 90-летнего старца, адмирала Мордвинова*, который потерял уже голос от старости, так что трудно было его понимать, и он более выражал свои мысли на бумаге. Перед ним лежала на столе только что вышедшая в свет моя книга «Первые четыре века христианства»**. Я сел подле старца, и вдруг, к чрезвычайному моему изумлению, поцеловал он мне руку. Я вырвал руку и спросил, что это значит?

Тогда старец написал мне в ответ: «Целую руку написавшего «Первые века христианства»».

Невольню навернулись у меня слезы. Может ли что сравниться с такою наградою? (270, 57—58).

*Мордвинов Николай Семенович (1754—1845) — выдающийся государственный деятель, реформатор-либерал, единомышленник М. Сперанского, первый русский морской министр (в 1802 г.), председатель Вольно-экономического сообщества (1823—1840).

**Книга вышла в 1838 г.

/Гадание на Евангелии/

Из Одессы (в 1858 г.) спешил я в Киев к празднику Софийского собора Рождества Богоматери, имея на мысли осуществить давнее желание там водвориться.

С этою мыслью вошел я в собор в минуту чтения Евангелия и подумал: «Что скажет мне Евангелие?»

Я услышал сии слова: «Велия вера твоя; буди тебе, яко же хочещи», и внутренне сказал себе: «Желаю водвориться в Киеве».

(270, 96).

/Награда — хуже тюрьмы/

При этой перемене* случилась мне большая неприятность. Я нечаянно узнал, что граф назначил меня директором Хозяйственного управления, и хотя это было весьма лестно и выгодно, по окладу жалования 12 тысяч рублей, однако, не чувствуя себя способным к занятию сего места, я заблаговременно решил от него отказаться. Граф разгневался, спрашивая, как я о том узнал, и грозя отдать меня под суд за то, что я отказываюсь; но я сказал ему, что гораздо лучше быть судиму прежде за такой искренний поступок, нежели позже за растрату церковного имущества, по неумению управлять им.

С тех пор произошла между нами большая холодность**.

(270, 63).

*Имеется в виду переустройство структуры св. Синода, начавшееся после назначения графа Н. А. Протасова обер-прокурором (1836—1855). Ликвидация в 1840 г. Комиссии духовных училищ превратила св. Синод в чисто светское бюрократическое учреждение.

**До назначения на пост обер-прокурора Протасов был большим почитателем таланта Муравьева и совершенно не подозревал, что он лишь формально состоит на службе, посвящая все свое время литературным трудам. Присмотревшись поближе, он был разочарован в нем как в сослуживце и в 1842 г. потребовал его отставки и перевода в Министерство иностранных дел.

/Пророчество о Севастопольской катастрофе/

Между тем горизонт политический становился все мрачнее и мрачнее. Еще осенью 1853 года, когда служил владыка /Филарет московский/ первый молебен о войне и я говорил ему о моих надеждах для Востока, он отвечал:

— Не радуйтесь. Тут ничего не произойдет хорошего.

Отпуская меня из Москвы, сказал мне странное и вместе прозорливое слово: он вынес малую финифтевую икону Предтечи, проповедующего в пустыне с изображением древа, при котором лежала секира, сходно со словами Предтечи, и сказал мне:

— Я всегда благославлял вас в путь какую-либо иконою; ныне же вот самая приличная по времени: «Се уже секира при древе лежит».

Последствия показали истину его слов, и в продолжение войны, даже при радостных вестях, он все повторял:

— Худо будет.

(270, 70—71).

С. Я. НАДСОН

Семен Яковлевич Надсон (1862—1887) родился в Петербурге в семье надворного советника (по отцу еврейского происхождения, мать — из русской дворянской семьи Мамонтовых). В 1863 г. семья переехала в Киев, где жила мать и брат отца будущего поэта. Вскоре отец умер от психического расстройства, а мать поступила в гувернантки. Материальное положение семьи поправилось, когда она вновь вышла замуж за страхового агента. Надсон поступил во Вторую киевскую гимназию. Однако благополучие продолжалось недолго. Отчим оказался душевнобольным и в 1872 году окончил жизнь самоубийством. На следующий год умерла и мать. Будущий поэт с сестрою оказался вновь в Петербурге у братьев матери. Учился в кадетском корпусе, получил офицерский чин и служил в армии. В 1884 г. вышел в отставку по состоянию здоровья. В 1885 г. выпустил сборник стихов, который произвел на всех такое огромное впечатление, что в 1886 году он был дважды переиздан, а после смерти автора переиздавался 29 раз. Надсон имел небывалый успех, равного которому не было в истории русской поэзии. В таких количествах не расходились никогда ни книги Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова.

В первый раз Надсон приехал в Украину для лечения и остановился в Киеве осенью 1885 г. Весной 1886 г. он вновь приезжает в Киев, но уже на по-



стоянное жительство. С триумфом выступает в клубе Киевского купеческого собрания (теперь филармония) и сотрудничает в либеральной газете «Заря». Осенью того же 1886 г. переезжает для лечения в санаторный поселок Боярку, где подружился с семьей композитора Н. Лысенко. Лето оказалось неблагоприятным для туберкулезно больных, — холодным и дождливым. Поэт простудился, тяжело болел. Врачи настаивали на его немедленном переселении в Ялту. Безнадежно больного поэта на руках внесли в вагон и отправили в Крым, где он вскоре и умер.

Поэзия Надсона оценивалась современниками неодинаково. Одни считали его прямым наследником славы Пушкина (в 1885 г. ему была присуждена Пушкинская премия Академии наук), другие — второстепенным поэтом. Споры вокруг творчества Надсона продолжались среди киевской молодежи еще при моей памяти, — в 1960-х годах. Сегодня Надсон забыт. И, вполне возможно, — это и есть конец долгих споров о нем.

Надсон був і за кордоном, куди погнали його сухоти і лікарі, та про знамениті закордонні курорти розповідав неохоче.

— Здоров'я ні в Ніцці, ні в Ментоні не повернув собі, надії втратив. А разом з надіями і сюртук. Треба ж було, щоб якраз у карнавальну ніч щось загорілось в мой кімнаті. Ото галасу і паніки було в готелі! Дами забігали, захоли. А кінчилось тим, що у Фемістокла були свої кораблі, і він спалив свої кораблі. У мене був сюртук — і я спалив свій сюртук.

(241, 206).

Надсон, важко хворий на туберкульоз, за порадою лікарів літо /1886 р./ проводив у Боярці, де й досі зберігся чудовий сосновий ліс /.../ В негоду Надсон сидів у нас /на дачі Лисенків. — А.М./ годинами. Настрій був у нього такий же мінливий, як і погода. Певно, терзали його страшні болі. В такі хвилини він сидів мовчазний, весь аж чорний, мов ті грозові хмари. Біль відпускав його, і знову ясніло, ставало милим і привітним його обличчя, на якому так і виражав хворобливий рум'янець /.../

Ця людина у доброму настрої розповідала такі смішні історії, від яких веселішали найсуворіші серця. На наші розпити про стан здоров'я він незмінно відповідав:

— Я б зовсім видужав, якби мені не загрожувала небезпека померти.

(241, 204—205).

/Киевский лже-Надсон/ (Рассказ И. Ясинского)

Однажды летом ко мне вбежала ватага молодежи с сенсационным известием.

— Вчера мы катались с Надсоном на лодке. Он декламировал нам свои стихи. С ним произошла большая перемена, он теперь религиозно настроен; однако не прочь поухаживать даже...

— Ну, согласитесь сами, он поступил в монахи!

— Первый раз слышу. Знаю, что он уже был офицером, а затем вышел в запас и болен.

— Нет, теперь он здоров. Он излечился в монастыре.

— Да в каком же он монастыре?

— В Выдубицком.

— Совершенно невероятно. Но какой же он?

— Вы говорили, что у него правильные черты лица, а он курносый.

Я пожал плечами, а молодые люди продолжали описывать Надсона, его ряссу, рассказывали, что он говорил, и старались воспроизводить стихи, которые он декламировал.

— Вообще, хотя он и монах, но чрезвычайно веселый.

Кто-то поправил, что он не монах, а только пока послушник.

На другой день курсистка Сорокина, студент по фамилии Тулуб и местный поэт Гольденев рано утром позвонили у моей квартиры. Я отворил.

— Что случилось? Почему чуть свет?

— Да, знаете, — заговорили опять посетители, — невероятное происшествие.

— А именно?
 — Дело в том, что Надсон оказался не Надсоном.
 — Почему же оказался не Надсоном?
 — Потому что приехал настоящий Надсон; вчера приехал /.../
 Так или иначе, лже-Надсон был разоблачен.

Еще через несколько минут, запыхавшись, прибежал студент из того же кружка и объявил, что Надсон просит меня прийти к нему, так как сам он сейчас болен.

Это было недалеко, и я отправился к Надсону.

/.../ Я рассказал /ему/ о лже-Надсоне.

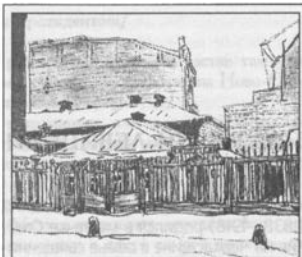
— О, пожалуйста, — выслушав живой анекдот о себе, вскричал поэт, — нельзя ли об этом написать в «Заре»?* /.../
 — Хорошо, это будет напечатано, — пообещал я.

— Ведь вот, был же самозванец, который выдавал себя за вас, — сказал Надсон, — а у меня еще не было. Или я и в самом деле становлюсь популярен?

У Надсона было, таким образом, еще юношеское тщеславие. Он радовался, что какой-то мошенник выдавал себя за него. Но когда студент Тулуб прочитал стихи, записанные со слов лже-Надсона, очень понравившиеся молодежи, а между тем стихи эти были ниже всякой критики и донельзя пошлы, поэт огорчился:

— Вот и пишите после этого! Сколько пошлых стихотворений выдавались за пушкинские. За границей до сих пор печатают пошлости, подписанные именами Пушкина и Лермонтова!

(471, 184—186).



Домик Надсона на углу Малой Владимирской (ныне О. Гончара) и Б. Житомирской. Рис. 1910 г.

*Киевская газета либерального направления.



Дом по ул. Костельной, № 4, где находилась редакция газ. «Заря». Фото 1979 г.

И. С. НЕЧУЙ-ЛЕВИЦКИЙ

Иван Семенович Нечуй-Левицкий (1838—1918) родился в местечке Стеблив на Черкасщине в семье священника. В 1853—1861 гг. учился в Киевской духовной семинарии на Подоле, на Константиновской, 5. Закончил Киевскую духовную академию (1865). О духовной карьере писатель не помышлял. Преподавал в Полтавской духовной семинарии (1865—1866), в гимназиях Калуша, Седлеца (1866—1873), Кишинева (1873—1885). В 1885 г. вышел на пенсию и поселился в Киеве.

В 1885—1889 гг. жил на ул. Ярослав Вал, 31 (дом не сохранился). В мемуарах чаще всего упоминается его жилище на Пушкинской, 19. Здесь, на своеобразном украинском хуторке в самом центре города, в усадьбе с небольшим озером, лужком и пасекой, он прожил до 1909 г., когда на этом месте началось строительство большого доходного дома, существующего и поныне. Писатель перебрался на Владимирскую, 7. Потом жил на ул. Артема, 41 (дом не сохранился). Гражданская война застала его в доме инженера Копылова в Дионисиевском (теперь Бехтеревском) переулке, 8. Умер во время оккупации Киева кайзеровскими войсками в Дегтяревском приюте (Дегтяревская, 9).

Иван Нечуй-Левицкий любил Киев и в своем творчестве часто возвращался к киевским впечатлениям.



Жизнь города подробно описывается в повестях «Чорні мари» (в иных изданиях просто — «Хмари») (1874), «Афонський пройдисвіт» (1890), «Київські прохачі» (1901); рассказах «Причепа», «Дивовижний похорон», «Телеграма до Грицька Бинди», «Вольне кохання», «Без пуття»; очерках «Ніч на Дніпрі», «В концерті», «Апокаліпсична картина в Києві», «Вечір на Володимирській гірці». Небывалый успех выпал на долю его «мещанской комедии» — пьесы «На Кожум'яках» (1875). После переработки Михайлом Старицким она вышла на сцену в 1883 г. под названием «За двома зайцями» и с тех пор вот уже более столетия пользуется неизменным успехом у зрителей.

/Запізніле співчуття президентів/

Прибувши до Києва, я застав там уже І.С. Левицького, що, вислуживши учительську пенсію, скромно жив на Ново-Єлисаветинській вулиці* і продовжував свою літературну працю /.../

Твори Левицького продавались не лише в крамницях, але продавав їх і сам автор, — тоді се був добрий спосіб побачити його. При тій нагоді, купуючи його книжки, я й познайомився з ним і після того досить часто заходив до нього до виїзду свого з Києва. *

Жив Іван Семенович самотньо. Надто прочувався в ньому «старий кавалір» у всіх звичках. Замкнутість його у своєму обійсті домашньому доводила його все більше до цілковитої одлюдності, — став він жити в сфері самого писаного та друкованого слова, мало реагуючи на події життя або ж реагуючи на них з великим запізненням. Дуже сміялись ми з О. Я. Кониським, коли оповідав він мені такий випадок.

— Зустрічаю, — каже, — Івана Семеновича на Фундуклеївській вул., — виїшов прохотитись. По перших словах привітання звертається до мене схвильований:

— А знаєте, шкода чоловіка, хороший був, розумний.

— Про кого ви се? — схвилювався, — каже, — і я, гадаючи, що хтось з близьких людей щойно помер, і я ще не знаю.

— Та Карно ж. Велика втрата!

— Але ж се було більше року тому!

— Та вже ж, — пояснює Іван Семенович, — Але я, бачите, беру у знайомих «Вісник Європи» за цілий рік зразу, як там всі його прочитають. Тому щойно сьогодні рано довідався про це. Шкода, дуже шкода!

(244, 186).

*Тепер — Пушкінская ул.

/Хутір над Хрещатиком/

Я вперше побачила Івана Семеновича р. 1902, як ми переїхали жити в Київ. Тоді він жив на Пушкінській вулиці (раніше Єлисаветинська), здається, ч.19, в помешканні у Сегетів*.

Будиночок, у якому він жив, був у дворі, а за ним ніби левадка з копанкою; стояло на леваді зо два чи зо три вулики, й Іван Семенович дуже був задоволений, що, живучи серед Києва, має перед вікном і ставок, і садок, а ще й пасіку.

Помешкання його було невеличке: передпокій та дві маленькі світлички: одна — вітальня з канапою, столом перед нею і роялем. На столі перед канапою лежав «Кобзар» і ще кілька книжок у гарних оправках; на стінах — кілька малюнків, здебільшого краєвиди. У другій світличці стояло вузьке ліжко, комод з люстром і туалетним приладдям на ньому та невеликий стіл до писання. На вікні лежали писанки.

— То писав ще мій покійний дід, нехай царствує, а, бачите, й досі цілі, — посплював Іван Семенович.

У світличках було чистенько і затишненько, і сам він був такий чистенький,

привітненький. Мужчин приймав часом у сірому халаті. Жінок — у сюртуці. Піджаків не носив. Розмовляв залюбки, і розмовляти з ним було приємно.
(89, 112).

**В другом месте мемуаристка сообщает, что писатель жил по этому адресу до 1915 г., когда «этот двор продали, а новый хозяин снес старые строения и строит новые». В «Литературных встречах» Л. Хинкулова (1980) по этому поводу названы иные даты (1889—1909), а Е. Кротевич пишет, что на Пушкинской писатель жил до 1905 г.*

/Знаменитий маршрут письменника/

Про Івана Семеновича ходило багато всяких чуток, іноді й зовсім неправдоподібних. Все ж треба визнати: було в його звичках чимало такого, що викликало подив. Скажімо, сусіди могли по ньому перевіряти годинник: щодня за будь-якої погоди рівно о третій він виходив після обіду з своєї квартири, йшов на Фундуклеївську вулицю /тепер вул. Б. Хмельницького. — А.М./, поволі піднімався до театрального майдану, потім звертав праворуч біля аптеки і так само поволі рухався вперед Володимирською вулицею аж до «підйомника», який тепер чомусь звуть по-іншому фупікулером, де звертав на Володимирську гірку. Там сидів, мислювався Дніпром, думав свої думи аж до шостої години; тоді спускався вниз на Хрещатик, та вже цією вулицею повертався назад. Вечеряв — і, що б там не було, рівно о дев'ятій лягав спати.

Сам я не був 1904 року на ювілеї Нечуя-Левицького, але мені розповідали люди, присутні на тому урочистому вечорі й бенкеті, що саме тоді, як Стешенко ще виголошував свою доповідь про життя і творчість письменника, ювіляр піднівся з почесного місця в президії й рушив до виходу. Коли ж його хотіли спинити, він на всі умовляння заявляв:

— Уже скоро дев'ять годин, — і таки пішов додому.
(201, 69—70)

/Втечі ювіляра/

Ще 1893 року святковано 25-річний ювілей Івана Семеновича, святковано, як звичайно в ті часи, нишком, серед невеликого числа делегатів, що привозили адреси. Останню було прочитано адресу від кількох дівчаток з Чернігова, які дякували любому дідусяві за його працю. Чернігівський делегат оповідав, що ця адреса дуже сподобалась ювілянтові; вислухавши її, він сказав, що йому дуже-дуже велику втіху зробили дівчатка, і що тепер він уже піде додому.

Почали його спиняти, бо свято ще не скінчилося, програму ще не виконано, але він не вважав ні на які резоні:

— Піду, бо вже мені спати час. Давайте адреси! А чернігівських дівчаток адреса тут?

І не зівстався, пішов, лишивши делегатів кінчати ювілейну програму без ювілянта.

І от 1904 рік з'явилася змога відсвяткувати 35-річний ювілей Івана Семенови-

проти себе парасоля, щоб захиститися від вітру; а їдучи на два літні місяці в Стеблів, везе з собою не тільки пальто, а ще й кожуха і шапку.

Чимало розповідали про нього, але завжди лагідно, люб'язно.
(89, 111).

/Драми і миші/

Отож я в свої 16 років самовпевнено взявся написати драму «Путало» та ще й пішов з нею, за порадою матері, до Івана Семеновича.

Жив він тоді на Пушкінській вулиці у дворі будинку за теперішнім театром Лесі Українки... Приміщення, в якому проживав тоді Левицький, було перероблене, як мені казали, з сараю і мало дві кімнатки з невеличким передпокоем, але без кухні. Коли я зайшов усередину, мене вразила сила-силенна книжок: вони буквально заповнювали всю першу кімнату. Книжки не тільки стояли скрізь на полицях, а й лежали і на столі і навіть цілими стосами на підлозі /.../

Почувши, що я приніс йому на суд свою п'єсу, письменник коротко сказав:

— Ну, що ж, юначе, станемо читати твою річ зараз же разом. Сідай і читай /.../

Коли я читав свою п'єсу, раптом щось у кімнаті ніби вибухнуло з пістоleta. Іван Семенович так голосно й радісно вигукнув: «Є!» — як вигукують тепер уболівальники, коли їхня улюблена команда забиває гол у сітку супротивника. І ото поки я прочитав п'єсу до кінця, ще кілька разів стріляло в різних кутках, і господар щоразу вигукував: «Є!» — а потім брав з пастки за хвіст убиту мишу, та, винісши в передпокій, кидав у відро з водою. Миші до того обсіли приміщення, що серед дня бігали по кімнатах і гризали папітурки книжок...

(201, 66—68).

Звичайно, Іван Семенович сам знав собі цінну, та разом з тим він являв собою приклад надзвичайно скромної людини.

Пам'ятаю, коли вже студентом Київського університету я зайшов до нього після 1905 року на нову квартиру на Львівській (тепер Артема) вулиці в будинку №41, він радісно розповів мені про твори Михайла Коцюбинського.

— Ото твори, які людські яскраві образи, яка художня мова! — захоплено говорив старий Нечуй. — Написати б мені ще подібне щось, та потім і вмирати можна...
(201, 71—72).

/Чим Толстой не догодив?/

Любив він і багатьох російських письменників, особливо Льва Толстого і Миколу Лескова.

— От велетень цей яснополяський мудрець! — казав він про Л. Толстого. — Читаєш його твори, то іноді аж мурахи по спині бігають /.../ Одного не люблю в Толстому — чого то він носиться з отим Богом? Дивно! Я ось учився по духовних школах, а Бог мені, як кажуть київські міщани на Кожум'яках, «без надобності».
(201, 72).

/Про що співають лаврські дзвони/

Ми вже повернулися до брами, коли з високої дзвіниці нам навздогін ударили дзвони.

Юрба прочан кинулась на той дзвін, неначе овечки до ясел із сіном.

— А знаєте, — на худорлявому обличчі старого письменника хитра усмішка, — знаєте, добродію, яку то пісню виспівують дзвони? Нумо, послушайте. Малі аж захлинаються, благають, випрошують: «Дай, дай, дай!» Великі вже не випрошують, а басом, як той становий, вимагають: «Дай-а-й!» Середні, щоб було не злякалися вісви-парафіяни, і собі голос подають: «Дай, дай і прямо в рай!»
(241, 187)..

• /Ненависть до літери «ї»/

Ми завжди силкувалися заводити розмову на давні часи /.../ Тоді нам було дуже приємно з Іваном Семеновичем, бо він так гарно розповідав. Але, крий Боже, як він кидав старовину і починав говорити про нове і зараз же починав «страшну» розмову.

Це нове — були «13 правописних та діалектичних форм», з якими воював, або за які обставав Іван Семенович, не пам'ятаю тепер їх усіх.

Пригадую тільки, що велику зненависть він мав до «ї» та до апострофа (він писав *сімя*, а не *сім'я*). Так само люто ненавидів «й» на кінці в прикметниках у місцевому відмінкові і страшенно обстоював за те, щоб писати *на зелені траві, у сиві шалці* і запевняв, що так говорить якась там велика частина України, бо він вже багато год ходить до св. Варвари (Михайлівський монастир) і там розмовляє з прочанами, опріч того, розмовляє із двірниками, із бабами, що носять молоко, і впевнився, що...

Коли доходив до прочанок та до двірників, то це вже було просто нещастя: Іван Семенович страшенно гнівався і не говорив, а викрикував свої впевнення.

Тоді саме Грінченко склав Словник, і Іван Семенович з усієї сили боронив словник од «ї» та агітував за свій правопис. Ці нещасливі форми кілька років мучили Івана Семеновича і його, такого доброго і чемного, доводили часом до лютості, до грубості.

(89, 112—113).

/Небезпечні суперечки про частку «ся»/

Випадково стрівся я з Іваном Семеновичем Неучем-Левидьким. Він наче вже не старіється далі: засох і держиться в одній мірі.

На моє запитання про здоров'я, відповідає:

— Та яке моє здоров'я!? От пролежав мало не два тижні, думав, що вже й померу. Стрівся я отак, як отсе з вами, з отим харцизякою, отим гайдамакою американським, отим Бородайцем*... Ну, як доброму, похвалився йому, що отсе скінчив для восьмого тому статтю про мову. Я, знаєте, все літо торік їздив по Київщині, по родичах своїх, та й назбирав силу матеріалу. Отож у статті своїй я на основі того матеріалу доводжу, що Грушевський, хоч він і великий учений, а псує нашу мову, бо скрізь, скрізь позаводить свою галичанщину, оте ся окреме, отой мак — точки над і та силу всяких польських слів, а за Грушевським вже й Єфремов у «Вікові» та в «Раді» й собі перейшов на оту галичанщину.

Розказую отак тому Бородаю, хвалюся... а він як визиріться на мене, як крик-

не: «То й ви, каже, — як оті чорносотенці, нападаєте не нашого велеття, на нашу окрасу, та це ж падлюцтво, та це...»

Я як глянув на нього, а очі в нього такі страшні, як у божевільного, палицею вимахує. Ну, що, думаю, як він і мене, як отого москвофіла у Львові, почне лупцювати...

Серце в мені затіпалось, в очах пожовкло, і, щоб не впасти, сперся я на паркан, та з того дня прохворів мало не два тижні. Коли побачитеся з Бородаєм, то попрохайте його — нехай він мене не займає, поки я не видам восьмого тому, а тоді вже хоч і помирать.

(452, 304).

**Александр Бородай (1844—1914) — инженер-электрик. В 1870-х гг. эмигрировал в Америку, вернулся в 1890-х гг. Служил в петербургском филиале Американского электрического общества, главная контора которого размещалась на Невском проспекте. В середине 1890-х гг. переселился в Киев. Был своим человеком в салоне А. Конисского. В 1897 г. на учредительном съезде Общей украинской организации избран членом ее совета. Посвятил себя делу возрождения кобзарства. В Киеве его звали «американским гайдамакой». А. Лотоцкий пишет о нем как о «типе неразумного русофоба» и отмечает, что своими скандальными выступлениями на собраниях русской интеллигенции он сильно вредил украинскому делу. «Хуже всего, — пишет Лотоцкий, — что он вообще не мог обосновывать свои мысли, поэтому его пропаганда имела совсем не те последствия, на которые он рассчитывал, и давала оружие в руки украинофобских элементов». Сам Лотоцкий со стыдом вспоминает, как Бородай учинил скандал в доме горячего сторонника украинской культуры А. Жемчужникова.*

Створив він теорію «13 граматичних форм», які треба уживати, і що було поза сими формами, те викликало дуже дивне для сеї лагідної людини почуття ворожості, навіть якоїсь ніби ненависті до всіх, хто не визнає його теорії. Ту непримиренність свою у найбільшій мірі скеровував він чомусь у той бік, де він мав найбільші симпатії та повагу, — проти учасників видавництва «Вік», головню проти С. О. Єфремова й мене /Лотоцького/. Найтяжче од того доводилося Сергієві, бо Іван Семенович вимагав, щоб йому прислали коректури книжок, які друкував «Вік», і в ті коректури заводив свої чудернацькі «13 форм». Найгірше було те, що старий дуже тим хвилювався, сердився, взагалі переживав усе те дуже тяжко, скаржився знайомим, що його кривдять, примушуючи на старість по-овечому «мекати» (по одній з sacramentalних «13 форм» треба було писати «мії», а не «мекати», писавши «мені»). Старий поважно розповідав, що компанія «віконців» вирішила пописувати українську мову, перевернувши її на кишталт галицької, а для того — друкувати без додержання «13 форм» видання «Віку» у Києві, для псування книжок у Петербурзі «віконці» послали туди Лотоцького, що мав переводити те задання у Петербурзькому видавничому товаристві. Щоб перешкодити тій моїй праці, старий письменник і мені писав спорадично довжелезні листи по кілька аркушів кожний та остерігав у Петербурзі мого колегу П. Я. Стебницького.

(244, 187).

Наївний у своїй одірваності від практичного життя, він зворушував своєю надзвичайною внутрішньою делікатністю, просто якимсь побоюванням, як би часом не завдати людям клопоту своєю особою та своїми справами.

Одного разу прислав по мене рано Іван Семенович — просить негайно прийти. Бачу — блідий, знеможений.

— А я, — каже, — ледве-ледве не помер. Ото, бачите, у мене страшний катар шлунка. Я тільки і держуся тим, що весною їм суніць, — заправляюся. Та й до нових суніць жду. Останнім часом було вже мені дуже тяжко. Але, отже, уперше принесли мені вчора гладущикок суніць. Я зрадів та й усі й з'їв. А вночі так мене розібрало, що, думаю, — помру. Лежу отсе, сили нема вже й повернутись, от-от край. Та як пройняла мене думка: а я ж «Вікові»* посвідки не дав, що не вимагаю од них гонорару за своїх «Батюшок»! Помру, а мої спадкоємці будуть од них вимагати. Так мене аж у піт вкинуло. От би, гадаю, хоч до ранку діждати. Та отсе ранком послав по вас. Візьміть осьде мою розписонку, що гонорар од вас я отримав (в дійсності ніякого гонорару він, розуміється, не брав). Та й не будете мати клопоту. Ото й добре тепер.

Збираючись умирати, думав він лише про те, щоб не завдати клопоту видавцям своїм, — чи ж не свідчить це яскраво про духовне успособлення** сеї людини.

(244, 186—187).

*Издательство «Вік» (1895—1918) основано Общей української організації по инициативе Молодой громады (О. Лотоцького, С. Ефремова, В. Доманицкого, Ф. Матушевського, В. Дурдуковського). Издало более 140 наименований книг, и в частности три тома «Антології української літератури».

**Успособлення (укр., арх.) — духовное настроение, одухотворенность, духовная высота.

П. И. РАЕВСКИЙ

Петр Иванович Раевский (1847—1886) — популярный в свое время писатель-юморист. Родился на Киевщине в г. Борисполе в семье священника. В 1862—1867 гг. учился в Люблинской прогимназии. Служил в Черниговской межевой комиссии. Вместе с П. Чубинским собирал этнографические материалы. С 1875 г. жил в Борисполе. Писал стихи, очерки, прозу. С 1869 г. печатался в газ. «Киевлянин». С 1875 г. — постоянный фельетонист этой газеты. Считался лучшим знатоком народного юмора. Свои этнографические записи использовал в юморесках. Прославился как автор «сцен из малорусского быта» — небольших сценических миниатюр, насыщенных народным юмором. Их героями были крестьяне, попавшие в город и наочно демонстрировавшие всю несхожесть жизни города и села, их чуждость друг другу. Его персонажи неадекватно реагируют на окружающее и вызывают смех своими нелепыми поступками.

По сути, писатель исходил из распространенной в Украине 1860—1880-х годов народнической доктрины о несоместимости сельской и городской культуры, первая из них называлась народной, а вторая почиталась чуждой украинским национальным традициям, привнесенной с Запада или навязанной русификаторами.

Народники смотрели на город со стороны села. Раевский был первым

украинским писателем, который поменял в их традиционной схеме акценты и взглянул на отношения города и села глазами простого «среднестатистического» горожанина. Эффект получился необыкновенный, но, к сожалению, — внешний, чисто юмористический и в какой-то мере сомнительный.

Отступил ли Раевский от идеалов своей молодости, сказать трудно, но он никогда не позволял себе смеяться над крестьянином за его крестьянскую натуру. Его персонажи смешны потому, что попали в необычную для них среду. Однако, разрушив народнический миф, П. Раевский не предложил ничего положительного и невольно облегчил задачу тем сомнительным «сочинителям», которые любили посмеяться над «мужичьем», поиздеваться над «грубыми мужланами». В то время, когда настоящий украинский театр, театр П. Саксаганского, Н. Садовского, М. Кропивницкого, И. Карпенко-Карого и других корифеев национальной сцены, был запрещен на всем пространстве «Юго-Западного края», т. е. Восточной Украины, подобные юмористы заполнили сцены театров, клубов, парковой эстрады и кафе-штанов своею низкопробной продукцией. Разумеется, Раевский не участвовал в этом триумфальном шествии пошлости, но все же украинофобский юмор многое почерпнул именно из его не раз переиздававшихся и весьма популярных «Сцен из малорусского народного быта».

Сегодня мы просто не представляем, до чего опускались когда-то «малороссийские писатели», чтобы угодить какому-нибудь городскому чело-вечку, который привык изливать свое недовольство жизнью на «селока», носителя чуждой и непонятной ему культуры. В те времена это было вполне обычным делом, поскольку начальство смотрело на ежедневное глумление над «мужичьем» на улицах города сквозь пальцы.

Вulgарная и примитивная «малороссийщина» была тайной союзницей русского шовинизма. Она открыто поддерживалась официальными кругами, поскольку весьма ощутимо задевала национальные чувства украинских патриотов и вносила в обывденную жизнь старого Киева дух вражды и отчужденности. Много лет спустя, уже в 1920-е, Николай Садовский никак не мог отойти от прежних обид и в своих мемуарах горько проклинал «малороссийских» юмористов — украинофобов царских времен:

«...В Киеве /генерал-губернатор/ Дрентельн /.../ запретил играть украинской труппе, а вместо нее позволил в кафе-шантанах и на открытых сценах «рассказчикам малороссийского быта» дискредитировать перед публикой украинский народ и вообще все украинское. Здесь подвергалось осмеянию все национальное. Неграмотные бывшие театральные машинисты или просто рассыльные сделались украинскими писателями и, опережая друг друга, писали всякую пошлость и пасквили на украинский народ и с идиотскими подмигиваниями и болтовней представляли свои творения перед сытой и охочей на смех парковой публикой, и та, смеясь и надрывая свои пьяные животы, хлопала этим подлым и бездарным пая-

цам, а после спектакля поила их водкой до бесчувствия и мазала горчицей их пьяные морды. Но все эти лишай на здоровом теле привлекали в парк много людей, и поэтому парковые антрепренеры платили им большие деньги. Так, Лучицкий, бывший машинист Одесского Мариинского театра, брал 300, даже 400 рублей в месяц. Потом он собрал все перлы своего гениального литературного творчества и издал под заголовком: «Торба хохота и мешок смеха».

Нужно было видеть, что вытворял этот каннибал на сцене. Когда наступало время его выхода, публика начинала гудеть, как пчелы в улье, зная из программы, что вот-вот появится этот «разбойник татарского искусства», а её любимец... Наконец, оркестр начал прелюдию. Публика на миг стихала, и за кулисами кто-то скрипучим, как немазанная татарская арба, голосом затягивал: «Оце я Ярема-а-а-а, оце я Ярема!» Тогда публика тоже начинала гудеть и отвечала таким же «а-а-а-а». После этого оркестр умолкал, и из-за кулис появлялось какое-то чучело. На голове сивая шапка не менее как полтора аршина высотой, а то, может, и больше. Свита нараспашку, вся покрытая какою-то невиданною орнаментикою. Сорочка вышитая не только на груди и рукавах, а то, может, и на спине, и с такими широкими рукавами, что в каждый рукав можно было бы запихнуть еще по одному Лучицкому. А что уж говорить про штаны! Это просто сшитые два огромные куса полотна, стянутые ремешком, которые волочились по земле. Его появление само по себе вызывало рев, смех, общие бурные овации и крики «браво!».

Чучело тихо подходило к авансцене под нестихающий хохот и, сняв с

головы свой улей, который шапкою и назвать-то было нельзя, здоровалось с публикой: «Доброго здоров'я! З понеділку!» — і снова дикий, бессмысленный рев публики. После приветствия чучело начинало рассказ про то, какое приключение случилось с ним на Печерске в Киеве...»

Упоминание о приключении на Печерске — прямой намек на П. Раевского и его знаменитую юмористическую миниатюру «Любопытный», ко-

торая часто исполнялась тогда на эстраде. Произведение яркое, талантливое, но все же двусмысленное, стоящее на грани украинофобии.

В нашей подборке в форму подачи юморесок Раевского внесены некоторые изменения. Авторские ремарки и названия подаются не на русском (как в оригинале), а на украинском языке. От такой «украинизации» они только выигрывают, обретая внутреннюю органичность звучания.

Допитливий

Учора оце випровадив я свого старшого сина за борошном у Київ, та й боюся, коли б біди якої не скоїлось над ним, бо й він, не вам кажучи, має таку ж прокляту вдачу, як і я, — дуже цікавий. Уже я йому й наказував добре:

— Гляди, сину, часом побачиш у Києві якусь машину, або що дурне таке, що не знаєш йому прозвання, — не питайся у москаля, і не приведи тобі Господи, бо наживеш собі такі біди, що поки не вмиреш не забудеш. Мене торік навчили добре, тепереньки за десять верстов обминатиму москаля.

Повіз я ото овес продавати у Київ, да й не поїхав на Поділ, а вдарився на Печерське.

Прийшов, спродався, поставив худобу на заїздному дворі, а сам пішов у город продивитися. Іду я, роздивляюсь, дійшов такечки аж до самої Лаври. Коли я гульк..., а по праву руч великий превеликий мурований будинок стоїть, а круг нього гармати на колесах стоять, да купами превеликими здоровенні кулі лежать, мов кавуни на бориспольському ярмарку. Лишенько, міркую я собі, дивлячись на це страхонище: певне що кудись на війну лагодяться. Ото поспитати би кого. Коли дивлюсь, коло гармати стоїть чи воно полковник чи, може, й сам инорал: на плечах золоті соняшники, на голові шапка з пір'ям; а перед ним москаль стоїть вип'явшись, мов аршин проковтнув, — так і закам'янів... Підійшов я трошечки ближче, коли чую, як старший і каже москалеві:

— Я тебе, негодяй, в острог зашлю, я тебе в рйштанські роты сдам!

Е, думаю, слухаючи, це вже за щось попався бідний москаль. Проказан йому це щось старший і пішов; повернувся і москаль, іде такий хмурий та смутний. І щоб же було мені дурільові скоріше од нього далі, так ні: неначе чорт шепнув мені на ухо: «Запитай москаля, запитай москаля!» на ту пору, кат би його взяв, наче забув я прислів'я: «Нема нічого на світі лютіше, страшніше, як сердитий москаль». Порівнявся я з ним, на свою лиху годину, та й кажу:

— Господа служба! Розкажіть мені, Бога ради, як воно стріляють от із цих гармат?

Москаль зупинився, та як глянє на мене... так, сказано, глянув, наче тричі по лпці тобі заїхав. Дививсь, дививсь, та зіпнившись от превеликої злості зуби, каже:

— Я тебе трогал?

Я од нього, а він мене за комір та знову:

— Я тебе трогаю?

— Ні, — кажу, — ви мене не те!

— Так зачём же ты мне досаждаєш?

— Простіть, — кажу, — я, бачте, хотів довідатись: як то ці гармати стріляють!

А він мені:

— А, хотів! Ступай, — каже, — со мною, вот я тебе покажу, как они стреляют!

Да з цим словом узяв мене за пояс і веде, та куди веде! До самісінької гармати! Прямо на жерло так і пре!

— Москалю, не хочу, пустіть, Бога ради!...

Так куди...

— Ступай, — каже, — вот сейчас начнется пальба, будешь ты, — каже, — знать, если живой останешься!

— Москалю, — кажу, пустіть, бо зі мною, скарай мене Господи, неблагополучно буде! — а потім як заголошу: — Ой, лелечко, лелечко! Ой, Господи, прости ж мене!...

Змолився я уже перед самим жерлом! Поставив ото мене москаль і каже:

— Вот я поставил тебя на таком месте, что ты, если только шевельнешся, то так тебя и торохне от с этой пушки. Стой, — каже, — аж покуля начнется пальба!

Стою я та лаю вже себе, лаю, а сльози з очей, мов той горох, кап, кап. А тут ще як почало щось гризти мене в потилицю... Так гризе, що, здається, дав би полтинника, щоб почухатись, так страшно ж поворухнутись: гемонська гармата якраз межі плечі мені дивиться. А тут ще... бачте, ідучи оглядять город, я зів два кавуни та кухоль води випив... Так сказано, прийшлося пропадать зовсім та й годі!

Стою я та й стою, коли дивлюся... із нашого села люди йдуть: перед веде Гаврило Лапій. Глянув і він на гармати, побачив мене та й питає:

— Чого це ти тутечки, Яков, витрішки продаєш, чи що?

— Зараз, — кажу, — пальба буде!

— Так якого ж ти біса стоїш тамечки?

— Треба, — кажу, стоять, коли москаль поставив!

— За що?

Так і так, кажу.

— У, дурний, — каже, — тікай скоріше, поки москалів не видно.

— Так, — кажу, — поворухнутись не можна!

— Брехня, — каже, — цьому.

Поміркував я трохи, перехрестився, та помалесеньку і почав присідати; присідаю, присідаю, а далі: рачки, рачки, рачки, потім як деремну... Здається, зроду ще ніхто так прудко не бігав, як я тоді біг. З того часу годі їздить у Київ; та як його в біса й їхати туди? Прийдь та попадешся на очі, не приведи Господи, на очі тому самому москалеві, тоді не тільки до гармати, а впре в саму гармату, та як скаже: «Зараз пальба буде!» І...бо з ним!

(331/А, 291—295).

Дві дулі

Що за чудні люди є у тому Києві, такий сміх і подумати! Розприндяться, розкричаться друге, вилає тебе, кат його батька

зна й за що, та ще й вигукує, що воно праве, а ти нібито винуватий. Це б не диво, якби такі траплялись поміж нашим братом — дурним-дурним, невченим, а то поміж панами! Надав мені чорт повезти на продаж груші у Київ. І груш тих було як кіт наплакав; десятків, може, з п'ять, та добрі: солодкі та здорові, кожна, не вам кажучи, була завбільшки з баранячу голову. Еге, так приїхав ото я в Київ, став на Житньому і тільки що почав продавати, коли се й біжить до мене той, що зветься у нас нишпорка, кияни його квартальним надзирателем чи що величають. Підбіг та й каже мені:

— Послушай, мужичек, дай мне, пожалуйста, две хорошие дули!

— І-і, пане! Цього добра скільки хочете!

Та проказавши це, згорнув я йому дві дулі, підношу та й кажу:

— Прикажете під саму піку?

І як затупотить він, як заверещить:

— Подлец! Я тебя до мирового, бо ты мене наглядно оскорбыв!

Побіг. Я тоді свою булану скорий в оглоблі та додому, та їдучи цілісіньку дорожку думав: «За що оце він так розприндився? Сам же навіть просив: «Дай мені, пожалуйста, дві хороші дулі!»

(331/А, 298).

В кабінеті інквізиційних тортур

(В Києві був відкритий кабінет інквізиційних тортур. До касира, що стоїть біля входу й продає квитки, підходять два селянина).

Дія 1. Біля каси

Селянин 1-й. Здорові були, з середю!

(Касир злегка киває головою)

Селянин 2-й. Чи тутечки живодерня?

Касир. Какой животорна? Що вам нушно?

Селянин 1-й. Нам казали, що тут показують людські муки, що буцім-то тут шкуру з людей деруть.

Касир. Та, та, здесь.

Селянин 2-й. А що ви візьмете, господа німець, за те, що ми ось з Опанасом подивимось?

Касир. По трицять копейка с один человек.

Селянин 1-й. По два злоти з чуба? Дорого!

Селянин 2-й. Нехай би вже по гривенику!

Селянин 1-й. Беріть такечки вже по золоту та й годі!

Касир. Нет, трицять копейка с персон.

Селянин 2-й. Ну вже по семигривенику дано, кат його бери!

Селянин 1-й. І по семигривенику дорого, це якраз кварта дьогтю буде!

Касир. Нет, нет.

Селянин 2-й. Та ми ж тільки подивимось; я б, здається, й по три шаги пускав би. Хіба пак воно злияне там, як подивимось? Так як же, берете по семигривенику?

Касир. Нет, нет! Ступайт отсюда!

Селянин 2-й. Що його робити, Опанасе? Хіба вже дати?

Селянин 1-й. Та давай уже, кат його бери, зате хоч надивимся.

Селянин 2-й. (Подаючи гроші). Нате, звольте чотири золоті грошей!

Касир. Тепер можна смотрити...

Селянин 1-й. Тільки, господа німець, чи не буде воно дуже страшно?

Касир. Нет, нет, ступайт!

Селянин 2-й. А ну, Господи благослови! Опанасе, йди вперед!

Селянин 1-й. Йди ти, я щось тее...

Селянин 2-й. Це ще вова*; адже люде ходять; ну разом, так о!

(Зникають за завісою)

Дія 2. В кабінеті торгун

(Обидва селянина стоять нерухомо; один з них дивиться праворуч, другий ліворуч. Мовчання).

Селянин 2-й (наближаючись до постаті, що рухається й зображує вмираючого воїна й сестру-жалібницю, яка молилась над ним). Опанасе, а, Опанасе, дивись!

Селянин 1-й. Та це ж живі люди, а ти казав...

Селянин 2-й. Циц!.. Адже, бач, зовсім доходить!

Селянин 1-й. Я втечу, бо як дивитись на таке лишенько!

Селянин 2-й. Постій, пожди: ондечки, дивись, щось іще муку терпить!

(Обидва сторожко підходять до рухливої постаті, що зображує вмираючу з голоду черницю).

Селянин 1-й. Це черниця, чи що...

Селянин 2-й. Бідна, й вона вже доходить! Та й чи не проклятий цей німець напхав сюди людей, та бач, що з ними виробляє!..

(Підходить гід, що пояснює значення постатей).

Гід. Это монахиня, умирающая от голода.

Селянин 1-й. За що ж ви її такечки?

Гід. За неприятие веры...

Селянин 2-й. Опанасе, чуєш? Он як на свою віру людей наворачтають.

Селянин 1-й. Так оце ви її ні їсти, ні пити не даєте?

Гід (сміючись). Так, ничего не даем: ни есть, ни пить!

Селянин 2-й. Горенько тяженьке! Може ж таки ви дозволите дати їй хоч по шматочку хліба?

Гід. Нет, нет! Нельзя этого!

Селянин 1-й. Хіба ж таки у вас душі немає? Гляньте: зовсім помирає людина!

Гід. Угодно вам слушать, я приступаю к дальнейшему объяснению. (Відвертається).

Селянин 2-й. Ні, спасибі вам! Ви краще покажіть нам звідсіля двері. Опанасе! Треба покласти на домовину бідній, бо вже позіхає!

Селянин 1-й. Бідна, бідна.

(Обидва кладуть перед постаттю по три копійки й швидко йдуть геть).

Дія 3. Біля виходу

(Полишивши кабінет, ті ж самі селяни зустрічають свого односельчанина).

Селянин 1-й. Куди це ти, Нечипоре?

Односельчанин. Йду подивитись!

Селянин 2-й. Не йди! Йй борони тебе Господь!

Селянин 1-й. Тамтечки людей голодом зводять — от що!

Односельчанин. Невже?

Селянин 2-й. Тамтечки москаль з ружжа вбитий — доходить уже, а далі черниця тільки, тільки що дихає — голодною смертю вмирає.

Односельчанин. І живі?

Селянин 1-й. От так: живісенькі.

Односельчанин. Е! Та Бог з ним, не підуд!

Селянин 2-й (дивлячись на касира). Іч, сидить, гладкий, мов кабан годований, та ще й цигарку покурює, а тамтечки люди з голоду мруть!.. Ходім, нехай вони покажуться! Це не люди, а прямо що німці, — ходім!..

(Идуть геть).

(331/А, 288—291).

*Вова (укр. детск.) — волк.

ВДОМА

(Із Києва приїздить додому селянин, увечері приходить до нього сусіда, аби дізнатись в нього, що він бачив і що чув у Києві).

Гість. Приїхав, Грицьку?

Хазяїн. Благодарить Бога, досунувся.

Гість. Що ж ти там чув, що бачив?

Хазяїн. Не питай краще. За одно я дякую Богу, — що я вдома.

Гість. А що? Мо' москаль або квартальний?

Хазяїн. Ні, от цього Бог милував! А бачив там таке, що як згадаю, то й тепер мороз продирає.

Гість. Що ж ти таке страшне бачив там?

Хазяїн. Лиху годину бачив.

Гість. Що таке?

Хазяїн. Таке, що й хвалитися страшно!

Гість. Да ну бо, кажи вже.

Хазяїн. А ти нікому не скажеш?

Гість. Ёй же Богу, не скажу!

Хазяїн (таємниче). Смертоубивство бачив!

Гість (також). Смертовбивство?

Хазяїн. Ёй же Богу, правда!

Гість. Як?

Хазяїн. Тільки ти, слухай, нікому анітелень!

Гість. Забожився ж!

Хазяїн. Купив у мене овес якийсь пан. І оскільки діло було вже над вечір, то він і залишив мене ночувати у своєму дворі. Увечері підійшов він до мене, а я уже вечеряв, сидючи на возі, та й каже:

— Ты, мужичок, был когда-нибудь в цирке?

— Був, — кажу.

— Что же ты там видел?

— Що ж бачив... бачив от що: піп службу править, дяк співає на криласі, а люди стоять та й Богу моляться.

— Так ты в церкви был.

— А ви ж кажете де?

— Я говорю, в цирке.

— Что оно такое?

— Такая яма здоровенная, а там показывают разные штуки.

— Ні, там не був.

— Ну, так идем, я сам за тебя деньги заплачу.

— Як так, то чому б не піти, ходім.

Пішли ми. Увійшли в той цирк, так недалеко од дверей і сіли, сидимо, гляжу окрути себе, аж панами скрізь так і випріцило, унизу пани, вгорі пани, з правого боку і з лівого пани, сказано тобі, як черва кишить. А мій пан і каже мені:

— Вот жаль, что мы опоздали, застали одну пантомиму. Смотри, — каже, — впереди перед собой.

Дивлюсь я, — переді мною превелика горниця, і нікого немає в ній. Коли трошки згодом уходить туди якийсь пан і листа собі читає. А позаду нього, мов хмир, крадеться якийсь чорний чоловік, да тоді як підійме рушницю, як бебехне того сердешного пана, так і поклав його бідолаху. Я, бачачи таку лиху годину, як зірвуся з свого місця, та як гукну:

— Ловить його, смертовбивство зробив! — та сам у двері, да на двір. Біжу, а за мною тільки чую:

— Лови, держи!

Еге, ловлять вже того, що смертовбивство зробив, а не мене; та, прибівши в двір, до воза, зараз свою рябу в оглоблі, да з двору — тільки мене й бачили. І ще не починало на світ благословлятися, а я був ген за Києвом. Слава ж Богу милосердному, що я теперенькі вдома!

Гість. Що й казати, то не приведи мати Божа!

Хазяїн. Тільки ти гляди: нікому анітелень!

Гість. О так пак! Хіба ж я не знаю, яке це діло!

Хазяїн. То-то, гляди, це не те що колотича або злодійство, а... смертовбивство!

Гість. За що ж він убив його?

Хазяїн. Чорт його батька знає!

Гість. Та ще при людях!

Хазяїн. Одних панів, кажуть тобі, як черви!

Гість. Гляди, щоб ще не потягли тебе на слідство.

Хазяїн. Якби були у Києві застукали, то може б і потягли, а теперенькі навряд. Дякую Богу милосердному, що я вдома.

(331/Б, 30—35)

БРЕХУН

(Зібралась група селян-прочан поблизу Софійського собору в Києві й дивляться на дзвіницю. Підходить до них невідомий у підйовці й теж дивиться).

Селянин 1-й. Та й превисока!

Невідомий. Что это за висота!? Вот я видел колокольню, ну так!

Селянин 2-й. Яку?

Невідомий. На ней крест есть, да только не видно его, потому что входит в самое небо!

Селянин 3-й. Ох, мені лишенько!

Невідомий. А колокола висят там так високо, что если, примерно, в субботу нужно к вечерне звонить, так звонарь отпрапляется в пятницу рано, и долазит к колоколам только в субботу перед вечером. Вот высота-то!

Селянин 4-й. А чутно з такої страшної висоти дзвона?

Невідомий. Чуть-чуть.

Селянин 4-й. Чуть-чуть?

Невідомий. Да, едва слышно. Но и колокол там не маленький: три миллиона пудов.

Селянин 5-й. І та дзвіниця, і той дзвін це пусте діло. А от позаторік у Одесі я бачив краще диво!

Невідомий. Что же ты видел там?

Селянин 5-й. А сказати тобі?

Невідомий. Говори, потому что любопытно!

Селянин 5-й. Бачив ще кращого брехуна, як ти!

(Селяни сміються, невідомий хутко зникає).

(331/Б, 40—41).

БІЛА ДЗВОНУ

(У Києві, на Подолі, група селян оточила виставлений на продаж дзвін, оглядає його й обмінюється думками. Підходить пристойно вдягнений пан, зупиняється й слухає).

Селянин 1-й. От дзвін так дзвін! Якби його повісити на нашій дзвіниці у Козолупах, та добре бовкнуть, мабуть би, кури з сідала попадали!

Селянин 2-й. От так пак! Уже ж не те, що в нас, тепереньки у нас дзвін не дзвін, а якась розбита макітра повішена. Стара баба кашляне дужче, ніж він бевкне...

Пан, що слухав. Эх вы, несчастная деревенщина! Нашли невидаль! Да разве это колокол!? Это просто колокольчик, если сравнить его с московским царь-колоколом.

Селянин 1-й. А той хіба ще більший?

Пан, що слухав. Под ним поместится все ваше село вместе с вами, клунями, амбарами, сараями, скотом и еще, пожалуй, просторно будет — вот каков тот колокол!

Селянин 2-й (лукаво). Ехумм... Чи бачите, братця, он на Брацькому монастирі, на самому хресті, муха лазить.

Селянин 1-й. Цей московський дзвін нагадав мені про Полтаву. Бачте, добрі люди, у нашої Полтави стояла колись на валу превелика гармата, така, що в джерело цілу хату можна було вперти. І не стріляли з неї годів, мабуть, зо сто, або й того більше. Тільки якось в Полтаву надали нового городничого. Приїхав він, подивився на ту гармату, та й каже до десятників: «Зарядить її да випалить, — почуєм, який буде великий бах з неї». Підбігли москалі, полапали, поцмокали — зарядила гармата. Нічого, — зараз добули сала, вимазали її у середині добре, зарядили та, заметушившись, не помітили, що голодна собака, біжучи мимо, почула сало та в гармату... заїзала і вилаєзує тамтечки. Піднесли до гармати вогню та як бебехнуть, як полетіла та собака вгору, та бреше, бреше, точнісінько так, як оце пан про московський дзвін!

(331/Б, 80—82). *

ШЛЕЙФ

(У Києві хідником Олександрівської вулиці йдуть два селянина. Попереду них йде дама із досить великим шлейфом)

Селянин 1-й. Охрине! О! Охрине, дивись: як мете!

Селянин 2-й. Чисто мітла!

Селянин 1-й. Та ти подивись, чим вона мете!

Селянин 2-й. Чим? Сукнею мете.

Селянин 1-й. Аршинів три добрих тягне за собою!

Селянин 2-й. Ти тільки подивись: чого там немає, на тому хвості!

Селянин 1-й. Всього доволі.

Селянин 2-й. І пшавога, і солома, а оидечки, дивись: ще й шмат киявка причетився!

Селянин 1-й. А то як: коли взялася мести, то нехай замітає чисто!

Селянин 2-й. Я чув, що будім би вони за це гроші беруть.

Селянин 1-й. Грошей не беруть, брехня, а дяку точно приймають од начальства.

Селянин 2-й. Та й воно є за що. То скільки б треба людей, щоб підмітати, та кожному заплати, а ще скільки б мітел пропало, а то, глянув: іде собі, мов бариня, і не глянувши на її хвіст, зроду не догадався б, що вона вулиці замітає!

(Дама сідає на візника й від'їжджає, підбираючи дорогою довгий шлейф)

Селянин 1-й. Глянь, як струмент свій підбирає та ховає.

Селянин 2-й. Куди ж це вона?

Селянин 1-й. На другу вулицю, бач, тут уже далі чисто.

Селянин 2-й. Та, бач, не пішла, а поїхала!

Селянин 1-й. Нащо ж їй задарма по вулиці струмент тягати!

Селянин 2-й. І то правда: струмент — велике діло.

(331/Б, 8—10).

У ЗВІРИНЦІ

(Чоловік і жінка — селяни-малороси — підійшли до каси звіринця. Касир питає в них, чого їм треба)

Селянин. Нам хотілося б, добродію, на звірі подивитися.

Касир. Посмотреть зверей? Это можно.

Селянин. А які ж тамечки звірі у вас є?

Касир. Да ви прежде возьмите билеты, а там уже вам покажут всех их.

Селянин. Так. А по якій ціні ті білети, чи що там таке?

Касир. Один билет стоит 50 коп.

Селянин. Так за два, значиться, треба дати карбованця?

Касир. Да, два билета будут стоить один рубль. Что ж, выдавать, что ли?

Селянин. Та то все добре, заплатити ми заплатимо, а все-таки ви розкажіть: які у вас звірі є?

Касир. Есть лев.

Селянин. Так.

Касир. Есть тигр.

Селянин. Так.

Касир. Есть слон, леопард...

Селянин. Так.

Касир. Есть обезьяны разные.

Селянин. Так.

Касир. Иностранные птицы.

Селянин. А вовка й немає?

Касир. Нет, волка не держим.

Селянин (до жінки). Шкода, жінко, у них є звірі, то все чорт зна що, а самого того падлюги, що торік у нашої кобили лоша зарізав, — немає. Ходім! Прощайте.

(331/В; 21—22).

РОЗПОВІДЬ СЕЛЯНИНА ПРО КИЇВСЬКИХ ПРИКАЖЧИКІВ

Ні, Хведоре, нашому брату, мабуть, можна їздити тільки по селам та по містечкам, а що в город — і не поривайся, бо тамечки або в потилицю, або чуба намнуть, або останню копійчину з кишені вимантатимуть, а іноді то все разом над тобою окошиться.

Приїхав я в Київ, продався зовсім і думалось-то так, щоб зараз і додому повертатися. Та де то вже виберешся з того Києва запросто. Оті брехунці, що стоять у дверях по лавках, так заговорять тобі зуби, що хоч би і не хотів зайти в лавку, то зайдеш.

Тут тобі один кричить: «Дядицька!», другий: «Знакомый, знакомый!», і ще їм я приплете, що чорт його й бачив зроду, так ці, «знакомый» та й годі. Іду я ото з Києва коло тих лавок. Брехунці зараз і давай кричать на мене: «Дядицька! Знакомый! Григорий! Григорий! Пожалуйте к нам!». — «Та я, — кажу, — зроду Нечипор, а не Грицько!» — «По-нашому, — каже, — все равно, что Нечипор, что Грицько, — пожалуйста!» Зайшов я в ту лавку і сакви з собою взяв з воза. «Давайте, — кажу, — мені оселедця за десять шагів». Брехунець метнувся і тиче мені бруса в руки. «Та це ж, — кажу, — брус, а не оселедеш!» «Нет, — каже, — это загранишна сеledка!» А сам сучий син аж давиться та регочеться. «Дайте ж, — кажу, — мені за 6 шагів сірки». — «Это, — каже, — можно». Подає мені знов клубок валу*, — і регочеться вже. Я тоді межі очі йому — плюх!, а він мене по потилиці — тріс! «За що ти, — кажу, — б'єшся?» А він мене вдруге.

«Б'єшся за що?» — кажу йому знову. А він мене втретє. «Е, — думаю собі, — годі питать, бо покіль я допитаюсь, то він накладе мені так, що й додому не доїду», — та мерщій за шапку, та з лави, сів на воза, од'їхав з гоню та тоді вже здумав, що я у тій лавці сакви забув! І не так мені сакви, як те, що в саквах: дві чехоні, півсотні слив і чотири папуші тютюну. Вернувся я скоріше, але не попав у ту, куди треба, а попав у другу. Та як його там і втрапити, коли лавка на лавку так схожі, як приміром, чобіт на чобіт! Прибіг я ото в лавку, глядь туди-сюди, — нема саквів. Я тоді до брехунців: «Сякі-такі, подавайте мені зараз сакви!» Як почали там давати мені саквів, тєє лишенько! І в потилицю, і за чуба, а один коліном в пузо мені як дав, так мені аж світ змінився у очах. Я тоді з тієї лавки, та до воза, коли дивлюсь, аж з третьої лавки летять мої сакви. Викинув їх брехунець на самісіньку дорогу, а сам заховавсь. Пішли мої сливи по всій дорозі... Я давай їх збирати, коли се як улуцить хтось по потилиці мені мітлою — повернув я голову — москаль! «Ах, ты, — каже, — подлая деревня, прочь с дороги!» — «А мої сливи, добродію!» І що то вже за вдача у тих москалів! Я ж йому язиком казав, ну й одвітовав би язиком, так ні, зараз мітлою потяг мене знов по потилиці! Я тоді бачу, що нічого не вдію, плюнув на все, сів мерщій на воза та й по коняці. Од'їхав так гонів з десять, і так неначе мене сам Господь надоумив: чому ж я їм нічим не оддячив! Повернувся я, дивлюсь, це їх видно: брехунці і москаль стоять та дивляться. Я тоді давай їм дулі крутити; лівою кручу та примовляю: «Оце вам, брехунці!»; а правою кручу, — «А оце вам, господа служба!»

Уже їх нема, а я все кручу, на случай, значить, чи не визирне котрий-небудь. Крутив я аж поки руки помііли, тоді вже перестав і поїхав собі ходою.

(331/В, 108—110).

**Вал (укр.) — толстые пеньковые нитки.*

ВЕЛОСИПЕД

(Приїхав селянин із Києва додому в село і, як ведеться, другого дня навідався до свого найближчого сусіда. Сусід починає розпитувати його, що він бачив у Києві)

Сусід. Що ж ти бачив путнього у тому Києві?

Гість. Що я бачив, бачив багацько дечого.

Сусід. Таки, значить, гав наловив чимало.

Гість. Ні, брате, бачив я там таке, що трохи не луснув зо сміху.

Сусід. Що ж воно там було таке? Певне, москаль яку-небудь штуку одрізав?

Гість. Коли б то москаль, то б воно нічого, а то пан!

Сусід. Та кажи ж бо мерщій, що там таке?

Гість. Іду я ото тим Хрепцатиком, коли дивлюсь, аж проти мене не то їде, не то пішки їде якийсь молоденький пан. Сидить на якійсь чортопхайці, та такі штуки виробляє тобі і руками, і ногами, що я не витримав: так і зареготавсь! А він, бач, їде та ще погляда: чи, бач, дивляться на те його скуство люди. «Дивлюсь, дивлюсь, добродію, — думаю собі, — а як би ви полетіли з цієї чортопхайки, то ще більше дивився б!» Тільки, значить, я це подумав, коли він — брик... Так і рас-

пластавсь сердега. «Доїздивсь чортового батька», — думаю тоді я. Підійшов до нього та так, за ласки, значиться, і кажу йому: «Овва! Кріпко забилися ви, паничу!» А він як на мене накинувся: «Поддай хохол, прочь поди, чтоб ты не был!» Перехрестився я, та від нього... Ти об нім жалкуй, а воно тебе ще й вилає за те!

Сусід. А таки добре тріснувсь, до нових вінників пам'ятають буде!

Гість. Нехай здоров вичухає! Штаннигта, бач, розлізлись на колінках, бо, бач, узенькі такі, що ноги-не ноги, а наче ті оглоблі!

Сусід. На чому ж він їхав, на машині якій чи що?

Гість. Та там така химерія, що годі! Двоє коліс: одне азад, — друге спереду, і од колеса до колеса ідуть підтоки і на тих, бач, підтоках він-то і сідає, бідолаха.

Сусід. Було хоч спитать кого, як воно буде на прозваніє?

Гість. Еге пак, я питав. Стояв на ту пору якийсь купець біля мене. «Позвольте, — кажу, — спитаться, як воно на прозваніє буде, машина ця?» — «Вилайся мед», — каже.

Сусід. Вилайся мед?

Гість. Еге ж, — вилайся мед.

Сусід. І на що б отаке прозвище давать — вилайся мед?

Гість. Нащо? Звісно нащо: як полетить з нього, та тріснеться так, що каганці тобі з очей посиляться, то з тебе і виляється мед, і тобі тоді гірко так зробиться, як тому пану, що я пожалкував за ним, а він мене вилаяв за те добре!

(331/В, 127—132).

В. И. САМИЙЛЕНКО

Владимир Иванович Самийленко (1864—1925) — известный украинский поэт. Родился в с. Большие Сорочинцы на Полтавщине. Учился в Киевском университете. В 1890—1893 гг. служил телеграфистом в Киеве и Черниговском земстве. В 1900—1905 служил чиновником в Екатеринодаре и Миргороде. Работал в киевских газетах «Громадська думка» и «Рада». С 1907 по 1917 г. служил в нотариальных конторах. В 1890 г. в Киеве вышел его первый поэтический сборник «З поезій В. Самийленка». Мастер юмористической поэзии, пародии и сатиры.



Во время гражданской войны эмигрировал, в 1924 г. вернулся в Киев, умер в Боярке.

Зручна парасолька

— Володимире Івановичу, — кажуть Самійленкові. — Ви могли б нарешті купити собі нову парасольку. Погляньте, яка ваша дірява.

— А коли в ній не буде дірок, як я знатиму, що дощ ущух?

(427, 41).

Знайомство по телеграфу

У 1892 році В. Самійленко працював у Київській центральній телеграфній конторі. З'язуючись із Харковом, він настановлювався на ще одного письменника-телеграфіста — Олександра Катренка. Ночами, коли не було роботи, обидва письменники вдавалися у телеграфні розмови і в такий спосіб заприятелювали.

(359, 274).

Г. С. СКОВОРОДА

Григорий Саввич Сковорода (1722—1794) — великий украинский философ и поэт. Учился в Киевской академии (1734—1741, 1744—1745, 1751—1753). Служил в придворной капелле в Петербурге и в императорской виннице в Венгрии, путешествовал по Австрии, Словакии, Польше и Италии. Преподавал в Переславском и Харьковском коллегиях.

Последние 25 лет жизни (с 1769 г.) странствовал по Украине, учительствовал, проповедовал свою доктрину христианской этики и морали. Время от времени посещал Киев, где жило немало его друзей, родичей и знакомых. Останавливался у своего двоюродного брата, лаврского монаха, начальника Печерской типографии Иустина Звиряки. В 1770 г., когда Иустин



был начальником Китаевской пустыни, философ прожил в этом живописном уголке Киева три месяца.

О пребывании Сковороды в Киеве сохранилось несколько преданий, записанных еще при жизни философа его учеником Ковалинским, а позже — историком Киевской академии В. Аскоченским.

Зовнішність Сковороди

За описами сучасників можна скласти такий образ Григорія Сковороди. Вдягався пристойно, але просто, їку вживав, за те-перішніми поняттями, вегетаріанську: зелень, плоди, молочні продукти, їв тільки раз на день — після заходу сонця. М'яса й риби не вживав, і то не через заборони, а через властивість свого організму, стів вділяв часу не більше чотирьох годин на добу, вставав удосвіта і, коли дозволяла погода, завжди ходив пішки за місто на чисте повітря і в сади. Був веселий, бадьорий, легкий, рухливий, стриманий, цнотливий, усім задоволений, скромний, говіркий, з усього выводив повчання, навідував хворих, утішав опечалених, розділяв останнє з бідними, вибирав і любив друзів за їхніми якостями, був учений без пихи, а при спілкуванні з людьми нікому не лестив.

Під старість його описують інакше: сухий, блідий, високий, губи жовкляві, начебто стерлися, очі блищать чи то гордістю академіка, чи простого жебрака, чи про-стодушністю дитини. Хо-да й осанка поважні, розмірені. В цей час слава про ньо-

го поширилась далеко, бандуристи підхоплювали його вірші й канти і співали їх на ярмарках та дорогах, називаючи їх псалмами. До Сковороди тяглися молоді, живі тодішні розуми й серця. Про нього писали в листах, обговорюючи, сперечаючись і розбираючи його думки, — хвалили й гудили. Він був ніби мандрівною академією та університетом у тодішній Слобідській Україні. Захоплювалися ним так сильно, що ще задовго до смерті називали українським Сократом чи Ломоносовим, від чого сам Сковорода відрікався, бажаючи залишатися самим собою.

Цікаво, що гучна слава про філософа поширювалась при тому, що за життя зі своїх творів не надрукував він нічого. Тільки через два роки після смерті поета й філософа вийшла книга, «Бібліотека духовная, содержащая дружеские беседы о познании самого себя», яку видав М. Антоновський, — твори Сковороди за його життя і довго після смерті читалися в рукописних копіях*.

(457, 168—169).

**Характеристику скомпоновано из материалов зарисовок «Украинская старина» Г. Данилевского и «Жизни Григория Сковороды» М. Ковалинского.*

Сковорода-музикант

Г. Сковорода, крім того, що був філософом та поетом, мав немалий композиторський хист. Ще перебуваючи в Петербурзі (у царській півній капелі), склав він голос духовного співу «Іже херувими», що живився по сільських церквах на Україні. Г. Квітка-Оснорянко свідчить, що голос цього духовного співу, під назвою «придворного» уміщено в службі, розісланий по всіх церквах України для однаковості в церковному співі. Сковорода склав і веселий та урочистий спів «Христос Воскресе», і канон «Воскресний день», що вживалися по всій Росії замість давнішого сумного ірмолійного співу — голос, який всюди звуть Сковородиним. Голос «Іже Херувими» і справді надруковано в службі 1804 року, голоси ж церковних співів могли ще приписуватися Сковороді й тому, що він співав їх, повернувшись із Петербурга, в Києві, а потім і в Харкові. За свідченням проф. Київської духовної академії В. Карпова, Г. Сковорода складав музику до своїх духовних кантів, що співалися по приватних зібраннях людей, котрі любили заповітну старовину* — професор сам чув їх у Києві.

(93, 380).

**Почти до середины XIX ст. в Киеве на Подоле существовали кружки религиозно настроенных людей, которые собирались в частных домах для духовных бесед, чтения «Житий», Святого писания и пения духовных кантов. Часто к ним присоединялись священники и монахи.*

Двійники

Улюблений учень Г. Сковороди М. Ковалинський, живучи у Швейцарії /у 1772 р./ в місті Лозанні, зустрів там Даниїла Майнгарда, людину високоосвічену, з даром слова, філософа. Він був настільки схожий рисами обличчя, поведінкою й думками до Г. Сковороди, що його можна бу-

ло б назвати найближчим родичем нашого філософа. Майнгард і Ковалинський заприятелювали, вчений запросив Ковалинського у свій чудовий загородній дім, де була величезна бібліотека, і дав змогу користуватись нею. Повернувшись на батьківщину і побачившись /у 1775 р./ із Сковородою, Ковалинський розповів йому про дивовижну зустріч. Сковорода заочно полюбив Майнгарда і відтоді почав підписуватися на листах і творах так: «Григорій вар (у перекладі з давньоєврейської — син) Сава Сковорода, Данііл Майнгард».

(457, 406).

Хіба мало вас, фарисеїв?

З 1759 року Г. Сковорода був уже вчителем поезії в Харківському колегіумі. Якось один із приближених благородського єпископа Миткевича Гервасій Якубович почав благати Сковороду (за дорученням єпископа) стати ченцем, обіцяючи довести його до стану вищого духовенства. Гервасій вихалав вигоди, честь, шану і щасливе життя, що їх мають церковні достойники.

— Хіба хочете, щоб я приблизив число фарисеїв? — спитав Сковорода, — Їжте жирно, пийте солодко, одягайтеся пригідно і ченцойте! Мене задовольняє життя убоге, я задоволений з малого; маю повстримність, позбавляю себе всього непотрібного, щоб здобути найпотрібніше, відкидаю всі забаганки, щоб зберегти себе чистим.

Звісно, від такої відповіді закрутило в носі високому достойнику, і Сковорода змушений був покинути викладання.

Подібна розмова відбулась у Сковороду і з ченцями Києво-Печерської лаври.

— Досить блукати по світі! — сказали йому ченці. — Пора шукати пристань. Нам відомі твої таланти, свята Лавра прийме тебе, як мати своє дитя, і ти будеш стовпом церкви і прикрасою обителі.

— Ах, преподобні! — відповів палко Сковорода. — Я стовпотворення примножувати собою не хочу, досить і вас, стовпів неотесаних!

(457, 170—171).

/Дар прозрения/

В 1770 году Сковорода, согласясь, с Сошальским поехали в Киев. Родственник его Иустин был начальником Китаевской пустыни, что подле Киева. Сковорода поселился у него в монастыре и три месяца провел тут с удовольствием. Но вдруг приметил в себе внутреннее движение духа непонятное, побуждающее его ехать из Киева: следуя ему, по своему обыкновению, просит он Иустина, чтоб отпустил его в Харьков*. Сей уговаривает его остаться. Григорий непреклонно настаит, чтоб отправит его. Иустин закликает его всею святынею не оставлять его. Сей, видя нерасположение Иустина к отпуску его, пошел в Киев к приятелям, чтоб отправили его в Украину. Те удерживают его, он отговаривается, что ему дух настоятельно велит удалиться из Киева. Между сим пошел он на Подол, Нижний город в Киеве. Пришед на гору, откуда сходят на Подол, вдруг остановясь, почувствовал он обонянием такой сильный запах мертвых трупов, что перенести не мог и тотчас возвратился домой.

Дух убедительнее погнал его из города, и он с неудовольствием отца Иустина, но с благоволением духа отправился в путь на другой же день.

Приехав через две недели в Ахтырку-город, остановился он в монастыре у приятеля своего архимандрита Венедикта. Прекрасное местоположение и приязнь добродушного монаха сего успокоили его. Тут вдруг получили известие, что в Киеве оказалась моровая язва, о которой в бытность его и не слышно было, и что город заперт уже. (178, 517—518).

* Очевидно, Сковорода просил Иустина выписать ему дорожную.

Киевское предание о Сковороде в записи В. Аскоченского

1.

Летом 1770 года Сковорода приехал с Сошальским в Киев и остановился у родственника их Иустина, настоятеля Китаевской пустыни.

Около трех месяцев прожил он здесь, поклоняясь святыне киевской и собирая вокруг себя толпы любопытных, которых он поучал свойственным ему образом.

Ученые смотрели на него неблагоклонно, считая юродивым, и встречали насмешками; в ответ на это Сковорода играл им на дудке.

(23, 137).

2.

Он гордился именем друга поселян, презирая кривые толки и насмешки педантов своего времени.

— Надо мною позоруются, — говорил он, — пускай позоруются. Обо мне бают, что я ношу свечу перед слепцами, а без очей не узреть светоча, — пускай бают. На меня глумятся, будто я звонарь для глухих, а глухому не до гулу, — пускай глумятся. Они знают свое, а я знаю мое, и делаю мое, как я знаю, и моя тяга мне успокоение.

(23, 136).

3.

Сам научившись мудрости из великой книги природы, Сковорода внушал строго держаться ее законов и не насиловать того, что должно само собою вырасти при надлежащем надзоре и уходе.

— Всякое дело, — учил он, — спеет само собою, и наука спеет сама собою. Клубок сам собою покатится с горы, прими только камень, который ему мешает катиться; не учи его этому, а только пособляй.

(23, 136).

4.

— Барская умость, / — говорил Сковорода /, — аки бы простой народ есть черный, видится мне смешная, как и умость так называемых философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери родят живых детищ? И как из утробы черного народа вылонились белые господа? Мудрствуют: простой народ спит. Пускай спит, и сном крепким, богатырским спит:

но всяк сон есть пробудный, и кто спит, тот не мертвечина, не трупище околевшее. Когда выспитися, то проснется; когда намечтается, то очнется и забодруствует. (23, 137).

5.

Однажды, — это было в августе /1770 г./, спускаясь со Старого Киева на Подол и дошедши до того места, где ныне Андреевская церковь, он вдруг поворотил назад, как будто по велению какой-то силы; отошедши от прежнего места на значительное расстояние, он опять пошел к нему и опять воротился. Желая однако ж победить в себе такую страшную нерешительность, Скворода пошел тверже тем спуском, но вдруг побежал назад, заткнув нос и с ужасом повторяя, что он слышит запах от трупов. Совершенно расстроенный, он пересказал это Сошальским, и тотчас начал собираться в дорогу, говоря, что в Киеве будет чума. Напрасно успокаивали его, что опасаться нечего, что о чуме и слуху нет. Скворода ничего не слушал и в тот же день ушел пешком из Киева прямо в Ахтырку. И действительно, 3 сентября открылась в Киеве опустошительная моровая язва. (23, 137—138).

6.

В 1764 г. Скворода с другом своим Ковалинским приезжал в Киев; многие из родственников и сотоварищей его, находившихся уже в числе братии лаврской, предлагали и ему вступить в монашество.

— Нет, — говорил Скворода, — не закрою я моего грешного сердца священному ризю*. — И поклонившись св. угодникам печерским, да приснопамятному месту своего образования **, возвратился в Харьков. (23, 134).

* У самого Ковалинского этот эпизод выглядит иначе. Скворода называет монахов лавры «столбами неотесанными», неслестно отзываясь о монастырской жизни и в заключение говорит: «Блажен, кто святость сердца, т. е. счастье свое, не сокрыл в ризу, но в волю Господню». У Аскоченского сказано нечто противоположное. Можно предположить, что он просто фальсифицировал известное место из сочинения Ковалинского. Но с другой стороны, в 1830-х годах в Лавре вновь возрождается аскетизм и подвижничество, она становится центром паломничества всего православного мира. В этой ситуации городское предание об отказе Сквороды от пострига в Лавре действительно могло быть переосмыслено в духе преклонения перед подвигами печерских угодников.

** Киевской академии.

ЛЕСЯ УКРАИНКА

Лариса Петровна Косзч-Квитка (лит. псевдоним Леся Украинка) (1871—1913) в детстве жила на Волыни, по месту службы своего отца П.А. Косача (1841—1909) — в Новгороде-Сиверском, Луцке и Ковеле. В 1875 г. семья Косачей купила в селе Колодяжном под Ковелем участок земли со строениями, где жила 15 лет. После 1895 г. переселилась в Киев. Первые впечатления Леся Украинки от Киева относятся к 1882—1883 и 1883—1884 гг., когда семья Косачей приезжала сюда на зиму, а летом вновь возвращались в Колодяжное. Они останавливались на Стрелецкой ул. в доме Григоровичей-Барских (теперь №15). Зимой 1893 г. Леся Украинка жила здесь вместе с сестрой Ольгой. Несколько ранее, в 1889 г., — с братом Михаилом на ул. Тарасовской, 14. Во время приезда поэтессы в Киев осенью 1896 г. ее избирают членом Литературно-артистического общества (ул. Рогнединская, 4), а год спустя председатель общества архитектор В. Николаев вручил ей золотой жетон лауреата за рассказ «Голосні струни». В последующие годы она читала здесь рефераты, посвященные современной итальянской литературе, украинским писателям Буковины и Гейне. Награда литературно-артистического общества оказалась единственной за всю ее литературную жизнь. Авторитетная критика не баловала ее вниманием, а тем более, — похвалами. Библиографическая справка о ней в «Энцикло-



педическом словаре Брокгауза и Эфрона» составлена проф. Сумцовым в каких-то извинительных (лучше сказать — недоброжелательных) тонах, а сам многоуважаемый автор поспешил скрыть свое имя под инициалами «Н.С-в». «Собственно Малороссия, — писал он, — в поэзии Л/еси Украинки/ представлена мало; нет ни украинской природы, ни украинского быта. С Малороссией /Лесю Украинку/ связывает, главным образом, язык». После закрытия Литературно-артистического общества Леся Украинка принимала участие в работе Украинского клуба (с 1912 г. — клуб «Родина»). После венчания с Климентом Квиткою 25 июля 1907 г. жила на ул. Ярославов Вал, 32.

Есть еще несколько киевских адресов Леся Украинки, однако исследователь литературного Киева Л. Хинкулов считал их по преимуществу адресами киевских квартир ее матери, писательницы Олены Пчилки: по ул. Сакаганского, 97 (здесь теперь музей Леся Украинки), 101 и 115, а также по ул. Ветрова, 21.

Про родину Олени Пчілки в той час творення анекдотів /про українців. — А.М./ переказувалося, що там за обідом давалося солодке лише тим дітям, хто напише віршика. В основі тієї дурної вигадки був правдивий факт, що родина Косачів дала українській літературі кілька імен, серед них — першопородну письменницю Лесю Українку, крім того — Михайла Обачного й Олесею Зірку, — всі троє — діти Олени Пчілки, так само в родині Старицького, крім самого Михайла Петровича, все більше вироблялася у значну літературну силу дочка його Людмила Михайлівна. Там дістав своє літературне хрещення і Іван Сердешний (Стешенко), зять Михайла Петровича.

(244, 196).

Незвичайне виховання

Виховання Лесі Українки й інших дітей Косачів було, як на тодішні часи, незвичайне. Навіть у дитячі роки не знала вона молитов, релігійного виховання... З ранішніх літ мати Лесі Українки, письменниці Олена Пчілка, прищеплювала дівчинці любов до рідної літератури та народної пісні. Література для читання подавалася не тільки українська, але й всесвітня. Коли ж мати помітила в дочки літературні здібності, зараз же була дівчинка обставлена відповідною поетичною літературою, та мати багато чого їй радила як поетеса. Двадцяти років Леся Українка писала вже такі вірші, що їх було надруковано (в журн. «Зоря» за 1884 рік, ч. 22, вірш «Конвалія»), а 13 років разом із братом Михайлом Леся видала переклад «Вечорниць» М. Гоголя українською мовою. Знання іноземних мов з дитинства дало можливість поетесі набути великої ерудиції. Живучи в Києві, дівчина входила в тісний осередок родин Косачів, Старицьких та Лисенків. Листувалася і з дядьком М. Драгомановим, від якого одержувала закордонну літературу.

(321, 154—155).

Бувало, коли збереться чималий гурт людей, він /відомий кооператор з Херсонщини Микола Васильович Левицький. — А.М./ і почне розмову про те, як широко розповсюджується в Києві українська мова, зокрема серед інтелігенції. А на питання, чи багато йому доводилося бачити таких людей, він незмінно говорив, показуючи на пальцях:

— О, вже дуже багато! Ось дивіться, — і, загинаючи на руках пальці, продовжував: — Лисенки — раз, Косачі — два, Старицькі — три... — Потім робив велику паузу, начебто пригадував забуті імена, а тоді продовжував перелічувати ті ж самі прізвища, тільки в іншому порядку: — Старицькі — раз, Косачі — два, Лисенки — три.

І так кілька разів. Але треба було бачити цю сцену, щоб відчутися всю суть цього жарту.

(240, 294).

Вона любила квіти і так запобігливо обережала життя кожної квітки.

— Не треба їх зривати... Нащо ця жорстока кара прекрасних лілій — для хви-

лишньої забави, для простої примхи людини? Хіба вони не чудові! Хіба вони не радують і не прикрашають землю, политу слюзою і кров'ю?

Так говорила вона до близьких і друзів. І в цьому боготворенні квітів було щось надзвичайне, натхненне. Це був її інтимний культ, про який знали і яким захоплювались в ній її близькі й друзі. І скільки дивовижних символів, скільки прекрасних поетичних образів спітала вона з ароматних квітів своєї рідної землі.
(428, 419).

Леся Українка була виключно здатна до мов і, як вона сама казала, абсолютно нездатна до математики і не мала до неї жодної охоти. Дала чотирьох арифметичних дій ніколи нічого не вчила з математики і не хотіла вчити, твердячи, що то понад її здатності і все одно нічого вона не вивчить.

Своєю здатністю до мов Леся вдалася в нашу матір, і взагалі це була в неї драгоманівська риса, може, єдина не косачівська. Восени 1882 року мати наша пише до своєї матері Є. І. Драгоманової: «Науки Леся проходить все, що и Миша; грекеский и латинский язык даже лучше понимает, чем Миша. Ото вже «письменная та друкована» буде».

(187, 885).

/Музичні марення/

Леся Українка дуже рано виявляла нестримний потяг до пісень та взагалі до музики. І мати її, Олена Пчілка, придбала рояль, на якому з п'ятилітнього віку й почала вчитися грати дівчинка /.../ Але люта хворість часто припиняла навчання. Застудивши ноги й руки взимку на Іордані — на Водохрещу, Леся захворіла на туберкульоз кісток, що прикував її до ліжка. Іноді місяцями лежала вона з загіпсованими руками й ногою, перебуваючи в ліжку без слова скарги на свою долю. І ось одного разу тітка її, Олександра Антонівна Косач, яка вчила дівчинку грі на фортеп'яно, помітила, що Леся, лежачи в постелі, досить упевнено вибиває вільною від гіпса ніжною такт.

— Що це ти робиш, Лесю? — запитала здивована тітка.

— Граю... на роялі, — тихо відповіла дівчинка. Очевидно, голова її була повна звуків, якими жила вона тоді.

(201, 58).

/Музичні паралелі до віршів/

Самий процес творчості Лесі Українки був міцно пов'язаний з пісню, з музикою. Дуже часто, пишучи вірші чи поеми, поетеса схоплювалася від столика до свого фортепіано, сідала за нього й починала імпровізацію — музичний супровід для своїх віршів, одночасно стиха виголошуючи їх і граючи на роялі.

(201, 59).

/Поезія у музичних термінах/

Взагалі Леся Українка часто мислила музичними образами. Та ж Марія Михайлівна Старицька* переказала мені кілька характерних виразів Лариси Петрівни: «Хмарки пливли і пливли крізь місяць, одна

за одною піччикато»**; «в саду стояла така співоча тишина, ніби грали піаніссімо*** в найніжнішому адажіо****». А в одному з листів з Італії вона писала: «Вчора тут вибухнула суто ватнерівська гроза, громи нароццувалися крецендо*****».
(201, 59).

*Известная в свое время актриса, дочь писателя М. Старицкого.

**Пиччикато — способ исполнения музыкального произведения щипком на струнном смычковом инструменте. — Прим. автора.

***Піаніссімо — очень тихое звучание. — Прим. автора.

****Адажіо — медленный музыкальный темп. — Прим. автора.

*****Крецендо — постепенное усиление звучания. — Прим. автора.

/Поєзія — хвороба/

З юних років Лесі Українці легко і невимушено давалося віршування. Хоч іноді, як сама поетеса писала до своїх рідних та близьких друзів, вона так глибоко й ретельно опрацьовувала свої твори, що в неї аж підвищувалася температура, і Леся Українка стомлювалася до того, що лежала нерухомо.

Особливо багато праді поклала Лариса Петрівна на свою найулюбленішу річ — «Лісову пісню». В одному з листів до своєї сестри Ольги вона писала, що, коли скінчила цей натхненний твір — що словесно-пісенну симфонію, у неї підвищилася температура до 38 з лишком градусів і вона зовсім знесилася...

(201, 60—61).

/За розповідей В. Короліва-Старого про Лесю Українку/

Юмористические миниатюры писателя Василия Королива-Старого (1879—1941) начали печататься накануне Второй мировой войны в краковских «Люстрованих вістях», но после протеста поэтессы О. Телиги, которая усмотрела в них «компрометацию» корифея украинской поэзии, публикация оборвалась, так сказать, на полуслове. Вторая часть необычных для своего времени воспоминаний увидела свет после смерти автора на страницах филаделфийского (США) журнала «Київ» (1959, №4), откуда мы и перепечатываем их. Писатель хорошо знал поэтессу и имел возможность наблюдать ее в обычной, будничной обстановке. Он пишет о ней без пафоса, акцентирует на чисто индивидуальных свойствах ее характера. В его время о великих людях («культовых фигурах») так не писали. Сегодня воспоминания В. Королива-Старого воспринимаются уже без чувства внутреннего сопротивления, как интересная попытка нарисовать образ великой поэтессы на фоне будничной жизни.

1.

Я познайомився з Лесею Українкою, мабуть, у 1907 або 1908 році, будвши секретарем щоденника «Рада», який був для неї чужий. Тоді ще Леся була молода, виглядала менш, як на 25 років і мала дуже гарний соколиний погляд світлих очей.

Здibuвався я з нею по деяких тодішніх київських товариствах, у родині Старидьких та й у неї дома, певніше в помешканні її матері, Олени Пчілка, на Маріїнсько-Благовіщенській вулиці. Де б я її не зустрів, був вражений тим, що всі довкола неї були балакучі й появи різних проєктів, а вона була мовчазна й задумана. Справді, начеб усьому, що запам'ятовало нас, вона була чужа.

Одного разу я шукав Григорія Шерстюка, що тоді виконував функції секретаря редакції «Рідного краю», видаваного Оленою Пчілкою, й завіт на Маріїнсько-Благовіщенську. В редакції застав редакторку, а за хвилину завітала туди й Леся. Відбулась така (приблизно) розмова:

— І нащо вам те, а те? — питала мене Олена Пчілка.

— Просив мене професор (тоді ще, може, — доцент) Перетц...

Пчілка знизала плечима і своїм дуже мелодійним, м'яким голосом промовила:

— І охота вам возитися з жидами!

— Та ж і ви, Ольго Петрівно, їх не бойкуєте, — пожартував я, натякуючи на її знаменитий прилюдний герць з Перетцом у Київському науковому товаристві. — Та й ось і Лариса Петрівна все пише про жидів. Чом же ви їй не дорікаєте?

— Але! — махнула рукою Пчілка, — Леся пише тільки про мертвих. Я теж проти жидів мертвих та ще й таких, що померли перед двома тисячами років, нічого не маю*.

Леся усміхнулась, але усміх був сумний:

— Мамо, та ж цим можна заморити й українців! — і вийшла з редакційної кімнати.

*Олена Пчілка очень не любила евреев, что в те времена считалось ужасно «дурным тоном», и многие сторонились ее. — Прим. автора.

2.

Дуже неймовірним способом на київській російській сцені була виставлена Лесина її еса «Блакитна троянда». Київська неукраїнська преса аж захопилась обуренням. Прошу вас: де ж авторка могла знайти в світі інтелігентних людей, які б говорили на «несуществующем малороссийском наречии»? «Чистая глупость»!

Не раз по тому, коли здибаєш Лесю й запитуєш її: що робить, над чим працює, — бувала відповідь:

— А! Пишу «чистую глупость на несуществующем наречии»...



Дом на ул. Стрелецкой, №15, где жила Леся Украинка.
Фото 1979 г.

3.

Товариство «Час», що тоді починало свою діяльність,* надумало видавати серію дрібних книжечок для широкого кола читачів. Мені було доручено попрохати в Лесі дозволу на її поему «Одне слово». Вона усміхнулася:

— Прошу, коли вона вам годиться. Але ж ви мене здивували: неже я щось написала «для широких мас»?

**Имеется в виду украинское издательство «Час», основанное в Киеве в 1908 г. Директором его был В. Королив-Старый.*

4.

Тому, що в своїй громадській праці доводилося мені здивуватись майже з усіма тодішніми видатними українцями, — спало мені на думку зібрати автографи тогочасних діячів. Я купив великий шматок гнідо-го сукна, дав його обшити синіми торочками, і на сьому обрусі на великий стіл, як хтось заходив до мене, просив розписатися олівцем. Потім автограф точно зашивали шовком. Та що не всі приходили до мене в хату, одного разу приніс я свій обрус на велелюдне засідання. Підписали ті й інші. Я підійшов до Лесі:

— Підпишіться, Ларисо Петрівно!

— З радістю, хоч, як і все, що я пишу, так і це нікому не буде потрібне, — сказала вона, беручись за олівець.

— Поміняйтесь, — запротестував я.

Лесь закружила головою й додала:

— А зрештою, повторю за Олексієм Толстим:

И кто меня слушал — привет мой тому.

И тем, кто не слушал, — мой также привет.

5.

Одного разу Київ дуже розхвилювався, коли один росіянин, професор політехніки, С. Іванов*, покликавши до суду як свідок, перед цілим світом заявив, що «Київ — город украинский». Українці «ликовали», — були в святковому захопленні, бо це була неабияка перемога! (Потім Іванова за ту фразу вибирали на посла до Державної думи голосами українців). Я здивав Лесю:

— Чули?.. От наші йдуть утору!

Вона махнула рукою:

— Самими словами... Та ще й сказаними чужинцем... Ні, так підемо додолу!

**Сергей Алексеевич Иванов (1856 — не раньше 1928) — ученый-ветеринар, профессор КПИ (1900—1910 гг.). В 1920-х годах преподавал в Сельскохозяйственном институте. Русский по происхождению, он был убежденным сторонником украинской культурной автономии. Депутат Государственной думы третьего созыва от Киева, где защищал интересы украинского населения города и украинской культуры. Его избрание в Думу вызвало в свое время много шума.*

6.

Було якось важливе засідання в Українському клубі, на Володимирській вул. Хатина, що виходила вікнами у двір, була удекорована по-українському, а на білій великій печі хтось (чи не О. Судомора), намалював поліхромне орнаментальне дерево.

Коли я ввійшов до хати, під тією піччю сиділа Леся Українка, тоді вже, мабуть, Леся Квітка. Сиділа самотня, а в різних кутках групами розмовляли інші члени зібрання, бо ж багато молодших не були з нею особисто знайомі.

Я висловив радість, що бачу її знову в Києві й жартома сказав:

— Ось прилетіли ви й до нас, але ж по нас видно, що ви не радуєтесь, нас бачучи.

— З чого ж видно?

— Бо ж сидите ви в нашому товаристві самотня під таким красно намальованим деревом «Гамаюн — птица вещая» (тоді був дуже популярний цей образ маляра Васнецова).

Леся смутно усміхнулась:

— Та ж ви знаєте, що я все сідаю відпочивати під фальшивими деревами.

— Може, коли під чужими, — відповів я, — але це ж наше.

— Все-таки — сама декорація, — відповіла Леся.

Того ж дня (була це моя остання зустріч з Лесею Українкою) за хвилину підійшов до нас адвокат Максим Синицький.

— Ларисо Петрівно, чогось ви така сьогодні задумана?

— Та така вже моя професія — думати про себе, — відповіла Леся.

(186, 24—26).

/Що п'яний, що хворий.../

Лариса Петрівна, незважаючи на свою хворість і взагалі фізичну слабкість, ніколи не боялася п'яних і вміла, як ніхто, розмовляти з ними. Колиш йшла вона з Марією Михайлівною /Старицькою/ в Києві по Велико-Підвальної вулиці поблизу Стрілецької, де жила тоді, і побачила перед собою п'яного, що весь час спотикався і падав. Леся Українка підзвала візника, наперед дала йому гроші та з допомогою Марії Михайлівни й перехожих посадила п'яного на дрожки. Але на запитання, куди його везти, п'яний тільки мурмотів щось невиразне, а нарешті заявив, що він «з-забув, де живе»...

— Ну, ясно ж, він живе на Дорогожицькій вулиці, — промовила Лариса Петрівна.

— Нічого подібного!.. — раптом заперечив п'яний. — І не на Дорогожицькій, а на тій, як її... на Дмитрівській.

— В двадцять п'ятому номері.

— І не в двадцять п'ятому, а... в сорок третьому!..

— Ну, от і везіть його туди, — сказала візникові Леся Українка.

(201, 62).

В 1887 чи 1888 році несподівано познайомився я з Лесею Українкою. Треба сказати, що ми однолітки: обом нам було тоді по 16 років. Один із старших моїх товаришів — студент Тучапський* — якось ка-

же мені, що у нього є гарні вірші Лесі Косач, дочки відомої нам письменниці Олени Пчілки. Леся, мовляв, децю вже друкувала, а ось її ще не надруковані переклади з Гейне. І в цих віршах я прочитав: «Чого так поблідли ті рожі ясні...»

Це моє перше враження від Лесі Українки. Гейне, світовий поет, думав я тоді, перекладається на українську мову — яка радість! /.../

Минає трошки часу. Лисенко дає концерт. Це за тодішніх часів була велика подія /.../ Концерт цей відбувався в приміщенні, де тепер київський театр російської драми. Нам, групі колегіатів**, дозволили піти на концерт***, і там я зустрівся з Тучапським, який дав мені Лесині вірші. Розповідаю йому, що ці вірші в колегії фрор зробили.

— Дай, — каже, — я поведу тебе до її матері. Напевне, їй буде любо це почути. Ми пішли за куліси. Він підвів мене до гарної літньої дами і каже:

— Олено Петрівно, Лесині вірші таке враження справили, що в колегії їх всі співають.

— Невже так усі справді захоплюються?

Я це підтвердив.

— Ну, а коли вам так той вірш сподобався, то ось вам і авторка, — познайомтесь. Дивлюсь, якась дівчинка: їй було тоді 16 років, але на вигляд можна було дати років 14. Як відомо, вона допіру приїхала з села Колодяжного.

Обидва ми дуже зніяковіли і тільки після нагадування Олені Петрівни подали одне одному руки...

(196, 688—689).



Олена Пчілка

*Тучапський П. А. (1869—1922) — український соціал-демократ.

** Ученики Коллегии Павла Галагана. Их называли также «галагановцями».

*** Гимназістам заборонялось посещать театры и любые представления без письменного разрешения администрации гимназии. Особо строго придерживались этого запрета тогда, когда речь шла об украинском театре. Коллегия Павла Галагана отличалась украинофильским духом и поэтому её ученики посещали украинские спектакли и концерты без особых затруднений.

Леся Українка багато років хворіла на туберкульоз. Мужньо, спокійно переносила вона тяжку хворобу. Ніколи не впадала у відчай. Якось поїхала вона в Берлін, де їй мали зробити операцію. Перед від'їздом сказала вона мені:

— Думок, задумів, тем дуже у мене багато. Якщо мене там на столі заріжуть,

то перед смертю я собі скажу так: «Прийшов Прокіп — кипів окріп. Пішов Прокіп — кипів окріп. Українська література і без мене перебудеться».
(196, 690—691).

Лесі треба було лікуватись на Кавказі, і ми поїхали туди разом. Вона дуже полюбила грузинів, говорила, що грузинська нація найближча до нас — українців. Лесьа говорила мені тоді, що буде колись федерація народів, у якій ми — українці — будемо особливо тісно зв'язані дружбою з грузинами. Ці слова особливо хвилюють тепер, коли так розквітла дружба між українським і грузинським народами.
(196, 691).

/Перш ніж писати/

Ми були близькими друзями протягом багатьох років, до останнього дня життя Лесі Українки. Вона довіряла мені свої твори раніше, ніж друкувати їх.

Я не наважуюсь назвати іншого письменника, який би з такою відповідальністю ставився до своєї праці, як Лесьа Українка.

Вона готувалася писати драми «У катакомбах» і «Адвокат Март'ян» і звернулася до мене з проською дати їй кілька наукових праць, де можна було б ознайомитись з християнським підпіллям, з розвитком влади митрополитів, коли їх переслідували. Я послав їй спеціальну дисертацію Пдулякова «Развитие власти митрополитов в первые три века христианства».

Лесьа Українка ґрунтовно вивчила цю велику дисертацію, а потім пише мені: «Це мені не задовольняє. Мені потрібні оригінальні документи». А вона знала класичні мови — латинську, грецьку. І писала, що саме їй треба дставати. Я послав їй величезну дисертацію Олара «Переслідування християн Римською імперією», написану французькою мовою, — товста книга. Поетеса місяців два читала її і знову пише, що не може «тільки розвідкою обмежитись». Вона замовила ще ряд книжок. Я їй цілу бібліотеку послав. Вона всі книжки уважно перечитала. Якби який-небудь приват-доцент стільки прочитав, скільки вона! А вона стільки працювала лише для того, щоб написати дві коротесенькі одноактні драми.
(196, 689).

Пригадую один випадок. Лесьа Українка надрукувала поему «Одне слово», яку я до того не читав. У цій поемі розповідалося про одного політичного засланця, якого вислали в Якутію. Він дуже нудився, і от якути його спитали, чому він нудиться. Він хоче відповісти — тому, що волі не має, але в якутській мові нібито нема цього слова «воля». І він помирає від того, що не міг цього висловити.

Коли я прочитав поему, то надрукував статтю під заголовком «Ложка дьогтю в бочці меду»*. Я писав, що поема така чудова, а побудована вона на неправді, бо в якутській мові для слова «воля» є навіть три синоніми, і навіть їх. Задум поетеси був хороший, ідея правильна, але якутська мова була вибрана невдало**.

Лесьа Українка цілком спокійно сприйняла мою критику і дуже шкодувала, що в її творі була така помилка. Звичайно, якути тоді були під жорстоким утиском ца-

ризму. Народ був майже на 100 процентів неписьменним, і поема «Одне слово» до нього дійти не могла. Але Леся Українка, яка вмěla дивитись вперед, у майбутнє, зрозуміла, що в художньому творі не може бути ні слова неправди: буде час, буде нагода — і неправда ця вийде назовні.

(196, 689—690).

**Комментаторы утверждают, будто до опубликования произведения поэта дважды обращалась к ученому, прося консультации по данному поводу, но он почему-то не отвечал на ее письма.*

***А. Крымский вроде допускает, что такой язык все же существует, и, вроде бы, есть такие народы, которым чужды общечеловеческие ценности. На самом же деле, от неволи страдают не только люди, но и животные. Впрочем, вряд ли стоит развивать допущенную ученым оговорку и доводить до логического завершения любую его описку.*

Письменник Г. А. Мачтет, який завжди захоплено ставився до творчості Лесі Українки, колись попросив її спробувати написати вірші російською мовою. Лариса Петрівна нічого не відповіла Мачтетові, але поки і сам письменник, і всі присутні захопилися якоюсь бесідою та, мабуть, зовсім уже забули про просьбу Мачтета, поетеса сиділа мовчки в кутку і щось непомітно писала. За словами Марії Михайлівни Старицької, яка була тоді серед присутніх, Леся раптом встала, підійшла до рояля, сіла за нього і, імпровізуючи до віршів музику на роялі, в жарт продекламувала по-російськи таке рондо:

*Когда цветет никоциана,
Все, все тогда полно обмана:
Опасна ночи тишина,
Как то затишье роковое,
Когда коварная волна
Хранит молчанье гробовое;
И если вы тогда вдвоем.
И перед вами светят очи,
Как отраженьё звездной ночи,
И голос милый вам звучит,
Как будто в тишине журчит
Струя забытого фонтана —
Бегите прочь от этих чар:
Они зажгут в душе пожар,
Когда цветет никоциана.*

Всі присутні захоплено зустріли цей експромт Лесі Українки. Разом з тим здивувалися вони, як легко і швидко вилилися в поетеси російською мовою це звучне рондо.

Взагалі Лариса Петрівна чудово володіла російською мовою і чимало написала нею статей для журналу «Жизнь».

(201, 60).

У міла вона також іноді осаджувати декого однією-двома фразами. Колись багата волинська поміщиця, графиня Колонно-Чосновська спитала її:

— Чому це ви, Ларисо Петрівно, вживаєте майже завжди мужицьку мову?

— А ось ви, графиня, — всміхнувшись, відповіла Леся Українка, — не боїтесь вживати мужицький хліб, і цей хліб не отрує вас.

(201, 62).

Іншого разу якийсь панок, що був дуже низенького зросту — навіть значно нижчого за Лесю Українку, сказав їй:

— Ви, значить, малороска?

— Так, пане, мені теж іноді так здається, що менша за вас зростом. Але, очевидно, ми обоє помиляємось, — пожартувала Лариса Петрівна.

(201, 62—63).

Пам'ятаю, одного разу після літературного диспуту якийсь панок-віршомаз почав доводити, що лише та поезія вічна, яка «витає над нами і не забруднює своєї одежі в болоті життя». Леся змірила новоспеченого захисника «мистецтва для мистецтва» з ніг до голови і тихо сказала:

— А ви, пане, замовте ходулі та й витайте собі на здоров'ячко над «болотом». Може, і не замочите своє вбраннячко.

Замовк панок, немов води в рота набрав.

(241, 288).

/Запізнілий тріумф/

Весною 1913 року, в останній перед своєю смертю приїзд до Києва, Лариса Петрівна завітала до клубу «Родина». Поява поетеси викликала справжній ентузіазм у всіх присутніх. Про її прихід до клубу якось швидко поширилися чутки у місті. І зразу ж з'явилося багато студентів та взагалі молоді. Я вже тоді закінчив університет і працював помічником присяжного повіреного, та чомусь не знав про цю велику подію в житті клубу «Родина» і не був тоді в ньому. Тільки від багатьох, хто там був, довідався, що перебування в клубі Лесі Українки видалося в справжнє віншування великої поетеси. Народу набилося стільки, що чимало людей стояло і в коридорі. Та й, казали, навіть дехто не міг протовпнитися і стояв у вестибюлі. Не знаю вже, чи того самого разу, чи колись іншого Леся Українка прочитала свої «Досвітні вогні», які сприймалися слухачами як передбачення неминучої революції...

(201, 188—189).

И. Я. ФРАНКО

Иван Яковлевич Франко (1856—1916) впервые посетил Киев в 1885 г. по приглашению своего киевского знакомого, преподавателя Коллегии Павла Галагана Елисея Киприановича Трегубова и остановился в его квартире, в доме при коллегии, где жили учителя (теперь — ул. Богдана Хмельницкого, 9). Поэт встречался тогда с Н. Лысенко, П. Житецким, М. Старицким, О. Пчилкою и др. В доме Трегубовых он познакомился со своей будущей женою — сестрой хозяйки дома — Ольгой Хоружинской, учившейся на Высших женских курсах. В апреле следующего года Франко вновь посетил Киев, остановился на квартире выходца из Галичины, арендатора Заведения искусственных минеральных вод В. Качали (теперь — Владимирский спуск, 4) и сделал Хоружинской официальное предложение. Венчались они в домовых церкви Коллегии Павла Галагана (теперь — ул. Богдана Хмельницкого, 11) 4(16) мая 1886 г. За свадебным столом в доме Трегубовых много говорилось о политике, о единении Галичины с Ве-



ликой Украиной в лице Франко и Хоружинской. Под вечер новобрачные отбыли во Львов, а на следующий день в Киеве началось следствие по поводу крамольных речей во время банкета. Как политическую акцию расценила свадьбу Франко и австрийская охранка. Дальнейшие поездки в Киев пришлось отложить на неопределенное время, и лишь в 1909 г. одолеваемый неизлечимыми недугами Франко сумел пересечь границу полуполюгально. Он прибыл сюда на похороны своего старого друга П. Косача (отца Леси Украинки). Об этом визите сохранилось несколько воспоминаний киевлян.

Любовь до книги

Сучасники одностайно твердили, що Франко ніколи не розлучався з книгами. У зв'язку з цим нагадували про один характерний щодо цього випадок. У травні місяці 1886 року він приїхав до Києва, де думав одружитися з Ольгою Хоружинською*. Настав цей важливий для нього день. Прибули друзі, родичі, молода одягнута у весільне вбрання. Вітання мало відбутися в церкві при Колегії Павла Галагана. Все було готове. Не з'явився лише мо-

лодій. Пішли його шукати. Знайшли в кабінеті господаря за переписуванням якогось цікавого старого вірша. Він не звернув спочатку уваги на прибулих.

Тоді йому нагадали, що пора й про урочистий час згадати. Франко навіть забув підготуватися до одруження, тільки тепер одяг фрак і пішов до церкви.
(427, 257—258).

**Ольга Хоружинская — дворянка Харьковской губернии. Родилась в 1865 г., закончила киевский Институт благородных девиц. Потом училась на Киевских высших женских курсах. Жила в квартире мужа ее сестры Е. Трегубова, преподавателя Коллегии Павла Галагана. В конце 1885 г. Ольга Хоружинская с сестрой ездил в гости к И. Франко во Львов.*

У квітні 1886 р. /, — розповідає сестра О. Хоружинської, — / Франко приїхав до Києва брати шлюб. У сестри були свої ідеали щодо цієї церемонії, які вона викохала ще на шкільній лаві: вінчатися у білій сукні з фатою, вінчатися саме в квітні, а не в травні, щоб чоловік і гості були в фраках. Єлисей Крип'якевич був дуже проти останнього, бо ні в молодого, ні в бояр фраків не було, прийшлося їх брати «напрокат»; але він не хотів перечити сестрі, що їхала назавжди в чужу сторону, й робив так, як вона хотіла.

Як не клопоталися, як не сикувалися, а йти до вінця вийшло якраз першого травня, бо дуже важко було дістати з Відня необхідні документи /.../

Боярами були з боку Ольги: Ігнатій Павлович Житецький та Крачковський, а з боку Франка — С. Киричинський та В. В. Ігнатович.

Після церкви у нас був обід для молодих та для громадян-українців, як звичайно, їли, пили, говорили промови, лейтмотивом промов було єднання Галичини з Україною в образі Франка і сестри.

Як зараз бачу перед очима показну постать Житецького Павла Ігнатовича, його дуже красиве, виразне обличчя, очі, що разом сміються й проймають, шклянка вина в руці — і наче чую проникливий його голос і його пропонування випити за міцне єднання галичанина з українкою, як за певною мірою політичний брак.

Після промови Житецького хтось гукнув: «Горько!» Молодий не знав, що воно означає, поки якийсь чоловік не дав йому пояснення, поцілувавши мене; Ольга відповіла молодому поцілунком, а потім гірко заридала.

(403, 267).

Я побачив Івана Яковича в Києві вперше вже тільки після революції 1905 року, аж у 1909 році, саме тоді, коли Франко приїхав на похорон свого друга Петра Антоновича Косача*. Зустрів я Івана Яковича зовсім випадково в невеликому книжковому магазині «Киевской старины», що містився праворуч по теперішній вул. Комінтерну (тодішній Безаківський), на самому розі бульвару Тараса Шевченка**. Завідувачем цієї крамниці та разом, здається, єдиним продавцем був Аркадій Степаненко, який являв собою досить колоритну фігуру. Ходив він завжди в українському синьому жупані і в такого ж кольору широких штаних та вишиваний сорочці з великою червоною стрічкою, носив довгі козацькі вуса і палітку на вулиці солом'яного бриля. До молодих письменників-по-

чатківців, взагалі до молоді ставився він досить звисока, а до відомих письменників дуже шанобливо і поводився з ними навіть надзвичайно улесливо.

І от саме того разу я побачив, як Степаненко впадав перед якимось невідомим покупцем, що стояв спиною до мене разом з одним знайомим мені студентом Київського університету. Покупець одібрав кілька книжок, але платив за них не сам він, а студент, який, на мій великий подив, виїняв з кишені в пальті незнайомої людини гаманець та, розплатившись за книжки, поклав його знову туди ж. Потім студент взяв в одну руку книжки, а другою під руку покупця і разом з ним поволі вийшов з крамниці. Степаненко, низько кланяючись, провів їх аж на вулицю. Я, дуже зацікавлений тим, що побачив, запитав його:

— Хто це був, Аркадію Степановичу?

— Як — хто?.. — знизав він плечима і навіть розвів руками, очевидно, вражений, що я поставив йому таке запитання. — Та це ж... це Франко. Іван Якович, он хто!

Мене мов струснуло всього. Великий Каменяр — Франко! А я навіть і не розглянув його добре! Меридій вибіг з книгарні та й побачив, що Франко, спіраючись на руку свого супутника-студента, поволі йшов угору погід дерев'яним і ветхим тодішнім парканом ботанічного університетського саду. Я наддав ходу і незабаром наздогнав супутників та, перегнавши їх, оглянувся назад. Мабуть, я зробив це раптово, бо Іван Якович здивовано стилився і трохи навіть підозріло глянув на мене. Зрозумівши, що вчинив певну нетактовність, я пішов уперед, а проти Пироговської вулиці перейшов навмисно на другий бік бульвару. /.../ На Франкові було тоді зовсім скромне пальто, а сам він здавався мені не зовсім здоровою людиною, з жовтими обличчям і нетвердою походою. Принаймні студент міцно-міцно підтримував його весь час під руку.

(201, 85—87).

**Отец Леси Украинки.*

***Український книжний магазин знаходився не на углі бульвару, а несколько ниже по Бежаковской ул. (Теперешній адрес: ул. Коминтерна, 8)*

Несподівано приїхав до Києва славнозвісний Іван Франко і оселився у мене.

Сумно дивитись, як такий великий і глибокий розум помутнівся. Про все він говорить як здорова людина, а коли заїде мова про його паралізовані руки, то тут і виявляється його божевілья: він запевняє зовсім серйозно, що то Драгоманов покрутив йому руки і що тепер їх крутить. Він відганяє дух Драгоманова тільки тим, що раз у раз мочить руки в креозоті. Весь будинок засмердів креозотом так, що й витримати тяжко.

Прожив у нас Франко днів з десятих і наморочив усіх немало, бо руками він не може нічого робити — його треба роздягати, одягати, вимивати й годувати. Дивно, як він сам зі Львова суди приїхав. Тут він багато ходив сам по знайомих та на Поділ, де купував собі багато раритетних книжок. Гроші він держить у кишені піджака і, коли треба платити, то він каже продавцеві лізти до себе в кишеню і брати грошей, скільки йому слід, а решту класти назад.

Певне, таким чином у нього багато забирають зайвих грошей, хоч він запевняє, що ніхто не зловживає.

Додому не хотів їхати, поки син не приїхав і не забрав його.

(452, 76).

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Тарас Григорьевич Шевченко (1814—1861) — классик украинской литературы. Его жизнь в Киеве и киевские реминисценции в его творчестве неоднократно становились предметом пристального внимания исследователей. Не решаясь повторять всем известные факты и положения, добавим только, что киевляне знали Шевченко не только как гениального поэта, открывшего им душу Украины так, как не смог сделать этого до него ни один из его предшественников, но и как большого юмориста, одного из лучших городских рассказчиков анекдотов. В 1840-е годы в Киеве существовала маленькая компания избранных остряков, в которую входили представители различных слоев местного населения. Кроме художника археографической комиссии Т. Шевченко, среди этого веселого кружка можно было видеть молодого жандармского офицера, прапорщика В.П. Андриевича, бывшего адъюнкта духовной академии, гувернера при племяннике генерал-губернатора — В. Аскоченского, архивариуса Киевской консистории Д.К. Поставского, модного в то время писателя А. Афанасьева-Чужбинского, известного балагура священника Юхима Ботвиновского («отца Юхима») и др. Киевский анекдот считался в то время эталоном остроумия для всей Российской империи (в недавнем прошлом такую же роль среди ост-



ряков играло так называемое «армянское радио»). Петербургские газеты и журналы, заводя в 1840-х гг. на своих страницах модную тогда рубрику «Анекдоты», начинали публикации непременно с «киевских анекдотов», хотя чаще всего ничего собственного киевского в них не было.

Киевские анекдоты сыграли заметную роль и в творчестве Т. Шевченко. В первую очередь это следует сказать о его прозаических произведениях, которые по обилию используемых в них юмористических миниатюр условно можно было бы назвать «анекдотичными». Его современники хорошо понимали, откуда черпает образы и темы Шевченко-рассказчик и отвечали смехом на все его шутки и прибаутки. Со временем многие городские анекдоты и веселые истории забылись, и читатели повестей Шевченко стали воспринимать описываемые в них комические сцены не в условно-анекдотическом ключе, а как реалистические зарисовки с натуры. Такое «разночтение» искажает пред-

ставление об уровне художественной условности повестей Шевченко. Мы привыкли к очень серьезному Шевченко, Шевченко-бунтарю, социальному мыслителю, и при этом совершенно забыли о Шевченко-юмористе, веселом рассказчике, об одном из

«корифеев» школы киевского анекдота 1840-х годов.

Шевченко-рассказчик и «анекдотчик» запечатлен на страницах мемуаров В. Аскоченского, Ф. Лебединцева, А. Афанасьева-Чужбинского и М. Чалого.

Среди этих занятий /рисования памятников киевской старины. — А.М./, по словам Чужбинского, не раз приходило желание написать большую картину /панораму Киева. — А.М./ И мысль, и идея шевелились у него, и план неясно мелькал в воображении, но он сознавал сам, что родился больше поэтом, чем живописцем: во время обдумывания картины, по его словам, «хто його знає відкіля несеться пісня, складаються вірші, дивалось — уже й забув, про що думав, а мерщій напишеш те, що навиялось»*.
(230, 238).

*М.К. Чалый. Жизнь и произведения Т. Г. Шевченко. — Прим. автора.

У меня в Киеве жили родные — небогатые люди, но считавшие за удовольствие принять гостя чем Бог послал. У тетушки в особенности подавали превосходный постный обед, которого действительно не найти у самого дорого ресторатора.

По старосветскому обычаю, старики соблюдали все посты, и я в одну из сред ия пятниц познакомил с ними Шевченко.

Нас, разумеется, не отпустили без обеда. Вся обстановка уже показала Тарасу Григорьевичу, что нас не ожидали никакие церемонии. Старик дядя, коренной полтавец, помнил все малейшие обычаи родимого гостеприимства, и, произнося известную фразу: «По сій мові, будьмо здорові!», — выпил прежде сам рюмку настоек, а потом предложил гостю. Это очень понравилось последнему, и он, принимаясь за рюмку, проговорил свою обычную поговорку:

— Як то ті п'яниці п'ють оцю погань, нехай уж ми, люди привичні!
(24, 93—94).

Гроші для бідних

До молодого Шевченка завітав у гості один з його київських знайомих. Побачив на столі багато розкиданих грошей, здебільшого мідяків, менше срібних і навіть одну золоту монету в п'ять карбованців. У цей час підійшов до вікна старець з поводатарем. Гість узняв з столу якийсь мідяк, щоб подати.

— Стійте, — сказав Тарас, — що це ви йому даєте?

І подав старцеві золоту монету.

— Спасибі вам, пане, — сказав той, — але я її не візьму, нехай їй всячина! У старців таких грошей не буває. Візьміть її собі, а мені дайте шматок хліба чи що.

Тарас дав йому полтинник... Потім звернувся до гостя:

— О, бачите! Що то значить — бідака. І грошей боїться великих, бо то тільки панам можна мати їх.
(427, 160—161).

Днів через кілька забрів я на узвишші Михайлівської гори, позаду монастиря, звідкіля відкривався дивовижний краєвид /.../ Над крутим урвищем гори побачив я Шевченка; він сидів на землі /.../

— Сідайте, паничу, — сказав він, посуваючись і підбираючи під себе поли свого пальто.

/.../ Я дістав сигару і запалив.

— Ой паничу, москаль надійде, буде вам!*

Я засміявся. І довго ми сиділи потім мовчки.

(21, 115).

**До середини ХІХ ст. курити на улицах заперещалось во всех странах Европы. Послабления начались только после революции 1848 г.*

Перша зустріч Куліша з Шевченком була характерна. Входить хтось до Куліша в полотняному пальті:

— Здорові були!.. А вгадайте — хто?

— Хто ж, як не Шевченко?! (А ніколи не бачив його і намальованого).

— Він і є!.. Чи нема в вас чарки горілки? І т. д.

Тут уже й пішло справдешнє січове балакання, а далі й співи /.../ Почали потім їздити навкруги Києва, рисувати, рибу з Дніпра варити. Тільки Куліш не зовсім уподобав Шевченка за його цинізм; зносив його норови ради його таланту. А Шевченкові знов не здалась до смаку та аристократичність Куліша.

(207, 119).

/Опасение косых/

Через несколько дней после этого Шевченко возвращался в Киев со своей поездки в Черниговскую губернию, и, едва вступил на паром, ходивший под Киевом по Днепру во время разлива от одного берега до другого, вдруг неожиданно задержал его полицейский чиновник. Тарас Григорьевич впоследствии в виде шутки говорил, что с детства, сам не зная отчего, не любил косых и не выносил спокойно встречи с ними, — и вот, как бы в оправдание такого предчувствия, арестовавший его полицейский чиновник был кос.

(190, 158).

Одне здавалось мені неточним у дядькових розповідях: старий настійно твердив, нібито Шевченка заарештували в с. Бігачі під час однієї з бесід поета з дворовими: у багатолюдну кімнату ввійшли жандарми й спитали:

— Хто тут Шевченко?

Той глянув на них, пробурмотів:

— Еге, розумію! — і спокійно вийшов з кімнати.

(99, 172).

/Поспішаючи на весілля/

Коли Шевченка заарештували, на ньому був фрак, сам він був чисто виголений, наче збирався до когось з візитом. Губернатор Фундуклей, який був добре знайомий з Шевченком, адивувався, побачивши, що той при такому параді:

— Чого це ви, Тарасе Григоровичу, так прибралися? — спитав він.

— Та бачите, — відповів Шевченко, — я поспішав до Костомарова на вінчання. Він запросив мене боярином, так я ото, заки у Броварах мені перепрягали коней, поголився і причепурився, щоб з воза прямо до молодого.

— Еге! — відповів Фундуклей. — Коли так, дак куди судженьї, туди й боярина. (182, 195).

Шевченко всю дорогу /до III відділення в Петербурзі / був веселим, безпечним; жартував, сміявся, співав і поводився взагалі так, що на одній станції смотритель, записуючи в книжку «подорожнюю», мовив, що йому не можна й вгадати, хто з них арештований, і хто кого везе: чи Шевченко Гришкова*, чи навпаки. (181, 12).

*Гришков — кварталный надзиратель, который вёз арестованного поэта в Петербург.

/Шевченко, генералы и прочие паны/

1.

Уроженець Київської губернії Шевченко належав до родини кріпостних крістьян поміщика Э. В то время поміщики отправляли кріпостних мальчиків в Петербург для изучений какого-нибудь ремесла. На долю Шевченко випало малярное искусство; мальчик вскоре оказал такие успехи, что его определили в Академию Художеств, и живопись сделалась его постоянным занятием. Он рисовал портреты. Какой-то генерал заказал ему свой портрет за сто рублей ассигнациями. Портрет, нарисованный Шевченко не понравился заказчику; генерал предлагал, впрочем, взять портрет за половину цены. Шевченко обиделся и не согласился. Заменяв мундир и эполеты белой рубашкой, он сделал из портрета вывеску цирюльника. Генерал, проезжая однажды мимо цирюльни, увидел себя на вывеске и пришел в сильное негодование. Помещик Э. случился в то время в Петербурге; генерал просил его продать ему Шевченко, предлагал две тысячи рублей. Э. согласился. Шевченко писал уже стихи и был несколько известен Жуковскому. Видя неминуемую беду, Шевченко обратился к знаменитому поэту. Жуковский доложил императору о горькой участи Шевченко. Э-ду заплатили требуемый выкуп, и по милости государыни Шевченко был освобожден от кріпостной зависимости.

(364, 173).

2.

Про обставини звільнення його з кріпацтва також я не чув. Одного разу я спитав у нього, чи є правда в анекдоті, який розповідають про нього, що начебто один вельможний пан найняв його намалювати свій портрет, і коли після того намальований портрет йому не сподобався, Шевченко замінив на портреті костюм і продав його цирюльнику на вивіску; пан, дізнавшись про це, звернувся до власника Шевченка, який перебував на той час у Петербурзі, і купив Шевченка за великі гроші.

Шевченко заявив мені, що нічого подібного не було і що це старий, заявлений анекдот, давно вже поширений серед публіки і кимсь пристосований цілком довільно до нього, Шевченка.

(188, 145).

3.

У ресторані

Одного разу Т. Г. Шевченко, перебуваючи в Києві, зайшов пообідати у великий ресторан, де обідали тільки пани. Він замовив собі обід і скоро дождався його.

В ресторан зайшов старий вусатий генерал. Він сів поруч Шевченка і замовив собі і своєму собаці обід аж на сто карбованців. Йому зараз же подали обід на стіл.

До стола, де сидів Шевченко, підійшов старець і попросив милостини. Шевченко дав йому грошей. Старець підійшов до генерала і попросив:

— Подайте милостини божому каліці, що постраждав на війні.

Генерал як закричить:

— Вон, мерзавець, от меня!

І він так страшно закричав, що, здавалося, і мертвий схопився б з труни і втік би.

А Шевченко на це подивився і вирішив написати про це вірш. Витягнув папір, олівець і пише. А генеральський собака з'їв свій обід, вліз на вільний стілець біля Шевченка і дивиться на нього. А він підвів голову, погладив собаку по голові і каже:

— Дивися, учися! Як научишся, то будеш письменником, а не доучишся — генералом будеш.

(410, 45—46).

4.

З часу тодішнього перебування Шевченка у Києві /в 1859 р./ Бартенев розповів Маслову такий випадок.

Один старий генерал бажав пошанувати нашого поета бучним обідом і запросив на той обід гостей з великих панів. Довго ждали Шевченка на обід, а його нема. Генерал, нарешті, послав свого лакея довідатися: чи буде Шевченко. Слуга, вернувшись, розповів, що Шевченко давно вже в пекарні /на кухні/ і розмовляє з фірманами /візниками/ тих гостей, що поприїздили на обід.

/.../ Про цей обід чув і я у Києві. Казано мені, що той генерал був — Селецький.* Селецький з Шевченком був дійсно знайомий, бо стрівав його у Вільховської у Москві. Поет не любив його і зневажав, а проте я певний, що раз би Тарас згодився прийти до

нього на обід, то такого вчинку не заподівав би. Ще більш я певен, що від Селецького Шевченко не згодився б прийняти обід. Бачився він у Києві з старими знайомими професорами університету Селіном та Іванішевим. Не відомо, як вони поводитися з поетом. Мабуть, добре, бо в листі до Тарновського 28 вересня 1859 р. він переказує їм поклін і просить поцілувати їх**.

(183, 32).



Дом на Приорке (ул. Вышгородская, 5), где останавливался Т. Шевченко летом 1859 г.

*С автором трудно согласиться: хотя в 1859 г. П. Д. Селецкий (1821—1880) уже был киевским вице-губернатором и, очевидно, имел звание гражданского генерала, на роль «старого генерала» он все же не годился, т. к. ему было тогда всего 38 лет.

**Селин и Иванюшин более подходили к роли «старого генерала», но, кажется, прав был все же В. Беренштам, который писал, что эта история связана с домом М. Юзефовича. Правда, он считает, что описываемый здесь случай имел место не в 1859 г., а перед арестом поэта.

5.

Покійний В. М. Юзефович у 1863 р. розповідав мені, що Тарас Григорович був у великій дружбі з Василем, слугою його батька М. В. Юзефовича. В роки, що передували засланню 1847 року, Шевченко разом з Костомаровим і Кулішем був бажаним гостем у салоні М. В. Юзефовича і в його кабінеті помічника попечителя Київського учбового округу. Часто буваючи тут на запрошення, Шевченко познайомився і подружився з Василем, і от він почав відвідувати останнього, проводив з ним у передпокої цілі години, немало шокуючи цим «панів». Іноді, йдучи на запрошення до останніх, він у передпокої вступав у розмову з Василем, бесіда затягувалась, і Шевченко надто пізно з'являвся до віталії.

Про це знайомство Шевченко не забув і під час тривалої мимовільної відсутності: після повернення із заслання, він, будучи в Києві, не зробив жодного візиту Юзефовичу, але з Василем відновив знайомство, відвідав його і запросив до себе. (34, 112).

6.

Осел

Живя в Києве, Тарас Григорьевич рисовал картины. Он был известный художник. Как-то зашел важный пан. Просит,

чтобы нарисовал его. Разговаривая с ним, Тарас Григорьевич тут же набросал карандашом портрет того пана. Стал пан спрашивать Тараса Григорьевича:

— Сколько это будет стоить, если нарисуете мой портрет?

Тарас Григорьевич запросил за него 150 рублей.

А пан говорит:

— Что это вы так дорого хотите?

— Дорого? Тогда это вам будет стоить 300 рублей.

Пан рассердился и ушел.

А Тарас Григорьевич взял портрет, который он набросал карандашом с того пана, приставил к нему ослиные уши. Понес в магазин и сказал продавцу:

— Поставь этот портрет в витрине. Кто купит, пусть заплатит 500 рублей.

Вот идет раз пан улицей, глядит: в витрине — портрет, точь-в-точь его лицо, только уши ослиные.

Он — к продавцу. А там уже один человек спрашивает:

— Сколько стоит осел, который в витрине?

— Пятьсот рублей, — отвечает продавец.

Пан подошел и говорит:

— Этот портрет я возьму.

Вынул 500 рублей и заплатил. А первый покупатель стоит рядом и говорит:

— Хороший осел, да не мне попался.

(Записано от колхозника Петра Ивановича Шевченко, 61 года, внука Т.Г. Шевченко.)

(372, 37).

7.

Шевченко над Дніпром (З народних переказів)

Сидів якось Шевченко над самісіньким Дніпром та й думав глибоку думу, як ось, гуляючи, йдуть пан з панєю тут, понад Дніпром. Підійшов пан ото до Шевченка, подивився на нього поверх окулярів та й каже:

— А що б я думав одинокий? Живи та хліб їж, ніякісіньких тобі клопотів, не те, що в мене. За тим багатством і вгору ніколи глянути. Подивись, у тебе голова посивіла та й лиса стала. Ось я скільки маю кріпаків, за всіх думаю, а голова чорна і кучерява. Я не нутужуюсь думати про когось.

Шевченко йому на це одрізав:

— Отож, правду говорять, що дурні голови не лисіють, не сивіють. А що вам, пане, ніколи вгору глянути, то це правда — свиня теж угору не дивиться.

(427, 151—152).

8.

/Сказано, пани.../

Ніколи не забуду, як одного разу, сидючи у досить великому колі за чаєм, він підійшов до мене і спитав пошепки:

— Авже ото ром?

- Ром.
- Дивись же, ні один сучий син не всипа.
- Так.
- Знаєш же, і я не питиму.
- Чом же і не підлити трішки.
- У цей час хазайка підсунула до нього карафку.
- Тарасе Григоровичу, чи не бажаєте з ромом?
- Тарас глянув на мене.
- Дякувать! Душно, — сказав він.

/.../ Коли ми вийшли на вулицю, ніч була місячна і вітер ледь-ледь ворухив верхівки сріблястих тополь, яких так багато в окремих місцях Києва. Шевченко запропонував пройтися дальньою дорогою, тобто через Липки до саду, і мимо костьолу піднятися в Старий Київ.

— На чортова батька вони ставлять отой ром, коли і губ ніхто не умочить, — мовив Шевченко і засміявся. — Сказано, пани — у них усе напоказ тільки.

(24/А, 101).

/Кумедний донощик/

Коли Шевченко зі своїми товаришами оглядав землю Парчевського, — сказано у Чалого, — до них підійшов якийсь поляк, убраний у фрак, рукавички, лакові ботики із рушвицею за плечами. Шевченко спитав, звідкіль він і чого йому треба? Той по-польськи мовив: «Na polowanie». Шевченко став кепкувати з його убрання і голосно мовив: «Дивись, яка кумедна фігура!» Поляк образився і нагадав, що сам служив становим. «Еге! так ви ще й алтинчик!» — мовив, регочучи, Шевченко. Пан той обурився, вернувся в Межиріччя і подав донос жандарму, але жандарм на той донос не звернув уваги. Тоді той поляк послав донос в Черкаси, до ісправника Табачникова, а сей, ворогуючи з жандармом, щоб напакостити йому, а самому вислужитись, звелів пристапу Добрянському арештувати Шевченка.

(183, 22).

Після цієї зустрічі з Чалим Шевченко на другий день увечері завітав і до нього. В розмові критикував Некрасова, занадто вславляв «Оповідання» Марка Вовчка і, рівняючи Марковичку до Жорж Занда, каже, що остання не годиться першій і в куховарки.

(183, 31).

/Мрія поета жити дикуном/

Після цієї зустрічі з Чалим Шевченко на другий день завітав увечері і до нього /.../ Потім Тарас, Чалий і Сошенко пішли любоватися Дніпром вночі. «Під впливом чарівної картини Дніпра у Шевченка зараз зникла веселість, він замовк і став сумним. Що було тоді у нього на душі, — каже д. Чалий, — те лишилося про нас загадкою. На щастя, такий настрій стояв не довго. Сошенко своїми споминками про давнє життя в Петербурзі, споминками, повними чистого гумору, потроху розвеселив Шевченка і він на сей раз якось ніби покинув свою замкненість і розповів один випадок під час плавання по Аральському

морю. На морі тому є острови рухливі, що повстали з перегиблих рослин, вони перепливають з одного місця на друге. Раз якось плив Тарас на невеликому човні з п'ятьма матросами. Пристали вони до такого острова і виїшли на берег погуляти. Тарас ліг собі самотньо на траві і віддався спогляданню неба. Матроси забули про нього і поглинали, та, вже відпливши, огляділися, що його нема. Вернулися на острів, гукають його, «а я собі лежу та мовчу, бо думка, бачте, була в мене така, щоб зовсім там зостатися, але бісові матроси таки знайшли мене».

(183, 31).

/Шевченко лякає попа/

З свого життя, ще до заслання, /Шевченко/ розповів тоді /у Києві 1859 р./ два цікавих випадки. «Був, каже, я в гостях у пристава. Під Великдень пішли ми з ним на службу. Постоявши в церкві, я виїшов, доки прийде піп, і ліг собі під кущем горішнику біля рівчака, повного води. Через рівчак була кладка. Люде йдуть до церкви, несуть паски, весело гомонять, а я лежу собі. Аж дивлюся, йде і сам пан-отець. Я дав йому зійти на середину кладки, а тоді: «Тю!» Він шубовсь в воду, а я драла, та й в церков, стою і нічґирик».

(183, 32).

Т-ський розповідав, що, будучи в 1859 г. летом в Києве, Шевченко остановився у Сенчилах на Подоле. Приходить студент и застає Шевченко, пожирающего редьку; студент стремится облобызать Тараса; Шевченко, усмехаясь, отклоняется:

— Бачите, ділом занят.

(33, 70).

/Шевченко та князь Васильчиков/

Нарешті 24 липня /1859 р./ прийшов з Києва наказ: перевезти туди Шевченка, того ж дня під вартою софського повеали його на пароході в Київ.

Генерал-губернатором у Києві був тоді князь Васильчиков, чоловік не лютий. Він звелів своєму урядникові Андрієвському взяти Шевченка на опит. Шевченко розповів все /.../ Чалий чув від Андрієвського, що коли Васильчиков покликав до себе Шевченка, щоб особисто розпитати його про пригоду з ним, так Тарас так перелякався, що, виправдуючись перед князем, плакав.

Це було б нічого чудного, коли б Тарас справді до сліз перелякався. Знав він добре з тяжкого досвіду, який в нас Habenae corpus!*. Не трудно йому було злякатися, згадавши тільки пережиті ним 10 літ в неволі. Але ж ми відаємо, що навіть в лабетах Дубельта і Орлова, а потім Обручова і Потапова він не лякався.

Певніш буде сказати, що сльози його перед Васильчиковим стають нам певним свідком не ляку, а того, для якого високого ступеня була зруйнована і збентежена уся нервова система у поета, як підупало його здоров'я фізичне.

Князь Васильчиков, розібравши справу, бачив, що вся вона чиста дурниця**, сама лишень ябеда здеморалізованого доносчика та цілком зайве «усердіє» тупоголового Табачникова. Князь звелів ослобонити Шевченка і не боронив йому перебувати в Києві скільки йому треба, однак під наглядом жандармського полковника.

«Ідьте швидше до столиці, — мовив князь до поета, — там люди більш розвинені і не чіпляються до дрібниць ради того, щоб вислужитися коштом ближнього».
(183, 27).

*Способ правления (лат.).

**В разговоре со следователем Андриевским Шевченко считал причиной своего ареста диспут на богословские темы со шляхтичем Козловским. Они разговаривали на польском языке, а доносчик не знал его, и потому, мол, ему и показалось, что он, Шевченко, богохульствовал, когда на самом деле этого не было. Драгоманов считал, что Шевченко читал отрывки из поэмы «Марія», которые давали некоторые основания для подобных обвинений. Однако сама поэма была написана через 4 месяца после описываемых событий. Следователь Андриевский говорил, что донос подал какой-то поляк, который, идя на охоту, рассмешил Шевченко своим одянием. Эту же версию биограф поэта, М. Чалый, записал со слов М. Максимовича.

/Шевченко і невгамовний «бать Юхим»/

Визволений з неволі /з-під арешту 1859 року. — А. М./ Тарас Григорович заквартирував у художника Г/удов/ського. Тут він спізнався з священиком з Троїцької церкви Єфимом Ботвиновським, чоловіком добрим, гостинним, але трохи чудноватим і добрим питухою. Отець Єфим своєю простотою сподобався Тарасові. На другий день Ботвиновський, закликавши свого приятеля Балабуху, теж доброго питуху, і ще декого, та вкупі з Тарасом рушили погуляти на Лівий берег Дніпра.

Там, розповідає Чалый, вони «пили до положенія риз». Тарас нібито так написав, що «зарившись по саму шию в пісок, не хотів звідтіля вилазити, бажаючи, щоб його не займали і лишали ночувати на дуту, бо там йому так гарно».

Небавом після цього Ботвиновський запросив до себе «на вечерок» Шевченка. Гостей зібралось чимало. Бесіда йшла весела, і гості не помічали, як ніч минала. Але ось о годині третій ночі Тарас зразу заходився прощатися. Отець Ботвиновський і його гості стали прохати Тараса ще посидіти. Він наче й згодився був, але за кілька хвилин попрощався і пішов. Брама була на замку, і отець Єфим з своєї щирої гостинності не велів відмикати її і нікого з гостей не випускати з двору, а сам благов Тараса не йти і вернутися до світлиці. Де там! Скоро Тарас почув наказ: «Нікого не випускати з двору!» Він так люто обурився, що господар мусив звеліти відмикнути браму і знов прохав Тараса вернутися до світлиці і підождати, поки запряжуть йому бричку. Тарас і слухати не хотів, зараз же, скоро відмикнули браму, пішов пішки до господи, не зважаючи, що на вулиці було болото, а він був без калош.

Гості гадали собі, що це просто Тарасові витребеньки, але потім вже по довгий часі дехто довідався суцільно тому причини. Між гостями Ботвиновського Шевченко помітив одного, що показався йому людиною небезпечною, тобто шпигуном.

Подавши оджу звістку, автор її Н-в не назвав на ймення того небезпечного чоловіка, але з натякань можна гадати, що то був Віктор Аскоменський, колишній

професор Київської духовної академії. Він спізнався з Шевченком ще 1846 року, коли він був учителем у Сіягіна, небожа тодішнього генерал-губернатора Бібікова і жив у нього. У Києві ходила про Аскоченського вельми лиха чутка. Отого небезпечного чоловіка, додав Н-в, «ніхто не вважав за чоловіка путядого, але усі приймали, він скрізь бував і скрізь, де можна було, напивався». Шевченкові здалося, що він прийшов до Ботвиновського, яко «споглядатай»*.

(183, 27—28).

**Версия А. Конисского в шевченковедении не прижилась. П. Жур считал, что поэт подозревал приятеля отца Ефима, молодого купца Николая Николаевича Балабуху, но поэт некоторое время жил у Ботвиновского и хорошо знал его молодого друга, знал об его участии в организации первой полуподпольной народной школы на Новом Строении. Вряд ли он внезапно изменил свое мнение про Балабуху (а также и про его друга-священника) и подозревал их в связях с жандармерией.*

Не маючи бажання селитися в центрі Києва, він вирушив на Поділ і, пройшовши Плоску частину, опинився на Пріорці.

«Йшов та йшов — бачу хатина стоїть, не то панська, не то мужича, біла-біла, наче сметана, та ще садочком обросла, а на дворі розшивали дитячі сорочечнята сушиться та й рукавчатами махають, ніби кличуть мене до себе, от я й зайшов умовитися за квартиру і попросив хазяйку погодувати мене в довг».

Так казав Шевченко зовсім незнайомій йому жінці, ввійшовши на її подвір'я.

— Хто ви такий? — запитала хазяйка.

— Як бачите, чоловік собі, — відповів незнайомий.

Незважаючи на таке дивне прохання погодувати й напоїти в борг, — хазяйка, може, саме через цю оригінальність, прийняла поета на квартиру.

Через кілька днів з'ясувалося, хто такий квартирант-оригінал. З свого боку Тарас Григорович довідався, що хазяйка, жінка хвороблива й негарна, була палкою прихильницею поезії Шевченка й дуже любила малоросійські пісні, які іноді співала на прохання Тараса.

(431, 302).

Шевченко дуже любив дітей. Живучи в 1859 р. в Києві на Пріорці, поет дуже здружився з дівторою. Діти бігли за ним і кричали:

— Дядьку, розкажіть нам ще одну казочку!

По обіді поет йшов у сад, лягав під яблунею і кликав до себе дітей. Вони лазили по ньому, пугували.

— Кого люблять діти, — казав про себе поет, — той не зовсім ще поганий чоловік.

Якось наймичка Оришка, перучи одяг, знайшла гроші, про які Шевченко забув, і він на ці гроші влаштував для сусідських дітей «бенкет». Пішов на базар, накупив силу іграшок та ласощів, ледве доніс. Двір посипали свіжою травою, дівтора раділа, гралася, качалася по траві, поет теж радів. По обіді перекупка привезла цілий

візок яблук, груш, пряників, бубників. З двору «бенкет» перейшов на вигін, поспоходились дорослі й говорили: «Оцеї старий, певне, божевільний!»

Шевченко бігав разом з дітьми, повчав їх, сміявся, змагавсь з хлопцями. (183, 31).

Срисовывая однажды развалины Золотых ворот, поэт-художник нашел однажды между валами (в то время они еще существовали) заблудившуюся трехлетнюю девочку, посадил ее возле себя на разостланный платок и из лоскутков бумаги делал ей игрушки. Он готов был оставить ее у себя, если бы подле Софийского собора не встретила мать, в тревоге искавшая девочку; ей он и вручил своего найденыша. (230, 238).

Демонстрація, на мою думку, склалася зовсім стихійно. День 25 лютого несподівано був такий надзвичайно гарний, сонячний та теплий, що сила публіки висипала на вулицю, бо кожного тягнуло з хати на сонце.

Всім у Києві відомо, що в цей день щороку служиться папахиди по Шевченку в Софійському соборі, і багато народу посунуло туди, але, побачивши на дверях оповістку, що папахиди не буде, натурально обурилась. Російська революційна молодь, який все одно, з якого приводу робити демонстрацію, — чи скориставшись іменем Толстого чи Шевченка*, почала підбивати публіку до протесту.

За це гаряче вхопились кавказці, які, як я вже казав, з пієтизмом ставились до Шевченка за його «Кавказ», і таким робом почалася демонстрація, а коли з'явилась контрдемонстрація «духглавців»** на чолі з студентом Голубевим, то тут уже пристрасті розгорілися.

Другого дня в чорносотенній газеті «Київ», а потім і в «Новом времени» з'явилася звістка, що «мазепинці» кричали: «Да здравствует Австрия! Долой Россию!», тобто сталося те, чого ми сподівалися. Чи самі «двухголові» викукували це, чи й не викукували, а просто вигадали і потім поставили своїх свідків, які начебто чули ці вигукі перед австрійським консульством, — невідомо.

Чорносотенна преса підняла гвалт, вимагає суду за державну зраду, а київська поліція, обурена й ображена цією неправдою, звернулася до губернатора з проханням спростувати цю ганебну брехню, яка шкодить насамперед поліції.

Губернатор дійсно надрукував у «Новом времени» спростування і, очевидно, зробив центральному урядові відповідну доповідь на його тривожні запитання. Таким робом заміри київських націоналістів витворити процес за державну зраду на цей раз не здійснилися.

Та й кого тягнути до суду за сепаратизм до Австрії, коли більшість арештованих демонстрантів — кавказці!

Кажуть, що при списуванні протоколів арештованих демонстрантів кавказці, а власне грузини, наче змовились називати себе українцями.

— Та який же ви українець? — питає їх на допиті поліцейський пристав. — Ви ж грузин, видно по вас.

— Пиши українцѣ. Ти «Кавказ» Шевченка читав? Його писав українцѣ, і я теж хочу бути українцѣм!
(452, 437).

**В такому недоброжелательном тоне Чикаленко говорит о русских революционных организациях в своих дневниках и мемуарах не раз и не два, а постоянно. То же самое находим и у многих других деятелей украинского национально-освободительного движения после их вынужденной эмиграции и разочарования в результатах своей политической деятельности. Осуждая русскую молодежь, которая будто бы «примазалась» к Шевченко, Чикаленко с восторгом пишет о «кавказцах», которые присоединились к демонстрациям. Непредубежденному человеку трудно понять, какая в данном случае разница в действиях русских и «кавказских» студентов.*

*** Члены монархической организации «Двуглавый орел».*

Легенди про Шевченка

Слава про Т. Шевченка розійшлася в українському народі ще за його життя, коли про поета було витворено багато легендарних оповідань, в яких його з'явлено за героя на зразок Морозенка, Нечая, Палія, Кармелюка та ін. Шевченкові надавалося в цих оповіданнях казкових рис, говорили про нього як про людину-характерника; тобто таку, що нібито має незвичайну силу. Пісая перевезення тіла поета в Канів народилися легенди, що то не Шевченка там поховали, а когось іншого, сам поет живий; інші казали, що під час перевозу тіла справжнього Шевченка вкрали, а в могили — підміна.

Шевченкові приписували звільнення селян з кріпацтва і уперто переказували, що в могили зарито ножі для майбутнього повстання проти панів, а в домовині сховано не тіло поета, а «списки на землю», що їх будуть відібрав у панів Шевченко.

Не дивно, що в народі встановилася традиція приходити на могилу поета й там молитися. Сучасники оповідають, що в середині XIX ст. вся Чернеча гора була покрита стежками, які зрізнобич збігалися до могили — вона стала святим місцем в Україні.

Ще цікавіші легенди витворилися у середовищі київських перекупок.

Живучи в Києві (ще перед арештом), Шевченко любив навідуватися на базар і вступати в розмови з простим людом. А що одягнений він був у білий пантуса-панинський костюм, то почали називати його «білим паном» і незабаром почали складати про нього й казки. Коли в 1847 році поета ув'язняли, між київським базарним людом пішов поговорі, що «білого пана» пани украли за те, що він волю обіцяв».

Посипалися й легенди: один вигадав, другий додав — і Шевченко почав виступати в міфічну постать. Коли ж Шевченко прибув до Києва в 1859 році, його дім облягли кумоньки, і пішов поговорі, що приїхав «білий пан». Змінена зовнішність поета розчарувала жінок — вони говорили, що «це не він, а підміна», «пани когось іншого підставили за нього».

Коли ж Шевченка поховали в Каневі, київські сидухи відправилися процесією у Канів на богомілья до Шевченкової могили. Відтоді пішли чутки, що могила «до-

бра на деякі слабості»*. Пізніше російський уряд поставив на могилі сторожу, щоб розганяти відвідувачів. Відтак київські сидухи почали розказувати, що Шевченко іздить по передмістях Києва «на білому коні».

(275, 423—424).

* *Исцеляет от недугов.*

ШЕВЧЕНКО В НАРОДНЫХ РАССКАЗАХ

По сообщению моей сестры, Анны Крымской, в г. Звенигородка Киевской губернии начал года три или два тому назад циркулировать слух о приезде Шевченко на свою родину.

По общему мнению, которое распространено не только среди народа, но и среди здешней чиновничьей интеллигенции, Шевченко жив. В 60-х годах был привезен из-за границы закупореппый медный гроб, в котором якобы находилось тело поэта, и был похоронен. На самом деле гроб был пуст, а Шевченко остался жив: он уехал в Полтавскую губернию и поселился там с паспортом и бумагами своего приятеля Кривмана. Года четыре тому назад этот Кривман посетил Кирилловку, Тарасивку и г. Звенигородку. Он все очень внимательно осматривал: очевидно, вспоминал свою родину, в которой давно не был. В Звенигородке он несколько раз заходил по делу к следователю К-скому (теперь его здесь нет). К-ский признал в нем Шевченко и повторял знакомым, что это вовсе не Кривман. Посетил Шевченко и свою сестру в Кирилловке; сестра получает пенсию от государыни. Старые крестьяне узнавали приезжего и окликали: «Тарас!» Тарас оборачивался и осторожно говорил: «Цытьте! Мовчить!» Между прочим он сообщил, что после его смерти найдется много новых, еще не напечатанных его произведений.

Рассказ этот пользуется доверием, между прочим, потому, что опирается на авторитет К-ского, выехавшего из Звенигородки и не могущего, значит, опровергнуть никаких слухов, которые соединяются с его именем.

Нетрудно отыскать источник сообщенного предания (или если угодно — сплетни). Кривман — конечно, г. Кривман, который, быть может, действительно приезжал в Звенигородку и бывал у следователя К-ского, но, кажется, он не был принят за Шевченко. Года четыре тому назад посетил Кирилловку и Моренцы (но не Звенигородку) г. Конисский и описал свое путешествие во львовской газете «Зоре» («Подорож у рідні села Шевченка»); его действительно, по словам самого г. Конисского, — приняли крестьяне за Тараса Григорьевича и на его заявления, что ему «цікаво подивитися тут», хитренько замечали: «Еге! Хоч кому цікаво подивитися на місце, де зріс». В последнее время, как видим, приезд Конисского и приезд Кривмана слились в одно тождественное происшествие, да к нему добавлено кое-что из прежнего репертуара преданий о Шевченко (металлический гроб).

(202, 51—52).

Ви кажете, що він таки умер, а от я чула, що він єсть живий, а привезли його тільки клягьбу* в домовину, що він поклав на папів. Кажуть, що закопали ту домовину на високій могилі недалеко від Києва, але ж я не бачила тієї могили, хоч і ходила в Київ.

Везли домовину 12 пар волів, а на могилу виносило 12 дівок... Я й невісток його знаю з Кирилівки; як він ото умер, то вони їдали за ним плакати... (375, 322).

* Клятьба (укр.) — проклятие.

І знов-таки дорогою се було, на пароході.
Їхалось літньою порою Дніпром, повз Канів.
Ось здалека видно вже могилу Шевченка, себто хрест там високий... Вже так, на хорошому місці поховано Тараса! Кожне їде, бачить, — подумає щось...
На «чердаку», чи на тому помості горішньому, стояли юрбою люди, дивилися, — і прості люди й пани, всякі.
Все ближче та ближче під їжджаємо. Коло мене стояли якісь дядьки — либонь прочани з Києва. Не втерпіла я та й кажу до них:
— От Шевченкова могила!.. На гарному місці похований він..
— Похований, та не зовсім, — одказував мені один дядько.
— Як, — кажу, — не зовсім? Коли вже похований, то похований. Адже ж то все звісно — коли Шевченка ховали і як...
— То що з того! — править своє дядько, — а Шевченка там нема. Не став він там лежати!..
— Як? А де ж він?
— Де?.. По світу ходить і пісні складає, тільки не об'являється, а він є!..
— Чом же він не об'являється?
— Еге — «чом»? Дурний би він був! Щоб одразу арештували?
Усміхнулась я, та вже й умовкла.
Давненько й ся розмова була, а знов пригадалась мені... (323, 3).

Т. ШЕВЧЕНКО О КИЕВЕ И КИЕВЛЯНАХ

/Монументальная каланча/

Единственное в то время скульптурное украшение нашего Киева — памятник св. Владимира, произведение барона Клодта, — нашему взыскательному художнику больно не приглянулось.
— Що за пам'ятник? Поставив якусь каланчу, а зверху Володимира, ніби часового на сторожі: стоїть і дивиться, чи не горить щось на Подолі? (441, 359).

/Лихой гусар/

Об этих знаменитых Контрактах я слышал от самого Льва Николаевича /Свички/ вот что: что покойному отцу его (думать надо, с великого перепою) пришла мудрая мысль выкинуть такую шутку, какой не выкидывал и знаменитый пьяница К. Радзивилл.

Вот он, начинивши валізы ассигнациями, поехал в Киев и перед съездом на Контракты скупил в Киеве все шампанское вино. Так что, когда начались балы во время Контрактов, хватить! — ни одной бутылки шампанского в погребах... «Где де-

валось?» — спрашивают. «У полковника Свички», — говорят. К Свичке — а он не продаст. «Пейте, — говорит, — так, хоч купайтесь в ему, а продажи нема». Нашлись люди добрые и так выпили. После этой шутки Свичкино Городище и прочие добра вокруг Пирятина начали таять, аки воск от лица огня. Поэтому-то наследник его справедливо назвал себя огарком.

(455, 37).

/Популярный киевский анекдот/

Дал я ему /слуге/ полтинник и послал в книжную лавку Должикова купить себе книгу по своему нраву. Ушел Трохим мой и пропал /.../ Он возвратился уже в сумерки. Я против обыкновения моего спросил, где он пропадал во весь день.

— Та все на Подоле, — отвечал он как ни в чем не бывало. — Там все про войну говорили, так я и слушал, — прибавил он, вынимая из кармана книги.

В это время наши войска блокировали Славистрию. — Меня и подстрекнуло любопытство спросить Трохима, что он о войне слышал.

— Я ничего не слышал, потому что далеко стоял*.

(456, 252).

*В этом эпизоде из повести Шевченко «Прозулка с удовольствием и не без морали» воспроизводится популярный в Киеве юмористический сюжет. Вполне возможно, именно он опубликовал его в 1845 г. на страницах журн. «Иллюстрация», с которым тогда сотрудничал. 28 апреля он был опубликован там в такой редакции:

«В благословенной Малороссии у молодого паньича слуга попросился на базар, т. е. на рынок, за каким-то делом. Паньич отпустил его, но, зная привычку слуги засиживаться, напомнил ему, чтобы он не забыл исправить свое дело поскорее. Лакей пообещал возвратиться в четверть часа. Проходит час. Степана нет, проходит два, — нет, наступило и обеденное время, — не возвращается; наконец стало смеркаться. Степан приходит с базара в глубоком размышлении. Барин, естественно, встретил его, как следует, упреками.

— Вот видишь, я говорил, что ты пойдешь и пропадешь. Где ты был до сих пор?»

— Где я был? Известно, где я был. На базаре...

— Да что же ты сидел на базаре?

— Я не сидел, а стоял и слушал, как про француза разговаривали.

— Ну, и что же ты слышал про француза?

— Ничего, потому что далеко стоял».

Этот же анекдот был напечатан в «Киевских губернских ведомостях» 19 сентября 1853 г., т. е. приблизительно в то время, когда Шевченко писал свою повесть в Нововетровском укреплении (первая часть была окончена в 1856 г.).

/Плоды лакейского усердия/

Нужно мне было съездить в Каменец-Подольский, и я Трохима взял с собой, а чтобы занять его чем-нибудь в дороге,

дал ему чистую тетрадку и велел записывать все, что случится во время дороги, начиная с названий почтовых станций, сел, городов и рек /.../

Возвратясь из путешествия, я как порядочный хозяин велел Трохиму показать мне вещи, которые братья были в дороге. Увы! чемодан был наполовину опорожнен.

— А где же такие-то и такие-то вещи? — спросил я Трохима.

— А Бог их знает, — отвечал он спокойно.

— Хороший же ты слуга. А я еще, как доброму, *словутку** купил. Чего же ты смотрел в дороге? — прибавил я с досадой.

— Я все смотрел, что мне нужно было записывать в тетрадку, Вы же сами приказали, — сказал он с упрёком.

Он был совершенно прав, а я кругом виноват. Заставить лакея дорожный журнал вести! Глупо, оригинально глупо!

— Покажи мне свою тетрадку, я посмотрю, что ты там записывал.

Он выпнул из кармана запачканную тетрадку и самодовольно подал мне свое произведение. Манускрипт начинался так:

«До света рано выехали мы из Киева и на десятой версте перед уездным трактиром остановились, спросили у горбатого трактирщика рюмку лимонówki, кусочек бублика и поехали дальше.

Того же дня и часа, станция Вита. Пока запрягали кони, я сидел на чемодане, а они — т. е. я, — сидели на рундуку, пили сливянку и с кучерявою жидовкой *жартовали*».

— Ты слишком в подробности вдаешься, — сказал я, отдавая ему тетрадку. — Спрячь ее, в другой раз я дочитаю /.../

С тех пор я уже не заставлял его вести путевые заметки.

(456, 253—254).

* *Дорожная накидка из грубого сукна с капюшоном.*

/Роковые последствия отмены эполет/

1.

Глубокая тишина была нарушена глубоким вздохом хозяйки, потом продолжительным «ах.. да...» и быстро обращенным вопросом к бывшему гусару:

— Правда ли... Нам привез эту милую новость один наш хороший приятель, — она взглянула на меня, — будто бы эполеты уничтожат? Это несбыточно. Я скорее поверю пришествию жидовского мессии, чем этой нелепой басне!

— И я тоже, — сказал бывший гусар.

— И я тоже, — отозвался полуспящий хозяин.

— Да с чем это сообразно! — подхватила неистово хозяйка. — Да тогда ни одна порядочная девица замуж не выйдет, все останутся в девках; разве какая-нибудь... Что она еще хотела сказать, — не знаю.

(456, 257).

2.

А скажите, — прервал /паузу/ ротмистр, обращаясь к негодующей заступнице эполет, — какой тогда /если эполеты заметят погонями. — А.М./ порядочный человек вступит в военную службу? Какая перспектива для порядочного человека? Решительный вздор! И кто вас одолжил этой бессмыслицей? Не из Кирилловского ли монастыря* вырвался ваш хороший приятель, скажите ради Бога, это чрезвычайно любопытно?

Кузина с торжествующей улыбкой взглянула на своего уничтоженного врага, т. е. на меня, а простодушный мой родич, тот просто показал на меня пальцем и воскликнул:

— Вот он!

— Хватили же вы, батюшка, шилом патоки! — сказал популярно бывший гусар, обращаясь ко мне, забывши, что он светский человек, так велико было торжество его. А я, как блокированная со всех сторон крепость, чтобы не раздражать напрасным сопротивлением сильного неприятеля, т. е. чтобы прекратить грубую пошлость, сдался на капитуляцию и сказал, что я пошутил.

— Хороша шутка! — воскликнул неистово ротмистр-оратор. — Да знаете ли вы, чем пахнет эта пошлая шутка? Порохом, милостивый государь! Да, порохом!** А если пойдет дальше да выше, так, пожалуй, и Сибирью не отделаетесь! (456, 257—258).

*Дом умалишенных в Киеве.

** Т. е. дуэль.

/Бесполезная снисходительность/

Спросил его /семинариста Степана/ однажды профессор на экзамене:

— А ты, Степа, скажи, что помнишь, я и тем буду доволен.

И Степа, подумавши немало, сказал:

— Я помню, как был пожар за Трубежом, да еще и потом у Андрушах.

— Ну, хорошо Степа, с тебя и этого достаточно.

(456, 28).

/Безупречная полиграфия/

Одна из /книг, купленных слугою/ была какая-то физика времен Екатерины II с чертежами, а другая, на синей толстой бумаге, — переписка той же Екатерины II с Вольтером. «Пропали мои труды и деньги», — подумал я и, отдавая книги, спросил его, для чего он купил себе этой дряни.

Вопрос мой его озадачил, но он тут же оправился.

— Не дрянь, — сказал он, развертывая переписку фернейского мудреца. — Вы только пощупайте бумагу, просто лубок. Не только на мой век, и детям, и внукам достанет такой дебелой книги.

(456, 252).

ЖУРНАЛИСТЫ

А. Я. АНТОНОВИЧ

Афиноген Яковлевич Антонович (1848—1917) окончил Киевский университет. Служил профессором политической экономии, статистики и законоведения в Новоалександровском институте сельского хозяйства и лесоводства. С 1883 г. читал полицейское право в Киевском университете.

Автор биографической справки в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона» дает не совсем характерную для этого солидного издания, саркастичную (по сути убийственную) оценку научной деятельности проф. А.Я. Антоновича: «В своих трудах придерживался направления более практического, чем научного, избегая касаться наиболее важных и жгучих вопросов. Социальные проблемы кажутся Антоновичу «выдумкой каких-то всеобщих организаторов и преобразователей». Специальную литературу за последние 20—30 лет он совсем игнорирует...»

В 1886—1905 гг. издавал умеренно консервативную или лучше сказать праволиберальную газету «Киевское слово» (сам редактировал ее до 1892 г.). К организации газеты имел причастность видный деятель-монархист С.Ю. Витте, которого не устраивало направление проправительственного «Киевлянина».

Журналист С. Ярон писал, что Антонович обсчитывал авторов, укло-

нялся от выплаты гонораров и старался заполнить страницы своего издания бесплатными перепечатками. Очевидно, это преувеличение. Газета имела коммерческий успех благодаря умению редактора подмешивать к официозу определенные дозы скандальности и сенсационности. Сотрудник газеты «Жизнь и искусство» М. Киселев называл «Киевское слово» Антоновича «канканирующей просвирной» «за смесь в газете кафешантанного непотребства, церковного благочестия и щедро оплачиваемого низкопоклонства перед министрами».

Антонович был скуп, но вел дело вполне успешно. У него печатались лучшие киевские журналисты и писатели, в том числе и А. Куприн. Газета приносила немалый доход, и уже в 1886 г. Антонович заказал архитектору В. Николаеву большой доходный дом в «византийском» (или «древнерусском») стиле (ул. Владимирская, 43). В свое время необычная архитектура дома Антоновича производила огромное впечатление на горожан и приезжих. Даже И. Франко не устоял перед её обаянием и, когда начал строить дом во Львове, вспомнил про «дом Антоновича» в Киеве, — не скромный домик историка Владимира Бонифатиевича на углу Жилианской и Владимирской, а именно эти леген-

дарные «древнерусские хоромы» на-
против Золотых ворот.

В 1893 г. С.Ю. Витте пригласил Антоновича в Петербург на должность своего заместителя — товарища министра финансов. Киевский профессор внес ощутимый вклад в дело финансового оздоровления империи,

начатое его патроном. Он разрабаты-
вал железнодорожные тарифы, уста-
вы сберегательных касс, вексельный
устав, проект о золотой валюте. Пос-
ле ухода покровителя с поста минис-
тра он оставался в министерстве не-
долго — до 1895 г. Член совета мини-
стерства народного просвещения.

У «Киевской мысли» нещодавно оповіда-
лось, як В. Б. Антонович удостоївся генеральського чина.

Був у Київському університеті також професором разом із відомим усьому світові Антоновичем ще й інший Антонович, Афіноген Якович, відомий лише своїм бід-
лашим студентам, які змушені були слухати в нього політичну економію, й ще до-
бродію Вітте, з яким цей Антонович приятелював. Вітте тоді лише розпочинав свою
блискучу кар'єру, булиши начальником залізниць у Києві, і як його покликано до
Петербурга, то він і наобіцяв своєму приятелеві випрохати йому генеральського чи-
на. Приїхав д. Вітте до Петербурга, наворожив про проф. Антоновича у тодішньо-
го міністра /освіти/ Делянова. Делянов звернувся до ради київського університе-
ту, чи нема перешкод, щоб проф. Антоновичеві дати чин «дійствительного статско-
го советника». А як усі знали тільки Володимира Антоновича, а про проф. Афіно-
гена Антоновича забули навіть його товариші, то про Володимира Антоновича й
написали — перешкод, мовляв, нема ніяких.

І ось на Новий рік д. Вітте телеграфує своєму приятелеві — вітаю з генераль-
ством. А приятель, що мав власну газету «Киевское слово», зараз же оповістив про
своє генеральство urbi et orbi*. Вітають нашого генерала, на сьомому небі він себе
почуває, коли раптом в нашій київській газеті ** з'являється замітка, що генеральсько-
го чина дістав таки Антонович, тільки не Афіноген, а Володимир...

Так несподівано Володимир Боніфатійович доскочив генеральства, хоч воно йо-
му, як кажуть, і за вухом не свербіло. Переплутали крамольника з «істинним сы-
ном отечества» і сепаратиста з патріотом *** і нагородили першого за «заслуги»
другого****.

(111).

*Городу и миру (лат.).

** Газета «Киевлянин».

*** Мусий Кононенко в своїх «Воспоминаниях» отмечает, что Витте с
этим не смирился: «Антонович Афиноген был представлен повторно и то-
же получил «действительного».

****Изложенная здесь история награждения историка В. Антоновича вы-
глядит не совсем убедительно. Получить генеральский чин просто так, «по
ошибке» в то время было невозможно. Очевидно, мы имеем дело с мифом, со-
зданным национал-радикалами, которых смущала вполне благополучная чинов-
ническая карьера лидера Громады. вполне возможно, получить высокое звание
В. Антоновичу удалось за многолетнюю службу в системе властных струк-

тур: в канцелярии генерал-губернатора (1863—1870), а потом — в составе при генерал-губернаторах Историческом обществе Нестора-Летописца, где он в 1881—1887 и 1896—1906 гг. занимал должность председателя.

Передовые статьи, посвященные внутренним вопросам, «писал» г-н Антонович. Я подчеркнул слово «писал», ибо до сих пор не могу без улыбки вспомнить, как «писались» эти статьи: брались ножницы, «Московские ведомости» и «Русские ведомости»; через пять минут передовая статья была уже готова и отсылалась в типографию. Статья начиналась так: «По такому-то вопросу (название) «Московские ведомости» говорят (следует выдержка), а «Русские ведомости» полагают однако (опять выдержка), мы всецело присоединяемся к взгляду «Московских ведомостей». Таких статей появлялось не меньше трех в неделю.

Стремление пользоваться бесплатным материалом для своей газеты г-н Антонович довел до виртуозности. Достаточно было найти в какой-нибудь газете заметку, относящуюся к Киеву или даже не относящуюся, но показавшуюся издателю имеющей отношение к Киеву, и заметка тотчас же появлялась в отделе местной хроники, конечно, без указания источника.

Помню такой случай: «Московские ведомости» поместили заметку о несчастии с семейством инженер-полковника Фабрициуса, которое погибло в огне от случившегося в вагоне пожара при путешествии этой семьи за границу. Так как в Киеве проживал инженер-полковник Фабрициус, то г. Антонович и поместил в отделе местной хроники заметку об этом случае.

Нечего и говорить, что родные и знакомые г-на Фабрициуса стали осаждать его квартиру с целью узнать подробности несчастья. Сколько г-н Фабрициус ни уверял, что с его семьей ничего подобного не было, осада квартиры продолжалась и избавился г-н Фабрициус от посетителей только после того, как поместил в том же «Киевском слове» письмо, что с его семьей подобного случая не было, что семьи такой у него нет и что напрасно не справились у него раньше, чем помещать заметку, взволновавшую всю его родню и знакомых. Оказалось впоследствии, что несчастье произошло с семьей однофамильца Фабрициуса, но г-ну Антоновичу это было безразлично: все-таки помещено два столбца в отделе местной хроники и... бесплатно.

(467, 58—59).

Одно время в Киеве распространился слух, что Куприн перестал писать, жизнь ведет среди подольских босяков, пьет, опускается. На самом деле никакого «опускания» не было, а было преднамеренное писательское хождение по кругам киевского Дантова ада за материалами для книги о киевских трудобах /.../

Вместе с босяками Куприн грузил и выгружал баржи на Днепре, вместе с оглоданным и несчастным людом, состоя членом артели по перевозке мебели, таскал на своих плечах столы, шкафы, диваны, кровати, а в это время бывший редактор-издатель «Киевского слова» А. Я. Антонович, передавший газету жене и удалившийся на покой, сидя в Золотоворотском скверике* на скамеечке и по-стариковски калякая с репортерами, говорил о Куприне:

— Пропал человек! Спился! А какой был талант! Какие подавал надежды! А все отчего? От бедности. Богатый выпьет, у него есть чем закусить, а бедный и рад бы закусить, да нечем, средств у него на это нет... Я это 40 лет говорил студентам в своих лекциях по финансовому праву в университете, а они ржали. Надо сначала себя материально обеспечить, а потом уже писать. Вот, например, я... Вы видите дом напротив? Пять этажей... Ведь это мой дом. Я его оттрохал. Мне его дала газета. Теперь я имею право писать рассказы, поэмы и даже романы. И вам прямо скажу: не имея материального обеспечения, нельзя писать. Джером-Джером верно говорил, что все величайшие литературные произведения писались после обеда. А какие у Куприна обеды? И все-таки мне его жалко!

— Жалко-то жалко, а «Олесю» вы отказались печатать, — осторожно возразил кто-то из репортеров.

— А на какие средства? — изумился Антонович.

— Дом-то, сами говорите, оттрохали?

— Ну, знаете... На чужой каравай рта не разевай!

(174, 123—126).

** Редакция «Киевского слова» помещалась в собственном доме ее редактора А. Я. Антоновича — ул. Владимирская, 43.*

Редактор-издатель «Киевского слова» А. Я. Антонович редко платил за беллетристику. Молодым авторам, приносившим рассказы, он говорил:

— Даром напечатаю, а за деньги я и сам напишу какой угодно рассказ.

(174, 31).

П. П. ДОЛЖИКОВ

Павел Петрович Должиков (1798—1884) принадлежит к числу хоть и не приметных, но все же незаслуженно забытых киевских литераторов-журналистов XIX в. Его по праву можно назвать зачинателем киевского газетного очерка, поскольку именно его описания Киевской губернии появились в «Неофициальной части» «Киевских губернских ведомостей» среди первых опусов такого рода и обнаруживали признаки профессионального владения пером. Свою карьеру Должиков начал в армии, дослужился до капитана, но вышел в отставку, поселился в Киеве и создал агентство по страхованию жизни. Разъезжая по губернии, он собирал материал для очерков, в которых можно найти и лирические отступления, и диалоги, и портретные характеристики и другие приметы литературного жанра. Позже, не порывая со страховым агентством, завел дело, тесно связанное с литературой, — первую в Киеве общественную библиотеку, существовавшую, по обычаю того времени, при книжном магазине. Поначалу она помещалась в первом квартале Крещатика, недалеко от городского театра, потом переместилась на Подол.

«В то время, — вспоминал Н. Лесков в 1887 г. в «Петербургской газете», — в городе этом /Киеве/ была всего только одна библиотека. Она помещалась на Подоле и принадле-

жала отставному капитану, в своем роде поэту Павлу Петровичу Должинову, человеку с образованием, но изрядному чудаку, которому удалось прослыть за оригинала и остроумца, — в каковом звании он немножко стал забываться и не церемониться. Библиотека Должикова также называлась «Кабинет муз» и «Аптека для души». Оба эти названия значились на особых вывесках, утвержденных внутри помещения над полками на самом видном месте».

Должиков был человеком острым на язык. Он не щадил ни темных подольских мешчан, ни невежественных печерских дворян. Те же в отместку распространяли о нем разные слухи, называли «делком» и «спекулянтом». Говорили, что он вовсе не остроумный, а просто грубый человек, будто он выгнал из своего магазина самого Гоголя, будто он скупал у детей за копейки найденные ими в земле бесценные древние монеты, которые стоили сотни рублей. Но факты говорят об ином. Так, например, когда при думе возникла новая общегородская общественная библиотека, старый книжник Должиков подарил ей ценный комплект «Московских губернских ведомостей» XVIII века и несколько редких книг. Он глубоко вникал в проблемы киевской жизни, писал бытовые и этнографические очерки, проникнутые симпатией к простым горожанам.

Он был также и отличным библио-текарем, стремившимся к большим просветительским целям. Впервые начал печатать аннотированные списки новых книжных поступлений, пропагандировал лучшие достижения отечественной и зарубежной литературы, ввел для малоимущих студентов

и гимназистов льготные условия для пользования книжным фондом.

Репутации Должикова вредило также родство с проф. Гриневичем. Этот озлобленный ученый-неудачник был мужем его сестры. Должиков жил в его доме на Крестах, описанном в мемуарах М. Чалого в самых мрачных тонах.

/Рискованные шутки подольского библиотекаря/

По городу ходили одна молодая девица и один молодой кавалер*. Девица, подражая польской импровизаторше Деотыме**, написала много маленьких и очень плохих стихотворений, которые были изданы в одной книжечке под заглавием «Чувства патриотки»***. Склад издания находился в «Аптеке для души», т. е. в подольской библиотеке Павла Петровича Должикова. Стихотворения совсем не шли, и Должиков иногда очень грубо издевался над этою книжкою, предлагая всем «вместо хлеба и водки — чувства патриотки». В день открытия /Цепного/ моста стихотворения эти раздавались безденежно. На чей счет было такое угощение — не знаю****.

(237, 47).

* Лесков имел в виду Елизавету Сентимер, дочь доктора медицины в Киеве и автора сборников «Стихотворения Е. С.» (К., 1850), «Поэмы и мелкие стихотворения девицы Е. С.» (К., 1851, второе издание — К., 1852), «Голос патриотки. Стихотворения девицы Е. С.» (К., 1854), «Достопамятное событие Киева в 1853 г.» (К., 1855). В 1860—1880 гг. вышло еще 5 книг поэтессы.

** Деотыма — псевдоним польской поэтессы Ядвиги Луцевской (1834—1908), славившейся даром импровизации. Впрочем, само слово «импровизатор» употреблялось тогда не только в прямом значении, но и в том случае, когда намекали, что автор позволяет себе печатать сырые стихи или же просто не способен к совершенной форме, пишет кое-как, «импровизирует» как придется.

*** Комментаторы «Печерских антиков» уже отмечали, что в повести Лескова допущены неточности относительно и названия книжки («Чувства патриотки» вместо «Голос патриотки»), и времени ее издания (в повести она вышла еще до открытия Цепного моста, т. е. до лета 1853 г.). Очевидно, современники понимали, что имеют дело с собирательным образом поэта-патриота первой половины 1850-х гг., и некий «молодой кавалер» «девицы Е.С.» упомянут здесь не случайно. Он тоже «поэт» и «патриот» — А.В. Казаринов. И вот его-то книжка так и называлась «Чувства патриотки». Похоже, вышла она также не в 1853-м, а в 1854 г., но для замысла Н. Лескова это уже не имело значения.

В прессе тех лет можно найти некоторые факты, объясняющие суть писательского сарказма по поводу патриотизма «девицы Е. С.» и ее «кавале-

ра». Так, обнаруженное нами сообщение «Губернских ведомостей» дает основания полагать, что книжка издавалась... за счет казны: «На днях вышли в свет стихотворения А.В. Казаринова под названием «Чувства патриота» /.../ Продаются в магазинах Должикова, Литова и у самого автора. Половина вырученных денег за это издание назначается автором в пользу раненных воинов. Автор льстит себя надеждой, что публика поддержит это патристическое предприятие» («Киев. губ. ведом.» — 1854. — 27 нояб.).

****Намек на то, что официальные власти имели прямое отношение к «импровизациям» киевской «патриотки» и распорядились ее книжкой по своему усмотрению.

Савватий сначала со вниманием прослушал «Мертвые души», потом с большим вниманием прочитал, а прочитавши, возымел страсть во что бы то ни стало приобрести эту книгу и во время каникул читать вслух на хуторе.

Собравшись с последними крохами и призвавши рубля полтора, отправился он в контору страхования жизни, она же и книжный магазин*, спрашивает «Мертвые души», а книгопродавец глаза вытаращил. Ему показалось, что посетитель спрашивает мертвые души те, которые застраховали свое земное бытие в его конторе**. И обратясь к посетителю, сказал, что есть только две.

— Пожалуйста мне один экземпляр.

Книгопродавец снова стал в тупик.

— Вы меня не так понимаете. Получена ли у вас книга под заглавием «Мертвые души», сочинение Н. Гоголя?

— Никак нет-с, еще и объявления не читали***.

(455, 64).

*Речь идет, несомненно, о Должикове, который был и библиотекарем, и книготорговцем, и страховым агентом одновременно.

**Появление в книжном магазине, принадлежавшем агенту по страхованию жизни, «Мертвых душ» Гоголя не могло не привлечь внимания городских остряков и не породить шуток и анекдотов. Один из этих юмористических сюжетов Шевченко и позаимствовал для цитируемой здесь повести «Близнецы».

***По отношению к Должикову анекдот несправедлив. Вряд ли кто из киевлян мог отказать ему в знании новинок отечественной литературы.

В. Н. ДОМАНИЦКИЙ

Василий Николаевич Доманицкий (1877—1910) родился на Киевщине. Закончил Киевский университет. Ученик В. Антоновича. Проводил археологические раскопки на Звенигородщине. Автор ряда исторических исследований («Козаччина на переломе XVI—XVII ст.», «Песня про Нечая» и др.). Редактор первого полного «Кобзаря» Т. Шевченко. Сотрудник «Киевской старины», «ЛНВ», «ЗНТШ». Редактор журнала «Рідна справа» — «Думські вісті», который издавала украинская фракция Второй государственной ду-

мы. Автор многих статей на общественно-политические темы, печатавшихся в украинской прессе («Громадський думці», «Раді», «Новий громаді»). Один из основателей издательства «Вік». Пионер потребительской кооперации на Киевщине и автор популярных книжек про кооперативное дело, выходявших в 1904—1910 гг. Осужден и выслан на Север, но в связи с болезнью ссылка заменена на трехлетнее выдворение за границу. Умер во Франции от туберкулеза.

Це була людина надзвичайно худа, але дуже жвава, весела. Від його лекцій (латинська мова) великого сліду в мене не залишилося*. Але пригадую собі, що, прийшовши до хати, він ішов навчати мене, а мама й Ніна, що жила в нас і готувалася на вчительку, мерщій схоплювали його плащ і потроху за кожним разом зашивали діри. Цей великий трудівник, надзвичайна людина, не мав навіть за що жити, і, може, від тих злиднів так рано загинув. (462, 261).

**Некоторое время Доманицкий служил домашним учителем в семье автора воспоминаний А. Шульгина.*

Недоїдав і недосипляв він систематично й хронічно. Довго сидіти коло столу — «скучно», а спати довше — «баловство», — завжди казав він. Занедажувавши, він довго не міг звикнути до «свинячого», як він казав, життя, тобто — часто й сито їсти. «Тільки од роботи одривають», — лютував він. (258, 56).

Зостаючись без догляду за працею, Василь забував про їжу, а щоб не «марнувати», як він казав, часу на обід, він часенько, було, скочить у першу крамничку, що трапиться по дорозі, купить чвертку

«подержаной», як ми, сміючись, глазували, ковбаси та булку, в одну кишеню ткну ковбасу, а в другу — булку. Идеш вулицею, дивишся — аж на стовпчику, ждучи трамвая, або у вагоні трамвая, сидить якась фігура, зігнувшись, щось шпортається і жує. Підходиш і бачиш Василя — в одній руці олівець, а на коліні коректа, а в другій — шматочок ковбаси і бублик. Штовхнеш його і скажеш якесь докірливе слово, або просто докірливим оком подивишся на нього. Василь, засоромившись, /.../ каже, що йому сьогодні було так ніколи, що скрізь пропустив обід, так оце «попасає» трохи, ждучи трамвая.

(258, 55—56).

/Любов до... коректури/

Коли заснувався у Києві видавничий гурток «Вік», Василь Миколайович одвоював собі, крім звичайних обов'язків членів гуртка, виключне право коректури. До коректури тягла його просто якась «неведомая сила» /.../ Згадуючи про Василя Миколайовича того часу, не можу уявити собі його без цілого оберемка коректури під піхвою. Не можна було без усмішки дивитися, як розгортає він свіжу гранку коректури, з насолодою вдихає пахощі свіжої друкарської фарби і з якоюсь немов би ніжністю стежить, як брудна друкарська макулатура вигладжувалась під його руками, поволі обертаючись на чисту зброю людської думки.

У Ялті, куди він слабій поїхав, він нудиться, що такий вже властивий його коректорський обов'язок виконують інші, і пише: «Кияне аж пищать та дуріють. Так їм, анафемам, і треба! Казав, писав, благов — дайте хоч понюхати коректи: не шлють хоч першу, хоч останню! Ні, не послушали... то нехай же тепер знають!»

З Корфу, куди він після переїхав, знов пише: «Дякуючи Гнатюкові, маю давно відібрану від мене приємність — читати коректи. Отже, місяць-два, доки Гнатюк тут, буде добре з цього боку».

(37, 37).



Т. Шевченко. Аллея Царского сада в Киеве.

А. С. ЛАШКЕВИЧ

Александр Степанович Лашкевич (1842—1889) происходил из старинного казацкого рода. Закончил Киевский университет (1864). Земской и судебный деятель на Черниговщине в 1870—1880 годах. Член Киевской громады. В 1888—1889 годах — издатель

и редактор первого в Киеве литературно-исторического журнала «Киевская старина» (неофициальный орган Киевской громады). Автор исследований по истории Украины XVIII в., печатавшихся в «Киевской старине» и «Русском архиве».

Далекий в ведении журнала от всяких личных расчетов и побуждаемый единственно желанием посильно служить тому делу, которое он считал полезным, Александр Степанович, не щадя своих средств и жертвуя журналу личными интересами, все силы употреблял к тому, чтобы, привлекая лучших сотрудников, поднять достоинство журнала /.../

В пространной эпитафии, написанной в стихах неизвестным автором прадеду Александра Степановича /.../ означенный автор, сравнив Степана Ивановича Лашкевича* с Авраамом по гостеприимству (которым, кстати сказать, отличался и покойный Александр Степанович) и указал далее на храм, воздвигнутый им, говорит: «Се труд и кошт его, се ревности есть плод». Невольно вспоминаются теперь эти слова, потому что и об Александре Степановиче можно сказать, указав на «Киевскую старину» двух последних лет: «Се труд и кошт его, се ревности есть плод». (226, 6—9).

**Степан Иванович Лашкевич (1733—1782) — бунчуковый товарищ Стародубского полка, автор «Дневника» (отрывки печатались в журн. «Киевская старина» в 1887 г.).*

Несмотря на поразивший Александра Степановича тяжелый недуг, думы и заботы о «Киевской старине» не оставляли его до последних дней его жизни. Когда несколько месяцев тому /.../ один знакомый его советовал ему отказаться от продолжения издания «Киевской старины», Александр Степанович ответил:

— Я душу положил в это дело, и не могу от него отказаться.

Уже лежа на смертном одре, за несколько дней до кончины, когда зашел разговор о том же предмете, Александр Степанович, желая выразить, насколько ему дорога «Киевская старина», и чтоб не говорить много, сказал:

— «Киевская старина» — это мое третье дитя.

(226, 9).

Д. И. ПИХНО

Дмитрий Иванович Пихно (1853—1913) — экономист, один из лидеров киевских монархистов. Учился на юридическом факультете Киевского университета, считался учеником М. Драгоманова. Окончив университет в 1876 г., отошел от социалистических идей своего учителя и примкнул к лагерю консерваторов. Преподавал в университете политэкономии и на своих лекциях громил учение Карла Маркса. Был своим человеком в доме проф. В.Я. Шульгина, сотрудничал в его «Киевлянина». После смерти Валерия Яковлевича женился на его вдове и возглавил газету, придав ей ультраконсервативный оттенок. Редактировал «Киевля-



нина» с 1879 до 1907 г. и оставался его издателем до самой смерти. Издал несколько книг по экономическим вопросам, курс политической экономии (1890) и сборник публицистических статей «В осаде» (1906).

Усім відомий був свого часу жартівливий вислів Котляревського з приводу прізвища проф. Д. І. Піхна (редактор чорносопного «Киевлянина»): «Имена существительные склоняются, — казав він, — но есть и такие, которые спрягаются наподобие глаголов, например, Пихно: пихну, пихнешь, пихнем, пихнуть».

(26, 280).

/Порядний вчинок родича-ворога/

Піхно спершу був у гуртку Драгоманова /.../ І ось він зрадив лівим та українофільським поглядам і свого учителя, і своїх товаришів. На принциповому ґрунті батько /Я. Шульгин/, такий лагідний, такий добрий, був непохитний і в молодості дуже гарячий. Якось при зустрічі він ударив Піхна в лице та кинув жахливе слово: «Подлец!». Але /.../ і «подлецы» в ті старі часи мали якусь свою і справжню мораль... З часом Піхно став професором Київського університету і членом Державної Думи /.../

Якось батько повернувся додому, і не тільки мама, а й я побачили, що він був страшенно блідий і зовсім знесилений. Мама кинулась до нього:

— Що сталося?

— Жандармське управління заборонило мені читати лекції.

Розпач огорнув родину. Але треба було щось робити. Приятелі порадили їхати до Петербурга. Там у батька серед українців були люди, що мали високі пости в уряді. Ходячи від одного до іншого, він одержав нарешті дивну пораду: конче піти до жандармського генерала Новицького, що саме з Києва приїхав до столиці /.../

Іти до Новицького було, звичайно, дуже тяжко. Але батько пішов, і несподівано генерал зустрів його дуже лагідно, навіть привітно:

— Знаю, знаю вашу справу. Ну, коли за вас ручиться його превосходительство Д.І. Піхно, ніяких перешкод для вашої педагогічної діяльності нема...

Батько не вірив своїм ушам: Піхно? Той самий, що зрадив Драгоманова? Той Піхно, якому він сам дав ляпаса, заступившись за нього? Приголомшений батько тільки подякував генералові й вийшов. Відмовиться він не міг. Повернувшись до Києва і дійсно міг стати спершу за професора в того ж Валькера, а згодом у Перший київській гімназії*. Прикро було приймати ласку від свого противника, але батько не міг не оцінити й гідності такого вчинку:

— Ну що ж, я прийняв від нього що послугу, мушу піти подякувати.

І був з візитом в Піхна, який негайно ж приїхав з відвітним візитом. Більше вони не бачилися...

Що й казати, в ті часи й «подлецы» мали свою мораль...
(462, 255).

**Из этого видно, как энергично действовала в те времена жандармерия: Шульгин не успел еще доехать до Киева, а она уже связалась с Пихно и получила от него поручительство за родича.*

/Марксизм на семінарах Піхна/

Брав я /Д. Багалій/ участь у семінарі політичної економії в тодішнього доцента Д.І. Піхна, що хоч викладав він на юридичному факультеті, але слухали його й історики. Це відомий редактор чорносотенного і україножерського «Киевлянина». Цікаво, що в нього я з власного вибору зачитав реферат на тему «О прибавочной стоимости в «Капитале» Маркса». Д.І. Піхно бів антимарксист; але пригадую, що, добре підкувавшись Марксом (професор знав його слабо), я досить вдало захищав свої, себто марксистські тези перед прихильною аудиторією.

(26, 281—282).

В. Я. ШУЛЬГИН

Виталий Яковлевич Шульгин (1822—1878) — профессор Киевского университета, основатель и первый редактор знаменитой газеты «Киевлянин». Родился в Калуге, в семье чиновника. Вскоре семья переехала в Нежин, а затем и в Киев. По неосторожности няньки стал горбатым с раннего детства. В 1833—1838 гг. учился в Первой гимназии. В 16 лет — студент Киевского университета, который окончил в 1842 г. Служил преподавателем во Второй киевской гимназии, с 1845 г. читал лекции по истории в Институте благородных девиц. С 1849 г. — инспектор института. С этого же года — адъюнкт (преподаватель) по кафедре всеобщей истории университета. Читал здесь лекции 13 лет. Издал три учебника по древней (в 1856 г.), средней (в 1858 г.) и новой (в 1862 г.) всеобщей истории и ряд исследований, среди которых была и «История университета св. Владимира за первое 25-летие его существования» (СПб., 1860). Талантливому лектору предоставили самостоятельную кафедру и удостоили звания экстраординарного профессора. В 1862 г. он оставляет университет по личным обстоятельствам, но, женившись, решает вернуться и в августе 1863 г. подает попечителю прошение прочесть цикл лекций о Французской революции с тем, чтобы вернуться на прежнее свое место экстраординарного профессора. Однако за этот короткий срок порядки измени-



лись, и по принятому в 1863 г. университетскому уставу для замещения профессорской должности уже требовался докторский диплом. Защищать диссертацию строптивый Шульгин отказался, но это поначалу не показалось его друзьям и сторонником помехой к возвращению прославленного лектора в стены университета. Ученый совет, принимая во внимание прежние заслуги Шульгина, предоставляет ему профессорскую кафедру без диплома. И с этого момента начинается скандальное «дело Шульгина», прогремевшее на всю Россию. Историко-филологический факультет решительно протестует против нарушения советом нового устава и отклоняет кандидатуру Шульгина. Университетский совет по инициативе проф. Матвеева в феврале 1864 г. постановляет возвести Шульгина в доктора без испытания. Но и тут историко-филологический факультет выражает энергичный протест. И его декан проф. Селин отказывается подписать диплом (его подписал добродушный и далекий от житейских дразг Нейкирх). Скандал получал все

большую огласку. Строптивый Шульгин не желал защищать диссертацию и в конце концов вынужден был вернуть полученный диплом министру просвещения вместе с отказом от профессорской кафедры.

В своих мемуарах А. Романович-Славатинский сводит дело к некоторым интимным обстоятельствам, породившим якобы личную вражду между Шульгиным и его гонителем Селиным. «Между ним и Шульгиным, — пишет он, — были личные неудовольствия на почве институтского прекрасного пола, т. к. они оба были лириками и романтиками». (Иначе говоря, они никак не могли поделить популярности среди учениц Института благородных девиц, где оба преподавали). Были, очевидно, и другие причины, поскольку Селин был родственник Герцена и известный либерал, а Шульгин тяготел к монархической идее. Так или иначе Шульгин провал с университетом. Его биографы оправдывают этот странный поступок тем, что он страдал от сильных приступов мигрени и потому решил добровольно отказаться от лекционной и вообще научной деятельности.

Летом 1864 г. в Киеве появилась новая, «чисто русская», с монархическим оттенком газета «Киевлянин», редактором которой (в 1864—1878 гг.) был бывший профессор университета. Монархизм Шульгина не имел ни-

чего общего с карьерными соображениями или обычным прислужничеством перед властью. Он никогда не брал субсидий от правительства (что делал, например, либеральный «Киевский телеграф») и часто высказывал мнения, далекие от официальной точки зрения. Он последовательно отстаивал идею широкой культурной автономии Украины, печатал местных писателей на украинском языке и горячо пропагандировал успехи молодого композитора Н. Лысенко (вплоть до спровоцированного властями скандала с оперой «Рздвяни нч»). Эмский указ, ограничивавший культурную инициативу на местах, нанес сокрушительный удар по исповедуемой Шульгиным идее украинского культурного автономизма под эгидой русской монархии. (Подобная программа осуществлялась по отношению к украинцам в Австро-Венгрии). Общественная деятельность Шульгина теряла смысл: монархия уже не нуждалась в идейных союзниках в Украине, ей нужны были только слепые исполнители и «слуги». Шульгин не пережил краха своих автономистских идей. Он умер в 1878 г. Взгляды его преемника на редакторском посту Пихно были далеки от каких бы то ни было либеральных оттенков. При нем национализм «Киевлянина» принял откровенно реакционное направление и вплотную приблизился к черносотенству.

/Рыцарские нравы В. Я. Шульгина/

Когда смерть унесла родителей и брата*, Шульгин сосредоточил всю нежность своих забот, всю доброту и привязчивость своих семейных качеств на жене брата и ее детях. Это была прекрасная, образованная женщина. Шульгин идеализировал ее, видел в ней олицетворение лучшей матери, образцовой жены. Если будучи еще лектором он писал о рыцарстве, то теперь он на деле применял рыцарские качества, платонически, идеально увлекаясь «дамою сердца», готовясь принести для нее всевозможные жертвы, и вдруг злая

чахотка поражает эту женщину и уносит олицетворенный идеал в могилу. Напрасны были все средства, начиная от сосновых рош до поездки за границу включительно. Смерть взяла свое. По свидетельству автора некролога, «долго мучил себя Виталий Яковлевич и по смерти ее (жены брата): только и слышно было у него, что о ней, о ее душевных качествах, о ее нежном сердце, о ее страшных муках в предсмертные минуты. Соорудив памятник на ее могиле, он приказал сделать с него модель, поставил ее в своем кабинете и днем и ночью то и дело ходил около этой модели, смотрел на нее и заливался слезами». Этот факт показывает, к каким сильным душевным порывам был способен этот человек.

(169, 8—9).

**Брат ученого — Николай Яковлевич Шульгин — чиновник особых поручений при киевском генерал-губернаторе. Женат на дочери известного военного врача и поэта Е. Рудыковского. Рано умер, оставив сиротами двух дочек и сына Якова, который впоследствии стал соратником М. Драгоманова, членом Старой киевской громады и сотрудником «Киевской старины». Его сын, внук Николая Яковлевича, Александр Яковлевич Шульгин — известный украинский политический деятель, министр иностранных дел УНР, эмигрант, автор книги об украинской дипломатии начала XX века «Без территории».*

Професор Віталій Шульгин добре дбав про своїх небожів /.../ Діти мали бонну, німку /.../ Дядько возив небожів і за кордон, аздається, до Німеччини. Батько оповідав різні анекдоти з тієї подорожі. Один про себе: дядько купив йому паличку, яка йому дуже подобалась. Але чимось він провинився, і дядько «почастував» його саме любимою паличкою. Тоді він так зненавидів її, що викинув через вікно з потягу.

(462, 228).

/Пізнє каяття/

Віталій Шульгин був не тільки професором, а й основоположником та головним редактором загальновідомої, суто монархічної газети «Киевлянин». Батько /соратник М. Драгоманова — Я. Шульгин/ мусив зірвати з своїм дядьком і опікуном /.../ На старість батько дуже жалкував, що зірвав з тим, кому він був стільки зобов'язаний, і прямо мені це говорив. А маленький портрет Віталія Шульгина з його сутулою постаттю, голеним обличчям і шапкою волосся на голові, завжди висів над столом батька, де б він не був... (462, 228).

Особенное удовольствие доставляла мне своими блестящими лекциями по всеобщей истории профессор Шульгин. Это, можно сказать, был прироченный профессор, природное назначение которого — кафедра или трибуна. Я много слушал лекций на своем веку в России и за границей, но таких лекций, какие читал Шульгин, не приходилось слышать нигде. Ни Дройзен в Берлине, в аудитории которого собиралось так много слушателей, ни Гейсер в Гейдельберге, считавшийся в мое время лучшим лектором, ни изыскный и красноречивый Лабуа в Париже — не могли быть сравнимы с Шульгиным. Он умел живьем изобразить эпоху и ее людей: он переносил нас в изображаемое вре-

мья, он кратко знакомил нас с психологией исторических героев. Аудитория его была всегда полна, а лекции оканчивались рукоплесканиями, которые считались тогда чуть ли не государственным преступлением. /.../ К сожалению, истинно русский человек, Шульгин не употребил своих дарований на то, к чему они были предначинаны природой: отдавшись лиризму и публицистике, он скоро оставил кафедру. Публицистом же он не мог быть таким, каким был профессором.
(351, 164).

/Просчет начальства/

Брожение в университетах, возникшие кое-где крестьянские волнения и ожидание польского восстания, — все это вызвало тревогу в правительственных сферах. Они были озабочены спасением отечества от революционных потрясений и сохранением в неприкосновенности основ, усиленно действуя при помощи явной и тайной полиции /.../

Киевские власти, чтобы образумить общество и отвлечь его от опасных мечтаний, вадумали призвать в помощь и науку. Профессору Шульгину поручено было прочесть несколько публичных лекций соответственного содержания.

Первая лекция состоялась в зале Первой гимназии. Зал был переполнен до крайности. Я хорошо помню эту лекцию, особенно характерное выступление в неё, которое могу восстановить почти буквально.

— В прекрасный осенний день 1787 г., — так начал Шульгин, — в Венсенском лесу ехала блестящая веселая кавалькада, возвращавшаяся с охоты. Впереди гарцевал король Людовик XVI. Одежда всадников и чепраки блистали золотом и драгоценными камнями. На перекрестной дороге король увидел крестьянина, несущего что-то тяжелое на спине. Кавалькада остановилась.

— Что ты несешь? — спросил король.

— Гроб моего сына.

— Отчего он умер?

— От голода.

И веселая кавалькада помчалась дальше.

За этим выступлением следовало описание ужасного, отчаянного положения масс населения во Франции в то время. Непосильные государственные налоги и поборы дворян и духовенства, каторжный труд, едва обеспечивающий полуголодное существование семьи, полный произвол и жестокости властей, бесправие и беззастенчивость низших классов населения, — все это мастерски было изображено в ярких, потрясающих картинах, производивших огромное впечатление.

— О том, к чему привело такое состояние страны, побеседуем в следующий раз, — закончил лектор.

Публика проводила его неистовыми, долго не умолкавшими аплодисментами. Но следующего раза уже не было. Начальство увидело, что Шульгин не особенно удачно выполняет возложенную на него задачу, и продолжения его публичных лекций не допустило.

(423, 57—58).

Припоминаю приват-доцентские диспуты Авсеенко и Драгоманова: две личности, во многом противоположные.

Сухой и холодный автор «Похода Карла VIII в Италию», Авсеенко, держал се-

бя на диспуте совершенно импозантно — не то Гизо, не то Шульгин. Когда он читал свою вступительную лекцию, я немало удивлялся, что он, довольно стройный и красивый, мог так уподобляться горбатуму и невзрачному Шульгину: он так же держался на кафедре, так же поправлял свои большие очки, так же жестиковировал. Может быть, за это уподобление факультет к нему не благоволил /.../ Авсеевко недолго сидел на кафедре /.../ Из него не вышло академического человека. Он скоро оставил приват-доцентуру и заменил Шульгина в редактировании газеты «Киевлянин», которая в его руках отличалась бесцеремонными выходками местного красноречивого Феди-Миленького против университета и его членов.

(350, 186).

В 1860—1861 учебном году некоторые аудитории университета представляли необычный вид. В них появились сотни дам и девиц. Тогда это было дозволено. Дамское нашествие устремилось почти исключительно на лекции по истории и словесности.

Профессора этих предметов относились к такому нашествию далеко не одинаково. Самым любезным по отношению к слушательницам был Селин. В его аудитории скамьями для студентов было занято около 2/3. На остальном пространстве по обе стороны кафедры тесными рядами устанавливались стулья, сплошь занятые дамами. Входя на кафедру, Селин с своей джентльменской манерой кланялся студентам и отвечивал два поклона прекрасному полу /.../

Совершенно иначе относились к присутствию дам наши историки. Они назначали свои лекции с 9 или 10 часов утра, надеясь, что дамы поленятся приходить так рано. Но надежда эта не оправдалась: входя в аудиторию, они заставали занятыми все дамские места. Тогда они употребили другое средство, чтобы отбить у дам охоту приходить на их лекции /.../

Шульгин выбрал для первого семестра историю папства. С его блестящим красноречием он в ярких чертах изображал глубокое нравственное падение католического духовенства и рисовал довольно откровенные картины развратной жизни пап и епископов. Упомянув о том, что папы иногда подавали пример такой жизни, профессор подробно описал один из «райских» вечеров Александра Борджиа. Он охарактеризовал хозяина вечера и изобразил обильный ужин в одной из ярко освещенных зал Ватикана /.../ Финалом этого ужина было особое угощение. Из одних дверей появилась группа красивых юношей в костюмах Адама, из других выбежала целая толпа красивых девиц, тоже в костюмах их прародительницы, и началась безобразная вакханалия.

Пришел я однажды в это время вечером к знакомым, дочь которых бывала на лекциях, а я имел несчастье нередко сопровождать её в университет, что было известно родителям. Простая, наивная мамаша напустилась на меня так, что я не знал, куда деваться.

— Чему вас там учат? — кричала она, — и вы еще тянете дочь мою слушать эти мерзости! Теперь нога ее больше не переступит порога вашего поганого университета.

При всем этом хождение дам на лекции продолжалось. Но число девиц в аудиториях уменьшилось.

Помнится, что лекции с дамами были еще и в 1861 г. Затем дамы из аудиторий исчезли, — несомненно, по распоряжению высшего начальства.

(423, 50—52).

А. А. фон ЮНК

Альфред Александрович фон Юнк (1826—1870) — писатель, очеркист и журналист. Основатель и издатель первой в Киеве неофициальной газеты «Киевский телеграф» (1859—1876). Он же был ее первым редактором. Четкой политической ориентации газета не имела (хоть и считалась «либеральной»), определенным был лишь ее интерес к проблемам украинской жизни. Среди сотрудников значились такие знаменитые «украинофилы», как М. Драгоманов, А. Русов, Ф. Вовк, А. Конисский. Газета была закрыта после Эмского указа 1876 г. специальным правительственным распоряжением как оппозиционный «сепаратистский» орган. (После смерти Юнка издателем газеты стала А. И. Гогоцкая, а ответственным редактором А. Ф. Снежко-Блоцкий). Сам Юнк был далек от политики и увлекался бытописанием. Благодаря его очеркам и заметкам исследователи быта старого Киева имеют возможность познакомиться с характерными киевскими нравами и мельчайшими деталями городской жизни, ко-

торых тщетно было бы искать в материалах иных авторов.

Юнк пользовался славой чудака, мечтавшего о недоступных ему лаврах «настоящего писателя». Он не был стилистом и часто смешил читателей нелепыми выражениями и комичными опечатками. Про насмешки над незадачливым газетчиком говорилось даже в некрологе, помещенном в «Телеграфе» 14 августа 1870 г. И писалось там об этом в таком стиле, будто сам покойник заранее заготовил текст для своего некролога: «Осылаемый часто насмешками, покойный труженик продолжал неуклонно стремиться к цели...» и т. д.

Среди книг, написанных Юнком, значатся: «Полное практическое руководство приготовления киевских сиропных вареньев, повидл и сухих плодовых конфетов» (К., 1858), «Практическое руководство к приготовлению польских баб, пляцков и мазурков» (К., 1870) и «Стихотворения и куплеты из ненапечатанных водевилей» (К., 1851). С 1859 г. издавал «Памятники и виды Киевской, Подольской и Волынской губерний».

/Чумак-погонщик — основатель киевской прессы/

Невозможно не вспомнить об этом добрейшем парне, совершенно безграмотном и лишенном малейшей тени дарования, но имевшем неодолимую и весьма разорительную страсть к литературе. И он, мне кажется, достоин благодарного воспоминания от киевлян, если не как поэт, то как самоотверженный пионер периодического издательства в Киеве. До Юнка в Киеве не было газеты*, и предпринять ее тогда значило наверное разориться. Юнка

это не остановило: он завел газету и вместо благодарности встретил отовсюду страшные насмешки. По правде сказать, «Телеграф» юнковского издания представлял собой немало смешного, но все-таки он есть *дедушка* киевских газет.

Денег у Юнка на издание долго не было, и чтобы издать газету, он прежде пошел (во время Крымской войны) «командовать волами», т. е. погонщиком. Тут он сделал какие-то сбережения и потом все это самоотверженно поверг и сжег на алтаре литературы. Это был настоящий литературный маньяк, которого не могло остановить ничто; он все издавал, пока совсем не на что стало издавать. Литературная неспособность его была образцовая, но, кроме того, его и преследовала какая-то злая судьба.

Так, например, с «Телеграфом» на первых порах случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить; например, газету эту цензор Лазов считал полезным запретить «за невозможные опечатки». Поправки же Юнку иногда стоили дороже самих ошибок: раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дословно следующее: «Во вчерашнем номере на столбце таком-то у нас напечатано «пуговица», читай «Богородица». Юнк в ужасе больше от того, что цензор ему выговаривал: «Зачем де поправляться!»

— Как же не поправиться? — вопрошал Юнк, и в самом деле надо было поправиться.

Но едва это сошло с рук, как Юнк опять ходил по городу в еще большем горе: он останавливал знакомых и, вынимая из жилетного кармана маленькую бумажку, говорил:

— Посмотрите, пожалуйста, — хорош цензор! Что он со мной делает! Он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку.

Поправка гласила следующее: «Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно *онанисты*, — читай *оптимисты*».

— Каково положение! — восклицал Юнк.

Через некоторое время Алексей Алексеевич Лазов**, однако, кажется, разрешил эту в самом деле необходимую поправку. Но был и такой случай цензурного произвола, когда поправка не была дозволена. Случилось раз, что в статье было сказано: «Не удивительно, что при таком воспитании вырастают *недоблуды*. Лазов удивился, что это за слово? Ему объяснили, что хотели сказать «*лизоблуды*»; но когда вечером принесли сводку номера, то там стояло: «По ошибке напечатано: *недоблуды*, — должно читать *переблуды*. Цензор пришел в отчаяние и совсем вычеркнул поправку, опасаясь, чтобы не напечатали еще чего худшего. (237, 48—49).

*Первая местная официальная газета «Киевские губернские ведомости» выходила с 1838 по 1917 год. «Киевский телеграф» Юнка была первым частным периодическим изданием.

**А.А. Лазов — секретарь Киевского цензурного комитета.

Сцена в редакции «Киевского телеграфа» /Образчик автопародирования Юнка/

Некто: — Нельзя ли поместить объявление, что у меня отдается на прокат верблюд для верховой езды по городу?

Редактор: — Нелзя, потому что «Киевлянин» будет смеяться*, а просто по-менуйте, что, мол, медленный скакун арабской породы**... Таким образом не будет ничего возбуждающего***.

(172/А).

*Эти слова о насмешках со стороны газеты В. Шульгина, появившейся летом 1864 г., свидетельствуют о том, что острые отношения между «либеральным» «Телеграфом» и монархическим «Киевлянином» установились с первых же дней их сосуществования.

**Отбиваясь от «насмешек» «Киевлянина», зорко следившего за «Телеграфом» и подмечавшего любую его оплошность и стилистическую погрешность, Юнк утверждает, что обычные слова (топ же «верблюд») и выражения на страницах «Телеграфа» кажутся сотрудникам «Киевлянина» газетными ляпами, в то время как сами они привыкли пользоваться нелепыми и витиеватыми выражениями и не находят ничего странного, если вместо слова «верблюд» будет написано «медленный скакун арабской породы».

***Намек на то, что «Киевлянина» беспокоит вовсе не грамотность и чистота стиля, а «либерализм» «Телеграфа», печатающего «возбуждающие» горюжан материалы.

/А. фон-Юнк о ценности грамотности/

О твет на ответ газеты «Киевлянин».
/.../ Нас крайне удивляет то особенное удовольствие, которое находит г. редактор «Киевлянина» в издательстве над теми типографскими промахами, какие попадались, и, к сожалению, довольно часто, в нашем издании, титулуя их неграмотностью и приписывая их лично редактору. В настоящее время грамотность никто не считает особенным достоинством, заподозреть и находить безграмотность в других тоже не есть заслуга, это никому не принесет чести, особенно таким патентованным лицам*, как редакторы и сотрудники «Киевлянина»...

(172/Б).

*Саркастический намек на то, что редактор «Киевлянина» В. Я. Шульгин вынужден был покинуть профессорскую кафедру университета именно потому, что он не был «патентованным» (дипломированным) преподавателем и не хотел защищать докторскую диссертацию.

ХУДОЖНИКИ КРУГА ПРАХОВА

Строительство Владимирского собора завершилось в 1882 г., и уже на следующий год руководство внутренней отделкой взял на себя профессор Петербургской академии художеств Адриан Викторович Прахов (1846—1916). Созданная им группа исполнителей настенной росписи собора, в которую входили В. Васнецов, М. Нестеров, братья Сведомские, В. Котарбинский, М. Врубель, С. Костенко, В. Замирайло и другие, представляла собой первое творческое содружество киевских художников, которых объединяла вера в возрождение живописи на религиозной основе. Со временем, считали они, высокий дух христианства внутренне преобразит искусство, вдохнув в него новую жизнь. И всё это должно было начаться здесь, в Киеве, на стенах нового собора. После двух десятилетий господства передвижничества религиозные искания художников, да еще в недрах самой церкви, многими их современниками воспринимались как отступничество от идеалов реализма, просвещения и прогресса. Они подвергались нападкам и «справа» и «слева». Чтобы сбить накал страстей, проф. Прахов устроил в Петербургском университете, где он преподавал историю искусства, нечто вроде постоянно действующей выставки новой киевской религиозной живописи.

«О работах Васнецова, — писал в 1887 г. обозреватель журн. «Дело», — публика имеет некоторое понятие по

их эскизам, о которых кое-что писали прошлой зимой в Петербурге. Кое-кто их и видел в университетском кабинете г-на Прахова. Видел их и г-н Стасов, не верящий в Васнецова, но никому об этом не сказал. Эскизы, конечно, ничего от этого молчания не потеряли, художники тоже. В проигрыше только «Новости», где играет первый барабан (винительный падеж) г-н Стасов, да читатели «Новостей» — больших и малых.

На стенах Владимирского собора г-н Васнецов делает чудеса. В одну зиму и лето 1886 г. он написал Христа в главном куполе и колоссальную Богородицу в алтаре. Традиционному лику Спасителя художник сумел придать глубокое выражение строгой мысли и спокойного чувства; лицо дышит и живет божественной, безмятежной уверенностью в том, что оно — открытая истина и спасение людей. Конечно, г-н Стасов полагает, что спасают людей постовые городовые и дежурные чины речной полиции, но он делает маленькую ошибку, принимая Петербург за мир, а Гороховую улицу за путь жизни».

Уже по этим словам запальчивого критика можно понять, какие великие надежды связывались тогда с успехом В. Васнецова и его товарищей, как свято верили их современники в возможность новых путей живописи, в историческую миссию церковно-монументальной живописи, призванной

вывести художественную мысль из того тупика, в который завела ее реалистическая доктрина и натурализм. Историки искусства утверждают, что в те годы Киев стал как бы центром художественной жизни империи и многим казалось, что от успеха или неуспеха живописцев Владимирского собора во многом зависело, каким путем пойдет живопись России и Украины в последующие десятилетия.

Свято верили в свою историческую миссию и художники праховского кружка. Во всяком случае ничто иное не могло подвигнуть их на такое многотрудное дело. Они работали, не покладая рук и не рассчитывая на заработки. Упомянутый уже обозреватель писал по этому поводу так: «Васнецов пишет картины и орнаменты главного алтаря /.../ чуть ли не задаром, по 10 тысяч в год с его красками, тогда как одна картина лучших передвижников идет по 5, по 10 тысяч». То же самое читаем и в воспоминаниях Нестерова: «Условия самостоятельной работы были очень скромны. За шестидесятирублевую картину я должен был получить 1500 руб. Так или почти так получали и мои старшие коллеги — Сведомский и Котарбинский. Да, в те времена вопрос платы для меня не был существенным. Я горел желанием скорее попытать свои силы на новом для меня поприще».

Опыт содружества нового искусства и православной церкви оказался неудачным. Стремление внести реалистические черты в традиционные образы православных святых не нашло поддержки даже в среде наиболее образованного и интеллигентного киевского духовенства. Многие духовные лица с трудом скрывали негодование по поводу живописных экспериментов и молчали лишь потому, что худож-

ники Владимирского собора пользовались покровительством царя, министра МВД, обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева и киевских генерал-губернаторов. С другой стороны, стенопись художественной артели Васнецова подверглась жестокой (по большому счету справедливой) критике А. Бенуа, который увидел в ней «убийственную и кошмарную ложь» и обвинял в провале великого начинания самого В. Васнецова. В начале XX в. от человека с «хорошим вкусом» уже не требовалось восхищаться живописью Владимирского собора, хотя на бытовом уровне она продолжала пользоваться огромной популярностью, и в мемуарах людей того времени о ней можно найти немало восторженных отзывов (например, в воспоминаниях А. Вертинского).

Художественная артель Прахова и Васнецова сыграла заметную роль и в истории бытовой культуры Киева. Живописцы жили сообществом, своим кругом. У них был свой быт, свои нравы, это было для Киева ново. Горожане проявляли к ним живой интерес. В те годы киевский дом проф. Прахова был одновременно и центром художественной жизни и модным салоном. Благодаря ему Киев приобщился к религиозно-художественным исканиям своей эпохи и мистической проблематике раннего символизма. В доме Прахова царила своеобразная божественная атмосфера с религиозно-мистическим оттенком. Здесь собирались профессоры и артисты, художники и писатели, журналисты и предприниматели, видные чиновники и студенты. Вся эта публика общалась весело и непринужденно, ценились не чины и деньги, а искренность, ум и талант, яркая индивидуальность и общительность. В кар-

ты у Прахова не играли, посвящая свой досуг более содержательным занятиям — разговорам об искусстве и жизни, воспоминаниям и забавным историям, шарадам, декламации, пению, музицированию, литературным играм и другим разумным развлечениям. Нравы кружка оказали заметное влияние на вкусы киевлян. Специфический праховский мистически-богемный дух был ощутим в среде творческой интеллигенции города еще в 1960—1970-е годы. Он выветрился лишь в последнее время, не выдержав соседства с отрезвляющей пошлостью буржуазной масскультуры.

Среди постоянных посетителей старокиевского артистического салона было немало ярких личностей, острятков и талантливых рассказчиков. Здесь возникло множество анекдотов, шуток, побасенок. Лучшими из «праховских рассказчиков» называли Александра Сведомского (для своих — «Барон»), писателя Иеронима Ясинского (Максима Белинского) и сына профессора — Николая Прахова. Отменным шутником считался и лидер «художественной артели» Виктор Васнецов. «Любил он пошутить, — вспоминал Н. Прахов, — и когда был в ударе, сыпал остротами как из рога изобилия. Не помню сейчас, чем однажды рассмешил Васнецов всю компанию за вечерним чаем, только помню, как моя мать сказала в шутку, что будет платить ему по 15 копеек за каждую удачную остроту. Не прошло и четверти часа, как она вынуждена была «объявить себя банкротом и прекратить платежи», так разошелся Виктор Михайлович».

Многие из художнических баек покинули стены профессорского дома и пошли гулять по городу. Среди дошедших до наших дней (хоть часто и перделанных) образцов «праховского

фольклора» можно назвать никем не зафиксированные анекдоты о похождениях Врубеля по киевским значным местам и о мошенничестве итальянских фирм, поставлявших мраморную резьбу для Владимирского собора. Об «итальянцах», которые чуть было не подсунили доверчивому профессору несколько ящиков мусора вместо резьбы, помнится, рассказывал мне ныне покойный книжный график Григорий Ковпаненко. А о похождениях Врубеля в «номерах» над рестораном «Маркиз» (в 1970-х годах он назывался «Лейпциг») «знали все», хотя в этих нелепых слухах не было и полслова правды. (Сам одиозный «киевский небоскреб» на Владимирской (№39) появился уже после переезда художника в Москву. Врубель действительно бывал в старом доме на этой усадьбе, но ходил он туда не к «девка», а к помещику-меценату А. П. Тарновскому).

Некоторые анекдоты из праховского салона автору этих строк случалось слышать в 1960—1970-х гг. также из уст Нины Мелитоновны, вдовы великого мастера киевской художественной фотографии Михаила Григорьевича Болотова. Она хорошо знала семью сына профессора и слышала от него немало интересных историй. Среди ее рассказов встречались и такие сюжеты, которых не найдешь ни в каких мемуарах. Казалось бы, что стоило взять и записать их, но увы, мы всегда полагаемся на свою память, а она нас жестоко подводит...

Часть предлагаемых читателю миниатюр заимствована из хранящейся в моей библиотеке книги Н. А. Прахова «Страницы прошлого». На титульной странице подписи: «На добрую память Нине Мелитоновне от Праховых. 4 октября 1958 г.» Свежо преданье...

В. М. ВАСНЕЦОВ

Виктор Михайлович Васнецов (1848—1926) — выдающийся русский художник, академик. Родился в Вятской губ. Учился в Вятской семинарии, в петербургской школе поощрения искусств (у И. Крамского) и в Академии художеств. С 1878 г. — член Товарищества передвижников. В молодые годы увлекался реалистическими сюжетами из жизни городской бедноты. С 1880-х гг. основным предметом его творческих интересов стал эпос и мир народной сказки. В 1885—1896 гг. возглавлял группу художников, работав-



ших над фресками Владимирского собора и мечтавших о возрождении монументально-религиозной живописи.

Васнецов всю свою жизнь мечтал написать сикстинско-русскую мадонну /.../ Однако Мадонна Васнецова не всем нравилась. Киевские церковники относились к ней критически. Митрополит Флавиан, посетив собор, так отозвался о запрестольном образе Богородицы:

— Произведение сие прекрасно, но ему более приличествует находиться в картинной галерее, но не в храме Божием. (174, 33).

В те месяцы моего пребывания в Киеве /конец 1890 — начало 1891 г. — А.М./ Васнецова так легко сравнивали с величайшими художниками Возрождения — Рафаэлем, Микеланджело и другими, а он в шутку говаривал, что где уж ему, хоть бы Корреджио-то быть... (282, 169).

В поисках новых типов художник не может отрешиться от впечатлений реальной действительности, и окружающие его люди в той или иной степени отражаются в его произведениях. Так, у Виктора Михайловича в чертах лица пророка Моисея можно узнать художника С. И. Светославского, в Иоанне Златоусте — известного киевского психиатра, профессора И. А. Сикорского, в Ефросинье Полоцкой — М.А. Гудим-Левкович, молодую де-

вушку, даже позировавшую в соборе несколько минут по просьбе Васнецова, чем она потом очень гордилась.

(315, 79—80).

Прахов в те дни /в начале 1891 г./ был в Петербурге, хлопотал о новых ассигнованиях на собор. Необходимо было добить-ся средств на каменную лестницу на хоры, вместо деревянной, иначе, как тогда говорил Васнецов, «князь Владимир в лаптях будет ходить»*.

(282, 170).

**Поводом к этой остроте послужило то обстоятельство, что сцены из жизни кн. Владимира предполагалось писать на стенах лестницы на хоры.*

Н.А. Прахов в «Страницах прошлого» приводит слова Виктора Михайловича: «Однажды весной Александра Владимировна* вынесла в первый раз на воздух Мишу, еще младенца**», и он, увидев плывущие по голубому небу облачка и летящих птиц, от радости всплеснул обеими ручонками, точно хотел захватить, прижать к сердцу все, что увидел в первый раз в жизни» /.../

Приступая к росписи Владимирского собора в 1885 г., Виктор Михайлович пишет эскизы /образы Богородицы/, и теперь это полугодовалый Миша весной всплескивает ручонками навстречу облакам и птицам и из глубины алтарной абсиды простирает ручки к стоящим в храме. К нему обращаются взоры молящихся, чаще других — матерей, просящих помощи и защиты.

Этот постоянно проливаемый благодатный молитвенный поток должен был пролиться в русло жизни того, чей облик принял Младенец-Христос /.../

У маленького Миши, у взрослого Михаила Викторовича, у завершающего свой путь на земле о. Михаила была та же, что и у его отца, непритязательная скромность, незлобивость к людям. Нет, это не «всепрощающая» любовь, для «всепрощающей» любви нужно пережить гнев, обиду или просто побороть нерасположение к человеку, но именно эти чувства были чужды о. Михаилу, поэтому его любовь к людям лучше определяется словом «вспонимающая».

(94, 21).

**Жена В. М. Васнецова, урожд. Рязанцева.*

***Миша — сын художника — Михаил Викторович Васнецов (1884—1972), послуживший моделью для изображения младенца Иисуса на образе знаменитой запрестольной Богородицы во Владимирском соборе. Работал ассистентом в Астрономической обсерватории Одесского университета (1912—1914). В 1914 г. призван в армию. В 1916 г. назначен преподавателем в Школу лепчиков-наблюдателей в Киеве. В 1920 г. эмигрировал. В 1932 г. рукоположен в диакона, с 1933 г. — священник при православной Николаевской церкви на Староместской площади в Праге. Автор книги «Русский художник В. М. Васнецов».*

/Святыня, измеряемая аршинами/

Некоторое подлежащее учреждение* пришло в ужас, рассчитав, во что обойдется квадратный аршин живописи Васнецова и Сведомского /.../ Те, кто измеряет Васнецова аршинами**, найдут, что поверхность художника сильно уменьшилась за прошлую зиму***. (96, 22, 23).

*Имеется в виду консистория Киевской митрополии.

**Намек на материальные лишения художника.

***Васнецов взял многие расходы по работе над фресками на себя. «Прошлая зима» — зима 1886/1887 г., когда Васнецов, не жалея себя, напряженно работал в храме и за короткий срок создал запрестольный образ Богоматери и Спаса — в куполе.

У 1885 році ми з Віктором Михайловичем Васнецовим адикались в Римі /.../ Повів я Віктора Михайловича у каплицю св. Сікста, де роботи Мікеланджело — стеля і на стіні «Страшний суд».

— Ну я, — кажу, — вас тут залишаю. Коли по вас зайти? Тепер 12 годин.

— Раніше третьої, каже, не приходьте.

Я зробив великі очі:

— Невже ви три години дивитимесь на цю стіну і стелю?

— Та вже коли дивитись, то дивитись.

Я прийшов рівно о третій годині по Васнецова, а він тільки відтирав свою шпю, тому що весь час дивився то на стіну, то на стелю.

(272, 126—127).

С огромной палитрой, длинным муштабелем и пачкой кистей разного размера, тоже длинных, поднимался он на высокие леса и там работал, пока позволял свет. Работал с большим увлечением, не считаясь с тем, закончены ли плотниками леса, прибиты ли поручни. В результате такого отношения к «технике безопасности» Васнецов однажды чуть было не поплатился жизнью. Забыл, что поручни еще не набиты, стал отступать спиной от стены, чтобы издали взглянуть на работу, и полетел вниз с высоты нескольких саженей. Сбежавшиеся на шум падения товарищи-художники подняли его в бессознательном состоянии, как умели привели в чувство и доставили домой. Приглашенный ими тотчас же хирург не нашел никаких переломов или вывихов. Внутренние органы тоже оказались в порядке, и только огромные синяки и кровоподтеки, украсившие все тело во многих местах, заставили лежать дома, в постели, несколько дней.

(315, 72—73).

Малороссу отпущено больше /чем великороссу. — А. М./, по ум у него такой тяжелый, что работать им нужно на пале. Я знаю одного очень умного и талантливого великоросса, закоренелого москвича, принужденного на три года поселиться в Киеве*. Он живет уже год, сильно занят работой и все-таки тоскует по своей грязной, вороватой Москве.

— Там, — говорит он, — холодней, люди жестче, но там народная жизнь кипит и бурлит, социальные щи варятся, а тут их борщ с салом — черт его разберет: готов он уже или еще не приставлен к огню, не нагрелся — или уже остыл. Там, в Москве, из народного хаоса нет-нет да и возникнет нечто в сильной, прекрасной или безобразной, но всегда сильной форме, — что поразит, наэлектризует, заставит напрячь тело и душу. А тут каждый в своем муре, в своем вишневом садочке**, а встретится на улице:

— Та, Боже ж милый! Та заходите ж до мене. Горілки вип'ємо, вишнівки, спотикачу, поговоримо о поезії, о музыке, о вдохновении, о дружбе!

— Да я с удовольствием зайду, только не знаю вашего адреса.

— А що там той бісів адрес?! Холера його в бік! Ви так заходите... Садочок, спотикач, дружба, вдохновение...

Так и не скажет, где живет, а на вид такой ласковый, точно герой сентиментальной думки.

— Бог с ними, — заключил москвич, — не ко двору я им — хочу назад, к моим кацапам; там по крайней мере плут — так форменный плут, о дружбе и вдохновении уж и не рассуждает. А хороший человек — так прямо адрес говорит: приходи, говорит, на Вишневую Горку, давай о будущем человечества и о графе Льве Николаевиче дебатировать.

(96, 16).

**По всей вероятности, автор имеет в виду В. Васнецова и пересказывает здесь свой разговор с ним.*

***Это едва ли верное сравнение культурной жизни Москвы и Киева говорит о том, что русским приезжим художникам, расписывавшим Владимирский собор, не удалось сблизиться с кругами украинской творческой интеллигенции, проникнуться их проблемами и интересами.*

Сам Васнецов ни на чем не играл и не пел. Только у себя дома, работая над «Богатырями», иногда увлекался и начинал что-нибудь напевать. Сначала тихо, а потом все громче и громче, по мере увлечения работой. Как-то раз вечером, за чаем, он рассказал нам, смеясь:

— Работаю я, работаю и незаметно для самого себя распедаю. А маленький Миша шести лет, игравший тут же, в углу, подходит ко мне и совершенно серьезно говорит: «Папа, не пой. Когда ты поешь, мне делается страшно».

(315, 71—72).

Виктор Михайлович рассказывал, как он поступал в Академию и как ему показалось, что он провалился на одном экзамене по /специальным/ предметам. «Пойти в канцелярию проверить я не решился /.../ Не знал, куда приткнуться, где искать работу» /.../ На следующий год он решил снова держать экзамен в Академии художеств, написал прошение и пошел подавать его в канцелярию. Секретарь, принявший бумагу, прочитал фамилию и с удивлением спросил:

— Так зачем вам еще раз держать экзамены? Ведь вы выдержали все в прошлом году!

Вся природная деликатность и скромность Виктора Михайловича сказалась в этом анекдотическом эпизоде его жизни.
(315, 54).

Чтобы не отвлекать художников от работы /во Владимирском соборе. — А.М./, чаще всего гостей водил мой отец /проф. Прахов/, но как-то раз случилось, что явились неожиданно с пропуском генерал-губернатора А. П. Игнатьева две молодые приятные женщины, приехавшие из Петербурга. Отца моего не было в соборе и роль любезного хозяина пришлось взять на себя Васнецову.

— Водил я этих петербургских дам по всему собору, — рассказывал он. — Водил и по лесам заставлял лазить за мной, и по лестнице на хоры. Думал, совсем заморил, а они все ходит и ходят и по-французски между собой разговаривают, а я делаю вид, что их не понимаю... А когда они осмотрели все и спустились вниз, одна из этих дам спросила меня:

— А откуда вы берете все эти картины?

Я рассвирепел и коротко отрезал:

— Из мозгов, сударыня!

Дама не поняла, посмотрела на меня с удивлением и сказала:

— А мы думали, что это вы из «Нивы» срисовываете!

Счастье их, что мы стояли внизу! Им кажется, что лучше, чем в «Ниве» «картинок» не бывает!

(315, 77).

Посетителей, мешавших работать в соборе, Виктор Михайлович не любил, особенно «светских дам», с которыми нельзя было расправиться так решительно и просто, как он поступил с одесским генерал-губернатором фон Роотом, явившимся в собор без пропуска.

Работа подходила к концу. Слава о художественных успехах Васнецова, братьев Сведомских, Котарбинского, Нестерова и Врубеля распространилась не только в России, но и в Европе. Число приезжих и киевских жителей, желавших видеть их работы, росло с каждым годом. Им надо было показывать собор, давать объяснения, — все это отвлекало художников от работы. Поэтому строительный комитет выработал строгие правила для посетителей, которые были вывешены на дверях собора снаружи, и старожу Якову было внушено никого не пускать без визитной карточки моего отца или председателя строительного комитета, которым тогда был губернатор Федоров.

Однажды днем подъехал в парном экипаже к собору какой-то важный генерал, в шинели на красной подкладке, и, минуя оробевшего сторожа Якова, вошел в собор. Там он стал ходить решительными генеральскими шагами, постукивая каблуками, покрикивая, изредка издавая громкие междометия вроде: «Aga!», «Oro!», «Вот как!» Работавшие на лесах братья Сведомские, Котарбинский и Васнецов, привыкшие к тому, что «высокопоставленных» посетителей обычно сопровождает мой отец /проф. Прахов/ и они не шумят, стали заглядывать вниз и отвлекаться от своего дела.

Виктор Михайлович, всегда такой кроткий, не выдержал. Спустился к шумному посетителю и вежливо попросил его предъявить пропуск в собор.

— Я одесский генерал-губернатор фон Роот. Какой вам еще нужен пропуск?

— А я — художник Виктор Васнецов, которому вы мешаете работать. Будьте любезны, прочтите правила для посетителей собора, обязательные для всех, независимо от чинов и рангов.

Васнецов спокойно вывел генерала на паперть, где были вывешены эти правила в рамке под стеклом, и закрыл за непрошеным гостем решетчатую железную дверь.

— Я буду жаловаться на вас в Петербург! Пошлю телеграмму министру внутренних дел. Меня все знают при дворе.

Но Виктор Михайлович был непреклонен и не робкого десятка — закрыл перед ним дверь на засов. Долго потом не могли приняться за прерванную работу развеселившиеся художники. Поздравляли Васнецова с блестящей победой.

(315, 76—77).

Всему он отдавался как ребенок, увлекался не менее нас /детей/ /.../ Мы купались, ловили рыбу (карасей), чему папа тоже отдавался с увлечением. Не любил только надевать на крючок червяков и снимать с крючка рыб. Его мягкость и доброта и здесь сказывались. Неприятно было мучить кого бы то ни было. Этим обыкновенно занимались я или сестра.

(62, 430).

** Речь идет о летнем отдыхе семьи Васнецовых в имении генерала Былинского под Броварами в 1887 и 1890 гг.*

/Обряд освящения Владимирского собора 19 августа 1896 г./

Меня /Нестерова/ с Васнецовым и Котарбинским заехали куда-то к стене, и мы простояли бы (герои дня!) в блаженной тишине всю службу, если бы кто-то (появится, какая-то дама) случайно не увидела, что некий исполнительный и рачительный не в меру пристав теснил нас еще дальше. Мы почему-то мозолили ему глаза. И вот в этот самый момент сердобольная душа увидела это, возмутилась, прошла вперед, сказала генерал-губернатору графу Игнатьеву и Константину Петровичу Победоносцеву, что тех, «кто создал собор и должен быть впереди всех — Васнецова и Нестерова — какой-то пристав... и т. д.».

Немедленно после этого последовало приглашение нам пройти вперед, и мы — все художники — получили место сейчас же за царем и великими князьями.

Освящение подходило к концу. Предстоял крестный ход вокруг собора во главе с митрополитом /Иоанникием/, со всем духовенством, царем и всей царской фамилией, а также избранными, особо почетными лицами. Вот тут-то мы — герои дня! — снова были позабыты и не попали в число тех, что пошли в крестном ходу. Это было горько, особенно Васнецову, положившему на собор весь свой огромный талант и 10 лет жизни*.

(282, 238—239).

А. В. ПРАХОВ

Адриан Викторович Прахов (1846—1916) — известный искусствовед, археолог и художественный критик. Родился в г. Мстиславле в Белоруссии. В 1867 г. окончил Петербургский университет. Преподавал там же историю искусств (1873—1887) и в Академии художеств (1875—1887). В 1887—1897 гг. — профессор Киевского университета. (В 1897 г. вернулся в Петербургский университет.) Редактор журнала «Пчела» (1875—1878) и сотрудник «Художественных сокровищ России» (1904—1907). Автор исследований по искусству Египта, Греции и Древней Руси. В 1880—1882 гг. исследовал мозаики и стенную живо-



А. В. Прахов, Н. Е. Репин, Н. И. Мурашко

пись Софийского собора и Кирилловской церкви в Киеве. Руководил внутренней отделкой Владимирского собора (1884—1896) и реставрацией фресок Кирилловской церкви.

Жизнь он представлял себе только деятельную, людей, привыкших к умеренности и аккуратности, называл моллюсками и про киевскую чиновную аристократию, считавшую себя «сливками» общества, говорил, что они делают только то, на что способны сливки — сидят по домам и киснут от скуки и безделья.

(315, 94).

/Праховская богема/

Всякий, или почти всякий, вступивший за черту праховской оседлости, должен был крепко помнить, что его здесь, за этой чертой, не спасет от неожиданных проявлений этой эксцентричности «ни чин, ни звание, ни сан...» Всякий, от простого смертного до особ высокопоставленных, не мог быть уверенным, что однажды, в тот момент, когда такая особа или не особа менее всего ожидает, например, во время вечернего чая, при более или менее многочисленном обществе, не скажет ему мадам «дурака», или важный гость из Петербурга, профессор со всероссийским именем не заслужит «болвана», или какой-нибудь из местных обывателей, тоже за чаем, не почувствует, что ему за воротник рубашки не налили молодые Праховы холодной воды.

И нужно было видеть физиономии «вновь посвящаемых», их полную растерян-

ность, хотя в редких случаях гость не бывал предупреждаем о таких «возможностях», готовился к ним, и часто, убаюканный за вечер, получал то, что ему сулили, когда казалось опасность уже миновала. Простившись, провожаемый радушной семьей, гость шел в переднюю, мысленно упрекая тех, кто его запугивал, считая, что он, благодаря каким-то своим качествам или заслугам, был счастливым исключением, — в этот-то момент и оказывалось, что пропала его шляпа. Ее искали все, и гость, и вся эта шумная, такая радушная семья. Гость терял терпение, догадываясь, что поспешил со своей самоуверенностью. В этот момент находилась его злополучная шляпа. Она висела, прикрепленная бечевкой к потолку передней.

«Сюрприз» готовился в то время, когда гость ораторствовал за чайным столом, когда ему казалось, что он — центр внимания. Готовился сюрприз резвыми детьми Праховых — Кокой и толстой Олей, иногда при участии «Барона» — Сведомского.

Такие проделки варьировались без конца, в худшую или лучшую сторону. Иногда вместо пропавшей шляпы оказывалось, что калоши важного гостя прирастали к полу, а он, увлеченный прощальной беседой, не замечал, что ... они прибиты к полу гвоздиками. Много мог самоуверенный человек получить в этом доме неожиданностей...

За редким исключением проделки сходили детям с рук благополучно. «Готовьтесь ко всему — здесь все возможно!» — эти слова должны были бы сопутствовать входящему в квартиру Праховых.

Чем это объяснить — трудно сказать: дети были во всех случаях, кроме описанных, очень воспитаны (старшая Леля в шалостях никогда участия не принимала, но иногда о затее знала и ... молчала).

Такая распушенность могла быть объяснима тем, что Э.А. Прахова была очень истерична, избалована, с молодости была окружена средой артистов, часто склонных ко всевозможным эксцентрическим выходкам, инсценировкам. Как знать?

(282, 196—197).

Я понимаю, — говорила она /Эмилия Львовна Прахова. — А.М./ мне /о древних серебряных подсвечниках/, — хранить у себя возможно долго такие изумительные вещи, пленяющие нас не столько своим удобством, сколько историческим происхождением /.../ Но Адриан Викторович привез на днях из Египта 12 голов мумий и столько же набальзамированных кошек, и я не знаю, как от них избавиться. Я не сомневалась, что его там жестоко надули, потому что эта древность, которой уже 3 тысячи лет, страшно испортилась, и в столовую нашу нельзя войти, я начинаю бояться чумы.

(471, 218).



Эмилия Прахова.
Портрет Репина. 1879 г.

М. А. ВРУБЕЛЬ

Михаил Александрович Врубель (1856—1910) родился в Омске. Учился в петербургской Академии художеств (1880—1884) у П. Чистякова. В 1884—1889 гг. жил в Киеве, куда приехал по приглашению А. Прахова для реставрации фресок Кирилловского монастыря. Для этого храма написал знаменитый алтарный образ Богородицы и фреску «Сошествия Св. Духа» на хорах. Сделал эскизы для росписей Владимирского собора, которые не были использованы. В Киеве написал также несколько известных картин («Девочка на фоне персидского ковра», «Восточная сказка» и др.).

В Киеве он не прижился из-за своего характера и испортившихся отношений с заказчиком — руководителем художественных работ во Владимирском соборе и Кирилловской церкви А. Праховым. «Отношение моего отца к М.А. Врубелю, — пишет Н. Прахов, — в начале их знакомства полное увлечения его выдающимся та-



лантом, впоследствии несколько охладело. Случаи беспричинного уничтожения им вполне законченных произведений и рассеянный образ жизни, заставлявший его неожиданно бросать работу над орнаментами в соборе, убедили отца в деловой неустойчивости художника».

Основные произведения, поставившие Врубеля в ряд классиков символизма, были созданы позже, в Москве, куда он переехал в 1889 г.

К деньгам /Врубель/ относился очень легко. Зарабатывал их с трудом, а тратил так, точно они на него сыпались с неба. Оттого и свои работы ценил дешево. Помню, раз пришел к нам и радостно сообщил моей матери:

— Ведь вот, Эмилия Львовна, бывают же на свете такие хорошие люди! Я понес в ссудную кассу Розмигальского свою акварель, просил за нее два рубля, а он сам дал мне целых пять.

(315, 119).

Одеваться Врубель любил не так, как все, носил костюмы, покрой которых придумывал сам /.../ В Киеве, первое время по приезду, Михаил Александрович носил черную бархатную курточку, такие же короткие штаны, а на ногах — белые чулки и шпильки /.../ Бархатный черный берет на голове дополнял сходство с венецианцем.

Такой необычайный наряд обращал на него внимание прохожих на улице и публики в кафе или театре, что, по-видимому, было приятно молодому человеку.

Как-то раз, осенью, Михаил Александрович пришел к нам в новом полусезонном пальто с семью суконными пелеринками, в коричнево-зеленоватых тонах поблеклых осенних листьев. Покрой был придуман им самим. Показываясь на улице в таком наряде, Врубель не смущался вниманием некоторых прохожих, видевших ксэндза с одной пелериной или швейцара в передней Института благородных девиц и генерал-губернатора с двумя, но никогда не выдавших осеннее пальто с семью пелеринками на обыкновенном городском жителе.

(315, 116).

Как-то раз, после того как Врубель писал орнаменты в /Владимирском/ соборе, он складывал в ящик свои материалы, собираясь «шабашить», идти в город в кондитерскую «Жорж», а оттуда — к нам обедать. Сведомский обратил его внимание на то, что кончик носа слегка запачкан зеленой краской. Михаил Александрович поблагодарил, посмотрел на себя в зеркало, а затем, вместо того, чтобы смыть скипидаром небольшое пятно, взяв пальцем с палитры ярко-зеленую краску «Поль-Веронез» и тщательно окрасил ею весь нос. Потом пошел по намеченному маршруту, обращая на себя всеобщее внимание прохожих и удивив продавщиц кондитерской.

У нас дома моя мать /Э.Л. Прахова. — А.М./ заметила ему:

— Михаил Александрович, вы нечаянно запачкали весь нос зеленой краской!

— Нет, Эмилия Львовна, — отвечал он ей совсем серьезно, — это я сделал нарочно — так ведь красивее! Ведь женщины красятся, почему же не краситься мужчинам? Только не так, как они. Люди сейчас еще не понимают, но скоро все мужчины будут красить, как я, свои носы в разные цвета в зависимости от характера и темперамента. Одному подойдет желтый, другому синий или красный, третьему — лиловый. Мне, например, идет этот зеленый. Это будет очень красиво!

Мама приняла все это за шутку и посоветовала ему пройти в ванную комнату и хорошенько умыться горячей водой перед обедом, что он и сделал.

(315, 116).

Задікавившись у «Шато» невеличкого сім'ю англійців, що складалася з двох сестер, маленького їхнього брата і батька*, Михайло Олександрович щоденно там бував. Усі члени сім'ї англійців ставились до нього, мабуть, хоч без особливої ніжності, але дружнєлюбно. Та що таке бідний артист для ділків кафе-шантану?! Бідолошний М. О. стовбичив там цілими днями і вечорами; його «предмет» раптом на очах десь зникав, і тут його розважав батько. З сумною посмішкою розповідав про це сам М. О. «Предмет» з'являвся, як і зникав, без усяких пояснень.

Це захоплення тривало не довго. Артисти «Шато» перекочували кудись в інше місце. У М. О. промайнула навіть думка супроводжувати їх, але ця думка, на щастя, не була міцна.
(272, 75).

**Речь идет о семействе эстрадных артистов, выступавших в платном городском увеселительном парке «Шато-де-Флер» по контракту.*

В Києве однажды пришел к нам вечером В. М. Васнецов. Поздоровался со всеми и, усевшись на свое постоянное место за чайным столом, сказал, обращаясь к моему отцу /проф. Прахову/:

— Адриан, ты эти дни работал все дома, давно не заходил в /Владимирский / собор и не видел еще, какую чудесную Богоматерь написал на холсте Михаил Александрович. Приходи завтра утром, я тебе покажу, если его еще не будет. Она стоит в крестильне — значит, всем можно смотреть.

Так и условились. На следующее утро отец по дороге в собор зашел за Виктором Михайловичем.

Пришли, когда еще никто из художников не работал на лесах. Сторож Степан отворил дверь в крестильню. Мольберт Врубеля стоял пустой.

— А где же Богородица Михаила Александровича? — спросил сторожа мой отец.

— А ось стоять біля стіни, зараз поверну, побачите.

С этими словами старик повернул большой подрамник, на котором вместо Богородицы гарцевала на рыжем коне цирковая амазонка. Оба так и обмерли от неожиданности /.../

Как раз в эту минуту пришел сам автор картины, на которого с упреками обрушился Васнецов /.../

— Ничего, ничего! — заторопился оправдаться немного смущенный Врубель.

— Я напишу другую, еще лучше прежней. Приходите посмотреть через несколько дней.

(315, 121—122).

В Києве о нем /об отношении Врубеля к своим холстам. — А.М./ рассказывал в свое время мой отец /А. В. Прахов/, а в Москве — М. В. Нестеров:

— Рассказывал вам когда-нибудь Адриан Викторович, как Врубель писал «Моление о чаше» и что из этого вышло?

— Нет, не рассказывал.

— Ну, так послушайте. Врубель куда-то пропал. Давно уже в соборе не появляется и к вам не показывается. Забеспокоились, не заболел ли случайно? Вот отец ваш и стоворился с Виктором Михайловичем Васнецовым на другой день, с утра, по дороге в собор, навестить Михаила Александровича. Пошли к нему в «мебелерашки» часов около десяти. Дверь в коридор приотворена. Врубель спит крепким сном, а прямо против двери стоит на мольберте громадный холст, и на нем великолепно написанный «Христос в пустыне» или «В Гефсиманском саду». Совсем законченная, оригинальная композиция, блестящая по живописи, полная настроения вещь! Только пра-

вый угол внизу еще не закончен — шпатель или бурьяны там углем намечены... Останется дописать, подписаться, и картина готова! Они пришли в восторг.

— Михаил Александрович! Что же это вы спите!.. Такую великолепную вещь написали, и нам ничего о ней не сказали! — расталкивает Врубеля ваш отец, а Врубель только мычит что-то в ответ спротонок.

В конце концов растолкали /.../ Потом, когда он оделся, Виктор Михайлович остался с ним, а ваш отец (ведь вы знаете, какие оба были горячие! Для вашего отца не существовало пресытствий раз дело касалось искусства) сказал:

— Я сейчас вернусь, — а сам на извозчика и покати к Ивану Никольичу Терещенко — киевскому меценату, не посмотрел на то, что для такого важного барина час еще ранний...

Принял его, кое-какие дела собирался делать в своей квартире, но Адриан Викторович с таким увлечением рассказывал про новую работу Врубеля, что раскачал и повез с собой в «меблирашки». Поздоровались. Иван Никольич походил, походил около картины, и с одного бока посмотрел на нее, и с другого — все молча. Пожевал, по привычке, губами и сказал Михаилу Александровичу:

— Я эту картину у вас покупаю. Вы только доделайте правый нижний угол и подпишитесь. Остальное не трогайте. Сколько она стоит?

Ну, вы сами знаете, как дешево ценил Врубель свои работы... Дороже 75 рублей никогда не просил. А тут — неизвестно, как язык повернулся, — спросил триста рублей.

Иван Никольич молча вынул из левого кармана портфеля объемистый бумажник, считал аккуратно три сотенные, сложил их и положил на стол под какую-то книгу:

— Так я к вам через три пришла своего человека за этой картиной.

Распрощался со всеми и уехал. А Васнецов, ваш отец и Врубель пошли в собор работать.

Для через два вдвоем пошли посмотреть, как закончил картину Михаил Александрович. Приходят. Дверь в коридор не заперта. Врубель по-прежнему спит, а прямо против двери, на мольберте, тот же холст и на нем... скачет на коне цирковая наездница в трико, коротеньких кисейных юбочках и огромном декольте, а «рыжий», клоун, стоит на парашуте и держит обтянутый папиросной бумагой огромный обруч, через который цирковая «дива» готовится прыгнуть... Только внизу, да кое-где сверху еще остались следы «Моления о чаше»...

— Михаил Александрович! Михаил Александрович! — набросились оба на спящего Врубеля. — Что вы наделали?! Как можно было так испортить совершенно готовую, прекрасную вещь, проданную вами, за которую и деньги вам уплачены!!!

— Ничего, ничего — я допишу. Вместо той он получит эту, еще лучшую картину...

Не знаю, как отнесся к такой замене Иван Никольич... Говорили, что на этой цирковой наезднице Врубель написал свою богородицу «Оранту». Все может быть.

Так закончил М. В. Нестеров свой рассказ. Насчет «Оранты» он ошибся — она была написана на чистом холсте.

(315, 123—124).

Отец наш /проф. Прахов/ очень высоко ценил дарование Михаила Александровича /Врубеля/ и всегда с большим ин-

тересом и вниманием рассматривал приносимые им наброски и эскизы. Не помню сейчас, что было изображено на одном из них, только помню, что отец обратил внимание Врубеля на анатомическую погрешность в одной фигуре: в вытянутой вперед руке, кроме запястья, был рядом еще другой такой сустав.

— Нет, это не ошибка в анатомии, — возразил автор, — я ее хорошо знаю. Это добавочное тело, которого еще нет у человека, но которое необходимо, чтобы кисть руки свободно двигалась во всех направлениях.

(315, 138—139).

На новом холсте написал он /Врубель/ «Орангу». Первоначально у нее были ощерены зубы и пальцы поднятых ладоней скрючены, как когти. Васнецов посмотрел и ничего не сказал, а мой отец /проф. Прахов/ только спросил:

— Почему у нее так ощерены зубы, точно хочет кусаться, и концы пальцев обеих рук так странно согнуты, точно хочет царапаться, как кошка?

— А это же «Нерушимая стена» — это она защищается, защищается! — торопливо объяснил Михаил Александрович и даже подпрыгнул несколько раз на месте, показывая руками, как Богоматерь «защищается», точно стараясь когтями отбиться от нападающих на нее врагов.

Резкие движения не были свойственны характеру Врубеля и его воспитанности. В.М. Васнецова и моего отца это очень удивило.

Позже Михаил Александрович переделал рот и выпрямил пальцы, но это уже была не та Богородица, которая поразила и пленила Васнецова своей оригинальностью и красотой.

(315, 122).

Ценный материал, довольно верно характеризующий М.А. Врубеля в последние годы его жизни, дают воспоминания о нем Ге. В них говорится о его привычках и странностях, к которым можно отнести, например, то, что «Мопассана он не читал и презирает», или то, что только в мае 1898 года он побывал в Третьяковской галерее «в первый раз, и уверяет, что все вещи, которые там есть, ему представлялись гораздо лучше, и что он теперь разочарован».

Трудно сейчас понять такое равнодушное отношение к сокровищнице русского искусства со стороны образованного художника, каким был Врубель.

(315, 171—172).

М. В. НЕСТЕРОВ

Михаил Васильевич Нестеров (1862—1942) — выдающийся русский художник. Представитель новой школы монументально-эпической станковой живописи. Большое влияние на его творчество оказало участие в росписях Владимирского собора в Киеве в 1890—1895 гг. Здесь он создал композиции «Рождество», «Воскресение» на стенах хоров и «Богоявление» в крестильне. Написал портреты артистки М. Заньковецкой (1884) и художника М. Ярошенко (1897). Классик новой религиозной живописи («Видение отроку Варфоломею» — 1889—1890) и монументального портрета (живописные образы академика И. Павлова, скульптора В. Мухомовой, М. Горького, кн. А. Невского).

В годы молодости Нестеров вел полукочевой образ жизни. За пять лет он так и не смог прижиться в Киеве, и, расписывая Владимирский собор, тосковал по Москве, далекой России. Вспоминая свои прогулки на Владимирскую горку с Васнецовым весной 1892 года, он писал: «Перед нами расстилалось Заднепровье, заливные луга, там, за далекими холмами нам чудилась родная Москва. Как тогда мы



любили её!» Нестеров до конца не сроднился с Киевом. Прожив здесь некоторое время, он осознал, что, заключив с Праховым контракт, сделал ошибку, поскольку церковная живопись — не его призвание и что он должен писать картины, а не иконы. Художник не бросил начатое дело, но чувствовал себя в Киеве как «птица в клетке». Обретя в 1895 г. «свободу», художник часто возвращался сюда. В Киеве у него была своя мастерская, и в ней были написаны многие прославленные работы, в том числе «Святая Русь» (1901—1903), «Два лада» и «На Волге» (1905). Лишь в 1910 г. Нестеров окончательно переехал в Москву. Последние его визиты к киевским друзьям состоялись в 1928 и 1939 гг.

Для головы этой святой /Варвары/ Михаил Васильевич сделал рабочий рисунок в том же повороте с головы моей старшей сестры Елены Адриановны /Праховой/. Сохраненное в этом образе портретное сходство с ней дало повод для неожиданного конфликта художника, но не со

строительным комитетом, а с женой киевского, подольского и волынского генерал-губернатора, графиней Игнатьевой /.../ Это был единственный случай вмешательства частного лица в дела внутреннего убранства художниками Владимирского собора. Оправдывала его графиня так:

— Не могу же я молиться на Ледю Прахову.

Не знаю, была ли она так богомольна, как ей казалось.
(315, 179—180).

9 апреля 1894 г. Нестеров писал отцу: «Великомученица Варвара» нравится... И я думаю, что все же это мой лучший образ в соборе» /.../ Мнение художника вовсе не разделял комитет /по завершению собора/, нашедший в «Варваре» забвение православных догм и византийских канонов.

Попали обвинения в том, что Нестеров вместо иконы св. Варвары написал «портрет Леди Праховой»*. В компанию против «Варвары» вступила жена генерал-губернатора, графиня Игнатьева /.../ Предводительствуемые ею губернские дамы, как рассказывает О.А. Алябьева, сестра Праховой, подняли истерический вопль:

— Не хотим молиться на Ледю Прахову!

Как передавал мне Нестеров, вице-губернатор Федоров, стоявший тогда во главе комитета и хорошо относившийся к Нестерову, вынужден был передать ему, что комитет требует переписать голову Варвары, уничтожив сходство с Е.А. Праховой.
(109, 216).

**В то время Нестеров был неравнодушен к Е. Праховой. В одном из его писем 1897 г. находим признание, что он «был недалек от того, чтобы влюбиться в неё и связать её судьбу со своею».*

/Ангел — лишний/

С «Воскресеньем»* его /Нестерова/ ждало /.../ серьезное испытание.

Хотя Нестеров и принудил себя пойти на уступку комитету, комитет и в новый эскиз вмешался со своими нежестокими требованиями**. 18 декабря /1890 г./ Нестеров писал Мамоновой:

«При представлении мною второго эскиза комитет включил в неприятную для меня обязанность уничтожить в композиции ангела; для меня же этот ангел был самым приятным и симпатичным местом /.../ Но решение отца протоиерея Лебединцева есть закон и не для меня одного***. Виктор Михайлович /Васнецов/ немало попортил крови от непреклонного блюстителя православия»****.

Но Нестерову все же удалось отстоять свою композицию «Воскресения». Этому способствовало то обстоятельство, что как раз в это время эскизы Васнецова и Нестерова были отклены Праховым в Петербург. Ему удалось доказать в высших сферах, что в работах этих художников нет ничего противного православию. Победоносцев, обер-прокурор Синода, представил нестеровский эскиз «Воскресения» Александру III. Царь остался эскизом доволен, и это решило его участь: не мог же комитет

настаивать на удалении ангела с эскиза, одобренного самим Александром III****. (109, 202—203).

*Речь идет об эскизе композиции «Воскресение Иисуса Христа» в росписи запрестольных стен на хорах Владимирского собора.

**Это писалось в советские времена, когда духовенство принято было обвинять именно в «невежественности», хотя здесь следовало бы говорить о догматичности взглядов представителей епархии, входивших в комитет, поскольку в религиозной живописи они разбирались лучше художников, расписывавших собор.

***Кафедральный протоиерей Софийского собора Петр Гаврилович Лебединцев (1819—1896) прослужил в Киевской митрополии 51 год, из них на должности кафедрального протоиерея — 28 лет. Один из лучших знатоков киевской старины, автор многих научных исследований по истории церкви и православной культуры, публикатор архивных документов по истории Киевской митрополии. «Как один из самых выдающихся членов консистории», писалось в его некрологе в «Киевских епархиальных ведомостях», «по своему уму, обширным знаниям и опытности» пользовался непререкаемым авторитетом в церковных кругах, без его ведома митрополит Иоанникий не принимал никаких важных дел. Фактически протоиерей правил митрополией, и все ему подчинялись.

****Художник говорит это сгоряча и не совсем справедливо отзывается о своих критиках. До обвинений в нарушении основ православия дело, конечно, не доходило. Все выглядело проще, поскольку члены комитета заметили художнику, что ни в одном из евангелий не говорится о присутствии ангела при выходе Христа из могилы, а на композиции он занимает видное место. Кроме того, возражение вызывали палевые японские црисы, которые приезжий художник видел в киевских садах, но которых не могло быть в Иерусалиме во времена И. Христа.

*****Н.А. Прахов считает, что Нестерову помог не кто иной, как протоиерей П. Лебединцев: «В состав строительного комитета по окончанию постройки Владимирского собора входил кафедральный протоиерей Софийского собора П. Г. Лебединцев, просвещенный человек, историк и археолог. Большой знаток церковной старины, он нашел где-то подтверждение возможности такой трактовки сюжета, и ангел остался на своем месте, как был задуман автором».

Однако Нестеров жаловался на протоиерея не напрасно, ибо его «научное подтверждение» последовало после одобрения эскиза царем.



П. Г. Лебединцев

Работа во Владимирском соборе не захватила целиком М. В. Нестерова /.../ Своим делом Нестеров считал картину, а не икону /.../ В 1890 году Нестеров отказался от выгоднейшего по материальным условиям предложения расписать собор в Глухове. Это был первый из многих последующих отказов Нестерова от работы в церквях. Мотив отказа необыкновенно показателен: «При таком малом и не глубоком интересе к этому делу можно прерваться из маленького, но искреннего художника в большого ремесленника, «сих дел мастера»*.
(315, 181).

**Цитируется письмо художника к сестре, А. В. Нестеровой от 24 февраля 1891 г. Выражение «сих дел мастер» часто употреблялось на вывесках мастерских, на которых имелись изображения сапогов, париков, бочек, хомутов и т. п. ремесленных поделок.*

«На горах»* — была самая любимая М. В. Нестеровым из всех написанных им картин. На 25-й передвижной выставке, приезжавшей в Киев, ее купил сын известного врача Мering. Михаил Васильевич рассказывал, что когда случилось ему проезжать вечером в трамвае по Большой Житомирской улице мимо дома, где в ярко освещенной гостиниой висела эта картина**, он всегда становился на скамейку вагона, чтобы хоть издали увидеть свою любимицу.

Увидев ее в 1928 г. в Киевском русском музее, он так обрадовался ей, точно неожиданно встретился с любимым человеком, с которым долгие годы был в разлуке, и в присутствии музейных работников стал говорить картине нежные слова:

— Голубушка ты моя, где же ты столько пропадала?.. Как ты жила все эти долгие годы нашей разлуки?.. И как это ты уцелела?..

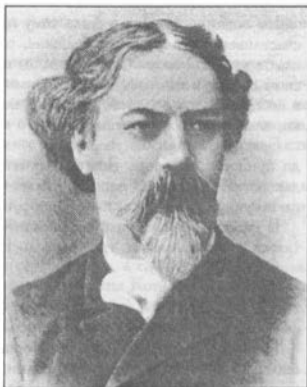
Много говорил еще нежных слов художник и ласково гладил картину рукой.
(315, 183—184).

**Картина «На горах» была написана Нестеровым в 1896 г. в Уфе или Москве. Этюды для пейзажа с рекой, островом и горю на горизонте были написаны с уфинского «Чертового городища» — места прощук больных местной кумысолечебницы.*

***Владелец картины, Владимир Федорович Мering, жил в доме №28 по Большой Житомирской.*

В. А. КОТАРБИНСКИЙ

Вильгельм Александрович Котарбинский (1849—1921) — известный польско-украинский живописец. Родился в г. Неборув (Польша), окончил Академию св. Луки в Риме (1875) и петербургскую Академию художеств (1882). Жил в Украине. Принимал участие в организации Товарищества киевских художников (1893). Создал несколько композиций для росписи стен Владимирского собора. Мастер религиозной живописи с яр-



ко выраженным мистическим настроением.

Павел Михайлович Третьяков облюбовал для своей галереи «Лепту вдовицы». Покупка не состоялась только потому, что Третьяков требовал, чтобы художник заменил свою обычную подпись латинским шрифтом на русскую. Котарбинский наотрез отказался.

— Я всегда так подписываюсь и ради денег переделывать свою подпись не стану. Вы покупаете картину, а не автограф.

Жена Павла Михайловича очень сожалела о несостоявшейся покупке и приобрела лично для себя эскиз той же картины, который после ее смерти, по завещанию, попал в Третьяковскую галерею.

(315, 303).

Показывая на фигуру поляка в /картине/ — сказке «Царевна Несмеяна», /В. Васнецов/ сказал:

— Это я нашего Катарра (В. А. Котарбинского) припомнил, как он важно, точно «круль польский», закручивал свои усы и сам при этом посмеивался. Так вот и этот знатный шляхтич у меня их закручивает. Его очередь смешить царевну Несмеяну еще не пришла, а он уже воображает себя победителем /.../ Он уже придумал, чем рассмешить, усы крутит, на своих соперников гордо поглядывает, совсем как Катарр, когда разоидется.

(315, 85).

Кузина, в которую был влюблен Котарбинский, овдовела, и когда закончился положенный по правилам римско-католической церкви срок траура, они соединили свою судьбу.

Не знаю — время ли было тому причиной, но романтический брак не оказался счастливым. Вскоре после свадьбы, состоявшейся в Варшаве, Котарбинский приехал с молодой женой в Киев, чтобы показать ей город, свои работы во Владимирском соборе и познакомиться со своими друзьями. Город бывшая кузина осматрела, в собор явилась в густой, черной вуали, под вечер, когда разошлись все художники, а знакомиться с друзьями своего мужа наотрез отказалась.

Братья Сведомские уверяли, что «знаменитая кузина» такая «рожа», что лошади пугаются на улице. Вот почему он от всех ее скрывает, а старший из них, чудаковатый Александр напевал куплеты из какой-то оперетки: «Жена моя красавица по улицам шатается, извозчики ругаются, что лошади пугаются».

В скором времени этот запоздалый брак превратился в фиктивный, кузина осталась в своем имении, где-то около Вильно.

(315, 303—304).

Вильгельм Александрович вернулся в Киев и навсегда поселился в гостинице «Прага» на Владимирской улице.

Первая комната, довольно просторная, со стеклянной дверью на балкон и окном, была сплошь заставлена мольбертами, на которых стояли законченные и начатые картины в рамах и без рам /.../ В соседней маленькой комнатке, узкой, как щель, помещалась спальня /.../

Во время гражданской войны гостиница «Прага» трижды занималась комендатурой под помещение для войск Красной армии. Всех жильцов выселяли, но Котарбинского не трогали. Дверь своей комнаты он во время перепоротов принципиально не закрывал, и приходившие к нему красноармейцы докладывали коменданту, что в этом номере живет старик художник и пишет картины. Приходил комендант, проверял документы и говорил:

— Ну, живите, вы нам не мешаете.

(315, 304—305).

Удивительное трудолюбие было отличительной чертой художника Котарбинского. Почти до самой смерти не покидал он кисть и карандаш. Пока одышали после обеда, в ожидании вечернего чая, мой отец, Васнецов и братья Сведомские, Котарбинский сидел и работал. Слушал, если что-нибудь читали вслух, участвовал в общем разговоре и создавал в каждый вечер одну или две сепии. В конце недели выбирал какую-нибудь из них, заканчивал, ставил в правом нижнем углу латинские буквы «W. K.»*, а в левом русские «Е.А.П.»** и дарил моей сестре, заботливо следившей за хозяйством и раздвигавшей вечерний чай.

(315, 303).

*Вильгельм Котарбинский.

**Елене Адриановне Праховой.

От навестившего его /художника/ приятеля, художника Владислава Михайловича Галимского или от доктора Якубского узнал о болезни Котарбинского и его опасном положении ксендза старого /Алек-

сандровского/ костела, молодой еще на вид человек /... / Вышедшей на звонок сестре /Праховой/ ксенда сказал:

— Я узнал, что у вас умирает мой соотечественник*, и пришел напутствовать его.

Сестру и меня такое вступление несколько озадачило. Вильгельм Александрович еще не был так плох, чтобы приглашать к нему священника, да и сделать это, не предупредив больного, более чем равнодушного к религии и церковной обрядности, было невозможно. Сестра, с обычным для нее тактом, попросила незваного гостя подождать, а сама прошла в соседнюю комнату больного.

— Дяденька, — сказала она ему, — там к вам пришел твой соотечественник и поклонник твоего таланта, он просит разрешения посмотреть твои работы и очень хочет познакомиться с тобой, можешь его принять?

— Прошу.

Сестра попросила священника войти в комнату больного, а сама сейчас же вышла. Не прошло и пяти минут, как дверь в переднюю из комнаты Котарбинского с шумом распахнулась и из нее вышел красный, как рак, неожиданный посетитель /.../

Вильгельм Александрович позвонил. Мы с сестрой зашли к нему в комнату. Больной был, видимо, сильно взволнован:

— Знаете, кто это был?.. Кого вы назвали поклонником моего таланта?.. Ксенда!.. Он хотел, чтобы я сейчас исповедался перед ним в своих грехах! Что выдумал! (315, 306—307).

**Последние дни своей жизни Котарбинский провел в семье Праховых.*

/Игра с ангелом смерти в шахматы/

Умирал Вильгельм Александрович медленно, в полном сознании, от старческого склероза и паратифа /.../ На какие-нибудь особенно сильные боли Котарбинский не жаловался. Вначале он читал и интересовался всеми городскими событиями и домашними новостями. Хороший шахматист, завсегдадаый киевского шахматного клуба, собиравшегося по вечерам в ресторане гостиницы «Кане», внизу Фундуклеевской улицы, он прекрасно играл «вслепую» с одним или несколькими партнерами. Вот и сейчас, во время болезни, продолжал играть с самим собой, а потом с мерещившимся ему партнером /.../

Каждое утро грезились ему, что кто-то приходит в его комнату, садится на кровать, в ногах, играет с ним в шахматы «вслепую», без доски и каждый раз проигрывает и молча уходит.

Однажды, когда сестра принесла больному дневной завтрак, он сказал ей:

— Сегодня он опять приходил, играл со мной, и сегодня он выиграл, значит, сегодня я умру.

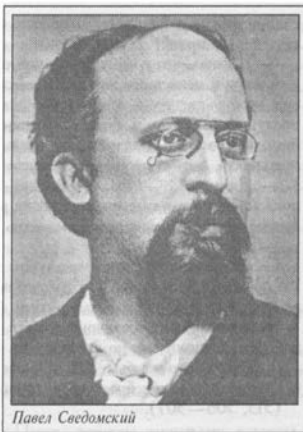
Сказал так спокойно, точно говорил ей: «Сегодня я пойду гулять».

Умер под вечер, спокойно, в полном сознании, простившись с моей матерью и сестрой.

(315, 306—307).

БРАТЯ СВЕДОМСКИЕ

Александр Александрович (1848—1911) и Павел Александрович (1849—1904) Сведомские — живописцы, расписывавшие Владимирский собор в Киеве. Родились в Петербурге, учились в Дюссельдорфе и Мюнхене. Представители академической школы, писали преимущественно на темы античной истории.



Павел Сведомский

Сведомские были славные, простые люди. Старший из них — Александр, прозванный Праховым Бароном, был художав, высок ростом, с небольшой эспаньолой. Он походил не то на средневекового барона, не то на римлянина времен упадка. Он был славный малый лет 48—49, очень покладистый. Искусством занимался от нечего делать, работал мало. Изобретал с Кокой Праховым давно изобретенное, например, спички. Был по-своему философ. Невозмутимость его была анекдотическая. В сущности он был взрослый ребенок, которого одинаково легко было подвинуть на хорошее и дурное.

Младший — Павел — автор многих соборных евангельских композиций в духе немецких исторических живописцев того времени, был, напротив, маленький, толстенный, с брюшком, человечек в пенсне, весь такого «заграничного» вида, похожий на какаду, почему, может быть, и прозван Праховым Попа (еще его звали глухаш по его некоторой глухоте).

И Барон и Попа были типичной заморской богемой. Они, хотя и происходили из духовного звания и были тогда пермскими помещиками, но были беспечны, вечно пребывали без денег, жили без веры, без идеалов, готовы были идти туда, где им заплатят, примут.

Они ненавидели век Возрождения с его великими художниками, называя всех их презрительной кличкой «Эти ваши Пьетро-ди Манаджно» /.../ Усталые после дневной работы, они любили пображничать до полуночи в кабачках Рима или Киева. Они, как братья Гонкуры, были едины и неразлучны, и, хотя писали на разные темы, все же их картины нелегко было различить.

О Сведомских почти никогда не говорили в единственном числе, а всегда, хотя

бы речь была об одном из них, говорили «Сведомские». И когда Барон под старость, спустя долго после /рописи Владимирского/ собора, хорошо пожив, совершенно неожиданно для себя и для всех его знавших, женился в Риме на совершенно ему незнакомой молодой, путешествующей по Италии россиянке, на родину из Рима полетели его открытки о том, что «Сведомские женились».

И правда, когда эти российские Гонкуры появились с молодой дамой, то трудно было сказать, который из братьев был ее супругом.

(282, 167—168).

Когда случалось, кто-нибудь спрашивал моего отца /проф. А. Прахова/, почему он пригласил П. А. Сведомского, чья живопись так отличается от Васнецова, он отвечал:

— Васнецов пишет иконы, а Сведомский картины, к которым молящимся разрешается стоять спиной во время службы. Вся средняя часть собора расписана Виктором Михайловичем, а Павлом Александровичем — боковые корабли. Они один другому не мешают...

(315, 262).



Александр Сведомский



Освящение Владимирского собора. 1896 г. В середине крестного хода Николай II с царицей

ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

А. А. АГИН

Александр Алексеевич Агин (1817—1875) родился в Псковской губ. Учился в петербургской Академии художеств (1834—1839). Прославился своими иллюстрациями к «Мертвым душам» Гоголя (1846). Иллюстрировал также повести Е. Гребинки (1844) и И. Тургенева (1846). С 1853 г. жил в Киеве. Преподавал в кадетском корпусе, работал художником-декоратором в Городском театре. Последние годы жизни, по свидетельству художника Л. Жемчужникова, служил помощником начальника одной из станций Курско-Киевской железной дороги, по сведениям А. Алтаева (Ямщи-



вой), — чертежником. Умер в имении Тарновских Качановке.

/Гордый оборванец/

Александр Алексеевич Агин очутился в Киеве случайно. Он получил приглашение от богача Мальцева учить его детей рисованию, русскому языку и арифметике. Жилось Агину не по вкусу. Обращение Мальцева с прислугой и самим Агиным ему не нравилось; а когда Мальцев снарядил свой пароход и отправился на нем с детьми и учителем на юг России, то жизнь Агина на пароходе стала ему так невыносима в этой компании, что он, нищий, как был, вышел на берег и более не возвращался.

Я случайно узнал о пребывании Агина в Киеве, и т. к. мы были большие друзья, тотчас же отправился его разыскивать и нашел в маленькой комнатке в дрянном трактире на чердаке, сидящим на столе в нижнем белье и штопающим платье.

Расцеловались и объяснились.

— Ну, что же ты, друг мой, делаешь и как попал сюда?

— Да что, брат, как видишь, — штопаю штаны; приходится сегодня кое-куда идти.

Тут он вынул табакерку, взял медленно щепотку, понюхал и продолжал свою работу /.../

Агин был чрезвычайно ленив*. Бывало приду к нему, а он раздетый, в одном белье, сидит на столе и точит свой книжал или опять что-то штопает. (112, 210).

**Комментаторы цитируемых здесь мемуаров Л. Жемчужникова считают, что это была не лень, а «глубокая апатия, результат большой внутренней трагедии, пережитой А. А. Агиным».*

/Слоенный пирог/

Этого человека хорошо знали в Киеве под кличкой «Слоенный пирог».

— Что это за странная кличка? — спросила я.

— Так шутя называли Агина. Вообрази себе высокую плотную фигуру, облаченную в крылатку, которую он забыл застегнуть; из-под нее выглядывал старый пиджак, а из-под пиджака еще более поношенный фрак. Из-под широкополой шляпы с одним опущенным, другим поднятым полем смотрело добродушное умное лицо с раздвоенной седоватой бородою, мясистым носом и круглыми синеватыми очками в серебряной оправе. Но всего страннее был комплекс ситцевых платков разного цвета и разной величины, навязанных на шее, болтавшихся на груди, наконец, прилаженных по-бабьи на голове, под шляпой, чтобы защищать уши.

Заметив на лице моем улыбку, мать сказала:

— Это было не смешно, а трагично. Подумать только: он, большой мастер, комментатор образов великого Гоголя, и должен, как нищий, кутаться в отрепья! (9, 9—10).

/Агинские шутки/

Многие его ученики жили на Липках. Агин называл их «липовым цветом», а их родителей «липовой аристократией». (9, 13).

/Вышгородский беглец/

Он начал мечтать, чтобы его выптали из корпуса*.

— Почему же он сам не ушел в таком случае?

— Значит, не хватало пороха. Не все обладают решимостью обрубить сук, на котором сидят, как бы он ни был колюч. Судьба пришла к нему на помощь.

Как-то весной, промучившись лет девять в лямке корпусного рисовального учителя, вышел он в поле, за вокзал. Пошел по берегу речонки Лыбеди, засмотрелся на листы купвинок внизу, что распластались зелеными блюдушками на воде... Пахнет тиной, землей, травой... Хорошо... Смотрит он и думает, как бы уйти на волю, на солнце, на степной простор /.../ И потянуло вон из города. Видит: ползет по дороге воз с горшками, а на возу, на соломе, лежит дядя, кверху лицом, усы распустил /.../ Агин ему кричит: «Стой, дядя!» Воз остановился. «Виткиля, дядя?» — «Та й з Вышгорода». — «А далеко тот Вышгород?» — «Та, мабуть, верст п'ятнадцять». — «А гарно у вас в Вышгороде?» — «Та як же не гарно!» — «Ка-

вуны есть?» — «Еге ж». — «А горилка?» — «Эге ж, и горилка». — «Я поеду к тебе в гости». — «Так сидайте, добродию»... Влез на воз Агин, и покатали с грохотом по дороге, покрикивая на волов /.../ Погостил Агин у горшечника в Вышгороде не одну неделю, а целых шесть. Кавунов не сл — весной их не бывает, — а на рыбную ловлю ходил, молоко пил, на солнце лежал, отъелся, отлежался и на время забыл, что он «рисовальщик». А когда вспомнил и вернулся в Киев, уволили его из корпуса за манкировку. Он не жалел о потере места. Стал пробиваться грошевыми уроками.

(9, 13—14).

**По приезде в Киев Агин зарабатывал на жизнь уроками рисования в кадетском корпусе, но роль «казенного рисовальщика» и вечная нужда тяготили его.*

/Библейские ужасы в киевской полиции/

Агин получил, наконец, от Бергера* заказ на голову Олоферна** /.../ Художник так увлекся Олоферном, что его кресло у камина в нашей квартире несколько дней оставалось пустым /.../ И вот настал знаменательный день постановки «Юдифи» /.../ Театр переполнен. «Юдифь» со Стравинским*** привлекла весь город. Гастролера**** вызывали без конца. В первом же антракте Бергер спрашивает у режиссера:

— Агин здесь?

— Нету еще, Фердинанд Иванович.

/.../ Бергер отошел. Антракт задержали. Но Агина с головой Олоферна все не было. За ним послали на извозчике рассыльного /.../ Стравинский начал тоже нервничать, что же это такое, — оперу нельзя кончать без головы! Странная антреприза!

Публика нетерпеливо колотила ногами в пол, в барьер на галерке. Театр гудел:

— Пора! По-о-ра-а! На-чинайте! /.../ За кулисы влетел рассыльный, пот катился с него градом. Он размахивал руками и, задыхаясь от усталости, мог только выговорить:

— Голова здесь... Я его перехватил на извозчике...

Из-за картонных кустов показался, наконец, и сам Агин. В его руках из завязанного узелком ситцевого платка свешивалась чуть ли не до пола великолепная борода, вся в затейливых завитках шелковистых черных волос.

Он шел не торопясь и спокойно улыбался.

— Это... Это... вас ист дас, герр Агин? — грозно зазвучал голос Бергера.

— Голова тирана Олоферна, коего казнила в патриотическом рвении иудейская красавица Юдифь...

— Нет, ваш опозданий, герр Агин, ваш неуместный улыбка...

Вместо ответа художник развязал узел. Показалась мертвенно-бледное лицо с большими закрытыми глазами, с окровавленной косо срезанной шеей.

— Майн готт! — воскликнул, содрогаясь, Бергер.

Ему, вероятно, показалось, что Агин, этот чудак, не успев сделать заказанную голову из папье-маше, взял настоящую из анатомического театра и теперь окрова-

нит дорогой шелк нового костюма Юдифи.

Около Агния столпились театральные служащие.

— Ай, страсти какие!

— взвизгнула портниха, нагруженная газовыми шарфами для статисток.

Агния невозмутимо объяснил:

— Опоздал потому, что был в полиции. Пока-то они там разобрали, в чем дело и отпустили. А вы бы перестали визжать, милая женщина, а то у меня голос довольно слабый и глухой, — мне вас трудно перекричать.

— При чем тут полиция? — выдохнул из себя Бергер. — Откуда сия голова? Агния показал на лоб и руки:

— Вот отсюда и отсюда. А муку купил в мелочной лавочке второго сорта, мягкую; крутичатка не годится, рассыпается... — И обратился к режиссеру: — Забирайте, милый человек, в то я сам знаю, что поздно. Но не моя вина. Голова готова еще с утра и к вечеру хорошо высохла. Напрасно я не взяла извозчика, — вот моя ошибка. Я люблю ходить пешком, и это моя обычная прогулка — от вокзала сюда. Иду это я, несусь, рад, что не опаздываю. Вдруг на дороге — полицейский крючок. Положил он мне руку эдак на плечо и изрек: «Не пуццу. Ступайте за мною на участок». — «Да что ты, голубчик?» — «Я-то ничего, а вот что это в узле?» — «Голова». — «Вижу, что голова человеческая». — «Да ведь это голова сделанная, не всамделишная». Не верит, твердит свое: «Вижу, что голова, а потому изволите в участок, — там и разберут, какая и чья она такая». И повел... Идем, молчим. А я несусь узелок, а полицейский косится на него, и лицо у блюстителя порядка, как полагається, прозное, точь-в-точь, как было у вас, Фердинанд Иванович, когда я вошел /.../ Пришли в участок, а фараон, натурально, заявляет: «Как я, ваше благородие, поймал убийцу с отрубленной головою, можно сказать, на месте преступления». Меня тут, признаюсь, смех стал душить. И я не оправдываюсь, а молча развязываю платок и вынимаю голову... Сначала все в участке даже попятнулись... Я постучал по голове пальцами, — видите, говорю, она не настоящая, а как бы картонная. Отпустите меня поскорее, — в театр нельзя опаздывать. «Фу ты, черт, ну как есть совсем живая», — сказал выразительно пристав и, наконец, отпустил. Вот и вся история».

(9, 26—28).

*Ф.И. Бергер — антрепренер Городского театра.

**Библейский герой, воснаачальник ассирийского царя Навуходоносора, которого убила Юдифь.



Посетители на художественной выставке. Рис. 1876 г.

***Сравинский Ф.Г. — знаменитый оперный певец, бас, отец композитора Игоря Сравинского. В 1873—1876 гг. пел в Киевской русской опере, с 1876 г. — солист Мариинского театра в Петербурге.

****Неточность в авторском тексте: Сравинский в те годы только начинал свой артистический путь на киевской сцене, гастролировал же он в Киеве тогда, когда Агина уже не было в живых.

/Кому есть по паспорту не положено/

Вы спрашивали, почему я Агин, а не Елагин? Елагин — фамилия моего отца, а мать — его крепостная, экономка. Родился я в 1817 году /.../ Рос я с братишкой, как и все дети дворовых помещичьих усадеб, среди сада, огорода, конюшни, птичника и скотного двора, на полной свободе, а Агиным стал потому, что приставка «ел» мне в будущем не полагалась. Я потом очень мало ел. Мой отец догадался, что, пустившись на чужую сторону, я не очень-то обильно буду есть, — вот он, выправив нам с Ваней вольные, начало фамилии и откинул. Потому не Елагин, а просто Агин. Это было принято с незапамятных времен с такими... побочными. Так с братом и в Академию поступили не Елагиными, а Агиными. С тех пор частенько приходилось недоедать.

(9, 30).

/Галерея воображаемых картин/

Ему /Агину/ казалось тогда, что он много работает, что он уже немало сделал за это время прекрасных картин. Но за все время, что я его видела в Киеве, я не припомню ни одной доведенной до конца работы.

Он начинал всегда с жаром, говорил с увлечением о своих намерениях и всех крутом увлекался проектами. Говорит, дополняет речь жестами и вдруг в один прекрасный день охладает, и все остановится. Остается в лучшем случае один набросок /.../ Спросишь его: «Ну как, подвигается?» Он кивает головой: «Скоро будет готова». — «Покажите нам, пожалуйста... Где же она у вас? И когда вы успели?»

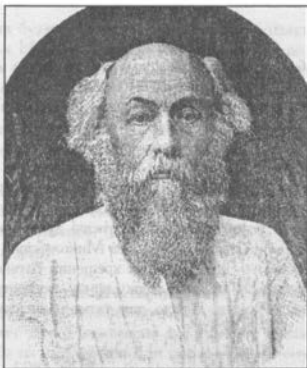
Он улыбается и так убежденно, бывало, скажет: «Да не на потолке, а в голове совсем сложилась. Ведь это же самое главное!»*

(9, 33).

*В молодые годы Агин отличался необыкновенной тщательностью в отделке деталей. Каждый заказ он исполнял долго и старательно. Получаемых гонораров не хватало даже на очень скромную жизнь. Художник свылся с нищеты и понял, что в его положении серьезная творческая работа — невольная роскошь.

Н. Н. ГЕ

Николай Николаевич Ге (1831—1894) — известный живописец. Один из зачинателей новой религиозной живописи в русском и украинском искусстве. Родился на хуторе Ивановском на Черниговщине. Окончил Первую киевскую гимназию, учился в Киевском университете. В 1857 г. закончил петербургскую Академию художеств. Прославился как мастер исторической живописи. С 1876 г. жил и работал в Украине. Здесь созданы многие знаменитые его полотна, поражающие современников новизной трактовки евангельских сюжетов, глубиной и жизненной правдивостью образа Христа — «Что есть истина» (1890), «Суд синедриона» (1892), «Голгофа» (1893), «Распятие» (1894) и др. Успехом своей религиозной живописи во многом обязан гениальному Л. Толстому; с которым дружил с 1862 года. Собственно говоря, грандиозный евангельский цикл композиций Н. Н. Ге можно считать одним из наиболее ярких и убедительных проявлений толстовства в изобразительном искусстве. Он являл собой пример новой религиозной живописи, которая черпала свои образы и сюжеты не в канонизированных образцах византийской и древнерусской живописи, но непосредственно из Евангелия и трактовала их в духе реализма.



В смысле реализма он продвинулся так далеко вперед, что его не смогла понять и оценить даже возглавляемая В. Васнецовым и А. Праховым группа художников, которая расписывала Владимирский собор и ставила перед собой, казалось бы, близкие цели. На самом же деле их разделяло разное понимание условности и реализма в религиозной живописи.

Художник с большой любовью писал пейзажи Украины, характерные образы украинских крестьян, деятелей украинской культуры (например, Н. Костомарова). Один из инициаторов сооружения памятника Гоголю в Нежине. Необычность (и даже эксцентричность) трактовки евангельских сюжетов и перенятый у Льва Толстого «учительный» тон создавали вокруг Н. Ге довольно сложную психологическую атмосферу. Многие не понимали художника, рассказывали всякие истории о его заносчивости и якобы непомерных амбициях.

Я щиро висловив радість бачити Ге у себе /в рисувальній школі М. Мурашка. — А.М./ і якнайскоріше постарався навести розмову на його «Розп'яття»*.

— Буду говорити вам щиро, «Розп'яття» мені не подобається. Воно мені неприємне, мені тяжко на нього дивитись.

— От, саме цього я і прагнув, так і слід, це совість у вас заговорила.

— Ні, Христос у вас просто грубий і негарний.

— Та це ви всі кажете. Розп'яли Христа і хочете, щоб я його вам красивим малював, у вигляді Лаокоона, чи що. Ні, інші до цього не так ставляться /.../ У мене перебувало півтори тисячі душ народу. Я цілу кучу листів одержав. У Петербурзі це сподобалось. Лев Миколайович /Толстой/ прийшов дивитися: «Ну, ти, — каже, — іди собі; я як хрещений батько, коли дитя приймають — батьки не присутні». Я вийшов, ходжу вниз, по тротуару. Минуло небагато часу, біжить дівчинка: «Ходить, дідусю, там татко плаче, ридає, ледве його заспокоїли».

(272, 125).

*Картина написана в 1892—1894 гг. под влиянием религиозных идей А. Толстого и библейских композиций А. Иванова.

/Неутомленные соперники/

На другой день встал я /М. Нестеров/ поздно, проспал. На выставку /передвижников 1890 года. — А.М./ попал тоже с опозданием. Вхожу — ко мне навстречу идет Прянишников.

— Где вы пропадаете? Вас с утра ждет Н. Н. Ге. Всех спрашивает о вас. Пойдемте!

Я поспеваю за Илларионом Михайловичем, не знаю, чему приписать желание меня видеть, явившееся у Ге. Вот и он идет навстречу, окруженный собратьями-художниками. Илларион Михайлович рекомендует меня:

— Вот вам Нестеров. Получайте!

Николай Николаевич оставляет своих спутников, протягивает мне руки, целует меня, обнимает, и мы удаляемся в сторону. Ге говорит, что он с утра хотел со мной познакомиться, искал меня, видел мою картину /«Видение отрока Варфоломея».

— А.М./ и хочет со мной о ней и многом поговорить.

Идем к картине. Хвалит пейзаж, мальчика, говорит, что в картине большая святость, но о теме ни полслова. Говорит о задачах искусства, о его высокой роли среди людей. Называет меня «братом христовым» и еще чем-то...

Я, как очарованный, слушаю Николая Николаевича. Его дивная дикция волнует меня. Я, совсем еще неопытный в житейской комедии, принимаю все за чистую монету. А Николай Николаевич входит в свою привычную роль «учителя», пророка /.../

Так проходит, может быть, час /.../ Неожиданно останавливается со мной у своей картины, у «Христа перед Пилатом»*, и спрашивает мое мнение о ней /.../

У меня нет тех слов, кои ему нужны от меня, я их не знаю, не чувствую его создание. Как быть? Солгать после такой увлекательной, высоконастроенной, благосклонной беседы?.. Нет, солгать не могу. Не могу сказать и той горькой «правды», что думаю о картине, не хочу этого доброго, прекрасного старика

обидеть**. Промолчу, — может быть, так будет для него лучше, не так больно.

А время идет, идет... Молчание мое для Николая Николаевича становится подозрительным, наконец неприятным. И так мы простояли перед «Пилатом» минут 10. Я нем как рыба. Для старика все стало ясно, и он... повернулся и ушел, куда-то исчез, оставил меня, ушел с тем, чтобы никогда ко мне не подходить, стать навсегда ко мне глубоко враждебным. Он никогда не простил мне моего неумелого молчания, много раз пламенно осуждал мои картины, и не раз их приходилось защищать от памятливого старика /.../**

Последний раз я его видел в Киеве в те дни, когда я расписывал Владимирский собор. Помню, мы сидели с Виктором Михайловичем Васнецовым на балконе /его квартиры/ на Владимирской улице****. Мы отдыхали после рабочего дня, о чем-то лениво говорили, как вдруг Васнецов говорит:

— Смотрите, ведь это едет Ге.

Я обернулся и увидел Николая Николаевича, ехавшего на извозчике в сторону Софийского собора. С ним на пролетке сидел почтительно, бочком, молодой человек, по виду художник. Николай Николаевич что-то оживленно ему говорил, и нам казалось, что на наш счет, т. е. смотрели оба на наш балкон. Ни он нам, ни мы ему не поклонились, и этот наш поступок мы не могли забыть и простить себе всю жизнь. Вызван же он был тем, что Ге с великой враждой относился к росписи Владимирского собора****. Вскоре я узнал, что Ге скончался у себя на хуторе.

(282, 144—145).

*Так Нестеров называет самое выдающееся творение Н. Ге «Что есть истина» (1890), произведение величаво вознесшееся над всей новой религиозной живописью того времени и совершенно несовместимое с тем, что делал тогда и позже в этой области сам Нестеров.

** Нестеров и Ге были представителями зарождавшейся в те годы новой религиозной станковой живописи, но их разделяло разное понимание сути религиозного переживания. Ге не отделял религиозного настроения от правды жизни. Для религиозной живописи Нестерова характерны умильность, идеализация, условность и декоративность.

***Стремление мемуариста объяснить нападки Н. Ге на его религиозную живопись «памятностью старика» не выдерживает критики. Н. Н. Ге был действительно новатор в области нового религиозного искусства, в то время как Нестеров удовлетворялся компромиссами между условностью традиционной церковной живописи и реализмом передвижников.

****Владимирская, 28. На этом доме теперь мемориальная доска художнику. Сохранился и балкон на третьем этаже.

*****Группа художников, расписывавшая Владимирский собор, творила в непосредственном контакте с официальной церковью. Такое содружество было чуждо Н. Н. Ге как убежденному толстовцу и антиклерикалу.

/Гоголь?.. Нудно і набридло!/
 583 

І ось була така картина: професор /М. Ге/, тісно оточений учнями. Перед професором розкладені малюнки /.../

— А чого це ви ескізів не робите?
 — Важко, Миколо Миколайовичу!
 — Ось ви й робіть те, що важко! А то ж що? Ви думаєте тільки легке робити, ач які! — казав професор, мило, привітно й добродушно посміхаючись. — Ось я пробуду деякий час у місті*, а ви в цей час приготуйте мені ескіз. Я вам загадаю і тему на нього, ну хоча б спокушання Христа.
 — А можна з Гоголя що-небудь? — питає хтось із учнів.
 — Гм! Що ж ви мені нарисуете з Гоголя? Це щось із тих пик, які нас оточують? Таж на це дивитись просто в житті — і то дуже нудно і набридло все це, а ви ще й рисувати хочете**.
 (272, 33).

*Н. Ге преподавал в школе Мурашко во время своих приездов из имения под Нежином.

**Слова о «скучных мордах» прямого отношения к творчеству Гоголя не имели. Художник говорил об обычной манере иллюстрирования «Мертвых душ». Н. Ге высоко ценил творчество великого писателя и был инициатором сооружения памятника ему в Нежине.

/Апостол толстовства в рисувальній школі/

Ге слухались великі і малі, розвинені і нерозвинені /учні рисувальної школи. — А. М. /.../ Його дуже любили слухати, і можна бути певним, що діти, можливо, його мало розуміли, але його надзвичайну лагідність і добрість відчували. Мені здається, що хто хоч раз його бачив, той діставав глибоке, незгладиме враження. А деякі натури з юнаків йому безумовно підкорялись: кидали курити, замислювались над такими питаннями, над якими молоді звичайно не замислюються. Від нього у нас з'явилося вегетаріанство*.
 (272, 33—34).

*Мемуары Н. Мурашко писались в начале XX века и поэтому он не мог сказать прямо, что благодаря Н. Ге в его школе появились последователи запрещенного тогда толстовства.

Він говорив, що не визнає принципу мистецтва для мистецтва, що йому нема діла ні до яких рамок, що він служить правді в ім'я моральних інтересів суспільства. А головним чином Микола Миколайович наполягав на тому, що досить уже розчужуватись, дивлячись на «Розп'яття».

— Я потрясу весь їхній мозок стражданням Христа, — гримів він, впадаючи в екстаз, — я примушу їх ридати, а не розчужуватись. Повернувшись з виставки, вони надовго забудуть про особисті свої інтереси.

Постає питання, чи досяг Ге цього? Я б сказав: ні. Але з думки не йде: а що, коли ми зіпсовані масою слащаво-умовного, фальшивого в мистецтві, розбещені тим, що мистецтво нас тільки тішило, забавляло? Чи не втратили ми навіть здібності чинити, вдумуватись в такі твори? Це жахливо!

(272, 126).

И. С. ИЖАКЕВИЧ

Иван Сидорович Ижакевич (1864—1962) — известный живописец и график. Учился в Лаврской иконописной мастерской (1876—1882), Киевской рисовальной школе Н. Мурашко (1882—1884) и в петербургской Академии художеств (1884—1888). Принимал участие в реставрации фресок Кирилловской церкви (1883), расписывал церкви Всех святых в Лавре. Создал серию иллюстраций к «Кобзарю» Шевченко, исторических полотен и живописных пейзажей Киева.



В 1876 г. в с. Вышнополье Уманского уезда Киевской губернии на одной из окраин налаживался воз с запряженной в него лошастью.

Вся семья вышла проводить подростка лет двенадцати /будущего художника И. Ижакевича. — А.М./ для определения куда-нибудь в науку.

Приступили к напутствию.

— Ти ж гляди, моя дитино, — первую заговорила мать, — коли будеш слуханный, то будеш попом, а коли ще краще будеш вчитись, то й благочинним, а коли Господь на тебе зверне увагу, то й архієреем, а то й митрополитом навіть...

— А він, мамо, як зробиться архієреем та митрополитом, тоді вже свині не буде пасти? — несподіванно спросил хлопчик лет пяти-шести.

(67, 7).

М. О. МИКЕШИН

Михаил Осипович Микешин (1835—1896) — известный скульптор и график. Автор ряда прославленных памятников, в том числе «Тысячелетия России» в Новгороде (1862), Екатерине II в Петербурге (1873) и Богдану Хмельницкому в Киеве (1879—1888). Иллюстрировал Гоголя и Т. Шевченко. В 1896 г. вышел его «Иллюстриваний Кобзар».



Однажды Микешин готовил для юбилейного праздника портрет Шевченко в виде бандуриста. Портрет был уже окончен, и Микешин поручил своему помощнику дописать аксессуары. Микешин иногда поглядывал на его работу и давал ему свои указания; но почему-то ему вдумалось говорить с помощником по-малороссийски. Микешин, почти ни слова не знавший по-малорусски, надрывался, чтобы делать свои замечания на этом языке, примерно таким образом:

— Слухай, пан!.. О-то... Эта! (он, наверно, хотел сказать «сторона», но не мог подобрать слова по-малороссийски).

— Что такое? — спросил помощник.

— Это. Я баю... — продолжал Микешин, делая невероятные усилия, чтобы припомнить подходящее малороссийское слово.

— Да говорите, пожалуйста, по-русски, — заметил помощник. — Я ничего не понимаю, что вы хотите сказать.

Но Микешин, желая поддержать свое достоинство, не унылся и все-таки продолжал свою нескладную малороссийскую речь.

Это была очень комичная сцена, тем более, что Микешин к своим потугам говорить по-малорусски относился очень серьезно. Если не ошибаюсь, он был уроженец Смоленской губернии; иногда он называл себя белорусом, а почему иногда казалось ему, что он малоросс, я совершенно не знаю.

(465, 84).

Виконання пам'ятника /Богдану Хмельницькому/ доручено скульпторові Михайлові Мікешину, білорусові з походження. З одного боку, його звали трубадуром російської великодержавності, з другого — він іменував себе давонарем невмирущої слави поета-мученика Шевченка, згадуючи приятелювання з ним у своїх мемуарах, ілюструючи його твори своїми малюнками /.../ У 1868 р. він виконав ескіз пам'ятника /.../ Було відкрито по всій Росії збирання пожертв, щоб збудувати пам'ятник. Та в подальшому справа почала гальмуватися.

Почалося з м'яця пам'ятника. По-перше, вирішено було поставити його на Бібіковському бульварі, проти Безаківської вулиці, що провадила до тільки збудованої станції недавно відкритої Києво-Балтської залізниці. Але згодом Хмельницькому довелося поступитися місцем перед іншим знаним кандидатом. Тут у 1872 р. було поставлено пам'ятник графові Олексію Бобринському /.../

Другим місцем для пам'ятника Хмельницькому було обрано площу наприкінці Хрещатика проти Бібіковського бульвару, і навіть офіційно названо її площею Богдана Хмельницького. Але і тут не пощастило: пам'ятник мусив поступитися місцем перед ринком, а сама площа стала зватися Бессарабською чи просто Бессарабкою.

Третє місце було на Софійській площі, де, нарешті, і поставлено пам'ятника. Та й тут справа не була легкою. Духівництво Михайлівського монастиря з архієреєм, що мешкав там, на чолі заявило протест проти пам'ятника на Софійській площі, бо кінць на ньому стоятиме хвостом до монастиря, і церковна процесія, виходячи з монастиря, матиме перед собою кінський хвіст.

Ченців переконали, що така вже царська воля /.../

Час збігав, а справа з пам'ятником не посувалася. Ще в 1870 році Мікешину було відлучено 1600 пудів зеленої міді для постаті на п'єдесталі пам'ятника. Але він вважав за краще продати цю мідь, а гроші привласнити і розтратити.

Коли царем став Олександр III, постала думка змінити проект пам'ятника. Наполягав на цьому і автор його, якому ходило про якнайменшу витрату матеріалу на пам'ятник. Олександр III затвердив тоді проект пам'ятника в теперішньому вигляді з написом: «Богдану Хмельницькому единая неделимая Россия». Користуючися з цього, Мікешин став клопотатися про додатковий відпуск йому міді. Йому пощастило. Але одержав він її в значно меншій кількості. Вистачило зробити тільки кінну постать, яку в 1886 р. й перевезено до Києва. Робити п'єдестал Мікешин відмовився. Кінну постать поки що вміщено було у дворі Старокиївського поліцейного участку. Кияни жартували, що і Хмельницький попав до буцегарні. З певними зусиллями пощастило здобути каменю для п'єдесталу*, який і вийшов в цілому не-пропорційним щодо самої постаті. Мікешин у нагороду за цей пам'ятник одержав великий шмат землі на Катеринославщині.

Протестували проти цього пам'ятника вже і по відкритті його: то в якійсь невідомий спосіб поночі хтось прив'яже до хвоста коня пляшку з горіакою, мовляв, п'яниця був гетьман, то теж, зрозуміло, поночі наліплять на п'єдестал папір з польським написом: «Laydak, psia krew, haydamaka».

(222, 139—140).

*П'єдестал памятника сделан из серого гранита, оставшегося от строительства Цепного моста через Днепр.

/В 1881 г. кафедральный протонерей П. Лебединцев/ восстал против постановки памятника /Богдану Хмельницкому/ на Софийской площади /.../ Оказалось, что духовенство представило Победоносцеву целый ряд соображений против постановки памятника на Софийской площади.

Указывалось между прочим на то, что богомольцы-де будут креститься не на «Нерушимую стену» Софийского собора, а на заднюю часть лошади. Потребовались специальные измерения, чтобы опровергнуть эти опасения.

Между прочим, Юзефович, бывший приятелем Победоносцева, в частном письме к последнему писал, что во всей этой истории виноват П. Лебединцев, «достойный представитель украинского сепаратизма», который-де, вероятно, и слова бы не сказал, если «памятник ставился любезным для украинофилов изменникам Выговскому и Мазепе».

(137, 100—101).

Два роки ми /М. Мурашко із учнями своєї рисувальної школи. — А.М./ працювали /над реставрацією фресок Кирилівської церкви. — А. М./, багато витратили праці і знань. Коли святили собор, чиновники якісь святкували, виголошували промови, але зовсім ні про кого з нас не згадали. Дивуватись тут нема чого. Ми люди маленькі, але так само було з людиною, більшою за нас. Коли відкрили й освячували пам'ятника Богданові Хмельницькому, то про талановитого творця його, Микешина, теж забули. Він писав тоді в «Новом времени»: «Сиджу, і слюзи капують на папір. Жоден з пам'ятників мені так дорого морально й матеріально не коштував, як цей, і ніхто не потурбувався повідомити мене про його освячення».

Ми не плакали, але зітхнули, довідавшись, як смачно і скільки там було випито й з'їдено.

(272, 77).

Н. И. МУРАШКО

Николай Иванович Мурашко (1844—1909) — художник-педагог, руководитель первой в Киеве профессиональной художественной школы (1875—1901). Родился в Глухове. Учился в петербургской Академии художеств (1863—1868). С 1868 г. жил в Киеве. В 1870 годах сотрудничал с деятелями Киевской громады и создал серию прекрасных рисунков к сказкам Андерсена, переведенным на украинский язык М. Старицим. Наследуя новаторские принципы своего соавтора-переводчика, художник довольно удачно «украинизировал» сюжеты датского писателя, придав им украинский (отчасти — локально киевский) колорит.

Педагогические взгляды и культурные интересы Н. Мурашко не нашли достойной оценки в истории украинского искусства. Он не ограничивался академической программой и пропагандой близкого его душе передвижнического реализма, но стремился открыть



своим ученикам национальные истоки творчества, обратить их внимание на классические достижения украинского, русского и мирового искусства. Разнообразие художественных вкусов среди посетителей студии не смущало его. К каждому ученику он пытался найти свой особый подход и редко ошибался в определении характеров и талантов. Поэтому не удивительно, что из мурашковской школы вышли такие непохожие друг на друга художники, как В. Серов и К. Малевич, Н. Пимоненко и О. Мурашко, И. Ижакевич и М. Жук, В. Замирайло и др.

Один з тих, хто вчилися у школі і спостерігали її побут протягом цілого ряду років, Ю.М. Маковський у своїх спогадах про школу пише, що тут для тих, хто приходив, був прийом, подібний до того, який колись існував у Запорозькій Січі. Як відомо, там кожного новачка питали:

- Що — в Христа віруєш?
- Вірую, — відповідав той, що прийшов.
- І в Трійцю святу віруєш?
- Вірую.
- І до церкви ходиш?
- Ходжу.

— Ану, перехрестись.

Той, що прийшов, хрестився.

— Ну гаразд, — відповідав кошовий, — йди ж до якого знаєш куреня.

У нас же в школі питали:

— Що, рисувати хочете навчитись? Ну гаразд. Принесли з собою папір, олівець?

— Прііііі.

— Ну сідайте, порисуємо.

Ось і вся процедура прийому до цього навчального закладу.

(272, 42).

/Репін-іконописець і його київські колеги /

Влітку 1881 року відвідали мене /М. Мурашка/ професор Прахов та Ілля Юхимович Репін, приятелі і друзі мої з юності; з ними приїхав юнак В. Серов.

Одного ранку я збирався показати гостям околиці Києва, хотів з Репіним з'їздити в Китаєво, яким я його особливо зацікавив. Раптом дощ, і дощ досить-таки безнадійний. Сумно. Ми дивилися, як тут-таки в залі учень, репетитор школи Пимоненко писав на замовлення образ Христа, так звану місцеву ікону для іконостаса. Образ аршинів зо три.

— Ану ж бо, дайте мені вашу палітру й пензлі, — звернувся Ілля Юхимович до Пимоненка.

Той дав, і наш майстер так захопився, що ми й про Китаєво забули. Залишив палітру він лише перед обідом.

Образ ми вели, дотримуючись звичайних іконних традицій /.../ Другого дня поглянув Ілля Юхимович.

— Дайте-но палітру, я ще напишу, це не годиться, що я зробив.

І він переробив увесь образ від кутка до кутка, попрацювавши над образом учора й сьогодні рівно сім годин /.../

— Візьміть палітру, — каже Ілля Юхимович, — і закінчуйте самі.

Ми з Пимоненком лише перезирнулися. Які б ми були дурні, коли б дозволили собі після Репіна переписувати.

Образ залишився у школі навіть деякою її прикрасою. Ми з нього написали кілька копій, мали завжди неабиякий заробіток.

(272, 53).

С. И. СВЕТОСЛАВСКИЙ

Сергей Иванович Светославский (1857—1931) — известный живописец-пейзажист, теоретик искусства, видный деятель культуры. Родился в Киеве в дворянской семье. Учился в Московском художественном учили-

ще (1875—1883). Жил в Киеве с 1884 г. Член Товарищества передвижных выставок с 1891 г. Член жюри конкурса проектов памятника Т. Шевченко в Киеве. Писал киевские пейзажи.

С.И. Светославский очень почтенный художник, произведения которого имеются во всех наших выдающихся пинакотехах. Лет 10—15 тому назад весь Киев бегал смотреть на написанную им как живую нагую женщину. Три года тому назад он выставил в университете свои картины — преимущественно пейзажи /.../ Теперь он выставил там одну картину «Осень» /.../ Спору нет, написана «Осень» блестяще, но вместе с тем нельзя не повторить остроумного выражения «Старого учителя»*, что у Светославского «была очень хорошая картина с коровой направо, а теперь у него картина с коровой налево».

(100, 31—32).

*«Старый учитель» — псевдоним директора Киевской рисовальной школы, художника *Н. Мурашко*. Так подписывал он свои обзоры выставок, публикуемые в «Киевлянине», его мемуары назывались «Воспоминания старого учителя».

П. А. СКЛЯРОВ

Прокоп Алексеевич Скляров (1862—?) — художник-маринист. Учился в Киевской рисовальной школе и петербургской Академии художеств (1886—

1894). Звание художника получил в 1894 г. за картину «Мокрый снег в Алушке». Принимал участие в реставрации фресок Софийского собора.

Это было тогда настоящее «дитя природы», могущее ответить на вопрос моего отца /А. Прахова/: «Много ли успели очистить за день мозаики в куполе Софийского собора?»:

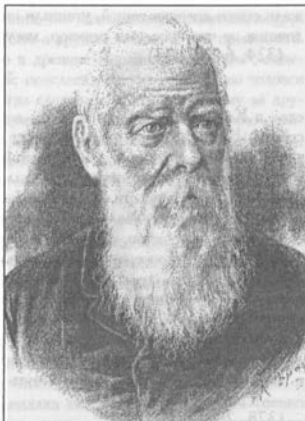
— О, багато, багато вже зробили! Богу всю морду одмили! (315, 160).



С. Светославский. Киев. Подол. 1900-е гг.

Ф. Г. СОЛНЦЕВ

Федор Григорьевич Солнцев (1801—1892) — сын крепостного, служившего на оброке кассиром императорских театров в Петербурге. Окончил Академию художеств (1824). Изучал и зарисовывал памятники старины с 1820-х годов. Прославился как археолог-рисовальщик. С 1836 г. — академик. Руководил восстановлением древних царских теремов в Кремле. Личный советчик Николая I во всех делах, касающихся древностей. В 1843 г. послан в Киев для наблюдения за реставрацией фресок в Успенском соборе Лавры. Ему приписывают открытие древних фресок в Софийском соборе. На протяжении десяти лет (1843—1853) ежегодно приезжал на лето в Киев, где, руководя реставрацией древней живописи, делал зарисовки памят-



ников старины и писал пейзажи Киева и его окрестностей. Каждую осень привозил на просмотр царю от 80 до 100 «киевских» рисунков (зарисовок древностей и пейзажей). Серия работ художника «Киев. Софийский собор» опубликована в издаваемых им «Древностях Российского государства».

От пытливого взора художника /академика Ф. Солнцева/ не укрывалось ни пуговки, ни черепка, ни самого малейшего обломка древности. Из массы предметов он выбирал преимущественно один, совмещавший в себе типичные черты в мастерстве эпохи, и изображал его во всех подробностях /.../

Древности, обретенные и рисованные Солнцевым, зачастую были им находимы по чердакам монастырей, дворцов и частных зданий; они тлели в церковных подвалах под грудами щебня и известки, в мучных закромах, в сараях, в погребах. Срисовывать эти памятники весьма часто приходилось художнику в самых неблагоприятных условиях: в осеннее ненастье, в сырости, в холоде. Помимо этих физических неудобств, немало терпел наш почтенный труженик от явного равнодушия и от тайного недоброжелательства, недоверия и подозрительности ближайших хранителей археологических сокровищ, которым они и сами не знали цены. При посещении Солнцевым какой-нибудь древней обители тамошние келари и ризничие нередко упичто-

жали описи древних вещей, утаивали инвентари ризниц из боязни, что приезжий художник не что иное, как ревизор, могущий уличить их в небрежности и нерадении. (324, 642—643).

Летом следующего /1844/ года я* приехал в Киев для открытия и затем возобновления древней живописи Софийского собора. Когда от меня узнал об этом митрополит Филарет, то стал говорить, что такая затея не поведет к добру и что он будет жаловаться государю**.

Действительно, митрополит сдержал свое слово/.../ Помнится, осенью государь приехал в Киев и посетил Софийский собор. Филарет не преминул воспользоваться этим случаем и сказал его величеству:

— Ваше величество, открытие и возобновление древней живописи адептного собора повлечет староверов к поощрению в их лжемудриях.

— Я, владыко, не смотрю, как молятся, лишь бы молились, — заметил государь. — Ты любишь старику, и я люблю. Теперь в Европе дорожат малейшею старинною вещью. А мы, возобновляя древнюю живопись, можем ли думать, что оказываем предпочтение староверам. Вадор. Не противоречь.

Митрополит ничего не сказал на это и молча сопровождал государя.

Бибиков шел со мною свади и чуть слышно сказал мне:

— Наша берет.

(378, 289—290).

**Автор повествования — художник-археолог, академик Ф. Г. Солнцев.*

***Митрополит имел в виду то, что на некоторых древнекиевских фресках святые изображены с так называемым «двоперстием», чем, как он полагал, постараются воспользоваться старообрядцы во вред православным.*

К приезду государя Николая Павловича в Киев я* всегда находился там**. Государь нередко спрашивал меня:

— Каковы глаза? Не испортил ли их?

Вообще государь был очень приветлив со мною, внимателен и часто называл меня: «мой старый слуга». Являлся я к государю по его особому повелению всегда в сюртуке, впрочем, это допускалось им почти для всех художников.

(378, 295).

**Из воспоминаний Ф. Солнцева.*

***Как пишет сам художник, начиная с 1843 года ему вменялось в обязанность быть в Киеве каждый раз, когда туда приезжал царь. В последний раз Солнцев встретился с императором в Киеве в сентябре 1852 г.*

Акад. Ф. Солнцев о лаврских чудесах

1.

Известно, что киевские пещеры идут под землею в иных местах в три яруса и продолжаются от Киево-Печерской лавры в одну сторону, к Межигорскому монастырю, верст на 30, а в противоположную сторо-

ну верст на 18. Эти пещеры устроены из древних, так называемых варяжских пещер. В некоторых местах они столь узки и низки, что с трудом можно в них проползать.

Однажды я решился заглянуть собственно в древние Варяжские пещеры*, надеясь что-нибудь найти там по части древностей; пригласил с собою несколько человек монахов, и мы двинулись. Я был впереди, когда следовало двигаться одному за другим. Так прошло несколько времени, и я прополз уже сажень с 50. Страшно делалось: казалось, что вот-вот обрушится сверху земля. Вдруг свеча моя погасла; я принужден был вернуться. Товарищи-монахи, вызвавшиеся сопровождать меня, признались, что они не проползли и 10 сажень, как оставили меня одного в пещерах.

(378, 290—291).

**Непосещаемая часть лаврских пещер, о которых до сих пор ходят самые невероятные слухи. Чаще всего говорят, что вошедших в них охватывает непонятное чувство ужаса. Говорят о каких-то загадочных звуках и вспышках света.*

2.

Однажды при мне был такой случай.

Мой знакомый доктор Савенко не верил, чтобы из глав могло истекать миро, и притом непрерывно. Он думал, что это проделка монахов. Поэтому, как только случилось ему быть в Киеве, он не преминул сделать относительно этого опыт. Разумеется, с разрешения монастырских властей. Опыт состоял в том, что Савенко взял одну из мироточивых глав, вытер её насухо сукном внутри и снаружи, — точно так же вытер и сосуд, обвязал все это протечной бумагой* и запечатал. Дверь комнаты, где оставлена была голова, тоже запечатали. На другой день Савенко пришел, сам распечатал главу, и в сосуде оказалось миро.

(378, 291).

**Промокательной, неклееной бумагой.*

И. М. СОШЕНКО

Иван Максимович Сошенко (1807—1876) — художник, педагог. Учился в петербургской Академии художеств (1834—1838). Служил учителем рисования в Нежинском лицее и во Второй киевской гимназии. Сыграл огромную роль в судьбе молодого Шевченко, встретив его в Петербурге учеником артели декораторов и познакомив с писателем Е. Гребинкой и художником А. Венециановым. Некоторое время жил с поэтом на одной квартире в Петербурге. Шевченко рассказал о знакомстве и дружбе с Сошенко в своей знаменитой повести «Художник». Позже они встречались в Нежине (1846) и Киеве (1859). И. Сошенко сопровождал гроб поэта от Киева до Канева и оставил воспоминания о своем великом друге. Хорошо знавший Сошенко его биограф и коллега по Второй гимназии М. Чалый утверждал, что он долгое время не мог



понять причины небывалого успеха своего друга Тараса, досадовал, недоумевал и завидовал ему. Их отношения в какой-то мере напоминали отношения Моцарта и Сальери.

Чувство сострадания к «утнетенным и оскорбленным», которым всю жизнь болела душа его, простиралась и на животных. Блуждая по вечерам по старокиевским закоулкам, он не мог равнодушно переносить жалобного визга заброшенных щенят или котят без того, чтобы не забрать их к себе на квартиру и, выкормивши, не раздарить их соседям. Он не мог видеть голодной и тощей собаки без того, чтобы не заманить к себе и не накормить ее. В одно время у него на дворе собиралось столько собак старых, хромых и слепых, что для продовольствия их он должен был ежедневно покупать огромный 20-фунтовый хлеб. Кормить голодающих инвалидов, сбегавшихся к нему на свист, составляло для него большое удовольствие. Но самую нежную привязанность и почти родительские чувства питал покойный к маленькому Орлику — неразлучному своему сожителю. Он и обедал с ним и спал вместе. Когда в 1873 г. я посетил своего приятеля.

ля, только что оправившегося от тяжелой болезни, он мне пресерьезно сообщил печальную новость о болезни и смерти своего Орлушки.

— Ми разом заслаблн, — говорил он, — я викарабквся, а він вмер.
(444, 94).

Под окном в садике /Сошенко/ копошились под кустами два желтенькие петушка, которых Иван Максимович кормил собственноручно.

— Ото, бачите, моя дівчинка купила їх на базарі для супу, но я пожалел их резать. Коли ж вони такі хороші!*

(444, 94).

*Здесь и далее воспроизводится типичный для киевлян «суржик» — фантастическая смесь русских слов и выражений с украинскими.

Общество покровительства животным не могло бы найти более /чем Сошенко/ деятельного агента в целой России. Иван Максимович вечно бранился с извозчиками за их варварское обращение с лошадьми, он не мог пройти ни по Андреевской, ни по Александровской без того, чтобы не расстроить себя на целые сутки.

Раз я был свидетелем такого приключения. Какой-то диакон с Печерска, мужчина громадного роста, весь обросший волосами, возвращаясь от своего подольского приятеля дьячка, еле можаху, взяв на Житнем базаре простого извозчика*, мальчика лет 14 и, растянувшись на телеге во всю длину свою, взобрался по Вознесенскому спуску на Житомирскую улицу. Было уже темно, а путь предстоял немалый. Так как диакон договорил извозчика только на Старый город, то возница, привезши свою кладь на Житомирскую и уморив порядком свою клячу, отказался ехать дальше за условленную плату 15 коп. Диакон стал на него рычать своим зычным басом и толкать ногою в спину, понуждая к дальнейшему путешествию. Мальчик плакал и не трогался с места. На шум, как водится, собралась порядочная толпа зрителей.

Подожел на эту сцену и Иван Максимович. Узнавши, в чем дело, он накинулся на диакона; тот начал сильно рутаться. Выведенный из терпения защитник угнетенной невинности садится сам на облучок телеги, берет вожжи и собирается вести безобразника до владыки.

Угроза подействовала. При дружном хохоте уличной толпы отец диакон поднимается с телеги и шатаясь ползлелся восвосяи пешком.

— Заплатив мальчику 15 коп., — говорил художник, — я сделал ему строгое внушение не возить пьяных и отпустил его с миром.

(444, 94—96).

*Одноконного извозчика.

Важных и чиновных особ, принимавших судить об искусстве заученными фразами «с ученым видом знатока», он обрывал с та-

кою смелостью, какую трудно было подозревать в скромном и боязливом живописце, всегда робевшем перед начальством.

А покойник таки был большой руки трус: во всяком по наружности подозрительном человеке он воображал злоумышленника, готового посягнуть на жизнь и имущество ближнего. Такие сомнительные личности попадались нам навстречу во время наших экскурсий по окрестностям Киева.

В 1868 г. во время каникул нас пригласили в Остер на охоту. Ехали мы все время лутом по весьма известной дороге и к вечеру стали помышлять о ночлеге. Когда мы подъезжали к с. Пуховке, к нам подбежал какой-то юркий человечек в кителе, с ружьем и босой.

— Здравствуйте, господа! — обратился он к нам навязчиво. — На охоту едете? Верно, желаете ночевать в Пуховке? Не уютно ли ко мне? У меня есть хорошая комната, самовар, сахар, чай, закуски, ужин можно сделать, есть овес, сено, конюшня... Я вас провожу. Подвезите меня!

Слушая такие заманчивые речи, Иван Максимович, подталкивая меня локтем, говорил вполголоса:

— Михайла Корнеевич, не поедem к нему. Хто його знає, що він за чоловік, чорт знає, откуда взявся і чого він до нас причепився! Будем ехати, — ну его!

— Что ж, если у него действительно хороший ночлег, отчего бы нам не переночевать у него?

— Ех, Михайле Корнійовичу, як можна вірити всякому зустрічному? Почем нам знати, що в нього на умі? Прийшов чорт знає откуда — в кителі, с ружьем и босый... Как можно с таким связываться? Не лучше ли нам остановиться у крестьянина. И самовар можно достать у попа. Покинем его!

— Ну, хорошо, посмотрим!

Не успели мы отъехать и четверти версты, как тот же самый «подозрительный человек» кричит нам вслед:

— Господа охотники! Не туда едете — повертайте направо!

— От, несчастье! — ворчит мой Сошенко, потирая лоб. — Чого він чіпляється до нас? Не слухайте його: він нарочно хоче завести нас в трудобу. Чорт його знає, що в нього на умі: в кителі, с ружьем и босый...

Наконец, покосившись вокруг села, мы в него въехали. Иван Максимович, не видя больше «подозрительного человека», успокоился. Ах глядь, едет он верхом на неоседланной лошади подле самого нашего возка и опять за свое: у меня комната, чай, сахар — можно ужин сделать и проч.

Очутившись посреди села, спутник мой почувствовал в себе больше смелости. Обратившись к нахалу, сказал ему с сердцем:

— Иди ты к бису со своим ужином! Чого ти причепився до нас?

«Подозрительный человек» (оказавшийся отставным лесником казенной лесной дачи) вломился в амбицию и, перекинувшись с Иваном Максимовичем несколькими нелюбезными фразами, повернул в проулок, отпустивши на волю пойманную на луту лошадь.

К великому удовольствию моего художника, мы ночевали у крестьянина Михайлы Кулика на снопах в клуне, над самой Десной, а утром раненько тронулись в дальнейший путь на Остер.

(444, 97—100).

Р. Г. СУДКОВСКИЙ

Руфин Гаврилович Судковский (1850—1885) — живописец-маринист. Автор широко известных полотен «Очаковская пристань» (1881), «Ти-

шина на море» (1883) и др. В 1884 г. его выставка в Киеве имела огромный успех у публики и восторженные отклики в прессе.

/Зловісна преамбула до розмови/

Наприкінці 1884 р. відкрилась у нас і була влаштована у самій /рисувальній/ школі виставка картин мариніста Р.Г. Судковського. Сам він і диригував улаштуванням виставки; учні йому допомагали.

Руфин Гаврилович, молодий, здоровий, вродливий, з кучерявим темним волоссям, типовий син священика, якому веже, був трохи грубуватий у поведінці, і у нього було багато ворогів і заздрісників. Запевняли, ніби Р. Г. так звернувся якось до особи, що розглядала його твори:

— Як вам подобається ця картина? Тут мені один сказав, що це погано, а його мало зі сходить не скинув. Скажіть вашу думку.

Ну яка вже тут думка після такого виступу.
(272, 79—80).

/Буйний хист мариніста/

Меценат, відома особа в місті, запропонував йому за одну з картин свою ціну. А він йому:

— Та мені що ціну пропонував один, то я його так вишпетив, що вже він більше не запропонує.

Це я так пишу, а сказано було брутальніше. Меценат був особою надзвичайно впливовою, і Судковський багато втратив внаслідок своєї вихватки.
(272, 80).

ТЕАТР

Актерские анекдоты недолговечны. Они создаются во множестве и легко забываются. Редко какой из них попадает на страницы воспоминаний старых актеров и театралов и переживает свою эпоху.

Другим существенным недостатком актерских анекдотов можно считать то, что они обычно понятны и интересны только тем, кто знаком с историей театра. Даже лучшие из них теряют свой смысл, если выделить их из текста воспоминаний, то есть из среды породившей их театральной жизни.

Вряд ли интересна будет читателю и наша подборка театральных анекдотов, «надерганных» в основном из актерских мемуаров, если мы не «подкрепим» их кратким очерком театральной жизни Киева прошлого века.

Разумеется, предлагаемые нами заметки не претендуют на полноту и всесторонность.

Киев познакомился со сценическим искусством благодаря Киево-Могилянской коллегии и ее учебным программам, обязывавшим учителей и профессоров писать и ставить силами самих студентов пьесы и всякие театральные сценки. Из стен коллегии вышел прекрасный драматург XVII ст. — святой Димитрий Ростовский, которого в Киеве некогда знали как Даниила Туптало, сына киевского сотника, жившего против церкви Николы Притиска на Подоле.

Здесь же в 1704—1705 гг. была написана и поставлена на академических рекреациях под открытым небом на Щековице, на фоне исторических пейзажей величественная драма Феофана Прокоповича «Владимир».

С конца XVIII века Киев стали ежегодно посещать труппы украинских, польских и русских актеров, привлекаемых сюда многолюдными съездами в дни знаменитых контрактных ярмарок. Концерты европейских знаменитостей сменялись спектаклями, спектакли — балами. Днем в этом зале торговали.

Первый городской театр был построен лучшим киевским архитектором А. Меленским в 1805 году в самом начале тогда еще незастроенного пустынного Крещатика, близ дороги, соединяющей аристократический Печерск с многолюдным и богатым Подолом. Место было выбрано удачно, но центром художественной жизни городской театр стал не сразу. Долгое время в нем находили приют странствующие труппы провинциальных актеров, не брезгующих полубалаганными волшебными операми с нимфами, колдунами, призраками и русалками, водевилями с веселыми куплетами, пантомимами и замысловатыми мелодрамами. Весной 1823 года здесь шла «опера во многих явлениях на малороссийском наречии в двух действиях под заглавием «Украинка, или Волшебный замок», кото-

рая, очевидно, была местной киевской переделкой знаменитый «Лесты — днепровской русалки» Ф. Кауера и С. Давыдова. В том же 1823 году здесь, на Крещатике, были впервые представлены фрагменты из балетов.

Изменившие судьбу города административные реформы 1834—1835 годов коснулись и жизни городского театра. Он приобрел статус постоянно действующего художественного центра, субсидируемого за счет казны, имеющего в своем распоряжении оркестр с музыкальной библиотекой и управляемого дирекцией во главе с генерал-губернатором. Один из ее членов постоянно занимался творческими вопросами. В 1842—1843 гг. Киев удостоился гастролей балетных артистов Мадридского королевского театра, а в январе 1848 года город посетила первая итальянская оперная труппа.

В 1851 г. строение первого городского театра на Крещатике пришло в такую ветхость, что его пришлось срочно закрыть, сломать и приступить к строительству нового здания на обширном пустыре, образовавшемся у пересечения двух новых городских улиц — Владимирской и Кадетской (теперь Богдана Хмельницкого).

Пять лет киевляне как-то обходились без оперы и довольствовались балетами, которые ставил на Подоле в переделанной под театр пересыльной тюрьме варшавский балетмейстер Морис-Пион.

К осени 1856 года архитектор Иван Штром окончил постройку нового городского театра, который самим киевлянам так пришелся по душе, что несколько десятилетий кряду, пока он не сгорел, они считали его «чудом архитектурного искусства». Судя по сохранившимся фотографиям Франса

де-Мезера, ничего необычного во внешнем облике нового театра не было. Да и не могло быть, поскольку строился он накануне и во время Крымской войны, когда гражданское строительство сократилось, и с целью экономии вводились меры против «архитектурных излишеств». Единственным украшением его фасада были 6 металлических ваз, которые после пожара 1896 г. перенесли на дорожки Царского сада. Очевидно, творение И. Штрота было мило сердцам киевлян как знамение нового мирного времени и тем, что все в нем дышало покоем и стремлением к уюту и прелестям мирной жизни. Подобные настроения отразились и в отзыве журналиста Альфреда фон Юнка на открытие театра:

«Две передние занавеси, изображающие прекрасный итальянский вид с голубым небом, и все декорации написаны художником по рисункам г-на Гропиуса, известного декоратора берлинского театра. На потолке изображены музыкальные инструменты и маски /.../ Фойе не обширно, хотя и богато и празднично убрано и освещено. Пол в зрительном зале подъемный, чтобы на случай балов и маскарадов мог соединяться со сценой; для того же случая получено из Берлина превосходное маскарадное зало работы г-на Гропиуса /.../ Словом, театр наш великолепен и роскошен до поразительности».

2 октября 1856 года первый спектакль в здании на углу Владимирской и Кадетской улиц удостоил своим посещением великий князь Михаил Николаевич, сидевший в ложе вместе с генерал-губернатором князем И. И. Васильчиковым.

Любопытна одна деталь, свидетельствовавшая, очевидно, о стабиль-

ности вкусов киевской публики: на последнем спектакле в старом театре на Крещатике 30 июля 1851 года давали комедию Григорьева Первого «Житейская школа» и какой-то одноактный балет, а через шесть лет, 2 октября 1856 года, — водевиль того же Григорьева Первого «Дочь русского актера», еще один водевиль, польскую пьесу и дивертисмент.

Представление прошло удачно, но публика осталась недовольна выбором пьес, и один рецензент писал, что «торжественность события очень много потеряла от такой легкомысленной и пустой программы». Это было нечто новое, чего не могло быть до Крымской войны. Тогда, при суровом царе Николае I, что бы ни показывали в театре, никакой критике «не полагалось», а здесь репортер чуть ли не отчитал самого генерал-губернатора, который был одновременно и председателем театрального комитета, и, следовательно, лично решал, чем порадовать публику на открытии нового театра.

Подобные «вмешательства» общественного мнения в жизнь киевской сцены стали характерным явлением «послекрымской эпохи», ознаменовавшейся рядом необычайных театральных происшествий. Так, в 1866 году разразилась первая война киевских театральных партий. Одна из них в то время выражала вкусы демократической галерки и бурно поддерживала игру молодого талантливого актера В. Виноградова, другая партия, состоящая в основном из «публики партера», устраивала овации более опытному и не менее талантливому артисту Новикову. «Ожесточение борющихся партий, — писала газета «Киевлянин», — было так велико, что сторонники Виноградова под конец

стали шикать не только самому Новикову, а даже его матери, жене и зятю, сидевшим в ложе». Из зрительного зала борьба перешла на столбцы газет-антагонистов — «консервативного» «Киевлянина» и «прогрессивного» «Киевского телеграфа». Со временем появились новые «звезды», разгоралась борьба других «партий». В их противостоянии отражались не только художественные вкусы горожан, но и те общественные страсти, которыми жил город за стенами театра. «Галерка» и «партер», «наши» и «ваши», «прогрессисты» и «консерваторы», «демократы» и «аристократы», «молодые» и «старики», — и за всем этим — взаимное отчуждение, ненависть и презрение, принесенные в театр с улицы.

Еще раньше, весной 1857 года, в этом же новоотстроенном и таком уютном, располагающем к радужию и спокойствию театре, разыгралась зловеющая сцена публичного избияния полковника Бринкена по приказу вождей студенческой корпорации, собравшей не менее 400 заговорщиков. Они выследили оскорбившего одного из корпорантов офицера, окружили и обезоружили его при выходе из театра, оттеснили публику и полицию к стенам фойе, прочитали над поваленным на пол «врагом» приговор и произвели символическую публичную казнь (били не сильно, но каждый из корпорантов хоть пальцем ткнул в него). Молодой царь Александр II не разглядел в скандале в новом киевском театре тень надвигающейся волны террора и по приезде в Киев осенью того же года простил студентам их озорство. «Бринкениада» стала прологом особой, еще никем не исследованной политической истории нашего городского театра, первый

этап которой завершился скандальным убийством премьера Столыпина. Но, разумеется, большинство театральных войн, при всей их иллюзорной или реальной причастности к социальным страстям своего времени, разворачивались в ином, неполитическом, пространстве эстетических вкусов и художественных интересов.

В 1863 году на сцене городского театра начала свои представления итальянская оперная труппа под руководством Фердинанда Бергера. Наступил славный период итальянской музыки в Киеве (1863—1866). И тогда же организованное в 1863 году Киевское отделение Русского музыкального общества начинает свою кампанию с целью создания в Киеве русской оперы (первый ее сезон открылся осенью 1867 г. оперой Верстовского «Аскольдова могила»).

В том же году в парке «Шато-де-Флер» построили первый летний городской театр. Труппа была та же самая, но киевляне не без иронии величали здание на Владимирской «Большим городским зимним театром», а его летнюю резиденцию — «Малым театром».

На сцене городского театра в январе 1874 года произошло еще одно важное историческое событие, предопределившее развитие городского вкуса на многие годы вперед — здесь силами певцов-любителей (многие из них были к тому же членами полугалерной Киевской громады) была впервые исполнена украинская опера «Ночь под Рождество» (вернее — «Різдвяна ніч»), написанная Н. Лысенко по либретто М. Старицкого (он же — режиссер спектакля).

«Різдвяна ніч» произвела эффект разорвавшейся бомбы и вызвала поток ругательных рецензий и отзывов



в газете «Киевлянин», редактор которой, В. Я. Шульгин, еще недавно с удовольствием поддерживал молодого композитора Лысенко и с гордостью писал о его успехах.

В иные художественные войны втянул киевлянин Иосиф Сетов (или Сетгоф, 1835—1894), сменивший Ф. Бергера в роли антрепренера городского театра в 1874 году. Иосиф Яковлевич немало сделал для развития оперного искусства в Киеве в 1874—1884 годах и удостоился похвалы самого П. И. Чайковского (его «Евгений Онегин» был впервые поставлен в Киеве, в 1884 г.). И тем не менее он же, исходя из коммерческих соображений, в 1878 году пытается «водворить на жительство в Киеве меньшую сестру драмы и оперы, вытесненную ими из своей среды». Под этой витиеватой фразой журналиста скрывается не что иное, как изобретенная Жаком Оффенбахом облегченная и игривая опера-буфф. В 1855 году достопочтенный «реформатор» сцены открыл в Париже собственный театр, где и явил вос-

хищенному миру такие шедевры музыкального приплясывания, как «Прекрасная Елена», «Периколла» и «Орфей в аду». «Малая, облегченная опера», или оперетта (горожане называли ее «опереткой»), идеально отвечала вкусам нового буржуазного общества, питавшего тайное презрение к серьезному искусству, и давала дотеле невиданные кассовые сборы. Уже в те времена наемные пропагандисты шоу-бизнеса предпочитали агрессивно-наступательную тактику в борьбе против искусства и пользовались оглушительно-трескучей «революционной» фразеологией. «Одним из орудий искусства, — писал рецензент «Синяя борода» во «Всемирной иллюстрации» за 1882 год, — против обветшалых форм его и служит опера-буфф, занимающая в музыке то же место, что карикатура в живописи». Защитники этих «карикатурных» сценических жанров, рассчитанных на невзыскательный вкус, как теперь, так и в старину, охотно использовали замысловатые психологические трюки и вроде бы успешно доказывали недоказуемое. Та же петроградская «Синяя борода» глубокомысленно вещала: «Говорят, что подобные оперы бессмысленны, но слушая их, вы хотите. Уясните себе, над чем именно вы смеетесь, и вы поймете, что в них /в опереттах/ гораздо более смысла, чем в обветшалых формах старой торжественной оперы с ее картонными героями и слезорыдающими героями».

В наше время это звучит смешно. Но в старые времена нелепости подбных высказываний старались не замечать. Сам антрепренер городского театра Сетов, бывший некогда прекрасным оперным певцом (1855—1864), понимал, с чем имеет дело, но,

рассчитывая на пополнение своего бюджета, делал вид, что верит в высокую миссию «карикатурной» оперы. Поначалу он потихоньку подмешивал в оперный репертуар нечто вроде «Прекрасной Елены», а в 1882 и в 1883 годах начал требовать, чтобы городская дума позволила ему в зимние сезоны вместо опер ставить оперетты «ввиду определившейся склонности публики к этого рода представлениям». В отличие от антрепренера, отцы города не видели в приплясывающей музыке спасения для «обветшалого искусства», и с их благословения «Киевлянин» расставил в этой затянувшейся полемике все точки над «i»: «Если этот театр, — писала газета в ответ на требование Сетова, — стоящий городу таких крупных сумм, будет служить лишь для того, чтобы развратить вкусы публики шутовскими кривляньями, мимикой публичных домов и пошлыми куплетами, то лучше уже его заколотить наглухо».

Строптивый Сетов суровым выговорам думы не внимал и в погоне за рекордными кассовыми сборами продолжал ставить оперетки Зуппе и Оффенбаха, которые для маскировки именова на афишах «комическими операми».

Противостояние театра и думы закончилось тем, что Сетово было отказано в антрепризе и новым арендатором в 1884 году стал Н. Савин, который, впрочем, будучи ловким и напористым делком, продолжал ту же сетовскую политику разбавления театрального репертуара вещами «легкого жанра». Доходило до того, что на бенефис главного дирижера был поставлен «Боккаччо» Ф. Зуппе.

Однако вскоре театральные страсти приобрели иной смысл и переместились в другое место, находившее-

ся несколько ниже Городского театра, ближе к шумному многолюдью «улицы тысячи магазинов», как называли тогда Крещатик.

В 1878 году французский делец Огюст Бергонье построил в своей усадьбе на бывшей Фундуклеевской улице, двухэтажный дом для театра и гостиницы «Лион» (на втором этаже). Он стал первым в Киеве частным драматическим театром и сыграл огромную роль в истории киевской сцены при антрепренерах Александровском, Н. Савине, И. Сетове, С. Иваненко и др. Театр Бергонье отличался демократичностью и в большей мере, нежели «думский театр», отражал художественные вкусы киевской публики. Билеты здесь стоили дешевле, и сюда охотно шла небогатая публика. С осени 1881 года Иваненко ввел в театре Бергонье общедоступные (дешевые) народные спектакли. Естественно, антрепренеры театра Бергонье преследовали свои корыстные цели, но при этом они понимали, что прибыль театра зависит не только от профессионального уровня труппы, но и от уровня художественного вкуса обыкновенного горожанина, и этот вкус надо развивать и шлифовать.

20 ноября 1881 года драмой А. Дюма «Дама с камелиями» начались гастролы суперзвезды парижской сцены Сары Бернар (1844—1923). Актриса была еврейкой, приехала в Киев из Одессы, пережившей кровавый погром. В самом Киеве такое побоище произошло за несколько месяцев до приезда гениальной актрисы (в апреле 1881 года) и потому её гастролы воспринимались как протест общества против провокационного поведения правительства.

Зимой 1882 и 1887 годов в театре Бергонье гастролеровало еще одно



Сара Бернар

светило парижской сцены — Коклен-старший.

Начиная с 1884 года в частном драматическом театре семь лет подраяд гастролеровало Московское общество драматических актеров, возглавляемое Н. Соловцовым, который в 1891 году основал здесь же свой знаменитый театр «Соловцов», перебравшийся впоследствии в собственное помещение на бывшей Николаевской улице. Развитию драматического искусства в нашем городе немало способствовало образованное в 1879 году Киевское русское драматическое общество. Сначала оно работало в летнем театре в Шато, а в 1880 году обзавелось собственной сценой в здании Музыкального училища. Бывали такие сезоны, когда сцену Бергонье полонила оперетта, и тогда единственным прибежищем драмы в Киеве оставалось это общество.

Ближе к концу XIX века театральная жизнь Киева становилась разнообразней, содержательней и интересней.

В 1882 году построили помпезное и довольно безвкусное здание Киевского купеческого собрания. Находящийся при нем бывший парк «Минеральных вод» считался летней резиденцией Киевского купеческого клуба. Правление этого заведения, стремившееся доказать, что купечеству отнюдь не чужды культурные интересы, и не желая допускать у себя «развлечений кафешантанного характера», открыло здесь в 1890 году «Новый театр», который арендовал для своей драматической труппы прославленный киевский актер Блюменталь-Тамарин. Впрочем, это был в своем роде компромиссный вариант, который устраивал и поклонников «настоящего искусства» и любителей веселых развлечений: первый антрепренер «нового театра» снискал себе славу артиста «легкого жанра», комика, и в свое время с удовольствием выступал в оперетте. Видевший его стариком Паустовский писал: «Был в Киеве и театр оперетты, который играл зимой в том же театре Бергонье, а летом в саду «Шато-де-Флер». Звездами оперетты были красавица Легар-Лейнгарт, Зброжек-Пашковская и Виктория Кавецкая. В мужском составе славились Греков, Августов, старик Блюменталь-Тамарин, комик, которому не было равных в стране. Помню, когда он выходил в оперетте «Вольф Пфефферкорн» на сцену в халате весь обложенный газетами, которые торчали из всех его карманов, и только успевал дойти до авансцены — весь зрительный зал уже задыхался от хохота».

Самым значительным явлением в

культурной жизни города конца XIX в. был блистательный триумф украинского театра (в 1881—1883 годах), о котором еще недавно мало кто слышал.

Да и не мудрено, ведь поразившая всех украинская труппа явилась в Киев лишь после того, как имперские власти притормозили действие пресловутого Емского указа. Но явилась она, можно сказать, во всеоружии, — со своим репертуаром и «неизвестно откуда» взявшимися молодыми, талантливыми актерами, игравшими ярко, убедительно и умно. Их энтузиазм первопроходцев нашел отклик в душах киевлян, традиционно тяготевших к украинской культуре при всех властях и режимах.

Эта необыкновенная история гениальных «пришельцев» началась, как пишут мемуаристы, осенью 1880 года с телеграммы хозяина странствующего провинциального театра, потомственного полтавского дворянина Григория Ашкаренко к министру внутренних дел Лорису-Меликову с просьбой о разрешении поставить несколько популярных украинских пьес, чтобы поправить свое пошатнувшееся финансовое положение. Просители не очень-то верили в успех своей затеи, но неожиданно получили положительный ответ. Вскоре новый царь Александр III решил несколько послабить бессмысленные запреты, наложенные на украинскую культуру его предшественником. Началось триумфальное шествие украинского театра по Украине. Публика валом валила на «Наталку Полтавку» и другие его спектакли. В 1881 году труппу Ашкаренко пригласил в Харьков антрепренер Медведев, а ближе к зиме киевский антрепренер С. Иваненко предложил им играть на сцене театра Бер-

гонье, что в итоге дало ему десять тысяч чистого дохода. Все это было тем более удивительно, что, как вспоминала писательница Людмила Старицкая-Черняховская, видевшая гастроли 1881—1882 годов, сама труппа Ашкаренко была тогда «чрезвычайно убогой, артистов было мало, а артисток — тем более. Хора совсем не было, не было даже костюмов, а про декорации нечего было и говорить».

Тем не менее в сезон 1881—1882 годов труппа выступала в больших городах и потрясала зрителей своим сценическим мастерством. В 1882 году к Кропивницкому и Садовскому присоединилась незабвенная Мария Заньковецкая, в 1883 году — П. Саксаганский, И. Карпенко-Карый, М. Старицкий и актриса Ганна Затиркевич.

«Про них,— писала Людмила Старицкая-Черняховская, — мало сказать — гениальные артисты. Они были глубоко народные гении. Они не изображали из себя народные типы в бытовых пьесах, они были ими и в пьесах исторических. Казалось, старинные портреты вышли из своих рам и сошли на сцену. Кто учил их? Никто. Кто мог этому научить? Никто. Кто читал им лекции? Никто и никто. Сама история выкристаллизовалась в них — и ожила».

В 1881—1883 годах труппа выступала в Киеве несколько раз. К этому времени она превратилась уже в творческое товарищество актеров, обзавелась хорошими костюмами и роскошными декорациями. Билеты раскупались на несколько дней вперед. Даже утренние спектакли в будние дни давали полные сборы. Выход каждого артиста сопровождался аплодисментами, а излюбленные места и фразы — овациями, музыкальные номера публика заставляла исполнять

по несколько раз, вызовам после представлений не было конца. После заключительного представления студенты подстерегли Заньковецкую и Кропивницкого у дверей театра и несли их на руках до гостиницы.

Триумф украинской труппы разворачивался на фоне угасания интереса публики к традиционному репертуару театра Бергонье. Киевляне уже не устраивал уровень провинциальных русских труп, выступавших обычно на подмостках этого театра. Украинские пьесы, по тогдашним правилам, давались вкупе с русскими. И вот на представлении первых театр ломился от публики, а вторые игрались в полупустом зале. Наблюдавшие эту странную картину власти какое-то время искренне считали, что таким образом киевляне демонстрируют свою неприязнь к Петербургу и симпатии к «украинскому сепаратизму». Бывший шеф жандармов, а в то время киевский генерал-губернатор Дрентельн, предложил тогдашнему руководителю труппы М. Кропивницкому доказать противное и сыграть оживленную публичной русской пьесу так, чтобы всем стало ясно, что и русский репертуар может иметь в Киеве успех, если его играть с хорошими актерами и не скупиться на костюмы и декорации. Украинцы постарались, выиграли это оригинальное пари у генерал-губернатора и добились... запрета на выступления своей труппы в Киеве и во всем «Юго-Западном крае» (т. е. на Киевщине, Черниговщине, Волини и Подолии). Она могла играть, например, в Петербурге перед царем и царицей, во дворцах великих князей, а в «Юго-Западном крае» ее игра считалась уже не искусством, а преступным сепаратизмом, «политикой».

В 1870-е годы киевский полицмей-

стер Гюббенет, чтобы отвадить городских модниц от украинских нарядов, приказал одеть в них местных проституток. Аналогично поступил Дрентельн и с украинским театром. Выступления лучшей творческой труппы были им запрещены, а все ее эпигоны, подражатели и просто бездарные шарлатаны, выдававшие себя за украинских артистов, получали наилучшие возможности для своей деятельности. Как вспоминал впоследствии Н. Садовский, с легкой руки властей и по их коварному попушению множество находчивых проходивцев «несколько десятков лет издевались над несчастным украинским театром, а заодно и над бедолашным украинским народом, давая в руки врагов все козыри для издевок над ним, поскольку они извратили народные обычаи, народную песню, народный танец, который превратили в какую-то цирковую эквилибристику, а театр — в кабак, где беспрестанно пьют. Тем более, каждый такой каннибальский отряд находил себе своего драмателю, скриппера, который строчил, или лучше, — стругал, душеспитательные драмы, и каждая из них для большого интереса должна была иметь двойное название. Из-под пера этих строчконов летели, как стружки: «Михайло Чоботар, або Всьому голова сто цілкових», «Мазун, або З лихого торгу, або Зносок», «Київський ярмарок, або Сім раз поганий» и т. д., до бесконечности. Все эти «или» начинались, как колбаса салом, песнями, водкою, гопак, кстаті или некстаті — все равно. Запутается такой драмателю в диалогах действующих лиц, не знает, куда дальше идти, так — давай запоем! И поют. Давай попляшем — и танцуют. Выпьем — пьют. И здесь уже начинается бесшабашный, уму не-

постижимый пляс под названием гопак. Танцоры выделывают такие колена, которых ни один народ на свете никогда не выделявал и не выдывал.

Дошло до того, что один прославленный, совсем неграмотный, драмателю, пасечник Самийленко, написал, собственно говоря, не написал, а как он сам мне говорил, «продыхтував» трагедию «Чародійниця», и здесь поставил рекорд относительно танцоров, написав такую ремарку: «Танцор подскакивает вверх как можно выше и потом садится ровным сидением на пол». А другой /драмателю/, цирюльник Суходольский, написал драму «Помста, або Загублена доля», где героиню режут сначала за кулисами, а потом ради вящего эффекта выволакивают за косы на сцену и тут же на самой авансцене дорезают. А для большего эффекта быть в привязанный у нее под мышкой пузырь с красным квасом. Из пузыря с журчанием бежит и разливается по сцене квас, будто кровь. Впечатление, конечно, абсолютно антихудожественное, но за душу берет, а здесь еще подсаженные антрепренером «дамы с улицы» поднимают такой крик на весь театр, что приходится опускать занавес, не окончив пьесу. Дам этих выносят, и публика расходится, сожалея, что не знает, чем же все это кончается. Эффект срабатывал, и на второе представление этой бессмысленной драмы публика валом валит. Пьесы опять не кончают, так как антрепренер призывает подсаженным дамам не давать её кончать. То же самое повторяется и на третьем представлении. Так и торгуют. А искусство? — спросит читатель. Да к чему оно им, были бы деньги!»

Вот с таким «украинским» театром

имели дело киевляне целое десятилетие. И лишь в 1894 году (уже после смерти Дрентельна) новый генерал-губернатор граф Игнатъев позволил сыграть для пробы (чтобы убедиться, что прежних оваций и демонстраций не будет) несколько украинских пьес сначала в городском театре, а после на сцене Бергонье. С этого времени Киев вновь предается своей страсти к украинской драматургии, считая ее самой лучшей и безупречной как в идейном, так и в художественном отношении.

Поэтому, когда в 1898 году в Москве возник художественный театр Станиславского и Немировича-Данченко, ставивший превыше всего искусство драматурга и мастера актера, в Киеве (в 1900 г.) также создается аналогичный союз корифеев украинской сцены — «Товарищество артистов под руководством Н. Садовского и П. Саксаганского при участии М. Заньковецкой, и Кропивницкого, и И. Карпенко-Карого», а в 1906 году возникает новая труппа Н. Садовского, работавшая уже в первом украинском стационарном театре, ставшем аналогом Московского художественного театра.

Труппа обосновалась в недавно появившемся на Новом строении Троицком народном доме. Садовский держал отличный оркестр (одно время им руководил А. Кошиц). Интерьеры театра были оформлены в «украинском стиле». Украинский язык господствовал здесь безраздельно. По-украински говорили даже билетеры и гардеробщики. К открытию сезонов драматурги писали для Садовского пьесы, композиторы — музыку. Весной украинская труппа, как и подобало стационарному коллективу, перебралась в собственное летнее помеще-

ние в парке купеческого собрания над Днепром.

С успехом труппы Садовского в городе мог соперничать тогда лишь коллектив «Соловцов», тоже претендовавший на лавры подлинно художественного театра.

Украинский театр корифеев завершил очень важный этап в формировании художественного вкуса киевской публики и заложил основы национального сценического мастерства. Нарботанного им в период расцвета хватило на многие годы. Даже в эпоху господства соцреализма сценические традиции корифеев не могли окончательно извратить ни Корнейчук, ни Коломиец.

Украинский театр был гордостью Старого Киева и, пожалуй, самым ярким моментом в его художественной жизни конца XIX — начала XX вв. Недаром искушенный в делах сценического искусства певец Вертинский вспоминал о нем на старости лет, как об одном из самых ярких впечатлений юности: «Летом в Купеческом саду, который существует и до сих пор, внизу, в маленьком деревянном театрике, играла украинская труппа. Саксаганский, Садовский, Карпенко-Карый, Заньковецкая (украинская Комиссаржевская, как ее называли), Манько, Сагайдачный и многие другие чудесные, самобытные актеры составляли ядро этой труппы. Как играла «Наймычку» Заньковецкая! Четыре акта театр заливался слезами! Как смешил Саксаганский в роли парикмахера, авантюриста и жулика Голохвастого в пьесе «Крути, да не перекручивай!» Из-за одной его фразы: «Папаша! Это свинство», — произносимой с совершенно непередаваемым юмором, стоило смотреть эту комедию».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На афишах того времени /1810—1820 гг./, кроме обычных сообщений /.../, печатались иногда, преимущественно в бенефисы, длинные и велеречивые воззвания к публике, в которых автор их (бенефициант или антрепренер), обязательно указывая на достоинства и занимательность представляемой пьесы, заранее благодарит за посещение и просит о снисходительной оценке его исполнения.

Актер Рыкановский, ставший в начале 30-х годов во главе труппы, печатает, например, следующее обращение: «Пьеса, выбранная мною на свой бенефис, непременно доставит приятное зрелище и удовольствие почтенным зрителям, счастье же мое зависит только от вас, почтенная публика!»

Из встречающихся на афишах обращений антрепренеров киевского театра к публике видно, что в материальном отношении дела театра шли скверно. В 1816 году, повышая цены на оперу Дювала «Иосиф в Египте», антрепренер объясняет свой поступок расстройством дел труппы /.../ Великий пост, во время которого спектаклей не давали, настолько расстроил дела злополучного антрепренера, что в мае он снова печатает обращение к публике, в котором, выражаясь фигурально, предупреждает, что если публика его не поддержит, то «строение, едва начинающее возноситься, неизбежно должно разрушиться».

В ноябре того же 1823 года он опять жалуется на равнодушие публики и пишет: «Мое желание состоит в том, чтобы дать доказательство истинного служения делу, утвердивши приятную забаву на здешнем театре. Но без поддержки достопочтенных обывателей этой губернии и просвещенной публики г. Киева это намерение не может достичь цели. Посему отдаю судьбу сцены национальной и свой труд на попечение публики, которая всегда умела хорошо ценить намерения и возникающие таланты»... Воззвание не достигло цели и не заставило просвещенную публику Киева раскошелиться /.../ В сезон 1829/1830 года Ленкавский объявил себя несостоятельным и, сдав театр Штейну, выехал в Каменец-Подольский.

(284, 19—20).

К последнему приезду Листа в Киев /в 1847 г./ относится характерный анекдот. Какой-то дюжинный немецкий скрипач, отправляясь в Киев на Контракты, завернул в Немиров и вздумал дать концерт, но его пришли послушать всего три человека: Грудзинский*, Новотный** и я***, и то лишь потому, что получили от него даровые билеты. Не смутившись такой неудачей, никому не известный скрипач дерзнул дать концерт в Киеве: нанята была контрактовая зала, напечатаны афиши, зажжены свечи, но увы! на концерт явился только Лист, по приглашению самого скрипача.

Из сострадания к немцу великий пианист пригласил его к себе и заставил играть в присутствии гостей; затем, выбросив на поднос сторублевую ассигнацию, любезный хозяин обошел вельможных панов и собрал от них порядочную сумму в пользу артиста. Вручая ему деньги, он посоветовал ему никогда больше не давать концертов.

(435, 4—5).

**Грудзинский Л. О. — преподаватель французского и немецкого языков в Немировской гимназии, музыкант и поэт.*

***Новотный — учитель Немировской гимназии.*

****Автор цитируемых мемуаров М. Чалый работал тогда учителем в Немировской гимназии.*



Ференц Лист

В ожидании прибытия артиста /в Немиров по приглашению графа Потоцкого. — А.М./ мы /учителя гимназии/ перерыли все газеты, ища везде отзывов о концертах, данных им в разных городах России и за границей.

«Счастливы мы, что живем в 1842 году, — писал за 4 года перед тем наш русский композитор Серов после концерта Листа в Петербурге, — такого чудесного явления свет доныне не видел еще, и много опять пройдет веков, пока явится что-нибудь подобное» /.../

После таких восторженных отзывов о гениальной игре Листа более чем странно было встретить в печати критику на его последний в Киеве концерт в том же 1847 г., перед приездом в Немиров, некоего Н. Р-на: едва ли это не единственный зоида между музыкальными критиками России и за границей.

(435, 3).

Случилось что-то тревожное в семье В. Г. Черткова. Лесков пишет ему: «/.../ Я видел когда-то какую-то малороссийскую пьесу, в конце которой человека хотят утешить, а он берет утешителя за руку и говорит: «Мовчи, бо скорбь велика». Тем кончается пьеса, и мне кажется, что это верно природе скорби и в высшей степени художественно» /.../

В одном из позднейших своих /.../ рассказов к воспоминанию о финале той же украинской драмы он дал ему не лишнее озорства развитие: «Мовчи, бо скорбь велика!» И после этих слов настала пауза, и театр замер, а потом из райка кто-то рыдающим голосом крикнул: «Эге! Це не ваш Шекспир!» И мнение о Шекспире было понижено до бесконечности».

(231, 148—149).

/Превращение театра в зверинец/

Летом театр /Морис-Пиона на Подоле/* почти всегда пустовал. Что это несколько не преувеличено, можем привести маленький, но характерный эпизод из жизни подольского театра.

В конце 1853 г. приехала труппа ученых обезьян, публика, без того плохо ходившая в театр, так обрадовалась этим заморским диковинкам, что театр совершенно обеслюдела. Тогда г. Морис-Пион, недолго думая, прекращает спектакли и сдает театр обезьянам, которые в него и переселяются.

Храм муз превращается в путешествующий зверинец, снова наполняясь публикой, любопытствующей взглянуть на искусство своих... дальних родственников.
(284, 35).

**После закрытия первого городского театра на Крещатики в 1851 г. к следующему сезону в городе образовались две труппы драматических актеров. Одна из них, возглавляемая Федеукием, давала спектакли на Липках в доме наследников генерала Белгородского и просуществовала недолго. Другая труппа играла на Подоле в перестроенном каменном здании бывшей этапной тюрьмы, которое называлось тогда «Подольским театром» или (по имени его руководителя) театром Мориса-Пиона. Он просуществовал до 22 мая 1855 г., когда его антрепренером стал Энгельгардт.*

/Бунт співака на сцені/

Оркестр г. Шмидгофа* затруднялся аккомпанировать пению в водевилях, каковое обстоятельство привело однажды к скандалу: г. Леонов во время действия заявил, что он должен бы петь, но с таким оркестром петь не может, а если угодно, то споет без аккомпанемента.

(284, 37).

**Имеется в виду оркестр театра Морис-Пиона, работавшего на Подоле в 1852—1855 гг.*

/Захват найманого рецензента/

В том же /газетном/ отчете, описывая исполнение особенно понравившегося ему танца «Эсмеральда», протанцованного г-жей Риза, г. рецензент, говоря о нем, возвышается до настоящего лиризма. Танец* перенес впечатлительного рецензента, выражаясь его словами, «в страну, где апельсины зреют и смуглые девы дышат страстью»**. Значит, действительно хорошо!.. Антрепренер этой труппы*** замечателен еще тем, что первый стал печатать и расклеивать по улицам огромные афиши, на которых самым заманчивым образом расписывал свои представления. До этого времени /до 1853 г. / афиши не покрывали стен театрального здания.

Изобретательность этого господина /наемного рецензента/ шла еще дальше. В конце сезона опубликована заметка: «В театре играют те же пьесы, те же артисты, и с тем же достоинством, но афиши печатаются не черными буквами, а голубыми».

Следует выражение изумления перед глубиной и разносторонностью антрепренерского гения /Морис-Пиона/.
(284, 35).

**Очевидно, это была популярная в 1850-х гг. «качуча», которую, как замечает историк киевского театра Н. Николаев, «с легкой... ноги Фанни Эльсер, которая протанцевала её в «Эсмеральде», вставляли везде, где только можно было вставить, и даже там, где нельзя» (Николаев Н. И. Драматический театр в Киеве. Исторический очерк (1803—1893). — К., 1898. — С. 35).*

***Киевские губернские ведомости. — 1853. — Прим. автора.*

****Антрепренер «Подольского театра» Морис-Пион.*

/Антрепренер «Подольского театра» Энгельгардт/

Энгельгардт* был человек богатый, любивший драматическое искусство, но мало понимавший истинное значение театра, а режиссера не держал, почему при хороших исполнителях репертуар у него был плох, подчинялся личным вкусам антрепренера, не отличавшихся, надо думать, особенной высотой эстетического уровня. Его даже обвиняли в низменности вкусов, любви к грубым и двусмысленным фарсам. Вещи, вроде «Маскарада в клубе», «Жениха на расхват», «Дома на Петербургской стороне» и т. п., не сходили с афиши, а водевиль «Взаимное обучение» шел с половины мая по 1 августа 30 раз... Когда ему замечали, что публике не нравится бессодержательность его репертуара, заполненного одними водевилями, то Энгельгардт спокойно отвечал: «Они (пьесы) нравятся мне, я играю их для себя».

В результате из 20 представлений 16 были отменены вовсе «за отсутствием публики», как кратко извещали афишаги.

(284, 36).

**В мае 1855 г. Морис-Пион, испытывая денежные затруднения, передал свой театр на Подоле Энгельгардту, при этом прежний антрепренер перешел на службу к новому со всей своей труппой.*

/Неоспоримые права супруга/

Г-жа Павлова* /.../ оставила /киевскую сцену/ при довольно курьезных обстоятельствах: супруг г-жи Павловой, обиженный отказом г. Борковского** в выдаче ему дарового билета на спектакли с участием его жены, отправился среди действия на сцену, взял свою благоверную половину за руку и ушел из театра. Спектакль прекратился и изумленные зрители разошлись, как говорится, солоно нахлебавшись.

(284, 48).

**Талантливая актриса, дебютировавшая в Киеве в сезон 1860/1861 гг.*

***Теофил Борковский — директор городского театра в 1856—1860-х гг.*

/Дебют двух симпатичных графоманов/

Вторая половина зимнего сезона 1863/1864 г. ознаменовалась крупным театральным скандалом /в городском театре. — А.М./ Некто, по житейскому своему положению, занимавший немаловажный пост киевского частного пристава, соблазненный лаврами драматического писателя, сочинил на досуге от своих служебных обязанностей драму — «Запропащена, або Лихого діла Господь не потерпить» и добился ее постановки на сцене*.

Приставу-литератору патронировал издатель «Киевского телеграфа» г. А. фон-Юнк**, сам написавший кое-что для сцены. Коварный Милославский***, уступая желанию столь влиятельного автора, поставил его пьесу, но в заключение пристегнул к ней водевиль (переводной) Альфреда фон-Юнка «Дядюшкины тайны», заранее зная, что одно появление на афише имени почтенного киевского журналиста способно было вызвать целое землетрясение****.

Эффект получился полный.

«С самого поднятия занавеса, — пишет один из зрителей, — вплоть до окончания «5-ой дії»*****, театр не переставал гудеть от свиста, хохота и криков... В зрительной зале стояло настоящее вавилонское столпотворение». Когда очередь дошла до водевиля, то зрительная зала вдруг стихла и при поднятии занавеса дружно стали вызывать автора...

Но едва только показался из-за кулис злополучный Альфред Августович, как зрительная зала разразилась таким гомерическим хохотом, шиканьем и свистом, что доверчивый автор едва унес ноги...

(284, 59—60).

*Имеется в виду некогда известный в Киеве полицейский чиновник Мусий Стафиевский, занимавшийся также литературой. Упоминаемая здесь пьеса написана им на украинском языке и посвящалась жене киевского генерал-губернатора, главе местных дам-благотворительниц княгине Екатерине Васильчиковой. Благодаря автору за посвящение, она высказала в официальной газете «Киевские губернские ведомости» необычные в устах супруги генерал-губернатора чувства симпатии и уважения по отношению к украинскому языку:

«Радуюсь, что наречие ваше мне так понятно, хотя я его никогда не изучала, несмотря на прелесть оного для моего слуха».

**Как уже отмечалось, знаток киевской жизни 1850—1860-х гг., автор многих очерков и репортажей, печатавшихся в «Хронике» городских газет, Альфред фон Юнк литературным талантом не обладал. Над его писаниями смеялись даже друзья. Лесков отзывался о нем с иронией и любовью.

***Николай Карлович Милославский — известный актер и художественный руководитель городского театра. В то время был еще и антрепренером (вместе с Протасовым).

****Появление имени Юнка на афише городского театра имело провокационный характер и звучало как приглашение на скандал.

*****Автору заметки это необычное для русского слуха украинское выражение казалось, очевидно, весьма забавным.

Отнoшения между публикой и г. артистами / «Общедоступного театра» 1870-х гг. / были добро-приятельские, когда г. Александровский* поставил в свой бенефис, надо думать, симпровизированную им лично драму из местной жизни под заманчивым названием «На берегах Днепра», и поскольку драма эта оказалась совершенно глупой и незатейливой, то публика стала шикать. Виновник торжества, находившийся на сцене в числе исполнителей, нимало не смутившись, спросил, за что ему шикают. Зрители хором отвечали:

— Не ставь чепухи!

И представление продолжалось как ни в чем не бывало.

(284, 108).

**Известный актер, инициатор создания в Киеве первого частного драматического театра в помещении цирка на усадьбе Бертоны в зимний сезон 1877/1878 гг.*

Киевский корреспондент «Северного вестника» на днях сообщил следующий курьез: «В киевской оперной труппе такой недостаток в русских певцах, что даже в «Жизни за царя» партия Сусанина исполняется на итальянском языке».

Г-н киевский корреспондент в этом случае ни больше, ни меньше, как «с посланниками в карты играет»*. В прошлый сезон 1876 г. мы имели своего очень хорошего Сусанина в г. Беявском; а роль эту 4 раза пел действительно на итальянском языке приглашенный на гастроли знаменитый Мерли, тот самый, который пел Сусанина, когда «Жизнь за царя» была поставлена в Миланском театре нашею же киевскою артистскою Зонтагано-Горчаковского.

(147).

**Т. е. привирает, как Хлестаков.*

/Французские артисты на расчистке железнодорожных путей/

В варшавскую газету «Nowiny» пишут о следующем случае, приключившемся с Кокленом* во время его переезда из Одессы в Киев.

Поезд из Одессы в Киев, на котором ехал Коклен, захватила снежная метель. Поезд шел все тише и тише и наконец остановился. Нельзя было двинуться ни вперед, ни назад, т. к. путь был совершенно занесен снегом. Послали за рабочими, а тем временем поездная прислуга сама стала откапывать локомотив и вагоны. Пришлось простоять довольно долго, в вагонах сделалось холодно. Французские артисты, не привыкшие к русской зиме, приуныли. Но Коклен не потерялся. Он выбежал из вагона, схватил лопату и принялся за работу. Цель была достигнута — он согрелся. Примеру великого артиста последовали и его сотоварищи. Даже г-жа Фавр и Лоди, смеясь и плача одновременно, взялись за лопаты и начали раскапывать снежные горы.

Корреспондент умалчивает о том, много ли артисты сделали для очищения пути /.../

Им пришлось простоять там пять часов и только в 6 часов вечера они прибыли в Киев, где в тот же вечер выступали в L'Aventuriere.
(154).

**Имеется в виду выдающийся французский актер Бенуа Констан Коклен (Коклен-старший; 1841—1909). В описываемое здесь время играл в «Комеди франсез». Вместе со своими труппами гастролировал по странам Европы. В Киеве его театр выступал в 1882 и в 1889 годах.*

/Помещик-антрепренер Иваненко/

Что касается театра Бергонье, то там подвизалась русская драма, антрепренером которой состоял г. Иваненко*. Попал он в антрепренеры совершенно случайно: приехав в Киев для приобретения какой-то земельной машины, г. Иваненко направился в склад машин г. Долинского, помещавшийся в доме Бергонье, но встретил артистов Степанова и Чужбина, которые убедили его взять на себя антрепризу. Иваненко понятия не имел о театральном деле, но его уверяли в выгодности предприятия, и он стал антрепренером.

Драматическая труппа, составленная г. Иваненко, или вернее для г. Иваненко, была из рук вон плоха /.../ Отсутствие сборов в театре Бергонье старались объяснить тем, что киевляне русской драмы не любят /.../ Не хотели сознавать, что причина кроется /.../ в том, что она не любит скверной драмы, точно так же, как не любит и скверной оперы /.../

Антреприза г. Иваненко длилась три года. На деле этом он потерял все свое состояние, но согласился с тем, что для Киева нужна хорошая драматическая труппа, он не желал. Если г. Иваненко и продержался три года, то отчасти он этим обязан гастрольной системе. Особенно удачными в материальном отношении были гастроли Иванова-Козельского, которого киевляне очень любили. Г. Иваненко имел своеобразный взгляд на искусство, который довел его до краха.

— С какой стати, — говорил он, — я дам хорошую труппу; публика этого не заслужила, ибо она театра не посещает. Пусть посещает, тогда и я для нее все сделаю.
(467, 193—195).

**Сергей Семенович Иваненко — сын черниговского помещика, родственник писательницы Марко Вовчок.*

/Не того раскритиковали/

Театр /Бергонье или, как тогда говорили, театр г-на Иваненко. — А.М./ был обновлен /в 1882 г./, написаны г. Реджио новые декорации и занавес, на котором была изображена аллегорическая картина «Возрождение искусств» /.../

По поводу этой картины вышло курьезное приключение. «Заря», почему-то крайне враждебно относясь к деятельности г. Иваненко, грубо осмеял его труппу, когда та еще не появлялась на сцене. Рецензию о первом спектакле г. рецензент «Зари» начинает с занавеса, описывая его в следующих выражениях:

«Как внимательно мы ни рассматривали занавес, никаких признаков возрождения мы на нем не заметили, а узрели вот что: посредине лужайки, окруженной какой-то чудовищной растительностью, стоит ражий детина с длинными волосами; ухватив одной рукой лиру, молодец этот другую держит на отлете. Физиономия прегрелая, напоминающая погоревшего антрепренера» и т. д.

Что напоминали собою умные физиономии публицистов «Зари», когда они узнали, что картина эта представляет точную копию с аллегорической картины знаменитого английского художника Альмы Тадемы «Импровизатор, или Возрождение искусств», можно себе представить.

(284, 149).

/Идержки наивного патриотизма/

Некультурность /как говорит автор, «местного», т. е. украинского псевдопатриотизма. — А.М./ проявилась, например, следующим образом: 12 января /1882 г./ идет «Ревизор» Н. В. Гоголя и ничтожный, по сравнению с гениальным произведением Гоголя, водевиль «Кум-Мирошник, або Сатана в бочці». На «Ревизоре» театр пуст на три четверти, но к концу русской пьесы, перед началом водевиля, и ложи и партер наполняются избранной публикой, и малорусский водевиль проходит при полном театре и шумных овациях, с бросанием шапок на сцену и т. п.

Вся эта демонстрация, неизвестно против кого и чего направленная, носит такой необдуманно-ребяческий характер, что, право, становится и смешно, и досадно!

Нам невольно вспоминается геростратовское пожелание одного подобного «патриота своего отечества», как выражается Платон Зыбкин, который за кулисами Панаевского театра во время представлений труппы г. Садовского сурово осуждал г-жу Заньковецкую за ее намерение выступить в русской пьесе. Он договорился до того, что прямо и откровенно заявил, что предпочел бы, чтобы Гоголь не написал ни одной строчки, чем написал все, что написал им, по-великорусски.

(284, 144—145).

Прихильники малоросійської драми, принаймні в Києві, настільки захоплювалися, що в кожному з артистів бачили ледь не генія і в оваціях виходили далеко за межі можливого. Я пам'ятаю прощальну виставу малоруської трупі; якби на сцені грали водночас Ірвінг, Россі, Сальвіні, Сара Бернар, Пеццано Гвальтьєрі і інші знаменитості, навряд чи овації сягали б такої сили, як під час прощання з малоросійською трупою Кропивницького. Спочатку несли дарунки, потім безкінечно викликали, далі летіли на сцену свитки, і зрештою з півсотні шапубальників кинулись через бар'єр в оркестр, а звідти здерлися на сцену, стали качати не лише акторів, а й хористів, підкидали навіть лампівників*.

Наступного року**, вже за антрепризи Савіна знову повторилися овації на той само копил, і дійшло до того, що адміністрація заборонила надалі малоросійські вистави, й лише багато літ перегода дозвіл був знову даний.

(468, 25).

*В то время электричества в быту еще не было. Сцены театров освещались или газовыми рожками, или керосиновыми лампами, за которыми сле-

дили упоминаемые здесь ламповщики. Известны случаи взрыва газового пламени в Городском театре, случались опасные минуты и в театре Бергонье, однако ламповщики всегда показывали себя с наилучшей стороны, и за всю историю киевского театра во время спектаклей пожаров не было. (Городской театр загорелся в феврале 1896 г. уже после представления, ночью, от запытой кем-то из актеров горящей свечи).

****Театральный сезон 1882/1883 г.**

Желая поправить дела /антрепренер городского театра/ г. Савин с разрешения думы создал и итальянскую оперу. Было это в середине сезона*, и ничего нет удивительного, что труппа оказалась слабой; слабыми оказались и гастролеры, приглашенные г. Савинным. Явились какие-то никому неведомые г-жи Брех, Верези и др.

По поводу дебютов г-жи Верези припоминаю следующее четверостишие:

Сидить галка на березі,
Вилупивши очі,
В опере поет Верези.
Слушать нету мочи**.

(467, 197).

*Предшественник Н. Савина И. Я. Сетов (Сетюф), арендовавший театр с 1874 г., возмущал думу своим увлечением оперетками, которые давали ему неплохой доход. В 1884 г. против него выступила целая группа гласных во главе с редактором 2-ты «Киевлянин» Пихно. Контракт был расторгнут среди сезона. Новый антрепренер Савин вынужден был формировать труппу в то время, когда все известные актеры уже имели места. Чтобы кассовые сборы не упали, он пригласил в Киев итальянских гастролеров.

**Эпиграмма написана суржилом, что свидетельствует о том, что суржик был не только средством общения определенной группы населения Киева, но и одним из стилей юмористической городской поэзии. Кстати, эту функцию он исполняет и в наши дни.

Южные, увлекающиеся темпераментные киевляне умеют восторгаться не хуже итальянцев /.../

В 1890 г. Чайковский приехал в Киев на постановку «Пиковой дамы». Присутствовал на первом представлении, и опять был фурор /.../ Чествовали Чайковского, неожиданно для него при открытии занавеса поднесли ему серебряный лавровый венок, разные подарки и цветы.

Он потом писал брату: «По восторгу нельзя и сравнить с Петербургом: овации даже надоели...»

(463, 80—81).

/Артистка/ Пускова одразу завоювала симпатіі всього громадянства. Студентська молодь просто очманіла. На честь Пускової склали вірші і в формі листівок розкидали на спектаклі в театральній залі.

Коли несподівано випадав дощ, а Пускова брала на ту пору участь у спектаклі, то студенти ставали коло артистичного входу і при появі Пускової кидали на бруківку свої пледи, щоб вона по них переходила, не замочивши черевиків, до свого екіпажу.

(36, 130).

/Вертер у Києві/

Дирекція Київського оперного театру вирішила поставити восени 1894 року нову оперу Жюльє Массне «Вертер». Звернулися до Гейгеля, видавця творів композитора. Той Гейгель запросив за партитуру таку ціну, що довелося відмовитись від постановки.

Про це дізнався композитор Массне і написав листа директорові О. Виноградському*:

«Зворушений до глибини душі вашою увагою, вважаю за честь для себе постановку «Вертера» в такому театрі, як київський. Я наказав видавцеві надіслати вам усі потрібні ноты».

(427, 227)

**Обычно директорами городских театров были сами антрепренеры. В декабре 1894 г., когда умер И. Сетов, право на антрепризу перешло к его вдове, П. Сетовой, фактическим руководителем театра стал дирижер Д. Пагани. А. Н. Виноградский (1855—1912) был председателем Киевского отделения Русского музыкального товарищества и дирижером на симфонических концертах этого общества. Можно предположить, что он принимал участие также в постановке «Вертера».*

И в заключение хочется сказать несколько слов о нашем антрепренере Бородае.* Сибирский мужичок небольшого роста, с пронизательными глазами, он работал на земле, но когда один раз побывал в опере, бросил семью, землю и поступил в театр как рабочий, а потом капельдинер. Он обожа́л музыку и ради нее выносил все. Так как он был очень делный и энергичный человек, то вскоре набрал малую труппу и стал антрепренером. Когда я /певица Новоспасская/ поступила к нему, он был уже известным, большим антрепренером и очень умело вел свои дела. Но больше всего увлекался музыкой. Бывал не только на всех спектаклях, но часто и на репетициях. Помню такой случай. Шел у нас «Купец Калашников». Театр был совсем пустой. Я сидела рядом с Бородаем и от души жалела его. Ведь он прогорает. Но когда пристально поглядела на него, я увидела глаза, горящие восторгом, и услышала слова: «Господи, Боже мой! Сматришь, слушаешь и не знаешь, на земле ты или на небе!» Он забыл, что он антрепренер, что терпит большие убытки, — весь был во власти искусства... Ко мне он относился совсем не так, как к другим. Его радовали мои успехи. Когда мой будущий муж — он часто посещал оперный театр — стал ухаживать за мной, Бородай повел его в свой кабинет и сказал: «Не ухаживайте за Новоспасской, оставьте ее. В театре много молодых интересных женщин, а за эту вы Господу-Богу ответите». Разве это не трогательно? В течение трех лет я ни разу не получала той

суммы, какая стояла в контракте, все три года платили двойную плату. Он очень высоко ценил меня.

(355, 20—21).

*Известный киевский антрепренер Н. Бородай в начале карьеры служил в театре мальчиком на побегушках. Образования не имел, но питал большую любовь к искусству, обладая вкусом и практической смекалкой. Содержал драматические и оперные труппы одновременно в нескольких городах. Киевский городской театр получил в аренду на 6 лет сразу после его перестройки в 1901 г. Первый сезон в новом помещении киевской оперы закончился блестящими гастролями Ф. Шаляпина. В 1903 г. труппа Бородай отметила 35-летие музыкальной деятельности Н. Лисенко постановкой оперы «Різдвяна ніч», которую осуществил режиссер М. Старицкий и художник Ф. Красицкий. Революционные события 1905 г. привели к падению кассовых сборов. Бородай вынужден был задержать выплату зарплаты артистам. 7 декабря 1905 г. труппа устроила забастовку, и хоть в конце концов антрепренер со всеми рассчитался, его отношения с коллективом были испорчены. В 1907 г. Бородай вынужден был оставить театр и передать право на аренду своему пайщику С. Биркину.

/Дружок Шаляпина/

Завтра по расписанию «Борис Годунов», а накануне Бородай, антрепренер театра, в совершенной панике — заболел тенор, исполнявший самозванца, а дублера нет. Что делать? Отменить спектакль невозможно, ведь Шаляпин, все места проданы, люди с ночи стояли. Тут Федор Иванович /Шаляпин/, узнав о беде, спокойно говорит: «Не волнуйтесь, я достану вам Димитрия». Через два часа привел какого-то маленького рыжего никому неизвестного человечка. «Партию знает. Положитесь на меня», — заявляет Федор Иванович. Но разве можно в таком деле не поверить Шаляпину? Начался спектакль. Сцену в корме шаляпинский Димитрий кое-как пропел. А когда дошло дело до сцены у фонтана, — сидит «Димитрий». Петуха за петухом пускает. Ну, кое-как допели. Выходим раскланиваться. А тут свист со всех сторон /.../

Бородай потом спросил у Шаляпина:

— Да где ж вы его выкопали, безголосого?

Но тот только плечами пожал:

— А черт его знает, давно за мной ходит, вот я и дал ему возможность попробоваться. А ведь партию-то знает, черт рыжий.

(355, 115—116).

/Війна «чорногорців» з турками/

Позавчора в цирку Крутікова відбулась така кумедна подія. Клоун В. Л. Дуров хотів показати на арені «балканську війну». Свій мали в нього грати роль турків, а мавпи — чорногорців. Під час репетиції понад 10 мавп-«чорногорців» втекли з арени, заскочили в турецьку булочну, яка

знаходитися в будинку цирку, й почали бомбардувати справжніх турків тістечками й булками.

Тепер Дурова притягують до відповідальності за недогляд.
(327).

Помню, як в бѣгнѣсть мою статистом у «Соловцова» група наших «маленьких» артистов пришла в цирк просить контрамарки. Администратор, необычайно важный и зазнавшийся тип, холодно пожал плечами и отказал.

— Почему я должен давать вам контрамарки? — спросил он. — Ведь наши лошади к вам в театр не ходят.

Мы ушли с носом.

Через несколько дней группа циркачей пришла к нам в театр за тем же.

Наш администратор Бунин, которому стал известен этот инцидент, так же холодно пожал плечами и сказал:

— Ведь ваш администратор обещал, что его лошади не будут ходить к нам в театр.
(63, 59).

/Артисти-терористи/

Я доручив Загорському* везти трупу до Києва пароплавом, бо водою дешевше коштувала перевозка, особливо багажу і декораций, хоч трохи довше доводилось їхати, а сам кур'єрським поїздом поїхав попереду до Києва, щоб там усе тим часом улаштувати. Від'їжджаючи, я кажу:

— Ванно, ти ж май на увазі, що ви будете проїздити Дніпром коло Тарасової могили, тож зроби розпорядок, щоб хор і вся трупа вийшли на чердак** і проспівали «Заповіт». Я це робив завжди, коли мені з трупою доводилось їхати Дніпром біля Канева.

— Добре, — каже Ваня, — все буде, як бажаєш.

Поїхав я, а трупа прийшла до Києва вранці третього дня. Я ще лежав у ліжку, як до мене ввійшов Загорський, страшенно стурбований, — таким я його ніколи не бачив.

— Що трапилось? Де трупа? Приїхала?

— Приїхала.

— Ну?

— Зараз розповім, дай трохи передихнути.

Ваня сів і заявив:

— Трапилось, брате, таке, що не знаю, як викрутимось із цієї халепи.

— Та що там таке, кажи мерщій!

— Як ти мені на від'їзді сказав, то так я й зробив. Під'їжджаючи до Канева, коли замаячив хрест на могилі, хор і вся трупа вийшли на чердак і заспівали: «Як умру, то поховайте». Публіка, що їхала пароплавом, страшенно захопилася співом і весь час, поки пароплав ішов до Канева, поки видно було хрест на могилі, просила співати й побожно слухала, поздіймавши шалки. Так доїхали ми до Канева. Тут на пароплав сіла виїзна сесія окружного суду, що була в Каневі й їхала теж до

Киева. Голова цієї сесії познайомився зі мною й попросив, щоб хор децю заспівав. Звичайно, я згодився, і хор проспівав кілька пісень.

— Ну, так що ж тут страшного? Це ти вже, мабуть, щось там вигадав, щоб пожартувати?

— Ні, стривай, слухай далі. Пароплав відплив і ми ще проспівали кілька пісень на прохання голови суду, а коли настала ніч, полягали спати. Годині о другій вночі пароплава серед Дніпра зупинив другий пароплав, що йшов з Києва, і на чердак до нас з'явилась жандармерія, яка заявила нашому капітанові, що на пароплаві їдуть революціонери, які співали революційних пісень. Капітан відповів, що про те, що їдуть на пароплаві революціонери, чи ні, — він не знає, а пісень справді співали, тільки не революційних, а малоросійських, і співав їх хор трупи Садовського на прохання голови сесії окружного суду, що сіла на пароплав у Каневі, та всієї публіки. А трупа, мовляв, їде зараз до Києва.

— Где сам Садовский? — питають.

Капітан відповідає, що самого Садовського нема, він у Києві, а трупу везе адміністратор.

— Где он?

— Спить, — каже капітан.

— Разбудить.

Мене розбудили, і жандармерія зажадала мого паспортів. Я показав, тоді вони наказали розбудити всю трупу й почали перевіряти паспортів та трусити наші речі. Звичайно, нічого не знайшли, а протокола все-таки склали. Тут виїхав із своєї каюти голова суду і заявив жандармам, що він сам був присутній при співах, сам навіть просив, щоб співали, і нічого революційного не чув у тих піснях, в чім і розписався у протоколі. Після цього жандармерія, потримавши години дві пароплава серед Дніпра, покинула його і перейшла на свій, що стояв борт при борті з нашим, а ми поїхали далі. І от, як бачиш, прибули, — скажеш, щасливо? Що буде далі, не знаю. Про це я прийшов тебе сповістити /.../

— Ти балакав з головою потім?

— Балакав.

— Що ж він тобі сказав?

— Він сказав: «Нічого не бійтесь, це якесь непорозуміння, я з'ясую в Києві. Перекажіть Садовському, що турбуватись нема чого».

Трохи пізніше справа з'ясувалась. Читач повинен знати, що це було 1907 року, тобто після революції 1905 року, і ясно, що жандармерія та поліція уважно стежили за всякими подіями, а прислів'я каже, що лякана ворона й купця жахається. Тому капітський помічник справника, почувши пісню про Максима Залізняка і учувши в її змісті підкоп під цілість Російської держави, бо в пісні сказано: «Поробили шанці і вдарили з земни гармат у середу вранці», — телеграфом повідомив київського губернатора, що він викрив величезну революційну організацію, агенти якої зараз їдуть на таким-то пароплаві до Києва і їх усіх можна захопити, адже з пароплава їм нікуди тікати.

Викриття такої організації та захоплення її агентів обіцяло йому в майбутньому русі по службі величезну користь, чини й ордени, як-то кажуть. А губернатор дав наказа негайно спорядити пароплав з цілою сотнею озброєних солдатів та жандармів, що вирушив назустріч цій «революційній банді», щоб захопити її всю

і спровадити до лук'янівської в'язниці. Так і зробили. Читач питає, що ж із цього вийшло? З попереднього оповідання він бачив, що жандармерія покинула пароглав і сіла на свій великим конфузом, а помічник канівського справника в нагороду за свою «беззаветную преданность Богу, царю и отечеству» одержав «отстранение в 24 часа от занимаемой должности».

(356, 157—160).

**Н. Садовский рассказывает про артиста и администратора своей труппы И. Загорского.*

***Чердак (укр., устар.) — палуба парохода.*

/Вимогливий режисер та його талановиті учні/

У жовтні 1907 року в київському театрі Миколи Садовського після першої репетиції нової постановки — комедії М. В. Гоголя «Ревізор» зайшла мова про акторську майстерність. Садовський був незадоволений окремими епізодами та виконавцями.

— Нема нічого гіршого, як штучність на сцені. А я хочу правди, живої, яскравої, яка б вона не була. Сьогодні я ще не побачив її, — грали актори, це насамперед впало в очі. Взагалі майстерність — штука тонка. Яку сценічну майстерність не побачиш, а все ж думка, що це тільки акторська гра, тебе не залишає.

В цей час до кімнати ввійшов Мар'яненко, виконавець ролі Хлестакова. Виглядав мав пригнічений, от-от, здавалося, заплаче. Садовський підвівся й сторожко спитав:

— Що трапилось, Іване Олександровичу?

Той безпорадно махнув рукою і трохи не впав на стілець. Усі стурбовано звернулися:

— Кажіть, що трапилось?

— Горе... Страшне горе!.. — Він закрив очі рукою, схилив голову на стіл.

Садовський нервово вигукнув:

— Та не мовчіть, тут же ваші друзі!

Тихо підвів голову Мар'яненко, витримав довгу-довгу паузу і пошепки вимовив:

— Жінка померла...

— Як так? — здивувався Садовський. — Вона ж щойно була на репетиції... неже так раптово?

— Еге... Прийшла на жіночу половину... Впала нежива!..

Всі сиділи приголомшені.

У цей час заходить О. П. Полянська, жінка Мар'яненка, кличе:

— Ваню, чого розсівся? Ходімо додому, ввечері ж вистава.

Садовський поквапливо встав:

— Як? Ви живі? Мабуть, були тільки непритомні?

— Звідки ви це взяли?

— Та ось, Іван Олександрович сказав, що ви нагло померли.

— Ти що, здурів, Ваню?

— Та... Я тільки хотів перевірити, чи є в мене майстерність правди...

(427, 251—253).

/Полювання на акторів/

За дореволюційних часів комендант міста полковник Медер щодня ходив по центральних вулицях і випускавав військових, до кого б можна було причепитися.

Коли почалась війна 1914 року, київські театри опинились в скрутному становищі: багатьох артистів було мобілізовано. Доводилося шукати виконавців ролей серед тих, хто служив у військових частинах.

Відомий український співак Михайло Іванович Донець під час війни працював у військовій частині фельдшером. Увечері виступав в опері. Якось Медер завітав сюди за куліси, побачив у вбиральні військовий одяг. Дізнавшись, що він належить Донецю, Медер заборонив співакові виступати в театрі. Через кілька днів в афішах з'явилося нове ім'я — Михайло Донський. На цей раз військовий комендант нічого не знайшов у театрі і дав актору спокій.

(427, 362—363).

/Чудо сценічного зцілення/

У трупі Садовського працював актор, небіж братів Тобілевичів Євген Петрович Тобілевський, за сценічним псевдонімом Рибчинський, син Петра Карповича Тобілевського. Петра Карповича тоді вже не було на світі. Євген захопився театром і попросив свого дядька Миколу взяти його до своєї трупи. Той, завжди дуже прихильний до молоді, а тим більше до дітей своїх братів і єдиної сестри Марії Карпівни Садовської, охоче взяв його до себе, не дивлячись на те, що Женья Рибчинський мав одну величезну ваду, якої ні за які блага в світі не захотів би мати ні один актор. Річ у тім, що Женья, як усі його звали вдома і в театрі, дуже заїкався. Бувало, як хоче говорити, то аж зануднився, поки його дослухаєш.

Я знала Женью ще малим хлопчиком і, почувши, що він працює у Садовського, дуже здивувалася.

— Які ролі він може виконувати? — питаю я своїх домашніх.

— Піди й подивись сама! — почула я від сестри Юлії.

Вперше я побачила заїку Рибчинського в «Ревізорі», де він грав Коробкіна. Слухаючи його, ніхто не міг би в думці припустити, що він заїкається в житті, під час звичайної розмови. Його кращими ролями були: партія Султана в «Запорожжі за Дунаєм» та роль Гайдамаки в п'єсі «Сава Чалый». Разом із чималими акторськими здібностями Євген Рибчинський дістав у спадщину доволі імпазантну постать і всю зовнішність своїх близьких родичів — Тобілевичів. Голос у нього був теж хорошиший, і коли він виконував партію Султана і співав: «Отрадно сердцу тут, спокойно среди убогих хижин сих», то публіка завжди викликала його аплодисментами на біс і примушувала обов'язково повторити номер. А в «Саві Чалому» його спокійні і начебто до розпачу байдужісінькі відповіді: «Може, Сава, а, може, й ні» на численні запити розгніваного гетьмана Потоцького — були зразком душевної витримки й незламності гайдамацького волелюбного духу. Вся його імпазантна й мальовнича постать у подертій під час бою сорочці, з руками, закутими в кайдани, була художнім відображенням типового гайдамаки, захисника своєї батьківщини, про якого можна було сказати з повним правом, що такий лицар і чорта не алякається

/.../ Отакий сильний образ давав на сцені артист Рибчинський, незважаючи на природний дефект своєї мови.

Це було таке диво, повз яке я не можу пройти, не зазначивши його.
(402, 406—407).

Взагалі треба сказати, що в /літньому/ театрі /Садовського в саду Купецького зібрання. — А.М./ люди були очіч трох до деяких жартів /.../

Пам'ятаю, наприклад, іменіни Колі Вільшанського. Це було під час /Першої світової/ війни, коли заборонено було горілку. Коля був людиною хазяйновитою, й у нього ще від «довійського часу» зосталось багатенько різних пляшок з дуже смачними речами: коньяком, лікерами різних сортів, горілки простої й різних настоїв, та доброго вина. Бо любив, нівроку, хлопець і попоїсти добре, і смачно з толком випити. Отож, коли настав час його іменін, то звичайно, що в ту «суху» пору* гостей у Колі набралось більше, ніж завжди. В той час біла нашої трупи тепілася, як завжди буває, студент Сашка, чи Мишка Горлов. Це був панок, що все й усіх знає, носив завжди чудово пошитий форменний сурдут, чистенькі манжетки, і в кожній артистичній компанії брав найактивнішу участь. Так і тут, у Колі: він і столом розпоряджався, хоч хазяїн і сам був до цього добрий майстер, і галасував найбільше, і взагалі вів себе так, начеб це були його власні іменіни. Коли вже добре випили та закусили, то гості почали наслідати на хазяїна, щоб дістав це «випивону», але той все відмовлявся, що вже нічого нема, все випито. Тоді Саша Горлов закомандував їхати в «Шато» (шантан-ресторан) пити каву, там, мовляв, він свій, хазяїн його давній приятель і дасть всього чого треба, так що кава вийде чудесна: і з лікерами, і з коньяком, і всім, чим хочеш. Всі одногласно з захватом прийняли цей план. Хазяїн не дуже-то охоче згоджувався, бо це пахло досить солідною сумою, а він не дуже був охочий платити. Але по ініціативі того ж Горлова вирішено, що хазяїн увільняється від плати. Тоді Коля з охотою згодився, і всі ми голосно вирушили в «Шато». Я бачив, як хазяїна старанно одягали та випроводжували з пошаною першого, і взагалі виявляли йому найбільшу увагу, як імениннику. А коли я вийшов на вулицю, то зрозумів, чого це така йому увага: поки його одягали та випроводжували, Горлов захопив з собою хазяйський шкіряний куфер, повний пляшок з найкращими напоями.

Коли приїхали в Шато взяти великий окремий кабінет (кімнату), а Горлов побіг начебто на «переговори» до хазяїна. Прошло досить порядно часу, як бачимо — несуть чудову каву, а до неї до трьох сортів лікерів. Всі зраділи, почали вихвалити Горлова та піднімати чарки за іменинника. Далі... знову лікери, а там вино, і так до самого ранку. Нарешті настав момент читати рахунок. Коля завжди не любив чомусь цього моменту... От і тепер він лів на канапу і задрімав, бо був добре обтяжений лікерами, а може удавав. Я думаю, що останнє. Таким робом він не бачив, що рахунок було поставлено тільки за одну каву та помешкання. Ми розплатились, а поки ще тягнулись різні розмови, Коля на канапі наравду захорпів. Тоді всі рішили, що нема чого будити людини, нехай собі перестить, а потім сам повернеться додому. От ми і розійшлись...

Треба було чути й бачити, з яким обуренням Коля розказував мені на другий день, як то він прокинувся, побачив біля себе свій порожній куфер та зрозумів, чим ми його так частували. А ще більше було його обурення, коли, роздягаючись вдо-

ма, він почав витягати з усіх кишень ложечки до кави з написом «Шато-де-Флер», і як потім прийшлося йому знов іти до «Шато», вертати ті ложечки, та пояснювати буфетнику під загалний регіт лакеїв, в чім справа.
(192, 173—175).

**Во время войны царское правительство ввело «сухой закон». Спиртные напитки отпусались по талонам.*

/Дирижер-педант/

Крупным и своеобразным мастером был работавший в Киеве много лет с перерывами Иван Осипович Палицын. Вокруг него сложились противоречивые толки. Его обвиняли в излишней беспристрастности при исполнении, в отсутствии своего творческого лица, приписывали даже такой порок, как бюрократизм, и именно бюрократизм в творческой работе. Другие дирижеры допускали некоторые /.../ небольшие купюры в ряде опер. Палицын категорически требовал исполнить произведение полностью, в соответствии с волей и замыслом композитора. Он настоял, чтобы обязательно шла сцена «Под Кромами», обычно выпускавшаяся прежде при постановках «Бориса Годунова». /.../ Както в самый разгар гражданской войны шла «Снегурочка» под управлением Палицына. Почти все билеты были распроданы. Дирекция решила дать спектакль, несмотря на то, что бой шел совсем близко от Киева и отдельные снаряды падали на центральных улицах. В зале собралось человек 40. После второго действия хористы окружили Палицына:

— Иван Осипович! Большая к вам просьба, сократите хоры, сделайте небольшие купюры, дайте нам уйти поскорее, слышали, что творится в городе!

Палицын посоветовал просить директора прекратить спектакль вовсе. Тот не согласился. Тогда дирижер сказал:

— Я не допущу издевательств над творением Римского-Корсакова. Не играть вовсе лучше всего, но если играть, то полностью.

Злостное шипение со всех сторон не произвело на маленького ростом и очень добродушного в быту Ивана Осиповича никакого впечатления, — «Снегурочка» была закончена, как во всех обычных спектаклях.

(85, 98—99).

Сезон 1918/1919 року відкрився в умовах окупації Києва німецькими військами. Суперечки між хором, оркестром і дирекцією театру так загострилися, що початок сезону ознаменувався страйком хору та оркестру. «Відбувся факт, нечуваний в анналах не тільки київського міського театру, але й взагалі, очевидно, неможливий у великому місті, яке нині стало столицею, — опера відкрилася без хору та оркестру» («Неделя литературы, искусства и театра». — 1919. — №1). Справа дійшла до зовсім потворного факту, коли замість оперного оркестру, за розпорядженням німецького командування, в орестр було посаджено німецьких солдат, які, не маючи уявлення про оперу, що виконується, «дудили в «Онегін» щось таке, про що навіть через півроку згадати жахливо.

(388, 61—62).

О. Н. ВЕРЕСАЙ

Остап Никитович Вересай (1803—1890) — видатний кобзарь XIX в. Родився в с. Сокиринці на Чернігівщині в сім'ї крепостних крест'ян. Осліп в ранньому дитинстві. В 15 лет пошел в науку к кобзарям. Непревзойденний виконавець народних дум в манері імпровізаційної речитативної декламації в супроводженні кобзи. Тарас Шевченко подарив Вересаю свій «Кобзарь». А. Русов і П. Чужбинський записали у Вересаю більше 20 дум. Певця підтримував Галаган. В 1873 г. творчеству видатного кобзаря було посвячено спеціальне засідання Юго-Западного відділення Руського географічного товариства, доповідь на якому прочитав композитор Н. Лисенко, а сам Вересай продемонстрував свій репертуар. В 1875 г. Н. Лисенко організував декілька концертів кобзаря в



Петербурзі. Вони користувались неслуханним успіхом.

*Гомер наш польовий, славетний Вересай,
У Петербурзі мав співати на концерті.
До артистичної кімнати, мов ручай,
Лилася арія жіноча. У потертій
Свитині сидячи, схвилюваний украй,
Він мовив (слово те убереглося смерті):
«Ех, і співає ж бо! Чимало б я віддав,
Аби лиш голосок, як дя-от пані, мав!»
Але прийшла черга співати і сіромі.
Студентом ведений, на сцену він пішов,
Низький оддав уклін громаді незнайомій,
Незримий, довгий час ладнав він знов і знов
Бандуру — і почав не в бурі і не в грім, —*

*Ні! Тихим шелестом козацьких корогов!
Співачка* скрикнула: «Я все ладна віддати,
Щоб почувття таке, як цей старенький, мати!»*

(343, 70).

*Упоминаемая здесь певица — солистка Мариинского театра М.Д. Каменская, которая выступала вместе с украинским кобзарем в Соляном городке на большом Славяно-этнографическом концерте 16 марта 1875 г. Как пишет биограф Вересая, услышав пение кобзаря, она сказала: «Если бы я владела такой силой экспрессии, с какой поет этот старик!» (Лавров Ф.И. Кобзар Остап Вересай. — К., 1955. — С. 21).

Прийшовши ввечері до Лисенка (він жив тоді на Мерінговській вулиці*), ми побачили у великій залі незвичайно гарну живу картину: душ 30 дівчат та хлопців-студентів у мальовничих народних убраннях обсіли навкруги старезного з лисою головою та білою бородою кобзаря і слухали його співи.

Вересай не мав тоді вже ні зубів, ні голосу, а тому не співав, а скоріше речитативно шамкав, і спів його не зробив на нас ніякого враження, зате на кобзі він грав артистично /.../

В одну з пауз, коли дружина Лисенка, дуже симпатична Ольга Антонівна, переказала, щоб дівчата привели Вересая до столової чай пити, то панни, як сороки, заскреготали:

— Діду, діду, чаю пий, чаю пий!

— Ось щитьте, бо послушайте, що я вам скажу: мені старому якби чарку горілки, бо від того чаю тільки с...ть хочеться!

Панни зробили вигляд, що не почули, але й не перепитували, а хлопці пирскали, придушуючи долонями сміх.

(451, 107—108).

*Описываемые события происходили в 1881 г., когда Меринговской ул. (теперь ул. М. Заньковецкой) еще не существовало. Очевидно, мемуарист имеет в виду первые дома на усадьбе проф. Меринга, где впоследствии была проложена эта улица.

М. А. КРОПИВНИЦКИЙ

Марк Лукич Кропивницкий (1840—1910) почитается «отцом нового украинского театра». Родился в с. Бежбайраки на Елисаветградщине. Закончил уездное училище, в 1856 г. вступил во Вторую киевскую гимназию, но был исключен из неё, так как не мог доказать своё дворянское происхождение. Сдал экзамены экстерном. В 1862 г. записался вольным слушателем на юридический факультет Киевского университета, но был исключен по той же причине. Работал канцеляристом в Бобринце и Елисаветграде, играл в любительских спектаклях, дружил с И. Карпенко-Карым. Дебютировал в 1871 г. в Народном театре И. и Д. Морковых и Н. Чернышова в Одессе. В 1872 г. опубликовал свои первые драматические произведения — комедию «Помирились» и водевиль «За сиротою і Бог з калитою». (Всего написал более 40 драм и водевилей. Среди них самыми популярными были «Глитай, або ж Павук», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дві сім'ї», «По ревізії», «Пошилися в дурні»). В 1874 г. украинская музыкально-драматическая труппа Кропивницкого выступала в Петербурге. В 1875 г. — актер и режиссер Театра товарищества «Руська бесіда» в Галичине. В 1876—1881 гг. работал в разных театральных труппах в Восточной Украине. В 1881 г., будучи актером русско-украинской труппы Г. Ашкаренко, задумал создать собственную труппу



с исключительно украинским репертуаром. В том же году этот коллектив с небывалым успехом выступал в Одессе, Николаеве, Елисаветграде и, наконец, в Киеве (в 1881—1883 гг.). На фасаде бывшего театра Бергонье (ул. Б. Хмельницкого, 5, где теперь размещается Русский драматический театр) в честь этого события установлена памятная доска. Киевляне, особенно студенты, бурно реагировали на появление украинского театра, каждый спектакль превращался в демонстрацию украинских культурных сил, что в конце концов вынудило старого жандарма, тогдашнего киевского генерал-губернатора Дрентельна выдворить труппу Кропивницкого из Киева и вообще запретить ей выступать на территории «Юго-Западного края». Запрет продержался 10 лет, пока преемник Дрентельна, генерал Игнатъев не позволил украинским артистам сыграть (для пробы!) несколько пьес, чтобы убедиться, что никаких полити-

ческих демонстраций не будет. (Артисты попросили студентов держать себя скромно и никаких оваций не устраивать). 22 февраля 1900 г. под руководством Садовского и Саксаганского и при участии Заньковецкой и Карпенко-Карого была создана новая Украинская театральная труппа Кропивницкого, которая вошла в исто-

рию под названием «Театр корифеев». Театр просуществовал недолго (до 16 февраля 1903 г.), но тем не менее все участники этого славного содружества стали называться «корифеями украинского театра».

Марк Лукич умер в вагоне поезда Харьковско-Николаевской железной дороги и похоронен в Харькове.

І на тому світі побував

Важке дитинство випало М. Кропивницькому. Мати покинула родину, коли хлопець був малий, а батько, щоб вивести сина в люди, віддав його до панських дворів на навчання, де хлопця більше використовували для послуг, ніж учили. Марко часто хворів, а раз коли мав гарячку, загав у летартичний сон, і всі думали, що він помер. Батько послав за дяком, щоб їхав читати псалтир, але поки дяка привезли, хлопець прокинувся і почав розказувати, ніби був в гарному саду і бачив там багатьох дітей, котрі їли золоті та срібні яблука і йому давали.

(199, 152).

Перше писання

У 1862 році юний М. Кропивницький жив у Києві, готуючись до задачі іспитів на атестат зрілості екстерном. Тут скортіло йому піти в театр і подивитись на знамениту артистку Фабіанську. Побачив він її в якійсь перекладній мелодрамі, де артистка грала хлопчика. Гра її справила таке враження на Марка, що він кілька день ходив як непритомний, і ніяка наука не лізла йому в голову. Вночі, коли товариш по квартирі спав, Марко світив свічку, сідав біля вікна й писав мелодраму українською мовою. Він так захопився нічним писанням, що не звернув уваги на бити шибку у вікні. Це закінчилось такою застудою, що хлопець місяць провалявся у постелі. Одужавши, знову пішов дивитися Фабіанську.

(199, 153).

/Отелло без козацької люльки/

Познайомився я з ним ще в 70-х роках, перебуваючи учнем 6 класи реальної школи в Кременчуці, де він служив у російській трупі і вже тоді мав успіх у найрізноманітніших ролях /.../ Він також силкувався грати Отелло, але слабо в язалось з його зверхнім виглядом, і частенько йому гукати з завжди чуйної гальорки:

— Марко, де твоя люлька?

(393, 61—70).

/Провал пані Летар і замах заздрісників на М. Кропивницького/*

У Києві, починаючи з Різдвяних свят і кінчаючи великим постом /1882 р./, трупя грала щодня і мала, правду кажучи, не-

заслужено такий надзвичайний успіх**, що Іваненко*** поклав в кишеню чистих десять тисяч карб. Вітання були неописані; це викликало між російськими акторами недовіру і злобу**** з боку одних і бажання поспішити собі щастя в українській п'єсі і скоштувати того солодкого меду вітання, який тепер випадав на долю українських акторів. З приводу цих відносин я повинен сказати тут кілька слів, пригадавши досить характерні два інциденти.

Жінка Казанцева, режисера російської трупи, яка грала в трупі під псевдонімом Летар, маючи в контракті з Іваненком бенефіс і бачучи, що українські вистави заваблюють силу публіки, забажала поставити у свій бенефіс українську п'єсу «Гаркуша», де вона взялась грати головну роль Сотничихи. Розуміється, що це досить трудна річ, не знаючи мови, грати велику відповідальну роль, але сміливість російських акторів, які дивились на українських акторів і взагалі на українську мову з висока високостві, була надзвичайна; вони були певні, що досить трохи поповеркати мову російську, то й вийде українська. Але з цією сміливістю вийшов неприємний інцидент.

Як там Марко Лукич /Кропивницький/***** не начитував пані Летар ролі, поправляючи на кожному кроці неможливий акцент, вона все ж таки ще й на репетиціях нема-нема, та й яляне таке слово, що аж вуха в януть. Поки йшли репетиції, вона так-сяк видряпувалась з монологів, але от настав час спектаклю. Публіки набилось така сила, що піде було годі впасти; як на те «Гаркуша» йшов перший раз. Піднялась завіса, п'єса почалась. Уже в першій сцені, яку веде Сотничиха з Галею, де вона розкаже про зустріч свою з якимсь козаком, пані Летар викликала з галюрки кілька поправок слів невірнo вимовлених нею. Це, видимо, її схвилювало, і вона почала спотикатися на кожному кроці, викликаючи то там, то там поправку. Голоси ці, звісно, замовкали, коли їй доводилось вести сцену з кимось з акторів українських, але вже в повітрі почувалась злоба, яка росла з кожною дією. Нарешті третя дія, і пані Летар зостається на кону одна; читає монолог, збилась і декілька слів сказала по-російськи. В публіці сталося щось неможливе. З усіх боків чулись поправки, а коли вона зовсім збилась, раптом вибух страшенний свист і вигуки: «Геть з кону!»***** З пані Летар робиться істерика, вона падає зомліла, і завіса спускається. Серед оплесків і свисту одні кличуть Кропивницького, який в цій дії мав хвилову участь, інші, бажючи підтримати артистку, кличуть пані Летар, треті на слова /виклики/ Летар свистять. Одно слово, якийсь Вавілон.

Нарешті свистки утихомились, на оплески партерної частини публіки завіса піднялась, і М. Л. Кропивницький з одного боку, а Казанцев з другого, підтримуючи зомлілу пані Летар, вивели її перед очі публіки. Бачучи її такою нещасною, публіка гучно плескала і кричала «Браво, браво...» і під ці крики, оплески і чийсь свист завіса тихо опустилась.

Але цей щирий привіт української молоді російській прем'єрші викликав в рядях російських акторів ще більшу злобу до нас — українських акторів, зовсім в цьому інциденті не винуватих. І вони ждали того часу, коли можна буде нам віддячити. Скоро такий час настав.

Другого лютого йшов у мій бенефіс «Невольник», і от у другій картині, коли Степан на коні виїждить за куліси, а Ярина, що дивиться йому вслід, говорить кілька слів, в цей момент, видимо, для того, щоб викликати усміх публіки і тим зрівнювати настрої, який уже зроблено, падає задня завіса і так невдало, що одним штахетом попадає М. Л. Кропивницькому на голову. Розуміється, його спасло тільки те, що парик на голові був твердий і міцно не приставав до голови. Парик тріснув на чотири частини, і Марко Лу-

кич упав в один бік, а пані Маркова, яка грала Ярину, істерично ридуючи, — в другий, і завіса упала. Від несподіванки весь театр немов завмер, а потім усі кинулися за лаштунки. Марка Лукича віднесли до уборної, де лікарі почали приводити його до почуття. Пані Маркову теж одвели, вона швидко заспокоїлась, бо, на щастя, її ударило не штаткетом, а полотном завіси і вона більш злякалась, ніж забилась.

Тим часом кон увесь загрузила молодь, яка гучно ганьбила адміністрацію театру і кликала Казанцева як режисера до відповідальності за цю незрозумілу подію. Голос чийсь гарячої промови, який потребував кари Казанцеву за такий злочин, загальний гардимер в театрі і на кону робили враження шуму вітру або морської хвилі, яка от-от перейде в бурю і все потопить і зілле. Невимовної напрути коштувало мені все це втихомирити і змусити розкипілу молодь залишити цю справу до завтра, а тепер дати мені змогу скінчити спектакль.

Цього я добився; молодь згодилась і, покинувши кон, розійшлась. Кон улаштували, і поки середії дві дії скінчились, Марко Лукич уже настільки поправився, що, хоч і з висчерком в монологах і без парика, все ж в п'ятій дії вийшов і дограв роль до кінця.

Поліція повела слідство і найшла, що віршовки, якими прив'язувались декорації, були розв'язані, але хто розв'язав, так і залишилось невідомим.

Другого дня депутація від молоді ходила до Казанцева, ганьбили його за вчорашній злочин; він просив їх забути цей дія цього самого прикрий інцидент, обіцяючи, що надалі він прийме всі міри, щоб усе було гаразд.

З цього читач бачить, як гаряче боронила тоді українська молодь своїх перших піонерів рідної штуки. І справді, з того дня акторам сцени російської було навіть заборонено стояти за лаштунками, і ми триумфально закінчили сезон.

(356/А, 8—10).

* В издании воспоминаний Садовского 1956 года этот эпизод был изъят цензурой, очевидно, за «националистический привкус». Но на самом деле речь идет не о национальной розни в киевской актерской среде. Это обычная бытовая история. Неудачники-артисты, пытаясь как-то насолить своим конкурентам, вздумали повалить декорацию в самом пафосном месте, вызвать хохот в зале и тем самым испортить впечатление от игры украинских актеров. Естественно, они не задумывались, к каким серьезным последствиям могла привести их хулиганская выходка. Подобные истории случались и в других городах, где жертвами глупых «шутток» становились и украинские, и русские артисты.

** Говоря про свой якобы незаслуженный успех, Садовский хотел подчеркнуть, что со временем молодые исполнители приобрели несравненно больший сценический опыт и с большим правом могли рассчитывать на успех у публики.

*** Антрепренер, пригласивший украинскую труппу в Киев.

**** По установленным правилам, украинская пьеса игралась вместе с русским водевилем. При этом русские спектакли ставились за счет антрепренера самого театра, а тот, избегая лишних затрат, приглашал далеко не лучших артистов, экономил на костюмах и декорациях. В результате русские пьесы сильно проигрывали по сравнению с украинскими. К тому же украинская труппа получала щедрые субсидии от М. Старицкого, не желала денег на костюмы и декорации. Хором руководил сам Н. Лысенко. Следовательно, недовольство и зависть русских артистов возникли не на пустом месте.

***** Кривиницький був режиссером спектакля.

***** Як видим, скандал виник на ґрунті професійної недобросовістності артистки, котра, не знаючи української мови, взялася за відповідальну роль в українській п'єсі. Це дуже важливий момент в розповіді Н. Садовського, оскільки в верноподданническій пресі преподносилася зовсім інша версія подій. Той же «Київлянин» в своєму повідомленні від 6 лютого 1882 г. ні словом не обмовився про те, що артистка роздразнила публіку кокетством українських слів, а случившийся в театрі скандал об'явив «бессмысленный выходкой каких-то нахалов, усмотревших, по-видимому, в появлении русской артистки в малорусской роли чуть ли не преступление, которое подлежит наказанию». І тут же намах на неумістність українського театру в Києві: «Не прошло и месяца со времени разрешения малорусских спектаклей, а усердные поклонники успели уже натворить ряд скандалов»... Мол, не той театр відкрили, пора закривати...

/Небезпечний успіх виконавця/

У великому репертуарі М. Л. Кривиницького окреме місце посідала роль куркуля Бичка в п'єсі «Глигит, або ж Павук». За цю роль артист не раз мав непереможні з боку експансивних глядачів. Один з таких, наприклад, серед вистави вигукнув: «Бий його, бузубіра!». А якийсь нервовий чоловік на антракті побіг за куліси шукати «паскуду». Довго не міг збагнути, що бачив тільки актора. Кривиницький йому сказав:

— Спасибі за ваш великодушний порив. Для мене як виконавця це втіха, — я, виходить, зміг передати істотні риси цієї, як ви кажете, «паскуди».
(427, 220).

Карась танцює

У липні 1909 року М. Л. Кривиницький виступав як артист у Києві — грав у виставах літнього театру Купецького зібрання. Славний артист був дуже похилого віку. Але на сцені залишався бадьорим, енергійним, як у молоді роки. З великим нетерпінням ждали глядачі фіналу третьої дії «Запорожця за Дунаєм», де Карась мав танцювати. Кривиницький-Карась довго дивився, трохи посміхаючись, на молодих танцюристів, ніби думав: «Нехай танцюють, куди вже нам...» Та от глянув на Оксану, що пригуглилася до Андрія, потім на свою веселу Одарку, підморгнув їй, повагом, спокійно вийшов на середину сцени, став. Оркестр замовк. Карась під загальний сміх вигукнув: «Граї, хлопці!» — й почав хвацько танцювати.

(427, 220).

/Боротьба за вареники/

У п'єсі «Невольник» вийшла така сміховина: старий запорожець /М. Кривиницький/ їсть вареники, суфльор шепоче:

— Смажні вареники, самі в роті лізуть...

— Еге... — каже Марко Лукич, не приймаючи фрази.

Суфльор знов:

— Смажні вареники... і т. д.

— Еге... — каже Марко Лукич і зло поводить очима.

Суфльор впить:

— Смашні вареники...

Марко Лукич каже:

— Еге... Смачні вареники, самі в рота лізуть...

І додає голосно у тон:

— Я би ще їв, так суфльор жене...

(55, 217).

У Петербурзі, де /гастролери/ «малороси» мали величезний успіх, в один з вечорів пішла п'єса «Глитай, або ж Павук». У партері був француз, який не знав ні одного слова по-російськи, а тим більше по-українськи. Під час дії він видимо хвилювався, запитливо поглядав навколо, в антракті звертався до сусідів французькою мовою з проханням пояснити йому те, що відбувається на сцені, але його не розуміли, і він залишався без відповіді. Нарешті після сцени, особливо сильно зіграної Кропивницьким, француз вигукнув: «C'est Garpaçon!»* Кропивницький настільки яскраво, талановито зіграв скупія, що людини, яка не розуміє мови, стало ясно, кого показує артист**.

(370, 49).

**Это Гарпагон!*

***Гарпагон — герой комедии Мольера «Скупой» (1668). Страсть к деньгам убива в нем живые человеческие чувства, разрушила семью. Имя Гарпагона стало нарицательным. Архетипными чертами будущего хищника-накопителя наделен в пьесе Кропивницкого и богатый кулак Бычок.*

/Плагіат поміж побратимів/

Між тем, з настанням осеннього театального сезону того ж 1882 г. наші /українські/ артисти опять приїхали в Київ, причем були зустрічені так же дружески своїми приятелями /Старицькими/. Як вдруг розпространився слух, що Кропивницький привіз п'єсу под називанням «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», що он читав її некоторым, и что п'єса имеет такой же сюжет, как и помещенная в /алманахе/ «Раде» драма Старицького «Не судилось»*. М. П. Старицький, прослушавши драму Кропивницького, то же в «прилюдном» чтении** убедился в этом и очень был огорчен...

Узнавши, что Кропивницький жаєлає даже скоро поставити свою п'єсу на сцене, Михаил Петрович горько шутил:

— Да, Кропивницький может, при этом назвать свою п'єсу «Доки Старицький надрукує, Кропивницький поставит на сцені».

Это действительно так и вышло: п'єса Кропивницького появилась на сцене раньше выхода «Рады» из типографии***.

Но неалобливість Михаила Петровича взяла верх и скоро он уже говорил:

— Ну, что ж! Пусть Кропивницький ставит... Пусть будет и его п'єса на тот же сюжет!

Черная кошка, пробежавшая (по поводу драмы) между Старицьким и Кропивницьким, не испортила /.../ отношений обоих писателей. Дружба их продолжалась

и в этом сезоне (зимою 1882 и 1883 года). Кропивницкий и Садовский жили тогда в том же дворе, где квартировали Старицкие, и были их ежедневными гостями. Все трое (Михаил Петрович и артисты) были уже на «ты», взаимно называли себя побратимами, — одним словом, дружба была самая тесная. (320, 426—427).

**Это произведение М. Старицкий написал давно. Сначала оно называлось «Панське болото», однако для сцены цензура пропустила его только с другим заголовком — «Не так стало, як жалало». Старицкий намеревался опубликовать пьесу на страницах альманаха «Рада» в 1881 г., но появилась она там лишь весной 1883 г.*

***В 1881 г. Старицкий устроил дома «парадное чтение своей драмы», на котором присутствовал как Кропивницкий, так и многие актеры труппы Аишаренко.*

****Альманах «Рада» с драмой «Не судилось» вышел в свет весной 1883 года, а драма Кропивницкого «Доки сонце...» была представлена месяцем или двумя раньше. — Прим. авт.*

/Диктаторские замашки актера/

В Кишиневе дела были приличные, но наше настроение испортило письмо Марка Лукича. Письмо это пришло неожиданно, как снег на голову. Письмо было огромное. В нем Марко Лукич описывал все наши недостатки в такой грубой форме, так обидно и свысока, что все мы онемели. «Я тоже, — писал он в конце, — имею недостатки, но стараюсь от них избавиться». Письмо кончалось так: «Не приеду я к вам иначе, как директором с неограниченной властью». Я успокаивал всех тем, что старик, у которого в голове каша, хотел-де, как это видно из последней фразы, показать, какое у него «бойкое перо». (357, 25).

Якось Марко Кропивницький одержав від одного артиста, котрий його дуже образив, дезертирувавши серед сезону із трупі, таку телеграму: «Набридло орлові літати — шукаю рідного гнізда».

— Пролітайте мимо! — була відповідь.

(393, 70).

/Чий же ювілей?../

Одного разу, коли М. Грушевський вже дуже став нарікати на те, що кияни не цінують його заслуг, вставляють йому патики в колеса і т. д., я *сміючись кажу йому:

— Знаєте, пане професоре, ви вже починаєте поводитись так, як хворобливий егоцентрик М. Кропивницький. Той так звик, що всякий його вихід на сцену публіка зустрічає оплесками, що коли приходив до когось у гості і господар і гості не зустрічали його оплесками і не гукали «Слава!», то він вважав це за особисту образу і мовчки сідав осторонь від людей і потихеньку посивітував собі під ніс. Також він не міг перетерпіти, коли в його присутності хвалили когось іншого. Пам'ятаю, як 1904 року святкували в Лохвиці ювілей лохвичанина, професора Стороженка, і О. П. Пчілка описала в «Київській старині» те святкування, то Кропивницький, що грав тоді в

Києві, зайшов до мене, почав лаяти Пчілку за те, що вона, описуючи той ювілей, про нього, Кропивницького, сказала тільки два-три слова.

— Та вона, — кажу, — описувала не ваш ювілей, а Стороженків...

— То дарма, — каже Кропивницький, — але ж і я там був і в його честь спектакль ставив.

(452, 409).

**Отривок із дневника Е. Чикаленко.*

Писання прихватцем

М. Кропивницький писав в будь-яких умовах. Іноді, сидючи в колі близьких людей і потішаючи їх жартом, Марко Лукич раптом швидко кидав усіх і виходив до своєї кімнати, перервавши розмову в найцікавішому місці. Проходила година, друга — його нема. Гості почали розходитися.

— Постривайте, я зараз! — гукав він.

Минав ще якийсь час, і він з'являвся із зошитом в руці.

— Сідайте, я вам прочитаю, що я надряпан.

Певна річ, всі згодні послухати, і він починав читати декілька яв із нової п'єси. Іноді одночасно творив по кілька п'єс, так було написано «Зайдиголову», «Дві сім'ї» і «Пісні в лицях».

(393, 69).

/Суворий режисер/

Коли йшла п'єса в театрі Кропивницького, сам Марко Лукич стояв завжди за лаптунками і пильно стежив за кожним рухом акторів на сцені, кидаючи пошепки зауваження і так направляючи гру. Траплялося, що після важкої вистави, коли вже актори засинали, Кропивницький вломлювався до кімнати одного з них і починав повторювати той уривок. Бували дні, коли він лягав спати удосвіта, а о 10-й ранку був уже на репетиції, яка тягнулась до 3-ї години, а коли режисер був незадоволений, то й до 6-ї вечора. Треба сказати, що за царату українські трупи повинні були грати однакову кількість дій української й російської п'єси. Через це вистави тяглися за північ, актори лазили як мухи на сцені, але публіка театру не покидала.

(393, 69).

/Незбагненні метаморфози/

Варт взяти на увагу те, що Марко Лукич свій настрій змінював по характеру ролі, яку виконував у виставі. Грає коміка — стає добрішим, жартує, сміхотворить, коли й робить уваги, то вже не в ображливому тоні; а коли грає злодою — стає звір звіром, і тоді не підходить, а держись.

(370, 55).

/Праведний гнів автора/

Особливо перепало нам всім /акторам/, коли виставлялась його /Кропивницького/ п'єса «Глитай» чи які інші його

го драматичні твори. Тоді вже й старших не милував, всім перепадало на оріхи.

Звичайно після таких вистав Марко Лукич, крехтячи й сопучи, ввалювався наверх в загальну вбиральню, щоб відчитати і вразити нашого брата... Тоді діставалось всім по черзі.

Він сідав, змучено дихав і, після значної паузи, звертався до першого:

— Ви, Іване Васильовичу, наскільки я пам'ятаю, до вступу на сцену були хорошим складачем в друкарні часопису «Южный край»?

— Справедливо; був складачем і коректором, — одмовляє актор, до якого відносилось це питання. — А що ви, Марко Лукичу, хочете цим сказати?

— А те, що друкарня, мабуть, за вами сумує, та й сцену ви б дуже задовольнили, коли б вернулись до свого фаху. Краще бути гарним складачем, ніж поганим актором.

— Не всім же, Марко Лукичу, знімати зірки з неба.

— Нащо ж вам знімати їх, коли ми «не в ті взулись...»

Мовчанка... Обертається до другого:

— Ви, кажуть, учились в університеті?

— Еге, вчився...

— Який же злий геній втрутив вам піти на сцену? На сцені потрібний талант, хист, здібність... Може, з вас вийшов би який-небудь ескулап, здатний лівативу ставити, а актор — не те.

— Я скінчив юридичний факультет, а не лікарський. Був судовим слідчим, а покинув усе для сцени.

— Надаремно, виходить, — ви, певно, були таким же поганим слідчим, як тепер актором.

До третього по черзі:

— Та й вам, Федоре Васильовичу, не вадило б вернутися до свого укоханого діла — описувати єврейські манатки за борги, а то сцена вам також личить, як корові сідло.

До четвертого:

— Сцена не коняка, нею не так легко керувати, її не осідлаєш і не поїдеш, коли бракує таланту (актор — кубанський козак).

До п'ятого:

— Ви були у заслання, кажуть, але вас амністували і повернули з Сибіру?

— Еге...

— Еге... вернули на безголов'я нашого українського театру.

— Може бути.

— Не може бути, а так воно є.

А до інших підійде, обдасть жалючим поглядом...

— А ви...

Махне рукою, плюне і поплентається...

На мою адресу, то не раз зауважував:

— А вам я б радив повернутись в оперетку, там будете фігулювати і штукотворити, і вам за те скажуть спасибі, а наша сцена вам не до чмиги, нічого путнього з вас не буде.

(370, 55—56).

Марко Лукич частенько кликав нас /акторів/ до себе. Як скінчить п'єсу — кличе до себе, щоб ми послухали її. Читав він сам, і читав гарно. Власне, не читав, а грав всі ролі. І як дійде до комічних моментів, сам задоволено сміється. Далі починається критика. Що б хто не говорив — ніколи не згодиться, доводячи, що всі помиляються.

— Марко Лукич, п'єса гарна, тільки вона довга, її слід скоротити. Багато зайвої розмови, та й акції нема. Гляньте, у вас майже цілу дію сидять три чоловіки на призьбі і розмовляють про торішню зиму, як хто поневірявся. В оповіданні це було б гарно, а в п'єсі — шкодить.

— Нічого ви не тямите, ця розмова дає малюнок життя.

Але вертається п'єса з цензури. На радість авторові і всім артистам, — «дозволено». Починаємо пробу, розмови трьох чоловіків нема. Марко Лукич все зробив, як йому казали артисти, але він і тут не згоджується з нами:

— Вікинув через те, що сам до цього думався. А ви не те казали.

(313, 65).

Що гарно в п'єсах Кропивницького — це селянський побут. Так і несе селом. Але останні дії в його п'єсах роблені і тенденційні, як і деякі п'єси. На мій погляд, етюд «По ревізії» — його найкраща п'єса.

Між іншим, він розказував нам /акторам/, як він десь з аматорами грав «По ревізії» та й взяв на виставу свого сусіда, якогось парубка Грицька. Як вистава скінчилась, питає він в Грицька:

— Ну, як воно, гарно?

— Чорт зна що, — відмовив Грицько. — Я гадав, що тут буде настоящий театр, представлення, а це що таке? Я це бачу щодня і в нашій волості. І старшина, і писар, і всі такі ж самі.

— Не знав Грицько, який він великий критик, — додав Марко Лукич.

(313, 65).

/Словесна дуель режисера і прями/

Під час репетиції, яку вів сам Марко Лукич, він раптом присікався до Марії Костянтинівни /Заньковецької/, яка грала Панночку. В одній із сцен він раптом зупинив репетицію і загорлав на неї:

— Що ти робиш? Кого ти граєш? Що ти побутовщини розводиш? Що це за інтонація — з «Безтаданної», з «Наймички»? Зрозумій ти, це ж не панночка, ти це слово розумієш?

На це Марія Костянтинівна відказала йому з чарівною посмішкою:

— Та я ж, Марку Лукичу, думала...

— Не думай! — загорлав Кропивницький. — Вона думала!.. Не думай! Думаєш за вас усіх я буду, а ви робіть, що я вам скажу, і повірте, що буде те, що треба!

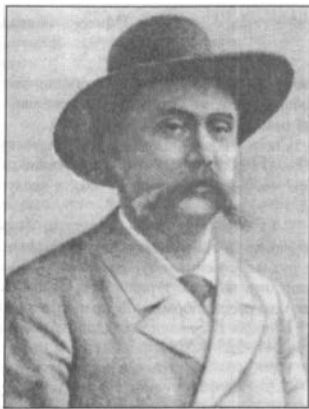
Марія Костянтинівна подивилась на нього своїми чудовими очима і з притаманною лише їй грацією промовила:

— Слухаю, володарю, скоряюсь... І з сьогоднішнього дня перестану взагалі думати.

Марко Лукич спочатку подивився на це лукаве личко, на ці змішні усмішкуваті оченята, смикнув себе за вуса, пирснув і, не втримавшись, зайшовся реготом. А за ним і всі присутні на репетиції. (106, 130—131).

Н. К. САДОВСКИЙ

Николай Карпович Садовский (псевдоним Н. К. Тобиловича) (1856—1933) — брат И. Карпенко-Карого, Марии Садовской, П. Саксаганского. Учился в Херсонской гимназии и Елисаветградском реальном училище. Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. (В 1917 г. издал в Киеве свои «Спомини з російсько-турецької війни»). Награжден Георгиевским крестом за храбрость. После войны учился в военных школах Киева и Одессы. Получил офицерский чин и служил в Бельдерах, где и познакомился со своею будущей женой (обвенчаны они не были), великой актрисой Марией Заньковецкой. Играл в любительских спектаклях. В 1881 г. подал в отставку и вступил актером в труппу Г. Ашкаренко. Работал в труппах М. Кропивницкого (1882—1883, 1885—1888), М. Старицкого (1883—1885), руководил собственной труппой (1888—1898), играл в «Малоросійській трупі М. Кропивницького» (1898—1900), на основе которой возник так называемый «Театр корифеев» (1900—1903), и в «Малоросійській трупі під керівництвом П. К. Саксаганського і М. К. Садовського» (1903—1905). В 1906 г. вместе с Заньковецкой основал в Полтаве передвижную труппу, которая в 1907 г. превратилась в труппу первого в Киеве украинского стационарного театра (работал в помещении Троицкого народного дома Това-



рищества грамотности, теперь здесь Театр оперетты). Театр Садовского сыграл заметную роль возрождении украинской культурной жизни в Киеве, в 1917 г. приветствовал украинское освободительное движение и просуществовал до 1919 года, когда вся труппа во главе с Садовским переехала в Каменец-Подольский, где тогда находилось правительство УНР. Очутившись в эмиграции, Садовский заболел тифом. Труппа распалась. После выздоровления работал в Ужгороде и в Подебрадах под Прагой. В 1926 г. вернулся в Украину, играл в разных театрах вместе с Саксаганским (1926—1932), снимался в кино, печатал мемуары, но не был до конца «прощен» советским правительством. Многие старые друзья и близкие люди (даже М. Заньковецкая) побаивались общаться со старым «контрреволюционером» и «политэмигрантом». Похороны Н. Садовского чем-то напоминали прощание киевлян с Н. Лысенко в 1912 г.

/Митець із солдатським хрестом/

З усіх братів Тобілевичів Микола Карпович виділявся богатырською постаттю, військовою виправкою і... солдатським Георгієм, який в усіх урочистих випадках, особливо коли приходилось йти до начальства, блищав на незмінному чорному сюртуці.

Своїм солдатським Георгієм Садовський по праву гордився.

— Неабиякий хрест, а солдатський, у бою завойований! — говорив він. Ми добре знали історію цього хреста, та послухати її з вуст самого Садовського варто було і в десятій раз.

— Отож було то під Шипкою, — розповідав він. — Хоч з «вольнорозвільняючихся», а солдат (не діло себе хвалити, а скажу) виїшов з мене справний. В бою з рук адоровенного турка полковий прапор вирвав. Цю то скоїлось! З усіх боків кинулись на мене турки кляті. Стрілянина знялась страшенна! Не знаю, не відаю, як і до своїх добрався. А прапор таки доніс. Так я став Георгіївським кавалером.

Микола Карпович поглядав на нас, підкручуючи собі «гетьманський нус».

(241, 323—324).

До хиб гри Садовського я* повинен однести його крайнє непошанування тексту драми. Згадую, як сильно Щепкін вимагав точної передачі авторових слів, бо такі й справді, чи ж то добре, коли актор відтворює нам не те, що хотів виразити автор? А Садовському до цього байдуже: в текст стоїть одно, а він вгощає слухачів другим, вставляє всякі власні жарти, впроваджує власного винаходу цілі епізоди і т. ін. Часто од цього вдача представленої дійової особи сильно одмінюється або, принаймні, певна сцена набуває зовсім іншого світла. Часом дотепи Садовського повторюються в різних п'єсах: чуючи, як він каже: «випили по чарці», ми вже загода знаємо, що зараз буде: «потім по парці»... Іноді, правда, додаткові слова цього артиста виходять дуже до речі.

(197, 331—332)

*Автор фрагмента — академик А. Крымский.

Завдяки великому артистичному таланту Садовський виїшов за рамки свого звичайного репертуару*. Цьому сприяла також освіченість Миколи Карповича, його величезна ерудиція. У його розповідях нерідко траплялися такі тонкі судження про театр і літературу, про музику і живопис, що співрозмовники дивувалися. Більш наївні не втримувалися від запитання:

— Та звідки ж ви, Миколо Карповичу, все це знаєте?

— Цього всього мене навчив дячок у парафіальній школі, — і весело розсміявся.

Цей гумор буде зрозумілий, коли пригадати, що реакціонери весь український театр вважали «плодом недовгої науки»**.

(98, 167).

*Речь идет об осуществленной в январе 1914 г. постановке «Камінного господаря» Леси Украинки — произведения большого интеллектуального заряда.

Зритель того часу не був ще підготовлений для сприйняття драматургії такого високого рівня. П'єсу пришлось снять із репертуара.

****Цитата із Антиоха Кантемира:**

Уме мой незрелый, плод недолгой науки

Покойся и не понуждай к труду мои руки.

Про Садовського-артиста говорили, що він як режисер знає п'єсу напам'ять, окрім своєї власної ролі. Не думаю, що він не знав ролей. На репетиціях він робив вказівки, виявляючи добре знання всього тексту. Та коли сам говорив слова ролі, вимагав, щоб суфлер Павленко «не спав», а читав йому, як і всім. На очі впадала звичка, як у багатьох старих акторів, грати завжди під суфлера.

(87, 140).

Якось показували «Наймичку». Садовський грав куркуля Цокуля. Я не брав участі у виставі і сидів у вбиральні Миколи Карповича. Під час 4-ої дії, перед тим, як Цокуль довідується, що згадувана ним Харитина його дочка, Садовський вбігає до вбиральні й починає пудрити обличчя (щоб підкреслити блідість Цокуля). Дивлюсь: руки в нього тремтять, сам він хвилюється. Я їй питаю:

— Даруйте, Марко Карповичу, який це раз ви сьогодні граєте Цокуля?

— Та, мабуть, уже до тисячі доходить.

— І отак хвилюєтеся й тремтите?

— Отак, як бачите. Все життя граю і все життя тремчу!

Та й побіг на сцену.

(60, 130).

Садовський завжди жив у образі, причому сила його перетілення була безмежна. Якось трапився такий випадок.

У 4-ій дії «Бондарівни» Тарас, розлючений тим, що шляхтичі вкрали його наречену Тетяну, кричить: «О, давайте ж шинкаря! Чом його не ведуть? Я жила витягну всі з нього!» Вводять переляканого шинкаря. Тарас-Садовський кидається на нього, хапає за груди і трусить: «Де дів мою Тетяну?».

На одній з вистав Микола Карпович так увійшов у роль Тараса, що розірвав сорочку на акторові Березовському, який грав Шинкаря. З-під сорочки випав натільний хрестик на ланцюжку і повис у повітрі. У залі — сміх. Ну, дійсно, — єврей у лапсердаку, з пейсами і... з хрестиком на грудях! Суфлер підказав, що викликало сміх у цій трагічній сцені. Марко Лукіч негайно збагнув, повернувся спиною до глядачів, прикрив собою Шинкаря-Березовського, поки той сховає злощасний хрестик.

Ой і нагоріло ж потім акторові за те, що не зняв хрестика, граючи цю роль! Перепало й костюмерів, що не міцно пришив гудзики. Навіть помічник режисера виявився винним!

Але своєї провини Микола Карпович не визнавав — він був у ролі, і це виправдовувало його поведінку на сцені.

(60, 131).

/Щедрість скнари/

Театр у той час* був для нього головною метою в житті. Незважаючи на великі витрати, яких потребувала постановка п'єс, він, трохи таки скупенький, правду кажучи, не жалів ніяких коштів, аби обставити всі свої спектаклі якнайкраще з художнього боку. Оголосив конкурс на проект завіси і звелів оформити в українському стилі все театральне приміщення, увівши також спеціальну, пристойну уніформу для обслуговуючого персоналу.

Найкращий ескіз завіси подав на конкурс художник театру Бурячок**. Він сам і виконав це завдання Садовського. Отже, театр мав цілком стильний вигляд. Це теж було великою новиною в житті мандруючих українських труп. Маючи змогу проживати й грати протягом довгого часу на одному місці, Садовський подбав про те, щоб український театр мав не тільки своє творче обличчя, а й зовнішність.
(402, 423).

*Начало 1910 г.

**Иван Мартынович Бурячок (1877—1936) — театральный художник, книжный график, пейзажист. Учился в Киевской рисовальной школе и Краковской академии искусств. Сотрудник юмористического журнала «Шершень».

/Збитки заради великої ідеї/

Намічені плани і завдання Садовський проводив у життя зі звичайною для нього впертістю. Наприклад, постановивши широко ознайомити публіку з п'єсою «Загибель «Надії» Германса, в якій показано справжнє хизацьке обличчя багатіїв, власників великих і малих підприємств та їхнє ставлення до бідних людей, Микола Карпович уперто ставив її в театрі, хоч п'єса та не давала ніяких зборів. Вона йшла іноді при майже порожньому театрі. На цій же п'єсі він мав дуже великі збитки, а проте, розуміючи її викривальне значення, продовжував ставити.
(402, 423)

/«Номер» Садовського з «Ревізором»/

Нарешті прийшов з цензури «Ревізор», і я почав його готувати до постанови. Тут теж повинен звернути увагу читача і підкреслити те злорадство, кпини та їдкі вирази, якими зустріла реакційна російська преса звістку про таку нахабність з мого боку — поставити класичний Гоголів твір на «хохлацькій» сцені. Наприклад, у петербурзькому журналі «Театр и искусство» з'явилась стаття Кутеля (псевдонім «Гомо»), де автор, висміюючи при цій вірній okazji всю українську літературу, а особливо театр, пише: «Хохлы после гопаков и горилки на театральных подмостках вздумали удивить мир постановкой пьесы «Ревизор» Гоголя, и, как слышно, в первый раз она пойдет в театре Садовского в Киеве. Это номер!» і т. ін.

Як бачить читач, тут треба було напружити всі сили, щоб поставити п'єсу так, щоб справді вийшов «номер», тільки вже не в підлому значенні п. Гомо, а насправді щоб, як каже Боруля, «їм у носі закрутило, щоб нюхав, чхав» і т. д.

Постава «Ревізора» — це був той іспит, що його український театр повинен був скласти перед очима всієї публіки на право стати... з високо піднесеною головою серед усіх європейських театрів. (356, 164)

Щоб привабити публіку до театру, Садовський давав щонеділі й щосвята ранішні спектаклі по дуже дешевих цінах, так, щоб найбільша людина могла побачити всі їхні п'єси. Досить сказати, що крісло у першому ряду партера коштувало 50 копійок, а на гальорії можна було подивитися виставу за 15 копійок. Не дивно, що публіка мала повну можливість ходити до театру і знайомитися з усіма акторами. Популярність Заньковецької серед робітництва була така велика, що її добре знали не тільки в околицях Великої Васильківської, на якій містився театр, а й по всіх заводах і фабриках Києва. Наявним доказом тому були численні поздоровлення від робітників у дні її ювілеїв у 1908-у, а пізніше — в 1922 році. Цю ж до популярності Садовського, то його знав майже весь Київ того часу і частенько візники, зустрівши його десь далеко від театру, казали:

— Сідайте, Миколо Карповичу, підвезу!
(402, 392).

Пам'ятаю, якось у суботу класний наглядач у школі, де я вчився, сказав учням:

— Можете завтра, в неділю, якщо схочете, відвідати денні вистави в театрах. Не адумайте тільки йти до Троїцького народного дому. Це театр для візників, кравців, шевців та інших п'яниць. Порядні люди туди не ходять!

Внаслідок цього наказу я та інші учні почали щонеділі відвідувати театр Садовського. Придбавши за 15 копійок квитка, ми захоплювалися майстерністю артистів, чудовою українською мовою, яка линула в зал зі сцени. Віднині я не розлучався з цим улюбленим моїм театром.

(87, 124).

Того ж вечора я довідалась від Садовського, що виховний вплив театру дуже позначився на поведженні публіки в залі. З власного досвіду я знала, як невимушено може тримати себе публіка гальорки та інших дешевих місць. Постійне лузання насіння докучало театральним приборальницям, яким доводилося вимітати з театру горі лушпиння. Нам, акторам, страшенно докучали вигуки з публіки на нашу адресу під час дії. Ті вигуки, правда, не мали в собі нічого образливого для акторів, вони лише свідчили про зацікавлення глядачів подіями, що розгорталися на їхніх очах. «Не вір сукиному сику! Дурить!» — гукав хто-небудь з гальорки артистці, щоб застерегти її від лиходія. «Закусой, бо охмелієш!» — чулася знову порада з публіки артисту, що грав на сцені, і таке інше. Втручання в хід вистави хоч і не ображало нікого з її учасників, а проте порушувало потрібну тишу в театральній залі і шкодило художньому сприйняттю вистави публікою.

Так воно було і в Садовського в театрі Троїцького народного дому. Привичти публіку не лузати насіння в театрі, та ще під час дії, і не вигукувати ніяких порад акторам було дуже важко, за словами Садовського. Глядачі з гальорки любили почувати себе вільно, як у себе вдома. Тому доводилося адміністрації вживати рішучих заходів, щоб навчити таку публіку шанувати театр і його приміщення. Самі ли-

ше об'яви, вивішені на стінах, не допомагали. Отже, хтось з акторів порадив вжити більш дійових заходів в боротьбі з бешкетниками, що не хотіли користися вимогам адміністрації щодо тиші під час показу п'єси на сцені.

На гальорді, за тією пороодою, було встановлено чергування не тільки капелъдирерів, а й вільних від участі в спектаклі акторів. Особливо цінувалося тоді чергування одного з акторів, забула його прізвище, за його виняткову фізичну силу. Зігнути підкову в руках було для нього легким ділом, іграшкою. Завдячуючи його чергуванню, у театрі швидко зовсім перевелися бешкетники й усякі порушення порядку. Приборкував він бешкетників тихо й блискавично, так що сусіди того бешкетника не встигали й спам'ятатися, як його вже не було поруч із ними. А робив той актор так: почувши вибухи серед публіки, він швидко зорієнтувався і виявляв справжнього порушника тиші; спритно й міцно ухопивши його, піднімав високо над головою, щоб не зачепити кого-небудь з сусідів, виносив із зали, а то й з приміщення театру на вулицю. Це траплялось, звичайно, не часто, але декілька таких випадків навчали публіку звертати увагу на об'яви й додержуватися тих вимог, що були на них зазначені.

Про це пізніше більш докладно розповів мені мій небіж Юліан Бродський, син моєї сестри Юлії Вгальшви. Він був студентом університету в Києві і разом з тим служив в Садовського на посаді вечірнього контролера. Отже, все, що діялось в театрі, було йому добре відомо.

(402, 392—393).

В театрі /Садовського/ працював мапшиністом сцени К. Домбровський, добрий знавець своєї справи. Успіх посередньої п'єси «Чарівниця» великою мірою залежав від турбот Домбровського. П'єса закінчується пожежею та обвалом хати. Пожежа проходила без будь-яких світлових ефектів, глядач бачив, як горять стіни, закутані димом, найсправжнісіньким. Секрет таких ефектів мапшиніст ховав про себе. Відомо було, що він одержував багато запрошень перейти на роботу в інші театри на більш вигідних умовах, та всі вони були категорично відхилені. Домбровський залишався патріотом українського театру.

(87, 137).

/Інтригує попередження/

Публіка ходила на ці /розважальні/ вистави валом, особливо ж на «Чародійку», можливо тому, що на афіші стояло попередження від адміністрації: «Публіку просять не хвилюватися, в 3-ій дії на сцені пожежа та обвал хати». Адже публіка любить сценічні ефекти, а ефект від пожежі був надзвичайний. Здавалось, що на сцені розгулялась справжня пожежа.

(402, 424).

Садовський був добрим танцюристом. І публіка, і виконавці нетерпляче дожидалися завжди, коли наприкінці того ж «Запорожця за Дунаєм» почне танцювати Карась-Садовський.

Та ось в один буденний день «Запорожець» ішов разом з п'єсою «Осінь». Театр був не повний. Карась у третій дії похмуро стояв на сцені до самої завіси. Потім сказав:

— Нема збору, не буду танцювати.

(87, 140).

/Слово другу — закон/

Микола Віталійович Лисенко незадовго до своєї несподіваної смерті допоміг Садовському прикрасити музичними номерами одну з вистав. Композитор написав тоді до цієї вистави вивітковку краси марш, який оркестр Садовського зіграв у фойє театру при широко відчинених вікнах, коли кортеж з тілом Лисенка у труні зупинився перед театром. Йти оркестру за гробом видатного композитора і найстарішого друга театру було заборонено жандармами. І тільки в такий спосіб театр міг попрощатись з ним. Садовський, пам'ятаю, ледве викрутився від великих неприємностей через свою сміливість. Проте всі ми, присутні на похоронах Миколи Віталійовича, були заспокоєні, так чи інакше, а заповіт покойного театр виконав, бо, створивши цей марш, Лисенко просив Садовського і присутніх при цій розмові акторів зіграти його, проводжаючи в останню для нього путь. Він, висловлюючи оте сердечне бажання, звичайно, не сподівався, що смерть вже чатує на нього.

(402, 426—427).

/Остання сварка в родині корифеїв/

Цікава була остання зустріч Садовського з Марією Костянтинівною Заньковецькою. Приїхавши до Києва /з еміграції у 1926 р. — А.М./, Садовський, не знаю вже чому, не дуже поспішав відвідати її, хоч у листах до мене її цікавився її життям. Але нарешті він наважився завітати до неї, попросивши /артистку/ Олену Петляш поїхати разом із ним. Думаю, він хотів уникнути цілком справедливих її докорів за те, що дозволив їй залишити театр кийського періоду, не зробивши ніяких спроб затримати її. Він, певно, боявся зустрічі з нею. Якщо так, то він не помилився. Заньковецька, незважаючи на присутність Олени Петляш, почала-таки докоряти йому за минуле, але він, за давньою звичкою уникати її докорів, почав удавати, що в нього страшенно щось заклололо десь усередині. Він почав кривити наче від болю своє обличчя і навіть злегка ойкати, хапатись за бік. Маневр його цілком удался, як удався він, коли вони ще жили разом як подружжя. Побачивши його скривлене обличчя й почувши «охи», Марія Костянтинівна захвилювалась і, забувши про свої докори, почала відразу розпитувати Миколу Карповича, що саме в нього заболіло. Вона щиро турбувалась й просила його обов'язково звернутися до лікаря. То була остання їхня розмова. Більше вони вже не бачились. Нові зустрічі, нові знайомства цілком заволоділи увагою Миколи Карповича, витіснили з його життя давні стосунки з колишнього своєю дружиною і ідейним товаришем. І це мене дивувало, бо, згадуючи про його листи, я думала, що по приїзді до Києва між ним та Заньковецькою поновляться дружні стосунки.

(402, 454—455).

Поза робочим часом Микола Карпович тримався з акторами тепло, просто. Яюсь після репетиції відпочивали всі ми разом на Дніпрі. Як то буває на пляжі, точилися різні розмови. Зокрема про акторів та їхніх театральних шанувальниць-жінок. Оповідали різні пригоди. Садовський кидав жартівливі репліки. Хтось не втримався і сказав:

— Та хто ж, як не ви, Миколо Карповичу, зазнали чи не найбільше жіночих залицянь...

Садовський загадково посміхнувся. Видно було, що це тішило його самолюбство.

— Правду кажучи, зазнав я їх чимало. Вірите, не те що за мною упали, а навіть за мого собакою. Всі годували Норку різними ласощами. Було колись, та що не минає!..

Але останні слова прозвучали як данина скромності. Я сам був свідком, як деякі з його давніх залицяльників частенько ще заходили до вбиральні свого кумира, щоб поговорити з ним, бо й на схилі літ обожнювали його.

(60, 91—92).

А Норка — то була в театрі ще одна «жива душа», якій дозволялося все! Улюблениця Миколи Карповича, адорований сенбернар, Норка відчиняла лапами двері і з'являлась там, де хотіла. На репетиції лежала на авансцені біля ніг Садовського, а під час вистав або спала у його вбиральні, або «дивилася», що робиться на сцені: ляже за якоюсь кулісою або приставкою, висуне носа і так лежить протягом вистави. Особливо вона полюбляла опери.

Микола Карпович дуже любив її. І коли, бува, на когось з акторів розсердиться, то вигукне:

— Норка буде грати! Вона краще зіграє!

(60, 92).

/Співець без голосу/

Роки брали своє... А проте згадую одне чудо. Не раз уже говорено про Садовського як незрівнянного виконавця народної пісні і народного танцю, і тому я зумисне не торкнувся в своїй замітці цієї сторони його таланту. Але ось про що хочу розповісти.

В одному домі, десь під кінець 20-х років, гостював Садовський. Було це взимку, артист був дуже тепло одягнений, закутаний аж у два башмаки, які він довго розв'язував, покашлюючи, у передпокої. Печать самотності й невеселої старості лежала на ньому, хоч він і бадьорився перед молоддю, яка його оточила.

І от раптом після вечери комусь на думку спало попросити Садовського заспівати одну з улюблених його пісень — «Ой мала я два садочки...»

— Чим же я буду співати? — одповів-запитав Микола Карпович своїм глухим, надтріснутим, хрипим голосом...

А молодь, проте, не відставала від нього, і він таки заспівав...

Чим? Справді, чим? Це був не спів у точному розумінні слова, це був і не той «говорок», яким іноді замінюють спів драматичні актори. Це був — іншого слова не знайду — *повів*, повів величезного ліричного почуття, для вияву якого знаряддя було до краю щире слово...

Пісня справила потрясаюче враження на слухачів. Микола Карпович це відчув і розвеселився...

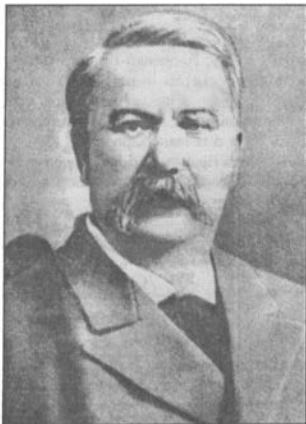
Він попросив одного з присутніх заграги на піаніно козачка і зробив «виходку» з уявною шаблею — «виходку», якою він закінчував дію в «Запорожці за Дунаєм» і яка щоразу викликала бурю оплесків.

І ми ще раз, на хвилину, побачили Миколу Садовського в розцвіті сил, такого, яким він був і яким залишався в наших серцях.

(338, 195—196)

И. К. КАРПЕНКО-КАРЫЙ

Иван Карпович Карпенко-Карый (лит. псевдоним И.К. Тобилевича) (1845—1907) родился в с. Арсеньевке на Елисаветградщине. Служил секретарем полиции. Познакомившись с М. Кропивницким, организовал вместе с ним в 1865 г. любительский театральный кружок в Елисаветграде. В конце 1870-х гг. совместно с врачом П.И. Михалевичем создал нелегальную политическую организацию, за что в 1883 г. его уволили со службы в МВД, а в 1884 г. выслали на три года в Новочеркасск, где он вынужден был зарабатывать себе на хлеб как переплетчик книг. После ссылки жил еще два года на хуторе «Надя» под надзором полиции. В годы вынужденной изоляции писал пьесы. Его перу принадлежат 18 драматических произведений. Самые известные среди них — «Бурлачка» (1883), «Сто тысяч» (1890),



«Хазяїн» (1900), «Суєта» (1903) и др. В его пьесах звучат острые социальные мотивы. Один из основателей «Театра корифеев» (1900—1903). С 1890 г. и до конца жизни — актер и режиссер труппы П. Саксаганского. Участвовал в создании первого украинского стационарного театра в Киеве под руководством Н. Садовского. Умер в Берлине. Похоронен на хуторе «Надя».

Цікаво, що І. Карпенко-Карий почав свою літературну діяльність не як драматург, а як прозаїк. У 1881 році він написав оповідання «Новобранець», що було надруковане в 1883 році у першій частині українського альманаха «Рада». Там уперше з'явився псевдонім «Карий», бо оповідання підписав письменник іменем «Гнат Карий». Пізніше він додав до нього Карпенко, адже був він син Карпа.

(290, 154).

/Скромність корифея/

Як письменник завжди дивувався, коли яка-небудь з його п'єс користувалась гучним успіхом.

— І що вони в ній бачать? — казав він мені в таких випадках. (402, 349).

Утворивши спільними зусиллями свою, окрему труп, Карпенко-Карий і Саксаганський ніколи вже не розлучались. Тільки несподівана смерть Івана Карповича поклала край цій спілці між двома сильними духом людьми, з незламною волею праці в театрі.

На афіші у них завжди стояло прізвище Панаса Карповича як керманяча трупи. Того хотів сам Іван Карпович.

— Нема гірш на світі, як «двоевластіє», — казав він завжди, коли Саксаганський у своїй благородній об'єктивності намовляв його поставити на афіші прізвище Карпенка-Карого поруч із своїм.

Кожного разу Іван Карпович твердо і рішуче відмовлявся від намірів брата наважати трупу не тільки трупою Саксаганського, а й Карпенка-Карого.

(402, 306).

/Сумніви — доля справжнього таланту/

Невдоволення не лишало його й тоді, коли п'єса одержувала схвальні рецензії й оплески публіки. Похвалу й оплески він дуже часто відносив на рахунок артистів, які своєю грою робили, на його думку, ті п'єси цікавими /.../ До себе ставився з великими вимогами і ніколи не милувався з себе як з письменника. Він дуже здивувався, коли І. Франко запропонував йому написати автобіографію. В паперах, які залишилися після Івана Карповича, ще й досі зберігається власноручна чернетка того листа, який він послав Івану Франку у відповідь на його пропозицію. Ось вона:

«Шановний добродію.

Писати свою автобіографію не буду, бо не хочу смішити людей, нагадуючи їм своєю персоною «Муравья» з криловської байки: «Какой-то муравей был силы не померной». Люди, надто люблячі рідне слово, прочитавши мої рукописи, захотіли їх надрукувати, а я — грішний чоловік — на те згодився. Згодився і каюся /.../

Написав чоловік, чи пак надрукував, чотири п'єси, публіка його не читає, критика його обминає, театральна рецензія шуткує, а він пише свою автобіографію!! Ні, не хочу!

Бажаю перш усього, щоб публіка познайомилась з моїми творами не на театрі — куди йдуть слухати акторів, — а з книжки, котру читають для автора. Як публіка буде читати мене, тоді я напишу про себе; а тепер хто-небудь прочитає автобіографію і спитає другого: «Хто то Карпенко?» — «А Господь його знає!» — скаже той другий... Все це почуває моя душа і від думки однієї про такі розмови — кров капає з мого серця /.../»

Треба сказати, що листа цього було написано на хуторі «Надія» перед поверненням Івана Карповича на сцену, десь у 1888 році.

(402, 329—330).

Характерною рисою була в Івана Карповича своєрідна постійна стриманість, внутрішня зібраність, вміння володіти собою. Насамперед хочеться відзначити його надзвичайну скромність. Виходячи на виклики глядачів, захоплених і його творами, і його грою, він завжди стояв збоку або й за іншими акторами, намагаючись залишитися непоміченим. Після вистав молодь

довго чекала у вестибюлі виходу акторів, щоб ще раз привітати їх, зокрема й Карпенка-Карого. Та я добре пам'ятаю, що Іван Карпович добрав способу і там завжди непомітно проскочити за спиною когось із своїх колег і швидко податися на вулицю. А після прем'єр або так званого бенефісу свого він і зовсім не виходив з театру через вестибюль, а зникав через запасний хід, який вів на Пушкінську вулицю. Деякий час Іван Тобілевич взагалі жив у театрі, бо там на другому поверсі було кілька мебльованих кімнат.

(201, 97).

/Капосні персонажі/

Часом образи героїв п'єс настільки докучали йому, примушуючи весь час думати про них, шукаючи характерних рис і деталей, що він втомлювався від повсякчасного перебування у їхньому примарному оточенні і казав мені іноді:

— Ой, як трудно бути письменником! Капосні персонажі ніяк не хочуть показатись вже цілком виразними і живими.

(402, 349).

Одного разу мені пощастило побувати вдома у Івана Карповича. Власне, не вдома, бо відомий драматург жив тоді в окремому театральному номері, досить скромно обставленому, як звичайний номер у небагатому готелі. Пригадую тільки, що на столі лежало чимало книжок, а на стінах висіли численні афіші. Поніс же я йому тоді драматичне лібрето опери «Полонянка», яке я написав для композитора К. С. Стеценка, і хотів почути думку такого досвідченого драматурга, як Іван Карпович Тобілевич.

Люб'язно прийнявши мене та перегорнувши сторінки рукопису, Іван Карпович знизав своїми могутніми плечима і з привітною усмішкою зауважив:

— Та це ж, друже мій, віршами написано. Тоді краще порадитись з поетом Михайлом Петровичем Старицьким...

І навіть пообіцяв він сказати Старицькому про мене і мою роботу. Як виявилось потім, він таки виконав свою обіцянку, сказав Михайлові Петровичу...

(201, 100).

Коли в зимовий сезон 1900—1901 років почалася робота над щойно повернутою з цензури його п'єсою «Хазяїн», у Києві поширилися чутки, ніби в цій комедії в образі Пузиря відображено відомого українського архімільонера Терещенка. Справді, епізод з купуванням халата для скнари-багатія в п'єсі взято було з життя цього товстосума. Але взагалі в образі Пузиря автор змалював узагальнений тип мільйонера-хижака, в якому були зібрані характерні риси багатьох осіб. Та одну деталь у сцені з халатом було-таки, справді, взято безпосередньо з життя Терещенка. Довідавшись про це та бажаючи «зберегти свою честь», чи сам Терещенко, чи хтось з його родини через сторонніх осіб запропонував Іванові Карповичу велику суму грошей, говорили навіть — аж 30 тисяч карб. золотом, щоб той не ставив свою п'єсу на сцені. Автор обурено відкинув підкупну пропозицію мільйонера, який на пошиття халата собі жалкував навіть кількох карбованців, а тепер пропонує тисячі... Чутки про це зразу ж поширилися в Києві.

(201, 97).

Основні колізії знаменитої п'єси І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» взято з батькових розповідей. Судову справу про повернення родові Тобілевичів дворянства вів довгі роки саме батько драматурга, що завдало йому немало неспокою, гризот та грошових витрат. І все, здається, мало вирішитися, коли ж раптом хтось із писарів довідався, що в давніх паперах позивач писався Тобелевич, а не Тобілевич — батькові в дворянстві відмовили. Він мало не заслаб із горя. Зібрав докупи всі права, герб, грамоту, зав'язав наглухо мотузком і заховав на стід скрині, щоб на них і не дивитися. А в домі ніхто і словом не мав натякнути про те, щоб не тривожити батька. Коли ж через багато років Іван Карпович прочитав батькові свою комедію «Мартин Боруля», то старий слухав-слухав, а тоді з німим докором погрозив синові пальцем: в очах у нього були сльози.

(401, 325).

Пройжджали ми /вмираючий драматург та його дружина. — А.М./ через Київ і затримались днів на два для відпочинку. Панас Карпович Саксаганський скликав консилиум з трьох найкращих київських професорів, які сказали, що подорож /на лікування/ до Берліна не може вже допомогти хворому, що на його порятунок немає жодної надії.

Але як це сказати хворому? Як утримати його від подорожі в далекий край, коли він так прагне туди їхати? Це — показати йому все його безнадійне становище і тим самим отруїти йому останні його дні.

Саме в той час, цілком випадково, приїхали всі наші товариші, що пройжджали з одного місця на друге і зупинились в Києві на один день. Усі вони побували тоді в нас, прощаючись зі своїм старим товаришем і вчителем. Не було жодного сумніву, що їхній жаль і співчуття до хворого були правдиві і сльози їхні були щирі, але всі оці сумні проводи, оці наявні докази співчуття від цілого гурту своїх і чужих людей страшенно хвилювали Івана Карповича.

— Не плачте ви так по мені, не жалійте мене, а то я вже сам над собою почну плакати, — сказав він мені, від іжджаючи.

(402, 374—375).

П. К. САКСАГАНСКИЙ

Панас Карлович Саксаганский (настоящая фамилия Тобилович) (1859—1940) учился в Елисаветградской высшей реальной школе и в Одесском юнкерском училище. В 1880—1883 гг. служил офицером в Николаеве. Играл на любительской сцене и в труппе Чернышова. Уволившись из армии в 1883 г., вступил в труппу М. Старицкого, играл в труппах М. Кропивницкого (1885—1888), М. Садовского (1888—1890). В 1890 г. начал свою режиссерскую деятельность в собственной труппе. Один из основателей «Театра корифеев». В составе труппы М. Кропивницкого принимал участие в триумфальных гастролях украинских артистов в Петербурге (1886/1887, 1887/1888) и в Москве (1887, 1888). В 1890 г. выступал с собственной труппой в Петербурге, в 1901 г. — в Москве. В 1918—1922 возглавлял Государственный народный театр в Киеве, из которого в 1922 г. образовался



П. Саксаганский в роли Голохвастова

ся Государственный драматический театр им. М. К. Заньковецкой. Современники называли Саксаганского «украинским Кокленом», т. е. непревзойденным знатоком актерского искусства. Осмыслил и обобщил большой творческий опыт нового украинского театра и утвердил на киевской сцене тот неповторимый тип социально-психологической драмы, который господствовал на ней до последнего времени.

Знаменитый дуэт

Навесні 1902 року на мистецькому фронті в Києві відбулася помітна подія. Сюди приїхав відомий виконавець російських билин Іван Трохимович Рябінін. Майже одночасно з ним прибув на гастролі в цій-но побудований оперний театр геніальний артист Ф. І. Шаляпін. З цієї нагоди скористався інший, теж геніальний майстер сцени, Панас Карлович Саксаганський. Він побував на виступах Рябініна і Шаляпіна й запропонував обом проїхатись човном по Дніпру. Рушили надвечір.

— Ну що ж, — сказав Саксаганський, — ми чули, Іване Трохимовичу, ваші співні. А тепер ви послухайте наші. Ану, Федоре, починай! Пам'ятаєш, як ми колись з тобою співали наші дуєти?

Шаляпін, що певний час брав участь в українських виставах і знав Саксаганського вже давно, охоче затяг «Де ти бродиш, моя доле». Другу партію вів Панас Карпович. Далі по черзі співали арії з «Наталки Полтавки», «Запорожця за Дунаєм». Потім знову удвох чарівні українські пісні. Рябінін був розчулений:

— Братці, я й не знав, що за краса ваші пісні. Спасибі, відкрили очі мені, сліпому. (427, 286—287).

Проект /пам'ятника Т. Шевченку в Києві. — А.М./ /скульптора/ Гаврилка на цей раз просто сміхотворний, у протилежність чудовому проекту, який він подав на перший конкурс. На жаль, той проект був революційний, що кликав до повстання, а цей просто кумедний.

Влучно його характеризував П. К. Саксаганський:

— Це, — каже, — дяк з села Перетиків, якого хтось висадив на димар, і він тепер з острахом дивиться, як йому звідтіля зілізти. А потішити можна його тим, що /російські/ націоналісти його засадять канатом!

Дійсно, статура Тараса Григоровича в довгій кереї нагадує дяка в підряснику, і поставлено його на височезну колону, що нагадує фабричний димар.

(452, 445).

Віант гетьманських офіцерів

Саксаганський з притаманною йому майстерністю і великим піднесенням грав дурноверхого доїжджаючого Харька в комедії «Галиводи XVIII століття». Після третьої дії до нього в акторську вдерлася компанія п'яних гетьманських офіцерів, щоб висловити своє захоплення. Вони сказали, що розповідатимуть про виставу самому «ясновельможному панові гетьману». Саксаганський з почуттям вимовив:

— Дякую, панове офіцери! Передайте ясновельможному, що його образ дав мені натхнення сьогодні і своїм успіхом я зобов'язаний лише йому, єдиному, неповторному.

Останні два слова були виголошені з типовим псевдокласичним пафосом. Офіцери сприйняли цілком серйозно відповідь Харька-Саксаганського і з радістю тиснули йому руки.

Коли вони пішли, Панас Карпович процитував, дещо змінюючи, слова Шельменка за третьої дії:

— Ну й офіцери! Чи бачив хто коли таких дурнів? (427, 287—288).

/«Ти й пиши!..»/

До своїх драм і комедій /Карпенко-Карий/ теж підходив здебільшого з точки зору потреб театру.

— Хочеш успіху трупі, давай нові п'єси, — не раз говорив він Панасові Карповичу /Саксаганському/, коли в них починалася розмова про спільні їхні діла.

— Пиши вже ти, — відповідав йому той. — У тебе є письменницький талант, то ти й пиши!

(402, 350)

Деякі з мандрівних птахів з'являлись у труті /Саксаганського/ на тиждень чи на місяць і зникали, як метеори, залишивши по собі трохи чаду від їхнього, ніким ще не оціненого, таланту.

— Е, — казав один з таких мандрівників, незадоволений ролюю, яку йому дали, — що це за роль: двоє слів. От у такого-то, або у самого Гаркуна-Задунайського я всі головні ролі грав!

— А де ж та трупа? — питав його Тобілевич.

— Немає, розсіпалась.

— Тим-то вона й розсіпалась, що ви там усі головні ролі грали.

(402, 361).

Син Саксаганського, покійний Петро Панасович Тобілевич*, розказував мені про особливу зосередженість, яка опановувала Панаса Карповича перед виконанням драматичних чи трагічних ролей. Тоді не варто було до нього й «підступати»: він весь був заглиблений у себе, в той образ, який йому треба було показати глядачеві. А перед комічними ролями ніби навмисне розважався розмовами, анекдотами, на які був великий мастак. Можливо, що це був спосіб *перестроюватись* на комічний лад.

(342, 153).

**Петр Панасович Тобілевич (1890—1948) — інженер по освітанню, автор неопублікованих «Спогадів про батька».*

Дехто вважав його «українським Кокленюм*». Це взагалі досить укорінена звичка: прекрасний краєвид на Україні — «українська Швейцарія»; з'явився своєрідний майстер короткого оповідання в російській літературі, Антон Чехов — «російський Мопассан»; соковито-реалістичними фарбами живописує сучасне йому село з панями, підпанками, з бурлаками, наймитами, бідарями і калітками та пузірями Карпенко-Карий — маєте «українського Островського».

Звичка, правду сказати, не дуже корисна. Часом від неї віє і якимось самоприпущенням.

(342, 152).

**Про Коклена см. в первом разделе («Театральная хроника») этой главы, в прим. к миниатюре «Французские артисты на расчистке железнодорожных путей».*

/.../ Саксаганському, як мало кому з великих артистів, властиво було відчуття отого «ледве-ледве», «чуть-чуть», яке за визначенням Брюлова, і становить суть мистецтва.

Я вже писав колись, як провадив Панас Карпович сцену сп'яніння Печериці в «Крути, та не перекручуй», коли одним тільки порухом ніг на виході, легким зачухуванням він викликав гомеричний регіт глядачів... У першій дії «Чумаків» Карпенка-Карого буквально грала непорушна спина Саксаганського-Шкварковського,

якою повернутий він був до глядачів, — грала саме своєю непорушністю. Ви одразу впізнавали мандрованого дяка...

(342, 160—161).

У прагненні своєму до простоти, правдивості і характерності великий артист часто зрікався зовнішніх ефектів. До речі, якимось у розмові зі мною, коли вихваляв одного визначного актора, Панас Карпович сказав:

— Так, він дуже талановитий, але, на жаль, іноді грає для гальорки.

Слово «гальорка» в даному разі означало невибагливу, невисокого смаку публіку.

(338, 198).

Панас Карпович вважав, що диктаторство в режисурі нищить творчість актора і позбавляє його натхнення. Не раз він зазначав, що режисер-диктатор робить з живих виконавців бездумних ляльок. Я ще й досі пам'ятаю, як він сміявся з новаторства Леся Курбаса, який уже в радянські часи примушував акторів сліпо виконувати його накази. Таку роботу Панас Карпович потім завжди називав «курбалесією».

(402, 296).

До своїх обов'язків режисера Панас Карпович ставився з великим педантизмом і коли сказав, що зробити щось, то вже обов'язково робив /.../ Кожне запізнення він вважав великим порушенням дисципліни, яке могло негативно відбитися на роботі всієї трупи.

Пам'ятаю, як одного разу, вже за радянських часів, його рідна дочка, артистка Тимківська скаржилась мені на свого батька за те, що він оштрафував її за спізнення на репетицію на п'ять хвилин.

(402, 296).

Як відомо, Саксаганському, що знав напам'ять мало не всього Шекспіра /.../ за все його життя не довелося виступати в ролях так званого світового репертуару /.../, в плацці Отелло припало йому вийти на сцену лише, за ходом дії, в «Житейському морі» Карпенка-Карого.

(338, 204).

Більш дотепної людини, як він, мені не доводилось ніде зустрічати. Звідкіля тільки бралось стільки жартів та різних веселих оповідань?! Саксаганський завжди сипав ними як з мішка. Оповідючи щось смішне, він завжди зберігав на обличчі вираз дуже спокійної серйозності, так, як у давню давнину робив його батько Карпо Адамович. Сам ніколи при тому не сміявся, а всі присутні аж лягали від реготу.

(402, 454).

М. К. ЗАНЬКОВЕЦКАЯ

Мария Константиновна Заньковецкая (настоящая фамилия — Адамовская) (1854—1934) родилась в с. Заньки под Нежином в дворянской семье. Воспитывалась в частном пансионе в Чернигове. Обладала чудесным голосом и часто выступала в любительских концертах. Училась в Петербургской консерватории. На профессиональной сцене с 1882 г. Играла в труппах М. Кропивницкого (1882—1883, 1885—1888, 1899—1900), М. Старицкого (1883—1885), Н. Садовского (1888—1898), в «Театре корифеев» (1900—1903), в Народном театре во Львове (1905—1906), киевском стационарном украинском театре Н. Садовского (1906—1909) и др. Первой в Украине удостоена звания народной артистки (1923). Принимала участие в гастролях украинских артистов в Петербурге и в Москве (1886—1888, 1891—1892, 1901—1903, 1912, 1914). Ис-



кусство М. Заньковецкой высоко ценили Л. Толстой, А. Чехов, П. Чайковский, В. Стасов, К. Станиславский, М. Ермолова, И. Репин.

Од Заньковецької геть усі дуріють. По скінченню спектаклю її усе викликають, аж доки потомлена артистка не перестане виходити; при сьому всі мають хустками та шапками проти неї. Та у початку вистави, ледве Заньковецька встигне вийти на сцену, як уже неодмінно вітають оплесками. (Тут пригадується мені одна кумедна подія. Якось довелося мені сидіти на «Чорноморцях» такечки, що саме позаду мене стояв капельдинер, і я виразно розчував усі його речі, звернені до самого себе. Вийшла на сцену Заньковецька (в ролі Івги), глядачі бучно її вітають, а капельдинер, чую, воркотить: «Ото, знайшла собі диво! Та дайте ж їй хоч рота роззявити, а після вже плещіть». І з сією мовою дивак узняв з усієї сили психати (певне, що надаремне); так само й опісля серед загального одушевлення я чув над вухом його психання).

(197, 330—331).

Один студент-москвич каже мені: «Злість бере, що цим «малоросам» так усе прощається, за все їм оплески, а своїм російським акторам за найменшу дурницю вже й догана! У Москві колись Заньковецький при виході її з театру студенти аж до санок простелили свої шинелі, щоб хохлашка ступнула по них, а потім цілували сліди від ніг її. А дивні, своїм цього не роблять!» Певне, таку саму думку поділяла ще одна чоловічина, що сиділа на самісінькому версі, десь на галереї, і серед гучних оплесків і «брав» публіки раз у раз сичала, навіть тоді, коли спів був виконаний чудово. Я певний, що той ганьбитель був освічена людина, тямлюча про «сепаратизм», бо під безпосереднім впливом чуття слухач, будь він і нетерпимий москвич, мусив би виявити лиш вдовolenня. Щоб шипіти таке ки завзято, треба було неодмінно «просвітіти»!

(198, 326).

Ішли «Чорноморці»*. Вона грала веселу молодичку Цвіркунку. Саксаганський — п'яного, розгульного, але в істоті благородного козака Кабицу. Від цих двох постатей не можна було одвести ока. За ходом дії Цвіркунка-Заньковецька танцювала, веселістю своєю заражаючи і всіх акторів, і всіх хористів на сцені, і всіх глядачів у залі. «На ніжки дивись, на ніжки!» — у захваті шепнув мені старший брат. Ті ніжки в червоних чобітках пурхали по сцені, як два легкі, червоні метелики. Це була сама грація, сам огонь, сама радість життя...

А після вистави, затримавшись з одяганням, стояли ми недалеко від дверей за куліси. І от бачимо: виходить звідти невелика блаженка бабуся**, ведена попід руки двома стрункими дівчатами, і ледве переставляє ноги... «Дивись! Це Заньковецька!» — сказав мені брат.

(345, 81—82).

*Имеется в виду представление на 25-летнем юбилее творческой деятельности М. Заньковецкой в 1908 г.

**Автору этих строк, М. Рильскому, было тогда 13 лет, и поэтому 54-летняя актриса могла показаться ему «дряхлой старушкой». К тому же, как отмечает поэт в своих воспоминаниях, он видел великую актрису «уже підупалу на фізичних силах».

Немає старості, і смерть — лише мана!
Я Заньковецьку тут пригадую Марію.
У «Чорноморцях» раз Цвіркункою вона
Легкий вела танець... Списати не умію
Тієї грації, п'янючого вина,
Тих ніжок молодих, що навіть чародію
Несила викликать хоч би подобу їх.
Очей тих, де горів лукаво-завбний сміх.
Я трепетав увесь. Здавалось, ніби двері
У небувалий світ мені хтось відчинив.
Я був ще хлопчиком, — а що тоді в партері

*Серед досвідчених робилось глядачів!
Та п'єсу скінчено, кінець настав химері,
І от при виході я бачу: з двох боків
Дві дівчини ведуть бабусю престарую.
Питаю: «Хто вона?» — «Це Заньковецька!» — чую.*

(343, 131).

Коли одного разу дали їй грати ролю в казках Шніцлера і вона вдяглась в європейський костюм, то не могла увійти в образ.

— Зніміть з мене одшу панську одєжу, — казала Марія Костянтинівна, — бо я не можу втілитися в цю пані. Я не хочу грати цих панів: мені дайте плахту, запаску, дайте роль Софії, наймички.

(454, 11).

Здібність Марії Костянтинівни впливати була рівносіальна її здібності відчувати і сприймати. Заньковецька безпосередньо, сильно і глибоко сприймала як явища мистецького порядку, так і взагалі життя.

Пригадую такий випадок: Заньковецька пішла вулицею міста і побачила, як трамвай відрізав людині обидві ноги. Збігся натовп, а Заньковецька в цей час не могла рушити з місця — їй відірвало ноги (саме до колін, як у того нещасного). Минула якась хвилина — і на Марію Костянтинівну вже почали звертати увагу. Кинулись до неї люди, хотіли допомогти. Від цього вона отямилась і ноги пішли...

(348, 95).

Старанням Заньковецької завдячували кияни /відновленню/ вистав українського театру після заборони Дрентельна.

Від свого рідного брата, генерала артилерії Евтихія Адасовського, вона дістала листа до нового генерал-губернатора Ігнат'єва, до якого пішла особисто, щоб дістати дозвіл на українські вистави.

«Ігнат'єв прийняв М. Заньковецьку люб'язно і підписав дозвіл на 10 вистав, але порадив їй, щоб уникнути будь-яких непорозумінь, заіхати по дозвіл до губернатора Тамарова*. Заньковецька, знаючи норов губернатора, спитала:

— Навіщо? Адже в мене є ваш дозвіл, а він почне за своїм звичаєм на мене кричати.

— Все-таки краще побувайте у старика, щоб не образити. Ну, якщо вже почне кричати, ви йому покажіть мій дозвіл.

Як виявилось, Заньковецька мала рацію. Тамаров суворо поставився до неї:

— Чого ви хочете?

— Я прошу дозволити мені ряд українських вистав у Києві.

— Я вже не раз казав і тепер повторюю, що не дозволю цим іноземцям грати в Києві.

— Але я не іноземка, — заперечувала Заньковецька. — Я тутешня уроженка.

— Ви хочете сказати — малоросійка.

— Так. І думаю, що коли тут можна грати таким чужинцям, як Сара Бернар, Жюдіт, то я беру на себе сміливість думати, що й мені можна.

— От іменно, саме вам я і не дозволяю! — закричав губернатор не своїм голо-
сом. — І нічого нам з вами про це говорити!

— Ви маєте рацію, мені справді нічого з вами про це говорити, тим більше, що
я не солдат, а ви не фельдфебель, а дозвіл генерал-губернатора маю і без вас. —
При цьому пред'явила папір і повернула до виходу.

Тоді Тамаров заговорив тоном нижче.

— Як, виходить ви мене підвели! Сідайте, будь ласка!

Заньковецька кинула на нього короткий, але виразний погляд.

— Дякую вам, я можу й постояти, — і одержавши з рук спантелченого губер-
натора свої папери, пішла, несучи своїм друзям радісну звістку.

(175, 262—264).

**Речь идет о А.П. Томаре — киевском гражданском губернаторе в 1885—
1895 гг.*

/«Не справжня українка»/

В 1912 році, як відомо, Заньковецька за-
лишила трупі Садовського, яку вона разом з ним організувала 1907 року.

Окрім мотивів особистих — розходження з Садовським — були тут і причини роз-
риву принципового характеру з тодішньою українською «громадою», яка закидала в
цей час Заньковецькій, будімо вона «не справжня українка», «не громадянка»*.

— Я не люблю вашої громади, — казала вона тоді Олесеви. — Громадяни ваші
тільки й уміють говорити красиві слова — «родина, національність, українство»...
а не вміють ні любити, ні цінувати людей, які все життя своє віддали любові і до-
рогій їм справі.

(91, 169).

**Конфликт М. Заньковецкой с Громадой начался еще в 1890-х гг. с попыт-
ки некоторых общественных деятелей осуществлять «идейное руководство»
украинским театром. При этом речь шла не о Громаде вообще, а лишь о бо-
напартизме образованной в 1892 г. Молодой Громады или «Братства тара-
совцев» (политической организации, во многом противостоящей культурно-
просветительской Старой Громаде). Под конец знаменитых гастролей 1893 г.
этот кружок молодых радикалов направил к М. Заньковецкой и Н. Садовско-
му своих уполномоченных (И. Стешенко и А. Лотоцкого), которые должны
были «разъяснить» артистам, что и как следует играть на сцене. Особен-
но возмущались они «вульгарностью народных сцен» в исполнении украинской
труппы, ее пристрастием к «мужичьей простоватости». Подоплека их на-
падок заключалась в том, что молодые радикалы считали украинский театр
Кропивницкого, Старицкого, Садовского и Саксаганского устаревшим, далеким
от «европейского модернизма», перед которым они преклонялись.*

С другой стороны, тарасовцам не нравилась независимость украинских ак-
теров, которые не следили за советами к лидерам партийных кружков и не
прислушивались к резолюциям их собраний. Артисты казались им людьми
темными, невежественными, бездейными. Их следовало воспитывать, про-
свещать и направлять на правильный путь.

Заньковецкая и Садовский вежливо выслушали высокомерных юнцов (одному было тогда 20 лет, а другому 23 года), но от их советов отказались. Более того, Заньковецкая после последнего спектакля в Киеве демонстративно не приняла цветов от Молодой Громады, ответив вызовом на их вызов. Впоследствии Н. Садовский сблизился с деятелями украинского политического движения, а Мария Заньковецкая, как видно из этого анекдота, оставалась на своих прежних внепартийных позициях. См. также в главе «Громада и Украинский клуб» раздел «Молодая громада» — анекдот «Тарасівці викривають «ухили» корифеїв театру».

Уже в Таганроге от Марии Константиновны стали приходиться письма, в которых она писала, что тяжело больна; это производило тяжелое впечатление на Садовского /.../ Последнее письмо было уже от матери. Она писала: «Марусе трудно писать». На последнюю телеграмму Садовский получил ответ, который кончался так: «Маруся вас благословляет». Садовский собрался выехать. Мы уговорили его остаться еще на один день /.../ Я и Карпенко поехали на вокзал и отправили такую телеграмму: «Киев профессору Афанасьеву. Встревожены состоянием здоровья Заньковецкой, просим сообщить правду». На другой день получили от профессора ответ: «Ничего опасного нет, обыкновенная женская болезнь». Телеграмму показали Садовскому. Он успокоился и не поехал. (357, 55).

После спектакля я /А. Саксаганский/ с братом Миколою /М. Садовским/ и М. К. Заньковецкою пошли ужинать. Заньковецкая была весела и разговорчива. Меня это удивило, т. к. за кулисами, особенно в третьем акте, она казалась совсем больной /.../ Пошли домой. На улице Мария Константиновна начала говорить по-детски:

- Маня не хочет идти. У нее ноги болят.
- Здесь же близко, — говорит брат.
- Маня плачет, она сядет посреди улицы.

Мне это очень понравилось, и я, не долго думая, подхватил ее на руки и понес домой. Садовский шел за нами и то ругался, то смеялся. Навстречу попадались городовые, которые, увидев офицера* с дамою на руках, останавливались удивленные и брали «под козырек». Мария Константиновна заливалась смехом. (357, 7).

*Начав играть в театре, Саксаганский поначалу не придавал этому особого значения и не думал увольняться из армии. В Одессе, где выступала украинская труппа, он оказался почти случайно, в связи с учениями.

В Киеве /в 1883 г./ со стороны Заньковецкой началось наступление на Карпенко/-Карого/. Дело было так. Шли «Черноморцы». В третьем действии Цвирунка, которую играла Мария Константиновна, обращаясь к Кулине, говорит: «Да довольно тебе убиваться: кто из нас не без

греха». Тупиця, которого играл Карпенко, в пьесе отвечает: «Эт, поп свое, а дяк свое». Карпенко ж, на том основании, что народ употребляет другое выражение, сказал: «Эт, поп свое, черт свое». И началась баталия!

Карпенко заходив к Заньковецькой объясняться и извиняться, но она не хотела его видеть. Садовский бегал от одного к другому: убеждал Заньковецькую, что употребленное Карпенко выражение — целиком народное и ни в коей мере не относится к ней. Заньковецька стояла на своем: «Нет, уж если черт, так это я».

Садовский был между двух огней. Наконец, объединенными силами Кропивницького и Садовського их помирили.

(357, 16).

Горленко оповідав, що Заньковецька в житті по суті являла собою велику дитину — довірливу, наївну, великодушну і водночас вередливу, егоїстичну...

Траплялося, що вона, довідавшись про злидні кого-небудь, віддавала все, що мала, і бували випадки, що сварилась з товаришками з приводу дрібниці. Дуже ревниво ставилась до успіху на сцені інших актрис, гостро переживаючи ставлення до себе людності в театрі. Дехто використовував ці риси характеру Заньковецької. Досить було сказати в її присутності, що, мовляв, сьогодні публіка особливо гаряче плескала Заньковецькій, і Марія Костянтинівна дослівно розквітала, ладна була все зробити для оточення. Ну, а коли комусь хотілося зробити їй неприємність, то треба було тільки зауважити, що сьогодні успіх мала інша актриса, і настрої у Заньковецької псувались, вона ставала дріб'язковою, причепливою, сварливою.

(223, 150).

Найближча людина, Микола Садовський, вернувшись з еміграції, раз тільки прийшов до неї, і більше не навідувався, бо не міг вислухати її справедливих докорів за минуле. Щойно в останній дорозі, на Байкове кладовище, в часі величавого похорону цього натхненного патріота його труну направлено на Червоноармійську вулицю, щоб зупинитися під числом 121 для прощання й замирення з його ідейною союзницею й дружиною. Тим разом розлука була коротка. Наступного 1934 року, 4 жовтня, померла Марія Заньковецька /.../ Поховано Марію Заньковецьку поруч могили Миколи Садовського.

(175, 316—317).

На розмові з автором цих рядків у лютому 1933 року Заньковецька хвилювалася:

— Питають мене, чому я не поклала вінка на труну Садовського? А що ж би я на ньому написала? «Другу й товаришу»? Він не був мені ані другом, ані товаришем... Він, що скрізь і усюди мене пробував очорнити, відтиснути «на задній план»... Він, що у своїх «Згадках» поприписував собі усі заслуги по створенню українського театру, мене навіть не згадуючи... Для чого би я фальшивила, посылаючи йому вінок?.*

Написати «Господину антрепренеру Садовському» — ще подумали б, що я мідуся... Відзначити його як «колегу», талановитого артиста — так це, може, треба було б зробити... Він був великий артист — у житті навіть більший, ніж на сцені.

Але й цього я рішила не робити, бо це було б не те, що я думала і думаю про цього артиста-людину. А мій девіз: «Правда на сцені — правда в житті».
(91, 170).

**Это сказано совершенно несправедливо. Николай Карпович постоянно пишет о ней в своих воспоминаниях, восторгается ею, называет «гигантом» украинской сцены, а её игру — божественной.*

В особистому житті Горленка* була драма. Він дуже був закоханий в Марію Заньковецьку, і це своє почуття проніс крізь усе життя, так і залишившись неодруженим після відмови Заньковецької йому в цьому. Велика артистка дуже приязно ставилась до цієї маленької людини, але не більше. Горленко часто подорожував, щоб спеціально побачитися з нею, писав у різній періодичній пресі рецензії-перлини про цей ні з ким не порівняний своєрідний український талант. Вони завжди листувалися. А незмінним супутником Горленковим у всіх його подорожах був великий портрет Заньковецької з написом: «Моему вірному другові!» Цей портрет завжди стояв коло ліжка Горленка /.../

Вже в 20-х роках мені пощастило декілька разів зустрінутися з Заньковецькою. Якось ми йшли з нею Червоноармійською вулицею, де вона мешкала**. Зовсім старенька вже, сива бабуся, наче вона зменшилася, понижчала. Пожовкле личко /.../ Не дивлячись на теплий, осінній, золотий, наче акварелями намальований, київський день, Заньковецька була зап'ята у велику темну хустку. І невідступно слідував за нею теж старий, сумний, великий чорний сетер.

Я в розмові згадав про Горленка. Марія Костянтинівна трохи помовчала і сказала, що, мабуть, Василь Павлович був єдиною людиною, яка справді любила її. І знову замовкла. Видко було, що вона не бажає говорити на цю тему. Незабаром ми попрощались біля її помешкання.

Я їхав трамваем додому, і мені якось образливо було за мого колишнього приятеля, за цю маленьку людину з великим серцем, бо та жінка, якій він присвятив усе своє життя, вже забула, що його звали Василь Петрович, а не Василь Павлович.
(221, 128).

**Горленко В. П. (1853—1907) — видный украинский культурный деятель. Происходил из старинного казачьего рода. Получил образование в Париже. Сопричиничал в «Киевской старине». Автор ряда исследований о деятелях украинской истории и культуры. Собирает этнографические и архивные материалы.*

***Дом № 121 по теперешней Большой Васильковской в 1970-х гг. во время ее реконструкции был снесен, но после выступления возмущенной общественности заново восстановлен. Теперь здесь музей великой актрисы.*

/Мрія про потойбічний театр/

Марія Костянтинівна якось сказала Марії Євгенівні /Мартинюк/:
— Марусечко! Як я умиру, то щоб не показували мене людям, бо в смерті не-

має краси, а як уже показуватимете, то хоч трішки загримуйте, підведіть трішки губи. На тім світі, може, зустрінуся з кращими акторами й письменниками, то створимо там кращу трупу.

(454, 11).

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГАСТРОЛИ УКРАИНСКИХ АРТИСТОВ

Слава трупи в Петербурзі росла з кожним днем*. Квитки на вистави продавали за тиждень раніше, і вся вулиця Мойка, що вела до театральної каси (ми грали в т. за. «Кононівський залі»), була заповнена людьми всяких рангів і проїзд по ній припинявся. Вельможне панство, яке раніше бувало тільки в імператорських театрах, залишило їх і лавою ринуло до Кононівської зали подивитися на трупу з Назарета**. А й сиділа ж ця публіка в театрі так тихо, так тихо, немов уся зала була набита мерцями, а не живими істотами. Кожний шепіт, кожне дихання актора на сцені чулося в найдальшому кутку зали. І раптом, коли актор доводив до певної ілюзії дійсності життя, публіка, немов бомбою, розривалась бурєю оплесків, вигуків «Браво!» і вмент ущухла, наче боялась утратити хоч одне словечко. Земляки, якими відцвєт наби́ті всі урядові петербурзькі інституції, від цинкових гудзиків і горохових пальто до сенаторів з золотими ковнірами і сухозалотими соняшниками на плечах, почали потроху привичаюватися, що «я — мовляв — теж малоросс, але вже давно з України і балакати не вмію, хоч усе розумію. Дуже-дуже приємно познайомитися з земляками». І важний, сановитий бюрократ-малорос люб'язно стискав демократичну руку маленького українського акторика, який не міг збагнути, звідки йому таке щастя.

Більших акторов наперерив одного перед одним петербурзьке панство залучало до себе на обід або на журфікси, гордіючи тим перед другими, яким це щастя ще не всміхнулося.

— У мене сьогодні на журфіксе будут малороссы, — хвасталась яка-небудь вельможна пані перед своїми знайомими.

— Ах, душечка, неужели? — дивувалась та, в душі проклинаючи свою нещасливу долю, що це щастя їй і досі не всміхнулось.

У панських салонах, де раніше, крім французької та німецької мови, іншої ніхто не чув, за велике щастя вважали почути з уст українського актора кілька українських слів.

— Скажите, — питала яка-небудь панна чи пані в актора, — как это вы в одной пьесе говорите ласковые такие слова вашей возлюбленной? Вот не вспомню. Что-то про звезды, про рай.

Актор згадував монолога і задовольняв панну:

— Моя ти зоре, раю мій!

— Ах, да-да! Умилительно! Как это хорошо и поэтично!

А коли пані — хазайка журфіксу — хотіла зробити надавичайну люб'язність своїм гостям, вона спершу питала актора, як це сказати по-українському, і, учувши, зверталась до гостей по-українському, і всі були дуже задоволені.

Особливо цей вияв симпатій захопив весь Петербург після постанови п'єси «Наймичка», коли виступала М. К. Заньковецька.

Щось невимовне дивне, неописане трапилось. Це був такий триумф українсько-

го слова, якого більш ніколи воно не зазнавало. М. К. Заньковецька, цей велетенський талант, розгорнула перед публікою такі дивні риси простоти й мистецтва, в яких ця столична публіка, звикла до штучного і через те блискучого виконання, потонула в тій божественній, художній простоті гри артистки.

(356, 34—35).

**Согласие на приглашение в 1886 г. украинской труппы в столицу от петербургского градоначальника П.А. Грессера достала давняя знакомая Кропивницкого, знаменитая артистка и антрепренер Вера Александровна Линская-Неметти, с которой он в 1870 — начале 1880-х гг. играл в Украине. Со временем она стала звездой столичной сцены. Содержала сначала театр в дачной местности Озерки, а затем Малый театр, основала в Петербурге в 1887 г. «Театр и сад Неметти». Второй раз труппа Кропивницкого посетила столицу в зимний сезон 1887 г.*

***Об этом чисто барочном уподоблении Украины и Назарета мы уже говорили в комментарии к одному из юмористических сюжетов Садовского в главе «Правители», раздел «Августейшие гости и вельможи» — анекдоты про Александра III.*

Слава про українську трупку долетіла до ще вищих щаблів Петербурга, і в театрі з'явився перший раз великий князь Костянтин Костянтинович. Він без усякої помпи сів у першій ряді. Поліція зараз же заворушилася і побігла за лаштунки сповістити про це режисуру і нагадати їй, щоб антракти були якомога менші, бо, мовляв, його височество хочуть прослухати всю п'єсу.

Запевниє, великий князь і не думав щось подібне заявляти, але поліцаї, а особливо землячки, — а це був землячок з Полтавщини, — люблять прислужитися. «Може, вдарять або дулю дати благоволять». Так воно й вишло. Антракти і так у нас були малі взагалі, але коли поліція вимагає ще менших — скажи, враже, як пан скаже! І я звелів помічникові гнати (цей спектакль вів завжди я). Спектакль потнали так, що бідному поліцмантові прийшлося знов прибігти до мене з проською затримати трохи антракт, бо його височество хочуть покурити. Антракт затримали, і поліцаї досяг свого: «Дали-таки, хоч маленьку, хоч і півдулю, а все ж таки дали!»

Слава наша ще підвищала на один щабель!

(356, 38—39).

Через кілька часу нас запрохали грати для великої княгині Олександри Осипівни в залі міністерства закордонних справ. Довелося нам грати водевіль «Кум-мірошник». Генерал, що прийшов запрохувати, просив обдивитися сцену і сказати, що потрібно. Я поїхав, обдивився і побачив, що це не сцена, а просто підмосток невеличкий, без лаштунків, а замість їх підмосток цей обставлений був вазами квіток. Нічого було робити, треба було якось прилаштуватися. Поставили піаніно, а треба було ще й бочку, куди ховається кум. Генерал запевнив, що бочка буде. Ото ввечері, коли приїхали грати (а грали ми вже після своєї вистави), побачив я, що бочка справді є, та ще неабияка, а з горіхового дерева і з золотими обручами.

— Треба, — кажу, її прибити, щоб не впала, коли я буду в неї пилгати.

— Не бійтесь, ми її придержимо, — заспокоїв мене генерал.

І дійсно, коли мені довелося скакати в бочку, побачив я за кущами двох генералів з величезними іконостасами на грудях, які напружено тримали бочку з обох боків. Я вскочив і вискочив благополучно.

(356, 39).

Після цієї вистави мене й М. К. Заньковецьку, яка грала куму, запрохано перед ясні очі княгині /Олександри Осипівни/. І російська княгиня, яка вже навіть постарилась, живучи в Росії, забалакала до мене чисто російською мовою:

— Мне гаварили, што я ничего не будет понимать, но я всё понимаю, ети очень карашо. Так весело и тепло, благодарю!

Я стояв і кліпав очима, намагаючись зрозуміти спершу, що вона хоче сказати, і скільки не длубався в голові, що б їй відповісти, не міг знайти слова і тільки уклонився, салонно сіпнувши ногою. На тому аудієнція скінчилась.

(356, 39—40).

Побачивши на мені хрест Георгія, князь* звернувся до мене з питанням, де я служив і дістав Георгія. Я відповів.

— Ну, а скажите, господа, вот вы здесь, в Петербурге, пользуетесь такой громадной, вполне заслуженной славой благодаря высокохудожественной вашей игре. Но здесь ваш язык мало понимают, и, разумеется, многое, что называется солью, пропадает бесследно для петербургской публики. Вот, воображаю, на Юге, в вашей благодатной Малороссии, где каждое ваше слово понятно, вот где вас ценят и понимают? Например, в Киеве? Воображаю.

Тут я рішив розбити трохи ілюзію князя і забалакав:

— В Киеве нам запрещено играть, ваше величество.

Князь здивовано глянув на мене і промовив:

— Как? Неужели? Почему?

— Уж больно сильно публика нас любит и устраивает овации, — додав я в одповідь.

— Ну, помилуйте, артистов-художников везде публика ценит, принимает и устраивает им овации. У нас здесь в Петербурге какие овации устраивает публика артистам! Кто ж там в Киеве генерал-губернатор?

— Генерал Дрентельн, ваше высочество, — кажу.

— А-а! — протягнув князь, зморщившись. — Знаю его! Старый дурак!

У мене мимовільно на цьому вирвалось слово:

— Так точно, ваше высочество!

А князь, немов згадавши, що балакає з акторами, а не з міністрами, і що такий вираз про київського сатрапа може підірвати основи, перевів розмову на інше.

— Очень, очень рад, господа, вас видеть и лично поблагодарить за ваше участие в моем благотворительном спектакле!

Великий князь подав знов на руку, велика княгиня теж, і аудієнція скінчилась.

(356, 55—56).

*Речь идет о встрече с генерал-фельдцеймекстером (начальником артил-

лерии русской армии) вел. кн. Михаилом Николаевичем и его супругой вел. кн. Ольгой Федоровной, которая покровительствовала «Обществу доставления дешевых квартир и других пособий в Петербурге». В пользу этой благотворительной организации украинская труппа дала бесплатный спектакль.

В 1886 г. 11 ноября, во вторник, в Петербурге начались спектакли в зале Кононова, что на Мойке. Сезон открыли пьесой Марка Лукича /Кропивницкого/ «Дай сердцу волю — заведет в неволю» /.../

Успех труппы был необычайный. Труппу много раз приглашали в Екатерининский дворец, где ставили «Кума-мірошника». Кум влезал в бочку из орехового дерева, которую почитали за счастье поддерживать два генерала. Наконец, труппой заинтересовался сам Александр III. Для него в зале Демут поставили «Назара Стодолю» и «Як ковбаса та чарка».

На сцене, за кулисами, возле уборных, под сценой и даже в суфлерской будке сидело множество жандармов — и в форме, и переодетых /.../ Театр полный. Все дамы в белых платьях, господа — во фраках, военные — в парадной форме. Справа — на авансцене большая ложа, а в ней сидит царь.

После спектакля нас пригласили к нему. Пошли шестеро — Заньковецкая, Садовский, Кропивницкий, Мова, Максимович и я /Саксаганский/. Я думаю, что кто-то сказал царю, что он осчастливит артистов, если поговорит с ними*. Сам царь совсем не был подготовлен к этой беседе. Мне кажется, что он принял нас за «простачков», нечто вроде «рожечников»**. Мы вошли в аванложу и выстроились в ряд, только Марко Лукич стоял позади всех — ему не дали даже снять грим и переодеться: так в гриме и в чулках пришел он; да и все мы были в тех костюмах, в которых играли. Из другой комнаты ложи вышел к нам царь, позади него, улыбаясь, стояла царица. Отпишу протоколно эту сцену.

Мы поклонились царю в пояс. Пауза. Я стоял почти перед царем.

Высокий, плечистый, надеть на него красную рубашку «на выпуск», дать топор в руки — 'прямо палач***.

Он долго стоял перед нами, заложив правую руку за обшлаг мундира. Потом кашлянул и произнес: «Я давно собирался... и сегодня с удовольствием прослушал спектакль, особенно Стодолю, просто, лихо!» После паузы: «Вы всегда здесь играете?» Все молчали, а Садовский ответил: «Мы, ваше величество, всегда играем на юге». — «Ах, да... На юге...». Он снова сделал паузу, потом, повернувшись к Заньковецкой, стоявшей рядом с Садовским, спросил: «И вы на юге?» Потом он по очереди спрашивал Мову, Максимовича и меня: «И вы на юге?». И мы отвечали: «На юге, ваше императорское высочество». Снова пауза, потом, усмехнувшись, спрашивает: «А, скажите, это трудно петь и танцевать разом?» Все молчали, и вновь Садовский отвечал: «Это, ваше величество, привычка». Царь снова усмехнулся и сказал: «Ах да, привычка... Мне очень и очень понравилось...» После этого он отступил на шаг назад, показывая этим, что аудиенция окончилась. Мы снова поклонились и ушли.

(357, 35—38).

* Гонения на украинскую культуру, усилившиеся после Емского указа 1876 г., сильно ослабили авторитет царской власти в Западной Украине и

способствовали возвеличению более гибкой австрийской национальной политики в глазах галичан. Уже в то время был создан пропагандистский миф о друзьях украинского народа в Вене и его лютых врагах в Москве. Александр III пытался исправить ошибку своего предшественника и делал все, чтобы подобно императору Францу-Иосифу прослыть другом украинцев, ценителем их культуры. Прием украинских артистов был одним из эпизодов в этой пропагандистской кампании.

****Рожечники** — музыканты старых крепостных оркестров, составленных из рожков, каждый из которых издавал лишь одну ноту. Успех такого оркестра зависел не от личных качеств, а от дисциплинированности исполнителей (никакого понимания музыки от них не требовалось) и проворности дирижеров.

*****Цитируемые** здесь мемуары Саксаганского были изданы в 1937 г., когда характеристика царя, ответившего на террор народников «белым» террором, могла быть только такой и никакой иной. Сам мемуарист вспомнил о царе Александре Александровиче, конечно, не для того, чтобы еще раз назвать его «палачом». Он хотел напомнить о нем как о правителе, пытавшемся найти общий язык с деятелями украинской культуры, оторвать их от революционных кругов, что ему отчасти и удалось, т. к. именно при нем Старая Громада окончательно порвала с М. Драгомановым и сблизилась с будущим генерал-губернатором М. Драгомировым. Некоторые из ветеранов Громады (например, П. Житецкий) начали выставлять напоказ свои анти-социалистические взгляды. Так что далеко не всем деятелям украинской культуры царь Александр III и его сподвижники казались «палачами». От подобного взгляда был далек и Саксаганский.

Це було під час гастролей у Петербурзі. Щойно з величезним успіхом пройшла комедія-водевіль Кропивницького «По ревізії» за участю самого Марка Лукича і Миколи Садовського. Ще не встигнувши аплодисменти і виклики після кінця вистави, коли вкрай стомлений Марко Лукич, опинившись за лаштунками, почав знімати чоботи. Раптом у кімнату без стуку, мов вихор, влетів високий, стрункий офіцер у блискучому мундирі, весь у хрестах і медалях. Навіть не привітавшись, він в ту ж мить сердито гаркнув: «Негайно збирайтесь! За наказом його імператорської величності слідуйте за мною».

— Признатись, у мене мурашки побігли по тілу, — продовжував Марко Лукич, — хоч заборона на українську мову і український театр вже не діяла, та від «їх імператорської величності» всього можна було чекати. Посадили мене в карету, коні баскі так і рвонули з місця. Іду та й думаю: попав ти, Лукичу, в халепу, із сцени в Петропавлівську фортецю, прямо по-Грибодову: «з корабля на бал».

Не встиг я в мислях з рідними попроцятись, коли карета зупинилась. А через хвилину, як був в одному чоботі*, загримований під старосту, опинився у паладі, у великому пишному залі. Дивлюсь — поруч і Садовський Микола Карпович. Хотів я з ним хоч словом перекинутись, коли з якихось потайних дверей, ніби із самої стіни, виходить один**. Блискучих галунів на ньому ще більше, ніж на тому офіцерові, еполети, мов з чистого золота, великі, так і сяють.

Підійшов він ближче, сердито блимнув очима, тут я і пізнав його — цар! Не раз

же бачив на портретах. Олександр III одразу заговорив. Буркнув щось про мало-російську сцену, а у мене перед очима все Петропавлівська стоїть, в голові туман. Про що запитували мене «його величність», вбийте, не скажу, пам'ятаю лише, з переляку у відповідь, мов першого-ліпшого околочного, його «вашим благородієм» назвав, замість «вашої величності».

Не знаю, чи то Садовський, почавши розмову, мене виручив, а може, цар і не слухав мене зовсім, тільки все обійшлося. Через хвилину ми знову вже сиділи в каретах, баскі коні несли нас в театр. Я не міг очуняти, не знав, що й думати, а Микола Карпович сміявся:

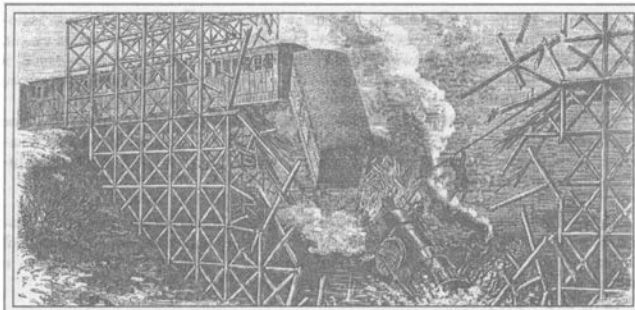
— Що, Лукичу, не до вподоби царська ласка?

Потім сам признався: знав (ад'ютант чи хтось інший попередив), що не на розправу, а для ласкавої розмови викликав, видно, з політичних міркувань, цей «рідний батько малоросів» і дав нам, українським акторам, аудієнцію. Недаром кажуть в народі: що кара царська, що ласка — один чорт.

(241, 202—203).

*Этот юмористический образ Кропивницкого «в одном сапоге» перекочевал сюда из более раннего анекдота по поводу гастролей в Петербурге в зимний сезон 1886 года.

**Вряд ли царь Александр III устраивал в своих резиденциях тайныеходы и потайные двери. Очевидно, этой детали в рассказе самого Кропивницкого не было, и она появилась лишь в цитируемом здесь пересказе Остапа Лысенко под впечатлением слухов о встрече деятелей украинской культуры с другим «царем» И. Сталиным в конце 1920-х гг. В 1970-е гг. мне приходилось слышать от участника этой встречи Б. Антоненко-Давидовича, что именно так, — неизвестно откуда, «прямо из стены», — появился тогда «отец народов» перед своими изумленными гостями. Об этом трюке тогда много говорили, и, очевидно, О. Лысенко казалось, что так являлись перед простыми смертными и другие правители России.



ГЛАВА ПЯТАЯ



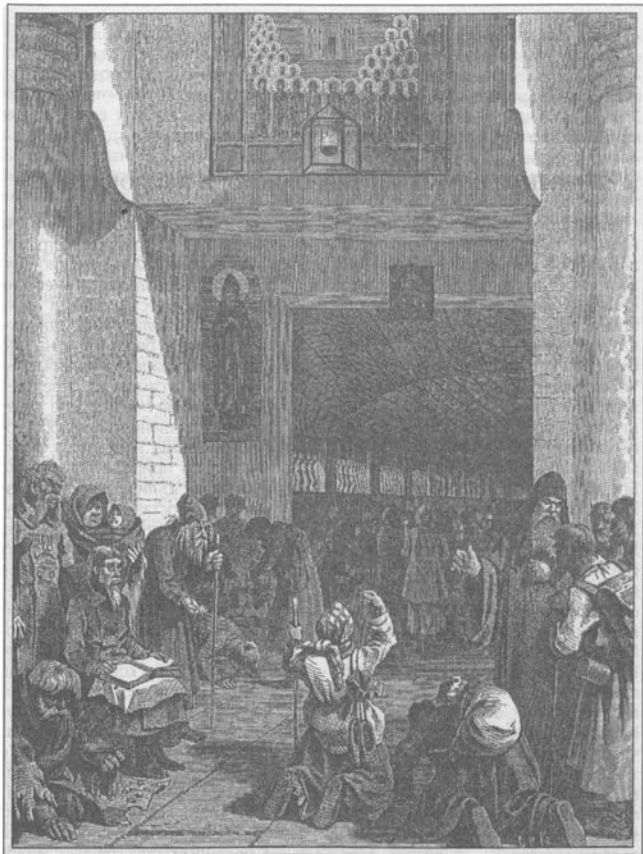
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СТРАСТИ И
ГОРОДСКАЯ МОЛВА

ЛИКИ КИЕВСКОЙ
СМУТЫ

*Киевская коммуна, террористы
и провокаторы
Премьер Столыпин
и его убийца Боіров*

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ
ИЗ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

*Репортерский анекдот
Городские анекдоты на страницах
газет и книг
Комичные документы и письма
Из городской рекламы
Чудаки и оригиналы
Из хроники городского чудачества
Горожане и крестьяне*



ЛИКИ КИЕВСКОЙ СМУТЫ

КИЕВСКАЯ КОММУНА, ТЕРРОРИСТЫ И ПРОВОКАТОРЫ

Киевская коммуна существовала недолго (в 1873–1874 гг.) и представляла собой дружеский кружок анархистов-бакунинцев, идейно противостоявших организации киевских «лавровистов» (последователей Лаврова) и их единомышленникам — петербургским социалистам-«чайковцам». Четкого водораздела между этими нелегальными организациями «революционеров-практиков» и «революционеров-теоретиков» не было. В «коммуну» входили Екатерина Брешко-Брешковская, братья Дебогорий-Мокриевские, Мария Коленкина, Иван Ходько, Яков Стефанович, Н. Судзиловский и другие, но здесь же жили и «чайковцы» — Аксельрод, братья Левенталь. Коммуна поменяла несколько адресов. Но в мемуарах упоминается лишь дом К. Лиминского на Малой Васильковской ул. (теперь ул. Шота Руставели). Члены коммуны практиковали общность имущества, взаимовыручку, общность интересов. Кормиться полагалось только физическим трудом, в интеллектуальном труде усматривали «эксплуатацию простого народа». Киевские коммунисты приняли участие в общем хождении в народ в 1874 г., что описано в воспоминаниях Вл. Дебогория-Мокриевского. Коммуна была разгромлена полицией из-за предательства призвавших к ней сомнительных во всех отношениях личностей — Лари-

онова, Польгейм и Гороневича. На «Процессе 193-х» жандармы стремились очернить коммуны, упорно сеяли слухи об аморальности киевских коммунаров. Существующее и ныне крайне недоброжелательное отношение к коммунарам берет свое начало именно в этом кладезе жандармской премудрости. На самом же деле идея коллективизма не несет в себе ничего противоестественного. Дух общности, товарищества и братства свойственен нашей природе в такой же мере, как и чисто личные, субъективные интересы, составляющие суть индивидуализма. За свою многовековую историю Киев видел немало всяких коммун. Общины единомышленников возникали в городе в разные времена и в разных слоях населения. Коммуной жили в XI веке монахи Печерского монастыря при его основателе св. Феодосии Печерском. Нечто вроде общин составляли в старину братчики Подола, а в середине XIX века хуторяне на Куреневке. Последнюю из известных нам «коммун» основали (с пародийным постмодернистским подтекстом) на Софийской улице в начале 1990-х годов молодые художники-авангардисты, среди которых был и ныне покойный талантливый живописец Олег Голосий.

Существенным отличием «Киевской коммуны» 1870-х годов от всех прочих была её революционность. Господству-

ющему в обществе духу насилия меньшинства она противопоставляла свое право на террор от имени большинства — угнетенного народа. Естественно, права на убийства никто коммуны не давал, да она и не нуждалась в таком позволении, высокомерно третируя сам народ как «темную массу», которую приходится насильно подталкивать на борьбу за «счастливое будущее». Некоторые черты в деятельности конспираторов объясняются не чем иным, как высокомерием самозванцев.

Среди киевских анархистов-народников 1870-х годов широко обсуждались методы политических «вспышек-пусков», т. е. масштабных провокаций, способных взбудоражить народ и подвигнуть его к бунтам. Самой выдающейся акцией такого рода стала организация нелегальных народных дружин при помощи подложных «царских грамот», что привело к арестам нескольких десятков крестьян в селах под Чигирином. Подпольщики подбрасывали в редакции газет ложную информацию, расклеивали по городу фальшивые правительственные сообщения и вынашивали планы движения из своей среды самозванного претендента на царский трон.

После ареста Стефановича, спровоцировавшего чигиринцев на создание тайных дружин, для его вызволения из Лукьяновской тюрьмы прибыл из Петербурга Валериан Осинский. С освобождением своего кумира он справился блестяще, а заодно, по ходу дела, организовал несколько покушений на представителей царской администрации и таким образом положил начало киевскому политическому террору. Его же группа распускала слух о подпольном «Исполнительном комитете», который якобы начал деятельность с этих кровавых расправ и предупреждал, что его агенты уничтожат каждого, кто встанет на пути революции. Сделана была также подложная печать овальной формы, вверху которой помещалась надпись «Исполнительный комитет», а внизу — «Русской социально-революционной партии». Посередине были вырезаны скрещивающиеся револьвер и кинжал, а между ними еще и топор. На самом деле такой партии не было и комитета — тоже, но нападения и убийства происходили часто, что говорило о том, что революционное движение на юге России, и в первую очередь в Киеве и Одессе, встало на путь террора.

/Враги и друзья киевской коммуны/

Еще в то время, когда /революционное/ движение едва намечалось, приехала в Киев сестра /Екатерины/ Брешковской Ольга Константиновна, по мужу Иванова. Она не имела определенного мировоззрения, но была женщиной в высшей степени добрая и чуткая. В квартире ее поселилось несколько студентов, и все жильцы составляли одну семью, живущую на началах, напоминавших коммуны. Число жильцов в этой коммуне то увеличивалось, то уменьшалось, коммуна переменила несколько квартир и продолжала свое существование и после смерти Ивановой. Всякий интеллигент, имевший знакомых в числе жителей коммуны, мог свободно в ней остановиться на такое время, какое ему было нужно. Тем более имели доступ в коммуны приезжавшие революционеры, которые легко могли получить рекомендацию к одному из членов коммуны, также бо-

лее или менее прикосновенных к революционному движению.

Члены кружка Мокриевича также постоянно посещали коммуны, а иногда и жили в ней. Скоро коммуна сделалась штаб-квартирой революционеров. Кружок Кабалица почти целиком переселился в Киев и большинство его членов, само собою разумеется, поселились в коммуны. Здесь же временно проживали члены других кружков.

Все они без всякого принуждения подчинялись порядку, который сам собою установился в коммуны. Собственно говоря, коммуна была только общей квартирой, в которой каждый временный жилец получал место для сна, хотя бы на полу, и простой обед. Коммуна не имела никаких собственных средств и существовала благодаря взаимной товарищеской поддержке.

Вследствие отсутствия всякой организации в коммуны могли попасть люди, не отличавшиеся высотой нравственного типа. Так, кроме Гороневича — первой жертвы расправы с предателями, в коммуны вошел некий Ларионов Петр Федорович, который своим мнимым или действительным экстазом и преданностью революции и народу вызвал интерес к себе со стороны революционеров /.../

Ларионов поселился в коммуны, и был принят кружком Мокриевича. После небольшого промежутка святой апостольской жизни, Ларионов стал обнаруживать своим поведением «ветхого» человека. Особенно это проявилось в его любовной интрижке, в которую, по словам прокурора-обвинителя /на «Процессе 193-х»/, вмешались члены коммуны и уговорили жертву Ларионова не препятствовать его ласкам ввиду положительных его заслуг.

Это, само собой разумеется, сплошная выдумка*, и Ларионов в действительно-сти не совершал такого поступка, за который его и всю коммуны можно было бы заклеймить позором, но тем не менее чувствовалась низменность натуры Ларионова, заставлявшая знакомых перешептываться о нем**. Это перешептывание превратилось потом в ряд нелепых слухов, которые следственные власти подбирали везде, где могли, с усердием, достойным лучшего дела.

Дальнейшие упреки, посылаемые обвинителем коммуны за якобы безнравственное ее поведение, настолько нелепы по своей форме, что заставляют читателя скорее уверовать в злой умысел прокуратуры, чем в безнравственное поведение коммуны.

Так, обвинитель добыл показания от якобы свидетелей, которые слышали: один, что в коммуны спали по две-три пары мужчин и женщин, другой, что таких пар было пять-шесть, а третий, что мужчины и женщины спали попеременно: мужчина, потом женщина, затем опять мужчина и т.д. Следует удивляться строгому порядку, соблюдавшемуся в коммуны — ни одного лишнего мужчины и непременно — попеременно.

Само собою понятно, что все это сплошная инсинуация, к которой уже с давних



В. Осташук

пор любят прибегать агенты правительства, чтобы очернить всех тех, кто по нравственному уровню стоит значительно выше их.

Вадорность утверждений обвинительного акта, между прочим, видна из одного приведенного в нем примера, якобы доказывающего, что коммунисты далеко не были мирно настроены по отношению друг к другу. По словам прокурора, Каблиц и Фишер «дрались между собою на вилках».

(177, 79—81).

**Это мнение автора цитируемых мемуаров — С. Ковалика. Руководитель кружка, в котором состоял Ларионов, В. Дебогорий-Мокриевич, пишет об этом не так категорично и вовсе не отрицает существования «интрижки».*

***Странная логика мемуариста: если Ларионов не совершал ничего позорного, то, выходит, другие члены подпольного кружка, позволявшие себе «перешептываться о нем» и распространять «нелепые слухи», выступали в роли клеветников.*

/Горе-террорист/

Тут /в Киеве 1870-х гг./ можно было видеть /.../ краснощекого задоренного Алешку*, к которому более чем к кому-либо подошло бы название «доброго молодца».

С этим «молодцем» постоянно происходили какие-то экстраординарные случаи: то у него в квартире выстрелит нечаянно револьвер, то выпадет на улице из чехла и публика обходит его, точно прокаженного, глядя с любопытным страхом, как он подбирает свои «террористические» принадлежности.

Один раз на Крещатике у него каким-то образом вонзился в ногу его собственный кинжал, висевший сбоку на поясе, и такую глубокую рану сделал, что воротился он домой весь окровавленный.

(95, 318).

**На момент написания мемуаров В. Дебогория-Мокриевского этот деятель террористического подполья был жив, и поэтому в целях конспирации его фамилия не названа.*

/Киев — Мекка для «троглодитов»/

Р аза два приезжал из Петербурга Сенька*, приятель Валериана Осинского и член одного с ним петербургского кружка так называемых «троглодитов»**. В Петербурге Сенька вынужден был сидеть смиренно и заниматься пропагандой; организация подавляла его***. Но поживет, бывало, он в Киеве день-другой, и на его бедре появится длинный, серпообразный кинжал. Высокий, стройный, с выпуклой грудью и выпнутой поясницей, — точь-в-точь как его кинжал, — Сенька представлял собой прекрасное доказательство консервативного воздействия петербургского кружка.

Тут /в Киеве/ можно было видеть Брандтнера из Харькова, Свириденко и Попко из Одессы, — лиц необычайной отваги, так сказать, богатырей нашего времени, готовых к смерти в любую минуту. Тут же появлялся и Лизогуб, подобно Осин-

скому и Сеньке, принадлежавший к кружку «троглодитов» и бывший также одним из первых сторонников терроризма.
(95, 319).

**Из соображений конспирации фамилия Сеньки не названа.*

***«Троглодитами» называли террористов, сторонников физического насилия над представителями власти.*

****Автор цитируемых мемуаров В. Деботорий-Мокриевич считал, что хорошо организованные революционные кружки 1870-х гг., как правило, были косны и консервативны и подаляли волю революционера к действию. Лишь в Киеве и Одессе настоящий революционер мог отдохнуть от бесконечной пропагандистской работы, проявить свою смелость в борьбе с царизмом. Поэтому, мол, здесь и зародился революционный терроризм.*

/Учредитель Совнаркома —...царь Александр Николаевич/

Помпо, в одном из тюремных писем Стефанович* описывал ход чигиринской конспирации, суть которой заключалась в следующем.

Стефанович познакомился зимой 1875 г. с чигиринцами, находившимися в киевских полицейских участках**, под видом крестьянина Херсонской губернии Дмитрия Найды, отправлявшегося якобы ходоком к царю /.../ Заручившись их доверием, по истечении некоторого времени он представил им царскую грамоту, в которой повелевалось всем крестьянам соединиться в тайные общества («Тайные дружины») с целью восстания против панов.***

Эти «тайные дружины» должны были организовываться по известному плану, изложенному в другом царском документе — «Уставе Тайной дружины». Согласно «Уставу», всякий, желающий сделаться «дружинником», должен был принести присягу в верности тайне и принимался в члены только за поручительством двух «дружинников». Всякий «дружинник» должен был вносить ежемесячно по 5 копеек в кассу и иметь собственную пику на случай восстания. 25 «дружинников» составляли одну старосту и выбирали своего старосту. Староста собирал денежные взносы, приводил к присяге вновь поступающих и т.д. 20 старост составляли атаманство. Атаман избирался старостской радой и был посредником между «Дружиной» и комиссаром. Во главе «Тайных дружин» (которых по всей России должно было быть много, конечно) стоял «Совет комиссаров».

Такова в общих чертах была организация, которую Стефанович старался провести среди чигиринских крестьян. Само собою разумеется, что затея эта имела полнейший успех. Крестьяне стали записываться в «Тайную дружину» целыми десятками. Почти все «душевные», т.е. стремившиеся к душевому переделу земли и враждовавшие с так называемыми «актовиками»****, /.../ вскоре сделались «дружинниками».

В ноябре 1876 г. Стефановичем пущены были в дело «Грамоты» и «Устав», а уже к весне 1877 г. в рядах «Тайной дружины» насчитывались сотни людей. Но этот быстрый количественный успех и явился причиной неудачи. Тайна была очень скоро открыта и среди чигиринцев начались аресты и преследования, окончившиеся арестом самого комиссара Дмитрия Найды, т. е. Якова Стефановича.

— Удивительно смелые мысли! — говорил Осинский о чигиринской конспирации Стефановича. Это дело произвело на него сильное впечатление /../ Осинскому, слышавшему лишь о пропаганде социалистических идей, чигиринское дело, построенное на народной вере в царя, представлялось и оригинальным и смелым /.../

— Удивительно смелые мысли! — восклицал он.

(95, 321–322).

**Стефанович Яков Васильевич (1854–1915) — известный киевский революционер-народник, выдающийся мастер политической провокации, автор фальшивых царских манифестов к крестьянам о переделе помещичьей земли, организатор тайных народных дружин под Чигирином. Из Лукьяновской тюрьмы его вызволил известный террорист В. Осинский, который считал киевского гения провокации своим учителем. В 1879 г. вошел в террористическую организацию «Земля и воля». В 1883 г. осужден на каторжные работы. В 1905 г. вернулся в Украину и отошел от революции. Жил в Черниговской губернии.*

***Аресты среди чигиринских крестьян были произведены в связи с волнениями на почве распределения земельных участков, которое значительная часть крестьян считала несправедливым. Арестованных привозили в Киев и держали под замком в полицейских участках. Днем им позволялось бродить по всему городу и искать себе работу для пропитания.*

****Этот фальшивый документ был составлен самим Стефановичем и отпечатан в подпольной типографии народников, располагавшейся в конце полузастроенной в то время нынешней ул. Б. Хмельницкого, над Афанасьевским яром, в районе ее пересечения с теперешней ул. М. Коцюбинского.*

*****«Актовицами» назывались те чигиринские крестьяне, которые подписали акты о частном землевладении. «Душевики» считали произведенное перераспределение земли несправедливым и отказывались подписывать акты. Их арестовывали, морили голодом и чуть ли не силой заставляли подписывать правовые документы.*

/Чигиринская афера и другие провокации/

Некоторая часть /народнической/ молодежи увлекалась идеей самозванства и думала, что если бы явился новый Пугачев в качестве самозванного царя, то социальный строй в России можно было бы изменить несколькими указами*. Другие мечтали о том, что было бы недурно использовать с целью революционной пропаганды слухи, которыми, за отсутствием достоверных сведений, питаются неграмотные люди. Говорилось, что умелым распространением тенденциозных слухов можно было бы повлиять в желательном направлении на мирозерцание народа /.../

Какими бы бесплодными ни были все подобные мечтания и разговоры, они показывали, что организатор какого-нибудь в этом роде фантастического предприятия мог бы рассчитывать на известный круг последователей и исполнителей. Такой организатор и нашелся в лице Стефановича, задумавшего воспользоваться царским именем для поднятия крестьянского восстания. За сотрудниками дело не стало.

Заслужив предварительно доверие крестьян, избравших его ходяком, он через пол-

года, в ноябре 1876 года, явился в их среду уже в качестве доверенного от царя и принес подложную царскую грамоту, приказавшую крестьянам соединиться в тайные общества. Сам он редко показывался крестьянам, но действовал как опытный организатор и в короткое время успел создать большую боевую крестьянскую дружину /.../

Во второй половине 1877 г. арестовано было без малого сто человек чигиринских крестьян, принадлежавших к союзу, а вскоре затем и Стефанович с Дейчем и Бохановским, но им удалось бежать из киевской тюрьмы. Аресты же членов союза вызвали, конечно, плач жен и детей, но не сразу убедили крестьян, что грамота подложная. Сидя под арестом, они продолжали верить, что Стефанович действительно царский посланник.

(177, 151).

**Мемуарист сообщает также, что «в одном кружке намечали даже личность, которая могла бы разыграть роль самозванца — Дмитрия Розачева.*

/Неожиданное предложение/

Замечательная метаморфоза /произошла/ со студентом Федором Гурьевым /.../ В студенчестве это был человек крайних анархических убеждений и вышел из /Киевской духовной/ академии, не мирясь с ее порядками. По выходе из академии он в Москве пристроился к какой-то редакции /.../, бывал в разных частных собраниях и на них давал волю своему злоязычию. Раз он разошелся так, что поразил всех собеседников своими анархическими идеями /.../ Когда кончил он свои речи /.../, к нему подошел один священник, бывший в собрании, и начал с ним дружескую беседу.

— По глубокому убеждению, — спросил священник, — говорите вы все это или просто для красного словца, как часто делают наши либералы, желая заявить себя наиболее передовыми людьми?

— По искреннему глубокому убеждению, — отвечал Гурьев.

— Если вам нетерпимо жить в нашем обществе (в России), и нашу атмосферу вы находите такою, что вам дышать невозможно, — продолжал священник, — то где бы вы могли найти более благоприятные условия для своей жизни? В Западной Европе?

— Нет, ни в одном из государств Западной Европы. Во всех них то же самое, что и у нас.

— А в Соединенных Штатах Северной Америки?

— Там уклад жизни более благоприятней, чем у нас, — отвечал Гурьев /.../

— Знаете ли, что? Пожалуйста в Северную Америку, где вы можете мирно устроиться и найти более благоприятные условия для своей жизни. Я даю вам на это 5 тысяч рублей. Не изумляйтесь. Я говорю серьезно. Я человек одинокий, у меня деньги есть, и предлагая их, я думаю сделать через то доброе дело, — во-первых, доброе дело для вас, надеясь через то доставить вам возможность жить более мирною жизнью, чем какою вы живете ныне, — во-вторых, доброе дело для общества, избавив его от человека, болящего болезнью заразною, от которого зараза может перейти к другим.

Беседа священника /.../ ошеломила Гурьева, и он начал задумываться над со-

бою /.../ и из анархиста и крайнего либерала сделался славянофилом и консерватором. Московские славянофилы, считая его своим, близким по убеждениям, рекомендовали его Галагану, богатому малороссийскому помещику, тоже славянофилу, он принял его домашним учителем к своему сыну*.
(306, 46).

**Павлу Галагану, который вскоре умер. Его именем названа частная гимназия Галаганов в Киеве.*

/Вежливый убийца/

Вечером 3 марта /1880 г./ случилось следующее происшествие загадочного свойства. Офицер генерального штаба капитан С-кий, проезжая на извозчике по Шулявской улице*, на углу Паньковской почувствовал прикосновение к шее холодного тела и затем услышал характерный звук осечки курка, через несколько мигновений вновь повторившийся. Обернувшись, С-кий увидел какого-то человека, направившего в него дуло револьвера.

Неизвестный, взглянув в лицо С-кого, крикнул: «Извините!» и пустился бежать. С-кий, соскочив с извозчика, начал преследовать убегавшего, но не догнал его. Извозчик, везший С-кого, показал, что ни осечки курка, ни слова «Извините!» он не слышал, а видел только, как С-кий соскочил с саней и за кем-то погнался.

(148).

**Теперь ул. А. Толстого.*

С приездом Ковалика* в Киев я часто приходил из артели /плотников на Подоле/ и целые вечера проводил в «коммуне», где он тогда останавливался и куда сходились и другие киевские радикалы.

То было необыкновенно оживленное время. Помню, как-то поднялась беседа о том, под каким видом удобнее всего идти в народ. Ковалик высказал мнение, что самое удобное отправляться под видом ремесленника и предложил при этом приступить к изучению какого-либо ремесла.

— Какого же, однако? — допытывался один из присутствующих.

— Это все равно... Ну, хоть сапожничество, — ответил тот.

— Сапожничество? Помилуйте!.. — воскликнул вдруг оппонент. — Да ведь это занятие страшно разрушает здоровье. Доказано, что почти все сапожники страдают печеню.

— В таком случае — кузнечество...

— Разве вам не известно, что угольная пыль разрушает легкие? По исследованиям такого-то (тут приведен был какой-то медицинский авторитет), кузнецы, равно как и слесари, часто кончают чахоткой.

— Столярство... — заикнулся было Ковалик.

Но и столярство оказалось ремеслом вредным: древесная пыль тоже разрушала что-то. Оппонент знал все о разрушительном влиянии ремесел на человеческий организм и на этой почве рассчитывал победить противника.

— Все ремесла оказываются «негигиеничными», — проговорил Ковалик, — но едва ли есть что-либо менее гигиеничное, чем занятие революционера.

Удар выпел совершенно неожиданный. Присутствовавшие засмеялись, а сконфуженный оппонент замолчал. Решили устроить в ближайшем будущем столярную мастерскую.

(95, 122—123).

**Ковалик Сергей Филиппович (1846—1826) — революционер-народник. Его отец был офицером царской армии, но происходил из простых казаков Зеньковского уезда Полтавской губернии. Он стал помещиком лишь тогда, когда, выйдя в отставку, купил небольшое имение в Белоруссии. Мать умерла во время родов. С 1856 г. Ковалик воспитывался в кадетском корпусе, с 1861 г. учился в Петербургском университете, где проявил большие математические способности. Высшее образование завершил в Киевском университете в 1868 г., а в 1869-м сдал экзамены на степень кандидата математических наук. Избран мировым судьей Малинского уезда Черниговской губернии и добросовестно защищал интересы крестьян в тяжбах с помещиками. Прослыл «красным судьей» и в ответ на многочисленные жалобы богатых землевладельцев сенат отказался утвердить избрание его судьей. В 1871 г. он вернулся в Петербург, приняв участие в конкурсе на должность преподавателя высшей математики в Институте путей сообщения, но не завершил дела, увлекся революцией и вернулся к науке спустя много лет. Обладая большими организаторскими способностями, создал в Петербурге и Харькове два кружка для изучения идей социализма и их пропаганды в народе. В 1874 г. «ходил в народ», пытался создать в селах сельскохозяйственные коммуны. Натолкнувшись на сопротивление властей, перешел к нелегальным формам деятельности и вместе с Порфирием Войнарьским, Дмитрием Розачевым и Михаилом Мышкиным организовал сразу в 30 губерниях сеть подпольных конспиративных квартир, тайных типографий, мастерских для обучения революционеров разным ремеслам, что позволило бы им органично вписаться в народную среду и вести революционную пропаганду среди крестьян и мастеровых. С этой целью он и приезжал в Киев.*

Арестован в 1874 г. в Самаре. Проходил по «Процессу 193-х» (1877—1878). Осужден на 10 лет каторги и ссылку. Вышел на свободу в 1898 г., но к революционной деятельности не вернулся. Работал в Минске главным счетоводом акцизного управления водочной монополии. В 1910 г. за безупречную службу в порядке исключения был принят на государственную службу — стал бухгалтером в том же управлении, но без права получения чинов и пенсии. В годы революции и гражданской войны служил в земстве, мировым судьей и даже был избран городским головой Минска. При советской власти служил в комитетате социального обеспечения, потом преподавал высшую математику в Минском политехническом институте, а после его закрытия вышел на пенсию и некоторое время был старостой Минского отделения общества бывших политкаторжан.

/Беда, коль сапоги начнет тачать... народник/

Вот, наконец, /.../ я с Коваликом снял квартиру на /Андреевском/ спуске, возле Подола, с тем, чтобы устроить сапож-

ную мастерскую. Роль главного мастера выпала на мою долю, т.к. я знал это ремесло лучше других. Мы закупили нужные инструменты и материал и принялись тачать сапоги.

Всякий день утром являлись в нашу мастерскую обучаться ремеслу Аксельрод и два брата Левентали. Мы обыкновенно усаживались с утра за работу и принимались шить, а одновременно с тем вели беседы на самые разнообразные темы, начиная с женского вопроса и воспитания детей и оканчивая революцией /.../

Материальных средств в нашем распоряжении было мало; приходилось дорожить всякой копейкой; чтобы иметь возможность продолжить занятия в мастерской, надо было сбывать наши изделия. С этой целью Левенталь понес однажды сапоги на толкучий рынок*, но возвратился оттуда совершенно сконфуженным: никто не пожелал купить их.

— При царе Петре такие сапоги шили! — заметил Левенталь какой-то покупатель, как видно, не без некоторых познаний по истории.

После этого нести вторично на рынок наше коллективное произведение никто из нас не решился.

(95, 129—130).

**Подольская толкучка (или «Толчок») располагалась перед Успенским собором у фонтана Льва («у Лева», как говорили горожане).*

/Казнь террористов 14 мая 1879 г./

Поставив Брантиера, Антонова /Свириденко/ и Осинского на скамьи, палач надел им петли на шею и выдернул из-под каждого скамью. Первым повис Антонов — сразу. Вторым — Брантиер — застонав и метнувшись раза два. Третьим — Осинский, на котором петля была одета так, что при падении со скамьи голова склонилась в сторону и веревка приплась не на замочке, а около уха. Он стал метаться и судорожно биться ногами...

Полковник Новицкий, беседовавший с напиравшей на солдат толпою и слышавший доказать ей, что вешают разбойников и убийц, обратился к палачу:

— Что ты сделал? Ведь он мечется?

— Ничего-с — это сейчас кончится, — отвечал палач.

— Но ведь он жив?

— Не беспокойтесь! Это уже мое дело... Будет мертв! Не беспокойтесь!

Новицкий, очевидно, успокоенный тем, что хотя и в страшных мучениях, но все-таки Осинский умрет, продолжал красноречиво лгать перед толпою, объясняя ей, между прочим, мучения Валериана тем, что он отказался принять священника.*

Через полчаса палач перерезал веревки, и трупы рухнули на землю.

(95, 409).

**Осужденные отказались от исповеди дважды — накануне вечером в тюрьме и перед эшафотом.*

ПРЕМЬЕР СТОЛЫПИН И ЕГО УБИЙЦА БОГРОВ

Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) — министр внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи (1906–1911). Вошел в большую политику как лидер правых сил, активно боровшихся с революционным движением. В 1903–1906 гг. — саратовский губернатор, усмиритель крестьянских волнений. Автор законопроекта, предусматривавшего раздел общинной земли между крестьянами-собственниками. Как премьер-министр стремился совмещать жесточайшие репрессии против недовольных (отсюда мрачный юмор тех лет — «столыпинский галстук», «столыпинские вагоны») с курсом реформ на улучшение общественной жизни (введение всеобщего начального образования, законы о веротерпимости и укреплении местного самоуправления). Открыто поддерживал организации черносотенцев. Евреи считали его виновником погромов. В августе 1906 г. в Петербурге произошло первое покушение эсеров на жизнь Столыпина. Убит в Киеве в 1911 г.

Его убийца Дмитрий Григорьевич Богров (Мордехай (Мордко) Гершкович) (1887–1911) — сын киевского юриста и богатого землевладельца, внук еврейского писателя Г.И. Богрова. Учился в Первой гимназии и Киевском университете. С 1905 г. участвовал в революционном движении и входил в разные подпольные органи-



П.А. Столыпин. Последнее фото

зации (социал-демократов, анархо-коммунистов и максималистов). С 1906 г. — секретный сотрудник (сексот) киевской охранки. Опытный конспиратор и провокатор. 1(14) сентября 1911 г. во время торжеств в честь царя, приехавшего в Киев на открытие памятника своему деду, императору Александру II, Богров с разрешения начальника киевского охранного отделения Кулябки и других должностных лиц получил именной пропуск в оперный театр, где давался спектакль для Николая II и его двора. Во

втором антракте подошел к Столыпину, стоявшему у барьера оркестровой ямы, и смертельно ранил его несколькими выстрелами из пистолета. Следствие объявило Богрова агентом революционного подполья, скрывавшимся под личиной агента охраны. В обществе считали, что на самом деле он действовал по поручению высших кругов, стремившихся развязать в стране правый террор. Некоторые историки пишут, что им двигало чувство национальной мести к Столыпину как инициатору еврейских погро-

мов. Ответственность за случившееся была возложена на высшие чины охраны. Дальнейшее расследование прекратилось по личному приказу царя. Богров был повешен на Лысой горе 12(25) сентября 1911 г. по приговору киевского военно-окружного суда. Во время казни проявил удивительную выдержку и самообладание. В Киеве вплоть до конца 1960-х годов о нем ходили странные слухи и мрачные анекдоты, вроде того, который сообщает в своей автобиографической повести К. Паустовский.

— Я хочу быть похороненным там, где найду свою смерть, — говорил П.А. /Столыпин/, предчувствуя свой близкий конец от руки революционера. Указание это было свято исполнено его близкими, и местом вечного его упокоения была избрана Киево-Печерская лавра.
(81, 195).

Когда вскрыли завешание Столыпина, написанное незадолго до покушения Богрова, в первых же строках его стояло: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют».

Во исполнение завешания он был погребен в Киеве, в Киево-Печерской лавре.
(337, 204).

Летом 1911 г. после одного из моих* докладов министру внутренних дел по Медицинскому совету П.А. Столыпин завел со мною разговор о Киеве, куда он направлялся вместе с государем. Я ему сообщил, что Киев — город сложный, населенный различными национальностями и любимый социалистами-революционерами. Там служил Судейкин, убитый впоследствии Дегасевым; там стреляла в театре в жандармского полковника Новицкого Дора Каплан, так неудачно ранившая впоследствии Ленина; там, на Бибиковском бульваре, Гершуни, глава боевой организации партии СР, сговаривался с Костюрой об убийстве харьковского губернатора кн. Оболенского; там же совершено было покушение на бывшего начальника киевского охранного отделения А.В. Спиридовича и т. д. Я рассказал Петру Аркадьевичу, как, переехав в Киев после избрания моего на кафедру в университете, я был поражен двумя вещами. Во-первых, около одного здания виднелся сильный наряд воинских и полицейских чинов. Это было здание, где судили нескольких революционеров. Во-вторых, несмотря на жаркие дни, в воздухе носились как будто мелкие снежинки. Это был пух из перин после еврейского погрома.

Припомнив все сказанное, а также и то, что на Столыпина и после взрыва на Аптекарском острове много раз готовились покушения, я посоветовал Петру Арка-

двевичу носить под платьем во время пребывания в Киеве легкий панцирь, о которых тогда много писали. На это П.А. Столыпин ответил приблизительно так:

— Пулю можно предупредить, а от бомбы никакой панцирь не спасет.

Какая была бы красивая картина, если бы и после выстрела преступника Столыпин остался невредим! Он мог бы еще долгие годы послужить любимой им России, ведь ему не было и 50 лет в день кончины.

(337, 198–199).

**Отрывок из воспоминаний члена медицинского совета при совете министров проф. Г.Е. Рейна.*

В пятом часу /в день покушения, 1 сентября 1911 г. — А.М./ начался съезд приглашенных на ипподром /.../ Мы* шли мимо лож, занятых дамами. П.А. /Столыпин/ остановился у одной из них, в которой сидела вдова умершего сановника. Здороваясь с ним и смотря на его обвешанный орденами спортух, она промолвила:

— Петр Аркадьевич, что это за крест у вас на груди, точно могильный?

Известная своим злым языком дама незадолго до того утверждала, что дня Столыпина на посту председателя /совета/ министров сочтены, и она хотела его уколоть, но эти слова, которым я невольно придал другой смысл, больно ударили меня по нервам. Сидевшие в ложе другие дамы испуганно переглянулись.

(81, 185).

**Столыпин и киевский губернатор (1909–1912 гг.), камергер А.Ф. Гирс. Последний служил впоследствии губернатором в Минске и Нижнем Новгороде. Родился в 1871 г., умер в эмиграции.*

Дня за два до первого сентября /дня покушения на Столыпина. — А.М./ я был в городской управе и просил дать мне билет /на спектакль в оперном театре в присутствии царя и премьеры. — А.М./ как представителю одной московской газеты, чиновник махнул в ответ рукой:

— Куда там! Генералам отказываем...

Это не было преувеличением. Уже после злополучного спектакля я случайно разговорился с одним путевским действительно тайным советником. Он жаловался и негодовал:

— Мне не дали билета, а Богрову дали...

(302, 169).

Одновременно с поранением министра /Столыпина/ я увидел другую картину. Какой-то высокий молодой человек, мне показалось, белокурый /в 24 года Богров был уже совершенно седой. — А.М./, с закинутыми назад волосами, очень бледный, сильным движением рук отбросил от себя двух военных, пытавшихся его схватить, обернулся на миг лицом к нам и кинулся к правому выходу, но сейчас же был схвачен и сбит с ног. Человек 50 чиновников, военных, камергеров, «союзников» набросились на него. Убийцу уже не

было видно, он лежал на полу. Толпа мяла его, терзала, била /.../ В эту страшную минуту театр жил странной жизнью. Сверху из лож истуканно кричали:

— Убить его! Убить!

Кричали женщины. Кричали истерично, жестикулируя руками. У мужчин оказалось более благоразумия. На крик «убить» они отвечали:

— Зачем убивать? На суд оставьте его.

У меня осталась в памяти такая картина. Рядом с нами была ложа известного киевского администратора. Там стояли две женщины и кричали: «Убить!» Я видел их истуканные лица. А он урезонивал:

— Что вы! Что вы! Разве можно!?

(302, 174—175).

В коридоре /театра/ убийду вырвали из рук разъяренной толпы, арестовали и препроводили в буфет генерал-губернаторской ложи, где сивали с него первое покаяние. Лицо из театральной администрации, видевшее его в этот момент, рассказывало мне, что хотя Богров был сильно избит (у него оказалась сеченая ранка на лбу, выбиты два зуба, шишка от бинокля, которым кто-то ударил его из ложи, боль под ложечкой, растерзанный костюм), но все-таки был в сознании, держал себя спокойно, даже вызывающе /.../

По дороге в крепость Богров обратился к одному из сопровождавших его полицейских с просьбой дать ему папиросу.

— Вся эта история меня страшно взволновала, я до сих пор не могу очнуться, — сказал он.

(302, 176).



Д. Богров. Последнее фото

Сім'я Богрових була досить відома в Києві. Батько вбійника був відомий адвокат і багатий чоловік, що вибудував на Бульварі, недалеко від базару, так званої Бессарабки, величезний будинок, №4.

Жінка Богрова була гарненька єврейка, з якою я зустрічалася 1900 року за кордоном, у Швейцарії, в горах, в Енгельбергу. Вона мала двох синів. Старший Володимир був гарний хлопець, а молодший Митя — дуже негарний. І от оцей Митя, будучи студентом, почав гуляти в карти і т. п. і зовсім замотався. З цього скористувалася охрнка. Коли після замаху почали розслідувати справу, то виявилось, як заявила кийвська міська управа, що квитки на вхід до театру видав Богрову «охранный відділ», і що Богрова, коли б йому вдалося після замаху під час метушли вискочити з театру, чекав автомобіль, якого заготовила охрнка. Але втекти Богрову не вдалося.

(35, 108—109).

Кто-то из нас спросил его шуточно:

— А вообще, Митя, вы понимаете, какое бы то ни было сильное чувство, такое, которое может выбить из привычной колеи, перевернуть вверх дном всю жизнь?

Как-то неожиданно просто он ответил:

— Да, представьте, я способен на сильное чувство, но не на любовь, — на ненависть. Я ненавижу одного человека, которого я никогда не видел.

— Кого?

— Столыпина. Быть может, оттого, что он самый умный и талантливый из них, самый опасный враг, и все зло в России от него.

Никто в ту минуту не придавал особенного значения его словам. Многие из нас ненавидели Столыпина.

(318, 94).

Резолюция суда /смертный приговор. —

А.М./ была выслушана Богровым совершенно спокойно. Держался Богров спокойно и во все время суда, удивляя всех своей выдержкой и самообладанием /.../

После объявления резолюции Богров обратился к председателю с просьбой дать ему поесть и жаловался, что кормят его отвратительно.

Председатель распорядился, чтобы просьба Богрова была удовлетворена.

(407, 230).

На суде Богров держался лениво и спо-

койно. Когда ему прочли приговор, он сказал:

— Мне совершенно все равно, съем ли я еще две тысячи котлет в своей жизни или не съем.

(304, 85).

Я ни разу не видел Богрова просто веселым, радостным, упоенным предстоящей борьбой и риском. Я помню Богрова оживленным только тогда, когда он острял... А острить он любил /.../

Что побудило Дмитрия Богрова на покусение? Кто скажет!? Может, надоело «острить»? Может, ключом /к загадке/ послужат следующие строчки из /его/ письма: «Нет никакого интереса к жизни. Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать в жизни. И то, если моя практика это позволяет. Тоскливо, скучно, а главное — одиноко».

(90, 130).

Когда дежурный офицер вошел в «Косой капонир», в камеру Богрова, тот спал. Его разбудили. Богров сразу догадался, в чем дело, и стал поспешно одеваться. Оделся он в тот же фрак, в каком был в театре...

Борову стали связывать руки.

— Пожалуйста, покрепче завяжите брюки, — обратился он к офицеру, — а то задержка выйдет.

(407, 233—234).

Когда Богрова вывели /на Лысой горе. — А.М./ из кареты, «союзники» стали рассматривать его. Один из офицеров приблизил к его лицу электрический фонарик.*

— Лицо как лицо, ничего особенного, — сказал Богров.
(407, 233).

*«Союзники», т.е. черносотенцы, настаивали на присутствии своих представителей во время казни, утверждая, что полиция в сговоре с Богровым и попытается подменить его в последнюю минуту. Офицер светил в лицо Богрову, чтобы показать, что никакой подмены не произошло. Разумеется, осужденный об этом не знал. Он не понял, почему его лицо так упорно освещается и рассматривается, и по-своему ответил на любопытство толпы к его личности.

Богров держал себя /на месте казни. — А.М./спокойно и разглядывал собравшихся, освещенных светом факела. Кто-то из союзников стал иронизировать над фраком Богрова. Услыхав это, Богров заметил:

— Пожалуй, в другое время мои коллеги-адвокаты могли бы мне позавидовать, если бы узнали, что уже десятый день я не выхожу из фрака*.

(407, 234).



Вынос тела П. А. Столыпина из хирургической больницы.

*Игра слов: адвокаты выступали на судебных заседаниях во фраках, 10 дней подряд мог выступать в суде только адвокат, пользовавшийся огромной популярностью и веший одновременно множество дел. Такие адвокаты ходили во фраках неделями.

Помощник секретаря окружного суда громко прочел приговор.

Богров выслушал его спокойно.

— Может быть, желаете что-нибудь сказать равнину? — спросил его товарищ прокурора.

— Да, желаю, — ответил Богров, — но в отсутствии полиции.

— Это невозможно, — возразил товарищ прокурора.

— Если так, — сказал Богров, — то можете приступать.

К Богрову подошел палач.

(407, 234).

/Из гимназических проказ Богрова/

Против приготовительного класса /в Первой гимназии. — А.М./ был физический кабинет. В него вела узкая дверь. Мы часто заглядывали на переменах в этот кабинет. Там скамьи поднимались амфитеатром к потолку /.../

Однажды один из старшеклассников, высокий бледный гимназист, протяжно свистнул. Старшеклассники тотчас начали хватать нас и затаскивать в физический кабинет. Они рассаживались на скамьях и держали нас, зажав коленами.

Вначале нам это понравилось. Мы с любопытством рассматривали таинственные приборы на полках — черные диски, колбы и медные шары. Потом в коридоре затрепетал первый звонок. Мы начали вырываться /.../

Зловеще затрепетал второй звонок. Мы начали рваться изо всех сил, просить и плакать. Но старшеклассники были неумолимы. Бледный гимназист стоял около двери.

— Смотри, — кричали ему старшеклассники, — рассчитай точно! /.../

Затрепетал третий звонок. Мы ревели на разные голоса. Бледный гимназист поднял руку. Это означало, что в конце коридора появился физик. Он шел неторопливо, с опаской прислушиваясь к воплям из физического кабинета.

Физик был очень толстый. Он протискивался в узкую дверь боком. На этом и был построен расчет старшеклассников. Когда физик заклинился в дверях, бледный гимназист махнул рукой. Нас отпустили, и мы, обезумевшие, помчались, ничего не видя, не понимая и оглушая рыданиями физический кабинет, к себе в класс. Мы с размаху налетели на испуганного физика. На мгновение у двери закипел водоворот из стриженных детских голов. Потом мы вытолкнули физика, как пробку, из дверей в коридор, прорвались у него между ногами и помчались к себе /.../

Развлечение это, стоившее нам столько слез, придумал бледный гимназист. Его авали Богров. Несколько лет спустя он стрелял из револьвера в Киевском оперном театре в царского министра Столыпина, убил его и был повешен.

(304, 84—85).



Крест с мундира Столыпина,
поврежденный пулей Богрова

АНЕКДОТИЧЕСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИЗ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

РЕПОРТЕРСКИЙ АНЕКДОТ

Киев. Новое шарлатанство

В истории Киев известен Лысой горой, ведьмами и полузлыми горами.* Впредь он прославится еще своеобразным отношением к наукам.

В городе смятение умов. Все, одержимые каким-нибудь недугом, валом валят в одно из предместий, в котором поселился таинственный маг и волшебник, исцеляющий от самых неисцелимых болезней. Застарелые ревматизмы улечиваются в мгновение ока, катаральные желудки начинают переваривать камни, мигрени исчезают от одного его взгляда. Как тут не заплатить ему по меньшей мере красненькую? И деньги сыплются в таинственный карман.

Наконец это доходит до сведения тех, кому об этом ведать подлежит. Происходит следующий диалог.

— Я слышал, что вы чудеса творите?

— Творю.

— Но вам, вероятно, известно, что на совершение излечений, хотя бы и чудесных, надо иметь соответствующий диплом.

— Известно-с.

— Так как же-с?

— А так же-с.

Маг скрывается и выносит ...диплом Киевского университета, выданный такому-то на звание доктора медицины.

— Но, ради Бога, не сообщайте об этом никому. Если публика узнает, что я получил медицинское образование в адепшем университете, то у меня не будет ни одного пациента.

(473, 56).

*Имеются в виду весенние оползани киевских гор, о которых в XIX и начале XX вв. часто писала местная и центральная пресса.

Свадьба в Анатомическом театре

Чтобы покончить с Анатомическим театром, расскажу о бывшей в нем свадьбе.

Выдавал однажды /.../ отставной солдат, служитель анатомии, белорусую, по-

луслепую и вдобавок дуру дочь свою замуж за какого-то чуть ли не нищего, хромого калеку. Но где сыграть свадьбу? Неужели в Анатомическом театре, этой обители смерти? Большие негде: по обычаю следует в доме невесты, да у жениха, кажется, и дома не было. Перевенчали, привезли молодых в крохотное обиталище невесты — в комнатку Анатомического театра, рядом с ветерклозетом и трупарней. Собрались знакомые. Незаметно и полночь подкралась. Вдруг разгулявшимся гостям захотелось танцевать. Мигом притащили из соседнего кабака двух скрипачей и трубача. Только где плясать? Комнатка так мала, что повернуться в ней трудно.

— Сюда, сюда, пожалуйте! — недолго думая, кричит /.../ отец молодых и ведет всех в секционную залу. На столах лежат не прибранные по случаю свадебных хлопот трупы. Не беда! У захмелевших баб и мужчин одно веселье в глазах. Зажгли несколько висевших над столами ламп, темная зала вспыхнула желтоватым светом, заигравшим тысячами радужных переливов на оконных стеклах, покрытых морозными узорами холодной ночи. Вавизгнули скрипки, грянула свою замогильную, глухую ноту труба отставного солдата-музыканта — и свадебный бал помчался беспшашным вихрем. Стучат каблучки танцующих трепака гостей, а длинные, темные тени их прыгают по стенам и морозным стеклам больших окон залы. Ликует анатомия!

Вот долетают звуки веселого пиршества и до сонных ушей соседних театру обитателей. Что это? Где музыка?

Выглянули в окошечко или вышли на улицу: крутом черная мгла. Гляды! Хорошо известные всем окна залы, где студенты людей режут, горят светом и оттуда доносится... визг, писк, шум и гам — в полном смысле сатанинская музыка. Ночь же вокруг еще гуще и чернее. Странно! Онемели от ужаса обитатели. На улице составила толпа.

— Мертвецы повставали и пляшут! — слышится в толпе.

— Нет, черти! — возражает другой голос.

— Вон и хвост виден! — добавляет третий.

И все в испуге жмутся друг к другу.

К счастью, проезжал мимо театра один из преподавателей. Толпа и музыка привлекали его внимание. Он немедленно отправился в театр и, к изумлению танцевавших, предстал пред их пьяные очи.

Долго потом подсмеивались студенты-медики над отцом злополучной невесты и над проживавшими у него молодыми, брачное пиршество которых так комически разрушилось в блаженную минуту веселья.

(146/А).

/Падение несуществующей колокольни/

Злые языки говорят, что в начале XX века одна из киевских газет, желая потешить шуткой почтенную публику, в номере за 1 апреля поместила заметку приблизительно такого содержания: «Вчера со страшным грохотом рухнула колокольня Андреевской церкви! Обломками кирпича завалило всю улицу. Спешите видеть!»

Предполагалось, что киевляне, хорошо знающие внешний вид храма, посмеются — и тем дело обойдется*. Но получилось иначе. Половина Киева поспешила на

место «происшествия» в надежде поглазеть на зрелище чудовищных разрушений. Розыгрыш удался, киевский обыватель был посрамлен, но возникли осложнения. Городской голова с чинами городской управы также прибыл на «место катастрофы» для выяснения обстоятельств стихийного бедствия. Разразился крупный скандал. Несмотря на старания властей замять дело, история пошла гулять по свету в виде анекдота.
(459, 44).

**При Андреевской церкви никогда не было колокольни, поскольку она строилась не как приходской, а как дворцовый храм.*

/Супруг-поджигатель/

Бытует городская байка, связанная с /.../ мастерской /дамских шляпок Феодосии Петровны Слинко. — А.М./ Говорят, что дела Андрея Петровича /Слинко/* шли несколько хуже, чем шляпная торговля его супруги. Однажды Андрей Петрович узнал, что заведение супруги застраховано на кругленькую сумму. Для поправки собственных пошатнувшихся дел Слинко не придумал ничего лучшего, как поджечь заведение супруги. Страховое общество не заподозрило подвоха и выдало крупное страховое вознаграждение. Феодосия Петровна еще долго восстанавливала «разрушенное хозяйство», а Андрей Петрович тут же открыл мануфактурную торговлю на Думской площади.

Страховые махинации настолько вдохновляли его, что трюк, подобный описанному, он проделывал несколько раз уже в собственном магазине. Из-за этого или благодаря собственным предпринимательским талантам через некоторое время Андрей Петрович считался уже одним из богатейших и известнейших киевлян.
(459, 25—26).

**А.П. Слинко — купец и домовладелец, сын нежинского предпринимателя, перебравшегося в Киев в 1820—1830 гг. Владел несколькими домами на Бассейной и Большой Васильковской улицах и знаменитым «Домом-теремом» напротив Андреевской церкви на Андреевском спуске (№34).*

Миф о портфеле

На днях одна из пассажирок парохода Гинговта, шедшего в Вышгород, уронила в Днепр порт-сак, заключавший в себе 50 руб. наличными деньгами и несколько золотых вещей. При пароходе, к сожалению, не оказалось лодки, и упавший в воду порт-сак пошел ко дну, продержавшись на поверхности реки в течение 20 минут.

Случай этот дал повод к фантастическим рассказам о поглощении волнами Днепра портфеля с 10000 рублей, принадлежавшими какому-то полковнику. Эта сенсационная выдумка о затонувших сокровищах некоторых из местных «предпринимателей» была принята всерьез и побудила их с неводами в руках и другими приспособлениями произвести изыскания на дне Днепра.
(264).

/Приз за каждый купленный билет/

Возникли два новых пароходства, и они вместе со старинными, прежними, неистово конкурировали друг с другом, перевозя груз и богомольцев. В конкуренции они дошли до того, что понизили цены на рейсы с 75 копеек для третьего класса до пяти, трех, двух и даже одной копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пароходных обществ предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его конкурент тотчас же к дармовому проезду присовокупил еще полбулки белого хлеба. (210, 92).*

*А. Куприн приводит здесь распространенный в его время анекдот об отчаянной конкуренции киевских пароходных компаний. С реальной подоплекой этого сюжета можно познакомиться, например, по мемуарам журналиста С. Ярона, где он пишет:

«Когда было создано Второе общество пароходства по Днепру и началась конкуренция между этим обществом и первым, представители обществ сочли за благо соединиться воедино, но тогда нашелся новый конкурент в лице частных пароходоладельцев. Плата за проезд была доведена до минимума. Так, от Киева до Кременчуга брали 20 коп., но когда соединенное общество назначило ту же плату, то частные пароходоладельцы, кроме билета, давали за те же 20 коп. каждому пассажиру еще и по полбулки, чем, конечно, отвлекали от соединенного общества массу пассажиров. Кончилось тем, что соединенное общество нашло нужным арендовать частные пароходы, видя в этом единственный способ избавиться от убыточной для него конкуренции» (Ярон С. Киев 80-х годов. — К., 1910. — С. 211).

/Роковая ошибка эксперта/

Киевская /сельскохозяйственная/ выставка /1880 г./. Лучшим пивом эксперты признали Шмолек (Вольнская губерния), Христины Марр и Киевского пивоваренного завода /.../ Экспертиза пива ознаменовалась следующим эпизодом.

Один из экспертов, сам заводчик и экспонент на выставке, производя оценку пива поименованных заводов, разалитому в его отсутствие в кружки, находил особенно плохим один сорт пива. По справке оказалось, что это плохое пиво есть пиво его же собственного производства. (149).

Пощечина по ошибке

Несколько дней тому назад имел место следующий курьезный случай: по Бульварно-Кудрявской улице проезжал в сумерки на своей лошади г-н Н. с сестрой. Проходивший мимо г-н Х. остановил кучера, подошел к г-н Н. и, «не говоря ни одного вежливого слова», ударил его дважды по щеке. Изумленный Н. при помощи кучера задержал г-н Х. и передал его

городовому. Х., всмотревшись в лицо Н., растерялся и заявил, что избил его «по ошибке», приняв за другого.

— И масть лошади, — заявил он, — и дрожки, и ваша фигура и вся обстановка не возбуждали во мне ни малейшего сомнения, что я вижу перед собой то самое лицо, которому хотел нанести оскорбление.

Г-н Х., препровожденный в участок, не отрицал своей вины, пресерьезно уверяя, что ударил г-н Н. «по ошибке» и в доказательство поехал на дом к г-ну Н. просить извинения. Г-н Н., узнав, что он получил пощечину «по ошибке», великодушно простил г-на Х.

(314).

Вор или не вор?

Любопытное дело разбиралось на днях у судьи 4-го участка по поводу обвинения находящегося в цирке Гейденрейха карлика в похищении сундучка с деньгами, заключавшего в себе все деньги, собранные с публики за показывание удава, деньги, по принятым в цирках обычаям, разделяемые между прислугою цирка.

На вопрос судьи, воровал ли он деньги, карлик отвечал, что нет, а на вопрос, нет ли у него похищенных денег, сказал, что они находятся у него в сундуке. Ответы подсудимого были так странны, что судья пригласил эксперта-врача для освидетельствования его умственных способностей. Врач нашел, что у карлика нет умопомешательства, но развитие его соответствует развитию десятилетнего ребенка. Судья не признал его виновным.

(71).

Сила конкуренции

Вчера утром четыре известных жулика привели в Плоский участок задержанного ими «неизвестного», у которого оказались краденные дорогостоящие золотые часы. Так как весьма редко случается, чтобы вор задержал вора и даже привел его в полицию, то «известных» жуликов и спросили об основаниях, на которых они привели «неизвестного».

— Сила конкуренции, — отвечали жулики. — Мы адепты, а он приезжий, мы его и задержали, чтоб не конкурировал!..

(369).

ГОРОДСКИЕ АНЕКДОТЫ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ И КНИГ

На каком-то балу в одной и той же мажурке танцевали мать и дочь, — комическая сцена, которая иногда бесплатно показывается в обществах.

— Какой год вашей матери? — спросил девицу ее кавалер.

— Не смею, право, отвечать вам на этот вопрос, — ответила она. — Судя по всему, матушка с каждым годом молодеет, так что я теперь сделалась гораздо ее старше. Это нам напоминает другой анекдот в том же роде.

Одна дама, которая любила молодиться, представилась со своим сыном Наполеону.

— Сколько вам лет? — спросил Наполеон, желая посмеяться над ее слабостью.

- Тридцать два, ваше величество.
— А вам? — прибавил Наполеон, обращаясь к сыну.
— Я пятью годами меньше, чем маменька, ваше величество.
(11).

В магазине

- Нет ли у вас новых романсов?
— Есть. Вот: «Знаешь ли ты любви томленья».
— Ну, это я знаю.
— Вот: «Первый поцелуй».
— И это я знаю очень давно.
— В таком случае: «Бежим и будь моей женою».
— Ну, давайте!
(68).

В ресторани

- Ей, хлопче, чого ж це у вас такі малі порції?
— Та ви, пане, попробуйте, може, й того не з'їсте.
(74).

Київський анекдот

- Батько вмовляє свого ледачого сина-школяра і каже між тим:
— Ти знаєш, ледачого, що в твої літа Вашингтон був найкращим учнем у школі?..
— А ви, тату, знаєте, — відповідає хлопець, — що в ваші літа Вашингтон був уже президентом Сполучених Штатів?..
(173).

Всячина

- Ви у власному домі живете чи квартиру наймаєте?
— Та, знаєте, як сказати? Мало що не у власному; бо вже два роки за квартирою не плачу.
(75).

- Тату, яка різниця між трамваем та автомобілем?
— Гм! Різниця? Та, бачиш, трамвай може різати людей тільки на рельсах, а автомобіль по всій вулиці.
(328).

Юмористические зарисовки со Всероссийской выставки 1913 г. в Киеве

Київ — вокзал

- Вам куди, пане?
— Що?! По-якому ти чешеш, га? По-якому, питаю?

— Ну-ну, ви не дуже, пане, а то я й жандарма покличу.

— Клич, клич! Я тобі покажу...

— Об чим гармидер?

— От, от! Оце я розумію. Одразу видно, що не мазепинець. Цей лобуряка, пане жандарм, сміє зі мною розмовляти по-мазепинському.

— Нізя, нізя... Нада по-благородному з благородними.

— Мерсі.

— Цікасливо зоставатися.

Виставка

— Гей, панове! Настоящі українські медові пряники, паляниці, пампушки та інші галушки!.. Дешево, дешево, дешево!..

— Пху, пху!.. І тут свинський язик. Гей ти... Як тебе?.. Ти хто?

— Тарас з Полтавщини.

— Ти куди попав?

— У Київ, пане, на саму виставку. Купуйте: паляниці, пампушки та інші галушки!.. Вам чого? Може, галушок гарячих?

— А подавись ти ними! Не смій зі мною так! Не люблю я свинського язика.

— Нема свинського язика, а от пампушечок, галушечок... М'ясом не торгуємо. Може, медяничка? Куди ж ви, стривайте!..



Н. Пимоненко. Київська цвітоточка. 1907 г.

В ресторані

— Гей, хто там!.. Картку!.. Фу, тільки рознервувався, а їсти хочеться, аж шкура бо-
лить... Просто не віяiano Києва. Пампушки, галушки... І це на всеросійській виставці!..

— Хе-хе-хе!.. Є, є, всього є...

— Ціло? І ти туди ж із свинським язиком?!

— Чого ізволите? Свинський язик? Нема... І ніде, ні в одному ресторані не знай-
дете: ніхто не питає. Може, московський, під хріном?.. Можна з шпоре.

— Московський язик у вас під хріном?

— Еге, з хріном... Хороший, свіжий щоразу хрін, багатьом у носі крутить.

— Крутить, кажеш?

— Крутить!

— Господи! Куди ж я попав! Од московського язика їм у носі крутить!..

— Як з хріном, значить, він...

— Ну-ну!.. От тобі й Макогін! От тобі й Савенко!*

(328/А).

* Макогін і Савенко — діятели шовіністического «Союза російского народа». — Прим. редакції.

Вечереет. Широкие дали кроются аметистовым вуалем, и демократическая Владимирская горка* покрывается гуляющими /.../ Барышня в шарфе и военный «капюль»** сменяются юной парой.

— Лиза, вы знаете «Девятый вал»? — ведет он разговор с «литературой».

— «Девятый»? Нет, я знаю только Верхний и Нижний Вал. Там у тети табачная торговля! — наивно отвечает она.

Оба замолкают и молча смотрят в роскошную свободную даль.

(281, 21–22).

**Владимирская горка названа здесь демократической, т.к. это был единственный бесплатный городской парк, если не считать совершенно запущенный участок Царского сада, оставшийся в руках думы. Там хозяйничали бояськи, и прогулки по нему считались небезопасными.*

***Капюль — мужская прическа в виде высокого хохолка над лбом.*

/Запорожець і київський пан/

Певен, кожен з нас свого часу чув про те, як одного разу козак у якийсь там справі прибув до Києва, аж гульк — величезний натовп.

— Ясновельможний пане, — звернувся одягнутий у традиційне вбрання козак до пана, який щойно вибрався з того натовпу. — Що там трапилось?

— Що? Що? Там корова яйце знесла... — відповів той гонорово.

— Ой, лишенько, — вигукнув козак, — то з того яйця буде такий бичок, як ясновельможний панок.

(113, 70).

Выше прыгнул

Стояла в Киеве у Лаврской колоколыни толпа людей и удивлялась, что такая она высокая.

Подожел к ним русский, посмотрел и говорит:

— Хоть и высока она, а я выше ее подпрыгну.

— А ну, прыгни, — сказал один человек.

— Давай рубль — прыгни!

— А что, дадим, — говорят люди, — если подпрыгнешь так, как обещался.

Русский взял и подпрыгнул слегка, а люди спрашивают:

— Так что ж ты?

— А что, — говорит русский, — теперь пусть она хоть так подпрыгнет.

(88, 19).

Прибыл в Киев путник из далекого конца; ходит он по городу, смотрит на город и людей.

Идет путник по Подолу, а навстречу ему монах. Монах шел медленно, важно и задумчиво.

— Здравия желаю, — сказал путник. — Вот приехал в Киев, никого не знаю. Спросить смею: из какого будете монастыря?

Монах поднял палец вверх, провел по лбу и пошел своим путем.

Идет путник в Старый Киев, здесь опять монах. Путник низко поклонился, взяв благословенье и спросил:

— Из какого, честной отец, монастыря?

— Гм! — сказал монах, как-то сладко улыбнулся, поднес три пальца к губам, потянул в себя воздух, откинув голову назад и, пошатываясь, пошел вперед.

Пошел путник на Печерск, видит — вперевалку спешит куда-то монах. Пола раскинуты, клобук подался назад.

— Не во гнев будет вас, отец, спросить: «Из какого монастыря?» — сказала путник.

Монах весело взглянул, хлопнул по карману рукой и мимо путника прошел.

Идет путник дальше; глядит, точно гора к нему навстречу — преогромнейший монах. Ноги чуть движутся, ряса шелестит, весь он точно плывет, а за ним во всем новом послушник молодой. Путник остановился, отдал поклон и несмело произнес:

— Из какого, батюшка, монастыря? — смею вас спросить.

— Спитай мого хлопця! — густым басом прогремел на ходу отец и продвинулся еще.

Вышел путник совсем за город, бредет по оврагам, перелескам и садам. Вдруг из-за дерева монах — худой, тощий и плохо одетый. Поглядел он исподлобья, а путник смело его окликнул:

— Отколь, чернец, из какой пустыни?

— А тобі яке до мене діло! — и хлоп его в ухо.

Пошел путник, не узнавши, какие в Киеве монастыри.

Монастыри всякому известны, но чтобы понять сделанные каждым из монахов ответы, надо немного припомнить историю каждого из монастырей.

Один славился ученостью*, другой такими шинками, с которыми не мог соперничать «царев кабак»**, третий огромными богатствами***, четвертый своим привилегированным и очень высоким положением****, а пятый*****... бился с «печерянами» за перевоз, с ляхами за имения, с униатами за веру и, победив все, кроме веры, озлобился на мир.*****

(269, 325–326).

* Богоявленский монастырь с Академией на Подоле.

** Михайловский в Старом городе.

*** Никольский монастырь на Печерске.

**** Лавра.

***** Выдубецкий монастырь.

***** Этот анекдотический рассказ о киевских монахах имел, очевидно, глубокие исторические корни и был известен во многих вариантах. Один из них предание связывает с именем митроп. Е. Болховитинова. См.: Глава 6, раздел «Киевские владыки», «Митрополит Евгений Болховитинов».

/Искусство письма/

Оставшись вдвоем в светлице, Степан Мартынович сел за стол, положил перед собою бумагу, взял в руку перо и принял

такую позу, какую обыкновенно дают живописцы сочинителям, когда изображают их бессмертные лики, осененные сапфирными крыльями гения творчества. Принявши такую позу, он просил диктовать. Прасковья Тарасовна села тоже за стол против писателя и бессознательно приняла позу самой скорбной матери.

— Пишите так, — сквозь слезы проговорила она: — «Засю мой, дитя мое единое!»

Степан Мартынович долго, долго думал и наконец написал: «Единственный сын мой, милостивый государь Зосим Никифорович!»

Он очень хорошо знал, что неприлично писать такие слова, какие будет говорить неграмотная баба. Написавши титул, он спросил, что писать далее.

— Дальше пишите так: «Орел мой, Зосю! Посылаю тебе сто карбованцев».

Он, разумеется, и эту, и все последующие фразы писал по-своему. Письмо вышло довольно оригинальное и нельзя сказать краткое, потому что оно кончилось тогда только, когда исписан был весь лист крутом /.../

Когда громогласно и не борзясь было прочитано письмо, то Прасковья Тарасовна подумала: «А я-то, дура, мелю себе, что на язык попало, а вот оно как надобно было говорить». И она посмотрела на писателя с благоговением.

(455, 86–87).

/Философ и смерть/

Один философ, или богослов, говорил речь над умершим паном*:

— Что это лежит? Тело. А чего оно лежит? Ибо их благородие померли. А чего они померли? Ибо душа с телом разлучилась!

И обведя взглядом присутствующих, возгласил:

— О смерть худоребрая! Черт бы тебя побрал! Не напрасно латиняне называют тебя тьма (море), — как кого морснеть, так и ноги протянет!

(88, 381).

** Далее пародируется архаическая стилистика старого барочного надгробного слова, которое подчас можно было услышать в Киеве еще во второй половине XIX века.*

КОМИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА

Адресный стол

Адресный стол в Киеве был открыт в 1889 г. Начальником его был назначен чиновник канцелярии генерал-губернатора г. Рибас. Хотя адресный стол и создан был в интересах населения и приезжих, но в начале на листках по поводу вопросов в разных рубриках давались курьезные ответы, доказывавшие, что к новому учреждению горожане относились не вполне доверчиво и не осознавали его значения.

Привожу некоторые ответы. Так, под рубрикой «Выбыл» получались ответы: «в аптеку за лекарством», «взял рубль, пошел на базар и больше не возвращался», а одна дама по поводу своей сестры написала: «по сильным обстоятельствам уехала в деревню». Под рубрикой «Семейное положение» был ответ: «Отец в Орле, бузина в

огороде, а дядька в Киеве». Особенно курьезны были ответы под рубрикой «Чем занимается». Один ответил: «Хотел быть дворником, но оказался лентяем»; другой — «дармоед». А одна кутява написала: «Исполняю супружеские обязанности».

Начальник адресного стола г. Рибас энергично принялся за дело, но затем счел нужным отказаться от службы, хотя и довольно своеобразно: захватив довольно приличную сумму, он скрылся из Киева и до настоящего времени не разыскан. Киевляне по этому поводу говорили, что наш адресный стол до того плох, что не может даже узнать адреса своего начальника.

(467, 208—209).

/Конкурс киевских остряков/

Курьезы с адресными листками, поступающими в адресный стол, продолжают. На одном из таких листков, поступившем на днях, в рубрике «Куда выбыл» написано: «Это лицо, напившееся пьяным, и его хозяин не пожелал держать у себя, ушло со двора, а именно куда, мне не известно».

(163).

Курьезная переписка

Околоточный надзиратель прислал пристава одного из участков следующую телеграмму: «Разыщите лошадь, на лбу лысина, рога большие, хвост длинный, двойная».

Ответ пристава:

«В участке такой лошади нет, поищите в музее».

(212).

Н/иколай/ Ч/ернышов/. Из записок одного русского чиновника

Ходит у нас анекдот о том, как одного городничего статистический комитет спросил: «Сколько пород прилетает в ваш город певчих птиц?» Он ответил: две тысячи. А когда комитет написал ему, что этого быть не может, что столько пород певчих птиц нет на всей земле, то городничий, получив эту бумагу, задумался; наконец в тяжком раздумье позвал своего письмоводителя.

— Скажите, что мы будем отвечать на эту бумагу? Мы одурачили себя!

Письмоводитель, нисколько не сконфузаясь, отвечал:

— Что ж, и ответим: напишем, что во время посылки рапорта действительно было столько пород певчих птиц, а теперь все они улетели.

— Брависсимо! — воскликнул городничий, и в таком виде пошло донесение от городничего в статистический комитет.

Забавен также показавшийся мне отчет одного квартального куреневского квартала за 1857 год.

Мы для курьеза сделаем здесь небольшие выписки.

Например, о *благотворительности* г. статистик поневоле пишет вот что: «По жертвований в пользу потерпевших от пожара, наводнения и других случаев со стороны обывателей куреневского квартала не было, равно и *замечательных человеколюбивых поступков не имеется*».

О народном здравии:

«Некоторые жители куруевского квартала были одержимы болезнями, лихорадкою и горячкою, которые болезни большого своего действия не имели; вредный для здоровья обычай вкореился промежу жителями — пьянство, для воздержания их от оного принимаются со стороны полиции надлежащие меры».

О сельском хозяйстве:

«Жители занимаются хозяйством, как-то: хлебопашеством, разведением овощей, имеют у себя огороды и плодовые деревья, охотно занимаются разведением картофеля и не требуют к тому побуждения».

О народном просвещении:

«По случаю учреждения в куруевском квартале приходского училища грамотность промежу жителями быстро распространяется, и можно считать на 100 душ 13 ученых(?)»

О народной нравственности:

«В сравнении с прежним годом воровство уменьшилось по случаю предпринимаемых полицией мер, оттого нравственность между жителями заметно улучшается».

В заключение отчета написано: «Движение дел в куруевском квартале производится со всевозможным успехом».

Составление подобных отчетов не есть ли трата времени, бумаги и, наконец, совершенное непонимание /цели/ собирания статистических сведений.

(445).

/Письмо в редакцию/

Всякому приятно заработать хороший куш. А так как «Одесский вестник» извещает, что по какому-то крупному иску я* получила 600 тысяч рублей, то мне было бы приятно узнать, по какому это делу мне причитается такой или хотя бы значительно меньший гонорар.

Принимая же во внимание, что я забыла, с кого мне такая сумма следует, я готов за возобновление в моей памяти этого факта подарить сообщаемому известие, применяясь по аналогии к закону о вознаграждении за найденную вещь, часть следуемой суммы.

При этом, куда ни шло, я согласен уступить не треть находки, а даже половину.

Ф. Плевако.

*Цитируем письмо известного адвоката Ф. Плевако, который в начале 1880-х годов жил в Киеве и печатал в «Киевлянин» серию очерков под названием «Из записок адвоката».

(155/А).

/Подписка об отказе от самоубийства/

Помню я такой случай. Какой-то юноша, желая покончить самоубийством, повесился на дереве в Ботаническом саду. Вовремя усмотренный, он был снят и доставлен в участок. Дежурный надзиратель поговорил с юношей и, отпуская его, потребовал от него подписку такого содержания:

«Я, нижеподписавшийся, даю сию подписку в том, что более покушаться на самоубийство не буду под опасением быть привлеченным к ответственности по 29-й статье устава о наказаниях».

Надзиратель, взяв подписку, успокоился, а юноша вновь отправился в сад, где на другой день был найден повесившимся.
(467, 30).

Уважительная причина к определению в одну из придворных контор

В бытность императора Николая Павловича в Киеве в 1847 году некий Михалевич, бывший учитель Киево-Печерского дворянского училища, подал его величеству прошение, в котором между прочим изъяснялся:

«Приезд в г. Киев вашего императорского величества очень облегчил страдающую меня чрезвычайную грусть и скуку, но отъезд усугубил оные, подобно, или еще гораздо более, как отъезд из Киева вашего императорского величества в 1840, 1843 и 1845 годах».

На сем основании Михалевич просит помочь ему добраться до Санкт-Петербурга для помещения «в одной из придворных контор».

Высочайшего соизволения не последовало...

(408, 157).

Курьезный документ

На днях в Киеве задержана женщина с курьезным документом, копию с которого мы и приводим:

«Билет жены Мотыи Григорьевны солдата отставного полка уланского одесского мирового суда. Приметы: подтвердила Степанида Маламаха, рост грандиозный, волосы причесаны, брови харьковской губернии, глаза везде. Билет могут подтвердить Манох, почтаевский надзиратель № 24185264786».

Место печати обведено кружочком, в котором нарисован черт. И с таким документом несчастная женщина плелась в Киев чуть ли не за тысячу верст. С такими документами, выдаваемыми разными лицами, темному люду приходится в последнее время очень часто появляться в Киеве.

(217).

Курьезное заявление

Свинья с поросятами одного из подольских обывателей была арестована полицией на основании действующих правил.

Владелец послал в полицейский участок следующее заявление:

«Господин дежурный! Свинья моя, а равно четыре чада ее, сиречь поросята, самовольно сбежали со двора и самовольно прогуливались по мостовым и тротуарам города, за что и были арестованы. Покорнейше прошу, если за этими свиньями другого преступления не состоит, возвратить их мне этапным порядком, я же в наказание главную виновницу, их мать — свинью, предаю смертной казни».

(216).

/Любовная канитель на Подоле/

Как сангвиник и человек вполне здоровый, Семенович* не мог не поклоняться Венере, но быть в зависимости и подчи-

ияться мальчишке Амуру не в его натуре. Он терпеть не мог любовной канители, как он выражался.

Правда, чувствительные послания от него в адрес хорошеньких женщин попадались-таки. В этих посланиях, вместо обычных «голубка», «душечка» и «ангелочек» употреблялись более съедобные предметы: «кренделек», «пупочек», «пороссяточко». У нас сохранилось одно из писем амуриного содержания, которое приводим здесь дословно:

«Драгоценное мое пороссяточко Машенька!

Нетерпимые отлагательства дела мешают мне лететь к Вам, мой пупочек. Вся пугурность моя рвется к Вам. Хочется взглянуть на Вашу мордочку. Вы поразили меня в самую совесть. Мой пульс сердечный пылает к Вам жестокой страстью от невозможности видеть Вас. Посылаю Вам яблоч и апельсин для наслаждения Вашей внутренности и желаю радостно танцевать без меня.

Остаюсь любящий Вас с прискорбием по гроб души моей за невозможностью приехать, т. к. у нас в академии заготовка капусты в погребе, и я должен по закону находиться при девках, чтобы не испортили кочанов волею Божию.

А. До».

(332, 217–218).



**Речь идет об известном в свое время помощнике эконома духовной академии Александре Семеновиче Дорогановском.*

ЖЕНИХИ ДАМЫ СО СВИНОЙ МОРДОЙ

(Странная история в письмах)

Эта старая и весьма поучительная история подробно описана на страницах моей «Малой энциклопедии киевской старины». Вкратце дело было так. Во время гастролей в Киеве в 1859 г. знаменитой женщины-уродки Юлии Пастраны, глядя на которую, трудно было понять, человек это или обезьяна, в целях рекламы по городу пустили слух, будто она очень богата и некоторые искатели легкой наживы уже сватались к ней. О самой Пастране и забавных байках о ней в Киеве вскоре забыли, но в провинции и тех городах, где ее не видели, слухам этим поверили всерьез, и в 1870-х годах на имя киевского полицмейстера (до 1889 г. адресный стол находился при полиции) стали поступать письма иногородних искателей руки «дамы со свиной мордой» с просьбами сообщить им ее адрес. (Женщина-обезьяна трансформировалась в народной фантазии в более понятный образ невесты со свиной головой.) Эти люди готовы были жить с невообразимым чудовищем, лишь бы добраться до его «миллионов». Сначала в полиции просто выбрасывали письма проворных негодяев, но в 1881 г. на пост киевского

полицмейстера назначили проницательного и хорошо образованного Л.П. Мاستицкого, и он взглянул на дело с другой стороны. По его распоряжению письма «женихов» мифической дамы стали передаваться для публикации в редакцию газеты «Киевлянин», чтобы всем было видно, до какой низости может дойти человек в погоне за легкой наживой. Эти любопытные свидетельства развращающего воздействия денег на человеческую душу печатались более 10 лет. Последнее из них обнаружилось в номере за 16 марта 1894 года. Думается, предлагаемая подборка посланий негодяев звучит в наши дни так же свежо и актуально, как и сто лет назад. За все это время наш старый город нисколько не поумнел и перестраивает ныне новый приступ меркантильного психоза. Тут есть над чем задуматься...



О даме со свиной мордой...

Давно уже по городу носится слух о появившейся даме со свиной мордой, но миллионным состоянием, ищущей жениха. В редакции нашей было получено даже несколько писем от лиц, предлагающих себя в женихи появившемуся феномену.

В настоящее время в самом Киеве разговоры о даме-свинье уже прекратились, но зато в окрестностях его и вообще в Юго-Западном крае население взволновалось, «миллионное состояние» начало соблазнять многих, и пошла с разных концов телеграмма с предложением женихов. Вчера в Киеве получена телеграмма из Кролевецца со следующим адресом: «Киев, Крепцатику, даме-феномен со свиной мордой». Разносчик телеграмм долго ходил по Крепцатику, разыскивая адресата, но так как такового не оказалось, то для справки телеграмма эта была предоставлена в Управление киевского полицмейстера, где на ней была сделана отметка, что в Киеве таковой дамы, по сведениям полиции, нет.

Содержание самой телеграммы следующее: «Есть жених, отвечайте. Кролевец, Орлову».

(291).

Курьезное заявление

Вчера киевский полицмейстер получил следующее заявление:

«Г-ну полицмейстеру Киевского полицейского управления*
крестьянина Херсонской губернии
Заявление.

Желаю заявить вашему благородию о недавно отъехавшей из Кременчуга в г. Ки-

ев и опубликованной в афишах девице с необыкновенными и удивительными чертами лица, ищущей молодого человека взять ее замуж для испытания, какие будут дети, в чем и заявляю свое желание, невзирая ни на какие страшные угрозы ее личности, беспрекословно взять её за себя с публичным приданым, а также заявляю, что я крестьянин бедного состояния и болен глазами и не имеющий средств явиться лично в город Киев. Посему покорнейше прошу Ваше высочордие извинить за мое неопытное и простонародное заявление и прошу не оставить вашего милостивого ходатайства на мое заявление».

(215).

**Пост киевского полицмейстера занимал тогда инициатор публикации писем женихов звероподобной дамы Леонид Порфирьевич Мاستицкий (1844—1909). Об этом замечательном человеке, «луче света в темном царстве» киевской власти стоит сказать несколько слов. Он родился в Воронежской губернии в дворянской семье. Окончил гимназию в 1860 г. С 1861 г. служил офицером в армии. В 1868 г. перешел в полицию. Проявил большой талант в сыском деле. В 1880—1882 гг. — помощник киевского полицмейстера (начальник особой сыской части). С марта 1882 г. возглавлял киевскую полицию, но во время уличных выступлений студентов в октябре 1884 г. не счел возможным применять к демонстрантам физическую силу, как того требовал генерал-губернатор Дрентельн, и подал в отставку. Какое-то время работал мировым посредником в Кременецком уезде. В 1886—1887 гг. снова служил в Киеве инспектором типографий и книжной торговли. В 1888 г. о талантливом киевском сыщике вспомнил бывший киевский генерал-губернатор (1869—1877), тогдашний наместник Кавказа (1882—1890) князь А.М. Дондуков-Корсаков и пригласил его к себе на службу — кутаисским уездным начальником. В 1890—1899 гг. Мاستицкий возглавлял полицию Тифлиса. Выйдя в отставку, вернулся в Киев, где и умер. Как видим, и в те времена талантливым людям трудно жилось в Киеве, даже если они носили полицейские мундиры!*

Маленькое, но миленькое письмо

Письма в управление г. киевского полицмейстера на имя женщины со свиной мордой до сих пор еще получаются в несметном количестве. Из ряда этих писем помещаем одно, как короткое и при этом весьма характерное. Адресовано письмо г. полицмейстеру, вот его содержание:

«Явите божескую милость, заставьте за себя вечно Бога молить, устройте, не пойдет ли за меня проживающая в вашем г. Киеве невеста со свиной мордой. Для меня безразлично и все равно, если бы она была дамой с собачьей или бычьей головой, я её буду любить, а вам, многоуважаемый милостивый государь, 10% куртажа с одного миллиона и 5% с 500 тыс. руб. Меньше этой суммы взять не согласен. Жду вашего ответа в смысле, благоприятном для меня.

P.S. Я молод, 27 лет, довольно красив, весьма здоров, пью умеренно, служу конторщиком. Адрес: Москва, Федору Смирнову».

(254).

Новый претендент на руку дамы со свиной головой

Все еще и до сих пор находятся охотники жениться на мифической даме со свиной головой и на ее миллионах. Не дальше как третьего дня получено в Киеве на имя одного из приставов письмо из Евпатории от одного молодого человека, состоящего домашним учителем у местного домовладельца. Вот содержание письма:

«Милостивый государь! Стократно извиняюсь, что осмеливаюсь утруждать вас своей беспокоящей просьбой, но теперешние мои обстоятельства и объявления в газетах* и молва людей побудили меня к этому. Я слышал, что в Киеве проживает урод-невеста, которая ищет себе жениха и имеет три миллиона приданого. Я потомственный дворянин, имею 31 год от роду и желаю сочетаться с ней браком, какой бы она урод ни была. Не откажите уведомить меня, проживает ли она в Киеве, и если да — я немедленно прибуду и оказанное одолжение не останется в долгу. «Физис» мой ей наверно понравится».

(287).

**Объявления в газетах о женщине-чудовище (но отнюдь не о ее богатствах и желании выйти замуж) печатались в конце 1850-х годов, и вряд ли молодой учитель из Евпатории мог их видеть. Далее он пишет о слухах, что соответствовало действительности.*

Еще претендент на руку дамы со свиной головой

Молва о мифической даме начала проникать уже и в захолустья, нарушая покой мирных сельских жителей. Третьего дня г-н и. д. киевского полицмейстера* получено следующее курьезное прошение от почтенного гражданина Иосифа М.:

«Так как я в теперешнее время услышал, что в г. Киеве на публикации была дочь одного купца, и ее публиковали по городу, но никто не нашелся, а хотя и находятся охотники жениться, но, увидев при свидании с нею, что она имеет вместо носа нарост, похожий на свиное рыло, то и не согласился. Если это действительно правда, то всепокорнейше прошу вас объявить тому же купцу, что я желаю вступить в законный брак с той девицей. Если же она уехала из Киева, то покорнейше прошу начальство разыскать того купца и объявить ему, что я имею желание вступить в законный брак и неразрывный союз любви. Быть может, вы не верите мне и думаете, что это насмешка, но это справедливо, я своего слова не изменю. Прошу только начальство выгребовать меня в Киев через полицию. Адрес: в квартиру станкового, арестованному за паспорт И.М.В. В случае розыска означенной девицы прошу уведомить меня».

(110).

**После увольнения в 1884 г. полицмейстера Мاستицкого, вместо него (сначала исполняющим обязанности) назначен начальник сыскного отдела Живолядов, уволенный впоследствии по обвинению во взятках.*

/Письмецо деликатного негодяя/

В городе Николаеве живет некто г-н К.-о, который сильно интересуется судьбой дамы со свиной рожей. Несколько времени назад он обратился письменно к некоторым лицам в городе с просьбой сообщить ему адрес этой мифической дамы, а теперь в следующем письме с такой же просьбой обратился в Киевский адресный стол*:

«Прошу покорнейше, — пишет г. К. — сообщить мне, можно ли будет иметь справку об одной особе, пять-шесть лет назад приезжавшей в Киев. Особа эта феномен, а именно: женщина со свиным лицом. Мне необходимо нужно знать имя и фамилию её и по какому документу она проживала. Если невозможно будет узнать у вас, то сообщите на прилагаемом бланке, где можно получить справку».

Киевский адресный стол ответил на это письмо, что он выдает справки о месте жительства только тех лиц, имена и фамилии которых известны.

(165).

**Киевский адресный стол как независимое от полиции учреждение возник в 1889 г., и с тех пор письма «женихов» стали поступать в него, а отсюда по установившейся традиции их передавали в редакцию «Киевлянина».*

/«Крайне необходимо»... миллион руб./

У дамы со свиным лицом, о которой довольно много говорилось в газетах лет шесть-семь назад, поклонники не переводятся. В прошлом году мы сообщали о каком-то жителе города Николаева, интересовавшемся этой мифической дамой, а теперь вспомнил о ней и заинтересовался ею петербуржец Н.-ов, подобно николаевцу приславший на днях начальнику Киевского адресного стола следующее письмо:

«В Киеве живет женщина со свиным лицом или вроде того, сведения о которой мне крайне необходимо получить, но не зная её места жительства, фамилии и отчества, почтительнейше прошу адресный стол сообщить мне о месте её жительства, имени и фамилии, на что прилагаю марки».

Почему для автора этого письма «крайне необходимо» получить сведения о даме со свиным лицом? Вероятно, потому, что, как передавали слухи когда-то, эта дама располагала миллионным приданым!

(167).

У дамы со свиной головой

У дамы со свиной головой и миллионным приданым, о которой так много говорилось в газетах лет семь назад, женихи не переводятся. В прошлом году в Кишиневе нашелся претендент на ее руку, теперь такой отыскался в Белостоке. Подобно своему кишиневскому конкуренту белостокский жених обратился с запросом о даме со свиной головой в Киевский адресный стол. Он пишет:

«Покорнейше прошу вас уведомить меня, где находится барыня со свиной головой. Вышла ли она замуж. Пришлите мне ее адрес».

(409).

ИЗ ГОРОДСКОЙ РЕКЛАМЫ

Курьезная вывеска

На Бульварно-Кудрявской улице возле Лесного базара нам пришлось видеть на одном из домов весьма курьезную вывеску довольно больших размеров. На вывеске нарисован человек, окруженный значительным количеством собак, рвущих на нем платье, хватающих его за ноги и проч. Внизу под рисунком подпись: «Не входите во двор, не позвонивши к дворнику»*.

(211).

*Эта удивительная для XIX века вывеска едва ли удивила бы нашего современника.



В поисках недорогих квартир.
Рис. 1908 г.

/Странные фамилии/

В конце Московской улицы, к башне, направо, есть рядом четыре вывески, и на этих вывесках красуются необыкновенно странные фамилии. Будь они в числе прочих разбросаны по городу, это было бы незаметно. Иностранцы бывают очень замысловаты, но согласитесь, что поневоле обратишь внимание, читая их подряд: *Атуподиен, Фивег, Эш, Мсок!*

(453).

Оригинальная реклама

В настоящее время появились лубочные картины (одну из них мне пришлось видеть у разносчика этих последних), на которых изображено жертвоприношение Авраама: на сложенных костром дров лежит связанный Исаак, перед ним стоит Авраам с занесенной рукой, в которой держит большой нож, на последнем довольно отчетливо написано: «№1. Завялов. В Вормсе».

Значит, и в глубокую старину были известны изделия Завялова.

(294).

/Местные иностранцы/

Странное в самом деле безобразие: в Киеве — матери городов русских — все вывески на иностранных языках. На Крещатике, например, с правой стороны, идя к Днепру, 47 вывесок большей частью обозначены по-французски. Чужестранец, захвативший к нам, может, пожалуй, прийти к тому заключению, что мать городов русских говорила и говорит не по-русски, а по-французски, или что все покупатели французы, или же что на русском языке нельзя вести торговлю. Удивительно, что французы до сих пор не объявляли притязания на Киев. А как безобразно испещрена подобного рода вывесками левая сторона Крещатики! Еще безобразнее правой: на левой вы встречаете то, чего не встречали там — фамилии с окончаниями: *-Chi, -off, -kin*. На правой стороне часто

встречающееся -*fski* хоть имеет свое собственное значение, но что означает это *off*, так часто попадающееся на левой?..

(145).

Образец американской рекламы

Вчера /10 января 1884 г. — А.М./ по городу были расклеены афиши о бенефисе директора цирка П. Никитина. Сухая проза оказалась, очевидно, недостаточной, и составители афиши прибегли к «крылатой рифме». Приводим два-три образчика плодов вдохновения г. Никитина с компанией.

Заявляя в начале, что в искусство, им избранное, он вкладывает все свои силы, г. Никитин продолжает:

*Нигде фиаско не терпел
Я с русским цирком никогда.
В какие б с ним ни заезжал
Отчизны милой города.*

Обещая роскошное представление, г. Никитин так оканчивает свое послание к публике:

*Послание наше правдой дышит,
Сегодня можете узнать.
Уж пред началом представленья
Билет нельзя будет достать!
С утра с рублем спешите к кассе,
Где встретитесь хотя с толпой,
Но все ж билет вам взять удастся
На бенефис блестящий мой!*

Несомненно, что духовная гимнастика г. Никитина должна быть поставлена на несколько ступеней ниже его телесной гимнастики и дается ему труднее.

(288).

Курьезная реклама

С некоторых пор некоторые киевские торговцы по части реклам вряд ли уступают пресловутым американским. Чем, например, не восхитительна реклама о лютихском мыле, продающемся в бакалейном магазине Фалера на Васильковской улице возле Крепчатика. В двух окнах магазина выставлены большие картины, на которых нарисована девушка, по-видимому, прачка, и старушка, изображающая духа. Над картинами имеется надпись «Лютихское мыло», а внизу большими буквами сделана следующая надпись, которую приводим буквально:

*Мина: Я долго жизнью этой жила,
Но жить так' доле не могу:
Одни мученья, кому же мило
Жить вечно в аду!*
*Дух: Услышь, дитя! Ведь с сей бедой
Тебе расстаться легко бы было,
Если бы ты с холодной водой
Употребляла лютихское мыло!*

Выставленные картины с приведенною подписью привлекают массу любопытных. Чем эта реклама хуже американской? (213).

Стихотворная реклама табака И.Эгиза

Любовь Fin de Siecle*

— «Поздравь, дружище, я влюблен!»
 — «В кого? Ужель опять в брюнетку?»
 — «О нет!» — «В блондинку?» — «Нет!» — «Pardon.
 Так, значит, в рыжую кокетку?»
 — «Ах нет! Ты мелешь, как дурак!»
 • — «Да кто ж она: Маруся, Лиза?»
 — «Да нет же, нет! Она — табак.
 Табак Иосифа Эгиза!
 Звать «Конкуренцией» её.
 Она весьма ароматична,
 Два сорок фунт совсем: «мое»,
 Приятно, вкусно и практично,
 А девы к черту... Девы — яд.
 Ведь через них теперь я нищий,
 Я их вовек не видеть рад!»
 — «Ты прав поистине, дружище!»

*Любовь конца века.

(389).

/Самореклама «любимца публики»/

Ж

аль, что капельмейстер Ф. Шредер, сам себя именуемый «любимцем с.-петербургской публики», не дирижирует танцами в пятигорском вертепе*.

Но он царствует в несравненно более великолепном учреждении, в киевском «Шато-де-Флер» и выпускает там афишки следующего великолепного содержания:

«Капельмейстер Ф.Шредер, любимец с.-петербургской публики (!) объявляет, что он исполнит следующие пьесы: Борсейе: Дорс! Le Veille соч. Хр. Генга, Антре акта из оп. Дон Цезарь де-Базана, Оркестр вариатиона из русских песен соч. Шрейнера, вальс Юридический бал с танцами соч. И. Страуса, Интродукция из хора опер. Гамлета и т.д. и т.д.»

Петербург, кстати удостоверить, не имеет никакого понятия о дирижерском таланте и фирме г. Шредера. Если этот немецкий человек и играл на чем-либо в столице, то разве что на билиярде.

Но в Киеве ему давно пора сделаться и «любимцем публики». Помилуйте! Г-н Шредер не только даст «юридический бал с танцами», но еще угощает почтенных посетителей киевского «Шато-кабак» антрекотом из опереток с вариатионами.

И как мил перевод его с французского (La Berceuse) на русский — «Берсейза» и слова «спи» (Dors) — Дорс...

(6, 8).

*О скандальных происшествиях в этом заведении писалось в одном из номеров ж-ла «Стрекоза» за 1893 г.

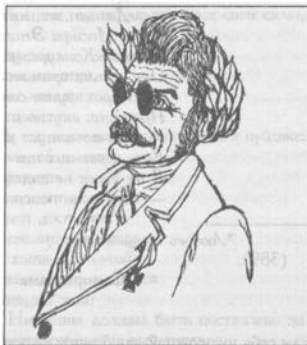
ЧУДАКИ И ОРИГИНАЛЫ

К.С. БЕРЛИНСКИЙ

В XIX веке в Москве и Петербурге люди, которые были у всех на виду и о которых рассказывалось множество забавных историй, назывались чудаками и оригиналами. В Киеве их называли также «антиками». Это пошло от Н. Лескова.

Когда образовался первый в нашем городе историко-литературный журнал «Киевская старина», его редактор Ф.Г. Лебединцев (1828–1888) обратился к Н. Лескову с просьбой написать что-нибудь для нового издания. В ответном письме от 14 октября 1882 г. писатель обещал прислать повесть, вернее, «воспоминания о киевских оригиналах 50-х годов. Называться будет «Печерские чудотворцы». «Если слово «чудотворцы» (не чудотворцы), — прибавляет писатель, — нехорошо звучит в ухе цензора, то можно поставить «антики».

Как видим, поначалу Лесков говорил об «оригиналах» и «чудотворцах», слово «антики» возникло в последнюю очередь и, может, даже случайно, в связи с тем, что главный герой городской молвы 1850-х гг. носил необычное имя Кесарь — Кесарь Степанович Берлинский, что настраивало игривое воображение Лескова на античный лад. В воспоминаниях он сравнивает этого отставного полковника артиллерии с властителями Рима, величает «печерским Кесарем».



По аналогии и другие герои печерских сказов и мифов стали именоваться у него «антиками». При этом слово «антик» мыслилось в более широком значении нежели «оригинал». Антик как мера совершенства (антиками называли лучшие образцы античной скульптуры) рассматривался не просто как любопытный характер, но и завершённый социальный тип, важная составная часть жизни социума, личность исключительная, приближающаяся к вечным, легендарным образам, созданным народным воображением. Так, в основу печерского мифа о местном всемогущем «Кесаре», с которым считался сам царь Николай Павлович и которого побаивался его наместник Биби-ков, на взгляд писателя, были поло-

жены как рассказы полковника Берлинского о своих подвигах и похождении, так и «домыслы и фантазии простодушных людей, которым хотелось видеть в нем богатыря в их собственном вкусе». Иначе говоря, мы имеем дело с типичным юнговским архетипом, ярким образом героя-спасителя, храброго воителя, рыцаря и защитника простого люда от произвола местного начальства. Жители печерского форштадта свято верили во всемогущество отставного артиллерийского полковника. Он и вправду помогал им: многих укрывал от преследований полиции, хлопотал по их делам в губернском управлении или в канцелярии генерал-губернатора. Таков уж был у него отзывчивый и деятельный характер. Но в то же время он был еще и бахвал в духе Мюнхгаузена и постоянно снабжал торговков и завсегдатаев печерского базара слухами о своих необыкновенных подвигах и приключениях. Он имел огромные возможности воздействовать на умы печерского населения, поскольку служил чем-то вроде управителя в «шияновском доме» — обширной усадьбе, прилегавшей к базарной площади форштадта (ныне Печерская площадь) и занимавшей все пространство между Большой и Малой Шияновскими улицами, а также Шияновским переулком (ныне — ул. Лескова, Немировича-Данченко и Арсенальный переулок). Кроме хором, принадлежавших некогда богатому помещику Николаю Степановичу Шиянову, здесь было выстроено множество больших и малых домов для челяди, родни музыкантов крепостного оркестра, мастеровых, приживальщиц и прочих лиц, без которых не могла обойтись в то время большая барская усадьба. После смерти Шиянова бо-

гатства его быстро растаяли в руках многочисленных наследников, дома стали сдаваться внаем или использоваться в виде дешевых номеров для студентов-медиков, проходивших практику в военном госпитале, малосостоятельных гарнизонных офицеров и мелких чиновников. Здесь же были приюты для «темных людишек», промышлявших на базаре. Часть обитавшей у Берлинского публики вообще избегала встреч с полицией по разным причинам, а в основном — из-за неимения паспортов и видов на жительство. В «шияновском доме» они чувствовали себя вне опасности, так как полиция никогда не делала здесь облав, вполне полагаясь на осмотрительность самого полковника-домоправителя. Дошло до того, что Берлинский приютил у себя раскольников-немоляков, считавшихся страшными крамолами, ибо они отказывались молиться за царя (отсюда и — «немоляки») и позволил им устроить в глубине шияновской усадьбы молельню. Такой рискованный поступок полковника многие объясняли его всемогуществом, утверждая, что генерал-губернатор Бибииков ни в чем не может ему перечить и даже не смеет проезжать мимо его дома.

Однако вопреки слухам о вечном антагонизме Бибиикова и Берлинского они постоянно общались друг с другом. Обитатели «шияновского дома», видя как «печерский Кесарь» обряжается в свой полковничий мундир и направляется во дворец генерал-губернатора на Липках, ликуя провозглашали на рынке, что «кесарь» опять идет распекать «Бибика» за его тиранство, а другие (офицеры и студенты) лишь посмеивались, зная, что тот отправился к сатрапу за очередной

подачкой. За что Бибиков давал Берлинскому деньги, как писал Лесков, «из обширных средств, находившихся в его безотчетном распоряжении», никто толком не знал. Сам писатель прозрачно намекает, что, возможно, он неофициально исполнял какие-то поручения полицейского характера, возможно, присматривался к проходившему через его руки люду и определял, кем должны заинтересоваться стражи порядка, а кого можно не трогать.

В свою очередь автор этих строк находит возможным считать Кесаря Степановича Берлинского таким же наемным мифотворцем, каким был при Бибикове знаменитый В. Аскоченский. В те времена, когда не было ни радио, ни телевидения, а газеты читались лишь в узких кругах интеллигенции и состоятельных людей, устому городскому преданию (всякого рода слухам, сплетням, пересудам) придавалось огромное значение. От этих городских толков зависела репутация того или иного видного лица и даже самого правителя края. Бибиков прилагал немалые усилия, чтобы дирижировать молвой и направлять ее в «нужное русло». Для этого у него были свои платные «дирижеры» — общественные «анекдотчики», болтуны, врали и сплетники. Главный из них — Аскоченский — вращался в высшем обществе и постоянно «вбрасывал» в него порции благоприятных для Бибикова слухов и анекдотов. Имена других «дирижеров» общественного мнения нам неизвестны. Но, очевидно, есть основания полагать, что «промыывание мозгов» публики с печерского базара поручалось именно Кесарю Степановичу.

Тот же Лесков, догадываясь об этом, отмечал, что Бибикову были хо-

рошо известны небылицы, сочиняемые о нем Берлинским. Он почему-то с удовольствием слушал о том, как Берлинский постоянно «распекает» его и лишь потому не пишет царю о безобразиях, творимых киевскими властями, что не хочет понапрасну беспокоить его. Сообщая эти любопытные подробности, Лесков ссылается на свидетельства художника М.М. Сажина, который писал тогда акварели для знаменитого кипсека (альбома) Бибикова с киевскими видами и памятниками старины. Он часто бывал в доме генерал-губернатора и хорошо знал, о чем там говорят: «Сажин сказывал, что Бибиков даже и это (измышления о нем Берлинского. — **А.М.**) знал и очень над этим смеялся, а отношения своего к Берлинскому все-таки нимало не изменял и не отказывался быть ему полезным». Очевидно, «печерский Кесарь» был ему полезнее вдвойне, и «ругательными слухами», используемыми для «выпускания паров» в простонародной среде, дело не ограничивалось. Неизвестно, сколько комплиментарных анекдотов о Бибикове пустил гулять по форштадту этот знаменитый киевский антик...

Среди свидетелей небывалой славы «печерского кесаря» оказался также широко известный в свое время народник-террорист, а потом меньшевик Л.Г. Дейч (1855–1941). Его отец был богатым купцом, бравшим подряды для военного госпиталя. Семья Дейчей занимала обширный барский дом в усадьбе Шиянова, а легендарный Кесарь Степанович Берлинский жил в соседнем флигеле и был желанным гостем в доме подрядчика. Сам автор записок «Почему я стал революционером» (Петербург, 1918) учился тогда во Второй киевской

гимназии и как и все обитатели «шияновского дома» находился под обаянием личности «печерского антика» и его неподражаемых рассказов, в частности его увлекательного романа с дочерью владельца усадьбы. Дейч находил образ Берлинского в повести Лескова вполне правдивым. Он помнил его совершенно таким же, каким он был описан в «Печерских антиках». В этих же записках народника находим и косвенное указание на время смерти печерского антика. Лесков как-то неуверенно пишет, что он умер или в 1864, или в 1865 году, а

Дейч с большей убежденностью упоминает о 1866 году.

Городская среда Киева XIX породила немало прекрасных мифов и сказаний. Сказители и мифотворцы никогда здесь не переводились. Кесарь Степанович Берлинский был, очевидно, самым лучшим и самым блистательным среди них. Жаль только, что его импровизации догадался запечатлеть на бумаге только Н. Лесков. Среди них «Берлинский анекдот о бибииковской теще» — истинный перл в лесковском собрании киевских сказов.

По моему мнению, он был только храбрый и, вероятно, в свое время очень способный артиллерии полковник в отставке. По крайней мере таким я его знал в Орле, через который он «вез к государю» зараз восемь или десять (а может быть, и более) сыновей. Тогда он был во всей красе мужественного воина, с георгиевским крестом, и пораил меня смелостью намерений. Он ехал с тем, чтобы «выставить» где-то всех своих ребят государю и сказать:

— Если хочешь, чтобы из них тебе верные слуги вышли, то бери их и воспитай, а мне их кормить нечем.

Мы все, то есть я и его орловские племянники (сыновья его сестры Юлии Степановны)*, недоуменно спрашивали:

— Неужели вы так и скажете: *ты, государь?*

А он отвечал:

— Разумеется, так и скажу, — и потом прибавил, будто это так даже следует говорить и будто государь Николай Павлович «так любит».

Нас это просто поражало.
(237, 11).

**По версии Н. Лескова, мужем сестры Берлинского был Н.С. Шиянов. Но по версии А. Дейча, сам Берлинский был женат на дочери этого помещика. Разобраться в этой путанице не представляется возможным.*

Если верить сказаниям, то государь Николай Павлович будто очень грустил по разлуке с Берлинским и даже неутешно жалел, что не может оставить его при себе в Петербурге. Но, по рассказам судя, пребывание Берлинского в столице и действительно было совершенно неудобно: этому мешала слишком большая и страстная привязанность, которую питали к печерскому Кесарю «все солдаты».

Они так любили его, что ему нигде будто нельзя было показаться: как солдаты его увидят, сейчас перестают слушать команду и бегут за ним и кричат:

— Пусть нас ведет отец наш полковник Берлинский, — мы с ним и Константинополь возьмем, и самого победоносного Вылезария на царский смотр в цепях приведем.

Доходило это, по рассказам, до таких ужасных беспорядков, что несколько человек за это были даже будто расстреляны как нарушители дисциплины, и тогда Берлинскому самому уже не захотелось в Петербурге оставаться, да и граф Чернышов* прямо будто сказал государю:

— Как вашему величеству угодно, а это невозможно есть: или пусть Берлинский в Петербурге не живет, или надо отсюда все войска вывести.

Государь будто призвал Кесаря Степановича и сказал:

— Так и так, братец, мне с тобою очень жаль расставаться, но ты сам видишь, что в таком случае можно сделать. Я тобою очень дорожу, но без войск столицу тоже оставлять нельзя, а потому тебе здесь жить невозможно. Ступай в Киев и сиди там до военных обстоятельств. В то время я про тебя непременно вспомню и пошлю за тобой.

(237, 14–15).

*А.И. Чернышов (1786–1857) — военный министр в 1827–1852 гг.

Берлинский будто бы ходил /к царю/ во дворец, и результатом этого был тот паяс или «прибывок» к пенсии, которым «печерский кесарь» всех соседей обрадовал и сам очень гордился. Однако и с прибавкою Берлинский часто не мог покрывать многих самых вопиющих нужд своей крайне скромной жизни на Печерске. Но так как все знали, что он «имеет пенсию с прибавком», «кесарь» не только никогда не жаловался на свои недостатки, а напротив, скрывал их с большою трогательностью.

Порою, сказывали, дело доходило до того, что у него не было зимою дров и он буквально стыл в своей холодной квартире, но уверял, что это он «так любит для свежести головы».

Цифры своей пенсии Берлинский как-то ни за что не объявлял, а говорил, что получает «много», но может получать еще больше.

— Стоит мне написать страховое письмо государю, — говорил он, — и государь тотчас же прикажет давать мне, сколько я захочу, но я не прошу более того, что пожаловано, потому что у государя другие серьезные надобности есть.

(237, 13–14).

/«Берлинский анекдот о бибииковской теще»/

Так Берлинский и старился, отменно преданный государю и верный самому себе во всем и особенно в импровизаторстве. А когда он стал очень стар* и во всех отношениях так поотстал от современности, что ему нечего было сочинять о себе, то он перенес задачи своей импровизации на своего племянника (моего школьного товарища) доктора, имя которого было Николай, но так как был он очень знаменит, то этого имени ему было мало, и он назывался «Николавра». Здесь значение усиливалось звуком *лавра*. Николай это было про-

стое имя, как бывает простой монастырь, а *Николавра* — это то же самое, что Лавра среди простых монастырей.

Кесарь Степанович рассказывал удивительные вещи о необычайных медицинских знаниях и талантах этого много учившегося, но замечательно несчастливому врача и человека с отменным добрым и благородным сердцем, но большого неудачника.

Опять и тут я не помню многого и, может быть, самого замечательного, но, однако, могу записать один анекдот, который объясняет, в каком духе и роде были другие, пудренные в обращение для прославления *Николавыры*.

Шел один раз разговор о зубных болях — об их жестокой неутолимости и о неизвестности таких медицинских средств, которые действовали бы в этих болях так же верно, как, например, хинин в лихорадке или касторовое масло в засорениях желудка и кишок.

В обществе было немало молодых в тогдашнее время врачей**, и все согласно утверждали, что таких универсальных средств действительно нет, — что на одного больного действует одно лекарство, на другого — другое, а есть такие несчастные, на которых ничто не действует, «пока само не пройдет» /.../

Кесарь Степанович опротестовал медицинское мнение и сказал будто, что универсальное средство против зубной боли есть и то оно изобретено именно его племянником, доктором *Николаврою*, и одному ему, *Николавре*, только и известно. Но средством это было такое капризное, что несмотря на всю его полезность, оно могло быть употребляемо не всяким и не во всех случаях. Медикамент этот, утолявший будто всякую боль, можно было употреблять только в размере одной капли, которую нужно было очень осторожно капнуть на больной зуб. Если же эта капля хоть крошечку стечет с зуба и коснется щеки или десны, то в то же самое время человек мгновенно умирает. Словом, опасность страшная! И выходило так, что нижние зубы лекарством можно было лечить, потому что на нижние можно осторожно капнуть, но если заболели верхние, на которые капнуть нельзя, то тогда уже это лекарство бесполезно.

Было ужасно слушать, что есть такое спасительное изобретение и оно в значительной доле случаев должно оставаться непреложным.

Но Кесарь Степанович, владея острым умом и решительностью, нашел, однако, средство, как преодолеть это заблуждение, и усвоил для медицинской науки «переворотный способ», которым до тех пор зубоврачебная практика не пользовалась.

Этот эпизод был известен между нами под названием «Берлинского анекдота о бибииковской теще».

Жила-была будто «бибииковская теща»***, дама «полнощия и преогромная», и приехала она будто на лето к себе в деревню, где-то неподалеку от Киева. В Киев ей Бибииков въезжать не позволял «по своему характеру», потому что он «на счет женского сословия заблуждался**** и с тещею не хотел об этом разговаривать, чтобы она его не стала стыдить летами, чином и убожеством» (так как у него одна рука была отнята).

Несчастливая «полная дама» так и жила будто в деревне, и пошла будто она один раз с внучатами в лес гулять, и нашла на кусте орешника орех-двойчатку, и обрадовалась, что счастье удвоится, и захотела раскусить. Внучки говорят ей:

— Не кусай, бабушка, двойчатку — у тебя зубки старые.

А бибииковская теща отвечает:

— Нет, раскучу — мне счастье удвоится.

Орехи она разгрызала, но только после этого у нее сейчас же зубы заняли и до того ее доняли, что она стала кричать: «Лучше убейте меня, потому что это все удваивается и стало совсем невозможно вытерпеть». А у нее был управитель лукавый, и он ей говорит:

— Чем если убивать — за что отвечать придется, то лучше дозвольте я вам из Киева всемогущего лекаря привезу: он из известной шыяновской родни — и всякую зубную боль в одну минуту снять может.

Бибиговская теща про Шыяновых много хорошего слыхала и отвечает:

— Привези, но только как можно скорей.

Управитель, чтобы не произошло никакой медленности, сейчас же собрался и даже не евши уехал.

Вечером он из имения выехал, а рано на заре стал уже в Киеве на дымящихся и вспененных конях посреди печерского базара, а дальше тут уже не знал, куда ехать, по Большой или по Малой Шыяновской, и закричал во все горло:

— Где тут всепомагающий лекарь Николавра, который от всякой зубной боли вылечивает?

(По причине большой известности этого доктора, фамилия его никогда не прозвучала, а довольно было одного его имени «Николавра», которое было так же славно, как, например, имя Абеяра.)

Чумаки, которые стали тут с вечера и спали на своих возах с пшеном и салом и сухую таранью, сейчас от этого крика проснулись и показали управителю:

— Годі тобі кричати, — говорят, — вот туточка сей лікар живе, тільки що він тепер, як і усе христіанство, спочиває.

Управитель побежал по указанию и заколотил о закрытые ставни.

Оттуда ему кричат:

— Кто се такой, і чого вам треба?

А он отвечает:

— Отчиняйте скорей, бо я всі окна поб'ю, — мне надо всепомагающего лекаря Николавра, который всякую боль излечивает. Здесь он или нет, а то я должен дальше скакать его разыскивать.

Управителю говорят:

— Никуда вам скакать дальше не треба, потому что всепомагающий доктор Николавра здесь живет, но он теперь, як і усе христіанство, спить. А ви майте собі трохи совісті, а если в Господа Бога веруете, то не колотайте так крепко, бо наш дім старенький, еще не за сих времен, і шибки із окон повискакують, а тут близько ніякого стекольщика нет, а теперь зима люта, і з малими дітьми замерзнути можна.

Рассказывалось именно так, что при этом разговоре было упоминаемо про «зиму» и про «холод», и читатель не должен смущаться, что дело происходило во время летнего наезда бибиговской тещи в свое имение. Вскоре мы опять увидим вместо скупной и лютой зимы веселое знойное лето.

Управитель бибиговской тещи был человек горделивый, потому что по необразованности своей считал, как и многие другие, что государь Бибикову Киев все равно как в подарок подарил и что потому все, что тут живет, ему будто принадлежит вроде крепостных и должны все делать *****.

— Велика важность, — говорит, — ваши окна! Я от бибиковской тещи приехал за лекарем и подавай мне лекаря.

Ему отворили двери и повели к самому Николавре.

Тот — лихой молодчина был и хотя такой ученый, что страшно все понимал, но церемониться ни с кем не любил.

Как ему сказали, что от бибиковской тещи управитель приехал, он говорит:

— Приведите его ко мне в спальню. Если он во мне надобность имеет, то может меня и без панталон во всяком виде рассматривать.

Управитель пришел и рассказывает, а лекарь Николавра на него и внимания не обращает: лежит под одеялом, да коленки себе чешет. А когда тот кончил, лекарь только спросил:

— А в каком строю у нее зуб болит, в верхнем или в нижнем?

Управитель отвечает:

— Я ей в зубы не глядел, а полагаю, что, должно быть, болит в строю *верхнем*, потому что у нее опухоль под самым глазом.

Тогда Николавра завернулся к стене и говорит:

— Прощай и ступай вон.

— Что это значит?

— То значит, что если боль в верхнем строю, то мне там делать нечего: я верхних зубов лечить не могу.

Управитель говорит:

— Да вам-то не все равно лечить, что верхний, что нижний? Все равно, — говорит, — кость окостенела, что тот, что этот, одно в них естество, одно повреждение и одно лекарство.

Но лекарь на него посмотрел и говорить не стал.

Тот спрашивает:

— Что же, отвечайте что-нибудь.

Тогда лекарь дал ему такой ответ:

— Я, — говорит, — могу разговаривать с равным себе по науке, а это не твое дело ума, чтобы я с тобою стал разговаривать. Ты управитель, и довольно с тебя — именем и управляй, а не в свое дело не суйся. Людей лечить — это не то что навоз запахивать. Медицине учатся. А тебе сказано, что я в нижнем строю все могу вылечить а до верха моим спасительным лекарством дотронуться нельзя.

— Но через что же такое? — вопит управитель.

— А через то, что она в ту же минуту очокурится, и мне за нее отвечать придется, а я моей репутацией дорожу, потому что я очень много учился.

Управитель как услышал, что она может «очокуриться», еще больше стал просить лекаря, чтоб непременно ехал, а тот рассердился, вскочил, вытолкал его в шею и опять лег ночь досыпать.

Тут в дело вступил находчивый Кесарь Степанович.

Увидел он, что племянник, хотя, по его словам, и умец, и в своем медицинском деле очень сведущ, а недостает ему еще настоящей тактики и практики, и молодой его рассудок еще не очень находчив, как себе большую славу сделать.

Кесарь Степанович, прослушав весь их разговор из своей комнаты, сейчас встал с постели, надел туфли и тулупчик и с трубкой вышел в залу, по которой проходил изгнанный лекарем управитель. Увидел он его и остановил, говорит:

— Остановись, прохожий, никуда не гожий, и объясни мне своей рожей, не выхаживши из прихожей: на чем ты сюда приехал, и есть ли там третье сиденье, чтобы еще одного человека посадить?

Управляющий очень рад, что с ним такой известный человек заговорил, и отвечает, что у него есть четвероместная коляска, и он может не одного, а даже двух людей поместить.

Кесарь Степанович дал ему щелчка в лоб и говорит:

— Ты спасен, и твое дело сделано: я сейчас к племяннику взойду и совет ему дам. Николавра меня послушается, и мы переговорим и, может быть, все вместе поедем. Я ему один способ покажу, как можно верхние зубы в нижний ряд ставить, и тогда на них черт знает чем можно накапать.

— А ты, — прибавляет, — только скажи мне: очень ли она мучится?

Управитель отвечает:

— Уж совсем замучилась и на весь дом визжит.

— То-то, — говорит Кесарь Степанович, — мне это знать надо, потому что моим способом с ней круто придется обращаться — по-военному.

Управитель отвечает:

— Она военных даже очень уважает и на все согласится, потому что у нее очень болит.

— Хорошо, — сказал Кесарь Степанович и пошел к племяннику. Там у них вышел спор, но Кесарь Степанович все кричал: «Не твое дело, за всю опасность я отвечаю», и переспорил.

— Ты, — говорит, — бери только спасительное лекарство и употребляй его по своей науке, как следует, а остальное, чтобы верхние зубы снизу стали, — это мое дело.

Лекарь говорит:

— Вы забываете, какого она звания, — она обидится.

А Кесарь Степанович отвечает:

— Ты молод, а я знаю, как с дамами по-военному обращаться. Верь мне, мы ей на верхний зуб капнем, и она нам еще книксен присядет. Едем скорее — она мучится.

Лекарь было стал еще представлять, что капнуть на верхний зуб нельзя, а она может после Бибикову жаловаться, но тут Кесарь Степанович его даже постыдил.

— Ты ведь, — говорит, — кажется, не простой доктор, а учил две науки по физике, и понять не можешь, что тут надо только *схватить момент*, и тогда все можно. Не беспокойся. Это не твое дело: ты до нее не будешь притрагиваться, а мне Бибиков ничего сделать не смеет. Ты, кажется, мне можешь верить.

Племянник поверил дяде и говорит:

— В самом деле, при вас я не боюсь, а между прочим мне это вперед для таковых же случаев может пригодиться.

Одеся, положил пузырек со своим лекарством в жилетный карман, и без дальнейших рассуждений все они втроем покатили на верхний зуб капать.

Управитель все ехал и думал: непременно она у них очокурится!

Скакали путники без отдыха целый день, и зато вечером, в самое то время, когда стадо гонят, приехали на господский двор, а зубы если когда разболются, то к вечеру еще хуже болят.

Бибиковская теща ходит по комнатам, и сама преогромная, а плачет как маленькая.
— Мне очень стыдно, — говорит, — но не могу удержаться, потому что очень через силу болит.

Кесарь Степанович сейчас же с ней заговорил по-военному, но ласково.

— Это, говорит, — даже к лучшему, что вам так больно болит, потому что вы должны скорее на все решиться.

А она отвечает:

— Ах, боже мой, я уже и решила. Что вы хотите, то и делайте, только бы мне выздороветь и в Париж для развлечения ехать.

— В таком разе, — говорит Берлинский, — мы должны кое-что сделать... По-французски это называется «повертон». После через пять минут можете в Париж ехать.

Она удивилась и вскричала:

— Неужели через пять минут?

Берлинский говорит:

— Что мною сказано, то верно.

— В таком разе, хоть не знаю, что такое «повертон», но я на все согласна.

— Хорошо, — говорит Берлинский, — велите же мне поскорее подать два чистые носовые платка и хорошую крепкую пробку из сотерной бутылки*****.

Та приказала.

— И еще, — говорит Кесарь Степанович, — одно условие: прикажите сейчас, чтобы все, кто тут есть, ваши родные и слуги ваши ни во что не смели вступаться, пока мы дело не кончим.

— Все, — говорит, — приказываю: мне лучше умереть, чем так мучиться.

Словом, больная безусловно предалась в их энергические руки, а тем временем Кесарю и Николаю подали потребованные платки и пробку из сотерной бутылки.

Кесарь Степанович пробку осмотрел, погнул, подавил и сказал: «Пробка хороша, а платки надо переменить: батистовые, — говорит, — не годятся, а надо самые плотные полотняные».

Ему такие и подали. Он сложил их оба с угла на угол, как складывают, чтобы зубы подвязать, и положил на столик, а бибиковской теще говорит:

— Ну-те-ка, чтобы схватить первый момент.

Она спрашивает:

— Для чего это нужно?

А Берлинский ей отвечает:

— Для того, чтобы схватить первый момент.

А сам ей в эту самую секунду сотерную пробку в рот и вставил. Так ловко вставил ей между зубами, что бибиковской теще ни кричать и ни одного слова выговорить нельзя при такой распорке.

Удивилась она и испугалась, и глазами хлопает, а чем больше старается что-то спросить, тем только крепче зубами пробку напирает. А Кесарь Степанович в это острое мгновение улыбнулся и говорит ей: «Вот только всего и нужно», — а сам ей одним платком руки назади связал, а другим внизу платье вокруг ног обвязал, как делают простонародные девушки, когда садятся на качели качаться. А потом крикнул племяннику:

— Теперь лови второй момент.

И сейчас же ловко, по-военному, перевернул даму вниз головою и поставил ее в

угол на подушку теменем. От этого находчивого оборота, разумеется, вышло так, что у нее верхние зубы стали нижними, а нижние — верхними. Неприятно, конечно было, но недолго — всего на одну секунду, — потому что лекарь, как человек одной породы с дядею — такой же, как дядя, ловкий и понытливый, сейчас же «схватил момент» — капнул каплю даме на верхний зуб и сейчас же опять перевернул ее, и она стала на ногах такая здоровая, что сотернула пробку перекусила и говорит:

— Ах, мерси! — мне все прошло; теперь блаженство! Чем я могу вас отблагодарить?

Кесарь Степанович отвечает:

— Я не врач, а военный, а военные во всех несчастиях дамам так помогают, а денег не берут.

Бибиковская теща расспросила о Кесаре Степановиче: кто он такой и на каком положении у государя, и когда узнала, что он отставной, но при военных делах будет опять призван, подарила ему необыкновенного коня. Конь был что-то вроде Самсона: необычайная сила и удаля закладывались у него в необычайных волосах. И для того он был с удивительным хвостом. Такой был огромный хвост, что если конь скакал, то он сзади расстилался как облако, а если шагом пойдет, то концы его на двух маленьких колесцах укладывали и они ехали за конем, как шлейф за дамой.

Только удивительного коня этого нельзя было ввести в Киев, а надо было его где-то скрывать, потому что он был самый лучший во всем Орловском заводе и Бибикову хотелось его иметь, но благодарная теща сказала: «На что он ему? Какой он воин!» — и подарила коня Берлинскому с одним честным словом, чтобы его в «бибиковское царство» не вводить, а содержать «на чужой стороне». Кесарь Степанович ногою шаркнул, «в ручку поцеловал» и коня принял, и честное слово свое сдержал.

Об этом коне в свое время было много протокавано на печерском базаре. События глазами никто это прекрасное животное никогда не видал, но все знали, что он вороной без отметин, а ноздри огненные, и может скакать через самые широкие реки.

Теперь, когда рассказываешь это, так все кажется таким вздором, как сказка, которой ни минуты верить нельзя, а тогда как-то одни смеялись, другие верили и все было складно.

Печерские перекутки готовы были клясться, что этот конь жил в таинственной глубокой пещере в Броварском бору, который был до того густ, что в нем еще водились дикие кабаны.***** А стерег коня старый москаль, «хромой на одно око». В этом не было ни малейшего сомнения, потому что москаль приходил иногда на базар и продавал в горшке табак «прочухрай», от которого как понохаешь, так и зачихаешь. Ввести же коня в Киев нельзя было «по причине Бирика»*****.

Исцеление тещи имело, однако, и свои невыгодные последствия, если не для Кесаря Степановича, то для всепомогающего врача, и виною тому была малообразованность публики. Когда дамы узнали об этом исцелении способом «повертона», так начали притворяться, что у них верхний зуб болит, и стали осаждать докторов, чтобы и над ними был сделан «повертон». Они готовы были злоупотреблять этим до чрезвычайности. Николавра им внушал, что это дело серьезное и научное, а не шутка, но они все не отставали от него с просьбами «перевернуть их и вылечить». Происходило это более оттого, что Николавра дам очень смешил и они

в него влюблялись в то время без памяти. А он, будучи очень честен, не хотел расстраивать семейную жизнь во всем городе и предпочел совсем оставить Киев и медицинскую практику.

Так он и сделал.

(237, 18–28).

* Действие происходит в начале 1850-х годов.

** В знаменитом «доме Шиянова», вернее — в многочисленных флигелях и мезонинах этой усадьбы, постоянно селились выпускники медицинского факультета Киевского университета. Их привлекала сюда близость к военному госпиталю, в клиниках которого они проходили преддипломную практику. Этим-то «молодым в тогашнее время врачей» и имеет в виду Лесков.

*** Лицо измыленное. В мемуарах «бибиковская теща» не упоминается.

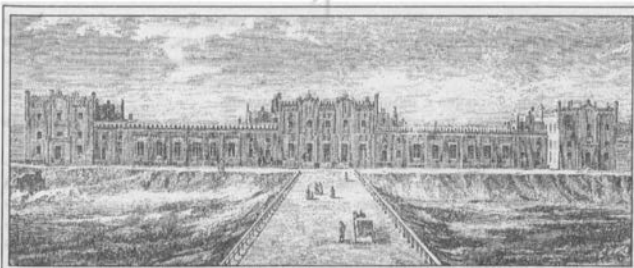
**** Бибиков славился своими «романами», часто скандальными. Он позволял себе появляться на пикниках знакомых и назойливо крутиться вокруг молоденьких барышень, вызывая иронические улыбки всей компании.

***** Как и иные киевские генерал-губернаторы, Бибиков был наместником царя в Центральной Украине и обладал фактически неограниченными полномочиями, в том числе и правом принимать ответственные государственные решения, когда этого требовали обстоятельства, немедленно, не ожидая указаний из Петербурга. После появления электрического телеграфа, телефона и устройства железных дорог, облегчавших связь центральной власти с местными исполнительными органами, начались разговоры об упразднении генерал-губернаторства в Киеве, но сделано это было лишь в сентябре 1914 г.

***** Соте́рн — шипучее вино, удерживаемое в бутылке крепкой пробкой.

***** Броварской лес был частично вырублен для нужд железной дороги во время ее строительства в конце 1860-х годов, частично расхищен чиновниками и подрядчиками и выжжен, чтобы замести следы воровской порубки.

***** Левый берег Днестра входил тогда в состав Черниговской губернии, неподвластной киевским генерал-губернаторам.



Долина реки Лыбедь и дамба перед железнодорожным вокзалом. Рис. А. Нисченкова. 1870 г.

А.А. БОБРИНСКИЙ

Алексей Алексеевич Бобринский (1800—1868) родился в Петербурге в семье гр. Алексея Григорьевича Бобринского, внебрачного сына императрицы Екатерины II и ее фаворита графа Григория Орлова. Служил в лейб-гвардии. Был женат на фрейлине императрицы Марии Федоровны графине Софье Александровне Самойловой. В 1828 г. вышел в отставку и занялся хозяйством. Построил в своем тульском имении образцовый сахарный завод. В 1832 г. поступил на службу в министерство финансов, где занимался вопросами субсидирования промышленного производства. В 1835—1837 гг. принимал участие в создании первой в России железной дороги, соединявшей Петербург с Царским Селом и Павловском. Унаследовав в 1838 г. че-

рез жену в Черкасском уезде Киевской губернии местечко Смелу, граф построил в своих новых украинских владениях шесть сахарных заводов, один перерабатывающий рафинадный и завод для производства оборудования для сахароварения. Предприятия гр. Бобринского работали отлично. На них обучались лучшие кадры специалистов для украинской свеклосахарной промышленности. В 1856 г. Бобринский навсегда оставляет Петербург и поселяется вместе с женой в Смеле. Член многих промышленных, научных, культурных и учебно-просветительных обществ. За выдающиеся заслуги на промышленном поприще в 1872 г. был открыт памятник Бобринскому в Киеве на Бибикивском бульваре (теперь на его месте — памятник Щорсу).

/Необычайная твердость воли/

Говоря о твердой воле его /графа Алексея Алексеевича Бобринского. — А.М./, не могу умолчать, что один раз супруга его, графиня Софья Александровна, говоря со своими сыновьями по-английски, сказала ему:

— Вот, граф, я говорю с ними, а ты не понимаешь.

Граф на это ответил, что через шесть месяцев он будет все понимать и говорить по-английски, что и исполнил.

Графиня очень любила цветы, и граф, хотя и почитал уход за цветами потерянным временем, но желая сделать приятное графине, принялся в свободное от дел время в виде отдыха за цветоводство и, как обыкновенно, со всею ревностью. Выстроил огромную, в три этажа, оранжерею и нанял отличного садовника, чего, кажется, для другого было бы достаточно, но граф пожелал вникнуть в самое содержание, рост и цветение растений.

После усиленных занятий он успел подвести содержание и цветение растений в

особую графическую систему и, вникая в самую растительность, определил время пересадки растений. Написанные им по сим предметам две небольшие брошюры на немецком языке (о цветении растений и приросте корней кустарников) были напечатаны в Берлине. Садовник короля прусского, бывши в Петербурге, не мог надивиться тому превосходному состоянию и необыкновенному цветению растений по методе графа в его оранжерее.

Чего не сделает твердая воля просвещенного человека!

(458, 19—20).

/Граф з ланцюгами/

1872 р. /на бульварі/ було поставлено пам'ятник графові Олексію Бобринському, як-не-як, а онукові Катерини II і Григорія Орлова. Вважалося, що цей власник цілого удільного князівства на Смілянщині, багатий-цукроварник, був дуже корисним для Південно-Західного краю і заслугоує пам'ятника.

І в першу ж ніч після відкриття цього дуже нецікавого пам'ятника з постаттю лисого графа з його п'єдесталу було вкрадено і так потім не розшукувано бронзові барельєфи.

Кияни жартували, ніби стовпці навколо пам'ятника скріплено ланцюгами для того, щоб не вкрадено було часом і самого графа.

(222, 139).



*Пам'ятник графу А.А. Бобринському,
открытый в Киеве 6 февраля 1872 г.*

ИЗ ХРОНИКИ ГОРОДСКОГО ЧУДАЧЕСТВА

/Лошадиный учитель/

В Киеве есть одно учебное заведение, прекрасно обставленное и дающее прекрасные воспитательные результаты.

Содержатель его некто г. Крутиков. Он уже 18 лет состоит директором киевского «Пансиона для благородных лошадей».

Лошадиный педагог, по словам местной газеты, посвятил все свое время и все свои силы на обучение и изучение лошадей. Он убежден, что лошадь — весьма умное животное, что нужно только дать ей самой понять, что именно от нее требуется, и она будет все исполнять, не пуждаясь в поощрении кнутом. По его словесной команде лошади проделывали всю ту высшую лошадиную школу, которую мы видим в цирках, но без помощи хлыста. У него есть даже лошадь-математик, проделывающая с цифрами до десяти четыре арифметических действия. Всего в школе Крутикова 36 лошадей; бывает больше и меньше. За границей, в круту специалистов, киевская школа давно пользуется известностью; ее воспитанники ангажируются в цирки Берлина, Парижа, Вены и т. п.

Почтенный киевский педагог принимает в свой пансион для дрессировки и умственного развития и двуногих жеребцов, обменявших латинскую грамматику на велосипедное искусство. Он очень успешно заставляет их, бегая на корде, заучивать спряжения и твердить хронологию.

(7, 7).

/Жил в Киеве/ владелец цирка Крутиков, дрессировщик лошадей, друг и приятель Куприна еще в те времена, когда у Крутикова не было цирка, а только конюшни на Большой Васильковской ул. и при ней манеж, где он дрессировал лошадей, отданных ему на выучку. Тут же, при конюшне, была квартира Крутикова, и в нее иногда забредали лошади, ходили по комнатам, обнохивали вещи на письменном столе, а одна из них, увидев лист белой бумаги, пробовала — не сахар ли это? Другая, выставив голову из окна на улицу, с любопытством следила за уличным движением.

(174, 152).

/Пьяный обокрал полицейский участок/

В ночь с 1 на 2 декабря /1881 г./ на Крещатике задержан молодой человек, оказавшийся впоследствии действительным студентом Киевской духовной академии П., с пашкой и четырьмя полицейскими книгами. По справке оказалось, что пашка, равно и книги, похищены из Лыбедского участка, куда П. явился ночью для принесения какой-то жалобы. Будучи в пьяном виде и воспользовавшись отсутствием какой-либо стражи и выходом из ком-

наты дежурного надзирателя А., он похитил означенные вещи. Происшествие это вызвало со стороны исполняющего должность полицмейстера приказ по полиции с напоминанием чинам её о необходимости более серьезного отношения к своим обязанностям.

(152).

Мания к воровству

«Киевский листок объявлений» передает следующий курьезный рассказ, за достоверность которого мы уж ни в коем случае не берем на себя ответственности, вполне оставляя её на совести «Листка».

Два месяца тому назад в камеру мирового судьи был представлен молодой человек лет 20-ти по обвинению в краже у купца Н. на Подоле одной пары резиновых калош. Не представив фактов к своему оправданию, он был приговорен мировым судьёю к четырехнедельному заключению. После выхода из тюрьмы на другой день в вокзале железной дороги он вытащил из кармана у одного купца серебряные часы. Пойманный за руку на месте преступления владельцем часов, он был отпущен им из-за сострадания, которое внушала наружность вора. Он был бледен и исхудалый. Болезненное состояние его говорило о последнем градусе чахотки.

Оправдавшись от преследований купца, молодой человек отправился в город. По дороге он зашел к портному под предлогом починки платья и украл сюртук. Пойманный на дороге с наличным мастеровыми портного, он упал в обморок. Сострадательный портной послал за находившимся ширюльником, чтобы привести в чувство похитителя, а после, отобрав украденный сюртук, дал ему еще из сострадания несколько денег. В тот же самый вечер он опять попался на воровстве пальто в передней одного дома и был представлен мировому судье.

Судья отказался судить вора из жалости к его болезненному виду и отправил его в больницу. По дороге он выпросил у сопровождавшего его полицейского позволения зайти в харчевню выпить чаю и там украл три салфетки. В больнице ночью сполз с койки и украл больничную ложку, которой подавали лекарство больному. Через два дня он умер.

(257).

Нарушение порядка в театре

16 декабря /1887 г./ полицейский привлечен за нарушение порядка в театре местный театрал г. Липко-Парафиевский, позволивший себе в порыве восторга во время представления оперы «Русалка» в городском театре неистово стучать палкой о пол. Несмотря на замечания помощника полицмейстера по поводу неуместности такой формы выражения восторга и на его предложение прекратить шум, г. Липко-Парафиевский ответил: «А я все-таки буду стучать», — продолжая дальше оригинальные эксперименты с палкой.

(276).

/Сумасшедший театрал/

В 1883 году за кулисами городского театра стал часто появляться старичок, по своей внешности сильно напоминавший узника

из «Птичек певчих», «12 лет не обнимавшего женщин». Кто знаком с бытом закулисного мира в те времена, поймет, какая притягательная сила была в богатом старике: за ним ухаживали не только хористки, но и примдонны. Звали его Липко-Парафиевский*. Когда антрепренер заметил, что «театрал» бросает деньги зря, он счел нужным также прибегнуть к его карману. Обирав Липко-Парафиевского, театральные дамы с ним однако не церемонились: постоянно над ним потешались, каждая отдельно уверяла его в уважении и любви, старик таял, а вместе с тем таял и его карман.

Некоторые выходы Липко-Парафиевского заставляли, однако, думать, что у него «не все дома». И действительно, в один, как говорится, прекрасный день вышла его брошюра, произведшая сенсацию. В брошюре этой автор доказывал, что люди одеваться не должны, что они обязаны ходить нагишом, как прародители наши, что всякое одевание уродует человека, причем в подтверждение своего взгляда Липко-Парафиевский ссылался на зверей и животных; надо быть таким, каким создала природа. Что одеваться не следует, автор доказал на себе: когда на другой день после выхода брошюры к Липко-Парафиевскому явились по обыкновению к завтраку его знакомые, между которыми были и театральные дамы, он принял их... совершенно голый. Дамы убежали, а мужчины, убедившись, что имеют дело с больным человеком, послали за врачами, которые и признали его слабоумным. Над несчастным стариком назначена была опека, но, увы, поздно. Из его довольно значительного состояния остались крохи, которых еле хватало на его содержание. Липко-Парафиевский вскоре после этого умер.

(467, 198–199).

** Липко-Парафиевский был не только «богатым стариком», но и театральным критиком и обозревателем, чем и объясняется повышенное внимание к его персоне за кулисами.*

Око за око

21

октября /1883 г./ у мирового судьи 10 участка рассматривалось дело по обвинению поваром «Северной» гостиницы лакея той же гостиницы в оскорблении действием. На суде выяснилось следующее: одному из посетителей гостиницы Дьякова была подана не совсем свежая рыба. Посетитель обиделся и заявил жалобу г. Дьякову, который, находя заявление основательным, дал лакею пощечину. Лакей, не признавая себя виновным, отправился на кухню и со своей стороны дал пощечину повару как главному виновнику, причем ударил его еще и калалкой. Повар подал жалобу, которая и рассматривалась 2 октября.

На вопрос судьи о виновности лакей ответил:

— Да, я дал ему пощечину, но не от себя, а от хозяина. Не моя вина, когда купанье плохое, а повара. За что же меня хозяин ударил, когда надо было бить повара? Я и передал пощечину по назначению.

Повар: Пусть так, г. судья. Моя вина. Хозяин дал ему пощечину — отдай ее мне, а за что же он меня еще ударил калалкой, ведь хозяин его калалкой не бил?!

Судья: Примиритесь, господа!

Повар: Я согласен. Он меня безвинно ударил калалкой, позвольте — я ему назад отдам и квит (замахивается калалкой).

Судья: (останавливает) Позвольте, здесь драться нельзя.

Повар: Как уютно-с. А иначе я мириться не могу.

Так как примирения сторон не последовало, то судья приговорил лакея за оскорбление действием к аресту на 5 дней. На приговор этот лакей заявил неудовольствие, повторив:

— Я не за себя, а за хозяина бил.

(293).

Любовь и адвокат

Вчера в окружном суде с участием присяжных заседателей слушалось дело о частном поверенном киевского съезда мировых судей Николае Хлопидкум, обвиняемом в подлоге. Подсудимый чистосердечно каялся перед судом и плакал. Вина его заключалась в следующем. Будучи женатым человеком и имея детей, Хлопидский влюбился в молодую вдову, жену подпоручика, Теофила Стефанович, которая содержала в Киеве сперва молочную, а потом пивную лавочку. Так как г-жа Стефанович подозревала, что он женат и, вследствие того принимала его не особенно благосклонно, то Хлопидский, чтобы уверить её в противном, решился составить подложные документы. Он сфабриковал себе формулярный список, в котором было показано, что он холост, имеет 600 десятин земли, служит секретарем всех российских гимназий, получает 1600 руб. жалованья и имеет от роду 28 лет (вместо 32). Когда этот документ был предъявлен г-же Стефанович, то она сняла с него копию, заверила у нотариуса, а затем уже стала вполне благосклонною к Хлопидкуму. Прошло довольно много времени. У Хлопидского явились к предмету его страсти конкуренты, и дело выпало наружу. На суде Хлопидский оправдывался тем, что он не воспользовался подложными документами, и со слезами умолял простить ему его вину. Присяжные вынесли Хлопидкуму оправдательный вердикт.

(248).

/Бог — первооткрыватель телеграфа/

В числе моих спутников /по дороге из Киева в Житомир/. — А.М./ был раввин и недавно окончивший курс раввинского училища. Узнавши во мне студента, старик-раввин начал предлагать мне разные вопросы талмудического характера. Чего мы не подвергли ученому исследованию, разумеется, по Библии и Талмуду, и все раввин сводил к тому, что на эти вопросы и на все, какие только когда были и будут предложены, находится решение в Библии и Талмуде, но грешный человек никогда ничего надлежащим образом не поймет из этих книг. После этого старик долго что-то думал, кивая головою и наконец, как бы очнувшись, спросил, указывая на телеграфные столбы и проволоки:

— Что это за столбы?

— Телеграф, — говорю я.

— Знаю, что это телеграф, а скажите мне, когда его начали употреблять?

— Очень недавно; тогда-то и тогда-то, — ответил я.

— А, видите, как недавно, — сказал старик, — а между тем талмудист Раввин Эйзехик, живший еще за 550 лет до нашего времени, так говорил: «Бог открыл мне, что если сто тысяч пудов стали посредством огня очищать да очищать, так что останется только один gut очищенный фунт, и что если потом из других ста

тысяч пудов стали таким образом *güt* очистить один фунт, то можно произвести следующее чудо: эти два *güt* очищенные фунта можно разъединить на пространстве сто тысяч миль и, соединивши их какою-нибудь проволокою, можно во мгновение ока передавать свои мысли на пространстве этих ста тысяч миль.

— Да, — сказал я, — теперь верю, что ваш Талмуд мы, грешные люди, не можем понимать.

(179).

/Киевский Остап Бендер/

Наш Киев в изобретении всевозможного рода реклам не хочет отставать от прославившейся давным-давно в этом отношении Америки. Но особенно выдающимся изобретателем по части пикантных реклам у нас в последнее время является г-н Саламонский, управляющий садом Шато-де-Флер. Неумоимо бомбардируя бумажные крепости* со дня открытия сада** и одерживая над ними «блестящие» победы, г-н Саламонский придумал наконец живую рекламу.

Не довольствуясь афишами, расклеиваемыми на столбах, стенах и т.п., вчера г-н Саламонский выслал на Крецатику какого-то субъекта с громадной вывеской на голове, извещающей о том, что «Сегодня бенефис Саламонского».

Субъект этот тихим шагом двигался по улице, невольно останавливая на себе взоры проходящих и вызывая на их лицах улыбки.

(160).

*Газеты.

**Имеется в виду начало сезона гуляний в городском общественном саду 5 мая.

Побег Саламонского. В последние дни в городе циркулировали упорные слухи о том, что управляющий садом Шато-де-Флер, «американский гражданин» Вольдемар Саламонский, как известно, приговоренный к трехмесячному аресту за оскорбление помещика Лоссиевского, бежал из Киева за границу с целью уклонения от предстоящего наказания*. Третьего дня слухи эти подтвердились — в понедельник одним из киевских приятелей Саламонского получена из Берлина следующая телеграмма: «Прощай, Россия! Я в Берлине. Саламонский». Саламонский бежал из Киева в субботу на прошлой неделе, а за несколько дней до этого выслал семью за границу. Интересно, что Саламонский пробрался за границу без паспорта, так как паспорт его находится у судебного следователя. Говорят, что это уже не первый случай побега Саламонского. Лица, близко знакомые с его биографией, рассказывают, что несколько лет тому назад он точно так же бежал из Америки в Россию. Там он будто бы застраховал свою жизнь в большую сумму, затем убежал в Россию, а жена его представила свидетельство о его смерти и получила страховую премию. Говорят даже, что фамилия бывшего управляющего садом Шато-де-Флер совсем не Саламонский**, а как-то иначе, и что фамилию эту он произвел от имени «Соломон», которое носил, когда служил в каком-то цирке клоуном. По происхождению Саламонский русский еврей; его мать, как говорят, и теперь живет в Житомире. То обстоятельство, что Саламонскому пришлось эмигрировать из России в Америку, пе-

ременить там свою фамилию и приобрести звание американского гражданина, также кажется очень подозрительным. Вообще биография этого авантюриста представляется очень интересной, но, к сожалению, восстановить ее во всех подробностях трудно.

(312).

**Из-за драки между посетителем и официантом, в которой антрепренер Саламонский стал на сторону своего подчиненного, он вынужден был бежать в Америку. Через некоторое время Саламонский вернулся в Россию, обосновался в Москве, где построил здание московского городского цирка.*

***В самой газете «Киевлянин» он называется то Саламонским, то Соломонским, то Саламонским.*

Стяжавший печальную известность бывший управляющий садом Шато-де-Флер бердичевский еврей Саламонский в настоящее время находится в Нью-Йорке и оттуда пишет письма своим киевским друзьям, в которых изображает американскую жизнь в самых радужных красках. К некоторым из писем Саламонский приложил свои фотографические портреты, на которых изображен в каком-то фантастическом костюме, называемом им «национальным американским». Саламонский пишет о своем намерении брать штурмом Карс и Плевну* на предстоящей всемирной выставке в Чикаго и о своих приготовлениях к этому мероприятию, по его уверению, уже начавшемуся.

(164).

**«Брать штурмом Карс и Плевну»... — Очевидно, речь идет о «штурме» (каких-то протестах, акциях) «империи», но в данном случае не турецкой, а российской, от чего, впрочем, Саламонский, очевидно, отказался, рассчитывая вернуться в Россию.*

/Киев — резиденция вольного казака Ашинова/

В 1887 г. заговорили в Киеве о вольном казаке Ашинове, атамане казацкой волиницы /в Африке/, который побывал в Абиссинии, основал на берегах Красного моря станицу «Москва», где им оставлено несколько сот казаков, и что едет он в Киев с двумя абиссинскими детьми (мальчиком и девочкой), которых везет в Россию для воспитания.* О казаке Ашинове и основанной им станице писалось в то время немало во всех газетах, и потому нет ничего удивительного, что и киевляне поверили в похождения Ашинова и крайне заинтересовались его личностью.

Приезд Ашинова совпал с празднованием шестидесятилетнего юбилея митрополита Платона**, и здесь-то впервые увидели киевляне вольного казака /.../ На юбилее Ашинов произнес приветствие от имени донских казаков в Турцию, держал себя очень свободно и много рассказывал об Абиссинии и основанной им станице.

Наружность Ашинова была крайне непривлекательная: рыбебородый, лицо в веснушках, костюм какой-то неопределенный, увешанный разными бляхами и брелоками, а в общем внешность была такова, что при мысли о возможности встречи с ней на большой дороге так и следовала картина разбойного нападения с целью грабежа.

Еще одна особенность: когда Ашинов рассказывал о своих победах и похождениях, он прямо в глаза не смотрел /.../ С ним вместе была какая-то смуглая де-

вида, которую он на акте в духовной академии*** представлял митрополиту Платону, обер-прокурору св. синода Победоносцеву, В.К. Саблеру**** и др. как племяннику абиссинского негуса по имени Оганесс. Это видел бывший в числе депутатов от Одесского славянского общества А.А. Кривцов и сильно возмущался, причем сообщил мне, что смутлянка вовсе не племянница негуса, а девица Аришка, находившаяся в услужении у Апинова в Константинополе и оттуда привезенная им в Киев, и если он, Кривцов, не выступает официально с уликами против Апинова, то потому только, что не желает омрачать празднование великого события разоблачением наглого шарлатана и проходимца, успевшего вкратце в доверие высокопоставленных лиц. Впоследствии выяснилось, что Кривцов был прав. Здесь же замечу, что «абиссинская барышня» хорошо говорила по-русски, носила европейский костюм и держала себя так, что сомневаться в справедливости слов г. Кривцова было очень трудно /.../

В октябре 1888 г. в Киев вновь приехал «атаман вольных казаков» Апинов, а с ним и архимандрит Паисий, отправляющийся с духовной миссией в Абиссинию. Апинов уверял, что он едет в станицу «Москва», основанную русскими выходцами на восточном берегу Африки, возле французской колонии Обок, а о. Паисий был до того убежден в справедливости /его/ уверений, что, явившись в Киев по дороге в Абиссинию, выпустил воззвание, в котором сообщал, что наши православные казаки заложили станицу «Москва», подняли там русский флаг и потому необходимо скорее построить храм, на который и просил жертвовать.*****

Были ли пожертвования и куда девались деньги после обнаружения авантюры Апинова, мне не известно /.../ Насколько все, касавшееся Апинова и каких-то вольных казаков было вымышлено Апиновым и делалось для рекламы.*****, доказывали последующие события, окончившиеся арестом Апинова.

В феврале 1889 г. получено было официальное сообщение, что французы заняли поселение, где раньше устроился Апинов, и что при этом пришлось прибегнуть к бомбардировке вследствие отказа Апинова добровольно уйти с занятой им территории. Тут-то и вспомнили о похождениях Апинова в Киеве, о его самохвальстве, заинтересовались этой личностью. И вот что оказалось: Николай Апинов никогда казаком, а тем более вольным, не был, ибо таких казаков в России нет, и что канчку эту он сам себе дал. В действительности же он был царьщинский мещанин, женатый на сестре Б.И. Ханенко (ныне член Государственного совета). «Атаман вольных казаков», уверявший, что им основана станица «Москва», где имеется несколько сот казаков, оказался просто ловким авантюристом и искателем приключений /.../

О неблагоприятных спекуляциях Апинова догадывались, но открыто уличать героя никто не решался, тем более что он всюду имел доступ и постоянно посещал как высших духовных, так и административных лиц. Даже уверения Апинова, возвратившегося в Киев в июле 1888 г. перед торжеством 900-летия Крещения Руси, что он был в Абиссинии, не вызвало возражений, хотя все прекрасно знали, что выехать в апреле из Киева, побывать в Абиссинии и в июле вернуться обратно — невозможно. Один только А. Кривцов, как я уже упоминал, называл Апинова шарлатаном, морочащим высокопоставленных лиц, и был прав. Кривцов уверял, что Апинов никогда в Абиссинии не был, а потому и племянницы негуса привезти не мог.

А вот еще факт. Апинов привез в Киев и представил под видом абиссинцев двух детей-конгов***** (мальчика и девочку), что также выяснилось только впослед-

ствии. Самозванцами были также и привезенные Ашиновым на торжество 900-летия «абиссинские священники», об одном из которых говорили, что это был какой-то поп-расстрига. Кокегара с парохода по фамилии, кажется, Спановой Ашинов нарядил в монашескую рясу и выдавал за миссионера. И такое наглое надувательство удавалось Ашинову в течение двух с лишком лет, причем за все это время он успел обмануть немало лиц, которых приглашал /ехать/ с собой, суля им блаженство в новой стране и беря с них деньги.

Уже после ареста Ашинова возникло немало исков на этой почве. В Киеве особенно восторгался Ашиновым Антонович,***** у которого первый бывал за просто и целыми часами в присутствии нарочито приглашенных гостей рассказывал о своих победах и путешествиях.

Закончилась история Ашинова, как известно, весьма просто: из Обока Ашинов был доставлен в Одессу, а оттуда его отправили в Саратовскую губернию, где отдали под надзор полиции. Недолго, впрочем, прожил после этого Ашинов: он заболел расстройством умственных способностей и был перевезен в имение своих родственников, где вскоре и умер.

(467, 160—164).

*Николай Иванович Ашинов — политический авантюрист. Начал свою деятельность с путешествия в Абиссинию в 1883—1886 гг., где, насмотревшись на похождения различных европейских «деятели», хозяйничавших в тогдашней колониальной Африке, пришел к мысли о необходимости присоединения «черных христиан» к «владениям белого царя». Через своих влиятельных родственников заручился поддержкой в некоторых правительственных кругах и, вернувшись в 1887 г. в Россию, начал формировать добровольческий отряд «вольных казаков» для захвата территории возле французской колонии Обок. В ашиновской аванюре были замешаны Победоносцев, Катков, Витте и др. влиятельные лица.

**Платон Городецкий — митрополит киевский в 1882—1891 гг.

***На торжествах в честь митрополита Платона.

****Управляющий синодальной канцелярией.

*****В пафосе этих событий отражается атмосфера колониального романтизма, не чуждая, как видим, и Киеву 1880-х гг.

*****За авантурой Ашинова стояли определенные влиятельные круги, стремившиеся втянуть Россию в колониальный раздел Африки.

*****Возможно, в книге опечатка и следует читать: «детей-коптов».

*****Афиноген Яковлевич Антонович — друг министра Витте, профессор Киевского университета и редактор газеты «Киевское слово».

/Графиня-воровка/

Графиня М.* имела свой дом в Липках; сын её, тупой, здоровенный блондин, посещал лекции естественного факультета. Была ли она бедна или уж такова была ее натура, но о ней рассказывали следующее.

Жила она в круту знати, в обществе графини Ростопчиной, Судьенко, Ризанича и других. Кто-то из этих богачей выдавал дочь замуж; осматривали приданое, раз-

ложешное на столе в особой комнате. Замечено было, что графиня М. несколько раз любовалась бриллиантовым убором: серьгами, диадемой, колье, браслетами и перстнем с солитером — ценою в несколько тысяч рублей. После разъезда гостей исчез солитер и серьги. Когда весть об этом дошла до Бибикова, он призвал одного ловкого сыщика и объявил ему, что если тот отыщет пропажу, то получит тысячу рублей, если же пропажи не обнаружит, а только произведет скандал, то попадет в Сибирь. При этом намекнул, что особенно часто этими драгоценностями любовалась графиня М.

Сыщик переоделся в костюм лакея и стал посещать лавочку с мелочами и сладостями, которую часто в отсутствие графини посещала её доверенная камеристка, ища развлечения в обществе других горничных и лакеев. Сыщик был ловок, красив и не без юмора. Он стал тепить всю компанию, и горничные в нем души не чаяли. Влюбилась в него и камеристка графини. Заметив это, он объяснился ей в любви и выразил готовность обвенчаться с нею. Начались любовные свидания и откровенности, и камеристка между прочим рассказала ему, что до упомянутой выше свадьбы шкатулка с украшениями графини была у неё в руках, но с вечера свадьбы графиня забрала шкатулку к себе в спальню, у себя хранит ключ, и когда вынимает или прячет вещи, то высылаёт её из спальни и дверь запирает на замок. Сыщик решил, что там-то именно и находятся украденные драгоценности. Взявши с собою четырех десятских и поставив их вблизи дома графини, он попросил камеристку доложить о нем, а сам спрятался за портьерой. Графиня закричала, что она не имеет дела с полицией, знать не хочет ее агентов, и пусть пришедший убирается к черту, иначе она отошлет его к Бибикову. Крича, графиня подыкала и хотела выскочить в спальню. Агент моментально выскочил из-за портьеры, загородил ей дорогу и объявил, что арестует её и произведет во всем доме обыск, если она добровольно не отдаст исчезнувших серег и солитера. Графиня еще пуще раскричалась: «Кто смеет её арестовать!? Какая-нибудь пьяная полицейская сволочь! Она его упечет в Сибирь! Она сейчас напишет записку Бибикову, пусть он сам приедет полюбоваться на свою полицию!»

Сыщик хладнокровно объявил ей, что серьги и солитер у нее в шкатулке, а шкатулка находится в спальне в таком-то месте; и что он сейчас их отыщет в присутствии понятых и десятских, которые ждут его распоряжения у крыльца.

Графиня смирилась, повела его в спальню, отперла шкатулку, отдала ему серьги и солитер и дала еще сто рублей. Агент раскланялся и ушел к Бибикову, который отсчитал ему тысячу рублей и предложил повышение в полиции, а с графиней виделся в тот же вечер, кушал у нее чай, расстались они любезно. Но на третий день она совсем уехала из Киева и сына определила в Петербургский университет.

(381, 232—234).

**Можно было бы с очень большой степенью вероятности назвать скрывшую редакцией «Киевской старины» фамилию, но некоторые сомнения заставляют нас не делать этого. (По этическим, разумеется, соображениям, т.к. в подобном случае ошибка равнозначна клевете). Намекаем лишь, что, возможно, это была та графиня, которая одно время при царе Николае Павловиче возглавляла общество киевских дам-благотворительниц.*

/Прохвост-патриот/

Открытие /Цепного/ моста состоялось /28 сентября 1853 г. по ст. ст. — А.М./, конечно, при обычной торжественности и угощении приглашенных лиц прекрасным обедом.

Переходил из уст в уста один смешной рассказ. Когда гости под открытым небом уселись и стали давать работу зубам, горлу и желудку, то не могли не заметить одного прилично одетого франта с пружинным цилиндром на голове и оседланным золотым пенсне носом, с записной тетрадью и толстым карандашом, что-то чертившего и углубившегося в измерение складным аршином /.../ Гости, да и сам хозяин этого пира /строитель моста инженер Ч. де Виньоль. — А.М./, были уже, что называется, на последнем взводе, не могли оставить без внимания любопытного и так вежливо, так деликатно, по-английски обратились к незнакомцу, прося его присоединиться к яствам и питьям; тот уклонился от приглашения ввиду интереса столь важного сооружения, дивного по своему искусству.

В конце концов уважил их просьбу и, присевши, явно им показал, что, хотя в инженерном искусстве он ни бельмеса не стоит, но по части выпивки подобного ему трудно найти даже и в Англии; и когда стали допрашивать, что он рисовал в своей тетради, откровенно изобразил своим суконым языком, говоря, что /они/ в иностранных училищах приобрели то знание, а наш русский плотник гораздо больше той науки, и /он/ со своими товарищами по части слесарной, али каменной, все это может соорудить — «во как!».

— К примеру, — /говорил он/, — я в своей тетради проводил черту взад и вперед и за это сию в вашей компании и за ваше хлебосольство много вам благодарен... Нет, пусть англичане возьмутся вдоль /sic!/ реки соорудить такой мост, в таком самом виде, и в такой красе и прочности!

Долго потом говорили о находчивости незнакомца. Даже интересно было поэтому выпить с ним шампанское, его подбрасывали на скатертях до изнеможения. О tempora, o mores*.

(32, 76).

*Автор намекает на патриотический угар, господствовавший в России перед Крымской войной. Приличные люди готовы были яхшаться с любым проходившем, орудовавшим патриотическими фразами.

/Небезпечний Ларівон/

Я забув сказати про саму яскраву фігуру /.../ в усій нашій трупі /в театрі М.Садовського. — А.М./ Це був скарбник Ларівон Пастернак («Вавіон Пастевнак», як він вимовляв). Якась кумедна, нічим не виправдана, нікому не потрібна, страшенно висока постать, з неважкою головою, а до лиця причеплено неймовірно довгу темно-русяву бороду /.../ Треба сказати, що Ларівон не тільки любив випити, а дійсно пив, а випивши, як розказували потім, любив і наскандалити. Його так і знала вся київська Микільська слобідка, відкля він походив. Як справжній п'яниця та слабовільна людина доброї душі, Ларівон завше страшенно мучився після п'яного скандалу. В душі він носив ідеал чистого, по-

рядного життя в «тихій сімействі». Отож, прагнучи того життя, він завжди шукав собі кімнати в якій-небудь тихій родині, а знайшовши, деякий час жив тихо й мирно, поки не наступав його «слухний час». Тоді він влаштовував там такий бешкет, що потім боявся показатися на очі, і вже приятелі перевозили його в друге помешкання, теж в яку-небудь «тиху родину». Так було і в Херсоні.

Після того, як його викинули з готеля, приятелі знайшли йому помешкання у якихось двох стареньких панн-сестер. Договорюючи це помешкання, запевняли панні, що це дуже спрацьована безперестанним сидінням в касі театру людина, а через те потребує абсолютного спокою душі. Бідні бабусі запевняли, що вони самі одинокі, самі люблять спокій і що в них цій «спрацьованій, чудовій, тихолубивій» людині буде якраз добре /.../ Погодились теж з охотою в що неділю не ночувати вдома, бо, бачите, у квартиранта будуть іменини в цей день, то не без того, щоб гості засиділись трохи довше та погомоніли голосніше, ніж того хотілося б «тихолубивій, спрацьованій людині» /.../

Після вечірнього спектаклю (в суботу) я поїхав у Київ, а в Херсоні трапилась така подія, про яку ніхто властиво не міг толком нічого розказати, а оповідали чогось тільки про те, що було потім. А потім було от що. Коли на ранок після іменини старенької хазяйки вернулися додому, то знайшли в хаті таку картину: дим від цигарок ніяк не міг осісти і стояв хмариною в хаті /.../ Всі меблі були перевернуті, наче там йшла якась страшенька бійка. Шафа з хазяйським убранням відчинена і упала дверцями на діл. На столі, на тарілках з недоїдками лежить «мертвий» іменинник пристроєний, як покійник: ноги просто, руки на грудях навхрест, в руки вставлено виделку, а в головах цілим скопом положені вирвали з корінням із землі ще зелені вазони. В губах у «покійника» недогарок цигарки. Канарейка в клітці здохла від диму й смороду...

Історія мовчить про те, що сталося з бідними старенькими паннами, і як випроводжувано Ларівона з того помешкання та оселено в новій «тихій квартирі».

Дізнався я про те коротко на другий мій приїзд до Херсону. Добре, що я тоді вийшов!..

(192, 171–173).

/«Сучого сина сини й дочки»/

Мене Серафима Йосипівна /хазяйка квартири. — А.М./ любила за мою ввічливість до неї і терпеливість вислуховувати її «горестії» оповідання. А мені слухати їх була прямо насолода, до того вона мала старовину староміщанську українську, хоч зіпсовану мову. От наприклад, входу я до вечірнього чаю /.../ На столі кипить великий самовар. Чайник накрито накривкою у вигляді квочки. На білій скатерті спокійно і привітно стоять гарні, прозорі, тонкі шклянки, вазочка з хлібом та сухарями, варення, мед і т.д.

Велика лампа не горить, а Серафима читає при малій, а через те в хаті тиха напівряка. Я вхожу. Серафима кладе книжку, знімає окуляри /.../ Наливає мені чудового чаю. Потім підсідає й сама до столу, наливає собі чаю й починає:

— От, Олександр Антоновичу, ми з вами говорили учора, якіє сукини сини бувають муштини... А от я їздеш читаю романа «За гріхи». Їто правда, що муштини бувають подлеци, но й женщины, ссучого сина дочки, бувають же ссуски! От здесь описується, як вон її просив, як вмовляв, як навколошки перед нею став! Чого тільки вон їй не представляв: кумфети, горіхи, пельмени, лимони, усякое продо-

вольствие, — квіти їй кожного дня... Так вона плакав перед нею, ссучою дочкою!! А вона хоч би тібе што!! Так вона бідний і зостається!

Потім іде частина «наравоучительная», як треба берегтись женщин. Через три дні... Знову входжу до вечірного чаю. «А здраствуйте, ледащо!» і т.д., все, як треба. Наливається чай і починається розмова:

— От, ето я, Олександр Антонович, говорила, какі суки бувають женщины... Але ж і мудини ссучого сина сини, бувають подлеци!!! От я читаю роман «Криваві п'ятна», так здесь описується: що вона йому не говорила, як вона його не просила, як вмовляла, як перед ним навколішки не ставала! «Я тібе буду ангелом хранителем, я тібе буду останньою куховаркою!»... А вона, расссуй син, хоть би тібе штол.. Так вона бідная і зосталась...

Далі — частина «наравоучительная», як бідні жінки страждають від чоловіків /.../ Колись, ремствуючи на Івана Йосиповича /хазяїна квартири І.І. Шатрова. — А.М./ за його заливання до нашої покоївки, каже мені:

— Ну скажіть, Олександр Антонович, як то можна сібе у домі грязь заводити! Сколько раз я йому говорила, скільки раз вмовляла його, а він хоч би тібе штол! Ну пущай я, женщина з домашнім образованием. Ти ж аристократ називаєшся!*

Люба Серафима Йосиповна! Ти не знала, який скарб ти собою уявляєш літературний...

(192, 94—95).

**Как гласит городское предание, хозяин иконописной мастерской И.И. Шатров, в доме которого на Андреевском спуске некоторое время жил автор цитируемых нами воспоминаний, хормейстер А. Кошиц, был некогда женат на внебрачной дочери вел. княгини Александры Петровны (что, судя по мемуарам С. Витте, действительно могло иметь место) и таким образом имел некоторое отношение и к царскому двору, и к кругам высшей аристократии.*

Из киевских историй легендарного вряла Н.Х. Рыбакова*

Коли служив я в Києві і посещал Лысю гору, познакомилась со мною одна молоденькая ведьма. Мы с ней больше по любопытству сошлись: она об актерах не имела понятия, а я их сестру не мог себе уяснить. Ну ладно, ходим, значит, на свидания и разные разговоры разговариваем. Наш брат актер пришелся ей, значит, по вкусу, а мне она была без всякого удовольствия, потому что с хвостом и нечесаная. Чесанье им по ихнему закону запрещено. Ну хорошо. Сезон театральный подходит к концу, и мне нужно было в Москву на пост** ехать. А денег-то у меня в то время — ни одного франка. Прихожу я на Лысю гору, вызываю свою Угладку (это так знакомую ведьму звали) и говорю ей:

— Пешком идти в Москву не хочется, занять денег не у кого. Не можешь ли ты у своего начальства малую толику добыть и меня ими под верное обеспечение ссудить? Я тебе, — говорю, — свою библиотеку в залог оставляю***.

Она мне в ответ пропищала:

— Денег мы не признаем и при себе их не держим, но бесовскою властью обладаем, так что я могу тебя в лучшем виде на даровщину в Москву доставить.

За это я вырутался:

— Как, — говорю, — ты смеешь мне предлагать на помеле ехать?

— Зачем на помеле, — отвечает, — на каком угодно инструменте поезжай. Вот хоть на этом бревне отправляйся.

— Ну на этом-то, пожалуй, — говорю, — можно, потому что оно все-таки больше солидности имеет, чем помело.

Уговорились мы с ней учинить мои провалы на другой день.

На следующее утро уложился я, взял чемодан под левую руку, под правую на всякий случай зонтик захватил и отправился на условленное место к бревну. Прихожу, а уж ведьма-то меня ждет с творожными ватрушками, это она мне их полтора ста штук в дорогу напекла.

— Ну, — говорит, — садись и улети.

Обхватил я бревно ногами, а она какие-то непонятные три слова произнесла, плонула в мою сторону — и я валетел. Летел, летел, летел — наконец, глядь, за что то левой ногой задел, оглянулся — Иван Великий.

— Ну, теперь спускайся, — приказываю я бревну, — но только потихоньку.

Оно и спустилось, да неудачно — поперек Тверского бульвара расположилось, так что земли-то я никак не мог достигнуть, пришлось на воздухе проболтаться всю ночь, пока утром меня обер-полицейстер из окна не увидел. Бревно-то было так велико, что через весь бульвар с крыши на крышу перекинулось, как воздушный мост. Сбежались городовые и спасательные крути стали мне бросать, но только никак не могли до меня докинуть. Пришлось им за пожарной лестницей сходить. Приволокли и приставили ее к бревну. Я и полез по ней, но только дошел до половины, как хват — лестница-то до земли сажени на три не достает. Что ж было делать?

— Растопырьте, братцы, — говорю городовым, — руки — я спрыгну.

Ну и спрыгнул.

Повели меня к полицмейстеру.

— Что ты, — говорит, — за человек?

Нельзя обманывать полицию, и я признался, что по знакомству с ведьмой на этом бревне с Лысой горы в Москву приехал. И вышел через это вопиющий скандал: меня в 24 часа из города вон выслали.

(324, 514–516).



Актер Н.Х. Рыбаков, известный рассказчик «киевских историй»

**Известный драматический артист Николай Хрисанфович Рыбаков (1811–1876) родился в Курске. Окончив гимназию, служил чиновником, потом оставил службу и присоединился к курской труппе артистов, играл в Киеве, Харькове и других городах. Мочалов высоко оценил его талант и пригласил в Москву на большую сцену. Рыбаков имел большой успех у столичной публики, но как-то не умел ладить с дирекцией императорских театров и поэтому продолжал*

играть на провинциальных сценах. Ему поручались самые большие и ответственные роли мирового репертуара. После появления на русской сцене А. Островского играл в его пьесах роли купцов. Исключение составляла роль Несчастливцева в пьесе «Лес». По преданию, он сам послужил прототипом для своей любимой роли.

Слыл великолепным рассказчиком и неисправимым врелем. Юмористический рассказ Рыбакова о его знакомстве с киевской ведьмой интересен не только как образец талантливой актерской байки, но и как образец сознательного пародирования «малороссийских повестей» Гоголя и его романтической демонологии. В отличие от знаменитых «Вечеров...», и сама ведьма, и все бесовские дела выглядят у Рыбакова удивительно прозаично, жалко и смешно.

****Театральный сезон кончался в последний день масленицы, перед началом поста.**

*****Здесь, как и в других местах, звучит явная издевка рассказчика над доверчивым слушателем. И в самом деле — какую цену могла иметь «библиотека» актера в глазах ведьмы?!**

/Пристрастие к юбилеям/

Когда Рыбаков объявил антрепренеру Зелинскому, что ему нужен второй бенефис для того, чтобы справить 50-летний юбилей своей артистической деятельности, антрепренер сказал:

— Уж не с ума ли ты сошел, Николай Хрисанфович? Да разве 50 лет, как ты играешь?

— Ну и дурак же ты! — отвечал Рыбаков. — Разве доживу я до действительного юбилея? Надо раньше его справить... 25-летие-то я уже сколько раз справлял, и всего было очень весело...

(454/А, 363—364).

/Разбойничьи моды/

В другой раз Николай Хрисанфович /Рыбаков/, играя роль Швейцера в излюбленной провинциальной трагедии Шиллера «Разбойники», разрядился самым невероятным образом. Путем долгого размышления он дошел до того, что перед публикой явился какою-то пестрой чучелою. На панталоны русские шаровары он надел колет француза*, сапоги натянул с испанскими растрюбами, на плечи набросил плащ Альмавивы, голову покрыл турецкой чалмой...

— На что ты похож? — обратился Иванов к нему, первый раз в жизни видя столь оригинальный костюм Швейцера. — Разве можно одеваться таким уродом?

— Почему же не можно? — удивился он наивности антрепренера и с чувством собственного достоинства разъяснил: — Нужно всегда вникать в роли поглубже. Рассуди ты сам. Швейцер кто?

— Разбойник!

— Ага! — радостно воскликнул Рыбаков, точно уличил его в сознании. — Разбойник! А разве для разбойников мода существует? Они что украдут, то и носят! Даже пословица такая есть: «Доброму вору — все в пору»... Примерно, подвернулся разбойнику русский мужик — он сейчас с него цап-царап шаровары — и в носку; удалось стянуть с проклятого турки чалму — в носку; оплошал француз ко-

летом — в носку; пришлось с испанца стащить плащ — в носку. Вот тебе самый правдивый костюм разбойника и вышел!
(454/А, 366–367).

**Короткие штаны с застёжкой под коленом.*

/Верное средство от хандры/

Он /помещик Дзяиковский/ подвержен был хандре и лечился не знаю от какой болезни у одной известной тогда /в Киеве/ ясновидящей, предписавшей ему между прочим вскарабкаться на площадку, нарочито для того построенную на столбе, и там сидеть определенное время, сверху того глотать в известных приемах крупный речной песок, и он слепо исполнял это.
(53, 587).

/Духовное наследство тети Сони — великому Вертинскому/

У нас в доме жила четвертая, или, вернее, первая, самая старая из сестер моей матери — тетя Соня /.../ Каждый год на Крещение она ходила к Днепру на водосвятие и приносила оттуда большую винную бутылку святой воды. Мы, конечно, выпивали по глотку, но много ведь воды не выпьешь, а вылить нельзя — грех! И она ее прятала куда-то. Я имел счастье быть с ней в приятных отношениях /.../ Меня же она еще жалела как сироту и даже плакала, когда меня лупили. Однако к сундуку меня не допускала.

— Умру — все тебе достанется! — говорила она.

Умерла она нескоро. Я уже давно уехал и жил за границей, когда до меня дошло известие о ее смерти. Ей было около 80 лет. В сундуке ее, который она, согласно обещанию, завещала мне, нашли 40 бутылок свяченой воды.

Все же раз в жизни я получил наследство!

(63, 40).

В большой гостиной, под огромным портретом Екатерины II, на диване сидела бодрая, приветливая, чистенькая, как севская статуэтка, старушка* с вечным вязанием в крошечных ручках. Когда её спрашивали, куда кончит и куда денет все это вязанье, она отвечала обыкновенно:

— Ах, родной, да как же иначе?! Не можно же им (т.е. бедным) так просто деться в руки соваты!.. А так в платочке, фуфачке — не так совестно... Приличней.

(392, 617).

**Елена Васильевна Репнинская.*

Крім аматорів /картярської/ гри, що шукали вражень, було, на жаль, між студентами також декілька шулерів, звісних, а про те толерованих.* З поляків були тільки два такі, що жили з карт. Росоловський і Окулич. Правда, граючи з товаришами, вони не циганили, але оперували по приватних домах, у купців, урядників та в купецьких клубах, а одного разу, дібравши

собі ще одного товариша, обіграли в купецьким клубі самого поліцеймейстера Галяткіна, з чого сміялося ціле місто.
(38, 285).

**Герпимых, официально не преследуемых (польск.).*

/Загадочный ростовщик или поэт сребролюбия/

Представителем именного русского купечества следует признать и Михаила Парфентьевича Деттерева, о котором я сообщу несколько подробнее. Познакомился я с ним в год перехода Киевского русского купеческого собрания с Подола в собственное роскошное здание на Александровской ул.* Я знал, что он является владельцем крупной торговли железо-скобяным товаром, что человек он очень богатый, которого называли «миллионщиком», и что, независимо от своей специальности, он занимается отдачей денег в рост под верное обеспечение, преимущественно под закладные домов и имений. Рассказывали также, что, содействуя деньгами Киевскому русскому купеческому собранию при постройке собственного здания, М.П. Деттерев брал проценты, и довольно значительные. Словом, его изображали заправским ростовщиком. При ближайшем с ним знакомстве я убедился, что рассказы эти не лишены основания /.../

М. П. Деттерев был невероятно скуп и целью своей жизни поставил исключительно приобретение денег, нисколько не стесняясь способами этого приобретения. И все же имя Деттерева никогда не забудется Киевом, для бедного населения которого Деттерев, как впоследствии оказалось, и копил деньги.

Еще при жизни, в 1886 г., им был пожертвован дом для богадельни на Подоле, а также построен и вдовый дом на 100 лиц, причем он обеспечил эти учреждения капиталом в 100 тысяч рублей каждое. Им же учреждено было и городское училище.

Врожденная скупость и наряду с этим щедрые пожертвования /Деттерева/ всегда были загадкой для киевлян. Владея тремя крупными домами на главной улице Киева — Крещатике — и обладая миллионным состоянием, М.П. личные свои потребности довел до минимума, а скупость его доходила до того, что из-за пяти копеек он способен был торговаться до бесконечности. И что же? Этот самый М.П., умирая, завещал городу Киеву все свое недвижимое имущество и свыше двух миллионов в наличных деньгах и акциях. Все это назначено было для постройки и содержания богадельни и приюта на 660 душ (500 богадельцев и 100 детей), а т.к. оставшиеся капиталы превзошли все ожидания, то и постройки душеприказчиками были значительно расширены, что дает городскому управлению призывать не 660 душ, а почти втрое больше***.

И только после смерти М.П. Деттерева (в декабре 1898 г.) те самые киевляне, которые считали его скупым и ростовщиком, поняли, что М.П. всю жизнь отказывал себе во всем и, собирая разными способами деньги, поставил себе единственной целью благодетельствовать бедное население Киева.

(467, 179—181).

*В 1882 г. Теперь здесь филармония.

***На завещанные деньги была построена Деттеревская богадельня на Старо-Житомирской дороге.

ГОРОЖАНЕ И КРЕСТЬЯНЕ

Почім дурні продаються

Раз поїхав один мужик зі своїми кіньми на фурманку аж у Київ. Але приїхав він, а пан його питає:

— А де ти був, Іване?

— Та де ж, пане, — в Києві.

— А що ж ти бачив там, Іване?

— Та все бачив, пане.

— А почому ж такі дурні продаються, Іване? — каже пан, щоб насміятися над мужиком.

А Іван йому:

— Та то як до дурнів, пане. Дурня-мужика спускають так собі — за півціни, звісно, мужик. Але вже за дурня-пана — ого-го, за того вже добру ціну правлять. Бо ж то дурень та ще й пан!

Пан аж присів від злості.

(410, 78).

Барбос

Пішла баба у Київ на прощу Богу молитися, але не знала, де монастир. От стріла вона студента та й кланяється йому і просить:

— Господин студент, покажіть, де тут монастир?

А студент подививсь на поліцая, який стояв тут неподалечку, та й каже бабі:

— Бабуся, ви спитайте отого барбоса!

Бабуся подякувала студенту й пішла до поліцейського та й питає:

— Скажи, барбосе, де тут монастир?

А поліцай як закричить на бабу:

— Геть, стара відьмо, звідси!..

Так бабуся і не подякувала та скорій од його.

(410, 33).

Останній дурень

В одному селі мав своє помістя пан Галаган. Там було і училище під його іменем. Це було давно. Зимом він жив у Петербурзі, а літом приїжджав у це село.

От він дуже любив гуторити з мужиками. Вийде, було, на вулицю у неділю, збере біля себе чоловік 20 і почне з ними вести розмови. А не так сміливий був на

жарту, як дуже любив з мужиків посміятись. Раз так сидить він, а кругом його зібралися чоловіки. От він і питає першого:

— Скажи, Свиридон, ти у Санкт-Петербурзі був?

— Ні, — відповідає йому селянин.

— Значить, ти перший дурень, — каже на нього пан Галаган.

І питає другого, що сидів біля нього:

— А ти, Омелько, був у Санкт-Петербурзі?

— Ні, — відповідає Омелько, — не був.

— Значить, і ти — другий дурень!

І так він перепитав всіх чоловіків і всіх назвав дурнями.

От бачить невеличкий чоловічок, що він залишився один і його позове останнім дурнем. Підвівся і каже до пана:

— Дозвольте, пане Галагане, запитати вас?

— Можна, — каже пан Галаган.

— Скажіть, пане Галагане, — каже той чоловічок, — чи ви у Киргичному хуторі були?

— Ні, — каже пан, — не був.

— То, — каже чоловічок, — виходить так, що ви останній дурень!

(410, 78).

Выгодная сделка

Однажды крестьянин пришел к ростовщику просить взаймы рубль серебром на месяц, под залог чего оставил у него свою шубу с тем, что по истечении срока мужик обязывался уплатить ростовщику два рубля серебром.

Когда была написана расписка, отдан серебряный рубль, а шуба взята, ростовщик сказал:

— Знаешь что, почтенный. Ты должен через месяц отдать мне два рубля, так ли?

— Так, — отвечал мужик.

— Где же ты возьмешь такую сумму в такое короткое время?

— И правда! — отвечал мужик. — Что же мне делать?

— Что? — отвечал ростовщик. — Отдай мне пока один рубль, другой легче тебе будет заплатить через месяц.

Мужик подумал и согласился.

(77).

Секретный лист

Приніс дядько листа на пошту, а адреси не написав.

— Чого ж ви, дядьку, адреса не написали? — запитує чиновник.

— Бо я не хочу, щоб усякий знав, куди я пишу, — відповів дядько.

(363).

Темні селяни

В київській міській «Газеті» з с. Калинівка Чернігівського повіту* подається така картина з натури:

— А ну, жінко, підсуши сухарів трохи мені до неділі...

— Навіщо це вони тобі?

— Поїду на курси до Києва.

— На які це такі курси?

— Та на такі, що ти не знаєш... на бджоловодні, — додав Карпо й вийшов з хати.

Якилина, жінка його, стала й руки опустила. Вона не добере способу, куди це саме Карпо хоче їхати. Коли це входить у хату дід Клим, батько таки Карпів. Якилина почала розповідати, що, мовляв, так і так: Карпо хоче їхати в Київ; там десть, розкаже він, будуть з'їжджатися пасічники, що добре знають «до бджіл», будуть навчати цього кожного, хто приїде туди**.

Дід Клим тільки слухав, повісивши голову. Далі підвівся та й каже:

— Та воно, дочко, байдуже... бджоли добра штука. Та боюсь я, Якилино, щоб часом Карпо не занастив там своєї душі. Де ж таки! Хіба можна знати все про бджіл без нечистої сили? Коли вже туди з'їжджаються всі пасічники та вчені до цього люди, то там не буде без нечистої сили!

Цей живий факт мав місце в с. Калинівці...

(397).

*Теперь — село Киевской области, расположенное неподалеку от Киева, под Броварами.

**Речь идет о курсах при школе пасечников, основанной в 1902 г. в Киеве известным педагогом А.Ф. Андрияшевым. В 1904 г. еѣ перевели в Боярку.

Ожидание конца света

Курьезная вещь занимает в настоящее время два сословия бориспольских жителей — мужичков-пахарей и купцов. Как те, так и другие в самом непродолжительном времени ждут кончины мира сего! Мужички в этом отношении перешеголяли купечество: они указывают даже на срок: 12 августа /1872 г./ должна последовать кончина мира!

Кто пустил эту шутку, неведомо, но дело в том, что она возымела такой успех, какого, конечно, и не ожидал пускавший еѣ.

— Голі робити, — говорят мужички, — все одно через 5 місяців усе піде прахом!

— Все пропаде через 5 місяців, все щезне! — говорил мой возница, с которым я в днях ездил в ближайшее селение по делу.

— Как пропадет? — спрашиваю я.

— Друга планета розіб'є усю землю!

— Когда же это будет?

— 12 августа.

/.../ Несмотря, однако, на то, что скоро наступит кончина мира, купечество преисправно работало железными аршинами на нашей ярмарке (на сырной неделе) и брало по 20 коп. сер. за аршин пестры, продававшейся в недавнее время по 12 коп. сер.

Возница же, с которым я ездил и который говорил, что через 5 месяцев «все щезне», проворовался крупно, и мировой судья приговорил его к 10-месячному тюремному заключению.

(331).

/Кому свинья, а кому — коллега/

Однажды во время университетского курса в Киеве мы отправились в свободное время за город в слободку, где была достоянная наливка, которую и желали пить,* но съедобного при себе не имели. Проходя же по окраине /обочине/ шоссе близ Чертороя**, увидели престарелого хохла мужика, который, лежа на животе, держал в одной руке трубочку, а в другой претолстую веревку, на которой был привязан за ногу живой поросенок, повизгивавший и щипавший травку.

Увидя это употребляемое в пищу животное и охранявшего его сторожа, один из студентов воскликнул:

— Купим, товарищи, этого поросенка, отнесем его и, сварив в укрепе, съедем.

Все остальные охотно пристали к этому предложению и спросили у сельчанина, сколько он хочет за своего поросенка.

— П'ять золотих, мої доброді, — ответил крестьянин. (Злотый польский — 15 копеек).

Цена поистине была сказана с умеренностью и добросовестностью, к которой малороссийский простолодин до сих пор сохраняет способность, но один из наших товарищей, родовитый поляк, с презрением взглянул на хохла, оторвав ему:

— Лжешь, хлоп: мой коллега купил вчера такого же поросенка за три золотых.

— Может быть, — ответил хлоп, — но и я вчера за шесть золотых продал его коллегу, — и при сем он указал на своего привязанного поросенка.

(231, 146).

*Никольская слободка находилась тогда вне Киева, в пределах Черниговской губернии, и городской торговой наценки, а тем более обложения в пользу откупщика, здесь не существовало. Спиртные напитки, купленные за городом, назывались «дешевкой». Небогатые горожане и студенты любили устраивать свои пикники именно в Слободке. Публика побогаче собиралась на «холостые пирушки» близ Слободки, в ресторане Резанова (посреди теперешнего Гидропарка) — на обширной усадьбе с озером.

**Шоссе близ Чертороя — шоссе, проходившее в 1840-х гг. по теперешнему Гидропарку и ведущее к мосту через Черторой (теперь Русановский пролив), за которым начиналась Слободка.



ГЛАВА ШЕСТАЯ



ЦЕРКОВЬ

МИР
БЛАГОЧЕСТИВОГО
СМЕХА

КИЕВСКИЕ
ВЛАДЫКИ
*Митрополит Серапион
Александровский
Митрополит Евгений Болховитинов
Митрополит Филарет Амфитеатров
Митрополит Арсений Москвин
Митрополит Иоанникий Руднев
Епископ Порфирий Успенский*



**КИЕВСКИЕ
ПРАВЕДНИКИ**

*Городской юродивый Иван Босой
(Расторгуев)
Старец Вонифатий Виноградский
Юродивый-монах Феофил
Горенковский
Иеросхимонах Парфений Краснопевцев
Старец Алексей Шепелев
Игумен Иона Мирошниченко
Иеросхимонах Николай Цариковский
Иеросхимонах Самуил Жесан*

**КЛИРИКИ,
ПРИХОЖАНЕ,
БОГОМОЛЬЦЫ**

**ИЗ ХРОНИКИ
ЦЕРКОВНОГО
И ОКОЛОЦЕРКОВНОГО
КИЕВА**

МИР БЛАГОЧЕСТИВОГО СМЕХА

Значительная часть помещенных здесь материалов — рассказы о некогда знаменитых, а ныне совершенно забытых киевских подвижниках, старцах-аскетах, молитвенниках, ясновидцах, чудотворцах и исповедниках. Многие из них жили уединенно в Лавре и ее пустынях, хоронясь от молвы и славы. Сведений о них почти не сохранилось, многие ушли в мир иной не замеченными своими современниками, но тем не менее память о святых людях Киева XIX века не изгладилась совершенно. Кое-что все же сохранилось, запечатлелось в устных преданиях, кое-что находим в мемуарах, дневниках, разнообразных записках и документах того времени. Не чуждались городской молвы, простонародных побасенок, паломнических легенд и преданий старожилов и авторы некоторых фундаментальных сочинений по истории киевской церкви.

Особенно много для сохранения памяти о киевских подвижниках сделал в начале XX века приходский священник, а впоследствии лаврский инок Владимир Зноско. Он обладал ярким литературным талантом, превосходно владел отточенным Н. Лесковым искусством сказа и умел найти в пестром хламе городской молвы бесценные жемчужины исторического предания. Его книги о китаевском юродивом иеросхимонахе Феофиле, Вассиане-слепом, святителе Павле Ко-

нюскевиче, анахорете Досифее и других — прекрасный источник для познания церковной жизни Киева прошлого века. Свою лепту в историю подвижничества внесли Евстратий Голованский, иеромонах Адриан и Н.Трезвинский.

Другую часть предлагаемых нашему читателю церковных преданий составляют материалы о иерархах Киевской епархии.

Каждый, кто интересовался их биографией и чертами характера, не мог не заметить, что все они были людьми, прямо скажем, выдающимися и подчас даже необыкновенными. И это не случайно, поскольку на киевскую кафедру назначались всегда лучшие из лучших иерархов, люди, способные развивать традицию духовного лидерства православной церкви в городе, оделявшем своим вниманием и католиков, и лютеран, и иудеев, и магометан, и староверов, и штундистов, и масонов.

Среди киевских владык были тайные схимники, ученые с мировыми именами, известные писатели и исследователи, крупные деятели христианского просвещения, великие благодетели, церковные строители и добрые пастыри. То же самое можно сказать и о киевских викариях, среди которых большой симпатией горожан пользовались просветитель Ириней Фальковский, писатель и мыслитель Иннокентий Борисов и выдающийся

знаток христианской старины, ученый-востоковед Порфирий Успенский. Среди кафедральных протоиереев Софийского собора городское предание выделяет киевского золотуиста Иоанна Леванду, а также педагога и христианского моралиста профессора Ивана Скворцова.

О жизни и трудах киевских иерархов сохранился обширный массив информации, и устное предание занимает в нем, разумеется, далеко не главное место. Но городская молва о владыках имеет свою цену, хотя бы потому, что в ней мы находим яркие образы киевских архиереев, суждения современников о их делах и личных качествах. Вот этот-то материал тщетно искать среди деловых бумаг и исторических документов. Конечно, иным рассказам о владыках верить не стоит. В них много неточностей, ошибок, нарочитых искривлений и просто вранья. Но в целом городская молва воссоздает довольно правдивые, яркие и художественно убедительные образы, без которых любая научная картина православной жизни XIX века покажется бледной, неполной и обедненной.

Особая заслуга в сохранении городского предания о первенствующих лицах киевского православия принадлежит бывшему воспитаннику Киевской духовной академии, архимандриту Зилантова монастыря в Казани о. Сергию Василевскому, который многие годы трудился над трехтомной монографией о знаменитом киевском митрополите Филарете Амфитеатрове и над двухтомной биографией своего патрона и покровителя, племянника владыки, ректора Киевской академии и архиепископа казанского Антония Амфитеатрова. Тщательно подбирая для обоих своих трудов как ар-

хивный материал, так и свидетельства старожилов, он несколько раз навещивался в Киев во второй половине 1860-х годов и сделал многочисленные записи монастырского и церковно-городского фольклора. Осмысливая и сверяя с архивными документами рассказы киевских старожилов о церковной и монастырской жизни 1830—1850 гг., о. Сергей вводит живое предание в текст своих исследований и тем самым удостоверяет его познавательную ценность.

Подобного вдумчивого исследования религиозных преданий Киева в XIX веке не было. Как не было его, впрочем, и во все последующие десятилетия.

Среди других авторов, интересовавшихся киевскими владыками, следует назвать прежде всего писателя Н. Лескова, искусно вылепившего образ «доброго дедуся» — пресвященного Филарета. Это был, очевидно, первый любовно выписанный образ православного иерарха в русской литературе нового времени.

Умело использованы образы церковно-монастырского фольклора в сочинениях Г. Булашова и В. Певницкого.

Нам приходилось читать немало всяких историй из жизни благочестивых людей, и, насколько не изменяет память, всегда и везде улыбку и смех вызывают не святость и добродетель, а человеческие слабости и люди, которые, не осознавая никчемности своих поступков, упиваются своими иллюзорными достоинствами. Благочестивый смех связан с чувством прозрения, в нем проявляется радость освобождения от гнета слепых страстей, и потому ничего предосудительного в таком веселии нет. Грешно уныние, а не веселие духа.



Пимен. Гравюра с картины В. Васнецова.

В Киеве своя традиция христианского остроумия.

Сама новая вера пришла к нам вместе с тонким эллинским юмором, и в первых редакциях византийской «Пчелы» было немало затейливых и занимательных сюжетов, вызывающих улыбку.

Смеющаяся, ликующая святость осенила стены Печерской обители еще раз — во второй половине XVII века, когда знаменитый лаврский проповедник Антоний Радивилловский, постигнув тонкости новой барочной проповеди, заставлял своих слушателей не только рыдать и плакать от сознания трагичности земной юдоли, но и смеяться над ничтожностью страстей мира сего. Забавные истории, используемые им в церковных речах, в разное время называли то новеллами, то фабулами, то притчами, то меморабиями, то фацециями, но суть их оставалась неизменной, поскольку в них прославлялся ликующий дух, возносящийся над пустыми страстями обывденной жизни.

Определенные предпосылки для возрождения церковного остроумия создались на рубеже XIX и XX веков. В чем они заключались — это еще

предстоит выяснить будущим исследователям. Мы же можем констатировать появление в это время заметного числа сочинений житийного характера, авторы которых умело соединяли элементы трагедийной церковной легенды с занимательными историями.

Автор одного такого модернизированного «жития» вложил в уста своего героя, лаврского исповедника иеросхимонаха Николая, целую речь о пользе благочестивого христианского смеха, где, между прочим, находим и такие соображения на этот счет.

«Жизнь нам дана не на печаль, а на радость, а потому каждый должен стараться всегда быть веселым: это освежает все силы человека, воображение, память, ум. При унылом же и сумрачном, печальном настроении все в душе бывает сдавлено, стиснуто, а это только и нужно дьяволу: он особенно на мрачно настроенных, унывающих и угрюмых нападает».

Подивясь наблюдательности лаврского исповедника и смелости его суждений, приступим к собранным здесь остроумным, занимательным и веселым рассказам киевлян о духовно-религиозной жизни их города в XIX веке.

КИЕВСКИЕ ВЛАДЫКИ

МИТРОПОЛИТ СЕРАПИОН АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Митрополит Серапион (в миру Стефан Александровский) (1747—1824) родился под Москвой в Александровской слободе в семье священника. Окончил Троице-Сергиевскую семинарию. Пострижен в монахи в 1771 году. Игумен Крестовоздвиженского, Знаменского и Богоявленского монастырей в Москве (1775—1788), викарий Московской епархии (1788—1799), архиепископ казанский (1799—1802). Митрополит киевский с 1804 года. Первый глава киевской митрополии родом из России. В 1822 году ушел на покой по старости лет и провел остаток жизни в доме Анны Александровны Турчаниновой на теперешней Золотоворотской улице. После него осталось несколько томов рукописных дневников, частично (в пе-



ресказе) печатавшихся в «Киевской старине». Записки владыки — ценный источник для изучения быта и нравов Киева начала XIX века.

30 августа (1804 г.) в числе других лиц, посещавших митрополита, была графиня Потоцкая, которая бриллианты на себе имела, как сказывал ювелир ее, на миллион рублей! «О суета! /писал владыка/ Тот же ювелир ценил панагии здешние казенные, и лучшую, первую оценил в 4 800 руб. сер. Это суета уже значительно меньшего размера!.» (425, 427).

/Фокус-покус в доме владыки/

6 мая 1808 года в прихожей митрополита /Серапиона/ совершалось оригинальное представление, которое, конечно, повторялось и в других знатнейших домах Киева, а может быть, и публично.

В присутствии владыки, ректора и префекта академии, знатнейших лаврских и домовых старцев прибыл иностранец с ученою лошадкою и со штуками фокус-покуса и представляла шутки в прихожем покое.

Лошадка взойшла на лестницу скоро и свободно, на вопросы отвечала качанием головы и топанием ногою; не без курьезности всему научена! Из фокусов более всего удивило то, что в часы, лежащие перед глазами зрителей, фокусник вкладывал карточки, не касаясь часов. В заключение живые птички якобы крепость осаждали и палили из пушек, и вся крепость при пальбе зажжена порохом и был вид якобы фейерверка. Фокусник получил от митрополита 50 рублей.

(425, 436).

/Душевное утешение вора/

4 марта 1821 года похищено неизвестно кем из лаврского скарбца казенных денег 18 897 рублей. Подозревался какой-то иеромонах Федор. Найдено какое-то орудие, кинутое за иконостасом. Наконец вор был найден в Бердичеве советником Саксом, следователем дела, и представлен митрополиту /.../ Вор просил, чтобы чиновники оные тут не были, а были бы духовные, архимандрит или протопоп, или иеромонах*. Митрополит приказал войти в залу своему эконому игумену Никандру и духовнику, при коих вор был спрашиваем и признавался в похищении в Лавре в соборе денег и много говорил о своих беззакониях и преступлениях великих, коим он не надеялся здесь получить отпущения и разрешения, но понесет на тот свет великое бремя своих грехов и будет с Богом говорить. Митрополит всячески утешал грешника, но тщетно. Затем вор много жаловался на духовных, которые ему ни куска хлеба, ни кваса просящему не дали. А отходя совсем, сказал: «Я вас в другой раз не увижу».

Вор по имени не называется, но, очевидно, это был кто-то из лаврской братии.

В тот же день вечером наместник доложил владыке, что преступник был в Лавре у схимника**, и отъехав от него с полицмейстером, велел, проехав дом Ахордов, остановиться и у конюшни в навозе порыть. Найден был бочонок такой, в каких сельди продаются, закупоренный. В бочонке оказалось 345 полумпериалов и 1600 руб. асс.

(425, 464—465).

*После отмены ставропигии Лавра сохранила за собой право самоуправления, в том числе и соборный и владычный суды, им-то и желел быть предан беглый монах.

**Очевидно, подвижник принимал участие в расследовании дела также по просьбе самого подсудимого.

/Прогулки протеста/

8 апреля 1812 года на Печерске военные люди начали размечать местность и назначили рвы для батарей над самими /Ближними/ пещерами. Это митрополиту /Серапиону/, как видно, очень не понравилось, и под 29 мая он записал отзыв какого-то офицера, приехавшего из Брянска с ар-

тиллерийскими лошадьми, что инженерная работа на пещерах обсуждению не подлежит потому, что пещеры оставлены без защиты. Час от часу было не легче.

3 мая начальник Дальних пещер доносил митрополиту, что инженерный генерал Глухов хочет приступать к тому, чтобы на пещерах ломать переходы. Но митрополит не имел никакой власти над инженерами, и ему оставалось только похаживать над пещерами да посматривать, что делают инженеры. Пробовал пожаловаться военному губернатору Милорадовичу, но тот отвечал, что это не его дело, что инженерами заведует какой-то генерал Опперман. Митрополит жаловался, должно быть, кому-то и повыше. Как бы то ни было, 17 июня митрополит получил письмо от графа Аракчеева, и в нем именной указ инженерному генералу Глухову, предписывающий ему иметь всякое попечение о невредимости пещер.

В тот же вечер владыка поехал к пещерам, где Глухов поделал рвы и валы, осмотрел инженерные работы и с торжеством вручил Глухову высочайший указ. (425, 436).



Софийский собор. Гравюра XIX в.

МИТРОПОЛИТ ЕВГЕНИЙ БОЛХОВИТИНОВ

Высокопреосвященный Евгений (в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1767—1837) родился в семье священника в Воронеже. Окончил местную семинарию и московскую Славяно-греко-латинскую академию. Преподавал в Воронежской семинарии. В 1800 году определен префектом Александро-Невской духовной академии в Петербурге. С 1809 по 1822 год управлял рядом епархий. В 1822—1837 годах — митрополит киевский. Проявил себя как деятельный администратор. Занимался благоустройством Лавры (особенно ее Странноприимного дома) и усадьбы Софийского собора. Много внимания уделял Академии. В 1827 г. учредил на проценты от доставшейся Киевской академии по завещанию бывшего канцлера Н. П. Румянцева суммы в три тыс. рублей премию на лучшую работу на заданную самим митрополитом тему (обычно из истории церкви). Она так и называлась — «Премия в честь и имя преосвященного Евгения». Первый научный конкурс среди киевских студентов был объявлен в феврале 1827 г. на тему: «Исследование об Ильинской церкви, в коей присягали Игореви варяго-русьы киевские в 945 году». Первую премию им. митр. Болховитинова (в сто руб.) получил Ефим Остромысленский. Его работа «О древнейшей киевской церкви св. Илии» вышла отдельным изданием в апреле 1830 г. в типографии Лавры и особен-



ного научного значения не имела, но среди других премированных работ встречаются и серьезные исследования, к которым нередко прибегают теперешние историки Киева (напр.: иер. Антонин. Киево-Подольский Успенский собор. — К., 1891; А. Георгиевский. Киево-Подольская церковь Николая Доброго. — К., 1882). В 1833 г. митрополит удвоил капитал, от которого начислялась премия, за свой счет, и с тех пор звания болховитиновских лауреатов удостаивались не только студенты, но и профессора, напр. прот. Пушнов и прот. И. Сковорода. Болховитинов дружил и сотрудничал с украинскими историками и археологами — М. Берлинским, К. Лохвицким, М. Максимовичем и др. Был инициатором раскопок памятников великокняжеской эпохи, написал историю Софийского собора и Лавры. В научных кругах известен как выдающийся историк и библиограф, автор словаря русских духовных писателей (1818). Действительный член

Российской академии, почетный член Медико-хирургической академии, Общества любителей наук, словесности и художеств, «Беседы любителей русского слова», Общества исто-

рии и древностей российских при Московском университете, Александровской духовной академии и многих других научных учреждений и обществ.

Когда владыка, назначенный митрополитом, подъезжал в первый раз к Киеву, то братия Лавры послала для него к Днепру так называемую царскую карету, которая почти вся была из стекол, так что владыка весь был на виду. (Существует ли еще эта карета? Любопытно бы взглянуть на нее). По хрупкости материала, опасаясь разбить ее, владыку везли почти шагом. Народ глазел не столько с почтением, сколько с забавным любопытством. По горе да по песку поездка длилась долго. Выйдя из кареты у Лавры, владыка остановился, посмотрел с изумлением на необыкновенный экипаж и, обратясь к лаврянам, спросил их: «В чем это заставляли вы меня ехать? Разве я какой лазаретный?» Смутилась братия, не думавшая, конечно, в простоте сердца, чтобы ее затея, которою она хотела почтить своего нового архипастыря, поставится ей в вину. Поклонясь святыне лаврской, владыка из церкви зашел на несколько минут в настоятельские покои и потом потребовал себе другой экипаж для проезда в Софийский собор.

(131).

Не терпя никакой пышности и избытка, он довольствовался самым малым, и тотчас же по прибытии своем в Киев приказал уничтожить обширнейшую деревянную залу, устроенную в Киево-печерском дворе для приема многочисленных посетителей.

Когда начальство Печерской лавры, ожидавшее приезда своего архипастыря, послало к перевозу через Днепр царскую вызолоченную карету, митрополит с неудовольствием принял такой знак почтительной предупредительности и потребовал другой экипаж для отъезда в Софийский собор.

(22, 172).

Братия просила его остаться в Лавре, где уже готов был обед для него, и не скудный по обычаям тех времен, но владыка сказал им: «Нет, поеду в Софийский дом, там мне экононом приготовит какую-нибудь уху — я и тем буду доволен», и немедленно уехал.

Через несколько дней он потребовал к себе /из Лавры/ счет по изготовлению обеда, проверил его и кончил тем, что распорядившегося обедом смотрителя настоятельских покоев иеромонаха Амфилохия счел неспособным к возложенной на него должности и отставил.

(131).

Через несколько дней по приезде в Киев владыка нарочито желал посетить Лавру. Там приготовились как следует, не забыли и закуски. Приехав в митрополичий дом, владыка принялся прежде за закуску, а потом был в святых пещерах. Переглянувшись изумленная братия и смутилась: вот-

де и у великих людей какие бывают странности! Один из сопровождавших владыку лаврян даже написал об этом в Петербург к знакомым. Как-то узнал об этом и архипастырь, он нисколько не посетовал на нескромного, но в то же время не счел и себя виновным: благоговение к святыне он считал неотъемлемою принадлежностью человека на всякое время и на всякий час; совесть не мешала ему пойти к святым мощам и после принятия пищи. Но он видел, что этим примером соблазняются братья меньшие, что он послужил им невольной причиной толков и обсуждения, и в этом смысле признавал себя виноватым, но при этом заметил наместнику Лавры: «Что ж вы меня не предварили? Я почем знал, что у вас по закуске не ходят в пещеры?» Тем дело и кончилось.

(133).

Т о же скоро после своего приезда в Кий владыка опять прибыл в Лавру, где на тот день был приготовлен и скромный обед для него. Когда ходил он в Великой церкви, аклисиарх Гимнасий предложил ему сойти в склеп (находящийся в приделе святого Иоанна Богослова) ко гробу святителя Павла Тобольского, которого он еще не видел. Владыка согласился. И когда перед ним поднята была крышка и явилось целокупное, нетленное тело святителя, как накануне усопшего, владыка до того был поражен, что не мог скрыть своего смущения и изумления. Глубоко безмолвный вышел из склепа, долго был задумчив, во время обеда мало кушал и, вопреки обычаю, мало говорил.

(133).

С ловарь этот*, произведение митрополита Евгения, подарен им. Г. Снегиреву и дополнен последним, но, к сожалению, читатели наши предпочитают романы и сказки полезным сочинениям; книга, которая должна бы служить украшением библиотек и вместе необходимою принадлежностью всех желающих знать отечественную литературу, долго оставалась изданною только по литеру Д, потому, что никто ее не покупал.

(27, 8).

* «Словарь русских светских писателей» Евгения Болховитинова.

/Митрополит и украинские думы/

М итрополит Евгений любил входить в сношения с польскими учеными и литераторами, особенно до времени Польского восстания 1831 г., когда к полякам вообще чувствовалось больше доверия и дружелюбия со стороны русских. Так, есть предание, что в конце 1820-х годов митр. Евгений вел знакомство с известным польско-украинским поэтом Тымком Падурою, уроженцем Киевской губернии. В одном польском журнале вот что говорится об этом: «Проживая у польских панов, Падура рылся в архивах и изучал прошлое Украины. Но наиболее ему доставили материала богатейшие рукописные собрания митр. Евгения Болховитинова, мужа в свое время великого и необыкновенного знания и собирателя памятников старины, который охотно принимал у себя Падуру, угощал его в своем доме по несколько недель и снабжал его из рукописных своих

собраний разными сведениями, которые со временем выработали в Томаше самостоятельный взгляд на историю Украины, Польши и всей Славянщины и на котором он основал после свои поэтические создания, именно думы «Конашевич», «Мурашка», «Рожинский», «Серко», «Тетера» и «Роман из Коширы»: последнее взято просто из народных преданий. После этих его сочинений чувствуется какой-то смутный жал* над убежавшим прошлым Украины.

(310, 141).

* Жал — украинизм, — печаль, сожаление.

Будучи чересчур взыскательным, /ректор/ Иеремия /Соловьев/ назначил однажды к исключению из семинарии 18 учеников за то, что они, во главе со своим старшим*, Михаилом Плетенецким, вместо рожи** отправившись гулять за Днепр, где их застала страшная буря с дождем, и они вынуждены были, перевернув лодки вверх дном, просидеть под ними в холоде и голоде три дня, чем привели семинарское начальство в большой переполох и излишние хлопоты по их разысканию. Но митрополит Евгений, приняв во внимание находчивость и благоразумную распорядительность юношей в несчастном случае, не согласился на их увольнение и сказал ректору:

— Я собираю, а ты хочешь расточать?

А что митрополит Евгений действительно заботился о том, чтобы привлечь в школы побольше не только детей духовенства, нохотню вообще отдававшего в науку детей своих, но и детей светских лиц, можно заключить из того, что почти на каждом публичном экзамене перед ваканциями впускал семинаристам, отправлявшимся домой, приглашать и заохочивать к поступлению в духовные училища детей не только причетнических***, но и светского звания.

(330, 191).

*Старший — староста по комнате в ученическом общежитии, отвечавший за соблюдение порядка.

**Первого мая (и позже) семинаристы и академисты выходили на «банкет духовный» (гуляние) в Шулявскую рожи при загородном доме митрополита.

*** Причетническими детьми названы здесь те, родители которых числились в церковном причте (штате церкви).

В жизнь свою деятельный, во всем образец, во многом неподражаемый, митрополит Евгений отличался некоторыми особенностями как в служебной, так и в домашней своей жизни.

Он вставал обыкновенно в 4 часа утра и после молитвы немедленно принимался за дела, сам непосредственно рассматривая каждое из них, как бы ни было оно обширно и запутано; для этого от секретарей своих он требовал подробнейших выписок и мгновенно замечал опущение малейшего обстоятельства, относящегося к делу. Докладов не любил никаких, а сам читал бумагу и тут же полагал резолюцию, отличавшуюся необыкновенной точностью и ясностью/.../ В 7 часов, подкрепившись чашкой чаю с просфорой, он выходил к посетителям и принимал от них раз-

ные бумаги; на иные отвечал в то же время, другие уносил с собою в кабинет и немедленно давал им надлежащий ход. К 12 часам он оканчивал свои занятия и садился за стол, состоявший из самых простых и непривлекательных блюд /.../ После обеда он ложился отдыхать и спал часа два крепким сном, а проснувшись, тотчас принимался за ученые занятия. В 10 часов вечера непременно уходил на покой.

Находясь в самых дружеских отношениях с покойным генерал-фельдмаршалом князем фон-дер-Остен-Сакеном, митрополит проводил с ним время в разговорах и воспоминаниях о славных деяниях, которыми так богата была жизнь престарелого вождя сил русских; других знакомств у него было немного. Зато все знаменитые своею ученостью мужи более или менее были его друзьями. Он переписывался с Державиным, который в литературной своей деятельности охотно руководствовался его советами, безотказно разрешал темные исторические вопросы по просьбе ученых, подобных барону Розенкампу; указывал нашему историографу Карамзину на древности и замечательнейшие места из летописей, знакомых ему до последней буквы.

(22, 170—171).

В 40-х годах лаврская братия, свято еще помнившая митрополита Евгения, часто любила рассказывать один случай из его жизни, в котором она видела необыкновенную прямоту и смелость владыки.

Приехал в Киев накануне воскресного дня император Николай. Встретив и проводив его по святыне, владыка, прощаясь с ним у ворот, спросил:

— Ваше величество, прикажите ли ожидать вас завтра к обеду?

— Нет, преосвященный, не могу: troppoльсь выехать; отслушаю обедню в домовой церкви, — ответил государь.

— Ваше величество, я — старый поп, отслужу вам скоро!

Государь улыбнулся и обещал приехать. Митрополит на другой день отслужил обедню в три четверти часа.

(132).

Митрополиту Евгению приписывают «эпиграмматический анекдот», наглядно характеризующий его взгляд на отношения тогдашних киевских монастырей:

«— Из какого монастыря, батюшка?

— С Братского, — смиренно отвечает черноризец в запыленной рясе и с загорелыми руками без перчаток.

— А вы из какого?

— С Михайловского, — говорит протяжно отец, сбрасывая перчатку и открывая белую и полную руку, чтобы благословить.

— А вы, отче святой, из какого монастыря?

— Спытай хлопца, — отвечает монах лаврский обыкновенно полный и не щедрый на разговоры».

(20, 316).

Поклонник науки, всю жизнь свою посвящавший утомительным изысканиям, Евгений был чужд всякого педантизма, рассыпая в речах своих драгоценные заметки, он говорил так просто и обыкновенно, будто в них не было ничего ученого, ни редкого.

Ум его, настроенный самым положительным образом, отвращался от всяких

трансцендентальных воззрений и высших взглядов, которые он преследовал одному ему свойственным сарказмом.*
(22, 171–172).

**Аскоценский намекает на отношения митрополита с масоном И. Р. Мартосом, жившим одно время в Лавре с согласия владыки Серапиона. Оттуда его выжил Евгений Болховитинов своим сарказмом.*

/Царский сад — позорище/

Киевский военный генерал-губернатор П. Ф. Желтухин 15 апреля 1828 г. писал митрополиту киевскому Евгению:

«По приезде моем в Киев в беседке Государева сада найдено мною множество начерченных карандашных знаков и, в особенности, стихов, показывающих вольнодумство и безнравственность. Хотя стены по поводу сего были перекрашены, но надписи начали показываться по-прежнему.

Вчерашний день, обозрев лично Государев сад, я видел в беседке двух студентов духовного ведомства, которые, заметив меня, тотчас скрылись, но в то же время на стене я нашел недокументную надпись, весьма неблагопристойную по своему содержанию.

Желая отвратить всякое нареkanie насчет людей, принадлежавших к духовному званию, я долгом поставил покорнейше просить ваше высокопреосвященство, не благоугодно ли будет приказать, чтобы воспитанники духовных учебных заведений для гуляния в саду пускались бы не иначе, как под надзором старших, сообразно примерам прочих учебных заведений».

Этот запрос повел к целому расследованию «об образе мыслей академиков и о ходящих из них в Государев сад, но ни по тому, ни по другому не открылось никакого на них подозрения», а 14 апреля 1828 г. никто из академиков и не мог быть в саду, потому что до обеда они «занимаемы были классическим делом», а вечером были все у всенощной. Правда, 13 апреля больной академик Бойков, по совету лекаря, прохаживался по саду, но начальство /академии/ рекомендовало его весьма скромным и благомыслящим.

«Впрочем, — писал далее высокопр. Евгений П. Ф. Желтухину, — для предотвращения впредь подозрений на академиков, я предписал академии и семинарии обязать подписками всех своих наставников и учеников не ходить никогда в Государев сад. Ибо и правилами св. Отца запрещено ходить духовным людям на позорища; а ваше превосходительство покорнейше прошу приказать полиции замечать ходящих туда вопреки моего запрещения и мне записками давать знать».

Было ли снято это запрещение — неизвестно.

(259, 17–18).

Бывал у нас на публичных экзаменах и митрополит Евгений, имевший обыкновение плевать при разговоре почти за каждым словом, а особенно когда рассердится — все тыфу да тыфу... Не любил владыка, чтобы профессоры на экзаменах вмешивались в ответы учеников, а потому в его присутствии на экзаменах бывала всегда замечательная тишина. Митрополит Евгений задавал иногда экзаменуемым такие богословские вопросы, которых те не в состоянии были разрешить; тогда он предлагал те же вопросы на разрешение кому-либо из наставников или сам разрешал.
(329, 107).

МИТРОПОЛИТ ФИЛАРЕТ АМФИТЕАТРОВ

Митрополит Филарет (в миру Федор Георгиевич Амфитеатров) (1779—1857) родился в семье сельского священника Орловской губернии. Пострижен в иноки под именем Филарета в 1798 году, в 1841 г. принял схиму и наречен в честь великого лаврского игумена XI ст. Феодосием. Епископ с 1819 года, с 1826 года — архиепископ, с 1836 года — митрополит. До назначения в Киев служил ректором Московской духовной академии, попеременно управлял епархиями: Калужской (с 1819 г.), Рязанской (с 1825 г.), Казанской (с 1828 г.), Ярославской (с 1836 г.). Митрополит киевский с 1837 по 1857 год. Отличался истинно монашеской простотой, кротостью и добротой. Будучи киевским владыкой, находил для себя возможным не считаться с волей св. Синода, царя и генерал-губернатора, если находил их действия несовместимыми с древними установлениями православной церкви. Настоячиво, но безуспешно пытался вернуть монахов вверенной ему Киево-Печерской лавры к неотступному следованию правилам древнего Студийского устава (нестяжательство, трудолюбие, подражание Христу в бедности, изнурение плоти, ночные молитвенные бдения, странноприимство, помощь нуждающимся и больным и т. д.).

Возродил традицию схимничества в Киеве. (В 1838 г. посвятил в схиму своего друга и сподвижника монаха



Пафнутия, прославившегося под именем Парфения.)

Владыка Филарет возродил в Киеве исихастское движение (молитвенное уединение, молчание, непрерывная Иисусова молитва, достижение состояния внутреннего озарения, дающего подвижнику дар видений истинной, духовной сути явлений земной жизни). Возобновленные при нем и его учениках Голосеевская и Китаевская пустыни снискали славу «киевского Афона».

Владыка слыл суровым консерватором, но в то же время любил разумную, живую беседу, обладал даром рассказчика и нередко поражал слушателей своеобразным юмором и оригинальностью суждений. О вкусах и нравах киевского владыки еще при жизни ходило немало слухов и толков. Некоторые из преданий о Филарете записал Н. Лесков, причисливший его к киевским «антикам», т. е. героям городской молвы. В 1866 году племянник митрополита, архиепископ казанский и свияжский Антоний

Амфитеатров поручил бывшему воспитаннику Киевской духовной академии, архимандриту Зилантова монастыря в Казани отцу Сергию Василевскому написать жизнеописание своего знаменитого родственника. Так возникла фундаментальная трехтомная монография «Высокопреосвященный Филарет, в схимничестве Феодосий (Амфитеатров),

митрополит киевский и галицкий и его время» (1881), в которую наряду с архивным материалом вошло немало легенд, преданий и анекдотов, записанных пытливым исследователем со слов киевских старожилов в 1867 году. Большая часть историй заимствована нами из этого богатого источника городского предания.

1. НАСТАВЛЕНИЯ И ОБЛИЧЕНИЯ ВЛАДЫКИ

/Добро — дело безотлагательное/

У владыки после обедни один архимандрит, говоря о своих обидчиках, промолвил:

— Ну, на том свете за все ответ, и я скажу тогда: «Вот вы мои обидчики».

А св. владыка сказал:

— Зачем, отец, отлагать так надолго, до того света? Ты прости их теперь же, здесь, — и делу конец.

(58, 634).

/Убегать от Бога или прибегать к Богу/

Служение владыки в Флоровском женском монастыре и обед у игуменьи. Одна старица обратилась к владыке со скорбным вопросом:

— Что-де делать на случай опасности от нашествия на Киев врагов? (Это было 22 окт. 1854 г.)*

Прежде, чем владыка успел что-либо сказать, игуменья сказала вопрошавшей:

— Куда, мать, убежишь от Господа?!

Владыка же заметил:

— Не то, что некуда бежать, но и не следует бежать от Господа, а нужно прибегать и припадать к нему единому.

(58, 635).

**В начале Крымской войны ходили слухи о возможном нападении турецкой армии на Киев.*

/Дьявол и водка/

Случалось, читаем в дневнике отца наместника — при докладах о некоторых братиях говорить в некое извинение, что тот или другой из них трезв, воздержан и т. п. Но владыка всегда с особенною силою замечал:

— Да что в этом?!.. И дьявол трезв, не пьет и не ест... Несносно ослушивание.

(58, 329).

/Пьяный хуже пса/

В дневнике наместника лавры читаем следующий факт: «Св. владыка служил. После обедни в своих покоях, куда собрались на чай все служившие лица, бывшему тут же одному архимандриту-старикам сказал:

— Чайку сколько угодно кушай, а о водочке твоей любимой теперь и не помышляй, — грех в эти дни (Великого поста), — надо потерпеть.

Старик по старине имел смелость заметить, что хорошо иногда подкрепиться, но владыка сказал:

— Если на чтение страстей придеши подкрепясь, то вею выслать...

А между тем рассказал ему при всех вот такой случай:

«К преосвященному митрополиту /московскому/ Платону некогда явился один приходской священник и с беспокойством душевным говорит:

— Прости, владыко святой! Буди твоя воля, что бы ни было, но я должен сказать вину свою. В прошлое воскресенье я служил обедню, и в это время по недосмотру вбежала в церковь собака к крайнему моему и всех православных смущению... Что мне делать? Виноват.

— Да, — сказал архипастырь, — это нехорошо, неосторожно, впредь надобно закрывать церковные двери... Но скажи, отец, по совести, как перед Богом: не случилось ли тебе входить в св. алтарь выпивши по немощи человеческой и притом не в меру?

— Не могу утаить, случилось, к стыду моему и на грех мне...

— Ну так впредь остерегайся этого еще более... Знай, что войдя во св. алтарь в нетрезвом виде, ты гораздо хуже того пса, который вбежал в церковь».

(58, 279—280).

/О праведности архиереев/

В записках отца наместника* помещен рассказ под заглавием «Рассказ владыкою притчи». Сказана была эта притча вслед за тем, когда владыка однажды выслушал для проверки чтение своего собственного формулярного списка.

— А что? Пропустят с таким аттестатом в царствие-то небесное? — спросил владыка по окончании чтения. Затем, сказав: «Да. Здесь для людей это довольно, а как там-то, пред Богом!», начал следующий рассказ:

«К апостолу Петру в одно время пришло много простых незнатных, но богоугодных, и молили они его отворить им двери Царствия. Но св. апостол повелевает им подождать. Просьба через некоторое время повторяется, но от апостола опять отказа. Через некоторое время убогие опять умоляют пустить их. Но апостол тоже заповедует ждать.

Но вот вдруг посылался говор: «Архиерей идет!» Тогда апостол встретил его и поспешив отворить двери Царствия, простецам снова сказал отступить в сторону и еще ждать.

Тогда простецы сказали:

— Вот мы думали, что только на земле так, и надеялись, что по крайней мере на небе будут к нам справедливее и милостивее. Но видим и тут то же.

Тогда св. апостол, успокаивая их, сказал:

— Как неправильно вы судите. Ведь каждый день мне приходится принимать и

провождать вас к царю небесному во множестве, а архиерея-то когда-когда придет-ся встречать из всего их множества».

«Это, конечно, притча, — замечено в записках отца наместника, — но под нею скрывается много истины».

(58, 365—376).

**Наставник Лавры Иоанн (впоследствии архиепископ полтавский) вел свои записки о Филарете с начала 1850-х гг. Автор цитируемого отрывка игумен Сергий Василевский пользовался его рукописью.*

/Умница-протестантка/

Еще ребенком, у себя в Орловской губернии, откуда покойный митрополит /Филарет/ был родом и потому в более тесном смысле был моим «земляком», я слышал о нем, как о человеке доброты бесконечной /.../

Лично я его увидел в первый раз в доме председателя казенной палаты Я. И. П., где он мне показался очень странным. Во-первых, когда все мы, хозяева и гости, встретили его в зале (в доме П. на Михайловской улице), он благословил всех нас, подошедших к нему за благословением, и потом, заметив оставшуюся у стола молодую девушку, бывшую в этом доме гувернанткой, он посмотрел на нее и, не трогаясь ни шагу далее, проговорил:

— Ну, а вы что же?

Девушка сделала ему почтительный глубокий реверанс и тоже осталась на прежнем месте.

— Что же... подойдите! — позвал митрополит.

Но в это время к нему подошел хозяин и тихо шепнул:

— Ваше высокопреосвященство, она — протестантка.

— А!.. Ну что же такое, что протестантка: ведь не жиновка же (sic).

— Нет, владыка, — протестантка.

— Ну, а протестантка, так подойди сюда, дитя, поди, девушка, поди; вот так, Господь тебя благослови: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

И он ее благословил, и когда она, видимо, сильно растрогавшись, хотела, по нашему примеру поцеловать его руку, он погладил ее по голове и сказал:

— Умница!

Девушка так растрогалась от этой, вероятно, совсем неожиданной его ласки, что заплакала и убежала во внутренние покои.

Впоследствии она не раз ходила к митрополиту, получала от него благословения; образки и книжечки, и кончила тем, что перешла в православие и, говорят, вела в мире чрезвычайно высокую подвижническую жизнь, и всегда горячо любила и уважала Филарета.

(233, 98—99).

2. ЦЕРКОВЬ И ВЛАСТЬ

/«Что мне Петербург?»/

Но в этот же самый визит его /митрополита Филарета/ к /председателю казенной палаты/ П. он показал себя нам и в

ином свете: едва он уселся в почетном месте на диване, как к нему подоседалась свояченица хозяйина, пожилая девица, и пустилась его «занимать».

Вероятно, желая показать свое светскостью, она заговорила с сладкою улыбкою:

— Как, я думаю, вам, ваше высокопреосвященство, скучно здесь после Петербурга?

Митрополит поглядел на нее и, — Бог его знает, — связал ли он этот вопрос с историею своего отбытия из Петербурга* или так просто, — ответил ей:

— Что это такое?.. Что мне Петербург? — И отвернувшись, добавил: — Глупая, право, глупая.

Тут я заметил всегда много слышанную разницу в его интонации: он то говорил немножко надтреснутым, слабым старческим голосом, как бы с неудовольствием, и потом мягко пускал добрым стариковским баском: «Что мне Петербург?» — это было в первой манере, а «глупая» — баском.

Первое это впечатление, которое он на меня произвел, было странное: он мне показался и очень добрым и грубоватым.

Впоследствии первое все усиливалось, а второе ослабевало.

Потом, я помню, раз рабочий-штукатур упал с колокольни на плитяной помост и расшибся.

Митрополит остановился над ним, посмотрел ему в лицо, вздохнул и проговорил ласково:

— Эх ты, глупый какой! — благословил его и пошел.

(233, 99—100).

**«Филарет киевский» и «Филарет московский» выступили в Синоде против секуляризации церковного образования и были уволены из его заседания.*

/Идолы и храмы/

/Митрополит Филарет говорил/: — Св. равноапостольный князь Владимир разрушал идолов и воздвигал св. храмы, а в честь его хотят воздвигнуть статую, почти что-то идолообразное же... Кто же будет освящать такое сооружение?! По крайней мере я не соглашусь совсем...

Заметим, что он сдержал свое /.../ слово, так что памятник, строго говоря, остался навсегда без освящения.* Можно почтеть за освящение его разве только то, что со времени учреждения торжественного крестного хода 15 июля (с 1860 г.) церковная процессия, между прочим, совершает свое шествие около этого памятника с отправлением на этом месте краткой литии.

(58, 409).

**До 1853 г. в Киеве не было памятников со скульптурными изображениями. В память святых возводили храмы, называвшиеся их именами. Протестуя против первого киевского памятника в новом европейском вкусе, митрополит отказался освящать его, сославшись на то, что в установлениях православной церкви нет на то соответствующего «чина» (обряд). Он предложил вместо памятника воздвигнуть Владимирский собор, что и было впоследствии сделано.*

/Твердыня или святыня?/

Владыка Филарет, несмотря на всю свою кротость и истинно христианское смирение, любил иногда выказывать самостоятельность. Так, известно, что в 1853 году он решительно отказался освящать памятник св. кн. Владимиру, сказав, что св. кн. Владимир ниспровергал идолов, а ему сооружают новый истукан.

Менее известен ответ, данный им императору Николаю Павловичу по поводу сооружения киевской крепости и слышанный нами от покойного редактора «Киевской старины» Ф. Г. Лебединцева.

Когда была закончена постройкой крепость, государь в первый за тем приезд в Киев подробно осматривал укрепления и остался очень доволен всеми сооружениями. Посетив затем в Лавре митрополита, он в разговоре между прочим сказал:

— Ну, теперь я надеюсь, что ваши святыни достаточно охраняются нашими твердынями.

— А я, ваше величество, думаю, — возразил митрополит, — что наши святыни будут охранять ваши твердыни.

Государь ничего не сказал на этот рискованный, хотя остроумный ответ старика-владыки, но, видимо, остался недоволен.

(227, 214—215).

/Митрополит-реставратор/

Покойный владыка Антоний рассказывал, что высокопреосвященный Филарет для большего удобства при хождении по разным подмосткам /реставраторов Софийского собора/ устроил для себя особый костюм, так что полы рясы и подрясника и самые рукава рясы подбирались на шпурках.

(58, 418).

/Травля «старика»/

Производившимися в ту пору /в 1843—1844 гг. — А. М./ работами по возобновлению живописи в Великой лаврской церкви государь остался недоволен, а святейший Синод даже постановил было сделать за эту работу митрополиту /Филарету/ выговор. Выговора, впрочем, не последовало, т. к. государь написал на докладе:

«Оставить старика в покое. Мы и так ему насолили»*.

(227, 212).

*Особое рвение в критике реставрационных работ в Успенском соборе проявляли генерал-губернатор Бибиков и его окружение. Они стремились показать себя истинными ценителями православной старины и тем самым угождать императору.

/Ученики Богородицы/

Когда возобновляли великую церковь Киево-Печерской лавры, местные художники закрыли старинные фрески новой живописью, масляными красками. Это считалось и тогда преступлением, а потому бы-

ла назначена комиссия, и Синод постановил митрополиту Филарету сделать выговор. Государь написал на докладе: «Оставить старика в покое. Мы и так ему насолали»*.

В первый затем присезд государя в лавру митрополит Филарет после обычного молебствия, указав на группу чернецов, сказал:

— Вот, ваше величество, художники, расписавшие храм.

— Кто их учил? — спросил государь.

— Матерь Божия, — отвечал простодушно владыка.

— А!.. В таком случае и говорить нечего, — заметил государь.

(235, 28).

**Синод издал указ о бережном отношении к старине, где содержались намеки на грубые ошибки и недопустимые промахи в реставрации росписей Успенского собора Лавры, производившейся под руководством митрополита Филарета, но присланный для надзора над работами академик Солнцев нашел результаты реставрации вполне приемлемыми, на чем тягостное для владыки дело закончилось.*

Митрополит киевский Филарет говорил однажды проповедь во время обедни. Бывший тогда генерал-губернатором Д. Г. Бибииков позволил себе в это время разговаривать с каким-то генералом. Филарет, обернувшись к нему, сказал:

— Или вы говорите, а я буду вас слушать, или вы молчите, я буду говорить.

Затем он продолжал прерванное поучение.

(136, 368).

/Любовь владыки к украинскому языку/

Преосвященный Филарет Амфитеатров, будучи митрополитом киевским, любил малорусский язык. Так, когда в Институте благородных девиц начальница хотела было переменить тамошнего законоучителя протоиерея Никиту Дашкевича* за то, что он, как украинец, выражался иногда в обращении с сослуживцами обычным малорусским языком, то митрополит Филарет сказал:

— Экой ведь этот люд женский капризный и прихотливый! Вот изволь для них хоть переродиться! Не нравится, видишь, им говор малороссийский... Какой бы им больно хотелось бы слышать? Небось, лучше бы нравился им, пожалуй, вроде польского прищипликанья... Напротив, язык-то малороссийский во многом близок к церковно-славянскому, да в выражениях он — сжатый, но многосодержательный.

И не согласился приснопамятный старец-митрополит на увольнение протоиерея Дашкевича из института.

(58, 264).

**Дашкевич Никита Филиппович родился в семье священника Киевской губернии. Окончил Киевскую духовную академию. В 1844 г. рукоположен митр. Филаретом в священники. С 1845 г. — священник Успенской церкви на Подоле при настоятеле П. Максимовиче. Летом 1846 г. назначен священником*

в Институт благородных девиц. С 1857 г. — настоятель подольского собора — подольской Успенской церкви. — все еще сохранявшего в те годы традиции подольской соборности, т. е. автономности духовенства Киево-Подольской (Киевской Магдебургии), установившейся здесь во времена правления по Магдебургскому праву. В 1859 г. митроп. Исидор возвел его в сан протоиерея подольского собора. Осенью того же года он избран подольским благочинным. В 1872 г. Дашкевич перешел в Ильинскую церковь. Умер 1 декабря 1880 года.

3. РЕЛИГИЯ, НАУКА И ФИЛОСОФИЯ

/Имена и «клички»/

/.../Ревнитель богословской истины — архипастырь резко и строго выражался о философских терминах и трактатах, где ему противны были не только философские формулы, но даже сами имена какого-либо Спинозы, Гегеля, Фихте, Шеллинга*.

Владыка однажды на экзамене как бы про себя, но вполголоса сказал: «Фи, какие имена! Истинно не человеческие, а как-будто — клички, какие дают животным».

(58, 168).

*В первой половине XIX века консерваторы видели в философии опасного соперника богословия, в Российской империи дело дошло до уничтожения философских кафедр во всех университетах (в 1850 г.).

Рассказ отца Лаврентия /профессора Д. М. Макарова/

На экзаменах в Академии присутствовал владыка. Митрополит всегда с участием и обстоятельно испытывал знания студентов, но некоторые предметы слушал как бы нехотя, особенно учение новейших германских философов. Иногда ответившему по этой статье студенту советовал не стараться саншжом, чтобы помнить, что он так усердно заучил...

Однажды же, когда шла речь на экзамене о древних философах, владыка вдруг подозвал десятилетнего мальчика из присутствующих на экзамене (публичном) и, заметив, что древние философы не знали тех высоких истин, какие знают у нас даже дети, велел малютке прочитывать символ веры.

В другой раз, когда студент особенно твердо и бойко передал биографию Сократа, владыка спросил: «А можешь ли ты так же твердо и подробно передать жизнь, например, св. апостола Павла?»

(58, 164).

Современных философов не признавал митрополит Филарет. В лице их, по его замечанию, Бог обратил премудрость мира сего в безумие (1 кор. 1, 20). Особенно ненавистно ему имя Гегеля, который тогда имел первенствующий авторитет в германской философии и которому поклонялись многие из нас.

На екзамене на нашому курсі одному з наших студентів (Николаю Конюкотину, одному з видних студентів курсу) достался білет із історії філософії о Гегелі. Зная, що митрополиту крайнє не правитися Гегель, он начал своеобразно излагать систему Гегеля, нимало не заботясь о точности, а, может быть, и не зная ее хорошо. Начав говорить о Гегеле, он прежде всего замечает, что у Гегеля все основывается и развивается по трюйственной системе или формуле, которая состоит из положения, отрицания и утверждения. У него бытие переходит в небытие и превращается в бывание, «я» переходит в «не я», и выходит новое «я».

Слушая такие положения, митрополит с негодованием замечает:

— Ну, что это? Сумасшедший! Так может говорить только сумасшедший. И этого сумасшедшего философа хотят иметь своим руководителем!..

Одобрений таким замечанием митрополита студент смело стал продолжать изложение мировоззрения Гегеля, не боясь, что он скажет какую-нибудь нелепость /.../

— Довольно, хорошо, — говорит митрополит. — Чем меньше будете знать такую философию, тем лучше.

(306, 146).

— Гегель був останній філософ ідеального прямування, — знов почав одвічати /студент академи. — А.М./ Воздвиженський.

— Останній? — перепитав його митрополит, — ну, слава тобі Господи, що останній, і коли б їх уже більше й не було. І чи вмер уже?

— Вмер...

— Вічний покой його душі, коли вона того заслужить, — промовив митрополит, засміявшись, і за ним засміялася вся конференція, а за нею і всі студенти.

(283, 39).

Воздвиженський взяв білет, йому вийшов Гегель. Він почав розказувати його систему, дуже темігу, і почав збиватись.

— Годі, годі! — промовив митрополит. — А розкажи, як учив Гегель про Христа і християнство?

Воздвиженський почав розказувати, що Гегель мав філософію за перший ступінь абсолютної ідеї, що релігію він ставив нижче, а Христа мав за чоловіка, котрий перший в світі зрозумів собі тосамість бога з чоловіком, і почав знову збиватись.

— Ну, чого ж ти плутаєшся? — сміявся митрополит. — Адже ж Гегель був єретик?

— Єретик, ваше високопреосвятителство, — потакав Воздвиженський.

— Значить, він був дурень!

— Був дурень, ваше високопреосвященство!

— От і добре! За це одно я тобі запишу найбільший бал! — І митрополит насправді записав йому найбільший бал.

— А молитву Христову знаєш? — питав далі митрополит.

— Знаю.

— От це найвища філософія! А ваші німці — Гегелі, Канти, Шеллінги — все то єретики, все то легкодуми! — промовив митрополит, обертаючись до професора філософії.

(283, 38—39).

И по столь трудному предмету, какова история философии, воспитанники времен Димитрия оказались образцовыми знатоками. Так, например, однажды на экзамене, производимом митрополитом Филаретом, один из студентов столь подробно изложил в своем ответе философию пантеистическую Спинозы, что привел старца-первосвященника не только в удивление, но даже в испуг своим отчетливым знанием.

— И ты все это выучил? — спросил студента митрополит. — Забудь, друг мой, забудь тотчас, как выйдешь за порог сего здания.

Зато, когда излагаемо было на экзамене учение кого-либо из отцов церкви, или же предполагалось что-либо из священной и церковной истории, достопамятный святытель наш с сердечным сочувствием говорившему ответ вторил: «Да, да, так, так», присоединяя от себя какое-либо замечание для нас интересное о том, чего еще мы не слышали от профессоров.

Любил владыка испытывать студентов в знании природы: экзамен по физике происходил всегда в физическом кабинете. И старец митрополит наш детски восхищался удачным производством здесь научных опытов.

И нередко происходило на экзаменах митрополичьих, что митрополит приходил в восторг от удивительно правильных ответов студентов и тут же предлагал нашему о. ректору представить профессоров, по предметам коих отвечали удачно, к награде годовым окладом.

(417, 416—417).

Рационализм он /инспектор духовной академии Даниил*/ считал источником всяких заблуждений, влекущих человека на пути погибельные, и от заразы рационализмом, как опасною язвою, он считал священным долгом предостерегать всех, в особенности учащихся юношей /.../ Беды не миновать, если бы он узнал, что кто-либо из студентов заражен рационализмом. И раз такая беда стряслась над двумя студентами XIV курса, товарищами Филарета /будущего ректора КДА и епископа рижского. — А. М./, стоявшими в разрядном списке в первом пятке. Донесли Даниилу, что студенты Правиков и Бочковский — чистые рационалисты. Ужаснувшись, получив такое сведение, Даниил, минуя ректора, доносит об этом митрополиту Филарету, и митрополит приказывает уволить их из академии, хотя им оставалось только несколько месяцев до окончания курса.

(306, 170—171).

**Даниил Мусатов — монах Оптиной пустыни, аскет, ученик старца Леониды. В сане иеромонаха служил преподавателем в Калужской семинарии и пришел в Киев пешком на богомолье. Познакомился здесь с митрополитом Филаретом, который в 1847 г. назначил его экстраординарным профессором. Он читал нравственное богословие. С уходом из академии Авсенева в 1850 году занял его пост инспектора. В 1853 году назначен ректором Екатеринославской семинарии, где вскоре умер от холеры.*

Поведал /ректор Димитрий Муретов/ и о том, что достопамятный Филарет наш милостивый обладал в высокой степени даром испытания «духов, еще от Бога суть» (1 Иоан. 4, 1).

— Дал мне владыка митрополит наш для прочтения, — говорил о. ректор, — сочинение одного из студентов академии Петербургской, присланное к нему на рецензию для утверждения того студента в степени магистра. Прочитавши, принес владыке и говорю:

— Автор заслуживает степень, присужденную ему академией.

— Подлинно ли так, о. ректор, — возразил владыка и присоединил: — Дайте мне сочинение, я вам укажу, что в нем имеется, какие мысли.

Взявши тетрадь, митрополит стал читать ее предо мною и при чтении указал мне действительно такие нечестивые мысли, тонко прикрытые автором, что я изумился, как сам не усмотрел их, и подивился прозорливости владыки.

— Поверьте мне, отец Димитрий, — примолвил к этому святитель, — автор этого сочинения нехорошо кончит жизнь свою.

Опасение владыки оправдалось: по отъезде нашем из Киева, спустя некоторое время услышали мы о несчастной кончине постигшей автора, о котором была речь (погиб самоубийством).

(417, 418).

/Терминологические соблазны/

Преосвященный Филарет приехал на защитное диссертации, в которой разбиралась разница прав детей, прижитых от сожительства *connubium* и *concubinatum**. Митрополит долго крепился и слушал, но, наконец, не выдержал и встал. Насилу упростили его «не слушать диспутанта». Он это уважил, но жаловался:

— Что же, — говорит, — я монах, а только и слышу *connubium* да *concubinatum*. Не надо было звать меня.

И в этом он был прав. Но замечательно: это так и осталось у него в памяти, что он, когда речь касалась университетов, всегда любил за них заступаться, но шуточно прибавлял:

— Одно в них трудно монаху, что все «*connubium*» да «*concubinatum*», а больше все хорошо.

Впрочем из всех так называемых «светских» наук мне известно положительное отношение митрополита Филарета только к медицине. Тяжко страдая мочевыми припадками, он беспрестанно нуждался в помощи врача 3-го и, получив облегчение от припадка, говорил со вздохом:

— Медицина — божественная наука.

(235, 22).

*Речь идет о наложничестве и внебрачных детях. *Concubinatum* (лат.)

— наложничество, конкубина — сожительница.

Было так: Г. Иванишев читал рассуждение о фамильных правах скандинавов и богемцев. Рассуждение было ученое, как не без лобызства можно прочитать в каком-нибудь журнале, но которое для ушей торжественного собрания по местам не могло не показаться скучным. И вот в этом

собрании были люди, коим не понравились некоторые термины, и особенно слово «конкубина», повторявшееся часто.

Владыка раз подозвал меня и сказал: «Что это нас заставляют слушать о конкубинах после того, как мы вышли только из алтаря Господня!» Я старался успокоить владыку и отвечал ему, что это излагает оратор исторически и слово о конкубинах относится к его науке. «Тем, — думал я, — все и кончится» Но не так случилось! Через несколько минут это же замечание, с прибавлением еще нескольких обвинительных слов, повторено было вслух — с обращением к ректору, и речь, не дошедшая до половины, должна была пресечься, а оратор сойти с кафедры. Потом следовало то, что должно было следовать в акте, — и только! Разумеется, что университетские считают себя очень обиженными. Рассуждение и описание акта посланы к министру. Что будет? Думаю, будет легонькое замечание, чтоб избирать для актов предложения, не много отходящие от круга общего и пр. пр.* (373, 473).

**Как видно из мемуаров прот. П. Орловского, дело приняло более серьезный оборот, чем предполагал протоиерей И. Скворцов: «Об этом печальном событии должно было императору Николаю Павловичу, который не замедлил сделать надлежащий выговор университетскому совету» (Орловский П., прот. Мои воспоминания о в Бозе почившем киевском митрополите Филарете 21 декабря 1857 г. // Киевск. епарх. введ. — 1907. — №2. — С.4).*

4. МОЛИТВЕННЫЙ ПОДВИГ

/Желанный бред/

Владыка рассказывал мне с отцом Антоном и потом повторял и докторам:

— Вот я часто по ночам вижу не то во сне, не то в дремоте, будто читаю св. Евангелие или акафисты по книге...

— Это, — ответил один доктор, — воображение или даже просто бред.

— Ну дал бы Господь и во всю жизнь так бредить, — сказал владыка. (58, 637—638).

/Водопровод и праведность/

...Когда /.../ графиня /А. Орлова/ /.../ предлагала было свои услуги и средства на то, чтобы сделать водопровод из Днепра в Лавру и устроить фонтаны в разных местах для облегчения добывания воды для братии, то высокопреосвященный Филарет тогда же, отклонив графиню от ее намерения, сказал, что св. преподобный Феодосий сам носил на своих плечах и не для себя только, а и для других воду, а потому и нам не нужны ни водопроводы и никакие фонтаны... Ведь фонтаны-то орошают, освежают и улаживают плоть, а нам потребны для души такие же фонтаны слезные и потовые от трудов во изнурение плоти, дабы последняя не была госпожой над нами, а рабыней покорной на служение душевному спасению.

(58, 396).

/Филарет думал уйти на покой и поселиться в Голосеевской пустыни. Он говорил/: «Из Голосеевской пустыни, если можно пожелать переместиться куда на жилье, то только разве в Царствие Небесное».
(58, 395).

/По свидетельству наместника Лавры, Филарет не поехал из Голосеева даже на коронацию Александра II в Москву 15 июля 1856 г. Он сказал/:

— Куда мне на коронацию?! Лучше я здесь помолюсь, да я и теперь о них /царе и царице. — А. М./ молюсь, крепко молюсь. А там когда и где молиться-то?
(58, 441).

/Стыд — добродетель верующего/

Приведем еще записанный нами рассказ. Бывший прежде при высокопреподобном Филарете домашним письмоводителем (впоследствии казначей Лавры) говорил о нем с чувством искреннего умиления: «Ах, как был внимателен, или вернее сказать, как духовно прозревал владыка в наши духовные состояния... Случалось, что начинаешь читать какое-либо следственное дело по епархии (ибо владыка от утомления заставлял, бывало, читать ему вслух) и вдруг ни с того, ни с сего он приказывает совершенно прекратить чтение и скажет: «Довольно... Ты заметно устал» или же: «Погоди, об этом деле после выслушаю, а теперь возьми, прочти другое».

Признаюсь, это приводило меня в недоумение, а иногда и щекотало мое самолюбие: верно, думал я, в этом деле есть секрет, и я не заслужил доверия и т. п.

Но оказалось, что он останавливал меня на чтении таких дел и таких пунктов, в которых заключались предметы скандальные. Я же был тогда еще довольно молод...
(58, 344—345).

5. СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ К СЛАБОСТЯМ И ПРОМАХАМ БЛИЗКИХ

/Бегство от пьянства/

В праздник святого преподобного Антония (10 июля) высокопреосвященный Филарет возвращался вечером поздно в Лавру в Голосееву пустынь. Оказалось, что кучер, форейтор и сам лакей были не трезвы, так что, выехавши за город, сбились вовсе с дороги. Владыка, естественно, сначала не заметил их путанья по полю. Когда уже смеркалось совсем, и судя по времени, должны давно быть дома, он понял, что дело неладно, и понял, в чем причина.

Ехавшие кружили туда и сюда около леса и наконец совсем остановились. Владыка все время хранил молчание. С рассветом же, когда оказалось, что кучер и лакей заснули, он вышел из кареты и, зная местность, отправился пешком в пустынь. По пути встретивши ехавшего крестьянина, попросил его довести себя несколько, затем, поблагодаривши деньгами, он указал ему место, где остановилась его каре-

та, и просил ехать туда, разбудить спавших и сказать им, чтобы они поспешили догнать его.

Легко представить, каково было состояние провинившихся. Но владыка не показал и тени гнева, а только сказал простодушно:

— Вот верная поговорка: не гадавай вперед, а как Бог приведет. Думали быть дома вчера, а приезжаем сегодня.

Когда этот проступок стал известен кому следует и по тогдашнему обыкновению хотели наказать виновных, высокопреосвященный Филарет запретил и велел предать вину совершенному забвению. Виновные же, не свободные прежде от слабости по части хмельного, сделали с той поры примерно воздержанными и исправными.

(58, 347).

/Владыка на карауле/

Иван Васильевич Гудовский — сын казачка из г. Пирятина*. Он в отрочестве своим был привезен в Киево-Печерскую лавру и, во внимание к замеченным в нем художественным наклонностям, отдан для научения живописи в лаврскую иконописную мастерскую. Мастерскою этою /.../ тогда заведовал иеромонах Иринарх**, художественные способности которого многих не удовлетворяли. Иринарху ставили в вину, что «кисть его над смертными играла»; он имел удивительное несчастье всех писать «на одно лицо» /.../

«Раз, — говорил Гудовский, — мы /ученики-иконописцы/ работали летом, внизу под митрополичьими покоем, и там после обеда и отдыхали, отец Иринарх, бывало, пообедавши, остается уснуть в своей келье, а мы, ребятишки, находили, что нам лучше тут, потому что здесь было прохладнее, да и присмотра за нами не было, а самое главное, что отсюда из окон можно было лазить в митрополичий сад, где нас соблазняли большие, сочные груши, называемые в Киеве «принц-мамамы», которые мы имели сильное желание стрясти /.../ Надежно огороженный сад никто не караулил, а единственный посетитель его был сам митрополит, который в жаркие часы туда не выходил /.../ А потому мы в один прекрасный день разметили посты, поставили на них махальных и затем один по одному всею гурьбою спустились потихоньку в угловое окно***, выходящее в темное, тенистое место у стены, и, как хищные хорьки, поползли за кустами к самым лучшим деревьям.

Все шло хорошо, работа кипела, и пазухи наших блуз тяжело нависали. Но вдруг на одном дереве появился разом два трясуня, из которых один был, вероятно, счастливее другого, и у них тут же, на дереве, произошла потасовка, но в это самое время кто-то крикнул:

— Отец Иринарх идет!

Не разбирая, какой из наших махальных это крикнул, мы ударились бежать, рассыпая по дороге значительную часть наворованных «принц-мадам» /.../ А где-то, сверху над нами, кто-то весело смеялся спокойным и добрым старческим смехом.

Этo все мы заметили, но в суете не обратили на это внимание, тем более, что когда мы успели взобраться назад в окно и попрыгать принесенные с собою ворованные запасы, то мы обнаружили, что один из дравшихся на дереве был из числа наших махальных, которому надлежало стоять на самом опасном пункте и наблюдать приближение отца Иринарха... /.../

Ночью, поев все украденные груши, юные артисты решили больше не воровать, но на завтра забыли это решение и снова выступили в сад в том же порядке, только с назначением новых сторожей, которые однако за исключением одного, оказались не исправнее прежних. Не успели воришки приняться за свое дело, как и лакомки-сторожа появились между ними, — все за исключением одного. Но и этот один был плохой и злой сторож, оставшись при своем месте, он умыслил жестокое коварство.

— Не успели мы, — говорил Гудовский, — приняться за работу по деревьям, как этот хитрец приложил руки трубкою к губам и крикнул:

— Отец Иринарх идет!

Все мы, сколько нас там было, услышав это, как пули попадали сверху на землю и... не поднимались с нее... Не поднимались потому, что к одному ужасу прибавился другой, еще больший: мы опять услышали голос, которого уже не могли не узнать. Этот голос был тот самый, который нас вчера предупреждал о приближении Иринарха, но нынче он не пугал нас, а успокаивал. Слова, произнесенные им, были:

— Неправда, рвите себе, Иринарх еще не идет!

Это был голос митрополита Филарета, которого дети узнали и, приподняв из травы испуганные головы, оцепенели... И как иначе, — они увидели самого его, владыку киевского и галицкого, стоявшего для них на страже у косяка своего окошечка и весело любовавшегося, как они обворовывали его сад...

Как же приняли эти дурно воспитанные дети такое странное и, может быть, с точки зрения всякого сухого педагога, конечно, очень неодобрительное отношение к их плохой шалости?

— Мы, — говорил Гудовский, — потеряли все чувства от стыда. Мы все как бы окаменели и не могли двинуться, пока заменявший нам махального митрополит крикнул:

— Ну, теперь бегите, дурачки, теперь Иринарх идет!

Тут мы брызнули. Опять по-вчерашнему взобрались на свое место, но были страшно смущены и больше красть митрополичьи груши не ходили.

Прошел день, два, три, — мы все были в страхе: не призовет ли митрополит отца Иринарха и не откроет ли ему, какие мы негодяи? Но ничего подобного не было, хотя «милый дидуся», очевидно, об нас думал и, догадываясь, что мы беспокоимся, захотел нас обрадовать.

На четвертый день после происшествия вдруг нам принесли целые ночны*** разных плодов и большую деревянную чашу меда и сказали, что это нам владыка прислал.

— По какому же это случаю? — допытывались мы, робко принимая щедрый подарок. Но случая никакого не было, кроме того, о котором мы одни знали и крепко о нем молчали.

Посланный сообщил только, что владыка просто сказал:

— Пошлите живописцам-мальчикам медку и всяких яблочек... Дурачки ведь они, им хочется!.. Пусть поточат*****.

Мы эти его груши и сливы, — честное слово, говорю, — со слезами ели и потом, как он первый раз после этого служил, окружили его и не только его руки, а и рясу-то его расцеловали, пока нас дьяконы по куткам не растолкали.

Так он их наказал и, прибавлю, наказание его было столь памятно, что лет через 15 после этого, когда мы с Гудовским жили в доме, выходившем на Софийскую улицу***** этот, тогда уже пожилой художник, бывало, ни разу не пропустил митрополичьей кареты, чтобы не крикнуть вслед с детскою радостью:

— Здоров будь, милый дидулю!

И более того: этот человек здорового и острого ума, возвращавшийся в свое время в различных кружках Петербурга, не сохранил своей веры, к которой был наставлен своею церковью. Он был религиозен, но, к сожалению, долго жил с монахами, хорошо знал их и относился даже враждебно к духовенству вообще, и к черному в особенности; но на предложенный ему однажды вопрос: где же, однако, в какой церкви самое лучшее духовенство? Отвечал:

— В русской, бо из нее выйшов наш старый дидуся Филарет, дуже добрый. (235, 15—20).

*Гудовский И. В. (год. рожд. неизв. — 1860) — художник и фотограф. Окончил Академию художеств в 1849 г. Одно время жил в Петербурге в доме Бема вместе с Т. Шевченко. Друг Н. Лескова. Во время приезда Шевченко в Киев в 1859 г. сделал в своем фотоателье на бывшей Крещатикской площади (теперь майдан Незалежности) несколько выразительных фотопортретов поэта.

**Иринарх — иродиакон Свенского монастыря, известный своим «искусством в иконописи». В 1840 г. призван для возобновления настенных росписей Великой Лаврской церкви. Митрополит Филарет возвел его в сан иеромонаха и назначил начальником лаврской живописной школы. Его работы произвели большой шум и ропот в городе. Сам генерал-губернатор был убежден, что Иринарх занимается «непозволительным нарушением» памятников древности. После вмешательства царя и Синода наблюдение и общее руководство над реставрацией живописи было поручено академику Солнцеву. В октябре 1843 г. митрополит Филарет доложил Синоду о благополучном завершении «исправления стеной живописи собора».

***Угальное окно — окно на углу, крайнее окно в покоях митрополита при Софийском соборе. О том, что описываемые у Лескова события происходили именно здесь, а не в Печерском монастыре, где тоже были митрополичьи покои с садом и реставрационные работы в соборе также велись художником-монахом Иринархом, косвенно свидетельствует в своих воспоминаниях протоиерей Петр Орловский, который довольно определенно указывает, что митр. Филарет имел обыкновение с середины лета жить на Киевской горе: «Осенью и зимою владыка Филарет жил в Лавре, а перед началом годичных экзаменов, в половине месяца июня, переселялся в свои покои при Софийском соборе и отсюда в назначенные дни ездил на экзамены в академию, семинарию и Киево-Подольское училище. В /основанное им/ Софийское же училище он ходил пешком». (Орловский Петр, прот. Мои воспоминания о в Бозе почившем киевском митрополите Филарете 21 декабря 1857 г. // Киевск. епарх. вedom. — 1908. — №2. — С. 2).

****Ночвы (укр.) — корыто.

*****В данном случае митрополит поступил по старой лаврской традиции. В свое время игумен св. Феодосий не покарал, а одарил голодного вора.

— Ничего, ваше высокопреосвященство! Он снесет.

— Снесет-то снесет, но ведь это не хорошо, что я буду очень жесток.

Настал час суда, разумеется, суда келейного, происходившего в присутствии двух-трех почетных старцев.

Виноватый, думавший, что им очень дорожат за голос, мало смущаясь, ожидал в передней, а владыка весьма смущенный, сел за стол и еще раз осведомился у одного из приближенных, как тот думает: не будет ли очень жесток. И хотя тот его успокоил, но он все еще просил:

— А на случай, если я стану жесток, то вы мне подговорите за него что-нибудь подобнее.

Открылся суд: ввели подсудимого, который как переступил порог, так и стал у двери.

«Жестокий» судья для внушения страха принасутился, завертел в руках свои белевские костяные четки с голубою бисерною кисточкою и зашевелил беззвучно губами. Бог его знает, изливал ли он в этом беззвучном шепоте самые жестокие слова, которые намеревался сказать виноватому, или... молился о себе. И, может быть, о нем же. Последнее вероятнее. Но вот он примерился говорить вслух, и произнес протяжно:

— Ишь, кавалерист!

Дьякон упал на колени.

Филарет привстал с места и, строго хлопнув рукою по столу, зашиб палец. Это, кажется, имело влияние на дело: владыка долго дул, как дитя, на свой палец и, получив облегчение, продолжал живее:

— Что, кавалерист!

Виноватый упал ниц и зарыдал.

Митрополит изнемог от своей жестокости: он опять подул на палец, повел вокруг глазами и, опустясь на место, закончил своим добрым баском:

— Пошел вон, кавалерист!

Суд был окончен, последствием его было такое незначительное дисциплинарное монастырское взыскание, что сторонние люди, как я сказал, его даже вовсе и не заметили. Но митрополит, говоря, еще раз возвращался к обсуждению своего поступка. Он все находил, что он «был жесток», и когда его в этом разуверяли, то он даже тихонько сердился и отвечал:

— Ну, как же я не жесток, а отчего же он, бедный, плакал?

(235, 23—24).

*О пении Антония см. в главе «Правители Киева», раздел 2, среди анекдотов, посвященных Николаю I, — «Ранжирование духовенства».

/Неловкая фраза/

Небезынтересным считаю передать один забавный случай, происшедший на публичном экзамене при выпуске нас из богословского класса. На этом экзамене по медицине один ученик отвечал о значении сна для человека.

Митрополит Филарет предложил отвечающему вопрос: «Полезно ли спать пос-

ле обеда?» Ученик ответил, что вредно, придерживаясь мнения об этом /профессора П. П. / Пелехина/, так как он часто так выражался во время своих уроков.

Владыка возразил:

— А я, если не посплю после обеда, то и ночью не могу спать.

П. П., желая поддержать ученика, после возражения владыки о пользе послеобеденного сна, обратился к этому ученику с таким вопросом:

— А скажите, господин, что делают животные, как наедаются?

Несметливый ученик торопливо ответил:

— Животные, особенно нечистые, как наедаются, сейчас же и на бок валятся у корыта.

Такой ответ, попятно, привел всех в смущение, но владыка мудро нашелся и сказал:

— Вы хотите опровергнуть меня тем, что только животные, наевшись, предаются сну, а человек не животное? Животные следуют инстинкту, вложенному в них творцом, поэтому и поступают правильно, а вы своим мудрованием извращаете этот закон природы.

Этим замечанием в шутовом тоне владыка смягчил неловкость и выражения П.П. и выражения отвечавшего ученика».

(228, 196—197).

/.../ Подобным изяществом /манер/ и высоким уважением к своему сану обладал с избытком приснопамятный для меня и Таврической церкви архиепископ Бурий. Но самым замечательным в этом отношении ставит приснопамятного владыку митрополита Филарета, о котором будто бы в Бозе почивший государь император Николай Павлович выразился так:

— Я не удивляюсь его уму, его учености, но как он сделался таким изящным человеком-джентльменом, с такими тонкими манерами, — этого я не пойму.

(301, 20—21).

/Курение и копчение/

Однажды, — продолжает вспоминать, — зашедши в наши комнаты студенческие и заметивши в одной из них запах табаку, владыка вместо ожидаемого всеми присутствующими строгого выговора за курение, кротко спросил одного из студентов:

— Скажи мне, свежее или копченое мясо здоровое?

— Свежее, — отвечал спрошенный.

— Зачем же вы себя коптите? — спросил святой старец-митрополит.

(58, 148—149).

6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

/Жалование пятачками/

Высокопреосвященный Филарет, рассуждая однажды о получаемых им самим денежных средствах и находя их действительно большими, особенно после увеличения жалования по воссоединении бывших униатов, говорил так:

— Вот казначей принес мне (9 декабря) жалование — все пятачки, гривенни-

ки, двутривенники, до праздника (Рождества Христова) разойдутся. (Расход этот obviously был на раздачу нищим).
(58, 411).

/Суровый келейник/

Отец Назарий был человек такой, что, как говорится, не давал никому спуска. Можно сказать решительно, что все более или менее были недовольны и тяготились им. Самому владыке он часто делал прямые неприятности. Случалось же и мне, и другим иметь смелость заводить речь об нем пред владыкой. Но владыка, бывало, говорит: «Человек такой нужен, как верный, хотя и суровый страж и приставник (сердитый пес) на дворе хозяина». В другую же пору, бывало скажет только: «Ну, Господь да простит его, я же сам, слава Богу, никогда не гневаюсь и не чувствую побуждения гнева на него» /.../ И пужно сказать истинную правду, — говорил со всею искренностью нам рассказчик, — что он был примерно предан владыке. Когда владыка не взял его в последний раз с собою в Петербург, то он так скорбел и грустил по разлуке, что эта тоска, можно думать, послужила к ускорению его кончины.
(58, 338).

/Взаимовыручка филантропов/

Замечая, что у высокопреосвященного Филарета очень часто исчезают из его комода разные вещи, например, пояса, платки, и узнав, что он их раздает то в благословение, то иногда в милостыню за неимением в руках денег, отец Назарий не давал ему поясов и однажды заставил его таким образом несколько месяцев носить старый кожаный пояс. То же делал он и относительно носовых шелковых платков, не давая ему кроме простых стареньких /.../.

Кроме упомянутого келейного отца Сергия и другие очевидцы-свидетели сообщали нам, как несомненные факты, что отец Назарий нередко при других просто кричал, бывало на владыку, такими, например, словами: «Смотри, — удивись ты всех своею щедростью! Вот так и назовут тебя все Филаретом милостивым... Как же! Надейся и жди! Послушай-ка, что толкуют ныне о тебе, как только отойдут от крыльца... Ты-то не знаешь, а я знаю, и своими ушами часто слышу, как тебя иногда укоряют» и прочее.

«И надо было видеть, — говорил /.../ келейник отец Сергий, — с какими ангельскими чувствами выслушивал, бывало, все это владыка. Смотри на него, и сам умиляешься, бывало, до слез... Иногда скажет отцу Назарию: «Да ты, верно, скупишься, когда наделяешь просящего, от того они и бывают недовольны...» Тут-то отец Назарий разразится, бывало, еще пуще... «Как же! Так и стану сыпать потрошему всякому! Иной, ведь, приходит в один день по несколько раз. А случись кому действительная нужда, ему-то и не достанет» и т. п.

И действительно, сам преосвященный Филарет говорил, что отец Назарий не раз выручал его при таких обстоятельствах, когда вдруг открывалась надобность оказать кому-нибудь значительную помощь, а денег не оказывалось. «Бывало и призадуматься, но отец Назарий вдруг является и говорит: «А что? Где теперь

возьмешь денег-то?» И затем приносит значительную сумму: «На вот, твои же деньги, я их сберег на нужды, бери, сколько надо».

(58, 338—340).

/Плата за добро/

Келейный Сергей свидетельствовал о се-

бе самом, например, следующее:

«Случалось мне нередко бывать в искушениях и приходило по малодушию в смущение от исполнения некоторых своих келейнических обязанностей. Особенно бывало это по случаю раздачи пособий нуждающимся и милостыни нищим.

Раздаешь, бывало, временное подавание по 10, 20, 50 коп., а другим — месячное по 1, 2, 3, 5 руб. Тогда первые, видя это неравенство в раздаче, начинают тут же и довольно нагло укорять меня: «Вот-де в чепчиках-то барыням и кто помоложе раздает бумажками, а нам мелкими монетами», не зная того, что последние приходят получать подавание за определенное время.

Однажды смутило меня это до крайности. Владыка тотчас заметил или как бы пророчливо узнал мое смущение и после объяснения причины сказал: «Отчего же ты смутился? Надобно радоваться, когда за добрые дела поносят. Это верный и лучший урок и средство от Господа, чтобы не дать войти в душу мысли горделивой о добрых делах».

(58, 341—342).

/Грязь внешняя и внутренняя/

- Не скрою своего греха, — говорил один

из собеседников*, — что если тягостно, смутительно и конфузливо перед другими бывало иногда мое келейное послушание, то именно по отношению к нищим и просящим.

Поверьте, что изо дня в день и в передней, и в сенях, и на крыльце столько их столпалось, что и проходу нет прочим посетителям. Единственно, что от них накоплялось довольно нечистоты и самый воздух становился тяжелым и всегда неприятным. Стыдно, бывало, встречать и провожать приезжавших знатных посетителей. Мало сего, которые из этих посетителей были познаною, те прямо-таки укоряли и меня и самого владыку.

И вот однажды эти знакомые просили меня от их лица даже доложить владыке под добрый час, чтобы он приказал распорядиться как-нибудь насчет нищих, дабы было поприличнее... Признаюсь, я обрадовался этому случаю и доложил владыке. Он отвечал с своею обычною простодушностью:

— Ах они неразумные! Да эти-то самые, от которых они видят нечистоту и слышат неприятный запах, почище всех нас и от них благоухает благодатью Христовою. Если в числе их из большого множества и не все одинаковы, зато, несомненно, в лице их сам Господь Христос. А в прочих-то приходящих посетителях-гостях есть ли это?.. Нет! Передай-ка ты им при случае, что я вовек не соглашусь с их желанием, чтобы променять присутствие нищих братьев на их праздничные и подчас празднные посещения. А тебе спасибо, что передал мне это. Ты мне напомнил этим об одном давнем желании, о котором и передай, чтобы было исполнено. Для того, чтобы бедным нищим-то не было холодно ожидать иногда подолгу

милостыни, нужно непременно устроить внизу печь. И обогреть забнувшего, ведь тоже милостыня. Получит иной, может быть, мало, зато обогрется, и это для него — слава Богу!

С той поры, признаюсь вам, меня совершенно оттолкнуло от знатных особ, тогда как прежде что-то влекло меня к ним и льстило самолюбию, что вот-де такие и такие мне знакомы и подают мне руку по-дружески.

(58, 343—344).

**Бывший келійник митрополита Филарета.*

7. ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ И СМЕРТИ

/Очередь за смертью/

Владыка считает себя всех старше и по монашеству, и по старшинству /.../

— Извините, владыка святой, — подхватил В. И. Аскаченский — Вы ошибаетесь: киево-подольский успенский протопоп старше вас... по годам.

— Нет, брат, я не ошибся, а отца-то протопопа я в счет не кладу только потому, что он сам-то потерял уже счет своим годам, заевши давно, как говорится, чей-то чужой век... А мне-то он, пожалуй, дорогу загораживает... Передай-ка ты ему, чтобы усердно молился, да и с миром ко Господу! Уж за ним-то и мне откроется прямой и скорый исход.

Этот отец протопоп (Максимович), действительно, вскоре скончался.

(58, 636).

Отношения между высокопреосвященным Филаретом и его викарием, преосвященным Аполлинием, продолжались до конца жизни обоих столь неизменно, сколь не изменен общий конец всех — смерть.

Владыка Филарет, узнавши о болезненном состоянии викария, начавшемся еще ранее его собственной болезни*, стал поговаривать:

— Ну вот, когда и я скоро заболею, то и будем вместе приближаться к гробу.

Во время же начавшейся уже болезни митрополита Филарета (с начала декабря), когда викарий, преодолевая, все-таки посетил его, то первый сказал:

— А что, преосвященный!? Верно будет так, что вместе служили здесь, вместе и туда перейдем; только чур я прежде, по старшинству, а потом уж вы собирайтесь.

Таким речам, конечно, не придавалось особенного значения, а признавались они скорее за обычные простодушные шутки. Но когда 17 декабря (за три дня до кончины высокопреосвященный Филарет пожелал, чтобы над ним было совершенно таинство елеосвещения архиерейским служением, и когда ему сказали, что преосвященный викарий не может по своей болезни явиться, он проговорил:

— Да, теперь верно, что он не отстанет от меня надолго.

Действительно, по кончине высокопреосвященного Филарета к выносу его тела из покоев в Великую церковь преосвященный викарий к изумлению всех явился, хоть и через силу, и совершил это перенесение. Но это переселение себя и стоявшая тогда холодная погода были причиною, что он слег окончательно и не мог уж

вставать, а 10 января, ровно в 20-й день по кончине митрополита Филарета, и сам пошел во след его навеки.

(56, 262).

**Викарий заболел во время поездки в сентябре 1857 г. по епархии какого-то злокачественною лихорадкою — Прим. автора.*

/Сон митрополита Филарета/

Он /митрополит Филарет/ рассказывал мне* и поручил написать Вам по своей кончине свой сон, виденный им в самом начале болезни.

«Видал я, — говорил он, — будто я прихожу в покои Московского владыки; в руках у меня Казанская икона Богоматери, вся сияющая лучами. Выходит ко мне владыка, и я встречаю его умоляющим тоном произнесенными словами: «Владыко святой, помолись Господу Богу, чтобы принял дух мой с миром». Вслед за сим владыка московский будто бы бросился ко мне, заплакал с горьким рыданием, и я проснулся».

— Верно, — прибавлял он, — это последняя моя болезнь, и мне больше не встать.

Так и исполнилось**.

(56, 257).

**Предание заимствовано из письма племянника владыки, ректора Киевской духовной академии архимандрита Антония к митрополиту московскому Филарету 22 декабря 1857 г.*

*** Митрополит Филарет Амфитеатров заболел катаром 7 декабря 1857 г. и после осложнения болезни умер 21 декабря 1857 г.*

/Время небесное и земное/

Видал во сне покойного старца отца неромонаха Парфения, который будто бы служил вместе с ним литургию. Когда же старец подошел к престолу и владыка, держа святую чашу, полную святой крови Христовой, причастил его, то он сказал ему:

— Потерпи, владыко, и тебя Господь скоро возьмет к себе.

Сон этот, — сказано в дневнике, — имел-то значение для владыки, что он приготовил было прошение к государю об увольнении его на покой. Но вследствие этого свидения владыка отложил посылать прошение.

— Может быть, — говорил он, — исход мой и в самом деле недалеко. Да жаль теперь и беспокоить Государя /.../

Впоследствии же владыка говаривал:

— Ну, верно, там, на небе-то, время не так исчисляется, как здесь на земле. Батюшка Парфений сказал, что скоро, а выходит не скоро.

(58, 638).

МИТРОПОЛИТ АРСЕНИЙ МОСКВИН

Митрополит Арсений (в миру — Федор Павлович Москвин) (1797—1876) родился в семье диакона села Воронье Костромского уезда Костромской губернии. Рано остался сиротой. Окончил Костромскую духовную семинарию (1819) и Петербургскую духовную академию (1823 г.). Оставлен при академии, бакалавр богословия с 1823 г. Пострижен в монахи в 1821 г. В 1823 г. возведен в сан иеромонаха. Ректор и проф. богословия Петербургской духовной семинарии (1825 г.). Архимандрит и настоятель Могилево-Братского монастыря (1826 г.). Ректор Орловской духовной семинарии и настоятель мценского Петропавловского монастыря (1827—1829). Ректор Рязанской духовной семинарии (1829 г.) Богословские лекции Арсения слушал здесь будущий ректор Киевской духовной академии Димитрий Муретов. В 1831 г. Арсений послал его на учение в Киев. В том же году Москвин назначен ректором Тверской семинарии. 12 марта 1832 г. хиротонисан в епископы Тамбовской епархии. Архиепископ Подольской епархии (1841—1848). Архиепископ Варшавской епархии (1848—1860). С 1 июля 1860 г. и до смерти (28 апреля 1876 г.) — киевский митрополит. Слыл человеком глубоко религиозным и весьма консервативным. Но при этом, как замечает его биограф проф. В. Ф. Певницкий, он «не был врагом прогресса».



«Цена приобретения новой науки, он предпочитал им неизбежное учение, заключающее в себе тайну нашего спасения, и не верил в истинность и долговечность тех познаний и теорий, которые расходились с началами богооткровенного учения». Митрополит Арсений прославился как основатель новой системы начального народного образования, призванной противостоять «пагубным», на его взгляд, последствиям сугубо светского образования. В ответ на распространение в городах воскресных школ он стал активно воплощать в жизнь религиозно-просветительную инициативу своего предшественника по киевской кафедре митрополита Исидора — идею создания в селах церковно-приходских школ, ученики которых не только получали начальное образование, но и воспитывались в религиозном духе. Владыка Исидор при содействии генерал-губернатора кн. И. И. Васильчикова открыл 385 приходских школ и

бесплатно роздал их ученикам 10 тысяч буквараев. В первый же год правления Арсения открылось более 1000 новых школ. В Киевской консистории появляется особый училищный стол — школьный отдел, которым руководил знаменитый церковный педагог, профессор университета и кафедральный протоиерей Иоанн Сков-

цов. Митрополит вывел свои церковные школы из-под контроля министерства просвещения и добился признания полной их автономии. Педагогическая деятельность митр. Арсения подвергалась острой критике со стороны радикалов и прогрессистов и неоднозначно оценивалась современниками.

В 1856 году преосвященный Арсений, в бытность архиепископом варшавским и вольнским /.../ проездом из Почаева, где он проводил обыкновенно лето, /.../ посетил Киев и /.../ пользовался в нем радушным гостеприимством покойного митрополита киевского Филарета. Покойный митрополит киевский Филарет встретил варшавского архиепископа Арсения как своего будущего преемника и говорил близким людям, что вот приехал Арсений и ему нужно будет сдать епархию.* В назначенный час отъезда Арсения покойный Филарет просил его с раннего утра прийти к нему, т.к. ему нужно о многом переговорить с ним как будущим своим преемником и дал знать другим, чтобы они не беспокоили его в это утро, потому-де, что он будет готовить дела к сдаче Арсению.

Случилось при этом еще то, что Арсений в поспешных сборах в дорогу забыл взять с собою свой архиерейский жезл** и должен был просить себе жезл у покойного Филарета из лаврской ризницы. Давая этот жезл Арсению, покойный Филарет заметил, что не случайность то обстоятельство, что Арсению пришлось взять в Москву не свой посох, а киевский, и что этим Промысл хочет предуказывать ему, что скоро он будет пасти не вольнскую и не варшавскую паству, а киевскую.

(307, 111—112)

**Пророчество Филарета сбылось не буквально: после него (в 1859—1860 гг.) Киевской епархией правил митр. Исидор и лишь с 1 июля 1860 г. — Арсений.*

***Арсений был тогда в Киеве проездом, по пути на коронацию Александра II в Москве.*

Благочестие его, заметное для посторонних, выражалось в неуклонном исполнении уставов церкви и в любви ко всем действиям молитвенно-богослужебного характера. Пост, положенный церковью, он соблюдал во всей строгости, и в дни первой и страстной седмицы великого поста не разрешал себе даже употребления чая, даже после совершения литургии преждеосвященных даров. Совершение богослужения было для него одним из самых приятных действий, и он никогда не тяготился им /.../ Во всех церковных процессиях он готов был принимать участие, и почти не было примера, чтобы он почему-либо отказался от участия в священном деле. Нельзя было без умиления смотреть, как старец ежегодно 15 июля, в день памяти св. равноапостольного просветителя России вел. кн. Владимира, совершал крестный ход после литургии в Десятинной церкви по горам киевским к часовне, построенной на берегу Днепра на предполагае-

мом месте крещения древних киевлян при Владимире, в нелегком облачении, под палящими лучами полуденного солнца, обливаясь потом, когда от жары изнемогали люди, и не участвовавшие в крестном ходу, не стоявшие обедни, а только вышедшие посмотреть на замечательную церковную процессию.

(307, 5–6).

Память у него /митр. Арсения/ была обширная и твердая. Долго, с час, он мог говорить проповедь наизусть без малейшей остановки и заминки. Однажды в минуты произнесения длинной речи наследнику престола у ворот Лавры возмущил его оглушительный звон колоколов.

Он обернулся и крикнул на воздух:

— Да перестаньте звонить! — но не забыл, что следовало ему говорить.

(411, 362–363)

/Митрополит-постник/

Преосвященный Арсений строго соблюдал все посты, да и в скоромные дни ел постное; в первую и последнюю неделю Великого поста не пил чая даже после преждеосвященной обедни. Говорил он мне, что, живя в Варшаве, вадумал было полиберальничать и начал есть снеди мясные, но вскоре опять принялся столовать по-прежнему, с детства привыкши к пище постной.

(411, 363)

В своей домашней жизни покойный Арсений был крайне прост. Потребности его были самые умеренные и ограниченные. В столе три блюда, самые простые и неизысканные, и ученый повар не находил у него работы и даже опасался забыть то, чему научился в других местах.

Кафедра волинская, а в особенности киевская, доставляли ему богатые средства. Но эти богатые средства не возбуждали в нем духа стяжательности и отнюдь не располагали его к роскоши. Имея их в своем распоряжении, он мало тратил их на самого себя, а главным образом употреблял их на дела благотворения. Каждый год он ознаменовывал какую-либо крупную жертвою или на церкви и обители, или на вспомоществование нашим православным миссиям, или на пользу духовной школы и православной науки, или на вспомоществование нуждающемуся духовенству и на призрение вдов, сирот и престарелых членов духовенства /.../ Помогая чужим в трудных обстоятельствах, покойный митрополит не оставлял своими щедротами и родных своих. Он помнил слова Апостола: «Аще кто о своих, паче же о присных не промышляет, веры отвергся, и неверного горший есть» (1 Тим. 5, 8) и делал из этого указания широкое приложение. Родных к нему являлось много. Он всех их радушно принимал /.../ и щедро рукою давал помощь всем — и близким и дальним родным.

(307, 7–8).

Старость преосв. Арсения была безболезненная и бодрая. И в преклонные годы он обладал крепким здоровьем и обнаруживал неустанную энергию. Во всем надеясь на свои неослабевающие с годами силы, он мало думал о сбережении и сохранении своего здоровья и почти не знал ни докторов, ни лекарств. Он не боялся простуды и в зимнее время не отказывался

служить в холодных церквах, когда его приглашали в дни храмовых праздников, и на этот раз не старался одеваться особенно тепло. Диетические правила для него не существовали, и даже в холодное время, когда все, и молодые, соблюдают особенную разборчивость в пище, он нисколько не изменял своего обычного стола, не отличавшегося ни изысканностью, ни легкостью, и если представлялся ему случай обедать не дома, а где-нибудь на стороне, он ни от чего не отказывался и не хотел знать никаких предписаний гигиенической осторожности. Вместо всяких лекарственных и крепительных средств у него служило частое употребление бани, и он любил при этом, по рассказам, пар такой высокой температуры, какая невыносима была для людей более слабых и непривычных, и после такой жаркой бани он отнюдь не считал необходимым закупоривать себя в теплых комнатах.

Года за три до его смерти, перед отъездом его в Петербург, в довольно многочисленном собрании у отца наместника Лавры по случаю его именин (19 ноября) в первый раз он, хотя и случайно, но от сердца высказал мысль о том, что ему недолго придется дожидаться смерти. Начал он осведомляться о количестве лет, прожитых тем или другим из старейших членов собрания, и когда каждый из таких дал ответ на его вопрос, он сказал:

— Значит, здесь нет никого старше меня, потому что мне 77 лет.

По этому поводу многие из присутствовавших позволили себе выразить удивление, что он в таких летах сохраняет такую бодрость и крепость сил как телесных, так и духовных, и показывает такую энергию, при виде которой становится стыдно за нашу дряблую молодежь. Преосв. Арсений, снисходительно выслушав такую похвалу, покачал головою и, глубоко вздохнув, заметил:

— Нет, не знаете вы, что значит бороться с летами. Я чувствую, что силы мои не те, что прежде, и что ноги недолго будут носить меня. Вы не смотрите на то, что я с виду здоров. Такие старики, как я, обыкновенно скоростижно умирают*.

(307, 188—189).

**Так оно и вышло: митрополит Арсений умер скоростижно в ночь с 27 на 28 апреля 1876 года в Петербурге, где принимал участие в заседаниях Синода.*

Друту тисячу /книжок свого «Букваря» — А. М./ Шевченко прислав у Київ до М. К. Чалого, пишучи до нього: «Я і чув, і читав, що митрополит Арсеній (Москвин) дуже воєрегнував о сільських школах і жалкує, що не печатають дешевих букварів. Покажіть йому мій «Буквар», і якщо вподобає, то я пришло хоч 3000, звичайно за гроші, бо се не мое добро, а добро наших убогих воскресних шкіл». А ті 1000 примірників прохав д. Чалого розпустити по повітах та по сільських школах /.../ Чалий не вдався з Шевченковим «Букварем» сам до митрополита, а перепоручив сю справу отцю Петру Лебединцеву, чоловікові хоч трохи й прихильному до української ідеї, але занадто вже обережному. Отець Петро не пішов простою стежкою, а кинувся «політикувати» ... Політика та довела до такого лишень скутку, що отець Москвин, глянувши на «Буквар» і не беручи його до рук, тільки й промовив: «А! Южно-Русский...» На сьому й край.

(444/А, 23).

МИТРОПОЛИТ ИОАННИКИЙ РУДНЕВ

Митрополит Иоанникий (в миру Иван Максимович Руднев) (1826—1900) родился в Тульской губернии, в семье дьякона. Окончил Киевскую духовную академию в 1849 г. Тогда же постригся в монахи. Ученую карьеру начал с преподавания в академии Священного Писания. Магистр богословия с 1851 г., архимандрит с 1854 г., инспектор академии с 1856 г. В 1858 г. назначен ректором Киевской духовной семинарии. Ректор Киевской (с декабря 1859 по октябрь 1860) и Петербургской (1860—1861) духовных академий. С 1861 г. — второй викарий петербургский и епископ Выборгский. С 1864 г. — епископ саратовский. С



1873 г. — архиепископ в Нижнем Новгороде, с 1877 г. — экзарх Грузии. С 1882 — митрополит московский. 1891—1900 — митрополит киевский.

По поручению ректора Иоанникий /Руднев/ излагал нам ученик об ангелах и отдел о таинствах. Иоанникий ставил перед нами интересные вопросы, для решения которых нет прямых догматических указаний, причем открывается широкий простор для гаданий. Этим он значительно оживлял лекции и заинтересовывал нас. В учении об ангелах он подвергал исследованию вопросы о том, имеют ли ангелы, не имеющие материальности, какую-либо индивидуальную личную форму, отличающую их одного от другого, и в чем она может состоять; как сообщаются они между собою и какие могут быть ангельские языки; ограничиваются ли ангелы пространством и где жилища ангелов, в чем состоит их служение Богу, какое отношение их к миру человеческому, сами ли они являются нашими руководителями и благотворителями, или посылаются на служение людям манием воли Божией; у каждого ли человека есть свой ангел-хранитель и в чем состоит его содействие человеку, к которому он приставлен...

Подобные вопросы ставил он, когда говорил о злых духах, их образе, жилище, отношении их к ангелам и людям, их количестве, и чиновности в мире злых духов и их взаимных отношениях между собою, о конечной судьбе их и т. п.

Когда Иоанникий читал нам отдел из догматического богословия об ангелах, он дал нам тему для месячного сочинения: «Возможно ли покаяние для злых духов?» /.../

Некоторые называли это схоластикой и говорили, что Иоанникий берет эти утонченные вопросы у средневековых богословов.
(306, 167—168).

/Смирный бунтарь/

По русскому закону обер-прокурор синода является лишь посредником между церковью и государством, не участвуя в заседаниях и решениях синклита иерархов, а лишь следя за закономерностью их действий. На деле же он занимается прямым давлением на церковь в целях государства, и Победоносцев не имел себе равного в этом искусстве предшественника. Дошло до того, что собрание митрополитов в его руках стало театром *Fantoches*, где среди марионеток были умные, хитрые и своекорыстные монахи, и желавшие бы выпутаться из крепких обер-прокурорских лап, но бессильные это сделать. Обоюдное раздражение прерывалось только в исключительных случаях, но внешность должна была соответствовать высоким санам участников.

Раз только не выдержал Иоанникий, митрополит киевский, переведенный из Москвы вследствие неладов с генерал-губернатором, великим князем Сергеем. Услышав, что решение синода не может быть доложено царю, т.к. последний уже высказал волю противоположного характера, и что предложенный Победоносцевым вопрос был им решен заранее, Иоанникий сказал:

— Вы бы, ваше превосходительство, выписывали вместо нас наши печати, да и ставили бы их под своими решениями

Мышленное лицо обер-прокурора позеленело, но он смолчал.

— Вообще, — продолжал митрополит, — позвольте узнать, по какому праву ваше превосходительство присутствует в этом собрании?

— Как по какому праву? — вскипел Победоносцев. — Да по закону!

Иоанникий потребовал книгу закона и громко прочел статью, запрещающую присутствие в синодском заседании прокурора. Тогда взбесившийся старик не нашел ничего иного сказать, как: «А я все-таки останусь в заседании!»

Но тут-то и готовилась ловушка всесильному прокурору.

— Отцы, — обратился митрополит к остальным иереем, — непристойно нам ссориться с его превосходительством; если им не угодно оставить заседание, то мы должны покинуть его.

После чего, перекрестившись на образа, владыки смиренно вышли гуськом в другие залы синода, оставив Победоносцева одного и «в дураках».

(292, 34—35).

ЕПИСКОП ПОРФИРИЙ УСПЕНСКИЙ

Епископ Порфирий Успенский (1804—1885) родился в Костромской губернии. Окончил Московскую духовную академию в 1829 году. С 1834 года — архимандрит в Одессе. В 1840 году отправлен с научной целью в Иерусалим. В 1845 году посетил Синай и Афон. Основатель и глава русской духовной миссии в Иерусалиме (1847—1855). С 1858 по 1861 гг. вновь путешествует по Востоку, собирая древние рукописи, иконы, церковную утварь. В 1865 году принимает сан епископа чигиринского и занимает должность викария при киевском митрополите. Будучи главой епархиальной администрации, проявил излишнюю, по мнению светских и церковных властей, свободу мнений и суждений. В 1877 году отправлен из Киева в «почетную ссылку» в Москву на должность архимандрита Новоспасского монастыря, служившего местом захоронения членов царской семьи. Покидая Киев, оставил музею духов-



ной академии коллекцию икон, рукописей и книг, собранную им во время путешествий по странам Востока (преимущественно — в Константинополе, Афоне, Бейруте, Синае, Каире, Иерусалиме, близ древней Раифы, в Иерихонской долине и Кесарии Палестинской). Киевляне устроили пышные проводы ему и ректору академии епископу Филарету Филаретову (впоследствии епископ рижский), который покидал город одновременно с ним и по той же причине.

/Из дневников епископа Порфирия/

Православные жители Киева всегда чинно стояли в храме Божиим и молились усердно, а так называемое начальство военное, гражданское и учебное являлось туда только в Новый год, в Пасху и в высокопраздничные дни, иногда в половине обедни, иногда к началу молебна, а чаще всего в конце богослужения, не полагая на себе крестного знамения. Бывало смотрю на них и вижу: стоят они, как деревянные болваны. Однажды я, выходя из алтаря с диакрином и трикирием, видел, что бес в виде черного-пречерного и толстого-претолстого человека во фраке обошел их вокруг, ничего не говоря им, и исчез. И так в заколдованном круте находятся они!

Городской голова Ренненкампф, он же и профессор университета, ни однажды не появился в Софийском соборе, ни в один высокаторжественный день, ни в Пасху, ни в Новый год.

Я через посредство генералыши Штаден знаком с его женой, упрасивал его приходить в церковь хотя бы в царские дни; но он дал мне знать, что не может явиться туда, потому что очень плешив, как будто нельзя ему прикрыть свою лысину паричком. Нет, не лысина на голове удерживает его вне церкви, а лысая душа с плешивым умом.

(400, 510).

Однажды в торжественный день я слушал обедню в Софийском соборе и по окончании ее стал петь благодарный молебен. Простодушинов было немало, а из сановников и чиновников не пришел ни один. Читайте в Евангелии: «Како не обретошися возвращающиеся дати славу Богу, токмо иноплеменик сей». В эту самую минуту явились два военных немца «дати славу Богу», а наши? О, они до костей и мозгов пропитаны нигилизмом. Им ли ходить в церковь Божию? Ни профессора университета, ни учащиеся в этом всенаушнике* никогда не являлись в тамошнюю церковь. Настоятель ее, протоиерей Назарий Фаворов, сам не исповедует их, а понимает какого-нибудь попа, и что же? Студенты, являясь к этому наемнику, суют ему в руку именные билеты свои в свидетельство, будто они исповедались у него и, не думая и не желая быть на духу, кощунствуют в церкви, как им вздумается и как поучают бесы. Увы! Увы! Что-то далее будет у нас? Разрушение? Да, разрушение. Антихристово? Да, антихристово.

(400, 511).

**Ироническое наименование университета.*

Накануне отъезда его /митрополита Филофея/ в Петербург, в 9-й день декабря (1877 г.) я приезжал к нему в Лавру проститься. Тогда душа моя сильно взволнована была помышлениями о пьянстве нашего народа в 280 000 кабаках, о заражении целых уездов сифилисом от фабричных людей и от солдат, о оправданиях присяжными таких преступников, которых грехи вопиют на небо, и следовательно, об укоренении в народе понятия, что они, как скот, не подлежат ответственности за все свои поступки и может убивать даже отцов и матерей безнаказно, о необузданности безбожной литературы, о безверии гимназистов и университетских студентов и их учителей и о частых самоубийствах вследствие безверия и безнравственности. Все эти помышления я высказал митрополиту и заключил свою филиппику так:

— Почему вы, синодалы, зная все это, безмолвствуете? Почему не внушаете господарию, что церковь, отечество и сам он в опасности? Блаженной памяти митрополит Серафим успел же лично склонить Александра I закрыть масонские ложи*. Почему же вы не подражаете ему? Вы — пастыри народа. Ваш долг, святой ваш долг, охранять ваши паствы от волков, разбойников и от всякой моровой язвы, а у вас нет ни громкого голоса, ни пращи, ни всеоружия, ни всеврачевания. Если бы я

был первенствующий член Синода, то слезно умолял бы государя спасти Россию от высказанных мною зол...

На этих словах прервал мою речь митрополит и проговорил мне:

— Если бы угодно было Богу возвысить вас для спасения гибнущей, по вашему, России, то Он давно возвысил бы вас.

И проговоривши сие, замолчал.

На это я ответил ему:

— Владыка! У вечного Бога лет много; подарил Он их вам, подарил их и нам. Он высоких усмиряет и смиренных возвышает.

После сего я помолчал с минуту, встал со своего места и, низко поклонившись собеседнику, сказал ему: «Желаю вам счастливого пути». И отправился восвояси. Это было мое последнее свидание с ним. Он решил выжить меня из Киева и выжил.

(400, 523—524).

**Читатели знают теперь /.../, что масонские ложи закрыты по мысли Р. А. Кошелева и князя Голицына — Прим. ред. ж. «Рус. архив» П. Бартењева.*

Он /митрополит Арсений/ заодно со мной не хотел устраивать епархиального свечного завода для всех церквей, дабы не называли его фабрикантом, меня приказчиком, попов кочегарами, а пастырские жезлы их мутовками для мешания растопленного воска.

(400, 519).

Недавно* /пишет протоиерей Н. А. Фаворов/ был у меня экзамен в университете. Я приготовился к нему нравственно, решившись наперед воздержаться от всяких прений. Однако ж и в настоящий раз не вполне удалось мне это. Не было возможности молчать. Студенты мои отвечали очень порядочно. Из /3 человек/ опрошенных при викарии /Порфирии/, ни один не оказался слабым. Сам викарий при прощании отозвался об ответах их весьма благоприятно; но я думаю, что прошлогодняя история легко может повториться, если к тому представится случай, потому что, повторяю, для меня не было возможности промолчать на все возражения... И хотя я не сказал ничего резкого, однако по поводу сейчас же пошли анекдоты. Не в одном уже месте меня спрашивали, правда ли... то-то и то-то? Сущность вот в чем. Студент отвечал по нравственному богословию, о делах христианского милосердия и, во-первых, о нищелюбии с христианской точки зрения. Преосвященный останавливает его и говорит, что это «вовсе не церковное, а ваше философское учение, по учению же церкви, нищих между христианами не должно быть». — «А что ж делать, когда они есть?» — «Очень просто, — продолжает он, — сделать, чтоб их не было. Теперь у нас все поглощается притчами церковными; им и земля дается, и жалованье и доходы; а они еще вопиют, что плохо обеспечены. Представьте же, что все, что идет на священников и причетников, обращено на помощь бедным. Тогда, верно, не оказалось бы и нищих. Ведь по меньшей мере 15 миллионов было бы сбережено... Священники же сами должны помогать другим, а для этого они должны быть избираемы из зажиточных поселян и пр. Вы знаете эту теорию?». Студент, конечно, молчал. Но можно ли бы-

ло молчать мне во все время развития этой теории? Сначала я действительно хотел ограничиться только тем замечанием, что учение о христианском милосердии и проект экономического устройства церкви и общества — вещи совершенно разные и что в нравственном богословии, по моему мнению, не должно быть места для подобных, да и ни для каких /иных/ проектов. Сказав это, я не думал продолжать прения. Но один из членов экзаменационного комитета поспешил выразить род благоговения к возвышенному взгляду на дело его преосвященства и тут же заметил, как дерут в церквях даже за место для могилы с самых бедных людей. Тогда я вступился в речь и, указав прежде, что доходы за кладбищенские места вовсе не идут в карманы священника (что не должно быть неизвестно епископу), перешел затем и к некоторым другим пунктам рассуждения викария. Так как он продолжал настаивать на выборе священников из мужиков полуграмотных и в основание своего рассуждения полагал учение Апостола Павла, то я попросил себе Библию и, отыскавши в послании к Тимофею известное место о качествах, какие должен иметь пастырь, прочитал громко и раздельно это место, ударив на слово «учительну» (подобает быть) и окончив без всякого умысла словом: «не сварливу». На этом и прекратились рассуждения наши. Как видите, я вовсе не хотел уязвить преосвященного, но студенты, вероятно, поняли дело несколько иначе, и совершенно истинный случай рассказывается по городу в таком смысле, какого он не имел. Говорят, что я долго не отвечал ничего викарию, взял, наконец, Библию и прочитал: «подобает епископу быть не... сварливу» и что будто бы этим прекращены были рассуждения. Мне повторил этот рассказ, между прочим, и А. Н. Муравьев...

(412, 361—162).

**Май 1872 года.*

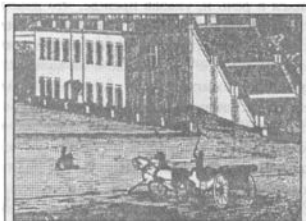


Киево-Печерская лавра. Гравюра XIX в.

КИЕВСКИЕ ПРАВЕДНИКИ

ГОРОДСКОЙ ЮРОДИВЫЙ ИВАН БОСОЙ (РАСТОРГУЕВ)

Легендарный городской юродивый Иван Босой (в миру Иван Иванович Расторгуев) (1799—1849) родился в семье мещанина г. Зарайска Рязанской губернии. О его докиевской жизни известно лишь то, что он был женат и имел дочь. Покинув дом, странствовал по монастырям и скитам. Начал свое подвижничество в Киеве в начале 1840-х годов, вырыв в усадьбе некоего благочестивого жителя Верхнего Города пещеру. Носил вериги и круглый год ходил босиком в одном нанковом халате. Избегая преследования полиции, видевшей в юродстве нарушение правил благопристойности в общественных местах, переселился на Новое Строение в дом капитана Протасова, который вскоре после этого превратился в место паломничества киевлян и иногородних богомольцев. Создал здесь первый, говоря современным языком, фонд для оказания помощи странникам и нуждающимся на средства, поступающие от пожертвований богатых горожан, в чем ему содействовали киевский губернатор И. Фундуклей и ректор духовной академии Димитрий Муретов. «Собирая милостыню, — писала газета «Киевлянин» в 1873 году, — он сберегал ее только до ближайшей субботы, чтобы можно бы-



Богодельня Ивана Босого под Андреевской церковью. Рис. конца 1850-х гг.

ло устроить обед для странников и нищих, а не то и прямо раздавал ее. Больше он молчал, чем говорил*, но если кто обращался к нему за наставлением, он наставлял обращавшегося покаяния и жизни благочестивой. Придет, бывало, к нему кто-нибудь, и Иван Босой тотчас назовет его по имени, хоть бы и в первый раз его видел, знает, что побудило его прийти к нему**, и предложит наставления и советы. Помогал угодник Божий и в болезнях, и будущую судьбу человека предсказывал. Отпуская приходящих, он давал им на благословение маленькие кипарисные крестики*** или другое что, смотря по тому, какая судьба ждала отпускаемого. А иногда и ничего не давал. Это в том случае, если приходящий к нему был человек злой, лукавый и приходил не за наставлением, а чтобы искусить праведника****. Зная душу человека, он узнавал подобных людей и вместо наставления и кипа-

рисного крестика, бывало, кричал на них и выгонял поленом или палкою из своей кельи».

К концу 1840-х годов общественной богадельне стало тесно в доме капитана Протасова в Лыбедской части, и в 1848 году Иван Босой снял для нее у вечно нуждавшейся в деньгах Андреевской церкви двухэтажный каменный дом, находящийся в ее основании. Здесь он принимал и кормил до 500 человек в день. Нуждающимся странникам выдавал со своего склада одежду и обувь, снабжал их деньгами на обратный путь, для больных содержал больницу и лекаря. Жилые комнаты разделялись на женские и мужские отделения. Трапезничали совместно. Сам благотворитель жил в большой зале, где впоследствии писатель Андрей Муравьев с благословения митрополита Арсения устроил церковь святого Сергия Радонежского (в ней же он был похоронен в 1874 г.). Стены зала сверху донизу покрывало множество икон, а в переднем углу лежал на полу духупудовый камень, о который юродивый подвижник, как писал его биограф, «во время ночных молитв клал земные поклоны, от чего на лбу его сделался нарост величиною с куриное яйцо».

Дом под Андреевской церковью

ежедневно осаждали толпы странников, нищих, больных и жаждущих наставлений. Перед богадельней можно было увидеть кареты киевской знати и ливреи лакеев, расшитые золотым галуном.

Иван Босой управлял своим богоугодным заведением под Андреевской церковью недолго — с конца 1848 года и до последнего дня своей жизни (12 декабря 1849 г.), после чего заботы о его подопечных взял на себя Дамиан Федорович Виноградский (впоследствии игумен скита в Феофании).

По сохранившемуся преданию, Иван Босой умер в ненастный день Великого поста, и сразу же по его смерти тучи расступились, и над Андреевской церковью засияло солнце.

Отпевали его в Десятинной церкви, за гробом на Щекавицкое кладбище шли тысячи киевлян. Погребал Ивана Босого ректор семинарии со многими городскими священниками. На могиле поставили крест с иконой Усекновения главы святого Иоанна Предтечи на жезльной доске и неугасимой лампадой. Взятая с нее земля считалась целебной. Ее носили в ладанках на груди три дня, после чего возвращали юродивому.

Легенды и предания о великом подвижнике жили в Киеве на протяжении всего XIX века.

**Очевидно, Иван Босой был близок к исихизму, предписывающему просветляющее душу молчание.*

*** Такого уровня прозорливости киевские схимники достигали благодаря своим духовным подвигам.*

**** Кипарисные крестики в XIX веке служили основным киевским сувениром для богомольцев. Их изготавливали на Подоле и продавали десятками тысяч в год.*

***** Среди образованных людей XIX века юродивых принято было считать или сумасшедшими, или шарлатанами.*

Из рассказов писателя В. И. Аскоченского об Иване Босой

1.

В первый раз мне удалось увидеть его в начале 1843 года зимой. Я тогда был еще студентом. Не помню хорошо, в какой именно день отправился в Лавру к обеду: холод был нестерпимый; я шел, закутавшись как можно плотнее в шинель и учащал мои шаги, чтобы согреться. Гляжу на подъеме Александровской горы*, находившейся тогда в первобытном состоянии** и крепко напоминавшей собою Кавказ с его стремнинами и провалами, безжит какой-то господин довольно плотного сложения, лет этак сорока. Он был без шапки, в легком нанковом халате, простирившемся до пят, на ногах его не было ни сапог, ни даже каких-либо чулков. Господин этот гнал перед собой деревянный шар величиной с небольшой арбуз, который скатывался вниз и доставал немало хлопот тому, кто подгонял его. Удивленный таким явлением, я невольно остановился.

— Чего ты стал? — сказал Босой, взяв в руки непослушный шар. — Иди вперед, вперед, вперед! Видишь, шар-то твой валится назад, как ты ни стараешься, а ты все-таки толкай его и иди вперед!***

Недовольный такой фамильярностью (нелзя же-с: студент был важная, значит, фигура!), я плотнее завернувшись в шинель, пошел быстрее от моего неожиданно-го собеседника.

— Ты не спеши, раб Божий! Шар-то возьми с собой, ведь тебе приказано гонять его. Куда ты идешь? — сказал Босой, поравнявшись со мной.

— В Лавру, — ответил я.

— Вот и хорошо, ты в Лавру и я в Лавру. Давай же вместе подгонять шар.

И бросив свою игрушку, он принялся подталкивать ее. С Крещатики**** подъем сделался круче, и я опередил своего спутника, который гонялся за шаром, скатывавшимся вниз.

Возвращавшись в академию, рассказал я о встрече моей товарищам и узнал от них, что спутник был известный всему Киеву юридичив Иван Босой*****.

(84, 207—209).

* Александровская гора в наше время называется Михайловскою.

** Слова о «первобытном состоянии» Александровской горы не совсем точны. В то время производилось ее укрепление и реконструкция.

*** По свойству своего характера Аскоченский был подвержен многим слабостям и искушениям, мешавшим его духовному движению вперед, о чем и намекал ему Босой своим шаром.

**** Имеется в виду не улица, а Крещатицкий яр.

***** Тогда же записал я в дневнике моем встречу и разговор мой с юридичивым. — Прим. В. Аскоченского.

2.

Недели через две случилось мне быть в Михайловском монастыре. Отслушав обедню в домово́й архиерейской церкви, я проходил мимо подъезда келий, занимаемых владыками. Гляжу, стоит Босой и с коми-

ческим гордым видом одевает нищих деньгами, кусками хлеба, а иным показывает шиш. Заметив меня, он подскочил ко мне и, подавая какую-то монету, сказал:

— Вот и тебе, раб Божий! Возьми дружок, возьми; тебе деньги надобны.

На табак что ли? — сказал я с усмешкою (никогда не прощу себе этой глупой студенческой выходки!).

Иван Босой сплюнул.

— И без табаку будет у тебя горько во рту, — сказал он, отдавая монету какой-то подошедшей женщине. — Возьми, сестрица, — прибавил он, — помолись за него дурака!

Оскорбленный таким названием, я чуть не выругал моего благодетеля, а он, захохотав мне вслед, закричал:

— Пожалеешь, брат, о моей копеечке!

Прости меня, подвижник Христов; откинута копеечка твоя стоила мне тысячи скорбей в малой и злой моей жизни!..

(84, 209)

3.

Потом, не помню уже когда именно, но только летом, встретил я Ивана Босого на Плоском. Это была пора самых пламенных, юношеских моих мечтаний и надежд.

Пользуясь вниманием одной достойнейшей девицы, которая по неисповедимым судьбам промысла Божия стала потом моей женой, счастливый и беззаботный шел я по улице, чуть ли даже не налевая что-то. Вдруг на самом повороте улицы к Цекавице с саженою палкой, на которой привязан был огромный букет простых полевых цветов, перемешанных с бурьяном и крапивою, очутился передо мною Иван Босой.

— Здравствуй, приятель, — сказал он, подходя ко мне. — А я был... (тут он назвал имя девицы, о которой я мечтал).

— Как же ты ее знаешь? — спросил я с непритворным изумлением.

— Вона! Кого я не знаю! Беденькая! Повянет все, все у ней повянет!*. На-ка вот и тебе цветочек!

— На что он мне?

— Я сам знаю, что не нужен, да возьмешь, возьмешь! За третьим сам пойдешь**.

— Сумасшедший! — сказал я, отходя от него с досадой. Веселое настроение моего духа исчезло; я отошел тихо и скромно, а за мной гнался раздражающий смех юродивого.

(84, 209—210).

* Жена моя умерла через два года потом в лютой чахотке. — Прим. В. Аскоченского.

** С ужасом припоминаю теперь слова блаженного. Они оправдались во всей своей силе. — Прим. В. Аскоченского.

Из воспоминаний пономаря Иулиана

Пономарь Киево-Андреевской церкви, который и теперь находится в живых, рассказывал мне об Иване Босом следующее:

«Когда я был, — говорил он, — в Голосеевской пустыни псаломщиком, тогда меня послали в Киев купить некоторые вещи, которые употребляются при богослужении. Купивши нужные вещи на Подоле, думал возвратиться в свою пустынь через Старый Город и, подвезжая к подъему Андреевской дороги, вижу — против меня идет человек без шапки, в нанковом халате и босой, и тут же на моих глазах пал о ледяную дорогу, отчего на лбу его сделалась рана, и из раны струилась кровь ручьем. Я в то же мгновение соскочил с саней и, имея на себе под верхнюю одежду утиральник, начал унимать струившуюся кровь и обвязывать голову павшего человека оным утиральником. Падимый, пришедши в чувство, обратился ко мне и сказал:

— Спасибо тебе за помощь, Иулианушка! Будешь и ты в Киево-Андреевской церкви, и будет тебе хорошо.

Я удивился, как этот человек, видящий меня в первый раз и я его тоже, назвал меня моим собственным именем — Иулианом?

Приехавши в пустынь, я рассказал своим товарищам о сем происшествии. Товарищи все единогласно сказали, что это не кто иной, как удивительный юродивый Иван Босой.

Скоро сбылись на мне слова Ивана Босого. Проживши еще некоторое время в Голосеевской пустыни, я женился и действительно определен был пономарем в Киево-Андреевской церкви, при которой служу уже несколько лет, имею 4 сынов /.../, и живет мне хорошо. Я даже живу в том отделении, где жил Иван Босой, — заключил пономарь.

Но минут через десять сказал:

— Да я еще забыл одну сказать. Я Ивана Босого особенно благодарю за то, что он лечил моих детей.

Я спросил его, каким способом. Пономарь отвечал:

— Бывало, двое-трое моих детей болеют от лихорадки, я, не употребляя никаких медицинских средств, иду прямо к могиле Ивана Босого и, взявши землицы с его могилы, приношу домой; жена, поделавши из оной узелки, привязывает их на шеи больных детей. После сего мы молимся: «Господи Иисусе Христи, молитвами труженика твоего Ивана Босого освободи детей наших от болезни.

(84, 206—207).

/Из письма нигородного богомольца С. Ж-на/

/.../ Мне сказали, что могила Ивана Босого находится на Щеканиде, и я, уловив свободное время, отправился туда. Неизъяснимое чувство обьяло мою душу при взгляде на эту необозримую Иосафатову долину* векового Киева: это не была скорбь, не был ужас, а какое-то сладостное томление, выжимавшее из груди слезы и выражавшееся тихой безмолвною молитвою... Пересмотрев множество памятников, перечитав сотни надписей, я не находил того, что желал. С грустью оставляя я кладбище, жалея о безуспешности моих поисков. Вдруг в стороне увидел я старушку, сидевшую на зеленоющей могиле. Согретая лучами летнего солнца, она спокойно дремала.

— Бабушка, — сказал я, — не знаешь ли ты могилы Ивана Босого?

— Босенького-то! — отвечала она, — поднимаясь с могилы. — Как не знать,

родимый! Пойдем со мной. Да ты зачем к нему — по болезни что ли какой, или так, по-родственному?

— Нет, бабушка, по усердию.

— Спаси тебя, Господи.

— А знаешь ли ты, старушка, про Ивана Босого? — спросил я, идя с нею рядом. — Или по крайней мере не слыхала ли чего?

— Как не слыхать, батюшка. Я и сама близко его знала. Да кто его не знает из нашей бедной братии? Это был, родимый мой, человек блаженный. Все летушко и зимушко ходил он босенький. Кормилец наш был, царство ему небесное! — говорила она набожно крестясь.

— Кормилец?

— Кормилец, батюшка! Бывало, наберет нашей братии, бедненьких-то, — он жил тогда в церкви Андрея Первозванного, — много таково наберет нас, — да и любил же он нас, сердечный, царство ему небесное! — наберет, говорю, да станет кормить нас. Отрежет тебе вот такую кибушку хлеба (старушка показала размер руками) и ложечки четыре борщичу нальет, да и скажет:

— Ешьте во славу Божию, дорогие гостеньки! Чем богат, тем и рад. А вот денег не любил давать. Попросишь, бывало: «Босинький! Дай ты мне копеечку!» А он тебе кукиш покажет. «На что? — скажет. — Тебе не нужны деньги. Ты милости проси у Бога вот так: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Тут о деньгах нет и слова. Ну, так ты и не проси их».

А умирал-то сердечный как: чисто праведник! Сам митрополит был при его смерти. «Где тебя похоронить, Босой? — спросил он его. — Я тебя, — говорит, — в Лавре схороню». — «И, нет, не надо! Похорони меня на Щекавице, там между братией моей, между друзьями моими, поближе к бедненьким-то». Вот тут его и похоронили. Вот тут и спит, родимый наш.

Я взглянул на показанную мне старушкою могилу. Она вся была взрыта и, как заметно, руками.

— Видишь ли, батюшка, могила-то вся взрыта. Уберут ее голубушку, обложат и травушкой, и цветочками, а на другой день — гляди, опять взрыта. Это, родимый ты мой, значит, что народу-то много приходит к босинькому; землицу берут с верою в молитвы его у Господа исцеление получить, больше все от лихорадки.

Взял и я себе землицы с могилы праведника, прося его молитв и заступления перед Богом, которому предстает он ныне в лике праведных.
(105, 1381).

**Место древнего кладбища под Иерусалимом.*

СТАРЕЦ ВОНИФАТИЙ ВИНОГРАДСКИЙ

Старец Вонифатий (в миру Дамиан Федорович Виноградский) (1785—1871). Родился в семье крестьянина Херсонской губернии. Учился в сельской приходской школе. Обет стать монахом дал в 12 лет. Женился по настоянию матери-вдовы, но вместе с женой поклялся сохранять целомудрие. Служил в армии и принимал участие в войне 1812 года. После войны жил в военном поселении в родном селе. Добился увольнения и устроился в Киеве продавцом свечей при Троицкой церкви в Старом Городе. В 1848 г. по настоянию одной старицы принял деньги на содержание странноприимного дома и, получив благословение знаменитого старца Феофила, взял на себя заботы по содержанию приюта Ивана Босого под Андреевской церковью. После смерти юродивого знаменитая богадельня просуществовала всего полгода и была закрыта 25 июня 1850 года по распоряжению царя Николая I, которому донесли, будто под Андреевскою церковью под видом богомольцев находят пристанище беглые крестьяне.

Отлученный от любимого дела, Дамиан поступил послушником в Михайловский монастырь и с благословения викария Аполлинария приступил (в 1851 г.) к заведованию мона-

тырской гостиницей, где, как и во времена Ивана Босого, кормил странников и нищих. Вместо обветшалого деревянного здания он построил новый трехэтажный каменный дом. В 1854 г. пострижен в монахи под именем Вонифатия. В 1861 году с благословения настоятеля Михайловского монастыря Серафима основал схимнический скит в Феофании, игуменом которого стал в 1868 году.

Обитель Вонифатия существовала в основном на деньги богатых богомольцев, имела свою странноприимницу, где посетители получали бесплатно кров и пищу. Ежегодно около 50 больных и немощных, которым трудно было добраться до дома, останавливались здесь также и на зимовку.

Сам Вонифатий отличался необычайной скромностью. Более всего он боялся прослыть среди мирян «святым» и поэтому, будучи великим постником, ел, как и все, если в это время в его келье находились посетители.

Вонифатий свершал свой подвиг вдали от посторонних глаз и, если бы не занимался такой обширной благотворительностью, остался бы одним из тех киевских праведников, чьи имена не знали даже современники.

/Несостоявшееся самосожжение/

— Бесы, — /говорил/ отец Вонифатий, — своими страхованиями и озабоченностями довели меня до того, что я решился было оставить монастырь и предать себя живой смерти. С сим намерением отправился я с огнивом в ближайший лес, чтобы сжечь себя на костре. На сем пагубном пути услышал я голос (голос, конечно, ангела-хранителя): «Дамиян! Куда идешь? Остановись! Поди к священнику, исповедуй грехи свои и приобщись Христовых таин!» Голоса его я послушался.

(84, 13).

/Посрамление бесов/

Однажды отец Вонифатий, стоя в церкви во время утреннего пения, обратившись ко мне, пишущему сии строки, и другим, около него находившимся, спросил:

— Слышите ли, как бесы меня бранят?

Мы отвечали:

— Нет.

Старец продолжал:

— Они меня постоянно бранят и грозят убить; но я, по милости Божьей, их не боюсь и не внимаю им. Я имею их как малых щенков, которые лают, но не кусают. Они того только кусают, кто соизволяет их лаяню.

Он же говорил:

— На восьмидесятом году моей жизни бесы, явившись ко мне, сказали: «Мы уже не будем более тебя искушать. Ты непобедим». Сказавши сие, исчезли. Но я, — продолжал старец, — им не верю. Я знаю их хитрости.

(84, 15).

/Имущество схимника/

«Не собирайте себе сокровищ на земле» (Мат. 6, 19), и старец сей никогда и ничего не запасал для себя. Келия его была в 2 сажени длины и сажень ширины; в ней, кроме некоторых священных книг, многих икон немалого размера, перед которыми неугасимо теплились лампады, двух ряс, двух подрясников, мантин, клубука, двух власяниц, в которых непременно всегда ходил, пары сапог, пары сандалий, аналогия*, на котором лежали Евангелие и Псалтырь, и деревянной доски на ножках, которой длина была два аршина и ширина в пол-аршина, покрытой тоненьким шерстяным ковриком, с лежащей на ней подушечкой, набитой сеном, которая служила ему и одром, — более ничего не имел. Во всю жизнь свою он не отдавал денег в рост** и обыкновенно /.../ носил их всегда с собою, чтобы всегда иметь возможность удовлетворять просящих.

(84, 47).

* То же самое, что и аналой — столик или подставка для чтения книг.

** Сдаваемые ему состоятельными верующими деньги на благотворительность составляли значительные суммы.

/Нечистое зелье/

Терпеть не мог, если кто из живших в ските употреблял табак, такового высылал из скита. Употреблявшим табак говорил:

— Касательно табаку я не возжусь с предвзвешенным раскольников, но прямо скажу, что зелье сие создано не для христианина: оно само в себе нечистое. Если кто желает увериться в сем, то пусть растущий табак окропит освященной водой, и он увянет.

Опыта сего никто из скитян не делал, потому что сие зелье там не росло.
(84, 50).

/Подрясник для загробного мира/

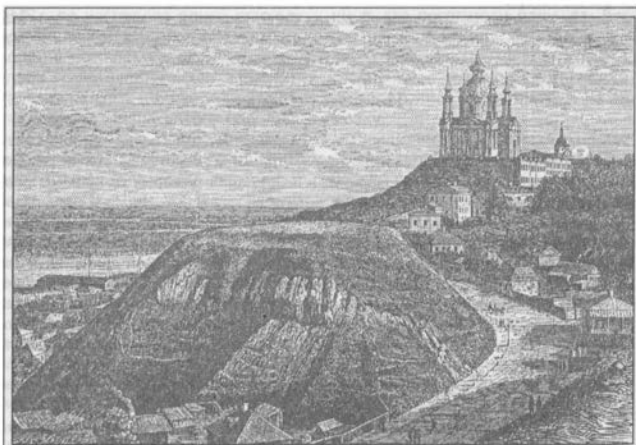
За несколько дней до своей смерти отец Вонифатий, призвавши монаха, жившего при нем, сказал:

— Видишь, какой на мне грязный подрясник! Поезжай в Киев, купи материал на подрясник и привези портного. И постарайся, чтобы скоро готов был для меня подрясник. Поспеш, поспеш с подрясником, ибо я 27 декабря 1871 года умру.

Монах заплакал и поехал в Киев, откуда привез материал на подрясник и портного. И скоро подрясник был готов.

Через 2 дня после сего, в 10 часов утра 27 декабря 1871 года игумена отца Вонифатия не стало.

(84, 53—54).



Андреевский спуск. Гравюра XIX в.

ЮРОДИВЫЙ-МОНАХ ФЕОФИЛ ГОРЕНКОВСКИЙ

Иеросхимонах Феофил (в миру Фома Андреевич Горенковский) (1788—1853). Родился в семье священника г. Махновки Киевской губернии. Учился в КДА, служил дьячком в Чигирине и пономарем в Обуховке. С 1812 г. — послушник Киево-Братского монастыря. В 1821 г. пострижен в монахи. С 1822 года — иеродиакон. В 1827 г. назначен против своего желания экономом Братского монастыря и чтобы избежать этого обременительного для себя занятия, начал юродствовать. Собиравшиеся вокруг него толпы поклонников и зевак мешали занятиям в Академии и монастырской службе. Юродивого удалили с Подола в Голосеевский скит. (Кстати, Лавра так никогда и не приняла великого подвижника в число своей братии). Неудобный тамошним схимникам юродивый был вторично «сослан» в Китаевскую пустынь, где и жил до самой смерти, осаждаемый постоянно толпами поклонников, среди которых нередко встречались именитые и сановные люди. Одно время митрополит Филарет приблизил его к себе и поселил вместе с Парфением в своей голосеевской резиденции, но из этого союза трех великих старцев из-за неудобопереносимого юродства Феофила ничего не вышло. Нарушитель спокойствия вернулся в «ссылку» в Китаевскую пустынь. В «странностях» Феофила было много общего с



«проделками» его великого современника — знаменитого московского юродивого Ивана Яковлевича Корейши. Самоуничтожительные подвиги китаевского «ссыльного иеродиакона» почти 30 лет находились в центре внимания всего города. В каждой его «дикий выходке» искали тайный смысл, вещий знак, название или обличение. О его пророчествах и чудесах еще в начале XX века в городе рассказывали совершенно невероятные вещи. Говорили, например, что его лодка могла плыть без весел против течения Днепра или что царь Николай Павлович приезжал в Киев перед Крымской войной, чтобы узнать от Феофила об ее исходе.

Многие из преданий о «киевском Корейше» дошли до наших дней благодаря книге послушника Владимира Зноско «Христа ради юродивый Феофил, подвижник и прозорливец Киево-Печерской лавры». (К., 1906).

1. ПРИМЕРЫ ПРОЗОРЛИВОСТИ И ПРОРОЧЕСТВ

1.

Когда А/лекс/ий Шепелев/ явился однажды к старцу /Феофилу/, будучи еще мальчиком, блаженный призвал к себе келейника Пантелеймона и сказал:

— Кланяйся ему (т. е. Алексию) в ноги... Целуй в руки своего духовника!

Впоследствии так и случилось. Старец А/лекс/ий постригал Пантелеймона на смерть, напутствовал его в вечность и совершил по нем отпевание. (123, 89).

2.

Когда экипаж /царя Николая I/ проезжал по Печерску и сворачивал на одну из дорог прилегавших улиц, навстречу, из-за угла, попался государю отец Феофил на своем бычке, и едва только царские лошади поравнялись с телегою старца, как остановились против быка точно вкопанные. Все усилия кучера направить их вперед были напрасны: лошади рвались то вправо, то влево, но *сдвинуть экипаж с места не могли*.

Зантересованный государь, увидев близ себя встречного в оборванном полукафтани монаха, пожелала узнать, кто он такой. Свитские государя и городские власти немедленно бросились к Феофилу и подвели его к царскому экипажу.

— Ты что за человек? — сурово спросил Феофила Николай Павлович, окидывая его пронизательным взглядом.

— Божий я человек, — с детским простодушием отвечал блаженный.

— Знаю, что Божий, но откуда ты и куда едешь?

— Відкіля я, там мене вже нема... Де нахожусь тепер, — там мене всяк бачить... Де буду після, — один Бог знає...

Николай Павлович оглянулся и вопросительно посмотрел на свитских, те, крайне смущенные таким ответом старца, поспешили сделать пояснение, что этот встречный простец — юродивый монах Киево-Печерской лавры Феофил.

— Юродивый монах? — переспросил Николай Павлович с удивлением. — Странно...

И желая затем прекратить смущение сопровождавших его лиц добродушно обратился к Феофилу и сказал:

— Ну, поезжай с Богом... Пожелай мне счастливого пути.

— Ні, государь... Тобі треба пройти крізь терніє, — отвечал на это блаженный, спокойно взбираясь на свою повозку.

В эту минуту лошади *рванулись* в сторону, и царский экипаж *помчался* вперед. Государь слышал эти пророчески-знаменательные слова старца Феофила и с любопытством еще раз пристально оглянулся на странного монаха...

(123, 163—164).

3.

В 1852 году император Николай Павлович в последний раз посетил дорогой его сердцу Киев незадолго до начала войны

с Турцией, приведшей к несчастной Крымской кампании, уложившей государя в безвременную могилу. Николай Павлович прибыл в Киев с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами 5 октября, в воскресенье, в 11 часов утра по тракту из Николаева.

В час пополудни государь был в Лавре. Там он посетил митрополита и, беседа с ним наедине в его покоях, был крайне утритом и невесел. Чело и взор его были омрачены неотвязною думою /.../ При конце разговора государь, как бы намекая владыке на тревожное состояние политических дел, открыто выразился, что над отечеством расстилается грозная туча, но он /.../ сумеет проучить дерзких врагов по достоинству.

— Ах, как бы я желал знать, что ожидает Россию в будущем, — после некоторого молчания продолжал он.

— Но сего никто же весть, токмо один Бог, — со вздохом заметил ему митрополит.

— Знаю, знаю, что так... — отвечал государь. — Но знаю и то, что святая Киево-Печерская лавра, искони служащая рассадником веры и благочестия, всегда была богата благочестивыми иконами, носящими в себе дух истинно-подвижнической жизни... Нет ли и теперь у вас одухотворенных благодатью старцев, у которых я мог бы испросить совета на мои предстоящие политические проекты?

— Есть, государь, — отвечал на это митрополит. — Есть такой... И хотя образ жизни его нисколько не походит на образ жизни остальных иноков вверенной мне Богом обители, однако со смелостью могу уверить ваше императорское величество, что под покровом его простоты и юродства скрывается благодать святого духа и несомненный дар прозорливости.

— Уж не тот ли это высокий монах, которого я встречал некогда по пути в город? Насколько мне помнится, он проезжал тогда на телеге, запряженной быком...

— Ты не ошибся, государь, — отвечал владыка, — это он /.../

После вышеприведенного разговора государь посетил Софийский собор и Михайловский монастырь, а затем, отобедав у себя на квартире*, дождавшись приезда митрополита Филарета и усевшись рядом с ним в его экипаже, отправился в Китаевскую пустынь к старцу Феофилу.

Что же сделал блаженный? Несмотря на то, что от имени митрополита был послан из Лавры в Китаев верховой с приказанием удерживать старца Феофила на весь день в монастыре, блаженный незаметно пробрался через ворота и ушел в лес. Провидя духом приближение царского экипажа, он вышел ему навстречу, в Голосеев, но не показался пред лицо государя, а пропустил экипаж мимо себя, спрятавшись за большое дерево. Затем, дождавшись этого момента, когда царский экипаж стал подниматься шагом в гору, он обежал его стороною через кусты вперед, исцарапал себе до крови руки и лицо и, отыскав находившийся на некотором расстоянии от дороги большой муравейник, разгреб его руками и улегся в середину его на спину.

Погода в этот день была солнечная, теплая. Поездка состоялась весьма удачная, но государь все время был молчалив и в глубоком раздумье рассматривал по сторонам окружающую местность. Вдруг зоркий взгляд его увидел в стороне черное пятно.

— Что там такое? — быстро спросил государь митрополита, указывая рукой на заинтересовавший его предмет. — Мертвое тело, что ли?

Владыка взглянул по направлению поднятой руки, но сколько ни силился, не мог рассмотреть старческими очами, что там такое лежит.

— Гавриил! — обратился он к сидевшему на козлах камердинеру. — Хутко, брат, разгляди.

— Это лежит человек, ваше высокопреосвященство, — отвечал, обернувшись Гавриила. — Но только не мертвый, а живой... Вон у него и ноги шевелятся...

— На чем же он лежит? — спросил в свою очередь и государь.

— Да, видать, на муравейнике, ваше императорское высочество, — отвечал Гавриила.

— Странно... — сказал на это государь и приказал кучеру свернуть в сторону.

Когда высокие путешественники вышли из экипажа и подошли к муравейнику, Феофил лежал не шевелясь. Руки его были сложены на груди крестообразно, как на смерть, а глаза закрыты совсем. По всему телу и лицу его копились целыми массами муравьи, но он, точно не чувствуя ничего, притворился мертвым.

— Это схимонах Феофил, — тихо прошептал митрополит государю, подходя ближе. — Это тот самый старец, к которому мы едем, чтобы навестить его.

— Чего же он лежит тут? — с удивлением спросил Николай Павлович. — Ну-ка, узнайте...

— Феофил! — нагнулся к блаженному владыка. — Зачем ты лежишь здесь? Молчание.

— Подымись, говорю, проказник!.. Государь хочет говорить с тобой...

Ни звука, ни движения.

— Странно! — с досадою сказал государь и, сердито махнув рукой, повернулся назад и пошел к экипажу.

— Нет!... Это неспроста, ваше императорское величество, — заметил монарху митрополит, когда они сядились в карету. — Чует мое сердце, что эта проделка его имеет своеобразное значение.

Но сколько ни силился владыка митрополит разгадать государю поступок блаженного старца, не мог дать на то ясного утвердительного ответа.

Прошло несколько времени. Война туркам была объявлена. 2 сентября 1854 года союзный флот пристал к берегам Крыма и высадил многочисленную армию англичан, французов и турок числом до 70 000. Наши войска сравнительно с неприятельскими были малочисленны, однако решили защищаться /.../

Весь свет дивился стойкости и необычайному мужеству русских воинов. Но истощались русские силы, редели ряды славных воинов. Росло и кладбище. Удрученный горем император Николай Павлович, заметно похудел. От дум и тревог здоровье его расстроилось. К тому же он простудился и слег в постель.

Наступило 18 февраля 1855 года. Измученный заботами, истерзанный печальями государь Николай Павлович мирно скончался** /.../

Митрополит призвал к себе своего камердинера Гавриила Федоровича Галушку и сказал:

— Помнишь ли, Гавриил, нашу поездку с государем в Китаеве? А помнишь ли муравыную кучу и Феофила в ней?

— Как не помнить, владыко, святой... Это было три года тому назад...

— Так вот знай же, что я до сего времени не мог разгадать его странного поступка. Теперь же пророчество старца мне ясно как Божий день... Муравьи — это

злобствующие враги нашего отечества, стремящиеся истерзать великое тело России; крестообразно сложенные руки и смеженные очи Феофила — это внезапная, скорая смерть нашего возлюбленного царя-батюшки...

(123, 159—172).

**Царь останавливался обычно в генерал-губернаторском доме на Институтской улице.*

*** Среди современников ходили упорные слухи, что император покончил с собой, приняв яд, не пережив позора поражения русской армии в Крымской войне.*

4.

Имя блаженного старца Феофила настолько славилось в окрестностях Киева, что ни один из благочестивых и богобоязненных людей (а их в ту пору, как видите, было много) не начинал своего дела без его советов и указаний. Даже ни одна свадьба никогда не начиналась без его благословения. И каждое слово или совет блаженного, как бы он ни был суров или неудобен, принимался поклонниками без всякого раздумья, как вещий глас с неба, и был выполняем ими в неприкосновенной точности.

Проживал в Киеве маклер Иван Н. Во времена молодости своей, когда он служил приказчиком в каком-то магазине, задумал маклер жениться. Долго избирал он себе девушку по сердцу, и вот, случайно повстречавшись в купеческом собрании* с Любочкой З., взор его остановился на ней. Участь маклера была решена, и он надумал сделать Любочке предложение. Нарядился, приехал к ее родителям в дом и высказался о своем намерении, но получил от матери /такой/ ответ:

— Любочка наша уже сосватана. Жених ее — молодой человек Генрих М. Он, хотя и лютеранского вероисповедания, но мы не можем взять обратно данное ему слово...

— Ах, Боже мой! Но я без ума люблю вашу дочь!

— Что делать?... Жаль, что вы не сказали об этом раньше.

Правда, маклер был человек деловитый и умный, а немчик, хотя и ветреный, зато богатый. Родители Любочки, услышав такое предложение маклера, собрали в дом родственников. Стали совещаться и большинством голосов решили отдать девушку все-таки за немца. Но прежде, чем устроить свадьбу надумали посетить старца Феофила. Накупили булок, хлеба, ладана, свечей и поехали. Старец отворяет им дверь, приветствует всех, но не давая посетителям вымолвить ни единого слова, говорит:

— За Ивана, за Ивана... Не смейте отдавать за Генриха болвана!

Родители послушались, Любочка обвенчалась с маклером и целый век была счастлива судьбой.

(123, 141—142).

**Т. е. в Контрактном доме на Подоле.*

5.

Имея намерение посетить старца в его кельи, чтобы лично убедиться в справедливости возводимой на него клеветы,* он (ми-

трополит Филарет) нередко отправлялся к его жилищу, но всякий раз Феофил старался не допустить владыку до такого праздного любопытства, и однажды перед приходом его даже заделал двери хворостом и стал замазывать глиной, так что митрополит волей-неволей должен был возвратиться назад.

Но однажды случилось так, что владыка, явившись к старцу с келейником своим врасплох, застал Феофила дома. Блаженный принял высокого гостя весьма радушно и, как бы желая выразить свою глубокую радость, посадил его на скамью, а сам принялся ставить самовар. Когда вода начала закипать, он перенес самовар на середину комнаты, на пол, и подставил под кран глиняную миску. Затем взял у архиепископа его деревянную клюшку и внимательно осмотрел ее со всех сторон.

— А что стоит эта палка? — спросил блаженный, не глядя на владыку.

— Ничего не стоит, — отвечал на это митрополит.

— Нет, — сказал тогда старец, — она стоит целых 25 рублей.

И с этими словами положил клюшку на стоявшую под самоваром миску, а из самовара вынул кран и забросил его в угол. Вода полилась на палку, переполнила края миски и полилась ручьем на пол.

Владыка поднялся со своего места и в крайнем смущении, проходя по мокрому полу, поспешил из келии во двор...

С тех пор прошло несколько дней. На дворе стоял июнь. Погода была тихая, ясная, приятная. Владыке вадумалось прогуляться по лесу. И не взяв с собою никого из келейников, митрополит отправился в путь**.

Там, в конце Голосеевского леса (где ныне Ореховатский сад) был пригорок и возле ограды из частокла стояла простая садовая скамейка, на которой владыка всегда отдыхал. Это было самое излюбленное место высокопреосвященного владыки, ибо отсюда открывался такой великолепный вид, что и город и святая Лавра были видны здесь как на ладони***. Пользуясь уединением, митрополит просиживал здесь целыми часами и, взведя к небу свои святительские руки, возносил к Богу тайную молитву о благоденствии живших во святом граде и обители Печерской.

Желая и на этот раз сотворить свою обычную молитву, владыка опустился на колени, но из-за кустов вышел с палкою человек и, подходя к старцу и указывая на свою дубину, спросил:

— А что стоит эта палка?..

Владыка хотел осенить его благословением, но незнакомец прямо обратился к своей цели:

— Не надо... Давай что у тебя есть...

Митрополит преспокойно вынул кошелек, в котором находилось 25 рублей и, отдавая, сказал:

— Ну, брат, жалко мне тебя... Тут, должно быть, мало.

Но когда он распахнул полу, чтобы вынуть из кармана кошелек, незнакомец заметил на нем золотые с цепочкою часы и дерзновенно сказал:

— Коли говоришь мало, так давай вдобавок и часы.

Владыка преспокойно исполнил требование.

— Эге! — сказал незнакомец, — да они, кажись, золотые!..

— Так что же? Для тебя, брат, выгоднее...

— Как же так: ты монах, а у тебя часы золотые... Или ты не из простых? Может быть, ты казначей или еще кто-нибудь?..

— Нет, не казначей.

— Так кто же ты?

— По правде сказать, меня зовут митрополитом...

— Митрополитом!!! — остоленел незнакомец.

— Ну да... Что же ты, любезный, так переполошился? Господь с тобой!

Незнакомец повалился ему в ноги.

— Ну брат, встань-ка, встань, да проводи меня домой, и не бойся, пожалуйста, ничего.

Когда они подходили к пустыни, владыка снова обратился к несчастному с речью:

— Вот что, брат... Отдай-ка мне часы... Они ведь именные... Не ровен час, падешь с ними в беду, когда продавать станешь... А лучше ты постой здесь немного, я позову тебя к себе как странника и прибавлю еще несколько денег...

Незнакомец отдал часы. А владыка приказал на крыльце келейнику отцу Сергию идти скорее к воротам и позвать стоящего там странника, который был настолько добр, что проводил его. Келейник пошел за ворота, но незнакомца уже не было: его и след простыл.

— Экой недобрый, — сказал на это митрополит. — Ну и Господь с ним!..

Отсидевшись на стуле и немного успокоившись, владыка приказал привести к нему Феофила, и когда тот явился, то, указывая рукой на свою клошку, с улыбкою сказал:

— Твое предчувствие, Феофил, сбылось... Палка стоит не менее 25 рублей... Но это еще не беда, друг мой, а в том заключается страх, что злоумышленник мог бы выпустить из меня столько крови, сколько ты выпустил тогда киятку из своего самовара...

— Дивны дела твои, Господи! — отвечал на это блаженный своею любимую поговоркою.

(123, 124—129).

** Монахи жаловались, что Феофил живет неопрятно, разводит в своей келье грязь и нарочно портит церковное имущество.*

***Высокопреосвященный Филарет по внешнему своему одянию ничем не отличался в Голосееве от прочих собратий. Всегда в обычной шапочке, простой рясе, со старческим костыльком в одной руке, а в другой с Евангелием или Апостолом, — владыка был скорее похож на простого скитского старца. — Прим. автора.*

**** Этот вид описал в мистических тонах в «Путешествии по святым местам» А. Н. Муравьев.*

6.

Встреча блаженного со стариком Диковским была самая трогательная. Иосиф Никифорович не видал старца несколько лет и, радуясь ему как малое дитя, принялся показывать ему различные усовершенствования своего хозяйства...

— Славню, славню, — поощрял старика блаженный. — У тебя здесь, как крин, расцвело.

Затем, прогуливаясь с Диковским по саду, остановился под большим дубом и, подняв очи горе, вдохновенно сказал:

— Молись, раб Божий Иосиф... Место, на котором мы стоим с тобой, — свято...

— Какое уж там «свято», — возразил Диковский. — Сюда по праздничным дням городская молодежь оргии устраивать приезжает*, а вы называете — «свято»...

— Нет, нет, — с уверенностью сказал прозорливый старец. — Истинно говорю тебе: здесь воссияет благодать Божия, и на том месте, на котором мы стоим, будет воздвигнут Храм Божий. Дуб же сей будет срублен и послужит местом построения церковного престола, а весь твой сад будет преобразен в девичий монастырь и царственная жена будет устроительницей и правительницей его.

Предсказание старца исполнилось в точности.

В 1888 г. супруга великого князя Николая Николаевича, великая княгиня Александра Петровна**, проживавшая в то время в предместье г. Киева — Липках и имевшая там близ для себя небольшой, устроенный на ее средства скиток***, стала подыскивать в окрестностях Киева подходящее место для построения целой обители. Услышав о ее намерении, дочь Диковского Феодосия Поныркина и предложила великой княгине приобрести для этой цели принадлежавший Диковским на Глубочице участок земли. Тогда ее императорское величество немедленно послала к Диковским жену своего диакона и приказала ей осмотреть этот сад и привезти от Диковских план продающейся местности. План чрезвычайно понравился. Сад у Диковских был приобретен и вскоре благочестивым усердием и на средства великой княгини был воздвигнут там Покровский женский монастырь.

Когда Феодосия Поныркина, вспомнив предсказание старца Феодосия, доложила о нем великой княгине, царственная княгиня пришла в неопишное изумление:

— Боже мой!.. Неужели это так?! — воскликнула она. — Отчего же вы мне раньше не сообщали?

— Совсем из памяти вышло, ваше высочество, — отвечала Поныркина.

И чтобы искупить вину нерадения Поныркиной, великая княгиня тотчас послала в Китаевскую пустынь приближенную к себе монахиню с приказанием отслужить на могиле старца Феофила панихиду, и с тех пор неизменно и благоговейно чтла память блаженного, в знак чего даже приказала написать для себя портрет Феофила****.

(123, 38).

*По свидетельству Н. Сементовского, Диковский устроил в своей усадьбе на краю горы над Глубочицей вблизи Подола (часть этой усадьбы отошла впоследствии под Покровский монастырь) чудесный сад с обычным для того времени летним павильоном («чайным домиком»), где устраивались пикники и гулянья. Об этом парке упоминал позже в своих воспоминаниях И. Ясинский. Очевидно, именно эти празднества и имел в виду набожный хозяин сада, говоря об «оргиях».

** Великая княгиня Александра Петровна (1838—1900) — дочь принца Петра Георгиевича Ольденбургского и принцессы Терезы Нассауской, вдова фельдмаршала великого князя Николая Николаевича (Старшего). Поселилась в связи с болезнью в Киеве в 1879 году. Сначала жила в Царском дворце, затем снимала частный дом в Липках. В 1889 году основала монастырь.

скую женскую общину, которая в 1890 году преобразована в общежительный Покровский монастырь. В 1896 году в присутствии царя и царицы положила здесь монументальный храм св. Николая. Приняла иночество под именем Анастасии, руководила благотворительной деятельностью своей общины, содержала при монастыре бесплатную больницу и поликлинику для приема приходящих больных. Похоронена в своей обители недалеко от Покровского собора. Патронизируемый ею монастырь киевляне называли «княгининым». Частыми гостями общины были члены царской семьи, которые нередко посещали Киев, чтобы повидаться со своею знаменитой родственницей. Про ее интимную жизнь и странный характер, унаследованный от царя Павла I, по городу ходило множество слухов и толков. По традиции провинциального города, их распространяли все, кому была охота, но никто никогда не опровергал.

*** Княгиня жила сначала в Царском дворце, но, как сообщает Ю. Витте, недовольный присутствием в царской резиденции ее фаворита-священника Лебедева, император Александр Александрович под предлогом ремонта переселил ее в частный дом на Липках, где и появился упоминаемый здесь «скиток».

**** Очевидно, репродукция с этого, написанного маслом, портрета юрдового и приложена к книге Вл. Зноско 1906 г.

2. ПОУЧЕНИЯ БЛАЖЕННОГО

1.

Как-то раз понадобилось владыке /Филарету/ побывать экстренно в Китаеве. Утруженный накануне различными делами, митрополит встал на полчаса позже обыкновенного и чрезвычайно торопился, чтобы успеть к назначенному времени, когда он прочитывал утреннее правило, в молельную комнату его вошел келейник неромонах отец Назарий и доложил владыке, что лошади поданы. Не желая делать промедления и не имея возможности дочитать молитвенное правило*, митрополит приказал подать ясы и, усевшись в карету, уехал.

Через полчаса он был уже в Китаевском лесу и, опустив каретное стекло, с жадностью вдыхал в себя чудный аромат свежего утреннего воздуха.

Вдруг взгляд его упал на одно большое, близко стоявшее дерево. Там взобравшись на самую верхушку его, преспокойно сидел Феофил с молитвенником в руках.

— Ты что здесь делаешь? — крикнул изумленный владыка.

— Келейное правило** дочитываю, — спокойно отвечал сверху Феофил.

— Что ты сказал?... Говори громче! Не слышу!..

— Келейное правило, говорю, дочитываю! — во весь голос закричал тогда блаженный. — Дома некогда было, поездка помешала, так вот хоть по дороге дочитаю!

— Да...да...да... Это ты про меня говоришь, значит? — сразу догадался владыка. — Ну спасибо тебе, проказник, что меня, старика, надоумил. Слезай назад поскорей... Теперь я уже сам дочитаю...

После описанного случая владыка чрезвычайно заинтересовался личностью блаженного и стал к нему присматриваться.
(123, 125—126).

**Установленное число молитв и чтения определенных мест из Святого Писания.*

*** Келейное правило — в данном случае то же самое, что и правило молитвенное: митрополит взял на себя так называемый «молитвенный подвиг».*

2.

Предстала перед ним /.../ щепетильная и знатная барыня. Старца не было в обители в то время, когда эта поклонница явилась к нему за получением благословения. Он по обыкновению бродил в лесу, окружающему обитель.

Но вот люди, наблюдавшие с высокого порога Китаевской колокольни, увидели старца, возвращающегося домой. Он шел, потупив голову, и был весь увешан грязными тряпками и полотенцами. Откуда он их взял — один Бог ведал! Только одно из этих полотенцев было замарано калом донельзя. Подойдя к поклоннице, Феофил остановился и сказал обычным малороссийским наречием:

— О, це велика пані! Треба руки обтерти... — и обтер их загаженным полотенцем.

— На, цілуй! — сказал он, протягивая ей руку.

Та, разумеется, отступила с изумлением.

— От такі твої і добродетелі перед Господом Богом, — заметил блаженный, — воняють, пані, воняють!

(123, 96).

3.

Выходя куда-либо из дому, блаженный Феофил келии своей никогда не запирал. Не делал этого даже тогда, если посылал своих келейников в город, ибо, несмотря на его отсутствие, возле келии всегда толпился народ. В особенности много было женщин. От них, как говорили, положительно отбою не было. Даже не побывав в церкви, они стремились к нему, и, завидя блаженного издали, бежали за ним толпою, выжидая под окном его появления...

Старец принимал всех зачастую в одном исподнем белье, полугрубом, и, когда отворял дверь, то каждая из женщин наперегонки старалась принести ему что-либо в дар: одна совала ковшик с молоком, другая — сыр, масло, яйца, третья — бутылку с квасом, пироги и прочее. И Боже мой, — какой происходил тогда отчаянный торг! Каждая стремилась передать ему в руки свое добро... Каждая желала обратить на себя его внимание.

В благодарность за приношения и старец Феофил поручал им какие-либо услуги: кому принести воды и дров, кому выбелить печку, или выполоть грядки...

Бывали среди них напыщенные барыни и так называемые тогда «пущеницы»*. С такими блаженный тоже не церемонился: заставлял их выносить помой и мусор, месить тесто и чистить картофель.

то в гору, тянется на целую четверть версты узкое ущелье, или же рытвина, т. е. яма, через которую каждому путешественнику и надлежало проезжать. И вот в то самое время, когда экипаж владыки проехал чуть ли не до середины пути, поверну, из-за поворота сего ущелья, показался отец Феофил на своем «бойкуне»*. Митрополитичий кучер, предполагая, что это встречный крестьянин, громко закричал:

— Эй, ты... свороти назад! Назад, говорю, свороти!

Митрополит, услышав грозные оклики кучера, высунул из кареты голову и спрашивает:

— Что там такое?

Но увидав подъезжающего к ним Феофила сразу догадался, в чем дело.

— Иван, остановись...

Кучер остановил лошадей, и владыка с отцом наместником вылезли из кареты. Феофил сидел на возу и, облокотившись на перила телеги, притворился спящим.

— Феофил, вставай!.. Несчастье случилось! — громко сказал митрополит Филарет и принялся будить блаженного.

— Что такое?.. А!.. Это вы, владыка святой?

— Я, я... Чего ты дремлешь, проказник? Посмотри, какой беды нам наделал.

А беда действительно случилась большая: встреча произошла в самом узком месте, так что ни бычка, ни кареты подвинуть было нельзя.

— Ну... что мы теперь будем делать?

— А что-нибудь будем делать, — спокойно ответил Феофил.

Пришлось распрягать бычка. Распрягли. Владыка погнал его палкою вверх, т. е. назад, на гору, а отец наместник святой с отцом Феофилом повезли за ним телегу. Кучер в этом «подвиге» не участвовал: он удерживал разгоряченных ездой лошадей.

После некоторых усилий путь был освобожден, и архипастырь свободно мог продолжать езду. Усаживаясь в карету, владыка был в хорошем расположении духа и на прощание громко смеялся:

— Посмотри, проказник, сколько ты из нас, постников, телесного пару выкачал, — говорил он, обтирая со лба крупные капли пота...**

(123, 72—74).

*Бычок, на котором ездил Феофил.

** В этом поступке юродивого прочитывается его упрек митрополиту, который, будучи схимником, все же не отказался от положенной ему по сану кареты.

3. ЧУДЕСА ФЕОФИЛА

1.

Не имея возможности (по причине далекого расстояния) часто посещать Лавру и бывать в городе старец /Феофил/ обзавелся черной масти бычком, на котором он ездил во святую обитель и заезжал через город в Братский монастырь, но прежде чем говорить об этом бычке, надо всем рассказать, откуда он появился.

Когда блаженного приехал навестить Иван Катков (тот самый мясник из Подо-

ла, который доставлял ему в Братском монастыре лошадку), то, поисповедавшись и рассказывая старцу о своих делах, упоминал и о приобретенном им молодом бычке, весьма строптивого нрава.

— Кутил я, батюшка, бычка. Думал для себя оставить, да не знаю, что с ним и делать: одурел, скотина, совсем, на всех с рогами лезет. Хочу зарезать, да жалко.

— А ты мне его подари...

— Вам?.. Помилуй Бог, да к нему и приступить нельзя! Сколько людей уже искалечил...

— Ничего... Мы его смиренню научим.

— Да как же я того...

— Очень просто... Подойди к нему и скажи: «Эй бычок! Отныне ты не мой, а отца Феофила. Собирайся в гости к нему»...

Мясник так и сделал. Подошел по возвращении к бычку, повторил сказанные старцем слова, и доселе фыркающий и озверевший бычок сделался кроток, как ягненок: смиренно стал ласкаться и лизать хозяину руки. Работник накинул ему на рога веревку, и к вечеру бычок был водворен в Китаев к отцу Феофилу.

Получив бычка, блаженный смастерил себе небольшую удобную телегу, сзади которой устроил на обручах крытую парусиной будочку и стал путешествовать на «бойкуне» по городу.

При этом старец никогда не садился спереди, а всегда сзади, спиной к быку, и, укрепивши на позу маленький аналойчик, опускался на колена и читал дорогою псалтырь. Но вот что удивительно. Бычок не имел никакой упряжи, ни вожжей, одно только ярмо, и тотчас мысленно предугадывал намерение своего хозяина, без всяких с его стороны возгласов и понуканий доставлял старца именно туда, куда ему была надобность: либо на Подол, в Братский монастырь, либо во святую Лавру. И такой, говорят, умница был — ни за что на камень не наедет, а увидит буторок, рытвину или канаву, непременно стороной обинет, чтобы утюдника не потянул...

(123, 67).

2.

/.../ Сознавая нелюбовь к себе митрополита Филарета, верившего разным доносам и клевете на блаженного старца*, Феофил еще более старался досадить маститому архипастырю своими юродствами. Однажды летом, когда владыка проводил время в Голосееве на даче, Феофил приехал туда на быке и, не останавливаясь возле митрополитского дома, пробрался с телегой незаметно в сад. Находившийся там садовник пришел в изумление:

— Бог с вами, отец Феофил!.. Куда вы?!

Блаженный, не обращая на вопрос ни малейшего внимания, взамен того, чтобы возвратиться назад, повернул бычка вправо и направил его по дорожке, которая находилась под самыми окнами митрополитской дачи и была засажена с двух сторон виноградными кустами. Дорожка эта была так узка, что не только проехать, даже пройти по ней едва было возможно.

Садовник пришел в неописуемый ужас: ему грозило увольнение. Как раз на беду увидел Феофила и сам владыка и разгневанный его поступком вышел на крыльцо.

— Это что за безобразие? Кто смел пустить в сад Феофила? Зачем он приехал сюда? Уберите его сейчас... Он мне виноград поломает...

Блаженный, который проехал аллею почти в самый конец и встретился с владыкою лицом к лицу, услышав гнев архипастыря, хладнокровно повернул бычка назад.

— Коли не угодно, так и не надо...

И вместо того, чтобы выехать из сада более широким путем, повернул бычка обратно и снова пустился в путь по той же самой аллее, между виноградных кустов, по которым проезжал раньше.

— Но не то диво, — рассказывал после напуганный садовник, — что старец проехал между виноградных кустов, а то диво, как ухитрился он повернуть телегу в таком узком пространстве, где и одному человеку пройти едва возможно... Чудо! Право чудо!.. (123, 70—71).

**Выходки юродивого постоянно будоражили тихую жизнь пустыни и возмущали монахов.*

3.

С тех пор Феофил впал в немилость. От него отобрали бычка и препроводили в экономию, присвокупив к лаврскому стаду, самому блаженному запретили появляться в Голосеевской пустыне, а вместе с тем и «бродяжничать».

Но с того дня, как бычок был помещен в монастырское стадо, появился такой необычайный падеж скота, что лаврский эконом потерял всякое самообладание и положительно не знал, что ему делать /.../ Решили доложить об этом митрополиту Филарету.

Владыка позвал эконома и заинтересовался узнать, с которого дня начался падеж скота. Эконом отвечал, что с того самого дня, как отобрали быка от Феофила и присоединили к общему стаду. «Вот как!..» — воскликнул владыка и приказал немедленно удалить из стада быка. Когда это было сделано, то, к общему удивлению всех, падеж скота тотчас прекратился. Бычок же был отведен в Китаев и возвращен своему обладателю. Получив обратно своего «бойкуна», блаженный в тот же день вызолотил ему рога и преспокойно стал продолжать свои ежедневные путешествия.

(123, 72).

4.

В обычае, существовавшем в то время* между сестрами Флоровского монастыря, было правило каждодневно ходить за водой на Днепр, т. е. речная вода, как содержащая в себе некую долю железа, была здоровее и чище колодезной**. При этом путь к реке избирался самый кратчайший — через Братский монастырь. Это было единственное развлечение, которое позволяли себе сестры в их будничной, однообразной жизни. Но во избежание нарушения правила монастырского устава был отдан от лица игуменьи приказ, чтобы ни одна из послушниц не выходила за ворота без благословения своей старницы. Поэтому каждая из отправляющихся на реку за водой обязана была предупредить о том свою ближайшую начальницу. Но вопреки такому распоряжению, случилось так, что одна из молодых послушниц, пользуясь отсутствием /.../ своей старницы, ушла за водою на Днепр без ее благословения. Придя на реку, она зачерпнула было воды, но, поскользнувшись, упала и уронила в воду находившийся в ее руке ключ от своей кельи. Бедная разрыдалась и в великом смущении ломала в от-

чаяные руки: — Как я покажусь теперь старице? — говорила она, стоя на берегу.
— Чем я открою ей закрытую ключом келью?

Вдруг откуда ни возьмись идет блаженный Феофил.

— Ты чего плачешь?

Девушка рассказала ему про свое горе.

— Так тебе и надо, глупая... Не будешь в другой раз без благословения ходить... Впрочем, давай ведро, я тебе помогу.

Послушница подала ему ведро. Блаженный нагнулся к реке и, осенив посуду крестным знаменем, зачерпнул полное ведро.

— На возьми, да ступай домой... Тут тебе и вода, тут тебе и потерянный ключ...

Послушница заглянула в ведро и на дне его увидела... потерянный ею ключ. С радостным плачем бросилась девушка за Феофилом, но его и след простыл...

(123, 25—26).

**Речь идет о 1820-х годах.*

*** За многие столетия почвы на Подоле пропиталась нечистотами, вода в колодезях после обильных дождей становилась мутной и содержала огромное количество органических веществ. Деревянные трубы подольского водопровода фонтанной системы быстро изнашивались, прогнивали и также засорялись.*

4. БОГУУГОДНЫЕ БЕЗОБРАЗИЯ

1.

После этого совершившегося факта владыка настолько привязался к блаженному душей, что в доказательство своего почитания и любви поместил Феофила вместе с иеросхимонахом Парфением у себя на покоях в Голосеевской даче.

— Вас только двое у меня... Ты — схимник, Парфений — схимник, и я — схимник*... Будем жить во имя Пресвятой Троицы, — с отеческой нежностью говорил блаженному митрополит, поселяя его у себя.

Но блаженный, чтобы уклониться от такого «трипостатского» общения, при первом же удобном случае завел в комнате такую сырость и грязь, что испортил обои и крапленный пол и расплодил массу клопов. Не проходило ни одного дня, чтобы он не выкинул какую-нибудь «штуку». Так, например, когда они сидели втроем за трапезу, Феофил старался разлить как можно больше на скатерть, для чего иногда, как бы нечаянно, опрокидывал свою посуду на стол и заставлял этим владыку и отца Парфения преждевременно вставать из-за стола. Если же и этого было недостаточно, притворялся больным и начинал громко и часто икать, стараясь испортить этим владыке аппетит... Старцу же Парфению досаждал тем, что во время ночного покоя надевал на себя его сапоги и взамен этого незаметно подставлял ему лапоть или валенок, сам же скрывался на целый день в лес... Или же среди ночной тишины, когда все обитатели дачи были погружены в глубокий сон, вскакивал с постели и начинал во весь голос петь:

— Се жених грядет в полунощи!.. И блажен раб его же обрящет бляща...

Кроме того, с первых же дней своего переселения на дачу, несмотря на летнее

время, принимался топить в комнате печь и всегда в такое время, когда митрополит был занят молитвою или письменными делами и при этом напускал столько едкого дыма, что келейники вынуждены были открывать и двери, и окна, и душники, чтобы хоть чуть проветрить комнатный воздух; сам же владыка просиживал все это время в саду, находясь в томительном ожидании...

Перед началом ранней обедни в домовый церкви митрополической дачи, где службу отправлял обыкновенно старец Парфений, Феофил являлся туда за четверть часа раньше его прихода и, облачившись в священнические одежды, начинал с пономарем служение, так что когда появлялся в церкви Парфений, то ему оставалось быть только свидетелем церковного богослужения, но отнюдь не участником его... И многое другое творил Христа ради юродивый Феофил и тем привлекал к себе туда большую толпу народа.

Тогда митрополит, видя, с одной стороны, что богомольцы бесценно толпятся около крыльца его дачи и с нетерпением ожидают выхода и общения с любимым старцем Феофилом, и не желая, с другой стороны, причинить себе и окружающим лицам ежедневного беспокойства поступками его, не стал более удерживать старца у себя и, призвав его однажды после утреннего чаю, сказал:

— Ну брат Феофил... Бог тебя благословит... Собирайся, старый воробей, на прежнее гнездышко, в Китаев... Там тебе выгоднее будет».

(123, 134—35).

** За 17 лет до кончины своей в Бозе почивший архипастырь Филарет принял великий ангельский образ — схиму под именем Феоodosия и хранил это втайне до последних лет своей жизни. — Прим. авт.*

2.

Некоторые из лаврских старцев, еще доселе здравствующие и лично присутствовавшие некогда в келии сего человека Божия, передают, что она была сплошь заставлена целыми рядами различных горшков и черепков, в которых хранились заранее приготовляемые им для посетителей съедобные припасы. Чего только тут не было! Крупа, чай, масло, мука, сахар. Булочки, пироги, мед, икра, фрукты, селедки, рыба, виноград, свечи и прочее*.

Оно понятно, что такое собрание различной провизии зачастую возбуждало завистливые очи монастырской молодежи, которая тайком посягала на съедобные вещества. Но все это делалось ими с хитростью, по заранее обдуманному плану.

Заметив, например, что начальник пустыни /Иов/ питает ненависть к Феофилу, они подстрекали любимца его, пономаря Поликарпа, подействовать перед Иовом о перемещении старца в другую келию. Пономарь Поликарп и сам был рад это сделать, ибо не менее своего начальника ненавидел блаженного. Чем же досадила ему отец Феофил? А вот чем. Насобирает, бывало, в подстилку целую кучу червей, тараканов, жуков да прусаков, принесет их в церковь, да всю эту движущуюся армию на полу там и разбросает. Живые твари по всем углам разползутся, а пономарю — беда: надобно их разыскивать да на двор выметать. Что делать? Накинется тогда Поликарп с бранью на блаженного и давай его бить... А старец остановится перед ним, скрестит на груди руки и молчит.

«У коварного и действия гибельны, — говорит пророк Исаия, — он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав». Так поступал в данном случае и пономарь Поликарп. Возведши на блаженного перед начальником клевету и получив от того приказание перевести виновного в другую келью**, Поликарп с ядовитой улыбкою тотчас появлялся перед старцем:

— Отец Феofil, начальник приказал вам перебраться в другую келью.

— Стопы мои направи по словеси твоему, — смиренно отвечал на это старец и, взяв под мышку мантию, а в руки — икону или псалтырь, немедленно перешел в указанную ему келью. Послушники только того и ждут и под видом перенесения «мебели»*** начинают истребление провизии. А старец Феofil, нисколько не мешая им предаваться лакомству, в злобнии ангельского сердца восклицал:

Дивны дела Твоя, Господи.

(123, 48—49).

* Характерные для схимника того времени запасы нужных вещей, сносимых в его келью прихожанами и предназначенных для раздачи нуждающимся.

** Возможно, переселение предпринималось с целью ремонта запущенного Феofiлом помещения.

*** Блаженный, кроме аналойчика и простого стола, ничего в келии не имел.

5. ТАЙНЫЙ ЯЗЫК ЮРОДСТВА

Откровенно говорил старец не всем.

Имел обыкновение изъясняться многозначительными притчами, давал посетителю какую-нибудь вещь — как намек, символ будущих событий, о которых он умолчал, но на которые указывал этой вещью.

В роли символов служили: черепок, щепка, гнилое яблоко, груша, кусок хлеба, огурец, тряпка, огарок свечи, и даже горстка навоза, часто находившегося в его корзине, — все это имело у старца символическое значение /.../

Посылает он раз келейника к уставщику Лавры иеромонаху Модесту и велит отнести ему грязные портянки.

— Отдай ему, пускай вымоет, — говорит блаженный келейнику.

Через некоторое время тряпки возвращаются назад чистыми.

— Эге.. не так! — замечает старец. — Неси еще, — пускай более вымоет!

И отсылает их Модесту во второй раз... Что же означали эти грязные портянки? Они означали нечистые помыслы, которые смущали в то время уставщика, и посылались ему для мытья до тех пор, пока голова не освещалась притоком новых, более чистых по существу мыслей.

(123, 97—98).

Нестыжатность блаженного, говорят, была изумительна. Старец ни к чему не имел привязанности, денег никогда не брал, а если и принимал их по усиленной просьбе усердствующих, то тут же раздавал все бедным и убогим...

/.../ Повстречалась однажды с Феофилом в святых воротах Лавры графиня Орлова-Чесменская и спрашивает:

— Отец Феофил! Я сегодня уезжаю. Скажите, пожалуйста, что вам купить на память?

Старец взглянул на нее, улыбнулся и сказал:

— Купи мне того, что шапка набекрень...

Орлова не поняла его слов, но когда стала расспрашивать о том у других, разъяснилось, что старец просил купить для него штоф водки и этим дал понять ей, что всякие земные вещества и подарки для него так же презренны, как и штоф водки...

(123, 137—138).

Получая пищу из братской трапезы, старец обыкновенно смешивал ее в одной посуде, невзирая на то что в ней было и горькое и сладкое, — и борщ, и каша, и хрен, и квас.

— Ведь и в жизни так, — говаривал он всякому, кто удивлялся его странности, — и горькое, и кислое, и соленое перемешано со сладким и приходится все это переваривать.

Но ту пищу, которую блаженный предлагал странным и бедным, он оставлял в том же виде, в каком получал из трапезы.

Для себя же приготовлял иногда галушки (клецки) или кашку из манной крупы, или же лапшу. Но все это было без соли и масла, а потому имело крайне отвратительный вкус.

(123, 60).

Пустынные отцы Востока заставляли послушников вбивать в землю дубовые колья и ежедневно поливать их водой, дабы юные подвижники не проводили время в праздности.

Однажды в Великом посту, когда блаженный /Феофил/ по целым суткам не ел и втайне молился Богу, посылает он /молодого келейника/ Пантелеймона на базар и велит купить ему побольше старых голенищ. Когда послушание было выполнено и голенища были принесены, старец разложил их на скамье одну возле другой и приказал Пантелеймону сшить из них несколько кож. Затем принес со двора банку с колесным дегтем и стал усердно эти шкуры замазывать.

— Нащо ви, батюшко, так робите? — спросил с любопытством Пантелеймон.

— Бог велит... Бог велит... — быстро отвечал старец.

— А що ж воно таке значить?

— А то значит, друг мой, что лукавые записывают на них дела грешных людей. А ныне все это замазано и грехов уже нет.

Этим постуком — так пояснял потом келейник Пантелеймон — старец хотел показать, что грехи близких ему духовных чад, за которых он так горячо и неустанно молился в те дни, Богом уже прощены и совесть их пред лицом суда Божия очищена.

(123, 58—59).

ИЕРОСХИМОНАХ ПАРФЕНИЙ КРАСНОПЕВЦЕВ

Широко известный в Киеве 1840—1850-х гг. лаврский схимник Парфений (в миру Петр Иванович Краснопевцев) (1790—1855) родился в семье сельского причетника Тульской губернии. Окончил местное духовное училище. С 1819 года состоял послушником при просфоре Киево-Печерской Лавры. Принял постриг в 1824 г. С 1830 г. — иеромонах. В 1838 г. митрополит Филарет облек его в схиму, чем положил начало обновлению прерванной было традиции строгого лаврского подвижничества. Подвизался в молитве. «Молитвенная беседа с Богом, — писал биограф старца, — была для него предвкушением божества небесного».

Вел уединенный образ жизни. На лето выезжал в Голосеевскую пустынь вместе со своим «духовным сыном» — митрополитом, где оба предавались молитвенному подвигу. Еще при жизни стал предметом всеобщего внимания со стороны горожан и богомольцев. Приносимые подаяния использовал как общественный фонд для помощи бедным, во множестве стекавшихся к нему со своими нуж-



дами. Судя по воспоминаниям Н. Богатинова, во многих случаях речь шла не только о пяточках и гривенниках, но и о значительном вспоможении впадшим в нужду или разорившимся горожанам.

В поведении схимника проглядывали подчас черты юродства. О его филантропии, душевной отзывчивости, прозорливости, вещих снах и являвшихся ему таинственных видениях в свое время ходило множество легенд, слухов и толков.

/Червонец-дьявол/

Великий старец старался отвлечь сердце молодого послушника* /Владимира Шепелева/ и расположить его к нестяжательству.

Так однажды посетивший владыку Филарета богатый купец подарил Владимиру блестящий червонец. Владимир после ухода гостя, сидя в столовой вместе с владыкою Филаретом и старцем Парфением, играл полученным червонцем: он то подбра-

сывал, то ловил его. Старец Парфений, посмотревши на мальчика, строго заметил:

— Зачем ты играешься с дьяволом?

Эти слова мудрого схимника глубоко запали в чистую душу молодого послушника, и он, будучи преклонным старцем, любил вспоминать это наставление.

(172, 289).

**Автор допустил здесь неточность: в описываемое время Владимир был не послушником, а служкой, или скорее воспитанником при митрополите Филарете.*

/Подарок вору/

Кроме подвигов трудолюбия, бдения и молитвы, ничем не возмущаемой кротости и совершенного неалобия, Парфений особенно поражал всех своим удивительным нестяжанием. Он не имел другой одежды, кроме той, которую носил, да и последнюю готов был с радостью отдать нуждающемуся.

Однажды в холодное зимнее время какой-то странник украл у него подаренный ему одичавшим боголюбцем тулуп. Он немало не оскорбился сим, хотя и не имел другого.

Через несколько дней послушники поймали вора в его тулупе и с укоризнами привели его в просфорню. Видя смущение бедняка, он говорил им:

— Не троньте его, он бедный, и в тулупе трясется. Нам ведь хорошо здесь в тепле сидеть, а он без крова день и ночь на морозе. — Потом, обращаясь к вору, говорил. — Не скорби, брате, возьми себе этот тулуп, вот тебе и денег на пропитание, только впредь не бери чужого.

Подобными примерами нестяжания озаменован был каждый шаг его.

(371, 21—22).

/Война с вещами/

Чуждый малейшего пристрастия к стяжательству, всякую вещь, кроме самой необходимой, он считал сором, который спешил выкинуть за порог, если не находил, кому отдать ее поскорее. Случалось, что он связывал без разбора в один узел дорогие чашки, подсвечники, хрусталь, белье, принесенные ему усердствующими и принятые, чтобы не огорчить приносителя, и выносил этот узел из кельи, клал на дороге и радовался как младенец, когда он был скоро взят. И дорогие вещи не имели для него никакой цены.

Однажды графиня Анна Алексеевна Орлова принесла ему столовые часы. Несколько времени терпел он их у себя любви ради своей к графине, потом отослал их к одной из своих духовных дочерей при следующей записке: «Посылаю тебе часы и дарю их тебе; я никак с ними не умираюсь».

Денег он никогда не имел. Если по неотступному убеждению преданных ему и принимал от них усердные приношения*, то немедленно раздавал их нищим или кому-либо из нуждающихся. Никогда убогий не отходил от него с пустыми руками.

(371, 48).

**В XIX веке киевские подвижники стали принимать от посетителей деньги и ценные вещи, чего раньше никто из них не делал. Такое мнимое отступление от схимнической заповеди нестяжания имело под собой благое намерение*

ние: принятые ценности составляли своеобразные общественные фонды для помощи нуждающимся. Как видим, Парфений также стремился к этому, но не мог долго мириться даже с таким мнимым обогащением.

/Отвергнутое утешение/

Он мог бы обогатиться при чрезвычайной преданности к нему многих богатых особ, и в особенности блаженной памяти графини Анны Алексеевны Орловой, этой незабвенной любительницы и благотельницы монастыря.

Она питала к нему беспредельную преданность, и по слову его готова была на всевозможные пожертвования. Однажды во время пребывания своего в Киеве, она, растроганная его глубоко назидательною духовною беседою, преклонив перед ним колена, говорила ему:

— Отец мой, скажи мне, чем могу я тебя утешить? Я не пожалею для тебя и миллиона».

— Вот нашла, чем утешить! — отвечал он. — На что мне этот навоз? Единое мое утешение: не мешай мне никто пребывать с Богом и со всеутехою моею — пресвятою Богородицею.

Завещанные ему по духовной графини 15 000 руб. серебром он отдал немедленно в Духовный собор Лавры для пропитания странных в гостинице*, что и исполняется доселе свято.

(371, 47—50).

**Богомольцев, останавливавшихся в лаврской странноприимной гостинице.*

/Радость безмолвия/

Весну и лето проводил он обыкновенно в Голосеевской пустыни, отправляясь туда вместе с архипастырем /Филаретом/ и с ним же потом возвращаясь на праздники в Лавру. Там, в самом уединенном углу пустыни, среди глубокой гущи сада, была его келья. По совершении ранней литургии в домово́й церкви архипастыря он удалялся в лес, и там, один с Единым, совершал в проходке свое молитвенное правило, прочитывая дорогою весь Псалтырь.

— Здесь носится дух преподобных отец наших Печерских, — говаривал он, — и если есть на земле утешение и радость, то это в пустынном безмолвии. Люди отлучают нас от Бога, а пустыня приближает к нему.

Только в последние годы, когда силы его ослабели, он не мог уже по-прежнему совершать своих проходов по пустынному лесу, но сперва сокращал их постепенно, а потом совсем прекратил.

Любя безмолвие и скучая с посетителями, которые особенно летом, когда в Лавру стекается множество богомольцев, жаждали его наставлений и желали иметь духовным отцом своим, он не раз порывался совсем затвориться и не принимать никого на исповедь. Но слезы тех, для которых назидание его было необходимо на пути спасения, удерживали его от исполнения своего намерения.

(371, 55).

СТАРЕЦ АЛЕКСИЙ ШЕПЕЛЕВ

Иеромонах Алексей (в миру Владимир Шепелев) (1840—1917) — последний по времени жизни великий старец, благословленный на духовный подвиг митрополитом Филаретом. Родился в семье офицера Киевского арсенала. В детстве состоял службой при исцелившем его от врожденной немоты владыке и общался с великими киевскими праведниками. С 1856 г. — послушник при лаврской типографии. Постриг принял в 1872 г. Иеромонах с 1875 г. Состоял ризничим Ближних пещер (1879—1885) и Великой лаврской

церкви (1885—1887), духовником братской больницы (1887—1891), монахом Спасо-Преображенской пустыни при Лавре (1891—1895), ризничим Голосеевской пустыни (1895—1916). Был духовником у митрополитов Иоанникия и Флавиана. Слыл великим киевским праведником и прозорливцем, хотя внешне чуждался суровых схимнических подвигов своих учителей из круга Филарета и Парфения.

На его могиле в Голосеевской пустыни по просьбе паломников ежедневно совершались панихиды.

1. ИЗ БИОГРАФИИ ПОДВИЖНИКА

/Пророчество великого юродивого/

Дворянка Мария Кузьминична Шепелева, часто бывая в Китаевской пустыни со своим четырехлетним сыном /Владимиром/, всегда заходила к старцу Феофиду для принятия благословения. Блаженный очень любил ее и каждый раз встречал на монастырском дворе и, указывая глазами на ее малолетнего сына, говорил:

— Ага!.. Монашеноч идет, монашеноч!

А то призывал однажды мальчика к себе в келью и дал ему грудку пряников:

— Держи руки! Ешь пряники!

Мальчик принялся уписывать лакомства за обе щеки, а старец только подбадривал его:

— Ешь, ешь, — поощрял он малютку. — Вырастешь, не пряники, а Христа принимать будешь...

Предсказание старца сбылось: мальчик подрос, был отдан на обучение в лаврскую типографию, затем определился послушником и ныне состоит в Лавре всема почитаемым духовником-иеромонахом А/лекси/ем.

(123, 88—89).

/Чудо исцеления/

Мария Кузьминична /мать Владимира Шепелева/ стала все чаще заходить к митрополиту Филарету с просьбами о молитве за своего /немного/ сына. Владыка митрополит советовал скорбящей матери усилить свою молитву и увеличить милостыню.

— Успокойтесь, — говорил святитель Марии Кузьминичне, — Господь милостив и всемогущ. Он поможет вашему сыну.

Между тем подходила Пасха 1853 года. Владыка велел Марии Кузьминичне придти к нему на первый день праздника вместе с сыном. Вот и Пасха настала. На первый день вечером владыка Филарет служил в своей домово́й церкви, сооруженной в честь святителя митрополита Воронежского, куда допускались только избранные лица. Сюда и пошла со своим сыном Владимиром Мария Кузьминична, чтобы после вечерни поздравить святителя с великим праздником Воскресения Христова.

После окончания службы все молящиеся стали подходить к кресту, который держал владыка. После всех подошла Мария Кузьминична с сыном. С сердечным трепетом подходила она к великому архиерею: ее сердце предвещало, что сейчас должно совершиться что-то особенное. Святитель дал им поцеловать крест и, как обычно, милостиво их благословил. Затем неожиданно обратившись к отроку Владимиру, велел ему поцеловать свою палицу, когда Владимир с благоговением поцеловал висящую на святителе палицу, владыка Филарет громко сказал ему: «Христос воскрес!» Но мальчик ничего не отвечал. Владыка повторил свое приветствие, но ответа не было. Тогда святитель в третий раз сказал: «Христос воскрес!». И — чудо! Мальчик восторженно ответил: «Воистину воскрес!».

Возблагодаривши Господа, владыка ушел в алтарь разоблачаться, а Мария Кузьминична с сыном остались наедине. Радости матери не было предела. Она не знала, что делать. Ее сердце было полно благодарности к милосердному Господу, она готова была упасть к ногам чудотворца-владыки /.../.

(172, 287).

/Странности тайной благотворительности/

Митрополит Филарет имел обыкновение перед большими праздниками лично развозить милостыню бедным жителям города Киева. Но он старался делать это так, чтобы никто не знал, для этого он выезжал в город вечером и брал с собою /своего служку/ Владимира, которому предвительно вымазывал лицо сажеею, чтобы его никто не мог узнать. Когда подъезжали к дому, обитателям которого нужно было подать милостыню, владыка Филарет давал Владимиру пакет, который он должен был быстро бросить в окно или дверь. Отправивши пакет по назначению, юный благотворитель быстро возвращался обратно, и карета ехала дальше...

Так эти благотворители спасли не одну семью от нищеты и гибели.

(172, 288).

/Быт великого прозорливца/

Келия отца Алексия в Голосеевской пустыни была скромна. Она состояла из трех маленьких комнаток. Обстановка этих комнат была бедна. Несколько икон, из которых он почитал особенно одну — икону Божьей Матери, которую его благословила мать, диванчик, на котором он принимал почетных гостей, ничем не покрытый столик перед диванчиком, на котором постоянно лежало Евангелие на славянском языке больших размеров, этажерка для книг, стол для трапезы, кровать с постоянно поднятым матрацем, на которой отец Алексий, кажется, никогда не спал, медный умывальник с металлическим тазиком и несколько простых тумбочек, — вот и все, что составляло обстановку келии отца Алексия.

Сам он себе во всем служил: сам носил дрова, сам топил печь и ставил самовар, сам подметал комнаты; только к концу жизни, когда отца Алексия стали оставлять силы и он стал болеть, ему прислуживал сначала живший в пустыни монах Азария, а потом наемный мальчик из соседнего села. Пища отца Алексия была скудная: он питался только тем, что приносили ему из трапезы, а в конце жизни и того не ел.

Однажды митрополит Флавиан, гуляя с отцом Алексием по двору Голосеевской пустыни, спросил его:

— Что вы кушаете?

Отец Алексий ответил:

— То, что Божия Матерь дает*.

В последние годы он питался только трапезным борщом с хлебом и теплым чаем без сахара и хлеба.

Что касается молитвенных подвигов отца Алексия, то они были скрыты от постороннего глаза. Но есть основания думать, что покойный старец иногда целые ночи проводил без сна за молитвой.

(172, 307—308).

*Т. е. то, что давали на трапезу схимникам пустыни.

2. ПРЕДАНИЯ О ПРОЗОРЛИВОСТИ СТАРЦА

Одна благочестивая женщина из г. Ейска Кубанской области в благодарность за молитвы и наставления отца Алексия послала ему по почте 300 рублей. На другой день после отправки денег она сообщила об этом своей соседке. Та же вместо похвалы благочестивой женщине укорила ее: «Зачем было посылать такие большие деньги в монастырь, — сказала она, — монахи роскошно кушают и пропьют их». Женщина, пославшая деньги, пришла в смущение. Через некоторое время после этого разговора та же женщина получила повестку на 300 рублей. Оказалось, что отец Алексий вернул деньги обратно с такою надписью на отрезном купоне: «Примите ради Господа эти деньги: монахи роскошно кушают и пропьют их».

(172, 323).

«Летом 1912 года навестили отца Алексия несколько молодых людей. Вдруг к одному из них подходит отец Алексий, наде-

вает на голову его свою монашескую шапочку и говорит: «Самуил, моя шапка водки не пьет, и ты больше не будешь пить». Друзья молодого человека были удивлены прозорливости отца Алексия, который узнал тайный грех неизвестного ему юноши и назвал его по имени».

(172, 329).

В мае месяце 1914 года приходит к отцу Алексию одна монахиня с родным братом офицером. Офицер хотел жениться и сестра привела его к батюшке взять на это благословение. Но отец Алексий ему сказал: «Нет, подожди: через 2 месяца будет война!».

(172, 330).

/Откровение об убийстве царя Александра II/

Другой раз Господь открыл отцу Алексию день смерти государя Александра II. Первого марта 1881 года отец Алексий совершал божественную литургию в сослужении иеродиакона Тихона в пещерной церкви пр. Антония. По совершении проскомидии перед покрытием диска и чаши покровами взор отца Алексия остановился на частице, вынутой в честь государя Александра II — частица показалась ему не белой, какими были все прочие частицы, а светло-коричневой, как бы облитой вином. Тогда отец Алексий подзывает иеродиакона Тихона и, не говоря ему ничего о замеченном изменении частицы, спрашивает его, не облил ли он нечаянно при влитии вина в чашу частиц. Иеродиакон заявил, что он вина при влитии в чашу не проливал. Когда же отец Алексий указал ему на частицу государя и сказал, что она пропитана вином, иеродиакон, посмотревши на частицу, сказал, что он ничего особого в ней не видит и отцу Алексию просто показалось, что она в вине. Отец Алексий замолчал. Здесь же в алтаре случился в это время бывший тогда в Лавре на покое игумен Мельхиседен (раньше московский протонерей Михаил, кандидат Московской духовной академии). Отец Алексий обращает и его внимание на частицу государя. Игумен Мельхиседен посмотрел на частицу, но она ему показалась вполне белой, как и прочие частицы, а потом он заявил отцу Алексию: «Это просто у вас в глазах что-то неладно, а частица ничем не отличается от других».

К литургии пришел и иеросхимонах Исихий, духовный отец отца Алексия. Тогда отец Алексий подозвал к жертвеннику отца Исихия и показал ему частицу государя; не говоря ничего о том, что сказали по поводу частицы иеродиакон Тихон и игумен Мельхиседен. Иеросхимонаху Исихию частица показалась не белой, но так же, как и отцу Алексию, светло-коричневой. Он взял даже ее в руки, чтобы получше рассмотреть. После осмотра частицы он заявил: «Это ее иеродиакон вином облил». В великом смущении и скорби отец Алексий кончил божественную службу. Теперь он не сомневался, что частица не была облита вином, а это было великое Божие чудо, предзнаменующее какое-то событие в жизни государя Александра II, который в этот именно день был убит в Петрограде.

(172, 296—298).

ИГУМЕН ИОНА МИРОШНИЧЕНКО

Игумен Иона (в миру Иван Мирошниченко) (1795—1902) родился в богатой крестьянской семье в местечке Крюкове Полтавской губернии. На 22-м году от роду увлекся страннической жизнью. Одно время состоял послушником при старце Серафиме Саровском. В 1843 г. принял постриг и иноческое имя Ионы. С 1845 г. — иеродиакон. В 1851 г. с благословения митрополита Филарета поступил в Никольский монастырь в Киеве, был также иноком Братского и Греческого монастырей на Подоле. В 1861 г., поступив в Выдубецкий монастырь, устроил поблизости него небольшой скиток, из которого впоследствии вырос прославленный Троицкий монастырь (или как говорили в народе, «обитель отца Ионы»). В этом ему содействовала вдова покойного киевского генерал-губернатора княгиня Екатерина Алексеевна Васильчикова.

Иона собрал вокруг себя ревнителей древних подвижнических традиций Выдубецкого монастыря. (В XVII



веке выдубецкий игумен, святой Феофан Углицкий, прославился как обновитель схимничества в Киевской митрополии). Сам старец Иона слыл духовидцем, целителем и наставником всех жаждущих блага истинно христианской жизни. Его обитель посещали ежегодно сотни тысяч богомольцев, и всем желающим представлялись бесплатно кров и трапеза.

Благочестивый старец умер на 108 году жизни. Родился он в XVIII веке, а умер в XX.

К инокам, поступавшим в монастырь и принявшим монашество, архимандрит Иона относился очень строго и поблажки им не давал, вследствие чего многие переходили из Свято-Троицкого монастыря в монастырь без общежития, где строгости такой не было. По этому поводу архимандрит Иона в 1888 году обратился к епархиальному начальству с ходатайством, в котором, указав, что иноки, прельщаясь жизнью в монастырях без общежития, где можно иметь и свое имущество, переходят в последние, просил о воспрепятствовании такого перехода, как это практиковалось и в древности при начале монашества, тем

более что чувствуется недостаток в монашествующих лицах, способных к послушаниям. Епархиальное начальство ходатайство это однако не удовлетворило, ссылаясь на то, что, хотя прежде по церковным канонам принявшие монашество лица, поступая в известный монастырь, поступали в него навсегда, до самой смерти, но *tempora mutantur**, и еще знаменитый московский владыка Филарет нашел, что нельзя препятствовать легкомыслию иноков, потому что и они... *homines sunt*** . Ответом епархиального начальства архимандрит Иона остался крайне недоволен, и с тем пор переход иноков в монастырь без общежития еще более усилился. (467, 156).

*Времена меняются (лат.).

** Суть люди (лат.).

Не знаю, насколько верен следующий переданный мне как факт случай из жизни Свято-Троицкого монастыря, случай, который привел архимандрита Иону в большое уныние.

В монастыре долгое время проживал в качестве доверенного лица архимандрита Ионы и юрисконсульта монастыря некто Х-ский. Так как архимандрит Иона всегда заботился о приумножении монастырского недвижимого имущества, а покупать недвижимость на свое имя монастырь не вправе, а может только получать его в виде дара, то Х-ский обыкновенно покупал имения на монастырские деньги и затем передавал их монастырю как дар. Этим путем было приобретено два имения, но при покупке третьего Х-ский слишком долго не передавал дара, а когда архимандрит Иона потребовал объяснения, то Х-ский пренаивно отвечал, что он принес уже в дар монастырю два имения, а больше дарить не в состоянии, ибо не желает «остаться нищим».

(467, 156—158).

Архимандрит Иона был человеком с твердым характером, упорный, никому не желал подчиняться и всюду старался проявить свою самостоятельность, нередко вступая в далеко не равную борьбу с лицами, стоявшими гораздо выше его по занимаемому положению.

Вот маленькая к этому иллюстрация.

Затеял архимандрит Иона построить в монастыре колокольню, которая высотой превзошла бы самую высокую в России колокольню, а именно Киево-Печерской Лавры, высота которой 43 сажени, 2 аршина и 2 вершка. Воспротивился этому митрополит Платон и возгорелась борьба, длившаяся долго. В дело, конечно, вмешался и Синод, и в итоге победителем оказался архимандрит Иона, с поразительным упорством ведший эту борьбу в течение весьма продолжительного времени.

Если колокольня, задуманная архимандритом Ионой, до настоящего времени еще не окончена, то в этом уже не его вина, т. к. после его смерти заботы о колокольне перешли архимандриту Мельхиседеку, которому, как говорят, архимандрит Иона на смертном одре завещал во что бы то ни стало довести до конца дело сооружения колокольни.

(467, 157).

ИЕРОСХИМОНАХ НИКОЛАЙ ЦАРИКОВСКИЙ

Иеросхимонах Николай (в миру Василий Григорьевич Цариковский) (1829—1899) родился в семье священника Подольской губернии. Рано остался сиротой, уволен из губернского духовного училища «по малоспособности» (1843) и определен своим дядей, монахом-корректором Киево-Печерской лавры, в послушники при монастырской типографии. Нес послушание 18 лет, незаметно для себя проходя науку «умного делания» среди последователей великого афонского старца Паисия Величковского, которые подвизались в Печерской Лавре и в ее пустынях с конца XVIII века и в среду которых он попал благодаря своему дяде отцу Израилу. Среди его наставников были известный схиегумен Руф и начальник Лаврской странноприимницы иеромонах Агапит. В этом кружке изучалось «иноческое искусство из искусств, наука из наук» — «умное» (безгласное) делание «пятисловесной» Иисусовой молитвы, которая помогает подвижнику сохранить свой ум «в трезвении и не поврежденности от прилогов страстных» и постоянно пребывать в так называемом состоянии безмолвия (в данном случае — невозмутимости) совершенного душевного мира и духовно-благодатной радости. В 1860 г. послушник Василий Цариковский слу-

чайно обратил на себя внимание наместника лавры архимандрита Иоанна, который, увидя перед собой уже зрелого и многоопытного подвижника, велел постричь его в рясофор с именем Феодосия (1860), а потом — в монахи под именем Руфина (1862). В 1883 г. Цариковский принял «великий ангельский образ» — великую схиму под именем Николая. За время своего монашества он состоял в должности смотрителя Лаврской странноприимницы, которой заведовал великий схимник иеромонах Агапий, и «кружечного» в Великой лаврской церкви. С 1887 г. исполнял обязанности лаврского духовника и 12 лет исповедовал всю братию монастыря, тысячи прихожан и богомольцев. Отец Николай приобрел славу великого исповедника. Для нас он интересен и как один из последних последователей афонского благочестия, занесенного в Киев в XI в. Антонием Печерским, возрожденного в XVII в. в лаврских скитах Петром Могилой и обновленного в конце XVIII века учениками великого старца Паисия Величковского. Очевидно, в конце XIX и начале XX столетия исихастское движение стояло на пороге нового своего возрождения, но исторические обстоятельства воспрепятствовали этому.

Иногда слово отца Николая как бы чудесно избавляло душу грешника от опутывавших его козней вражеских.

Вот пример этого. Однажды ранней весной, когда еще на реках едва начался ледоход, произошло у батюшки следующее обстоятельство. По обычаю своему утром, после ранней литургии, он вышел в «залу» принимать богомольцев, пришедших к нему на исповедь или только за советом и благословением, и стал преподавать им благословение*. Вдруг из среды богомольцев выделилась одна богомолка и в каком-то странном душевном состоянии очень громко, вслух всех бывших там обратилась к отцу Николаю с сообщением, что вот она такая несчастная, бесталанная и что поэтому хочет сейчас же идти и утопиться в Днепре. А батюшка, не прерывая своего дела, продолжал преподавать богомольцам благословение, быстро оборотившись в ее сторону, сказал ей как бы в тон, так же громко, вслух всех и по-своему обыкновенно серьезно и на малороссийском наречии:

— Підожди, підожди, бо ще вода холодна.

Обескураженная таким поворотом речи отца Николая, пристыженная перед всеми богомольцами словами его, эта несчастная женщина как-то внезапно пришла в себя, одумалась и сначала спокойно, а потом и со слезами горького сожаления и покаяния стала слушать наставление батюшки о том, как ужасен грех самоубийства. (5, 74).

**Перед исповедью отец Николай обращался ко всем с напутственным словом, где излагал, как должен жить каждый христианин.*

Но при всей своей щедрости батюшка была крайне осторожен в деле благотворительности и не желал ею причинить своим близким, особенно родственникам, вместо пользы вред. /.../ Родственникам, говорил батюшка, инок должен благотворить с крайней осторожностью. /.../ В подтверждение своих суждений батюшка приводил следующий рассказ.

«Некоторый монах имел брата, мирянина-бедняка, и все, что зарабатывал, отдавал брату-бедняку, но этот бедняк тем более, чем более подавал ему монах. Видя это, монах пошел к некоторому старцу и рассказал ему о случившемся. Старец отвечал:

— Если хочешь послушать меня — более ничего не давай ему, но скажи ему: «Брат, когда у меня было, я давал тебе, теперь ты трудишься, и, что заработаешь, отдавай мне». Все, что он ни принесет тебе, принимай от него и передавай какому-нибудь страннику или нуждающемуся старцу, прося, чтобы они помолились о нем.

Монах поступил по этому наставлению. Когда пришел к нему брат-мирянин, он сделал так, как заповедовано было ему старцем, и мирянин ушел от него печальный. Но вот по прошествии некоторого времени приходит и приносит из сада несколько овощей. Монах, приняв их, отдал старцам, прося их, чтоб молились за брата его. Когда они приняли это приношение, мирянин возвратился в дом свой. Несколькими спустя опять принес он овощей и три хлеба; монах, приняв их, поступил, как и в первый раз, а мирянин, получив благословение, ушел. В третий раз он принес уже много съестного припасу, и вина, и рыбы. Монах, увидев это, удивился, и созвав нищих, угостил их трапезного. При этом сказал он мирянину:

— Не имеешь ли нужды в нескольких хлебах?

Тот ответил:

— Нет, владыко! Прежде, когда я брал у тебя что-либо, оно входило, как огонь, в дом мой и пожирало его; ныне же, когда я не принимаю от тебя ничего, имею все с избытком, и Бог благословил меня.

Монах пошел к старцу и пересказал ему все случившееся. Старец сказал ему:

— Разве ты не знаешь, что имущество монаха — огонь? Куда оно входит, там пожигает все. Брату твоему полезно от труда своего творить милостыню, чтобы за него молились святые мужи. Таким образом он наследует благословение и умножится имущество его. (см. «Отечник», составленный епископом Игнатием Брянчаниновым, стр. 431).

Вот по сему-то батюшка все свои сбережения, лишние деньги раздавал с великим рассуждением и преимущественно чужим людям, беднякам, а не родственникам».

(5, 48—50).

Кстати сказать, батюшка нередко выражал свою скорбь по поводу того, что теперь и в обителях, не говоря о мирянах, все увлекаются чтением книг светского содержания и газет, и образно выражался о достоинстве и пользе чтения книг духовных и вреде и неприличии для христианина, а тем более инока, чтения пустых, светского, нередко греховного содержания книг и газет.

— Когда ты читаешь книгу светского содержания, роман или газету (особенно батюшка скорбел о вреде, приносимом худыми газетами), то тебя окружают, вокруг тебя толпятся и скачут всякие нечистые животные и птицы, и гады — образы злых духов: собаки, свиньи, индюки, гадюки, волки, лисы и всякая нечистая тварь...

А во время чтения тобой книг божественных, духовного назидательного содержания вокруг тебя витают — парят святые ангелы и распространяют благоухание святости, молятся о тебе и помогают тебе уразумевать читаемое.

(5, 44—45).

Всего более батюшка старался воспитать в чадах своих истинное смирение и смиреноумие. /.../ Кроме собственного примера, у него были и некоторые свои особенные примеры, при помощи которых он нередко вводил в дух смирения некоторых своих чад духовных.

Когда, например, они приходили к нему в количестве нескольких человек ради поздравления с праздником Рождества или Воскресения Христова или 6 декабря для поздравления его с днем ангела, то он после обычных приветствий и краткой беседы о чем-либо как-то очень кстати предлагал всем в самой невинной, исполненной благодушия форме какие-либо вопросы для разрешения. /.../ И всегда он умел выбрать такие, что редко кто из пришедших был в состоянии без предварительной подготовки ответить так батюшке, как это ему хотелось. При этом всех пришедших охватывало общее веселье и некоторое смущение от крайней простоты вопроса: «Где жил прежде преподобный Антоний, в Ближних или Дальних пеще-

рах?» или «Почему Ближние пещеры называются ближними, а Дальние — дальними?» — вопрошал батюшка.

И знающие, читающие все, кроме житий святых, приходили в недоумение, затруднялись отвечать. /.../ Убедившись, что из пришедших к нему мудрецов никто не может точно ответить на предложенный вопрос, батюшка делал вслух вывод:

— Оце так довелись!

/.../ Весь этот экзамен батюшка производил с такой исполненной малороссийского юмора серьезностью, что все экзаменировавшиеся чуть не до слез смеялись, и так — умело и незаметно — смирял их в собственных мнениях.

(5, 85—87).

Утверждая чад своих духовных во смирении, батюшка советовал им не забывать и крепко помнить, что мы ничего своего не имеем, а все, что имеем, не наше, а Божие. Тело — от Бога, ум и все душевные силы — от Бога, различные знания и искусства, образование — дар Божий, сан, власть и все благое, что мы имеем для душевной и телесной жизни своей и ближних своих — это дары милости Божьей, за пользование коими нужно будет дать Богу в свое время строгий отчет.

Мы и грех не должны считать своим собственным произведением, принадлежащим нашей природе. Ибо если грех и живет в нас, людях, то он не наше произведение, а вошел к нам от врага Божия и нашего /.../ Мы должны за все и всегда благодарить Бога и всячески смиряться, готовясь дать во всем ответ Богу.

(5, 92).

Вот еще совет батюшки отца Николая, всячески предостерегавшего своих духовных чад от опасности потерять смирение и впасть в гордость. /.../

«Что бы ни случилось с тобой, не показывай и вида печали, скорби, уныния. Враг не знает того, что в глубине души христианской скрывается, а узнает о сем только из того, как человек ведет себя. Ища только повода, чтобы «морочить» человека, заметивши, что он начинает унывать от чего-либо, враг сейчас подносит ему еще и еще что-либо тяжелое, обидное, оскорбительное, чтобы увеличить печаль и скорбь и незаметно довести до полной бездеятельности, отчаяния и гибели. /.../ Мы должны стараться, чтобы всегда иметь радость о Бозе неотъемлемой. Жизнь нам дана не на печаль, а на радость, а потому каждый должен стараться всегда быть веселым: это освежает все силы человека, воображение, память, ум. При унылом же и сумрачном, печальном настроении все в душе бывает сдавлено, стиснуто, а это только и нужно дьяволу: он особенно на мрачно настроенных, унывающих и утруемых нападает».

(5, 94—96).

ИЕРОСХИМОНАХ САМУИЛ ЖЕСАН

Иеросхимонах Самуил (в миру Стефан Иаковлевич Жесан) (1837—1907) родился в семье военного поселенца в с. Коробчино Новомиргородской волости Елисаветградского уезда Херсонской губернии. В 15 лет побывал на поклонении в Киево-Печерской лавре и с тех пор мечтал о монашестве. Стал послушником Лавры в 1858 г., пострижен в монахи в конце 1867 г. Иеродиакон с 1870 г., иеромонах с 1879 г. С 1882 по 1886 г. исполнял должность счетчика счетного стола и заглядчика, следившего за распределением сумм пожертвований за богослужения среди монахов. С 1886 г. и до смерти — духовник Лавры. В 1900 г. удостоился ве-

ликой схимы. Как подвижник принял молитвенный подвиг. Ежедневно молился за здоровье и упокой 9 500 человек, вписанных в его поминальные списки, в чем ему помогали также и другие монахи Лавры. Благодаря его молитвам некоторые страждущие получали исцеление. Вел обширную благотворительную деятельность: снабжал нуждающихся богомольцев одеждой, содержал бедных учеников и студентов, выдавал пособие на хлеб и дрова неимущим горожанам, раздавал пайки («порции» лаврским нищим) и т. д. Современники видели в Самуиле великого схимника и сравнивали его со знаменитыми аскетами древности.

С особенной любовью относился старец также и к умершим. Эта великая любовь старца к умершим выражалась в его усердных за них молитвах. Бывало, часто говорил отец Самуил:

— Когда помянешь покойников на литургии, то этим на тот свет пошлешь самый дорогой гостинец. Они с нетерпением ожидают, чтобы мы за них ходатайствовали своими, хотя и бессильными, молитвами пред Всевышним.

/.../ Кроме того, свое особое усердие к молитвам за умерших старец оправдывал рассказами о виденных им в сновидениях, побудивших его к всегдашним особому усердным молитвам за усопших:

— Будучи иеромонахом, — рассказывал старец, — однажды сидел я на крыльце возле стола и задремал. Вдруг сквозь сон вижу: вот идут мимо меня и кланяются мне сначала мои родители, затем родственники, потом всякие знакомые и незнакомые люди разных сословий. Наконец между ними какой-то солдат в красной фуражке несколько раз поклонился мне. После этого я очнулся и впал в глубокое раздумье. Начал сам себе удивляться: неужели я спал. Подумал о своих родных умерших и знакомых. Кто же этот солдат в красной фуражке? Но тут я вспомнил

об одном умершем на военной службе солдате, за которого родственники просили помолиться. Я с особым усердием поминал его. Для того чтобы убедиться в справедливости моего предположения, я навел справки об этом солдате. Родственники описали мне его наружность и сказали, что он ходил в красной фуражке. Тогда я убедился через советы старцев, что в этом сновидении покойники благодарили меня за молитвы. С тех пор я еще с большим усердием начал молиться за умерших.

Кроме этого старец приводил из своей жизни еще один случай, убедивший его в великом значении пред Богом молитв за умерших. Вот он:

— Когда я был еще монах, — рассказывал старец, — то видел один сон, который убедил меня в большой пользе молитв за умерших. В то время в Лавру ежегодно приезжала на богомолье одна благодетельница купчиха. Всегда она привозила некоторым из нашей братии на молитвы гостинцев — всяких рыб, так как муж ее был рыбопромышленник. В числе молитвенников за нее был и я, грешный. Всегда я поминал ее в своих грешных молитвах. Когда же услышал, что она скончалась, то еще более усугубил свои о ней молитвы. И что же? Чрез некоторое время я вижу ее во сне. В зеленом платье подходит ко мне и говорит: «Спасибо вам, батюшка, спасибо вам, что вы мне сделали такие великие благодеяния». После этих слов я проснулся и стал размышлять, не вражеское ли это привидение? Потом рассказал об этом одному иеромонаху. Тот мне говорит: «Подожди! Мы узнаем, — вражеское ли это или нет. Вот скоро придут в лавру ее родственники, и мы спросим, в каком платье положили в гроб покойницу».

И вот как-то приехала ожидаемая родственница и рассказала нам, что покойницу похоронили в зеленом платье. После этого я решил, что этими явлениями Господь поучает меня молиться за умерших, так как им нужна от нас только одна молитва».

(404, 12—13).

На просьбы келейника ослабить свои непрерывные подвиги и отдохнуть старец отвечал:

— Отдохнем, когда помрем. Еще недостает лежать, — и тихо продолжал. — Гробе мой, гробе, черви — друзья мои, стены — соседи мои.

Старец, между прочим нужно заметить, имел особую память смертную. У него в келии висела картина, на которой изображена голова-скелет /череп/ с подписью: «Портрет мой и твой».

(404, 46).

КЛИРИКИ, ПРИХОЖАНЕ, БОГОМОЛЬЦЫ

ГРАФИНЯ-ЧЕРНИЦА АННА ОРЛОВА- ЧЕСМЕНСКАЯ

Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская (1785—1848) — дочь и единственная наследница огромного состояния известного государственно-го деятеля, победителя турецкого флота при Чесме (22 июня 1770 г.) А. Г. Орлова (1737—1808). Стремясь соединить современное европейское образование с древними православными традициями, общественную деятельность с праведничеством, светские обычаи с аскетизмом, графиня жила двойной жизнью, принимая активное участие в делах императорского двора (как фрейлина царицы) и одновременно «предаваясь трудам благочестия, благотворения, поста и молитвы». Жертвовала огромные суммы для восстановления и расширения обители своего духовного наставника, настоятеля древнего Юрьева монастыря под Новгородом архимандрита Фотия. В 1828 году сопровождала царицу в ее поездке в Одессу и на обратном пути посетила Киев. С тех



пор постоянно навещала «новый Иерусалим на Днепре» и своими пожертвованиями немало способствовала великолепию его церкви и монастырей, их благоустройству и возрождению паломничества. Современники говорили, что живя «монахиней в миру» и жертвуя сотни тысяч на богоугодные дела, графиня Анна Алексеевна отмаливала грехи своего любимого отца.

/Графиня Орлова и Феофил/

Даже известная благотворительница и глубоко верующая женщина графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская не всегда была любезно принимаема старцем.

Приехала как-то раз графиня к отцу Феофилу по совету митрополита Филаре-

та и стала просить у него благословения на начатие какого-то важного дела, но старец ни слова не отвечал ей, а собрав в углу комнаты кучу мелкого сору, высыпал его в подол ее платья. Орлова настолько была религиозна и так почитала блаженного старца, что со смирением уехала с этим сором домой и всю дорогу размышляла о значении сделанного старцем поступка...*

(123, 96).

**Очевидно, это было поруганием роскоши, к которой при всей своей набожности была привязана Орлова. В этом случае Феофил поступил, как Дидон с ковром Платона.*

В другой раз она приехала к нему накануне Успеньева дня. Старец имел обыкновение наводить в этот день в келии чистоту*, так что графиня Орлова застала его за мытьем горшков и посуды. Увидев ее, блаженный видимо обрадовался:

— А, девица, приехала, девица! Кстати, очень кстати... Изволь, родимая, на Днепр сходить, парочку горшечков там мне помоешь...

И дал ей в руки самую что ни на есть загаженную посуду.

Анна Алексеевна только улыбнулась и без всяких возражений отправилась на Днепр, где, ничтоже сумняшеся, усердно принялась своими руками, украшенными драгоценными перстнями, обмывать загаженные от времени горшки. А лакей ее почтительно стоял в ожидании и диву дивился, видя графиню за такою грязною и смешной работой.

(123, 96—97).

**День Успения пресвятой Богородицы — храмовый праздник всей Лавры и в том числе принадлежавшей ей Китаевской пустыни, где жил Феофил.*

Жизнь в Лавре послушник N и проходил послушание в Новопасечном саду. Достигнув совершеннолетия, был призван на военную службу рекрутом, оказался годным и ему «забрили лоб». Сильно тосковал юный подвижник благочестия, почуввав близкую разлуку со святою обителью, но откупиться от службы не мог, т. к. не имел на это денег*. Встречается он вскоре после того со старцем Феофилом, и блаженный, пристально посмотрев на него, говорит:

— Ты чего, солдат, запечалился? Не хочешь царю земному служить, хочешь царю небесному на службу наняться?

— Ох, не достоин я милости этой от Бога. Нет мне, грешному, места во святой обители Печерской, — грустно промолвил на это послушник N, и с очей его градом полились слезы.

— Ну, ну, не плачь, не тоскуй, брат!... Останешься ты в Лавре жить, — сказал ему в ответ блаженный и пошел своею дорогой.

Прошло три дня. Приехала в Киев на богомолье графиня Орлова-Чесменская и, окончив подвиг поклонения, явилась к старцу Феофилу, чтобы исповедоваться у него. В келии она его не застала, но увидев Феофила на монастырском дворе, направилась к нему. Угадав намерение Орловой, блаженный захотел испытать ее сми-

рение и, как бы не замечая графини, быстро отправился в лес. Орлова, не желая упускать из виду редко появляющегося перед людьми старца, пошла за ним следом... Старец прибавил шаг. Орлова же за ним... Делая крутые повороты, либо уклоняясь в сторону, так что графиня Орлова то теряла его из виду, то снова находила старца идущим в отдалении, блаженный Феофил направился в Новопасечный сад и, вошедши в калитку, мгновенно скрылся из виду. Взволнованная графиня, потеряв его след, остановилась в нерешительности, но на счастье ее у ворот сада сидит тот самый послушник-рекрут N, и она подошла к нему с вопросами:

— Скажите, пожалуйста, отец Феофил не проходил сюда?

— Вот только что в сад вошел... — почтительно кланяясь, отвечал послушник N и отворил перед графиней калитку.

— Пожалуйте!

Не помня себя от радости, Орлова вынула из ридикюля** горсть золота и с благодарностью передала его N...

Золота хватило не только на приобретение рекрутской квитанции, но осталось еще и на прочие нужды откупившегося солдата N.

(123, 139—141).

**Рекрутские квитанции продавались по соглашению и стоили в отдельности до 1 000 рублей. — Прим. автора.*

***Маленькая ручная сумочка. — Прим. автора.*



Странноприимный дом при Воскресенской церкви на Печерске. Гравюра XIX в.

ОТЕЦ ЕФИМ БОТВИНОВСКИЙ

Ефим Георгиевич (или Ефим Егорович) Ботвиновский (? — 1873) — священник Киево-Троицкой церкви, находившейся сначала в Старом Городе, а потом переведенной на Новое Строение. Друг юности Н. Лескова и первого редактора ж. «Киевская старина» Ф. Лебединцева.

На старости лет Ботвиновский примкнул к энтузиастам возрождения городских братств и общественных школ при них. Этому повороту в его судьбе способствовало то, что его парafia находилась на территории так называемого «Латинского квартала», густо населенного студенческой молодежью, увлекавшейся в то время просветительской деятельностью среди народа. В конце 1850-х гг. Ботвиновский сблизился с кружком В. Антоновича, Б. Познанского и Т. Рыльского и вместе с ними организовал полулегальную школу-семилетку для детей крепостных крестьян, которых в гимназию не принимали. Студенты готовили их к поступлению в университет, писали учебники, преподавали, воспитывали своих учеников в духе украинского патриотизма. Школа помещалась в доме при Троицкой церкви на Жилианской ул., где настоятелем служил Ботвиновский, а сам он преподавал в ней Закон Божий. Полулегальная семилетка просуществовала всего три года (1859—1862), но сформировавшаяся при ней группа энтузиастов стала ядром, вокруг которого сложилась знаменитая

Киевская громада. Е. Ботвиновский оказался единственным пожилым человеком среди первых членов этой культурно-просветительской организации украинской интеллигенции.

В 1859 г., когда Шевченко попал под надзор полиции, Ботвиновский взял его на поруки и поселил в своем доме. Герой городской молвы середины XIX в. Один из персонажей «Печерских антиков» Лескова.

Работая над повестью, писатель не раз вспоминал «батю Юхима» в письмах к друзьям-киевлянам. «Поп Ботвиновский», писал он проф. Ф.А. Терновскому, «дивная громада смеси пошлости, беспутства и доброты какой-то героической». Еще резче отзывался о нем Лесков в письме к Ф. Лебединцеву: «/.../Беспутство безмерное и порою бывало отвратительное, и даже жестокое, и ум малый и невозделанный, и ленивство безмерное, и гадкая лживость и притворство...»

Но нарисовав такой вроде бы отталкивающий тип киевского попа, писатель тут же добавляет: «Пусть кто что хочет говорит, — а было ж в нем нечто такое, за что сердце его любило». Впрочем, сам редактор «Киевской старины», прочтя повесть, и не думал защищать общего друга. Он нашел полное сходство между «портретом» лесковского «попа» и хорошо известным ему «оригиналом»: «Ефим был беспутен, но сердце доброе имел. Много и не таких /как в повести.— А.М./ курье-

зов за ним водилось. Он даже невесту у брата отшиб, и все это без злости».

Участники переписки не оговаривали своего покойного друга. Создавая «лик Ефима», некий обобщенный образ киевского «попа», они стремились к правде, к трезвой оценке того, с чем сталкивались горожане в реальной

жизни. И в то же время эти выдающиеся деятели русской и украинской культуры, как писал Лесков, «хотели его «поставить светло», — т. е. показать не только как обыкновенного смертного, но и как носителя высоких идеалов православия. «Да, — восклицал Лесков, — это положительная наша обязанность!»

Отец Евфим любил хорошее вино, компанию и охоту. Он был лучший бильярдный игрок после Курдюмова и отлично стрелял; притом он, по слабости своего характера, не мог воздержаться от удовольствия поохотиться, когда попадал в круг друзей из дворян. Тут отец Евфим передевался в егерский костюм, хорошо приспособленный к тому, чтобы спрятать его «приву» и «полевал» по преимуществу с гончими. Нрава Юхим был веселого, даже детски шаловливого и увлекающегося до крайностей, иногда непозволенных; но это был такой человек, каких родится немного и которых грешно и стыдно забывать в одно десятилетие.

Каков Юхим был как священник, — этого я разбирать не стану, да и думаю, что это известно одному Богу, которому он служил, как мог и как умел. Внешним образом священнодействовать Юхим был большой мастер, но «леноват» и потому служил редко — больше содержал у себя для служения каких-то «приблудных батюшек», которые всегда проживали у него в доме. Отец Юхим прекрасно читал и иногда, читая величественные каноны, неудержимо плакал, а потом сам над собою шутил:

— Скільки я, ледачий піп, нагіршив, що Бог вже змишувався надо мною і дав мені слово, щоб плакати діл моїх гірко. Не можу служити, не плачучи».

(237, 77).

Появление у нас бати Евфима, как мы его называли, было для всех нас праздником. Он без умолку улаживал нас курьезными рассказами, смешил остроумными шутками, а иногда, подпивши немного за ужином, сбрасывал рясу, появлялся перед нами в широких шароварах и русской поддевке и с увлечением танцевал. На последнее он, впрочем, решался только в такой час, когда все были уверены, что бабушка, которой он очень побаивался, уже улеглась спать в своей отдаленной комнате.* Но были случаи, когда этот расчет не оправдывался, и бабушка неожиданно появлялась в зале. Батя, с азартом выделяющий трудные выверты трепака, который он отплясывал очень искусно, не замечал этого грозного появления.

— Тю на тебе, оглашенный! — раздавался негодующий голос.

Бедный танцор моментально принимал самый смиренный вид и бросался целовать руки старухи и просить её прощения, но строгая бабушка вырывала у виновную руку и, сердито ворча, уходила к себе.

(423, 5—6.)

*Бабушка автора воспоминаний, земского деятеля В. Хижнякова, отличалась набожностью и была строгой ревнительницей чистоты патриархальных нравов.

/Опасная шутка бати Евфима/

Много у нас рассказывали о курьезных похождениях и выдумках бати Евфима. Я особенно помню один случай, о котором, впрочем, говорили по секрету только в близком кругу, т. к. оглашение этого случая могло бы привести к обвинению в кощунстве, и батя мог бы жестоко пострадать.

Тогда продавали еще винные откупа. В городе водка продавалась сравнительно дорого, а за чертой города она была гораздо дешевле. Откупщик, охраняя свои интересы, на всех путях, ведущих к Киеву, содержал стражу, чтобы не допускать провоза в город дешевики. Стража была вооружена длинными железными палками с заостренными концами. Проезжающих останавливали и обыскивали. Главное внимание обращали, конечно, на возы с сеном, соломой и другой кладью. А экипажи пропускали довольно снисходительно: в них много контрабанды не провезешь. А может быть, тут играли роль и монеты, даваемые стражникам, чтобы не задерживали.

В Юрове* был тогда небольшой винокуренный завод. В то время не было ни казенной монополии, ни армии акцизных чиновников, — и винокурни были на вольном положении. Когда я возвращался из Юрова с отцом, он всегда брал оттуда несколько бутылок старой водки и разных наливок: /.../ Не с пустыми руками выезжал из Юрова и батя Евфим. Но контрабанда, провозимая им, была размером побольше. У него был небольшой бочонок, который всегда в Юрове наполняли «старкой». Со стражниками откупщика он был в прекрасных отношениях. Проезжая обыкновенно ночью, он останавливался у сторожевого поста, присаживался к костру, забавлял стражников своими шуточками, распивал с ними добавочную карманную бутылку, давал им деньги, — стражники всегда встречали и провожали его очень любезно, а к экипажу его никогда не прикасались.

Откупщик по всей губернии был тогда богатый киевский купец Толин. Щедро одаряя, как делалось тогда довольно откровенно, губернские власти и особенно казенную палату, в ведении которой находился откуп, Толин чувствовал себя всемогущим и очень чванился этим. Батя Евфим был с ним, как и со всеми, в прекрасных отношениях. Но однажды в компании он отпустил какую-то злую шутку по адресу важного откупщика. Последний узнал об этом, очень возмутился и пригрозил «насолотить» дерзкому.

В Юров тогда уже ездили по вновь устроенному Житомирскому шоссе. Сторожевой пункт откупщика находился в 20 верстах от Киева на берегу р. Ирпеня. Собравшись однажды в Юров, батя получил анонимную записку: «Берегитесь, на обратном пути вас ожидает большая неприятность».

Погостив в Юрове два или три дня и собираясь уезжать, он просил распоряжиться, чтобы его бочонок хорошо вышлоськали и налили чистою водою. Всех это очень поразило, и к нему начали приставать с вопросами.

— После узнаете, — таинственно ответил он. Бочонок, плотно закупоренный, поставили в его экипаж.

Подъезжая к Ирпеню, Евфимий увидел, что во всю ширину шоссе стоят стражники со своими «списами».

— Пропустите, братцы! — крикнул он.

Один из стражников подошел к экипажу.

— Выбачайте, батюшка, — доложил он, — припов приказ из Киева. Мусы-мо вас потрусить (обыскать).

Батя вышел из экипажа. Оттуда взяли бочонок, отнесли его к костру и собрались откупорить.

— Подождите немного, — сказал Евфим.

Затем он снял шапку, что сделали и другие, и произнес:

— Господи Иисусе Христе, превративый в Кане Галилейской воду в вино, преврати сие вино в воду. Теперь откупоривайте, — командовал он.

Вскрыв бочонок, стражники остолбенели в благоговейном удивлении.

(423, 6—8).

** Деревня Юров в Киевском уезде на берегу реки Здвиж в 60 верстах от Киева принадлежала в 1840-х гг. мужу тетки автора — помещику Еремееву.*

Теперь еще хочется упомянуть об одном киевском событии, которое прекрасно и трогательно само по себе и в котором вырисовывалась одна странная личность с очень сложным характером. Я хочу сказать о священнике Евфимии Ботвиновском, которого все в Киеве знали просто под именем «попа Ефима» или даже «Юхвима».

Усопший епископ рижский Филарет Филаретов в бытность свою ректором духовной академии в Киеве 28 декабря 1873 года писал мне: «Вы спрашиваете о Евфиме, — Евфим, друг наш, умер 10 сентября. Оставил семейство из 6 душ, трех женских и трех мужских. Но, видимо, Евфим при слабостях своих в себе имел много доброго. При его погребении было большое стечение народа, провожавшего его с большим плачем. Дети остались на чужом дворе, без гроша и без куска хлеба, но добрыми людьми они обеспечены теперь так, что едва ли бы и при отце могли иметь то, что устроила для них попечительность людская».

(237, 72).

Был в Киеве уездный казначей Осип Семенович Ту-ский*, которого привез с собою из Житомира председатель казенной палаты Ключарев. Мы этого чиновника знали мало, а отец Евфим нисколько. Вдруг при одной проверке казначейства новым председателем Кобылиным оказался просчет в казенных суммах, кажется, около 20 000 рублей, а может быть, и несколько меньше. Казначей был известен своею честностью и аккуратностью. Как образовался этот просчет, — я думаю никто наверно не знает, потому что дело было замято; но ранее того семье казначея угрожала гибель. Об этом много говорили и очень сожалели маленьких детей казначея.

Дело дошло до Евфима и ужасно его тронуло. Он задумался, потом вдруг заплакал и воскликнул:

— Тут надо помочь!

— Как же помочь? Надо заплатить деньги.

— Да, конечно, надо заплатить.

— А кто их заплатит?

— А вот попробуем.

Отец Евфим велел запрячь «игумена» (так называл он своего карого коня, купленного у какого-то игумена) и поехал к Кобылину с просьбою поддержать дело в секрете два-три дня, пока он «попробует».

Председателю такое предложение, разумеется, было во всех отношениях выгодно, и он согласился ожидать, а Евфим пошел гонять своего «игумена». Объездив он всех друзей и приятелей и у всех, у кого только мог, просил пособить — «спасти семейство». Собрал он немало, помнится, тысяч около четырех, что-то дал и Кобылин, но вексель недоставало все-таки много. Не помню теперь, сколько именно, но много что-то недоставало, кажется, тысяч 12 или даже более.

У нас были советы, и решено было «собранное сберечь для семьи», а казначея представить его участи. Но добрейшему Евфиму это не понравилось.

— Что там за участь детям без отца! — проговорил он, и на другой день внес все деньги, сколько их следовало.

Откуда же он их взял?

Он разорил свое собственное семейство: он заложил дом свой и дом своей тещи, вдовы протоиерея Лободовского, надавал векселей и сколотил сумму, чтобы выручить человека, которого, опять повторяю, он не знал, а узнал только о постигшем его бедствии...

Рассудительным или безрассудным кому покажется этот поступок, но во всяком случае он столь великодушен, что о нем стоит вспомнить, и если слова епископа Филарета справедливы, что дети Ботвиновского презренны, то поневоле приходится повторить с псалмопевцем: «Не видех праведника оставлена, ниже семени его просящих хлеба».

Другого такого поступка, совершенного с полнейшею простотою и по одному порыву великодушия, я не видал ни от кого, и когда при мне говорят о пресловутой «поповской жадности», я всегда вспоминаю, что самый, до безрассудности, бескорыстный человек, какого я видел, — это был поп.

Поступок Евфима не только не был оценен, но даже был осмеян и послужил поводом к разнообразным клеветам, имевшим дурное влияние на его расположение и положение.

С этих пор он начал снова захудевать, и все в его делах пошло в расстройство; дом его был продан, долг теще тяготил и мучил; он переехал к своей, перенесенной в Новое Строение, Троицкой церкви и вдобавок овдовел...

(237, 77—79).

*Речь идет о казначее Тустановском.

/Снисхождение к доброте/

Был в Киеве священник отец Ботвиновский — человек не без обыкновенных слабостей, но с совершенно необыкновенною добротою. Он, например, сделал раз такое дело: у казначея Т. недоставало что-то около 30 000 рублей и ему грозила тюрьма и погибель. Многие богатые люди о нем сожалели, но никто ничего не делал для его спасения. Тогда Ботвиновский, никогда до того времени не знавший Т., продал все, что было ценного, заложил дом, бежал без усталы, собирая где что мог, и... выручил несчастную семью.

Владыка, узнав об этом, промолвил:

— Ишь, какой хороший!*

О. Ботвиновскому за это добро вскоре заплатили самую черною неблагодарностью и многими доносами, которые дошли до митрополита. Тот призвал его и спросил: правда ли, что о нем говорят?

— По неосторожности, виноват, владыка, — отвечал Ботвиновский.

— А!.. Зачем ты трубку из длинного чубука куришь, а?

— Виноват, владыка.

— Что виноват... тоже по неосторожности! А! Как смеешь! Разве можно попу из длинного чубука!.. — он на него покричал и будто сурово прогнал, сказав: — Не смей курить из длинного чубука!.. Сейчас сломай свой длинный чубук!

О коротком ничего сказано не было, а во всех других частях оставлен без последствий.

(233, 100—101).

*Владыка хорошо знал Ботвиновского уже потому, что тот учился в Киево-Софийском училище для детей духовного звания (или как тогда говорили, в «Софийской бурсе»), устроенном митрополитом в 1839 г. в бывшем монастырском, а потом (с 1825 г.) митрополичьем доме (теперь здесь Архив-музей литературы и искусства). Филарет проявлял к воспитанникам своей бursы особое внимание и содержал здесь на свой счет 25 учеников. Бывший его воспитанник С. Г. Ростовецкий вспоминал, что на открытии бursы 29 октября 1839 г. юный Евфимий Ботвиновский выступил перед митрополитом от имени учеников с бойкой и запоминающейся благодарственной речью, очевидно, собственного сочинения. «Вот, — говорил он, — мы вступили, наконец, в твои отческие сени, наш добрый благодетель отец, наш благодетель, ангел, гений. Знаем, сладко нам под кровом крыл твоих здесь будет, — любовь твоя к твоим детям их не покинет, не забудет», и т. д. (См.: Киев. епарх. вед. — 1878. — №3. — С. 105). И действительно, как замечает мемуарист, митрополит Филарет знал в лицо каждого ученика своей бursы, и впоследствии, когда мог, всегда приходил им на помощь.

/«Он добрый...»/

А что думало о нем начальство?

Кажется, неодинаково. Отец Евфим служил при трех митрополитах. Митрополит Исидор Никольский был мало в Киеве и едва ли успел кого узнать. Преемник его Арсений Москвитин не благоволил к Ботвиновскому, но покойный добрейший старик Филарет Амфиотаров его очень любил и жалел, и на все наветы о Ботвиновском говорил:

— Все, чай, пустяки... Он добрый.

Раз, однако, и он призвал Евфима по какой-то жалобе или по какому-то слуху, о существовании коего, впрочем, на митрополичьем разбирательстве ничего обстоятельно не выяснилось.

О разбирательстве этом рассказывали следующее: когда Филарету наговорили

что-то особенное об излишней «светскости» Ботвиновского, митрополит произвел такой суд:

— Ты Батвиневской? — спросил он обвиняемого.

— Ботвиновский, — отвечал о. Евфим.

— Что-о-о?

— Я Ботвиновский.

Владыка сердито стукнул по столу ладонью и крикнул:

— Врешь!.. Батвиневской!

Евфим молчал.

— Что-о-о? — спросил владыка. — Чего молчишь? Повинись!

Тот подумал: в чем ему повиниться? И благопокорно произнес:

— Я Батвиневской.

Митрополит успокоился. С доброго лица его радостно исчезла непривычная тень напущенной строгости, и он протянул своим беззвучным баском:

— То-то и есть... Батвиневской!.. И хорошо, что повинился!.. Теперь иди к своему месту.

А «прогнав» таким образом «Батвиневского», он говорил наместнику Лавры (тогда еще благочинному) о. Варлааму:

— Добрый мужичонко этот Батвиневской, очень добрый... И повинился... Скверно только, зачем он трубку из длинного чубука палит?

Инок ответил, что он этого не знает, а добрый владыка разворковался:

— Это, смотри, его протопоп Крамарев обучил... Университетский! Скажи ему, чтобы университетского научения не слушал, чтобы из длинного чубука не курил.

Очевидно, в доносе было что-то о курении. Отец Евфим и в этом *исправился*, — он стал курить папиросы.

К сему развѣ остается добавить, что Ботвиновский был очень видный собою мужчина и, по мнению знатоков, в молодости превосходно танцевал мазурку /.../ и искусства этого никогда не оставляя, но после некоторых случайностей танцевал «только на именинах» у прихожан, особенно его уважавших.

(237, 81—82).

Батя Евфим любил принимать у себя разных знаменитостей, приезжавших в Киев. Посещая инкогнито театр, когда публика восторгалась знаменитым английским трагиком мавром Ольдриджем, он очень увлекся его игрой и пригласил к себе. Но вышло нечто очень странное. Ни хозяин, ни собравшиеся его знакомые ничего не мыслили в английском языке, а Ольдридж ни слова не говорил по-русски. Пришлось ограничиваться молчаливыми приветствиями.

(423, 8).

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОМИССАР А. С. ДОРОГАНОВСКИЙ

Александр Семенович Дорогановский (1820—1893) родился в семье дьякона одной из подольских церквей. Родственник знаменитого православного просветителя и иерарха Димитрия Муретова и внук известного священника-мемуариста Фоки Струтинского (отрывки из его «Дневника» печатались в 5—7 номерах ж. «Древняя и Новая Россия» за 1880 г.). Сам А. Дорогановский окончил лишь два неполных класса бурсы и особой грамотностью, а пуще того никакими литературными или научными талантами не отличался. Он поражал людей огромной энергией, жадной деятельностью. При этом за всю свою долгую жизнь он не нажил ничего, поскольку все, что зарабатывал или получал, он тут же отдавал нуждающимся. Он обладал большой чуткостью к чужим бедам и всю свою жизнь посвятил служению слабым, гонимым, больным и немощным. С юных лет служил снабженцем при экономе Киевской академии (академическим комиссаром), одно время был не то служкой, не то экономом при своем родиче ректоре Димитрии Муретове и сполна усвоил его науку христианского бескорыстия и добра. После ухода Муретова он также ушел из Академии и с 1857 по 1860 г. жил в с. Лютеже у своего друга священника. По приглашению нового ректора архимандрита Иоанния (впоследствии митрополита киев-

ского) служил комиссаром сначала в Киевской семинарии, а потом и в Академии. За пренебрежение бухгалтерскими правилами в конце 1860-х уволен с поста снабженца и служил сначала управляющим имения в с. Гореничи, а потом сельским учителем. Одно время служил комиссаром в Киево-Софийской бурсе, но уволен в связи с ее реорганизацией. На старости лет состоял на службе у своих дальних родичей, имевших в Киеве доходный дом, где за три рубля в месяц и бесплатную квартиру присматривал за порядком и вел подворную книгу. Постоянно голодал, испытывал нужду в одежде и тем не менее продолжал оказывать посильную помощь бедным. Дорогановский не претендовал на роль святого и ради благой цели помощи нуждающимся прибегал иной раз к плутням и сомнительным махинациям. Жизнеописание этого удивительного человека начал составлять еще ректор Димитрий в 1852 г., продолжил его священник Лука Струтинский, к которому случайно попали начальные странички рукописи Муретова, а завершил это начинание сын священника из с. Лютежа Н. Ракитин, хорошо знавший светского праведника по Академии и в последующие годы. Его повесть «Академический комиссар» появилась в ж. «Киевская старина» через год после смерти А. С. Дорогановского. Таким образом он стал первым подольским

мещанином, удостоившимся чести быть героем апологетической документальной повести. Похоже, что это мало кого удивило. В городе Дорогановского знали все, о нем рассказывалось множество историй и анекдотов. Горожане видели в нем последнего представителя некогда широко распространенной на Подоле особой школы христианской добродетели — бесребреничества, пропагандируемой среди киевлян деятелями Академии еще с XVII века. Среди ее прославленных адептов были архиепископ черниговский Лазарь Баранович, св. Димитрий Туптало-Ростовский,

философ Григорий Сковорода, гражданский губернатор Киева Петр Панкратьев, ректор Киевской академии Димитрий Муретов. Имя скромного подольского мещанина А. Дорогановского завершает этот блестящий ряд имен и придает ему особый смысловой оттенок. Этот последний аккорд в духовной жизни Подола свидетельствует о большой преданности киевлян идеалу святой христианской бедности. Архаическое евангельское бесребреничество продолжало жить в городской среде даже в эпоху капитализма — чуть ли не до конца XIX века.

/Из рукописи ректора Димитрия о многоликом «Кабаше»/

Комиссар у нас Александр Семенович, а у послушников Братского монастыря он известен просто под именем «Семенович», студенты Академии дали ему почему-то прозвище «Пантефрий», в училище от преподавателей латинского языка он получил название «Сало», а у эконома Академии получил самое точное и верное название «Кабан», или дружеское «Кабаша». С этим последним остается он и доньне.

(332, 81).

/Плутовство благотворителя/

Затем /после поборов с честолюбивых монахов. — А. М./ следовали доходы /Дорогановского/ от приемки припасов, от взвешивания на безмене, который никогда и нигде правильно не показывает, от экономной выдачи студентам чаю и сахару; не станут же студенты перевешивать и не захотят поднимать возни из-за того, что вместо 5 фунтов сахару они получали 4 и 15/16 фунта. Да и взгляды тогдашнего общества на предмет «доходов по службе» были не таковы, как в нынешнее время, что доказывается уже тем, что жалование комиссара было всего 15 руб. в месяц. Дали тебе теплое, хлебное местечко — проживешь и без жалования не худо. И наш герой своего не упускал, «доходами по службе» не брезговал; но куда же он девал их, если жил скромно, не имел привычки копить и о своем потомстве, по нежеланию обзаводиться семьей, не имел надобности заботиться?

Как уже было сказано, он, следуя примеру своего патрона, архипастыря Димитрия, все свои доходы и свое жалование раздавал нуждающимся. /.../

В числе знакомых Семенychа было одно семейство консисторского чиновника. Не выслужив пенсиону, чиновник этот умер. Осталась болезненная, нервная вдова с двумя маленькими детьми без всех средств к существованию. Осиротевшая семья всем, решительно всем обязана щедрости Семенychа. Он отдавал вдове свое жало-

вание, свои доходы, свой труд; помогал ей и натурою: свечи, чай, мыло — все, все получала вдова от Семеныча.

Каждый человек вправе рассчитывать на признательность тех, кому он оказывает помощь. Неприятно и обидно, когда, кроме равнодушия, вы ничего не можете ожидать от пользующихся вашим добром; и с этим еще можно примириться, а извольте примириться, когда те, которые едят ваш хлеб, носят ваше платье, которым отдаете всего себя, для которых вы готовы даже красть, — не только не выражают вам своей признательности, а еще постоянно оскорбляют вас, третируют, как последнего. Семенычу суждено было испытать это «удовольствие».

Болезненная вдова была крайне раздражительна и, как большая часть нервных, эгоистична. На благодеяния Семеныча глядела она как на нечто обязательное для него и становилась в отношении к нему все требовательнее. Ничем, бывало, не мог угодить ей. Свои неудовольствия выражала она в грубой форме: швырнет то, что приносил Семеныч, прямо ему в лицо, ругала его на чем свет стоит, когда он осмеливался возражать ей. В продолжение многих лет наш герой безропотно сносил ее капризы, как капризы больной, и только по смерти ее вздохнул свободно.

Посторонние истолковывали такую покорность Семеныча по-своему. Говорили, что между Семеньчем и вдовой существовал роман, но смею утверждать, что ничего подобного не было и не могло быть, Семенычу было за 50 лет, а главное, что вдова как существо больное для романа совсем не годилась.

(334, 357).

/Тараканы — лакомство/

Как-то один прусачок попал в суповую зазу студентов /КДА/. Во время обеда один из студентов заметил в тарелке злосчастливого прусака. Между студентами поднялся ропот негодования. На шум явился инспектор. Потребовали эконома; эконом сосался на своего помощника, комиссара, как ближе стоящего к кухне. Послали за комиссаром.

Со сковородкой в одной руке и ножом в другой наш герой явился в столовую. Его обступили грозные лица студентов и к самому носу сovali ему прусака.

— Что это?!.. Отравить нас хотите?!..

Но тут произошло нечто неожиданное для студентов и для инспектора. Александр Семенович съел предъявленного ему прусака.

Вместо ожидаемых громов, готовых было разразиться над головою нашего героя, допустившего злосчастливого прусака попасть в студенческую столовую, в ней раздался гомерический хохот. Хохотали студенты, смеялся инспектор, весело улыбался эконом и служители, глядя, как Семеньч без слов оправдался от несправедливо возводимого на него обвинения в намерении отравить.

— Как вы можете жрать такую гадость? — спросили студенты.

— Какую гадость? Прусаков? Едят же устриц. Да вы знаете, что здоровее и вкуснее прусаков ничего нет на свете. Хотите испробовать?

Охотников испробовать этого блюда не оказалось. Глядя на здорового, цветущего лица Семеныча, трудно было спорить против целебности прусаков.

С этих пор между студентами наш герой стал пользоваться большой популярностью.

(333, 214).

/Экономика — ахиллесова пята комиссара/

При всей своей гениальности Семенчик никак не мог справиться с ведением экономических книг.

В старину, когда контроль был слабее, на кнвити мало обращалось внимания. Кухня в порядке, все довольны, жалоб нет — чего же больше? Впоследствии же, когда контроль стал строже, слабая сторона комиссара как бухгалтера обнаружилась весьма рельефно, и к тому же она имела характер неизлечимого недуга.

Купил Семенчик на базаре у мужика два воза сена, а по комиссарским книгам выходит, что сено отпущено из гастрономического магазина. Капуста и огурцы по книгам оказывались купленными из магазина канцелярских принадлежностей. Бондарские, лудильные, стекольные работы, по записям Семенчика, исполнены были каким-нибудь приказчиком чайной торговли. В этих курьезных записях строгий контроль усмотрел беспорядочность комиссара, и Семенчик вынужден был выйти в отставку. Так закончилось 20-летнее служение нашего героя в Академии.

(334, 357—358).

/Щегольское пальто в роли жертвенной «последней рубашки» /

Прибыл он к нам от генеральши /у которой служил управляющим. — А.М./ настоящим франтом. На нем была суконная сюртучная пара, пальто с бобром (не знаю, настоящим ли) и меховая шапка. Генеральша /.../ одевала его хорошо. Через неделю я обратился к Семенчику с просьбой сходить куда-то по делу.

— У меня теперь не во что одеться, — отвечал Семенович. — Одолжите разве свое пальто и шапку, так я схожу.

— А где же ваше бобровое пальто?

Поямлся, поямлся Семенчик, наговорил целую кучу разной безделицы /.../ и в конце концов сознался, что пальто и шапку он заложил у ростовщика, так как Нина Петровна временно нуждалась в деньгах. /.../ Нина Петровна, вдова, была соседкой Семенчика. /.../ У вдовы была дочь лет семи и никаких средств к существованию. /.../ Осенью Семенчик хотя и вспомнил о своем бобровом пальто, но как-то вскользь, робко, словно о чем-то недостижимом. Затем в продолжение многих лет у Семенчика была заветная мечта сколотить несколько рублей для покупки себе пальто.

(335, 375—376).

ИЗ ХРОНИКИ ЦЕРКОВНОГО И ОКОЛОЦЕРКОВНОГО КИЕВА

Такое /важное/ значение придавали и строгому говению, которое было обязательно для каждого студента /университета/ под угрозою всюду поспевающего карцера. По поводу этого говения припоминаю интересный инцидент со студентом Кистяковским, впоследствии известным криминалистом. Расставшись со своей Черниговской семинарией, он расстался и со своим правоверием и, наслушавшись г. Вальетра*, сделался в университете крайним атеистом, как и подобало неофиту. Прямолинейный до наивности, он считал нечестным скрывать свои атеистические убеждения, которые он проповедовал при всяком удобном случае и которые считал своим нравственным долгом сообщить на исповеди настоятелю университацкой церкви, протоиерею Крамареву — церковнику католического /ортодоксального/ пошиба, нетерпимому фанатику. Прекратив исповедь, он сказал, что не допустит такого атеиста к святому причастию. В церкви произошла сцена, в которой действующим лицом был проситель Кистяковский, но в камере /карцера/ он явился в роли пострадавшего за свои убеждения. (351, 171).

**Профессор медицинского факультета, известный своим вольнодумием.*

/Гадание в братском соборе/

Здесь /в Академии/, отпраздновав праздник Успения, на другой день, 16 августа /1845 г./, некоторые из приехавших студентов пришли в Богоявленский храм академического братского монастыря помолиться с такою (как после сказывали сами) мыслью: «Ныне — праздник Нерукотворного образа Христова. Образ этот есть и на кресте магистерском. Удостой меня, Господи, быть богословия магистром!»

Спустя много лет после означенного слышали мы от такого тогда молившегося:

— Вот я богословия магистр. Но почему? Думаю, не по иной причине, как только той, что, вступая в Академию, просил я Господа об этой великой милости: быть мне учителем у церкви его Святому закону Его.

О, доброе время, когда вера одушевляла и вдохновляла и образованных, равно как и необразованных!

(418, 352).

Путешествуя /в 1845 г./ в Киевскую академию, мы, три студента Владимирской духовной семинарии, — Поспехов, Нарбеков и Флоринский, — в г. Туле встретили студента Рязанской духовной семинарии П. А. Александровича /.../ И захватили его с собой. Перед г. Батуриным взяла у нас

одну из лошадей почтовых графини Э., и за это одного из нас, К. В. Поспехова, посадила в свою карету /.../

Здесь скажу о спутнике графини — молодой дамы и вполне прекрасной, путешествовавшей в Киев с компаньонкой. Когда Ксенофонт Васильевич /Поспехов/ снова явился в сообщество нас, мы спросили его:

— Что говорила вам графиня?

— Ничего особенного — отвечал юноша, — только восхищалась цветами окружающих полей и злаками хлебными.

Сей юноша скоро оставил Академию и свет сей: он переселился в жизнь вечную в 1848 году по осени, скончавшись от холеры. Нередко о нем вспоминая, думаю, что путешествие в Киев, импровизированное ему в карете графской, было устроено ему свыше его духовным совершенством*: Ксенофонт Васильевич Поспехов была душа чистая, девственная.

Да упокоит его Господь со святыми!
(418, 351—152).

*Т. е. ангелом.

Собравшийся в Киеве в 1845 г. сонм юношей-семинаристов был настолько подготовлен к слушанию высших курсов наук в Академии, что можно было хоть отчасти согласиться с замечанием одного из студентов XIV курса, любезного Иосифа Стефановича Алексинского, который раз на прогулке по бульвару Киево-Подольскому* говорил пишущему сие товарищу своему, не шутя, сие:

— Знаете ли, Н. И., что я думаю о нашем курсе?

— Что же именно?

Алексинский: Думаю, что все мы — гении...

Сей добрейший и подлинно умнейший юноша почил о Господе, как только окончил курс Академии. /.../

Вы, юные читатели сей статейки, конечно, скажете, что мысль Алексинского была детски наивна, ибо гении не являются во множестве, и не очень часто являются они. Поясню же вам, возлюбленные, что в наше время всех перваков семинарии** звали гениями.

А как из таких перваков составилась и курс наш — 14-й, то Алексинский — по тогдашним понятиям — был прав, назвав всех студентов 14-го курса гениями.
(419, 4).

*Подольский бульвар или Бульвар на канаве — современные улицы Верхний и Нижний Вал.

**Т. е. их первых учеников.



Вообще о жизни первого курса (1819—1823) Киевской духовной академии я знаю из рассказов студента 1 курса Афанасия Лотоцкого — впоследствии архимандрита Амвросия. Он сообщил мне следующее.

Студенты жили в так называемом старом корпусе, внизу; железных решеток на окнах не было. /.../ Студенты по вечерам ходили через окна в город, и, проведя там сколько угодно времени, таким же путем возвращались назад.

Один, по словам того же архимандрита Амвросия, из студентов (харьковский уроженец) чаще других путешествовал в город. В одну ночь он возвратился из города в одном белье, даже сапоги с него были сняты. Кровать его стояла подле окна. Проснувшись утром, он обратился к товарищам с просьбой дать ему кирпич. Когда кирпич был подан, он разбил два нижних стекла, оцарапал себе этим кирпичом лицо, бросил его на пол и, обратясь к одному из товарищей, который носил название старшего*, сказал:

— Старший, пойди и скажи отцу ректору, что у меня с окна украли всю одежду, кирпичиной ранили лицо. А сапоги, братцы, дайте, потому что они на окне не стояли.

Старший так и сделал. Ректором академии был тогда архимандрит Моисей (Антипов), впоследствии экзарх Грузии. Когда старший доложил об этом отцу ректору, последний взглянул на рассказ с улыбкой. Приказал эконому сделать все для студента, т. е. сшить одежду. Но, догадавшись, что это проделка студента, распорядился вставить в окна железные решетки.

По поводу подобного нововведения случались такие курьезы.

Помещения с решетками на окнах имели вид тюрем, и богомольцы, проходя мимо таких помещений, выражали сожаление, что такие ранние молодые, а уже попали в тюремное заключение. Иные из благочестивых богомольцев кляли на окна деньги.

(447, 132—133).

*Старшие по камере избирались из лучших студентов. Они следили за порядком и каждый месяц подавали инспектору рапорт о поведении своих соседей по комнате.

/Искатели чудес/

Тот же помню, раз летом в Киев наехало из Орловской губернии одно знакомое мне дворянское семейство, состоявшее из матери, очень доброй пожилой женщины, и шести взрослых дочерей, которые все были



Чудотворная икона Печерской (Свенской) Богородицы

недурны собою, изрядно по-тогдашнему воспитаны и имели состоянье, но ни одна из них не выходила замуж. Матери их это обстоятельство было очень неприятно и представлялось верхом возмутительной несправедливости со стороны всей мужской половины человеческого рода. Она сделала по этому случаю такой обобщающий вывод, что «все мужчины подлецы: обедать — обедают, а жениться — не женятся».

Высказавшись мне об этом со всею откровенностью, она добавила, что приехала в Киев специально с тою целью, чтобы помолиться «насчет судьбы» дочерей и спросить о ней живущего в Китаевской пустыни старца, который Бог весть почему слыл за прозорливца и пророка*. /.../

/Я/ не имел никакой охоты беспокоить

мудреного анахорета, о прозорливости которого знал только, что он на приветствие «Здравствуйте, батюшка» всегда или в большинстве случаев отвечал: «Здравствуй, окаянный!»

— Стоит ли, — говорю, — для этого божьего старичка беспокоить.

Но мои дамы востосковались:

— Как же это можно, — говорят, — так рассуждать? Разве это не грех — такого случая лишиться? Вы тут все по-новому, — сомневаетесь, а мы просто верим и, признаться, за тем только сюда и ехали, чтобы его спросить. /.../ Нам провидящего старца-то о судьбе спросить дорого — что он нам скажет?

— Скажет, — говорю, — «Здравствуйте, окаянные».

— Что же такое, а может быть, — отвечают, — он для нас и еще что-нибудь добавит?

«Что ж, — думаю, — и впрямь, может быть, и прибавит».

И они не ошиблись: он им кое-что прибавил. Поехали мы в густые голосеевские и китаевские леса с самоваром, с сушенными карасями, арбузами и со всей иной провизией; отдохнули, помолчились в храмах и пошли искать прозорливца.

Но в Китаеве его не нашли: сказали нам, что он побрел лесом к Голосееву, где о ту пору жил в летнее время митрополит. Шли мы, шли, отбирая языков у всякого встречного, и, наконец, попали в какой-то садик^{к*}, где нам указано было искать провидца.

Нашли, и сразу все мои дамы ему в ноги и запищали:

— Здравствуйте, батюшка!

— Здравствуйте, окаянные, — ответил старец.

Дамы немножко опешили, но мать, вида, что старец повернул от них и удаляется, подвинулась отвагою и завопила ему вслед:

— А еще-то хоть что-нибудь, батюшка, скажите!

— Ладно, — говорит, — прощайте, окаянные!

И с этим он нас и оставил, а вместо него тихо из-за кусточка показался другой старец, небольшой, но ласковый, и говорит:



Чудотворная икона Успения Божьей Матери Печерской

— Чего, дурочки, хотите? Э-эх, вы, глупые, глупые, ступайте в свое место, — и тоже сам ушел.

— Кто этот, что второй-то с нами говорил? — спрашивают у меня дамы.

— А это, — говорю, — митрополит.

— Не может быть!

— Нет, именно он.

— Ах, Боже!.. Вот счастья-то сподобилось! Будем рассказывать всем, кто в Орле, — не поверят! И как голубчик ласков-то.

(233, 101—103).

**Речь идет о иеросхимонахе, духовнике митрополита Филарета Парфении.*

*** Сад Голосеевской пустыни, где находился летний дом («келья») Парфении. Неподалеку располагалась и летняя резиденция самого владыки.*

Четвертым кельйником у блаженного /Феофила/ был некто Козьма. Это был чрезвычайно религиозный и начитанный слуга. /.../ Из всех неодушевленных предметов сего видимого мира Козьма обожал только книги, а пуще всего свою старую истрепанную Библию, которую постоянно носил при себе на ремне и которую клал себе ночью под голову вместо подушки. /.../ Самыми нелюбимыми существами на земле считались у Козьмы... женщины. Упаси Бог, если ему случалось встретиться поутру, в то время, когда он отправлялся на Днепр за водой, с какой-либо из проходящих навстречу женщин. Козьма считал тогда себя осквернившимся на весь день и по возвращении домой непременно окроплялся крещенской водой.

(123, 60).

/Викарий Порфирий о киевских витиях/

Священник церкви святого Андрея Первозванного П. /одвысоцкий/ в одной проповеди своей написал, что все, что делает Господь Иисус Христос, искажал и уничтожал дьявол и что только двух царственных жен не смог он преодолеть, именно: Елену, мать святого Константина, и Ирину, восстановительницу иконопочитания.

Говорить эту, более чем странную, проповедь я запретил ему. Он пожаловался на меня Андрею Николаевичу Муравьеву, но тот сказал ему:

— Что ты написал? С ума ты сошел!

Профессор богословия во Владимирском университете Н. Ф./аворов/ всякий раз приносил мне свою проповедь неоконченную. Он иногда выражался весьма неточно и неудачно, например «Мы находимся в таком положении, что устоять нам нельзя». То есть в одно и то же время и лежим, и стоим.

Мои строгие суждения не нравились киевским витиям, так что они говорили обо мне: «Он не любит проповедей». Сам я ни однажды не проповедовал, потому что прилежно писал и печатал исторические сочинения о христианском Востоке, да и не сознавал в себе способности к витийству многовещанию. Митрополит Арсений также, как и я, не говорил проповедей.

(400, 514—515).

В 1826 году 30 ноября в храмовый праздник в Андреевской церкви в Киеве служил митрополит /Евгений/. Местный протоиерей должен был говорить поучение. Он вошел на кафедру, митрополит сел перед иконостасом, на своем кресле против проповедника.

— Иду рыбу ловить, — начал проповедник. Старички-богомольцы, стоявшие возле кафедры, предполагая, что батюшка собирается на Днепр и, почитая долгом напутствовать его добрым пожеланием, с низким поклоном сказали ему:

— Помогай, Боже, батюшка.

Священник до того растерялся, что не мог произнести ни одного слова.

Видя замешательство проповедника, митрополит, встав, дал знак певчим; они пропели «Буди имя Господне», и служение окончилось без проповеди.

(57, 257—258).

Соборная /Вознесенская/ церковь /Флоровского монастыря/ обыкновенного со многими другими рисунка и формы; ничего в ней нет отменного. Мощей монастырь не имеет, но хвалится сокровищем прямо чудесным: в маленьком ковчеге, за стеклом, поставлен сосуд самый крошечный и под ним подписано: «Здесь кровь Иисуса Христа».

На что спрашивал:

— Кто и откуда ее доставил? Как она до сих дней сохранилась?

— Мы все в храме: все свято во доме Божиим. Поклонимся и дадим веру преданию многих веков!

(101, 286).

Все священники Киевской епархии, — пишет преосвященный /Порфирий (Успенский)/, — учились в семинарии. Ни один из них не оказался неверующим. Что касается поведения их, то оно у большей части их соответствовало их священному сану. Исключения были редки, но уж и резки. Так, вдовый священник Т. прижил ребенка с девицею, дочерью просвирни, и, задушив его, схоронил в своей кухне; но несчастная мать обжаловала его консистории, которая, помнитися, затянула дело и кончила его оправданием виновного.

У вдового священника Я. служанка, недовольная его скупостью, не вознаграждавшею ее услуги, отрезала ему бороду, когда он пьяный спал богатырским сном, и, припечатав ее сургучом к своему прошению, прислала ко мне в пакете. Я сдал эту диковинку в консисторию, а она повела дело так, что у попа отросла борода, а служанка его попала в разряд «непокрыток», от которых прошения не принимают. Ай да консистория! Со дня Днепра выгадит попа неморого. Дивился я этому искусству ее, но воспрепятствовать не мог, потому что не имел полновластия.

В самом Киеве второй священник Владимирской церкви* часто бывал так мертвошечен пьян, что валялся на улицах.

На вдового священника Троицкой церкви Б.** жаловалась гувернантка его детей.

Сельский священник Л., недовольный митрополитом Арсением, сперва письменно обучал его, потом пожаловался на него синодальному обер-прокурору графу Дмитрию Толстому, а когда этот передал митрополиту жалобу его, тогда он в своем

письме к нему обругал его самого, меня же обозвал святошешу. За все это митрополит упрятал его в Суздальский монастырь, но по прошествии некоторого времени возвратил оттуда и дал ему священническое место в каком-то селе, где он и смирился и более не бросал своей рясы в лицо его высокопреосвященства.

Священник, помнится, М., утомленный развратностями своих домашних, повесился у себя в доме, но его успели снять с петли и привели в чувство. Об этом происшествии благочинный уведомил консисторию, а она меня. Я подал свое мнение, что самоубийце надобно воспретить священнослужение навсегда, а для содержания как его, так и его семьи, отчислить из четырехсоттысячного жалования попам 300 рублей ежегодно. Митрополит же, к удивлению моему, перевел в другое село с правом священнослужения.

Один из сельских священников с женою и с приятелями своими подгулял в Ша-то-де-Флер (гостиница в городском саду) и с верхнего балкона изволил выливать из себя воду в виду всех гуляющих. Такой мерзкий поступок удивил и огорчил их. Полиция дала мне знать о нем, и я на другой день позвал к себе похабного попа и розно исповедал его, а всем благочинным предписал оповестить всех подведомых им священно и церковнослужителей, чтобы они, приезжая в Киев, не смели ходить в харчевни, трактиры и туда, где бывают народные гульбища, под описанием весьма старого наказания за нарушение сего предписания.

Гром мой грянул, попы перекрестились и более не ходили туда, куда ходить запрещено им.

(400, 512—513).

**Имеется в виду Владимирская церковь на Новом Строении. Находилась на месте теперешнего дворца «Украина».*

*** Очевидно, известного в Киеве «батька Юхима» — Ефима Ботвиновского.*

/Незадачливый игрок/

Все они (чиновники Межигорской фаянсовой фабрики. — А. М.) были страстные любители юрдона (изволичья игра в три листка, довольно азартная): как засядут с утра, то просидят до обеда, а от обеда до ужина, а от ужина до первых петухов*. Обходя свой приход с молитвой**, к нам завернул и батюшка отец Василий и притащил с собою порядочный гаманец с вырученными за молитву медяками. Долго смотрел он на играющих, не принимая в игре участия, все порываясь идти домой, но сердце не камень — припустился и он. Как застукали его межигорцы, как стал мой батюшка таскать из мешка пятаки, то только благодаря внезапно налетевшей пощаде, не проиграл он всего, что принес с собою. Влетела матушка в комнату, как фурия, схватила почти пустой мешок, рутнула всю честную компанию и ушла. Сконфуженный поп поплелся вслед за ней, понура голову.

(432, 138).

** Речь идет о Рождественских праздниках.*

*** Старинный обряд обхода священником своей паствы перед святками с целью приема покаяния.*

/Состязание лавры с университетом/

На первый день праздника /святко/ прибыли еще кой-какие гости и в числе их начальник лаврских озер из Тарасовичей. Славился он на всю округу необычайной крепостью в отношении спиртных напитков. Сплотить его, что называется, до положения риз не было никакой возможности, сколько ни старались в том гостеприимные лесничие. Я вызвался опровергнуть такое нелепое мнение о святом отце и выкинул еще одну «студентскую штуку».

Не принимая участия в юрдоне, я пригласил отца Илиодора в особую комнату, чтобы и не смотреть на богомерзкую игру сию, и заняться душеспасительной беседой вдали от мирских соблазнов. Монах поддался на такие умные словеса, вверив свою особу моим попечениям. Я потребовал маленький дорожный самовар и собственноручно принялся настаивать его; но вместо воды налил половину спирта. Самоварчик мой скоро закипел, и я приготовил монашеский пушик.

— Ох, какой же крепкий! — воскликнул, хлебнувши, инок. — Позвольте водичку прибавлю.

Подлив водичку и прибавив сахару, он опять хлебнул — не помогает. Отливши из стакана малую толику, снова добавил водичку — все-таки крепко. Совершив несколько раз такую операцию, он уже и жаловаться перестал на крепость пушпа, утратив способность вкуса, а через несколько минут, потерял и сознание.

— Готов-с! — отпартовал я гостям, вошедши в гостиную, — не уютно ли будет экспертам освидетельствовать?

Экспертиза показала, что крепкоголовый «начальник», в противность убеждению всей честной компании, был как стелька.

— Боже мой! Боже мой! — бормотал он бессвязно. — Вы все в мире, а я монах, что скажут там? Постыдно будет мне окаянному стоять там позади всех, ты, скажут, монах, а что ты в мире творил, непотребный?

Заметив меня между гостями, он закричал:

— Отойти от меня, сатано! Не искушай меня! Ох, Боже мой! Боже мой! Уси бачать, як чернець гришльть, а ниhto не бачить, як вин кається!..

(432, 137—138).

Кроме воскресных дней и больших праздников, куда все ученики отпускались по домам к своим родителям, самым любимым днем было 1 мая, когда устраивалась маевка, и гимназисты шли на прогулку с надзирателями. Каждый пансион держал свой особый путь: «наиблгороднейший»*, например, шел по Крецатику на Подол, спускался к Днепру и направлялся в Киево-Печерскую Лавру; «дворянский»** шел через крепость в Лавру, осматривал Аскольдову могилу и другие достопримечательности, а затем извилистой дорогой по Днепровскому мосту возвращался в Липки; «хуторяне»*** не любили долго ходить по городу и просили надзирателей сократить им путь; они раньше других возвращались домой. Первым желанием воспитанников было выкупаться 1 мая, но это трудно было исполнить, да и не безопасно, потому что выкупавшиеся и пойманные на этом строго наказывались. В одну из таких прогулок, когда мы были возле Днепра, я и Бобровников, улучив время, выкупались, но, выйдя после купания, увиде-

ли, что наш пансион уже скрылся из виду. Бобровников предложил мне:

— Ну, кабан, идем прямо от Цепного моста к Лавре, по этим крутизнам!

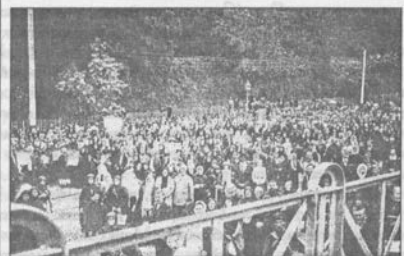
Мы полезли; трудный был путь; я несколько раз срывался, но Бобровников меня выручал, подымал меня, и мы карабкались дальше. Пот с нас лил ручьями; мы сняли шинели и куртки; наконец, добрались до конца крутизны и на вершине холма легли отдохнуть. Мы были так истомлены, что только после получасового лежания могли встать на ноги. Белье на нас было так мокро от пота, хоть выжми, пить хотелось ужасно, мы пошли разыскивать воду, чтобы утолить мучившую нас жажду, и добрались до монашеских келий****. Здесь мы увидели на балконе одной келии очень толстого монаха, который сидел в одном белье и что-то пил; мы побежали к нему и кротким голосом попросили его дать нам напиться воды. Но он пробасил:

— Я такой гадости не пью. Сколько там от сотворения мира пропало рыб, скота, людей, так что даже противно ее пить, да и вам не советую пить этого гадкого напитка!

— Что же вы пьете? — спросил Бобровников.

— Я пью только вино, летом со льдом. Если хотите, то я налью вам кружку.

Он налил кружку белого вина и усадил нас возле себя, мы насладились прохладным вином всласть. Поблагодарив в очень изысканных выражениях этого толстого монаха, мы двинулись дальше в путь и вовремя пришли в гимназию, так что нас ни в чем не заметили. (352, 550).



Богомольцы в Киеве. 2500 оренбургских паломников по дороге из Лавры у Царского сада. Фото 1914 г.

*«Наиблагороднейший пансион» — самый привилегированный и дорогой из всех пансионов Первой гимназии, куда принимались дети из аристократических семей.

**«Дворянский» — второй по уровню престижности пансион Первой гимназии, в нем воспитывались дворянские дети в основном из «внутренних» (русских) губерний.

***«Хуторяне» — воспитанники третьего пансиона Первой гимназии, в который принимались дети мелкопоместных дворян из Киевской, Черниговской, Полтавской и других «малорусских» губерний.

**** Очевидно, Николаевского монастыря.

В этом хаосе трупов /университетского Анатомического театра/ перемешались все национальности и религии, какие только встречались в Киеве. Кстати, приведу здесь случившийся в мое время по поводу это-

го смешения факт. В Анатомическом театре остатки трупов предавались погребению 2 раза в год — перед Рождеством и перед Пасхой. Хоронили их обыкновенно в нескольких больших гробах на православном кладбище на Байковой горе. Оплевал и совершал погребение православный священник. Иначе и поступить было невозможно: как разделить эту массу кусков мяса, рук, ног, ребер и т. п. По религиям? Большинство же принадлежало к православным. Такие похороны устраивались и продолжались, кажется, с основания театра. Вдруг бумага по начальству от нового ксендза с жалобой, что он не приглашается для погребения покойников католического исповедания, трупы которых находятся нередко в Анатомическом театре, и с просьбой исполнить это на будущее время. Конечно, желание почтенного патера было исполнено, и предписано кому следовало приглашать непременно и ксендза при погребении трупов. По как на самом деле помочь горю, отдать ему католиков? Кто-то придумал следующий простой и остроумный способ: без церемонии отделить в особом гробу часть кусков трупов для ксендза. Так и стали делать. Ксендз отпевал и хоронил их на своем кладбище. С тех пор жалоб не возникало: ксендз остался вполне удовлетворенным.

(31).

В день отъезда из Киева мы, художники*, служили в новом /Владимирском/ соборе благодарственный молебен. Настоятель** после молебна сказал слово, обращенное ко всем молящимся (собор первое время постоянно был полон молящимися и любопытными) и к нам — художникам. Он просил молящихся полюбить собор, как любил его мы — художники.

Нам же ученый протоиерей пожелал в будущем написать многие образа и не на медных уже досках, а на золотых... Ученый оратор полагал, что от «золотых» досок выиграет искусство или мы — художники — тем самым превознесемся выше облака ходячего...

За «золотыми досками» он позабыл «душу художника», се священное горение, увы! не зависимое ни в коей мере от того, на чем он — художник — будет писать, создавать, творить высокое, непостижимое, вечное...

(282, 240—241)

**Речь идет о художниках, расписывавших стены Владимирского собора.*

***Протоиерей И. Н. Корольков, профессор древних языков Киевской духовной академии. Получил звание магистра в 1860-х гг. Составитель библиографического справочника «25-летие трудов Киевской академии». Служил инспектором академии, избирался председателем Религиозно-просветительского общества, в последние годы жизни был священником. Дожил до глубокой старости и умер в 82 года при советской власти.*

/Монастырский суд/

Многим из читателей /.../, вероятно, приходилось слышать ходячие в народе рассказы о практикующемся в монастырях самосуде, преимущественно за святотатство. Провинившегося обыкновенно привязывают на общий позор в людном месте. Все такие рассказы обыкновенно

относятся к преданиям старины. Можно было думать, что в настоящее время подобные случаи вышли из употребления. Но история с девочкой доказывает, что традиции живучи.

Девочка лет 13 или 14, пойманная на воровстве, была не на дереве повешена, а привязана к решетке под плечи, но так высоко, что только пальцами чуть касалась земли. Привязана она была возле церкви Успения, в месте людном, в виду проходящих богомольцев. Когда студенты, бывшие там /в Печерской лавре/ на археологической экскурсии, набрали на эту сцену, то руки у девочки от отека были посиневшие, и как только ее отвязали, с нею сделался обморок.

Монахи /.../ сопротивлялись освобождению и угрожали заступникам, что с ними поступят так же. Но когда студенты потребовали, чтобы их вели к началству лавры, то монахи тотчас ступевались и оставили их в покое.

Народ, который до того оставался лишь пассивным зрителем, выразил свое сочувствие и к страданиям девочки, и участию вступивших за нее.

Из этого ясно, что наказание и истязание девочки есть дело монахов низшего чина, очевидно, людей невежественных и грубых, и нельзя не пожалеть, что об этом случае никто не позаботился тогда же довести до сведения лаврского начальства.

(267).

/Иринарх-молчальник/

Находясь в храме Божьем /схимонах Иринарх/ решительно ни с кем не говорил, даже о необходимом никого не спрашивал, так что многие легкомысленные, за то, что он не отвечал на их праздное любопытство, с подсмеиванием называли его немым. Но смиренный не смущался /.../. Если нужно было ему кого помянуть на проскомидии у святого жертвенника о здравии или о упокоении известных душ, то он писал имена их на малой аспидной доске (которую всегда носил к божественной литургии) и отдавал оную седмичному иеромонаху, а тот поминал их у святого жертвенника.

(84, 174).

/Добро и клоака/

Пожертвовала одна киевская госпожа 1000 рублей для скита /в Церковщине/. Прошло какое-то время, приезжает она в скит и спрашивает батюшку:

— Что сделано у вас на мои деньги?

И что же? Провел ее батюшка показывать, подвел к мусорной яме, подвел к помойным трубам.

— И это, — говорит, — тоже на ваши деньги.

Очень расстроилась этим госпожа та и, не захотевши выпить даже стакана чаю, уехала домой, через несколько дней батюшка поехал к ней.

— Не гордитесь, — говорит, — своей жертвой, а меня простите великодушно, что я вас оскорбил.

И привел жертвователницу в сознание своей недостаточности духовной: она и впоследствии не переставала благотворить обители.

(172, 205).

/Духовный торг/

Агапит был великий старец и имя его доселе памятно беднякам, которые пользовались его благотворениями. Покупая целыми шкурами сукно, холст и прочую материю, он шил мужские и женские одежды и белье и все это раздавал немущим богомольцам.

Богаделеники, жившие при странноприимной больнице, не успевали шить белье и одежды для явивших. Кроме постоянной раздачи деньгами, одеждою и хлебом, отец Агапит имел еще немало пенсионеров в городе, которым раздавал ежемесячное пособие, т. е. людей истинно бедных и обремененных семьею. Одиноких же принимал в Лаврскую богадельню при гостинице, кормил, одевал, лечил и напущивал их в вечность. Вот к этому-то старцу и попал /послушник/ Корнилий /.../ В тайных благотворениях отца Агапита он был незаменим, умел хранить его тайны, и вообще душою был ему предан. Отец Агапит не ограничивался районом своих благотворений в Лаврской гостинице и любил посещать также в городе тюремный замок, приюты крайней нищеты и вообще истинно бедных людей. Вот в этих-то поездках ему сопутствовал и Корнилий. Навычат на извозчика узлы с одеждою, возьмут корзины белого хлеба и денег и поедут в город, как бы за покупками в лавки, а сами совершат духовный торг и посетят нуждающихся: кого приоденут, кому дадут хлеба и денег. Затем, наполнив опустошенные свои корзины для вида каким-либо товаром, едут себе веселые и довольные домой.

(123, 56).

/Лесть подлая/

Здесь /в Софийском соборе. — А. М./ пребогатые царские врата, и на них кому-то вдумалось вычеканить двуглавого орла*. Странная идея! Герб российский на вратах алтарных: чего лесть подлая не употребит для снискания благ мирских? Когда духовные таковы, то чего ждать от светских? Подобно тому и на стенах поставлены портреты царские, и поелику изображены /здесь/ были прежде во весь рост святые Печерские Антоний и Феодосий, то к ним прибили пелены, и на пеленах повесили портреты так, что над ними видны одни головы угодников; во весь же остальной их рост царь и супруга его висят к ним спиною. Можно ли так играть в святлище?

(102, 114).

*Здесь и далее описываются интерьеры Софийского собора до его реставрации в 1840-х годах.

/Состязание в ощущении святости/

Достопочтенный иеромонах одного из монастырей Казанской епархии, приехавший в Киев на богомолье, поведал клирику Софийского собора, что от мощей священномученика Макария, митрополита киевского, открыто почивающего в Софийском соборе, ощутил он необыкновенное благоухание, так что ради токмо этих святых мощей желал бы остаться в Киеве на жительство.

Когда по уходе отца сего спросили одного из церковных служителей соборных сравни-

тельно более благочестивого: «А ощущаешь ли подобное?», сей ответил: «Когда подхожу к мощам утром натошак, ощущаю. Особенно, если и накануне хорошо поговею».
(415/А, 1—2).

/Грех безгрешности/

Усі ми /ученици Министерской гимназии.
— А.М./ були дуже релігійні, сповідав нас законовчитель о. Подвисоцький, котрому ми й каялись в наших «прегрішеннях». Раз мені дісталось від нього на сповіді.

Отець Павла питає мене:

— Ну, чем ты грешна?

— Нічем, батюшка! — смиренно відповідаю я.

— Как ничем?

— Родителей почитаю, не краду, не лгу, не убиваю, ала людям не делаю.

— Ага, так ты самохвалствуешь, — і почав мені вичитувати: — иди ж положи 15 поклонов!

Поклони я зараз отмахала, а все-таки осталась з переконанням, що «ничем не грешна»

(35, 98).

Когда преосвященный Платон путешествовал в Киев, тамошний митрополит Серапион приказал ученому протоиерею Леванде изготовить приветствие, который /т.е. Леванда. — А. М./ и сказал:

— Приветствую тебя, владыко, тем, что такового архиерея нам подобает имети*.
(139, 768).

*Такие двусмысленности и скандальные выпады были совершенно чужды ораторскому стилю прославленного киевского Златоуста, кафедрального протоиерея Ивана Леванды. Серапион и Платон были друзьями. Упомянутое здесь путешествие московского владыки в Киев произошло в 1804 г. по приглашению гостеприимного митрополита киевского. Преосвященный Платон описал свои впечатления от Киева в книге дорожных очерков, изданных в Петербурге в 1813 г., где с любовью отзываясь о Серапионе. Оба слыли людьми благочестивыми и добродетельными. Так что Серапиона не в чем было упрекать, прикрываясь авторитетом Платона. Очевидно, автор подборки, откуда мы заимствовали эту миниатюру, известный русский собиратель анекдотов П. Карабанов, что-то перепутал и приписал Леванде то, чего тот никогда не говорил и не мог говорить.

/Заводчик-экстрасенс/

Иван Петрович Романовский был женат на сестре моей матери; бывши долгое время мастером, заслужил известность по части производства посуды, которая доставлялась ко Двору. Межигорье в то время принадлежало имению Дворцового ведомства, а когда последовали какие-то перемены, Романовский оставил фабрику*. Он получил в приданое за женой** деревянный домик и при нем большое количество земли в предместье Киева, называе-

мом Юрковица***. Домик этот примыкал к горе, изобилующей прекрасной глиной. Обладая знанием, к которому приложил труд, Иван Петрович устроил большой кирпичный завод. Особенного внимания заслуживали кафли для печей, которые сделались предметом хорошего сбыта. Его состояние росло не по дням, а по часам. Имея большие средства, он стал обрабатывать гору, завел на ней сад, в котором были не имеющие себе подобных в Киеве фрукты и была даже одна виноградная аллея. Когда труды его стали приносить несомненный доход, он не остановился на том, чтобы быть только, как он себя называл, «кафельником», а стал заниматься наукой. Он завел у себя небольшую библиотеку, снабженную лучшими произведениями как литературы, так и по части всего, что его занимало. Больше всего он интересовался электричеством, вследствие чего весь его кабинет был обставлен разного рода машинами. Музыка любил он до страсти; несколько органов с вставными валиками стояли в его зале. Свой маленький дом он перестроил и сделал в нем довольно большое количество комнат; близ залы была пристроенная стеклянная галерея, в которой стояли вазоны дорогих цветущих растений. Стараясь себя обрадовать, он знакомился с людьми, чем-либо заслуживающими внимания.

Жил в Киеве генерал Бегичев, очень богатый человек, имевший в Липках очень много земли. Институт, Земельный и Государственный банки украшают /ныне/ на его земле г. Киев своими зданиями и примыкающими к ним садами. Добрая молва о Романовском росла и росла, и когда он трудами рук и умом обрел славу и заслужил всеобщую любовь, Бегичев не преминул познакомиться с талантливым гражданином г. Киева Романовским и, бывши сам очень умным человеком, стал наблюдать и изучать его способности. Должен я прибавить, что Бегичев обладал силою магнетизма и, видя в Романовском своего последователя, такого же любознательного, взял его под свое покровительство и стал привозить к нему сочинения по отрасли магнетизма. Бегичева я знал только понаслышке от родителей. Но о том, что я видел сам, постараюсь рассказать теперь с большими подробностями, описать без преувеличения или умаления их /магнетизеров/ достоинств и истины того, чему я сам был свидетелем, очевидцем.

Студент духовной академии, когда доктора отказались его пользоваться, обратился к Романовскому; тот принял его любезно, уложил на диван и стал магнетизировать, водя руками с головы до ног (обыкновенные приемы магнетизирования). После третьего сеанса больной академик заснул; я и все бывшие у дяди были удивлены, когда увидели идущего больного с закрытыми глазами через зал в сад, за ним следом пошел приставленный слуга для наблюдения. Долго больной ходил в саду,



Великий чудотворец Софийского собора — митрополит Рафаил Заборовский. Портрет XVIII в.

собирая травы, которые затем принес на кухню, прося их сварить, и когда закипят, принести ему в тот кабинет, где над ним совершались сеансы. Сделавши такое распоряжение, он снова улегся на диван и не более как через полчаса проснулся, и о том, что творил в спящем виде, не помнил. Человек же, приставленный к нему, рассказал все то, что больной сделал во сне; просьба больного была в точности исполнена и он пил напиток из трав и, спустя недолгое время, выздоровел. Дядя рассказывал, что подобный случай он имел, когда им в ясновидение была приведена одна больная дама /.../

Брат мой, бывший студент университета, захворал. Врачи определили его болезнь смертельною. Слег он в постель, пищи принимать не мог; не помогали никакие слабительные. Видите ли, у него доктора нашли какие-то слизи в кишках, не дающие пище совершать то, что в обыкновенное время здоровый организм способен делать для человека. Дядя Романовский совершил над ним силою магнетизма, как говорили доктора, чудо. Мало-помалу он стал принимать пищу, здоровье его вполне восстановилось.

А то был случай такого рода. В то самое время, когда у дяди были гости и было весело, приехал к нему больной, страдавший многолетней головной болью; все свое состояние вложил он в лечение как здесь, так и за границей. Слухом земля полнится, посоветовали ему обратиться за помощью к дяде. «О вас идут слухи, что от Господа дана вам сила магнетизма». Дядя положил ему руки на голову и так держал их на голове больного не менее полчаса; затем узнав, что боли прошли, прошелся с ним по зале, предварительно вымыв свои ладони, которые от долгого держания их на голове больного страшно были красны, предложил больному зайти в кабинет и «полюбопытствовать» — словом, предложил ему развлечься. Спрося его о том, о сем, ему подали чай, разлитый тетей, супругой дяди. С величайшею благодарностью ушел больной без помощи людей, раньше его провожавших.

Надо сказать, что дядя был истинный христианин, жил только своими трудами, ни от кого подарков, а тем паче вознаграждения не брал и всегда говорил, отстраняя приношения: «Я человек верующий и всегда всем твержу одно: «По вере вашей будет вам». Я приступаю к сеансу с твердою верою в благость Божию, его милосердие к страждущему человечеству, ко мне посланному свыше. Скажу одно: молитва спасет человека от болезни, бед и напастей, тот много грешит, который теряет надежду в Бога, я же ею живу, а вера помогает мне в моих трудах, а любовь к ближнему составляет для меня величайшее наслаждение, перед которым я денно и нощно преклоняюсь, и твержу о вере в их силу и могущество!».

(32, 64).

** Речь идет о многолетнем судебном процессе над магистратскими деятелями, закончившемся в 1834 г. отменой киевского самоуправления.*

*** Романовский был женат на дочери богатого киевского купца и предпринимателя Лакерды.*

**** Усадьба Романовского находилась в конце Кирилловской улицы на Юрковице.*

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А. А. Р. Предание о Р-е, студенте-поэте своего времени: К характеристике киевской университетской жизни 1840–1850-х годов // Киевлянин. — 1870. — 14 мар.
2. Авсеенко В.Г. Школьные годы // Столетие Киевской Первой гимназии (1809–1811–1911). — Т. 1. — К., 1911.
3. Авсеенко В. Школьные годы: Отрывки из воспоминаний. 1862–1863. // З іменем св. Володимира. Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників. — Т. 1. — К., 1994.
4. Авсеенко В. Отрывки из воспоминаний про университет 50-х — нач. 60-х годов XIX ст. // З іменем св. Володимира... — Т. 1. — К., 1994.
5. Адриан, иеромон. Жизнеописание иеросхимонаха Николая, духовника Киево-Печерской лавры. — К., 1910.
6. Аяз. Цветы и ягоды прогресса // Стрекоза. — 1893. — № 35. — 29 авг.
7. Аяз. Цветы и ягоды прогресса // Стрекоза. — 1893. — № 26. — 27 июня.
8. А. Е. К. М.И. Драгомиров и время перед войною 1877–1878 гг. // Рус. старина. — 1909. — № 11.
9. Алтаев А. Памятные встречи. — М., 1946.
10. Андрияшев А.Ф. Воспоминания старого педагога // Рус. старина. — 1911. — № 3.
- 10/А. Андрияшев А.Ф. Воспоминания старого педагога // Рус. старина. — 1911. — № 4.
11. Анекдот // Киев. губ. ведом. — 1848. — 27 мар.
12. Анекдоты // Рус. архив. — 1894. — Вып. 1.
13. Антология мирового анекдота: От великого до смешного. — К., 1994.
- 13/А. Антоний, архиепископ казанский // Киев. епарх. ведом. — 1879. — № 47.
14. Антонович І.В. Споми́ни про М.П. Драгоманова // Україна. — 1926. — № 4.
15. Андциферов Н. Из дум о былом. — М., 1992.
16. Арестованная сова // Киевлянин. — 1882. — 2 июня.
17. Аскольдов С. Алексей Александрович Ковлов. — М., 1912.
18. Аскоченский В.И. Дневник // Ист. вестник. — 1882. — № 2.
19. Аскоченский В.И. Дневник // Ист. вестник. — 1882. — № 3.
20. Аскоченский В.И. Дневник. — Цит. по кн.: Иконников В.С. Киев в 1654–1855 гг. — К., 1904.
21. Аскоченський В.І. І мої спогади про Т.Г. Шевченка // Спогади про Тараса Шевченка. — К., 1982.
22. Аскоченский В.И. История Киевской духовной академии по преобразовании ее в 1819 г. — СПб, 1863.
23. Аскоченский В.И. Киев с древнейшим его училищем Академиею. — Ч. 2. — К., 1856.
24. Афанасьев-Чужбинский А.С. Воспоминания о Т. Шевченко // Шевченко в воспоминаниях современников. — М., 1962.

- 24/А. Афанасьев-Чужбинский О.С. Спомини про Т. Г. Шевченка // Спогади про Тараса Шевченка. — К., 1982.
25. А-ъ. Из моей копилки школьных анекдотов // Стрекоза. — 1893. — № 50. — 12 дек.
26. Багалій Д. Из автобіографії // З іменем св. Володимира... — Т. 1.
27. Бантыш-Каменский Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. — Т. 2. — СПб, 1847.
- 27/А. Бантыш-Каменский Н. История Малой России. — Ч. 3. — М., 1830.
28. Барановский Н.Я. Из школьных воспоминаний о Киеве // Столетие Киевской Первой гимназии (1809–1811–1911). — Т. 1. — К., 1911.
29. Барвинський О. Спогади з мого життя. — Ч. 2. — Льв., 1913.
30. Бартенев П. Пушкин в Южной России (1820–1823) // Рус. архив. — 1866.
31. Бахтин. Воспоминания из университетской жизни 50-х годов: Записки покойного студента // Киевлянин. — 1876. — 17 июля.
32. Барцевский В. Собр. соч. — К., 1908.
33. Белоцерский Н. Т.Г. Шевченко по воспоминаниям различных лиц (1831–1861) // Киев. старина. — 1882. — № 10.
34. Беренштан В.М. Т.Г. Шевченко і простолюдини, його знайомі // Спогади про Тараса Шевченка. — К., 1982.
35. Берло Ганна. З кийського життя 1880–1890 рр. // Україна. — 1928. — № 4.
36. Білінський М. З минулого пережитого: 1870–1888 // Україна. — 1928. — № 2.
37. Білоусенко О. Трудівник ідеї // Чистому серцем. Пам'яті Доманицького: Біографія, спомини, похорон. — К., 1912.
38. Бобровський Т. Спогади. — Т. 1. — Льв., 1900. — Цит. за вид.: І. Франко. Нові причинки до історії польської суспільності на Україні в ХІХ в. Бібліографічний огляд мемуарів П.Х. Хмільовського та Т. Бобровського // Записки НТШ. — Т. 45. — Льв., 1902.
39. Божатинов Н.Д. Воспоминания // Рус. архив. — 1899. — № 3.
40. Божатинов Н.Д. Воспоминания // Рус. архив. — 1899. — № 4.
41. Божатинов Н.Д. Воспоминания // Рус. архив. — 1899. — № 9.
42. Божатинов Н.Д. Воспоминания // Рус. архив. — 1899. — № 10.
43. Богуславский. Записки // Рус. старина. — 1879. — Т. 16. — № 9.
44. Богуславский. Записки // Рус. старина. — 1879. — № 11.
45. Бодянский О. Из примечаний к тексту «Славны бубны за горами» кн. И.М. Долгорукова // Чтения в Император. ист. о-ве истории и древностей российских при Московском университете. — Кн. 3. — М., 1869.
46. Большая и малая мышка // Киевлянин. — 1892. — 5 янв.
47. Бородин В. Передмова до факсимального видання «Кобзаря» 1840 року. — К., 1974 // Цит. за кн.: Шевчук В. Из вершин та низин. — К., 1990.
48. Боряновський В. Пам'яті М.А. Кропивницького // Спогади про Марка Кропивницького. — К., 1990.
49. Брадке Е.Ф., фон. Автобиографические записки // Рус. архив. — 1875. — № 3.
50. Булашов Георгий. Иринея Фальковский, коадьютор киевский // Киев. старина. — 1883. — № 8.
51. Булашов Г.О. Пресвященнейший Иринея Фальковский, епископ чигиринский. — К., 1883.

52. Бутовская А.Я. Рассказы бабушки // Ист. вестник. — 1884. — № 12.
53. Бутурлин М.Д. Записки // Рус. архив. — 1897. — № 8.
54. Бущийкий Анатолій. Найдорожче ім'я // М.В. Лисенко у спогадах сучасників. — К., 1968.
55. Ванченко К. Спогади українського лицедія // Червоний шлях. — 1928. — № 7.
56. Василевский Серг., архим. Высокопреосвященный Антоний (Амфитеатров), архиепископ казанский и свияжский. — Т. 1. — Казань, 1885.
57. Василевский Серг., архим. Высокопреосвященный Антоний... — Т. 2. — Казань, 1885.
58. Василевский Серг., архим. Высокопреосвященный Филарет, митрополит киевский и галицкий и его время. — Казань, 1888. — Т. 3.
59. Василенко Константин. Четверть века назад: Страничка из воспоминаний // Былое. — 1924. — № 27–28.
60. Василько В. Микола Садовський та його театр. — К., 1962.
61. Васильчиков А.А. Семейство Разумовских // XVIII век. — Т. 2. — М., 1869.
62. Васнецов А.В. Воспоминания о В.М. Васнецове // Васнецов В.М. Воспоминания. Документы. Суждения современников. — М., 1987.
63. Вертинский А. Дорогой длиною. — М., 1990.
64. Витте С.Ю., граф. Воспоминания. — Т. 3. — Пг., 1924.
- 64/А. Витте С.Ю. Із спогадів // З іменем св. Володимира... Т. 1. — К., 1994.
65. Вкусный чай // Киевлянин. — 1885. — 5 мая.
66. Владимирский-Буданов М.Ф. История Императорского университета св. Владимира. — К., 1884.
67. Владич Л. Иван Сидорович Ижакевич. — М., 1955.
68. В магазине // Киевлянин. — 1882. — 14 дек.
69. Вишугительная речь генерал-губернатора Д.Г. Бибикова, обращенная к киевским студентам в 1846 г. // Киев. старина. — 1897. — № 11. — 2 отд.
70. Возможность курьезного процесса // Киевлянин. — 1884. — 14 мар.
71. Вор или не вор? // Киевлянин. — 1873. — 12 июня.
72. Воры, пойманные с музыкой // Киевлянин. — 1871. — 14 авг.
73. Воропонов Ф. Два анекдота о графе П.А. Румянцеве // Рус. архив. — 1863. — № 1.
74. В ресторані // Рада. — 1911. — 10(23) квіт.
75. Всячина // Рада. — 1911. — 10(23) квіт.
76. В українському клубі: Роковини смерті В. Антоновича // Рада. — 1909. — 13 бер.
77. Выгодная сделка // Киев. губ. вedom. — 1848. — 24 апр.
78. Галин М. Сторінки минулого // Л. Василевський, М. Галин, С. Стемповський, А. Топчибаши, Таб'ї. Спогади. — Варшава, 1932.
79. Генералиссимус князь Суворов. — Т. 1. — СПб, 1884.
80. Ге Н.Н. Киевская Первая гимназия в сороковых годах // Сб. в пользу недостаточных студентов университета св. Владимира. — СПб, 1895.
81. Гирс А.Ф. Смерть Столыпина // Убийство Столыпина. Свидетельства и документы. — Нью-Йорк, 1986.
82. Глинский Б.Б. Эпоха мира и успокоения // Ист. вестник. — 1911. — № 8.
83. Гнатюк Вол. Польський літератор М.А. Грабовський і його приятелювання з П.О. Кушішем // Зап. іст.-філолог. відділу УАН. — Кн. 21/22 (1928). — К., 1929.

84. Голованский Евстратий, иером. Игумен Вонифатий, основатель и строитель скита Феофания, принадлежащего к Киево-Златоверхо-Михайловскому монастырю, и наставник его Иван Босой, удивительный человек юродивый. — К., 1873.
85. Григорьев Г.В. В старом Киеве. — К., 1958. — Машинописный текст на русском языке, хранящийся в Отделе рукописей ЦНБ НАНУ им. В. Вернадского. — 45, № 162.
86. Григор'єв Григорій. Чарка меду. — К., 1969.
87. Григор'єв Г. Український театр Миколи Садовського // Спогади про Миколу Садовського. — К., 1981.
88. Гринченко Б. Веселый рассказчик. — К., 1913.
89. Грінченкова М. Спогади про І. Нечуя-Левицького // Україна. — 1924. — № 4.
90. Гроссман И.С. Дмитрий Богров, убийца Столыпина // Убийство Столыпина. — Нью-Йорк, 1986.
91. Грудина Д. М.К. Заньковецька. Некролог // Червоний шлях. — 1934. — № 11/12.
92. Гумористичні замальовки з Всеросійської виставки 1913 р. у Києві (Київ — вокзал, Виставка, В ресторані) // Рада. — 1913. — 21 серп. (3 верес).
93. Данилевский Г. Украинская старина. — Цит. по кн.: Шевчук В. Із вершин та низин. — К., 1990.
94. Даувальдєр В.Ф. Михаил Викторович Васнецов // Наше наследие. — 1991. — № 4.
95. Дебогорий-Мокриевич В. Воспоминания. — СПб, 1906.
96. Дедлов В.Л. По Западному краю, старому и новому // Дело. — 1887. — № 6.
97. Дейч А. День нынешний и день минувший. — М., 1985.
98. Дейч О. Лицар української сцени // Спогади про Миколу Садовського. — К., 1981.
99. Демич В.Ф. Тарас Григорович Шевченко, до його біографії. 1847 рік // Спогади про Тараса Шевченка. — К., 1982.
100. Дилетант. Виставка картин В.А. Котарбинского, С.С. Святославского, В.Н. Галликовского, Г.И. Рашевского и А. Праховой в Музее императора Николая II // Киев. театрал. — 1907. — № 11/12.
101. Долгоруков И.М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года // Чтения в Императорском обществе истории и древностей при Моск. ун-те. — 1869. — Июль—сентябрь. — Кн. 3. — М., 1869.
102. Долгоруков И.М. Путешествие в Киев в 1817 г. — Цит по ст.: Синицкий Л. Путешествие в Малороссию академика Гельденштедта и кн. И.М. Долгорукова // Киев. старина. — 1893. — № 2.
103. Должигов П. Сведения о киевском паломничестве // Киевлянин. — 1865. — 23 февр.
104. Доманицкий В. Кораблекрушения в Липовещком уезде Киевской губернии // Киев. старина. — 1903. — № 9. — 2 отд.
105. Домашняя беседа. — 1865. — Вып. 47.
106. Дорошкевич О. Із спогадів // Спогади про Марка Кропивницького. — К., 1990.
107. Драгомиров М. Очерки. — К., 1898.
108. Древняя и новая Россия. — 1878. — Т. 1.
109. Дурьлин С. М.В. Нестеров в жизни и творчестве. — М., 1965.
110. Еще претендент на руку дамы со свиной головой // Киевлянин. — 1884. — 20 дек.
111. Єфремов С. Антонович і Антонович // Рада. — 1908. — 15 бер.
112. Жемчужников А.М. Мои воспоминания из прошлого. — Л., 1971.

113. Жили собі запорозці та й на Запоріжжі. — К., 1994.
114. Житецька В.С. Письмо к сыну Игн. Житецкому от 15.3.1907 г. // Отдел рукописей ЦНБ НАНУ им. В. Вернадского. — I, 47530.
115. Житецький Гнат. Київська громада за 60-х років. — К., 1928.
- 115/А. Жур П.В. Шевченківський Петербург. — К., 1991.
116. Забулин Н.П. Воспоминания (1856–1861) // Столетие Киевской Первой гимназии (1809–1811–1911). — Т. 2. — К., 1911.
117. Закревский Н. Описание Киева. — М., 1868.
118. Залесов Н.Г. Записки // Рус. старина. — 1903. — № 7.
119. Заря. — 1880. — 11 нояб.
120. Захлебнувшись чаем // Киевлянин. — 1891. — 2 окт.
121. Зноско Вл. Жизнь и чудеса святителя Павла (Конюсевича), митрополита тобольского и сибирского, нетленно почитающего в усыпальнице Великой лаврской церкви Киево-Печерской лавры. — К., 1909.
122. Зноско Вл. Рясфорный монах (девица) Досифей, затворник Киево-Печерской лавры и первый руководитель-наставник преподобного Серафима Саровского. — К., 1906.
123. Зноско Вл. Христа ради юродивый иеросхимонах Феофил, подвижник и прозорливец Киево-Печерской лавры. — К., 1906.
124. Зноско Вл. Христа ради юродивый старец Паисий, рясфорный инок Киево-Печерской лавры. — К., 1991. (Репринтное издание 1911 г.).
125. Зовнішність Сковороди // Шефчук В. Із вершин та низин. — К., 1990. (Характеристика составлена на основе текстов очерков Г. Данилевского «Украинская старина» и М. Ковалинского «Жизнь Григория Сковороды»).
126. Иван Яковлевич Нейкирх. Некролог. // Киевлянин. — 1870. — 5 нояб.
127. Ивченко С.И. Книга о деревьях. — М., 1973.
128. Игла /Андреевский П.А./ Намеки и наброски // Заря. — 1880. — 21 дек.
129. Игнатев А. 50 лет в строю. Т. 1. — Петрозаводск, 1963.
130. Из рассказов А.И. Васильчиковой // Рус. архив. — 1909. — № 11.
131. Из рассказов архимандрита Вениамина. — Цит. по очерку: Железняк К. Киевская старина и новизна // Киевлянин. — 1880. — 18 дек.
132. Из рассказов игумена Модеста. — Там же.
133. Из рассказов преосвященного Антония кишиневского. — Там же.
134. Иконников В.С. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834–1884). — К., 1884.
135. Император Александр Павлович в Киеве в 1816 г. Из частного письма // Рус. архив. — 1884. — № 5.
136. Исторические рассказы и анекдоты из жизни русских государей и замечательных людей XVIII–XIX ст. — СПб, 1885.
137. История памятник Хмельницкому // Укр. жизнь. — 1914. — № 5.
138. Каллаш Вл. К истории малороссийской литературы 20-х и 30-х годов XIX века (Биогр. справки) // Киев. старина. — 1900. — № 5.
139. Карабанов П.Ф. Исторические рассказы и анекдоты, записанные со слов именитых людей // Рус. старина. — 1872. — № 5.
140. Карабанов П.Ф. Исторические рассказы и анекдоты ... — Там же. — № 9.
141. Качуровський І. Лист до Марти Тарновської // Нові дні (Торонто). — 1978. — № 7/8.

- 141/А. К биографии высокопреосвященного Антония, архиепископа казанского // Киев. епарх. ведом. — 1879. — № 49.
142. Киев и университет св. Владимира при императоре Николае I (1825—1855). — К., 1896.
143. Киевлянин. — 1864. — 21 нояб.
144. Киевлянин. — 1865. — 26 мая.
145. Киевлянин. — 1865. — 10 июня.
- 145/А. Киевлянин. — 1871. — 29 июня.
146. Киевлянин. — 1874. — 30 янв.
- 146/А. Киевлянин. — 1876. — № 116.
147. Киевлянин. — 1877. — 24 сент.
148. Киевлянин. — 1880. — 7 мар.
149. Киевлянин. — 1880. — 3 окт.
150. Киевлянин. — 1881. — 9 янв.
151. Киевлянин. — 1881. — 19 нояб.
152. Киевлянин. — 1881. — 4 дек.
153. Киевлянин. — 1881. — 13 дек.
154. Киевлянин. — 1882. — 30 нояб.
155. Киевлянин. — 1883. — 15 июня.
- 155/А. Киевлянин. — 1883. — 16 нояб.
156. Киевлянин. — 1883. — 14 дек.
- 156/А. Киевлянин. — 1884. — 14 мар.
157. Киевлянин. — 1884. — 21 авг.
158. Киевлянин. — 1884. — 29 авг.
159. Киевлянин. — 1885. — 26 мая.
160. Киевлянин. — 1885. — 26 июня.
161. Киевлянин. — 1887. — 10 окт.
162. Киевлянин. — 1888. — 14 апр.
163. Киевлянин. — 1890. — 8 февр.
164. Киевлянин. — 1892. — 23 мар.
165. Киевлянин. — 1892. — 31 мар.
166. Киевлянин. — 1893. — 10 янв.
167. Киевлянин. — 1893. — 24 мар.
168. Киевлянин. — 1894. — 12 дек.
169. «Киевлянин» под редакцией Виталия Яковлевича Шульгина (1864—1878). — К., 1880.
170. Киевская литература // Киев. губ. ведом. — Неофиц. часть. — 1857. — 20 июля.
171. Киев. старина. — 1903. — № 11. — Отд. 2.
172. Киевские подвижники благочестия. — Т. 3. — К., 1994.
- 172/А. Киев. телеграф. — 1865. — 25 июня.
- 172/Б. Киев. телеграф. — 1864. — 17 июля.
173. Київський анекдот // Рада. — 1911. — 10(23) квіт.
174. Киселев Б. Рассказы о Куприне. — М., 1964.
175. Книш Ірена. Три ровесниці. — Вінніпег, б/д.
176. Коваленко Прохор. Перша українська музично-драматична школа // М.В. Лисенко у спогадах сучасників. — К., 1968.
177. Ковалик С.Ф. Революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х. — М., 1928.

178. Ковалинский М.И. Жизнь Григория Сковороды // Сковорода Григорий. Твори: В 2-х т. — Т. 1. — К., 1961.
179. Ков-ский А. Из путевых заметок // Киевлянин. — 1866. — 27 янв.
180. Калмаков Н.М. Старый суд // Рус. архив. — 1886. — № 2.
181. Кониский О. Тарас Шевченко в арешті // Записки НТШ. — Т. 5. — Льв., 1895.
182. Кониский О. Тарас Шевченко в арешті. — Цит. по кн.: Шевчук В. Із вершин та низин. — К., 1990.
183. Кониский О. Тарас Шевченко на Україні в 1859 р. // Записки НТШ. — Т. 15. — Льв., 1897.
184. Кононенко М.. Спогади. — Полтава, 1998.
185. Королева Наталена. Без коріння: Життєпис сучасниці. — Торонто, 1968.
186. Королів-Старий В. Спогади про Леся Українку // Київ (Філадельфія). — 1959. — № 4.
187. Косач-Кривенюк Ольга. Леся Українка: Хронологія життя і творчість. — Нью-Йорк, 1970.
188. Костомаров М.І. Спомини про Шевченка // Спогади про Тараса Шевченка. — К., 1982.
189. Костомаров Н. Автобиография // Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. — К., 1989.
190. Костомаров Н.И. Письмо к М.М. Семевскому // Шевченко в воспоминаниях современников. — М., 1962.
191. Кошиць О. Спогади. — Ч. 1. — Вінніпег, 1947.
192. Кошиць О. Спогади. — Ч. 2. — Вінніпег, 1948.
193. Краткий исторический очерк Киевской губернской типолитографии за столетний период. 1799–1899. — К., 1899.
194. Кр-в Дм. Речь киевского, подольского и вольнского генерал-губернатора Д.Г. Бибинова к помещикам Киевской губернии 8 мая 1851 г. // Заря. — 1870. — Апрель.
195. Кривенко В.С. Киев // Кривенко В.С. Мой дорожник: Сб. заметок с 1900 по 1914 г. — СПб, 1914.
196. Крымский А. Із спогадів щирого друга // Крымський А. Твори: В 5-ти т. — Т. 2. — К., 1972.
197. Крымський А. Товариство Садовського в Москві // Там же.
198. Крымський А. Труп Держача // Там же.
199. Кропивницький М. Автобіографія // Цит. по кн.: Шевчук В. Із вершин та низин. — К. 1990.
200. Кротевич Є. Понад Славутичем-Дніпром. Роман-хроніка. — К., 1955.
201. Кротевич Є. Київські зустрічі. — К., 1963.
202. Крымский А. Шевченко в народных рассказах // Киев. старина. — 1896. — № 2 — Отд. 2.
203. Крысы-поджигатели // Киевлянин. — 1884. — 20 нояб.
204. Крысы — причина пожаров // Киевлянин. — 1892. — 8 февр.
205. Кудрявцев П.П. До історії освіти на Україні: Два невидані уривки з автобіогр. записки Ор.М. Новицького // Зап. іст.-філолог. відділу УАН. — Кн. 13/14. — К., 1927.
206. Кулиш П. Письмо к И.Ф. Хильчевскому от 28 авг. 1866 г. // Киев. старина. — 1898. — № 1.
207. Кулиш П.О. Життя Куліша // Спогади про Тараса Шевченка. — К., 1982.

208. Кумедна «бомага» // Рада. — 1910. — 4(17) лют.
209. Куприн А.И. Гранатовый браслет // Куприн А.И. Листригоны. Рассказы. Очерки. Воспоминания. — Симферополь, 1984.
210. Куприн А. Яма. — М., 1993.
211. Курьезная вывеска // Киевлянин. — 1882. — 2 июня.
212. Курьезная переписка // Киевлянин. — 1884. — 3 мая.
213. Курьезная реклама // Киевлянин. — 1883. — 16 окт.
214. Курйозні моменти із життя акад. А.Є. Кримського // Нові дії. — 1971. — № 3.
215. Курьезное заявление // Киевлянин. — 1884. — 12 июля.
216. Курьезное заявление // Киевлянин. — 1891. — 27 янв.
217. Курьезный документ // Киевлянин. — 1883. — 18 сент.
218. Курьезный отказ в платеже по заемному письму // Киев. губ. ведом. — 1869. — 18 янв.
219. Лазаревский А. По поводу ста лет от смерти графа П.А. Румянцева // Киев. старина. — 1896. — № 12.
220. Лазаревский А. (в тексте — А.А.) Черты характера гр. А.П. Румянцева // Киев. старина. — 1896. — № 12. — Документы, известия и заметки.
221. Лазаревський Гліб. Київська старовина // Укр. література (Уфа). — 1943. — № 12.
222. Лазаревський Гліб. Київська старовина // Укр. література (Уфа). — 1944. — № 1.
223. Лазаревський Гліб. Київська старовина // Укр. література (Уфа). — 1944. — № 3—4.
224. Лазаревський Гліб. Київська старовина // Укр. література (Уфа). — 1944. — № 11.
225. Лазаревський Гліб. Розмова про щастя // М.В. Лисенко у спогадах сучасників. — К., 1968.
226. Лашкевич А.С. Некролог. — К., 1889.
227. Лебединцев А.Г. Русские государи в Киеве. — К., 1896.
228. Лебединцев Андрей, протоиерей. Мои воспоминания // Киев. старина. — 1882. — № 7/8.
229. Левицький Модест. Спомини про Антоновича // Рада. — 1980. — 13 квіт.
230. Левицький О. Археологические экскурсии Т.Г. Шевченко в 1845—1846 гг. // Киев. старина. — 1894. — № 2.
231. Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова. — Т. 1. — М., 1984.
232. Лесков Н. Библиковские «меры» // Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11-ти т. — Т. 1. — М., 1958.
233. Лесков Н. Владычный суд. Быль // Лесков Н.С. Полн. собр. соч. — Т. 22. — СПб, 1903.
234. Лесков Н. Жидовская кувырколегия // Лесков Н.С. Полн. собр. соч. — Т. 18. — СПб, 1903.
235. Лесков Н. Мелочи архиерейской жизни (Картинки с натуры) // Лесков Н.С. Полн. собр. соч. — Т. 35. — СПб, 1903.
236. Лесков Н. Официальное буффонство // Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11-ти т. — Т. 11. — М., 1958.
237. Лесков Н. Печерские агитки // Лесков Н.С. Полн. собр. соч. — Т. 31. — СПб, 1903.
238. Лесков Н. Популярные русские люди // Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11-ти т. — Т. 10. — М., 1958.
239. Липовецкий П. Из моего дневника (1905 г.) // Молодые победы: Сб. литератур. опытов. — Вып. 1. — К., 1906.
240. Лисенко Галина. З давнини // Спогади про Леся Українку. — К., 1963.

241. Лисенко Остап. Спогади про батька. — К., 1991.
242. Листовский И.С. Рассказы из недавней старины // Рус. архив. — 1882. — Кн. 1.
243. Ліндфорс Софія. Дещо з спогадів про М.П. Драгоманова // Зап. іст.-філолог. відділу УАН. — Кн. 7/8. — К., 1926.
244. Лотоцький О. Сторінки минулого. — Т. 1. — Варшава, 1932.
245. Лукчик В. Перевіз домовини Т. Шевченка через Київ до Канева. — Цит. за кн.: Шевчук В. Із вершин та низин. — К., 1990.
246. Лучинский Ф. Воспоминания // Киев. старина. — 1897. — № 7–9. — Библиография.
247. Люблинский М.М. Коцюбинський у лікарні. Згадка // Життя і революція. — 1928. — № 5.
248. Любовь и адвокат // Киевлянин. — 1887. — 18 янв.
249. Ляскоронский В. Спогади про проф. В.Б. Антоновича // З іменем св. Володимира... — Т. 1. — К., 1994.
250. Максимович Г.А. Деятельность Румянцева-Задунайского по управлению Малороссией. — Нежин, 1913.
251. Максимович М. Бубновская сотня // Журнал МВД. — 1849. — Ч. 26. — Кн. 6.
252. Максимович М. Письма о Кiever. — М., 1869.
253. Максимович М. Письма о Кiever и воспоминание о Тавриде. — СПб, 1871.
254. Маленькое, но миленькое письмо // Киевлянин. — 1884. — 8 авг.
255. Мамаев Н.И. Записки // Ист. вестник. — 1901. — № 10.
256. Мамаев Н.И. Записки // Ист. вестник. — 1901. — № 11.
257. Мания к воровству // Киевлянин. — 1872. — 9 сент.
- 257/А. Марковский П., прот. Из моих заметок о жизни учеников Киевской семинарии в 30-х годах // Киев. епарх. ведом. — 1896. — № 22.
258. Матушевський Ф.В. В роковину смерті друга-товариша // Чистому сердцем. Пам'яті Доманицького. Біографія, спомини, похорон. — К., 1912.
259. Мелочи из архивов Юго-Западного края. Воспрещение воспитанникам Киевской духовной академии и семинаристам посещать Царский сад // Киев. старина. — 1902. — № 4. — Документы, известия и заметки.
260. Мёрдер А. Мелочи из архивов Юго-Западного края // Киев. старина. — 1901. — № 3. — 2 отд.
261. Мёрдер А. Мелочи из архивов Юго-Западного края // Киев. старина. — 1901. — № 7/8. — 2 отд.
262. Микшиш М. Незабутні дні // М.В. Лисенко у спогадах сучасників. — К., 1968.
263. Милорадович Гр., граф. Анекдоты и черты из жизни графа Милорадовича. — М., 1886.
264. Миф о портфеле // Киевлянин. — 1889. — 30 июля.
265. Михайлов Н.П. Воспоминания (1894–1904) // Столетие Киевской Первой гимназии (1809–1811–1911). — Т. 1. — К., 1911.
266. М.К. Пимоненко (Некролог) // Рада. — 1912. — 29 берез. (11 квіт.)
267. Монастырский суд // Киевлянин. — 1878. — 22 июля.
268. Мошинский Вол. М.К. Заньковецька // Нові дні (Торонто). — 1984. — № 9.
269. М.П. Традиционная характеристика киевских монастырей // Киев. старина. — 1883. — № 9/10.
270. Муравьев А.Н. Мои воспоминания. — М., 1913.
271. Муравьев-Карский Н.Н. Из записок // Рус. архив. — 1894. — № 11.

272. *Мурашко М.І.* Спогади старого вчителя. — К., 1964.
273. *Мухін І.С.* В.Г. Короленко // Ювілейний збірник УВАН. — Вінніпег, 1976.
274. Наказаний смельчак // *Киевлянин*. — 1898. — 25 мар.
275. Народні легенди про Т. Шевченка // *В. Шевчук*. Із низин та вершин. — К., 1990.
276. Нарушение порядка в театре // *Киевлянин*. — 1887. — 19 дек.
277. Насекомые, оставившие железнодорожный поезд // *Киевлянин*. — 1877. — 17 февр.
278. *Нелеста Федор*. После поездки на Вольнь // *Основа*. — 1862. — № 10.
279. *Нелипович Н.* Тарабарский язык // *Киев. старина*. — 1903. — № 9.
280. Несподіваний мільонер // *Рада*. — 1909. — 19 вер. (2 жовт.)
281. *Нерадов (Энский) И.И.* «Падший Киев» (Изнанка Киева). Очерки и типы низов и подонков киевского общества. — К., 1912.
282. *Нестеров М.В.* Воспоминания. — М., 1989.
283. *Нечуй-Левицький І.* Хмари // *Нечуй-Левицький І.* Збір. тв: В 10-ти т. — Т. 2. — К., 1965.
284. *Николаев Н.И.* Драматический театр в Киеве: Ист. очерк. (1803–1893). — К., 1898.
285. *Новицький О.М.* Автобиографическая записка. — К., 1884 (Отдельный оттиск из кн.: *Иконников В.С.* Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834–1884). — К., 1884).
286. *Новицький О.* Із автобіографічних записок про Київський університет у 30–50-ті рр. ХІХ ст. // *З іменем св. Володимира...* — Т. 1. — К., 1994.
287. Новый претендент на руку дамы со свиной головой // *Киевлянин*. — 1884. — 5 дек.
288. Образец американской рекламы // *Киевлянин*. — 1884. — 11 янв.
289. Образчик одного письма // *Киев. телеграф*. — 1864. — 6 сент.
290. *Отоновський О.* Історія літератури руської. — Цит. по кн.: *Шевчук В.* Із вершин та низин. — К., 1990.
291. О даме со свиной мордой // *Киевлянин*. — 1884. — 29 июня.
292. *Обнинский В.А.* Последний самодержец. Образ жизни и царствования императора России Николая II. — М., 1992.
293. Око за око // *Киевлянин*. — 1883. — 25 окт.
294. Оригинальная реклама // *Киевлянин*. — 1884. — 24 июня.
295. *Орловский Петр, протоиерей.* Мои воспоминания о в Бозе почившем киевском митрополите Филарете 21 декабря 1857 года // *Киев. епарх. ведом.* — 1908. — № 2.
- 295/А. О русских подвижниках ближайшего к нам времени // *Киев. епарх. ведом.* — 1871. — № 14.
296. Остановка поезда ползучей гусеницей // *Киевлянин*. — 1894. — 18 авг.
297. Отрывки из воспоминаний киевского старожилы // *Друг народа*. — 1873. — 7 янв.
298. *О'Коннор-Вілінська Валерія.* Лисенки й Старицькі // *М.В. Лисенко у спогадах сучасників*. — К., 1968.
299. *Павловський Мєфодій.* Хорові подорожі Лисенка // *М.В. Лисенко у спогадах сучасників*. — К., 1968.
300. *Палибин Николай.* Несколько слов о временах императора Николая // *Рус. архив*. — 1888 — № 9.
301. *Палимпсестов И.У.* Мои воспоминания об Иннокентии, архиепископе херсонском и таврическом. — СПб, 1883.
302. *Панкратов А.С.* Первое сентября 1911 г. Впечатления очевидца убийства П.А. Столыпина // *Убийство Столыпина. Свидетельства и документы*. — Нью-Йорк, 1968.

303. Пари // Киевлянин. — 1893. — 5 июня.
304. Паустовский К. Далекие годы. Беспокойная юность. — К., 1987.
305. Певницкий В.Ф. Мои воспоминания. Годы детства. Училищная и семинарская жизнь. 1832–1851. — К., 1910.
306. Певницкий В.Ф. Мои воспоминания. Студенческие годы. 1851–1855. — К., 1911.
307. Певницкий В.Ф. Воспоминания о покойном митрополите киевском Арсени. — К., 1877.
308. Перетц Е.А. Дневник государственного секретаря (1880–1883). — М., 1927.
309. Петров Н.И. Очерки украинской литературы // Ист. вестник. — 1881. — № 8.
310. Письма киевского митрополита Евгения Болховитинова к игумену (впоследствии архимандриту) Серафиму Покровскому (1822–1837). Сообщил А.С.М. — К., 1913.
311. Плевако Ф. Письмо в редакцию // Киевлянин. — 1883. — 16 нояб.
312. Побег Саламонского // Киевлянин. — 1891. — 21 авг.
313. Потапенко Вячеслав. Спогади про український театр // Спогади про Марка Кропивницького. — К., 1990.
314. Пошечина по ошибке // Киевлянин. — 1886. — 3 янв.
315. Прахов Н.А. Страницы прошлого. — К., 1958.
316. Предания о Екатерине II // Маяк. — 1842. — Т. 5. — Смесь.
317. Пригара С. Київ — столица // Рада. — 1913. — 1 груд.
318. Прилежаева-Барская Б.М. Дмитрий Богров // Убийство Столыпина. — Нью-Йорк, 1986.
319. Прогулки четвероногих по Крещатику // Киев. телеграф. — 1864. — 2 февр.
320. Пчілка Олена. Михаил Петрович Старицкий. Памяти товарища // Киев. старина. — 1904. — № 5.
321. Пчілка Олена. Автобіографія. — Цит по кн.: Шевчук В. Із вершин та низин. — К., 1990.
322. Пчілка Олена. Микола Лисенко. Спогади й думки // М.В. Лисенко у спогадах сучасників. — К., 1968.
323. Пчілка Олена. Перекази про Шевченка // Шершень. — 1906. — № 9.
324. Пыляев М.И. Замечательные чудачи и оригиналы. — М., 1990.
325. Пыляев М.И. Старая Москва. — М., 1990.
326. Пыляев М.И. Старый Петербург. — М., 1990.
327. Рада. — 1912. — 19 жовт.
328. Рада. — 1911. — 20 лют. (5 бер.)
- 328/А. Рада. — 1913. — 21 серп. (3 верес.)
329. Радецкий В., свящ. Киевская духовная семинария в первой половине XIX ст. // Україна. — 1907. — № 10.
330. Радецкий В., свящ. Киевская духовная семинария в первой половине XIX ст. // Україна. — 1907. — № 11/12.
331. Раевский Петр. Ожидание светопреставления // Киевлянин. — 1872. — 4 мар.
- 331/А. Раевский Петр. Сцены и рассказы из малороссийского народного быта // Малорос. сб. повестей, сцен, рассказов и водевилей малорос. писателей. — М., 1899.
- 331/Б. Раевский Петр. Новые сцены и рассказы из малороссийского народного быта. — Одесса, 1897.
- 331/В. Раевский Петр. Сцены и рассказы из малороссийского народного быта. — Одесса, 1906.

332. *Ракитин Н.* Академический комиссар // Киев. старина. — 1894. — № 7.
333. *Ракитин Н.* Академический комиссар // Киев. старина. — 1894. — № 8.
334. *Ракитин Н.* Академический комиссар // Киев. старина. — 1894. — № 10.
335. *Ракитин Н.* Академический комиссар // Киев. старина. — 1894. — № 12.
336. Рассказ бывшего соборного священника // Душеполезное чтение. — 1889. — № 5.
337. *Рейн Г.Е.* Из пережитого. 1907–1918 // Убийство Столыпина. Свидетельства и документы. — Нью-Йорк, 1986.
338. *Рильський М.* Брати Тобілевичі // *Рильський М.Т.* Збір. тв: В 20-ти т. — Т. 15. — К., 1986.
339. *Рильський М.* Із спогадів // *Рильський М.Т.* Збір. тв. В 20-ти т. — Т. 19. — К., 1988.
340. *Рильський М.* Лисенко. Клаптики споминів (1927) // *Рильський М.Т.* Збір. тв: В 20-ти т. — Т. 15. — К., 1986.
341. *Рильський М.* Михайло Старицький. До 40-річчя з дня смерті // *Рильський М.Т.* Збір. тв: В 20-ти т. — Т. 15. — К., 1986.
342. *Рильський М.* Майстер високої правди // *Рильський М.Т.* Збір. тв: В 20-ти т. — Т. 15. — К., 1986.
343. *Рильський М.* Мандрівка в молодість // *Рильський М.Т.* Збір. тв: В 20-ти т. — Т. 3. — К., 1983.
344. *Рильський М.* Микола Лисенко. Клаптики споминів (1941) // *Рильський М.Т.* Збір. тв. В 20-ти т. — Т. 15. — К., 1986.
345. *Рильський М.* Незабуті. Сторінки спогадів // *Рильський М.Т.* Збір. тв. В 20-ти т. — Т. 15. — К., 1986.
346. *Рильський М.* Учитель словесності // *Рильський М.Т.* Збір. тв. В 20-ти т. — Т. 18. — К., 1988.
347. Розвиток науки в Київському університеті за сто років. — К., 1935.
348. *Романицький Б.В.* Про геніальну артистку // Вінок спогадів про М. Заньковецьку. — К., 1950.
349. *Романович-Славатинський А.* Моя жизнь и академическая деятельность (1832–1884). Воспоминания и заметки // Вестн. Европы. — 1903. — Т. 1.
350. *Романович-Славатинський А.* Моя жизнь и академическая деятельность... // Вестн. Европы. — 1903. — Т. 3.
351. *Романович-Славатинський А.* Моя жизнь и академическая деятельность... — Цит. по изд.: З іменем св. Володимира... — Т. 1. — К., 1994.
352. *Рубец А.И.* Воспоминания (1853–1858) // Столетие Первой Киевской гимназии (1809–1811–1911). — Т. 3. — К., 1911.
353. *Рудковский А.А.* Наши моды и их последователи // Киев. телеграф. — 1864. — 26 февр.
354. *Рулін П.* Життя і творчість М. Кропивницького. — Цит. по кн.: *Шевчук В.* Із вершин та низин. — К., 1990.
- 354/А. Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. — М., 1990.
355. *Савенко Ирина.* Наяву — не во сне: Роман-воспоминание. — К., 1990.
356. *Садовський М.К.* Мої театральні згадки. — К., 1955.
- 356/А. *Садовський М.К.* Мої театральні згадки. — К., 1907.
357. *Саксаганський П.* Из прошлого украинского театра. — М.—Л., 1938.
358. *Саксаганський П.* По шляху життя // Спогади про Марка Кропивницького. — К., 1990.

359. Самійленко В. Автобіографія // Цит. по кн.: Шевчук В. Із вершин та низин. — К., 1990.
360. Самчевский Иосиф. Воспоминания // Киев. старина. — 1894. — № 1.
- 360/А. Самчевский Иосиф. Воспоминания // Киев. старина. — 1894. — № 9.
361. Свадьба в Анатомическом театре // Киевлянин. — 1876. — № 116.
362. Свадьба с покойником // Киевлянин. — 1887. — № 81.
363. Секретный лист // Рада. — 1911. — 10(23) квіт.
364. Селецкий П.Д. Записки. — Ч. 1. — (1821–1846). — К., 1884.
365. Селецкий П.Д. Записки // Киев. старина. — 1884. — № 2.
366. Селецкий П.Д. Записки // Киев. старина. — 1884. — № 9.
367. Селецкий П.Д. Спогади // З іменем св. Володимира... — Т. 1. — К., 1994.
368. /Семенов М./ Воспоминания об А.Н. Муравьеве. — К., 1875.
369. Сила конкуренции // Киевлянин. — 1883. — 3 июня.
370. Синельников М.М. Спогади // Спогади про М. Кропивницького. — К., 1990.
371. Сказание о жизни и подвигах старца Киево-Печерской лавры иеросхимонаха Парфения. — К., 1856.
372. Сказы о Шевченко // Нар. творчество. — 1939. — № 3.
373. Скворцов И., протоиерей. Письма к архиепископу Иннокентию // Труды Киев. духовной академии. — 1885. — № 7.
374. С-ко. Из фамильных преданий // Киев. старина. — 1885. — № 4. — Известия и заметки.
375. Смоктий А. Воспоминание о Шевченко // Киев. старина. — 1883. — № 9/10.
376. Сожжение книги профессором // Киевлянин. — 1884. — 24 авг.
377. Сокаро Л. Михайло Старицький // Цит. по кн.: Шевчук В. Із вершин та низин. — К., 1990.
378. Солнцев Ф.Г. Моя жизнь и художественно-археологические труды // Рус. старина. — 1876. — Т 16.
379. Солтановський А.А. Із спогадів про університетське життя 40-х років XIX ст. // З іменем св. Володимира... — Т. 1. — К., 1994.
380. Солтановский А.А. Отрывки из записок // Киев. старина. — 1892. — № 4.
381. Солтановский А.А. Отрывки из записок // Киев. старина. — 1892. — № 5.
382. Солтановский А.А. Отрывки из записок // Киев. старина. — 1892. — № 6.
383. Спор из-за дисканта // Киевлянин. — 1883. — 27 мар.
384. Старец Иона // Киев. епарх. ведом. — 1875. — № 4.
385. Старицька-Черняхівська Людмила. 25 років українського театру (Спогади та думки) // Україна. — 1907. — № 10.
386. Старицька-Черняхівська Л. Спогади про Лисенка // М.В. Лисенко у спогадах сучасників. — К., 1968.
387. Стерня Ф. Заснування хору М.В. Лисенка у 1885 р. // М.В. Лисенко у спогадах сучасників. — К., 1968.
388. Стефанович М. Київський державний ордені Леніна академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка: Іст. нарис. — К., 1968.
389. Стихотворная реклама табака И. Эгиза // Киевлянин. — 1896. — 17 мар.
390. Стогов Э.И. Записки // Рус. архив. — 1903. — № 8.
391. Стронин А.И. Неопубликованный дневник // Цит. по кн.: Лесков Н.С. Собр. соч. — Т. 11. — Примечания. — М., 1958.

392. Сулима Семен. Записки старого киевлянина (Киев в 1812 и 1824 годах) // Киев. старина. — 1882. — № 12.
393. Суслов О. М. Л. Кропивницький. Спогади // Україна. — 1928. — № 3.
394. Сухомлинов. Воспоминания. — Л., 1926.
395. Сцена в редакции «Киевского телеграфа» // Киев. телеграф. — 1865. — 25 июня.
396. Телефон «Будильника». В Киев, г. Овчинникову // Будильник. — 1885. — № 45.
397. Темні селяни // Рада. — 1909. — 26 лип. (8 серп.).
398. Терлецький В. Н. Воспоминания (1880—1891) // Столетие Киевской Первой гимназии (1809—1811—1911). — Т. 1. — К., 1911.
399. Тизенгаузен Е. Ф. Князь М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский. Письма к дочери графине Е. М. Тизенгаузен, во втором замужестве Хитрово (1803—1813) // Рус. старина. — 1874. — Т. 10.
400. Титов А. Порфирий Успенский // Рус. архив. — 1905. — № 12.
401. Тобілевич Софія. Життя І. Тобілевича. — Цит. по кн.: Шевчук В. Із вершин та низин. — К., 1990.
402. Тобілевич Софія. Мої стежки і зустрічі. — К., 1957.
403. Трегубова А. Дещо з життя Ольги Франкової // За сто літ. Матеріали з громад. і літ. життя України XIX і початку XX ст. — Кн. 5. — К.—Х., 1930.
404. Трезвинский Н. В Бозе почивший духовник Киево-Печерской Успенской лавры иеросхимонах Самуил. — К., 1911.
405. Трифонов В. Из воспоминаний бывшего студента // Киевлянин. — 1884. — 28 сент.
406. Тумасов Н. С. История Киевской Второй гимназии // Киев. старина. — 1902. — № 3.
407. Убийство Столыпина: Свидетельства и документы. — Нью-Йорк, 1986.
408. Уважительная причина к определению в одну из придворных контор // Киев. старина. — 1903. — № 6.
409. У дами со свинію головою // Киевлянин. — 1894. — 16 мар.
410. Українська народна сатира і гумор. — Лв., 1957.
411. Успенский Порфирий, епископ. Книга бытия моего. — Т. 8. — СПб, 1902.
412. Фаворов Н. А., протоиерей. Письма к протоиерею П. Г. Лебедянцеву // Киев. старина. — 1901. — № 11.
413. Философ и смерть // Антология мирового анекдота: От великого до смешного. — К., 1994.
414. Фитингоф-Шель Б. А., барон. Мировые знаменитости. Из воспоминаний. — СПб, 1899.
415. Ф. Л. Высокопреосвященный Димитрий (Муретов), архиепископ херсонский. Некролог // Киев. старина. — 1883. — № 12.
- 415/А. Флоринский Н. И., протоиерей. Из виденного и слышанного в Киево-Софийском соборе (Рассказ бывшего соборного священника) // Душеполезное чтение. — 1889. — № 5.
416. Флоринский Ник., протоиерей. Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий. — Х., 1889.
417. Флоринский Н. И., протоиерей. О преосвященном Димитрии // Душеполезное чтение. — 1886. — № 8.
418. Флоринский Н., протоиерей. Из студенческих воспоминаний // Душеполезное чтение. — 1901. — № 7.

419. Флоринский Н., протоиерей. Из студенческих воспоминаний // Душеполезное чтение. — 1901. — № 9.
420. Флоринский Н., свящ. Воспоминания об отце Феофане // Душеполезное чтение. — 1867. — № 7. — Известия, заметки.
421. Франко І. Нові причини до історії польської суспільності на Україні в ХІХ в. Бібліогр. огляд мемуарів П. Хмільовського та Т. Бобровського // Записки НТШ. — Т. 45. — Льв., 1902.
422. Франко І. Король балагулів // Шевчук В. Із вершин та низин. — К., 1990.
423. Хижняков В.М. Воспоминания земского деятеля. — Пг., 1916.
424. Хінчулов А. Літературні зустрічі: Розповіді про письменників у Києві. — К., 1980.
- 424/А. Хроника жизни пресвященного Ириния Фальковского, составленная по его рукописи // Киев. епарх. ведом. — 1861. — № 10.
425. Хроника общественной жизни по дневнику митроп. Серапиона // Киев. старина. — 1884. — № 7.
426. Цена мужества // Киевлянин. — 1880. — 26 апр.
427. Цікаві бувальщини: Пригоди з життя великих людей. — К., 1969.
428. Чатовцев Вє. Пам'яті Лесі Українки // Спогади про Лесю Українку. — К., 1963.
429. Чалий М. Із спогадів про університетське життя 40-х рр. ХІХ ст. // З іменем св. Володимира... — Т. 1. — К., 1994.
430. Чалий М. Із спогадів про університет та викладачів (30–40-і роки ХІХ ст. // З іменем св. Володимира... — Т. 1. — К., 1994.
431. Чалий М.К. Т.Г. Шевченко на Україні в 1859 році // Спогади про Тараса Шевченка. — К., 1982.
432. Чалий М. Воспоминания // Киев. старина. — 1889. — № 10.
433. Чалий М. Воспоминания // Киев. старина. — 1889. — № 11.
434. Чалий М. Воспоминания // Киев. старина. — 1889. — № 12.
435. Чалий М. Воспоминания // Киев. старина. — 1894. — № 7.
436. Чалий М. Воспоминания // Киев. старина. — 1894. — № 10.
437. Чалий М. Воспоминания // Киев. старина. — 1894. — № 12.
438. Чалий М. Воспоминания // Киев. старина. — 1899. — № 10.
439. Чалий М. Воспоминания // Киев. старина. — 1899. — № 11.
440. Чалий М. Воспоминания // Киев. старина. — 1899. — № 12.
441. Чалий М. Воспоминания о Т.Г. Шевченко // Шевченко в воспоминаниях современников. — М., 1962.
442. Чалий М. Вторая киевская гимназия (1852–1861) // Киев. старина. — 1900. — № 4.
443. Чалий М. Вторая киевская гимназия (1852–1861) // Киев. старина. — 1900. — № 7/8.
444. Чалий М. Иван Максимович Сошенко: Биограф. очерк. — К., 1877.
- 444/А. Черкасенко С. Шевченко і діти. — б/м., б/г.
445. Ч/ернышов/ Н. Из записок одного русского чиновника // Киевлянин. — 1864. — 5 дек.
446. Черты из жизни Екатерины II // Древняя и новая Россия. — СПб, 1879. — Т. 1.
447. Чижевский А.М. Воспоминания о студентах Киевской духовной академии с 1819 по 1863 г. // Рус. старина. — 1917. — № 1.
448. Чижевский А.М. Воспоминания о студентах Киевской духовной академии с 1819 по 1863 г. // Рус. старина. — 1917. — № 2.

449. Чижевский А.М. Воспоминания о студентах Киевской духовной академии с 1819 по 1863 гг. // Рус. старина. — 1917. — № 3.
450. Чикаленко Ганна. Матеріали до біографії Євгена Чикаленка // Літ.-наук. вісник. — 1930. — № 7/8.
451. Чикаленко Єв. Спогади. — Нью-Йорк, 1955.
452. Чикаленко Єв. Щоденник (1907–1917). — Льв., 1931.
453. Чужбинський. Київ // Київ. губ. ве́домости. — 1850. — 25 нояб.
454. Чуб Д.м. Із спогадів артистки М. Малини-Федорець (Мартинюк) // Нові дні (Торонто). — 1979. — № 10.
- 454/А. Шевляков М. В. Исторические лица в анекдотах. — СПб, 1900.
455. Шевченко Т. Близнецы // Шевченко Т.Г. Твори. В 5-ти т. — Т. 4. — К., 1985.
456. Шевченко Т. Прогулка с удовольствием и не без морали // Шевченко Т.Г. Твори. В 5-ти т. — Т. 4. — К., 1985.
457. Шевчук В. Із вершин та низин. — К., 1990.
458. Шлишков Н.П. Воспоминания о графе А.А. Бобринском. — М., 1868.
459. Шленский Д., Бреславец А. Андреевский спуск. — К., 1998.
460. Шульгин В. История университета св. Владимира. — СПб, 1860.
461. Шульгин В.Я. Юго-Западный край под управлением Д.Г. Бибикина (1838–1853) // Древняя и новая Россия. — 1875. — № 5.
462. Шульгин О. Уривки із спогадів // Зб. на пошану Олександра Шульгина. — Париж-Мюнхен, 1969.
463. Щепкина-Куперник Т.А. Дорогое имя // Щепкина-Куперник Т.А. Избранное. — М., 1954.
464. Щербина В. Спомини колишнього студента про Київський університет 1860-х років // З іменем св. Володимира... — Т. 1. — К., 1994.
465. Эвальд А. Воспоминание о Микешине // Киев. старина. — 1897. — № 9. — 2 отд.
466. Юнк Альфред, фон. Ответ на ответ газеты «Киевлянин» // Киев. телеграф. — 1864. — 17 июля.
467. Ярон С. Київ в 80-х годах: Воспоминания старожила. — К., 1910.
468. Ярон С. Воспоминания о театре. — Цит. в украинском переводе по кн.: Спогади про Марка Кропивницького. — К., 1990.
469. Ясенский Ц.С. Воспоминания (1840–1844) // Столетие Киевской Первой гимназии (1809–1811–1911). — Т. 1. — К., 1911.
470. Ясенский Ц.С. Воспоминания (1840–1844) // Столетие Киевской Первой гимназии (1809–1811–1911). — Т. 3. — К., 1911.
471. Ясинский Иер. Роман моей жизни: Книга воспоминаний. — М.–Л., 1928.
472. Ясинский И.И. Анекдот о Гоголе // Ист. вестник. — 1891. — № 6. — Цит по очерку: Лесков Н. Несколько слов о Гоголе и Костомарове // Лесков Н.С. Собр. соч. В 11-ти т. — Т. 11. — М., 1958.
473. Je Re. Провинциальные экскурсии. Киев. Новое шарлатанство // Будильник. — 1885. — № 5.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	5
Глава 1	
ПРАВИТЕЛИ КИЕВА	8
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ	10
АВГУСТЕЙШИЕ ГОСТИ И ВЕЛЬМОЖИ	90
ЧИНОВНЫЕ ЛЮДИ	133
ИЗ ЖИЗНИ КИЕВСКИХ ЧИНОВНИКОВ И «МИЛИТЕРОВ»	165
Глава 2	
КИЕВСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ	172
ПРОФЕССОРА УНИВЕРСИТЕТА, ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ	
И СЕМИНАРИИ	174
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА	281
УЧИТЕЛЯ	300
СТУДЕНТЫ	330
УЧЕНИКИ	337
Глава 3	
КИЕВСКАЯ ГРОМАДА И УКРАИНСКИЙ КЛУБ	348
УКРАИНСКИЙ БЫТ КИЕВА	350
СТАРАЯ ГРОМАДА	355
МОЛОДАЯ ГРОМАДА	408
КИЕВСКОЕ УКРАИНСТВО	413
Глава 4	
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО	422
ПИСАТЕЛИ	424
ЖУРНАЛИСТЫ	531
ХУДОЖНИКИ КРУГА ПРАХОВА	551
ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ	576
ТЕАТР	600
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГАСТРОЛИ УКРАИНСКИХ АРТИСТОВ	662
Глава 5	
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАСТИ И ГОРОДСКАЯ МОЛВА	668
ЛИКИ КИЕВСКОЙ СМУТЫ	670
АНЕКДОТИЧЕСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ	
ИЗ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ	687

Глава 6	
ЦЕРКОВЬ	742
МИР БЛАГОЧЕСТИВОГО СМЕХА	744
КИЕВСКИЕ ВЛАДЫКИ	748
КИЕВСКИЕ ПРАВЕДНИКИ	790
КЛИРИКИ, ПРИХОЖАНЕ, БОГОМОЛЬЦЫ	832
ИЗ ХРОНИКИ ЦЕРКОВНОГО И ОКОЛОЦЕРКОВНОГО КИЕВА	846
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	861

Литературно-художественное издание

МАКАРОВ
Анатолий Николаевич

**КИЕВСКАЯ СТАРИНА В ЛИЦАХ.
XIX век.**

Редактор *Г. Г. Германенко*
Художественный редактор *К. А. Рязанов*
Корректор *Е. В. Романенко*
Компьютерная верстка *И. С. Сакуты*

Подписано в печать 23.12.04. Формат 60х84^{1/16}.
Бумага офсетная №1. Гарнитура академическая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 51,15. Усл. краскоотт. 51,65.
Уч.-изд. л. 61,75. Тираж 5000 экз. Заказ 5-13.

Издательство «Довіра»
ул. Киквидзе, 2/34, Киев-103, 01103

Свидетельство о внесении
в Государственный реестр издателей
серия ДК №669 от 14.11.2001 г.

АО «Книга»
ул. Артема, 25, Киев-53, 04655 ГСП

Свидетельство о внесении
в Государственный реестр изготовителей
серия ДК №1911





Начало Крещатика. 1882 г.

Макаров А. Н.

М15 Киевская старина в лицах. XIX в. — К.: Довіра, 2005. — 878 с.: ил. — Библиогр.: С. 861—876.

ISBN 966-507-168-8

В антологию вошли предания о легендарных киевских типах («антиках»), выдающихся исторических личностях, героях городской молвы. Здесь же можно найти немало забавных, анекдотичных и необычайных повествований из жизни старого Киева. Эти пестрые рассказы создавались в разных культурных средах. Они неоднородны и по форме, и по содержанию. Смешное здесь соседствует с трагическим, возвышенное — с ничтожным, необыкновенное — с обыденным. Иначе говоря, в этой книге отразилось все многообразие киевской бытовой культуры XIX века.

ББК 63.3(4УКР-2К)-8м2



ISBN 966507168-8



9789665071686